Феликс Кузнецов

КРУГ Д. И. ПИСАРЕВА

Феликс Кузнецов

КРУГ Д. И. ПИСАРЕВА

Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 83.3РІ
К89

Оформление художника
М. РЕШЕТЬКО

К $\frac{4603020101\text{-}416}{028(01)\text{-}90}$ 189-89

ISBN 5-280-00734-X

© Состав, оформление. Издательство «Художественная литература», 1990 г.

ВВЕДЕНИЕ

Писарев погиб трагически — утонул на Балтике 4 июля 1868 года, не дожив до полных 28 лет.

Он и жил трагически: из девяти лет журнального труда — в годы студенчества в «Рассвете», потом — в «Русском слове» и, наконец, в некрасовских «Отечественных записках» — половину провел в одиночке Петропавловской крепости. Кстати, в эту пору, пору «Русского слова», он и стал тем «властителем дум» молодежи второй половины шестидесятых годов, который пришел на смену столь же рано погибшему Добролюбову и осужденному на каторгу Чернышевскому.

В нашем представлении Писарев — современник этих двух выдающихся шестидесятников. Начало его творческой деятельности в благосветловском «Русском слове» — 1861 год, время зенита славы и влияния Чернышевского и Добролюбова. За считанные месяцы к весне 1862 года, времени его ареста, вчерашний студент Петербургского университета проделал феноменально быстрый идейный и творческий путь, став первым критиком «Русского слова», сподвижником и преемником великих публицистов и критиков «Современника».

За эти месяцы, по свидетельству близко знавшего его Шелгунова, «в Писареве свершалась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он позади» [1].

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1967, с. 222.

Говорить о творчестве Писарева очень трудно. Казалось бы, кристальная ясность мысли, отчетливость формулировок и выводов, блестящий талант изложения облегчают исследование его наследия. В действительности незамутненная прозрачность формы его статей еще резче обнажает неуловимую молниеносность тех внутренних превращений и видоизменений, которые порой на протяжении месяцев претерпевало миросозерцание Писарева.

Нет, это не было отступничество или шаткость, неуверенность воззрений, — это был ни на минуту не прекращающийся внутренний поиск, обусловленный новыми задачами, которые ставила перед ним действительность, напряженность работы мысли, не останавливающейся ни перед какими святынями, ни перед какими авторитетами в поисках своих ответов на один, центральный, главенствующий вопрос — о счастье народном.

«Исходной точкой всех его воззрений на окружающие явления была неограниченная, фаталистическая вера в разум, — говорил о Писареве издатель его сочинений Павленков. — Разум был его религией. Перед мыслью он благоговел, только за ней одной он признавал силу, прочность и будущность... Ум прежде всего! В этих словах, часто повторяемых покойным, — весь Писарев со всеми его достоинствами и недостатками» [1].

Природная смелость и сила писаревского ума, помноженные на неограниченную, фаталистическую веру в разум, заставляли его постоянно поверять крепость не только чужих, но и своих воззрений и взглядов. То, что он утверждал еще вчера, сегодня зачастую уже испытывало на себе всю сокрушительную мощь ударов его разума. Если брать статьи Писарева вне контекста его внутреннего развития, в конечном счете определявшегося движением жизни действительной, — обнаружатся такие противоречия в его воззрениях, противоречия не только с самим собой, но и с нашими привычными представлениями о революционно-демократической идеологии той эпохи, ни понять, ни объяснить которые невозможно.

---

[1] Павленков Ф. Некролог Писареву. Полностью опубликован мною в журнале «Русская литература», 1959, № 2. Перепечатан в данной книге (с. 628—631).

Писарев, как, может быть, никто другой из шестидесятников, требует в подходе к себе вдумчивого и точного историзма, той диалектики, которая не просто учитывала бы стремительность его внутренних превращений, но и связывала их со столь же бурным изменением действительности шестидесятых годов. Только в этом случае будет постигнута «тайна» Писарева, которая до сих пор заставляет историков литературы и социологии спорить о нем. Тайна эта — в резком своеобразии писаревских воззрений, в той тонкой, пунктирной, но резко прочерченной грани, которая отделяет Писарева от других демократов-шестидесятников. Мы до сих пор не можем простить Писареву (только ли Писареву?) его яркой индивидуальности, столь резкого своеобразия, — и то старательно «причесываем» его «под» Чернышевского, то отлучаем его, как «буржуазного радикала», от революционной демократии вообще.

Сомнение это высказывалось неоднократно, был даже найден и термин, «принципиально» отделяющий публицистов «Русского слова» с Писаревым во главе от революционно-демократической традиции, — «нигилисты», «буржуазные радикалы». И питалось это сомнение антиисторически упрощенным толкованием не только творчества Писарева и его товарищей по журналу, но и того сложнейшего явления в истории русского и не только русского освободительного движения, которое именуется революционной демократией.

Революционные демократы не каста избранных, не почетный титул, присваиваемый за «истинность» воззрений, но чрезвычайно сложное, объемное общественное движение, целая полоса, эра в истории русской общественной мысли второй половины XIX века.

Мировоззрение Чернышевского и Добролюбова было истоком и одновременно вершиной революционно-демократической идеологии в России.

Формы революционно-демократической идеологии не были статичными, они менялись в зависимости от исторической ситуации, увы! далеко не всегда сохраняя ту «истинность», которая была свойственна истоку и вершине — миросозерцанию Чернышевского. Скажем, в народничестве семидесятых годов они испытывали все возрастающее влияние механического материализма, позитивизма и субъективной социологии, утрачивая цельность и высоту философского материа-

лизма и объективной философии истории, свойственных классикам демократической мысли.

Тому есть объективная причина.

Высшая точка подъема крестьянской революционности в России — время первой половины шестидесятых годов — совпала и с вершиной в развитии революционно-демократической мысли — деятельностью Чернышевского и Добролюбова.

Случайно ли это?..

Очевидно, не только природная одаренность и талант, но святая вера в близкую народную революцию, то есть максимум совпадения между идеалом и действительностью, предопределили как глубокий исторический оптимизм этих великих шестидесятников, так и концептуальную цельность, последовательность и чистоту их теорий, невозможную, недосягаемую для их продолжателей и последователей. И опять-таки не в силу их личной ограниченности: после того как первая революционная ситуация в России потерпела крах, крестьянская революционность резко пошла на спад и никогда уже на протяжении XIX века не поднялась до критической точки 1859—1861 годов.

Все увеличивался разрыв между идеалом и действительностью, все мучительнее были попытки сопряжения теории и практики, все обнаженнее ощущался трагизм положения русской революционной демократии, выявившийся окончательно в том взрыве героизма, самоотвержения, отчаяния, который завершился 1 марта 1881 года.

Вправе ли мы, размышляя о противоречивых идейных исканиях представителей русской революционной демократии шестидесятых — семидесятых годов, в том числе Писарева, игнорировать это решающее обстоятельство? О значении его для революционных демократов можно судить по письму Н. Серно-Соловьевича, написанному им Герцену и Огареву в 1864 году: «На общее положение взгляд несколько изменился. Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому — прийти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже,— и приняться вбивать сваи» [1].

[1] Литературное наследство, т. 62. М., 1955, с. 560.

«Сваи» вбивали по-разному — в зависимости от понимания, как укрепить «трясину», что необходимо, чтобы разбудить народ и поднять на революцию, причем исходным пунктом, теоретической основой для осмысления новой исторической ситуации была рационалистическая, просветительская философия истории, в различных ее вариантах общая для русской революционной демократии.

Ведь, собственно говоря, и «теория реализма» Писарева, и «бланкизм» Зайцева, а потом — Ткачева, и концепции «глуповцев» Салтыкова-Щедрина, и «критически мыслящие личности» Лаврова, при всей разнородности этих явлений, были не чем иным, как реакцией на «болотистость» почвы, на отсутствие реальных условий для народной, крестьянской революции в России.

В течение десятилетий русские революционные демократы бились над неразрешимой задачей: как поднять массы на революцию? Неразрешимой потому, что революционность крестьянства была революционностью особого рода.

Даже в период наибольшего революционного подъема — в 1859—1861 годы — «...народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли» [1].

Движение русской революционной демократии уже изначально было чревато трагедией, пусть и не всегда осознаваемой идеологами. Ибо трагическая коллизия, по Энгельсу, и заключается в столкновении «между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления» [2] (тоже историческая закономерность). Столкновение этих двух необходимостей дает трагизм положения.

Предчувствие, предощущение противоречивого положения русской революционной демократии было уже у Чернышевского.

«Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящей ее причиною и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоя-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 141.
[2] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 29, с. 495.

тельствах, изменить которые легче, чем изменить свой образ действий»,— писал Чернышевский в 1862 году, когда стал очевидным начавшийся спад крестьянских волнений.

Писарев — современник и сподвижник Чернышевского, это общеизвестно. Но не совсем точно. Писарев принадлежал и выразил своим творчеством иную, более позднюю эпоху, чем Чернышевский и Добролюбов,— эпоху второй половины шестидесятых годов. Еще точнее: Писарев — фигура «переходная»: в его мировоззрении с предельной выразительностью выявился тот момент в развитии революционно-демократического самосознания, когда впервые обнаружилось несоответствие классических концепций крестьянской демократии, выработанных в условиях революционной ситуации, тягостным обстоятельствам реальной жизни.

Начало идейного формирования Писарева — немногие месяцы 1861 — начала 1862 года — пришлось на время «бури и натиска», «святых» (Чехов) шестидесятых годов, наполненных исступленным ожиданием и подготовкой революционного взрыва. «Схоластика XIX века» (май, сентябрь 1861 года), «Меттерних» (сентябрь — ноябрь 1861 года), «Московские мыслители» (январь 1862 года), «Русский Дон-Кихот» (февраль 1862 года), «Базаров» (март 1862 года), «Бедная русская мысль» (апрель — май 1862 года), наконец, прокламация о Шедо-Ферроти, за которую Писарев и оказался в крепости,— вот вехи его стремительного сближения с лагерем Чернышевского и Добролюбова, путь становления революционера и демократа.

«Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла» [1],— писал он в прокламации о Шедо-Ферроти в июне 1862 года. Жажду революции, которая низвергнула бы царствующее зло и изменила политический и общественный строй, Писарев пронес через всю свою

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 125.

жизнь. Революционно-демократическая основа убеждений Писарева оставалась неизменной при всех противоречиях его последующей эволюции, — менялись представления о реальных путях коренного преобразования общества. Первоосновой же мировоззрения Писарева всегда был один и тот же неотвязный, изматывающий душу вопрос — о «голодных и раздетых людях». «Вне этого вопроса», утверждал Писарев, нет «решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

И решить этот вопрос, по убеждению Писарева, могут только сами «работники», сами «голодные и раздетые люди», то есть народные массы.

Эту мысль он проводил и в статье «Бедная русская мысль» (1862), и в «Исторических эскизах» (1864), и в «Исторических идеях Огюста Конта» (1865), и в своем завещании — статье «Французский крестьянин в 1789 году» (1868).

Трагедия России той поры, трагедия революционной идеи, впервые с полной ясностью осознанная именно Писаревым, и заключалась в том, что народные, то есть крестьянские, массы не были способны на сознательную, широкую революционную борьбу за коренное изменение условий своего существования.

Так же как у Чернышевского, а точнее — еще в большей мере, чем у Чернышевского, сомнения в революционной активности крестьянских масс прорываются у Писарева уже в 1862 году. В те весенние месяцы 1862 года, когда он писал роковое для его личной судьбы воззвание, Писарев с горечью признавался в этих мучивших его сомнениях в готовности народа на революцию: «Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли по-прежнему, — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем» [1].

Но сомнения критика в революционных возможностях народа не только не препятствовали открытым призывам к немедленной революции, а, наоборот, понуждали к этому Писарева. Сомнения не исключали надежд на возможный революционный взрыв.

1863 год убил эту надежду. Сомнения в революционных возможностях крестьянства, в его готовности

---

[1] Русское слово, 1862, № 4, отд. II, с. 44. (В дальнейшем ссылки на журнал «Русское слово» даются в тексте с указанием года, номера, отдела и страницы.)

к активным деиствиям переросли в горестную уверенность. Еще в мае 1862 года Писарев, предчувствовавший возможную неудачу, писал, что исторический период, когда народ пассивен и не может «жить своим умом, наводит на нас тоску и досаду».

Уже в первых номерах возобновленного в 1863 году после цензурного приостановления «Русского слова» этот мотив звучит с трагической резкостью. Предвосхищая цитировавшиеся выше знаменитые слова Чернышевского, журнал клеймит гнусную черту «рабьего чувства», «рабской преданности» своим господам, воспитанных в народе веками крепостного права.

Начиналась новая, очень трудная для революционной демократии полоса в развитии русского освободительного движения, полоса реакции и резко обнаружившегося спада революционной волны. Трудность ситуации усугублялась тем, что во главе движения не было уже ни Чернышевского, ни Добролюбова, чей идейный и нравственный авторитет мог бы, возможно, сохранить цельность, монолитность революционных рядов в трудных условиях отступления и выработки нового «образца действий». Русская революционная демократия тяжело пережила это время крушения надежд, переоценки ценностей, заплатив, в частности, и тем знаменитым «расколом в нигилистах», по поводу которого так ликовали ее многочисленные противники.

Именно этому трудному, трагедийному времени и принадлежит Писарев. В этом прежде всего «тайна» Писарева, та неуловимая и резкая грань, которая отделила его от Чернышевского и Добролюбова и поставила особняком в блистательной плеяде демократов-шестидесятников.

В качественно новых исторических условиях Писарев в силу незаурядности ума и таланта не мог, на манер Антоновича, эпигонски повторять то, что провозглашали Чернышевский и Добролюбов в пору революционного энтузиазма и святых надежд. Он стремился, исходя из сути революционно-демократического миросозерцания, осмыслить эту качественно иную ситуацию и разработать новую, соответствующую условиям жизни и заветам Чернышевского концепцию борьбы. Он не только первым выразил, с присущей ему смелостью, открывшуюся трагедию революцион-

но-демократического движения, но и попытался дать ответ на очень трудный вопрос: а что теперь делать? Что делать людям, жаждущим революции, в условиях, когда массы спят?

Эти поиски ответов на новые вопросы времени он вел с той мощью таланта, с той бескомпромиссностью отважного ума, которые были свойством его незаурядной личности. Вот что обусловило необыкновенную популярность Писарева не только в шестидесятые годы, но и в последующие десятилетия,— он сумел заразить своими идеями, своей верой, своим историческим оптимизмом массы демократически настроенной молодежи, он составил свою, особую, «писаревскую» эпоху в истории русского освободительного движения.

Однако мало кто отдает себе полный отчет в том, что Писарев как революционно-демократический критик и публицист был бы невозможен без журнала «Русское слово». Этот журнал для Писарева был не просто трибуной, но, как мы бы сказали сегодня, его творческим коллективом, во многом определившим бурное внутреннее развитие критика. И одновременно журнал этот, будучи живым творческим организмом, испытывал постоянное, животворное влияние писаревских идей, яркой, глубоко индивидуальной личности Писарева как выдающегося общественного деятеля, страстного идейного борца.

Роль литературно-общественного журнала на Руси всегда была особая. «Журнал стоит кафедры!» — говорил Белинский. Журнал, как общественный, политический организм, воздействовал не только на общество, на читателя, но и на критиков, публицистов, писателей, постоянно сотрудничавших в нем. Этот принцип внутреннего взаимодействия, коллективной, в спорах и борьбе мнений и идей, выработке единой позиции или, как говорили тогда, *направления* журнала чрезвычайно важен и интересен для современного исследователя.

Вот почему данная книга не есть монография о Писареве, но, в значительной степени,— о журнале «Русское слово», его организаторах и ведущих сотрудниках, и в первую очередь — о Дмитрии Ивановиче Писареве как идейном, творческом лидере его, о круге Писарева, о тех спорах, которые еще сегодня идут вокруг творческого наследия русских революционных демократов. Книга — своего рода итог многолетних изы-

сканий, посвященных этим малоизученным страницам истории русской литературы и отечественной общественной мысли.

Книга состоит из трех разделов.

Первый посвящен монографическому анализу журнала «Русское слово», роли и месту Д. И. Писарева в нем. Он называется «Нигилисты?.. Д. И. Писарев и журнал «Русское слово» (издание третье, доработанное).

Второй – «Забытые страницы» – составляют статьи и публикации, посвященные малоизвестным сегодня именам в истории русской литературы и журналистики, а также отдельным неизвестным или забытым страницам этой истории, связанным с Д. И. Писаревым и его сподвижниками.

Третий – «Отстаивая историзм» – раздел дискуссионный. Он посвящен защите идейных ценностей русской революционной демократии, спору с неверными или неточными, на взгляд автора, трактовками этого наследия в современной критике и литературоведении.

Собранные воедино, эти работы, надеюсь, дадут читателю более или менее полное представление о том литературно-общественном контексте, в котором жил и работал Д. И. Писарев, помогут глубже понять уникальное творческое наследие великого критика и публициста.

НИГИЛИСТЫ ?..

Д. И. ПИСАРЕВ И ЖУРНАЛ «РУССКОЕ СЛОВО»

ЧАСТЬ I

ЖУРНАЛ «РУССКОЕ СЛОВО» В 1859–1862 ГОДАХ

Глава I
«ПРИХОТЬ ЗЛАТОГО БАРЧОНКА»?..

Только заглавие связывает прославленное «Русское слово» Писарева и Благосветлова с тем рахитичным изданием, которое стараниями графа Г. А. Кушелева-Безбородко возникло на петербургской журнальной ниве в 1859 году. В течение первых полутора лет существования издание это не пользовалось ни популярностью, ни авторитетом, и даже захудалый «Русский инвалид» позволял себе писать о нем: «Русское слово» напоминает собою балованных, пухлых и одутловатых детей, откормленных на конфетах и сластях и продолжающих свое жалкое существование единственно по необъяснимой снисходительности природы, дающей место и роскошной пальме, и бесцветному слизняку» [1].

«Кушелевский журнал я сразу же понял как прихоть златого барчонка» [2], – писал о затее графа Кушелева-Безбородко его ближайший помощник по журналу Аполлон Григорьев.

Впрочем, Аполлон Григорьев не во всем прав. «Русское слово» было не просто прихотью и капризом богатого меценатствующего барина. В журнальной затее Кушелева-Безбородко проявился общий либеральный дух того беспокойного времени, с его стремлением к гласности, прекраснодушными иллюзиями, общественным оживлением, когда, по свидетельству Н. В. Шелгунова, новые издания «появлялись, как грибы».

---

[1] Русский инвалид, 1859, № 190.

[2] Григорьев А. А. Материалы для биографии. Пг., 1917, с. 248.

На волне либеральных иллюзий 60-х годов и возникает кушелевское «Русское слово», как младший собрат «Русского вестника», «Библиотеки для чтения» и «Отечественных записок», как еще один орган «прогресса и умеренности», с необычайно расплывчатой, неопределенно-либеральной программой.

Первое, что настойчиво подчеркивала редакция нового журнала, было именно это: расплывчатость позиции, неопределенность направления.

«Само заглавие «Русское слово», — говорилось в программе журнала, — не допускает в нас односторонности воззрений и обязывает нас стать на такую точку зрения, с которой все, доступное русской мысли и русскому сердцу, несмотря на тысячу оттенков, является одной картиной, полной мысли и значения» [1].

Помощниками Кушелева-Безбородко, которые практически и призваны были вести журнал, явились поэт Я. Полонский и критик Аполлон Григорьев. При этом граф Кушелев-Безбородко неоднократно и настоятельно подчеркивал, что главным-то хозяином в журнале является он.

«Оставляя себя и главным и единственным редактором... надеюсь, что «Русское слово» нисколько не упадет от моего исключительного редакторства, даже имею самонадеянность предполагать, что оно получит новое развитие и большую популярность, постоянно действуя согласно главной цели его основания» [2], — писал он в июле 1859 года Я. Полонскому.

Граф Кушелев-Безбородко оказался излишне самонадеянным. К середине второго года издания тираж «Русского слова» упал так низко, что журнал оказался на грани краха, удерживаясь на ней только капиталами Кушелева. И причиной тому было не только то, что и Кушелев-Безбородко и Я. Полонский были никуда не годными редакторами, но прежде всего — порочность «главной цели его основания».

Всеядность и бесхребетность, отсутствие серьезной гражданственной программы превращали журнал в склад случайных, далеких от запросов жизни, малоинтересных статей и публикаций.

Это был в точном смысле слова «учено-литера-

---

[1] Санкт-Петербургские ведомости, 1858, № 233.

[2] Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 403, оп. 1, ед. хр. 53.

турный» журнал – как его и определяли сами издатели. Журнал, старательно избегавший животрепещущих вопросов современности, всего того, чем жило русское общество в эпоху 60-х годов.

«Это было удивительное время,– время, когда всякий захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко,– писал о 60-х годах Н. В. Шелгунов.– Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившейся в зависимость от того или другого разрешения реформ» [1].

Шелгунов вспоминает, что в воздухе тех лет ощущалось «политическое электричество», «все были возбуждены, никто не чувствовал даже земли под собою, все чего-то хотели, куда-то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня завтра явится неведомый мессия» [2],– «все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало» [3].

А «Русское слово» заполняло свои страницы произведениями поэтов «чистого искусства» Фета, Майкова, Полонского, Апухтина, нудными историческими исследованиями профессоров Казембека и Иловайского, игривыми заметками бесталанного журналиста Е. Моллера, уходило от всех сколько-нибудь серьезных жизненных вопросов и кокетничало мнимой «надпартийностью».

Стремясь оправдать свое программное утверждение, будто уже «само заглавие «Русское слово» не допускает в нем односторонности воззрений», Кушелев-Безбородко и в самом деле приглашает к сотрудничеству литераторов различных направлений. Даже в качестве своих ближайших помощников он привлек, с одной стороны, явного «западника», либерально настроенного Я. Полонского, а с другой – недавнего критика молодой редакции «Москвитянина» Аполлона Григорьева. Рядом с Фетом, Майковым печатались

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 93–94.

[2] Там же, с. 241.

[3] Там же, с. 191.

такие демократически настроенные литераторы, как М. Михайлов, Г. Благосветлов. Н. Шелгунов. М. Михайлов опубликовал в журнале Кушелева-Безбородко ряд стихотворений и переводов, очерк «Кормилица», роман «Благодетели», критические статьи о «Горькой судьбине» А. Писемского, «Последняя книга Виктора Гюго» и др. Почти в каждом номере появлялись присылаемые из Парижа и Лондона статьи Благосветлова: «О значении Парижского университета», «Ораторская деятельность Маколе», «Надежды Италии», «Кольбер и система его», «Тюрго и министерство его», «Договор свободного обмена между Англией и Францией» и т. д. Н. Шелгунов опубликовал статью «Одна из административных каст», посвященную его профессии – лесному делу. В журнале печатались в 1859–1860 годах Достоевский, Марко Вовчок, петрашевец Толль. Хотя и М. Михайлов, и Г. Благосветлов, и Н. Шелгунов не были еще в ту пору столь последовательными демократами, какими они под воздействием исторической обстановки 60-х годов стали несколько позже, их статьи вносили в журнал совершенно особую, качественно отличную струю. Чтобы хоть как-то соединить несоединимое и оправдать разноголосицу мнений в журнале, редакция в лице Кушелева-Безбородко, Я. Полонского и Ап. Григорьева объявила читателям: «Верные нашей мысли о всесторонности, мы, однако, представляем себе право выражать в особой статье под заглавием «От редакции» наш взгляд на печатаемые нами в книжках статьи» (1859, I, III).

Эти примечания «От редакции» лучше всего показывают, насколько мнимой была декларируемая «всесторонность» журнала. Вот каким примечанием, к примеру, снабдила редакция статью Благосветлова «О значении Парижского университета», пафос которой – в идее демократического просвещения масс: «Печатая статью г-на Благосветлова «О значении Парижского университета», мы не без гордости остановились на той мысли, что развитие университетского образования в нашем отечестве не встречало такого противодействия и вражды со стороны невежества, как на Западе» (1859, I, I, 41).

В декларируемой надпартийности, в принципиальном уходе от всего животрепещущего была своя партийность – либерально-охранительная.

Впрочем, не все отделы «Русского слова» кокетничали мнимой «всесторонностью». Аполлон Григорьев шел в редакцию «Русского слова» с совершенно откровенной, явно «односторонней» целью: превратить «Русское слово» в трибуну почвенничества.

«...Кушелевского журнала средства безграничные — редактором его, *по имени,* будет он сам, помощником, тоже только *по имени,* друг мой — поэт Полонский. Ergo, без имени редактора, я буду душой журнала» [1], — писал он М. Погодину, дав согласие идти в «Русское слово».

В переписке с близкими ему по духу людьми Ап. Григорьев не скрывал того, какую «душу» стремился он вложить в журнал: «...Разве не делаю я честно того же дела, которое делал в «Москвитянине», да и погодите, так ли еще будет... Будет время — я все яснее и яснее разовью учение «Москвитянина» [2].

Получив в свое полное распоряжение важнейший отдел журнала — критико-библиографический, добившись от Кушелева-Безбородко независимости и автономности от редакторства Я. Полонского, Ап. Григорьев последовательно и целеустремленно проводит свою программу в жизнь. Он печатает такие выступления, как статья о «Взгляде на историю России» С. Соловьева, свои обширные работы «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», «И. С. Тургенев и его деятельность», ведет библиографию, привлекает к сотрудничеству в отделе своего единомышленника Эдельсона. Фактически статьями Ап. Григорьева и Эдельсона и заполнялся критико-библиографический отдел «Русского слова» в течение всей первой половины 1859 года. Каждое выступление Ап. Григорьева и Эдельсона — это нацеленный удар по эстетике Белинского и Чернышевского, это подспудная, а часто и открытая полемика с идеями «Современника», это пропаганда философских, политических и эстетических основ славянофильства. И эти выступления Ап. Григорьева не вызывали примечаний «от редакции». Не вызывали, хотя в самой редакции сразу после прихода в нее Ап. Григорьева возникла острейшая борьба. Истоки ее были, прежде всего, в соперничестве Я. Полонского и Ап. Григорьева, каждый из которых стре-

---

[1] Григорьев А. А. Материалы для биографии, с. 231.
[2] Там же, с. 243.

мился к максимальному влиянию на Кушелева-Безбородко. Но соперничество это не было только личным. Я. Полонскому претило славянофильство Ап. Григорьева, и он стремился ограничить «дух» «Москвитянина» в «Русском слове». Борьба эта закончилась поражением Я. Полонского, которому пришлось уйти из журнала. Я. Полонский, потребовавший от Кушелева-Безбородко независимых полномочий для ведения журнала и поставивший графа перед необходимостью выбирать между ним и Ап. Григорьевым, получил следующий ответ: «Я желал всегда, пока будет существовать «Русское слово», быть главным издателем и редактором его, я желаю непременно иметь полное влияние на направление его,— словом, никогда не удовольствуюсь званием *плательщика,* которое ты предлагаешь мне в своем письме; оставляю эту почетную деятельность другим, несравненно лучше развитым для этой цели» [1].

Дав отставку Я. Полонскому, Г. Кушелев-Безбородко, по совету Ап. Григорьева [2], назначил с июля 1859 года «управляющим редакцией» некоего А. Хмельницкого. Казалось бы, позиции А. Григорьева в журнале упрочились окончательно. Но, как справедливо пишет исследователь журнала Л. Варустин, «Григорьев ошибся в своих расчетах. Хмельницкий вовсе не желал служить пешкой в планах критика. В августе за статью о «Московском обозрении» Григорьев был обвинен Хмельницким в проповеди «отсталых взглядов» и уволен Кушелевым» [3].

Кушелев-Безбородко добился своего: вручив бразды правления А. Хмельницкому, он не мог не быть подлинным хозяином журнала и получил возможность оказывать «большое влияние на направление его». Дело в том, что А. Хмельницкий вообще никакого отношения к литературе не имел. Хитрый и жуликоватый делец, он смотрел на журнал как на чисто коммерческое предприятие, как на легкую возможность извлечь из затеи богатого графа свой капитал. Год, с июля 1859 по июль 1860, пока «Русским словом» управлял А. Хмельницкий, был трудным

[1] Цит по кн.: Варустин Л. Журнал «Русское слово» в период первой революционной ситуации. Л., 1954, с. 161.

[2] См.: Григорьев А. А. Материалы для биографии, с. 257.

[3] Варустин Л. Журнал «Русское слово» в период первой революционной ситуации, с. 162.

и позорным временем для журнала. Искренне полагая, что главное условие успеха журнала – его объем и «имена», свои усилия «управляющий редакцией» направлял именно на это. Книжки журнала распухали, наполнялись всякой всячиной без какой бы то ни было системы и направления – и, естественно, не находили читателя. В редакционном заявлении журнал снова подчеркивал, что предоставляет «на своих страницах место всем беспристрастным и независимым мнениям, желая быть, по возможности, средоточием для различных направлений русской самобытной мысли в науке и жизни...» (1859, 11, III, 132). Но теперь этот принцип проводился уже столь основательно, что книжки журнала стали походить на мешок, куда сваливалось без разбора и размышления все, что теми или иными путями попадало в руки редактора. Прошло немного времени – и даже Кушелеву-Безбородко стало ясно: «Русское слово», которое становилось все убыточнее и убыточнее, стоит на пороге гибели.

Необходимо было срочно освободиться от А. Хмельницкого и принять самые энергичные меры, чтобы спасти столь основательно скомпрометированный в глазах литераторов и читателей журнал. Летом 1860 года граф Кушелев-Безбородко обращается к Григорию Евлампиевичу Благосветлову с просьбой взять на себя ведение «Русского слова». С июля 1860 года, когда «управляющим редакцией» в журнале Кушелева-Безбородко стал Благосветлов, и начинается то истинное, настоящее «Русское слово», которое вошло в историю русской культуры, в историю русского освободительного движения как выдающийся демократический журнал.

Современников поражал «необыкновенный, почти баснословный успех, который, в короткий промежуток нескольких месяцев, приобрело «Русское слово», перешедшее с 1860 года под редакцию Благосветлова. Оно разбиралось нарасхват; им зачитывались; выход каждой новой книжки ожидался с нетерпением и составлял как бы литературное событие. Сколько шума, горячих прений, дебатов, сколько полемики, подчас восторженных рукоплесканий, а подчас и ядовитой ругани возбуждал он и в литературе и в обществе!» [1]

---

[1] Ткачев П. Н. Издательская и литературная деятельность Г. Е. Благосветлова. – Шестидесятые годы. М. – Л., 1940, с. 224.

Глава II

ЖУРНАЛЬНЫЙ ЭКСПЛУАТАТОР ИЛИ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕМОКРАТ?

1

В нашей науке до сих пор, даже в малой степени, не оценен подвиг Г. Е. Благосветлова, завоевавшего и отстоявшего в жестокой борьбе с властями такое первостепенно важное для освободительного движения оружие, как литературный журнал. Благодаря Благосветлову революционная демократия 60-х годов получила в свое распоряжение такую высокую общественную трибуну, как «Русское слово».

Наивно думать, что превращение журнала «Русское слово» в ведущий, после «Современника», орган демократии 60-х годов произошло само собой, без больших усилий, без борьбы. Факты показывают, какой затраты воли, сил, ума, какой напряженной непрекращающейся борьбы стоило это — на первый взгляд — загадочное превращение. Достаточно положить рядом и сравнить комплекты «Русского слова» за 1859 и за 1861—1862 годы, чтобы убедиться в разительности этого превращения. Хотя и тут и там на титуле стоит: «Русское слово. Литературно-ученый журнал, издаваемый графом Кушелевым-Безбородко» — по сути дела, это совершенно разные издания.

И превращение это будет выглядеть необъяснимым до тех пор, пока мы не откажемся от того неверного, несправедливого, вульгаризаторского взгляда на фигуру Г. Е. Благосветлова, который с давних пор укоренился в нашей науке, проник не только в диссертации, но и в учебники и который очень затрудняет правильное понимание творческой истории «Русского слова».

Ни на одной из книжек «Русского слова» не стоит редакторская или даже издательская подпись Г Е. Благосветлова. В 1860—1862 годах он назывался всего лишь «управляющим редакцией» журнала Кушелева-Безбородко, в 1863—1866 годах скрывался за подставными фигурами официальных редакторов.

И тем не менее, начиная с середины 1860 года именно он, и никто другой, был фактическим и полно-

властным редактором «Русского слова», я бы сказал даже — *единовластным* редактором, ибо, обладая от природы характером крутым, сильным и решительным, он руководил журналом по принципу единоначалия, определял его позиции в соответствии с собственными убеждениями.

И когда Благосветлов писал на страницах журнала в 1865 году, что с июльской книжки 1860 года он принимает «полную нравственную ответственность по «Русскому слову», и объявляет, что «фактически вся редакторская работа» лежала на нем, — ему можно доверять вполне.

Вот почему исследование журнала «Русское слово» 1860—1866 годов следует начинать с восстановления истинного гражданского и политического облика человека, чьим детищем и завоеванием был этот журнал.

«Благосветлов — чистый продукт 60 годов; он один из последних могиканов этого времени, полного жизни, блеска и порыва, выставившего массу людей идейных, талантливых, с характером. Энергический, твердый, настойчивый до упрямства, стремительный и в то же время сдержанный, несламывающийся и под конец все-таки сломленный жизнью — Благосветлов является, может быть, одним из самых типических представителей своего времени» [1] — так характеризовал Г. Е. Благосветлова один из его товарищей по журналу Н. В. Шелгунов.

Этому видному общественному и литературному деятелю революционной эпохи 60—70-х годов в нашей исторической науке не повезло. Статья Б. П. Козьмина «Благосветлов и «Русское слово», опубликованная в 1922 году в журнале «Современник», давно ставшем библиографической редкостью, глава «Писарев и Благосветлов» в книге Л. Плоткина «Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов» — вот, пожалуй, и исчерпан список исследований, посвященных Благосветлову, если не считать нескольких ценных публикаций писем Благосветлова, сделанных в свое время Лемке и Прохоровым.

---

[1] Шелгунов Н. В. Григорий Евлампьевич Благосветлов (Биографический очерк). — В кн.: Благосветлов Г. Е. Соч. СПб., 1882, с. I—II.

Статья Б. П. Козьмина, систематизировавшая биографический материал о Благосветлове, явно устарела и содержит не только спорную, но и несправедливую оценку его деятельности. В какой-то степени благодаря этой статье Благосветлов и остался в представлении многих «журнальным эксплуататором», буржуазным радикалом, чуждым идей утопического социализма и революционного демократизма, стоящим по своим убеждениям «гораздо ближе к английским радикалам-реформистам, чем к французскому коммунизму» [1].

Подобный взгляд препятствует объективному исследованию журналов, которые возглавлял и вел Благосветлов, равно как и правильной оценке его обширного публицистического наследия, которое еще ждет своего исследователя. Но прежде чем браться за изучение журналистской деятельности и публицистики Благосветлова, нужно пристально вглядеться в некоторые черты его биографии, свести воедино и изучить свидетельства современников и сохранившиеся факты, помогающие понять личность этого серьезнейшего политического и литературного деятеля той поры.

2

Почти все знавшие знаменитого в свое время редактора «Русского слова» и «Дела» подмечали в нем «что-то солдатское» — одним он напоминал «писаря какого-нибудь маленького учреждения», другим — «унтера николаевского времени» [2].

«Где-то он говорил о себе как о существе, скованном из железа и потому внушающем не особенно нежные чувства окружающим... Роста слегка выше среднего, плотный, широкоплечий, сутуловатый, с грубым, выразительным лицом, изборожденным не по возрасту глубокими морщинами... с седыми, коротко остриженными волосами, с щеткой коротко подрезанных усов и короткими же бакенбардами, он производил впечатление силы, прямолинейности, — и бесцеремонности...» [3] Таким, по словам народника Н. Русанова,

[1] Современник, 1922, № 1, с. 212.

[2] Окрейц С. С. Из воспоминаний. — Исторический вестник, 1907, № 5, с. 407; Стахеев Д. И. Группы и портреты. — Исторический вестник, 1907, № 8, с. 425.

[3] Русанов Н. С. На родине. М., 1931, с. 214—215.

видели Григория Евлампиевича Благосветлова современники. И лишь немногие близко знавшие его могли разглядеть за этой непритязательной внешностью личность незаурядную.

Сдержанный и скрытный, он редко открывался людям. Письма и статьи Благосветлова, воспоминания людей, близко знавших его, помогают понять этого незаурядного человека во всей его драматической сложности. Противоречивость его была противоречивостью времени, которое он выражал, и, как это ни парадоксально, оборачивалась цельностью, удивительной цельностью натуры этого прирожденного политического бойца. Эту цельность сообщало Благосветлову то самое ощущение силы – нравственной и духовной, порой грубой, бесцеремонной, которую отмечали в нем современники – враги и друзья.

Благосветлову принадлежат грустные слова о судьбе писателя в самодержавно-крепостническом государстве: «Если родишься в России и сунешься на писательское поприще с честными желаниями, – проси мать слепить тебя из гранита и чугуна. Мать моя озаботилась в этом отношении. Спасибо ей, родимой!» [1]

В условиях деспотизма Благосветлов бесстрашно и упрямо вел свои журналы по бескомпромиссной и трудной дороге борьбы. Его жизнь составляет и для нас нравственный урок – урок гражданственности, общественной принципиальности.

Шестидесятые годы прошлого века были временем всеобщего и всеобъемлющего неудовольствия правопорядками крепостнической России, когда крестьянская революция в стране казалась грозной необходимостью.

Благосветлов вступил на путь общественной борьбы в самом начале шестидесятых годов, он был одним из вдохновителей и выразителей этого блистательного времени, а завершил свой жизненный путь в конце 1880 года, накануне краха второй революционной ситуации. Судьба его трагична не только потому, что его гражданские, общественные идеалы оказались

---

[1] Шелгунов Н. В. Григорий Евлампьевич Благосветлов (Биографический очерк). – В кн.: Благосветлов Г. Е. Соч., с. II.

неосуществимыми в пору шестидесятых — семидесятых годов. И после смерти Благосветлову в отличие от многих его сподвижников не повезло. Его забыли, на всю его подвижническую деятельность легла густая тень.

До крайности разноречивы свидетельства современников о личности редактора «Русского слова» и «Дела».

«Человек умный, с большими знаниями, энергичный, смелый и решительный... В нем, несомненно, бьется жилка настоящего политического бойца, клубного оратора в якобинском вкусе!» [1] — таково было впечатление, которое производил Благосветлов на писателя-народника П. Засодимского.

«Скаред и торгаш» [2], — резюмировал свое впечатление о Благосветлове сотрудничавший с ним в молодые годы Г. Н. Потанин.

Это разноречие в восприятии Благосветлова современниками, как в кривом зеркале отразившее действительные противоречия его натуры, до сих пор лежит печатью на личности редактора «Русского слова» и «Дела», искажает наши представления не только о нем, но и о его журналах. Между тем Шелгунов был глубоко прав в том, что облик Благосветлова отражает время, когда на арену общественной борьбы вслед за дворянскими революционерами выступили разночинцы. Таким разночинцем по происхождению и сути своей, демократом по убеждениям, по образу жизни, по манерам и внешности был Благосветлов. «Он простой, неизбалованный семинарист, чернорабочий, сам, собственными руками пробивший дорогу... — писал о нем Шелгунов, — человек с умеренными привычками и ограниченными потребностями, не знавший других развлечений, кроме нескончаемой работы, просиживавший до двух-трех часов ночи у себя в кабинете за корректурами, — он, такой Благосветлов, сознававший все это хорошо, гордился своими мозолистыми руками» [3].

---

[1] Засодимский П. В. Из воспоминаний. М., 1908, с. 100.

[2] Потанин Г Н. Из воспоминаний о Н. А. Некрасове. — Исторический вестник, 1905, № 2, с. 478.

[3] Шелгунов Н. В. Переходные характеры. — В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 286.

«Его высокопреподобию ректору и магистру Саратовских духовных училищ отцу Гавриилу.

Учеников Саратовского духовного училища высшего отделения Григория Благосветлова и низшего отделения Серапиона Благосветлова.

Покорнейшее прошение.

Мы нижайше осмеливаемся утруждать вторично Вас своим прошением. Мы, уже лишившиеся отца своего с 1838 года, бывшего в слободе Владимировке священником, а матери мы не имеем с 6 лет. Итак, к кому прибегнуть, у кого просить помощи к содержанию себя; между тем как нас, сиротствующих, осталось четыре человека. Итак, просим Вас всепокорнейше, не благоугодно ли Вам будет принять нас в число учеников, пользующихся казенным полукоштным содержанием. На что и будем ожидать милостивейшего Вашего решения... 1840 года, генваря 8 дня».

Этот красноречивый документ, принадлежащий перу бурсака «высшего отделения» Григория Благосветлова, приведен в материалах «К биографическому очерку Г. Е. Благосветлова», которые собрал его однокашник, саратовский старожил Ф. В. Духовников [1].

Из материалов Ф. В. Духовникова явствует, что Григорий Евлампьевич Благосветлов родился 1 августа 1824 года в г. Ставрополе-Кавказском, где отец его был полковым священником. Детство свое он провел в слободе Владимировке. Приход этот, считавшийся «золотым дном», был дан в 1826 году его отцу за службу в военном ведомстве. Отец Евлампий, по рассказам, был человек прямой, справедливый и умный; память имел необыкновенную и обладал хорошим даром слова, но любил выпить. С годами привычка эта развивалась все сильнее и свела его в могилу. И при жизни пьяницы-отца семья Благосветловых бедствовала, а после его смерти оказалась в безвыходном положении. Братья Григорий и Серапион ходили даже без сапог, и их одевала из жалости вдова одного священника.

---

[1] Материалы «К биографическому очерку Г. Е. Благосветлова», собранные Ф. В. Духовниковым, опубликованы А. Лебедевым в журнале «Русская старина», 1913, № 1—3.

Материалы о жизни Г. Благосветлова, собранные Ф. В. Духовниковым, воспоминания очевидцев, архивные документы, записи устных рассказов однокашников Благосветлова воссоздают картину жизни бурсы и духовной семинарии тех времен. Мы имеем представление о страшном бурсацком быте по «Очеркам бурсы» сотрудника «Русского слова» Помяловского. «Наша бурса была несравненно хуже помяловской бурсы», — свидетельствует школьный товарищ Благосветлова, саратовский протоиерей Любомудров. В своих воспоминаниях он повествует о «мерзком корыстолюбии» наставников, о пристрастии их к «зеленому змию» и «ругательным выражениям», об их тупости, малоспособности и «худой нравственности», о голоде, который постоянно царил в саратовской бурсе. Но самым страшным были не голод и холод, а то бесконечное унижение человеческого достоинства учеников, которое составляло смысл бурсацкой жизни.

Тон задавало бурсацкое начальство — ректор училища и инспектор, которые буквально истязали учеников, били по лицу, секли розгами и в довершение ко всему угрозами жестоких наказаний открыто вымогали взятки.

«Подражая своим учителям, — рассказывает священник Павильонов, — и ученики брали взятки от своих товарищей. Авдиторы (ученики, опрашивавшие класс до прихода учителя) строго спрашивали учеников, и ученики давали взятки, чтобы они поснисходительнее были к ним в отметках; секуторы (ученики, занимавшиеся сечением своих товарищей), зная, кому поставлена плохая отметка, тоже старались заполучить что-нибудь или деньгами (грош), или воблой, за что секли или не очень больно, или не касаясь тела учеников... Сечение производили обыкновенно дежурные ученики, сильные, рослые, которые ничему уже не учились и не подавали никакой надежды на успех, но которые наводили на всех страх своим сечением. Весь интерес их школьной жизни заключался в розгах: вне класса, вместо уроков, они приготовляли розги, перед уроками они показывали ученикам, как они будут сечь и тех, кто даст им взятку, и кто не даст, во время уроков секли...»

Но это сечение, говорит далее Павильонов, было ничто сравнительно с тем сечением, которое случалось на экзаменах, бывших три раза в год: перед рожде-

ством, пасхой и летними каникулами. На них обыкновенно секли учеников рослых, лет восемнадцати, уже бреющих бороды, за леность в течение трети года. Каждый экзамен производился самим ректором, священником Амальевым. До обеда экзамен шел обычным порядком. После обеда учитель и ректор являлись навеселе, ни тому, ни другому не хотелось экзаменовать — и вот тогда-то начиналось сечение лентяев.

«— Захаров! — вызывает ректор ученика.

Выходит рослый детина с черными щетинами на бороде.

— А ну-ка, просклоняй «розга»!

— Именительный падеж — розга, родительный — розгой, дательный — розгами...

— А ну-ка его розгами! — кричит ректор.— Дневальные, выходите!

Исполняя приказание, дневальные секли ученика с двух сторон, подобно тому как кузнецы куют молотами железо на наковальне в кузнице. Жидкие пучки розог так и взвивались в воздухе, кровь лилась. Несчастный Захаров сначала кричал, но потом, выбившись из сил, лежал молча. До ста ударов было дано ему. Мы все сидели в большом страхе, мертвенно-бледные; слышно было, как пролетит муха».

Порой сечение сопровождалось звуковыми эффектами — например, звоном в колокол. Часто оно превращалось в изощренную пытку,— когда лоза распаривалась в молоке с перцем и вином, после чего жертва вытаскивалась из класса без чувств.

Павильонов рассказывает, как удручен, убит был Благосветлов в тот день, когда пороли несчастного Захарова: «Пришедши домой после экзаменов, Гриша был печален, хмурился; ничего ни с кем не говорил и, несмотря на то, что хотел есть, лег спать не евши; только на другой день он сказал: «И что это за зверство сечь до полусмерти? За что? За то, что Захарова ничему не учили учителя?» Человек болезненной впечатлительности («едва ли был другой человек, который бы брал все так близко и глубоко; Благосветлов переживал все вчетверо сильнее, чем другие»,— свидетельствует Шелгунов), он тягостно воспринимал бесчеловечность бурсы.

Воспоминания и рассказы тех, кто учился с Благосветловым в бурсе и семинарии, рисуют его как лич-

ность «живую, правдивую и свободолюбивую». Уже тогда нравственная сила Благосветлова поставила его в совершенно особые отношения с учителями и с товарищами. И дело не только в том, что «он был очень добр, щедр и жалостлив к своим товарищам» (на этот счет в материалах Духовникова приводится масса свидетельств), — дело в уровне человеческого достоинства, столь непривычного в бурсе, в той серьезности отношения к жизни и к людям, которые отличали бурсака и семинариста Благосветлова от его забитых сверстников.

«Хотя Григорий Евлампиевич был в хороших отношениях с немногими товарищами... — свидетельствует протоиерей Любомудров, — но уважали его все, и все искали случая поговорить с ним. Речь его поражала всех. «Из какой книги говорите вы?» — спрашивали его. «Говорит как по печатному», — рассказывали про него его слушатели.

Начальство и учителя относились к нему благосклонно и даже с уважением. По воспоминаниям Любомудрова, «учителя очень часто хвалили и ставили его нам в пример. Сознавая его превосходство перед нами, мы не только не завидовали ему, но даже гордились им, как светлою звездою в нашем курсе, думая, что из него выйдет или монах-аскет, или высокоученый человек».

Самого Благосветлова перспектива стать монахом-аскетом никак не устраивала. Уродливая жизнь духовной среды с отрочества выработала в нем отвращение к «попам». «В попы идти — никогда! Буду до седых волос учиться, а уж поступлю в университет», — говорил он. Его серьезное отношение к чтению, поражавшее товарищей по семинарии, определялось именно этой затаенной, всепоглощающей мечтой. Уже в семинарии, в этом «вертепе скудоумия и лености», он самостоятельно постиг основы французского и немецкого языков. Так как семинарская библиотека была недоступна для учеников, да и состояла она только из учебников и книг духовного содержания, Благосветлов на последние копейки брал книги напрокат у базарных торговцев, продававших их среди всякой прочей рухляди, — и это было в ту пору, когда он, «кроме пищи и жилища, во всем прочем очень нуждался». Читать «светские» книги ученикам было строго запрещено — считалось, что они «развращают» будущих отцов

церкви, поэтому замеченная «светская» книжка немедленно конфисковывалась инспектором. И тем не менее Благосветлов читал запоем и без разбора все — от «Истории Государства Российского» Карамзина до «Капитанской дочки» Пушкина. «В то время как в комнате вокруг него происходили беготня, шум, крики, пение, — свидетельствует Любомудров, — Григорий Евлампиевич сядет за стол, зажмет уши и читает, не обращая внимания на то, что делается вокруг него. В десять часов вечера все ученики должны идти в спальни спать. Григорий Евлампиевич оставался в комнате, назначенной для занятий, и просиживал там целые ночи за работой. Узнавши об этом, инспектор Тихон запретил ему оставаться после 10 часов для занятий, но ему не спалось: когда все спят, он ходит, бывало, ночью без огня по спальне и о чем-то думает».

О чем? Наверное, не только о прочитанных книгах и тяготах семинарской жизни. В одном из писем к своему земляку, историку Мордовцеву, Благосветлов впоследствии писал: «Саратов оставил в моей памяти два резких типа — отвратительно гадкий тип помещика и великолепный тип бурсака. Сквозь безобразия последнего, безобразия наружного, светятся черты богатырской натуры, не сломившейся ни под... ни под... и мало ли под чем» [1].

И в ту пору Благосветлов, конечно же, не был книжным юношей: его ум и душа были открыты впечатлениям окружавшей его действительности. Уже эти штрихи — его болезненная реакция на бесчеловечный быт бурсы, его взгляд на «отвратительно гадкий тип помещика» — говорят о том направлении, в котором развивался Благосветлов в молодости. Не случайно еще на семинарской скамье идеалом человеческой личности стал для него Иринарх Иванович Введенский —

[1] Письма Г. Е. Благосветлова к Д. Л. Мордовцеву с цензурными купюрами опубликованы адресатом в газете «Новости» (1893, № 93, 107, 126, 157, 253) и в журнале «Новое слово» (1894, № 2, с. 245—262). Значительная часть купюр приведена в статье-обзоре Г. Прохорова «Шестидесятые годы в письмах современника» (сборник «Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественного движения». М.— Л., 1940, с. 432—437). В Государственном литературном музее хранится 31 письмо Благосветлова к Мордовцеву в копиях, подготовленных Г. Прохоровым к печати. В дальнейшем ссылки на эти источники специально не оговариваются.

человек, оставивший глубокий след в истории русского демократического самосознания, оказавший серьезное влияние на формирование не только Благосветлова, но и Чернышевского.

Любопытно, что Благосветлов и Чернышевский примерно в одно время учились в Саратовской семинарии (Чернышевский поступил в семинарию на два года позже). Известно, что они вместе брали уроки татарского языка у известного ориенталиста, востоковеда, жившего в Саратове, Гордея Семеновича Саблукова. Впоследствии, обращаясь к Некрасову, Благосветлов писал: «Никто лучше меня не понимает, что человек, с которым работал Чернышевский (а я с ним рос и воспитывался) и которого он любил искренне, имеет право на признательность не меня одного...» [1]

О взаимоотношениях Благосветлова и Чернышевского в Саратовской семинарии не сохранилось сколько-нибудь достоверных материалов, но слова «я с ним рос и воспитывался» достаточно определенны. Брат Г. Е. Благосветлова Серапион, служивший в шестидесятые годы в Саратове фельдшером, свидетельствовал даже, что именно решение Благосветлова оставить семинарию и уехать учиться в Петербург «столь сильно повлияло на жаждавшего знаний Н. Г. Чернышевского, что и тот последовал его примеру, к прискорбью местного духовенства» [2].

Мечта об университете у Благосветлова зрела под влиянием примера жизни Иринарха Введенского. Этот удивительный человек давно уже окончил курс семинарии и, оставив за пять месяцев до окончания Московскую духовную академию, учился сначала в Московском, потом в Петербургском университете, а в Саратове все еще из уст в уста передавались рассказы о его начитанности, его удачных ответах, возражениях преподавателям и т. п. Сын бедного священника глухого села Жуковки Саратовской губерни, выросший в темном деревенском углу, Введенский в таком совершенстве выучил французский язык, что поражал своими познаниями не только семинарскую корпорацию, но и высшие круги саратовского общества. Уже на семинарской скамье он перечитал всего Вольтера

---

[1] Цит по кн.: Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. Л.—М., 1945, с. 173.

[2] См.: Русский архив, 1914, № 3, с. 401.

и французских энциклопедистов, писал сам и слыл вольнодумцем. «Множество сочинений» Введенского, по словам биографа его Благосветлова, «долгое время ходило по рукам учеников семинарии в виде толстого фолианта». А когда одно из сочинений Благосветлова оказалось настолько образцовым, что было приписано Введенскому, радости молодого семинариста не было предела.

Первой серьезной литературной работой, которую напишет впоследствии по окончании университета Благосветлов, будет биография Введенского. Благосветлов подчеркнет здесь самое важное для него: трудность пути к образованию, к духовной культуре и гражданским убеждениям, который пришлось пройти Введенскому, «грудью отстаивавшему каждый шаг умственного развития». «Конечно, от аристократического кабинета до академических кресел переход легкий, — напишет Благосветлов, — но от рыбачьей хижины до Болонской академии, как, например, шел Ломоносов, переход трудный, исполинский. Юноша, окруженный обильными средствами, может в десять лет обогатить себя такими познаниями, для приобретения которых бедняк, с тем же самым талантом, должен употребить вдвое больше трудов и времени. Пушкин на 24-м году жизни мог читать иностранных писателей на трех языках в оригинале, а Кольцов на 34-м году от рождения не умел правильно писать на своем родном языке. Восемнадцатилетний Жуковский поставил свое имя в ряду замечательных русских писателей, а Н. А. Полевой в том же возрасте только мог дойти до сознания всей нелепости своего первоначального самообучения и за купеческой конторкой начал снова переучиваться» [1].

Эти слова относятся к самому Благосветлову в такой же мере, как и к Иринарху Введенскому. И тому и другому знания, образование, высокие гражданские убеждения суждено было «взять с бою», ценой необыкновенных усилий и жертв. Так и входили в ту пору разночинцы в культуру и общественную жизнь России, отвоевывая себе достойную роль в жизни упорной борьбой.

Путь по стопам Введенского — от семинарии в университет — для Благосветлова оказался нелегким.

---

[1] Благосветлов Г. Е. Соч., с. 4.

Уже на семинарской скамье в судьбе Иринарха Введенского Благосветлов угадывал свою судьбу. По свидетельству однокашников, «влияние И. И. Введенского на Г. Е. Благосветлова еще в семинарии было несомненно», «все свои ученические годы в семинарии Г. Е. Благосветлов проводил в среде, которая жила под впечатлением рассказов о Введенском».

Прошение его об увольнении из семинарии и духовного ведомства наделало ему столько хлопот и причинило столько неприятностей, что он помнил их очень долго. Начальство, по-видимому, не могло простить ему нежелание «идти в попы».

Борьба Благосветлова с духовным начальством за право продолжать «светское» образование закончилась тем, что этот блестящий ученик, которым долгое время гордилось семинарское начальство, был в 1844 году исключен из семинарии... «по безуспешности».

Практически это был «волчий билет», с которым почти невозможно было поступить в высшее учебное заведение. Вдобавок Благосветлов был беден настолько, что вынужден был просить ректора семинарии «снабдить его деньгами, чтобы пробраться на родину». В действительности деньги эти нужны были ему для того, чтобы любыми путями «пробраться в Петербург».

4

О нелегком пути в Петербург, в чем-то и в самом деле похожем на ломоносовский, Благосветлов расскажет сам в письме к начальнице Мариинского института, написанном после увольнения его от должности преподавателя словесности.

«Вот, Ваше превосходительство, тот путь, которым я шел к своей цели и который дал мне право на насущный кусок хлеба...

На четырнадцатом году своего возраста я остался круглым сиротой; 420 рублей и кой-какие домашние вещи были единственным наследством, которое мы четверо получили после своего отца. Я отдал свою долю сестре, выходившей замуж, и поступил на казенное содержание в духовное училище. Сиротская жизнь скоро подружила меня и с холодом и с голодом; юно-

шеские молодые силы переносили все лишения бодро. Двенадцать лет я учился в семинарии и, обязанный своим природным хорошим способностям, всегда был первым учеником. Семинарское образование, лишенное эстетической стороны и жизненных начал науки, во многом меня не удовлетворяло. По окончании семинарского курса мне предстояло пастырское поприще и тихая семейная жизнь. Но в груди моей кипела жажда знаний, я желал учиться – и это желание, рано во мне пробудившееся, от меня не зависело. Вследствие этого я решился оставить духовное звание и ехать в Петербургский университет. 60 рублей, накопленных с помощью частных уроков, дали мне возможность совершить полупешком путь около 1500 верст и добраться до столицы. Загорелый, бедно одетый, я явился к попечителю С.-Петербургского университета Мусину-Пушкину с просьбой дозволить мне подвергнуться испытанию и вступить в число студентов. Мусин-Пушкин бросил на меня взгляд презрения и сказал: «Теперь поздно». Это было в 1844 году, в половине августа. Целый год я должен был ожидать приема в университет. Между тем через две недели после моего приезда в Петербург у меня не осталось ни одного медного гроша. Знакомых никого не было. Как неопытный провинциал, я представлял себе столицу земным раем, а людей – ангелами; но холодный эгоизм скоро разочаровал меня в моих наивных мечтах. Лишенный пристанища, я проводил ночи под открытым небом, засыпал на голой земле под деревом – и одни звезды были свидетелями тех горючих слез, которые прямо текли из растерзанной души; днем читал книги в каком-нибудь саду и, продавая последние с себя вещи, 6 месяцев питался каждый день куском черного хлеба и стаканом воды. Крепкое здоровие, привезенное мной из южных провинций, расстроилось. На другой год, не имея еще никаких положительных способов к содержанию, я принужден был поступить в медицинскую академию. Семь месяцев я учился в медицинской академии и с особенной любовью занимался естественными науками, к сожалению, никак не мог победить в себе отвращения к хирургическим операциям. Увидев возможность удовлетворить всегдашнему и душевному своему желанию, я решился перейти из медицинской академии в университет. Университетский курс наук пришелся мне по ду-

ше. Юридические и исторические науки были предметом моего изучения. Из этой огромной области человеческих знаний я избрал специальной отраслью знаний — русскую литературу, историю, новые и древние языки. В то же время я давал частные уроки и тем обеспечивал свое существование. Через четыре года, на 26-м году жизни, я вышел из университета с правом кандидата.

Поступив в военно-учебные заведения преподавателем, я надеялся, после долговременных трудов и беспокойств, собрать плоды своей нероскошной жатвы и хоть немного успокоиться. Единственная мечта в моей душе — заработать некоторое количество денег и отправиться за границу для ближайшего знакомства с новейшими языками и для изучения английской литературы во всех ее подробностях. Одна минута уничтожила все эти планы и поставила меня в безутешно-скорбное состояние.

Что ожидает меня впереди! — об этом страшно подумать» [1].

В своем письме Благосветлов обходит молчанием человека, явившегося его добрым гением в негостеприимной столице, который не только помогал ему учиться в университете, но и составил протекцию на должность преподавателя военно-учебных заведений,— Иринарха Введенского. Зато в биографии Введенского Благосветлов не только воздаст должное своему «благодетелю», не только подробно опишет столь же трудный его путь в университет, но и расскажет, как, не имея ни знакомых, ни друзей, ни ломаного гроша в кармане, Иринарх Иванович жил в столице, будто на необитаемом острове, как, не имея квартиры, он проводил ночи в академической беседке или в саду под деревом. «Здравствуй, бедная книжка,— приводит Благосветлов выдержки из дневника Введенского,— имею честь рекомендоваться тебе голодным жителем роскошного города. Почти полгода прожил я в Петербурге, преданный всем родам унижения, ужасной нищете, брошенный на произвол судьбы».

Благосветлов мог бы рассказать здесь, как погибавший от голода студент Введенский решился нако-

[1] ЦГАЛИ, ф. 1027, оп. 1, ед. хр. 3. Дело СПб. Мариинского института о преподавателе Г. Е. Благосветлове.

нец просить материальной помощи. «Нашелся только один весьма бедный и недавно бывший в мое положение поставленный человек, который принял во мне живейшее, какое только мог, участие. Ему-то обязан я тем, что могу дней пять не умереть с голоду» [1], — писал Введенский одному из современников в 1840 году. Этим «весьма бедным... человеком» был Белинский.

Таким же добрым гением, каким для Введенского был Белинский, для Благосветлова стал Введенский. Мы не знаем, когда, как и при каких обстоятельствах встретился Благосветлов с кумиром своей семинарской юности, но достоверно известно, что во второй половине сороковых годов он не только познакомился с Введенским, но и подружился с ним, был принят в его кружок.

Этот круг демократической интеллигенции конца сороковых — начала пятидесятых годов был своеобразным «перекидным мостиком» из сороковых годов в шестидесятые, одним из тех ручейков, которые соединили времена Белинского и петрашевцев с эпохой «Современника» и «Русского слова». В 1868 году Погодин писал: «Мне хотелось узнать подробнее о происхождении петербургских нигилистов, и я, к удивлению моему, услыхал, что одним из их родоначальников был Иринарх Введенский» [2]. Именно Введенский, бывший инспектором в военных учебных заведениях, по мнению Погодина, «развел нигилистов по всем корпусам».

Размышляя далее о родословной «нигилистов», Погодин выводит их «умственную духовную генеалогию» из учения Герцена и Белинского.

И в этом он прав. Хотя и было бы натяжкой ставить знак равенства между мировоззрением Введенского и Белинского или Герцена, бесспорен тот факт, что взгляды и убеждения этого незаурядного человека развивались в демократическом русле.

Образованнейший человек своего времени, талантливый педагог, великолепный переводчик, в совершенстве знавший европейскую литературу, Введенский самой личностью своей, ломоносовской биографией, демократическим отношением к жизни оказывал облагораживающее влияние на молодежь. Именно Введен-

---

[1] В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 40.

[2] Погодин М. П. Нигилистам. — Русский, 1868, № 68.

скому Благосветлов обязан самой светлой стороной своего облика: стойкостью демократических убеждений. «Стойкость в убеждениях,— писал Благосветлов о Введенском,— была для него главным правилом в жизни. Там, где нужно было сказать правду, явиться защитником доброго дела, он забывал всякие внешние расчеты и прямо шел к своей цели... Суровая школа жизни, пройденная И. И. Введенским, по-видимому, должна была ожесточить его, вооружить против людей, как это действительно и бывает с характерами неразвитыми; напротив, он вынес из этой школы пламенную любовь к добру; испытав на себе много несправедливостей, он с тем большею силой ненавидел лицемерие и ложь».

Впечатление таково, будто Благосветлов пишет все это и о себе,— так много было общего у него с учителем. А Введенский в полном смысле слова был учителем Благосветлова, за что последний до конца дней своих платил ему уважением и сыновней любовью. Трудно сказать, кто был больше огорчен — учитель или ученик, когда вдруг рухнула мечта жизни Введенского,— такой мечтой для него была кафедра в университете. По свидетельству Благосветлова, Введенский «смотрел на профессорское место не как на отличие» — оно было для него высоким общественным служением. Целый год в тяжких трудах готовился Введенский к конкурсу — он должен был читать с кафедры пробные лекции. Конкурентов было еще двое — М. И. Сухомлинов и некто Тимофеев.

И вот в огромной университетской аудитории в присутствии высокого начальства и большой массы студентов началось состязание. Вначале гладко, уныло зачитал свою лекцию Сухомлинов, потом едва не уморил слушателей скукой Тимофеев, и вот на кафедре выросла крепкая, угловатая фигура Введенского.

В аудитории воцарилась тишина. О таланте Введенского многие были наслышаны — и он оправдал надежды. Лекция шла с блистательным успехом. Он говорил о народности литературы, о человеке, основавшем ее, перед которым он преклонялся,— о Ломоносове. Голос его крепчал: «Энергия деятельности Ломоносова имела источником то, что он был мужик!» — тяжелый удар кулака по кафедре с полной выразительностью подчеркнул смысл столь неблагозвучного в этих стенах слова «мужик».

«...По какому-то странному стечению обстоятельств И. И. Введенский не получил профессорского места», — с грустью и иронией резюмировал Благосветлов.

Демократизм воззрений и сблизил Благосветлова и Введенского. Двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин в книге воспоминаний «Мои заметки» подчеркивает, что Благосветлов, которого он встречал у Введенского, «уже тогда» был «человеком решительных мнений» [1].

Кто еще входил в узкий круг друзей, собиравшихся вначале по средам, а потом по пятницам у Иринарха Введенского?

А. П. Милюков, который был участником не только кружка Введенского, но и кружка петрашевцев, пишет в своих воспоминаниях: «На вечерах у Введенского чаще других бывали Владимир Дмитриевич Яковлев, автор имевшей в свое время большой успех книги «Италия», Григорий Евлампьевич Благосветлов, впоследствии редактор журнала «Дело», и Владимир Рюмин, издатель «Общезанимательного вестника». Несколько позже стал посещать эти вечера Чернышевский... Предметом разговора были преимущественно литературные новости, но часто затрагивались и вопросы современной политики... С этим связывались, конечно, и вопросы социальные, и сочинения Прудона, Луи Блана, Пьера Леру нередко вызывали обсуждения и споры» [2].

По настроениям, по темам разговоров, да отчасти и по составу участников кружок Введенского был близок к обществу петрашевцев, разгромленному в конце сороковых годов. На «средах» Введенского Благосветлов имел возможность познакомиться со знаменитым письмом Белинского к Гоголю и другими произведениями «бесцензурной печати», приобщиться к идеям утопического социализма. Собрания кружка Введенского, как свидетельствовал один из его активных участников А. Чумиков, «были в то время

---

[1] Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910, с. 77.

[2] Милюков А. П. Иринарх Иванович Введенский (Из моих воспоминаний). — Исторический вестник, 1888, № 9, с. 560—579. Новейшим исследованием является статья А. П. Медведева «Н. Г. Чернышевский в кружке И. И. Введенского» (Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 1-й. Саратов, 1958, с. 42—104).

едва ли не единственным местом в Петербурге, где можно было услышать живое слово и свободную мысль». Темами обсуждения на этих собраниях были вопросы религии, социалистическое учение утопистов, особенно Фурье, безрассудность цензуры, несправедливость существующего социально-политического строя, и в первую очередь крепостного права.

Отзвуки этих бесед мы встречаем в юношеских дневниках Чернышевского, которому общение с Введенским дало очень много.

«...Милюков говорит в социалистическом духе, как говорю я, но мне кажется, что это у него не убеждение, как у Ир. Ив. (Введенского.— *Ф. К.*) или у меня, что у него не ворочается сердце, когда он говорит об этом...»

«Вечером был у Ир. Ив. Введенского... Чумиков умнее всех остальных говорил о заговорщиках... (речь идет о петрашевцах.— *Ф. К.*). После говорили и о социализме и т. д. Чумиков — решительный приверженец новых учений, и это меня радует, что есть такие люди, и более, чем можно предполагать»,— заносит он в дневник свои мысли и впечатления в декабре 1849 года.

«...У Иринарха Ивановича было много народу, одних мужчин 13 или 14 человек да 3—4 дамы, и время прошло довольно хорошо (с начала вечера Минаев рассказывал о жестокости и грубости царя и т. д. и говорил, как бы хорошо было бы, если бы выискался какой-нибудь смельчак, который бы решился пожертвовать своей жизнью, чтобы прекратить его). Под конец читали Искандера»[1], — запись за 15 сентября 1850 года.

О настроениях кружка Введенского достаточно ясно говорят письма участника его А. А. Чумикова Герцену, которые он писал в 1851 году из Парижа. Рассказывая о деле петрашевцев, о пытках, которые применялись к ним в III Отделении, он обращается к своему корреспонденту: «Скажите, что Вы думаете об этом заговоре? Мог ли он к чему-нибудь повести? А общество существовало два года, и полиция не знала. Неосторожный Петрашевский набирал прозелитов без всякого разбора и тем погубил дело (не свободы,

---

[1] Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., т. I. М., Гослитиздат, 1939, с. 346, 362, 395.

далеко до нее) либерализма. Мы все (по списку увидите, что либералы есть во всех слоях общества) сильно упали духом. Посоветуйте нам, что делать, как быть, чтобы не идти назад. Ваше слово – для нас закон. Вы наш оракул... Вы авторитет (а нас более, чем Вы полагаете), и мы – стадо без вождя: руководствуйте нами, пишите более, только не для Европы, а для нас собственно – Европа Вас не поймет, она слепа и глуха теперь! Пишите по-русски. Старайтесь найти средство распространять Ваши сочинения в отечестве, хоть посредством аэростатов (если иначе нельзя провезти через границу), ведь в Берлине уже разбрасывают объявления таким средством. Надо немедленно организовать подпольную печать, иначе сон наш надолго продлится»[1].

Целая программа демократической или, как называл ее в ту пору Чумиков, «либеральной» деятельности. Но от чьего имени он выдвигает ее? Кто это – «Мы все», даже занесенные Чумиковым в «список», приложенный к письму Герцену (к сожалению, список этот не сохранился)? Как понимать слова: «нас более, чем Вы полагаете», «мы – стадо без вождя»? Может быть, речь идет не о каком-то определенном кружке людей, а о передовых русских людях пятидесятых годов *вообще?* Это предположение опровергается дальнейшим текстом письма Чумикова, в котором он пишет: «Жалкое состояние Франции (речь идет о положении во Франции после разгрома революции 1848 года.– *Ф. К.*)! С какой вестью возвращусь я к *своим друзьям; они не верят газетам и поручили мне узнать о положении свободы на самом месте ее казни»* (курсив мой.– *Ф. К.*).

Но кто же эти «друзья» Чумикова, поручившие ему «узнать о положении свободы» во Франции? Петрашевцы? Они были разгромлены. Остается предположение: «друзья» Чумикова, которых немного, но более, чем Герцен мог бы предполагать,– члены кружка Введенского.

Письма Чумикова свидетельствуют, что кружок Введенского, куда он входил, не был таким уж безобидным, узколитературным собранием преподавателей и литераторов, каким его привыкли представлять.

---

[1] Литературное наследство, т. 62. М., 1955, с. 717–718; Чумиков А. За И. И. Введенского.– Русский, 1868, № 129.

Он не являлся, конечно, организованным революционным обществом, но представлял собой тесную, спаянную группу «решительно» настроенных людей. И в числе их не на последнем месте был Благосветлов, пользовавшийся особым расположением и дружбой Введенского. Это очень тревожило Серапиона Благосветлова, который оканчивал курс в Медико-хирургической академии и не сочувствовал опасному настроению ума своего брата. «Сошелся Григорий с И. И. Введенским,— жаловался Серапион землякам-саратовцам,— он внушает ему разные вредные идеи, которых нахватался за границей. Как бы он не испортил его!» Идейные распри братьев Благосветловых зашли так далеко, что Серапион хотел даже донести на Григория жандармскому офицеру, и Благосветлову-старшему пришлось спешно сжечь много бумаг.

В 1851 году, после окончания университета, Благосветлов по протекции Введенского поступил преподавателем словесности в Пажеский корпус, в 1852 году — в Михайловское артиллерийское училище, потом — во Второй кадетский корпус и, наконец, в Дворянский полк (впоследствии Константиновское училище), где и заменил уже самого Введенского, после того как тот, лишившись зрения, вынужден был уйти в отставку.

По отзывам учеников, Благосветлов был высокоталантливым преподавателем. Но служба в военных учебных заведениях явилась для него тяжелым нравственным испытанием. Очень уж решительным был разрыв между всей прошлой жизнью Благосветлова — нищей, голодной, поистине демократической — и обществом высокопоставленных учеников, в которое он попал. Пажеский корпус — это самое привилегированное учебное заведение Петербурга — соединял характер военной школы и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора. В нем воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью детей самой высокой знати. Первые шестнадцать учеников выпускного класса назначались камер-пажами к членам императорской фамилии, что, конечно, считалось большой честью.

Благосветлов начал учить пажей не в пору «освобождения» шестидесятых годов, когда волны либерализма захлестнули и это «святая святых» российского аристократизма,— он пришел в корпус в 1851 году,

в разгул «николаевщины», в пору «мрачного семилетия». В корпусе царил полковник Жирардот, француз на русской службе, принадлежавший в прошлом к ордену иезуитов, насаждавший среди слушателей подслушивание и доносы.

С величайшим тщанием готовится Благосветлов к первому занятию с «пажиками» – учениками Пажеского корпуса: до синевы выскребает жесткую щетину на щеках, коротко подстригает свои фельдфебельские рыжие усы и бакенбарды, примеривает новенький, с иголочки, вицмундирный фрак с золочеными пуговицами и бархатным воротником. Все это – и сизые щеки, и короткие «мужицкие» пальцы, и топорщащийся, чересчур новый вицмундир, и даже гордость Благосветлова – элегантный темно-зеленый портфель – стало вскоре предметом злых насмешек востроглазых «пажиков». Топорная щеголеватость нового учителя лишь подчеркивала для них плебейство его происхождения. И хотя непродолжительное время спустя были замечены и оценены его знания, его талант рассказчика, Благосветлов так и остался для большинства пажей «Гришкой Ламповщиком» – обидная кличка, которая прилипла к нему с первых дней преподавания в корпусе.

Вспоминают, что многие пажи не любили его за «семинарские повадки», но еще больше за «неблаговоспитанную раздражительность, которую ему не всегда удавалось сдерживать и которая порождала часто саркастические, довольно топорные, переходившие в грубость выходки». Особенно раздражался он против тех воспитанников, которые отлично знали французский язык, а по-русски, как говорил он, «лапти плели». В таком случае учителю ничего не стоило дрожащим от злости голосом оборвать юного тупицу аристократа: «Садитесь, господин. У вас в верхнем этаже квартиры отдаются».

Впрочем, вслед за подобной вспышкой у Благосветлова нередко начинались угрызения совести: он вспоминал, что аристократ «тоже человек», а унижать человеческое достоинство ни в ком не позволительно. В тех случаях, когда ему казалось, что он в своем раздражении был не прав, он имел мужество принести извинения. Подобного рода поведение поражало слушателей и расположило в пользу нового учителя немало детских сердец. Надо сказать, что к выполнению своих

учительских обязанностей в Пажеском ли корпусе, в артиллерийском ли училище или в Дворянском полку Благосветлов относился с величайшей серьезностью. Вдобавок он обладал незаурядным талантом преподавателя.

Как вспоминает один из выпускников Михайловского артиллерийского училища Н. Н. Фирсов, по «характеру преподавания» и по «обращению со своими учениками» Благосветлова можно считать «едва ли не первым (во всяком случае одним из немногих первых) пионером по внесению живого света в сухое, как скелет, схоластически-фрунтовое преподавание русского языка в военно-учебных заведениях». Он «проворно и добросовестно» справлялся с сухой официальной программой и далее «развивал перед нами подробности... не только необязательные, но, по всей вероятности, нежелательные для высшего учебного начальства... Они подготовляли почву самостоятельного развития взглядов на общественные перевороты в России, которые в недалеком будущем нам пришлось переживать и в которых многим пришлось участвовать» [1].

Благосветлов тщательно руководил чтением воспитанников. Его богатая личная библиотека всегда была открыта для них. Большинство книг, которые он рекомендовал для чтения, были цензурны, но в учебных заведениях чтение их не допускалось, вот почему он давал учащимся свои книги или указывал, где ту или иную книгу можно купить на толкучке. Такие же книги, как стихотворения Кольцова или Плещеева, которые были тогда строго запрещены и со времени дела Петрашевского изъяты из продажи, Благосветлов давал читать ученикам только у себя дома.

Нельзя относиться к пятилетнему преподаванию Благосветлова в военно-учебных заведениях Петербурга как к чему-то незначительному. Это была высокоблагородная и общественно значимая деятельность. «Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь выдающихся деятелей и деятельниц в области литературы или об-

[1] Фирсов Н. Н. В редакции журнала «Русское слово» (Из воспоминаний шестидесятника). — Исторический вестник, 1914, № 6, с. 894—895.

щественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю словесности. Во всякой школе, всюду должен был быть такой учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь в общих чертах программой и которому предоставлена свобода выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить, таким образом, в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской словесности»[1], — писал в своих «Записках революционера» князь П. Кропоткин, поступивший в Пажеский корпус два года спустя после того, как уволили Благосветлова.

Именно таким преподавателем был в свое время И. И. Введенский, а следом за ним — Г. Е. Благосветлов, В. Попов, В. Рюмин, чуть позже — Н. Г. Чернышевский, занимавшие кафедры литературы в различных военных учебных заведениях. Любопытно отметить, что с января 1853 года Чернышевский преподавал теорию поэзии в том же Втором кадетском корпусе, куда в 1852 году поступил Благосветлов. И если в пору шестидесятых годов многие представители русского офицерства оказались в рядах освободительного движения, немалая заслуга в том принадлежит скромным преподавателям русской словесности, вызвавшим во многих сердцах «стремление к возвышенному идеалу».

Любая аудитория, где читал Благосветлов, не оставалась равнодушной к своему преподавателю. Чванливые, заносчивые, пустопорожние, ленивые его не любили и даже ненавидели. Другие — таких было больше в артиллерийском училище, во Втором кадетском корпусе, в Дворянском полку, являвшихся более демократическими заведениями, чем Пажеский корпус, — боготворили своего преподавателя словесности.

Педагогическая работа приносила все большее удовлетворение Благосветлову. Даже с точки зрения такого требовательного педагога, как Иринарх Введен-

[1] Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 112.

ский, его успехи были «блистательными в полном смысле этого слова».

И вдруг рухнуло разом все.

11 апреля 1855 года, в девять часов утра, Благосветлов получил из Пажеского корпуса приглашение явиться к инспектору классов.

«— Вы не служите больше в нашем корпусе, — сказал ему генерал-майор, — это воля государя.

— Слушаю, — ответил растерянный Благосветлов и опрометью направился к двери.

— Постойте, — остановил его генерал-майор. — Жалко мне вас, очень жалко... Вы потеряли все места в военно-учебных заведениях; нынче или завтра вам откажут и другие корпуса, можно умереть с голоду...»

«Можно умереть с голоду». Эти слова, как острые иглы, запущенные под ногти, болезненно прошли по моей душе, — писал Благосветлов об этом разговоре одному из своих учеников, будущему издателю «Русской старины» М. И. Семевскому, — голова загорелась, в сердце проснулось ужасное негодование, и я, оглушенный молотом, ударившим непредвиденно прямо в темя головы, возразил:

— Неужели я лишился всех мест?..

— Всех до одного, — продолжал мой беспощадный палач, карманный герой 12-го года. — Всех до одного, — подтвердил он и бросил на меня свой генеральский взгляд, в котором ярко засветилась горькая насмешка, растворенная отвратительным коварством».

И в самом деле, вернувшись домой, Благосветлов обнаружил пакет с отставкой со службы в артиллерийском училище, а несколько позже получил известие об увольнении из Кадетского корпуса.

«Как я дошел до квартиры И. И. Введенского — не знаю, — рассказывает Благосветлов далее в том же письме, — вошел в его комнату; он лежал на диване, закрывшись.

— Здравствуйте, Иринарх Иванович, — сказал я дрожащим голосом, и слезы брызнули из глаз.

— Здравствуйте, — сказал покойный друг, — знаю вашу историю — не бойтесь ничего: губят вас во имя политических фантомов. Ничего! Не унывайте. Эта буря предвещает вам чудное, новое утро жизни. — И слова слепого мудреца, как освежительная капля, падающая на язык истомленного жаждой, ободрили меня, освежили мои силы. — Ну, — продолжал он, — кля-

нусь вам отстоять вас, разве сам упаду духом и не поборю Ростовцева» [1].

Введенскому не удалось отстоять своего ученика: три месяца спустя, 14 июля 1855 года, Иринарх Иванович умер. Смерть Введенского, крах собственной ученой карьеры – все это, вместе взятое, потрясло Благосветлова. «Тридцать лет провести без радостей, без надежд, без сочувствия, среди лишений, нужды, беспрерывных трудов и в заключение этого дивертисмента стать перед лицом голодной смерти: это...» – обрывает он горестным многоточием письмо Семевскому.

«Два слова разрушили все мои планы, обратили в пепел все мои надежды», – пишет он в другом письме.

Что это за слова, оказавшиеся столь роковыми? В письме начальнице Мариинского института, с которого начинается эта глава, Благосветлов в подробностях рассказывает историю своего увольнения из Пажеского корпуса.

На обсуждении в одном из классов читал свое сочинение «О кончине государя императора Николая Павловича» паж Ханыков, который представил одну только внешнюю сторону деятельности императора, то есть коснулся одних второстепенных предметов. Это-то обстоятельство, по уверению Благосветлова, и заставило его бросить фразу в том духе, что, судя по сочинению Г Ханыкова, «государь занимался одними пуговицами и воротниками». Если верить этому оправдательному письму Благосветлова, слова о «пуговицах и воротниках» были произнесены в укор ученику, представившему дело так, что «долговременная благотворная деятельность государя императора ограничивается одними мелочными деяниями». Однако слушатели этого укора не почувствовали. По-видимому, крамольная фраза, сводившая «долговременную благотворную деятельность» Николая I к «пуговицам и воротникам» (ядовитый намек на пристрастие покойного царя к фрунту и внешним воинским атрибу-

[1] Письма Благосветлова к М. И. Семевскому опубликованы в приложении к кн.: Тимощук В. В. Михаил Иванович Семевский. СПб., 1895, с. 12–28 отдельной пагинации. В публикации есть неисправности и сокращения (см. Отчет II Отделения Академии наук за 1918 год, с. 24). В дальнейшем ссылки на данный источник не оговариваются.

там), была произнесена в иной, утвердительной и достаточно резкой интонации. Слух об этом выпаде неосторожного учителя разнесся по Пажескому копусу. И когда четыре дня спустя он поставил несколько нулей самым ленивым своим воспитанникам (то было вечером, в субботу; нули мешали им ехать домой в воскресенье), один из них, «именно г. Бибиков, глупый, ленивый и избалованный мальчишка, сказал про себя, но так, чтоб я слышал: «Я скажу инспектору: он бранил государя». «Я смолчал,— продолжает рассказ Благосветлов,— чтобы доложить об этом г. инспектору наедине. В то время когда я спокойно занимался в своем классе, вдруг один воспитанник 1-го класса, г. Супонев, с нахальным видом, в небрежной позе, остановился невдалеке от меня и довольно громко сказал: «А ведь я скажу дяде, и его высекут» (после я узнал, что он племянник г. Дубельта). Этого оскорбления я перенести не мог... Я взял шляпу и вышел из класса... Дальнейшего хода дела не знаю. Знаю только то, что еще никто не знал об этом событии из моих начальников, ни генерал Ростовцев, ни директор, ни инспектор корпуса, государю императору было известно... Я не был призван ни к оправданию себя, ни к пояснению своего дела. Во внимание была принята только одна сторона, обвиняющая меня. Впрочем, как теперь, так и тогда я не решился бы придавать своему делу официальной формы. Мог ли я вступить в борьбу с племянником г. Дубельта, я, не имеющий ни покровителей, ни связей, человек бедный, который добывает себе пропитание тяжелыми трудами преподавателя?»

Обида и гнев Благосветлова пали прежде всего на племянника шефа жандармов Дубельта, «от которого редкий из учителей не потерпел какого-нибудь оскорбления» и которого даже генерал-инспектор корпуса «называл мерзавцем, терпимым в заведении только по необходимости». Супонев был прежде учеником Благосветлова и имел повод не любить своего учителя, потому что тот «не был снисходительным к его дурным поступкам и лености». Но Благосветлов понимал, что причины его увольнения куда более глубокие, чем мстительность злого шалопая-аристократа.

«Девять месяцев я находился без всякой должности,— продолжает он свое письмо.— Не зная света, не имея покровителей, лишенный всяких надежных

средств к существованию, среди ежеминутных душевных тревог и опасений за неизвестное будущее, я затворился в тиши кабинета и искал единственной отрады в науке».

Именно в это время Благосветлов занялся журналистикой. В журнале «Сын отечества» (№ 28, 31, 38 за 1856 год) он печатает статью «Исторический очерк русского прозаического романа». В «Отечественных записках» (№ 1 за 1856 год) — статью «Взгляд на русскую критику» («Я защищаю в этой статье память Введенского»,— писал он Семевскому). В «Общезанимательном вестнике» (1857, № 1) — «Современное направление русской литературы» и биографию И. И. Введенского (1857, № 5, 6). «Это мой непреложный обет»,— писал он о работе «И. И. Введенский».

Собственно, журнал «Общезанимательный вестник», просуществовавший меньше двух лет, весь являлся своего рода памятью Введенскому. Его издателем был Владимир Николаевич Рюмин, преподаватель литературы в Дворянском полку, участник «сред» Введенского. Постоянными авторами — Г. Е. Благосветлов, преподаватель Кадетского корпуса В. П. Попов и другие посетители «сред». Редактировал журнал близкий друг Благосветлова В. П. Попов. В письме ему из-за границы от 12 января 1858 года Благосветлов пишет: «Передай комплимент В. Н. Рюмину за прекрасную бумагу и печать его журнала. Желаю ему счастья, а тебе — умного редакторства. Веди дело умней и осторожней» [1]. В том же письме он называет «Общезанимательный вестник» «приемышем» Попова. К годовщине смерти Введенского журнал опубликовал его портрет и стихи «К портрету Введенского». «Всегда окружен клеветою, с интригою вечно в борьбе, не пал он могучей душою и верен остался себе: предать не хотел убеждений, интригами мест не искал и ряд молодых поколений на службу добру воспитал»,— так начинались эти неуклюжие, но искренние строки, подписанные: «В. П. Попов, один из учеников И. И. Введенского».

«Общезанимательный вестник», в развитие демо-

---

[1] Письма Благосветлова к В. П. Попову опубликованы М. К. Лемке в книге «Политические процессы в России 1860-х годов».М.— Л., 1923, с. 598—624. В дальнейшем ссылки на эту публикацию в примечаниях не оговариваются.

кратических традиций Введенского, в первых же номерах провозгласил необходимость «отрицательного направления» на Руси.

Открывающая первый номер журнала статья Благосветлова «Современное направление русской литературы» ратовала за умственный прогресс, за «образование», осмысляемое гражданси, за выработку в русском обществе и русской литературе «твердых убеждений». По мнению Благосветлова, главный недостаток современной ему русской словесности заключается «в отсутствии живого и твердого направления». Истоки такого направления он видел в традициях «победоносной силы XVIII века», времени «благородного энтузиазма», когда человеческая мысль «страшным ударом поражала отжившие предания феодализма». В России же это направление выразил Белинский, заслугу которого Благосветлов видел в том, что, «защищая идею красоты и добра среди самой материальной эпохи, он сблизил литературные вопросы с общественными симпатиями» и, «как честный солдат, отдал все в пользу своей битвы». Так в самом начале творческого пути Благосветлов при очевидной расплывчатости своего мировоззрения развивался тем не менее в русле демократических идей. Однако речь здесь идет лишь об общности тенденций, но не о тождестве мировоззрений. Демократическая традиция в русской общественной мысли на всех этапах ее развития, а в особенности в пору пятидесятых годов, включала в себя множество оттенков.

Исследователей творческого наследия Благосветлова не могло не смутить то обстоятельство, что в своих статьях 1856—1857 годов Благосветлов спорил не только с реакционными журналами, но и с «Современником», упрекая его в непоследовательности: «...«Современник» новой редакции в первые годы своей деятельности является жарким защитником так называемой «натуральной» школы»,— одобрительно пишет он о времени сотрудничества в этом журнале Белинского. Однако позже журнал «начал подрываться под ту же натуральную школу, которую он, назад лет шесть, считал единственно возможною в литературе...».

Благосветлов верно подметил здесь «снижение тона», которое произошло в «Современнике» после смерти Белинского. Он справедливо критикует журнал за отказ от традиций Белинского в статьях Дружини-

на, Боткина и других столпов «эстетической критики» в период «мрачного семилетия». Но он не видит иной, демократической тенденции, которая, несмотря ни на что, продолжала жить в «Современнике» этого периода. И главное — что совсем уж несправедливо — он и в 1856 году отказывает «Современнику» «во всяком направлении». Такое отношение Благосветлова можно объяснить, в частности, тем, что в апрельском номере «Современника» за 1854 год был помещен фельетон «Тонкие критики», содержащий резкие и необоснованные нападки на Введенского. Не случайно биографию И. И. Введенского Благосветлов завершает прямой полемикой с «Современником», где защищает память Введенского. И все-таки истоки полемики Благосветлова с критикой «Современника» лежат глубже.

Надо сказать, что Благосветлов неоднократно говорил о своем глубоком уважении к Чернышевскому. В марте 1861 года он писал Мордовцеву, жалуясь на свое крайнее одиночество в Петербурге, что уважает в столице всего «двух-трех литераторов-людей», и в их числе особо выделил Чернышевского: «Это un homme de la trempe bien et bien forte» ⟨Это человек цельный и прекрасно сделанный (*фр.*)⟩; но с ним-то, кого я особенно любил, и не приходится видеться. Жену его я терпеть не могу, а он очень любит ее: вот мы и разошлись». Последние слова многозначительны и раскрывают в какой-то степени свидетельство сотрудника «Русского слова» Н. Фирсова: «О Н. Г. Чернышевском он по возможности избегал разговаривать. Когда же было необходимо, то задумчиво хмурился, стараясь не глядеть никому в глаза, отделывался общими, впрочем, не противоречащими истине, фразами: «Мы в ранней молодости близко были знакомы с Чернышевским» (намек не только на Саратовскую семинарию, но, бесспорно, и на кружок Введенского. — *Ф. К.*), «вместе учились», «я его очень уважаю», «я в существе разделяю его взгляды, но во многом с ним не могу согласиться» и т. д. ...»[1]

Сложность взаимоотношений Благосветлова и Чернышевского объяснялась, по-видимому, не только отсутствием в Благосветлове симпатии к жене Чернышевского, но прежде всего определенным разли-

[1] Фирсов Н. Н. В редакции журнала «Русское слово». — Исторический вестник, 1914, № 6, с. 903.

чием взглядов. Чтобы увидеть эти различия, достаточно сопоставить, как оценивали в это время (1856—1857) Благосветлов и Чернышевский критику Белинского. Для Чернышевского в его «Очерках гоголевского периода...» характерны не только глубокое понимание творчества Белинского, но и подлинный историзм. Благосветлов же относится к творческому наследию Белинского с симпатией, но метафизически. «Зрелость и самостоятельность начались для Белинского поздно, незадолго до его смерти»,— скажет он в 1860 году, в рецензии на 7-й том сочинений критика. Эта мысль, перечеркивающая все раннее творчество Белинского, пронизывает и статьи Благосветлова 1856—1857 годов. Предвосхищая Писарева и Зайцева, он упрекает Белинского в непоследовательности, в том, что тот слишком долго шел дорогой «эстетической» критики.

Не отсутствие демократических начал, а чрезмерную прямолинейность их являл Благосветлов, этот человек «решительных мнений», уже в самом начале своей публицистической деятельности. Степень его радикальности в это время ясно выражена в одном из его писем к Семевскому, написанном в годовщину отчисления его из Пажеского корпуса (11 апреля 1856 года): «Ученик донес на своего учителя, который никогда ничего не желал своим воспитанникам, кроме добра и пользы. Ученик предал своего учителя, как Иуда, которому даже отказали в кровавых сребрениках... Это совершенно достойно русского аристократа и его сына, будущего представителя лучшего народного сословия. Бр-бр-бр... мерзавцы, достойные костров, темниц, цепей и рабства, гнетущего вас, пресмыкающихся тварей и подлых лакеев придворного крыльца. Да падет кровь тысяч невинных страдальцев на вас и на потомков ваших — и она, действительно, падет. Прозвучит последняя минута вашего жалкого блаженства — и дворцы ваши падут среди пожаров, дети ваши застонут в колыбели, матери и жены будут просить жизни, как милостыни, у самых презренных рабов, богатства ваши разлетятся прахом... и палаты ваши, доселе оглашаемые стонами раболепных клиентов, обольются кровью ваших собственных трупов... Гроза грянет, и гнев небесный не пощадит никого из вас. Смотрите вдаль и учитесь воспитывать своих детей не для шпионства и подлых доносов, клевет и об-

мана, а для спасения вашего же собственного счастья»[1].

Этот взрыв гражданского негодования, эти гневные и прозорливые пророчества совершенно по-новому освещают фигуру Благосветлова. Неукротимость его революционного темперамента, ненависть к деспотизму, к русской аристократии объяснялись, конечно же, далеко не личной обидой. Эта «решительность мнений» была подготовлена всей его предыдущей жизнью. Ведь письмо написано отнюдь не по горячим следам событий, но год спустя, как раз в ту пору, когда все личные неприятности были для Благосветлова позади.

«Я служу преподавателем русского языка и словесности в Мариинском институте!!!» – пишет он Семевскому 7 февраля 1856 года. Он был принят в этот весьма привилегированный институт «для благородных девиц», находившийся под покровительством великой княгини, по конкурсу. Испытание держали четыре преподавателя русской словесности очень высокой квалификации. Конкурс показал, что «г. Благосветлов пред всеми прочими отличается как глубиной и обширностью сведений, так и замечательным талантом преподавателя».

В январе 1856 года Благосветлов приступил к преподаванию литературы «благородным девицам» благодаря тому, что, как писал он Семевскому, III Отделение «забыло маленький Мариинский институт, в углу которого я притаился», но ненадолго. Уже три месяца спустя из канцелярии III Отделения на имя великой княгини Елены Павловны был доставлен с грифом «Секретно» срочный пакет: «Государь император высочайше изволил повелеть: учителя Мариинского института Благосветлова уволить от занимаемой им должности и впредь на службу по учебной части не определять».

Рядом с этим документом в «деле» Мариинского института хранится еще один – «Покорнейшее прошение учителя Благосветлова»: «Болезненное расстройство организма и в особенности груди ставит меня в невозможность продолжать учительскую деятельность в Мариинском институте, вследствие чего прошу покорнейше Совет института уволить меня от службы».

---

[1] Письмо полностью опубликовано Б. П. Козьминым в журнале «Каторга и ссылка», 1928, № 12, с. 72–77.

Свое «прошение» Благосветлов написал после того, как «секретарь ее высочества» вызвал к себе учителя словесности и объявил ему «очень холодно и спокойно»: «Великая княгиня приказала вам подать в отставку за болезнью». Это был для него страшный и окончательный удар. «Боже мой! Чего бы я не отдал великодушному царю за одно слово прощения,— пишет он 17 июня 1856 года тому же М. И. Семевскому.— Год крепости, 5 лет жизни — все, что есть дорогого для меня на земле, все отдаю за то только, чтобы не лишали меня того поприща, для которого я чувствую себя способным и на котором я мог приносить посильную пользу».

Благосветлов не знал, что во все учебные округа империи — Санкт-Петербургский, Московский, Казанский, Киевский, Харьковский, Виленский, Варшавский и другие — еще 15 мая срочно был направлен секретный циркуляр министра просвещения, в котором сообщалось повеление государя об «увольнении от службы» Благосветлова в силу его «неблагонадежности». Благосветлов был лишен возможности заниматься дорогой его сердцу учительской деятельностью где бы то ни было. «Оставляя Мариинский институт, я не могу без глубокой скорби подумать о том, что я теряю учебное поприще один раз и навсегда,— писал он в прощальном письме начальнице Мариинского института.— Если бы с этой потерей соединялись одни материальные невзгоды и лишения, я сумел бы перенести их равнодушно, благодаря остатку тех сил, которые судьба еще пощадила во мне. Притом воспитание мое, слава богу, научило меня не презирать ни одного честного поприща. В материальном отношении для меня все равно — стоять ли с лопатой в руках в ряду поденщиков или сидеть за министерским столом,— лишь бы честный труд давал насущный хлеб. Но, кроме материальных потребностей, есть потребности ума и чувства для человека, рожденного не с пустым сердцем, есть свое призвание в жизни, и неотразимый голос этого призвания часто бывает сильнее всяких расчетов».

Благосветлов теряется в догадках, откуда вновь пришла беда, и полагает, что это расплата за прежнее — за резкие слова о Николае I, сказанные им в Пажеском корпусе. Он так и не узнал до конца жизни истинной причины окончательного увольнения его

с учительского поприща. А причиной было то самое письмо Семевскому от 11 апреля, в котором он слал проклятия и призывал на голову «мерзавцев, достойных костров, темниц, цепей и рабства» – русских аристократов – народную революцию. Благосветлов не знал, что он когда-то был не просто уволен из Пажеского и других военно-учебных корпусов «за неспособность преподавать науку в выражениях приличных», но и определен под строгий секретный надзор тайной полиции, что вся его переписка перлюстрируется, что полное гнева и ярости письмо его Семевскому было вскрыто, прочитано и немедленно доложено Александру II, после чего царь «высочайше» повелел: навсегда лишить Благосветлова права преподавания.

Трогает своей искренностью немного театральный и аффектированный рассказ Благосветлова о его прощании с Мариинским институтом, последним местом его педагогической деятельности: «Институтки узнали, что я выхожу из их заведения за болезнью. Огромная аудитория была битком набита. Из других классов собрались многие воспитанницы, классные дамы и даже посторонние. По обеим сторонам кафедры стояли букеты свежих цветов, и верх кафедры был покрыт куском светлого сукна. Когда окончился класс, воспитанницы высшего отделения встали и сказали мне следующее приветствие: «Вы дали нам в первый раз почувствовать настоящую цену науки, живого и не бесполезного ее преподавания; вы заставили нас полюбить русский язык, читать русские книги и с охотою трудиться; не покидайте нас, г-н Благосветлов; а мы, с своей стороны, постараемся оправдать ваше доброе мнение о нас, утешить вас своими успехами». Я заплакал и скорей убежал из класса, ничего не ответив. 12 июня (это был последний класс) я пришел в институт под влиянием самой тяжелой мысли. С одной стороны, мне хотелось сказать своим прекрасным ученицам всю правду, почему я покидаю их, с другой – мне строго было запрещено. Став на кафедру, я обратился к ним с прощальной речью, в которой хотел намекнуть на истинную сторону дела... При этом грудь моя зашаталась, голос задрожал, тайна полетела к черту, и речь, не лицемерная и правдивая, полилась широким потоком. 30 воспитанниц единодушно заплакали. Я не видел этого благодаря своей

близорукости, но белые платки, замелькавшие в руках, показались мне странными. Я сам был взволнован и, если бы не стыдно было плакать, как ребенку, заплакал бы с удовольствием. Класс кончился. Через час, проходя мимо аудитории, в которой я прощался с институтками, я взглянул на кафедру: она была покрыта трауром с белыми плерезами. Воспитанницы стали в два ряда по коридору, и я шел между ними, убитый тяжелой тоской. До самого конца лестницы милые девушки сопровождали своего учителя, не заслужившего такого внимания; последняя из них подала мне букет; и когда швейцар подал мне шляпу, в ней лежал прекрасный венок из роз и незабудок. Я всю дорогу наедине плакал, как только можно плакать без свидетелей человеку с глубоко потрясенным сердцем».

5

Спустя год, летом 1857 года, Благосветлов уехал за границу – вначале в Швейцарию, потом в Париж и в Лондон. Как явствует из «дела» III Отделения «О штабс-капитане Попове и литераторе Благосветлове», официальные чины полиции, по недосмотру выпустившие Благосветлова за границу, были строго наказаны – «надзиратель Богомолов уволен от службы, а с Сахарова сделано взыскание»[1].

Уезжал он, по-видимому, в состоянии еще более ожесточенном и раздраженном, чем в пору своего злополучного письма Семевскому. Вдобавок вся атмосфера жизни в Швейцарии столь резко контрастировала для мыслящего человека с условиями существования в самодержавной России, что Благосветлов вновь, не оглядываясь, вылил гнев в первых же письмах из-за границы к другу своему В. П. Попову. «Видя вокруг себя безграничную свободу мысли и глубокое уважение к ней, трудно удержаться в пределах полицейского деспотизма, трудно не сказать того, что чувствуешь»,– оправдывался он в ответ на упреки Попова в «неосторожности». «Я не боюсь за себя; пусть казнят в добрый час: всякая новая жертва – шаг вперед к расплате за нее...» Однако он обещает «сдержи-

[1] Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР), ф. 109, оп. 5, ед. хр. 250, ч. 107.

вать себя, сколько возможно больше», несмотря на то, что «этот пост и молитва обходятся нервам очень дорого». Он решительно отказывается от «насильственного распятия» своей мысли, ибо «лишь бы не затворили дверей в Россию, а о крепости нечего заботиться: даровая квартира по приезде — это недурно», — иронизирует он. Благосветлов за границей ведет жизнь труженика: проводит время в библиотеках, каждую копейку экономит на книги, слушает лекции в Сорбонне и мечтает о кафедре в Парижском университете.

Но он ищет в Европе не только «всевозможные источники образования». Европа для Благосветлова — школа общественного мышления, политической борьбы. «Здесь жизнь кипит, рвется по всем направлениям, — пишет он Попову. — Народ грызет последнее звено своих ржавых цепей и с каждой минутой ожидает воззвания к себе; масса пороху готова — нужна одна искра, чтобы все вспыхнуло». Он рассказывает, как Париж, этот «богомерзкий и проклятый город, вздумал охотиться бомбами по Наполеону III и его худенькой супруге», и продолжает: «Я хожу по самой горячей почве; не нынче, так завтра явятся баррикады; но сами французы боятся будущей революции, хотя и убеждены в неизбежной ее необходимости».

Он не идеализирует положение дел в Европе, видит и не принимает останки «Европы средневековой», над которой история произнесла свой последний приговор. Но он не принимает в буржуазной Европе и ее «новую жизнь» с ее «безусловным поклонением золотому идолу». «Вперед выступает промышленная сила, — пишет он в путевых заметках, опубликованных в «Общезанимательном вестнике», — банкир правит рулем того расснащенного корабля с оборванными парусами, на котором сотни поколений напрасно искали обетованной пристани».

Это очень важно — понять истинное отношение Благосветлова к Западной Европе, потому что еще с легкой руки Н. В. Шелгунова считалось, что Благосветлов «свое умственное развитие... получил в Англии и во Франции». Именно этим странам, по утверждению Шелгунова, он обязан «первым пробуждением в нем общественных чувств... своим политическим сознанием».

Это свидетельство не совсем точно потому, что «первое пробуждение» общественных чувств и политического сознания в Благосветлове произошло, как мы видели, значительно раньше, под влиянием кружка Введенского прежде всего. Он уезжал в Европу человеком во многом сложившихся мнений, он смотрел на европейскую жизнь под собственным, вполне определенным углом зрения. Это был угол зрения демократа, ненавидевшего крепостничество и деспотизм, томившегося по свободе.

Благосветлов красочно передал впоследствии (статья «Страна живых контрастов») те свои ощущения, с которыми впервые ступил на берег Англии: «Когда вдали открылись меловые берега Англии — а это было рано утром в один из ясных майских дней,— я почувствовал то же, что должен чувствовать дикарь, уносимый на европейском корабле от родного уголка земли в неизвестную даль... Меня отделяла от берега, на котором человек чувствует себя лично свободным, как птица, только одна доска, по которой надо было сойти с парохода...» [1]

За этими строками — давняя, выношенная тоска по свободе, идеальное, вынесенное из книг и многочисленных бесед представление об Англии как той стране, которая якобы являет собой разительную противоположность деспотической России. Однако при реальном столкновении с ней Англия явилась для Благосветлова «страной живых контрастов», где богатство уживается «с отвратительной нищетой, низводящей человека ниже животного».

Так что же все-таки привлекало его в Европе, почему он ставил европейские государства в пример России?

Прежде всего, как ему казалось вначале, завоеванное человеком право чувствовать себя «лично свободным», о котором он писал в статье «Страна живых контрастов». Это не так уж мало — особенно если учесть, что Благосветлов приехал в Англию из бесправного, деспотического государства.

Несколько позже (в начале шестидесятых годов) Благосветлов поймет недостаточность, а порой и призрачность этой «свободы». Но пока он весь во власти ощущения, когда «человек чувствует себя лично сво-

[1] Благосветлов Г. Е. Соч., с. 129.

бодным, как птица». В его письмах к Попову — постоянные параллели между «свободной» Европой и полицейской Россией: «Я русский, «ты раб»,— отвечает на это общее мнение... Как далеко мы отстали в цивилизации от западноевропейских народов — трудно измерить это расстояние»,— говорит он.

Вместе с тем его не оставляют мысли о том, что происходит в России, напряженное ожидание перемен, связанное в значительной степени с воцарением Александра II.

«До нас доходят страшные слухи о вас,— пишет он в письме от 15 января 1858 года.— Во-первых, будто вы освободили крестьян, на что очень сердятся в Париже помещики, разумно думающие, что после уничтожения кабалы им нельзя будет мотать даровые деньги в парижских кафе и в собраниях лореток... Во-вторых, будто вы уничтожили чины. На это особенно негодуют гвардейские офицеры и лакеи, думавшие получить со временем коллежского регистратора».

«С именем нашего бодрого настоящего государя Европа соединяет великолепные надежды, но уже начинают в умах резких возникать сомнения, и не дай бог, если повернется общий голос назад...» — пишет он в другом письме.

Нетрудно заметить, что в своем отношении к Александру II, к его обещаниям реформ Благосветлов в начале шестидесятых годов близок Герцену. Не только иллюзии в отношении Александра II, но и нечто другое — общий демократический склад мировоззрения Благосветлова, как и других шестидесятников, формировались во многом под влиянием пропаганды Герцена. К этому времени Герцен осуществил свою заветную мечту: «Полярная звезда» и «Колокол» будили Россию, звали ее на борьбу.

Вскоре после отъезда Благосветлова за границу III Отделение нащупало непосредственные связи его с Герценом. В записной книжке одного из кадетов Константиновского корпуса, где преподавал Благосветлов, были найдены выписки из сочинений Герцена и следы корреспонденций к Герцену через Благосветлова. В делах III Отделения мы читаем: «При рассмотрении в 1858 году бумаг воспитанника Константиновского корпуса Мишевского оказался у него дневник, в котором между прочим было отмечено: «Либераль-

ное наше письмо[1] отправлено к Благосветлову, а от него к Искандеру»[2].

15 января 1858 года Благосветлов пишет Попову: «История Басистова[3] попала под «Колокол», но это еще цветики,— плоды привезу в Лондон...» История эта была опубликована в шестом (декабрьском) номере за 1857 год; она была посвящена Якову Ростовцеву, куратору военно-учебных заведений, тому самому Ростовцеву, который, говорится в статье, двадцатилетним юношей, пламенно любящим отечество, в порыве молодого и неопытного энтузиазма, сделал донос в 1825 году на своих вольнолюбивых друзей. Через тридцать лет, говорится в заметке, Ростовцев донес царю на газету «Петербургские ведомости», напечатавшую неугодную Ростовцеву статью. Цензоры были наказаны, министр просвещения князь Вяземский, на чьей ответственности находилась цензура, бросился искать виновного — «и что же по справке оказалось? Статью писал учитель Московского кадетского корпуса Батистов, то есть подчиненный Ростовцева... Съел Яков Ростовцев вяземскую коврижку с имбирем, делать нечего. Как нечего? В 1825 году, желая спасти Россию «от разоблачения», он пожертвовал своими друзиями, а Батистов что ему за друг, целость России дороже. Он велел отставить учителя. Оказалось, что Батистов — один из лучших преподавателей; директор корпуса попробовал его защитить — не тут-то было! Батистова отставили!»

Несправедливость, учиненная с учителем, была так понятна Благосветлову. Но, судя по его письму Попову, это были «еще цветики» — «плоды», то есть серьезные корреспонденции для «Колокола», он намеревался передать лично Герцену.

Переписка Благосветлова с Поповым свидетельствует: будущий редактор «Русского слова» во время своего пребывания за границей не только корреспондировал в «Колокол», он взял на себя тяжелую и опасную миссию — помогать в транспортировке нелегальных герценовских изданий в Россию.

«Послал я тебе книг через Дюфура (книгопродавец в Петербурге.— *Ф. К.*) путем секретным, но совершенно

[1] Письмо кадетов к инспектору корпуса.— *Примеч. документа.*

[2] ЦГАОР, ф. 109, 1-я эксп., ед. хр. 5.

[3] В «Колоколе» Батистов (см.: Колокол, факсимильное изд., вып. 1. М., 1960, с. 44—45).

безопасным,— пишет он Попову 15 января 1858 года.— От г. Гейгенбаха (знакомый Благосветлова.— *Ф. К.*) можешь узнать об этих книгах. Чтобы не смешать их с чужими, на моих книгах стоит буква У. Посланы — 6 № «Колокола», 3 части «Полярной звезды», 4 кн. «Голосов из России», 1 кн. «С того берега», 1 кн. «Тюрьма и ссылка», 1 кн. «Крещеная собственность», 1 кн. Стих. Рылеева, 1 кн. Лермонтова («Демон»), 1 кн. «Войнаровский»... Читай, давай другим, но не теряй книги. Они дороги во всех отношениях. Этим же путем я буду и впредь посылать запрещенные книги... Пожалуйста, береги книги и отвечай мне, сколько получено, отмечая цифрой их счет».

Все последующие его письма к Попову полны намеков на эту опасную деятельность,— в течение всего времени пребывания за границей он пересылал в Россию «путем секретным» запрещенные книги, в первую очередь издания Герцена. «Относительно Дюфура. Сделай милость, повидайся с ним и переговори о книгах»,— пишет он в январе 1859 года.

«Наистрожайший из самых осторожных Василий Петрович, твое последнее письмо стоило мне стакана, который я разбил от испуга. Я никак не думал, что твои дипломатические способности так низко пали. Прежде чем разъезжать по Дюфурам, ты потрудись спросить у Гейгенбаха, какие книги должны быть посланы. Ну что, если Мелье перемешал как-нибудь да отправил протестантские вместо католических,— ведь цензурный комитет отведет мне даровую квартиру в Петропавловской крепости месяцев на шесть.

Разумеется, книги посланы с тем, чтобы ты получил их от Дюфура; другие имена здесь ничего не значат; но вот вопрос: как получить их? На это нужна вся твоя сноровка, уменье и, главное, способность понимать меня, когда я не могу очень ясно выражаться»,— пишет Благосветлов в следующем письме.

«Относительно книг можно успокоить меня одним ловким словом; я пойму его и перестану думать»,— вновь возвращается он к тому же вопросу в письме от 21 апреля 1859 года.

Весной 1858 года Благосветлов переезжает в Лондон и в первом же письме оттуда сообщает: «Был я и у лондонского патриарха; он кланяется всем вам...» «Тебе есть искренний привет из Лондона»,— пишет он Попову 5 января 1860 года.

Благосветлов не называет даже фамилии Герцена и ничего не сообщает Попову о той духовной близости, которая установилась у него с «лондонским патриархом», — и это естественно в той обстановке, когда каждое письмо, полученное из-за границы, могло быть перлюстрировано в III Отделении. И мы не имели бы представления о действительном характере взаимоотношений Герцена и Благосветлова во время пребывания последнего в Лондоне, если бы не сохранилось письмо Благосветлова Лаврову, написанное им в 1877 году, уже после смерти Герцена, во время пребывания Благосветлова в Женеве. Письмо это посвящено русской эмиграции за границей. «Что наша эмиграция в Париже? — спрашивает Благосветлов Лаврова. — В Женеве все опустилось и притихло. Ожиданий было много, а плодов собрано мало. И невольно моя мысль обращается к Герцену. Теперь только начинаешь ценить, что это был за великий талант. У меня лично не было лучших дней в жизни, как сближение с ним в продолжение одиннадцати месяцев» [1].

Это письмо исключительно важно для нас. Оно является единственным свидетельством того, что знакомство Благосветлова и Герцена не было формальным, что оно носило характер продолжительной духовной близости. Знакомство это продолжалось долгие годы и стало семейным. В мае 1869 года Герцен пишет своей дочери Наталье Александровне и сыну Александру Александровичу: «На днях явился Благосветлов с женой и детьми — обрился так же безобразно. Рассказывал о крепости и Муравьеве в крепости. Худякова бил офицер нагайкой по голове и пр.». Из письма Герцена от 13 июня 1869 года Н. А. Герцен явствует, что во время пребывания Благосветлова в Лондоне в 1869 году он уговаривал Герцена писать в «Дело», предлагая ему «сто рублей серебром с листа» [2].

В своих «Воспоминаниях» Н. А. Огарева-Тучкова пишет, что она помнит Григория Евлампьевича в доме Герценов в конце пятидесятых годов. «Он был средних лет, по-видимому, добрый, честный человек, но такой молчаливый, что я не слыхала, для какой це-

[1] ЦГАОР, ф. 198, оп. 4, ед. хр. 527.

[2] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30. М., Изд-во АН СССР, 1964, с. 123.

ли он пробыл довольно долго в Лондоне, – помнится, года два. Он занимался переводами, за которые Герцен платил ему... Он изучил в это время английский язык и перевел с английского «Записки Екатерины Романовны Дашковой», которые состояли из двух больших томов и представляли необыкновенный интерес...» «Записки Дашковой» были изданы Герценом с его предисловием.

Н. А. Огарева-Тучкова пишет также, что Благосветлов был учителем русского языка старшей дочери Герцена Наташи, после его возвращения в Россию эту обязанность стал выполнять В. Кельсиев. В деле секретного архива III Отделения по этому поводу говорится: «В одном частном письме, полученном здесь на днях из Висбадена, упоминается о некоем Благосветлове, что он был до настоящего времени учителем детей Герцена в Лондоне и ныне возвратился в Петербург».

Сам Благосветлов об этом последнем своем учительстве вспоминал с благоговением. В октябре 1861 года он писал в Саратов Мордовцеву, пересылая ему в подарок ручку для письма: «Эта ручка, в двух экземплярах, подарена мне в Лондоне русской девушкой – Наташей, дочерью нашего эмигранта, известного русским звоном на берегах Темзы. Я давал уроки русского языка этой милой девушке и сестре ее – Оле; когда надо было проститься, ученицы мои сделали мне великолепный подарок, из которого я попросил выбрать два шотландских черенка для перьев. Одним я сам пишу и оставлю его потомству, если таковое окажется: лучшего наследства за мной не предвидится...»

Вообще в письмах Благосветлова к Мордовцеву – а это самый обширный массив переписки Благосветлова начала шестидесятых годов, который дошел до нас, – руководитель «Русского слова» постоянно возвращается мысленно к этим «лучшим дням» в его жизни, когда он был не только принят, но и жил в доме Герцена. В письме от 31 августа 1861 года он пишет: «Под звуки хорошей музыки превосходно работается двум людям Европы – Сафи, бывшему триумвиру Рима 1848 года, и Гарибальди. Первого я часто видел в Лондоне у нашего русского эмигранта и всегда восхищался его итальянской импровизацией, когда милая русская девушка, навсегда оторванная от род-

ного берега, играла на пианино...» В письме от 11 мая 1862 года читаем: «Помню, в Лондоне я постоянно находился вместе с сыном русского эмигранта, и под конец уж мы не разлучались: различие лет, образования и взгляды на вещи — все исчезло в чувстве глубокой дружбы».

Сближение с Герценом, время, проведенное в его семье, работа по пересылке герценовских изданий в Россию — все это, конечно же, не могло не оставить самый глубокий след в миросозерцании Благосветлова. «Для меня одна строчка Герцена дороже всей Публичной библиотеки,— дороже потому, что идет в самую жизнь и зовет к новой жизни»,— пишет он Мордовцеву 4 марта 1861 года.

Кружок Введенского, а позже Герцен — таковы главные вехи идейного формирования будущего редактора «Русского слова». Игнорируя эти важнейшие факты духовной биографии Благосветлова, невозможно понять и объяснить его общественные позиции и ту серьезную роль, которую он играл в освободительном движении шестидесятых годов. Что значило для Благосветлова его сближение с Герценом, вполне определенно выражал П. В. Быков, писавший позднее, что время, проведенное Благосветловым в Лондоне в качестве учителя детей Герцена, имело «большое влияние на умственный склад Григория Евлампиевича... сформировало и закрепило его общественные убеждения» [1].

Глава III

ЖУРНАЛЬНЫЙ ЭКСПЛУАТАТОР ИЛИ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕМОКРАТ?

(Продолжение)

1

Когда в 1860 году по просьбе графа Кушелева-Безбородко Благосветлов принял на себя ведение журнала «Русское слово», он был человеком сложившихся демократических убеждений. В течение недолгого вре-

[1] Быков П. В. Г. Е. Благосветлов. Некролог.— Дело, 1888, № 11.

мени он привлек к журналу новый круг сотрудников, превратил «Русское слово» в один из крупнейших печатных органов демократии шестидесятых годов.

Благосветлов твердой и опытной рукой повел журнал в направлении, которое соответствовало его убеждениям. О том, каково это направление, можно судить по письму Д. Мордовцева Благосветлову от 3 августа 1861 года: «Меня искренне радуют успехи «Русского слова», и я вполне сочувствую Вашим благородным стремлениям. Много ожидаю я от исполнения хоть части того, что Вы задумали... Едва ли, как Вы говорите, в Вас недостает ловкости вести журнал к известным целям и подтачивать сердцевину старого дуба, заслоняющего от нас свет божий; у Вас она есть, но у Вас есть еще одно, кажется, качество, в сущности благородное, но, пожалуй, излишнее в общественном черве (простите за выражение), которого цель точить дуб до тех пор, пока не упадет, и точить так, чтобы даже общественные дятлы не догадывались, где червь и с какой стороны его выклевать удобнее. В Ваших статьях прорывается искренность, сердечность, какая-то нервность, которая обнаруживает, что вот так-то и так-то бьется Ваше сердце, туда-то и туда клонится Ваша мысль» [1].

Уже те немногие статьи, которые опубликовал Благосветлов в «Русском слове» до того, как он пришел в журнал, раскрывают бесспорно демократический, хотя и непоследовательный характер его мировоззрения.

Чтобы правильно понять позиции Благосветлова в этих статьях, надо взять в расчет следующее его письмо в редакцию «Русского слова» в 1859 году: «...В какой степени ваш журнал ограничен относительно политических воззрений? — задавал он вопрос. — Впрочем, будем валить все на историю: это — «здоровый бык» [2].

И действительно: все или почти все, напечатанное Благосветловым в 1859 — первой половине 1860 года в «Русском слове», посвящено истории. Однако уже в самом выборе тем для статей, в том, как разрабатываются эти темы, в обширных отступлениях, намеках

---

[1] ЦГАОР, III отд., Секретный архив, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1977, л. 1—1 об.

[2] Звенья, № 1, 1932, с. 329.

и полунамеках — во всем звучит сегодняшний день России, взгляд демократа и просветителя на насущные проблемы народной жизни 60-х годов.

Первое и главное, что привлекает внимание Благосветлова, — история Французской революции. Истории Франции, причинам, которые обусловили Французскую революцию, тяжелой жизни французского народа посвящены наиболее серьезные работы Благосветлова — «Кольбер и система его» (1860, 2), «Тюрго и министерство его» (1860, 4—5).

Эти статьи обнаруживают первооснову политического кредо Благосветлова в начале 60-х годов.

Известно, что Шелгунов определял Благосветлова как «крайнего западника». Это достаточно точное и любопытное определение, хотя оно мало о чем говорит, если его не раскрыть. «Западничество» Благосветлова не имело ничего общего с либерализмом.

Симпатии Благосветлова, его душа и помыслы отданы эпохе Великой французской революции и людям, которые ее подготовили.

«Не было ни одной эпохи, которая бы так широко и глубоко волновала ветхий мир, так была богата великими деятелями мысли и результатами ее; по крайней мере, никогда любовь к истине не заявила себя такими благородными жертвами, не возбуждала такого энтузиазма и сочувствия, как в прошлом столетии, — писал Благосветлов. — Это был век умственного потрясения во всех человеческих верованиях, убеждениях и надеждах. Его дух доселе живет с нами; его горячее и вдохновенное слово доселе раздражает нервы и шевелит сердце; его школа была школой всего человечества» (1860, 4, I, 58).

Благосветлов подчеркивает, что отношение к великим событиям XVIII века не может быть одинаковым. Здесь проверяются политические позиции, социальные симпатии и антипатии людей: «Среди нашего поколения еще живут дети тех отцов, которые погибли на эшафоте или затерялись на чужой земле, — есть целые сословия, сохранившие наследственную ненависть друг к другу, после революционного разгрома Франции. Для католического попа имя Вольтера или для политического Тартюфа память Руссо и Мирабо еще долго будут предметом укора, если не проклятия» (1860, 4, I, 69), — пишет Благосветлов, не скрывая того, на чьей стороне его личные симпатии.

«Мы можем обвинять этих людей в легкомыслии и аффектации, мы можем, пожалуй, с московскими Памелами от Никитских ворот и с петербургскими критиками заднего числа глумиться над их сентиментальностью, но отнюдь не можем отказать им ни в истинной любви к прекрасному, ни в гражданском мужестве, ни в уважении к народному правому делу. Мы можем простить им многое, потому что они многое любили. Это были люди сердца и, следовательно, *действия*» (1860, 4, I, 74),— писал Благосветлов о просветителях XVIII века.

Благосветлов сожалеет, что последовавшие за революцией «реакции» рассеяли «золотые сны старого времени». «Поставив на место трибуны мелочную лавку и усадив банкира на мешке хлопчатой бумаги вождем современных событий, мы думаем, что лучшего счастия нельзя желать народам» (1860, 4, I, 69),— саркастически замечает он.

Благосветлов задыхается в этой «мутной атмосфере эгоизма и апатии», которая окутала жизнь за последние десятилетия, и не скрывает того, что всеми фибрами души стремится к той поре «нравственной силы, отваги и благородных действий», которыми отмечен XVIII век. «В состоянии ли мы возвыситься до тех высоких начал, которые в конце прошлого века одушевляли *философа, политика* и *солдата*. Говорят, есть эпохи, в которые жизнь измеряется днями, и эти дни стоят нескольких лет другого времени» (1860, 4, I, 70) (курсив мой.— *Ф. К.*),— говорит Благосветлов. Трудно в подцензурной статье, написанной к тому же для либерального журнальчика, яснее выразить тоску по народной революции, чем это сделал на материале французской истории Г. Е. Благосветлов.

Я привожу столь подробные и многочисленные выписки из статей Благосветлова 1859—1860 годов только для того, чтобы сразу же показать, сколь далеки истинные позиции Благосветлова от того буржуазного либерализма, который ему порой приписывают.

Что отличает — и очень резко отличает — позиции Благосветлова этой поры от воззрений вождей русской революционной демократии — Чернышевского или Добролюбова?

В этот период перед Благосветловым еще не встает в полный рост проблема социализма. Да и в последующие годы вопросы, связанные с утопическим со-

циализмом, будут волновать Благосветлова гораздо меньше, чем Писарева, Шелгунова или Зайцева. Правда, в 1862—1866 годах, под влиянием идей Чернышевского и Писарева, он даже печатно будет проповедовать идеи утопического социализма — в статье о Роберте Оуэне и других выступлениях, — однако и в это время идеи социализма не будут для него столь органичными и глубокими, как для Писарева или для Шелгунова.

В статьях же 1859—1860 годов он неоднократно и с большим уважением отзывается о «социалистах», однако большего понимания сути их идей в это время у Благосветлова не обнаруживается. Его пугают крайние социалистические и коммунистические системы — тем, что якобы они стесняют свободу личности, узурпируют индивидуальность.

Это не значит, что в статьях этого периода Благосветлов славит капитализм. Нет, в его выступлениях 1859—1860 годов немало грозных филиппик против капитализма и буржуазности. Он критикует буржуазию как эксплуататорское сословие с точки зрения «народа», с позиций трудящихся, эксплуатируемых масс. В статье «Тюрго и министерство его» он показывает, как возвышалась буржуазия, утрачивая постепенно то прогрессивное, с чем она выступила на политическую арену. «В продолжение прошлого столетия этот класс является с видимым перевесом над всеми другими; из его рядов выходят первые капиталисты, литераторы, художники, министры и, относительно, лучшие граждане; он вносит в общество свои собственные элементы — дух экономии и с необыкновенным терпением соединяет деловую опытность и пронырство. По убеждениям буржуазия всегда была консервативным сословием, по чувствам и правилам она больше принадлежала народному слою, чем аристократическому» (1860, 5, I, 239).

Но шло время — и буржуазия все больше отдалялась от «низшего сословия», с которым ее уравнивали когда-то «невежество, раболепие, бедность и одинаковое желание освободиться от «медвежьей лапы» вассала; в XVIII веке она более не нуждалась в правах; теперь она сама господствовала и притесняла... По мере того как французская буржуазия замыкалась в касту, ненависть народа к ней становилась глубже. Он увидел в ней того же сеньора, но более хитрого и грубо-

го, с теми же хищными инстинктами, но с большей скаредностью» (1860, 5, I, 241).

Начиная с 1859 и кончая 1866 годом во всех статьях Благосветлова в «Русском слове» отчетливо выражено глубокое и точное понимание противоположности интересов эксплуататорских классов, куда он относил феодалов и буржуазию,— и народа. Понятие «народ» для него не было дифференцировано, под «народом» он понимал прежде всего крестьянство. Уже статьи 1859—1860 годов говорят, что все симпатии Благосветлова, все думы и чаяния его — именно здесь, они отданы русскому крестьянству.

Правда, верный правилу «будем валить все на историю», Благосветлов касается этого вопроса на материале жизни иных народов, других эпох. Но вот как характеризует он, к примеру, жизнь французского крестьянства в предреволюционную пору: «...Во второй половине прошлого века французское село, отрезанное от других сословий, представляет явление странное. В его недрах, как нетронутых золотых россыпях, лежит вся сила народа; оно работает за всю страну, дает лучших детей войску, несет всю тяжесть государственных расходов, страдает за всю Францию, и никто не хочет этого видеть; мирный житель его находится на положении современного индийского райи. Его с презрением называют la canaille, le vibain, обращаясь с ним немногим лучше ручного животного; многие вполне убеждены, что он действительно создан для страдания и нищеты и не имеет права рассчитывать на лучшее будущее. Религия учит его смирению, а политика — молчанию. И он дик, безграмотен, мстителен от огорчения и скрытен от недоверчивости. Все, что́ выше его, стоит к нему в положении осаждающего: сеньор, его вассал, сборщик податей, церковник и всякая инфузория, отличенная от него мундиром, требует покорности, работы и денег» (1860, 5, I, 242).

Характеристика настолько прозрачна, что не представляет большого труда раскрыть истинный и главный смысл ее. Последовательно раскрывает Благосветлов всю тяжесть жизни французского (читай — русского) крестьянства во второй половине XVIII (читай — в 60-х годах XIX) века, показывает, что экономическое истощение привело страну к состоянию, которое публицист определяет как «состояние опасно беременной женщины».

Каковы причины того тяжелого экономического положения, которые привели Францию (читай – Россию) к голоду и нищете? Что стоит на пути экономического процветания страны и благополучия народных масс?

В ответе Благосветлова на этот вопрос проявилась вся непоследовательность и незрелость его критики капитализма и одновременно – величайшая последовательность демократа-просветителя, ненавидевшего крепостное право и все его порождения в экономической, социальной и юридической области, страстно защищавшего просвещение, самоуправление, свободу и европеизацию России, искренне верившего, что отмена крепостного права принесет общее благосостояние и благоденствие.

Уже в начале 60-х годов Благосветлов являл собой классическую фигуру демократа-просветителя в ленинском понимании этого слова.

В своих первых статьях он отчетливо и ясно выразил глубокое убеждение, что благосостоянию народа мешает *отсутствие свободных учреждений в России.* Пафос его первых статей заключался в защите европеизации России, в идее свободы – политической, личной. Даже беды, связанные с эксплуатацией труда капиталом, он предполагает лечить тем же – к слову сказать, чисто буржуазным – путем: свободой труда. Свобода труда в его представлении – это панацея от всех бед, гарантия экономического здоровья и благосостояния народа. Он и не подозревает пока, что «свобода труда» и «индивидуальная независимость», эта «великая тайна народного богатства» – прямая дорога к тому неприемлемому для Благосветлова обществу, которое «приносит работника в жертву капиталисту и порождает тот социальный паразитизм, с которым идет рядом бедность и разврат современного пролетария» (1860, 2, I, 67).

В понимании истоков социальных коллизий своего времени Благосветлов пока еще далеко уступает таким корифеям общественно-политической мысли, как Чернышевский или Добролюбов. Но боевой демократический характер самого требования *свободы труда* в условиях крепостнической России вряд ли можно подвергать сомнению. Тем более что для Благосветлова это требование было лозунгом не экономической, но *политической* борьбы.

«...Без политической свободы нет свободы труда, а без свободы труда нет народного богатства» (1860, 2, I, 85),— формулирует Благосветлов этот столь важный для него принцип.

Идея «свободный человек в свободном государстве», которая, по свидетельству Шелгунова, была руководящей идеей Благосветлова [1], заключала в себе огромный общественный и политический антикрепостнический, антимонархический смысл.

С яростью и последовательностью, насколько это позволяли цензурные условия, Благосветлов выступал против всего, что сковывало свободу человека.

Здесь — истоки той борьбы за всестороннюю и полную эмансипацию человеческой личности, которую поведет «Русское слово» в 1861 — 1866 годах.

А пока что на материале истории он показывает, как централизация и деспотизм, несвободные политические учреждения едва не погубили в XVII—XVIII веках Францию, как они «затягивали народную жизнь в пустые административные формы» и тем стесняли ее «естественное течение».

Он придает характеру политических учреждений в стране такое огромное значение, что порой впадает в преувеличение и в идеализацию политических учреждений западных стран (например, Англии, как это явственно ощущается в статье «Ораторская деятельность Маколе» [2]). Он упорно стремится связать предстоящее решение крестьянского вопроса в России

---

[1] Кстати, теми же словами Шелгунов определял в своих «Воспоминаниях» и общественно-политическое кредо Добролюбова: «Темное царство» Добролюбова было не критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие,— это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий. Я не преувеличу, если скажу, что это было эпохой перелома всех домашних отношений, новым кодексом для воспитания свободных людей в свободной семье. Добролюбов был именно глашатаем этого перелома в отношениях, неотразимым, страстным проповедником нравственного достоинства и тех облагораживающих условий жизни, идеалом которых служит свободный человек в свободном государстве» (Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 199).

[2] «В Англии писатель — передовой вождь общественной мысли. Он служит самым лучшим органом выражения потребностей, желаний и стремлений своего народа. Он — действительная сила страны. После парламента, типографскому станку принадлежит главное влияние в общественной жизни»,— писал, например, Благосветлов в этой статье (1859, 3, I, 176).

с идеей коренного политического переустройства в стране. «Цветущее земледелие всегда было результатом не обилия и богатства почвы, а высокого гражданского развития... Так жизненные нервы земледелия невидимо, но тесно соединяются с общественным образованием, с политической свободой, с воспитанием масс, с семейным и гражданским благосостоянием народа. В порядке социального развития оно не предшествует, а следует за прогрессом промышленности; ему необходимо усовершенствование механических искусств, открытие новых способов удобрения, разнообразие в занятиях и средствах жизни» (1860, 2, I, 65—66).

Столь ясное и недвусмысленное выражение своего стремления к политической свободе, к просвещению и европеизации России, откровенная ненависть к деспотизму и крепостничеству, которая звучит уже в статьях Благосветлова 1859—1860 годов — очевидное свидетельство того, что будущий руководитель «Русского слова» пришел в журнал убежденным демократом-просветителем.

Конечно же, в силу того, что Благосветлов лишен был опыта политической борьбы в России и окончательно сформировался как политический деятель вдали от родины, его воззрениям была свойственна известная незрелость. Но эта незрелость не ставит под сомнение главного: антикрепостнической и антимонархической направленности, глубоко демократического характера убеждений Благосветлова.

Даже в таком трудном и сложном для публичного обсуждения вопросе, как вопрос о революции, где, вдобавок, Благосветлову было еще далеко не все ясно, он сумел в 1859—1860 годах решительно отмежеваться от либералов. Не случайно две его крупнейшие работы, опубликованные в первой половине 1860 года в «Русском слове», то есть в самый разгар либерального угара в России, касаются проблемы реформ. Речь идет о статьях «Кольбер и система его» и «Тюрго и министерство его», в которых раскрывается причина краха таких выдающихся реформистов, как Кольбер и Тюрго. Статья о Тюрго посвящена в основном оценке теории и практики французских физиократов. Дав очень высокую оценку их теории и, в частности, близкой его сердцу идее свободы труда, Благосветлов резко критиковал физиократов за те надежды,

которые они возлагали на реформы со стороны правителей и правительства. Полемизируя с Кене и его учениками, Благосветлов писал: «...Он и его последователи думали, что для развития... свободы надо больше действовать на королевскую власть, чем на самый народ. Мы понимаем, что всякая власть, тем более абсолютная, способна к величайшим и самым крутым переворотам, но мы не знаем ни одного исторического примера, где бы привилегированное сословие охотно поступилось личными выгодами в пользу противной партии...

Возьмите самую богатую английскую аристократию и спросите: где и когда она добровольно уступала наследственные права для облегчения участи нескольких миллионов пролетариев?.. Наконец, почему физиократы ожидали больше от посторонней силы и чистого случая (то есть от реформаторской деятельности самодержавных правительств. — *Ф. К.*), чем от сознания и нравственного развития самих масс?.. В этом — главная ошибка этой благородной школы» (1860, 4, I, 102—103).

Критика Благосветловым реформаторских иллюзий физиократов имела, конечно же, не только исторический, но и глубоко современный смысл. Его утверждение о том, что не было в истории случая, когда бы привилегированное сословие *добровольно* отказалось от личных выгод в пользу угнетенного народа, его мысль о том, что изменение участи народа надо ждать не от «посторонней силы» (то есть «королевской власти» или самодержавия), но «от сознания и нравственного развития самих масс», объясняет многое.

Это утверждение объясняет характер июльской книжки «Русского слова» за 1860 год, первого номера Благосветлова, — номера бесспорно программного, ибо с него и начиналось новое «Русское слово», которое нам и предстоит исследовать. Оно объясняет всю дальнейшую эволюцию этого журнала в 1860—1866 годах. Оно наконец объясняет личную судьбу Г. Е. Благосветлова, ту выдающуюся роль, которую в 1861—1866 годах сыграл в русском революционном подполье этот, как принято считать, «журнальный эксплуататор» и «буржуазный радикал».

Исследователями до сих пор не оценен в должной степени факт активного участия Благосветлова в подпольной революционной организации 60-х годов. Этот факт настолько не вяжется с укоренившимся взглядом на Благосветлова, что его революционную деятельность продолжают замалчивать или говорить о ней вскользь. Даже исследователь журнала «Русское слово» Л. Варустин, уделив в своей диссертации об этом журнале больше десятка страниц эксплуататорским тенденциям Благосветлова, о практической революционной деятельности последнего говорит буквально в трех строках — лишь для доказательства той мысли, что, несмотря на стремление Благосветлова к личному обогащению, «революционное подполье» было уверено в Благосветлове как честном союзнике,— вряд ли иначе он мог оказаться в 1862 году членом ЦК тайной революционной организации «Земля и воля» [1].

Между тем воспоминания одного из руководителей «Земли и воли» А. Слепцова, опубликованные М. Лемке в комментариях к XVI тому Полного собрания сочинений и писем Герцена, свидетельствуют, что Благосветлов был не просто «честным союзником», но активным участником подпольного революционного движения 60-х годов. А. Слепцов указывает, что Благосветлов стал членом подпольной организации «Земля и воля» осенью 1861 года. Благосветлов, по словам А. Слепцова, был ценен для «Земли и воли» именно потому, что в его распоряжении был журнал.

«Всю силу организации,— писал по этому поводу А. Слепцов,— мы видели прежде и больше всего именно в пропаганде, исходя из ужасной темноты народной массы...» В силу этого прежде всего «обращено было внимание на создание возможного взаимодействия с русской журналистикой, чтобы, помимо тайной пропаганды, читатель из разночинной интеллигенции... был взят кругом в определенный цикл понятий и интересов. Решено было остановиться на братьях Василии и Николае Курочкиных, Благосветлове, Г. З. Елисееве и А. Ф. Погосском... Все эти писатели

[1] Варустин Л. Журнал «Русское слово» в период первой революционной ситуации, с. 295.

вступили в общество, Лавров же и Елисеев официально не сделались членами...»[1]

В нашем распоряжении имеется обширный, в значительной степени неизвестный материал, подтверждающий свидетельство А. Слепцова и раскрывающий в какой-то мере характер деятельности Благосветлова в «Земле и воле».

Представляют интерес в первую очередь архивные данные о роли Благосветлова в так называемом Шахматном клубе, который использовался для конспиративных революционных целей «Землей и волей», был местом для встреч людей, оппозиционно настроенных по отношению к самодержавию.

Исследователями не принят во внимание тот факт, что подставным лицом, через кого организовывался этот клуб, был Кушелев-Безбородко, а «первенствовал» в нем, по свидетельству III Отделения, руководитель «Русского слова», член «Земли и воли» Г. Е. Благосветлов.

В день открытия Шахматного клуба, 10 января 1862 года агент III Отделения доносил по начальству: «Там собрались вчера человек до 100, почти исключительно литераторы, ибо по прочтении наскоро имен записавшихся у швейцара в книге встретились следующие:

Граф Кушелев-Безбородко
Вернадский
Лавров
Краевский
Толбин
Крестовский
Писарев
Писемский
Благосветлов
Панаев
Некрасов
Оба Курочкины
Степанов
Чернышевский
Апухтин
Рычков
Утин

Из них, говорят, первые трое... избраны директорами. Сделано распоряжение, чтобы один из наших агентов, В[2], записался в Шахматный клуб членом»[3].

Через три недели после открытия Шахматного клуба один из агентов III Отделения, наблюдавший за Чернышевским, доносил: «В Шах – м клубе, куда

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред М. К. Лемке, т. XVI. П., ГИЗ, 1920, с. 74.

[2] Вельяшев. – *Примеч. документа.*

[3] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 210, л. 1–2.

Чернышевский ездит постоянно, иногда в 11 часов вечера, первенствует некто Благосветлов, занимающийся в редакции «Русского слова», правая рука гр. Кушелева. Он сын священника и, говорят, очень озлоблен против правительства. О нем будут собраны ближайшие сведения»[1].

Позже, в марте 1863 года, агент тайной полиции Волгин, сообщая петербургскому обер-полицмейстеру генералу Анненкову о деятельности революционной партии, писал: «Главное и видное место ныне в круге ее действий в Петербурге принадлежит г-ну Благосветлову, бывшему главному члену Шахматного клуба, ныне редактору журнала «Русское слово»[2].

Шахматный клуб с самого начала был на подозрении у царского правительства. Его существование III Отделение не без основания связывало с революционной партией 60-х годов.

Несколько позже в деле «Об обществе «Великорусс» и революционной партии, стремящихся к распространению воззваний и к возбуждению волнений в России» III Отделение дало следующую характеристику Шахматному клубу: «Шахматный клуб. Партия Великоруссов существует уже давно, задолго до открытия Шахматного клуба, который основан года два назад крайне революционной партией, отделившейся от Великоруссов вследствие их медлительности. Из этого-то Шахматного клуба и вышли такие лица, как Михайлов, Обручев, Добролюбов, Пиотровский, Чернышевский, Писарев, Благосветлов, Гиероглифов и др. Пропаганда в воскресных школах была введена по проекту Чернышевского через посредство утинского кружка, из которого вышли на сцену: Евгений Печаткин, Баллод, Беневоленский, Давыдов и др.

Мысль об учреждении Шахматного клуба принадлежала Герцену, от которого покойный Добролюбов получил ее во время своего путешествия за границу, и по приезде эта мысль была осуществлена графом Кушелевым-Безбородко. На вечерах этого клуба собирались люди всех оттенков революционной партии. Пропаганда революции велась всеми возможными способами... Большое количество заграничных изданий было распространено через посредство агентов

---

[1] Красный архив, 1926, т. 14, 109.
[2] Литературное наследство, № 7—8, с. 313.

и книжных магазинов: Серно-Соловьевича, Федорова, Исакова, Терского и др. Главные члены Шахматного клуба были члены крайней партии: Благосветлов, Чернышевский, Писарев, Попов, Мордовцев, Гиероглифов, партия В. Курочкина...

Прокламации и издание Великорусса вышло из среды Шахматного клуба» [1].

Было бы, конечно, опрометчиво материалы III Отделения считать в достаточной степени доказательными. Памятуя, что агенты III Отделения располагали крайне скудными и очень приблизительными сведениями о деятельности революционных сил и были не прочь преувеличить, а порой и просто приврать, необходимо со всей осторожностью относиться к данному виду источников, проверять их по возможности другими материалами. Однако вряд ли правильно пренебрегать этими источниками, тем более что многие данные, имеющиеся в материалах III Отделения, подтверждаются ранее известными фактами, в частности, воспоминаниями А. Слепцова. Как известно, воспоминания А. Слепцова некоторыми исследователями в свое время также подвергались сомнению. Однако, подтвержденные материалами секретного архива III Отделения, они приобретают характер вполне достоверного документа.

При всех преувеличениях, которые могли быть в донесениях агентов и в тех выводах, которые руководители III Отделения делали из этих документов, вряд ли можно отрицать тот факт, что эти донесения отражали в той или иной степени истинное положение дел.

В июне 1862 года Шахматный клуб одновременно с приостановлением «Современника» и «Русского слова» вместе с воскресными школами был закрыт. Началось развернутое наступление реакции. Это наступление готовилось давно. Еще 27 апреля 1862 года князь Долгорукий представил царю обширный доклад о необходимости срочных и жестоких мер борьбы с угрозой революции. Первая часть этого доклада давала общую характеристику момента: «Оппозиционная партия растет и усиливается с каждым днем при совокупности стекающихся в оную различных народных элементов, а правительство отдаляется, при-

[1] ЦГАОР, III отд., 1-я эксп., ед. хр. 97, ч. 2, л. 4—4 об.

ближаясь более и более к разрушению, подготовленному для него неутомимым старанием революционной партии и наступательными действиями недовольных...» Их действия «угрожают опасностью общественному спокойствию и престолу. Действительные меры для охранения государства от внутренних врагов необходимы». Для этого «общий объем действий» правительства «должен быть подчинен твердой программе». Вторая и третья части доклада дают разработку практических мер, из которых главная — создание особой следственной комиссии для борьбы с революционерами. К докладу приложен список из 50 человек, у которых предполагалось «сделать одновременный строжайший обыск»: Чернышевский, Шелгунов, Обручев, братья Серно-Соловьевичи, Благосветлов и др. Против фамилии Благосветлова стоит следующая приписка: «Литератор. Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству и первенствует в Шахклубе, где ведет резкие разговоры» [1]. Обыски были произведены, однако не дали ожидаемых результатов. Печально знаменитые майские пожары в Петербурге послужили формальным поводом для начала активных действий против сил крестьянской демократии. В июне 1862 года был арестован Чернышевский, несколько раньше — Писарев, чья прокламация о Шедо-Ферроти попала в III Отделение.

Пятого августа следственная комиссия кн. Голицына докладывала III Отделению: «Последствия... допросов в продолжение минувшей недели указали на неблагонамеренность действий проживающих в С.-Петербурге прикомандированного ко II кадетскому корпусу гвардии штабс-капитана Попова и литератора, занимавшегося в редакции «Русское слово», Благосветлова... Но имеющиеся в виду о сих лицах данные не могут еще служить достаточным поводом к принятию касательно их решительных мер и к их арестованию. Посему, для большего разъяснения поступков этих лиц, комиссия обратилась к управляющему III Отделением об учреждении секретного наблюдения за Поповым, Благосветловым...» [2]

Несмотря на репрессии правительства против сил

---

[1] ЦГАОР, III отд., 1-я эксп., ед. хр. 230, ч. 1, л. 53.
[2] ЦГАОР, III отд., 1-я эксп., ед. хр. 320, ч. 10, л. 55 об.

демократии, к концу 1862 года связи Благосветлова с революционным подпольем становятся все более тесными. Как свидетельствует А. Слепцов, в ноябре 1862 года, после ареста А. Серно-Соловьевича, «было решено, что места братьев Серно-Соловьевичей (в Центральном комитете «Земли и воли». — *Ф. К.*) займут Н. Утин и Г. Е. Благосветлов»[1].

Таким образом, с ноября 1862 года Г. Е. Благосветлов наряду с А. Слепцовым, Н. Обручевым, В. Курочкиным и Н. Утиным становится одним из руководителей этой огромной для того времени революционной организации (по данным Слепцова, только в Москве и ее округе насчитывалось около 400 действительных членов «Земли и воли»). Примерно с мая 1863 года из всех пяти членов Центрального комитета могли продолжать свою работу только В. Курочкин и Г. Благосветлов: 4 января 1863 года уехал за границу Слепцов;[2] в первых числах мая 1863 года, вследствие провала «Казанского заговора», бежал за границу Н. Утин;[3] с начала 1863 года, после освобождения из крепости предателя Костомарова, начавшего слежку за знакомыми ему радикально настроенными офицерами, решением Центрального комитета был отстранен от активного исполнения обязанностей члена комитета Н. Обручев[4]. А между тем работа «Земли и воли» продолжалась в течение всего лета 1863 года, в частности, в июле 1863 года Центральным комитетом был выпущен № 2 листка «Свобода».

В свете приведенных выше фактов нельзя игнорировать те многочисленные агентурные донесения о революционной деятельности Благосветлова, которые имеются в архиве III Отделения. В какой-то степени они раскрывают роль и практическую деятельность Благосветлова в «Земле и воле». Правда, часть этих донесений принадлежит бывшему студенту Технологического института, исключенному в 1861 году за участие в беспорядках, сыну смотрителя пересыльной тюрьмы Волгину, к показаниям которого следует относиться с особой осторожностью. Будучи привлечен к политическому сыску, Волгин казался обер-полиц-

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, с. 85.
[2] Там же, с. 89.
[3] Там же, с. 98.
[4] Там же, с. 97.

мейстеру Анненкову, по словам М. Лемке, «очень ловким и сведущим агентом в области политической работы, в которой тогдашние полицейские были очень невежественны»[1]. Однако, как свидетельствует М. Лемке, «Волгина этого проследили агенты «Земли и воли»... посылали ему вздорные доносы и всячески водили за нос». И тем не менее, продолжает исследователь, хотя Волгин в силу этого и «городил всякий вздор», он «все-таки иногда направлял внимание своего патрона на настоящих землевольцев, не подозревая их истинной роли в обществе»[2].

Последнее прежде всего относится к донесениям Волгина о Благосветлове. Эти донесения никак не могли быть инспирированы агентами «Земли и воли»; вряд ли последним было выгодно «водить за нос» Волгина, сообщая данные о революционной деятельности члена Центрального комитета «Земли и воли» Благосветлова. Между тем Волгин, особенно в начале своей сыскной деятельности, почти в каждом доносе пишет о Благосветлове как об одном из руководителей революционной партии. Донесения эти совпадают с теми данными о революционной деятельности Благосветлова, которые имеются в воспоминаниях Слепцова. Они подтверждаются и донесениями других агентов, хранящимися в архиве III Отделения. Вот почему, на наш взгляд, им следует доверять в гораздо большей степени, чем многим другим донесениям Волгина, которые действительно имеют явно вымышленный характер.

В начале 1863 года Волгин доносил петербургскому обер-полицмейстеру Анненкову: «Со времени последнего моего визита у Вашего превосходительства я продолжал следить за всеми действиями известной Вам партии. Главное и видное место нынче в круге ее действий в Петербурге принадлежит г-ну Благосветлову, бывшему главному члену Шахматного клуба, ныне редактору журнала «Русское слово». Поэтому я решился искать случаев познакомиться с ним лично для ближайшего следования за действиями партии, в которой, как мне положительно известно, он занимает одно из первых мест, и, как кажется, судя по слы-

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, с. 165.

[2] Там же.

шанным мною намекам от разных лиц, он из числа членов теперешнего петербургского комитета, состав которого недавно переменился и потому неизвестен еще мне вполне»[1].

Посылая 19 марта донос Волгина в III Отделение, обер-полицмейстер Анненков добавлял от себя: «Сведения эти имеют свое значение... как подтверждение того предположения, что последняя прокламация («Льется польская кровь». — *Примеч. Лемке*) могла быть напечатана в типографии «Русского слова». Образ мыслей, направление и вся предшествовавшая деятельность Благосветлова... допускают возможность подобного предположения. Лицо, доставившее мне прилагаемые сведения, заверяет положительно, что предпоследняя прокламация «К образованным классам» была напечатана в типографии «Русского слова» и что Благосветлов был вынужден ее напечатать, чтобы сохранить в своем кружке то значение, которого он добивается»[2].

Далее Анненков писал: «...Деятельность упоминаемого общества требует очень строгого надзора. Сознавая эту потребность, я обязанностию считаю сообщить некоторые сведения о типографии, в которой печатается «Русское слово» и в которой Благосветлов считается главным распорядителем. Типография эта в бранных газетных статьях между Стелловским и Гиероглифовым названа первым из них «темной», что вполне справедливо. Кто заведует ею и даже кому она принадлежит, неизвестно; по спискам, ведущимся полицией, она записана на имя подполковника Рюмина, с соблюдением всех установленных на этот предмет формальностей; между тем Рюмин есть подставное лицо. При устройстве ее в 1858 году граф Кушелев-Безбородко употребил на нее свой капитал и передал ее в управление Рюмину, на имя которого она и была записана. Вследствие несогласий, вышедших между ними, граф Кушелев-Безбородко отнял типографию от Рюмина и передал ее в 1860 году в арендное содержание коллежскому секретарю Сединскому, а в 1861 году взял ее в свое распоряжение. Все это время она сохраняла фирму Рюмина, который

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, с. 168.

[2] Там же, с. 169.

в прошлом, 1862 году, в сентябре месяце, ходатайствуя о переводе типографии в Московскую часть, упомянул, что заведение это находится во временном распоряжении г. Гиероглифова. В сущности же выходит, что Благосветлов заведывает ею на правах полного хозяина»[1].

С этого времени полиция не прекращала тщательной слежки за Благосветловым.

14 апреля 1863 года обер-полицмейстер Анненков докладывал Долгорукому: «В. предупредил меня, что на святой неделе выйдет прокламация, и заявил положительно, что она будет печататься в типографии Благосветлова. Это вынудило меня поместить одного из агентов моих наборщиком в означенную типографию, и если прокламация действительно вышла в свет оттуда, то я буду знать это в очень скором времени. Скорее полагать можно, что она печаталась где-либо на дому, но во всяком случае не подлежит сомнению, что Благосветлов есть главный распорядитель этого дела»[2]. Анненков подчеркивал здесь, что сведения Волгина «сходятся во многом с теми сведениями, которые уже имеются насчет этого предмета».

Вполне возможно, что Анненков переоценивал старательность своего агента. Во всяком случае, не довольствуясь донесениями Волгина и агента, направленного в качестве наборщика в типографию к Благосветлову, III Отделение тщательно собирает любые данные, хоть в какой-то степени бросающие свет на революционную деятельность Благосветлова.

«Вчера узнано,— сообщает 12 апреля 1863 года один из агентов,— что в конторе типографии Рюмина, принадлежащей Благосветлову, два раза в неделю собираются литераторы будто бы по делам... Подобное собрание было вчера, и агент, который по обыкновению хотел войти в контору означенной типографии, не был допущен»[3].

«Издатель газеты «Мировой посредник» Евгений Карнович,— докладывает 8 мая 1863 года другой агент,— рассказывал одному моему знакомому, что у Благосветлова есть типографский станок в квартире

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, с. 169—170.

[2] ЦГАОР, III отд., 1-я эксп., ед. хр. 97, ч. 2, л. 26—26 об.

[3] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 219, л. 2.

его любовницы. Что у Благосветлова на квартире есть станок для корректурных листов — о том уже давно находили сведения, но на это, сколько известно, он имеет разрешение»[1].

Однако все попытки III Отделения собрать улики против Благосветлова, достаточные для того, чтобы арестовать его, оказались безуспешными. В июне 1863 года III Отделение подсылает к Благосветлову нового агента в надежде на успех.

«Сближение с Благосветловым, который держит себя чрезвычайно осторожно и скрытно,— сообщает по этому поводу 22 июня 1863 года Анненков в III Отделение,— имелось постоянно в виду, но все попытки достигнуть этой цели до сих пор не увенчались успехом. Ныне вновь приступлено к этому сближению посредством подсылки к нему агента со статьею, написанной в либеральном духе, для напечатания в издаваемом им журнале. Благосветлов принял его сначала с холодностью, не подымая даже глаз; когда же агент объяснил ему причину своего посещения и вручил статью, то он, прочитав часть оной, осмотрел его через очки и сказал, чтобы он зашел к нему за ответом сегодня...

От сегодняшнего свидания будет зависеть, удастся ли сближение с Благосветловым»[2].

Однако «сближение» и на этот раз не удалось. В агентурной записке от 24 июня 1863 года сообщалось, что Благосветлов отказался печатать эту статью и направил агента к Краевскому, а на прощание «попросил его написать на статье имя и фамилию свою, а также адрес», сказав, что пригласит его, когда потребуется[3].

Больше донесений от этого агента не последовало.

Это отнюдь не значило, что слежка за Благосветловым прекратилась. В агентурном донесении неизвестного нам агента от 23 июля 1863 года говорилось: «Один из сотрудников «Русского слова», издаваемого Благосветловым, офицер Попов, рассказывал книгопродавцу Д. Федорову, что на днях появилось новое воззвание, которое клали в карманы во время бывшего в Ильин день крестного хода. Агенты, нароч-

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 219, л. 4.
[2] Там же, ед. хр. 1998, л. 1—2.
[3] Там же, л. 4.

но посланные для наблюдения за распространением подобным образом на крестном ходе воззвания, сообщили, что они ничего такого не заметили. Видно, г-н Попов хорошо знал, каким образом воззвание должно было распространяться»[1].

Другой агент сообщал 26 июля 1863 года: «Молодой литератор Тройницкий, занимающийся у Благосветлова, находясь в нетрезвом виде, был спрошен нашим агентом о последнем воззвании «Свободы», которое он (Тройницкий.— *Ф. К.*) называл периодическим листком. Он отвечал уклончиво, но все-таки же сказал, что листок этот появлялся редко, потому что типография плохо организована; но что со временем и очень скоро он будет появляться постоянно»[2].

Генерал Анненков в июле 1863 года ставил в известность управляющего III Отделением Потапова: «С.-Петербургским обер-полицмейстером получены сведения, что последнее воззвание «Свобода» положительно исходит из кружка Благосветлова и Василия Курочкина, что склад его находится у содержателя книжной лавки на Васильевском острову Гайдебурова и что готовится новое воззвание, которое должно появиться в первых числах августа и печататься на Выборгской в типографии Зиновьева»[3].

В ночь с 23 на 24 июля, по распоряжению Анненкова, у Благосветлова, Курочкина, Гайдебурова и Гиероглифова был сделан тщательный, но безуспешный обыск — как в квартирах, так и в типографии Благосветлова. И тем не менее основательность предположения Анненкова и достоверность получаемой им информации подтверждается тем, что в первых числах августа 1863 года действительно появилось новое воззвание «Земли и воли» — «На суд народный!». Причем совершенно другие свидетели тут же указали на Благосветлова как на человека, прямо причастного к данному воззванию. 7 августа 1863 года в III Отделение поступил анонимный донос: «Вышло новое воззвание под заглавием «На суд народный!»... Адрес, по словам Гриневского (сотрудник «Сельского хозяйства».— *Ф. К.*), написан рукой Благосветлова, которая

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 222, л. 5.
[2] Там же, л. 6.
[3] Литературное наследство, № 25—26, с. 608—609.

ему хорошо известна»[1]. Почерк Благосветлова настолько характерен, что человеку, действительно знавшему его, ошибиться было невозможно.

Все это объясняет ту уверенность, с которой Анненков неоднократно утверждал, что именно в типографии Благосветлова и в редакции «Искры» была сосредоточена деятельность тайных обществ.

Не случайно многочисленные доносы об этих прокламациях не касаются больше ни одной типографии, кроме типографии «Русского слова», которая, как известно, являлась собственностью Благосветлова и была очень удобным местом для печатания прокламаций.

Хотя для доказательства того факта, что перечисленные листовки действительно печатались в типографии «Русского слова», требуются дополнительные разыскания, то, что Г. Е. Благосветлов был не только членом, но и одним из руководителей «Земли и воли» 60-х годов, вряд ли подлежит сомнению. Ни об одном из руководителей «Земли и воли» в анналах III Отделения не хранится столько сведений, сколько имеется их о Благосветлове. Воспоминания Слепцова, дополненные агентурными донесениями, убедительно показывают, какую незаурядную роль играл в тайной революционной организации 60-х годов Г. Е. Благосветлов.

Возможно, что в донесениях III Отделения многое искажено, что-то преувеличено. Возможно и другое: эти донесения отражают лишь малую толику той работы, которую вел в революционном подполье Благосветлов. Все это подлежит дальнейшему изучению и уточнению. Но можно считать установленным одно: Благосветлов действительно состоял в тайной революционной организации 60-х годов и был одним из практических руководителей ее. И преуменьшать значение этого факта, а уж тем более замалчивать его советскому литературоведению не следует.

Не фальшивая версия о Благосветлове-эксплуататоре, а точные исторические факты, свидетельствующие о выдающейся роли этого «настоящего политического бойца в якобинском вкусе»[2] в истории русского рево-

---

[1] Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, с. 175.

[2] Засодимский П. Из воспоминаний. М., 1908, с. 199.

люционного движения 60-х годов, — вот что должно в первую очередь приниматься во внимание при изучении мировоззрения Благосветлова в этот период.

3

Как же в свете этих фактов следует относиться к распространенной версии о Благосветлове как «журнальном эксплуататоре»? Как относиться к свидетельствам некоторых современников, в частности Шелгунова, утверждавших, что в облике Благосветлова проявлялись черты буржуазности?

Очевидно, отбросить их никак нельзя. Наоборот, правильнее будет проверить их фактами, понять и объяснить.

Наиболее полную характеристику Благосветлова дал Шелгунов, который относил его к «переходным характерам» пореформенного времени, той бурной эпохи, которую мы называем эпохой буржуазного преобразования России. Шелгунов подчеркивал, что Благосветлов был подлинным разночинцем, как по происхождению, так и по облику своему, что он «не был... барином» и относился с презрением ко всякому барству. Вместе с тем Шелгунов отчетливо видел все отрицательные черты Благосветлова и писал о них.

Со временем, по свидетельству Шелгунова, Благосветлов постепенно превращался в человека «буржуазного типа», «получился двойственный человек, честный политически и в то же время давивший экономически, человек, признававший полное равенство в политических правах и не допускавший равенства между собой и теми, кому он платил жалованье и кто на него работал»[1].

Однако контекст «Воспоминаний» Шелгунова показывает, что это превращение Благосветлова произошло не в 60-е годы, а значительно позже, хотя предпосылки этой так ясно обнаружившейся со временем двойственности существовали, конечно, и раньше. Предпосылки эти заключались не только в чертах характера Благосветлова (а они были, отмечает Шелгу-

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 288.

нов, не во всем приятные), но и в двойственности мелкобуржуазной природы разночинца. Вместе с тем Шелгунов подчеркивал, что эти «его недостатки были лишь его личными недостатками, а не недостатками его общественно-политических убеждений. Как публицист и общественный деятель Благосветлов оставался всегда верен себе... Он твердо держался одних и тех же политических и общественных принципов, никогда и ни при каких обстоятельствах (а он их тоже испытал) не изменял своим политическим убеждениям и составил себе репутацию человека вполне честного политически» [1].

При всех личных недостатках его характера (он «был очень упрям, очень раздражителен и очень запальчив», «был человек тугой, неподатливый, замкнутый, не открывающий своей души, подозрительный») Благосветлов, утверждал Шелгунов, имел «широкую, размашистую» натуру и несправедливо обвинялся в скупости.

Факты показывают, что применительно к 60-м годам, периоду взлета общественно-политической деятельности Благосветлова, утверждение об эксплуатации Благосветловым сотрудников «Русского слова» никак не соответствует действительности. Такими фактами, позволяющими установить истину, являются прежде всего нормы расчетов Благосветлова с сотрудниками с учетом количества подписчиков, а следовательно, и реального дохода, который имел журнал.

Когда речь заходит об эксплуататорских тенденциях Благосветлова в период редактирования им «Русского слова», исследователи приводят обычно тот факт, что Благосветлов платил Писареву в этот период всего 50 рублей за лист [2]. Часто приводится также письмо Писарева Благосветлову, начинающееся так: «Бесстыжие твои глаза! Ты меня огрел при расчете на 77 р. 50 к. сер., которых я тебе не подарю ни за какие коврижки» [3].

Но исследователи не учитывают того, что, разъяснив Благосветлову, как это получилось («число написанных мною листов определено у тебя неверно. По-

[1] Шелгунов В. Н., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 287.

[2] См.: Соловьев Е. А. Д. И. Писарев. СПб., 1893, с. 71.

[3] Русское обозрение, 1893, № 6, с. 818.

твоему выходит с чем-то 64 листа, а по-моему 66 листов и 5 страниц...»), Писарев продолжает свое письмо так: «Правда ли, что у нас всего только 1700 подписчиков? Если правда, то не поторопился ли ты прибавить мне по 10 руб. за лист?»[1]

В письме от 7 августа 1865 года Писарев напоминает Благосветлову: «...старые же наши условия состоят в том, что я получаю по 60 р. сер. за печатный лист и, кроме того, *четвертую* долю барышей, когда они окажутся в наличности»[2].

Таким образом, Благосветлов действительно платил Писареву 50 рублей за лист, причем с начала 1865 года увеличил полистную плату на 10 рублей по собственной инициативе, чем вызвал даже упреки Писарева. Кроме того, Писарев имел право на дивиденды, равные $^1/_4$ части прибыли, когда эта прибыль будет в наличности.

Являются ли эти условия в самом деле несправедливыми и эксплуататорскими?

Это можно установить, сопоставив условия, на которых работал в журнале Писарев, с условиями, на которых работали, к примеру, сотрудники «Современника».

По данным Евгеньева-Максимова, Чернышевский в период 1856—1857 годов получал в «Современнике» 40 рублей за печатный лист, в 1858—1862 годах — 50 рублей за печатный лист. Добролюбов до сентября 1857 года получал по 30 рублей за лист, с сентября 1857 года по май 1858 года — 40 рублей за печатный лист и, наконец, с мая 1858 года — 50 рублей за лист. Начиная с 1861 года оба писателя вошли в число дольщиков журнала, в силу чего их заработок в 1861 году резко увеличился: они получили в этом году по 5000 рублей дивиденда.

Елисеев и Пыпин получали в 1863 году также 50 рублей за лист.

Таким образом, условия сотрудничества в «Русском слове» Писарева, с одной стороны, и Чернышевского, Добролюбова и других публицистов «Современника», с другой, были одинаковыми. Писарев являлся также дольщиком «Русского слова» и если не получал своей доли в прибылях, то не по вине Благо-

---

[1] Русское обозрение, 1893, № 6, с. 818—819.
[2] Там же, № 8, с. 805.

светлова. Дело в том, что «Русское слово» в 1860 году (в момент прихода туда Благосветлова) имело всего 1200 подписчиков. В 1861 году «Русское слово» завоевало 2100 подписчиков[1]. Согласно почтовым ведомостям, в 1862 году у журнала было 4000 подписчиков[2]. За 1863 год у нас данных нет, но, очевидно, число подписчиков в этом году — самом тяжелом году для журнала — никак не превышало числа подписчиков в 1864 году. А в 1864 году «Русское слово», по данным Санкт-Петербургского цензурного комитета, печаталось в количестве 2000—2500 экземпляров («Современник» в это время, по тем же данным, печатался в количестве 5500—6500 экземпляров)[3]. В 1865 году «Русское слово» печаталось в количестве 3000—3300 экземпляров («Современник» — 6000—4250 экземпляров)[4].

Если учесть, что тираж журнала обычно превышал подписку, то станет ясно, что в период 1863—1864 годов «Русское слово» имело никак не более 2500 подписчиков, а в 1865 году — не более 3300 подписчиков. «Современник» же уже в 1859 году имел 5000 подписчиков, в 1860 году — 6000, в 1861 году — 7000, в 1862 году — около 6000, в 1865 году — 6000 в начале года, 4250 — в конце. Таким образом, число подписчиков, а следовательно, и общий доход журнала «Современник» в 2—3 раза превышали доход журнала «Русское слово». Последний был еще вдобавок дешевле «Современника».

Зная истинное положение дел в «Русском слове» с подпиской, трудно не верить Благосветлову, постоянно жаловавшемуся на денежные трудности. И не в упрек[5], а в заслугу Благосветлову следует поставить

---

[1] См.: Русское слово, 1865, № 9 (Благосветлов Г. Ответ г. подписчику «Русского слова»).

[2] Лемке Мих. Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904, с. 192.

[3] Центральный государственный исторический архив (Ленинград) (ЦГИАЛ), ф. 777, оп. 2, ед. хр. 1, л. 3.

[4] Там же, ед. хр. 38, л. 31 об. В. П. Соболев в брошюре «Журнал «Русское слово». Публицистика Писарева» (М., 1955, с. 22) указывает, что тираж журнала к 1865 году «поднялся с 1200 до 5000 экземпляров». Источник этих сведений не указан. Приведенные здесь архивные данные показывают, что сведения эти — одна из многочисленных ошибок, допущенных В. П. Соболевым.

[5] Л. Э. Варустин в своей диссертации пишет: «Благосветлов лично обогатился, стал владельцем типографии издательства...» (с. 292).

тот факт, что, несмотря на большие материальные трудности, он не только вел журнал, но и изыскал возможность приобрести типографию и организовать издательство, чтобы этим путем пропагандировать демократические идеи. Этот факт не только не подтверждает того, что Благосветлов в 1860—1866 годах был эксплуататором, но, наоборот, убедительно показывает, что, издавая журнал, предпринимая немалые усилия для организации издательства, Благосветлов стремился не к личному обогащению, но к максимальному идейному воздействию на общество. Мы не собираемся оспаривать наличие некоторых не совсем приятных личных качеств Благосветлова. Очевидно, он действительно был по-деловому расчетлив, прижимист. По-видимому, эти черты характера в последующем, в 70-е годы, в какой-то мере действительно определяли отдельные неправильные поступки и проступки, которые допускал Благосветлов.

Но вряд ли можно говорить о буржуазных мотивах журнальной деятельности Благосветлова, в особенности в период 1860—1866 годов. Вряд ли можно утверждать, что Благосветлов рассматривал журнал «Русское слово» как средство личного обогащения.

Журнал был ему дорог не как финансовое предприятие, а как трибуна.

Таковы некоторые факты общественной биографии Г. Е. Благосветлова, до сих пор не учитывавшиеся нашими исследователями. Факты эти — они отнюдь не являются исчерпывающими — заставляют отбросить привычные представления о Благосветлове и пристальнее всмотреться в его общественную и литературную деятельность, внимательно изучить то обширное публицистическое наследство, которое осталось после него.

Они объясняют ту стремительную и целеустремленную эволюцию, которую претерпел журнал «Русское слово» в 1860—1862 годах.

Глава IV

ПОД ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ

1

«Между редактором и его сотрудниками должны быть согласие и спетость,— без этого нет идеи и ее результатов»[1] — этот принцип положил Благосветлов в основу своей редакторской деятельности. Благосветлов пришел в журнал с убеждением, что только четкое и последовательное направление, единство и целеустремленность позиций принесут журналу успех.

«Положим,— писал он позже Шелгунову,— что мы выиграем в солидности фактов, в основательности мнений, если поручим Костомарову разбирать историю Соловьева, Пыпину — домострой, Кавелину — гражданские законы, Прыжову — оружие Грановитой палаты; но черт ли в этой солидности? Ведь это будет концерт из кастрюль, сковород, ухватов и кухонной посуды, это будет ученая окрошка, приготовленная на филистерском бульоне, это будет то, что противно моей душе и голове хуже рвотного»[2].

Сам подход Благосветлова к изданию журнала был противоположен кушелевскому. И буквально с первых же номеров редактируемого им журнала Благосветлов начинает проводить свои идеи в жизнь.

Не надо думать, что это было легким делом — коренным образом преобразовать журнал, перевести его на демократические рельсы. Задуманное Благосветловым преобразование журнала встречало немалые трудности.

Трудности эти были связаны, прежде всего, с тем, что предстояло освободиться от многих постоянных сотрудников журнала и сформировать новый круг публицистов и критиков «Русского слова», близких по убеждениям Благосветлову, способных донести до читателя демократические и материалистические идеи, Так как цвет демократической публицистики был сосредоточен к этому времени вокруг «Современника» (даже М. Михайлов и Н. Шелгунов, начинавшие свой творческий путь в «Русском слове», перешли к этому

---

[1] Звенья, 1932, № 1, с. 329.

[2] Благосветлов Г. Е. Соч. СПб., 1882, с. XXII.

времени туда), перед Благосветловым встала нелегкая задача: найти людей, сплотить демократически настроенных журналистов вокруг своего издания. В течение месяца-двух этого сделать было нельзя.

Трудности не могли не усугубляться и тем обстоятельством, что в течение 1860—1862 годов Благосветлов не был ни редактором, ни издателем «Русского слова». Он был лишь «управляющим редакцией» у графа Кушелева-Безбородко. Последний самолично отвечал за направление журнала перед цензурой и перед правительством и неоднократно подчеркивал, что хочет «иметь полное влияние на направление его», а не ограничиваться ролью «плательщика». Кушелев-Безбородко сам стремился сотрудничать в журнале и, вдобавок, имел немалое число «литературных друзей», которых было трудно не печатать в «Русском слове».

И тем не менее начиная с середины 1860 года Благосветлов стремится привести журнал к единому *демократическому* знаменателю. Правда, на протяжении 1860—1861 годов в журнале еще явственно различаются две струи, два потока материалов — демократический и безлико либеральный. На первых порах продолжает печатать в журнале свои умеренно-либеральные статьи А. Лохвицкий. В течение 1860—1861 годов продолжают сотрудничать в «Русском слове» поэты «чистого искусства» Я. Полонский, А. Майков, А. Фет. В номерах «Русского слова» за вторую половину 1860 — первую половину 1861 года можно встретить немало противоречивого, непоследовательного, такого, что уже не встретишь на страницах этого журнала в 1862 или 1863—1866 годах.

И все-таки уже в это, переходное для журнала время явственно ощущаются серьезные сдвиги, отрадные перемены.

Уже с июля 1860 года Благосветлов перестает печатать в журнале статьи одного из столпов кушелевского «Русского слова», ведущего сотрудника отдела критики М. Де-Пуле.

В августе 1860 года прекращает печататься бесталанный либеральный публицист Е. Моллер, а в октябре 1860 года прекращают сотрудничество в журнале два других либеральных столпа «Русского слова» — Лохвицкий и Казембек.

Позже Благосветлов в заметке «От издателя» писал о начале своей редакторской деятельности в «Рус-

ском слове»: «...всматриваясь в самый состав редакции, я нашел ее совершенно на бюрократическом положении. Его превосходительство профессор Казембек получал, кроме полистной платы, 150 р. в месяц только за ту честь, которую он оказывал своим именем и статьями журналу: г. Лохвицкий за ту же честь получал 100 руб. и т. д. Находя, что при 1200 подписчиках «Русского слова» в 1860 году такая честь дорого обходится журналу, я скоро расстался со многими почетными филистерами, разумеется, не без борьбы, и повел журнал на новых основаниях» (1865, 9, III, 6).

Но кем заменить этих чуждых Благосветлову по убеждениям сотрудников? Эта задача оказалась не из легких.

Прежде всего Благосветлов много и плодотворно сотрудничает сам. В редком номере «Русского слова» не появляется его статья, а иногда — и две-три статьи. Активно сотрудничает в «Русском слове» его близкий друг и помощник по редакции, человек демократических убеждений В. Попов — воспитанник И. Введенского. Переписка Благосветлова с Д. Мордовцевым, относящаяся к 1860—1862 годам, показывает, в каком направлении стремился Благосветлов влиять на историка Д. Мордовцева, рассчитывая в его лице иметь полезного для «Русского слова» сотрудника. «Честный человек — тот, кто честен в своем убеждении и прав в деле мысли... Лучше брать взятки, чем горланить против студентов, когда их бьют, против материализма...»[1] — писал ему Благосветлов.

Благосветлов исповедовал своеобразный культ гражданской честности, ее он ставил на первое место среди прочих человеческих добродетелей, и отнюдь не фразой звучали вот эти его строки в другом письме к Мордовцеву: «Да отсохнет мой язык, если я стану говорить против того, в чем искренне убежден; а мнения свои я привык выражать откровенно...»

И, конечно же, не только уважение к человеческим убеждениям, но и чистоту, само направление их стремился передать Благосветлов сотрудникам «Русского слова». «Мне предстоит возвратить совесть и честь не одному изданию, но и самой редакции...» — писал он

[1] Письмо Г. Благосветлова Д. Мордовцеву от 12 декабря 1861 г.

Мордовцеву 4 августа 1860 года, то есть в самом начале своей редакторской деятельности.

Переписка Благосветлова с Мордовцевым времен 1860—1862 годов помогает понять суть той гражданской программы, на которой Благосветлов стремился сплотить сотрудников. «Признаюсь Вам,— пишет он Мордовцеву 4 марта 1861 года,— я никогда не понимал науку для науки, искусство для искусства. Но для меня понятны усилия ума и сердца, направленные к общему народному делу». Такова основа положительной программы Благосветлова в отношении науки, литературы и журналистики: дело народа и жизнь народа — тех «шестидесяти миллионов грязных тулупов и лаптей», освобождению которых от угнетения и нищеты любой гражданский честный человек должен посвятить всю свою жизнь.

Он всячески поддерживает Д. Мордовцева в его пристальном внимании к жизни и истории угнетенного крестьянства и безоговорочно встает на его сторону в споре с историком Костомаровым, который высмеял Мордовцева за то, что в своем исследовании «О крестьянах Юго-Западной Руси XVII века» тот был излишне пристрастен к «хлопам». Поименовав «хлопов» «неграми XVII века», Благосветлов писал: «Вы совершенно правы, более чем правы,— вы становитесь на такую почву, с какой трудно сбить современного мыслителя не только Николаю Ивановичу (Костомарову.— *Ф. К.*), но — всем всероссийским пушкам. Если не ошибаюсь, наш век вытянет за уши демократический принцип и проведет его в жизнь так или иначе. Факты, стремления и борьба — все за него. Но эта идея слишком нова для нас, и потому Катковы, Краевские и весь гостиный двор нашей литературы относятся к ней чем-то вроде тех средневековых ученых, которые не могли без дурацкого колпака и докторской рясы войти в аудиторию и показаться людям. Николай Иванович перенял их ухватки. Совершенно согласен с Вами, что он шутит неосторожно, что он шутит огнем над своим париком. Я могу ошибаться, увлекаться, но не потворствовать ученой придури, тем паче неприличным шуткам с народом...» (письмо Д. Мордовцеву от 27 июня 1861 года).

«Демократический принцип» означает для Благосветлова прежде всего яростное отрицание всего того, что стоит на пути к счастью и благоденствию кресть-

янства. Письма его к Мордовцеву полны гневных, неистовых филиппик в адрес самодержавно-крепостнической действительности. Он видит в отечественной истории «одну живую сторону — отрицание...». «...Желчность моя иногда брызжет горечью против всякого желания с моей стороны, — пишет он Мордовцеву 4 марта 1861 года, то есть две недели спустя после крестьянской реформы. — Такова уже обстановка жизни: надо иметь чугунные нервы и сердце-тряпку, чтобы сохранять то внутреннее спокойствие, которое я желал бы иметь». И он снова и снова клянет это общество, не имеющее «ни политической жизни, ни социальных сил, ни даже честности», этот «мир, для которого кнут был бы слишком благородным наставником», потому что «гниет все, все падает и, главное, все утешает себя жизнью и совершенством» (письмо от 4 марта 1861 года).

Неистовость отрицания Благосветловым существующих правопорядков, мера его ненависти к самодержавию и крепостничеству засвидетельствована во многих воспоминаниях современников. Естественно, далеко не все его современники писали об этой черте характера Благосветлова с восторгом. «Больше всех выживал меня отсюда (из журнала. — *Ф. К.*) азартный и бешеный редактор Благосветлов, — писал, к примеру, пытавшийся в годы молодости сотрудничать в «Русском слове» Г. Потанин. — Бывало, зубами скрипит, кулаком грозит в воздухе и бестолково кричит: «Разите! Жарьте это гнилое общество! Покрепче, покрепче их». Теперь мне кажется смешно и забавно беснование Благосветлова, а тогда не было забавно. Бывало, стоишь, слушаешь наставления, а сам думаешь свое: «Как еще покрепче? Петропавловская крепость еще крепче твоего кулака, а у меня семья»[1].

При всей памфлетности этой характеристики в основе своей она верна. Таким он и был, этот неистовый отрицатель, «вспыльчивый донельзя и в пылу гнева страшно невоздержанный на язык...». В таком направлении и наставлял он своих сотрудников, выражая свои мысли порой с пугающей резкостью.

Точить сердцевину старого дуба, заслоняющего от народа свет божий, и точить его — то есть самодержавно-крепостническое государство, — пока оно не

[1] Исторический вестник, 1905, № 1, с. 477—478.

упадет, – вот основная идея всей деятельности Благосветлова в журнале «Русское слово». Идея, выраженная Благосветловым в одном из писем Мордовцеву (от 12 января 1861 года) с исчерпывающей точностью: «Демократический принцип с социальным отрицанием всего существующего – единственное знамя нашей эпохи. Подкопать надо огромную мину, но как можно шире, иначе упадет только один угол здания, а три угла останутся на ногах. Трудно вдруг подойти к этому принципу: сторожат нас, а все же подойти можно. Пока подходим: по дороге можно разбросать кой-какие материалы, пригодные потом, когда сведем все к итогу».

Сторожили новую редакцию «Русского слова» крепко. Письма Благосветлова Мордовцеву пестрят жалобами на «цензурные застенки», на «комитет восьми вселенских идиотов».

«...Наш язык не нравится цензуре; у меня в прошлом месяце погибло девять страниц за *нежность* тона и ласковость выражения... Шесть статей запрещено в «Русском слове» и в сентябрьской книжке; исполать им – нашим милым палачам!» – пишет он Мордовцеву 7 сентября 1860 года, то есть уже три месяца спустя после прихода в редакцию.

«С нами случился цензурный погром, – сообщает он в следующем письме от 16 октября 1860 года. – За статью о Белинском, страшно искаженную, меня хотели сослать за границу, закрыть журнал, но ограничились удалением от должности Ярославцева... С моего приезда у меня уничтожила цензура 6 печатных листов; еле держусь со своей «Политикой». Рахманинов сочиняет за меня целые страницы».

«Цензурный погром» случился, прежде всего, из-за статьи самого Благосветлова, подписанной инициалами Р. Р. и посвященной седьмому тому сочинений Белинского («Русское слово», 1860, № 9). Чиновник Главного управления цензуры Богушевич, разбиравший номер, в частности писал: «Статья эта должна обратить особенное внимание по нескольким выражениям... она заключает в себе следующие непозволительные фразы: «кругом него (Белинского) наслаждалось *ленивое барство,* привилегированная ничтожность» (с. 26); «где недоставало (у противников Белинского) ума, там служил им донос или ябеда» (27); «он первый заявил, что Гоголь (издав «Переписку с друзьями») изменил

знамени, растоптал собственную славу, из рабской готовности *подкурить через край царю земному и небесному*» (30)».

Заканчивалась записка Богушевича так: «В сентябрьской книжке «Русского слова» довольно ясно высказывается то направление, которому намерен следовать этот журнал под управлением нового лица, *Г Е. Благосветлова,* которому с июля поручено графом Кушелевым-Безбородко заведование редакцией», что «должно вызвать на будущее время особое внимание гг. цензоров к «Русскому слову» [1].

Четыре дня спустя после этого доклада цензор Ярославцев, пропустивший сентябрьскую книжку «Русского слова», был уволен в отставку, а председателю С.-Петербургского цензурного комитета было предложено объявить лично редактору «Русского слова» или заступающему его место, что «журнал сей неминуемо подвергнется запрещению, если не изменится замечаемое как в целом, так и в частностях его направление, несогласное с государственными учреждениями» [2].

В деле цензурного комитета «Об увольнении цензора А. Ярославцева от настоящей должности за допущение в журнале «Русское слово» статьи о сочинениях Белинского» подшита следующая расписка Благосветлова: «1860 года октября 5 объявлено мне, заведующему редакцией «Русского слова» во время отсутствия г. редактора-издателя определение Главного управления цензуры о том, что журнал «Русское слово» подвергнется запрещению, если направление его не будет согласно с духом и условиями государственных учреждений» [3].

Таким цензурным благословением началась для Благосветлова его журнальная деятельность. Продолжалась она в условиях все более тяжелых. Обратимся к письмам Благосветлова Мордовцеву:

«Цензура опять начинает бесноваться; в капризах этого дикого божества все зависит от погоды и желудка. Впрочем, смотреть на это нет особенной надобности; что ныне запрещают, то завтра дозволяют. Я же

---

[1] Центральный государственный исторический архив СССР (Москва) (ЦГИА), ф. 777, оп. 1, ед. хр. 374.

[2] Там же.

[3] Там же.

не думаю слишком поступаться и, пока достанет сил, не выдам ни одной честной строчки без боя»; «Всю мартовскую книжку перецензуровал новый цензор, и потому мы опоздали, как никогда не опаздывали. У меня было готово письмо к графу – с просьбой закрыть журнал, если не переменят Дубровского... этого польского лакея, заслужившего общее презрение в Петербурге». «Снова выговор, опять угроза запретить журнал, опять гонение на редакцию: ноябрьская книжка вышла 8 декабря, чего с нами еще не случалось. И чего только мы не изведали за это время. 12 листов печатных погибло в меотийских болотах цензуры, вся книжка прошла через цензурный комитет; ни одной статьи не осталось целой. Буря, впрочем, улеглась, и мы снова подымаемся, но как и с какими надеждами?»

И так без конца. Как понятны слова Благосветлова, вырвавшиеся у него в письме Мордовцеву от 4 марта 1861 года,– и года не прошло с тех пор, как он принял журнал:

«Признаюсь Вам, хуже, пошлее я ничего не знаю редакторской обязанности в журналистике. Много бы можно было сказать об этом предмете, да черт его побери со всей холопской литературой нашего Гения. «Русское слово» едва не задохлось под цензурой г. Дубровского – этого замечательного кретина и подлеца. Не перемени его нам еще два месяца, я бросил бы все и уехал бы в Киргизские степи от русской литературы; долее дышать нельзя было. Нам испортили год, и не один Дубровский; это была палка в руках людей того Дантова ада, где сочтены все наши помыслы, чувства, вздохи и стоны...»

Таковы были реальные обстоятельства, в которых начиналось новое «Русское слово». И мы не имеем права сбрасывать их со счетов, когда, основываясь на тексте журнала, прошедшего сквозь подобную цензуру, пытаемся сегодня определить истинное направление его. Мы не имеем права отказывать в уважении человеку, сумевшему в столь трудных цензурных условиях перевести журнал на новые рельсы и последовательно осуществлять программу, которую он выразил вот в этих словах: «Подкопать надо огромную мину, иначе упадет только один угол здания, а три угла останутся на ногах».

Но каковы пути подведения этой «огромной мины»

под устаревшее здание феодализма, самодержавия и крепостничества? В том ответе, который давал Благосветлов на этот вопрос уже в первые месяцы редактирования «Русского слова», мы увидим зачатки многих идей, которые впоследствии разовьют на страницах журнала Писарев и Зайцев,— правда, в иной, куда более талантливой форме.

Подведение мины под существующий правопорядок Благосветлов видел прежде всего в социальном воспитании народных масс. Этому должно было служить отрицательное направление идей, пропагандировавшееся на страницах «Русского слова».

«...Политический журнал пользуется особенной популярностью не потому, что он самый лучший и наставительный по своим отвлеченным теориям, а потому, что он постоянно будит ум России, сторожит за преобладающим чувством общества и выражает его в общедоступной и убедительной форме» (1860, 9, III, 2),— утверждал Благосветлов. И проводил этот принцип в жизнь.

Одновременно с привлечением новых сотрудников,— а процесс этот продолжался и в 1861, и в 1862, и в 1863 годах,— Благосветлов преобразовывает отделы журнала с тем, чтобы максимально приблизить его к запросам жизни действительной и из академического «учено-литературного» издания превратить его в орган политической борьбы.

С июля 1860 года в «Русском слове» появляется отдел «Политика» — обозрение политической жизни зарубежных стран. Этот отдел давал возможность журналу не столько освещать борьбу сил прогресса и реакции за рубежом, но на материале чужеземном ставить проблемы сугубо отечественные. Наиболее активным сотрудником этого отдела был сам Благосветлов. С сентября 1860 года он вел в этом отделе постоянный обзор современных событий. С ноября 1860 года в отделе «Политика» начинает печатать «Парижские письма» революционно настроенный французский публицист, будущий участник Парижской коммуны, Эли Реклю, который вскоре стал основным автором обозрения. Начиная сотрудничать в «Русском слове», он подчеркивал в своем первом обозрении, что считает литературную деятельность делом совести и глубокой честности: «...Интересней следить за современной политической историей, чем за скандалезной

и более или менее правдоподобной хроникой, наполняющей... «Фигаро». Для такого рода новостей я чувствую себя совершенно неспособным, потому что для знакомства с ними надо вести хлеб и соль с лакеями баронов или горничными маркизов» (1860, 11, III, 1).

В марте 1861 года после долгой борьбы с цензурой в журнале появился еще один новый отдел: «Современная летопись» – обозрение внутренней жизни России. Появление «Современной летописи», а также фельетона «Дневник темного человека» (его вел Д. Минаев) было большой победой редакции: эти отделы давали возможность выносить на обсуждение наболевшие проблемы, не обращаясь к материалу истории или чужеземных стран.

«Современная (с 1863 года – «Домашняя») летопись» стала ведущим отделом журнала.

Каково же то направление идей, которое Благосветлов и новые сотрудники «Русского слова» – пусть и непоследовательно на первых порах – стремились проводить в журнале в 1860–1862 годах?

2

Уже первый благосветловский номер журнала (№ 7 за 1860 г.) при внимательном, вдумчивом чтении и разборе его дает много для понимания нового направления «Русского слова». Этот первый номер, выпущенный под редакцией Благосветлова, естественно, был программным для него и заключал в себе тот комплекс идей, которые новый руководитель журнала намеревался проводить в жизнь.

Конечно, далеко не все в этом журнале было близким сердцу Благосветлова. Надо полагать, что и статья «Византийские женщины» Р. Орбинского, и «Обзор современных конституций» А. Лохвицкого, и обозрение «Общественная жизнь в Петербурге» Е. Моллера ни в коей мере не отвечали целям и намерениям нового руководителя журнала. Пока что подобные статьи – наследие прежнего «Русского слова» – приходилось печатать.

Но ядро июльской книжки «Русского слова» составили выступления, ничего общего не имеющие со статьями Р. Орбинского и А. Лохвицкого. Это были статья «Реформа Италии, как понимал ее Монтанел-

ли», рецензии на «Народные беседы» Д. Григоровича и «Всеобщую историю» Ф. Лоренца, принадлежащие перу Г Благосветлова, и статья об «Истории государственной теории» Ж. Феррари — В. Попова.

Сам выбор тем для выступлений в этом номере журнала тщательно продуман Благосветловым. Так, одну из своих статей он посвящает «Народным беседам» Д. Григоровича: издание «книжек для народа», предпринятое Григоровичем, являлось удобным поводом, чтобы поставить вопрос о просвещении и воспитании народа, вопрос центральный для Благосветлова.

«Наконец мы начинаем беседовать с народом, то есть говорить с ним человеческим языком. Это явление новое и в высшей степени достойное внимания литературы. Оно доказывает, что потребность народного воспитания становится одним из капитальных вопросов, с которым соединяется мысль о будущем России. В добрый час!» (1860, 7, II, 60) — начинает он статью о «Народных беседах».

Мысль о воспитании и просвещении народа как обязательном условии успешного решения всех социальных вопросов красной нитью проходит через все творчество Благосветлова. Этой мыслью он начал свое сотрудничество в «Русском слове» в 1859 году. «...Не горсть образованных людей, противопоставленная сотням тысяч обскурантов, а воспитание масс, решительный перевес света над тьмой необходимы для благотворных и зрелых реформ, и это справедливо», — писал он в своей первой напечатанной в «Русском слове» статье «О значении Парижского университета». Ни лезвием меча, ни блеском слова, ни звуком пропаганды ничего нельзя сделать там, где нет внутреннего сознания. До тех пор, пока народ не выработал результатов для своего перерождения, не приготовил себя путем строгого опыта и постепенного развития, все попытки его сбросить с себя ветхую жизнь остаются безуспешны. Франция не один раз оправдала на себе эту государственную проблему» (1859, 1, I, 40).

Приведенный только что комплекс идей будет десятки раз в различных формах и по разным поводам повторяться и комментироваться на страницах «Русского слова».

Воспитание внутреннего сознания народных масс как обязательное условие возрождения общества — из-

любленная идея Благосветлова. Она питалась той идеалистической концепцией исторического развития, которую, как и все демократы 60-х годов, разделял, а точнее — со всей страстностью своей натуры исповедовал Благосветлов.

Разум правит миром — это убеждение лежало в основе всех социальных построений Благосветлова. С этих позиций он осмыслял историю революционных движений масс, причины их побед и поражений.

«...Ум — сила, и притом главная сила человека. Для развития умственных способностей единственным орудием служит *знание,* в обширном смысле этого слова» (1861, 12, I, 13).

В этой связи Благосветлов придавал огромное значение умственному освобождению каждой отдельной личности, без чего не может быть, по его мнению, и умственного освобождения масс. «Умственная эмансипация отдельной личности есть высшая человеческая цель, к которой мы должны стремиться», — утверждал он.

Как много благосветловских идей мы впоследствии обнаружим у Писарева, — правда, в иной, блестяще-талантливой форме!

Благосветловские концепции и окрасят «Русское слово» в столь специфический, характерный цвет. Шелгунов писал впоследствии, сравнивая «Русское слово» с «Современником», что оно «явилось уже в такое время, когда острый момент всех вопросов миновал. Освобождение крестьян (худо или хорошо) теперь уже свершилось... Внутренняя политика в своих дальнейших вопросах стояла вне компетенции общества и журналистики и до обсуждения не допускалась. А между тем освобождение и новый суд, а потом и земские учреждения открывали очень широкий простор для новых вопросов и идей, непосредственно с ними связанных и как бы на время заслоненных таким грандиозным делом, как освобождение. Этим новым очередным вопросом было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к обществу и к общему прогрессу»[1].

Было бы ошибкой видеть в стремлении к умствен-

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 213—214.

ной эмансипации личности и воспитанию сознания народных масс, столь свойственном Благосветлову, разновидность мелкотравчатого либерального просветительства, предвосхищавшего теорию «малых дел». Нет, с самого начала идея воспитания масс органически сливается у Благосветлова с другой излюбленной идеей – идеей политической свободы как обязательного условия социального возрождения общества. «Все споры о политических формах и конституциях в последнем результате сводятся к следующему вопросу: насколько народ умен и честен, чтобы управлять собой? В этом – вся его сила и счастье. Следовательно, задача нашего времени состоит не в том, чтобы лепить разные теории и системы правительств, а в том, чтобы возвратить народу его здравый смысл, поднять общий уровень умственного образования и нравственного достоинства нации» (1862, 5, I, 15).

Снова и снова подчеркивает Благосветлов, насколько важным делом является, с его точки зрения, «умственное образование» масс.

«За победами следуют поражения, за революциями реакции, но за народным образованием никогда не возвращается варварство» (1860, 7, III, 58–59), – утверждает он в статье «Реформа Италии, как понимал ее Монтанелли», напечатанной в июльской книжке журнала за 1860 год.

Что это? Сомнение в результативности революционного пути? Не революция, но распространение грамотности и образование крестьян спасут Россию?

Ничего подобного.

Чтобы правильно понять здесь Благосветлова, надо разобраться, какое реальное содержание вкладывал он в понятие «народного образования», «народного воспитания». Этому и посвящена его статья «Народные беседы», издание Д. В. Григоровича». Высмеяв Григоровича, который рассказывает крестьянам о вулканах и географических тонкостях, Благосветлов дает понять, что русскому народу необходимы в первую очередь не прописные ученические истины, но *гражданское самосознание.*

В представлении Благосветлова книжка Григоровича наносит вред воспитанию народа, «выставляя ложь за истину, скрывая правду, придавая фактам неверное толкование и навязывая народу ту самую систему воспитания, которую, вероятно, прошел сам г. Григоро-

вич и которую он бесспорно считает лучшей. Характеризуя эту систему одним словом, ее ближе всего назвать запретительной. На основании ее с учениками позволяется говорить о всем, исключая того, что может возбудить в человеке сознание его человеческого достоинства, показать отношение его как человека к другим людям и показать ему верно причины, по которым то или другое общество находится в данный момент в том или другом положении» (1860, 7, II, 67).

По мнению Благосветлова, именно воспитание в человеке человека и гражданина, правильно осознающего свое отношение к другим людям и к обществу, и является главной целью образования.

Несколько позже он подробно раскрыл реальное содержание термина «воспитание»: «...воспитание есть развитие духовной стороны человеческой природы в известной степени и в известном духе, — то есть когда отдельный человек бывает направлен в том или ином духе, или когда целая народная масса постепенно образовала из себя известную нравственную среду, оживотворенную и проникнутую общими плодами своего воспитания — теми или другими принципами и идеями» (1861, 5, III, 4).

В другой своей статье — «Несколько слов по поводу воскресных школ» — он прямо скажет: «Кажется, пора перестать думать, что образование нам нужно для разных пристяжных целей... — нет, оно необходимо для подготовления нам человека и гражданина» (1860, 11, III, 4).

Этой цели — демократическому, гражданскому воспитанию масс — должны служить столь обильно создаваемые в 60-х годах «воскресные школы» (они были закрыты в 1862 году одновременно с «Русским словом», «Современником» и «Шахматным клубом»); такой форме общественного образования и воспитания Благосветлов придавал большое значение. Этой цели должны служить и книги для народа, и такое общественное предприятие, как журнал.

Первое условие, которое Благосветлов ставил перед воспитателями народа, — это честные убеждения. «Кто желает говорить с массой, тот должен иметь и уважать свои убеждения» (1860, 7, II, 62). Задача заключается в том, чтобы передавать эти убеждения людям, открывать глаза народу на истинное положение вещей, будить в нем политическое самосознание.

«Народу прежде всего необходима истина. В его понятия закралось так много лжи, суеверия, намеренно и ненамеренно искаженных начал, что он ежеминутно должен бороться с фальшивыми призраками своего собственного воображения. На могиле отцов ему мерещатся привидения, в гадании старой бабы он слышит пророческий голос, в небесных светилах он видит какие-то живые существа, и окружающая природа представляется ему чем-то бессмысленным и фантастическим, чему он не может дать ни отчета, ни объяснения. Точно так же сбивчиво и криво он смотрит на условия общественной жизни. Наше школьное и научное образование ему недоступно; он часто не знает, зачем и для кого работали эти сотни поколений, над которыми бесследно пропали кресты и могилы, он и не подозревает значения и отношений своих к другим сословиям; он смотрит на уважение к справедливости, как на случайный факт, и едва ли сознает, зачем и почему он призван к великой деятельности на этой планете» (1860, 7, II, 61).

Те путы, которые надели на народное сознание религия и церковь, та ложь и фальшь, которые из охранительных побуждений вдалбливались в народное сознание официальной идеологией, та темнота, забитость и незнание, которые делают для народа тайной за семью печатями его истинную роль и значение, его бесправное, угнетенное положение,— все это предстоит развеять силой света, мысли, знания. Это и есть программа деятельности «Русского слова», которую оно, как мы убедимся дальше, последовательно выполняло.

Но не была ли идея гражданского воспитания масс либеральным просветительством чистой воды? Не отрицала ли она идеи революции?

Наоборот. Сознание и нравственное развитие масс Благосветлов пытается связывать с задачей революционного преобразования общества.

В статье, посвященной проблемам русской народной жизни, Благосветлов, естественно, не мог полностью обнажить выводы, которые следовали из его требования политического, гражданского воспитания масс. Но зато в том же номере, по соседству, он печатает статью В. Попова «История государственной теории», скромную рецензию на скромный труд одного незадачливого итальянского историка, в которой теория народного воспитания раскрыта до конца. Удиви-

тельна та откровенность при чисто внешней наигранной наивности, с которой изложена здесь точка зрения новой редакции «Русского слова» на смысл и цель образования и воспитания масс.

Вот несколько строк из этой статьи:

«Сознание и искусство понимать современность — важное дело в развитии человечества. Революции бессознательные оканчиваются падением ненавистных личностей, сознательные — падением ненавистных принципов; они входят в кровь и плоть народа и составляют основу для следующих переворотов, тогда как первые, укрощенные паллиативными мерами, возобновляются бесплодно до тех пор, пока не делаются сознательными» (1860, 7, II, 91—92). И далее: «Идеи проникают в человечество медленно; прежде чем человек усвоит себе новую идею, он много перенесет. Борьба внутренняя с прежними убеждениями, борьба внешняя с их представителями — вот что ожидает всякого на пути прогресса. *Но как скоро идея найдет многочисленных поборников, движение ее сопровождается войною. Самые мирные учения не избежали этого. Врожденный человеку инстинкт самосохранения побуждает его отстаивать свое существование, свои убеждения всеми зависящими от него средствами*» (1860, 7, II, 94). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Так мысль о свете, знании, воспитании народного самосознания уже на самых первых порах журнала отнюдь не противопоставлялась идее революции. Таковы факты, и как бы ни хотелось представить Благосветлова и его журнал в обличье, близком к либеральному, от них уйти нельзя.

Правда, идея революции для публицистов «Русского слова» — и в этом их отличие от деятелей «Современника» — пока абстрактная идея. Они относятся к народным революциям с глубоким уважением и сочувствием и видят в них двигатель прогресса — при условии, если эти революции подготовлены развитием народного самосознания. Но публицисты «Русского слова» пока еще не видят революционного народа в России, поэтому для них проблема революции *применительно к конкретным условиям России 60-х годов* не стоит так остро, как для «Современника». Благосветлов и его товарищи в гораздо меньшей степени знали Россию и настроения крестьянства, чем руководители «Современника». «Русскому слову» не хватает

пока широты и глубины осмысления процессов российской действительности в свете тех правильных, но в достаточной степени общих положений, которые высказывались на страницах журнала. В определенной оторванности от жизни народа, в малом опыте общественно-политической борьбы — истоки той ограниченности, тех противоречий и непоследовательностей, которые и в будущем отличают «Русское слово».

Из этого никак не следует, что надо выводить Благосветлова и его журнал из русла революционно-демократического движения. Ведь революционная демократия 60-х годов — явление достаточно сложное и неоднородное. Чернышевский и Добролюбов — это вершина революционно-демократической мысли 60-х годов. Было бы антиисторично требовать, чтобы движение революционных демократов-шестидесятников в лице каждого его представителя было на теоретическом уровне Чернышевского. В противном случае не вставал бы вопрос о становлении, эволюции мировоззрения ряда шестидесятников, о той огромной воспитательной роли, которую играл Чернышевский в 60-х, да и не только в 60-х годах.

Да, мировоззрение Благосветлова и позиции «Русского слова», особенно в начальный период его нового существования, были недостаточно последовательными и зрелыми в сравнении с «Современником» Чернышевского и Добролюбова. Но факты показывают, что тенденция развития и самого Благосветлова, и журнала «Русское слово» шла в направлении к «Современнику». Это была тенденция революционно-демократическая. Тенденция, которая определялась, в значительной степени, идейным влиянием Герцена.

Читая выступления Благосветлова и его сподвижников 1859—1860 годов, не трудно обнаружить влияние Герцена в главном: в общем взгляде на революцию, и прежде всего — в трактовке вопроса о праве народа на революционное насилие.

В статье о Тюрго Благосветлов писал: «Умирая, Тюрго видел, что Франция скоро должна выйти на путь экономических преобразований, начатых им. К сожалению, выйти не мирным прогрессом, а радикальным переломом в целом обществе» (1860, 5, I, 252). Что означает это «к сожалению»? Отрицательное отношение к радикальному, революционному пути развития общества? Ответ на этот вопрос дает другое

высказывание Благосветлова: «...Там, где форма слишком грубо противоречит народному духу, общество тревожно ищет лучшего состояния и, *если не находит его с помощью мирных средств*, вынуждает силой» (1860, 7, II, 40). (Курсив мой.— *Ф. К.*)

Именно Герцен в ту пору особенно настойчиво подчеркивал мысль, что революционное насилие, кровавый путь оправданы лишь в том случае, если исчерпаны возможности мирного, бескровного пути.

«...Мы... люди, глубоко убежденные, что нынешние государственные формы России никуда не годны,— и от души предпочитаем путь мирного, человеческого развития пути развития кровавого; но с тем вместе также искренно предпочитаем самое бурное и необузданное развитие — застою николаевского status quo» [1],— писал Герцен в 1857 году.

Впрочем, мысль о предпочтительности бескровного пути кровавому, если он ведет к нужной цели, проводил и Чернышевский.

В чем же отличие позиции Герцена 1857—1859 годов от позиции Чернышевского? И почему Ленин столь резко критиковал Герцена за отступления в 1857—1859 годах к либерализму?

Чернышевский был великим предшественником Ленина и в своей зоркости конкретного анализа исторической обстановки. В среде демократии 60-х годов он первым освободился от каких бы то ни было иллюзий в отношении реформаторской деятельности самодержавия и пришел к выводу, что никаких реальных возможностей для мирного, бескровного пути действительного освобождения крестьян в условиях 60-х годов нет.

Оторванный от России, не видевший революционного народа, не понявший всей сложности ситуации, Герцен долгое время искренне верил в то, что под угрозой революции Александр II может освободить крестьян «сверху», и старательно убеждал его в том.

От бесспорно правильного постулата о предпочтительности бескровного пути развития кровавому, если он реально возможен, Герцен приходил к неправильному, не отвечающему реальному положению дел выводу, будто в России 60-х годов возможен мирный, бескровный путь освобождения крестьян.

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 13, с. 22.

«Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. — Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей; не вам ее поддерживать»[1], — убеждал Герцена письмом «Русского человека» лагерь Чернышевского.

Лишь постепенно, под воздействием такой вот критики и фактов действительности освобождался Герцен от своей идеализации Александра II и близоруких иллюзий в отношении истинного характера реформ.

И, уже всерьез осмысляя вполне реальную возможность крестьянского восстания, спрашивал в своем ответе «Русскому человеку»: «Восстания зарождаются и возрастают, как все зародыши, в тиши и тайне материнского чрева; им надобно много сил и крепости, чтоб выйти на свет и громко кликнуть клич.

Что же у вас готово?.. Мы не знаем...

И это не все.

Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костьми, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится. Есть ли все это у вас?»[2]

Герцен подчеркивал в своем ответе «Русскому человеку», что кровавые революции пока что, как правило, заканчивались торжеством реакции: французы сделали «из трех революций третьего Наполеона».

Значит ли это, что Герцен выражал здесь недоверие к революции в принципе? Нет, он подчеркивал другое: неподготовленные, невызревшие революции всегда заканчиваются торжеством реакции.

И здесь опять-таки мы обнаруживаем прямую перекличку Благосветлова с Герценом.

Л. А. Плоткин видит проявление буржуазной умеренности Благосветлова в следующем его высказывании о Маколее: «Он знал, как трудно вырабатывается общечеловеческий прогресс, каких страшных усилий и жертв, какого пота и крови стоит народам каждый шаг продвижения вперед. С тем вместе его гуманному

---

[1] Колокол, 1860, 1 марта, № 64.

[2] Там же.

чувству были противны эти бессмысленные политические драмы, которые оканчивались перед его глазами безумными реакциями и упадком нравственных сил народа» (1861, 1, III, 36).

«Революционные восстания здесь объявлены бессмысленными политическими драмами» [1], — комментирует исследователь. Комментирует неточно.

Это высказывание Благосветлова — как и любое другое — нельзя изолировать от его воззрений на революцию, брать вне контекста общих позиций журнала.

«Бессмысленными политическими драмами» Благосветлов, как и Герцен, считал не революционные восстания вообще, а «бессознательные» революционные восстания, те восстания, которые не были подготовлены политическим, гражданским воспитанием масс и потому заканчивались «безумными реакциями и упадком нравственных сил народа».

И в оправдании революционного насилия, и в мыслях о «сознательной» революции Благосветлов шел от Герцена. Обе эти стороны воззрений у Благосветлова сливались воедино, ибо во главу угла он ставил движение революционной «идеи»: «...Торжество ее, *чистое от крови и тирании там, где она не встречает на своем пути противодействия и упорства*, совершается во имя убеждения ума и образования сердца» (1860, 11, III, 1). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Итак, торжество революционной идеи может быть чистым от крови только в том случае, если она «не встречает на своем пути противодействия и упорства». В противном случае — оправдана и «кровь», и революционная «тирания». На страницах «Русского слова» так расценивается знаменитый террористический акт Великой французской революции — казнь Марии-Антуанетты:

«Не одобряя казни королевы, как и всякого юридического убийства, тем не менее мы находим, что она была естественным следствием тогдашних нравов и политического положения Франции... Королева пала и не могла не пасть; она защищала всеми силами прежний порядок вещей; она была его представительницею; новая жизнь прорывалась волнами со всех сто-

[1] Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 182.

рон, одни падали, другие боролись с бурным потоком революции. Но он унес все в своем гневном стремлении, – все – идеи и людей» (1860, 9, II, 99).

И все-таки Великая французская революция потерпела поражение потому, что революционная идея не захватила народ достаточно сильно, «сознание не успело еще довольно проникнуть в народные массы».

Говоря о восстании в Сицилии – Сицилийской вечере, В. Попов снова подчеркивает, что восстание в Сицилии не облегчило участи народа «потому, что производилось без сознания, кончаясь уничтожением личностей, но не принципов». И все-таки – «Сицилийская вечеря показала силу народа и осталась в истории живым уроком для потомков» (1861, 10, II, 121).

В течение 1860–1862 годов журнал из номера в номер публикует статьи, посвященные революциям других эпох и народов, подчеркивая благодетельность революционного подъема масс, величие духа народных вожаков. По-видимому, в этом Благосветлов видел одну из реальных возможностей гражданского воспитания масс. Революционная пропаганда в журнале нарастает с каждым месяцем, делается последовательнее, глубже.

Огромное внимание уделяет журнал французским революционным движениям. «История Марии-Антуанетты» В. Попова (1860, № 9); «История Франции» его же (1860, № 12), «Третье сословие во Франции до революции» П. Бибикова (1861, № 3–4), «История террора» В. Попова (1862, № 4–5) и ряд других выступлений журнала посвящены революции во Франции.

В пропаганде и оправдании революционных идей журнал заходит так далеко, что публикует в двух номерах статью «История террора» В. Попова, целиком посвященную якобинцам.

«Любовь, равенство, уважение человеческих прав, защита слабых – вот максимум, которым руководствовались якобинцы» (1862, 4, II, 25), – утверждает В. Попов.

«Максимилиан Робеспьер, депутат Арраса, отличался строгостью нравов и неподкупной честностью. Страстный поклонник Руссо, он всю жизнь мечтал о приведении «общественного договора» в действие. Фанатик этой идеи, он стремился к осуществлению ее со всем упорством глубокого убеждения». Именно он

первым «требовал освобождения негров во французских колониях» (1862, 4, II, 19—20) — так характеризует, к примеру, В. Попов главу французских якобинцев.

Дантон «отличался порывистым страстным красноречием и с необыкновенной ясностью умел излагать самые запутанные вопросы... В чистоте и силе своих убеждений он находил те звуки, которые привлекали к нему сердца народа» (1862, 4, II, 19), — пишет он о другом вожде революционной Франции.

С не меньшей последовательностью и вниманием освещались на страницах «Русского слова» события итальянской революции.

Не случайно в своем первом номере (июль 1860), рядом с рецензией на «Народные беседы» Григоровича и статьей Попова, где проводилась мысль о благотворности *революций сознательных* и о том, что движение идеи, как только она проникает в массы, *всегда сопровождается войною*, Благосветлов печатает свою статью «Реформа Италии, как понимал ее Монтанелли», посвященную революционным событиям в Италии.

Не случайно национально-освободительная революция в Италии и ее вождь Гарибальди становятся с середины 1860 года *основной темой* политического отдела журнала на очень долгое время.

Уже в первой статье целого цикла выступлений, посвященных итальянским событиям («Реформа Италии, как ее понимал Монтанелли»), Благосветлов от всего сердца приветствует итальянскую революцию: за нее — «самые лучшие симпатии, самые светлые и беспристрастные умы нашей эпохи» (1860, 7, II, 1).

«В то время, когда мы пишем эти строки, взор человечества обращен на маленький уголок земного шара, где разыгрывается величайшая драма, какую только видел XIX век. Кучка людей, предводимых отважным героем Рима, ночью высаживается на берега Сицилии, и, едва успела развернуть святое знамя, под ним соединяется весь остров. Гарибальди по правую руку со своим сыном торжественно идет от победы к победе, из города в город. Не более как в пятнадцать дней он решает судьбу страны, освободив ее от внешних и внутренних врагов. В самом торжестве этого благородного вождя есть что-то необыкновенное... Самое имя его сделалось символом

спасения для угнетенного и страхом для тирании» (1860, 7, II, 1).

Тайна этого удивительного успеха – не в одном гении Гарибальди и его личном мужестве. «Гарибальди крепок не собственной силой, а всеми силами Италии: понимая ее потребности глубже и выражая их верней, чем кто-нибудь из его современников, он служит представителем итальянской народности и ее затаенных, но живых инстинктов. Такому Давиду легко идти с одной пращой против всякого Голиафа» (1860, 7, II, 2).

Итак, сила Гарибальди – в его кровной, органической, неразрывной связи с революционным народом, чьи потребности и нужды, чьи «затаенные, но живые инстинкты» он выражает.

Эти «затаенные, но живые инстинкты» – стремление к свободе, ненависть к угнетателям – выработались в народе угнетением, бесправием, бедностью.

«Оскорбления святого народного чувства не остаются без кровной мести на страницах истории» (1860, 7, II, 2), – замечает Благосветлов. В статье рассказывается о бедственном положении народа Италии и проводится мысль о благодетельности освободительной революции. «Как обычно бывает в такие эпохи исторических переломов, силы народа проявляются в полном блеске и с необычной энергией» (1860, 7, II, 18), – говорит автор.

Благосветлову по душе революционные эпохи жизни народов, но он и в этой статье настойчиво проводит мысль о том, что конечный успех всякого революционного движения определяется социальным воспитанием масс. «Демократическое чувство» народа должно вырасти до такого уровня сознания, чтобы стать «той социальной силой, которая возвышает республики». В этой сознательности масс – залог успехов итальянской революции, залог возрождения Италии. «Народное воспитание ее начато; оно куплено необыкновенными жертвами, – остается продолжать его. С помощью его Италия создаст себе национальное единство и независимое будущее» (1860, 7, II, 57).

Центральную статью августовского номера журнала за 1860 год Благосветлов снова посвящает итальянской революции и ее вождю. Статья так и называется – «Гарибальди».

Кроме того, «итальянскому вопросу» в той или

иной степени посвящены обзоры современных событий в восьмой, девятой, одиннадцатой книжках журнала за 1860 год, немало страниц «Писем из Парижа» Жака Лефреня (псевдоним Э. Реклю), а также статьи В. Попова «История государственной теории» (1860, № 7); «История Савойского дома» (1861, № 1); «Документы и подлинные бумаги, оставленные Д. Манини» (1861, № 4—5); «Сицилийская революция и экспедиция Гарибальди» (1861, № 6—7) и т. д.

Это пристальное внимание к событиям итальянской революции, конечно же, не случайно для Благосветлова и журнала «Русское слово». В статье «Реформа Италии, как понимал ее Монтанелли» Благосветлов раскрывал приемы эзопова языка, которым искусно пользовались итальянские революционные публицисты в борьбе с австрийским владычеством: «Где автор ставит испанца, там надо разуметь австрийца» (1860, 7, II, 54).

Очевидно, то, что происходило в Италии, было созвучно Благосветлову, созвучно процессам народной жизни России и имело, на его взгляд, немаловажное значение для «воспитания» читателя. Вот почему Благосветлов снова и снова возвращается к личности Гарибальди. Гарибальди для Благосветлова — явление не чисто итальянское, узконациональное, но общечеловеческое, мировое.

«С его именем соединяется воспоминание о замечательных событиях нашего века: его меч, более тридцати лет, неизменно служит... (отточие означает цензурную купюру, очень примечательную в данном контексте. — *Ф. К.*) особенно свободе его отечества. В Италии или в Америке, в Генуе или в Риме, где бы ни был подан голос за правое дело, Гарибальди является борцом или вождем народной партии. Как один из передовых застрельщиков века, он проводит идею в практическую жизнь народов, осуществляет на самом деле то, что думают и чего добиваются кабинетные мыслители. В этом отношении Гарибальди — полное олицетворение итальянской демократии» (1860, 8, II, 17—18).

Правда, на первых порах и здесь видна ограниченность Благосветлова в сравнении с позицией Чернышевского в этом вопросе, — руководитель «Русского слова» не сразу оценил предательскую роль либерала Кавура. «Руководит ли им (Гарибальди. — *Ф. К.*) лов-

кая находчивая мысль Кавура, или Гарибальди руководит Кавуром, это пока остается тайной» (1860, 8, II, 26),— писал Благосветлов в статье «Гарибальди».

Напомним, что «Современник» примерно в это же время (сентябрь, 1860) устами Чернышевского четко и ясно определил антинародную суть либеральной политики Кавура. Разногласия Гарибальди с Кавуром, по мнению Чернышевского, были разногласиями народного революционера, который стремится объединить Италию революционным путем, с трусливой либерально-дипломатической партией: «Эта вражда двух партий, из которых одна полагает, что для создания итальянского единства и величия надобно действовать революционным путем, другая надеется держаться только с разрешения императора французов, только в пределах, допускаемых им» [1].

Проходит немного времени, и «Русское слово» преодолевает непоследовательность в оценке Кавура. Журнал разоблачает лисью политику Кавура, черную роль его в итальянской освободительной борьбе.

«Кавур всегда искал опоры для своих планов во внешних силах, и в особенности в французском кабинете... Не той веры держится Гарибальди; для него вся надежда Италии в силах самого народа; он знает их и располагает ими, как смелый народный вождь; он убежден, что ни одна иностранная держава, тем менее Франция, не может содействовать возрождению Италии в той степени, как сама же Италия. Вот главный пункт, разделяющий взгляды и цели Кавура и Гарибальди» (1861, 9, III, 4—5).

Неудачи освободительного движения в Италии журнал объясняет, в значительной степени, политикой Кавура: «Нет более сомнения, что причина реакции лежит в Кавуре, этом неистощимом дипломате без политической веры, который думал, что хитростью и известного рода сноровкой можно пойти далее, чем с помощью политики Гарибальди» (1861, 1, II, 16).

Но Благосветлов дает и другое объяснение угрозе реакции в Италии, и не только в Италии.

«Везде заметно неудовольствие настоящим и ожидание лучшего в будущем; везде чувствуется потребность обновить ветхого человека, изменить отживший порядок общества; но земле недостает соли, людям —

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 294.

нравственных великих начал, и старая рутина по-прежнему господствует над умами» (1861, 2, II, 2).

Снова и снова повторяет Благосветлов мысль о том, что обязательное условие успеха в изменении отживших порядков общества – проникновение в умы и сознание людей «нравственных великих начал».

По мере углубления общественных противоречий в стране и роста освободительного движения крестьянства этот несколько абстрактный, если судить по первым статьям Благосветлова, идеал начинает наполняться все более конкретным содержанием. «Нравственные великие начала», которые стремится проводить журнал в русское общество, все более приближаются к реальным запросам жизни действительной и оформляются в отчетливую систему антикрепостнических и антимонархических настроений. Коренной для жизни России того времени – крестьянский вопрос. Он со временем отодвинет на задний план все другие проблемы, которые занимают публицистов «Русского слова», – даже проблему умственной эмансипации масс.

Не сразу приходят публицисты «Русского слова» к последовательно демократическому решению этого вопроса. Да и подступы к нему были исключительно трудными: цензура особенно беспощадно преследовала любое слово свободомыслия в крестьянском вопросе.

Вдобавок журнал очень поздно получил право на своих страницах (отдел «Современная летопись») обсуждать проблемы внутренней жизни страны – фактически уже после того, как крестьянская реформа была совершена.

И все-таки разными путями журнал находил возможность донести до читателя свой взгляд на коренные проблемы русской жизни и прежде всего на главную – крестьянский вопрос.

3

«Крестьянский вопрос перепутывает многое и многое в нашей жизни», – писал Благосветлов Мордовцеву в январе 1861 года.

Он писал эти строки в то самое время, когда работал над «Обзором современных событий» для фе-

вральской книжки журнала за 1861 год, – обзор этот в значительной части своей посвящен рабовладению в Америке. Разоблачая рабовладельцев Юга, попытавшихся, ради сохранения рабства, отделиться от Севера, Благосветлов задавал следующий риторический вопрос: «Составляя великую *рабскую* республику, независимую от свободного Севера, не готовят ли они себе впоследствии ряд зол, за которые народы расплачиваются веками несчастий, *столь понятных нам по «сю сторону океана»?*» (1861, 2, III, 11). (Курсив мой. – *Ф. К.*)

Благосветлов давал понять читателю, что вопрос о рабовладении в Америке ставится на страницах журнала в тесной связи с тем, как живет, против чего борется русский народ.

«Нельзя сказать, чтобы доселе рабовладельческие штаты благоденствовали от труда и пота угнетенного ими племени. Влияние невольничества отразилось на всех отраслях социальной их жизни. ...Если экономически верно, что один свободный работник делает за трех рабов с большей охотой и меньшей потерей физических сил, если свободный труд увеличивает вдвое сумму общественного капитала, не говоря уже о том, что он облагораживает и возвышает цену человеческой деятельности, то те же самые почвы и те же самые четыре миллиона негров, но только свободных, могли бы утроить богатство страны. Нет сомнения, Южная Америка тогда не ограничилась бы одним земледелием, а распространила и фабричную промышленность, для развития которой свободный труд так же необходим, как воздух для дыхания» (1861, 2, II, 11).

Конечно, все это написано Благосветловым не столько об Америке, сколько о России и, уж во всяком случае, не для Америки, а для России.

«Русское слово» в лице новой редакции обращалось к проблеме рабовладения в Соединенных Штатах Америки и раньше – все с той же целью: чтобы на этом, приемлемом для цензуры, материале поставить вопрос о рабстве, крепостничестве в России.

Любопытно, что «Русское слово» еще до начала войны Севера и Юга предсказало близкое начало борьбы в Америке за освобождение негров.

В декабрьской книжке журнала политический обозреватель «Русского слова» писал:

«Вопрос эмансипации негров — этот ужасный фатум заатлантической республики, снова выступает на сцену. Избрание нового президента Соединенных Штатов возбуждает общеевропейский интерес в том отношении, что Линкольн один из жарких поборников за свободу угнетенного племени. С его назначением вопрос приобретает политический характер, и борьба американского Севера с Югом становится почти неизбежной. Вспомним, что в прошлом году, почти в тот же самый день, погиб на эшафоте Браун, защитник человеческих прав несчастных рабов Америки» (1860, 12, II, 14).

На протяжении 1861—1862 годов «Русское слово» почти в каждой книжке будет обращаться к драматическим событиям, связанным с освобождением негров. Журнал последовательно информирует читателя о всех перипетиях борьбы и, вместе с тем, на этом очень близком и понятном читателю материале высказывает свою точку зрения на крестьянский вопрос.

Крепостничество, рабство для публицистов «Русского слова» — «самое антисоциальное учреждение» (Благосветлов), а крестьянский вопрос — «мировой вопрос нашей социальной жизни» (1861, 1, II, 105).

Правда, до февраля 1861 года журнал совершенно не касается крестьянского вопроса непосредственно, выявляя свое отношение к крепостничеству на материале жизни иных народов и эпох. Это объясняется небывалой строгостью цензуры, запрещавшей какое бы то ни было печатное высказывание о готовящейся реформе, отличное от официальной точки зрения. Не желая петь в унисон с либеральной прессой и не имея возможности выразить свой взгляд на готовящуюся реформу, «Русское слово», равно как и «Современник», на всем протяжении второй половины 1860 года попросту замалчивает ее.

Лишь в восьмой книжке журнала за 1860 год (второй благосветловский номер «Русского слова») в отделе «Политика» мы находим упоминание о готовящейся реформе в таком любопытном контексте: «Между тем как Турция в своем неминуемом падении приходит к разрешению обширного вопроса, наше отечество занято внутренним преобразованием — улучшением быта крестьян, достижением такой цели, к которой могут его привести только твердая воля,

мудрость государя,— и благомыслие всех состояний, всех классов государства» (1860, 8, II, 3—4).

Сопоставление готовящейся реформы с преобразованием в Турции в ее «неминуемом падении» (надо помнить, что Турция, с ее отсталостью, деспотизмом и нищетой, служила в журналистике 60-х годов наиболее распространенной аналогией России) придают этой панегирической фразе очень специфическую окраску.

Этой фразой и исчерпывается все сказанное «Русским словом» в № 7—12 за 1860 год о готовящейся реформе.

В февральском номере за 1861 год журнал напечатал редакционный обзор статистического сборника «Крестьянское население в России по 10-й переписи», посвященный в значительной части своей утверждению составителя этого сборника А. Тройницкого, будто «русское крепостное состояние не есть рабство в том смысле... в каком удерживается и ныне в Северо-Американских Соединенных Штатах» и что такого рода рабство существовало лишь в древней и средневековой России в виде холопства и кабалы.

«...Не мешало бы провести параллель между кабальными и крепостными, для того чтобы еще более выяснить различие между этими двумя состояниями de facto u de jure. Несмотря на то, что крепостное право не устанавливалось у нас ни пленением, ни добровольною запродажею, ни судебным приговором, но незнакомые с историческим его происхождением могут затрудниться провести предельную черту между кабальными и крепостными, так как те и другие приобретались покупкою и составляли личную собственность владельца» (1861, 2, II, 106),— отвечало «Русское слово» А. Тройницкому.

Иными словами, de facto серьезного различия между современным крепостным, русским холопом и североамериканским рабом нет. Такая мысль проводилась в *первом* печатном выступлении «Русского слова», хоть в какой-то степени затрагивающем крестьянский вопрос на отечественном материале.

Но какими путями следует освобождать белых рабов в России?

Ответа на этот вопрос в обзоре, естественно, нет. Быть может, ответ на него содержался в «Совре-

менной летописи» мартовской книжки «Русского слова» за 1861 год — первом внутреннем обозрении, напечатанном в журнале за подписью А. Г.? (Можно предположить, что автором его был постоянный сотрудник «Русского слова» А. Г Витковский. А возможно — и А. С. Гиероглифов, также сотрудничавший в «Русском слове».)

«Мы начинаем нашу летопись с события, которое не имеет себе подобного в истории России. Манифест 19 февраля 1861 г., уничтожающий крепостное право, является началом неисчислимых реформ нашего гражданского и общественного быта, реформ, которые, по естественному историческому закону, должны следовать одна за другой, с исчезновением главнейшей причины, удерживавшей в неподвижности силы и развитие народа» (1862, 3, III, 1), — начиналась эта летопись. Далее шло изложение официальных документов, связанных с манифестом 19 февраля, и заканчивалась летопись словами: «Крепостное право со всеми своими жертвами безвозвратно сделалось уже достоянием истории, — и это факт, который приветствует Россия» (1862, 3, III, 22).

Что это: принципиальная позиция журнала? Временная слабость, истоки которой в непонимании сути происходящего? Или уступка цензуре, которая душила журнал?

Л. А. Плоткин пишет: «Статья эта в высшей степени характерна как для позиции самого журнала, так и для уяснения проблематики писаревского творчества»[1]. При этом он стремится истолковать статью как демократическую по своей направленности, затушевывает либеральный ее характер.

Чтобы правильно оценить это выступление журнала, надо представить те реальные условия, в которых оно появилось.

Благосветлов давно мечтал о «Внутреннем обозрении» в «Русском слове» и добился его с марта 1861 года.

В оглавлении двенадцатого номера журнала за 1860 год значилось: «*Внутренняя хроника* (по не зависящим от редакции причинам не напечатана)».

С этого времени прошло три месяца — и лишь

---

[1] Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 29.

в мартовской книжке за 1861 год журнал смог начать свое «Внутреннее обозрение». При этом, как неоднократно подчеркивал обозреватель в следующих номерах, в его прямые обязанности входило извещать публику о мероприятиях и постановлениях правительства.

Могла ли редакция подцензурного «Русского слова», публикуя свое первое «внутреннее обозрение» в марте 1861 года, то есть сразу после реформы, обойти в нем молчанием «Положения 19 февраля»? Или дать им оценку, отличную от официальной? По-видимому, нет. Как не смог этого сделать и «Современник», напечатавший в мартовской книжке за 1861 год в «Заметках» И. Панаева стандартные «верноподданнические» похвалы реформе.

В том, что мартовская «Летопись» была вынужденным компромиссом и ни в коей мере не выражала истинной точки зрения редакции, убеждают все последующие номера «Русского слова». Более того, даже в той же мартовской книжке журнала за 1861 год редакция печатает статью П. Бибикова «Третье сословие во Франции до революции», где раскрывается взгляд на реформу, принципиально отличный от того, который содержится в «Современной летописи». Говоря о крестьянской реформе во Франции (читай – в России), П. Бибиков пишет: «Боязнь общего восстания заставляет господ согласиться уступить за деньги свое незапамятное на них право. *Но эти уступки не могли произвесть общего и полного освобождения; затруднения были слишком велики, нужны были радикальные изменения прав собственности*» (1861, 3, I, 14). (Курсив мой. – *Ф. К.*)

Вряд ли случайно помещение такой статьи именно в мартовском номере журнала за 1861 год, статьи, где без обиняков заявлялось: «Какую бы цель ни имел деспотизм, реформу или поддержание старого порядка, за ним всегда следует истощение, усталость народа» (1861, 3, I, 33).

И уж тем более не случайно, что в следующем номере «Русского слова», вышедшем в свет в апреле 1861 года, когда вся либеральная пресса была заполнена песнопениями в адрес свершившейся реформы, нет буквально ни строчки о «Положениях 19 февраля», зато напечатана большая, имеющая принципиальное значение статья «Невольничество в Южно-Американ-

ских штатах», за подписью: А. Топоровъ. Сам факт обращения журнала к теме невольничества два месяца спустя после крепостнической реформы свидетельствовал о том, что, по мнению публицистов «Русского слова», тема рабовладения вполне сохраняет свою актуальность для России. Текст же этой статьи убеждает, что она была не чем иным, как очень точным и вполне прозрачным комментарием «Положений 19 февраля».

Уже первые страницы статьи поражают неожиданной, но исключительно важной для России 60-х годов мыслью:

«Рабство, в какой бы форме оно ни было, производит странное, необъяснимое впечатление. Нам кажется, что только одна абсолютная идея свободы поддерживает еще в благоразумном человеке теплое, хотя несколько болезненное чувство к рабу, но сам по себе раб не может внушить к себе ничего, кроме инстинктивного отвращения...» (1861, 4, I, 2).

Почему?

Да потому, что «уважать рабов можно только тогда, когда они заставят уважать себя сами» (1861, 4, I, 2).

Несколькими страницами ниже автор до конца раскрывает, что он имеет в виду:

«...Если невольничество назвать преступлением против человечества, то кого обвинять более в его существовании: плантаторов или негров?.. Справедливость требует сказать, что и невольником быть так же преступно, как и рабовладельцем, — и то и другое одинаково способствует злу. Если плантаторы употребляют для осуществления своих целей хитрость и силу, то кто мешает этим стадам ринуться за своими вождями — аболиционистами, чтобы разбить цепи, которые на них надеты? Позорное клеймо неволи прежде всего должен стараться смыть тот, кто его носит...» (1861, 4, 16—17)

Так что же, по мнению автора статьи, мешает неграм силой разбить цепи, надетые на них плантаторами?

Прежде всего недостаток самосознания, то обстоятельство, что годы рабства воспитали в них рабье чувство к своему господину: «Черный малютка сначала подчиняет силе свои свежие, молодые инстинкты, а потом, уже под влиянием кнута, приучается с по-

мощью уже собственной воли заглушать в себе всякий внутренний голос протестующей человеческой природы» (1861, 4, I, 16).

Освобождение обездоленных от эксплуатации «зависит от степени сознания эксплуатируемой доли общества... Для негров именно началось теперь это время, когда они могут сознательно понять свое положение и, поколебав в себе инерцию духа, поколебать и основные фонды плантаторских положений, отнимающих у них общечеловеческие права свободы... Вероятно, негры под влиянием тех современных идей, которые направлены на них передовой шеренгой аболиционистов, скоро начнут сами освобождение свое» (1861, 4, I, 17).

И только в этом случае, утверждает автор статьи, негры получат подлинное освобождение.

Если же «сами негры не в состоянии себя освободить» — «вопрос о невольничестве пойдет так называемым *мирным законодательным путем и, по всей вероятности, остановится на полумерах, под видом обоюдных уступок и желания согласить несогласимые интересы обеих сторон: плантаторов и невольников*» (1861, 4, I, 27). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Статья написана ради доказательства этой мысли: рабы получат свободу при одном условии — если завоюют ее сами. Мирное, законодательное «освобождение» рабов будет полумерой, обманом, потому что для рабовладельцев здесь «дело касается принципа», а «установившийся принцип, как известно, сильно себя защищает».

Мысль эта проводится и в ряде других выступлений журнала.

Статья А. Топорова, как и ряд других выступлений журнала, дает ясный и недвусмысленный ответ на вопрос: за кем — за Герценом или Чернышевским — шло «Русское слово» в оценке либеральных реформ, в оценке подлинных возможностей мирного, бескровного пути освобождения крестьян в условиях 60-х годов. Ведь статья А. Топорова появилась в апреле 1861 года — а 1 апреля 1861 года Герцен опубликовал в «Колоколе» свою статью «Манифест»:

«Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников... Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая

горькой улыбки, — мы приветствуем его именем *освободителя*» [1].

Статья «Русского слова» вся пронизана намеками, насыщена аналогиями, не оставляющими и тени сомнения, ради чего она написана. Заключительная часть статьи прямо посвящена проблеме «свободных невольников» (выражение автора статьи): «...Законы о свободных неграх не представляют им никаких прав, которые обязано было бы уважать белое население... Закон только тогда является действительным законом, когда он *сознательно поддерживается большинством общества,* а иначе он — не более как мертвая буква, вроде *положений о свободных неграх* или, лучше сказать, о *свободных невольниках*...» (1861, 4, I, 13, 15). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Аналогия с «Положением 19 февраля» — «Положением» о «свободных невольниках» России, не предоставляющим им «никаких прав», совершенно прозрачна. Она подчеркивается даже лексически («положение о свободных неграх, или, лучше сказать, о свободных невольниках»).

По мнению автора статьи, невольники (читай — русские крестьяне) «боятся своих освободителей хуже, чем плантаторов, видя себя поставленными с обеих сторон вне всякого человеколюбия» (1861, 4, I, 26).

Стоило подставить в статье «Невольничество в Южно-Американских штатах» вместо слова «невольник» — «крепостной», а вместо «американских штатов» — «Россию», — и умудренный читатель 60-х годов понимал, что, по мнению журнала, реформа не дала «свободным невольникам» никаких прав и что единственный путь действительного освобождения крепостных — крестьянская революция. Главная мысль статьи — именно в этом: рабы не должны надеяться на то, что им кто-то дарует свободу, они должны завоевать ее сами. «Надобно, чтобы негры знали, чего стоит завоевать себе свободу, *оценили бы жертвы, без которых нельзя ее завоевать:* тогда они будут беречь ее как зеницу ока...» (1861, 4, I, 27). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Я привожу столь пространные выписки из статьи «Невольничество в Южно-Американских штатах» только для того, чтобы исключить какое бы то ни

[1] Колокол, 1861, 1 апреля, № 95.

было сомнение в последовательном революционно-демократическом характере этого удивительно смелого и искусного выступления и показать, насколько противоположна позиция автора этой статьи духу мартовской «Современной летописи» «Русского слова».

Но, может быть, статья «Невольничество в Южно-Американских штатах» — случайность для журнала и ни в коей степени не выражает его направления?

Факты показывают, что в оценке крестьянской реформы журнал «Русское слово» и в последующих своих выступлениях находился на том высоком уровне последовательности и принципиальности, которым отмечена статья «Невольничество в Южно-Американских штатах».

Нельзя не учитывать, что последовательная революционно-демократическая оценка крестьянской реформы была крайне затруднена цензурой, особенно после того, как были утверждены так называемые «Временные правила по цензуре» 12 мая 1861 года, в секретных «особых наставлениях» к которым предписывалось: «Не допускать никакого порицания в общем виде высочайше утвержденных Положений 19 февраля 1861 года и вообще ничего противного основным началам этих положений»[1].

И тем не менее «Русское слово», как и «Современник», находило возможность сквозь эту татарскую цензуру проводить свою точку зрения на крестьянский вопрос.

В следующей, майской книжке журнала за 1861 год помещается «Современная летопись», подписанная тем же автором, что и статья «Невольничество в Южно-Американских штатах»: А. Т—ровъ (сокращенное от А. Топоровъ). Эта «Летопись» — единственный материал в майской книжке журнала, который содержит отклик на реформу, если не считать следующего замечания в «Обзоре современных событий» г. Б⟨лагосветлова⟩: «Везде (речь идет о Европе в целом.— *Ф. К.*) обещаны реформы, некоторые из них приведены в исполнение, но все они ограничиваются полумерами и более необходимой уступкой духу времени и обстоятельств, чем действительным желанием улучшений» (1861, 5, II, 14).

---

[1] См.: Лемке М. Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904, с. 171—172.

Та оценка крестьянской реформы, которая в отделе «Политика» дана на европейском материале, в «Современной летописи» повторена с помощью вполне прозрачной аллегории.

«Вообразите, – пишет автор ее, – что вы владелец обветшалого, деревянного *деревенского барского* дома, доставшегося вам по наследству по длинной нисходящей линии... Все стены вашего дома, полы, мебель, одним словом, все, что помягче, – изъедено, подточено, испорчено и требует *конечного, радикального* возобновления; но вы скупы, вам хотелось бы все исправить, только не заново, потому что жаль перестраивать с самого основания старый дом, напоминающий вам седовласую бабушку, наивную вашу маменьку и даже, может быть, вашу собственную, безмятежную, давно минувшую молодость; и вот вы решились исправить покоробившиеся полы ваших комнат, но тут возникает вопрос о крепости стен, вы пробуете вставить несколько бревен, но тут возникает вопрос о гнилости углов, там далее оказываются сгнившими и крыша и потолки и т. д....» (1861, 5, III, 2).

В действительности, делает вывод обозреватель «Русского слова», «весь дом не годится» и его следует перестраивать заново.

А чтобы эта аллегория стала понятна каждому, в следующей, июньской, книжке в «Обзоре современных событий» Г. Благосветлова журнал вновь возвращается к тому же образу – в связи с реформами в «Турции»: «...Все эти реформы остались бесплодными, потому что ветхое здание, с подгнившим основанием, требовало не починки, а совершенной переделки... Поэтому желание, и, может быть, искреннее желание султана облегчить свою страну осталось только на бумаге. Я убежден, что тот же результат ожидает и его преемников, если они будут лечить больного разными припарками, когда ему необходимы радикальные средства» (1861, 6, II, 2–4).

Страницы «Летописи» в майской книжке журнала, касающиеся непосредственно крестьянского вопроса, полностью посвящены изложению обстоятельств «печального события» – крестьянскому восстанию в Бездне.

События в Бездне, равно как весь ход «всекаемого» освобождения, живо интересовали редакцию «Русского слова». Г Е. Благосветлов имел, по-видимому,

в разных концах России добровольных корреспондентов, сообщавших ему о крестьянских делах. В архиве III Отделения хранятся копии некоторых из этих примечательных писем, в частности письмо некоего В. Бабилина из деревни Приволье Симбирской губернии, датированное как раз 12 мая 1861 года. Привожу его полностью:

«Сообщаю Вам, что и как здесь говорится о совершающихся около нас событиях. В народе настроение умов прежнее: бездninская бойня напугала, сломила сопротивление, но не уничтожила народных стремлений, не изменила его заветных желаний и отнюдь не заставила лучше понять непонятное положение. Оно, впрочем, и не могло быть иначе; насильственные меры не убеждают и не просвещают: народ по-прежнему волнуется; в народе говорят, что все случившееся должно было случиться; в старых книгах написано, что настоящая воля не может быть добыта без крови, что сперва польется кровь крестьян, а потом потечет и помещичья,— а так как крестьянская уже пролита, то настоящую волю будет теперь легче добыть. Начальника и толкователя в Бездне, Антона Петрова, расстреляли; а многие этому не верят, говорят, что Антон бежал, а расстреляли, говорят, товарища его, назвавшегося его именем, чтобы спасти учителя. Многие не верят, между народом, чтобы царь велел стрелять в народ: думают, что это было злоупотреблением начальства, подкупленного помещиками. Некоторые уверяют, что движение в Бездне не было чисто крестьянским движением, что у зачинщиков были деньги в руках, что они рассылали агентов по всем окрестным деревням и щедро платили за развозку этих агентов.

В последнем движении в Инсарском уезде, усмиренном Дренякиным, многие видят попытку революционной партии, а другие — происки иностранные; во всяком случае, появление трехцветных знамен, символа революционного,— дело не крестьян; знамена не были сшиты из разноцветных крепов, а прямо вытканы трехцветными, что вряд ли могло быть сделано у нас.

В Симбирской губернии дело покуда кончилось все розгами; зато здешний флигель-адъютант едва успевает сечь, несмотря на содействие земской и даже городской полиции; он почти постоянно переезжает из

одного уезда в другой. Недавно в Буинском уезде должен был пересечь целую деревню поголовно; всем взрослым дано по 200 розог, и только после этого они выдали зачинщиков; этим последним дано еще по 300 сверхштатных розог... Военная команда беспрестанно переходит с места на место.

Говоря о всех этих происшествиях, я не касался уж мелких неповиновений и мелких экзекуций,— их слишком много, говорить о них не стоит, особенно при других более важных движениях и беспорядках. Маленькие неповиновения могут служить только доказательством неудовольствия народа и волнения в нем»[1].

Письмо корреспондента руководителю журнала «Русское слово» содержит объективную и точную картину «всекаемого» освобождения. Оно написано с такой откровенностью, с какой пишутся письма единомышленникам. Судя по фразе: «В народе настроение умов прежнее...» — это не первое его письмо к Благосветлову. Иными словами, Благосветлов великолепно знал, что происходило в русской деревне после ее освобождения. Несмотря на запреты цензуры, журнал умудрялся рассказать об этом читателю. Делалось это с помощью единственно возможного в тех условиях приема — соответственно излагая официальные материалы на этот счет, систематически публиковавшиеся в «Северной пчеле», и требуя от читателя самостоятельного осмысления их. Майская «Современная летопись», посвященная событиям в Бездне, как и остальные «Летописи» журнала, составляемые все тем же лицом (на этот счет в «Летописях» немало прямых свидетельств, да и все содержание их подтверждает это),— образец подцензурной, «эзоповской» журналистики.

Призвав мыслящего читателя оценить этот «красноречиво говорящий сам за себя» факт по его «сущности» и обязавшись «занести» его в летопись в том самом виде, в каком он сообщен публике, летописец подробнейшим образом излагает ход событий в Бездне, поставив в центр внимания причину волнений: «Антон Петров... объяснил крестьянам, что он доискался до *чистой* воли, которая как нельзя более согласовывалась с *ожиданиями* крестьян и *которая означает совершенную независимость не только от поме-*

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 3, ед. хр. 2092, л. 17—18.

щиков, но и от местных начальств. Крестьяне простодушно поверили тому, что они *ожидали* и чего *желали.* Антон Петров... успел распространить свою пропаганду и внушение *полного освобождения крестьян с землею* даже за пределы Казанской губернии, так что в столь короткое время единомышленники Петрова начинали являться из Самарской и Симбирской губерний» (1861, 5, III, 23—24). (Курсив мой.— *Ф. К.*)

Итак, «чистая» воля, или — «настоящая воля», как говорил В. Бабилин в своем письме, которой «ожидали», «желали» и не получили крестьяне,— это *«полное освобождение крестьян с землею».* Вот она, истинная программа «Русского слова» 1861—1862 годов в крестьянском вопросе, совпадающая с революционно-демократической программой «Современника» и выражающая самое заветное желание крестьян. «Нужно удивляться единодушию», с которым крестьяне поверили Петрову,— иронически замечает автор. Откровенная ирония звучит и в этих словах летописца: «За истолкованием новых положений о помещичьих крестьянах они (крестьяне.— *Ф. К.*), естественно, обратились к помещику, духовенству и местным (земским) властям, и вот здесь непростительная вина спасских крестьян: они не поверили местным представителям этих трех сословий, составляющих опору настоящего нашего крестьянского порядка и, можно сказать, облагодетельствовавших подвластный им народ своим управлением» (1861, 5, III, 23).

В своей иронии летописец перекликается с Писаревым, который так писал о манифесте 1861 г.: «...об нем через полгода знала вся Россия, и мужики *повеселели* на всем протяжении земли —

От хладных финских скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая»

(1862, 4, II, 43—44).

«Русское слово» из номера в номер воссоздавало во всей реальности истинное «веселие» русских мужиков, «облагодетельствованных» помещиками, духовенством и властями в феврале 1861 года.

Восстания и возмущения крестьян «в губерниях Владимирской, Самарской, Симбирской, Калужской,

Пензенской, Орловской, Подольской, Петербургской и Ярославской» – так встретили, по свидетельству летописца, русские крестьяне свое освобождение.

Вот уж воистину, как писал симбирский корреспондент Благосветлова, «настоящая воля не может быть добыта без крови... сперва потечет кровь крестьян, а потом и помещичья...».

Июньская «Современная летопись» «Русского слова» вся – от первой до последней страницы – заполнена сообщениями о крестьянских волнениях, вызванных к жизни реформой 19 февраля. Как и в майской книжке журнала, внутренний обозреватель «Русского слова» использовал право редакции перепечатывать или перелагать официальные сообщения о «крестьянском деле», компонуя и по возможности комментируя их по своему усмотрению. Он тщательнейшим образом собирает разрозненные по газетным страницам сообщения о возмущениях, бунтах, восстаниях, неповиновениях крестьян и, продуманно скомпоновав их вместе, печатает на двенадцати страницах подряд.

Вот как сообщает публике о событиях в деревне официальная «Северная пчела» в № 117 от 26 мая 1861 года в традиционной рубрике «Крестьянское дело». Она печатает крупно поданный материал о том, как преподносилась хлеб-соль от благодарных крестьян царю-освободителю, приехавшему в Москву, какая «грамотка» лежала на дарованном блюде: «Благодарим тебя, государь, за великие твои милости, за дарованную нам тобой свободу...» А ниже, набранные скромным петитом, подверстываются менее приятные «Известия из Владимирской губернии» о том, как в трех уездах этой губернии крестьяне отказались повиноваться властям.

Что делает летописец «Русского слова»?

Сообщение о хлеб-соли и благодарственной «грамотке» царю-освободителю он, естественно, опускает, зато «Известиями из Владимирской губернии» начинает изложение длинного перечня всех официальных сообщений о неповиновениях и восстаниях крестьян. В подборе этих сообщений ощущается определенная последовательность. Начинаются они с довольно безобидных вещей. Продолжаются более грозно: «...Крестьяне, окружив исправника и управляющего, закричали: «Бей, души их!» – и нанесли им тяжелые оскорбления и побои. Когда же для оказания помощи

исправнику и управляющему собралась упомянутая рота, проложившая себе дорогу прикладами, то крестьяне стали наступать на нее с вилами, кольями и лежнями, кидали с крыш кирпичи, бросались на солдат и пытались их обезоружить. При этом трое крестьян убито, а четверо ранено» (1861, 6, III, 7). И перерастают в масштабную, внушительную картину массовых волнений и беспорядков: «В Подольской губернии... волнения, беспорядки и недоразумения коснулись 141 селения, в которых числится около 71 тысячи душ» (1861, 6, III, 11).

Эти собранные из всех возможных источников и объединенные вместе сообщения о «волнениях, беспорядках и недоразумениях» раскрывали всю степень народного неудовольствия реформой. Вместе с тем они наглядно показывали и ту беспощадность, с которой самодержавие расправлялось с восставшими крестьянами. Рассказав о мерах усмирения, воинских командах, арестах, расстрелах, обозреватель подводит итог: «Меры не различаются одна от другой; они состоят из полицейских, телесных наказаний, арестов, отдачи под суд, введения военных команд и наказания шпицрутенами...» (1861, 6, III, 17.)

Летописец подчеркивает, что он связан по рукам и ногам в толковании этих драматических событий и не решается «о них, подобно всем нашим журналам, исключая «Сына отечества», «свое суждение иметь».

Однако тонким намеком он недвусмысленно раскрывает истинную причину их: «Непонимание крестьянами Положения, как вообще, так и во многих частностях, было главнейшей причиной беспорядков, сколько можно судить из вышеизложенных реляций; что же касается до толкователей Положения, одушевлявших крестьян к непреклонному сопротивлению не только местным чиновникам, но и военным командам,— то можно предположить, что они *хорошо поняли Положение — иначе действия их не могли бы иметь столь определенно противуправительственного характера*» (1861, 6, III, 14). (Курсив мой.— *Ф. К.*)

Итак, крестьянские вожди воодушевляли народ к непреклонному сопротивлению властям потому, что *хорошо поняли* антинародный характер Положения. Эту мысль обозреватель «Русского слова» подчеркнул еще более отчетливо, полемизируя с «Русским вестни-

ком», утверждавшим, что волнения происходили лишь в глухих, «медвежьих» углах, и усматривавшим причину волнений в малограмотности крестьян. «Русское слово» категорически отвергло эту охранительную концепцию Каткова, показав, что волнения были повсеместными и прежде всего коснулись как раз центральных губерний и что грамотность крестьян в тех губерниях, где произошли волнения, ничуть не ниже остальных. Так в чем же истинная причина волнений? «Слухом земля полнится», — говорит очень справедливо русская пословица, — пишет летописец «Русского слова», — и мы не думаем, чтобы «Русский вестник» не знал о совершающихся событиях тех подробностей, которые всегда бывают известны наибольшему числу публики. Иллюзии, иллюзии всему виною!» (1861, 6, III, 20). Разбившиеся иллюзии русского крестьянства — вот истинная причина крестьянских волнений.

Вспомним свидетельство корреспондента Благосветлова о «настроении умов» в народе, о том, что «безднинская бойня... не уничтожила народных стремлений, не изменила его заветных желаний», что крестьянские неповиновения «могут служить только доказательством неудовольствия народа и волнения в нем». Вот это «настроение умов» в народе и стремилось любыми путями донести до читателя «Русское слово».

Отношение крестьян к реформе, как к черному и низкому обману со стороны помещиков, автор «Современной летописи» продемонстрировал на конкретных фактах в апрельской книжке журнала за 1862 год. Эта «Летопись» касалась иной формы протеста крестьян, недовольных «Положениями 19 февраля», — неподписания ими уставных грамот.

Почему крестьяне не желали подписывать уставные грамоты?

Обозреватель «Русского слова» вновь издевается над утверждением катковствующего лагеря, будто причиной тому — необразованность крестьян, «тупая оппозиция, как следствие непроходимого невежества — ну и баста!» (1862, 4, III, 5).

Охранительные публицисты «всю вину сваливают на крестьян, — ну а вот послушайте, что пишет крестьянин Иван Иванов в 4-м номере «Мирового посредника», — замечает летописец «Русского слова» и приводит обширную корреспонденцию крестьянина, объяс-

няющего, почему мужики в их селе не хотят подписывать уставной грамоты.

«Какое мы получим улучшение в хозяйстве?» — спрашивают крестьяне этого села своего мирового посредника. «Мировой посредник пояснил, что помещик, если он пожелает, может взять от нас третью часть земли. Мы говорим: у нас и в настоящее время хлеба не хватает на полгода, на одну лошадь и корову не достает корму, а без скота невозможно удобрение полей. Мировой посредник замолчал, и мы остались в недоумении о хозяйственной нашей участи» (1862, 4, III, 6).

Далее пошел разговор о плате за землю. И снова выяснилось, что крестьяне в серьезном проигрыше: до реформы они платили оброк в шесть рублей семнадцать копеек за ревизскую душу, а теперь — по десяти рублей, и к тому же «земли мало, всего приходится по одной десятине, разбитой на три поля,— ни хлеба запасти, ни корма для скота решительно нет никакой возможности». «Да много ли нужно земли, по-вашему?» — спросил посредник. «Мы говорим, что если жить честно, платить повинности исправно, иметь настоящий кусок хлеба, здоровый скот, удобренные поля, при виде которых сердце радуется,— то на таковое хозяйство потребно восемь с половиною десятин, то есть шесть десятин пахотной, две луговой и полдесятины под строения и огород для капусты и разных овощей...» Мировой посредник замолчал, и мы остались в том же недоумении... И так пять раз мы были у посредника и всегда уходили с тем же, с чем приходили. Пусть добрые люди решат, правы ли мы или виноваты? А до той поры подписывать уставную грамоту как-то нет охоты» (1862, 4, III, 7—8).

Обозреватель «Русского слова» разыскал на страницах специального журнальчика и перепечатал полностью это письмо потому, что в нем «почти единственное гласное заявление крестьянином своих нужд, своего взгляда на совершающийся вокруг переворот. Наша масса, как известно, не любит высказываться,— ее не приучила к тому история» (1862, 4, III, 8),— иронизирует обозреватель, давая понять, что крестьянство просто не имеет возможности высказать гласно «свои нужды, свой взгляд на совершающийся вокруг переворот».

Подчеркнув, что приведенное письмо — не частный, единичный факт, автор «Современной летописи» при-

водит рассказ крестьянина Нижегородской губернии о том, как его помещик им землю давал: «Как есть один песок да камень, сколь ни вали на нее навоза, все ничего почитай не родится. Вот мы на миру и решили: не люба, мол, нам эта земля» (1862, 4, III, 9); излагает ряд сообщений из официальной прессы, скомпоновав их вместе, о многочисленных обманах помещиками крестьян; рассказывает о действиях лично знакомого ему помещика-либерала, переселившего своих крестьян «с удобных земель на пески, не имевшие никакой стоимости, на которых даже плохой урожай был положительно невозможен».

«Я недавно проезжал через имение этого либерала: бедность страшная!

— Ну как живете? — спросил я знакомого мне крестьянина.

— Разорил он нас, в полон разорил. Скотинка какая была — всю распродали. Хлебушка совсем не родится. Прогневали, знать, мы царя небесного, — печально ответил мне на вопрос временнообязанный крестьянин моего либерала...» (1862, 4, III, 15.)

Столь полная картина бедственного экономического положения «освобожденного» русского крестьянина, последовательная революционно-демократическая критика журналом крепостнической реформы 19 февраля, явившейся обманом крестьянства, и заключала в себе объяснение истинной причины крестьянских волнений.

Автор «Современной летописи» высказывает недовольство тем, что революционные события развиваются слишком медленно. Рассказав в своих обозрениях о возмущениях крестьян в ряде центральных губерний, показав, что эти возмущения были без труда подавлены царскими властями, автор «Современной летописи» писал: «...Теперь события во всех вышеозначенных губерниях, *кроме села Бездна и нескольких селений Пензенской губернии* (где крестьяне попытались дать правительственным войскам серьезный отпор. — *Ф. К.*), доказывают, что русский, или, как говорит «Русский вестник», *наш* крестьянин *действительно добр и мягок;* но для полной и верной характеристики следует, по нашему мнению, к этим качествам прибавить еще одну крестьянскую добродетель: *терпение*» (1861, 6, III, 21). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

И понятна та тревожная быстрота реакции, с какой журнал отметил начавшийся летом 1861 года отлив

революционной волны: «События, начавшиеся так грозно в центре России – на Волге, утратили свой первый характер вместе с распространением их из *центра* по *окружности:* волнения крестьян были во всех губерниях, где существует крепостное право. Меры правительства, принятые против этих волнений, смягчили наружное проявление недоумения и несбывшихся ожиданий и стремлений их» (1861, 8, III, 15).

Понятно и другое: почему именно в это время на страницах «Русского слова» с такой последовательностью и удивляющей откровенностью пропагандируется идея революции.

В августовском номере журнала за 1861 год, в «Обзоре современных событий», составленном Благосветловым, ставится вопрос о допустимости «войны». Благосветлов утверждает здесь, что в принципе война – «социальное зло», что война «со временем сделается не только невозможной, но и немыслимой», – «следовательно, вся тайна в том, чтоб угадать такие общественные отношения, при которых война, как социальное зло, становится невозможной» (1861, 8, II, 4).

«Но пока эта проблема остается загадкой сфинкса для современного социального человека, война неизбежна. Источник ее скрывается не в одних международных отношениях, отравленных ненавистью, угнетением, историческими предрассудками... нет, источник ее таится гораздо глубже – в самих условиях нашей общественной жизни. К сожалению, мы так приглядались, так привыкли к ним, что не замечаем того внутреннего антагонизма, который происходит внутри нас, в наших понятиях, сословных отношениях, в экономическом распределении труда и капитала... – во всем, чем мы дышим и живем каждую минуту. Если б можно было стать на какую-нибудь высокую гору и простым физическим глазом рассмотреть весь процесс нашей жизни, со всеми его признаками и следствиями, тогда мы увидели бы, что наши улицы и поля с утра до вечера покрываются жертвами этой внутренней войны, что наши больницы, тюрьмы, площади казни, плантации и галеры стонут медленно умирающими не в открытом сражении, а в... общественной борьбе» (1861, 8, II, 4–5).

Условия жизни оправдывают освободительную, революционную войну: «Как непременное зло по своим

материальным последствиям, она в то же время может быть орудием охранения и пропаганды справедливейших и благороднейших убеждений человечества» (1861, 8, II, 4).

Так, в конечном счете, решался на страницах «Русского слова» вопрос о революционном насилии,— бесспорно, в духе Чернышевского.

Слова эти принадлежат Г. Благосветлову — тому самому Благосветлову, который, по мнению иных исследователей, никогда не поднимался выше расплывчатого буржуазного радикализма или демократического просветительства.

А вот как развивал Благосветлов ту же мысль в февральской книжке «Русского слова» за 1862 год в связи с войной Севера и Юга: «Нет сомнения, что война — величайшее несчастие нашего времени, но что же делать, если человечество еще не дошло до того, чтоб разрешать международные вопросы, самые незамысловатые, не кулаком, а разумом... Само собой разумеется, что много погибнет людей, много будет разрушено состояний, но разве меньше зла причинит рабство в ряду нескольких поколений, разве не теми же человеческими костями будут усеяны поля, залитые потом и кровью негров. Мы даже думаем, что никакая война, как бы она ни была гибельна по своим последствиям, не может идти в сравнение с таким глубоким злом, как медленные и глухие страдания четырех миллионов рабов в продолжение уже истекших семидесяти лет» (1862, 2, II, 5).

Разве это не прямая пропаганда крестьянской революции — войны «белых невольников» против своих господ? Свяжите это с тем вниманием, которое уделял журнал освободительному движению крестьянства, с теми сетованиями на такую «добродетель», как «терпение» русского народа, возьмите на учет то обстоятельство, что слова «раб», «негр» были для демократических публицистов того времени приспособленными для цензуры синонимами слова «крепостной»,— и вы убедитесь, что иного ответа быть не может.

Начиная с апрельского номера «Русского слова» 1861 года, где была напечатана статья «Невольничество в Южно-Американских штатах», подписанная «А. Топоровъ» (кстати, вспомните в «Колоколе»: «К топору зовите Русь!»), журнал последовательно пропагандирует идею крестьянской революции как единствен-

ного пути радикального решения крестьянского вопроса. Журнал стремится хотя бы информационно сообщить читателю о каждом факте революционных волнений и репрессий самодержавия.

Так, в «Современной летописи» девятого номера журнала за 1861 год без всяких комментариев сообщается о том, что «вследствие повторившихся беспорядков в Санкт-Петербургском университете» он закрыт, и тут же изложено наставление военным начальникам об «употреблении войск для усмирения народных волнений и беспорядков» (1861, 9, III, 1).

«Современная летопись» майской книжки журнала за 1862 год заканчивается сообщением о закрытии правительством двух воскресных школ. Почему? Обнаружено, что в них «преподается учение, направленное к потрясению религиозных верований, к распространению социалистических понятий о праве собственности и к возмущению против правительства» (1862, 5, III, 20).

В апрельской книжке журнала за 1862 год летописец сообщает:

«В Ведомостях СПб. городской полиции напечатан следующий приказ С.-петербургского генерал-полицмейстера:

«Не могу не поставить на вид С.-петербургской полиции, что она недостаточно обращает внимания на разбрасывание в городе людьми неблагонамеренными резких воззваний, которые хотя и не имеют никакого значения, но, однако, напрасно могут тревожить жителей» (1862, 4, III, 34).

Нет никакого сомнения, что этот решительный поворот журнала к последовательному революционному демократизму, совершившийся в первой половине 1861 года, определялся резким ростом революционности крестьянства, с одной стороны, проповедью «Современника», с другой.

Внимательное изучение «Русского слова», руководимого Благосветловым, показывает, что не существует противоречия между гласной линией этого журнала и нелегальной революционной деятельностью руководителя и сотрудников его. С каждым месяцем позиция журнала и его неофициального редактора становится все более последовательной. Все отчетливее отмежевывается «Русское слово» от либерализма и, солидаризируясь с «Современником», вступает с либе-

ралами в открытую, острую борьбу. «Это квинтэссенция всего наилучшего, — иронизирует над либералами журнал. — Оно непременно либерально, на английской конституции съело собаку, с Пальмерстоном, Расселом ведет ближайшее знакомство, весьма язвительно отзывается о деспотизме Наполеона, умеренно восторгается Гарибальди, презрительно относится к Мадзини, читает, не пропуская даже геологического строения Кавказа, «Русский вестник», очень любит статьи Феоктистова в «Отечественных записках», прислушивается к тону политического отдела «Северной пчелы»... Pauvre peuple, pauvre peuple! — говорит с умеренным вздохом современное человечество и вслед за вздохом отливает... пулю для pauvre peuple» (1862, 5, III, 3—5).

К представителям «современного человечества», то есть либерализма, журнал в одинаковой степени относит и Каткова, и Кавура, и Рассела.

Одним из ярких эпизодов борьбы революционной демократии с русским либерализмом была полемика, которую вели «Современник» и «Русское слово» с «Отечественными записками» по поводу лидеров европейских либералов — Кавура и лорда Рассела. После того как «Отечественные записки» взяли под защиту Рассела от критики «Русского слова», Благосветлов писал: «Скандал! Беззаконие! «Современник» подсмеивается над Кавуром, а «Русское слово» — над маленьким лордом». И далее:

«И мы немножко знаем Англию. Прожив около года там, мы вынесли из своего трехлетнего путешествия по Европе самые лучшие воспоминания об англичанах; мы не издали, не мимоходом по парламентской площади, всматривались в этот великий народ. И народ мы любим и уважаем; знаем, что никто не внес столько сокровищ в общечеловеческое развитие, как англичане, но и ни одно правительство не совершило на пути своей истории столько злодеяний, как английское. Вот наша вера, и мы не раз выражали ее ясно» (1862, 4, III, 27).

Благосветлов спорит не только с «Отечественными записками», но и с собственными более ранними высказываниями, с той идеализацией порядков в Англии, которая сквозила в его первых статьях. Теперь же «Русское слово» так характеризует Англию: «Страна, которая так славилась удивительной цивилизацией, вековой свободой, просвещенным общественным мне-

нием, не занимается ныне ничем, кроме себя, и во всех странах видит только рынки» (1861, 5, III, 22).

А разве не прямую полемику с прежними утверждениями Благосветлова, превозносившего до небес чудесную силу «общественного мнения» в Англии, представляет собой «Современная летопись» в апрельской книжке журнала за 1862 год?

«Сила общественного мнения есть первая и главная сила народа, посредством которой он управляет своими делами и исторической судьбой: так думает известный разряд прогрессистов, доктринеров и *шовинистов,* чрезвычайно склонных формулировать народную жизнь в отвлеченные понятия, часто не имеющие никакого действительного смысла. Но сходя с облаков на реальную точку зрения, мы имеем право спросить: но что же такое общественное мнение?.. Каким языком оно говорит?.. Где же оно обитает и чем поддерживает свое существование?» (1862, 4, III, 1—2).

И далее публицист убедительно доказывает, что никакого единого общественного мнения нет и быть не может. «Интересы и стремления капиталиста и дворянина никогда не могут быть тождественными с интересами пролетария или крестьянина. Поэтому в каждом *благоустроенном* государстве de facto существует несколько мнений, столько же, сколько сословий» (1862, 4, III, 4).

Автор «Современной летописи» стремится формировать то «общественное мнение», которое выражает интересы крестьянина.

Но кто же он, таинственный «летописец», столь последовательно отстаивающий на страницах «Русского слова» крестьянскую революционность? И кто такой А. Топоров, автор статьи «Невольничество в Южно-Американских штатах», столь глубоко и смело проводивший революционно-демократическую точку зрения на крестьянский вопрос?

Можно предположить, что автор статьи «Невольничество в Южно-Американских штатах» и автор, или, как говорили в ту пору, составитель «Современной летописи» «Русского слова» — одно и то же лицо. Дело в том, что подписная «Современная летопись» в № 5 «Русского слова» за 1861 год была обозначена: А. Т—ровъ, сокращенно от А. Топоровъ.

Но кто вел «Современную летопись» в «Русском слове»?

Л. Варустин убедительно доказал, что «Современная (с 1863 года — «Домашняя») летопись» в «Русском слове» с мая 1861 и по 1863 год включительно составлялась, как правило, одним лицом [1]. Он доказал это путем анализа текстов «Летописей», где имеются свидетельства на этот счет.

Вероятно потому, что в 1865 году составителем обозрения был Н. В. Шелгунов, чья подпись под обозрением появилась в журнале с январской книжки 1865 года, авторство «Летописи» на всем протяжении ее публикования приписывали Н. В. Шелгунову. Утверждение это без всяких доказательств выдвинул в 1906 году А. Ершов;[2] к нему присоединился Л. Плоткин [3] и др.

Л. Э. Варустин подверг справедливому сомнению это утверждение, но никаких аргументов, кроме априорного заявления о том, что Шелгунов в 1861—1864 годах «не мог» быть автором «Домашней летописи», не представил.

Между тем в литературе и в архиве Пушкинского дома имеются документальные материалы, убедительно доказывающие ошибочность утверждений Ершова.

Так, в письме к Л. П. Шелгуновой от 14 февраля 1865 года Н. В. Шелгунов пишет: «...Завтра и первого дня поста принимаюсь за «Домашнюю летопись». Кажется, я уже писал тебе, что Благосветлов не только предложил мне писать ее... но даже объявил об этом в декабрьской книжке» [4].

В письме к жене от 22 февраля 1865 года, которое не было полностью опубликовано, Н. В. Шелгунов сообщает: «Сегодня отправляю первую статью «Домашней летописи». Вышла не летопись, а просто статья на тему Петербург и провинция... Если мои «летописи» понравятся редакции, то, видно, выйдет листов 12...» [5]

---

[1] См.: Варустин Л. Кто был автором «Внутреннего обозрения» в журнале «Русское слово» в 1861—1863 гг.?.. — Учен. зап. ЛГУ, № 218, вып. 33, 1957.

[2] Ершов А. К истории русской журналистики и общественности. «Русское слово», — Образование, 1906, № 12, с. 89.

[3] Плоткин Л. А. Д. И. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 239.

[4] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 2, с. 171.

[5] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. — Шелгунов Н. В. Письма к Л. П. Шелгуновой. 21203/CX VI, б. 2, л. 96.

Таким образом, мы имеем свидетельство самого Шелгунова о том, что ему было поручено писать «Домашнюю летопись» лишь с начала 1865 года и что первая статья «Летописи» написана им именно тогда.

Кто же составлял «Домашнюю летопись» до Шелгунова?

Л. Э. Варустин выдвинул предположение, что автором «Летописи» был не Шелгунов, а Г. Е. Благосветлов. В распоряжении Л. Э. Варустина не было документальных материалов, подтверждающих это предположение, он исходил из анализа идейного содержания «Летописей» и из тех намеков, которые сделаны автором «Летописи» о своей личности на страницах журнала, — в том числе таких важных, как сообщение о том, что автор «Летописи» был студентом в Петербурге (1863, 4, III, 21), жил три года за границей (1863, 7, III, 55) и т. д. Никто из сотрудников «Русского слова», кроме Благосветлова, не находился за границей именно три года.

В нашем распоряжении имеются документальные материалы, окончательно доказывающие правильность предположения Л. Э. Варустина [1].

Это, во-первых, корректура «Домашней летописи» для февральского номера «Русского слова» за 1863 год, запрещенная цензурным комитетом и обнаруженная нами в Центральном историческом архиве в Ленинграде [2]. Корректура содержит две большие авторские вставки, писанные чернилами от руки; вся корректура испещрена на полях возражениями цензору, сделанными бегло карандашом, но той же рукой. Характер вставок и в особенности возражений цензору таков, что принадлежность их автору «Домашней летописи» несомненна. Так, одна из пометок гласит: «То же самое было уже развито мною в статье, одобренной к печати Василием Андреевичем [3]. Могу представить статью».

При сопоставлении этих вставок и пометок с автографом Г. Е. Благосветлова нетрудно убедиться в его авторстве. Таким образом, многочисленные оговорки

[1] См.: Кузнецов Ф. Кто вел «Домашнюю летопись» в «Русском слове»? — Исторический архив, 1957, № 2.

[2] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, ед. хр. 84, л. 1—4.

[3] Василий Андреевич Цеэ, председатель С.-Петербургского цензурного комитета.

относительно личности составителя, рассыпанные на страницах «Летописи» и подмеченные Л. Э. Варустиным, отнюдь не случайны. Что это так, подтверждает и такой авторитетный современник «Русского слова», как Антонович. В № 10 «Современника» за 1864 год, в статье «Вопрос, обращенный к «Русскому слову», призывающий редакцию «Русского слова» дать оценку статьи Писарева «Нерешенный вопрос», Антонович пишет: «Прошу также и г. Благосветлова, составляющего «Домашнюю летопись» в «Русском слове», ответить на вопрос...» (с. 290).

Если вспомнить, что даже такой далекий от благосветловского «Русского слова» публицист, как Ап. Григорьев, уже через месяц после прихода Зайцева в редакцию знал, кто составляет в «Русском слове» анонимный «Библиографический листок», и сообщил об этом во «Времени», то не может быть никакого сомнения в том, что уж Антоновичу-то было известно, кто на протяжении последних лет ведет в «Русском слове» тот или иной отдел. Поэтому его свидетельство является в высшей степени авторитетным. Что касается выражения «составляет» «Домашнюю летопись», то оно было очень широко распространено в журналистике 60-х годов и равнозначно слову «пишет».

Так, в объявлении об издании журнала на 1865 год в сентябрьской книжке «Русского слова» за 1864 год значилось: «Составление «Домашней летописи» разделится между И. И. Дмитриевым и Г. Е. Благосветловым». В таком же объявлении, опубликованном в № 12 за 1864 год, читаем: «Составление «Домашней летописи» разделится между Н. В. Шелгуновым и Г. Е. Благосветловым». Итак, Шелгунов был также составителем «Домашней летописи» в 1865 году, иными словами — автором ее (за исключением «Домашней летописи» в № 3 «Русского слова», за 1865 год, которая шла без подписи и, следовательно, судя по приведенному объявлению, составлялась Благосветловым).

Кстати, наличие фамилии И. И. Дмитриева в первом объявлении, так же как и отсутствие ее во втором, не случайно. В некрологе, посвященном И. И. Дмитриеву, опубликованном в 1867 году в «Искре», сообщается:

«В 1864 году, продолжая писать для «Искры» и «Современника», Дмитриев составлял для «Русского

слова» внутреннее обозрение, и в конце этого же года г. Степанов, задумав отделиться от «Искры», предложил ему быть редактором «Будильника» [1]. Речь здесь идет, несомненно, об эпизодическом участии Дмитриева в составлении «Домашней летописи» наряду с Благосветловым. Что Дмитриев не был основным составителем «Домашней летописи», доказывает хотя бы тот факт, что Антонович, обращаясь поочередно к «составителям» различных отделов «Русского слова» (в частности, к Минаеву как автору «Дневника темного человека»), называет составителем «Домашней летописи» не Дмитриева, а одного Благосветлова.

Тот факт, что Благосветлов продолжает составлять «Домашнюю летопись» и в 1864 году, подтверждается и документально. Так, например, 3 октября 1864 года он пишет Семевскому: «Окажите мне благодеяние следующего рода: Комиссия составления проекта Главного судопроизводства посылала особенных экспертов для осматривания тюрем... Не можете ли Вы достать для меня 1 экземпляр этих отчетов о тюрьмах, и если можно, нельзя ли промыслить их поскорее» [2]. Судя по другому письму [3], Благосветлов эти отчеты получил, и уже в сентябрьской книжке «Русского слова» (утвержденной цензурой 6 ноября) дал в «Домашней летописи» материал о тюрьмах по этим отчетам.

Приведенные факты позволяют утверждать, что «Современная», а потом «Домашняя летопись» «Русского слова» составлялась сначала Благосветловым, в 1864 году Благосветловым с помощью Дмитриева и, наконец, в 1865 году — Шелгуновым и Благосветловым. В результате устанавливается принадлежность Г. Е. Благосветлову крайне интересных и значительных журнальных материалов. Все это помогает нам с еще большей полнотой представить подлинный идейный облик руководителя «Русского слова», который формировал направление журнала в полном соответствии с той программой, которую он отстаивал, будучи одним из руководителей подпольной революционной организации «Земля и воля».

---

[1] Искра, 1867, № 11.

[2] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Архив М. И. Семевского, 9883—9884, IX, б. 44, л. 16.

[3] Там же, л. 25.

Глава V

ПРОРОК МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

1

В октябре 1860 года Благосветлов писал Мордовцеву: «Вы, конечно, лучше меня видите, чем хромает журнал,— у него нет критического нерва, потому что нет здоровой и всесокрушающей критики»[1].

Надо было обладать редакторским даром Благосветлова, чтобы в двадцатилетнем юноше, который приносил ему переводы из Гейне, разглядеть будущего «пророка молодого поколения», каковым, по словам Шелгунова, явился Писарев.

«Раз утром зашел я к Благосветлову. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным умным лбом и с большими, умными, красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев»[2],— вспоминает Шелгунов о своей первой встрече с критиком «Русского слова».

Писарев познакомился с Благосветловым в конце 1860 года, а с первых месяцев 1861 года начинается систематическая деятельность его в журнале. В февральской книжке журнала за 1861 год появляется его статья «Несоразмерные претензии»; в апрельской — «Идеализм Платона»; в майской и сентябрьской — «Схоластика XIX века»; в июньской, июльской, августовской — «Аполлоний Тианский», в октябрьской — «Стоячая вода» и т. д.

Писарев пришел в «Русское слово» очень молодым и еще незрелым человеком. Опыт его литературной работы ограничивался сотрудничеством в издаваемом артиллерийским офицером Кремпиным «Рассвете» — журнале «наук, искусств и литературы для взрослых девиц». Журнальчик этот, по отзыву Писарева, имел

---

[1] См.: Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 129.

[2] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 201.

направление «сладкое, но приличное». Статьи Писарева, публиковавшиеся в «Рассвете» (он вел здесь библиографический отдел), по справедливому наблюдению Л. Плоткина, несут на себе отсвет пропаганды «Современника». Однако было бы неправильным преувеличивать влияние «Современника» на юного Писарева: оно было едва заметным и не нарушало того эклектизма и несамостоятельности, которыми была отмечена работа критика в журнале «Рассвет».

Да и первые статьи критика в «Русском слове» несут еще на себе отпечаток незрелости.

«Наука и искусство дожны мирить нас с жизнью, объясняя нам ее смысл и внушая мягкое и осмысленное сострадание к самым, по-видимому, неизвинительным уклонениям ее от законов разума» (1861, 2, II, 59), – писал он в своей первой заметке на страницах «Русского слова». Все последующие выступления Писарева, в продолжение традиций Белинского пестовавшего *отрицательное* направление в русской литературе, спорят с этим утверждением. В нем отчетливо сказалось влияние эстетики «чистого искусства», которой не чурался Писарев во время работы в «Рассвете».

Печать незрелости заметна и на диссертации Писарева «Аполлоний Тианский», опубликованной в «Русском слове» в 1861 году. Работа эта раскрывает сложный путь критика к материалистическому мировоззрению. Вместе с тем диссертация Писарева, даже и в переработанном (неизвестно, в какой степени) для журнала варианте ее, содержит утверждения, от которых критик вскоре откажется. Писарев говорит, к примеру, здесь, что, «не имея ни основательного научного образования, ни способности к бессмертному мышлению, Аполлоний решал вопрос о пауперизме сплеча и прямо бросался в несбыточные и оскорбительные для личности человека утопии коммунизма» (1861, 8, I, 9).

Что касается политической программы Аполлония, то Писарев характеризует ее так: «...Он не хотел производить революции, или по крайней мере революция не была целью его жизни, потому что цель его была и шире, и глубже, и достойнее мыслящего человека» (1861, 6, I, 2).

«Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и обще-

ственного строя составляют единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла» (2, 125), — скажет Писарев в прокламации о Шедо-Ферроти в июне 1862 года. Изменения, которые претерпело мировоззрение Писарева после прихода его в «Русское слово», были воистину революционными — как по интенсивности, так и по глубине своей. Н. В. Шелгунов так характеризует их:

«В Писареве свершалась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он назади. Такой именно ум и был у Писарева. Масса новых открытий и истин, созданных колоссальными успехами новейшего естествознания и точных наук, и новейшие исследования в области политических и экономических знаний вошли в него какой-то светозарной силой, разлили повсюду свет и осветили все его умственные потемки. И всем своим существом Писарев почувствовал, что только в этом свете и заключается та истина, которая, наполнив все его существование, составляет нескончаемый источник его умственного и нравственного существования»[1].

Что обусловило столь бурную эволюцию Писарева в 1861—1862 годах? Чем объясняется разительно быстрое превращение сотрудника журнала «для девиц» в первого критика «Русского слова» и автора прокламации о Шедо-Ферроти? Здесь взаимодействие, конечно, целого комплекса причин. Прежде всего — общественной атмосферы времени, о котором Ленин говорил как о времени «революционной ситуации». «...Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 222—223.

и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров,* появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови *заставлять* принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять *такое* «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»[1].

Особенно большое значение для идейного формирования Писарева имела революционная проповедь «Современника» и «Колокола» Герцена. Не случайно при аресте у Писарева были обнаружены фотографии Герцена и Огарева[2], а причиной ареста послужила прокламация о Шедо-Ферроти, написанная в защиту Герцена. Не случайно в статьях 1861 года Писарев находит возможность, несмотря на все запреты цензуры, высказать самое горячее сочувствие Герцену:

«Припомните, господа, ближайших литературных друзей Белинского — людей, которым он в дружеских письмах выражал самое теплое сочувствие и уважение: вы увидите, что многие из них свистали, да и до сих пор свищут тем богатырским посвистом, от которого у многих звенит в ушах и который без промаха бьет в цель, несмотря на расстояние» (1861, 9, II, 2).

По справедливому замечанию Л. Плоткина, впервые со всей остротой поставившего вопрос о влиянии Герцена на Писарева, адрес этих строк не вызывает сомнений. В той же статье «Схоластика XIX века» Писарев говорит, не скрывая восхищения, о талантливом и рыцарски честном человеке, авторе статьи «Капризы и раздумия». «...*Без них* не могло бы быть и *нас*»,— заявит Писарев в 1865 году, и это утверждение можно отнести не только к Белинскому, Герцену, но и к Чернышевскому.

Проблема «Чернышевский и Писарев» заслуживает особого, самого тщательного и глубокого исследования. Такие статьи, как «Схоластика XIX века», где Писарев впервые объявил себя последователем Черны-

---

[1] Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 29—30.

[2] См.: Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 566.

шевского и безоговорочно стал на его сторону в полемической борьбе с либерально-охранительным лагерем, как «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), как «Разрушение эстетики» и др., свидетельствуют, сколь велико было влияние Чернышевского на Писарева. В свою очередь и Чернышевский очень внимательно приглядывался к молодому критику «Русского слова».

«...В ноябре 61 года я получил приглашение работать для «Современника» и отказался – зане возлюбил «Русское слово»[1], – сообщал Писарев матери.

Показательно отношение Писарева к журналу Чернышевского и Добролюбова после приостановления «Современника» и «Русского слова» в 1862 году.

«...У нас, как тебе, вероятно, известно, – писал он кузине Р. А. Кореневой, – случилось значительное событие: «Русское слово» и «Современник» закрыли на восемь месяцев, и я до нового года свободен, как птица небесная. Я остаюсь совершенно без работы, но это меня нисколько не беспокоит. Я полагаю, что другие журналы приняли бы каждого из нас с большим удовольствием (Г Е. Благосветлова, Чернышевского, Антоновича и меня), но, вероятно, ни один из нас не пожелает работать в других журналах, потому что после закрытия «Современника» и «Русского слова» остается в русской журналистике такая сволочь, с которою порядочному человеку совестно связываться»[2].

Та же мысль повторяется в письме к матери:

«Кажется, закрытие обоих журналов продолжится до нового года; в этом интервале я не намерен писать в других журналах, потому что все они дрянь, поэтому я думаю ехать в Грунец и жить там, покуда не откроется «Современник», или «Русское слово», или что-нибудь им подобное»[3].

В объяснении бурной эволюции, которую претерпело мировоззрение Писарева в 1861 – 1862 годах, нельзя игнорировать и то окружение, в котором находился Писарев в эти годы, – факт, который до сих пор совершенно не принят исследователями во внимание. И до сих пор высказывается предположение, что взрыв открытой, страстной революционности в прокламации

---

[1] Соловьев Е. А. Д. И. Писарев. СПб., 1893, с. 84.
[2] Красный архив, 1924, т. V, с. 253.
[3] Соловьев Е. А. Д. И. Писарев, с. 85.

о Шедо-Ферроти был для Писарева случайным, неорганичным. При этом ссылаются на показания Писарева и Баллода на следствии, когда они старались доказать недоказуемое: будто автор прокламации о Шедо-Ферроти не был революционером.

«...Статья эта, как и большая часть моих журнальных статей, писана без черновой, прямо набело, под впечатлением минуты, — показывал Писарев на допросе. — А впечатления эти были: закрытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного клуба, приостановление журналов «Современник» и «Русское слово», упразднение II отделения Литературного фонда. Все это волновало меня и отражалось на моей статье. Поэтому она написана резко, заносчиво и доходит до таких крайностей, которые я в спокойном расположении не одобряю» [1].

Далее Писарев приводит факты, свидетельствующие о его неуравновешенности (душевную болезнь, историю с Гарднером и др.).

И Баллод и Писарев сделали, разумеется, передержку: «Современник» и «Русское слово» приостановлены на 8 месяцев фактически 12 июня, а официально об этом объявлено 19-го. Баллод же начало статьи получил от Писарева еще в мае. Таким образом, о «впечатлении минуты» говорить не приходится.

Для правильного понимания позиций Писарева в 1861—1863 годах следует внимательнее присмотреться к тому кругу революционной молодежи, который группировался вокруг Баллода.

Хранящееся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции «дело», посвященное Баллоду и его товарищам, именуется так: «Производство учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии о бывшем студенте С.-Петербургского университета Петре Баллоде, кандидате того же университета Дмитрии Писареве, бывших: студенте Василии Лобанове, вольнослушателе Евгении Печаткине, губернском секретаре Николае Жуковском, уфимском судебном следователе Владимире Жуковском, неслужащем дворянине Василии Жуковском и бывшем студенте здешнего университета Павле Мошкалове» (фонд 112 Особого присутствия правительствующего сената, № 21).

---

[1] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 562.

Ведущее положение в этом кругу революционно настроенной молодежи занимал студент-естественник Петербургского университета Петр Давыдович Баллод, который и заказал Писареву прокламацию о Шедо-Ферроти.

Арестованный по тому же делу Василий Жуковский показал на допросах, что «с 1860 года сентября месяца и до сентября 1861 года Баллод вел себя очень хорошо; кроме резких выражений, касающихся правительства, ничего не было заметно. С сентября же было видно участие в сходках, где он играл роль вожака»; сочинения Герцена были у него всегда, и «я знаю, что он их распространял»[1].

В числе взятых у Николая Жуковского бумаг была и такая заметка его брата Василия: «...Дядя посылает тебе 4 № «Колокола», один «Под суд!» и один номер «Будущности». Если успеешь прочитать к завтрему, то завтра получишь следующие номера с Володей (Жуковским.— *Ф. К.*), а старые отдашь ему»[2].

«Дядя» в письме Василия значило Баллод, который *выписывал* «Колокол» (то есть получал его систематически).

Баллод владел карманной типографией, был, очевидно, руководителем или одним из руководителей студенческого кружка, связанного с «Молодой Россией», который печатал и распространял прокламации.

В двух квартирах Баллода (на Васильевском острове и на Выборгской стороне) было обнаружено много шрифта, типографские принадлежности, всевозможные прокламации и несколько заграничных изданий.

Баллод и его кружок имели отношение к распространению ряда революционных прокламаций, и, в частности, «Молодая Россия», «Предостережение», «Офицеры!», «Подвиг капитана Александрова», «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» (автор — студент П. Мошкалов) и др.

Члены этого кружка — Баллод, братья Владимир, Николай и Василий Жуковские, Василий Лобанов, Павел Мошкалов, Евгений Печаткнн и другие были тесно связаны между собой и находились под сильным влия-

---

[1] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 570.

[2] Там же, с. 569.

нием Герцена, нелегальные издания которого читали и распространяли. Кружок этот действовал достаточно планомерно. Ряд его членов — Баллод, братья Жуковские и другие — даже жили на одной квартире. Николай Жуковский, проживая вместе с Баллодом, конечно, знал о карманной типографии Баллода, потому что после раскрытия дела тут же бежал за границу и опубликовал в № 144 «Колокола» следующее письмо:

«Милостивые государи!

Преследуемый правительством по делу одной из Петербургских типографий, я бежал за границу... Прошу вас известить моих друзей о том, что я в Лондоне, и передать им мою искреннюю признательность за сочувствие и помощь»[1].

Павел Мошкалов был также очень близок к Баллоду. Он не только написал прокламацию «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», но сам и набирал ее, учил этому искусству Баллода. Примечательно, что эта прокламация, защищавшая Герцена от грязных инсинуаций барона Фиркса, заканчивалась так: «...Трудности, которые пришлось нам одолевать прежде, чем наш голос мог раздаться в печати, были так велики, и силы наши *пока* еще так мало организованы, что мы *теперь* не можем входить в подробный разбор этой брошюры...»[2] (Курсив мой — *Ф. К.*)

Революционеры-подпольщики обещали своим читателям вернуться к брошюре Шедо-Ферроти еще раз и дать ей «подробный разбор». Такой «подробный разбор» и содержала прокламация Писарева.

Почему именно Писарев реализовал обещание, данное в прокламации П. Мошкалова? Случайность ли это, или к тому были какие-то серьезные основания?

И Баллод, и сам Писарев на следствии всячески подчеркивали *случайность* этого факта.

«...Однажды пришел ко мне Писарев, — показывал Баллод на допросе. — Это было в половине мая. Мы говорили о брошюре Шедо-Ферроти. Писарев сказал мне, что он писал против него, но что цензура не про-

---

[1] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 572.

[2] Там же, с. 538.

пустила; я просил у Писарева эту статью, но он сказал, что не стоит ее читать». Баллод попросил написать тогда, что бы «стоило читать». «В начале июня я зашел к Писареву, и он дал мне $1^1/_2$ листа этой статьи. За день до моего ареста Писарев принес мне вторую половину статьи» [1].

И в этом явно затемняющем дело показании [2] примечательно совпадение оценок брошюры Шедо-Ферроти у Писарева, с одной стороны, у Баллода и Мошкалова, с другой [3].

Это совпадение, так же как и факт обращения Баллода к Писареву с предложением написать нелегальную прокламацию о Шедо-Ферроти, далеко не случайны. Баллод обращался с этой просьбой к человеку, которого он хорошо знал лично, к человеку, который был вовсе не посторонним кружку революционно настроенных студентов, возглавляемому Баллодом.

Исследователями не приняты во внимание факты, свидетельствующие о тесных, дружеских связях Писарева с Баллодом и членами его кружка. Эти отношения были настолько тесными, что можно утверждать: Баллод и его товарищи и были тем кругом наиболее близких друзей Писарева, в обществе которых он вращался в 1861—1862 годах.

Об этом Писарев прямо говорил на допросах: «...Приехавши в Петербург (конец 1860 года.— *Ф. К.*), я переменил круг знакомства и, поселившись на Васильевском острове, в доме Белянина, в квартире

---

[1] Не случайно в определении сената, приговорившего Баллода к каторжным работам в рудниках на 15 лет с последующим поселением в Сибири навсегда, отмечалась «неискренность Баллода в *сознании*, ибо он, пойманный правительством на самом преступлении, не будучи в состоянии скрыть этого, тщательно утаивал своих сообщников, и... при самых последних показаниях своих он, вместо подробного и точного изложения всех обстоятельств дела... дозволил себе иронически отзываться о своем преступлении, сравнивая себя с охотником, идущим на медведя...» (Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 588).

[2] Там же, с. 539.

[3] «Русское слово» нашло возможность хотя бы намеком выразить свое отношение к брошюре Шедо-Ферроти: «Месяц май, являвшийся всегда петербургским жителям в ореоле бесконечных пожаров, весенних выставок и осенних холодов, и на этот раз явился к нам с теми же гостинцами, сопровождаемыми, кроме того, весенними голосами: австрийского литератора Шедо-Ферроти, французского — г. Скарятина...» (1862, 5, «Дневник темного человека», 1).

кухмистерши Мазановой, сблизился с моими соседями студентами: тремя братьями Жуковскими, двумя Даниловыми, Баллодом, Сурковым и Федотовым...»[1] «Со студентом Баллодом я познакомился, как сосед по квартире и как товарищ по университету. Видались мы с ним осенью 1860 года и весной 1861 года почти ежедневно, осенью 1861-го реже, раз в неделю или в две, а с начала 1862 года, после того как приятель мой, Владимир Жуковский, уехал в Уфу, я перестал бывать в доме Белянина и не видался с Баллодом до мая»[2].

Переписка Писарева с матерью свидетельствует, что уже осенью 1861 года Баллод и Владимир Жуковский были близкими друзьями Писарева.

В письме от 18 сентября 1861 года мать попрекала его: «В «Северной пчеле» пишут, что устраивается подписка в пользу бедных студентов; вот бы ты подписался... право, ведь это лучше, нежели пообедать у Дюссо в честь каких-то странных убеждений». На письме приписка сестры Писарева: «Понимаю обед 5 сентября и от души сочувствую». На вопрос, что это за обед, Писарев на допросе ответил: «Обед у Дюссо 5 сентября давался мною в честь моей двоюродной сестры, Раисы Александровны Кореневой, с которою я воспитывался и в которую был влюблен. В этот день — ее именин — я хотел их праздновать. На обеде присутствовали г. Баллод и Владимир Жуковский. Нас было всего трое. Сестра моя сочувствовала любви моей, а мать моя смотрела на нее недоброжелательно, но почему она называет ее «странными убеждениями» — этого я не знаю»[3].

В письме от 13 января 1862 года мать пишет: «Ты упорно молчишь — ну и бог с тобой; слишком занят социальными вопросами, чтоб к матери написать: резон»[4].

Несомненно, что обед «в честь странных убеждений», на котором присутствовали «всего трое»: Писарев, Баллод и Владимир Жуковский, в сентябре 1861 года касался не только Раисы Кореневой, но и тех «социальных вопросов», которыми с таким все-

[1] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 560.
[2] Там же.
[3] Там же, с. 564.
[4] Там же.

поглощающим вниманием был занят Писарев в 1861—1862 годах.

Несомненно и то, что общение с кружками революционно настроенной молодежи, воспитанной на идеях Чернышевского и Герцена, распространявшей нелегальные издания и прокламации, было серьезной школой политического воспитания Писарева, игнорировать которую не следует.

Но было бы еще большей ошибкой игнорировать воспитательное воздействие на молодого критика еще одного крупного революционера и демократа той поры, человека, неизмеримо более зрелого, чем члены студенческого кружка Баллода,— Г. Е. Благосветлова. Как я уже указывал выше, осенью 1861 года Благосветлов становится членом «Земли и воли». Не исключено, что и кружок Баллода, также активизировавшийся с осени 1861 года, входил в эту организацию: известно, что «Земля и воля» объединила все разрозненные революционные кружки 60-х годов. Только в Москве и Петербурге насчитывалось около 400 членов «Земли и воли». Во всяком случае, III Отделение прямо связывало имена Баллода, Евгения Печаткина и других с Утиным, который, как известно, был членом «Земли и воли»: «Пропаганда в воскресных школах была введена по проекту Чернышевского через посредство утинского кружка, из которого вышли на сцену: Евгений Печаткин, Баллод, Беневоленский, Давыдов и др.»[1].

Благосветлов и его близкий друг Попов, человек революционной ориентации, стали близкими друзьями Писарева. Известно, что, переехав с квартиры Мазановой, где он жил вместе с Баллодом и братьями Жуковскими, Писарев поселился у Попова.

Благосветлов впоследствии писал: «У меня не было на земле лучших нравственных симпатий, как к нему (Писареву), и уж я, стоявший так близко к самому процессу этого хрустального ума, мог понимать и ценить его силу»[2].

В свою очередь, Писарев неоднократно свидетельствовал, какое колоссальное влияние оказал на него Благосветлов.

В 1865 году в журнале «Современник» в ходе поле-

---

[1] ЦГАОР, III отд., 1-я эксп., ед. хр. 97, ч. II, л. 1—4 об.
[2] Благосветлов Г. Е. Соч., с. VI.

мики его с «Русским словом» было опубликовано следующее, весьма примечательное письмо матери критика Варвары Писаревой (привожу в сокращении), адресованное Н. А. Некрасову:

«Милостивый государь Николай Алексеевич!

В февральской книжке вашего журнала г. Посторонний Сатирик обращается к г. Благосветлову с следующими словами: «Много чести для вас, если вы их (Писарева и Зайцева) называете *своими* сотрудниками; гораздо точнее назвать вас ихним прихвостнем, или, лучше, человеком, загребающим жар ихними руками». Об отношениях г. Благосветлова к г. Зайцеву я ничего не знаю, но об отношениях г. Благосветлова к моему сыну, Д. И. Писареву, мне известны некоторые факты, совершенно опровергающие мнение вашего сотрудника; для восстановления истины довожу эти факты до вашего сведения, по желанию моего сына, и прошу напечатать это письмо в вашем журнале.— 1) В январе 1861 года мой сын, бывший в Москве, виделся с г-жой Евгениею Тур и предлагал ей свое сотрудничество для «Русской речи»; заговоривши о литературе, мой сын сказал г-же Тур, что он поклонник чистого искусства, что он считает г. Майкова за величайшего из современных русских поэтов и что он восхищается рассказами г-жи Кохановской. Г-жа Тур не согласилась с ним на этих пунктах и не приняла его в сотрудники, потому что видела в нем юношу, совершенно погрязшего в старой эстетике. 2) В апреле 1861 года сын мой пожелал поместить куда-нибудь перевод XI песни «Мессиады», сделанный им летом 1860 года. Он отнес свою рукопись в редакцию «Странника» и передал ее г. В. Головину, заведывавшему тогда редакциею этого журнала; рукопись эта, однако, не появилась в печати. 3) В ноябре 1861 года мой сын, вместе с г. Благосветловым, был у одного писателя, заведывавшего редакциею «Современника», и этот писатель, в присутствии г. Благосветлова, предлагал моему сыну работать для «Современника». Сын мой поблагодарил за оказанную ему честь и отказался, говоря, что пока он может быть полезен «Русскому слову», до тех пор он будет посвящать ему все свои силы.

В январе сын мой был еще эстетиком, в апреле он еще, по своей неразвитости, был способен входить

в сношение с «Странником», а в ноябре уже «Современник» предлагал ему работу; дурно или хорошо то превращение, которое в нем совершилось, об этом я не говорю ничего; но факт состоит в том, что этим превращением он исключительно обязан г. Благосветлову. Если, говорил он мне часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честного литератора, то я должен сознаться, что это понимание пробуждено и развито во мне г. Благосветловым; поэтому сын мой видит в г. Благосветлове не «прихвостня», а своего друга, учителя и руководителя, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты...

...Сообщая вам эти сведения, милостивый государь, я руководствуюсь весьма законным желанием оградить честь моего сына, связанную самыми тесными узами с честью того человека, под руководством которого развернулась его литературная деятельность и сложились его убеждения. Я надеюсь, милостивый государь, что вы не откажетесь напечатать в вашем журнале мое письмо.

Позорить Благосветлова и в то же время выгораживать Писарева, – невозможно: или оба они честные люди, или оба – негодяи. Таково глубокое убеждение моего сына.

Варвара Писарева» [1].

Л. Плоткин высказывает мысль, что автором этого письма был сам Писарев: «Если даже предположить, что автором письма была Варвара Писарева, то и в этом случае несомненно, что факты, сообщенные в нем, санкционированы самим Писаревым» [2].

Последнее предположение исключено: имеется документальное свидетельство, убеждающее нас, что данное письмо – акция самого Писарева. Р. А. Коренева-Гарднер так отвечала на вопрос В. Д. Писаревой по поводу этого письма: «...Письмо Ваше к Некрасову, разумеется, читала. Вы спрашиваете меня, поступил ли Митя благородно? Да...» (Письмо от 28 мая 1865 г.) [3].

---

[1] Современник, 1865, № 3, с. 218–220.

[2] Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 170.

[3] Материалы для биографии Д. И. Писарева. Публикация Б. Козьмина. – Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, 1940, вып. 9.

Правда, в статье «Посмотрим!» в сентябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год (в это время назревал конфликт между Писаревым и Благосветловым) Писарев внес некоторые коррективы к приведенному выше письму. «Я действительно многим обязан Благосветлову в моем развитии, но я никогда не говорил, что Благосветлов *первый* познакомил меня с теми идеями, которые я теперь провожу и защищаю в «Русском слове»... Редактор обыкновенно берет себе в сотрудники таких людей, в которых уже зашевелилась работа мысли и в которых эта работа представляет хоть что-нибудь родственное, хоть какую-нибудь точку соприкосновения с главными идеями редактируемого журнала» (1865, 9, II, 22–23).

Эта поправка существенная. Она подтверждает наше представление о генезисе революционно-демократических воззрений Писарева: вся обстановка 60-х годов, включая проповедь «Современника» Чернышевского и «Колокола» Герцена, будили мысль юноши и выработали в нем к началу 1861 года какие-то точки соприкосновения с идеями редактируемого Благосветловым «Русского слова». Однако к началу сотрудничества Писарева в «Русском слове» таких точек соприкосновения было очень мало. И конечно, незрелый в идейном отношении, хотя и очень талантливый, юноша не мог не испытать на себе благотворного влияния цельной и продуманной системы демократических убеждений Благосветлова. Вот почему в статье «Посмотрим!» Писарев присоединился к основной мысли письма Варвары Писаревой и подтвердил, что «все показания этого письма совершенно верны».

И тем не менее исследователи, исключая Л. А. Плоткина, не находили возможным считаться с этим личным свидетельством Писарева всерьез.

Одни из них – недоброжелатели Писарева – пытались с помощью этого свидетельства превратить великого критика в ничтожного последыша Благосветлова. Другие – доброжелатели критика – игнорировали письмо в «Современнике», потому что признать, будто убеждения Писарева сложились под руководством Благосветлова, значило в их представлении принизить Писарева.

И те и другие исходили из совершенно превратного понимания общественного лица Благосветлова, — сам факт влияния его на Писарева бросал на критика, по их разумению, мрачную тень.

В действительности, хотя и справедливо свидетельство Шелгунова, что «Благосветлов принадлежал к группе людей, во главе которых стал Писарев», — большим счастьем для критика было то, что начинал он свой литературный и общественный путь под руководством такого зрелого политического бойца, как Благосветлов.

Неверно было бы полагать, что мировоззрение Благосветлова и Писарева тождественно. Однако, как справедливо пишет Л. Плоткин, «многие взгляды Благосветлова послужили исходной точкой, отправным пунктом для Писарева»[1]. Вместе с тем, справедливо подчеркивает Л. Плоткин, в «дальнейшем деятельность Писарева развернулась с такой широтой, что роли переменились и ученик стал учителем...»[2]

Кристальный ум и незаурядный литературный и публицистический талант Писарева, глубина и оригинальность убеждений в на редкость короткий срок выдвинули Писарева на первое место в «Русском слове», а после смерти Добролюбова и ссылки Чернышевского — на первое место в революционно-демократической критике.

При всем значении для журнала Благосветлова нет никакого преувеличения в словах Шелгунова о том, что именно Писарев создал «Русское слово»[3].

«Умный, блестяще умный Писарев», этот «страстно и последовательно мысливший, отважный и бесстрашный идейный боец»[4], явился, по свидетельству Шелгунова, «пророком молодого поколения, хотевшего начать новую жизнь»[5].

---

[1] Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 187.

[2] Там же.

[3] См.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 206.

[4] Там же, с. 222.

[5] Шелгунов Н. В. Григорий Евлампиевич Благосветлов. — В кн.: Благосветлов Г. Е. Соч., с. II.

О том, что значил для молодежи 60-х годов прошлого века Писарев, можно судить по отзыву такого авторитетного современника, как П. Ткачев: «...Разве Добролюбов уступал хоть чем-нибудь Писареву по силе таланта, по глубине, ясности, логичности своего ума, по своей искренности, по своим из ряда вон выходящим способностям?.. А между тем разве он пользовался при своей жизни хоть половиною той популярности, того влияния и авторитета, которым пользовался Писарев в бытность свою сотрудником «Русского слова»? Нет» [1].

Это удивительное по силе, электризующее влияние статей Писарева на умы молодежи продолжалось долгие годы и после его смерти. Не случайно сочинения Писарева на основании высочайшего повеления вплоть до 1905 года значились в числе книг, запрещенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях.

19 мая 1894 года, четверть века спустя после смерти критика, директор департамента полиции Петров доносил начальнику Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову:

«В департаменте полиции получены сведения, что 20-го числа текущего мая месяца предполагается выход в свет собрания сочинений Писарева, издание Павленкова. По имеющимся указаниям, обстоятельство это вызывает в некоторых слоях общества, и в особенности в среде учащейся молодежи, заметное волнение и толки о том, насколько легально будет означенное издание и будет ли оно доступно для всех желающих приобрести его. Между прочим студенты и другие представители учащейся молодежи принимают уже ныне меры к сконцентрированию денег на покупку поименованного сочинения в руках нескольких лиц, чтобы сразу же по выходе... приобрести таковое в значит⟨ельном⟩ количестве...» [2].

Сохранилось немало свидетельств передовых деятелей русской общественной мысли, науки и культуры о том влиянии, которое оказало на них творчество Писарева.

«Любя природу, я рано почувствовал стремление к познанию ее, но осмыслилось это стремление после

---

[1] Шестидесятые годы, с. 226.

[2] Красный архив, 1940, № 6, с. 222.

того, как я прочел Писарева... От него же я узнал, что я должен приносить пользу обществу»[1], — писал в своих воспоминаниях академик А. Бах.

Драгоценны для нас свидетельства Н. К. Крупской об отношении к Писареву В. И. Ленина, о той роли, которую сыграли статьи Писарева в формировании убеждений Ильича.

«Важнее всего, конечно, та эпоха, в которую рос Владимир Ильич, — писала Н. К. Крупская. — Это была эпоха, когда подвергался критике отживающий крепостнический уклад, когда и новое воспринималось с большой настороженностью. Влияние Чернышевского было на Ленина очень велико, немало читал он и Писарева»[2].

«Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил»[3], — вновь высказывала она ту же мысль в статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы».

«В Шуше я рассказала Ильичу свои впечатления от чтения Писарева, а он мне заявил, что сам зачитывался Писаревым, расхваливая смелость его мысли. В шушенском альбоме Владимира Ильича среди карточек любимых им революционных деятелей и писателей была фотография и Писарева»[4], — рассказывала Н. К. Крупская.

И сегодня удивительно современно звучат писаревские слова о мечте, столь сочувственно приведенные Лениным в «Что делать?».

Отношение Ленина к Писареву раскрывает его высокая оценка статьи Веры Засулич «Добролюбов и Писарев», вставшей на защиту имени критика «Русского слова» от Ивановых, Волынских и им подобных, поносивших его.

«Любимцем молодежи», которым «зачитывались шестидесятники и семидесятники», называет В. Засулич Писарева.

Что так привлекало умы молодежи 60-х, 70-х и последующих годов в творчестве идейного вдохновителя журнала «Русское слово»?

---

[1] Бах А. Записки народовольца. М., 1922, с. 172.

[2] Н. К. Крупская о Ленине. Сборник статей. М., Госполитиздат, 1963, с. 68.

[3] Там же, с. 71.

[4] Крупская Н. К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы. М., 1936, с. 9—10.

«В одной из статей Писарев говорит, что с каждым в жизни бывает, когда одна какая-нибудь мысль, одно слово заставляют его очнуться и приняться за внутреннюю перестройку, и тогда-то начинается генеральное выкидывание за борт. Это-то «выкидывание за борт» и есть начало того спасительного обновления, без которого невозможна разумная жизнь. И Писарев во всех своих статьях роется на всякие лады в своей душе и душе читателя, возбуждая его на подобную работу» [1], — писал Н. В. Шелгунов.

Вот через это «спасительное обновление» мысль Писарева проходила постоянно. То, что он утверждал еще только вчера, сегодня зачастую было уже чуждо ему и испытывало на себе всю сокрушительную мощь ударов его разума. Если брать статьи Писарева независимо от времени их написания, обнаружатся такие парадоксальные противоречия в его воззрениях, ни понять, ни объяснить которые будет невозможно.

Зрелый Писарев центром своей деятельности сделает борьбу за целенаправленное и последовательное служение личности обществу, народу. Он будет страстно звать людей к осознанию одной «высшей руководящей идеи» — идеи «общей пользы или общечеловеческой солидарности» (1864, 10, II, 28). Он провозгласит принцип максимальной «экономии сил» и отказа от эгоистических радостей личности во имя решения важнейшей общечеловеческой задачи времени — вопроса о голодных и раздетых людях.

Начинал же Писарев с не менее страстного провозглашения идеи полной эмансипации человеческой личности от стесняющих и сковывающих пут общества, — с этой идеей, провозглашаемой вначале в довольно абстрактной, эпикурейско-гедонической форме, пришел Писарев в «Русское слово». Именно здесь и была прежде всего та самая «точка соприкосновения» будущего критика «Русского слова» с позициями Благосветлова.

Как я уже отмечал выше, борьба за эмансипацию человеческой личности была одной из главных задач редактируемого Благосветловым «Русского слова».

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 218.

Идея эмансипации личности, истоки которой уходили в XVIII век, век Великой французской революции и просветителей-энциклопедистов, в условиях самодержавно-крепостнической России носила ярко выраженный антифеодальный характер. Яд крепостничества пронизывал всю жизнь русского общества — начиная от экономических отношений крестьян и помещиков, кончая отношениями в семье. Вот почему борьба с крепостничеством для революционной демократии не ограничивалась требованием освобождения крестьян. В ту пору огромное значение приобретало разоблачение «идейного крепостничества» [1], — деспотизма не только политического, но и умственного, нравственного, разрушение всех пут и стеснений, налагаемых на человека охранительной идеологией и философией, официальной моралью, церковью.

Таково реальное, боевое демократическое содержание, казалось бы, абстрактного требования эмансипации личности, выдвинутого Благосветловым на страницах «Русского слова».

«Особенность тогдашнего общества... составляла гуманность, — этот самый лучший, самый благородный и великодушный протест шестидесятых годов против тупости, грубости и жестокости прежнего общественного и домашнего строя... против всякого общественного и семейного деспотизма и насилия» [2], — вспоминает Н. В. Шелгунов.

Эта целеустремленная, последовательная борьба за освобождение личности, сразу же вышедшая на первый план в «Русском слове», выделяла этот журнал из всех других органов демократии 60-х годов.

Уже начальные статьи Писарева — «Идеализм Платона» (№ 4, 1861), первая часть «Схоластики XIX века» (№ 5, 1861) — обнаруживают, что главной задачей времени он считает эмансипацию человеческой личности от феодальных пут и оков. При этом, совершенно закономерно, задачу эмансипации человека он сопрягает с борьбой и разоблачением поповской, мистической, идеалистической философии, видя в ней теоретическое оправдание умственного, нравственного, политического закабаления личности. В этом смысл статьи Писарева «Идеализм Платона».

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 100.

[2] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 135—136.

Платон для Писарева – «родоначальник идеалистов», его философия – квинтэссенция идеализма: «Галлюцинация Платона дошла до того, что он верил в действительное существование идеи отдельно от явления; идеализм сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вместе с тем сразу дошел до такого полного отрицания самых элементарных свидетельств опыта, какого, вероятно, он не достигал никогда ни прежде, ни после Платона» (1861, 4, II, 44).

Оторвавшись от реальной, живой действительности, уверовав в существование абсолютной истины, обретающейся в сферах, куда может залететь лишь пылкое воображение, но куда не поведет критическое исследование, основанное на изучении фактов, Платон конструирует мир в угоду своим идеалистическим представлениям, «говорит в своей нравственной философии: должно думать так-то, поступать так-то, стремиться к тому-то» (1861, 4, II, 46). Все, что не согласовывалось с его конструкциями, он признает случайным, незаконным, препятствующим общему благу человечества.

Особенно резкое негодование вызывает у Писарева трактат Платона о государстве и о законах.

«В государстве Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нет и не должно быть,– иронизирует Писарев.– Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме; кроме этой служебной должности, он ни в каком кругу не имеет значения; он не сын, не брат, не муж, не отец, не друг и не любовник. С минуты рождения его отрывают от груди матери и помещают в воспитательный дом, его не показывают родителям в течение нескольких лет, и его происхождение умышленно забывается; его воспитывают наравне со всеми детьми его возраста, и он, как только начинает помнить и сознавать себя, чувствует, что он – казенная собственность...» (1861, 4, II, 60).

Пленники «идеального государства» Платона лишены каких бы то ни было человеческих прав. Они живут в атмосфере политической и нравственной деспотии.

По убеждению Писарева, наследниками Платона являются все деспоты не только прошлого, но и настоящего: «Принцип, проведенный Платоном в его

трактатах о государстве и о законах, небезызвестен новейшей европейской цивилизации» (1861, 4, II, 63),– замечает он.

Свою борьбу с идеализмом Писарев осмыслял как борьбу политическую, как борьбу с теми путами, которые накладывали на человека религия и официальная идеология того времени.

Правда, на первых порах пафос писаревской проповеди был обращен не столько на необходимость коренной перестройки общества как условия освобождения личности, сколько на пропаганду идеи самостийной эмансипации человека от всех и всяческих пут.

«Литература во всех своих видоизменениях должна бить в одну точку: она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны» (1, 103),– писал он в первой части «Схоластики XIX века».

При этом Писарев подчеркивал, что «эмансипировать собственную личность не так-то легко и просто», что для этого человеку надо пройти «целый курс нравственной гигиены», преодолеть умственное предубеждение и нравственную робость, мешающую «свободно желать, мыслить и действовать».

Писарев начал свой жизненный путь отрицанием и проверкой, внутренней перестройкой всех привычных нравственных и общественных понятий. Ему потребовалось в полном смысле этого слова эмансипировать собственную личность от той системы миросозерцания, которая была привита ему средой и воспитанием. С этой задачей Писарев справился блистательно. И с чисто юношеским упоением и страстностью он стремился увлечь за собой по этой дороге как можно большее число прозелитов. Будучи натурой искренней, горячей, пылкой, на первых порах он иногда перегибал палку и звал молодежь к освобождению не только от робости мысли, предрассудков касты, авторитета предания, но и от «стремления к общему идеалу», который, по его мнению, также мешает человеку «свободно дышать и развиваться в разные

стороны». В пафосе полемики он, бывало, смахивал как «отживший хлам» и такие понятия, как «цель жизни», «общий идеал» («Цель жизни! Какое громкое слово, и как часто оно оглушает и вводит в заблуждение, отуманивая слишком доверчивого слушателя»). Писарев забывал, что все определяется реальным наполнением этих «громких» слов.

В его призывах к «беззаветному наслаждению» поначалу звучат нотки чисто эпикурейского отношения к жизни. Но уже и в самых первых выступлениях Писарева в «Русском слове», если брать их *тенденцию*, а не частности, ощутимо крепнет *гражданское* понимание эмансипации личности.

Писарев ставит перед литературой и журналистикой задачу – разбивать предрассудки молодежи, помочь ей «отрешиться от отцовских заблуждений» и «выработать себе разумное миросозерцание». Для чего? Ради чего? Ради того, чтобы толкнуть молодежь «на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековой плесенью» (1861, 5, II, 58).

Особенно важное значение имел призыв Писарева к пересмотру официальной, или, как говорил Писарев, мещанской, нравственности того времени. «...Мы живем и развиваемся под влиянием искусственной системы нравственности, – писал он в «Схоластике XIX века», – эта система давит нас с колыбели, и потому мы совершенно привыкаем к этому давлению; мы разделяем этот гнет системы со всем образованным миром [и потому, не видя пределов своей клетки, считаем себя нравственно свободными][1]. Но, оставаясь для нас незаметным, это умственное и нравственное рабство медленным ядом отравляет нашу жизнь...» (1861, 5, III, 71). Оно-то и воспитывает тех нравственных уродов и рабов, которые послушно терпят изживший себя идиотический порядок вещей.

Казенной, охранительной морали Писарев противопоставлял просветительскую систему нравственности, общую для демократии 60-х годов, – «разумный эгоизм».

Как справедливо отметил Л. Плоткин в книге «Пи-

[1] Слова в квадратных скобках не были пропущены в журнале цензурой.

сарев и литературно-общественное движение 60-х годов», в проповеди «разумного эгоизма» «Русское слово» продолжало традиции Герцена. Герцен первым среди деятелей русского освободительного движения употребил понятие «разумный эгоизм».

«Что такое эгоизм? — спрашивал он. — Сознание моей личности, ее замкнутости, ее прав? Или что-нибудь другое? Где оканчивается эгоизм и где начинается любовь? Да и действительно ли эгоизм и любовь противоположны; могут ли они быть друг без друга? Могу ли я любить кого-нибудь не для себя; могу ли я любить, если это не доставляет *мне,* именно *мне* удовольствия? Не есть ли эгоизм одно и то же с индивидуализацией, с этим сосредоточиванием и обособлением, к которому стремится все сущее как к последней цели? Всего меньше эгоизма в камне — у зверя эгоизм сверкает в глазах; он дик и исключителен у дикого человека; не сливается ли он с высшей гуманностью у образованного?.. Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден, он-то и есть его любовь к науке, к искусству, к ближнему, к широкой жизни, к неприкосновенности и проч.» [1].

Нравственную теорию «разумного эгоизма» разрабатывали в 60-х годах не только Писарев и «Русское слово». В своем «Антропологическом принципе в философии», а позже в романе «Что делать?» и в ряде других работ Чернышевский заявлял, что он последовательный и принципиальный сторонник теории «разумного эгоизма».

Есть нечто глубоко симптоматичное в том, что в своих нравственных принципах русские революционные демократы наследовали мораль французских просветителей XVIII века, — ведь истоки теории «разумного эгоизма» — в эпохе Великой французской революции и времени подготовки ее. Как и в ту пору, «разумный эгоизм» шестидесятников был ярко выраженной революционной, антикрепостнической теорией нравственности. Он ставил в центр мироздания человеческую личность как конечную и главную цель бытия. Он выводил человеческую нравственность из материалистических, точнее — антропологических посылок: ощущений, эмоций, чувств человека, — и разрушал церковные, идеалистические системы нравствен-

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 2, с. 96.

ности, выводившие моральные нормы человеческих взаимоотношений из догматов религии. Во времена феодализма и крепостничества с его принижением и уничижением человеческой личности, в эпоху не только экономического, но и политического, юридического, духовного рабства мораль «разумного эгоизма», провозглашающая человека, его личность, его желания и наслаждения, его счастье основой и целью бытия, была дерзким вызовом установившемуся порядку.

Так и осмыслял мораль «разумного эгоизма» Писарев, настойчиво пропагандировавший ее.

Писарев решительно отмежевывается от обычного, распространенного, с его точки зрения, мещанского понимания слова «эгоист». «Эгоист, по понятию нашего общества, — тот человек, который никого не любит, живет только для того, чтобы набивать себе карман или желудок, а наслаждается только чувственными удовольствиями или удовлетворением своей алчности или честолюбия» (1861, 10, II, 32).

«Эгоист» в понимании Писарева — это нечто совершенно другое. «Эгоистом» он называет человека, эмансипировавшего свою природу от догматов ложной нравственности. «Эгоизм — система умственных убеждений, ведущая к полной эмансипации личности и усиливающая в человеке самоуважение...» (1861, 10, II, 33) — вот какое реальное содержание вкладывал Писарев в свое понятие эгоизма, или, точнее, «разумного эгоизма». Как видим, писаревский «разумный эгоизм» и в самом деле очень далек от общепринятого и сегодня толкования слова «эгоизм».

«Отсутствие нравственного принуждения — вот единственный существенный признак эгоизма» (1861, 10, II, 32), — говорил Писарев. Идея эгоизма неразрывно связана для Писарева с «идеей свободы личности» и составляет необходимое основание общечеловеческой солидарности. Это убеждение Писарева покоится на чисто просветительской, но от этого не менее прекрасной вере в человека, в его природу. «Человек от природы существо очень доброе, и если не окислять его противоречиями и дрессировкой, если не требовать от него неестественных нравственных фокусов, то в нем собственно разовьются самые любовные чувства к окружающим людям, и он будет помогать им в беде ради собственного удовольствия, а не из сознания

долга, т. е. по доброй воле, а не по нравственному принуждению» (1861, 5, II, 69–70).

В теории «разумного эгоизма» революционных демократов в присущей им просветительской форме пробивала себе дорогу мечта о таком обществе, где личное и общественное будут находиться в полном гармоническом единстве, которое и есть необходимое условие свободы личности. Это была неясно выраженная социалистическая, коммунистическая мечта. «Гнет общества над личностью так же вреден, как гнет личности над обществом; если бы всякий умел быть свободен, не стесняя свободы своих соседей и членов своего семейства, тогда, конечно, были бы устранены причины многих несчастий и страданий» (1861, 10, II, 34).

К идее социализма, или, как определял ее Писарев, к идее «общечеловеческой солидарности», он шел именно этой дорогой – дорогой поиска путей реальной эмансипации личности, слияние личного и общественного.

Писарев был первым в «Русском слове», кто выразил на страницах журнала сочувствие идеалам утопического социализма. Он шел к этому, преодолевая ошибочное представление, высказанное им в «Аполлонии Тианском», будто коммунизм означает стеснение личности. Позже (мы покажем это во второй части работы) Писарев развернул эти свои догадки в последовательную систему социалистических убеждений. И что важно: уже на первых порах, в противоречии с отдельными положениями диссертации «Аполлоний Тианский», Писарев утверждал, что в условиях деспотизма и угнетения стремление к освобождению личности,– если брать не единицы, а массу,– неосуществимо. «...Развитие неделимого можно сделать независимым от внешних стеснений только на высокой степени общественного развития; эмансипация личности и уважение к ее самостоятельности является последним продуктом позднейшей цивилизации. Дальше этой цели мы еще ничего не видим в процессе исторического развития, и эта цель еще так далека, что говорить о ней – значит почти мечтать» (1861, 5, II, 70).

Это была мечта о социализме. Во второй части «Схоластики XIX века» Писарев с присущей ему пламенностью убеждения защищает от нападок охраните-

лей эту мечту, подчеркивая, что ее разделяет весь лагерь Чернышевского, весь лагерь революционной демократии.

«Вы находите, — говорит г. Дудышкин г. Чернышевскому, — политические убеждения таких людей, как г. Кавур, мизерными, мы их находим практичными». Этими словами, г. Дудышкин, вы охарактеризовали превосходно себя, свой журнал, своих сотрудников, все свое направление. Вы хвалите то, что вам по плечу, — а по плечу вам то, что кажется мизерным утопистам, то есть людям, смотрящим дальше, чувствующим глубже и говорящим смелее. Если бы вы жили во времена Галилея, вы были бы в числе его судей; в наше время вы ограничитесь тем, что назовете Сен-Симона сумасшедшим, а Оуэна — старым идиотом» (1861, 9, II, 31), — говорит Писарев. И призывает своих читателей «восхищаться утопиями, величественными построениями человеческого ума, сбросившего всякие оковы и идущего вперед с неудержимою силою, с неотразимою последовательностью» (1861, 9, II, 31).

Вот к каким далеко идущим социальным выводам подводила Писарева его теория «разумного эгоизма», его борьба за освобождение личности.

Но не менее важное значение имели и те революционно-демократические, антикрепостнические выводы, которые следовали из писаревского требования полного освобождения личности. В полном соответствии со своей программой «разумного эгоизма», понимаемого им как «полная свобода личности», Писарев из номера в номер крушил духовные, нравственные скрепы, которыми за века рабства крепостничество и церковь спеленали души и умы.

В статьях «Стоячая вода», «Писемский, Тургенев и Гончаров», «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», примыкающих к «Идеализму Платона» и «Схоластике XIX века», Писарев на материале литературы раскрывает ту «искусственную систему нравственности», которая насаждалась правящими классами крепостнической России и столь целенаправленно калечила людей.

В традициях революционно-демократической критики Писарев предупреждает читателя, что цель его разборов — не эстетические тонкости произведений, но «те стороны жизни», которые представлены художником. «Для меня Тургенев и Писемский важны настоль-

ко, насколько они разъясняют явления жизни» (1861, 11, II, 24),— пишет он. Заслуга этих писателей перед русским обществом, по мнению Писарева, прежде всего в том, что «оба, Тургенев и Писемский, стояли в чисто отрицательных отношениях к нашей действительности... Эти отрицательные отношения, этот скептицизм — величайшая их заслуга перед обществом» (1861, 11, II, 27).

Жизнь, по утверждению Писарева, настолько уродлива, а те условия, при которых живет масса российского общества, так неестественны и нелепы, что критические отношения к действительности «неизбежны и необходимы». Цель Писарева — вырабатывать в читателях сознание бесчеловечности существующего порядка вещей.

На примере повести Писемского «Тюфяк» Писарев показывает отвратительный лик семейного деспотизма, порождающего рабскую безгласность, втаптывающего в грязь человеческое достоинство. «Все то, что происходит в семье, за четырьмя стенами, скрытое от посторонних глаз, проникнуто духом домостроя и только облагообразило до некоторой степени внешние приемы, рекомендуемые попом Сильвестром. Что касается российского общественного мнения, то оно озабочено только тем, чтобы представить все уродливости семейного быта нормой. Это общественное мнение формирует только рабов и деспотов; свободных людей нет; кто не чувствует над собой гнета, тот гнетет сам и вымещает на своих подчиненных то, что ему приходилось терпеть в молодые годы... Но так жить, как жило и до сих пор живет большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшего порядка вещей и когда не понимаешь своего страдания» (1861, 10, II, 36—37).

Статьи Писарева в «Русском слове» выставляли на всеобщее обозрение несуразности этого уродливого, антигуманного человеческого быта, несли в молодежь сознание противоестественности, бесчеловечности его, вырабатывали самостоятельность и беспощадную трезвость мысли, резко отрицательное, революционное отношение к крепостничеству во всех его проявлениях.

«Словом, вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то

годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» (1861, 9, II, 6),— с обнаженной откровенностью выражал Писарев свой символ веры во второй части «Схоластики XIX века».

Революционизирующий характер целеустремленной борьбы Писарева за эмансипацию личности не вызывает сомнений. Идея эмансипации личности, которую столь усиленно пропагандировало «Русское слово», соотносилась с общей программой журнала и, в частности, с тем положением, что революционный взрыв целиком и полностью зависит от уровня сознательности масс. Выработка отрицательного, или, как говорили враги «Русского слова», нигилистического отношения к средневековым формам общественного бытия, царившим в ту пору в России, освобождение личности от духовного и политического деспотизма крепостнического общества, формирование свободных, сильных духом, критически мыслящих личностей,— все это входило в программу действий русской революционной демократии.

Писарев не скрывает адреса своей пропаганды: тех лучших представителей «среднего сословия», разночинцев, как в ту пору говорили, которые способны отрешиться от отцовских заблуждений и «сделаться посредником между передовыми деятелями русской мысли и нашими младшими братьями мужиками...» (1861, 5, II, 48).

«В нашем обществе,— пишет он,— есть много людей молодых, которые душою рады были бы пойти за светлыми и привлекательными идеями века, но которых останавливает, во-первых, то, что результаты этих идей совершенно расходятся с существующими формами жизни, и, во-вторых, голос рассудительных людей, выбравших мнимую золотую середину. Робость их неокрепшей мысли останавливается на существующем порядке и на авторитете» (1, 104).

Таким образом, и абстрактные построения Писарева об эмансипации личности в связи с системами Платона, и грозные филиппики его против современного ему домостроя, и настоятельно повторяемый призыв к смелости, самостоятельности, последовательности мысли, и борьба со всякой авторитарностью — все это имело сугубо практическое и политическое значение: вырабатывать в сознании молодых

людей готовность пойти «за светлыми и привлекательными идеями века» против существующего порядка вещей и авторитетов, которые его поддерживают. Писарев требовал твердости и мужества в отрицании, готовности идти до конца.

Все симпатии Писарева на стороне тех личностей, которые «борются с жизнью и чего-нибудь от нее требуют», в ком «видна молодость, свежесть и протестующая энергия».

Писарев глубоко сожалеет, что «литература до сих пор не представила образа сильного человека, проникнутого идеями общечеловеческой цивилизации» (1861, 10, II, 20).

Стоило появиться «Отцам и детям» Тургенева,— и Писарев со всей страстью, присущей его таланту, поднимает на щит это произведение именно потому, что образ Базарова, в его представлении, и является той «эмансипированной личностью», тем «сильным человеком, проникнутым идеями общечеловеческой цивилизации», за формирование которого боролся критик в своих статьях.

Писарев отчетливо видит пристрастность Тургенева к своему герою, к его идеям и стремлениям,— писатель относится к ним «с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях» (1862, 3, II, 2).

И тем не менее Базаров, в осмыслении Писарева,— «представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппировались те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах...» (1862, 3, II, 3).

Что это за «свойства»?

Базаров — убежденный материалист, «эмпирик», как называет его Писарев. Из школы труда и лишений он вышел человеком суровым и сильным. Прослушанный Базаровым курс естественных наук развил его природный ум и отучил принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения. Он придерживается последовательно отрицательного направления идей, он — чужой для существующего порядка вещей.

У Базарова есть и знания и воля; мысль и дело сливаются в одно твердое целое,— но для него нет пока еще достойного поля деятельности, где бы он мог свои знания и волю применить. «Действие романа происходит летом 1859 года; в течение 1860 и 1861 годов Базаров не мог бы сделать ничего такого, чтобы

показало нам приложение его миросозерцания в жизни; он бы по-прежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможности. Все это были бы только задатки... Такие люди, как Базаров, не определяются вполне одним эпизодом, выхваченным из их жизни. Такого рода эпизод дает нам только смутное представление о том, что в этих людях таятся колоссальные силы» (1862, 3, II, 47).

Что это за силы? Весь последующий контекст статьи показывает, что Писарев имел в виду здесь колоссальную революционную энергию, заложенную в людях типа Базарова. Это силы, которых «полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбой, действиями и результатами... Такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью» (1862, 3, II, 48—49).

Писаревская трактовка тургеневского Базарова — воплощенного «нигилиста», последовательного «разумного эгоиста», в котором, будто по заказу, воплотился весь комплекс писаревских идей нравственности, — как нельзя лучше показывает глубоко революционный характер той борьбы за «эмансипацию личности», которую вело «Русское слово» в 1861—1862 годах.

Система «разумного эгоизма» выступала в творчестве Писарева как форма революционно-демократической нравственности, противостоящей феодально-крепостнической морали и воспитывающей революционеров и демократов, или, как говорили в ту пору, — «свистунов» и «нигилистов», отрицающих самые основы существующего порядка вещей.

Воспитание «разумных эгоистов», критически мыслящих личностей для Писарева не самоцель, но лишь средство, условие освобождения народных масс.

Он неоднократно подчеркивал, что проповедь освобождения личности от пут официальной нравственности он обращает не к народу («В настоящее время народ еще не в состоянии сознавать эти идеи, обращать их в свое умственное достояние, органически перерабатывать их силою собственного мышления»), но к тем, кто должен повести за собой народ. Конечной же целью всей этой революционизирующей об-

щественное сознание работы была судьба тех, кто «работает и страдает, терпит голод, холод и оскорбления».

«...Великой задачей нашего времени становится умственная эмансипация масс, через которую предвидится им переход к лучшему положению не только их самих, но и всего общества. Школой нашего воспитания является весь народ, а воспитателем его — образованное меньшинство» (1861, 3, II, 90),— заявляет в одной из самых первых своих статей в «Русском слове» Писарев. В этом видел он «великую заслугу времени, самый животрепещущий интерес нашей будущей истории» (1861, 5, II, 45).

И не надо видеть в этом утверждении просветительство чистой воды. Умственная эмансипация масс в представлении редакции «Русского слова» и Писарева была необходимым условием их политического и экономического освобождения. Только умственная эмансипация масс могла привести, в представлении сотрудников «Русского слова», к победоносной народной революции. Это видно, как я уже говорил выше, из статей Благосветлова и Попова. У Писарева эта мысль с предельной очевидностью выражена в памфлете «Пчелы» (1862). Использовав аллегорию с пчелиным ульем для сатирического разоблачения уклада деспотического эксплуататорского государства, критик писал:

«Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего замазывают и затыкают все отверстия, кроме одной маленькой дырочки, через которую поддерживается сообщение улья с внешним миром... Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка». Почему? Да потому, что в противном случае «рабочие перестают работать и начинают понимать, что плодами их усилий пользуются привилегированные классы. Они перестают строить соты, не кормят личинок и не обращают внимания на королеву. Жужжание их усиливается, они собираются в кучки и как будто рассуждают о чем-то, к великому ужасуториев-трутней и крайнему огорчению царицы...» (1862, 2, II, 102, 103).

Просветитель и революционный демократ Писарев сливает воедино веру во всемогущество разума и мечту о народной революции, сокрушает темноту и невежество, предрассудки и авторитеты, мещанскую нрав-

ственность и религиозные догматы ради освобождения мысли, ради выработки в обществе критического взгляда на неразумную действительность, ради воспитания революционного сознания масс.

Революционный демократизм — это целое миросозерцание, огромное, сложное, противоречивое, развивающееся, включающее в себя идеи не только политические, но и философские, эстетические, нравственные. Революционный демократизм — это не абстракция, не схема, не голая теория, но живые люди — и какие люди! — в борьбе, самозабвении, в поисках и колебаниях отстаивающие свой идеал. Здесь масса — индивидуального, своеобразного, противоречивого, а порой и взаимоисключаемого, да и могло ли быть иначе? Ведь это была напряженная, яркая и вместе с тем мужественная, отчаянно смелая, трудная и часто безысходная борьба.

Герцен и Чернышевский, Благосветлов и Добролюбов, Серно-Соловьевич и Зайцев, Писарев и Щедрин. Разве не естественно, что все они, будучи незаурядными людьми, индивидуальностями в самом высоком смысле этого слова, и в творчестве своем, и в борьбе проявляли себя по-разному, всегда оставаясь верными самим себе? И разве наша задача не в том, чтобы, выявив общность их миросозерцания, сохранить, по возможности, нетронутым все обаяние их индивидуальностей, все, что отличало их друг от друга, делало Герцена — Герценом, Чернышевского — Чернышевским, Писарева — Писаревым, Благосветлова — Благосветловым? И не бояться видеть и силу, и слабость, и особенную окраску мировоззрения каждого.

Одной из самых ярких красок писаревского миросозерцания, а через него — платформы «Русского слова» в целом и было вот это подчеркнутое внимание к человеческой личности, которое и окрашивало этот орган русской революционной демократии в свой неповторимый цвет.

Но было бы неверным на основании этого противопоставлять «Русское слово» «Современнику», революционной демократии 60-х годов в целом. Как справедливо писал Н. В. Шелгунов, «Русское слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник». Если «Современник» говорил

преимущественно о новых мехах, то «Русское слово» говорило о новом вине, которое должно их наполнить. Но, как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к «Современнику»[1].

Справедливости ради надо отметить, что если статьи политического и экономического содержания в «Русском слове» 1861—1862 годов, как мы убедились выше, принадлежали в основном Благосветлову, то проблемы, связанные с положением личности в обществе, поднимал прежде всего Писарев,— публицист неизмеримо более талантливый, чем Благосветлов. По статьям Писарева в первую очередь и складывалось у читателя представление о «Русском слове».

Впрочем, и Писарев ни в 1861—1862 и уж тем более в 1863—1866 годах не ограничивался выступлениями, которые посвящены эмансипации личности. Он затрагивал на страницах «Русского слова» и политические, и общественные, и экономические вопросы.

«Благосветлов, не стесняй меня узкими рамками журнальных отделов...— просил он руководителя журнала,— ничто не утомляет меня так, как однообразие работы. Если я долго останавливаюсь на одном отделе или на одном и том же предмете, я чувствую себя одуревшим, мне становится не только противен самый процесс писания, но и ангелы мои отлетают от меня. Я говорю намеренную чушь и печатаю».

«Это он повторял мне постоянно,— писал Благосветлов.— Это-то и заставляло меня разнообразить его труд то статьями по иностранной литературе, то критическими статьями, то беглыми заметками в библиографический листок, то полемическими схватками. Да и как же иначе может действовать русский журналист, с колодками на ногах, с железным обручем на голове?»[2]

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 215.

[2] Шестидесятые годы, с. 229.

О своем отношении к «Современнику» «Русское слово» и Писарев заявили громко и сразу.

По страницам различных отделов «Русского слова» 1861 – 1862 годов – «Политики», «Современной летописи», «Дневника темного человека» были рассыпаны признания в уважении и сочувствии «Современнику», в готовности защищать его идеи.

Когда умер Добролюбов, Благосветлов, который нес гроб с телом покойного, подробно рассказал в «Современной летописи» о его похоронах, привел в отрывках выступления Некрасова и Чернышевского на его могиле. «...В самой первой статье его, проникнутой, как и все остальные, глубоким знанием и пониманием русской жизни и самым искренним сочувствием к настоящим и истинным потребностям общества, все, кто принадлежит к настоящей и мыслящей части русской публики, увидели в Добролюбове мощного двигателя нашего умственного развития» (1861, 11, III, 15), – цитировал журнал выступление Некрасова.

«Дневник темного человека» в февральском номере «Русского слова» за 1862 год в значительной части своей посвящен защите покойного Добролюбова от борзописцев либерально-охранительной прессы.

«Русское слово» дважды – в статье Писарева в 1862 году и Зайцева в 1863 году – возвращалось к фигуре Костомарова, сыгравшего предательскую роль в деле Чернышевского и Михайлова. В майском номере журнала в 1862 году Писарев в рецензии «Поэты всех времен и народов», которая прошла контроль цензуры, нашел возможность предать Костомарова за его постыдное поведение публичному суду.

«...Посмотрите на себя, грозный обвинитель великого поэта, – обращался Писарев к Костомарову, рискнувшему упрекнуть Гейне в личных слабостях, – поройтесь в недавних воспоминаниях, полюбуйтесь на вашу собственную общественную деятельность, и тогда, насладившись этим поучительным самосозерцанием, перестаньте декламировать против чужих слабостей и проступков, менее достойных презрения» (1862, 5, II, 86). Ниже Писарев прямо дает понять читателю, что́ за поступок, достойный уничтожающего презре-

ния, совершил Костомаров: «Уличив Гейне в чистой, спасительной любви, г. Костомаров преследует поэта на его смертном одре и не без соболезнования *доносит* (курсив Писарева.— *Ф. К.*) читателю, что раб божий Генрих Гейне умер нераскаянным грешником». И далее, сообщив читателю, что Костомаров обвинил в доносительстве Генгстенберга, Писарев с убийственной язвительностью замечает: «Кто так близко подходит к Генгстенбергу по воззрениям, тому следовало бы быть поосторожнее в отзывах» (1862, 5, II, 89).

Просвещенный читатель 60-х годов до конца понимал эти более чем прозрачные намеки.

«Русское слово» с такой последовательностью защищало имена Чернышевского и Добролюбова потому, что, по убеждению сотрудников журнала, их союз с «Современником» был союзом единомышленников, делающих одно общее дело.

С особой отчетливостью и до конца эту мысль на страницах «Русского слова» выразил Писарев в своей «Схоластике XIX века».

Статья эта распадается на две части: первые десять глав опубликованы в майской, а главы одиннадцатая — семнадцатая в сентябрьской книжке журнала за 1861 год. И вот что примечательно: вторая половина статьи принадлежит перу гораздо более зрелого в своих революционно-демократических устремлениях человека, чем первая. Именно во второй части статьи выражена мысль о союзе «Русского слова» и «Современника» в борьбе с реакционной и либеральной охранительной журналистикой.

Вообще осень 1861 года — знаменательное время для «Русского слова»: к осени 1861 года журнал становится органом последовательного революционного демократизма. Заманчиво поставить этот факт в ряд других известных нам фактов.

Осенью 1861 года Благосветлов становится членом «Земли и воли».

Осенью 1861 года (сентябрь) происходит уже известный нам «обед» в честь «странных убеждений», в котором приняли участие Писарев, Баллод, Владимир Жуковский.

С осени 1861 года (с сентября) Баллод, по свидетельству Василия Жуковского, активизировав революционную деятельность, начинает играть роль вожака на сходках.

Осенью 1861 года (ноябрь) Благосветлов и Писарев наносят визит Чернышевскому, и Писарев получает приглашение сотрудничать в «Современнике».

Бесспорно, создание летом 1861 года подпольной революционной организации «Земля и воля», сам факт вступления в нее руководителя «Русского слова» Благосветлова (А. Слепцов, напомню, писал, что Благосветлов и ряд других писателей были приглашены в общество именно потому, что «обращено было внимание на создание возможного взаимодействия с русской журналистикой, чтобы, помимо тайной пропаганды, читатель из разночинной интеллигенции... был взят кругом в определенный цикл понятий и интересов»), активизация, в связи с созданием «Земли и воли», всех революционно настроенных людей,— все это не могло не наложить свою печать на журнал в целом и на позицию его сотрудников.

Начиная с осени 1861 года журнал «Русское слово» и Писарев прежде всего немало сделали для того, чтобы «читатель из разночинной интеллигенции... был взят кругом в определенный (то есть революционно-демократический.— *Ф. К.*) цикл понятий и интересов».

Уже начало второй части статьи «Схоластика XIX века» посвящено защите передовой демократической идеологии от нападок охранителей.

«Я не восстаю против полемики, не зажимаю ушей от свиста, не проклинаю свистунов; Ульрих фон Гуттен был свистун, и Вольтер был свистун, и даже Гете вместе с Шиллером свистнули на всю Германию, издавши совокупными силами свой альманах, «Die Xenien», у нас на Руси свистал часто и резко, стихами и прозою Пушкин... А разве во многих статьях Белинского не прорываются резкие, свистящие звуки?..

Оправдывать свистунов — напрасный труд: их оправдало чутье общества; на их стороне большинство голосов, и каждое нападение из противоположного лагеря обрушивается на голову самих же нападающих...» (1861, 9, II, 1—2).

Но кто такие «свистуны» в русском обществе 60-х годов?

«Кто же, как не «Современник» вместе с «Русским словом»? Кто же, кроме этих двух отверженных, осмеливался относиться скептически к деятельности Рассела и Кавура?.. Кто советовал сдать в архив стройные,

красивые, величественные системы идеализма, внутри которых темно, сыро и холодно, как в старом готическом соборе?» (1861, 9, II, 2—3).

Каждая статья «Современника» и «Русского слова», говорит Писарев, составляет преступление против начальства, сшибая с пьедестала какой-нибудь кумир.

Статьи Чернышевского о Гизо и «Полемические красоты», политические статьи Благосветлова, «Схоластика» Писарева и его статьи о Молешотте, «Дневник темного человека» и «Свисток», — перечисляет Писарев преступления этих двух журналов, — каждая из этих статей вызывала бурю возмущения всего синедриона солидных журналов.

Но кому же и чему могут быть опасны выходки свистунов? «Прикосновения критики боится только то, что гнило, что, как египетская мумия, распадается в прах от движения воздуха» (1861, 9, II, 4).

Устаревшим и прогнившим, в представлении Писарева, является то миросозерцание, которое пытаются отстоять «Русский вестник» и «Отечественные записки», органы охранительной идеологии. Всеми своими помыслами Писарев на стороне тех, кто сокрушает эту «египетскую мумию» крепостнического режима и прежде всего — на стороне Чернышевского и его «Полемических красот», вызвавших бурю в русской журналистике. Эта буря, по мнению Писарева, доказала две вещи: во-первых, меткость ядовитого памфлета Чернышевского, а во-вторых, полную духовную нищету и бессилие тех, кто этот памфлет пытался опровергнуть.

«Весело смотреть на то, как защитники... умирающего принципа мечутся, суетятся, теряют голову, противоречат сами себе, сбивают друг друга с ног, говорят все вдруг, как Добчинский и Бобчинский, и все-таки лишаются постепенно своих прозелитов; а между тем новая идея, как пожар, разливается по сцене действия, не останавливается никакими преградами, просачивается сквозь щели стен и дочиста сжигает старый хлам, как бы ни был он плотно закупорен и под каким бы плотным караулом его ни содержали» (1861, 9, II, 11).

Писареву созвучна прежде всего идея материализма, столь последовательно отстаиваемая Чернышевским в «Полемических красотах» от Юркевичей, Кат-

ковых и Аскоченских. В целом ряде статей этого времени – «Идеализм Платона», «Физиологические эскизы Молешотта», «Процесс жизни», «Физиологические картины» – Писарев пропагандирует материалистическое мировоззрение. Испытывая заметное влияние механического материализма, Писарев, как известно, не поднялся до последовательного философского материализма Чернышевского. И тем не менее пропаганда материалистических идей Писаревым наносила серьезные удары по церковной, идеалистической философии. Свержение готических зданий идеализма было для Писарева борьбой с крепостничеством и деспотизмом – не случайно, отмечает критик «Русского слова», столь трудна «пропаганда материализма в таком обществе, где до наших времен, до нынешнего года существовало крепостное право» (1861, 9, II, 26).

Писарев отчетливо осознает революционизирующую силу материалистических идей. «...Разве ж не философия двигала массы, разве не она разбивала дряхлые кумиры и расшатывала устарелые формы гражданской и общественной жизни? А XVIII век? А энциклопедисты?» (1861, 5, II, 76).

В начале 1862 года Писарев публикует в «Русском слове» две статьи, нацеленные против реакционно-охранительного лагеря: «Московские мыслители» (критический отдел «Русского вестника» за 1861 год) и «Русский Дон-Кихот» (Сочинения И. В. Киреевского).

Писарев доказывал, что «Русское слово» и «Русский вестник», революционные демократы и охранители – расходятся в главном: во взгляде на самодержавно-крепостническую действительность. У «Русского вестника», – указывал Писарев, – совершенно особенное, цельное миросозерцание, направленное на сохранение и защиту основ существующего правопорядка в России, и «если бы я вздумал спорить с ними, то наш спор можно было бы сформулировать так: я бы стал доказывать этим господам, что они смотрят на вещи сквозь выпуклые очки, они с пеной у рта стали бы уверять меня в том, что я имею глупость смотреть на вещи сквозь вогнутые очки...» (1862, 1, II, 5).

Однако, говорит Писарев, намекая на особое положение «Русского вестника», подобный спор невозможен: «Русский вестник» стоит на положительной по-

чве, крепко упирается в нее ногами, и эта почва «не выдаст его в минуту скорби и борьбы». «Русский вестник», в силу своего «положительного», то есть охранительного, направления пользуется особым покровительством властей... «У меня оборвут голос в ту самую минутку, когда я попробую основательно возражать мнениям «Русского вестника» (1862, 1, II, 6).

И тем не менее, несмотря на все цензурные трудности открытого спора с «Русским вестником», Писарев находит возможность разоблачить фальшь и вред того «сладенького оптимизма», который составляет преобладающую черту этого журнала.

Смысл статьи «Московские мыслители» – в защите отрицательного направления в русской литературе и общественной мысли 60-х годов, в доказательстве того, что не «розовый оптимизм» охранителей, но беспощадное и последовательное отрицание самодержавно-крепостнической действительности – единственно возможное для умственного и честного человека направление идей в России.

«Тяжела, утомительна, убийственна задача отрицательного писателя; но для него нет выбора; ведь не может же он помириться с теми явлениями, которые возбуждают в нем физиологическое отвращение; нельзя же ему ни себя переделать под лад окружающей жизни, ни эту жизнь пересоздать так, чтобы она ему нравилась и возбуждала его сочувствие. Стало быть, приходится или молчать, или говорить горячо, желчно, порою насмешливо, волнуя и терзая других и самого себя. Неизбежность отрицательного направления начала понимать наша публика...» (1862, 1, II, 3) – утверждает Писарев.

Защита отрицательного направления в русской литературе и журналистике для Писарева – задача отнюдь не эстетическая. «Разве у нас дерутся из-за литературных мнений? Разве у нас возникают тяжебные дела из-за несходства эстетических понятий?» (1862, 1, II, 19) – спрашивает Писарев.

Нет, спор с «Русским вестником» – не эстетический, а политический: отрицательное направление в русской действительности 60-х годов приводило к революционным антикрепостническим выводам и пугало лагерь охранителей потому, что они видели в нем смерть для себя, смерть для столь любезного их сердцу порядка вещей.

В статье «Московские мыслители» Писарев прямо связывает свой призыв к «эмансипации личности» с развитием отрицательного, то есть революционно-демократического направления. Он говорит о том, как всем честным, прогрессивно мыслящим людям России пришлось, становясь на ноги, разрывать связь со своим прошедшим, «переделывать сверху донизу весь строй своих понятий», отрывать с болью и кровью детские верования и взгляды на жизнь, привитые родителями и средой.

Ум, вырвавшийся из неволи, принимается разрушать свою клетку и не останавливается «до той минуты, пока не будет совершенно окончено дело разрушения».

Отрицательное направление угрожало самим основам самодержавно-крепостнического государства. Вот почему охранители его вели с «отрицателями», «нигилистами», «свистунами», «мальчишками» отнюдь не литературную борьбу. Они печатали открытые доносы на «Современник» и «Русское слово». Писарев с полным основанием говорил о неприкрытых булгаринских тенденциях как основополагающих для «Русского вестника» и утверждал, что вся охранительная журналистика во главе с «Русским вестником», «поступила на службу в литературную полицию». Писарев цитирует признание «Русского вестника» о его готовности выполнять «полицейские обязанности в литературе» («...Я до сих пор думал, в невинности души, что между обязанностями хожалого и занятиями литератора нет ни малейшего сходства» (1862, 1, II, 8), – иронизирует он) и показывает, как «Русский вестник» в бессильной злобе опускается до открытых полицейских провокаций и доносов по адресу «Современника» и «Русского слова».

Статья «Русский Дон-Кихот» посвящена одному из столпов русского славянофильства – Киреевскому. Если Катков утверждает, что и в современной ему России «все хорошо», то Киреевский и его последователи стремятся повернуть развитие России вспять, выставляя за идеал допетровскую Русь, как бы забыв, какое житье было в древней Руси: «...что там били батогами не на живот, а насмерть, что суд никогда не обходился без пытки, что рабство или холопство существовало в самых обширных размерах, что мужья хлестали своих жен шелковыми и ременными плетками, а блю-

стители нравственности, вроде Сильвестра, уговаривали их только не бить зря, по уху или по видению» (1862, 2, II, 108).

Нет, общественный идеал России — не в ее прошедшем и настоящем, но в ее будущем, надо только резко и решительно выступать против всего, что мешает будущему.

Писарев и его соратники по «Русскому слову» ведут полемические бои не только с теми, кто открыто и прямо защищает отжившее, — под точным прицелом писаревских статей и сторонники «умеренности и аккуратности», поклонники «золотой середины», русские либералы.

Еще в первой части «Схоластики XIX века» разоблачалась межеумочность позиций русского либерализма, стремившегося в условиях 60-х годов выбрать в борьбе сил демократии и реакции «золотую середину».

«А возможна ли эта середина? — спрашивал Писарев. — Попробуйте стать посередине между негром и плантатором, между самодуром-отцом и дочерью, которую насильно выдают замуж, между мистицизмом и рационализмом. Примирения нет...» (1861, 5, II, 50) — и всякая попытка найти в этой борьбе «золотую середину» есть «оптический обман», который «опасен для неопытных глаз».

Вторую часть «Схоластики...» в значительной части ее Писарев посвящает журналу «золотой середины», который во время спора вокруг «Полемических красот» Чернышевского сразу обнаружил свое истинное лицо, — «Отечественным запискам».

У этого журнала, — говорит Писарев, — есть «два молчалинские таланта: умеренность и аккуратность», его лозунгом являются «политическая умеренность» и «умственная посредственность». А это — всегда две стороны одной медали: «Умственная посредственность всегда отличается пассивным консерватизмом и противопоставляет натиску новых идей тупое сопротивление инерции» (1861, 9, II, 14).

Писарев показывает, что боязнь нового, смелого, революционного приводит «Отечественные записки» в лагерь реакции.

Не случайно в своей борьбе с «Современником» Чернышевского и «Русским словом» они объединились с Катковым и Аскоченским.

Развеялся оптический обман мнимой «золотой середины»!

За политической умеренностью и житейской практичностью «Отечественных записок», которые они стремятся навязывать молодежи, стоят ярко выраженные охранительные тенденции.

«Практичностью называется способность применяться к существующему порядку вещей, мириться с ним, извлекать из него пользу. Если существующий порядок хорош, то есть удобен для всех, тогда практичность – великое достоинство. Если же он дурен, тогда практичность достается на долю людей дюжинных, робких, ограниченных, дряблых или плутоватых, эти люди или молча покоряются «обстоятельствам», «судьбе», или ловят рыбу в мутной воде. Люди замечательные в такие эпохи бывают или восторженными мечтателями, или суровыми отрицателями, или презрительными скептиками» (1861, 9, II, 30).

По мнению Писарева, 60-е годы XIX века были именно таким временем, вот почему его симпатии на стороне «утопии, ювеналовской сатиры и демонического смеха», на стороне тех, кто стремится изменить существующий порядок вещей.

В статьях конца 1861 – начала 1862 года (вторая часть «Схоластики XIX века», «Меттерних», «Бедная русская мысль», «Базаров») Писарев не скрывает своего глубокого сочувствия, более того – своего стремления к революционному преобразованию русского общества.

«Если вы слишком натянете струну – она лопнет. Если голодный народ дойдет до крайней степени страдания – он взбунтуется» (1, 149), – утверждает Писарев, и в результате «как только зло или, проще, неудобство общественного устройства становится невыносимым для большинства граждан, так это устройство и сваливается как засохший струп, как бесполезная чешуя» (1861, 9, II, 25).

Писарев доказывает эту мысль на австрийском материале в статье «Меттерних» – ярком антимонархическом выступлении, где за фигурой австрийского министра Меттерниха посвященным читателем 60-х годов легко угадывались двор и правительство самодержца всея Руси.

Рассказав о всех реакционных мерах Меттерниха, имя которого «сделалось предметом ненависти»,

и особенно – о том гнете, которому при Меттернихе подвергалась захваченная Австрией Италия, Писарев подводил итог: «Он боялся революции и всеми силами старался отклонить или, по крайней мере, отсрочить ее, и в то же время своими распоряжениями заготовил горючего материала на целые десятки революций и вулканизировал всю почву новоприобретенных австрийских владений» (1861, 11, I, 20).

Несостоятельность политики Меттерниха со всей очевидностью обнаружили «итальянские события последних годов» – события итальянской национально-освободительной революции.

Революция в представлении Писарева – законный и закономерный ответ народных масс на гнет и притеснение; благодаря революциям народные массы освобождаются от сковывающего их общественного устройства, как от бесполезной чешуи. Но это происходит лишь тогда, когда народные массы осознают крайнюю степень своих страданий, когда в них просыпается стремление освободиться от зла невыносимого общественного устройства.

Писаревский взгляд на революцию и роль народных масс в истории наиболее полно выражен в подцензурной печати в статье «Бедная русская мысль».

Опубликованная в апрельском и майском номерах «Русского слова» за 1862 год, статья эта вызвала в 1868 году судебное преследование Собрания сочинений Писарева и его издателя Ф. Павленкова. Причиной судебного преследования были неприкрытые революционные тенденции статьи. «По изложению автора, – говорилось в обвинительном заключении, – политические властители представляются только как сила реакционная, угнетательная и стесняющая естественное развитие народной жизни, или, по крайней мере, как начало, неосмысленно мудрящее над народной жизнью, вертящее ее по-своему и навязывающее народу свою непрошеную опеку; народ же или общество выставляются, как элемент гонимый, протестующий, борющийся с гонителями и, наконец, поборающий их личную волю. По мнению автора, в нации, развитой и цивилизованной, личная деятельность правителей не имеет почти никакого значения, а все успехи гражданской жизни совершаются или естественным

ее течением – сменою поколений, или же крупными переворотами» [1].

Показательно, что в ответ на призыв защищаться Писарев сообщил Павленкову в письме от 20 апреля 1868 года: «Читая обвинительный акт, я убедился в том, что в нем нет клеветы и что цензурный комитет и прокурор увидели в моих статьях только то, что я хотел в них выразить» [2].

Петр I для Писарева – символ самодержавной, монархической, деспотической власти, безустанно пытающейся навязать народу свою волю. Такое «мудрение над жизнью» самодержавных правителей, как правило, «расходилось с потребностями людей и времени». А если эти потребности заявляли о себе сопротивлением – иногда тупым и инертным, как сопротивление староверов, иногда «деятельным и блестящим», как сопротивление нидерландских патриотов против распоряжений Филиппа II, – «тогда личная логика мудрителя, опираясь на его личную волю и на его материальные средства, вступала в отчаянную борьбу с естественными силами не понятой им жизни; борьба была более или менее упорна, смотря по тому, насколько была крупна личность деятеля и насколько были развиты силы сопротивления и отпора. В конце концов не понятая и насильственно ломаемая жизнь всегда одерживала победу уже потому, что переживала своего противника...» (1862, 4, II, 32–33.)

По мнению Писарева, жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, не была затронута реформами Петра: все они прошли мимо народа, ни одна из них «не прохватила вглубь», потому что «ни одна из них не была вызвана живой потребностью самого народа».

Вот если бы Петр решился «коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нищего простонародья», не побоялся бы «упорной борьбы с рабовладельческим порядком вещей» и предоставил бы всем гражданам право пользоваться «естественными человеческими правами», – в этом случае он вырвал бы действительный «корень зла», выразил бы истинные потребности народа и стронул бы развитие народной жизни с мертвой точки.

---

[1] Красный архив, 1928, т. 28, с. 211.
[2] Там же, с. 212.

Но этого не произошло и не могло произойти в силу исторической ограниченности Петра[1].

В свою очередь, «страшный гнет материальных забот, лишений и стеснений» парализовал в низшем сословии «всякую самодеятельность мысли, всякую энергию воли и поступков, всякое решительное стремление к лучшему порядку вещей» (1862, 5, II, 48). В таком состоянии умственной апатии народ способен лишь на «тупое, инертное сопротивление» деспотической воле властителей.

Но существуют ли залоги к тому, чтобы народ стал не пассивной, но активной силой исторического процесса? Да, существуют, и в этом случае народ заявляет о своем существовании открытым сопротивлением своим властителям — сопротивлением «деятельным и блестящим».

Что это за залоги?

Ум, развитие, сознание народными массами невыносимости своего положения.

«Разве один человек может мучить десятки миллионов людей, если эти десятки миллионов не хотят, чтобы их мучили? А если десятки миллионов соглашаются быть пассивным оружием в руках полоумного Калигулы, то Калигула-то, собственно, ни в чем не виноват; не он, так другой, не другой, так третий; зло заключается не в том человеке, который его делает, а в том настроении умов, которое его допускает и терпит» (1862, 5, II, 55).

Мысль эта — о бессознательности, рабьем чувстве народа как причине всех его бед, — настоятельно проводится на страницах «Русского слова».

«Когда мыслят, когда живут полною человеческою жизнью целые тысячи или миллионы разумных существ, тогда, конечно, единичная мысль и единичная воля тонут и исчезают в общих проявлениях великой народной мысли, великой народной воли» (1862, 4, II, 38).

При таком положении дел и возможен, по мнению Писарева, исторический прогресс, — или путем «постепенных изменений в нравах, идеях, изменений, проис-

[1] И эту историческую ограниченность Писарев понимал тоже рационалистически: «...отдельный человек во всей своей деятельности... зависит от окружающих обстоятельств, от количества и качества идей, находящихся в обращении между его современниками и выработанных его предками» (1862, 5, II, 50).

ходящих от смены поколений и от естественного движения жизни», или «путем крупных переворотов, соответствующих той или другой неудовлетворенной потребности целого сословия, целой массы людей» (1862, 4, II, 38).

Тот факт, что в конце XVIII века «простые смертные Франции довольно громко заявили наконец о своих потребностях», внушает Писареву веру в будущее, исторический оптимизм. «...То обстоятельство, что низшее сословие подняло голову, повело за собою неисчислимые последствия и изменило весь ход всемирной истории» (1862, 5, II, 57).

Наивно думать, будто все специфические особенности мировоззрения Писарева 1863—1866 годов, о которых речь пойдет ниже,— идея химического и механического пути, ставка на «реалистов», пропагандирующих естественнонаучные знания и проч.,— проявились во второй половине 60-х годов внезапно. Корни их — в общих основах миросозерцания Писарева, формировавшегося в 1861—1862 годах. Стремление к народной революции при рационалистических посылках социологических воззрений Писарева, осложненных рядом историко-материалистических догадок,— все это и создавало сложный противоречивый комплекс миросозерцания Писарева в 1861—1862 и 1863—1866 годы.

С этих позиций он пытался осмыслить закономерность исторического прогресса, условия, при которых проявляется революционная энергия масс. И оказывался при этом перед лицом неразрешимого для себя противоречия, которое он попросту игнорировал в 1861—1862 годах и попытался разрешить в 1863—1866 годах. Суть этого противоречия в следующем. Главное условие успешной революционной борьбы народа против гнета, бедности и бесправия — преодоление умственной апатии, развитие сознания народных масс. Но умственная апатия, дремотность народного сознания — следствие того самого деспотического гнета, бедности и бесправия, с которым беспробудно спящему народу предстоит вести борьбу. Необходимо разбудить народ, но пробуждение его не определяется ни «воплями», ни «воззваниями», ни «любовью», ни «ласками» — народ проснется сам по себе, «по внутренней потребности» (1862, 4, II, 44). Какой? На этот вопрос удовлетворительного ответа Писарев не дает.

Отличие позиции Писарева в 1861—1862 годах от позиции Чернышевского в том, что и в минуту высшего подъема крестьянской революционности, когда многие шестидесятники всерьез считали себя «накануне» крестьянского восстания, Писарев не убежден в том, что народ проснулся: «Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли по-прежнему,— мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем» (1862, 4, II, 44). Сомнения в революционных возможностях крестьянства звучат не только в статье «Бедная русская мысль» (№ 4—5, 1862), но и в статье «Базаров» (№ 3, 1862), которую Писарев закончил словами:

«А Базаровым (то есть революционно настроенным людям, отрицающим самодержавно-крепостнический порядок вещей.— *Ф. К.*) все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают... А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсиновых деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры» (1862, 3, II, 54).

Справедливости ради еще раз отметим, что начиная со второй половины 1861 года, то есть в то время, когда с особой интенсивностью шел процесс революционно-демократического формирования Писарева, революционная волна в «освобожденных» полях и весях России резко пошла на убыль. Скептицизм Писарева в какой-то степени питался реальной действительностью. Свидетельствовал ли он о скептическом отношении Писарева к революционному пути изменения действительности вообще? Ни в коем случае!

Исторические периоды, когда народ пассивен и не может «жить своим умом, наводят на нас тоску и досаду» (1862, 5, II, 60),— признается Писарев. Он каждой клеточкой своего сознания жаждет революции, тоскует из-за отсутствия революционного сознания в недрах народных масс и зовет к революции бесстрашно, патетически:

«Посмотрите, русские люди, что́ делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть наси-

лие, прикрывающееся устарелою фирмою божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала («Современник» и «Русское слово».— *Ф. К.*) закрыты, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами, как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть».

Показательно, что над прокламацией о Шедо-Ферроти, содержащей этот громовой призыв к революции, Писарев работал примерно в то же время, когда он писал статью «Бедная русская мысль». (Статья эта, кстати сказать, была одним из главных поводов приостановления «Русского слова».) Прокламация эта не была случайной для Писарева. Она явилась закономерным следствием его внутреннего развития, выражением его миросозерцания. В этом отдавали себе отчет царские охранники и цензоры. «В «Русском слове» появился новый пророк в модном направлении — Писарев»[1], — сразу же после опубликования «Схоластики XIX века» записывает в своем дневнике цензор Никитенко. В деятельности Писарева и «Русского слова» Никитенко видел дорогу «кровавого потопа в будущем». Журнал этот, писал он в докладной записке, «идет по стопам «Современника». Это его идеал, образец, а главный из сотрудников последнего — Чернышевский, для него есть величайший, единственный ум не только в России, но и во всей Европе, который один понимает все современные и

[1] Никитенко А. В. Дневник, т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 227.

даже будущие потребности человечества в России и один в состоянии удовлетворить этим потребностям в истинно социальном духе»[1].

Журнал «Русское слово» представлялся настолько опасным самодержавию, что в июне 1862 года к нему была применена крайняя мера: вместе с «Современником» он был приостановлен на восемь месяцев. Скоро был заключен в Петропавловскую крепость и Д. И. Писарев.

Планомерное наступление сил реакции на русскую крестьянскую демократию началось.

---

[1] Никитенко А. В. Дневник, т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 602.

ЧАСТЬ II

ЖУРНАЛ «РУССКОЕ СЛОВО» В 1863–1866 ГОДАХ

Глава I

«ПРИКАЗАНО ПОВРЕМЕНИТЬ»

1

30 января 1863 года вышел сдвоенный (январско-февральский) номер возобновленного «Русского слова». Начинался новый, очень непростой этап существования журнала.

И не только потому, что идейный вдохновитель «Русского слова» – Д. И. Писарев – находился в крепости.

Главным, что определяло общественную атмосферу 1863–1866 годов, было то, что революционная ситуация не переросла в революцию. Стремительный отлив революционной волны сопровождался активным наступлением реакции.

Зловещие признаки реакции – драконовские репрессии, с помощью которых самодержавие защищалось от натиска революционной партии, – появились сразу после реформы 19 февраля, когда правительство начало расправу с недовольными освобождением крестьянами.

Поводом для перехода сил реакции в решительное наступление на демократию послужили майские пожары 1862 года в Петербурге, явившиеся грандиознейшей полицейской провокацией в истории дореволюционной России[1]. Охранительная и либеральная пе-

[1] Можно только предполагать, что майские пожары были спровоцированы полицией, но факт провокационного *использования* этих пожаров не вызывает сомнений.

чать обрушилась на передовую молодежь, обвиняя ее в «поджигательстве».

Приостановление журналов «Современник» и «Русское слово», закрытие воскресных школ и народных читален, серия арестов деятелей революционно-демократического лагеря: Михайлова, Чернышевского, Писарева, Н. Серно-Соловьевича, Шелгунова и др. — так началось наступление реакции на прогрессивные силы страны.

Реакция правительственная, как это обычно и бывает, сопровождалась реакцией общественной. Именно в это время лидер русского либерализма 60-х годов Катков окончательно «...повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» [1]. Объединив в своих руках наиболее распространенные издания 1863—1866 годов («Русский вестник», «Московские ведомости» с приложением «Современная летопись»), он с остервенением травил революционных демократов — «нигилистов», «мальчишек», «теоретиков». Объективно союзниками правительства и Каткова оказались не только русские славянофилы («День», «Эпоха»), но и русский либерализм («Отечественные записки», «Голос», «Библиотека для чтения» и т. п.).

Если годы 1856—1862 были временем вызревания революционной ситуации в России, то 1863—1866 явились временем краха революционной ситуации и спада революционной волны. Последние надежды на крестьянскую революцию, которая ожидалась весной 1863 года, когда заканчивалось введение «уставных грамот», разлетелись в прах. Организация «Земля и воля» прекратила свое существование.

Реакция и спад революционной волны окончательно определили временную победу того пути развития страны, который навязывали народу либералы и крепостники, на который влекли Россию паллиативные «освободительные» реформы.

Особенности этого пути определились тем обстоятельством, что, несмотря на буржуазный, в конечном счете, характер преобразований 60-х годов, несмотря на то, что в целом они представляли «один из *эпизодов* смены крепостнического (или феодального) способа производства буржуазным (капиталистическим)» [2],

---

[1] Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 44.
[2] Там же, т. 20, с. 161.

преобразования эти оставляли нетронутыми множество тяжелых остатков крепостничества, феодализма.

Эти преобразования и не могли быть иными. Они проводились правительством крепостников и либералов, а «реформы», проводимые крепостниками, не могут не быть крепостническими по всему своему облику, не могут не сопровождаться режимом всяческого насилия» [1]. Впрочем, и эти реформы в конечном счете были вырваны у правительства волной общественного возбуждения и революционного натиска. Вместе с тем реформы 60-х годов были не только уступкой натиску крестьянской революции, но и попыткой «приоткрыть клапан». И тем не менее, сделав первый шаг по пути превращения в буржуазную монархию, страна попрежнему стояла перед необходимостью революции.

Необходимость коренных общественных преобразований при торжестве реакции и глубоком спаде революционной энергии масс — вот чем характеризовалась историческая эпоха, в которую вступал журнал «Русское слово» после своего возобновления. Сложнейшая эпоха эта изучена пока еще явно недостаточно. Складывалось впечатление, будто в период 1863—1868 годов, до перехода «Отечественных записок» в руки Некрасова, демократическая традиция в русском освободительном движении чуть ли не прерывается. В лучшем случае она представлена Некрасовым и Щедриным. Журнал «Русское слово» Писарева и Благосветлова периода 1863—1866 годов часто вообще выводился из русла демократического движения. На него наклеивался крайне расплывчатый ярлык буржуазного радикализма, который при ближайшем рассмотрении оказывался тождественным понятию буржуазного либерализма.

А между тем «Русское слово», несомненно, ведущий орган сил прогресса второй половины 60-х годов, на его идеях воспитывались целые поколения шестидесятников.

Как отразились изменения в исторической обстановке, происшедшие в 1863—1866 годах, на направлении и облике журнала «Русское слово»?

Но прежде чем говорить об идейном направлении журнала, надо установить историю возобновления журнала в 1863 году.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 172.

В 1862 году, напуганный приостановлением журнала и начавшимися арестами, граф Кушелев-Безбородко решает отказаться от издания «Русского слова». В июле 1862 года он направляет в Санкт-Петербургский цензурный комитет прошение передать право издания и редакции журнала Г. Е. Благосветлову [1].

С этим прошением связан любопытнейший эпизод в истории «Русского слова», едва не приведший к краху издания и отстранению Благосветлова от руководства журналом. Эпизод этот показывает, что руководители III Отделения отнюдь не воспринимали Благосветлова как «журнального эксплуататора»; они видели в нем серьезного и опасного для себя общественного деятеля. И их никак не могло удовлетворить решение графа Кушелева-Безбородко передать Благосветлову свой журнал. Санкт-Петербургский цензурный комитет направил прошение Кушелева-Безбородко в министерство народного просвещения, в ведении которого находилась в ту пору цензура. Министр просвещения Головнин направил по этому поводу в III Отделение запрос: не встречается ли со стороны последнего «препятствий к дозволению г-ну Благосветлову быть редактором и издателем «Русского слова» [2].

Препятствия были столь серьезными, что начальник III Отделения ответил Головнину: «О сем я буду иметь честь объясняться с вашим превосходительством лично» [3].

Результатом этого объяснения было то, что ни редактировать, ни издавать журнал «Русское слово» Благосветлову не было разрешено.

Тогда Благосветлов решает издавать «Русское слово» явочным порядком. Не получив на издание и редактирование журнала никаких юридических прав, он тем не менее уже в 1862 году развернул энергичную подготовку к возобновлению журнала. В первую очередь надо было найти подставного редактора, который мог бы подписывать журнал. На этот пост был приглашен

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 288, л. 4.
[2] Там же, ф. 773, оп. 1, ед. хр. 219, л. 3.
[3] Там же.

довольно известный литератор-беллетрист тех времен Афанасьев-Чужбинский [1].

Подобрав редактора, Благосветлов тут же начинает хлопоты о том, чтобы цензура разрешила выпустить первую книжку журнала не в феврале, как это полагалось по «высочайшему повелению», а в январе 1863 года.

В октябре 1862 года он наносит уже второй визит председателю Санкт-Петербургского цензурного комитета Цеэ и передает ему докладную записку, в которой ходатайствует о досрочном возобновлении «Русского слова» [2]. Не получив разрешения, он направляет 15 декабря 1862 года прошение товарищу министра внутренних дел Тройницкому «исходатайствовать» у Валуева «разрешение о выпуске первой книжки «Русского слова» около 15-го числа будущего января» [3].

Встретив категорический отказ, Благосветлов все-таки находит возможность обойти постановление и выпустить в свет январский номер журнала, приурочив его к 30 января 1863 года [4].

Активная деятельность Благосветлова в качестве руководителя журнала, от которого он был официально «отставлен» цензурным ведомством по настоянию III Отделения, не могла остаться незамеченной руководителями российского политического сыска. Не прошло и месяца по возобновлении журнала, как в Центральном управлении по цензурному ведомству вследствие вмешательства III Отделения возникло специальное дело «О редакторе «Русского слова» Благосветлове». Дело возникло в связи с доносом на Благосветлова, поданным в III Отделение одним из уездных предводителей дворянства (Петровым), после того как последний получил от Благосветлова письмо о возобновлении подписки на журнал, который, говорилось в письме, «был запрещен по капризу двух министров» [5]. Крамольное письмо руководителя «Русского слова», а также печатное обращение редакции

[1] В июне 1863 года редактором стал третьестепенный литератор Витковский, а в 1864 году – Благовещенский.

[2] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, бумаги В. А. Цеэ, картон 1, Благосветлов Г. Е., письмо к В. А. Цеэ от 20 октября 1862 года.

[3] ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 1, ед. хр. 18, л. 23–24.

[4] Январский номер «Современника» вышел сдвоенный с февральским.

[5] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 288, л. 7.

журнала к подписчикам, в котором сообщалось, что возобновленный журнал переходит в руки Благосветлова, были приложены к доносу. Начальник III Отделения князь Долгорукий обратил внимание в письме Благосветлова не столько на «крамольные» фразы, сколько на тот факт, что, несмотря на вето, наложенное лично им в беседе с Головниным, Благосветлов все-таки исполняет функции руководителя «Русского слова». В специальном секретном письме министру внутренних дел Валуеву, под начало которого перешла в 1863 году цензура, князь Долгорукий на сей раз письменно сообщал приводимые им когда-то Головнину имеющиеся в III Отделении сведения о Благосветлове. Отметив, что передать редакцию журнала Благосветлову «по вышеизложенным сведениям о нем признано было неудобным», Долгорукий с возмущением задавал Валуеву вопрос: «На каком же основании допущен к редакции Благосветлов?.. На основании чего в печатном циркулярном письме редакции к подписчикам... сказано, что самое издание передается Благосветлову?» [1]

Министр внутренних дел Валуев поручил разобраться в этом деле члену совета министров внутренних дел, а с середины 1863 года председателю Санкт-Петербургского цензурного комитета М. Н. Турунову, предложив ему «объясниться с г-м Потаповым» [2] — управляющим III Отделением, правой рукой Долгорукого.

Ознакомившись с делом, Турунов пришел к следующему выводу: «Из дела видно, что Благосветлов желал быть издателем и редактором; дозволено быть редактором Чужбинскому... следовательно, Благосветлов, не получив [ни] права, ни оснований быть издателем, не может издавать оный» [3]. После объяснения с Потаповым Турунов записывает решение, принятое им по совету управляющего III Отделением: «По соглашению с г-ном Потаповым предполагается подвергнуть Благосветлова ответственности перед судом за присвоение себе звания редактора вопреки запрещению и употребление в письме к г. Петрову выражений о правительстве» [4].

[1] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 288, л. 3.
[2] Там же, л. 1.
[3] Там же, л. 13.
[4] Там же, л. 1.

Однако осуществить это решение, целью которого было отстранить Благосветлова от журнала и изменить направление «Русского слова», оказалось не так-то просто. Дело в том, что ни в письме Петрову, ни в официальном объявлении о возобновлении «Русского слова» Благосветлов не называл себя «редактором», но лишь «издателем», а свою редакторскую деятельность маскировал фигурами подставных редакторов, официально утвержденных цензурным ведомством. Вот почему, когда Турунову пришлось подбирать юридические основания для суда над Благосветловым и отстранения его от «Русского слова», он был вынужден в специальной докладной записке министру внутренних дел Валуеву докладывать о следующем, как он отмечает, «недостатке законодательства». Подчеркнув, что Благосветлов нигде не именует себя «редактором», но везде «издателем» «Русского слова», Турунов с сожалением констатирует тот факт, что «в цензурных постановлениях нет статьи, запрещающей лицам, получившим разрешение на издание журнала... передавать кому-либо без согласия цензуры свое издательское право и что такое ограничение установилось на практике лишь для ответственных редакторов» [1].

Иными словами, при пристальном рассмотрении обстоятельств дела, к вящему удивлению руководителей министерства внутренних дел, оказалось, что в силу непредусмотрительности законодателей Кушелев-Безбородко имел юридическое право перепродавать издание журнала, как и любое другое частное предприятие, кому бы то ни было без согласования с властями. Очевидно, на этот «недостаток законодательства» и рассчитывал Благосветлов, вопреки всему принимая на себя издание журнала и объявляя об этом печатно читателям. Тот же «недостаток законодательства» (кстати, вследствие этого случая спешно исправленный) спас Благосветлова от суда, а журнал — от закрытия.

Правда, в деле «О редакторе «Русского слова» Благосветлове» хранится пространная записка, принадлежащая, судя по почерку, правителю особой канцелярии министерства внутренних дел Шидловскому, где предпринимается попытка юридически обосновать

[1] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 288, л. 18.

право привлечения Благосветлова к ответственности за самовольное *издание* журнала. Автор записки исходит из того, что по § 74 цензурного устава и редактор и издатель в равной мере «подвергаются ответственности за нарушение цензурных законов». «Связь, существующая между издателем и редактором при издании журнала, обратила на себя внимание законодательства, и оно разделило в вышеупомянутом параграфе ответственность за нарушение правил цензуры между ними... Это обстоятельство тем более важно, что лицо, не допущенное к редакции, не могло и по теории оставаться издателем... Г-н Благосветлов, не получивший от правительства разрешения на редакцию журнала, продолжает заведывать его изданием через частное приобретение права издания от графа Кушелева-Безбородко... Г-н Благосветлов несправедливо пользуется правом издания, полученным им через частную маклерскую сделку с графом Кушелевым-Безбородко, и как лицо, не допущенное к редакции журнала «Русское слово», не может без испрошения себе права издания у правительства продолжать издание своего журнала» [1].

Смысл всех этих логических построений сводился к одному: доказать, что Благосветлов противозаконно издает журнал, что его следует лишить права на издание «Русского слова». Управляющий III Отделением Потапов замышляет привлечь Благосветлова к суду. Однако юридических оснований для судебного преследования Благосветлова не было. Поэтому завершением дела «О редакторе «Русского слова» Благосветлове» явилась красноречивая надпись, сделанная рукой Турунова, очевидно, после доклада обстоятельств дела Валуеву: «Приказано повременить» [2].

За Благосветловым, по приказу Валуева, был учрежден, помимо тайного, еще и полицейский надзор, вопрос же об издательских правах Благосветлова откладывался на время.

Благосветлов явочным порядком завоевал право издавать от своего имени журнал, но в течение всего времени существования «Русского слова» над головой издателя и над самим журналом висел дамоклов меч: «Приказано повременить». Этим объясняются тре-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 288, л. 15–16.
[2] Там же, л. 18.

вожные нотки, которые слышатся порой в «Домашней летописи» журнала, которую вел Благосветлов: «Я совершенно уверен, что если мною куплен дом, то никто не имеет права выгнать меня из него, но я не уверен, что не лишусь права на издание, которому отданы лучшие мои силы и все мое состояние» (1863, 6, III, 15).

Тем не менее, несмотря на всю шаткость своего положения, Благосветлов продолжал вести журнал по тому пути, на который вступил еще в 1861—1862 годах, и прилагал все усилия, чтобы не только не уронить журнал по сравнению с 1861—1862 годами, но поднять его на новую высоту.

3

После возобновления несколько изменяется структура журнала. До приостановления журнал делился на три отдела. В первом публиковались произведения отечественной и переводной словесности, научные статьи. Второй отдел состоял из «Политики», где печатался «Обзор современных событий», посвященный зарубежной жизни, подотделов «Русская литература» (статьи и рецензии), «Иностранная литература». Третий отдел открывался «Смесью», продолжался «Современной летописью» (с марта 1861) и завершался минаевским «Дневником темного человека». Наконец, в конце номера журнала помещался традиционный «Шахматный листок».

В возобновленном «Русском слове» деление на отделы сохраняется, но становится более четким и последовательным.

В журнале по-прежнему три отдела: литературно-беллетристический (без названия), литературно-критический («Литературное обозрение») и политический («Современное обозрение»).

В первом печатались отечественные и переводные произведения художественной литературы, а также большие публицистические, так называемые «ученые» статьи. (Следует отметить, что литературно-беллетристический отдел был наиболее слабым в журнале, проза, которая здесь печаталась, была, за редким исключением, малоинтересной.)

Во втором («Литературное обозрение») шли статьи литературно-критические и печатался так называемый

«Библиографический листок», которого в предыдущие годы не было.

И наконец, третий отдел («Современное обозрение») состоял из трех подразделов: внутреннего политического обозрения, именуемого «Домашняя летопись» (прежде — «Современная летопись»), иностранного политического обозрения, именуемого «Политика», и фельетона на внутреннюю тему, который шел в журнале до сентября 1864 года под названием «Дневник темного человека».

Что касается «Шахматного листка», выходившего в 1859—1862 годах как приложение к «Русскому слову», то «новая редакция,— писал по этому поводу Благосветлов в том самом письме уездному предводителю Петрову,— отделила его от самого журнала по желанию большинства своих подписчиков потому, что России не время учиться играть в шахматы, когда у нее нет ни хлеба, ни денег, ни порядочных людей» [1].

Много сил отдает Г. Е. Благосветлов формированию единого по духу и направлению авторского коллектива в журнале — задача крайне трудная в пору жесточайшей реакции и ренегатства. Задача эта осложнялась тем, что был арестован ведущий сотрудник «Русского слова», определявший направление журнала, Д. И. Писарев.

Утрата эта была очень чувствительной для журнала. Чтобы как-то восполнить ее, Г. Е. Благосветлову пришлось пойти на привлечение к сотрудничеству в своем журнале таких публицистов, как бывший редактор «Гудка» и журнала «Русский мир», прекратившего на первом номере 1863 года свое существование, А. Гиероглифов, напечатавший в первых двух номерах «Русского слова» статьи «Любовь и нигилизм», «Чичерин и его философия», а также автор «Иностранного обозрения» газеты «Современное слово» Л. Полонский, который напечатал статью об «Истории XIX века» Г. Гервинуса («Русское слово», № 6—7 за 1863) и статью «Польша и Испания» (№ 11—12 за 1863).

Но, конечно, не эти публицисты, сотрудничество которых ограничивается перечисленными статьями, определяли направление «Русского слова».

Летом 1863 года Г. Е. Благосветлов с помощью матери Д. И. Писарева В. Д. Писаревой добивается

[1] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 288, л. 8.

разрешения для находящегося в Петропавловской крепости критика заниматься литературной работой. В июльском номере журнала за 1863 год появляется первая статья Д. И. Писарева, написанная им в крепости. С этого момента вновь начинается публицистическая деятельность Д. И. Писарева. За этот период им было написано для «Русского слова» 29 известных нам статей, 26 из которых общей сложностью более 140 печатных листов опубликованы в «Русском слове». Именно статьи Писарева и составляли душу журнала.

В апреле 1863 года Г. Е. Благосветлов привлекает к сотрудничеству в журнале В. А. Зайцева — молодого талантливого публициста (в 1863 году ему был 21 год).

Возвращается в «Русское слово» и Николай Васильевич Шелгунов. Революционный демократ, воспитанник и сподвижник Н. Г. Чернышевского, Н. В. Шелгунов начинает сотрудничество в «Русском слове» еще в ноябре 1859 года, но с апреля 1860 года, очевидно, разочарованный в журнале, руководимом Хмельницким, переходит в «Современник», где печатает свою знаменитую статью «Положение рабочего пролетариата в Англии и Франции». Лишь в начале 1863 года он вновь возвращается в журнал «Русское слово».

Н. В. Шелгунов вернулся в журнал обогащенным опытом революционной борьбы. Зимой 1861 года он принял активное участие в героической попытке революционеров поднять народ на восстание. Им были написаны прокламации «К молодому поколению» и «К солдатам», призывающие народ к революции. В 1862 году Н. В. Шелгунов уходит со службы и вместе с женой Л. П. Шелгуновой отправляется в Сибирь, чтобы организовать побег своего близкого друга М. Л. Михайлова, который взял вину составления прокламации «К молодому поколению» на себя и был приговорен к каторге. В сентябре 1862 года из-за перехваченного письма Шелгунова Н. А. Серно-Соловьевичу Шелгуновы были в Сибири арестованы и в марте 1863 года, в связи с известным доносом Костомарова на Чернышевского и Шелгунова, привезены в Петербург, где Шелгунов с 15 апреля до 24 ноября 1863 года томился в Алексеевском равелине, а потом был выслан в Вологодскую губернию и провел в ссылке 13 лет. Все статьи Шелгунова в «Русском слове» 1863—1866 го-

дов, так же как и статьи Писарева, написаны им в заключении — в Алексеевском равелине или в вологодской ссылке. Им опубликовано за это время в «Русском слове» 39 статей. Больше него за эти три года не писал ни один сотрудник журнала. Если учесть, что в период с декабря 1859 по апрель 1860 года Шелгунов напечатал в «Русском слове» всего шесть небольших, не имеющих принципиального значения статей, то станет очевидным, что активнейшим, ведущим сотрудником «Русского слова» он стал лишь после возобновления журнала в 1863 году.

Другим активным сотрудником «Русского слова» в 1863—1866 годах был Николай Васильевич Соколов.

С 1864 года в журнале «Русское слово» начинает сотрудничать историк Афанасий Прокофьевич Щапов, замечательный русский демократ-просветитель, речь которого на панихиде, устроенной студентами Казанского университета по крестьянам, убитым в Бездне, прошумела на всю Россию. После этого А. П. Щапов был арестован и приговорен к ссылке в монастырь, но, благодаря энергичным протестам прогрессивной общественности, оставлен под надзором полиции в Петербурге. В середине 1864 года он был выслан в Иркутск, где и умер в нищете. В 1863 году под влиянием статей Писарева и других сотрудников «Русского слова» Щапов отказывается от идей земского феодализма, пропагандируемых им ранее, и увлекается естествознанием как средством решения социального вопроса в России. Именно это и объясняет сотрудничество Щапова с начала 1864 года в журнале «Русское слово», куда был им направлен, уже из сибирской ссылки, ряд серьезных статей.

Продолжает сотрудничать в «Русском слове» в этот период и французский революционер Эли Реклю, который после переворота 2 декабря 1851 года находился в эмиграции, путешествовал по различным странам Европы и Америки и был незаменимым человеком для ведения такого отдела журнала, как иностранное политическое обозрение («Политика»). Мелкобуржуазный демократ-революционер, член I Интернационала, впоследствии участник Парижской коммуны, он был очень близок «Русскому слову» и умел так писать свои обозрения, что они являлись живыми откликами на события и животрепещущие вопросы России.

В течение трех с половиной лет (1861—1864) из номера в номер печатает сатирическое обозрение «Дневник темного человека», а также фельетоны и статьи Д. Минаев[1]. Минаев «весь наш», «не будь около меня Писарева и Минаева, я считал бы себя похороненным в любезном отечестве»[2],— писал Благосветлов Д. Мордовцеву. Летом 1862 года Писарев назвал Минаева в числе лиц, составляющих «ближайший круг редакции «Русского слова»[3].

Его «Дневник темного человека» — своеобразное сатирическое ревю, где проза перемежалась остроумными пародиями и стихотворными фельетонами — сочно и правдиво воссоздавал картину пореформенной русской жизни. В форме юмористических откровений «темного», то есть наивного, доверчивого человека Д. Минаев яростно высмеивал Каткова, «Отечественные записки», «Библиотеку для чтения» и других литературных врагов «Русского слова», бичевал клеветнические «антинигилистические романы», давал сатирическую характеристику пореформенной реакции.

Итак, Писарев, Шелгунов, Зайцев, Соколов, Щапов, Эли Реклю, Минаев — таков круг ведущих сотрудников «Русского слова» в 1863—1866 годах. В подавляющем большинстве это новые фамилии, не встречавшиеся на страницах «Русского слова» в 1860—1862 годах. Трое из них (Писарев, Шелгунов, Щапов) писали статьи для журнала, находясь в заключении, двое (Зайцев и Соколов) оказались вынужденными эмигрировать впоследствии за границу.

Помимо вышеперечисленных публицистов «Русского слова», в журнале выступал ряд литераторов, которых редакция также считала своими постоянными сотрудниками.

Продолжают сотрудничать в журнале близкий друг Благосветлова и Писарева В. П. Попов, опубликовавший в 1863 году на страницах «Русского слова» четыре статьи; П. И. Вейнберг, выступавший не только как стихотворец и переводчик, но и как публицист, автор

---

[1] Минаев ушел из «Русского слова» осенью 1864 года, когда начал печататься писаревский «Нерешенный вопрос», потому что расходился с редакцией в оценке романа «Отцы и дети».

[2] Шестидесятые годы, с. 435.

[3] Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 559.

ряда статей по истории и литературе Франции, Германии. Печатает статьи по русской истории И. И. Шишкин. По юридическим вопросам на страницах журнала систематически выступают братья М. А. и О. А. Филипповы.

В 1864 году Благосветлов привлекает к сотрудничеству в журнале известного русского революционера, сражавшегося под знаменем Гарибальди, Льва Мечникова, напечатавшего под псевдонимом Леона Бранди статьи «Современные итальянские поэты» (№ 3, 1864), «Письма об итальянских ремесленных братствах» (№ 7, 1864), «Об условиях производительности кредита» (№ 2, 1865). Эпизодическое участие в «Русском слове» принимают известный революционер-шестидесятник Н. А. Серно-Соловьевич, автор арестованной в 1865 году книги «Критические этюды» П. А. Бибиков и другие.

В конце 1865 года в журнал приходят будущий революционер-народник семидесятых годов П. Н. Ткачев, заменивший Зайцева в роли составителя «Библиографического листка»; доктор-материалист, участник польского восстания П. И. Якоби, напечатавший за подписью П. Я. рецензию на книгу Вундта «Душа человека и животных» и за подписью Е. Калонна статью «Психологические этюды», а также В. М. Флоринский, Е. Конради и другие, в будущем — сотрудники журнала «Дело».

Рассказы, очерки, повести и романы в журнале печатают М. Воронов, Гл. Успенский, Ф. Решетников, А. Витковский, Н. Благовещенский, Н. Бажин, Г. Потанин, Н. Бутаков, А. Шеллер-Михайлов. Со стихами выступают П. Вейнберг, Д. Минаев, А. Плещеев, В. Буренин и другие.

Наконец, на страницах «Русского слова» в 1863—1866 годах систематически выступал руководитель журнала Г. Е. Благосветлов. Его перу в первую очередь принадлежит большинство внутренних обозрений журнала, печатавшихся под рубрикой «Домашняя летопись» и являющихся подлинной летописью жизни пореформенной России. Кроме того, Г. Е. Благосветлов систематически выступал со статьями и рецензиями в других отделах журнала, писал в «Библиографический листок» и т. д. Все это наряду с той титанической работой по организации и редактированию журнала, которая после ареста Д. И. Писарева,

бывшего помощником по редакции, целиком легла на его плечи. И надо сказать, что Г. Е. Благосветлов с честью справлялся с этой задачей.

Глава II

«МИРНЫЕ» РЕФОРМЫ

1

Строго выдержанное направление в каждой статье, в каждой странице журнала — такова была первая заповедь, первое правило не только Г. Е. Благосветлова как редактора, но и каждого публициста «Русского слова».

На всем протяжении 1863—1866 годов «Русское слово» делом доказывало четкость и определенность своего политического направления,— при всем том, что публицисты его демонстрировали разную степень и различное понимание революционности. Если реакционные и либеральные органы прессы пытались представить себя защитниками общенациональных интересов, снять проблему «направления» с повестки дня, то передовые, демократические органы печати того времени — «Современник», «Колокол», «Искра» — настойчиво подчеркивали *определенность* своего политического направления.

«...Стремления народа могут быть весьма разнообразны и зависят от экономического быта и умственного развития. Оттого и в литературе бывают разные направления. Каждый литературный орган служит выражением мнений и стремлений известного слоя общества или сословия» (1863, 10, II, 9),— раскрывал понятие «направления» Н. В. Шелгунов.

В строгой определенности направления «Русского слова» отдавали себе отчет не только публицисты и руководители журнала, но и современники — как друзья, так и враги.

Направление «Русского слова» вскоре после его возобновления с легкой руки Писарева стало определяться термином «реализм» (речь идет, естественно, не о литературном методе, но об общественных позициях «Русского слова»), как бы заменявшим тер-

мин «нигилизм», навязанный журналу его оппонентами.

Что же такое «реализм» «Русского слова»?

Термин этот очень неопределенен, крайне приблизителен. И современники и исследователи вкладывали в него подчас совершенно различное и порой узкое содержание.

Термин «реализм» употребляется в 1863—1866 годах для приблизительного, условного обозначения *всей* системы понятий, *всего* строя мировоззрения Д. И. Писарева — и не только Писарева, но всех тех, кого в период 1859—1862 годов враги именовали «нигилистами». Не случайно Антонович в 1865 году в статье «Лжереалисты» упорно доказывал, что истинными «реалистами» являются лишь сотрудники «Современника», но не сотрудники «Русского слова». Не случайно Д. И. Писарев и другие публицисты журнала неоднократно подчеркивали, что первыми подлинными «реалистами» в России были Чернышевский и Добролюбов,— они же являются лишь последователями и продолжателями их дела.

В статье «Посмотрим!» Д. И. Писарев прямо указывал, что термин «реалисты» стал употребляться по его инициативе с осени 1864 года для обозначения «партии, которая прежде называлась свистунами, а потом нигилистами». Здесь же Писарев объясняет и причину подобной замены. «Реалист... — пишет он,— исчерпывает весь смысл нашего направления до самого дна, и в то же время он никого не пугает и не раздражает... Это слово — тихое, кроткое и глубокое...» (1865, 9, II, 17—18).

Итак, «свистуны», «нигилисты», «реалисты» — это лишь различные условные термины для обозначения направления журнала «Русское слово» в период 1861—1866 годов. «Реалисты» — это те же «нигилисты», те же «свистуны». «Реализм» — это «удобный» по ряду обстоятельств, условный термин, обнимавший всю совокупность, всю систему идей, взглядов, принципов той партии, которая именовалась ранее партией «свистунов» или, как ее называли противники, партией «нигилистов». «Реализм» — это условно принятое для 1864—1866 годов обозначение того направления в русской общественной жизни, которое определялось в недавнем прошлом именами Чернышевского и Добролюбова,— обозначение данного направления в его

новых, характерных для изменившейся исторической обстановки формах.

Такова точка зрения на термин «реализм» Д. И. Писарева.

Каково же объективное *содержание* таких весьма условных и приблизительных терминов, как «нигилизм» и «реализм» в применении к журналу «Русское слово» 1863—1866 годов?

Если позиция «Русского слова» периода 1859—1862 годов не вызывает существенных разногласий, то направление этого журнала в 1863—1866 годах является предметом жарких споров, которые идут много лет и не прекращаются до сего времени.

Правда, споры эти идут в основном вокруг имени Д. И. Писарева. Но спор об идейных позициях Писарева есть в то же время и спор о направлении журнала. Споры эти не случайны. Они вызываются крайней сложностью, противоречивостью, резко выраженной индивидуальностью мировоззрения Д. И. Писарева.

В настоящее время в историографии вопроса ясно определились две точки зрения на идейные позиции Д. И. Писарева и всего «Русского слова» периода 1863—1866 годов. Представители одной точки зрения,— ее наиболее четко и полно сформулировал Л. А. Плоткин,— утверждают, что Д. И. Писарев и в 1863—1866 годах оставался революционным демократом, взявшим курс на длительное политическое воспитание масс с целью подготовки их к революции. Убедительность этой, в общем правильной на наш взгляд, точки зрения в значительной степени снижается тем, что исследователи, аргументирующие ее, порой пытаются сгладить противоречия во взглядах Писарева, а иногда и замолчать их. Так, А. Н. Маслин в работе «Мировоззрение Д. И. Писарева» прямо заявляет, что Писарев на всем протяжении второй половины 60-х годов смотрел на революцию «как на возможный и необходимый путь разрешения «великого вопроса о голодных и раздетых людях», игнорируя писаревскую идею о возможности «механического» и «химического» путей переустройства общества.

Исследователи, разделяющие иную точку зрения, впадают в другую крайность. Отступления и колебания публицистов «Русского слова» 1863—1866 годов в их представлении гипертрофируются, абсолютизируются и покрывают собой все. Д. И. Писарев в их

интерпретации, поднявшись до революционного демократизма на гребне революционной волны 1861—1862 годов, не только отказывается от идей революционного преобразования действительности в 1863—1866 годах, но и превращается в этот период в заурядного буржуазного радикала. Подобная точка зрения была высказана в свое время В. Я. Кирпотиным в его книге «Радикальный разночинец Писарев».

В работе «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество» (М., 1955) В. Я. Кирпотин в значительной степени пересмотрел эту точку зрения на Писарева, однако и здесь он утверждает, будто в 1863—1864 годах Д. И. Писарев, не говоря уже о других сотрудниках «Русского слова», отходит от идей революционной демократии, отрицает революционный путь развития и выражает «надежду прийти к социализму, минуя политическую борьбу и революционное восстание, путем трудового устройства «своей частной жизни»[1], надежду «на немедленное осуществление «гармонических» форм труда и в деревне и городе, в обход борьбы против самодержавия...»[2].

Идея о возможности мирного устройства социалистического общества в условиях пореформенной России, при сохранении самодержавия и всего общественно-политического строя царской России, несомненно, является либеральной идеей, и эта идея могла возникнуть в журнале лишь в том случае, если бы Писарев и другие сотрудники «Русского слова» полагали, что самодержавные реформы полностью ликвидировали крепостнические отношения и создали все объективные условия для решения вопроса о голодных и раздетых людях.

По мнению Кирпотина, Писарев, не говоря уже о других сотрудниках журнала, как раз и разделял подобную точку зрения и, «признав крепостничество вчерашним днем», закономерно пришел к отказу от революционной тактики.

«Оценка ситуации, созданной реформами шестидесятых годов,— отмечает В. Кирпотин,— имела весьма важное значение. От характера этой оценки зависело в известной мере определение тактики борьбы. Отказ от революционной тактики связан был с признанием

---

[1] Кирпотин В. М. Е. Салтыков-Щедрин. М., 1955, с. 186.
[2] Там же, с. 189.

полной ликвидации крепостнических отношений реформами, ибо цель борьбы и состояла тогда в окончательной ликвидации крепостничества и самодержавия» [1].

Оценка ситуации, созданной реформами 60-х годов, оценка этих реформ, отношение к крепостничеству и самодержавию в тот период имели не просто «весьма важное», но первостепенное значение.

Это был тот самый центральный вопрос эпохи, в котором, как в фокусе, сходились и переплетались стремления и интересы всех классов и сословий.

«Нельзя забывать, — писал по этому поводу В. И. Ленин, — что в ту пору, когда писали просветители XVIII века, — ...когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, *все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками» [2].

Оценка результатов реформ 60-х годов — главный водораздел, разделивший общественно-политические силы России того времени на два непримиримых лагеря.

2

Мы уже подчеркивали выше, что крайне непоследовательная крестьянская реформа 60-х годов, вырванная у правящих классов страны взрывом народного возмущения, была по своему характеру буржуазно-крепостнической реформой, явившейся, по словам Ленина, «бессовестным грабежом» крестьян.

Лагерь демократии, возглавляемый «Современником» Чернышевского и Добролюбова, резко отрицательно относился к реформе и нацеливал массы на революцию — единственное средство действительного, а не фиктивного освобождения народа от пут самодержавия и крепостничества. В этом лагере находились не только «Колокол» и «Искра», преодолевшие свои либеральные колебания периода подготовки реформы, но, как мы убедились выше, и «Русское слово», занимавшее после прихода Благосветлова и Писарева все более последовательные позиции.

---

[1] Кирпотин В. М. Е. Салтыков-Щедрин, с. 228.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

Не так оценивали реформу крепостники и либералы – люди, руками которых и были проведены в жизнь «Положения 19 февраля». Если и слышны были из лагеря крепостников критические голоса в адрес реформы 19 февраля, – то это была критика справа, выражающая обиду помещиков по поводу того, что реформа якобы оказалась чересчур выгодной для крестьян и невыгодной для землевладельцев. «Русский вестник» публикует в 1863 году на своих страницах очерки Фета «Из деревни», где «плачевные» для помещиков результаты отмены крепостного права доказываются даже статистикой. Хозяйничая «спустя рукава», доказывает здесь Фет, он получал на своем участке при крепостном труде, «кроме собственного продовольствия», 750 рублей чистого дохода. После реформы же, работая с утра до ночи, воюя безрезультатно с крестьянскими гусями и гусенятами, с Семенами и Иванами, которые, выйдя из крепостного состояния, потеряли всякий страх перед барином и обманывают его, Фет выручил всего... 320 рублей[1].

Все эти вычисления понадобились Фету для того, чтобы показать всю степень «благодетельности» реформ для русского крестьянства, в результате чего каждая «русская грудь вздыхает свободнее и каждая десная в народе поднимается для крестного знамения»[2], и в то же время представить помещика благородным страдальцем, жертвующим ради меньших братьев своими кровными интересами.

Эта позиция характерна для всех изданий Каткова в продолжение 1863–1866 годов. Несмотря на некоторое недовольство реформой, Катков отнюдь не выступает с открытой хулой «Положений 19 февраля» и ограничивается лишь намеками на необходимость некоторого исправления «Положений» в пользу помещиков.

Отношение к реформе русских либералов мало чем отличалось от отношения к ней крепостников. Разница заключалась лишь в том, что их восторги и песнопения не омрачались тем соображением, что реформа-то сама по себе хороша, но если бы ее вообще не было, так было бы еще лучше. Либералы приветствовали реформу без всяких задних мыслей и неустанно прослав-

---

[1] См.: Русский вестник, 1863, № 3, с. 300–302.
[2] Там же, № 1, с. 441.

ляли ее на всем протяжении 60-х годов. Они пытались представить людей, не удовлетворенных реформой, безумцами, сумасшедшими, которые сами не знают, чего им надо, и губят Россию. В период отмены крепостного права, писал Громека, ведущий публицист «Отечественных записок», — когда благодаря «дружному натиску общественного мнения» общество завоевывало одно право за другим, «вдруг посреди атакующих и атакованных упала, со свистом и шумом, бомба отрицания»[1]. Представители этого направления отрицали все. «Взгляд его, — пишет Громека, — был одинаков на все реформы, не исключая и крестьянской»[2]. Он призывает «Современник» и «Русское слово» открыто признать ошибочность своего лозунга «о недостаточности *слова* и необходимости *дела*», благодаря которому сотни молодых людей вступили на ложную дорожку революционной борьбы и гибнут поодиночке, и сказать им правду, что единственным путем является путь практической деятельности по проведению в жизнь предначертаний реформ[3].

Прав ли В. Кирпотин, утверждающий, будто Д. И. Писарев в 1863—1866 годах пошел за либералами, признал факт «полной ликвидации крепостнических отношений реформами» и отказался от революционной борьбы? Действительно ли после возобновления журнал «Русское слово» и Писарев, прежде всего, ревизовали свое прежнее отношение к реформе и заняли позицию, близкую к либеральной?

Подобное предположение могло возникнуть лишь потому, что в нашей науке совершенно не исследован, фактически даже не поставлен, вопрос об отношении возобновленного «Русского слова» к буржуазно-крепостническим реформам. В действительности в исключительно трудных цензурных условиях 1863—1866 годов намеками, сентенциями, иносказаниями, на заграничном или историческом материале, тем или другим путем журнал находил возможность давать последовательно демократическую характеристику реформ.

В первом же номере возобновленного «Русского слова» внутренний обозреватель задавал хору либеральных песнопевцев, обвинявших Чернышевского

---

[1] Отечественные записки, 1863, № 3, с. 9.
[2] Там же.
[3] Там же, с. 26—28.

и его последователей в «крайности отрицания», следующий откровенный вопрос:

«Начиная новый год, которого судьба еще темна для нас, нам не мешало бы обратиться к своему прошлому и откровенно спросить себя: что же мы сделали путного в своей жизни?.. Что же мы,— мы, как общество и народ,— сделали путного среди нашей невыносимой трескотни слов о прогрессе и среди бесплодных криков о наших каких-то исполинских силах? Где же дело-то, настоящее, серьезное дело? Прежде покажите его, а потом уж и упрекайте нас в крайности отрицания и в желании забегать слишком вперед» (1863, 1, III, 1).

Всем содержанием последующих номеров журнал «Русское слово» убедительно доказывал, что реформы 60-х годов не являются «настоящим делом», русский народ и в пореформенную эпоху остается по-прежнему нищим, голодным, забитым и бесправным.

Сарказмом и иронией пропитана оценка журналом эпохи «мирных реформ», когда в России «в один день возникла гласность, свобода слова, стремление к самоуправлению, политические убеждения, обличения и мало ли чего не возникло», когда на месте «крапивы и белены», вроде Греча и Булгарина, в день расцвели «красивые тюльпаны гласности и великолепные розы политической свободы», когда «Громека освобождал крестьян», а «Катков учреждал парламент» (1863, 4, II, 3) и вся эта «гора» трескотни и фраз, по определению Зайцева, «благополучно разрешилась от бремени... мышью» (1863, 9, II, 44). Трудно представить себе более уничтожающую оценку результатов «мирных реформ», чем эта. Данная оценка — не случайность на страницах «Русского слова». Благосветлов в оценке реформы 19 февраля в 1863—1866 годах не расходился с В. Зайцевым. Он охарактеризовал результаты либеральных преобразований не менее красноречиво. «...Когда помазали нас по губам вожделенным прогрессом, чего только мы не предпринимали, о чем только не говорили,— но чем все это кончилось? — Кукишем в кармане...» (1863, 7, III, 50),— писал он в «Домашней летописи».

Ни в январской, ни в февральской книжках журнала за 1863 год, когда юбилейное славословие реформы достигло апогея, не появилось ни строки, посвященной реформе. Зато в марте 1863 года журнал «Русское

слово» выступает с «Домашней летописью», резко разоблачающей лирические восторги русского либерализма в связи с юбилеем 19 февраля, безжалостно высмеивающей «дешевый лиризм» и «самоудовлетворение» либерального общества, которое подобным образом,— пишет журнал,— «успокаивает свою общественную совесть» (1863, 3, III, 2—3). «Летопись» эта направлена в адрес либеральных изданий типа «Голос», готовых вывернуть себя наизнанку, славословя «Положения 19 февраля». В действительности же за последнее десятилетие «мы гораздо больше накричали, чем действительно сделали,— подводит юбилейный итог журнал «Русское слово».— Заслуги наши не стоят и клочка сена» (1863, 3, III, 3).

Содержание летописи подтверждает эту мысль. Обозреватель обращается к событию, имеющему «огромное общественное значение». Речь идет о голоде в Вологодской, Архангельской, Пермской, Оренбургской, Екатеринославской, Тобольской и других губерниях. Г. Благосветлов прибегает здесь к тому же приему, с помощью которого он рассказывал читателям о крестьянских волнениях. Сгруппировав воедино сообщения о голоде в различных губерниях, опубликованные на страницах петербургских газет, так, чтобы получилась яркая и впечатляющая картина, обозреватель подчеркивает, что «причины бедного состояния наших классов надо искать не в одном неурожае». Корень зла — «во всем нашем экономическом порядке, или, точнее, безурядице, возводимой в идеал нашими отсталыми экономистами».

Реформа не изменила в принципе «экономического порядка», порождающего массовый голод крестьян, не уничтожила причин бедного состояния низших классов,— вот почему она оказалась «кляксом», вот почему заслуги русского либерального «общества» и правительства, проводившего ее, не стоят «клочка сена».

В первых трех номерах возобновленного журнала редакция публикует работу Н. В. Шелгунова «Сибирь по большой дороге». Автор начинает свою статью с описания жизни народа в Тверской губернии, где на богатом фактическом материале показывает всю тяжесть жизни русского земледельческого сословия, только что «освобожденного» царем. Хотя эта губерния и считается хлебной, она «не накармливает досыта крестьян». Для уплаты податей и поддержания хозяй-

ства крестьяне массами идут бурлачить — наниматься на «почти каторжную работу, убийственную и в физическом и в нравственном отношениях». Этим занимается в Тверской губернии до 50 000 человек (тридцатая часть населения).

В следующей главе Н. В. Шелгунов рассказывает, как низок уровень благосостояния крестьян Казанской губернии. Занимаясь преимущественно земледелием, они также «не в состоянии существовать исключительно им». В результате «освобождения» «земли у них именно столько, что скот можно держать только полусытым». Сена крестьянами собирается меньше половины необходимого. Скот приходится кормить соломой и всякой дрянью. Люди живут не лучше скотов. Нужно иметь «желудок травоядного животного,— пишет Шелгунов,— чтобы переваривать смесь из сырого кваса, редьки, кочерыжек, кислого молока, огурцов, составляющих обыкновенную пищу русского крестьянина» (1863, 1, I, 24).

Не случаен тот факт, что процент смертности в России выше, чем где бы то ни было. В Тобольской губернии, например,— рассказывает Н. В. Шелгунов,— умерло за год 22 тысячи мужчин и 20 тысяч женщин, или двадцать четвертая часть всего населения.

Мысль о тяжелом экономическом положении «освобожденного» крестьянства проходит красной нитью через весь журнал. Д. Минаев в своем фельетоне «Дневник темного человека» также умудряется проводить ее. «Мои крестьяне зажиточны, а оброк не платят!» — жаловался один калужский помещик и просил принять меры. В итоге земская полиция описала имение крестьян и представила опись в губернское правление. В ней значилось:

«Ефим Алексеев: имущество — корова бурая.

Василий Кузин: никакого имущества и дома.

Данило Сорокин: имущество — еловая изба без сеней и сапожный инструмент».

«Крестьяне *не имели у себя ни одной десятины поемного луга*»,— подчеркивает в своем фельетоне Минаев.

«Мы видим теперь, что таких крестьян калужский помещик называет *зажиточными*; какие же, по его мнению, бывают бедные крестьяне? Очень бы любопытно знать» (1863, 2, III, 40),— иронически восклицает фельетонист.

«Голод в Финляндии, голод в Архангельской, Вологодской, Пермской и других губерниях, неурожаи повсюду, упадок земледелия, застой фабричной промышленности, повсеместная дороговизна жизни и страшное безденежье. Вот краткий перечень всем известных явлений нашей экономической жизни. Мы переживаем тяжелое время» (1863, 2, I, 37),— характеризует пореформенную эпоху Н. В. Соколов. И так из номера в номер.

Иногда думают, что эмансипация личности, распространение естествознания, воспитание «мыслящих пролетариев» и прочие, по сути дела производные, вопросы являются центром, смыслом, целью деятельности Писарева и журнала «Русское слово». В действительности это не так. Жизнь десятков миллионов голодных и раздетых людей — вот та неотвязная idée fixe, та изматывающая душу проблема, которая являлась для Писарева первоосновой всего, фундаментом его мировоззрения. То же самое можно сказать о любом другом сотруднике «Русского слова». Вопрос о бедных и голодных людях занимал главенствующее место на страницах «Русского слова» в 1863—1866 годах. «Вне этого вопроса» для сотрудников «Русского слова» действительно не было «решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать» (П и с а р е в).

В представлении Писарева и его товарищей по журналу «голодным и раздетым» сословием в России было прежде всего и главным образом только что «освобожденное» царем и помещиками крестьянство. В традиции русской революционной демократии они и работников фабрик, заводов не отделяли от крестьянского сословия.

В статье «Погибшие и погибающие», написанной Д. И. Писаревым в 1865 году, с предельной выразительностью показана вся степень бедствий русского «освобожденного» крестьянства. Сопоставляя и анализируя «Очерки бурсы» Помяловского и «Записки из Мертвого дома» Достоевского, Писарев показывает, что как ни тяжела русская каторга,— условия жизни там гораздо легче условий жизни в бурсе, где голод, нищета, гнет и лишения убивают в людях все человеческое. Но бурса,— говорит Писарев,— отнюдь не есть что-то выходящее из ряда вон на Руси. Русское крестьянство, народ русский может только позавидо-

вать бурсакам. «Как живут наши мужики, во что они одеваются, что едят»,— это, говорит Писарев, известно читателю. Условия их жизни несравненно тяжелее условий жизни бурсаков, которые, в свою очередь, живут, в буквальном смысле слова, *хуже каторжных.* Если бурсакам выдают на обед по два ломтя чистого хлеба, а на каторге «чистяк» дают без ограничения, то русский крестьянин «чистяка» не видит совсем. Само название это,— говорит Писарев,— выразительно показывает, как богато живет русский народ. «Хлеб, испеченный из чистой муки, без примеси разных неудобоваримых гадостей, вроде отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, должен у нас отличаться особенным хвалебным именем от того обыкновенного хлеба, которым питаются сплошь и рядом наши рабочие классы. Этим чистяком арестанты колют друг другу глаза, выражая ту мысль, что мол, ты, свинья, на свободе и не нюхал таких отборных и утонченных кушаний» (1865, 4, 95).

Жизнь «освобожденного» русского народа хуже самой тяжелой каторги,— такова конечная мысль статьи, к которой искусно подводит читателя Д. И. Писарев.

Журнал дал достойную отповедь как либералам, утверждавшим, что реформа «облагодетельствовала» крестьян, так и Каткову, Скарятину и другим, заявлявшим, будто реформа «облагодетельствовала» крестьян *за счет помещиков.* Разоблачая всю абсурдность этой мысли, журнал писал, что «едва ли какое-либо правительство отнеслось бы к интересам своих землевладельцев более заботливо, как это поступило наше» (1865, 5, III, 33).

Ярким фактом, подтверждающим, что реформа 19 февраля проведена не в интересах крестьянства, а в интересах помещиков, журнал считал закон об «обязательном разверстании»,— один из центральных среди «Положений 19 февраля». Закон, по которому крестьянам «не предоставлено право требовать разверстки, они должны довольствоваться участками земли, отведенными им по уставным грамотам», и могут лишь обращаться с жалобами к мировым посредникам, то есть тем же помещикам. Не ясно ли, отмечает журнал, что «обязательное разверстание во всяком случае будет выражать интересы помещика, а не крестьян». Обязательное разверстание дает помещику возможность «сдать крестьянам все худшие

участки возделанной земли, а себе оставить лучшие и более ценные, и при этом случае не только не допускать чересполосицы, но, напротив, ввести ее в самой крайней степени» (1863, 11—12, III, 58).

Ярким примером «отеческой» заботы правительства о финансовых интересах помещиков журнал считает условия выкупа земли. Журнал показывает, что крестьянам пришлось не только заплатить, но и переплатить за исконно принадлежавшие им земли.

«При расчете выкупных сделок была взята в основание не одна поземельная рента, но и сторонние промысловые заработки. Из этого понятно, что и выкупные суммы должны во многих местностях превышать цену земли» (1865, 5, III, 33),— отмечает журнал. К январю 1865 года, рассказывает «Русское слово», когда выкупилось на волю $^1/_5$ часть помещичьих крестьян, помещики получили чистыми деньгами 84 миллиона рублей,— по 5 тысяч рублей в среднем за сделку! Выкупные платежи, которые превышают действительную цену земли и идут в карман помещику,— это та же самая крепостническая рента, только видоизмененная по форме. В результате такого «освобождения» крестьянин, как и раньше, половину вырабатываемой продукции отдает помещику, оставаясь полуголодным сам.

Чтобы наглядно проиллюстрировать плачевные результаты грабительской реформы, журнал прибегает к следующему, весьма прозрачному иносказанию. «Предположим,— пишет журнал,— что в какой-нибудь стране 100 земледельцев, производящих 100 четвертей хлеба. Из этого числа земледельцы оставляют для своего потребления 50 четвертей, а 50 отдают в виде ренты и других платежей» (1865, 5, III, 24).

Страна эта, несомненно, Россия: в ней земледельцы половину производимой продукции «отдают» в виде «ренты» (выкупа земли) и «других платежей» (налоги). Эта половина производимой ими продукции идет «рантье», то есть помещикам, получающим и после «освобождения» «ренту» с крестьянской земли. В результате в стране этой очень мало людей, живущих в сытости и довольстве. Что необходимо, чтобы кладовая земледельца этой отнюдь не сказочной страны «украсилась бы колбасами и окороками», чтобы в жизни его наступило довольство и изобилие? В конечном счете,— утверждает журнал,— одно: чтобы

земледелец, «сообразив, что ему выгоднее пользоваться всеми продуктами своего труда, чем отдавать часть в другие руки, сделался бы полным вадельцем земли и хозяином своих продуктов» (1865, 5, III, 25).

Народ царем обманут — к этому выводу целеустремленно подводит читателей «Русское слово». Судя по журналу заседаний С.-Петербургского цензурного комитета, в августовской книжке журнала за 1863 год редакция идет на очень рискованный шаг, чтобы охарактеризовать недовольство крестьян реформой, — пытается напечатать повесть под заглавием «На подсеке», в которой «изображены антагонизм между крестьянами и помещиками в ущерб дворянскому сословию, спор о лугах, купленных крестьянами, восстание крестьян и их усмирение» [1]. Повесть, конечно, не была пропущена цензурой.

«Мирные реформы, — утверждает журнал, — явились таким наглым и откровенным обманом крестьянства, что теперь крестьянин уже с крайним недоверием встречает очередные нововведения сверху, «которые он так долго выносил на своей спине». «Крепостное право, — пишет журнал, — ниспослало на него реформы, от которых не скоро заживут бока этих странных людей», не понявших тех благих «намерений», с какими «преподавали» им «помещичью цивилизацию» (1863, 11—12, III, 40) — прямой намек на методы, которыми «всекалось» освобождение крестьян. А в итоге, — пишет журнал, — крестьянин наш «так запуган всякими попечительскими о нем заботами, что поневоле делается осторожен, упрям и недоверчив ко всякому новому благодеянию. Курная и вонючая изба для него кажется лучше не потому, чтоб он не сознавал потребности жить в светлой и чистой избе, а потому, что ему боязно решиться на всякую перемену, так как она самым вероломным образом может обмануть расчеты его; так ему хоть жутко, но он уверен, что не будет хуже» (1863, 11—12, III, 49). Таков ответ журнала «Русское слово» русскому либерализму, восхвалявшему реформу, доказывавшему, что «благотворный переворот» 19 февраля вызвал якобы «чувство безотчетной радости» у крестьян.

В свете полемики с либеральной идеализацией реформы следует рассматривать и статью Д. И. Пи-

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 52, л. 160.

сарева «Цветы невинного юмора» (1864, № 2). Статья эта отнюдь не противоречит той позиции, которую занял журнал в отношении реформы. Между тем именно эта статья дает некоторым исследователям, и в том числе Кирпотину, повод утверждать, будто Писарев не понял сущности реформы, не видел пережитков крепостничества в пореформенной России,— и критиковал Щедрина за то, что стоящий на последовательных революционно-демократических позициях сатирик выступил с критикой реформы.

Нет спору, рассказ Щедрина «Ваня и Миша», в котором рассказывается о злодействах бессердечной помещицы, доведших двух своих крепостных до самоубийства (на этот рассказ обрушился Писарев), представляет собой выдающееся произведение по своему антикрепостническому пафосу. Но не надо закрывать глаза на то, что гнев критика вызвала прежде всего следующая тирада Салтыкова-Щедрина: «Теперь все это (крепостное право.— *Ф. К.*) какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и безысходной веселости?»

Можно спорить о том, что заставило Щедрина написать этот апофеоз реформе — цензурные соображения или искренние иллюзии. Бесспорно одно: подобного рода апофеоз царю не мог пройти не замеченным «Русским словом». И Писарев не замедлил поставить перед Щедриным вопрос: если все эти злодеяния совершались, по собственному признанию автора, «прежде, во время *оно,* то с какой же стати повествуется об этом событии теперь, во время *сие*?.. Или он (Щедрин.— *Ф. К.*) боялся, что вновь восстановится крепостное право, и пожелал противодействовать такому пассажу кроткими мерами литературного увещевания? Или же он постарался поразить своим пером прошедшее, чтобы сделать приятный и любезный сюрприз настоящему? Последнее предположение кажется мне всего более правдоподобным...» (1864, 2, II, 30—31). Именно предположение, что критика дореформенных злодеяний является любезным реверансом

сатирика пореформенным благодеяниям, — одна из причин резкой критики Писаревым «Невинных рассказов» Щедрина.

Другая же причина — в том, что Писарев выступает вообще против сатиры, выбирающей такую тему для осмеяния, которая имеет только исторический интерес. Он против того, чтобы сатира, которая «хороша только тогда, когда она современна», занималась теми сторонами крепостного права (в рассказе «Ваня и Миша» речь идет о *личном* произволе помещиков), которые действительно реформой отменены. Сатира должна заниматься тем, что живо и сейчас, чего реформа не затронула. Главный недостаток реформы, с точки зрения публицистов «Русского слова», не в том, что она сохранила без изменения *личный* произвол помещика (с точки зрения формальной, юридической реформа действительно освободила крестьян); недостаток реформы в том, что она оставила крестьянина голодным и раздетым, не дала ему в собственность землю. «...Крепостное право так глубоко отравило все отправления нашей народной жизни, — утверждает Писарев, — что тяжелая старина долго еще будет давать себя чувствовать в разных воспоминательных ощущениях весьма неприятного свойства» (1864, 2, II, 34).

Можно говорить о том, что в статье «Цветы невинного юмора» несправедливо оценены политические и литературные позиции Щедрина. Но тот факт, что в данной статье Писарев, как и журнал в целом, признавая факт юридического освобождения крестьян, выступает против идеализации реформы, против тех пережитков крепостничества, которые реформа оставила после себя, на наш взгляд, не вызывает сомнения.

3

Тема тяжелого положения трудового народа неразрывно связывается в журнале с мыслью об удручающей экономической и культурной отсталости самодержавно-крепостнической России. Социальные позиции «Русского слова» все более углублялись. Пожалуй, ни один русский журнал не ставил с такой остротой вопрос о взаимообусловленности таких двух историче-

ских бед русского народа, как его нищета и удручающая культурно-экономическая отсталость.

Закономерность эту в присущей ему блестящей афористической манере выразил Писарев в словах, ставших крылатыми:

«...Мы видели и до сих пор видим перед собою,— писал он в статье «Реалисты» («Нерешенный вопрос»),— два громадных факта, из которых вытекают все наши отдельные неприятности и огорчения. Во-первых, мы бедны, а во-вторых — глупы» (1864, 9, II, 4).

Эти два факта составляют «заколдованный круг»: «Мы бедны, потому что глупы... Чтобы разбогатеть, надо хоть немного улучшить допотопные способы нашего земледельческого, фабричного и ремесленного производства, то есть немного поумнеть; а поумнеть некогда, потому что окружающая бедность не дает вздохнуть» (1864, 9, II, 4).

Что же является первопричиной образования этого «заколдованного круга»? Может быть, природная глупость, неразвитость, леность русского народа? Нет, природные возможности всех людей равны,— категорически отвечает журнал.

Журнал задает вопрос: почему Турция (читай: Россия) является нищей страной по сравнению с европейскими государствами и почему Англия достигла, сравнительно с Турцией, такого высокого развития? И отвечает на этот вопрос так: «Просто потому, что Турция развивалась при одних учреждениях, а Англия при других...» (1864, 5, I, 4.) И читателю ясно, что причина нищеты и отсталости России — ее *феодально-крепостнические учреждения*. Вот что обусловило тот «заколдованный круг», тот тупик, в который зашла страна в результате многовекового своего развития.

Не существует людей ленивых от природы, людей, которые не стремились бы к улучшению своего экономического положения. Если эти стремления не приносят результата, значит, существуют какие-то «посторонние внешние причины», те или иные «причины внутреннего быта», по которым «каждый отдельный человек не пользуется всеми условиями для развития своих экономических сил» (1863, 11—12, I, 39).

Что же это за «обстоятельства», что за «посторонние внешние причины» помешали экономическому прогрессу России? Какие «причины внутреннего быта»

обусловили, по мнению публицистов «Русского слова», эту колоссальную промышленную и сельскохозяйственную отсталость страны, удручающую бедность ее народа, обрекли Россию на роль сельскохозяйственной колонии промышленных западноевропейских стран?

В условиях пореформенной цензуры журнал так формулирует ответ на этот вопрос: «Сущность всех помех, задерживающих экономическую деятельность людей, есть стеснение их свободы располагать своим трудом. Человек, лишенный свободы и самостоятельности действий, производит всех предметов тем менее, чем более он стеснен. И в этом недостатке свободы располагать своим трудом – главная причина бедности народов» (1864, 2, I, 3).

Итак, «стеснение» человека «располагать своим трудом» – такова сущность обстоятельств, обусловивших «бедность» и «глупость», то есть экономическую отсталость России.

Самодержавие и крепостничество – вот первопричина того, что «нет в стране ни промышленности, ни торговли, ни образования, везде ложь, несправедливость, утеснение и крайняя бедность» (1864, 4, II, 26).

Мысль эта крайне важна для журнала. Редакция использует самые различные приемы, чтобы с максимумом ясности довести ее в подцензурных условиях до своего читателя. Чтобы наглядно продемонстрировать всю величину бедствий, которые принесли стране самодержавие и крепостничество, чтобы показать всю благотворность для экономического развития страны «свободных учреждений», журнал систематически проводит на своих страницах сопоставление путей развития России и Америки.

Нельзя забывать, что Соединенные Штаты Америки 60-х годов XIX века – это Америка Авраама Линкольна, Америка гражданской войны за освобождение негров, Америка периода максимального развития буржуазных демократических свобод. Когда В. И. Ленин писал об «американском», то есть максимально быстром, революционном, не стесняемом никакими феодальными пережитками пути развития капитализма, сопоставляя его с так называемым «прусским» путем, он имел в виду именно Америку XVIII – XIX столетий.

Америка 60-х годов XIX века переживала процесс

дальнейшего углубления и расширения демократических преобразований, осуществляемых революционным путем. Передовая русская общественность сочувствовала войне Севера с рабовладельцами Юга, охранявшими институт рабства, — «одну из самых вредных причин, мешающих полному развитию американских штатов» (1863, 11—12, I, 40).

Не менее важной для журнала темой было сопоставление результатов экономического развития буржуазно-демократических Соединенных Штатов Америки и самодержавно-крепостнической России. Указывая на Соединенные Штаты как «на пример замечательного по быстроте и силе экономического развития народа», которому могут позавидовать и англичане, и французы, и немцы, и, уж конечно, русские, журнал наглядным образом демонстрировал читателю преимущество тех демократических учреждений, которых так не хватало России. Теме этой посвящены статьи «Очерки из истории Соединенных Штатов», «Старый свет и Новый свет» Н. В. Шелгунова, «Северо-Американские штаты в 1863 году» В. Попова, ряд статей Эли Реклю в отделе «Политика» и т. д.

Сопоставляя результаты экономического развития Америки и Сибири (то есть России), Шелгунов пишет, что в 1850 году в Штатах было 2800 газет и журналов, тогда как в Сибири только 4; 4000 миль каналов, в Сибири их нет; 1500 пароходов, в Сибири их только 30; 25 000 миль железных дорог, в Сибири их нет совсем. И причина этого разительного различия — та, что «помехи, какие встречал в своем развитии американец и сибиряк», были далеко не одинаковыми.

Американский народ получил учреждения, наиболее способствующие экономическому прогрессу страны. Учреждения эти, — пишет Шелгунов, — «так просты, что об них можно сказать все в нескольких словах — это высшее развитие системы самоуправления» (1864, 3, I, 50), иными словами, — демократическая республика. Сибирь же (читай: Россия), — говорит Шелгунов, — развивается под управлением «чиновничества», которое «приезжает сюда, чтобы просвещать Сибирь и устраивать в ней гражданский порядок».

Тонкими, но вполне уловимыми намеками Шелгунов раскрывает подлинный смысл понятия «чиновничество». «Чиновник» — это особая порода людей, создаваемая «особенными обстоятельствами и... учре-

ждениями», у чиновника есть свое историческое происхождение (1863, 9, I, 32—33),— пишет Шелгунов, намекая на то, что институт чиновничества — это необходимый и основной институт самодержавия (вспомним Ленина: русское самодержавие — это самодержавие чиновников). Управляя Сибирью, они всегда «тяготели не к этому народу, который они приехали просвещать, а к тому отдаленному центру, от которого зависела их чиновничья жизнь и смерть». Естественно, их управление преследовало не интересы народа, а интересы самодержавия и не могло не служить помехой экономическому развитию страны. И беда здесь не в том, что Сибирь имела пришлое, а не «туземное» чиновничество, как думают некоторые сепаратисты-сибиряки. Корень зла — в самом принципе, в том, что Сибирь, как и вся Россия, задавлена самодержавием чиновников: «В России все чиновничество туземное — но легче ли ей от этого?» (1863, 9, I, 35),— задает Шелгунов риторический вопрос. Таким образом, отношение «Русского слова» к крестьянской реформе 1861 года и к самодержавно-крепостническому строю в его пореформенном обличии свидетельствует, что и в трудное время второй половины 60-х годов публицисты сохраняли последовательно-демократические позиции. Пожалуй, ни в одном вопросе не встречаем мы такого поразительного единства взглядов сотрудников «Русского слова», как в оценке реформы 19 февраля.

Единственное положительное значение реформы, с точки зрения публицистов «Русского слова», заключается в том, что она совершила юридическое освобождение крестьян,— журнал неоднократно констатирует этот факт и оценивает его как «начало преобразований», необходимых русскому народу. Но заслуги правительства, по мнению редакции «Русского слова», здесь нет никакой. Наоборот. То, что реформа, несмотря на всю ее ограниченность, заключала в себе определенное положительное содержание,— целиком и полностью завоевание народа.

Мысль эта очень подробно разрабатывалась на страницах «Русского слова», которое здесь целиком и полностью солидаризировалось с Щедриным, утверждавшим, что «несмотря на всю забитость и безвестность, одна только сила и производила реформу», наложив на нее «неизбежное клеймо свое».

Царская цензура чутко уловила эту общность в оценке «великих» реформ «Современником» и «Русским словом». «Правительство почти вовсе игнорируется в этих журналах, — писал цензор Еленев в отчете «Отличительные черты наиболее распространенных периодических изданий», — великие преобразования нынешнего царствования приписываются всемогущему духу времени, неотразимой силе обстоятельств, инициативе журналов и т. п.... Правительство же едва удостаивается при этом снисходительного одобрения за то, что оно не упорствовало, не отвергло настояний упомянутых могучих деятелей»[1]. Впрочем, цензор допускает здесь маленькую неточность. Не «инициатива журналов», а именно «неотразимая сила обстоятельств», то есть угроза народной революции произвела, по утверждению журнала «Русское слово», реформу 19 февраля, — как и любую другую правительственную реформу, проводимую правителями где бы то ни было и когда бы то ни было.

«По поводу кадастра и обнародования нового распределения податей, — сообщает Н. В. Шелгунов, — Иосиф сказал канцлеру, графу Хотеку, считавшему всю эту меру несправедливостью относительно дворянства, замечательные слова: «Любезный Хотек, не лучше ли будет, если мы что-нибудь уступим крестьянам, чем ждать, что они не дадут нам ничего» (1864, 11—12, II, 64). Австрийский и русский императоры сформулировали мысль о побудительных причинах реформ почти одними и теми же словами. Страх перед угрозой крестьянской революции, в результате которой крестьяне могут не дать помещикам «ничего», «освободить себя снизу», — вот единственная причина, которая побудила императора пойти на реформы. Факт, что, говоря об Австрии, Шелгунов имел здесь в виду Россию, — несомненен.

Разработка тех или иных идей, касающихся жизни России, на фактах истории других стран — прием очень распространенный в демократической журналистике 60-х годов. «И в это, и в последующее время, — писал впоследствии Шелгунов, — козлом отпущения служила обыкновенно Австрия...» Когда оказывалось невозможным «обходиться без иносказательности», она всегда выручала писателей и «учила... читателей

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12, л. 153 об.

проницательности и уменью понимать иносказания»[1]. Искусство эзоповского языка помогало публицистам «Русского слова» обходить все препоны и рогатки цензуры, говорить читателям правду о реформе 19 февраля.

С последовательно демократических позиций оценивал журнал и другие буржуазно-крепостнические реформы 60-х годов — земскую, городскую реформу и прочие «мероприятия» самодержавия.

«Земство,— писал В. И. Ленин,— с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, *допускаемым* бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством»[2].

Такой же характер носили и остальные реформы, исключая разве судебную — наиболее последовательную из всех буржуазных реформ этого периода. Реформы 60-х годов оставляли в неприкосновенности основу государственного строя России — царское самодержавие. И тем не менее реформы эти вызвали в русском обществе очередной взрыв энтузиазма и либеральных надежд. Земская и городская реформы, реформа суда и прочие вселяли в верноподданнические сердца либералов розовые надежды на то, что самодержавная монархия волей Александра-«освободителя» превратится в конституционную монархию.

Истинный смысл «представительства», за которое ратовала русская охранительная печать, предтечу которого она видела в земстве, особенно ярко и глубоко раскрыли «Московские ведомости» Каткова. Ратуя за представительство, имеющее «относительно верховной власти характер не принудительный, а совещательный»,— сообщалось в отчете совета министра внутренних дел по делам книгопечатания,— «Московские ведомости» «душою стоят за достоинство, силу и неприкосновенность верховной власти в ее принципе» и «намекают на те лишь преобразования, которые,

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 197.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 35.

по их мнению, должны укрепить авторитет верховной власти»[1].

Большой заслугой «Русского слова» является то, что одновременно с разоблачением крестьянской реформы журнал беспощадно высмеивал либеральные надежды на «самоуправление» из рук монарха. С позиций последовательной демократии журнал вскрыл подлинную сущность и никчемность реформы органов русского управления 60-х годов.

В февральской «Домашней летописи» журнала за 1863 год в момент юбилейных славословий в честь правительственных преобразований, прошедших и будущих, Г. Е. Благосветлов убедительно показал, что, несмотря ни на какие реформы, ни подлинное самоуправление, ни подлинная самодеятельность русского народа невозможны в условиях самодержавия.

Правда, первый вариант этой «Летописи» не был пропущен цензурой, но постановка вопроса о самоуправлении и реформах здесь дает нам ключ к правильному пониманию позиции журнала в течение 1863–1866 годов.

Чтобы дать хотя бы окольным путем свою оценку проектируемым реформам («Летопись» была написана по поводу разосланной на места для обсуждения правительственной программы устройства земского и городского самоуправления), Благосветлов обращается здесь к истории. На большом историческом материале, используя труды Щапова, он показывает, как под напором деспотической силы московского самодержавия русский народ утратил те немногие вольности, которые он имел в «начальный период своего гражданского существования» – в период земства.

Благосветлов рассказывает об отчаянной борьбе народа против все нараставшего гнета московского деспотизма. Он повествует о смелом протесте передовых людей XVI – XVII веков (Котошихина, Юрия Крижанича), которые смело вопияли «о попрании тиранства и злого владения», указывая путь избавления «в политической свободе, или... в «слободинах», то есть в льготах и вольностях народных...»[2]. Вслед за «челобитным воплем земства», оказавшимся безрезультатным, началось недовольство, начались на-

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12, л. 130.
[2] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, ед. хр. 84, л. 4.

родные движения, бунты, ознаменовавшие царствование Алексея Михайловича и почти всю вторую половину XVIII столетия.

Бунт в Москве в 1648 году, в результате которого, по словам Котошихина, «и царица, и царевич, и царевна, запершись, сидели в хоромах в великом страхе и боязни», бунт Коломенский, бунт на Псковской земле, бунт в Устюге, бунт в Сольвычегодске, бунты казанские и стрелецкие,— словом, пишет Благосветлов,— «весь мир закачался... Но все это было подавлено и уничтожено. На почве, утученной кровью старой России, возникла наконец молодая всероссийская империя, построенная Петром I»[1].

Силой и кровью узурпировала Российская империя те естественные права и вольности, которыми владел русский народ в начальный период своей гражданственности. И вот теперь та же империя понуждает придавленный гнетом народ к «самодеятельности» и «самоуправлению». Факт подобного понуждения,— разоблачает Благосветлов лицемерие правительства и либерального общества,— «особого рода»: это «заботливость правительства об интересах общества, на инициативу которого никто, то есть ни общество, ни правительство не рассчитывали»[2].

Для того чтобы общество могло осуществлять действительное самоуправление, оно «должно сознавать за собой известные права... чувствовать себя самостоятельным, независимым и иметь гарантии, на которые опиралась бы его свобода»[3], те самые права и гарантии, которые были отняты в свое время у народов их правителями. «Самоуправление» и «самодеятельность» народа (то есть его политическая свобода) достигаются не понуждениями правителей. «Общественная самодеятельность...— пишет по этому поводу Благосветлов в статье «Историческая школа Бокля»,— обусловливается... *другими, более существенными обстоятельствами, самой обстановкой общественной жизни. Если эта жизнь сложилась так, что человек может свободно действовать и сам располагать своим положением, то, уж конечно, он не откажется от этой свободы...*» (1863, 2, I, 13). (Курсив мой.— *Ф. К.*)

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, ед. хр. 84, л. 4.
[2] Там же, л. 3.
[3] Там же.

Иными словами, пока русский народ не разовьется политически настолько, чтобы своими силами *изменить всю обстановку* русской общественной жизни и завоевать себе свободу,— толки о «самодеятельности» и «самоуправлении» не выйдут из стадии разговоров. Вот почему, пишет Благосветлов во втором варианте «Домашней летописи», опубликованной в № 2 журнала за 1863 год, «мы находим почти невозможным относиться серьезно к вопросу о самодеятельности русского общества, несмотря на то, что и пропаганда журналов, начиная от «Северной пчелы» до «Сына отечества», и желание правительства, и самое сознание общества сходятся на необходимости вызвать самодеятельность народа» (1863, 2, III, 5).

Благосветлов не верит тому, чтобы самодеятельность и способность к самоуправлению пробудилась в русском обществе «только от призвания его правительством к исполнению тех или иных дел»[1]. Призвание это ничего не изменит, если общество не будет чувствовать в себе силы для «достижения или защиты» своих интересов. Проектируемые правительством реформы не несут политической свободы русскому народу, не заключают в себе даже зачатков «самодеятельности» и «самоуправления», ибо первооснова бесправия и гнета — царское самодержавие — остается в силе.

Анализируя программу (проект) преобразований, Благосветлов высказывает здесь ряд очень существенных замечаний относительно характера создаваемых учреждений.

Вопрос, какими правами независимости от местной правительственной власти будут пользоваться земские учреждения и кто будет контролировать их, то есть правительство или само общество, Благосветлов считает «важнее самой сущности преобразований»[2]. И вполне понятно почему. Если вновь созданные органы самоуправления будут целиком и полностью подчинены правительству, то чем эти учреждения будут отличаться от обычных бюрократических учреждений? Благосветлов, далее, говорит об узости «круга указанных земству мер». Круг этот ограничивается лишь «хозяйственными делами»,— но ведь «самоупра-

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, ед. хр. 84, л. 3.
[2] Там же.

вление, — утверждает Благосветлов, — не то, что хозяйство: последнее лишь незначительная часть первого»[1]. Если земские и городские органы не будут *политическими*, но лишь *хозяйственными* учреждениями, то, независимо от степени самостоятельности их в вопросах хозяйственных, они не будут органами подлинного самоуправления народа.

И наконец, характер будущих учреждений будет определяться, помимо указанных обстоятельств, еще и тем, как будет решен вопрос о цензе. «Вопрос о цензе, — утверждает публицист, — есть вопрос о преобладании». «Цель ценза есть неравенство, неравноправность». Именно поэтому за ценз так яростно выступали либералы и крепостники, в первую очередь Катков, который мыслил земские учреждения учреждениями помещичьими, стремился барьером ценза оградить земство от участия в нем крестьян. Благосветлов решительно выступает против ценза, за «общее избирательное право»[2].

В «Домашней летописи» январской книжки журнала за 1864 год, сразу после опубликования законодательных положений о земстве, журнал дал внешне беспристрастную оценку новым учреждениям, которые либеральная печать задолго до их появления охарактеризовала как истинное «самоуправление». Избегая каких бы то ни было прямых оценок, путем подбора и систематизации фактов, журнал убедительно показывает, что его предположения и опасения полностью оправдались.

Высокий ценз, установленный правительством, достиг своей цели и сделал земские учреждения учреждениями помещичьими и узкохозяйственными. Эти «бюрократические» бесправные учреждения, конечно, не имели ничего общего с подлинным «самоуправлением», с подлинной «самодеятельностью» народа.

Не суррогаты, а подлинная политическая свобода, не ублюдочные реформы, а коренное изменение условий существования необходимы русскому народу. Эта идея красной нитью проходит через все оценки, даваемые «Русским словом» не только земской и городской, но и всем остальным реформам 1863—1866 годов.

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, ед. хр. 84, л. 3.
[2] Там же.

Очень красноречиво эта мысль звучит в статьях и высказываниях журнала, посвященных реформам в области народного образования. Теме этой посвящены статьи Д. И. Писарева «Наша университетская наука», «Педагогические софизмы», «Школа и жизнь», а также ряд высказываний в «Домашней летописи».

Реформы в области народного просвещения вызывали в ту пору страстную полемику на страницах газет и журналов. Главным предметом спора был вопрос о направлении образования. «Московские ведомости», «День» и прочие реакционные издания отстаивали *классическое* образование, способствующее, по их мнению, укреплению веры и нравственности в подрастающем поколении. «Петербургские ведомости», «Голос» и другие либеральные издания стояли за *реальное* образование,— оно, по их мнению, больше отвечало потребностям действительности.

Д. И. Писарев в первой же своей статье, написанной им для «Русского слова» в крепости, дал уничтожающую, язвительную характеристику университетскому и гимназическому образованию в России, наглядно показал, как «крепка наша рутина, велико наше невежество, безгранично наше равнодушие к умственным интересам подрастающих поколений» (1863, 3, I, 25). Здесь же он выдвинул идею коренной реформы гимназий, а вслед за ними — и университетов, положив в основу гимназического курса изучение математических и естественных наук.

В ряде других статей на педагогические темы («Демагогические софизмы», «Школа и жизнь») Писарев продолжал критику классического воспитания и развил стройный план так называемого «реального» образования юношества.

Однако Писарев резко издевается над теми «наивными оптимистами», которые мечтают, реформировав школу, реформировать общество.

Подобная идея нелепа, по мнению Писарева, потому что она ставит вопрос с ног на голову. Реформировать школу, не переделав общества, нет ни малейшей возможности. «Взятие школы составляет важнейший результат и драгоценнейший плод победы, а никак не первый акт борьбы»,— заявляет Писарев, подчеркивая, что реформой школы не начинают, а кончают дело.

Подлинная, а не фиктивная реформа народного образования — та, которую считают необходимой пу-

блицисты «Русского слова», возможна, по мнению Писарева, лишь после того, как произойдут коренные изменения основ русского правопорядка.

Но зачем же в таком случае так подробно разрабатывал Писарев свою программу школьных преобразований? Отнюдь не потому, что надеялся, будто его программу примут и осуществят. Разрабатывая теорию перестройки школы, раскрывая читателю свой педагогический идеал, Писарев, по его собственному признанию, преследовал одну цель: отвести обвинения в том, что «мы отрицаем для процесса отрицания и что мы не сумели бы ничего построить на том месте, которое нам удалось бы очистить от существующих зданий готической архитектуры» (1865, 8, I, 105).

Несмотря на эзопов язык, мысль выражена с предельной ясностью: преобразование школы встанет на очередь лишь тогда, когда передовым людям России удастся очистить страну от «существующих зданий готической архитектуры», – то есть зданий самодержавно-крепостнического, эксплуататорского правопорядка. Именно эта задача, а не частные реформы, и является, по утверждению Д. И. Писарева, главной задачей всех честных людей России. К реформам же, проводимым на основе существующего в России правопорядка, а тем более проводимым столпами этого правопорядка, Писарев и «Русское слово» не могут относиться серьезно и положительно.

Таким же настроением пронизаны и высказывания журнала, касающиеся судебной реформы и указа об отмене телесных наказаний, – юридических преобразований, в которых царское правительство зашло наиболее далеко. Журнал в общем положительно оценивает замену старого сословного суда общим для всех сословий судом присяжных, определенную гарантию независимости суда от администрации, предоставляемую суду принципом несменяемости судей, и проч. В ряде статей М. Филиппова, опубликованных в журнале, мы находим развернутые проекты изменения судоустройства на максимально демократических началах, как бы толкающих правительство на еще большую демократизацию русского суда. Журнал подчеркивает, что все эти меры и, в частности, суд присяжных – меры прогрессивные. Однако новая форма, по мнению публицистов журнала, еще не изменила внутренней сущности суда, который по-прежнему

остался не чем иным, как «органом государственной самообороны» – органом самообороны самодержавия и правящих классов России.

«Цель суда состоит в том, – указывает журнал, – чтобы оградить *во что бы то ни стало* общественную безопасность, «священнейшие права собственности» и государственную неприкосновенность и чтобы примерно наказать нарушителей этой безопасности, этих священнейших прав и этой неприкосновенности» (1865, 11, II, 53). В основании действий современного суда – в любой, самой демократической его форме – лежит «не справедливость, а чувство мести, подкрашенное юридическими софизмами и возведенное в нравственный принцип» (1865, 11, II, 53). Журнал характеризует суд как орудие защиты интересов господствующих классов, как «учреждение *политическое*, а вовсе не *юридическое*» (1865, 11, II, 53).

Задача заключается не в том, чтобы улучшить это орудие защиты интересов самодержавия. Суть дела, по мнению публицистов «Русского слова», заключается в том, чтобы вообще ликвидировать всякую необходимость суда, всякую необходимость наказания. Этого можно достигнуть, лишь уничтожив преступления, то есть изменив среду, которая порождает преступления. Мысль эта систематически проводится на страницах «Русского слова». Особенно остро поставлена она в «Домашней летописи» майского номера «Русского слова» за 1863 год, где мы находим очень своеобразную оценку «указа 17 апреля», отменившего плети, шпицрутены, телесные наказания женщин и ослабившего исправительные наказания вообще. Подчеркнув положительное значение этого указа как частного факта, указав на то, что этот указ произвел «приятное впечатление на наше общество, которое успело в последнее время пропитаться несколько гуманными идеями», обозреватель прозрачно намекает, что указ этот все-таки не больше, чем филантропический акт, результат того, что «современная филантропия... оказала благотворное влияние на общественные права...» (1863, 5, III, 1).

Оценив в нескольких фразах указ 17 апреля как акт филантропии правительства, обозреватель на десяти страницах после этого доказывает, каким бесполезным занятием является так называемая филантропия. Филантропические реформы почти ничего не дают наро-

ду, так как они утверждают основы существующего правопорядка и исправляют лишь частности.

Не частные реформы и ублюдочные преобразования, но коренное изменение условий существования — вот что необходимо русскому народу. Такова постановка журналом «Русское слово» 1863—1866 годов кардинального вопроса эпохи — вопроса о судьбах России, находившейся под гнетом самодержавия.

Постановка вопроса последовательно демократическая, свойственная всем просветителям 60-х годов.

По характеристике В. И. Ленина, просветитель-«шестидесятник» «одушевлен горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян... искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому»[1]. Отношение журнала к самодержавно-крепостническому строю в его пореформенном обличье было типичным для просветительства 60-х годов.

Но ведь просветительство 60-х годов — очень широкое и разнохарактерное явление. Как известно, содержание взглядов «просветителей» Ленин характеризовал на материале очерков Скалдина, то есть Еленева, — того самого цензора журнала «Русское слово», а впоследствии — «Отечественных записок», который был особенно дотошным и беспощадным. Наивно думать, что В. И. Ленин взял Скалдина для исследования, не зная его истинного лица. Ему была известна оценка Скалдина Энгельсом, который называл его liberalconservativ («умеренным консерватором»[2]); сам В. И. Ленин считал Скалдина типичным представителем «буржуазного либерализма», который был «очень широкой струей 60-х и 70-х годов»[3].

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 519.
[2] Там же, с. 520.
[3] См.: там же, т. 46, с. 19.

Таким образом, давая характеристику «просветительству», Ленин считал представителями последнего и либерала Скалдина, и революционного демократа Чернышевского, предлагая марксистам «принимать «наследство» не от Скалдина, а именно от Чернышевского». А в письме А. Н. Потресову от 26 января 1899 года Ленин прямо разъяснил свое понимание «просветительства», заявив что «считать его за нечто единое — плохая традиция плохих (80-х) годов»[1].

Контекст работы В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?», где дается характеристика просветительства, показывает, что «просветительство» 60-х годов в ленинском понимании обнимало две тенденции, два направления: демократического просветительства и либерального просветительства, выражавших интересы различных классов и находившихся в непримиримой борьбе.

Оценка журналом эпохи реформ, положения дел в пореформенной России дает все основания сделать вывод, что «Русское слово» являлось типичным органом демократического просветительства, — то есть того направления в русском просветительстве 60-х годов, которое определялось, по Ленину, именем Чернышевского.

Вывод важный, но еще недостаточный для исчерпывающей характеристики направления журнала «Русское слово» 1863—1866 годов.

Дело в том, что жизнь ставила перед публицистами «Русского слова» вопросы, которые еще несколько лет назад не могли с такой вот силой и остротой волновать общественную мысль. Именно в это время начинался процесс бурного обуржуазивания страны.

В литературоведении существует точка зрения, будто именно просветительское «Русское слово» и выражало с наибольшей полнотой и отчетливостью интересы буржуазии, боролось в прямой, непосредственной форме за буржуазное развитие страны. Так ли это?

Во имя чего критиковали публицисты журнала самодержавно-крепостнические порядки? Каким был их идеал социального, общественного строя? Как относились они к развивающемуся капитализму и идеям утопического социализма? На каких путях искали решения вопроса о голодных и раздетых людях?..

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 46, с. 18.

Глава III

МЕЧТА ОБ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

1

Реформа 19 февраля, несмотря на всю ее ограниченность, открыла возможности для развития капитализма в России.

Публицисты «Русского слова» отчетливо осознавали тот факт, что в развитии экономики страны намечается поворот... «Экономический перелом так или иначе совершается в России; он застает нас врасплох, неприготовленными, среди глубокого невежества и еще более глубокой апатии. Перед нами поднимаются различные вопросы жизни» (1863, 1, I, 2),— писал в первом номере «Русского слова» за 1863 год Н. В. Шелгунов. Зоркий наблюдатель пореформенной действительности, Н. В. Шелгунов уже в 1863 году подмечал, что в «промышленной деятельности народа наступает новая пора», что «новая сила пробивает себе дорогу». В восстановленном «Русском слове» вопрос о развитии капитализма в стране ставился куда более остро и отчетливо, чем в 1861—1862 годах. И это понятно: к этому времени стали с большей очевидностью проявляться экономические последствия реформы 1861 года.

В 1861—1862 годах публицисты «Русского слова» высказывали свое резко критическое отношение к капитализму, касаясь, в основном, стран Европы.

Правда, уже в апрельской книге журнала за 1862 год Благосветлов ставил вопрос о новых тенденциях в экономическом развитии России и говорил о них с большой тревогой и горечью. В 1863—1866 годах публицисты журнала все определеннее говорят о «новом духе», которым повеяло в экономической жизни России после 1861 года. Свое отношение к капитализму в 1863—1866 годах они выражают развернуто и широко. Чувствуется, что этот вопрос становится для них вопросом жизни, он заставляет их всерьез и глубоко размышлять.

Трезвое понимание факта развития капитализма в России, когда процесс этот только еще намечался, свидетельствует о глубоком историческом реализме

сотрудников «Русского слова». Публицисты «Русского слова» не только остро ощущали процесс интенсивного обуржуазивания России, который начался после 1861 года,— они утверждали, что процесс этот *неизбежен*, что России не *миновать* капитализма, не уйти от решения рабочего вопроса, который так остро вставал на Западе в 60-х годах. «Благодаря младенческому состоянию нашей промышленности,— заявлял Д. И. Писарев в статье «Школа и жизнь»,— рабочий вопрос находится у нас в зародыше и, вероятно, долго еще не примет в русской жизни тех колоссальных грозных размеров, которые характеризуют его в Западной Европе; но с нашей стороны было бы очень необоснованно думать, что эта чаша пройдет мимо нас и что наша общественная жизнь в своем дальнейшем развитии никогда не наткнется на эту мудреную задачу» (1865, 8, I, 84). Рабочий вопрос для России в будущем — «*неизбежный и неотвратимый вопрос*» (1865, 8, I, 85). (Курсив мой.— *Ф. К.*)

Ясно осознаваемая публицистами «Русского слова» перспектива капиталистического пути развития России не приводила их в отчаяние. Напротив, они даже критиковали тех русских экономистов, которые пропагандировали идеи фритредерства и рекомендовали России «вывозить сырые продукты и обменивать их на иностранные сукна, шелковые и бумажные материи, стальные орудия и всякие другие фабричные произведения» (1863, 11—12, I, 76). Журнал последовательно разоблачал эту теорию, показывая, что объективный смысл ее заключается в том, чтобы «вскрыть одну из больших артерий и затем постоянно отсылать за море бочки вытекающей крови» (1863, 11—12, I, 76). «Теорией народного самозаклания» называет журнал теорию, по которой Россия должна быть патриархальной, земледельческой страной, и решительно выступает за развитие могучей национальной промышленности, за помещение капиталов в строительство отечественных фабрик и заводов, видя в этом гарантию национальной независимости.

Стремление к промышленному развитию России руководило публицистами «Русского слова» и тогда, когда они выступали против широко развернувшегося в 60-е годы строительства железных дорог, связывавших Россию с заграничными странами, что могло привести, по их мнению, к сильному увеличению вы-

воза сырья и затормозить развитие русской национальной промышленности. Журнал выступал не против строительства железных дорог вообще, он утверждал, что железные дороги России необходимы, но лишь после того, как будет создана собственная фабрично-заводская промышленность. «Железные дороги нам нужны, но прежде их нужны промышленность, возбуждение народной деятельности, улучшение общего экономического порядка» (1864, 5, III, 69—70),— так формулировал эту идею Г. Е. Благосветлов. Протест «Русского слова» против интенсивного строительства железных дорог объективно был ошибкой журнала, не уяснившего огромного значения железнодорожного строительства для развития национальной промышленности. Однако субъективно он выражал все то же стремление редакции «Русского слова» видеть Россию промышленно развитой страной.

В связи с этим может возникнуть вопрос: быть может, критикуя рутину крепостничества и теории отсталых экономистов (фритредерскую теорию, в частности), публицисты «Русского слова» именно в капитализме видели спасение России? Быть может, в своей публицистской деятельности они являлись идеологами нарождающегося русского капитализма и полагали, что именно капитализм будет тем общественным строем, который обеспечит прогресс, благосостояние и благоденствие масс?

Исследователи, представляющие журнал «Русское слово» органом буржуазного радикализма, отвечали на этот вопрос утвердительно. По их мнению, идеалом социального устройства для «Русского слова» был «культурный капитализм». На первый взгляд может показаться, что данная точка зрения соответствует фактам: деятели «Русского слова» отдавали себе отчет в том, что Россия идет по капиталистическому пути развития, и не только не пугались, но даже критиковали тех, кто, на их взгляд, тормозил этот процесс. И тем не менее подобный вывод был необоснованным. В действительности критика журналом теорий, мешающих капиталистическому развитию России, ни в коей мере не означала, что они принимали капиталистический путь развития России за идеал: они понимали относительную прогрессивность капитализма по сравнению с крепостничеством и феодализмом.

Конечно, в понимании относительной прогрессивности капитализма деятели «Русского слова», как и их предшественники, были ограниченны. Они не воспринимали капитализм как строй, создающий объективные и субъективные предпосылки для закономерного установления социализма. Их признание исторической прогрессивности капитализма по сравнению с рутиной крепостничества и феодализма исходило из той простой, но глубокой истины, что *вне пути промышленного развития вопрос «о голодных и раздетых людях» не решить.*

Для сотрудников «Русского слова» было характерно подлинное преклонение перед техникой, промышленностью, агрономией, в которых, по их мнению, кроются огромные потенциальные возможности повышения благосостояния и культуры народа. В сознательном «индустриализме» сотрудников «Русского слова» – истоки понимания ими относительной прогрессивности капитализма, с которым, как они видели на примере стран Европы, приходит век техники, агрономии, машин. Даже материальное положение народа в странах с развитой капиталистической промышленностью относительно лучше по сравнению с жизнью народов феодальных, исключительно земледельческих стран, – утверждают они.

«Те земли, в которых мануфактурная промышленность доведена до высокой степени совершенства, несут, конечно, свою долю страданий, произведенных элементом присвоения, но положение этих земель, по всей справедливости, может быть названо счастливым, если мы сравним его с участью тех стран, в которых свирепствует исключительное земледелие, – говорил Писарев. – Как ни тяжела жизнь английского или бельгийского пролетария, она все-таки показалась бы легкой негру, работающему на сахарных плантациях Ямайки...» (1863, 11 – 12, I, 82).

Однако развитие промышленности и техники при всех их потенциальных возможностях само по себе, по мнению публицистов журнала, еще не приносит людям избавления от голода и страданий. Анализируя положение трудящихся классов в западноевропейских промышленных странах, сотрудники журнала подтверждают это. В статьях «Экономические иллюзии» Н. Соколова, «Производственные силы Европы» П. Ткачева и других даны яркие картины положения тру-

дящихся в промышленно развитых капиталистических странах.

Для уничтожения голода и нищеты, помимо развития техники, необходимо изменение несправедливых, эксплуататорских отношений между людьми. А пока что «усовершенствования в химических и механических процессах переработки очень часто приносят массе общества значительный вред, потому что эти усовершенствования всегда монополизируются теми самыми людьми, которые конфисковали в свою пользу все удобства и наслаждения жизни. Увеличивая могущество одних и бессилие других, открытия и изобретения усиливают неравенство и порабощение» (1863, 11–12, I, 90).

Упорно и последовательно, из номера в номер журнал разоблачает капиталистический строй как строй эксплуататорский.

Продолжая дело, начатое Н. Г. Чернышевским, публицисты «Русского слова» и в 1863–1866 годах выступают как обличители капитализма, критикуют его с позиций социалистических. «Социализмом, – писал В. И. Ленин, – называется протест и борьба против эксплуатации трудящегося, борьба, направленная на совершенное уничтожение этой эксплуатации...»[1] Деятели «Русского слова» и выступали в период 1863–1866 годов как борцы «против эксплуатации трудящихся», за «совершенное уничтожение этой эксплуатации».

Публицисты «Русского слова» не ограничивались констатацией несправедливости буржуазного строя с точки зрения абстрактной справедливости, их не удовлетворяла *моральная* критика капитализма. Продолжая дело Н. Г Чернышевского, деятели «Русского слова» пытались дать *экономическую* критику капитализма, исходя из своеобразно переосмысленного, вслед за Чернышевским, закона трудовой стоимости – гениального открытия классиков английской экономики Смита и Рикардо.

По закону трудовой стоимости – «внутренней ценности», по терминологии Чернышевского, – единственным источником, единственным созидателем стоимости, а следовательно, и всякого богатства, является *человеческий труд*. Из этого вывода, убеди-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 281.

тельно аргументированного Рикардо, Чернышевский делал вывод, которого классики английской политэкономии не делали: раз источником стоимости является труд, *то все богатство,* производимое на земле, должно принадлежать *его производителям.* Следовательно, единственным строем, отвечающим этому объективному и вечному закону, является строй социалистический, где каждому воздается по труду; капиталистический же строй, где продукт распределяется непропорционально количеству вложенного в него труда, является искажением этого закона человеческой природы и общества.

Конечно, позиции Чернышевского в критике буржуазного строя просветительски ограниченны. Но, несмотря на указанную ограниченность, Чернышевский и с этих позиций дал чрезвычайно глубокую критику капитализма.

Исходные позиции критики капитализма у деятелей «Русского слова» те же самые, что и у Чернышевского. Эксплуататорский строй, в их представлении, искажает естественные законы человеческой природы и человеческого общества. Самым пагубным для человечества является искажение законов, определяющих развитие человеческого труда, в частности, закона, утверждающего, что «единственный источник богатства – это труд» (1863, 3, I, 7).

Если все богатство человека добывается трудом, то оно должно принадлежать трудящимся. «Наука доказывает, что труд оплачивается не деньгами и не произвольной платой, а ценою его произведений. Вот почему, в общем итоге, рабочая плата должна равняться издержкам производства, то есть валовому расходу на действительную работу» (1865, 5, I, 194),– утверждает Н. В. Соколов. «Если *действительная* цена каждой вещи, каждого товара равняется издержкам производства, то и *настоящая* рабочая плата, которая в общей сложности определяет эти издержки, должна непременно равняться цене произведенных вещей и товаров разного рода. Другими словами: общий расход на плату рабочим и валовой приход общества должны взаимно уравниваться» (1865, 5, I, 195). Но этот закон нарушается при распределении богатств в угоду «частным интересам» капиталистов. Не будучи в силах раскрыть экономические законы капиталистического общества, увидеть тайну прибавочной стоимости, Со-

колов называет часть стоимости, отчуждаемой капиталистом у рабочего в свою пользу, «барышом». В его представлении капитализм – это «лихоимство».

На аналогичных позициях стоит и Писарев. Сформулировав и развернув на большом фактическом материале в «Очерках из истории труда» ту мысль, что все богатство человечества есть результат труда человека, что труд человеческий, развиваясь и совершенствуясь, создал все ценности на земле, Д. И. Писарев утверждает, что истоком всех «аномалий», противодействующих благосостоянию человечества, причиной страданий и бедствий является «присвоение чужого труда» (1863, 9, I, 131). «Лихоимство», «присвоение чужого труда» эксплуататорскими классами, по мнению журнала, – причина страданий, голода и нищеты трудящихся масс.

Журнал разоблачает попытки доморощенных и заграничных апологетов «лихоимства» скрыть истинные причины нищеты трудящихся классов. Особенно много внимания уделяет журнал тем буржуазным политэкономам, которые пытались доказать, что источник бедности людей лежит в их «животных инстинктах», в их чересчур быстром размножении. В работе «Очерки по истории труда» Писарев посвящает мальтузианству целую главу. Сославшись на то, что «года три тому назад общая несостоятельность и отдельные промахи этой теории были доказаны очень основательно Чернышевским в его примечаниях и дополнениях к переводу политической экономии Милля», Писарев не делает здесь того глубокого экономического исследования, к которому прибегал с целью опровержения теории Мальтуса Н. Г Чернышевский. Писарев ограничивается, по сути дела, популяризацией идей Чернышевского, но делает это в блестящей, доходчивой публицистической форме. Бедность народных масс – не результат перенаселения, а результат ненормальной организации труда, утверждает Писарев. Теория же Мальтуса – результат того, что «писатель, насилуя свою совесть и закрывая глаза и уши, старается во что бы то ни стало узаконить и оправдать некрасивые явления современной действительности» (1863, 9, I, 100).

Писарев дает капиталистическому государству «мудрый совет»: «Пусть государство само назначает, сколько новорожденных младенцев мужского пола мо-

гут со временем пользоваться своими половыми способностями; затем, пусть остальные будут лишены этих антипрогрессивных способностей... При таком образе действий государство всегда может сохранить контроль над размножением людей, а лорды и капиталисты, в пользу которых конфискуются половые способности пролетариев, могут с полной беспечностью наслаждаться своими замками, виллами, парками, миллионами, законными супругами и балетными танцовщицами» (1863, 9, I, 107).

Критика капитализма на страницах «Русского слова» показывает, что пресловутое «царство свободы», утвердившееся в европейских государствах в результате великих европейских революций XVII – XVIII веков, не было идеалом публицистов этого журнала. По их мнению, буржуазное «царство свободы» не освободило трудящегося человека, ибо «только сытые люди могут быть свободными гражданами». «Царство свободы» капитализма не несет с собой народу основы всех свобод – свободы экономической. Да и политическая свобода прославленной буржуазной демократии, по утверждению публицистов «Русского слова», в условиях капитализма была свободой для богатых, свободой для эксплуататоров, ибо в эксплуататорском обществе «государственные формы, политический смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения... Государства, все без исключения, порождены элементом присвоения...» (1863, 11–12, I, 57). На страницах журнала можно встретить блестящие образцы критики буржуазного парламентаризма, свидетельствующие об отчетливом понимании той истины, что в буржуазном мире «политические деятели играют второстепенную роль и во многом зависят от других вождей человечества – от биржевых игроков и банкиров» (1863, 7, III, 36).

Страстной верой в торжество социалистического идеала проникнут журнал. «Феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала», – звучат на страницах «Русского слова» пророческие слова Писарева. И на развалинах капиталистического общества, по глубокому убеждению Писарева и его товарищей, вырастет строй, с которым придет полное освобождение человечества, – социализм.

Отношение публицистов «Русского слова» к капитализму со всей очевидностью показывает, что деятели этого журнала по своему мировоззрению были убежденными социалистами. В развитии производительных сил и ликвидации присвоения чужого труда видели они путь решения вопроса об угнетенных классах общества.

Формирование социалистического мировоззрения у Писарева и его товарищей по журналу началось еще в 1861—1862 годах. Процесс этот был сложный, противоречивый, медленный.

Благосветловское «Русское слово» на первых порах своего существования главной своей задачей считало политическую, демократическую борьбу с самодержавием и крепостничеством. Проблемы социального, экономического устройства общества уходили для Благосветлова на второй план.

«...Для нас, русских, потребность в экономической науке еще только начинается,— писал он в декабре 1860 года.— Она получит право гражданства, кроме аудиторий и литературы, только по мере разработки гражданской жизни. Поэтому в настоящее время обязанность русского экономиста состоит не в изобретении теорий, тем более с аскетическими или немецкошкольными воззрениями, а в подготовке ими материалов и изыскании фактов, на которых построится наша будущая социальная наука» (1860, 12, II, 9).

Вдобавок крайние коммунистические и социалистические теории пугали Благосветлова: он видел в них угрозу свободе личности, индивидуальности. В ноябрьской книжке журнала за 1860 год Благосветлов печатает статью В. Г Авсеенко «Томас Мор», недоброжелательно оценивавшую социальную утопию Мора. «Наряду с небольшим количеством здоровых мыслей, взятых напрокат у классиков,— говорилось в статье,— в этом незаконном детище философии XVI века стоят самые грубые, самые безобразные принципы, соединяющие в себе все, что способно заковывать человеческое общество в самую узкую форму развития» (1860, 11, III, 46).

Самые серьезные возражения в утопии Томаса Мора встретило то, что, по мнению В. Г Авсеенко, сковывало развитие человеческой личности, сковывало

проявление его свободы. Вспомним слова Писарева в «Аполлонии Тианском» об «оскорбительных для личности человека утопиях коммунизма».

Однако, как мы уже убедились выше на примере Писарева, именно стремление к гармоническому и всестороннему развитию личности и приводило публицистов «Русского слова», отрицающих капитализм как идеал общественного устройства, к социализму. Они начинали понимать, что подлинный социализм и коммунизм вовсе не связаны с подавлением, принижением и нивелировкой личности, что, наоборот, социалистическое устройство общества создает реальные и необходимые условия для расцвета личности.

«В чем же заключается всемирная идея прогресса? — спрашивает Г. Благосветлов. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего решить следующую проблему: что составляет высшую и благороднейшую цель человеческой жизни вообще? Судя по стремлениям отдельного лица, поставленного в более нормальное положение, эта цель определяется полным гармоническим развитием всех данных ему сил, как физических, так и нравственных. Эта гармония есть непременное условие правильной деятельности человека как свободного и разумного существа» (1861, 5, III, 6).

Гармоническое развитие личности возможно лишь в гармонически организованном обществе. Как справедливо заключает Л. Плоткин, «под гармонически развитыми общественными отношениями Благосветлов понимает свободный труд, равномерное распределение полезной деятельности и равномерное распределение общественного богатства между всеми членами общества» [1].

Если в 1861—1862 годах социалистические тенденции «Русского слова» уже намечались, но еще не проявлялись с достаточной отчетливостью, то в 1863—1866 годах журнал, несмотря на жесточайшую цензуру, широко и последовательно проводит их. Этой задаче служила, в частности, смелая пропаганда журналом воззрений выдающихся социалистов-утопистов Запада. Немалое значение для этого имела программная статья Шелгунова «Рабочие ассоциации» — выступление, которое стоит на одном уровне

[1] Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение 60-х годов, с. 178.

с лучшими произведениями Чернышевского, посвященными пропаганде идей социализма.

О том, что статья эта имела программное для редакции «Русского слова» значение, можно судить хотя бы по той настойчивости, с какой редакция стремилась опубликовать ее вторую часть. Вторая часть статьи «Рабочие ассоциации» планировалась редакцией в мартовский номер журнала за 1865 год, но была запрещена цензурой, так как «в статье этой возвеличивается пролетариат и прославляются теории социалистов и коммунистов... Будущность Европы принадлежит пролетариату. Излагаются учения Бабефа, Оуэна, Фурье, Сен-Симона, но не в смысле здоровой критики, а с чувством благоговейного «поклонения»[1]. В мае 1865 года редакция, в лице официального редактора Благовещенского, представляет статью в цензуру вторично. После просмотра статьи цензор снова категорически выступает против опубликования ее, так как «означенная статья есть не иное что, как род апофеозы коммунизма и социализма, стремления их она возводит в сан абсолютных истин человеческого рода и, представляя их в популярной форме, явно имеет в виде не простой анализ, а распространение их и пропаганду»[2]. И тем не менее, несмотря на двойной запрет, при первой же возможности, появившейся в результате отмены предварительной цензуры, редакция напечатала эту «крамольную» статью, за что получила предупреждение.

Статья Шелгунова, излагающая историю возникновения и развития социалистических идей и пропагандирующая учения Бабефа, Оуэна, Фурье, Сен-Симона, представляет собой действительно подлинный апофеоз социализма.

Возникновение социализма Шелгунов относит ко времени Великой французской революции. Он подчеркивает неразрывную связь идей западноевропейского социализма с борьбой пролетариата за свое освобождение. Связь эту, как известно, не могли уловить и сами теоретики западноевропейского утопического социализма, наивно пытавшиеся освободить «все человечество». «Когда из революции возник новый политический порядок и прежде голодные бедняки оста-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 1, л. 135.
[2] Там же.

лись по-прежнему голодными», указывает Шелгунов, в Европе возникли «две системы, как представительницы двух крайних учений»: учение Мальтуса и учение Бабефа. Если учение Мальтуса служило интересам собственников, то учение Бабефа «проникло к рабочим и имело огромное влияние на последующие движения пролетария» (1865, 11, I, 5). Хотя дело Бабефа, говорит Шелгунов, проиграно и «самому Бабефу не пришлось пережить его (намек на разгром «заговора равных».— *Ф. К.*) ...историческое значение его не убавится, потому что оно уже принесло свои плоды в прежних движениях пролетариата. В этом смысле Бабефа обходить нельзя, если приходится говорить об историческом ходе попыток пролетария выйти из своего бедственного положения» (1865, 11, I, 8).

Дело Бабефа продолжили «мирные преобразователи» — Оуэн, Фурье и Сен-Симон. Шелгунов не называет себя последователем ни того, ни другого, ни третьего. В системе каждого из них он видит существенные недостатки. Особенно резко критикует Шелгунов Сен-Симона и совершенно уничтожает современных ему сен-симонистов и фурьеристов — жалких эпигонов великих утопистов прошлого.

Во второй части статьи «Рабочие ассоциации» Шелгунов критикует западноевропейский утопический социализм, в частности Фурье, за отрицание революционных методов установления социализма.

«...Фурье искал постоянно опоры богатых и сильных,— указывал здесь Шелгунов,— и Энглендер замечает совершенно справедливо, что доживи Фурье до 1848 года,— ему бы не отделаться дешево от рабочих за свои реакционные основания... Он ненавидел революции как в частности, так и вообще. Последователи Фурье заслужили упрек еще больший. Во времена Луи-Филиппа был основан ими орган «Démocratie paci fique», и этим названием фурьеристы хотели показать, что они не имеют ничего общего с *революционными демократами*» (1865, 11, I, 26). (Курсив мой.— *Ф. К.*).

Критикуя фурьеристов, Шелгунов противопоставил их «мирному демократизму» «революционный демократизм», впервые применив этот термин. Процитировав указанные места из статьи Шелгунова, цензор Скуратов в докладе С.-Петербургскому цензурному комитету заявлял: «Следовательно, справедливо можно сказать, что автор превзошел Фурье в коммунизме

и фурьеристов в революционном направлении, *мирные* демократы, очевидно, не удовлетворяют требованиям и целям «Русского слова»...»[1]

Но, несмотря на эту суровую критику, историческое значение идей Фурье и Сен-Симона Шелгунов ценил очень высоко. Он писал, что в эпоху, последовавшую за разгромом Французской революции, когда буржуазия втихомолку давила народ, «только один человек во всей Франции... понимал социальную проблему, и этот единственный человек, этот мечтатель, лучше всех понимавший реальность действительного положения страны, этот человек, лучше всех слышавший страшный крик, выходивший из глубины народа, — крик, к которому все были глухи, этот единственный человек между миллионами французов был Сен-Симон» (1865, 11, I, 30).

Сен-Симон употребил всю свою жизнь на то, чтобы доказать коротенькую мысль: «Задача нашего столетия в том, чтобы улучшить положение многочисленного бедного класса» (1865, 11, I, 36). В этих словах, говорит Шелгунов, вся сущность учения Сен-Симона. Средством к осуществлению этой цели Сен-Симон считал ассоциацию, — и в этом Шелгунов видит его огромную историческую заслугу.

Идея социалистической ассоциации, которая произведет переворот в общественных отношениях людей, является, по мысли Шелгунова, великой идеей. То, что подобный переворот неизбежен, у Шелгунова не вызывает сомнения. «Дело совсем не в том, что в мире произойдут непременно те самые перемены, которые выдумал Фурье, — говорит Шелгунов, — а в том, что перемены случатся неизбежно, и случатся они к лучшему и создадут на земле действительно высокое благополучие, о котором все предыдущие поколения не смели даже и мечтать» (1865, 11, I, 17).

Огромное значение для пропаганды идей социализма имело не только обращение журнала к идеям корифеев утопического социализма, но и последовательное освещение опыта работы промышленных рабочих ассоциаций, которые, встречая поддержку Маркса[2], ин-

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161.

[2] Оценку Марксом производственных рабочих ассоциаций в Европе в пятидесятых — шестидесятых годах см. в «Учредительном манифесте Международного товарищества рабочих». — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 9.

тенсивно возникали в Западной Европе в 60-х годах. Проблема борьбы европейского пролетариата за свое освобождение и вопрос о рабочих производственных ассоциациях на Западе встали во весь рост на страницах первых же номеров возобновленного журнала. Вопросам этим журнал уделял едва ли меньшее внимание, чем задаче пропаганды наследия великих социалистов прошлого – Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Вопрос о рабочих ассоциациях решался на страницах «Русского слова» всесторонне и глубоко.

Внимание и симпатии «Русского слова» привлекают те производственные ассоциации, которые были организованы рабочими и для рабочих. В июльской книжке журнала за 1863 год почти вся «Домашняя летопись», написанная Благосветловым, посвящена характеристике рабочих ассоциаций Западной Европы. Благосветлов подробно рассказывал об опыте организации знаменитого «Общества справедливых рочдельских пионеров» в Англии, «Рошдальской общины», как он называет ее. Это «лучшая ассоциация Англии». Она начала свою деятельность с объединения 12 голодающих ткачей, которые по подписке собрали деньги на мешок овсяной муки, а через 10 лет этот мешок превратился в миллион общинного капитала и в самое прочное торговое учреждение. «Можно верить, что это первое зерно, из которого впоследствии вырастет великолепный плод, горький для феодальной Англии, но сладкий для ее народа», – утверждает Благосветлов.

В июльской книжке «Русского слова» за 1864 год редакция печатает большую статью Л. Бранди (Л. Мечникова) «Письма об итальянских ремесленных братствах», повествующую о производственных ассоциациях итальянских рабочих и ремесленников. Деятельность этих ассоциаций «пока еще ребяческая», отмечает автор, однако именно в этом направлении надо искать разрешения великой исторической задачи – решения вопроса о голодных и раздетых людях. Журнал пропагандирует те рабочие ассоциации, которые действительно служат интересам трудящихся (В. И. Ленин: «...старые задачи кооперации – удовлетворение интересов трудящихся» [1]), которые на деле доказывают возможность существования труда без эксплуатации его капиталом и в то же время разоблачают

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 102.

псевдорабочие ассоциации Шульце – Делича и других, цель которых – увековечить эксплуатацию труда капиталом.

Обращение журнала к идеям и практике европейского утопического социализма не было самоцелью. Статьи, посвященные этой теме, выполняли свою воспитательную и пропагандистскую задачу. Пропагандируя достижение западноевропейского социализма, публицисты «Русского слова» продолжали дело Чернышевского и Добролюбова – дело воспитания прогрессивных сил русского общества в духе социалистических идей.

Однако можно ли отождествлять утопический социализм «Русского слова» с идеями Чернышевского или Герцена?

Хотя социалистические воззрения Писарева, Зайцева, Шелгунова и других формировались под непосредственным воздействием идей Чернышевского и Герцена, мировоззрение их в рассматриваемый нами период составляло специфическое направление в русском социализме 60-х годов.

Первое, что обращает на себя внимание при сопоставлении социалистической доктрины, развиваемой на страницах «Русского слова», и социалистического учения Чернышевского – это различный подход к вопросу об общине как специфической ячейке социализма в России. Как известно, *«вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни...»*[1] была характерна для «первых русских социалистов» и Чернышевского в том числе.

Эта вера отсутствует у публицистов «Русского слова», хотя для деятелей «Русского слова» нехарактерно и враждебное отношение к общине. Наряду с констатацией факта буржуазного расслоения сельской артели здесь можно встретить реплики в адрес общины совсем в духе Чернышевского. Так, в «Домашней летописи» октябрьской книжки журнала за 1863 год Г. Е. Благосветлов писал: «В массе русского народа общинное начало уцелело в его первобытном состоянии, и если б оно осмыслилось более развитыми индивидуальными силами и более здравыми экономическими понятиями, то никакая внешняя сила, откуда бы она ни давила на народ, не могла бы уничтожить это на-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 271.

чало. Проявления его, нет сомнения, всегда были слабы или, лучше сказать, оно всегда находилось в пассивном отношении к историческому движению, но признаки его жизни остались доселе. *И если б можно было на будущее время отстранить те посторонние влияния, которые мешают развитию общинного начала, то оно со временем удесятерило бы наши силы и разрешило бы множество теперь самых неразрешимых вопросов»* (1863, 10, III, 50). (Курсив мой. – *Ф. К.*)

Это высказывание «Русского слова» об общине помогает нам понять, почему вопрос о ней не поднимался на страницах журнала. Стремление к социалистическому пути развития через крестьянскую общину было неразрывно связано у Чернышевского с идеей скорой крестьянской революции. Разрабатывая вопрос об общине как объективной гарантии крестьянского социализма, Н. Г. Чернышевский подчеркивал, что он никогда не считал общинное устройство некоей «прирожденной особенностью русского или славянского племени». Он видел в общине исторический институт, характерный для всех народов, «близких к патриархальному быту», и утверждал, что институт этот существовал у всех народов, когда они «были близки к этому быту»[1]. Лишь «при дальнейшем историческом движении» в результате развития капитализма он уступил место «частной поземельной собственности».

Но, задавал вопрос Чернышевский, «каждое ли отдельное проявление общего процесса должно проходить в действительности все логические моменты с полной их силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой степени развития, совершенно минуя средние моменты»[2] – и отвечал в пользу последнего.

«Благоприятные обстоятельства», по мнению Н. Г Чернышевского, могут прервать постепенность процесса развития поземельных отношений и от низшей, патриархальной формы общинного землевладения, через насыщение общины техникой, помочь перейти к высшей его форме – к социалистической ассоциации. «Благоприятные обстоятельства» – это пре-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 362.
[2] Там же, с. 379.

жде всего крестьянская революция, которая передаст землю «миру» до того, как капиталистическое развитие России разрушит патриархальную общину так же, как это случилось в большинстве стран Европы.

Крестьянская община в русских условиях была гарантией социализма для Чернышевского лишь при условии скорой крестьянской революции, которая помешает стране пойти по буржуазному пути развития и направит ее по социалистическому пути. В возможность скорой крестьянской революции, в возможность скорого установления социализма не верили публицисты «Русского слова». Наоборот, Писарев, Шелгунов, Благосветлов, Соколов, Зайцев постоянно подчеркивали, что установление социализма на земле — дело далекого будущего, что вопрос этот, возможно, «будет решаться через полтораста лет после нашей смерти» (1863, 9, II, 69). Это объясняет многие особенности утопического социализма «Русского слова». Прежде всего, отсюда вытекала мысль о неизбежности капитализма, о неотвратимости рабочего вопроса в России. Глубоко проницательная, реалистическая мысль эта была не чем иным, как последовательным развитием идей Чернышевского в новых условиях.

Как известно, Н. Г Чернышевский первым разглядел буржуазный характер осуществляемых в России преобразований и высказал мысль, что, если не будет крестьянской революции, Россия может пойти по буржуазному пути [1].

Понимание неизбежности длительного периода капиталистического развития для России не могло не привести сотрудников «Русского слова», не видевших реальных залогов близкого революционного взрыва, к отказу от воззрений на общину как базу социалистического развития страны. В полном соответствии с учением Н. Г Чернышевского они полагали, что развитие капитализма в России, те самые «посторонние влияния», о которых писал Благосветлов, уничтожат общину в России точно так же, как и в европейских странах. Влиянию на общину этих «посторонних», буржуазных начал в журнале посвящено немало страниц. Публицисты «Русского слова» с большой проницательностью первыми среди русских демократов подметили едва намечающийся процесс разложе-

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 745.

ния общины в условиях пореформенной России. «Если артельность такое присущее качество русского человека, как уверяют многие русские писатели,— заявлял в 1863 году Шелгунов,— то отчего же мы не находим нигде артелей, кроме плотников? Отчего тюменскому сапожнику или рукавичнику и тюменской бабе, ткущей ковры, никогда и в голову не приходила мысль ни о какой артельности? Где эта артельность, когда на каждом шагу в крестьянском быту видишь эксплуатацию бедного богатым? Когда в каждой деревне есть свой богатырь, дающий за жидовские проценты своим односельчанам и деньги, и хлеб на посевы?» (1863, 2, I, 8.)

Еще более определенно выразил эту мысль Благосветлов, который писал в «Домашней летописи»: «...Ростовщики и кулаки составляют глубокую язву на теле нашего народа. Они обирают его круглый год, отбирают у него скот, хлеб, домашнюю утварь и даже будущие его посевы. Близко наблюдая за нуждами народа, как хищные птицы за добычей, хорошо зная его привычки и наклонности, они пользуются всем, чем можно воспользоваться в положении бедного человека... Кулачество существует у нас повсюду, во всех отраслях крестьянской деятельности во все времена года...» (1863, 9, III, 53—54). Наблюдая подобного рода процессы, отчаявшись дождаться революции, которая остановила бы их, публицисты «Русского слова» не могли делать ставку на общину и сняли этот вопрос с повестки дня. Идею общины, объединяющей людей на основе интуитивного «артельного духа» русских крестьян, они заменили идеей «промышленно-экономической ассоциации» (Шелгунов), в основе которой лежит высокая сознательность ее членов. В силу указанных причин они отказались от иллюзий о природном, «общинном» коллективизме русских крестьян как основе социализма в условиях России. Их глубокая убежденность в торжестве идеалов социализма питалась иллюзиями совсем другого порядка. И в этом — вторая примечательная особенность утопического социализма публицистов «Русского слова».

Не разделяя надежд на общину, но и не будучи научными социалистами, публицисты «Русского слова» обратились для теоретического обоснования своих социалистических идеалов к аргументации, типичной для западноевропейского утопического социализма и ухо-

дившей на второй план в учениях специфически русского, крестьянского «общинного» социализма.

Достаточно известен тот факт, что просветительское учение о «естественном человеке» и его взаимодействии со «средой», а также непосредственно вытекающее из него этическое учение утилитаризма («разумного эгоизма»), выступающие как важнейшие составные части материалистической философии французских просветителей XVIII века (Гольбаха, Гельвеция и других), явились одним из идейных источников западноевропейского утопического социализма. Именно эту сторону французской просветительской философии XVIII века имел в виду Маркс, когда отмечал, что направление французского материализма, берущее свое начало от Локка «...вливается непосредственно *в социализм* и *коммунизм*» [1].

«Не требуется большой остроты ума, — писал Маркс, — чтобы усмотреть необходимую связь между учением материализма о прирожденной склонности людей к добру и равенстве их умственных способностей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении промышленности, о правомерности наслаждения и т. д. — и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, ощущения и пр. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека. Если правильно понятый интерес составляет принцип всей морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами» [2].

Выявив связь между просветительским учением о человеке и утопическим социализмом и коммунизмом, Маркс показывает, как эта связь проявляла себя конкретно. «*Фурье*, — пишет он, — исходит непосредственно из учения французских материалистов. *Бабувисты* были грубыми, неразвитыми материалистами, но и развитой коммунизм ведет свое происхождение *непосредственно* от *французского материализма*. Материализм этот в той именно форме, какую ему придал

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 145.

[2] Там же.

Гельвеций, возвращается на свою родину, в *Англию.* Свою систему *правильно понятого интереса Бентам* основывает на морали Гельвеция, а *Оуэн,* исходя из системы *Бентама,* обосновывает английский коммунизм... Более научные французские коммунисты, *Дезами, Гей* и другие, развивают, подобно Оуэну, учение *материализма* как учение *реального гуманизма* и как *логическую основу коммунизма*» [1].

В. И. Ленин, конспектируя «Святое семейство», полностью согласился с мнением Маркса о связи французского материализма XVIII века с утопическим социализмом и коммунизмом. «Из посылок материализма, — записывает В. И. Ленин в «Философских тетрадях», — ничего нет легче вывести социализм (переустройство чувственного мира, — связать частный и общий интерес — разрушить антисоциальные Geburtsstätten преступления и пр.)» [2].

Итак, по Марксу и Ленину, учение о человеке и утилитаристская этика французских просветителей XVIII века явились теоретической основой западноевропейского утопического социализма и коммунизма.

Мы не всегда в полной мере оценивали достижения корифеев утопического социализма. Утилитаризм подчас рассматривали как философию Бентама, как апологию буржуазного делячества, забывая при этом, что учение утилитаризма, разработанное французскими просветителями и имевшее для своего времени огромный прогрессивный смысл, проделало в своем развитии двоякую эволюцию. Если в трудах Иеремии Бентама, этого «гения буржуазной глупости», который «...бездарно повторил то, что даровито излагали Гельвеций и другие французы XVIII века» [3], объективно революционное для XVIII века учение утилитаризма выродилось в средство идеологического обоснования и защиты буржуазных порядков, то в работах Оуэна и других классиков утопического социализма учение это претерпело совсем другое преломление и интерпретацию. Сосредоточив внимание на идее гармонии личного интереса с общественным, как обязательном условии человеческого счастья, Оуэн и другие утописты переосмыслили утилитаризм, превратив его

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 146.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 31—32.
[3] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 623—624.

в доктрину социализма. И хотя Оуэн в идее утилитаризма исходил, как это подчеркивал Маркс, из Бентама, между учением утилитаризма утопических социалистов и моралью «разумного эгоизма» Бентама и Милля, кроме терминологии и некоторых элементов формы, мало общего.

В России традицию западноевропейского утопического социализма продолжал Н. Г Чернышевский. Было бы ошибочным утверждать, что для социалистической доктрины Н. Г Чернышевского нехарактерно стремление обосновать идею социализма законами естественной природы человека, теорией «разумного эгоизма». Задаче этой посвящена работа Н. Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии», которую рассматривают обычно только как сугубо философскую, а не социологическую работу; много внимания Н. Г Чернышевский уделил этому вопросу в романе «Что делать?». В традициях просветительской философии Гольбаха, Гельвеция и других Чернышевский стремится перевести социологию на материалистические рельсы. Он берет за исходную точку своих социологических и этических теорий антропологическое учение о человеке — учение материалистическое, но ограниченное в своем материализме.

В силу ограниченности всей домарксовой философии Н. Г. Чернышевский взял за исходную точку своих социологических построений не производственные отношения, не человека как совокупность производственных отношений, но человека как часть природы. По его ошибочному убеждению, такой естественнонаучный подход к явлениям общественной, «нравственной», как он говорил, жизни людей дает твердые, научные критерии для исследования жизни общества, превращает социологию в науку. Учение социализма своим основанием «берет истины, открытые естественными науками посредством самого точного анализа фактов» [1], благодаря чему оно является непоколебимо достоверной наукой, «исключающей всякую шаткость убеждений». Естественные науки, говорит Чернышевский, доказали, что человек — это часть природы, чувствующая и мыслящая биологическая особь. Человек рождается, будучи наделен от природы спо-

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 253—254.

собностью чувствовать. Естественно, что, ощущая, он дифференцирует ощущения на приятные, от которых он получает наслаждение, и неприятные, причиняющие страдание, боль. И наконец, естественно, что, будучи натурой чувствующей, человек инстинктивно стремится к ощущениям приятным, к наслаждению, и избегает ощущений неприятных, страданий.

Каждый человек стремится к счастью, к тому, чтобы жизнь его была наслаждением, удовольствием. Однако человек, разумно стремящийся к своему счастью, понимает, что он не достигнет прочного, длительного счастья за счет счастья других. Таким образом, эгоизм, будучи проведен последовательно, оказывается неразрывно слитым с альтруизмом, ибо счастье отдельной личности возможно в условиях счастливого общества, а поэтому, если человек желает пользы себе, эта польза не должна идти во вред другим, должна быть добром.

Обществом, гармонически сочетающим интерес *личный и общественный,* является *социалистическое* общество; нормальным, не исказившим свою природу человеком является «разумный эгоист», себялюбие которого оборачивается осознанным альтруизмом, стремление «жить для себя» означает «жить для людей». Таков «естественный» строй общества, соответствующий «натуре» человека. Если подобный строй не наступил, если люди скорей злы, чем добры, и извлекают «приятность себе из нанесения неприятности другим», то в этом виновата не «натура человека», а обстоятельства, отношения, учреждения, исказившие ее. «При известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол» [1].

Так, исходя из антропологического учения о человеке, Н. Г. Чернышевский приходил к обоснованию необходимости изменения феодально-крепостнических, эксплуататорских порядков и установления социалистического общества.

Следует, однако, отметить, что эта сторона социалистической доктрины стояла для Чернышевского на втором плане. Она вышла на первый план в трудные для демократии пореформенные годы на страницах «Русского слова». Писарев, Зайцев, Благосветлов развили антропологическое учение о человеке и вытекаю-

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 264.

щую из него теорию «разумного эгоизма» в стройную систему утопического социализма. Обоснование идеи социализма аргументами из арсенала естественнонаучного материализма (учение о человеке, среде, «разумный эгоизм») стало у них главным.

Естественнонаучному обоснованию идеи социализма в той или иной степени посвящены многочисленные работы Писарева («Очерки из истории труда», «Нерешенный вопрос», «Новый тип», «Школа и жизнь» и т. д.), Зайцева (ряд статей в «Библиографическом листке»), Благосветлова («Образование человеческого характера») и других.

Исходя из материалистического учения о человеке, публицисты «Русского слова» так же, как и Чернышевский, утверждают следующее: «Все суждения и поступки человека находятся в прямой зависимости от двух различных родов ощущений, свойственных ему: от наслаждения и страдания. Человек считает и называет *злом все, что причиняет ему страдание;* а все, что доставляет ему наслаждение, он называет «добром» (1865, 5, II, 8). А так как не возникает сомнения в том, что человек может желать лишь то, что доставляет ему наслаждение или избавляет от страданий, то очевидно, что все люди по природе своей — эгоисты. «Единственная цель человека — счастье; человек только и стремится достичь благополучия, сохранить и увеличить его» (1865, 5, II, 9).

Публицисты «Русского слова» дают отпор мещанскому пониманию утилитаризма, попыткам обвинить теорию «разумного эгоизма» в «безнравственности». По мнению публицистов журнала, нападать на идею утилитаризма неразумно. Бессознательно она лежит в основе жизнедеятельности каждого человека и лишь в современном им обществе действительно приводит к «вечной войне всех против каждого и каждого против всех». Но причина этого не в «безнравственности» идеи утилитаризма, а в безнравственности «нынешнего общественного порядка» (1865, 5, II, 10).

В понятие «разумного эгоизма» публицисты «Русского слова» включают два момента. Во-первых, «благоразумный человек, в видах собственной выгоды, чаще предпочтет ближайшее страдание ближайшему удовольствию, если видит, что это страдание ведет в будущем к несравненно сильнейшему наслаждению, между тем как это удовольствие будет сопровождать-

ся в будущем тяжким страданием» (1865, 5, II, 14). Во-вторых, «разумный эгоист» не мыслит счастья каждой отдельной личности вне счастья общества; для него бороться за личное счастье – значит бороться за счастье общее. Когда утилитарист говорит, что цель его – достичь высочайшего личного счастья, противники его поднимают вопль, потому что, по их мнению, стремление к личному счастью непременно исключает собою общее благополучие, человек может не иначе искать своего личного счастья, как в ущерб счастью всех прочих» (1865, 5, II, 14). С точки зрения публицистов «Русского слова», подобный взгляд – «нелепость», оправдание или по крайней мере объяснение которой можно найти лишь «в настоящем положении общества».

Причина того, что в современном ему обществе личный интерес противоположен интересу общественному, в результате чего люди готовы в погоне за личным счастьем перегрызть друг другу горло, лежит не в натуре человека, но в условиях существования, которые искажают ее. Чтобы достичь идеала человеческого общества, соответствующего человеческой природе, чтобы создать гармоническое общество, где сочетаются, а не враждуют личный и общественный интересы, нужно изменить среду, социальные и политические условия жизни людей. К такому выводу приходят публицисты «Русского слова».

Теория утилитаризма, последовательно проводимая на страницах «Русского слова», заключала в себе огромный социальный смысл. Она служила теоретической основой идеи социализма, звала на революционное изменение общественных условий. Это был не тот утилитаризм, который проповедовали Бентам и Милль. Это была теория, поставленная на службу народу, теория, воспитывающая борцов за социализм. Идейные истоки теории «разумного эгоизма» публицистов «Русского слова» надо искать не в морали Бентама и Милля, а в философии Гельвеция, в учении Оуэна, если говорить о Западе, в трудах Чернышевского, если говорить о России.

Не случайно в развернутой рецензии на работу Оуэна «Образование человеческого характера» Благосветлов характеризует великого английского утописта как человека, который хотел «построить личное счастье каждого на общественном благоденствии, то

есть дать такое устройство обществу, чтобы все и каждый пользовались одинаковым счастьем». В основании системы Оуэна, отмечает Благосветлов, «лежал принцип полной гармонии между общественной и индивидуальной жизнью человека». Этот принцип, говорит Оуэн, заключается в стремлении к личному счастью. Он ясно показывает, что личного счастья можно достигнуть, только способствуя счастью всего общества... «Из этого социального принципа вытекали все мнения Оуэна, и к нему были направлены все его практические цели, так что утилитарная теория была верховным стимулом всей его деятельности» (1865, 1, II, 38).

Принцип утилитаризма не только не противоречил, но был особенностью большинства систем утопического социализма, в том числе и системы утопического социализма, разрабатываемой Чернышевским. Только, в отличие от Чернышевского, публицисты «Русского слова» проводили принцип утилитаризма более последовательно и прямолинейно. Именно эта особенность мировоззрения сотрудников «Русского слова» обусловила своеобразие их выступлений, которые наполнены рассуждениями о личном и общественном интересе, об экономии умственных сил и прочих компонентах теории «разумного эгоизма». Это же определило и некоторые особенности тактики освободительной борьбы, разрабатываемой журналом «Русское слово» в 1863—1866 годах, в частности то преувеличенное внимание к распространению естествознания, которое характерно для «Русского слова» этих лет. Естествознание, по мнению Писарева, — не только могучий рычаг для развития производительных сил страны, но и верное средство для воспитания «мыслящих реалистов» — демократов и убежденных социалистов-утилитаристов.

3

Социалистическая доктрина «Русского слова» — оригинальное явление в утопическом социализме 60-х годов. Ее нельзя отождествить ни с идеями Чернышевского, ни с идеями Герцена. К какому же типу утопического социализма принадлежит она? Имеет ли она нечто общее с классическим русским утопическим социализмом?

Как известно, русский домарксовый утопический социализм был крестьянским, народническим социализмом. Вот почему, размышляя об особенностях утопического социализма «Русского слова», невозможно обойти проблему: «Русское слово» и «народничество».

Четкое и ясное определение «народничества» дал в своих трудах В. И. Ленин. Но, как справедливо отмечал Б. П. Козьмин, «В. И. Ленин, много писавший о народничестве, не всегда употреблял этот термин в одном и том же смысле»[1].

Нередко Ленин использовал его локально для обозначения связанного с «Землей и волей» и «Народной волей» политического течения в революционном движении 70-х годов.

В статье «От какого наследства мы отказываемся?» и в ряде других работ он определял этим термином легальных народнических реформистов 90-х годов.

И наконец, Ленин употреблял термин «народничество» в *широком историко-философском* смысле — как определение целого течения русской общественной мысли второй половины XIX века. «Народничество есть идеология (система взглядов) крестьянской демократии в России»[2].

В работах, посвященных истории русского освободительного движения, далеко не всегда учитывалась специфика употребления Лениным термина «народничество». Этим объясняется столь широкая распространенность той точки зрения, согласно которой «Отечественные записки» Некрасова и «Дело» Благосветлова — органы демократические, но не народнические, и Салтыков-Щедрин 70-х годов — революционный демократ, но не народник, хотя Ленин называл Щедрина писателем «старой народнической демократии».

Не случайно и то недоумение, которое нередко вызывает сама попытка поставить проблему: «Русское слово» и «народничество» или «Современник» и «народничество». А между тем, не решив этой проблемы, нельзя по-настоящему понять ни «Современник», ни «Русское слово», ибо, как указывает Ленин в работе «Аграрный вопрос в России к концу XIX века», начиная со второй половины прошлого столетия в Рос-

---

[1] Козьмин Б. «Народники» и «народничество». — Вопросы литературы, 1957, № 9, с. 132.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 304.

сии можно проследить два основных направления нашей общественной мысли — народничество и марксизм[1].

Мысль о периоде освободительной борьбы 1861—1895 годов как эпохе по преимуществу народнической Ленин настоятельно проводил в ряде своих работ. Определение народничества как системы взглядов крестьянской демократии в России предполагает именно такую постановку вопроса. 1861—1895 годы — это период, когда крестьянская демократия была главной силой освободительного движения в России. Ленин указывал: «Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского»[2]. В статье «Памяти Герцена» он характеризует Герцена как революционного демократа и в то же время считает его «основоположником «русского» социализма, «народничества»[3]. В статье «Из прошлого рабочей печати в России», дав классическую периодизацию русского освободительного движения, Ленин характеризовал период 1861—1895 годов следующим образом: «Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности. Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало народничество. Оно никогда не могло, как общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и от анархизма слева. Но Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом»[4].

Итак, Ленин не противопоставляет народничество в широком смысле этого слова революционному демократизму или просветительству, не считает эти явления взаимоисключающими (Герцен, Чернышевский, по Ленину, были просветителями, революционными демократами и вместе с тем народниками).

В историческом развитии народничества Ленин различает две тенденции (либеральную и демократиче-

---

[1] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 81.
[2] Там же, т. 22, с. 304.
[3] Там же, т. 21, с. 257.
[4] Там же, т. 25, с. 94.

скую) и два периода: период «старого русского народничества» (60—70-е годы), представителями которого Ленин называет Герцена, Чернышевского, Щедрина, «землевольцев», «народовольцев», и период перерождения «...старого русского, классического, революционного народничества, которое неуклонно происходит с восьмидесятых годов...»[1]. Народничество 80—90-х годов и сопоставлял Ленин с просветительством 60-х годов в работе «От какого наследства мы отказываемся?». Отчетливо подчеркивал Ленин и разницу между народниками-шестидесятниками и народниками-семидесятниками, указывая, что в теоретическом отношении вторые сделали шаг назад по сравнению с первыми.

Подчеркивая неоднородность народничества как господствующего направления в русской общественной мысли 1861—1895 годов, Ленин указывал, вместе с тем, и на то общее, что объединяло эти разнородные направления общественной мысли в одно течение народничества в широком смысле этого слова. Общим было прежде всего то, что народничество являлось «идеологией (системой взглядов) крестьянской демократии в России».

В чем же суть этой идеологии, в чем отличие народничества от просветительства и революционного демократизма?

В статье «Демократия и народничество в Китае» Ленин пишет о Сунь Ятсене как о революционном демократе и в то же время народнике: «...эта идеология боевого демократизма сочетается у китайского народника, во-первых, с социалистическими мечтами, с надеждой миновать путь капитализма для Китая, предупредить капитализм, а во-вторых, с планом и проповедью радикальной аграрной реформы. Именно эти два последние идейно-политические течения и представляют тот элемент, который образует *народничество* в специфическом значении этого понятия, т. е. в отличие от демократизма, в добавление к демократизму»[2].

В постановке вопроса о капитализме и заключалось специфическое отличие народничества от демократизма в дополнение к демократизму. Решением по-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 8, с. 77.
[2] Там же, т. 21, с. 403.

ставленного народничеством вопроса о капитализме явилась предложенная Герценом и Чернышевским система русского крестьянского утопического социализма, особенностью которого была вера в возможность иного, то есть некапиталистического пути для России, вера в то, что Россия может учесть ошибки Запада и избегнуть их. Гарантией этому, по мнению Герцена и Чернышевского, была в первую очередь крестьянская община, эта естественная ячейка социализма, а также коллективистский дух русского народа, который поможет ему в случае крестьянской революции избежать пути капитализма.

Недаром Ленин, характеризуя Герцена как основоположника народничества, определял в двух словах народничество как «русский» социализм»[1].

Итак, специфической особенностью русского народничества как идеологии крестьянской демократии является, по Ленину, вера в «иной», то есть некапиталистический, путь для России, «русский», «крестьянский» социализм.

Публицисты же «Русского слова» не считали общину залогом социализма. Более того, они отдавали себе отчет в том, что Россия вступает на путь капиталистического развития. Они видели в капитализме начало прогрессивное в сравнении с феодализмом и крепостничеством. Что же здесь специфически народнического? По-видимому, ничего,— такой ответ, казалось бы, напрашивается сам собой.

Но вспомним: ведь и Щедрин не считал общину залогом социализма, видел капиталистическое развитие пореформенной России и считал капитализм относительно прогрессивным в сравнении с крепостничеством. Почему же Ленин называл Щедрина писателем «старой народнической демократии»? Более того, Чернышевский утверждал, что в результате реформы 1861 года Россия, если в ней не произойдет революции, пойдет буржуазным путем и лишится общинной гарантии социализма. Он первый среди демократов-шестидесятников провозгласил прогрессивность капитализма в сравнении с крепостничеством. Да и среди народников-семидесятников были люди, отдававшие себе отчет в том, что Россия идет капиталистическим путем, и понимавшие относительную прогрессивность

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257.

капитализма в сравнении с феодализмом. Такими людьми были, в частности, бывшие сотрудники «Русского слова» Ткачев, Зайцев и Соколов.

По мысли Ленина, отсутствие культа общины, признание пореформенного развития капитализма и относительной прогрессивности его в сравнении с крепостничеством еще не противоречит народничеству,— ибо «...сущность народничества лежит глубже: не в учении о самобытности и не в славянофильстве, а в представительстве интересов и идей русского мелкого производителя. Поэтому среди народников и были писатели (и это были лучшие из народников), которые... не имели ничего общего с славянофильством, которые даже признавали, что Россия вступила на тот же путь, что и Западная Европа»[1].

Этот максимально глубокий взгляд на народничество Ленин проводил в ряде своих работ.

Социалистическая утопия как идеологическое оформление и выражение демократических интересов крестьянских масс, вера в возможность «крестьянского социализма», социализма, который рождается не из борьбы пролетариата, но из демократического движения крестьянских масс,— вот отличительная особенность народничества, по Ленину.

Утопический социализм Оуэна, Фурье и других был незрелым, неосознанным выражением интересов нарождающегося пролетариата в эпоху, когда «незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории»[2]. Утопический же социализм Герцена, Чернышевского и других (и в этом самая суть «народничества» в широком смысле этого слова) был выражением интересов русского трудового крестьянства, «русского мелкого производителя».

«...Сущность народничества: в протесте против крепостничества... и буржуазности... в России *с точки зрения крестьянина, мелкого производителя*»[3],— раскрывал Ленин эту мысль.

Конечная суть народничества — не в общине. Эта суть — в стремлении крестьянских масс, выступающих против феодальной эксплуатации, уничтожить всякую

---

[1] Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 422.
[2] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 194.
[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 355.

эксплуатацию вообще, в превратном идеологическом осмыслении задач борьбы с крепостничеством и феодализмом как конечной борьбы с эксплуатацией вообще.

Герцен, Чернышевский и их последователи, убежденные революционные демократы и просветители, явились основоположниками народничества именно потому, что выступали в качестве убежденных социалистов. Однако их социализм был формой утопического мелкобуржуазного социализма — русским народническим социализмом — и являлся исторической иллюзией, прикрывавшей буржуазно-демократическую суть народничества. Ленин считал, что народничество может быть характерно для многих стран Азии, совершающих буржуазные революции в условиях развитых противоречий капитализма. В силу того, что на Западе, указывал он, «на очереди стоит уже освобождение *от* буржуазии, то есть социализм... неизбежно возникает сочувствие... демократов социализму, их *субъективный* социализм» [1].

Истоки народничества, по Ленину, в том, что в России второй половины XIX века было «две буржуазии». Одна — «очень узкий слой зрелых и перезрелых капиталистов» — осмысляла свои задачи в форме утопий либерализма. «Другая буржуазия, это — очень широкий слой совсем незрелых, но энергично стремящихся созреть мелких и частью средних хозяев, преимущественно крестьян...» «Вся история политического освобождения России есть история борьбы первой и второй буржуазной тенденции» [2]. Народничество 60-х годов и было своеобразным идеологическим выражением «второй буржуазной тенденции» в русском освободительном движении, тенденции, которая объективно стремилась направить развитие капитализма в России по революционному, «американскому», пути в эпоху, когда капитализм уже выявил свою эксплуататорскую суть.

В конспекте лекций по аграрному вопросу Ленин давал следующее, наиболее полное и глубокое определение народничества: «Это целое миросоз[ерцание], нач[иная] от Герцена и кончая Н.— оном. Громадная полоса общ[ест]в[енной] мысли.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 403.
[2] Там же, с. 241.

Ее ист[орическое] знач[ение]: *идеализация* б[орь]бы с креп[остничеством]».

И далее раскрывал, что в доктрину народничества входят «элем[енты] *демокр[атии]* + утоп[ический] с[оциализ]м + м[елко]б[уржуа]з[ные] реф[ормы] + реакц[ионность] м[елкого] б[у]ржуа»[1].

Как справедливо указывает Козьмин, различное сочетание этих четырех элементов давало различные течения и направления в русском народничестве[2]. В Чернышевском, основоположнике народничества, утопический социалист, мечтающий о переходе к социализму через крестьянскую общину, соединялся, по словам Ленина, с революционным демократом, носителем идей крестьянской революции. Утопический социализм Чернышевского был типичным русским народническим социализмом со всеми специфическими его особенностями.

Если взять за основу ленинское понимание народничества («идеализация борьбы с крепостничеством»), то утопический социализм «Русского слова» при всех его особенностях в принципе не может быть противопоставлен миросозерцанию русского народничества.

Общеизвестно, что главной своей задачей публицисты «Русского слова» считали решение вопроса о «голодных и раздетых людях».

Голодным и раздетым сословием в России, в представлении шестидесятников, было крестьянство, «народ», куда безоговорочно зачислялись и «работники», как вчерашние оторванные от земли крестьяне. И хотя публицисты «Русского слова» высказывали догадки, что в России неизбежно развитие пролетариата, они не поднялись до понимания роли этого зарождающегося класса для судеб России, не отделяли его принципиально от крестьянства, не связывали с этим классом никаких особых надежд.

Путь к защите интересов крестьянства они видели в уничтожении самодержавия и крепостничества, в коренном изменении феодально-крепостнических порядков. Они выступали как убежденные демократы-просветители, как передовой отряд просветительства 60-х годов.

---

[1] Ленинский сборник XIX, с. 237.

[2] См.: Козьмин Б. П. Русская секция Первого Интернационала. М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 19.

Но свою борьбу с крепостничеством в условиях, когда явственно обнаружились недостатки строя, сменяющего феодализм, они осмыслили как борьбу антикапиталистическую. Они дали глубокую для своего времени критику капитализма и провозгласили себя убежденными социалистами. Несмотря на особенности, утопический социализм «Русского слова» был иллюзорной формой выражения демократических антикрепостнических идеалов.

Будучи весьма оригинальным по форме явлением в русском освободительном движении, он входил в русло народнического, крестьянского социализма, и даже такие специфические особенности, как отсутствие культа общины, признание пореформенного развития капитализма, не противоречат этому. «Русское слово» выражало «интересы и идеи русского мелкого производителя», интересы русского трудового крестьянства. Его социализм при всех особенностях был субъективной формой выражения объективных стремлений крестьянства к «американскому», революционному пути развития капитализма.

Несмотря на свои догадки о том, что «Россия вступила на тот же путь, что и Западная Европа», публицисты «Русского слова», в силу объективных исторических условий, не поднялись и не могли подняться выше Чернышевского. Они не смогли связать идею социализма с борьбой пролетариата за свое освобождение. Если они и выражали сомнения в возможности скорой крестьянской революции, то отнюдь не потому, что с их точки зрения крестьянство как класс было не способно на социалистическую революцию. Благодаря этим сомнениям, а не в силу того, что они были более прозорливы исторически, чем Чернышевский, на страницах «Русского слова» и появилась догадка о том, что Россия пойдет капиталистическим путем.

Однако эта догадка, так же как и отсутствие культа общины, не должна заслонять главного: страстного желания публицистами «Русского слова» социалистического переустройства России, мечты об ином, некапиталистическом пути развития страны. Они были убежденными крестьянскими социалистами, хотя и одевали свою утопию в несколько иные одежды, чем «Современник». Формы «крестьянского», «народнического» социализма были разнообразны. Выше уже

шла речь о Щедрине, который также признавал тот факт, что Россия делает определенные шаги по капиталистическому пути развития, и столь же отрицательно относился к общине, что не мешало ему оставаться, по характеристике Ленина, писателем «старой народнической демократии». Правомочно ли выводить за пределы «народнической демократии» утопистов «Русского слова»?

К журналу «Русское слово», на наш взгляд, также применима та оценка русского народничества, которую дал Ленин в статье «Две утопии».

Напомнив замечательное изречение Энгельса о том, что «ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле», Ленин писал: «Глубокое положение Энгельса необходимо помнить при оценке современной народнической или трудовической утопии в России (может быть, не в одной России, а в целом ряде азиатских государств, переживающих в XX веке буржуазные революции).

Ложный в формально-экономическом смысле, народнический *демократизм* есть истина в *историческом* смысле; ложный в качестве социалистической утопии *этот* демократизм есть *истина* той своеобразной исторически-обусловленной демократической борьбы крестьянских масс, которая составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и условия его полной победы»[1].

Итак, мы выяснили, что журнал «Русское слово» был органом крестьянской, народнической демократии. Но и крестьянская, народническая демократия, как известно, не была единой и заключала в себе различные направления. Общеизвестно, что была революционная крестьянская демократия, революционная народническая демократия (Чернышевский, революционеры-семидесятники) и нереволюционная крестьянская демократия (Елисеев, Михайловский 70-х годов).

Нельзя считать единым и демократическое просветительство 60-х годов (в противоположность либеральному). В него входили и революционные демократы-просветители, которые представляли вершину просветительства (Чернышевский), и демократы-просветители (например, плеяда демократически на-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 120.

строенных беллетристов-шестидесятников типа Левитова и др.).

Великим достижением Н. Г Чернышевского было то, что утопический социализм в его мировоззрении был неразрывно слит с революционным демократизмом, с идеей крестьянской революции, составляющей в революционном демократизме его суть. Чернышевский был не просто просветителем, не просто народником, но и революционным просветителем, революционным народником, — он был революционным демократом.

Идея революции как обязательного условия социалистического изменения действительности ставила Чернышевского на голову выше великих представителей европейского утопического социализма, питавших иллюзии о переходе к новому обществу путем пропаганды среди эксплуататорских классов, мирным путем.

Сохранил ли журнал «Русское слово» верность этой замечательной традиции Чернышевского в период трудных 1863—1866 годов? Был ли он органом революционного просветительства, революционного народничества, был ли он органом революционной демократии в условиях пореформенной реакции и спада революционной волны?

Чтобы дать ответ на эти вопросы, нужно выяснить, какие пути предлагал журнал «Русское слово» 1863—1866 годов для осуществления своих просветительских и социалистических идеалов, как относился он к «идее крестьянской революции, к идее борьбы масс за свержение всех старых властей».

Глава IV

ДВА ПУТИ

1

Вопрос о крестьянской революции был трудным для деятелей освободительного движения 1863—1866 годов.

Это было время резкого спада революционной активности масс. Если в 1861 году правительственными

органами были зарегистрированы волнения крестьян в 1276 имениях, то в 1862 году, по данным III Отделения, волнения происходили в 400, в 1863 году – в 186, в 1864 году – в 75, в 1865 году – в 93 и в 1866 году – в 70 имениях.

Столь резкое изменение исторической обстановки не могло не породить растерянности, горечи, уныния. А. А. Слепцов, один из лидеров «Земли и воли», после краха надежд на крестьянское восстание весной 1863 года пишет Огареву: «Кровавые перевороты были бесплодны, если мысль не дозрела, а если мысль дозрела, то не нужно было кровавых переворотов»[1]. Аналогичный кризис переживал в 1863–1866 годах Н. А. Серно-Соловьевич. Отчаявшись в мечте о революции, он обращался к Александру II с пространными трактатами, наивно пытаясь убедить его пойти на радикальные, по сути дела – революционные реформы. Н. Г Чернышевский также переживал спад крестьянской революции в 1863–1866 годах исключительно тяжело.

Резкие формулировки Волгина, полные тоски и горечи, которыми Чернышевский характеризовал в «Прологе» отсутствие революционности в массах русского народа, были связаны именно с поражением первого демократического натиска и спадом крестьянского движения в период второй половины 60-х годов.

В одном из первых номеров возобновленного «Русского слова» говорится о том же: о гнусной черте «рабьего чувства», «рабской преданности» своим господам, воспитанной в русском народе веками крепостного права. «Мы знаем, что известные причины влекут за собой известные следствия, и поэтому не можем не понимать этого. Мы знаем, что крепостное право между прочими прелестями должно было породить и эту. Но если рабское чувство отвратительно само по себе, то оно делается еще отвратительнее, когда стараются возвести его в идеал добродетели...» (1863, 3, II, 40), – обрушивался журнал на славянофилов, пытавшихся опоэтизировать эту унизительную черту народного духа. Для публицистов «Русского слова», так же, как и для Чернышевского, эта национальная черта была самой ненавистной.

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, с. 91.

Резкий спад крестьянской революционности в 1863—1866 годах был причиной не только горечи, тоски. Этот объективный исторический факт не мог не толкать шестидесятников на глубокое теоретическое осмысление причин краха революционных надежд, на поиски новых путей и форм освободительной борьбы, соответствующих новой исторической обстановке.

«Мы, революционеры,— отмечал Ленин,— далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов. Мы знаем, что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (по-видимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы производства, *когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования*»[1]. (Курсив мой.— *Ф. К.*)

Таким периодом подведения итогов прошлому, построения новых систем и новых методов исследования явились для журнала «Русское слово» 1863—1866 годы.

Напряженные идейные и теоретические искания «Русского слова» в 1863—1866 годах невольно заставляют вспомнить знаменитые слова Ленина из работы «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»[2].

Публицисты «Русского слова» страстно искали

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 331.
[2] Там же, т. 41, с. 7—8.

правильную революционную теорию, пытались осмыслить причины спада революционной волны, нащупать направление деятельности русского освободительного движения в новых исторических условиях. Поиски эти затруднялись ограниченностью их социологических позиций.

Исходным и определяющим тезисом их философии истории являлось классическое для домарксовой социологии положение: «Разум правит миром». Но если Гегель понимал под «разумом» некую абсолютную идею, то шестидесятники-разночинцы вслед за европейскими буржуазными социологами выдвигали в качестве демиурга истории *науку, знание.* Эта точка зрения характерна для всех русских крестьянских демократов 60-х годов. Ее отчетливо выразил Н. Г. Чернышевский, который в работе «Лессинг» писал: «Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знание — основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни» [1].

Итак, знание — движущая сила истории. Таково исходное положение социологии демократов-шестидесятников. Но этот идеалистический тезис, будучи последовательно развитым, вставал в противоречие с идеей революционного изменения действительности, ибо если знание — основная движущая сила прогресса, то к чему кровавые революции, материальные перевороты? Их с успехом может заменить революция идей!

Демократы-шестидесятники предпринимали немалые усилия, чтобы вырваться из этого противоречия. Сама практика революционной борьбы толкала их к материалистическому обоснованию революционно-демократических и социалистических идей.

Для материалистического обоснования идеи социализма они пытались использовать объективные закономерности биологии и естествознания, идеалистически перенося законы развития человеческой особи на все общество; они переосмыслили заимствованную у французских просветителей теорию влияния среды на человека, теории утилитаризма и «разумного эгоизма», чтобы материалистически доказать закономерность наступления «золотого века» на земле. Для эко-

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 6.

номического обоснования идеи русского крестьянского социализма они создали теорию общины.

Обосновывая революционную практику изменения самодержавно-крепостнической действительности России, они приблизились к пониманию истинной роли материального фактора в развитии общества, высказали гениальные догадки о роли классовой борьбы и революции в истории человечества. Ярким примером стихийного тяготения публицистов «Русского слова» к материалистическому объяснению истории может служить тот примечательный факт, что на страницах именно этого журнала, в примечаниях к «Библиографическому листку» Ткачева, было сочувственно процитировано «Предисловие к «Критике политической экономии» Маркса — то место из него, которое является классическим выражением самой сути историко-материалистической доктрины Маркса.

«Передовые европейские социологи и политэкономы,— отмечает журнал,— пришли к тому выводу, что все явления — юридические и политические — представляют не более как прямые юридические последствия явлений жизни экономической... Взгляд этот не нов... Еще в 1859 году известный немецкий изгнанник Карл Маркс формулировал его самым точным и определенным образом... Вот его подлинные слова: «Вся совокупность отношений, касательно производства богатства... образует экономическую структуру общества, основной базис, на котором возвышаются в виде надстроек политические и юридические отношения». Почти то же повторяется и в другом месте его книги. «Исследования мои,— говорит он,— привели меня к тому заключению, что правовые отношения, равно как и формы государственного быта, не могут быть понимаемы сами по себе, еще менее из так называемого всеобщего развития человеческого духа, но что они коренятся скорее в материальных, жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру французских и английских мыслителей XVIII века, обозначал именем «гражданского общества», и что анатомию этого общества следует искать в политической экономии» (1865, 12, III, 30—31). Не следует переоценивать этот факт и думать, что публицисты «Русского слова» уяснили суть историко-материалистического учения Маркса. Однако примечательно, что учение это вызвало в них живейшие симпатии. Важен наконец

сам факт: журнал «Русское слово» был первым русским журналом, который познакомил русскую публику с именем Маркса и его работами.

По сути своей материализм их в области истории оставался перелицованным идеализмом и представлял собой крайне противоречивую социологическую систему, основная, определяющая мысль которой находилась в неразрешимом противоречии с отдельными историко-материалистическими догадками («Зародышем исторического материализма»[1] называл эти догадки Ленин).

Идеалистическая философия истории русской революционной демократии, а не позитивистские построения Бокля и Конта, и была той исходной социологической позицией, с которой публицисты «Русского слова» пытались решать крайне сложные проблемы стратегии и тактики освободительной борьбы в условиях спада революционности крестьянства в 1863—1866 годах[2].

2

Центральной и самой сложной проблемой стратегии и тактики освободительной борьбы в условиях 1863—1866 годов был вопрос о крестьянской революции. Вопросу этому на страницах возобновленного «Русского слова» уделялось огромное внимание. В силу цензурных препон, он по-прежнему рассматривался в основном на материале европейских революций. Трудно встретить номер журнала, где бы не анализировались события той или иной европейской или аме-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 53.

[2] Вульгарно-материалистическая ограниченность философского мировоззрения публицистов «Русского слова» действительно приводила их к колебаниям в сторону позитивизма. Влияния позитивизма особенно явственно заметны у Благосветлова. Но в целом их позиция резко отлична от социологии Бокля и Конта. Принимая у позитивистов идею законосообразности исторического процесса и мысль о знании как движущей силе истории,— идеи, присущие и социологии революционной демократии, Писарев, Благосветлов и другие резко критиковали позитивистов за преувеличение роли природных условий, за игнорирование материальных, социальных факторов, за их социальную программу. См.: Благосветлов Г. Историческая школа Бокля (1863, 1—3); Писарев Д. Исторические идеи Огюста Конта (1863, 9—10).

риканской революции, где бы не шла речь о том или ином революционном деятеле Европы или Америки. Без преувеличения можно сказать, что ни одно крупное революционное движение народов Европы и Америки, за редкими исключениями, не осталось без освещения и объяснения на страницах «Русского слова» 1863—1866 годов.

Особенно большое внимание публицисты «Русского слова» продолжают уделять трем великим буржуазным революциям: Французской революции XVIII века, Английской революции XVII века, Реформации и Крестьянской войне в Германии XVI века.

В начале 1864 года в «Русском слове» публикуется работа Писарева «Исторические эскизы», полностью посвященная событиям Великой французской революции. Статья эта имела принципиальное значение и, конечно же, не была академической по своему характеру. Анализ истории Французской революции,— условий, которые ее вызвали, причин, которые помешали французскому народу воспользоваться плодами ее победы,— имел прямое отношение к событиям русской действительности 60-х годов. Писарев сам раскрывает перед читателем истинный смысл своего обращения к истории: «Только история знакомит нас с массами; только вековые опыты прошедшего дают нам возможность понять, как эти массы чувствуют и мыслят, как они изменяются, при каких условиях развиваются их умственные и экономические силы, в каких формах выражаются их страсти и до каких пределов доходит их терпение» (1864, 1, I, 4). Все эти вопросы, и особенно последний, были самыми волнующими вопросами для русского освободительного движения 1863—1866 годов.

Это высказывание помогает понять замысел Писарева написать серию статей, посвященных истории Франции XV—XVIII веков. Он писал об этом Благосветлову в письме от 8 февраля 1865 года. Письмо это до сих пор не привлекало внимания исследователей, а между тем из него явствует, что тот ряд статей, посвященных истории Европы, который был напечатан Писаревым в «Русском слове», «Луче» и «Отечественных записках», кончая работой «Французский крестьянин в 1789 году»,— объединялся единым замыслом: раскрыть современному читателю сущность событий революции 1789—1793 годов. Отметив, что «ис-

тория революции будет гораздо понятнее, если старый режим будет освещен со всех сторон», Писарев сообщает здесь Благосветлову: «В антрактах между срочными работами я буду писать дальше тот ряд исторических статей, который я начал в прошлом году. Жиронду я не могу начать раньше, чем окончу этот ряд статей, а то выйдет чепуха»[1].

Внимание публицистов «Русского слова» не ограничивалось историей Французской революции. Большой интерес они проявляли к событиям Реформации и Крестьянской войны 1525 года в Германии.

О том интересе, который проявляли публицисты «Русского слова» к Реформации и Крестьянской войне в Германии, можно судить хотя бы по тому, что Зайцев перевел, а журнал «Русское слово» отдельно издал труд немецкого историка и общественного деятеля революционной Германии 1848 года В. Циммермана, являющийся классическим трудом по истории Крестьянской войны в Германии. Ф. Энгельс в предисловии к «Крестьянской войне в Германии» так писал о нем: «Его книга... все еще является лучшей сводкой фактических данных. К тому же старый Циммерман относился с любовью к своему предмету. Тот самый революционный инстинкт, который заставил его повсюду в этой книге выступать сторонником угнетенного класса, сделал его позже одним из лучших представителей крайней левой во Франкфурте»[2] (то есть во франкфуртском парламенте.— *Ф. К.*).

В восьмой книжке журнала за 1865 год Зайцев отрецензировал эту книгу. Еще до выхода в свет перевода книги Циммермана Н. Шелгунов дал глубокую оценку событиям Реформации и Крестьянской войны в Германии в работе «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» (1864, 5). Эта статья Шелгунова послужила поводом для обширного доклада, сделанного в Совете МВД по делам книгопечатания членом совета Пржецлавским на тему: «Какой должен быть цензурный взгляд на рассуждения в русской литературе о Реформации и Французской революции». Доклад этот, одобренный Советом, рекомендовал цензорам обратить особое внимание на слишком пристальный интерес, сочувствие и увлечение демократических жур-

---

[1] Русское обозрение, 1893, № 6, с. 819—820.
[2] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 412.

налов вообще, журнала «Русское слово» в особенности, событиями Реформации и Французской революции. «В этом увлечении, – отмечал Пржецлавский, – они видят одну лишь полезную сторону феномена и приносят ему самому безусловную дань похвалы и уважения, как бы находя в нем образец для подражания, как бы признавая, что без подобного переворота наше общество не может попасть на путь истинного прогресса» [1].

Опытный цензор тонко подметил причину повышенного интереса публицистов «Русского слова» к событиям западноевропейских революций. Но пресечь этот интерес цензура не смогла. Журнал все шире освещал историю революционной борьбы народных масс Европы за свое освобождение.

В июльской книжке журнала за 1865 год в статье «Маколей» Зайцев рассказал читателям о событиях Великой английской революции. Хотя по форме статья была посвящена разбору сочинений известного английского историка, к Маколею имело отношение лишь начало и конец статьи – своеобразное обрамление, сделанное для отвода глаз цензуры. В «Библиографическом листке» восьмого номера журнала за 1865 год в рецензии на книгу «История нидерландской революции и основания республики Соединенных провинций» Зайцев рассказывает о событиях нидерландской революции. В статье П. Вейнберга «Эпизоды из истории Франции 1830–1840 гг.» (1865, 11) давалась характеристика волнений во Франции 1830 года. А благодаря опубликованию журналом романа радикально настроенного немецкого писателя того времени Шпильгагена «Два поколения», посвященного событиям немецкой революции 1848 года, и романа Эркмана-Шатриана «Воспоминания пролетария», посвященного событиям Французской революции 1848 года, оказались освещенными для читателя и революционные события 1848 года. Прием этот – публикация художественных произведений, посвященных событиям европейских революций, редакция использовала довольно часто. Так, в 1865 году журнал опубликовал три повести Эркмана-Шатриана, анализу которых Писарев посвятил в значительной части статью «Французский крестьянин в 1789 году». Повести эти («Тере-

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 20, л. 64–65.

за», «Ватерлоо», «Нашествие 1814 года») представляли собой историю Великой французской революции в беллетристической форме и были напечатаны редакцией еще и отдельным изданием, что вызвало нарекания цензуры. Что касается «Воспоминаний пролетария», то некоторое представление о них дает отзыв цензора Гончарова. «...В романе «Воспоминания пролетария»,— пишет он в докладе совету Главного управления по делам печати,— проводится и в общих чертах, и в мелких, частных эпизодах вся история революции 1848 года, увенчавшаяся полным торжеством народных требований и уступкою правительственных властей: это последнее и послужило задачею всего романа... Автор проходит все фазисы восстания, освещает все подробности, оправдывает идею, смысл и средства революционеров, признает за последними всю законность угнетенного и потом торжествующего дела, возводит их в герои правды, добра, честности и всему событию сообщает характер простоты величия» [1].

С прежним вниманием освещал журнал события гражданской войны за освобождение негров в Америке. Подробно излагалась история национально-освободительных движений народов Италии и Ирландии. Этому посвящены две статьи Зайцева о книге Д. Сориа «Общая история Италии 1846—1850 гг.», статья Попова «Современное состояние Ирландии», ряд обзоров «Политики», рассказывавших о Гарибальди и гарибальдийцах, о движении фениев в Ирландии.

Столь широкое, последовательное освещение событий национально-освободительной борьбы народов Европы имело в условиях 1863—1866 годов принципиальное значение.

Выступления журнала, посвященные революционным движениям Европы, проникнуты искренней симпатией к борющимся народам, к революционерам, возглавлявшим движение народных масс. Анализ исторических событий в этих статьях проводится, как правило, с позиций последовательного революционного демократизма.

Отдавая «дань похвалы и удивления» событиям Великой французской революции, Писарев подчеркивает, что основные симпатии его на стороне самой крайней

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 254, л. 1—4.

и последовательной партии революции, партии «демократов», как называет он якобинцев и их союзников. Не либералы и жирондисты, но санкюлоты и якобинцы, не Национальное собрание, а революционный Конвент, не Мирабо и Лафайет, а Робеспьер, Дантон и Марат были, по Писареву, истинными представителями народа.

Характеризуя эпоху Реформации в Германии, публицисты журнала — Шелгунов и Зайцев, в частности, — видят подлинных героев той эпохи не в Лютере и Кальвине, но в Томасе Мюнцере и его товарищах, которые жаждали не паллиативных реформ, но «решительного и коренного преобразования общества, преобразования, которое разом доставило бы нации все необходимые условия существования» (1865, 8, II, 52). Свое основное внимание они сосредоточивают на Крестьянской войне 1525 года, как подлинно народном революционном движении, предвосхитившем в своих целях и стремлениях все последующие перевороты.

Говоря о Великой английской революции XVII века, публицисты журнала едко издеваются над либеральными историками типа Маколея, превозносившими так называемую «славную» английскую революцию (парламентский переворот 1688—1689 годов) и принижавшими значение истинно народной революции 1640—1660 годов. Симпатии журнала на стороне наиболее революционных сил этой революции — Кромвеля и пуритан. Считая их «лучшими, честнейшими людьми своего времени», журнал говорит о Великой английской революции 1640—1660 годов как о «поре освобождения, открытой, прямой борьбе за право и правду», которая «возвышает чувства, облагораживает умы, делает людей более способными на высокие подвиги» (1865, 7, II, 16).

Статьи «Русского слова» 1863—1866 годов, посвященные революционным движениям, пронизаны идеей о праве народа на революцию, о благодетельности революционных эпох в жизни народов.

Публицисты «Русского слова» резко критикуют реформистские иллюзии либерализма, предпочитавшего революции снизу медленные, постепенные преобразования «сверху». Обратившись к истории итальянской революции, Зайцев, к примеру, разоблачает всю беспочвенность надежд либерализма на милосердие пра-

вителей, на то, что самодержцы добровольно пойдут на уступки народу: «...Уступки эти могут быть вызваны только крайностью, а никак не сделаны добровольно» (1863, 7, II, 41). На материале итальянской революции здесь очень точно раскрыта суть политики «кнута и пряника» Александра II.

Критику либерального реформизма с позиций революционной демократии продóлжил в работе «Исторические очерки» Шелгунов (1864, № 11—12). Дав здесь обширный обзор преобразований, проводимых в свое время правителями Португалии, Испании, Дании, Пруссии и Австрии, Шелгунов убедительно показывает, что все реформы «сверху», проводимые правителями указанных государств, не принесли, да и не могли принести успеха, ибо их проводили под угрозой народных революций сами государи. Но было бы нелепостью, утверждает Шелгунов, чтобы они «принесли сами себя на заклание и перестали бы добровольно быть тем, чем они были». Было бы нелепостью надеяться на мирные преобразования там, где речь идет об ущемлении интересов господствующих сословий. «А если преобразования не могли сделаться сами собой, то есть добровольным самопожертвованием теряющих, то значит, они могли совершиться только принуждением. Таким образом, дело принимало военный оборот и, следовательно, должно было идти и путем логики войны» (1864, 11, I, 70). Вот почему единственным государством, достигшим успехов в антифеодальных преобразованиях, оказалась в XVIII веке Франция, ибо «...только одна Франция провела их в республиканской форме и революционным путем» (1864, 11, I, 52).

Таким образом, все симпатии публицистов «Русского слова» — на стороне революционных методов борьбы. Этим и объясняется тот сарказм, с которым критиковали они реформистские утопии не только европейского, но и русского либерализма. Здесь истоки того резко отрицательного отношения к отечественным реформам 60-х годов, которым дышит журнал, — об этом уже шла речь выше.

Определив либерализм как «великую школу балансирóвания, мистификаторства и самоуверенного переливания из пустого в порожнее», Писарев, как известно, дал классическое разоблачение сути либерализма в образе «смиренной коровы, укрощенной кавалерий-

ским седлом», которая пытается подражать манерам «кровного английского скакуна» (1865, 12, II, 2–3).

В статье «Исторические эскизы» он высмеивает теоретическую основу столпов отечественного прогресса – теорию постепенности, которую так широко пропагандировал русский либерализм.

Хотя результаты всякого коренного переворота (Писарев из цензурных соображений обозначает его словом «реформа», но говорит здесь о Французской революции и вкладывает в слово «реформа» понятие революции) сказываются *постепенно,* «наша известная теория постепенности, – говорит здесь Писарев, – основана на простом недоразумении: введенная реформа приносит плоды постепенно – это правда, это говорит самая элементарная логика здравого смысла; но наши публицисты и мыслители, не разобравши дело, увидели только, что слова *реформа* и *постепенно* стоят рядом; они и связали эти два слова по-своему и стали доказывать, что реформа должна вводиться в жизнь постепенно, то есть не в виде органического и осмысленного целого, а в виде отдельных кусочков, не имеющих ровно никакого самостоятельного смысла. Зерно превращается в растение не вдруг, а постепенно: из этого общеизвестного факта вывели то своеобразное заключение, что следует класть в землю не все зерно, а сначала один кусочек зерна, потом, немного погодя, другой, потом третий, до тех пор, пока из кусочка не составится целое зерно» (1864, 1, I, 46). Писарев выражает глубокое сомнение, вырастет ли при подобном методе сеяния действительно богатая жатва.

Критика реформизма 60-х годов, а также живое сочувствие движениям борющихся масс, столь ярко проявляющее себя на страницах «Русского слова», свидетельствовали о том, что народная революция по-прежнему оставалась для деятелей этого журнала стремлением и мечтой.

История западноевропейских революций вселяла в публицистов «Русского слова» уверенность, что не гении, не выдающиеся личности, но народ является движущей силой истории. Эта мысль пронизывает «Исторические эскизы». «История должна быть осмысленным и правдивым рассказом о жизни массы; отдельные личности и частные события должны находить в ней место настолько, насколько они действуют

на жизнь массы или служат к ее объяснению» (1864, 1, I, 4),— утверждает здесь Писарев.

На всем протяжении 1863—1866 годов в журнале «Русское слово» проходит мысль о том, что «велик народ и человечество в его совокупных стремлениях, а не отдельный человек, являющийся по благоприятным обстоятельствам только представителем этих стремлений» (1864, 5, I, 21).

По мнению публицистов «Русского слова», именно «народный элемент есть начало подвижности и прогресса». Основа этого прежде всего в том, что, «несмотря на свою научную и техническую неразвитость, народный элемент представляет основную экономическую силу страны». Однако сила «народного элемента» заключается не только в «экономическом значении». «Несмотря на кажущееся тупоумие этой грубой массы, собственно ее инициативой выражается то поступательное движение цивилизованных народов, которое зовут прогрессом. Все замечательные законодательные меры... были в сущности только публичным заявлением стремлений народа и удовлетворением его желаний» (1863, 11—12, I, 34—35).

Итак, история убеждала публицистов «Русского слова», что революции — благодетельнейшие эпохи в жизни человечества и что народные массы — это та сила, которая движет прогресс.

Но взгляд этот, продолживший лучшие традиции русской революционной демократии, оказывался в видимом противоречии с реальными фактами русской действительности 1863—1866 годов.

Резкий спад революционной волны, отсутствие революционного подъема в крестьянских массах убеждали публицистов журнала, что народ русский спит, что надежды на революцию пока нет.

В период 1863—1866 годов русская революционная демократия особенно остро столкнулась с трагическим противоречием между необходимостью коренных, революционных изменений феодально-крепостнических правопорядков и отсутствием активной классовой силы, которая могла бы сокрушить эти правопорядки.

В эпоху, когда революционность буржуазии уже умирала (в России умирала, не народившись), а революционность пролетариата еще не созрела, единственной революционной силой в стране выступало измученное веками гнета крестьянство. Революционность

крестьянства была революционностью особого рода. Без руководства буржуазии или пролетариата оно не в силах было подняться на организованные и сознательные действия, оно было способно «только на «бунты»[1]. Даже в период наибольшего революционного подъема освободительной борьбы крестьян — в период революционной ситуации 1859—1861 годов — «...народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли»[2].

Факт этот вырисовывался перед русской революционной демократией в 1863—1866 годах во всем своем драматизме и трагедийности.

Он получил свое отражение в знаменитой реплике Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы».

Он получил свое отражение в классическом художественном образе «глуповцев» в «Истории одного города» Щедрина и в широко известных словах его письма к Пыпину: «...в слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием»[3].

Он получил наконец свое отражение в тех, полных горечи, словах в адрес русского народа, которые мы находим в статьях Писарева, Зайцева, Благосветлова и других сотрудников «Русского слова» в 1863—1866 годах. Считая себя защитниками интересов народа, представляющего собой «идею демократизма», публицисты «Русского слова» этого периода резко выступают против какой бы то ни было идеализации народа «исторического» — русского крестьянства 60-х годов. Разочарование в революционных возможностях крестьянства 60-х годов было у них так велико, что заставило даже В. Зайцева заявить о необходимости

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 141.

[2] Там же, с. 140.

[3] Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч., т. XVIII, с. 239—240.

«действовать энергично против него, потому что народ в таком состоянии, как в Италии, не может по неразвитию поступать сообразно со своими выгодами» (1863, 7, II, 38–39).

Нужно отметить, что подобное высказывание бланкистского толка мы встречаем в журнале только у Зайцева. Публицистов «Русского слова» на протяжении всего существования журнала волновал мучительный вопрос: «до каких пределов» доходит терпение народных масс? С позиций рационалистической философии истории они старались понять, почему русский народ не поднимается на революцию, что́ необходимо для революционного подъема и победы.

Опыт освободительных движений Европы, история революционной борьбы в России приводили публицистов журнала, Писарева прежде всего, к мысли, являющейся важной историко-материалистической догадкой: всякий подъем революционной активности масс, всякая народная революция – глубоко закономерное, объективное явление, не зависящее от субъективных желаний публицистов и вождей. На материале Французской революции Писарев упорно проводит мысль, что не ораторы и газеты периода 1789–1793 годов, несмотря на все их неистовство, породили народную революцию, а, наоборот, ораторы и газеты – порождение революционного подъема масс. «Вожди и агитаторы давали существующей силе организацию и единство общего направления, но эта сила существовала совершенно независимо от них и часто толкала их вперед тогда, когда они считали удобным приостановиться» (1864, 1, I, 67), – утверждал Писарев в «Исторических эскизах».

Правда, в своих утверждениях о стихийной природе народной революции Писарев ударялся в крайность и порой отвергал всякое значение пропагандистской деятельности в деле подготовки революций. Если народ проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности; его не разбудить воплями и воззваниями, любовью и ласками, – говорил он еще в 1862 году, противореча себе (именно в 1862 году написал он свое воззвание). Ту же мысль повторил Писарев и в 1864 году. Несмотря на резкий спад освободительной борьбы крестьян, несмотря на все свои сомнения и колебания, Писарев декларирует в этот период верность идее крестьянской революции, но декларирует

весьма своеобразно. «Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят. Но литература тут ни при чем; она ничего не может сделать ни для охлаждения, ни для разогревания народного чувства и энтузиазма; тут действуют только исторические обстоятельства...» (1864, 2, II, 42), — заявлял он в статье «Цветы невинного юмора», ошибочно отвергая всякую роль литературы и журналистики в деле революционного воспитания масс.

И тем не менее основная мысль Писарева, критикующего здесь волюнтаристский подход к народной революции, характерный, скажем, для народничества 70-х годов, была значительным достижением философии революционных демократов 60-х годов. Благодаря такой постановке вопроса Писарев приблизился к пониманию того, что если в России 60-х годов не вспыхнула революция, то причина тому — в «исторических обстоятельствах» развития страны.

Но материалистически решить вопрос о том, какие же «исторические обстоятельства» обусловят революцию в России, в силу каких именно «исторических обстоятельств» потерпели крах надежды демократии на революцию 60-х годов, Писареву, конечно, не удалось.

Верные своей идеалистической, рационалистической философии истории, публицисты «Русского слова» по-прежнему сводили «исторические обстоятельства», вызывающие революционный подъем, к уровню сознательности народных масс. Революционная активность народа, утверждали они, находится в прямой зависимости от его «ума».

Правда, на страницах журнала можно было встретить и догадки о том, что причины революций — «в общих и преимущественно — в *экономических* условиях существования народных масс» (1864, 1, I, 68). Анализируя в «Исторических эскизах» историю Великой французской революции, Писарев на огромном фактическом материале иллюстрирует это положение, показывая, что причиной Французской революции был бесчеловечный гнет феодально-крепостнических порядков, что поводом для возмущения послужил голод 1789 года, являющийся в свою очередь порождением феодализма.

Однако зачатки историко-материалистического подхода находятся здесь в неразрешимом противоре-

чии с той упорно проводимой мыслью, что *в конечном* счете (и это главное!) Французская революция была порождена развитием мысли, знания и явилась, в частности, результатом осознания угнетенными сословиями Франции *неразумности* существующего положения вещей.

Аналогично решает вопрос и Зайцев. «Перевороты в истории человечества», по его мнению, всегда «совпадают с теми эпохами, когда сознание реформационных принципов становится доступным обществу... Когда, с одной стороны, история Франции довела старый порядок Бурбонов до крайней его нелепости, а с другой, *выработала сознание этого чудовищного порядка в значительном кругу людей,* борьба двух направлений была неизбежной и приняла характер титанический...» (1863, 7, II, 21—22). (Курсив мой.— *Ф. К.*)

Отличие «исторических обстоятельств» России 60-х годов XIX века от «исторических обстоятельств» Франции 80-х годов XVIII века в том, что история России еще не выработала в людях *осознания* всей неразумности самодержавно-крепостнических порядков в России, всей тяжести гнета и эксплуатации.

Рационалистическая ограниченность теоретических позиций публицистов «Русского слова» еще более ярко раскрывается, когда они пытаются решить вопрос об *условиях победы* народной революции, о причинах того, *почему ни одно революционное движение народных масс до сих пор не решило вопроса о голодных и раздетых людях.* Публицисты «Русского слова» понимали, что ни один свершившийся переворот, в том числе и те, благодаря которым та или иная нация сделала значительный шаг вперед, не удовлетворили чаяния трудящихся, не затронули господства капитала над трудом. На страницах журнала мы найдем немало справедливых утверждений о том, что во всех свершившихся революциях восторжествовали эксплуататоры.

Для материалиста в истории этот факт закономерен, ибо революции XVIII века были буржуазными революциями и ничего иного, кроме замены одной формы эксплуатации другой, дать не могли.

Для идеалистов в истории, какими являлись публицисты «Русского слова», революции XVIII века были революциями, направленными против эксплуатации и угнетения, которые в силу какой-то роковой ошибки

не достигли цели. Плодами революции воспользовалась буржуазия.

Почему? Быть может, потому, что путь революционного насилия вообще непригоден для решения социальных вопросов?

Как известно, именно к такому выводу пришли социалисты-утописты Западной Европы. Не поняв буржуазной природы революций XVIII века, они решили, что революция в принципе не метод решения вопроса о голоде и нищете.

Задаваясь вопросом, почему прошлые революции не привели к социальному освобождению, публицисты «Русского слова» и в 1863—1866 годах отнюдь не отрицали революционное насилие в принципе как метод решения социальных вопросов. Но они не могли и правильно ответить на этот вопрос. Они решали его чисто рационалистически: массы упустили плоды совершенных ими революций потому, что были глупы. Так случилось, в частности, в эпоху Великой французской революции: народ «не мог занять принадлежавшего ему места по недостатку образования. Скрепив своей кровью великое здание революции, он сошел со сцены, предоставив главную роль другим» (1863, 3, I, 16). Так было всегда.

Бывали минуты, указывал в «Исторических эскизах» Писарев, когда привычное недоверие масс к будущему уступало «страстному взрыву надежды», но надежда, как правило, не осуществлялась, ибо «для осуществления ее необходим не минутный взрыв, а необходима долговременная, напряженная и строго последовательная деятельность. До сих пор еще не было на свете такого народа, в котором большинство было бы способно к сознательной коллективной деятельности» (1864, 1, I, 48).

В чем же конкретно проявлялся недостаток «сознательности» у народов, совершавших революции? В том, что они не имели ясного представления о своих истинных нуждах и потребностях и вместо того, чтобы исторгнуть корни, причины своих страданий и бед, обрушивались лишь на следствия. Вместо освобождения *экономического* революционные массы добивались освобождения *политического*, не понимая, что без первого нет второго, что второе — результат первого. «Нельзя сказать, чтобы и прежде не было попыток уравнять общественные отношения людей, но эти

попытки делались вкривь и вкось, то есть искали разрешения задачи не в сущности ее, а в побочных обстоятельствах. Так, человечество долго боролось за свободу совести, за уничтожение привилегий рода и сословия, за право личной безопасности, за право независимых убеждений, но только в наш век право труда и собственности сделалось предметом главнейшего интереса. Уравнение всех других человеческих прав прямо зависит от разрешения этого вопроса» (1863, 11—12, III, 46),— писал по этому поводу Благосветлов.

Причина того, что все предыдущие революции приносили лишь разочарование народам, заключается не в бесплодности революции как метода изменения действительности, но в том, что в силу недостатка познаний у восставшего народа все эти революции были не социальными, но политическими, они не касались экономических условий существования народных масс. Массы в этих революциях руководствовались лишь «смутным желанием к чему-то другому, лучшему, но решительно еще не знали, как и чем можно его достигнуть» (1865, 11, I, 5). Только в этом причина их разочарований и неудач. «Только вследствие этой бессознательности и мог сложиться тот печальный мировой общественный порядок, который приходится перестраивать вновь» (1865, 11, III, 5).

Вследствие этой «бессознательности» люди не понимали, что «...только национальная независимость, свобода мнений, совести, гражданская и политическая свобода и *свобода экономическая* — только совокупное пользование всем этим делает свободными как общество, так и каждого из членов его. Эту свободу нельзя ни дробить, ни делить на элементы ее: как скоро она неполна, ее вовсе нет, а вместо нее есть рабство и неволя» (1865, 8, II, 47—48).

Это не могло не вести к «беспрестанным поражениям» и «неизбежным разочарованиям после побед», которые «должны были поселять в людях уныние и безнадежность, отчаяние и наклонность к фатализму». Видя свои идеалы провозглашенными и торжествующими, а «жизнь через это неизменившейся», они начинали терять веру в плодотворность революций и в прогресс.

Публицисты журнала убеждены, что если бы в те времена «существовала точная и определенная форму-

ла нового общественного быта (теория социализма, иными словами. – *Ф. К.*), то конечно, дело... пошло бы иначе» (1865, 11, III, 5).

Если бы в предшествующих революциях дело вершили Рахметовы – пламенные социалисты и революционеры, подлинные вожди и просветители народных масс – результаты революций были бы иными. «По недостатку в таких людях все великие минуты в истории человечества до сих пор обманывали общие ожидания, приводили за собою горькое разочарование и сменялись вековою апатиею» (1865, 10, II, 52).

Но это обстоятельство не повергает Писарева, Зайцева, Шелгунова и их товарищей в пессимизм.

Публицисты «Русского слова» с надеждой смотрят в будущее, потому что «...последние явления истории... свидетельствуют, что наконец человечество вступило на истинный путь». «Точная и определенная формула нового быта» найдена. «Вопрос об экономических условиях свободы уже поднят», – стало «понятно значение экономической свободы, а с ним и сущность свободы вообще». Это – «драгоценные факты для того, чтобы восстановить веру в будущее и поднять упавшие надежды» (1865, 8, II, 60).

XIX век принес с собой новое качество освободительного движения народов, являющееся гарантией его успехов, – идею социализма. Она оплодотворит революционные движения народов и сделает их действительно результативными.

«...Дух времени... – заявляет Г. Благосветлов, – отодвигает политические требования на задний план и отводит первое место экономическим соображениям. В этом главная разница прежних войн с настоящими. Для последних наступает новый период исторического развития, со строгим социальным характером» (1863, 7, III, 98).

Следуя заветам Н. Г. Чернышевского, который в своей революционной теории и практике слил воедино идеи народной революции и утопического социализма, публицисты «Русского слова» приходят к тому же результату.

Они верят, что будущие революции принесут народам полное и, прежде всего, экономическое освобождение, будут социалистическими революциями.

Перед нами – теория так называемой «социальной революции», основы которой были заложены еще

Чернышевским и которая получила свое дальнейшее развитие в теориях народников 70-х годов.

Задачи буржуазно-демократической революции осмысляются здесь как задачи социалистические, идея демократической революции сливается с идеей утопического социализма.

Но, в отличие от народников 70-х годов, считавших русских крестьян 70-х годов социалистами и революционерами «по натуре», публицисты «Русского слова», Писарев прежде всего, категорически отрицали революционность народа как следствие каких-то иррациональных, природных начал. Отвергая «артельное чувство» как иррациональную основу социализма, они отвергали и безотчетную веру во «врожденную» революционность крестьянства.

В основу революционной активности народа они клали чисто рациональную основу – ум, развитие, знание. Отдавая себе отчет в том, что русский народ «спит», причину этого они видели в его «тупости», «неразвитости», в отсутствии знаний.

Будучи последовательными рационалистами, публицисты «Русского слова» отказывали в доверии революционным взрывам народных масс, если они идут от «чувства», а не от «знания».

В истории были «примеры, показывающие, что чувство свободы и хорошего экономического устройства развивается прежде, чем народ достигает соответственного его социальному положению умственного развития», и народ поднимается на революцию, но в этом случае ему бывает очень «трудно держаться на высоте общественного благосостояния и продолжать его дальнейший прогресс» (1863, 11–12, III, 45).

Массы – движущая сила истории, но при условии, если это образованные умственно массы. Революции – это лучший путь исторического прогресса, но при условии, если они подготовлены *работой знания*.

В таком осмыслении историко-материалистические догадки публицистов «Русского слова» о роли народных масс и революций не вступали в противоречие с исходным тезисом их социологии: разум правит миром.

Эта характернейшая особенность мировоззрения публицистов «Русского слова» наложила свой отпечаток и на теорию революции журнала, и на те практические выводы, которые следовали из нее.

Дать знания массам, разбудить их разум — такая практическая задача встала перед публицистами журнала в результате осмысления ими опыта освободительного движения народов Европы и положения дел в России 1863—1866 годов.

3

Итак, казалось бы, программа практической деятельности была ясна. Суть ее заключалась в выработке сознания, в повышении уровня умственного развития народных масс.

Но как это сделать?..

Вот тут-то публицисты «Русского слова» и попадали в неразрешимое теоретическое и практическое противоречие, своего рода «заколдованный круг».

Они отчетливо понимали, что уровень развития человека определяется «средой». Невежество и неразвитость русского народа, крайне низкий уровень его сознательности был, по их глубокому убеждению, результатом исторических «обстоятельств», которые как раз и нужно было изменить. Публицисты «Русского слова» сами же неоднократно издевались над тем «особенным разрядом мечтателей», которые считают, что общественную жизнь «можно переделать с помощью образования». Писарев посвятил ряд статей доказательству мысли, что повышение уровня образования народных масс может быть лишь следствием, но никак не причиной изменения социальных порядков в стране. Да это и невозможно в условиях, пока крестьянин раздет и разут, когда время его уходит на то, чтобы кое-как прокормить себя. У него нет ни сил, ни времени, ни желания учиться,— и он в этом не виноват.

Ведь даже для распространения простой грамотности в народе необходимо изменение условий экономического существования его. «Если мы будем надеяться только на одну грамотность да образование, то нам придется очень долго идти подобно тому ослу, который, видя привязанный к его лбу перед глазами клок сена, думал, что его можно достигнуть посредством движения вперед» (1863, 2, III, 13).

Итак, для того, чтобы изменить уровень умственного развития народа, сделать его активным и созна-

тельным, — нужно изменить условия жизни народа, «обстоятельства», в которых он живет.

Но для того, чтобы изменить «невыносимые обстоятельства» жизни народа, — нужно повысить умственный уровень, сознательность и активность его.

«Мы бедны, — потому что не развиты, и мы не развиты, — потому что бедны; змея кусает свой хвост и изображает собой эмблему вечности, из которой нет выхода» (1864, 9, II, 4), — так выразил в статье «Нерешенный вопрос» суть этого противоречия Писарев. Оно было частным проявлением общего противоречия просветительского миросозерцания вообще.

«Если «мнения» представляют собою наиболее глубокую причину общественного движения, то обстоятельства, от которых зависит дальнейшее развитие общества, приурочиваются главным образом к сознательной деятельности людей, а возможность практического влияния на эту деятельность обусловливается большею или меньшею способностью людей к логическому мышлению и усвоению новых истин, открываемых философией или наукой. Но эта способность сама зависит от обстоятельств. Таким образом идеалист, признавший материалистическую истину о том, что характер, а также, конечно, и взгляды человека зависят от обстоятельств, попадает в заколдованный круг: взгляды зависят от обстоятельств, обстоятельства — от взглядов», — раскрывал это противоречие Г. В. Плеханов. «Из этого заколдованного круга никогда не вырывалась мысль «просветителя» в теории. На практике же противоречие разрешалось обыкновенно усиленным призывом ко всем мыслящим людям, независимо от того, при каких обстоятельствах такие люди жили и действовали» [1], — указывал он.

По этому классическому для просветителя пути разрешения указанного противоречия и пошел Д. И. Писарев.

Так и не «выпрыгнув» из противоречия: «мы бедны, — потому что глупы; мы глупы, — потому что бедны» в теории, Писарев попытался в статье «Реалисты» предложить русскому освободительному движению весьма своеобразный практический план преодоления его.

---

[1] Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский. СПб., Шиповник, 1910, с. 247.

Суть этого плана сводилась к двум словам: «формирование реалистов» – социалистически и революционно-демократически мыслящих людей.

«...Размножать мыслящих людей – вот альфа и омега всякого разумного общественного развития» (1864, 2, II, 42), – утверждал он. «Реалист», по Писареву, – это и есть «мыслящий работник, обогативший себя знаниями». Но подобное определение было бы слишком общим. «Масса идей, воспринимаемых человеком, сама по себе ничего не значит. Можно завалить голову, как чулан, всевозможными знаниями и остаться отъявленным глупцом...» (1864, 4, II, 38.)

Реалистом, по Писареву, является человек, мыслящий *правильно*, чья мысль, не спутанная оковами метафизики и схоластики, познает истину без искажений.

Правильное понимание законов природы вообще, законов человеческой природы в частности, помогает ему уяснить истинные потребности человеческой натуры.

Поэтому реалист – это утилитарист, всю жизнь стремящийся к пользе. «Вполне последовательное стремление к пользе называется реализмом... Реалист постоянно стремится к пользе и постоянно отрицает в себе и других такую деятельность, которая не дает полезных результатов» (1864, 9, II, 17). Реалист – это *«разумный эгоист», последовательный* утилитарист, который стремление к личному счастью понимает только как стремление к счастью общему, который, несмотря на свой эгоизм, а точнее – благодаря своему эгоизму, является сознательным, беззаветным борцом за счастье человечества.

Являясь разумным эгоистом и последовательным утилитаристом, реалист, естественно, приходит к осознанию и органическому усвоению одной «высшей руководящей идеи», существование которой «у последовательного реалиста и отсутствие такой идеи у эстетика составляет основное различие между этими двумя группами людей. Какая же идея? Это – идея общей пользы или общечеловеческой солидарности» (1864, 10, II, 28).

Итак, реалист – это убежденный враг того правопорядка, где невозможна общечеловеческая солидарность. Именно идея социализма является «высшей руководящей идеей» реалиста, принципиально отличающей его от остальных людей. «Для реалиста идея

общечеловеческой солидарности есть просто один из основных законов человеческой природы, один из тех законов, которые ежеминутно нарушаются нашим неведением и которые своим нарушением порождают почти все хронические страдания нашей природы» (1864, 10, II, 29).

Более того, реалистом, по мнению Писарева, можно назвать лишь такого последователя идеи социализма, который посвятил служению этой идее всю свою жизнь. Ибо реализм – это последовательный утилитаризм, а в основе утилитаризма, по утверждению Писарева, лежит принцип экономии сил, по которому разумный человек будет отдавать свои силы и время делу более полезному за счет менее полезного и отрицать все, не приносящее пользы. А так как самым важным и самым полезным, самым необходимым делом является решение вопроса о голодных и раздетых людях, то, следовательно, вполне последовательным реалистом является лишь тот, кто посвятил свои силы и стремления этой великой цели. Вот почему самыми типическими представителями «реализма» Писарев считал Чернышевского и Добролюбова.

Каким же образом предлагал Писарев решать эту кардинальную, на его взгляд, задачу времени – задачу воспитания «новых людей», «мыслящих реалистов»?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно вспомнить некоторые общие социологические посылки утопического социализма Писарева.

Как отмечалось выше, в основании его социологии лежала просветительская вера во всемогущество знания. Человек последовательной мысли, усвоивший себе правильный взгляд на сущность человеческой природы, познавший «естественные» законы развития человеческого общества, по мнению Писарева, неминуемо придет к социалистическому идеалу.

Разбудить мысль, научить людей думать – отсюда, по мнению Писарева, начинается воспитание убежденного социалиста. Писарев верил, что человеческая мысль, если она живет полнокровной, естественной жизнью, в силах преодолеть кастовую, классовую ограниченность сознания индивидуального человека, в силах вывести его, независимо от классовой принадлежности, на дорогу служения общечеловеческим интересам.

Характеризуя главную задачу момента, Писарев заявляет: «Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильные понятия об этой пользе, надо уничтожать смешные и вредные заблуждения и вообще надо вести всю свою жизнь так, чтобы личное благосостояние не было устроено в ущерб естественным интересам большинства. Надо смотреть на жизнь серьезно, надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять, не для того, чтобы убивать время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбой каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. *Надо думать*, — в этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества» (1864, 10, III, 48). (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Девиз *«надо думать»* для Писарева неразрывно связан с решением вопроса о голодных и раздетых людях, с вопросом о «судьбе каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния».

Заставить людей активно думать о жизни, вырабатывать последовательное демократическое мировоззрение — таков в самых общих чертах смысл деятельности «Русского слова».

Отсюда — та боевая, наступательная позиция в отношении всего, что сковывает мысль, так ярко характеризующая журнал «Русское слово».

Остро, язвительно, из номера в номер, журнал разоблачал всякого рода «гасильников», «усыпителей», смысл деятельности которых заключался в том, чтобы в интересах самодержавия и крепостничества приостановить, погасить разрушающую силу мысли и трезвого анализа, ведущих к отрицанию существующего.

Деятельность «философствующих и политиканствующих гасильников» является, по словам Писарева, «предохранительным средством против грехов»: «Кто больше спит, тот меньше грешит, а кто помогает спать, тот, следовательно, уменьшает количество человеческих беззаконий» (4, 245), — разоблачал он в статье «Наши усыпители» охранительный смысл деятельности всех поборников «спокойного умственного сна».

Писарев объявлял беспощадную войну рутине и косности, всему, что сковывало мысль, определяя это презрительной кличкой «эстетика». Своеобразно переосмыслив этот специальный термин, он называл «эстетикой» решительно все, что было враждебно мысли, что мешало, тормозило или просто не помогало человеку критически осмыслить действительность.

«Эстетика, безотчетность, рутина, привычка — это все совершенно равносильные понятия. Реализм, сознательность, анализ, критика и умственный прогресс — это тоже равносильные понятия, диаметрально противоположные первым» (1864, 10, II, 26). Вот почему «эстетика и реализм действительно находятся в непримиримой вражде между собой», вот почему «реализм должен радикально истребить эстетику, которая в настоящее время отравляет и обессмысливает все отрасли нашей научной деятельности...» (1864, 10, II, 2—23),— заявлял в статье «Нерешенный вопрос» Писарев.

Разоблачению «эстетики», то есть рутины, косности, традиции, привычки, застоя, посвящено немало страниц в журнале вообще, в статьях Писарева в частности. С борьбой за освобождение мысли связано и то характерное для «Русского слова» отвращение к старозаветной авторитетности, которое окрашивало выступления журнала в такие дерзкие тона. Упорно отстаивая ту мысль, что единственным, действительным авторитетом в жизни является человеческий разум, публицисты журнала проводили колоссальную работу по разрушению слепой веры в ветхие авторитеты, по воспитанию и распространению духа беспощадного анализа.

В борьбе с «эстетикой» в широком смысле этого слова журнал нередко допускал перегибы, совершал ошибки в оценке культурного наследия прошлого. Журнал в лице Писарева и Зайцева отрицал значение Пушкина и Лермонтова для современной им эпохи, так как, по их мнению, творчество этих писателей не способствовало воспитанию «мыслящих реалистов». Сознательно перегибая палку, публицисты журнала ниспровергали этих писателей ради того, чтобы «русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки резкого смеха», который не давал бы ему «уснуть, как бы он

ни закутывал себе голову теплыми иллюзиями и темными фразами» (1864, 10, II, 40—41). Обрушивая на голову читателей каскад смелых парадоксов, неожиданных выводов, Писарев и его товарищи по журналу заставляли людей думать и анализировать, учиться вырабатывать свое собственное мнение.

«Он (Писарев) хочет действовать как фермент, шевеля и расшевеливая мысль и возбуждая ее на самостоятельную работу. Он не поучает, он только думает и вызывает читателя думать вместе с собою. Вывести мысль из инерции, возбудить критическую самостоятельность мысли и пробудить личное чувство — вот все, к чему Писарев стремится и чего он желает достигнуть»[1], — писал Шелгунов.

Беспощадная критика «эстетики», то есть всего, что враждебно мысли, знанию, разоблачение «усыпителей» и «гасильников», стремление вывести мысль из инерции — все это, по мысли Писарева, готовит почву для выработки молодежью «реалистического» мировоззрения, для восприятия ею новых, передовых идей.

Основой умственного воспитания «реалистов» является, по Писареву, естествознание.

Общеизвестно, что журнал «Русское слово» в 1863—1866 годах выступал страстным пропагандистом естествознания. Но далеко не до конца выявлены истоки увлечения естествознанием у Писарева и его товарищей.

Обычно увлечение естествознанием и пропаганду его объясняют лишь стремлением Писарева и других сотрудников журнала максимально ускорить технический прогресс страны. Этой функции естествознания Писарев действительно придавал немалое значение. Правильно полагая, что естествознание имеет очень большое значение для развития техники, Писарев не понимал, что «если... техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от *состояния* и *потребностей* техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов»[2].

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 217—218.

[2] Энгельс Ф. Письмо В. Боргиусу, 25.1.1894 года. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 174.

Не понимая того, что технический прогресс и, как следствие, развитие науки обусловливаются, в конечном счете, экономическими потребностями развития общества[1], Писарев и его товарищи по журналу как последовательные рационалисты полагали, что развитие естествознания является основой развития техники и промышленности.

Развитие естествознания, по их мнению, приводит к открытиям новых закономерностей развития природы, к новым изобретениям, а это все ведет к появлению новых машин, новых технических приспособлений, вызывает бурный технический прогресс, повышает производительность народного труда. Практическая польза естествознания вырастала в их сознании до гипертрофических размеров.

Но это только один возможный результат популяризации естествознания в России, который к тому же не является для Писарева самоцелью. Писарев отчетливо осознает, что в условиях эксплуататорского общества увеличение производства еще не решает вопроса о голодных и раздетых людях. «Производство может быть достаточно сильным, и, несмотря на то, большинство может все-таки терпеть нужду, если произведенные продукты будут распределяться в обществе неравномерно» (1865, 9, II, 65—66). Поэтому рост производства для Писарева неотрывен от социалистического переустройства общества.

А подготовка к будущему социалистическому переустройству общества, воспитание кадров для будущего переустройства общества, по глубокому убеждению Писарева, невозможны без широкой пропаганды и популяризации естественных наук. В популяризации естествознания Писарева привлекают не только и не столько экономические результаты, сколько его общественно-воспитательная роль.

Стремление Писарева положить естествознание в основу общественного воспитания «реалистов» может показаться нам парадоксальным. Однако в условиях 60-х годов XIX века ничего парадоксального в этом не было.

---

[1] «...Параллельно с ростом среднего класса происходило гигантское развитие науки. Стали вновь изучаться астрономия, механика, физика, анатомия, физиология. Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука...» — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 307.

«Могущественный ток к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти[1], но и в эпоху Маркса»[2],— указывал В. И. Ленин.

Прогрессивная общественная мысль Запада и до Маркса стремилась к материалистическому осмыслению истории. А так как единственно научной областью знания, стоящей на материалистических позициях, было естествознание, то естественно, что прогрессивная общественная мысль XVIII—XIX веков тянулась к естествознанию, пыталась положить его в основу обществоведения.

Это было характерно не только для французских просветителей, для европейских социалистов-утопистов, но и для русских революционных демократов-шестидесятников, для Чернышевского в том числе.

Уже петрашевцы, с идеями которых через кружок Введенского был хорошо знаком Благосветлов, предвосхищая «Антропологический принцип в философии», утверждали, что для уяснения законов прогресса «должно анализировать природу человека»[3]. В этом они видели залог лучшего будущего: человек «научился открывать в естественных науках законы природы; остается применить их в науке общественной. И когда он это сделает, человечество будет иметь закон счастья и совершенства»[4].

Идея связи естествознания с обществоведением получила дальнейшее развитие у Чернышевского.

«Еще не так далеко от нас время, когда нравственные науки... не могли иметь содержания, которым бы оправдывался титул науки, им принадлежавший... Теперь положение дел значительно изменилось. Естественные науки уже развились настолько, что дают достаточно материалов для точного решения нравственных вопросов»[5],— указывал Чернышевский в «Антропологическом принципе в философии».

На аналогичных позициях стояли и публицисты «Русского слова». Для них, как мы уже указывали выше, было особенно характерно стремление положить естествознание в основу социологии.

---

[1] Петти Уильям — английский экономист XVIII века, основатель классической школы буржуазной политической экономии.

[2] Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 41.

[3] Петрашевцы, т. II, 1927, с. 122.

[4] Там же, с. 173.

[5] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 240.

Замечательный революционер-шестидесятник, сотрудник «Русского слова» Н. Серно-Соловьевич в статье «Не требует ли нынешнее состояние знаний новой науки», написанной в 1864 году в Петропавловской крепости, утверждал:

«Благодаря тому, что современное естествознание сумело встать вразрез со старыми рутинными приемами научного исследования и разорвало всякую связь с метафизическими пошлостями, оно привлекло на свою сторону самые энергические умы и стало лучше других наук удовлетворять требованиям настоящего поколения...» Однако, «если естествознание ограничится одними научными выводами, не имея в виду общественных вопросов, — оно попадет в ту же филистерскую колею, в которую попала и отвлеченная философия. Вот почему, мне кажется, между общественной наукой и естествознанием должен произойти — и чем скорее, тем лучше — обмен главных сил их, т. е. одна может позаимствоваться у другой превосходным методом и дать ему, в свою очередь, превосходные стремления» (1865, 1, I, 227). И надо подчеркнуть, что журнал «Русское слово» приложил немало усилий для этого сближения общественной науки с естествознанием.

Вслед за просветителями XVIII века и социалистами-утопистами XIX века деятели «Русского слова» положили в основу своей философии истории то положение, что «между частной жизнью человека и исторической жизнью человечества есть только количественная разница. Одни и те же законы управляют обоими порядками явлений точно так же, как одни и те же химические и физические законы управляют и развитием простой клеточки, и развитием человеческого организма» (1864, 3, II, 11).

Исходя из этого метафизического и идеалистического положения, они приходили к выводу, что без естествознания, изучающего природу человеческого организма, невозможно понять не только законы развития природы, но и законы развития общества, невозможно выработать правильный взгляд не только на природу, но и на общество. Только естествознание может быть научной основой мировоззрения действительно передового человека. «Существует, собственно, одно знание — изучение природы, то есть составляющей ее материи и свойств. Человек только часть при-

роды; и потому без изучения ее нельзя узнать законов, управляющих как отдельными людьми, так и целыми обществами. Вот почему естественные науки получили в последнее время такую важность и почему на них сосредоточено внимание всех мыслящих людей» (1863, 11—12, I, 41),— разъяснял Шелгунов.

Естественные науки, сообщая «человеку, посвятившему себя их изучению, такую трезвость и неподкупность мышления... такую силу критики, которая сопровождает этого человека за пределы выбранных им наук...» (1863, 8, I, 53), помогают воспитывать в людях трезвое восприятие «действительной жизни», которое не может не вести *к отрицанию ее.*

С другой стороны, раскрывая перед человеком закономерности развития его природы, истинные потребности человеческой натуры, естествознание должно помогать воспитанию убежденных «разумных эгоистов», утилитаристов и социалистов. Ведь именно естественные науки «дают каждому человеку... верный, разумный и широкий взгляд на природу, на человека и на общество» (П и с а р е в). Вот почему именно естествознание, наука о природе и человеке как части природы, должна была служить, по мысли Писарева и его товарищей, основой воспитания «реалистов», то есть «новых людей», убежденных социалистов, отрицающих неразумный, эксплуататорский правопорядок, осознавших истинные потребности человеческой натуры.

Вот чем объясняется, в первую очередь, та огромная работа по пропаганде естественных наук, которую проводили в 1863—1866 годах на страницах «Русского слова» Писарев и другие сотрудники журнала. Смысл этой работы отчетливо понимала цензура. Она констатировала с тревогой: «В последнее время наше общество с особенной жадностью устремилось на сочинения по естественным наукам, но не с тем, чтобы изучать в них положительные выводы строгой науки, а чтобы искать отрицания всему тому, что составляет другую, выше науки стоящую область, область веры... Это не может не повести к шатким политическим воззрениям» [1].

Обращение «Русского слова» к естествознанию, пропаганда и популяризация его сыграли, несомненно, свою большую роль. «Русское слово» возбуждало ин-

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12, л. 117—118.

терес к естественным наукам в обществе, способствовало более быстрому и интенсивному развитию в России естественных наук. Немало крупнейших русских ученых-естественников в своих воспоминаниях отмечали огромную роль естественнонаучной пропаганды Писарева. В целом пропаганда естественнонаучных знаний журналом «Русское слово» была фактом прогрессивным.

Однако она ни в коей мере не давала тех результатов, на которые уповал Писарев. Естествознание вовсе не представляло собой той спасительной панацеи от всех бед, которую видел в нем Писарев. Оно не было ни тем средством, которое мгновенно вызвало бы в России бурное развитие производительных сил, ни волшебной наукой, которая разом превратила бы молодежь России в «мыслящих работников», посвятивших себя служению «идее общечеловеческой солидарности». В лучшем случае оно способствовало расшатыванию религиозно-церковного миросозерцания и распространению в России естественнонаучного материализма.

Для воспитания «мыслящих реалистов», «новых людей» типа Рахметова и Базарова значительно большее значение имели статьи публицистов «Русского слова», посвященные революционным движениям народов, идеям утопического социализма и пропаганде так называемых «отрицательных идей», которыми так славился орган русского «нигилизма».

Считая, что устойчивое передовое мировоззрение может быть выковано лишь в результате упорного умственного труда, для которого нужны знания, журнал ориентировался в своей пропагандистской деятельности не на народ, а на так называемые «образованные слои» общества, на разночинцев.

Отметив факт удручающей бедности русского крестьянства, которому «учиться не на что», Благосветлов писал по этому поводу: «...Чтобы не ловить журавлей в небе и действовать более практически,— пока не изменится положение нашего крестьянства, мы должны идти к его образованию другим путем — сближением его с тем образованным классом, какой находится у нас... Пусть купец, мещанин, городской ремесленник, одним словом, все, кто ближе соприкасается с народом, сделаются поумнее, чем мы видим их теперь. Через них пройдет знание в массу без вся-

ких втискиваний и нравоучений...» (1863, 11—12, III, 51).

Превращение разночинной интеллигенции в «мыслящих реалистов» публицисты «Русского слова», Писарев прежде всего, и считали главной практической задачей времени, основной задачей журнала.

Некоторые исследователи полагают, что в деятельности по воспитанию «мыслящих реалистов» проявилось стремление публицистов журнала к «мирному» переустройству России. Они отрывают и даже противопоставляют работу журнала по пропаганде знаний и воспитанию «мыслящих реалистов» идее революционного переустройства общества. Подобное противопоставление неправильно.

Как уже говорилось выше, публицисты возобновленного «Русского слова» считают умственное освобождение масс непременным и обязательным условием революционного освобождения их. Просвещение народных масс, утверждает журнал, ведет к тому, что никакие «чисто внешние обстоятельства» не помешают народу достигнуть справедливости и благосостояния. «...Умный и образованный народ владеет такими активными способностями, которые дают ему средства отклонить или уничтожить эти обстоятельства. Если же он подставляет под них свою шею, как бык под ярмо, то значит, что сознание пассивного своего состояния у него недостаточно выработалось» (1863, 11—12, III, 45).

Слова эти принадлежат Благосветлову, который перекликается с Писаревым, заявившим в «Очерках по истории труда»: человек, ставший властелином природы, не может быть рабом другого человека.

Нельзя не вспомнить в этой связи и писаревский памфлет «Пчелы», где в форме естественнонаучной аллегории проводилась мысль, что эксплуататорский порядок вещей возможен лишь до тех пор, пока в общество не проникает свет. Как только луч света проникнет в улей, происходит катастрофа.

«Реалисты» как распространители знаний в массах будут играть, по мысли публицистов «Русского слова», активную революционизирующую роль. В лице «реалистов» журнал готовил и будущих руководящих деятелей революции, которые смогут упрочить результаты революции, если она произойдет, и привести революцию к победе. Они помогут народу воспользо-

ваться плодами революции, потому что «если даже чувство и энтузиазм приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножить мыслящих людей – вот альфа и омега всякого разумного общественного развития» (1864, 2, II, 42).

Это – одна сторона воззрений публицистов «Русского слова» на роль «реалистов» в обществе. Здесь публицисты журнала выступают убежденными революционными демократами. И не правы те исследователи, которые закрывают глаза на эту сторону теории «реализма» «Русского слова», не понимают, что воспитание «мыслящих реалистов» и воздействие через их посредство на народ было посильным вкладом журнала в дело подготовки будущей революции.

Однако не меньшую ошибку делают и исследователи, закрывающие глаза на то, что в своей теории «реализма» Писарев отступал от традиций Чернышевского, от революционного демократизма.

Переживая жестокие сомнения в революционных возможностях крестьянства, не будучи уверен в том, что русский народ найдет в себе силы, чтобы подняться на революцию, Писарев, вслед за социалистами-утопистами Запада, приходит к выводу о возможности и другого пути прогресса – мирного переустройства общества, мирного социалистического переворота в общественных отношениях людей. Путь этот несравненно более медленный и долгий, но, по мысли Писарева, вполне возможный.

К этому выводу Писарева подводила просветительская, рационалистическая философия истории. Если знание правит миром, если сила знания всемогуща, то почему нельзя свершить материальный переворот путем переворота в умах? Если сила знания, сила истины такая могучая сила, то неужели она не в состоянии преодолеть кастовой, классовой ограниченности сознания эксплуататоров и превратить их в «людей»?

Ведь еще в 1862 году в статье «Бедная русская мысль» – выдающемся произведении по своему революционному пафосу – Писарев утверждал, что в «цивилизованной нации», где народ осознал свои права, возможны или «постепенные изменения» в нравах и идеях, происходящие от смены поколений и от естественного движения жизни, или «крупные перевороты», соответствующие той или другой неудовлетво-

ренной потребности целого сословия, целой массы людей.

Сознавая глубокую проблематичность крестьянской революции, просветитель Писарев видит в 1864 году в качестве возможной альтернативы народной революции революцию в умах.

Воспитание «реалистов», «мыслящих работников», пропагандистов естественнонаучных и социалистических знаний может повести, по мысли Писарева, к тому, что свет теорий общечеловеческой солидарности, утилитаризма и «разумного эгоизма» разъяснит всем людям истинную сущность человеческой природы и ее потребностей. Распространение естественнонаучных знаний, теорий социализма, утилитаризма и «разумного эгоизма» может постепенно привести даже к перевоспитанию эксплуататоров.

Присвоение чужого труда, наивно считает Писарев, является в конечном счете результатом неразвитости человеческого ума: лихоимец просто не понимает, что его личное счастье невозможно вне счастья общества. «Если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякого рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди, вместе с тем, выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того мира, который их окружает. Тогда они поймут, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймут, что выгоднее и приятнее увеличивать общее богатство страны, чем выманивать или выдавливать последние гроши из худых карманов производителей и потребителей. Это будет делаться так потому, что капиталисты, во-первых, будут правильно понимать свою выгоду, а во-вторых, будут находить наслаждение в полезной работе. Это предположение может показаться идиллическим, но утверждать, что оно — неосуществимо, значит утверждать, что капиталист не человек и даже никогда не может сделаться человеком» (1864, 2, II, 41).

Перевоспитание капиталистов в разумных руководителей народного труда приведет к изобилию и распространению просвещения в массах народа,— «а если народ будет деятелен, богат и умен, то что же может помешать ему сделаться счастливым во всех отношениях?» (1864, 2, II, 42).

Писаревская теория умственного перевоспитания

капиталистов обходила молчанием политические проблемы, а именно — вопрос о самодержавии. Оговорка, приведенная выше, содержит намек на то, что «деятельному, богатому и умному» народу «ничто не может помешать» любым путем избавиться от самодержавия и «сделаться счастливым во всех отношениях».

В статье «Реалисты» («Нерешенный вопрос») Писарев развивает свою мысль дальше и отчетливо формулирует ее.

«Общественное мнение, если оно действительно сильно и разумно, — говорит здесь Писарев, — просачивается даже в те закрытые лаборатории, в которых приготовляются исторические события. Искусные химики, работающие в этих лабораториях, сами живут все-таки в обществе и незаметно для самих себя пропитываются теми идеями, которые носятся в воздухе. Нет той личности и той замкнутой корпорации, которые могли бы считать себя вполне застрахованными против незаметного и нечувствительного влияния общественного мнения. Иногда общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем. Но кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или другое направление мыслям самих руководителей. Таким образом, даже исторические события подчиняются до некоторой степени общественному мнению» (1864, 11, II, 47).

Если внимательно вчитаться в это высказывание, то будет очевидно, что и механический и химический путь Писарев рассматривал как один из возможных результатов развития общественного *мнения*, то есть воспитания «мыслящих реалистов». Таким образом, воспитание «мыслящего пролетариата» как фермента критической мысли общества способствует, по Писареву, подготовке страны как к первому, более быстрому, так и ко второму, более медленному пути прогресса. Данное высказывание показывает, что вряд ли правомерно утверждать, будто «химический» путь для Писарева служил подготовкой «механического» пути. Если под выражением «химический путь» понимать процесс воспитания «мыслящих реалистов», то в таком случае данное утверждение в какой-то мере оправдано. Однако процесс создания «мыслящих реалистов», процесс создания «общественного мнения», по Писареву, не является ни «химическим», ни «механическим» путем, но лишь подготовительной работой,

которая может привести к тому или другому возможному результату.

«Механический путь» — это революционное преобразование общества путем переворота «снизу», причем ему должно предшествовать интенсивное воспитание масс, так как «умные и сильные люди всегда будут одерживать перевес над слабыми и тупыми или притупленными».

«Химический путь» — это социалистическое преобразование общества путем мирного перевоспитания эксплуататорских классов силой естествознания и социалистических идей, что приведет в конечном счете к изменению «направления мыслей» и руководителей общества, представляющих интересы этих классов. «Химический путь» предполагает перевоспитание капиталистов в «мыслящих и расчетливых руководителей народного труда» с помощью распространения силами «реалистов» естественнонаучных социалистических знаний.

Двойная функция естествознания сливается здесь воедино: естественные науки способствуют увеличению производства, росту капиталистической промышленности и в то же время помогают перевоспитанию эксплуататоров в мыслящих руководителей социалистического народного труда.

Теория «химического пути» преобразования действительности являлась, несомненно, просветительским отступлением от принципов революционного демократизма, в основе которого, как известно, лежит идея крестьянской революции.

Следует отметить, что подобные иллюзии в 1863—1864 годах были не только у Писарева, но и у Благосветлова, у Щапова, в меньшей степени у Зайцева и Шелгунова.

Справедливости ради следует сказать, что иллюзии о возможности «мирного» пути к социализму в условиях самодержавия были лишь временным отступлением Писарева и его товарищей от традиций революционного демократизма. Начиная с 1865 года мысль о возможности перевоспитания капиталистов стала вызывать у них все большие сомнения.

В середине 1865 года в мировоззрении Писарева, как справедливо отмечал Б. П. Козьмин в работе «Писарев и социализм», наступил перелом. Точку зрения Б. П. Козьмина разделяет Л. А. Плоткин. Он оспари-

вает только то положение Козьмина, что одной из причин перелома в воззрениях Писарева было появление романа Чернышевского «Что делать?», свидетельством чему, по утверждению Козьмина, является работа Писарева «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»). Плоткин справедливо указывает, что роман Чернышевского появился в 1863 году и что в том же году Писарев написал статью «Мысли о русских романах», посвященную «Что делать?», которая «развертывалась в том же плане, что и напечатанная в 1865 году статья «Новый тип» («Мыслящий пролетариат)»[1]. В нашем распоряжении имеются архивные документы, убеждающие, что «Мысли о русских романах» не только предвосхищали «Новый тип», но являлись по крайней мере вариантом данной статьи[2].

Публикация В. А. Архиповым новых, неизвестных глав статьи о романе Чернышевского, относящихся к 1863 году, окончательно подтверждает эту точку зрения[3]. По-видимому, одной из причин изменений во взглядах Писарева на революцию являлся подъем борьбы западноевропейского пролетариата в 1864—1865 годах, на что и указывает Козьмин.

Другая возможная причина — в активизации сил революционной демократии Москвы и Петербурга во второй половине 1865 года, что проявилось в деятельности «Организации» Ишутина и Худякова. Как известно, Ножин, самый близкий друг В. Зайцева, был членом худяковского кружка. Почти все окружение Зайцева, равно как и сам Зайцев, во второй половине 60-х годов были очень близки к этой революционной организации.

Взаимоотношения публицистов «Русского слова» и будущих каракозовцев заслуживают специального исследования. Бесспорен тот факт, что со второй половины 1865 года, как это явствует из статей «Школа и жизнь», «Исторические идеи Огюста Конта», «Новый тип» (июль — ноябрь 1865 года), «Генрих Гейне» (1867), «Французский крестьянин в 1789 году» (1868) и др., Писарев отказывается от своих иллюзий

---

[1] Плоткин Л. А. Писарев и общественно-литературное движение 60-х годов, с. 274.

[2] См.: Кузнецов Ф. Судьба пропавшей статьи Д. И. Писарева. — Новый мир, 1957, № 1. См. также наст. изд. с. 639—642.

[3] См.: Архипов В. Неизвестные страницы Д. И. Писарева. — Литературная Россия, 1964, № 18 (70), с. 9.

о возможности мирного «химического пути» изменения действительности с помощью перевоспитания капиталистов. В статье «Школа и жизнь» он решительно заявляет, к примеру, что вопрос о голодных и раздетых людях «разрешится не какими-нибудь посторонними благодетелями и покровителями, а только самими работниками, когда к их рабочей силе, практической сметливости и трудолюбию присоединится ясное понимание междучеловеческих отношений и умение возвышаться от единичных наблюдений до общих выводов и широких умозаключений» (1865, 8, I, 84).

Эта мысль получила дальнейшее развитие и стала преобладающей в статьях журнала второй половины 1865 года.

В это время Писарев печатает статью, которая, как убедительно показывает в работе «Писарев и социализм» Б. П. Козьмин («Литература и марксизм», 1928, № 1—4), уже по своему замыслу полемически заострена против идеи статьи «Реалисты». Речь идет о статье «Подрастающая гуманность», где в лице героя повести Слепцова «Трудное время», просвещенного помещика Щетинина Писарев беспощадно разоблачил беспочвенность надежд на превращение эксплуататоров в «мыслящих руководителей народного труда».

В статье «Исторические идеи Огюста Конта» Писарев продолжает разоблачение своих иллюзий о возможности экономического освобождения трудящихся в результате перевоспитания эксплуататоров. Он высмеивает здесь намерение Конта возложить решение задачи о голодных и раздетых людях «на будущую теоретическую власть, которая даст богачам превосходное нравственное воспитание и обяжет их таким образом осыпать бедное человечество всевозможными благодеяниями» (1865, 11, I, 221).

Рассуждение Конта о том, что со временем капиталист будет готов отдать ближнему последнюю рубашку, по мнению Писарева, «очень основательное и добродушное,— но, к сожалению, бедные классы общества, как больные, чающие движения воды, ждут безуспешно почти две тысячи лет, чтобы в их богатых соотечественниках пробудилось эксцентрическое желание снимать с себя, в пользу ближнего, последнюю рубашку. Желание это не пробуждается, и люди до сих пор постоянно производят снимание рубашек не над собою, а над своими бессильными и неопытными

ближними, которые, на юмористическом языке филантропов, называются младшими братьями. Ввиду таких выразительных фактов, другие мыслители, более дальновидные, сообразили, что если бедным классам общества надо будет, для улучшения своей участи, ожидать терпеливо, пока старшие братья украсятся добродетелями,— то дело этих бедных классов всего лучше будет теперь же сдать в архив, с полной уверенностью, что оно решится после дождичка в четверг. Эти другие мыслители поняли, что требовать от старших братьев ненависти к своим собственным выгодам — значит требовать психологической невозможности, следовательно,— умышленно или неумышленно — увековечивать то положение вещей, благодаря которому процветает снимание рубашек...» (1865, 11, I, 205—206).

Мы привели эту длинную выписку из статьи «Исторические идеи Огюста Конта» для того, чтобы продемонстрировать, какой резкой критике подверг в конце 1865 года Писарев свою собственную идею о возможности нравственного перевоспитания эксплуататоров. Идея эта, по мнению Писарева, не только не осуществима,— она приносит вред освободительному движению. «Чисто нравственное влияние,— утверждает он,— оказывается всегда совершенно бессильным, если оно идет наперекор личным выгодам тех людей, на которых следует действовать, и если, кроме того, оно ежеминутно парализуется теми разнообразными искушениями, которые порождает весь строй общественной жизни. При таких условиях сами влиятели развращаются до мозга костей и становятся на один уровень с теми людьми, которых требовалось облагородить... Поэтому для решения задачи о голодных людях необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, задачу эту должны решить непременно те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды, то есть ее должны решить сами голодные люди, сами пролетарии, сами работники. Кто берется решать ее *для* работников, но не *через* работников, тот, наверное, кого-нибудь обманывает, самого себя или свою публику. Во-вторых, решение задачи заключается не в возделывании личных добродетелей, а в перестройке общественных учреждений» (1865, 11, I, 221—222).

В полном соответствии с этими последовательно

революционными выводами Писарев вносит коррективы и в свою теорию «разумного эгоизма».

Называя эгоизм «самым великим, плодотворным и неистребимым свойством нашей животной природы», той «грубой животной страстью», благодаря которой «человечество спасалось от гибели на каждом шагу», Писарев сетует на то, что народ по бедности своего развития не следует пока что этому принципу. «Если *каждый* будет постоянно стремиться к своей собственной выгоде и если *каждый* будет правильно понимать свою собственную выгоду, то, конечно, никто не будет снимать рубашку с самого себя, но зато это добродетельное снимание окажется излишним, потому что каждый будет отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вследствие этого каждая рубашка будет украшать и согревать именно то тело, которое ее выработало» (1865, 11, I, 206).

В теории «разумного эгоизма» акцент теперь ставится не на том, что она может убедить богача отдать свою рубашку ближнему, так как «счастье личности невозможно вне счастья общества», а на том, что она заставит бедняка решительно и бесповоротно отстаивать плоды своего труда.

Цензура тут же отметила откровенную революционную направленность статьи «Исторические идеи Огюста Конта». В докладе С.-Петербургскому цензурному комитету цензор Скуратов отмечал, что, по мнению автора статьи «Исторические идеи Огюста Конта», «сильных может удержать от посягательства на личность и собственность слабых единственно страх встретить опасный отпор; а для этого нужно, чтобы слабые умели защищать себя коллективною силою масс, в доказательство чего он описывает восстание крестьян в средних веках вследствие пропаганды плотника Дюрана» [1].

Не менее отчетливо пропагандировала идею революции и статья «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), написанная в первоначальном варианте в 1865 году и появившаяся в печати в конце 1865 года. В статье этой по-новому решался вопрос о роли «реалистов» в обществе.

Если в период 1864 – начала 1865 года революционный смысл деятельности «новых людей» типа

[1] ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 3, ед. хр. 161.

Рахметова Писарева в общем-то не волновал и на первый план выступала их просветительская деятельность (см. трактовку образа Рахметова в «Реалистах»), то в этой статье «реалисты», «новые люди» типа Рахметова для Писарева не просветители образованных классов, но, прежде всего, революционные вожди масс.

Именно так трактует здесь Писарев образ Рахметова.

«В общем движении событий, — говорит Писарев, — бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко и проходят быстро, так что их надо ловить на лету и ими надо пользоваться как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв или, по крайней мере, полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за нее бывают готовы идти в огонь и в воду... Те Рахметовы, которым удается увидеть на своем веку такую минуту, развертывают при этом случае всю сумму своих колоссальных сил; они несут вперед знамя своей эпохи, и, уж конечно, никто не может поднять это знамя так высоко и нести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою родных и друзей, и все личные привязанности, и все личные радости человеческой жизни. В эти минуты Рахметовы выпрямляются во весь рост, и этот колоссальный рост как раз соответствует величию событий; если бы в эти минуты могли выступить из толпы десятки новых Рахметовых, то все они нашли бы себе работу по силам; но их вообще мало, и по недостатку в таких людях все великие минуты в истории человечества до сих пор обманывали общие ожидания, приводили за собою горькое разочарование и сменялись вековою апатиею» (1865, 10, II, 51 — 52).

«Новые люди», Рахметовы — это революционеры, вожди народных масс, выразители революционных устремлений народа, а раз такие люди в России существуют, как это показывает роман Чернышевского, значит, «светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать. Где появляются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и пробуждают живые надежды».

Надежды Писарева на лучшее будущее русского народа определяются сейчас его верой в возможность революционного переустройства жизни. Вместе с тем он по-прежнему энергично подчеркивает, что необходимым условием революционного движения является *сознательность* народных масс, и в качестве главной задачи он ставит перед разночинной интеллигенцией задачу политического воспитания масс.

О новых тенденциях в идейном развитии Писарева наиболее красноречиво говорят его работы 1867—1868 годов, в частности статья «Генрих Гейне» и статья «Французский крестьянин в 1789 году».

Если в статье «Генрих Гейне» Писарев слагает подлинный гимн «титанам любви» — вождям поднявшихся на революцию народных масс, то в статье «Французский крестьянин в 1789 году» Писарев теоретически раскрывает свой взгляд на народную революцию.

Статья «Французский крестьянин в 1789 году» посвящена романам Эркмана — Шатриана «Тереза», «Воспоминания рекрута 1813 года», «Ватерлоо» и др., опубликованным в «Русском слове» в 1865 году, а также роману «История крестьянина», опубликованному в 1868 году в «Деле».

Статья эта разъясняет причину, по которой «Русское слово» обратилось к романам Эркмана—Шатриана. Причина в том, что романы Эркмана и Шатриана «берут людей народной массы в те торжественные минуты, когда в этой массе под влиянием многолетнего горя начинает созревать неотложная потребность отдать себе строгий и ясный отчет в том, что мешает ей жить здоровой человеческой жизнью... Они стараются ввести читателя в ту таинственную лабораторию, почти недоступную для историка, где вырабатывается, из бесчисленного множества разнороднейших элементов и под влиянием тысячи содействующих и препятствующих условий,— тот великий *глас народа*, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается *гласом божиим*, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий» (4, 400).

Вот это-то внимание Эркмана — Шатриана к эпохам, в которых проблески «самосознания масс» оказывали «самое серьезное и неизмеримо благодетельное влияние на общее течение исторических событий»,

и составляет, на взгляд Писарева, самое ценное в романах Эркмана – Шатриана.

В романах Эркмана – Шатриана ставился, по мнению Писарева, самый важный для того времени вопрос, вопрос о том, «как и почему разоренный и забитый народ мог в решительную минуту развернуть и несокрушимую энергию, и глубокое понимание своих потребностей и стремлений, и такую силу политического воодушевления... как и почему заморенный и невежественный народ сумел и смог подняться на ноги и обновиться радикальным уничтожением всего средневекового беззакония...» (4, 406).

Ответ Писарева на этот вопрос показывает, что он распростился с недооценкой революционных возможностей народа. Он ставит перед разночинной интеллигенцией задачу *политического* воспитания масс в целях подготовки их к революции. По его мнению, Французская революция была результатом не просто «умственного», но *политического пробуждения* французского народа, обусловленного пропагандой среди работников и крестьян со стороны политически грамотных людей из «низшего духовенства» и «низших слоев буржуазии», понимавших «горе и нужду» народа и в то же время заглядывающих в «запрещенные книжки». «При таких наставниках французский народ... не мог остаться неучем и недорослем в политическом отношении» (4, 422).

А что мешает русской разночинной интеллигенции – выходцам из «низшего духовенства» и «низших слоев буржуазии» – превратиться в подобных же наставников русского народа?

Статья Писарева «Французский крестьянин в 1789 году», отстаивая идею народной революции, ставила перед русской разночинной интеллигенцией задачу *политической* подготовки масс к будущему перевороту.

Перелом в мировоззрении, который совершился во второй половине 1865 года, был подготовлен всем предшествующим развитием Писарева. Ведь даже во время самых сильных колебаний Писарев отчетливо видел все преимущества революционного пути изменения действительности. Писарева отличало от Чернышевского то, что у него *не хватало веры в возможность революции,* но отнюдь не отрицательное отношение к ней.

Вторая половина 1865 года явилась началом нового подъема в духовном развитии Писарева. Он шел к наивысшей идейной зрелости, полному духовному возмужанию.

Указанную эволюцию проделал в 1865 году не только Писарев, но и весь журнал в целом. Позиции журнала в вопросах тактики и стратегии освободительного движения стали более последовательными и определенными.

Именно в этот период Н. В. Шелгунов, колебания которого в отношении революции в период 1863—1864 годов были наименьшими по сравнению с другими сотрудниками журнала, дал глубокую критику ограниченности западноевропейского утопического социализма с позиций последовательного революционного демократизма. Во второй части статьи «Рабочие ассоциации» Шелгунов критиковал западноевропейский утопический социализм, в частности Фурье, за отрицание им революционных методов решения вопроса о голодных людях, противопоставляя «мирному демократизму» фурьеристов «революционный демократизм», впервые применив этот примечательный термин. Тогда-то цензор Скуратов и заявил: *«Мирные* демократы, очевидно, не удовлетворяют требованиям и целям «Русского слова»...»[1]

В журнале «Русское слово» в 1865 году Соколов и особенно Зайцев последовательно проводили идею революции как *единственного* средства освобождения народных масс. Именно в 1865 году В. Зайцев помещает большинство своих статей и рецензий, посвященных историям европейских революций. Рецензию на «Историю Крестьянской войны в Германии» Циммермана («Русское слово», 1865, № 8) В. Зайцев специально посвятил доказательству той мысли, что прогресс в истории движется *только силой.* Полемизируя с Антоновичем, который обвинил Зайцева, что тот «видит весь смысл истории в одних войнах», Зайцев писал:

«Я... не боюсь упрека в том, что в истории вижу одни войны. Что сила играет в истории главную роль, это видно из самого беглого взгляда...» (1865, 8, II, 43). Конечно, нравственные силы играют, по признанию Зайцева, в истории большую роль. Но Зайцев не

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161.

соглашается с теми историками и публицистами, которые отрицают «значение материальной силы, забывая, что нравственные начала становятся силою только тогда, когда приобретают помощь физической силы, и что сила их только в том, что они имеют свойство рано или поздно заставлять материальную силу служить себе» (1865, 8, II, 43—44).

Статья пронизана мыслью о том, что без революционного насилия, без революционной борьбы классов не может быть развития истории. Статья полемически заострена не только против Антоновича, ставившего под сомнение роль революционного насилия в истории, но и против идеи двух путей развития («механического» и «химического»), пропагандировавшейся в 1864 году на страницах «Русского слова».

Глава V

ЕЩЕ РАЗ О «РАСКОЛЕ В НИГИЛИСТАХ»

1

В истории нашей журналистики не было более горячих и неуступчивых полемических бойцов, чем публицисты «Русского слова». Свои идеи они проводили и отстаивали в непрекращающейся журнально-литературной борьбе.

Борьба эта велась на два фронта. И если суть полемики с реакционной и либеральной журналистикой, которую Писарев, Зайцев и Соколов вели систематически на всем протяжении существования журнала, более или менее ясна, то сущность и причина внутренних распрей в лагере революционной демократии и прежде всего нашумевшей полемики «Русского слова» с «Современником» в 1863—1866 годах требуют самого тщательного рассмотрения.

При этом следует помнить, что главный водораздел журнальной борьбы в ту эпоху пролегал отнюдь не между «Русским словом» и «Современником» — какой бы горячей ни была полемика этих двух журналов. Главный водораздел борьбы, как мы уже убедились выше, лежал между «Современником», «Русским словом» и «Искрой», с одной стороны, и противостоя-

щим им «журнальным стадом» (выражение Писарева) реакционно-официальной, славянофильской и либеральной журналистики, с другой.

«Русское слово» с его остротой и страстью к полемической борьбе, с его последовательно выдержанным демократическим направлением беспрестанно вызывало на себя огонь всей охранительной журналистики. В борьбе с «журнальным стадом» «Русское слово» занимало позиции не оборонительные, но наступательные.

«Русское слово» «оделено таким значительным количеством пишущих и печатающихся врагов; оно пользуется такою единодушной и пламенной ненавистью журнальных и газетных мудрецов; оно читается этими мудрецами так пристально и внимательно, что через неделю после выхода каждой новой книжки «Русского слова» все изложенные в ней мысли и даже все отдельные выражения уже сочтены, измерены, взвешены, обнюханы, прочувствованы и приняты к сведению» (1865, 7, I, 132),— иронизировал Писарев в статье «Школа и жизнь».

Особенно богатую жатву на страницах охранительных изданий вызвала полемика «Современника» с «Русским словом».

К примеру, только Зарин выступил на страницах «Отечественных записок» 1864—1865 годов по поводу «Русского слова» минимум пять раз («Начало конца. Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме».— 1864, № 6; «Опыт добродетели в полемике».— 1864, № 10; «О количестве и качестве прогресса в новейшем движении нашей литературы».— 1865, № 2, и т. д.). Не переставая обстреливали «Русское слово» журналы «Время» и «Эпоха» (Дм. Аверкиев. Университетские отцы и дети.— «Эпоха», 1864, № 1—3; Ф. Достоевский. Г. Щедрин, или Раскол в нигилистах. «Эпоха», 1864, № 5; Н. Соловьев. Бесплодная плодовитость.— «Эпоха», 1864, № 2; Н. Соловьев. Теория безобразия.— «Эпоха», 1864, № 7; Н. Соловьев. Теория пользы и выгоды.— «Эпоха», 1864, № 11, и т. д.). Все охранители — от «Русского вестника» и «Московских ведомостей» Каткова до либеральной «Библиотеки для чтения» — объединились в борьбе с «Русским словом». При этом если выступлениям против «Русского слова» и «Современника» на страницах охранительных журналов цензура давала

зеленую улицу, — публицисты «Русского слова» крушили «журнальное стадо», преодолевая сопротивление цензуры.

Среди писем Д. И. Писарева, опубликованных В. Г Штарком в журнале «Русское обозрение» в 1893 году, нами обнаружен блистательный памфлет Писарева, посвященный Каткову (оригинал его хранится в архиве Пушкинского дома АН СССР)[1]. Темой и сюжетом для этого выступления, написанного осенью 1865 года, послужила полемика «Московских ведомостей» с газетой Краевского «Голос», субсидируемой министерством народного просвещения. Катков в ряде номеров своей газеты намекал на рептильность «Голоса». Краевский разразился грозным опровержением. Ответом на него явилась статья Каткова, на материале которой Писарев и построил свой блестящий фельетон. В основу его легла мысль о том, что «Московские ведомости» исходят самой черной завистью к рептильности «Голоса», полагая, что именно они, а не кто-нибудь еще, заслужили подачку правительства. Писарев говорит о «непоколебимом мужестве» и «многострадальном подвижничестве» «Московских ведомостей», которые развивают свою охранительную деятельность, несмотря на то что буквально «подвергаются поруганию насчет русского государственного казначейства».

«Как велик и кроток г. Катков, как мелки и злобны враги его, как продолжительны и тягостны его прометеевские страдания и как сильно заблуждается *русское государственное казначейство*, подвергая *на свой счет* жестокому поруганию то, что так покорно и настоятельно выпрашивает себе поощрения и прославления»[2], — восклицает критик. Этот блестящий памфлет Писарева, по-видимому, так и не преодолел цензурных рогаток и не был напечатан на страницах «Русского слова». Такая же судьба, очевидно, постигла и статью Писарева «Наши усыпители», посвященную охранительной литературе и печати. Статья увидела свет лишь в 1868 году, в собрании сочинений Писарева (есть предположение, что первоначальное название

---

[1] См. «Две статьи Д. И. Писарева». Публикация Ф. Ф. Кузнецова». — Из истории русской журналистики. Изд-во МГУ, 1959. Публикация перепечатывается в данной книге, с. 643—652.

[2] Из истории русской журналистики, с. 227.

этой статьи было «Картонные герои»; статью под таким названием не пропустила цензура в 1864 году).

Однако и те полемические выступления против «журнального стада», которые пробивались на страницы «Русского слова», содержали убийственную, неопровержимую характеристику «усыпителей». Главными полемическими бойцами с «журнальным стадом» в «Русском слове» были Писарев и Зайцев. Такие выступления, как «Прогулка по садам российской словесности», «Сердитое бессилие» Писарева, «Перлы и адаманты нашей журналистики», «Славянофилы победили» и другие, Зайцева,— яркие документы полемической борьбы 60-х годов. Постоянный обстрел охранительной журналистики вел в «Дневнике темного человека» Д. Минаев. Острый памфлет, разоблачающий нравы московской реакционной печати, под названием «Московская литературня» напечатал в «Русском слове» М. Воронов (1864, IV).

Полемические бои с «журнальным стадом» публицисты «Русского слова» вели остроумно, талантливо, зло. «Не знаю как кому, а мне чрезвычайно нравится современная русская литература. Какое разнообразие в талантах! Громека напоминает Демосфена, князь Вяземский напоминает Андрея Шенье, Аполлон Григорьев напоминает некоторые физические отправления Диогена, как уверяют те, которые присутствовали на его лекциях, и, наконец, все напоминают друг друга»,— характеризует своих противников Зайцев.

К сожалению, подобный тон разговора был характерен для публицистов «Русского слова» не только тогда, когда они разговаривали со своими врагами, но и тогда, когда они вели полемику с «Современником».

2

«Раскол в нигилистах» — ожесточенная полемика, которую вели в 1864 году Салтыков-Щедрин и журнал «Русское слово»,— вызвал шумную реакцию среди современников. Полемика эта и до сих пор продолжает волновать историков литературы.

Каковы причины этого спора? В чем сущность его?

В работах В. Кирпотина, С. Борщевского, В. Ев-

геньева-Максимова и других[1] дается достаточно определенный ответ на этот вопрос: смысл полемики — в борьбе последовательного революционного демократа Щедрина с группой буржуазных радикалов, сосредоточившихся вокруг «Русского слова». Щедрин критикует радикалов за отказ от идей революции, за отступление от традиций Чернышевского, за измену революционному демократизму.

Убедительность данной точки зрения возрастает потому, что у Писарева и его товарищей по журналу в период 1864—1865 годов, как мы убедились, действительно были серьезнейшие отступления от революционного демократизма.

Может быть, в последовательной критике писаревской идеи «химического пути» и заключался смысл полемических выступлений Щедрина?

Утвердительный ответ, казалось бы, напрашивается сам собой. Но такой ответ на этот вопрос будет закономерен лишь в том случае, если мы представим себе Щедрина 60-х годов убежденным революционером, последовательным представителем крестьянской революционности. Именно из такой предпосылки исходят некоторые исследователи в своей оценке полемики «Современника» и «Русского слова» в 1863—1864 годах.

Мысль о революционно-демократических устоях мировоззрения Щедрина в основе своей безусловно верна. Уже на раннем этапе своей литературной и общественной деятельности, в бурную эпоху 60-х годов великий русский сатирик был близок Чернышевскому и Добролюбову, сотрудничал в «Современнике», выражал в своем творчестве идеалы русского крестьянства.

Но можно ли поставить знак равенства между мировоззрением Чернышевского и мировоззрением Щедрина 60-х годов при всей общности взглядов того и другого? Можно ли отождествлять мировоззрение Щедрина 60-х годов с мировоззрением Щедрина 70—80-х годов?

---

[1] См.: Кирпотин В. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. М., Советский писатель, 1955; Борщевский С. Раскол в нигилистах.— В кн.: Борщевский С. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М., Гослитиздат, 1956, приложение; Евгеньев-Максимов В., Тизенгаузен Г. Последние годы «Современника», 1863—1866. Л., Гослитиздат, 1939.

Ответ на этот вопрос, — и, на наш взгляд, ответ правильный, — содержится в исследованиях «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы» Е. Покусаева (Саратовское книжное издательство, 1957), «Сатира Салтыкова-Щедрина» А. Бушмина (издательство АН СССР, 1959). Без учета того, что сделано в этих работах, нельзя правильно решить и вопрос о «расколе в нигилистах», о той полемике между Салтыковым-Щедриным и публицистами «Русского слова», которая развернулась в 1863—1864 годах.

И Е. Покусаев и А. Бушмин разрабатывали в принципе одну концепцию мировоззрения Салтыкова-Щедрина периода 60-х годов, концепцию, близкую и нам. Идейное развитие Щедрина в период 60-х годов характеризуется в этих работах во всей противоречивости его духовных исканий. Под воздействием идей Чернышевского, под влиянием всей обстановки в стране Щедрин проделал в 60-е годы трудную идейную эволюцию к более зрелому демократическому мировоззрению.

«Губернские очерки», наносившие серьезный удар по самодержавию и крепостничеству, свидетельствовали и о политических иллюзиях автора, о том, что Салтыков-Щедрин в этот период был склонен признавать прогрессивную, преобразующую роль честного, просвещенного, демократически настроенного чиновничества.

Вера в возможность появления таких чиновников, которые руководствовались бы передовыми воззрениями и оказывали благотворное воздействие на общественную жизнь, как справедливо отмечает в своем исследовании А. Бушмин, была не только не чужда Салтыкову, но вдохновляла его на добровольную бюрократическую деятельность. С этой концепцией «идейного в демократическом смысле чиновника, способного приносить общественную пользу своею деятельностью в лагере царской бюрократии», Салтыков-Щедрин окончательно распрощается, по мнению А. Бушмина, «значительно позднее, не ранее 1868 года, когда Салтыков навсегда оставит чиновничью службу» [1].

Эта концепция была связана с просветительскими

---

[1] Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1959, с. 28.

иллюзиями Салтыкова-Щедрина о возможности победы демократических идеалов мирным путем. Иллюзии эти проявились, в частности, и в той картине «странной бесконечной процессии» – похоронной процессии, которой заканчиваются «Губернские очерки».

Концовка «Губернских очерков» – не случайная обмолвка Салтыкова-Щедрина. Именно в это время он задумывает целый цикл очерков и рассказов, объединенных одной идеей, развивающий мысль, выраженную в концовке «Очерков». Этот цикл должен был называться «Книгой об умирающих» [1]. Сатирик предполагал создать галерею типов духовных и политических банкротов, которые ходом жизни 50–60-х годов были обречены, по мнению Щедрина, на смерть.

Жизнь способствовала постепенному освобождению Салтыкова-Щедрина от этих просветительских иллюзий. Его демократический идеал с каждым годом становился все более отчетливым. Однако процесс этот был сложным, мучительным, трудным.

Жизненный опыт убеждал Щедрина, что Падейковы и Зубатовы, которых он похоронил в 1859 году, не только живут, но и здравствуют, и при этом забирают в свои руки дело обновления России, дело освобождения крестьян. Именно в 1861 году (в очерке «Литераторы-обыватели», а потом в очерках «Клевета», «Наши глуповские дела», «Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство») на смену Крутогорску в сатире Щедрина приходит Глупов – символическое обозначение самодержавно-крепостнической России. В 1861 году у сатирика зарождается замысел истории Глупова, воплощенный позже в «Истории одного города». Это свидетельствует о резком углублении демократического мировоззрения у Щедрина.

В сатирических очерках 1861 года по-новому ставится и вопрос о реформах 60-х годов. Если раньше Щедрин явно переоценивал значение александровского «обновления» России, верил, что с ним придет конец многому, что мешает жить народу, то теперь он воспринимает реформы 60-х годов более реалистически. Рисуя ужас глуповцев перед начавшимся «возрождением», Щедрин утверждает, что «возрождение» это до-

---

[1] См.: Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч., т. IV. Л., Гослитиздат, 1935, с. 169. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

стойно Глупова и глуповцев, что это «глуповское возрождение».

Преодоление иллюзий в оценке самодержавно-крепостнических реформ со всей остротой поставило перед Щедриным новые проблемы. Все они в конечном счете сводились к одному: если знаменитое «возрождение» России, о котором так много кричали либералы в 60-е годы,— фикция, обман, если это «глуповское возрождение», то где же пути и те силы, которые привели бы к подлинному возрождению России и к освобождению «Иванушек» от голода и нищеты? В очерках «К читателю» («Современник», 1862, № 2), «Каплуны» (запрещен цензурой в 1862 году), «Глуповское распутство» (запрещен цензурой в 1862 году), в неоконченной повести «Тихое пристанище» (1862) Щедрин обращается к проблемам стратегии и тактики освободительной борьбы. В конце 1861 года в очерке «Наши глуповские дела» у Щедрина появляется противопоставление «глуповскому возрождению» не только «возрождения умновского», но и «возрождения буяновского» (III, 252). Таким образом, Щедрин в это время, так же как Писарев в 1863—1864 годах, видит два возможных пути действительного возрождения России — путь «буяновский» («открытая борьба со злобою дня») и путь «умновский» («нравственно-воспитательное воздействие»). В публицистике Щедрина 1862 года немало страниц уделяется раздумьям относительно реальности того и другого пути.

Очерки и статьи Щедрина показывают, что он в это время полагал, будто народ, забитый веками крепостничества, спит беспробудным сном. «Я патриот и люблю Глупов не за стерлядей его, а за то, что на дне родной его реки спит, как мне кажется, чудище рыба-кит» (III, 260). Мысль эта проводится Щедриным не только в 60-х, но и в начале 70-х годов («История одного города»).

Правда, в хронике «Наша общественная жизнь» (1863—1864) Щедрин высказывал, казалось бы, прямо противоположную мысль, что именно народ является главной устроительной силой истории. «...Я не назову этой силы,— говорит Щедрин,— а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года... Вникните в смысл этой реформы, взвесьте ее подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убеди-

тесь: во-первых, что, несмотря на всю забитость и безвестность, одна только эта сила и произвела всю реформу, и, во-вторых, что, несмотря на неблагоприятные условия, она успела положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успела найти себе поборников даже в сфере ей чуждой» (VI, 109). В очерке «Глуповское распутство» (1862), не пропущенном цензурой, Щедрин с большой смелостью раскрыл главную причину реформ (страх Сидорычей перед возмездием Иванушек) и издевался над Сидорычами, заигрывающими с Иванушками. Однако вслед за «Глуповским распутством», вслед за хроникой «Наша общественная жизнь» Щедрин в «Истории одного города» вновь вернулся к теме забитости и покорности угнетенного народа, символически изобразив здесь народ в образе «глуповцев», «головотяпов», «рукосуев» и т. д.

Казалось бы, где логика? Была ли у Щедрина в период 60-х — начала 70-х годов какая-то определенная точка зрения относительно роли народных масс в истории?

Ответ на этот вопрос дал сам Щедрин в известном письме к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 года, а также в письме в редакцию «Вестника Европы». «...Рецензенту не нравится, что я заставляю глуповцев слишком пассивно переносить лежащий на них гнет... — писал здесь Щедрин. — Я... не спорю, что можно найти в истории и примеры уклонения от этой пассивности, но... для меня важны не подробности, а общие результаты; общий же результат, по моему мнению, заключается в пассивности...

Вообще, недоразумение относительно глумления над народом, как кажется, происходит оттого, что рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих... Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности» (XVIII, 239—240).

В данном письме Щедрин объяснил свою позицию в вопросе о роли масс не только применительно к «Истории одного города», но и к 60-м годам вообще, когда в качестве главной проблемы перед ним

вставала не проблема «народа» как «воплотителя идей демократизма» (этот вопрос был для Щедрина решен), но проблема «народа исторического», то есть «действующего на поприще истории».

Размышляя о революционных возможностях крестьянства в 1861—1862 годах, Щедрин приходил к выводу, отличному от выводов Чернышевского и аналогичному выводам Писарева: народ русский спит и неизвестно, когда проснется. И в объяснении истоков пассивности русского народа он был очень близок к Писареву. Причина этого, по мнению Щедрина, в том, что народ русский «глуп» (отсюда — и термин «глуповцы»), а глуп он потому, что «можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п. Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенствоваться, когда мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду» (III, 61). Здесь — почти дословное повторение знаменитого писаревского положения: мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны. Как и Писарев, Щедрин переоценивает силу разума, мысли, в основе его воззрений лежит просветительская вера в победу ума над глупостью. Вера во всепобеждающую силу разума питает не только его исторический оптимизм, но и его иллюзии о возможности «умновского» обновления, мирного пути демократических преобразований.

Мучительно пытаясь найти выход из положения в условиях, когда «Иванушки» спят, Щедрин создал крайне своеобразную теорию освобождения масс «воровским способом». Теория эта нашла свое наиболее полное выражение в очерках «Каплуны» и «К читателю» [1].

Уже в очерке «К читателю» Щедрин в общих чертах высказывает ту мысль, которая легла в основу

[1] «Каплуны» писались в течение 1861 года. Последняя редакция «Каплунов» должна быть отнесена, по-видимому, к январю 1862 года (Кирпотин В. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, с. 144.) Очерк «К читателю» писался, очевидно, в это же время: окончательная редакция закончена не позже декабря 1861 года. 3 января 1862 года Щедрин писал: «...покорнейше прошу контору уведомить меня, будет ли помещена в январской книжке «Современника» статья моя «К читателю» в том виде, как она мною исправлена» (XVIII, 166).

очерка «Каплуны». Наиболее четко она сформулирована в первоначальном варианте «Каплунов». Заявив, что, если молодое поколение желает добиться успеха, оно не должно идти на компромиссы, должно быть последовательным и непримиримым в своих идеях, Щедрин вслед за тем призывает молодое поколение прямо к противоположному – к тому, чтобы оно, отбросив в сторону брезгливость, не боялось идти на компромиссы с жизнью действительной. Могут сказать, говорит Щедрин, что здесь противоречие. Однако, – утверждает он, – «противоречия этого нет. Действительно, не дальше как две страницы тому назад я утверждал, что исключительность необходима, что примирения и компромиссы не ведут ни к чему, кроме запутанности и постыдного поражения, но тогда я обращался к тебе, как к человеку убеждения, человеку теории. Теперь же я обращаюсь к тебе, как к человеку действия, и в этой двойственности твоего характера заключается полное объяснение замеченного тобою противоречия» (III, 467).

Уже в этом очерке Щедрин резко критикует молодое поколение за то, что во имя «опрятности» и «чистоты» убеждений оно не желает прийти в «живое соприкосновение с злобою дня». О каких компромиссах, уступках говорит здесь Щедрин? Какую практическую деятельность имеет он в виду?

В очерке «Каплуны» Щедрин ставит перед собой и читателем самый, по его словам, «жгучий» вопрос эпохи: «...идти ли на сделку с установившимися формами жизни, признать ли, что и в них есть нечто хорошее и примиряющее, или откровенно взглянуть на них, как на старый хлам, негодный даже для справок?» (IV, 282.)

Есть люди, которые утверждают второе. Щедрин называет их «каплунами будущего». «Каплуны будущего» – это люди, которые, во-первых, бескомпромиссно отрицают «установившиеся формы жизни» как «старый выветрившийся хлам» и, во-вторых, мечтают сразу воплотить свои отдаленные идеалы, верят в «непосредственный переход от действительности к идеалам».

«Сознаемся откровенно, что мы не понимаем возможности непосредственного перехода от действительности к идеалам, ибо видим тут перерыв, который также необходимо чем-нибудь наполнить; по мнению

нашему, помимо идеалов отдаленных и руководящих, у жизни имеются еще и ближайшие идеалы» (IV, 285) — дать массам то, что возможно при данных исторических обстоятельствах. Их-то и нужно проводить в жизнь. Щедрин считает, что сначала нужно дать массам «хоть то, что они сами неотложно просят, без чего они жить и дышать не могут» (IV, 291).

Щедрин критикует «каплунов будущего» за то, что, не будучи в силах осуществить непосредственно «отдаленные идеалы», они не хотят в то же время проводить в жизнь и «ближайшие идеалы». Именно в связи с отрицанием «каплунами будущего» «практической работы» для достижения «ближайших идеалов» и встает перед Щедриным проблема «компромисса», проблема уступок и сделок с жизнью действительной. «Несомненно, что текучая жизнь изобилует мерзостью и что формы ее, перед судом безотносительной истины, равно несостоятельны, но на практике дело складывается несколько иначе. Вот мерзость мерзкая, и вот мерзость еще мерзейшая: я оставляю за собой право выбора и избираю просто мерзкую мерзость предпочтительно перед мерзейшею» (IV, 284) — так формулирует Щедрин эту идею в «Каплунах».

В силу того, что «буяновский» путь освобождения масс, по мнению Щедрина, пока невозможен, он настоятельно советует помогать народу «исподтишка», «воровским образом» и тут же задает вопрос: «А как же вы устроите это воровство, если сами не будете находиться в центре деятельной жизни?» (IV, 291).

Единственная реально возможная деятельность на пользу народа, считает Щедрин, — это «воровская» работа «в центре деятельной жизни», деятельность, во имя которой приходится «входить в соглашение с жизнью», а не «воздерживаться от участия в ней».

«Какая польза от того, что я один или сам-друг в целом Глупове буду воздерживаться, когда вокруг меня целые стада глуповцев простирают руки насилию? — спрашивает Щедрин. — Какая польза от того, что я уступлю свое место Сеньке Бирюкову [1], а сам брезгливо стану в сторонке от деятельной жизни, когда упомянутый Сенька готов за двугривенный на вся-

[1] Сенька Бирюков — образ молодого, беспринципного чиновника-карьериста (см. «Наши глуповские дела», «К читателю» и др.).

кий подвиг, служащий на пользу и вящее процветание глуповскому миросозерцанию? Не вчера ли мы видели, как честные бойцы падали в борьбе и на трупы их, мгновенно, неведомо из каких трущоб, налетали громадные стаи галок и ворон? Не вчера ли мы видели, как Сенька Бирюков, почуяв верхним чутьем мертвечину, уже протискивался, задыхаясь от радостного волнения, сквозь тесную толпу глуповцев, чтоб поскорее занести ноги на упраздненное место, предварительно забросав его своим собственным навозом?.. Видите ли вы радость злобы дня при этом неслыханно безнравственном зрелище? Слышите ли торжествующие клики ее?» (IV, 289–290.)

Суть тактики освободительного движения, которую предлагал здесь Щедрин, заключалась в том, что честные люди с прогрессивными, демократическими идеалами должны вытеснить сенек бирюковых с их мест и таким вот «воровским способом» распеленать народ.

«Мудрый сто́рожко и тихо подступает к злу; он гладит зло по головке, играет роль ложного друга и потом, вызнав от него все, что на потребу, немедленно и без малейшего опасения сделать фиаско плюет ему в самое лицо. Зло как сила торжествующая доверчиво, и потому тут ошибки не может быть. Уличенное врасплох, застигнутое в своем собственном логовище, зло трепещет и немеет. Оно чувствует, что перед ним стоит судья и властелин его, что погибель пришла к нему не откуда-нибудь извне, а из собственных внутренностей... и умирает, умирает, не возражая...» (IV, 290) – так представлял Щедрин результаты этой своеобразной тактики.

Олицетворением этой тактики в творчестве Щедрина является фигура Шалимова, честного, добросовестного чиновника, человека демократических убеждений, который, придя на место Сеньки Бирюкова, защищает интересы народных масс. Если бы возрождение Глупова находилось в руках Шалимовых, это было бы «умновское возрождение», ему был бы обеспечен успех. Говоря о ненависти и страхе «достойных сынов Глупова» перед Шалимовым, Щедрин так объясняет глуповцам истоки этого страха: «Ты... чувствуешь панический страх при одном имени Шалимова, Шалимов в твоих понятиях не просто молот, могущий раздробить твою голову, не просто ступа, которая может

стереть тебя в табак: Шалимов – это принцип, который подрывает все основы твоей внутренней жизни, Шалимов – это навеки нарушенный твой сон» (III, 231).

При правильном истолковании основной мысли очерка «Каплуны» становится понятной и критика Щедриным «каплунов будущего» за их страстное отрицание всех инакомыслящих. «Им дела нет до того, – пишет Щедрин, – что в бесконечной цепи живых существ субъект, которого они сейчас обглодали, быть может, составляет ближайшее звено к ним самим; им нет дела до того, что вся разница между им и ими заключается в том, что он жил деятельной жизнью, а они отдыхали...» (IV, 288.)

Как видно, речь идет о нетерпимости «каплунов будущего» к людям типа Шалимова, которые, по мнению Щедрина, живут «деятельной жизнью». Таким образом, теория о вредоносности «брезгливого отношения к деятельной жизни», о необходимости «практической деятельности» прогрессивных сил общества на благо народа в системе бюрократического аппарата органически включала в себя и идею союза сил демократии, и «левого», «действенного» либерализма во имя достижения «ближайших идеалов».

Идею эту Щедрин подробно развил в программе журнала «Русская правда», который он думал издавать вместе с группой тверских либералов (Унковским, Европеусом, Головачевым) в 1863 году в Москве. «Эту же самую мысль (мысль «Каплунов». – *Ф. К.*) я провел в имеющейся у вас программе предполагаемого нами журнала» (XVIII, 169), – писал он в 1862 году Чернышевскому.

Мысль «Каплунов» в программе журнала «Русская правда» сформулирована Щедриным так: «Народ русский еще вчера только почувствовал на себе первые благодеяния свободы, представшей ему под видом отмены крепостного права, только вчера он ощутил в себе возможность выйти из пассивного положения, навязанного ему тяжелым двухвековым игом, и сделаться деятельным членом общечеловеческой семьи. Следовательно, в настоящее время самый существенный для него интерес заключается не в отыскании более или менее отдаленных идеалов общественного устройства, но в том, чтобы твердо стать на ногах, сосчитать свои силы и устранить те неблагоприятные условия, ко-

торые могут препятствовать дальнейшему свободному развитию русской жизни. Принять такое положение и сообразоваться с ним обязательно для всякого современного деятеля, который хочет, чтобы слово его не было гласом, вопиющим в пустыне» (XVIII, 372 – 373).

Если вдуматься в это положение, то не возникнет сомнений, что здесь изложена программа, отличная от позиций Чернышевского. Задача сил прогресса, по мнению Щедрина, заключается не в том, чтобы бороться за идеалы отдаленного общественного устройства. Главная задача, которая встает после «первого благодеяния свободы» – реформы 19 февраля, – заключается в устранении «неблагоприятных условий», препятствующих «дальнейшему свободному развитию русской жизни».

Но, может быть, Щедрин здесь имеет в виду революционное устранение этих «неблагоприятных условий»?

Его рассуждения о тех реальных силах, которые могли бы устранить «неблагоприятные условия», мешающие «дальнейшему свободному развитию русской жизни», его указание на методы, которыми эти условия должны устраняться, показывают несостоятельность этого предположения. Щедрин считает, что главной опасностью, которая угрожает делу освобождения России, является «недостаток единодушия» «в различных оттенках партии прогресса, образовавшихся в последнее время в русской литературе и русском обществе» (XVIII, 374). Он считает, что устранение «неблагоприятных условий», стоящих на пути «дальнейшего свободного развития русской жизни», невозможно без единства, без сближения этих различных направлений и оттенков в партии прогресса.

На какой же основе предполагает Щедрин это сближение? Он подчеркивает, что в основе этого сближения должно лежать «не столько единство принципов, сколько единство действия» (XVIII, 374). Единство оттенков партии прогресса, по его мнению, должно осуществляться не на базе общности идеалов, а на базе «общего дела». «А «общее дело», по Щедрину, это деятельность по достижению ближайших, конкретных практических результатов на пути преобразований и реформ. *«Не сули журавля в небе, дай синицу в руки»*, – гласит полная практического смысла рус-

ская пословица, и эта пословица, как нельзя более, может быть применена к настоящему нашему положению. Как бы ни были различны и даже взаимно противоположны наши руководящие принципы, но *дело,* нам предстоящее,— утверждает Щедрин,— для всех одно» (XVIII, 374).

Примеры, которыми он иллюстрирует это положение, ясно показывают, какое «дело» имеет Щедрин в виду. «А.— социалист, а Б.— экономист; расстояние между ними, конечно, огромное, но разве это мешает им подать друг другу руку в бесчисленных пунктах ближайшей практической деятельности. Нет, и тысячу раз нет. Не забудем никогда, что деятельность, которая нам предстоит, есть деятельность маленькая, относительно которой между людьми честными, к какому бы оттенку великой партии прогресса они ни принадлежали, не может быть разногласия...» (XVIII, 374—375.)

С этих позиций Щедрин и критиковал «каплунов будущего» за отрицание подобной «практической деятельности», за непримиримость по отношению к тем, чьи убеждения не совпадают с их убеждениями. Позже для обозначения этих пороков Щедрин употреблял термин «сектаторство» — противопоставление себя остальным представителям «великой партии прогресса», противопоставление себя «жизни действительной». «Идею эту (идею «Каплунов».— *Ф. К.*),— писал Щедрин в 1871 году Пыпину,— я развивал впоследствии неоднократно, и заключается она в том, что следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности» (XVIII, 236).

Существует мнение, что очерк «Каплуны» был направлен Салтыковым-Щедриным против Писарева и «писаревцев»; эту точку зрения выразил в свое время С. Борщевский [1], к ней присоединился и Е. Покусаев [2], напомнив при этом о статье Писарева «Базаров».

Но, как известно, статья «Базаров» была опубликована Писаревым в мартовской книжке «Русского слова» за 1862 год, то есть три месяца спустя после того, как была закончена работа над очерком «Ка-

---

[1] Борщевский С. Щедрин и Достоевский, с. 379—380.

[2] Покусаев Е. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратовское книжн. изд-во, 1957, с. 120—121.

плуны». «Каплуны» писались в 1861, не позднее января 1862 года. Писарев к этому времени из значительных работ успел опубликовать в «Русском слове» лишь «Идеализм Платона» да «Схоластику XIX века», а также рецензии на сочинения Писемского, Тургенева и Гончарова. Стоит внимательно прочесть эти статьи, чтобы убедиться, что в них нет еще того Писарева, против которого мог бы быть направлен очерк «Каплуны». Не существовало в ту пору еще и «писаревцев» как особого направления в освободительном движении 60-х годов.

Кроме того, сам-то Салтыков-Щедрин в этот период «невысоко расценивал революционную готовность масс» [1]. Объективная же тенденция развития Писарева в 1861—1862 годы была такова, что уже в апрельской книжке «Русского слова» за 1862 год он печатает статью «Бедная русская мысль», революционно-демократический характер которой не вызывает сомнений, а в мае 1862 года пишет знаменитую прокламацию о Шедо-Ферроти, содержащую страстный призыв к революции.

И вряд ли правильно считать, что, ведя речь о «каплунах будущего», Щедрин имел в виду Писарева или «писаревцев». Судя по всему, Салтыков-Щедрин обращался здесь к значительно более широкому кругу демократической молодежи — ко всем тем, для кого была неприемлема тактика «воровского» освобождения масс, тактика «пропаганды либерализма в самом капище антилиберализма». Не случайно, попытавшись в 1863 году вторично опубликовать «Каплунов» на страницах «Современника» (в первой своей хронике «Наша общественная жизнь»), он заменил термин «каплуны будущего» термином «мальчишество», явственно раскрыв, в чей адрес направлена эта критика.

Идея «Каплунов», вне всякого сомнения, не могла быть приемлемой для Чернышевского. Не случайно Н. Г. Чернышевский предложил Щедрину забрать свой очерк «Каплуны» из «Современника» и критиковал его за «уступки в сфере убеждений». Сохранился ответ Щедрина Чернышевскому, где он писал: «Мне кажется, что Вы придаете «Каплунам» смысл, которого они не имеют. Тут дело совсем не об уступках,

---

[1] Покусаев Е. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратовское книжн. изд-во, 1957, с. 119.

а тем менее об уступках в сфере убеждений, а о необходимости действовать всеми возможными средствами, действовать настолько, насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства» (XVIII, 169).

Однако тактические приемы борьбы, которые предлагал в 60-е годы Щедрин, были для Чернышевского (да и для самого Щедрина впоследствии, см. «Имярек») утопической иллюзией. Вот почему Чернышевский и определил щедринские искания как «уступку в сфере убеждений». Этот факт показывает, что Салтыков-Щедрин в 60-е годы, с точки зрения Чернышевского, не был последовательным революционным демократом.

Неоспоримо дальнейшее и очень резкое углубление демократического мировоззрения сатирика в 1863—1864 годах. Его хроника «Наша общественная жизнь» содержит беспощадную характеристику проведенных реформ как «движения мелочей и подробностей». Щедрин более точно и определенно уяснил себе размежевание классовых сил, он критикует в своем очерковом цикле многие собственные иллюзии. Но правильно ли утверждать, что иллюзии эти были изжиты Щедриным в это время окончательно и полностью?

Думается, что нет.

Первая же хроника «Наша общественная жизнь» показывает, что Щедрин пришел в «Современник» с той же идеей о необходимости отказа от «сектаторства» и выхода на арену «практической деятельности». Хроника эта посвящена страстной защите «мальчишек» и «нигилистов» от нападок обскурантов и реакционеров, которые проявляли небывалую активность в 1863 году. Но хроника первого номера «Современника» за 1863 год имеет и свою вторую часть, не появившуюся в журнале, которая заключала в себе резкую критику тех же «мальчишек» и «нигилистов». Она представляет почти дословное изложение той части очерка «Каплуны», которая касалась «каплунов будущего»,— только термин «каплуны будущего» был заменен термином «мальчишество». Щедрин вновь критикует здесь молодежь за «сектаторство», за нежелание идти на компромиссы и заниматься «практической деятельностью». Показав огромную прогрессивную силу «мальчишества», Щедрин осуждает его за то, во-

первых, что оно «не признает жизни текущей и не хочет иметь с ней никаких счетов», за то, во-вторых, что «оно само себя уединяет, само отталкивает», что это ослабляет «мальчишество». Щедрин упорно пытается повернуть «мальчишек» на стезю «практической работы».

Щедрин по-прежнему считает подобную тактику результативной и продолжает ее пропагандировать. С этим убеждением в какой-то степени связаны и его служба в 60-е годы, прерванная полутора годами работы в «Современнике» (1863 — март 1864 года), и колебания в оценке реформы (рассказ «Миша и Ваня» и др.), которые имели место в его творчестве этого периода.

Иллюзии Щедрина, его служебная деятельность периода 60-х годов не могли быть неизвестными сотрудникам журнала «Русское слово». Серьезные колебания, вице-губернаторство Щедрина, а также случай с В. Обручевым [1] и определили то недоброжелательство, с которым встретили публицисты «Русского слова» Щедрина в роли руководителя «Современника».

Первой ласточкой, открывшей полемику «Русского слова» со Щедриным, явился зайцевский обзор «Перлы и адаманты русской журналистики», напечатанный без подписи в апрельском номере журнала за 1863 год. Подчеркнув в начале обзора, что из «журнального стада» того времени он решительно исключает «Современник», направлению которого он «сочувствует», Зайцев обрушился на основного автора «Свистка» в апрельском номере «Современника» — на Щедрина. Отметив снижение общего уровня сатирического отдела «Современника», причина чему — смерть

[1] По обстоятельствам службы Салтыков-Щедрин передал по начальству в 1861 году конверт с прокламацией «Великоросса». В кругах демократии существовала точка зрения (как теперь стало известно, точка зрения ошибочная), что именно это послужило уликой при аресте Обручева. «Как только это обстоятельство стало известным в литературных кругах, особенно в кружке «Современника», поднялась буря негодования против М. Е.,— пишет в своих воспоминаниях о случае с Обручевым шестидесятник Л. Ф. Пантелеев.— Когда последний узнал, что произошло в Петербурге, он сейчас же приехал туда, но был крайне сурово принят Николаем Гавриловичем». В сноске Пантелеев высказывает весьма интересное предположение: «Этим же эпизодом, надо думать, объясняется и тот резкий тон, который проявлялся в радикальном «Русском слове» по отношению к М. Е.» (Пантелеев Л. Из воспоминаний прошлого, 1934, с. 550—551).

Конрада Лилиеншвагера (то есть Добролюбова), Зайцев особенно резко критиковал «Свисток» за насмешки над «Мертвым домом» Достоевского. «...Смеяться над «Мертвым домом», — утверждал он, — значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишут собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола» (1863, 4, II, 17). Эта язвительная насмешка, явившаяся прелюдией полемики, показывала, что публицисты «Русского слова» видели в Щедрине вчерашнего вице-губернатора и не хотели принять его в лагерь демократии.

Вторым, значительно более серьезным ударом по Щедрину явилась известная своей нетерпимостью статья Писарева «Цветы невинного юмора» во втором номере «Русского слова» за 1864 год.

В январской книжке «Современника» за 1864 год была опубликована хроника Щедрина «Наша общественная жизнь», которая содержала резкую критику публицистов «Русского слова». Можно было бы предположить, что резкость статьи Писарева объяснялась выпадами в его адрес, которые содержались в январской хронике Щедрина. Однако факты показывают, что статья «Цветы невинного юмора» писалась в январе 1864 года и 27 января была уже передана в сенат для просмотра[1]. Иными словами, статья «Цветы невинного юмора» была написана в основе своей[2] до знакомства Писарева с январской хроникой Щедрина, и резкость ее не результат раздражения и обиды Писарева, но следствие каких-то более глубоких причин.

«Щедрина я действительно хвалил прошлым летом, и теперь хвалю и люблю его... — писал он 26 августа 1864 года матери. — Впрочем, я во многом изменил свое мнение о нем... потому что внимательно всмотрелся в его произведения и увидел пустоту...»[3]

Оставляя в стороне вопрос об объективности подобной оценки творчества Щедрина, мы хотели бы

---

[1] См.: Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, с. 576.

[2] Сдав статью в сенат 27 января, Писарев отослал ее в «Русское слово» лишь 15 февраля, то есть после знакомства с январской хроникой Щедрина, полемически заострив против данной хроники.

[3] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинской дом). — Писарев Д. И. Письма к родным, Б. Р. 1, оп. 22, ед. хр. 3а, л. 24 об.

подчеркнуть, что в своей критике творчества сатирика Писарев исходил из принципиальных, идейных позиций. Он критиковал Щедрина за то, что тот, по мнению Писарева, не был достаточно последовательным демократом, и далеко не все в критике Щедрина Писаревым, как это принято считать, курьез и заблуждение. Нам кажется ближе к истине в данном вопросе такой крупный знаток Щедрина, как М. Ольминский. Характеризуя 60-е годы в эволюции Щедрина как «период принципиальной невыдержанности», он писал: «Известно, что на манифест 19-го февраля Герцен ответил обращением к Александру II: «Ты победил, галилеянин!» Не мудрено, что и менее Герцена искушенный Щедрин на момент как бы потерял способность надлежащей оценки явлений русской политической жизни. Реформа 19 февраля представилась ему актом великодушия: «Теперь все это (крепостное право) какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?» («Невинные рассказы».)

Если источником обновления является «сильная воля», то проводником его, естественно, должны оказаться чиновники, добросовестно являющиеся орудиями «сильной воли». И Щедрин делает попытку изобразить положительный тип в лице чиновника Ник. Ив. Шалимова... Современная критика тотчас подметила в Щедрине эту фальшивую ноту. Принято с сплошным отрицанием относиться к известной статье Писарева «Цветы невинного юмора». Статья действительно курьезна во многих отношениях. Но основная мысль ее верна»[1].

Непосредственным поводом для написания статьи явилось появление в печати сборников Щедрина «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», где были объединены очерки и рассказы, опубликованные сатириком в 1858—1863 годах. Нельзя забывать, что именно здесь отразилась вся противоречивость идейного развития сатирика в переходный период. Рассказы и очер-

[1] Ольминский М. Социалист-утопист в оценке современников. — Образование, 1906, № 12, с. 16—17.

ки «Из книги об умирающих», основной темой которой была тема краха крепостничества перед угрозой «обновления» России, соседствовали в сборниках с произведениями 1861—1863 годов, где демократизм Щедрина был уже значительно более последовательным. В итоге сборники давали в какой-то степени искаженное представление о Щедрине, не отражая с достаточной ясностью идейной эволюции, которую проделал писатель в период 60-х годов; быть может, это обстоятельство и определило характер статьи «Цветы невинного юмора».

Серьезнейшая ошибка Писарева заключалась в том, что он не уловил главенствующей тенденции в мировоззрении Щедрина, проглядел глубокий демократизм убеждений сатирика. От внимания Писарева не ускользнул тот факт, что идейная эволюция Щедрина шла в направлении к Чернышевскому, но он, так же как и Зайцев, без всяких к тому оснований отказался поверить в искренность Щедрина.

«Г-н Щедрин — писатель приятный во всех отношениях; он любит стоять в первом ряду прогрессистов, сегодня с «Русским вестником», завтра с «Современником», послезавтра еще с кем-нибудь... он осторожно производит в своих убеждениях разные маленькие передвижения, приводящие незаметным образом к полному повороту налево кругом» (1864, 2, II, 14).

Особенно резким диссонансом прозвучали для Писарева те рассказы и очерки Щедрина 1858—1859 годов, где сатирик изображал страх и ужас крепостников перед надвигающейся реформой. Отступая от справедливости, Писарев посчитал эту тему основной темой творчества Щедрина: «Ретрограды, перепуганные зловещими слухами, чиновники, перепуганные невиданными предписаниями...— вот и все содержание сатирических рассказов. Глупов, блаженствующий в своем нетронутом спокойствии, и Глупов, только что взбудораженный слухами о преобразованиях,— вот и все; а ведь, кажется, пора бы это бросить, потому что вся наша журналистика молотила, молотила эту тощую копну плохой ржи, да и молотить устала» (1864, 2, II, 34).

Писарев критикует «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» за то, что основная масса рассказов посвящена дореформенному времени и, по мнению критика, далека от насущных задач момента. Эти

рассказы не удовлетворяют Писарева потому, что объективно они создают превратное представление о свершившихся преобразованиях, преувеличивая их значение. Не менее резко, как это мы уже показывали выше, Писарев оценивает рассказ Щедрина «Миша и Ваня» (1863). Этот рассказ, напоминающий о зверствах крепостников, являлся попыткой в подцензурном журнале провести мысль о том, что, несмотря на реформы, крепостное право живет.

Писарев истолковывал этот рассказ по-иному. Он не прошел мимо того высказывания Щедрина, которое привел в характеристике статьи «Цветы невинного юмора» М. Ольминский.

Значение статьи было снижено тем, что Писарев несправедливо увидел в Щедрине человека, враждебного демократии, поставил его, по сути дела, на одну доску с либералами. Оценка Писаревым творчества Щедрина была во многом несправедлива по существу и недопустима по форме. Еще более грубыми были язвительные намеки Зайцева по поводу вице-губернаторства Щедрина в «Перлах и адамантах русской журналистики».

Щедрин ответил на полемический выпад Зайцева лишь в январской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 год. Не упоминая о реплике Зайцева, Щедрин дал здесь характеристику журнала «Русское слово» в целом. При этом Щедрин сделал ту же ошибку, что и публицисты «Русского слова»: вместо того чтобы разбирать конкретные ошибки и непоследовательности этого журнала, он попытался доказать, что «Русское слово» не является органом демократии. В памфлетной сцене обеда сотрудников журнала у издателя-мецената Щедрин проводит несправедливую мысль о том, что сотрудники «Русского слова» якобы продались издателю журнала Кушелеву и пропагандируют его идеи.

Характеристику «нигилизма», чьим органом считался журнал «Русское слово», Щедрин завершает предположением, что «нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты» (VI, 248).

Щедрин поставил под вопрос искренность демократических убеждений публицистов «Русского слова», предъявив им обвинение в «понижении тона». В чем

же видит он это «понижение тона»? Как и в очерке «Каплуны», как в январской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 год, Щедрин критикует здесь «нигилистов», «птенцов» за отвращение к «практической деятельности», за боязнь компромиссов, за то, что их деятельность не дает никаких практических конкретных результатов.

«...Чего же достиг... ты, о люд волнующийся и стремящийся! – восклицает Щедрин. – Вглядись пристальнее в твою деятельность, не увидишь ли ты в ней жалкой пародии на деятельность тех служителей искусства для искусства, науки для науки, против которых устремлено было все твое горячее негодование?» (VI, 242.)

А между тем эти «волнующиеся и стремящиеся» могли бы, по мнению Щедрина, заняться действительно полезной, нужной народу «практической деятельностью». И эта деятельность принесла бы осязаемые результаты. «Итак, о птенцы, внемлите мне! – патетически обращается Щедрин к деятелям «Русского слова» и их последователям... – Вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все стучащие и ни до чего не достукивающиеся, просящие и не получающие – все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру... никакой чаши ниоткуда не сойдет по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее...» (VI, 245.)

Следующий за этими словами абзац приоткрывает нам истинный смысл рассуждения о чаше.

«Я не говорю, чтоб это была перспектива хорошая, – заявляет Щедрин, пригласив «птенцов» припасть к стоящей на столе чаше, – но, по крайней мере, она не заключает в себе никакого марева...» Подчеркнув, что «настоящий» цвет, с которым мы должны иметь дело, «есть цвет серый», Щедрин призывает молодежь делать «маленькие, будничные дела» и не обольщаться радужными цветами мечтаний, которые при пристальном рассмотрении оказываются «маревом» (VI, 246). «Маленькие будничные дела» – вот та «чаша», которая стоит на столе. В рассуждении о «чаше» Щедрин проводит свою излюбленную идею о «практической деятельности» по проведению идеалов в жизнь, полемически заостряя ее на сей раз против журнала

«Русское слово». Дальнейшее развитие мысли Щедрина в январской хронике «Современника» (равно как и раскрытие смысла слов о «чаше», данное им, по требованию Зайцева, в мартовской хронике) подтверждает это.

Указав «птенцам» на «чашу» деятельности, которой они не видят, Щедрин обрушивается на них за то, что, не желая идти на компромиссы с мерзкой действительностью, они стремятся сохранить свою совесть в чистоте и, отстранившись от какой бы то ни было «практической деятельности», ждут, что «со временем» зло падет само собою.

Именно эти мысли вкладывает Щедрин в следующую за рассуждением о «чаше» тираду, посвященную издевательствам над «прекрасным словом» «со временем». Обычно эта тирада у нас трактуется как издевательство революционера над людьми, которые поверили, что развитие просвещения само собой приведет «со временем» ко всеобщему счастью. Действительно, Щедрин критикует «птенцов» за бездеятельность и за то, что некоторые стали склоняться «к скромному служению науке», полагая, что «со временем» наука даст все.

Однако исходные позиции Щедрина в его критике «нигилистов» за переоценку естественнонаучных знаний не имеют ничего общего с позицией, которую ему приписывают. Щедрин полагает, что к формуле «наука все даст со временем» «нигилисты» пришли потому, что, не питая надежд на скорую революцию, они в то же время боятся замарать свою совесть компромиссами с реальной действительностью. Формуле «наука все даст со временем» Щедрин противопоставляет не мысль о крестьянской революции (Щедрин мечтал о ней, но, как и Писарев, не видел залогов для нее), а идею «Каплунов», выраженную в «Хронике» в рассуждении о «чаше». Противопоставление это явственно звучит в его тираде, посвященной «великому слову» «со временем».

Встав в позу «нигилиста», «птенца», Щедрин пишет здесь: «Поверьте, что это великое слово, которое может принести не мало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспоминаю, например, что «со временем» дети будут рождать отцов, а яйцы будут учить курицу, что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем»

милые нигилистки будут бесстрастною рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста. С чистою совестью я надеюсь прожить сто лет и ничего, кроме чистоты совести, не ощущать...» (VI, 246.) И далее Щедрин на полутора страницах издевается над стремлением «нигилистов» сохранить свою совесть в чистоте, над тем, что ради этого они отказываются от «практической деятельности».

Итак, «нигилист», «птенец», в понимании Щедрина,—это человек, который вместо «практической деятельности» на пользу народа заботится лишь о том, «чтобы совесть его была чиста», и, отказавшись от всякого реального дела, пребывает в уверенности, что «со временем» все сделается само собой.

Налицо – издевка над деятелями «Русского слова» за их отказ ради сохранения в чистоте своих идеалов от «практической деятельности» по проведению идеалов в жизнь. Критику публицистов «Русского слова» Щедрин ведет здесь, по-прежнему исходя из утопических иллюзий, из идей «Каплунов». Если «каплунов будущего» и «мальчишек» он критиковал за «сектаторство», то публицистам «Русского слова» он предъявляет обвинение в «хлыстовщине», вкладывая в этот термин аналогичное содержание. По его мнению, «сектаторство», «хлыстовщина», то есть отказ от практической деятельности, равносильны отказу от служения народу вообще.

В органической связи с данной системой взглядов Щедрина находится и его ироническое отношение к роману «Что делать?», выявившееся в данной хронике.

Пытаясь сосредоточить все силы на практической работе по осуществлению ближайших идеалов, Щедрин считал в этот период регламентацию будущего общества ненужной. По его мнению, общество постепенно само выработает свои формы жизни. Если Чернышевский и Писарев полагали, что воплощение социалистического идеала в образной художественной форме будет могучим средством пропаганды социали-

стических идей, то Щедрин, не ставивший в этот период задачи непосредственного осуществления социалистического идеала, боровшийся за ближайшие, практические результаты, не видел смысла в подобного рода пропаганде и считал ее даже вредной. Об этом он недвусмысленно заявил в 1863 году в цикле статей «Современные призраки»: «Если известному жизненному строю, к которому мы привыкли, с которым мы сжились... будут противопоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно не похожий на первый, то как бы ни удостоверял нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образнее будут формулированы подробности новой жизни... То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представленное нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а, напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идиллическими, почти пошлыми...» (VI, 388.)

Мы привели это высказывание Щедрина из статьи 1863 года для того, чтобы показать, что насмешка над романом «Что делать?» в январской хронике «Современника» не оговорка. Приведенное высказывание ставит под сомнение попытку Чернышевского в четвертом сне Веры Павловны в художественных образах изобразить будущую социалистическую ассоциацию. Щедрин считал подобную конкретизацию устройства будущей жизни делом ненужным и даже вредным.

Публицисты «Русского слова» не замедлили обнаружить это самое слабое место в позиции Щедрина. В февральском номере «Русского слова» за 1864 год появились две статьи в адрес Щедрина: «Глуповцы, попавшие в «Современник» В. Зайцева и, как мы уже

указывали, «Цветы невинного юмора» Д. Писарева. Раскрывая сущность позиции, с которой Щедрин критиковал «Русское слово», Зайцев обращался здесь к рассуждению о «чаше» и указывал, что под «чашей» Щедрин понимает возможность мирной деятельности во имя улучшения положения народа. Перегибая палку, Зайцев ставил на основании рассуждения о «чаше» знак равенства между Щедриным и Катковым. Щедрин, говорил здесь Зайцев, «открыл «чашу», о которой подозревал только Катков». Зайцев от лица публицистов «Русского слова» категорически отказывался «испить» из этой чаши, полагая, что деятельность, которую предлагает молодежи Щедрин, чужда заветам Чернышевского и Добролюбова. Резко оценив насмешки Щедрина по адресу «нигилистов» вообще, Зайцев с особой силой обрушился на сатирика за осмеяние им романа Чернышевского «Что делать?».

Однако значение этой критики снижалось тем, что в статье Зайцева, так же и в статье Писарева, о чем мы уже писали выше, критика иллюзий Щедрина перерастала, по сути дела, в травлю Щедрина. Зайцев превратил крупного писателя-демократа в заурядного либерала, в будирующего сановника, который попытался натянуть на себя костюм Добролюбова, но не сумел прикрыть позолоты своего мундира. Видя в Щедрине идейного врага, публицисты «Русского слова» не задумывались над выражениями и прибегали к тем же средствам, что и для борьбы с представителями либерально-охранительного лагеря.

Ответ им Щедрин дал в мартовской хронике «Наша общественная жизнь». Учтя критику «Русского слова», а также своего безыменного корреспондента, который выразил протест Щедрину за его попытку «выругать огулом молодежь» (так можно было понять насмешки Щедрина над «нигилистами»), сатирик разъясняет здесь, что в январской хронике он имели в виду не молодое поколение в целом, а определенную его часть — «вислоухих» и «юродствующих» последователей «одного невинного, но разухабистого органа невинной нигилистской ерунды».

Щедрин утверждает, что он не думал выступать против основной идеи романа «Что делать?», но лишь против «произвольной регламентации подробностей» будущего воплощения этой идеи. Что касается «вислоухих» и «юродствующих», то они, эти «новые со-

циалисты», приударяют, по мнению Щедрина, именно насчет подробностей. Причисляя себя к молодому поколению, они схватывают лишь «наружные стороны дела» и этим дают основание Катковым и Аскоченским обливать грязью все молодое поколение.

Как мы видим, в критике Щедриным публицистов «Русского слова» появилась новая струя. Если раньше он критиковал их за «сектаторство», за «хлыстовщину», то сейчас критикует за то, что своим поведением они якобы компрометируют молодое поколение. Криминал поведения молодежи, группировавшейся вокруг «Русского слова», Щедрин видит в том, что она восприняла все те атрибуты «нигилизма», которые с легкой руки Тургенева и с благословения Писарева стали так бурно распространяться в 60-е годы, в том, что за «тип современного прогрессиста» она приняла «болтуна Базарова». Нельзя не видеть рационального зерна в этой критике Щедриным публицистов «Русского слова». Именно в этот период на страницах «Русского слова» наблюдается значительный крен в позитивизм, именно в это время журнал переживал наибольшее отклонение от заветов Чернышевского и Добролюбова.

Но главным обвинением против «Русского слова», которое выдвигает Щедрин в этой хронике, остается все-таки по-прежнему обвинение в «хлыстовщине», в нежелании заниматься «практической деятельностью». Этому посвящена заключительная часть хроники, на две трети не опубликованная в журнале. Теоретической основой подобного поведения «вислоухих» является, по мнению Щедрина, следующее положение: «Действительность притязательна, притеснительна и несправедлива, следовательно, вступать с нею в какие-либо соглашения значило бы признать себя солидарным с ее притязаниями и несправедливостью» (VI, 329).

В назидание им он выдвигает ту мысль, что, отказавшись от пренебрежения к «практической» деятельности, заняв какой-нибудь пост, они «находились бы на возвышении» и их голос раздавался бы гораздо громче, что они приносили бы реальную пользу. Слова какого-нибудь тюкалинского городничего или белебеевского исправника – будь они радикально настроенными людьми – имели бы значительно больший резонанс, чем слова журнального хроникера, ибо

«тюкалинский городничий и белебеевский исправник стоят на некотором возвышении, откуда могут отчеканивать каждое слово, со всеми необходимыми ударениями» (VI, 331).

«Так вот о какой чаше говорил я в своем январском обозрении... – резюмирует Щедрин. – Да, говорил и буду говорить без устали: гадливое отношение к действительности, *какова бы она ни была,* не поведет ни к каким результатам, кроме апатии и бездействия со стороны тех, которые предаются такой гадливости... Необходимо наконец отрезвиться, необходимо поставить свою деятельность на почву реальную. Пусть каждый делает то, что он может и на что он способен, ибо мы никогда ничего не доспеем, покуда будем смотреть разиня рот и ненавидеть своими боками» (VI, 331).

Итак, в своем рассуждении о «чаше» Щедрин проводил не идею революции, а мысль о том, что «практическая деятельность» сил демократии может принести полезные плоды. Он критиковал публицистов «Русского слова» отнюдь не за отсутствие веры в революционные возможности народа, а за нежелание «отрезвиться», за нежелание уразуметь значение честной «практической деятельности», критиковал с позиций своих утопических идеалов тактики освободительного движения, сформулированных им в очерке «Каплуны».

Последняя хроника Щедрина, написанная им для «Современника», где он все с тех же позиций критиковал публицистов «Русского слова», по неизвестным причинам не увидела света. Полемика «Русского слова» со Щедриным прекратилась на статье Благосветлова «Кающийся, но не раскаявшийся публицист «Современника» (1864, 4), явившейся развитием статьи «Глуповцы, попавшие в «Современник» (1864, 2).

В оценке полемики «Русского слова» со Щедриным в 1863 – апреле 1864 года нужно различать субъективный ее смысл и объективное значение. Субъективным стремлением Писарева и Зайцева, развязавших полемику, было стремление предостеречь «Современник» – ведущий орган демократии 60-х годов – от колебаний в сторону либерализма. Субъективным стремлением Щедрина было стремление направить публицистов «Русского слова» на путь, который уготован для «чернорабочих» освободительного движе-

ния, — на путь «практической деятельности», способствующий осуществлению ближайших идеалов, стремление предотвратить ошибку «сектаторства» — самую пагубную, наиболее опасную, по мысли Щедрина, ошибку.

Объективная польза полемики заключалась в том, что она заставляла различные направления в демократии 60-х годов более тщательно следить за чистотой своих идеалов. Полемика, несомненно, помогла Щедрину в его трудном и противоречивом идейном развитии, помогла более прочно укрепиться на позициях демократии и социализма[1]. С другой стороны, справедливые в значительной мере упреки Щедрина в малой результативности деятельности публицистов «Русского слова» заставляли их более интенсивно разрабатывать вопросы тактики демократии в условиях пореформенной реакции и спада революционной волны.

В то же время полемика эта нанесла освободительному движению определенный вред. Грубые ошибки, допущенные в полемике как Писаревым и Зайцевым, так и Щедриным, не могли не нанести ущерба освободительному движению. Вместо критики воспитательной с той и с другой стороны велась критика уничтожающая, облеченная вдобавок в предельно грубую форму. Видя без достаточных к тому оснований друг в друге идейных врагов, Писарев, Зайцев и Щедрин объективно способствовали расколу между различными направлениями освободительного движения, в то время как требовалось всемерное его сплочение.

Восторг и злорадство реакционной и либеральной журналистики по поводу этой не очень удачной полемики, наиболее ярко выразившиеся в статье Достоевского «Г. Щедрин, или Раскол в нигилистах» («Эпоха», 1864, № 5), имели определенное основание.

Следующий этап полемики, когда со стороны «Современника» в бой вступил Антонович, давал еще больше оснований для восторгов реакционной и либеральной журналистике.

---

[1] Косвенным доказательством полезности полемики для Щедрина является хотя бы изменение отношения его к Писареву. В 1871 году он писал: «У нас все еще Белинского наследство делят. Большую часть его получили Добролюбов и Писарев, да и своего прибавили...» (XVIII, 236).

Принято считать, что начало второму периоду полемики — полемике между Антоновичем и «Русским словом» — положила статья Писарева «Реалисты», опубликованная в 9—11-й книжках журнала за 1864 год под названием «Нерешенный вопрос».

Однако полемика Писарева и Антоновича, развернувшаяся осенью 1864 года, имела свою прелюдию. Истоком ее, по сути дела, является 1862 год, когда Писарев и Антонович резко разошлись в оценке романа Тургенева «Отцы и дети» и главного героя романа Базарова. Антонович в статье «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, март) обрушился на роман Тургенева как антинигилистический и расценил образ Базарова как клевету, карикатуру на молодое поколение. Писарев в статье «Базаров» («Русское слово», 1862, март) дал оценку роману и его герою прямо противоположную. Он писал о романе «Отцы и дети» как произведении глубоко реалистическом, а в образе Базарова увидел типичного представителя молодого поколения 60-х годов.

Несмотря на свою противоположность, статьи эти не были намеренно полемическими: они появились одновременно и выражали две различные точки зрения на конкретное художественное произведение. Противоположность оценки романа Тургенева двумя ведущими органами революционной демократии была тут же отмечена реакционной журналистикой, однако противоположность эта в 1862 году не вылилась в полемику.

В полемических схватках Щедрина и публицистов «Русского слова» вопрос об отношении Писарева к роману «Отцы и дети» всплыл на какой-то момент (в мартовской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 год), но «Русское слово» оставило упрек Щедрина в приверженности к «болтуну Базарову» без ответа.

Вот тогда-то, в апреле 1864 года, в полемику «Современника» с «Русским словом» и вмешался Антонович. В статье «Современные романы» («Современник», 1864, № 4), посвященной «Взбаламученному морю» Писемского и «Призракам» Тургенева, Антонович ополчился на неких «критиков-детей», которые, на его взгляд, непоследовательно вознегодовали против романа Писемского и восторгались романом Тургенева.

Антонович предлагал «Русскому слову» открыто отказаться от своей прежней оценки «Отцов и детей», ибо «может ли бранить г. Писемского тот, кто до небес превозносил последний роман г. Тургенева?» (с. 208).

Писарев принял вызов Антоновича, ответив ему статьей «Реалисты» («Нерешенный вопрос»). Однако статья эта была не только ответом Антоновичу. Она была вместе с тем и вызовом всему «Современнику», приглашением дружественному органу демократии обсудить сложные вопросы стратегии и тактики освободительного движения в трудные годы пореформенной реакции. Статья эта выходила далеко за пределы обычной литературно-критической статьи. Она поднимала проблемы неизмеримо более важные, неизмеримо более обширные, чем вопрос о том, правдиво или нет изобразил Тургенев молодое поколение в образе Базарова. Само повторное обращение к образу Базарова, как мы это попытаемся показать ниже, было для Писарева этого периода глубоко закономерным, было связано с трудным творческим раздумьем о путях преобразования России в период спада революционной волны.

В своей статье «Реалисты» Писарев предлагал «Современнику» обсудить вопросы общественно-политические, обсудить проблему творческого продолжения традиций Чернышевского и Добролюбова в новых политических условиях, когда выяснилось, что массы «спят». Еще в мартовской книжке журнала за 1864 год Писарев ставил этот вопрос, говоря об образе Катерины и оценке этого образа Добролюбовым в статье «Луч света в темном царстве». «Современник», ведущий орган революционной демократии, будь в нем Чернышевский или Добролюбов, мог бы действительно помочь не имеющим достаточного политического опыта публицистам «Русского слова» выбрать правильный путь борьбы в условиях пореформенной реакции. Но «Современник», руководимый Пыпиным и Антоновичем, оказался не в силах выполнить эту миссию. Более того, он просто отказался принять бой на условиях, предложенных Писаревым. В «Современнике» 1864 года, после ухода Щедрина, не нашлось никого, кто смог бы вести спор на том теоретическом уровне, который предлагал Писарев. Позиция Писарева в этой статье могла быть подвергнута очень суровой критике. Выше мы говорили, что колебания Пи-

сарева от революционного демократизма к демократическому просветительству были в этой статье наиболее сильными.

Но эти-то наиболее интересные и в то же время наиболее спорные аспекты статьи Писарева прошли мимо сознания Антоновича. Ни в первом ответе Писареву, ни в последующих своих статьях он даже не касался той проблемы, которая могла бы стать магистральной проблемой спора, — проблемы путей изменения действительности в новых пореформенных условиях. И это не случайность.

«Надо заметить, что уже в 1864 году «Современник» стал терять свой престиж...» — писал в своих воспоминаниях Н. К. Михайловский. «Для нас, молодых читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаление Чернышевского произвели непоправимый изъян в физиономии «Современника». А рядом с этими тяжкими потерями в составе «Современника» поднималось значение «Русского слова», в особенности Писарева. И когда «Современник», устами М. А. Антоновича, завел длинную и грубую полемику с «Русским словом», престиж «Современника» и еще поблек» [1]. Это отразилось, кстати, и на подписке, которая у «Русского слова» с каждым годом росла, а у «Современника» — падала. Что касается Шелгунова, так он прямо заявлял в своих воспоминаниях: «Современник» уже умер со смертью Добролюбова и удалением Чернышевского» [2].

Нет никаких оснований не доверять свидетельству этих (а также и других) современников, — особенно таких, как Михайловский, который, как известно, очень не жаловал Писарева и Благосветлова, но искренне считал себя продолжателем дела «Современника».

Утрата престижа «Современника» в 1864—1866 годах объясняется не только грубостью полемики Антоновича, не только слабыми талантами публицистов журнала (да это, пожалуй, и неверно), но главным образом тем, что Антонович, Елисеев, Жуковский и Пыпин, полностью возглавившие публицистику журнала после ухода Щедрина, не смогли на должном

---

[1] Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута, т. 1. СПб., 1900, с. 46—47.

[2] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 230.

уровне продолжать традиции Чернышевского в трудных условиях 1863—1866 годов. В отличие от Писарева, они даже не пытались дать ответ на волнующий всех вопрос: что делать? Что делать в этих новых, крайне трудных для демократии условиях? Причина тому — в недостаточной зрелости демократических убеждений этих публицистов, которые, за исключением Антоновича, и в прежние-то годы не разделяли полностью взглядов Чернышевского.

Расплывчатость политических идеалов сотрудников «Современника» помешала им уловить непоследовательность Писарева, дать ему бой на том уровне, который предлагало «Русское слово».

На статью «Реалисты» («Нерешенный вопрос») Антонович откликнулся в десятой книжке «Современника» статьей «Вопрос, обращенный к «Русскому слову». Но напрасно стали бы мы искать в этой статье хотя бы приглушенный отклик на сложные проблемы, поставленные в «Реалистах». Из всех разнообразных аспектов этой статьи Антоновича привлек только один: положительная оценка автором статьи романа Тургенева «Отцы и дети» и критика Писаревым Антоновича за отрицание этого романа. Конечно, и данную проблему можно решать по-разному, в том числе и так, что читателю была ясна политическая подоплека спора — различное решение критиками вопроса о путях преобразования действительности. Подоплека эта, как мы попытаемся показать ниже, явственно ощущается в трактовке образа Базарова Писаревым. Подобной глубины лишена статья Антоновича. Все дело у него сводится к тому, что критик Писарев, по недомыслию, положительно оценил роман, являвшийся карикатурой на молодое поколение, и этим бросил перчатку критику «Современника», по заслугам оценившему этот роман. Антонович задает вопрос редакции «Русского слова»: разделяет ли она вполне все суждения автора статьи «Нерешенный вопрос» как о романе «Отцы и дети», так и о критике на этот роман, помещенной в «Современнике»? И заявляет, что в случае положительного ответа на этот вопрос объявляет «Русскому слову» войну.

Крайне развязный тон, а также ограниченность, с которой Антонович воспринял статью Писарева «Реалисты», не обещали для полемики ничего хорошего. Писарев решает написать для «Современника» спе-

циальное «Объявление», являвшееся в то же время и ответом на «Вопрос, обращенный к «Русскому слову» Антоновича. Эта небольшая статья имеет принципиальное значение для понимания позиции Писарева и журнала «Русское слово» в полемике. Статья эта не входила ни в одно из собраний сочинений Писарева.

В 1893 году в журнале «Русское обозрение» была напечатана публикация В. Штарка «Письма Д. И. Писарева, писанные им к разным лицам из-под ареста». Подлинники этих писем хранятся сейчас в Пушкинском доме АН СССР в Ленинграде. При внимательном изучении обнаружилось, что два из них, адресованных Благосветлову, являются вовсе не письмами, а статьями Писарева, предназначенными для опубликования в «Русском слове» [1]. Первая из этих статей и есть «Объяснение» Писарева, которым он отвечал на статью Антоновича в 10-й книжке «Современника». О второй, посвященной Каткову, шла речь выше.

Статья «Объяснение» предельно ясно раскрывает позицию, с которой начинал Писарев полемику с «Современником». Заявив от имени редакции, что она «никогда не отказывалась от солидарности с мыслями статьи «Базаров», Писарев говорит здесь в ответ на угрозы Антоновича: «Мы вовсе не желаем, но и не боимся полемики в том смысле, какой обыкновенно придается этому слову в нашей теперешней журналистике. Но если бы «Современник» счел удобным вступить с нами в спокойное и дельное рассуждение о затронутых нами вопросах, то мы бы с удовольствием поддержали с ним разговор, имея в виду *одну общую цель — выяснение тех идей,* которые одинаково дороги «Современнику» и «Русскому слову».

Мы никогда не скрывали своего уважения к добросовестным и умным деятелям «Современника», но, когда «Современник», по нашему мнению, ошибался, мы тотчас указывали ему и публике его ошибки. Мы очень будем благодарны «Современнику», если он будет поступать с нами точно таким же образом. *Пусть страдают иногда личные самолюбия, но пусть выясняются наши идеи*» [2], — заявляет Писарев. (Курсив мой. — *Ф. К.*)

---

[1] См. публикацию Ф. Кузнецова «Две статьи Д. И. Писарева». — «Из истории русской журналистики». Изд-во МГУ, 1959. Печатается в настоящей книге (с. 643—652).

[2] Русское обозрение, 1898, № 10, с. 865.

Заметка эта не оставляет сомнения в том, что, начиная полемику, Писарев стремился к деловому обсуждению и дальнейшей разработке основных, кардинальных идей революционной демократии, о чем он и заявлял в своем «Объяснении», подчеркнув здесь общность направления двух передовых органов 60-х годов. Если бы полемика развернулась по программе, намеченной Писаревым, она принесла бы пользу освободительному движению в этот трудный для него период.

«Такой разговор был бы очень интересен для мыслящих читателей обоих журналов и очень поучителен для нашей журналистики, привыкшей смотреть на всякую литературную полемику как на обычный источник грубой брани и бесплодных скандалов», — подчеркивает Писарев, понимая всю важность и необходимость подобного разговора о продолжении идей Чернышевского и Добролюбова в новых исторических условиях.

«Объяснение» Писарева не появилось на страницах «Русского слова». Вместо него был напечатан «Ответ «Современнику», подготовленный, по-видимому, Благосветловым [1].

Подчеркнув, что редакция полностью согласна с автором статьи «Нерешенный вопрос», Благосветлов заявлял здесь нечто прямо противоположное мыслям Писарева в «Объяснении»: «Говорим откровенно, что мы вовсе не думаем и не желаем полемизировать с «Современником», особенно о таком щекотливом вопросе, как «Нерешенный». Нам нечего бояться этой полемики и угроз «Современника», но мы не желаем полемизировать с ним потому, что сознаем всю бесплодность полемики, особенно в такое время, когда она, кроме удовольствия нашему журнальному стаду, не может оказать существенных услуг литературе» (1864, 10, II, 103—104).

Ответ был написан в очень сдержанных и дружественных тонах и заканчивался утверждением, что «Русское слово» может расходиться с «Современником» в частных вопросах, но слишком сильно уважает «общую идею», чтобы жертвовать ею в пользу «какого бы то ни было личного самолюбия».

[1] Этот факт устанавливается нами на том основании, что в «Ответе «Современнику» очень много мест, текстуально совпадающих с «Объяснением», которое было направлено Писаревым из крепости лично Благосветлову.

Мы не знаем, чем вызван подобный ответ: осторожностью ли редактора «Русского слова» или большей опытностью его. Возможно, Благосветлов лучше Писарева знал, чего можно ждать от Антоновича-полемиста [1]. Во всяком случае, зная дальнейшее развитие полемики, нельзя отказать Благосветлову в значительной доле мудрости. Конечно же, для демократии 60-х годов была выгодна или серьезная деловая полемика, способствующая выяснению их общих идей, или вообще никакой.

Антонович не пожелал прислушаться к заявлению «Русского слова». В декабрьской книжке «Современника» за 1864 год он адресовал «Русскому слову» за подписью «Посторонний сатирик» длинное «Предварительное объяснение», из которого явствовало, что он объявлял журналу Благосветлова и Писарева войну. При этом, если «Русское слово» настойчиво подчеркивало свою солидарность с «Современником» по основным вопросам, то Антонович поспешил громогласно заявить, что не видит в «Русском слове» ничего, в чем оно согласно с «Современником», и решает «заняться «Русским словом» специально. Подробно и обстоятельно разобрать его идеи, замашки, его проницательность и последовательность» (с. 170). Статья не содержала разбора тех проблем, которые ставил в «Нерешенном вопросе» Писарев, зато была насыщена грубой бранью в адрес «Русского слова». (Впрочем, повод к этому дало само «Русское слово», в частности Писарев, который в «Нерешенном вопросе» обозвал Антоновича «лукошком глубокомыслия» и допустил еще ряд грубых выпадов против критика «Современника», в чем ему пришлось позднее раскаяться.) Этой статьей начинается особенно темный период в полемике Антоновича с «Русским словом» (декабрь 1864 – март 1865 года), когда Антоновичем были написаны такие статьи, как «Русскому слову», «Денежное несчастье с г. Благосветловым» («Современник», 1865, № 1); «Промахи» и «Глуповцы в «Русском слове» («Современник», 1865, № 2); «Барские лакеи в «Русском слове», «Г-ну Зайцеву» («Современник»,

[1] Тем более что в статье Зайцева «Славянофилы победили» («Русское слово», 1864, № 10) журнал критиковал полемические приемы «Современника», применяемые им в борьбе с «Эпохой» как не очень пристойные.

1865, № 3). Антоновичу, который выступал в роли нападающего, отвечали Благосветлов («Постороннему сатирику» – 1864, № 12; «Буря в стакане воды, или Копеечное великодушие г. Постороннего сатирика» – 1865, № 1; «Последнее объяснение с г. Посторонним сатириком «Современника» – 1865, № 2) и Зайцев («Библиографический листок» – 1864, № 12; «Г-ну Постороннему сатирику и всем прочим сатирикам» – 1865, № 2; «Несколько слов г. Антоновичу» – там же). Писарев в этот мрачный период взаимной брани и ругани в полемике не участвовал. Хотя брань и ругань в этой полемике были взаимными, надо отдать должное Антоновичу как инициатору подобного рода боев. Именно он навязывал тот недостойный тон, который приняла полемика. Особенно недостойный характер носила линия полемики Антонович («Посторонний сатирик») – Благосветлов («Заштатный юморист»).

Не будучи в силах дать ответ на общие принципиальные вопросы, поднятые в «Нерешенном вопросе», Антонович сосредоточил свое внимание в этот период на частных ошибках «Русского слова» и даже – на личных биографиях его сотрудников.

Против Благосветлова, к примеру, Антонович выдвинул обвинение в том, что в 1854–1855 годах тот сотрудничал в «Отечественных записках» и выступал там против эстетических идей Чернышевского; что он проявил себя корыстным человеком в истории с литератором Вороновым;[1] что он «лакей» гр. Кушелева и «спал на подушках» в лакейской этого мецената; что он «прихвостень гг. Писарева и Зайцева» и проч.

Все эти обвинения сопровождались грубой бранью, различными нелитературными выходками.

Надо ли говорить, как далек был взятый Антоновичем тон спора и направление его от того, к чему стремился Писарев.

Благосветлов, также принявший было этот тон, понял свою ошибку и уже в февральской книжке «Русского слова» дал «торжественное обещание не входить больше ни в какие объяснения с г. Антоновичем... чтобы не состязаться с моим противником его же оружием» (1865, 2, II, 78).

[1] Воронов взял аванс в «Русском слове» за повесть «Тяжелые годы» и не выполнил своих обязательств, о чем Благосветлов печатно объявил в своем журнале.

С аналогичным заявлением в той же книжке журнала выступил и Зайцев, который в статье «Г-ну постороннему сатирику и всем прочим сатирикам» подчеркивал, что подобная полемика «невозможна в сколько-нибудь уважающей себя литературе», и потому отказывался участвовать в ней.

Так, демонстративным отказом от полемики Благосветлова и Зайцева завершился первый фазис полемики Антоновича с «Русским словом».

Обе воюющие стороны, и особенно Антонович, зашли в полемике так далеко, что даже Щедрин в письме Некрасову от 8 апреля 1865 года призвал последнего «молиться об укрощении антоновичевского духа».

Следует подчеркнуть, однако, что характеристика первого фазиса полемики Антоновича с «Русским словом» была бы пристрастной и односторонней, если свести значение ее только к беспринципной перебранке. Несмотря на недопустимую ее форму, несмотря на то, что она не пошла по магистральному руслу, полемика этого периода принесла освободительному движению шестидесятых годов и вообще журналу «Русское слово» наряду с ущербом, в частности, и некоторую пользу.

Антонович, очень внимательно следивший за журналом «Русское слово», дал резкую, но справедливую критику целого ряда частных промахов и ошибок, которые имели место на страницах «Русского слова». Это была прежде всего критика ошибок Зайцева, который, не обладая столь основательной философской подготовкой, как Антонович, значительно больше последнего грешил механицизмом и вульгарным материализмом и при своей любви к парадоксам и крайним выводам нередко попадал впросак. Как уже говорилось выше, Антонович резко и справедливо критиковал Зайцева по вопросу об освобождении и равноправии негров. Так же резко он критиковал Зайцева за его оценку философии Шопенгауэра и труда Сеченова «Рефлексы головного мозга».

В декабрьской книжке журнала за 1864 год Зайцев выступил со статьей «Последний философ-идеалист», где поднял на щит философию Шопенгауэра, увидев в его учении мостик от трансцендентального идеализма к... философскому материализму. С близорукостью, свойственной вульгарному материалисту, Зайцев представил в этой статье тупицей и шарлатаном

Гегеля, противопоставив ему в качестве действительно великого философа... Шопенгауэра. Сделал он это путем приписывания Шопенгауэру идей, которые были противоположны его учению.

Истоки такого превратного толкования идеалистической философии Шопенгауэра и, в частности, его формулы «мир есть воля и представление» — в вульгарном материализме Зайцева. Вслед за Кабанисом, Фогтом и другими Зайцев полагал, что человеческие ощущения и представления формируются под влиянием двоякого рода ощущений: внешних (порождаемых предметами и явлениями внешнего по отношению к телу человека миру) и внутренних (порождаемых внутренними процессами организма: работой желудка, сердца, легких и проч.). В утверждении Шопенгауэра «мир есть воля» Зайцев умудрился увидеть обозначение «всех ощущений, порождаемых внутренними процессами организма» (1864, 12, I, 167). В результате подобной препарации Шопенгауэр был превращен в вульгарного материалиста, который по объективному смыслу своей философии был, по утверждению Зайцева, «гораздо ближе к Молешотту и Фогту», чем к собратьям-идеалистам. Объективный же смысл его философии, выраженный в «кабалистической формуле» «мир есть воля и представление», заключался в доказательстве той идеи, что сознание человека является продуктом внешних («представления») и внутренних («воля») впечатлений.

Усугубляя свои вульгарно-материалистические ошибки, Зайцев вступил в этой статье в спор с Сеченовым по вопросу о внешних и внутренних впечатлениях.

Охарактеризовав Сеченова как «знаменитого ученого», работе которого «Рефлексы головного мозга», «быть может, суждено составить эпоху в психологии человека», Зайцев высказывает здесь сомнение в справедливости того утверждения Сеченова, что «психический акт не может явиться в сознании без *внешнего* чувственного возбуждения» (1864, 12, I, 174).

Ссылаясь на Кабаниса и на Буше, он задает вопрос Сеченову: как быть с психическими актами, вызываемыми чисто внутренними процессами жизни человеческого организма. Сердцебиение, например, вызывает страх, значит, налицо внутреннее, а не внешнее чувственное возбуждение?

Наряду с курьезными, порой анекдотическими, положениями статья Зайцева в целом была написана автором в защиту материалистического направления в философии. Зайцев обрушивается здесь на «школьную», то есть идеалистическую философию и возвеличивает Локка и французских сенсуалистов XVIII века: «...У любого из этих писателей в одной строчке больше ума, чем во всех построениях школьной философии» (1864, 12, I, 168).

Статья эта, так же как и другие выступления по философским вопросам сотрудников журнала – не только Зайцева, но и Писарева,– показывала, что в вопросах философии деятели «Русского слова» совершили значительный шаг назад от Чернышевского, отступая от философского материализма Чернышевского к вульгарному материализму.

Вульгарный материализм в условиях России 60-х годов мог играть свою роль в борьбе с идеологией мракобесия и поповщины, однако, по сравнению с философией Чернышевского, это было относительно слабое орудие в борьбе демократии с лагерем реакции и обскурантизма.

Вдобавок вульгарно-материалистическая доктрина опосредствованным путем оказывала влияние и на социологические, и даже на политические воззрения сотрудников журнала, толкала их на грубые ошибки и отступления от традиций революционной демократии.

Мы убедились в этом на примере трактовки Зайцевым вопроса об освобождении негров.

Следует отметить в социологии Зайцева и (в меньшей степени) других сотрудников «Русского слова» довольно сильную струю идей, переоценивающих значение биологического фактора в истории, проявившуюся в статье «Естествознание и юстиция» и других его работах.

В работе «Промахи» («Современник», 1865, № 7) Антонович правильно критиковал статью «Последний философ-идеалист», в которой Зайцев вырывает «обрывки и обрывочные фразы» из работ Шопенгауэра и «прямо перетолковывает слова и мысли Шопенгауэра в хорошую сторону», навязывая Шопенгауэру «всевозможные достоинства и заслуги» (с. 255–256). Благодаря такому приему Шопенгауэр, «который, кроме того что был идеалистом, был еще плохим идеалистом», попадает в материалисты.

Антонович правильно раскрывает смысл формулы «мир есть воля и представление», выявляет ее солипсический смысл и доказывает, что зайцевское истолкование этой формулы является произвольным домыслом, лежащим на совести автора.

Антонович защищает Гегеля от нападок Зайцева. Назвать Гегеля «бездарным и тупым шарлатаном — это мало того что несправедливость, но еще философское невежество». «И было бы в высшей степени желательным,— говорит Антонович,— чтобы явился человек, который бы сделал для реализма то же, что сделано Гегелем для идеализма» (с. 259).

Слова эти показывают, что Антонович, вслед за Чернышевским, высоко ценил диалектику Гегеля и был куда более последовательным диалектиком, чем Зайцев.

Эта сторона философских воззрений Антоновича помогла ему защитить Сеченова от вульгарно-материалистических нападок Зайцева. Антонович показал, что Зайцев не понял основной идеи работы «Рефлексы головного мозга», того положения, которое составляет весь смысл ее. Главная заслуга Сеченова, указывает Антонович, заключается как раз в неопровержимом доказательстве положения, «что психический акт невозможен без чувственного возбуждения» (с. 272). Сомнения, истоки заблуждений Зайцева в непонимании того, что «...всякое возбуждение, если только оно не составляет часть психических актов и само не есть психический акт, должно признаваться непременно *внешним*... Откуда бы ни шло возбуждение, с поверхности ли, из «нутра», из «полостей» или из «внутренностей»,— во всяком случае оно есть внешнее возбуждение относительно психического акта» (с. 275).

Критика Антоновичем философских ошибок Зайцева была настолько неотразима, что последний сам признал справедливость ее относительно работы Сеченова полностью, относительно Шопенгауэра — частично.

Статья «Промахи», написанная в сдержанных тонах, была первой ласточкой действительно серьезной принципиальной полемики Антоновича с «Русским словом». Но она появилась в феврале 1865 года, когда Благосветлов и Зайцев уже заявили об отказе от полемики, и не могла скрасить беспросветного впечатления от десятка предшествовавших ей «цепных» статей и заметок Антоновича в адрес «Русского слова». Даже

деятели «Современника» считали полемическую деятельность Антоновича «грызней беспричинной, ненужной и вредной» (мнение Елисеева).

«...Эта грызня дошла до того,— писал Елисеев в своих воспоминаниях,— что г. Антонович в 1865 г., по острому выражению покойного М. Е. Салтыкова, отправным пунктом полемики между «Современником» и «Русским словом» поставил положение, что Благосветлов имеет обыкновение спать в передних на барских шубах; говоря проще, дошел прямо до площадной брани... Напрасно некоторые из сотрудников «Современника», в том числе и я, говорили ему, чтобы он бросил эту грызню, бесполезную и неприличную для журнала, напрасно некоторые из читателей журнала присылали в редакцию журнала ругательные письма за эту грызню, Антонович печатал эти письма и продолжал делать то же, что и прежде. Несомненно, что эта постоянная грызня г. Антоновича сильно повредила «Современнику». Говорили, что именно вследствие ее подписка на «Современник», доходившая при Чернышевском до семи тысяч, упала в возобновленном «Современнике» на четыре тысячи» [1].

Таким образом, «грызня» Антоновича, безобразные приемы и методы полемики заслоняли от читателей (да и не только от читателей, но даже от сотрудников «Современника») то положительное, что было в ней.

Беда «Современника» заключалась не только в методах полемики, но еще и в том, что, будучи правым в частных вопросах, в споре по основному, кардинальному вопросу он оказывался явно несостоятельным. Главным вопросом полемики, что признавал и сам «Современник», был вопрос о «новом человеке», о роли этого «нового человека», демократа-разночинца в пореформенных условиях. Именно этот вопрос начинал дебатироваться между двумя журналами еще в 1862 году.

Сам Антонович в статье «Русскому слову» («Современник», 1865, № 1) заявлял, что считает отношение к Базарову *«главным предметом нашего спора»* (с. 169, курсив мой.— *Ф. К.*).

«Русское слово» ответило Антоновичу такой фундаментальной статьей, как писаревские «Реалисты»

[1] Шестидесятые годы, с. 284—285.

(«Нерешенный вопрос»), печатавшейся в трех номерах журнала. В то же время Антонович за шесть месяцев полемики не противопоставил работе Писарева ничего, кроме много раз повторенного утверждения, будто Тургенев написал карикатуру, а критики «Русского слова» приняли эту карикатуру за свой портрет.

Обстоятельство это давало возможность Писареву с полным основанием заявить Антоновичу, что «Русское слово» почти полгода понапрасну ждет, когда же Антонович кончит «предварительные объяснения» и начнет разбор идей «Нерешенного вопроса», когда он от мелочей перейдет к основному предмету спора.

«Но... у вас нет доводов против «Нерешенного вопроса», у вас нет самостоятельного миросозерцания, которое вы могли бы противопоставить нашим идеям...— попадая в самое больное место, заявлял Писарев.— И поневоле, по инстинктивному чувству самосохранения, вы стараетесь отдалить ту неприятную минуту, когда ваше бессилие обнаружится во всей своей наготе... Положим, вы наполните еще пять-шесть книжек «Современника» «предварительными объяснениями»,— ну а потом что будет?..» — не без оснований иронизировал Писарев и ставил перед Антоновичем ультиматум: «...или принимайтесь за «Нерешенный вопрос», или признавайтесь начистоту, что вы до сих пор говорили о Базарове пустяки, что «Асмодей нашего времени» написан великим критиком по неопытности» (1865, 3, II, 66).

Ультиматумом этим, провозглашенным им в статье «Прогулка по садам российской словесности» в мартовской книжке журнала за 1865 год, Писарев снова ввязывался в полемику, заступив место Благосветлова и Зайцева, которые вели ее до сих пор. Ультиматумом этим, так же как ранее статьей «Объяснение», Писарев преследовал цель: направить полемику в более серьезное русло, заставить Антоновича приступить к обсуждению основных, кардинальных проблем.

В марте — октябре 1865 года в полемике двух журналов на первый план выходят такие вопросы, как вопрос о сущности, специфике и назначении искусства, а также вопрос о положительном герое времени, который был поставлен значительно раньше, но получил свое разрешение только сейчас. В «Современнике» полемику вел по-прежнему Антонович («Современная

эстетическая теория». — «Современник», 1865, № 3; «Промахи», ч. II. — «Современник», 1865, № 4; «Лжереалисты». — «Современник», 1865, № 7) и отчасти Жуковский (редакционная статья «Итоги». — «Современник», 1865, № 8). Со стороны «Русского слова» во второй фазе полемики противником Антоновича выступил Писарев, адресовавший «Современнику» ряд статей («Прогулка по садам российской словесности». — «Русское слово», 1865, № 3; «Разрушение эстетики». — 1865, № 5; «Посмотрим!» — 1865, № 9; «Новый тип». — 1865, № 10).

Если содержанием полемики «Русского слова» со Щедриным были главным образом вопросы политические, если главным содержанием первой фазы полемики «Русского слова» с Антоновичем (отбрасывая «шелуху») были вопросы философские, то вторая фаза этой полемики — спор Писарева с Антоновичем — была посвящена прежде всего вопросам литературно-эстетическим.

Разобраться во второй фазе полемики «Русского слова» с Антоновичем, да и во всей полемике журнала с Антоновичем, невозможно, не уяснив литературно-критических и эстетических позиций Писарева и «Русского слова» в целом. Тем более что полемика Антоновича с Писаревым весной 1865 года началась как раз статьями «Современная эстетическая теория» и «Разрушение эстетики», посвященными вопросам эстетики.

Глава VI

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ?..

1

Эстетика Писарева...

Не является ли парадоксом, нелепицей сама постановка этого вопроса? Ведь Писарев и «Русское слово» на всем протяжении целенаправленно и последовательно «разрушали» эстетику. Даже термин «эстетика» стал для них бранной кличкой.

И тем не менее существовала эстетика Писарева и «Русского слова» — весьма цельная и в достижениях и в слабостях.

Заблуждения Писарева и его товарищей по «Русскому слову» в области эстетики и литературной критики давно уже стали притчей во языцех.

Эстетика как наука – такая же нелепость, какою была бы, например, наука о любви. Чернышевский написал свою работу «Эстетические отношения искусства к действительности» с целью разрушения эстетики, утверждал Писарев.

Единственное искусство, которое имеет право на существование, – литература, поэзия. «Обо всех других искусствах, пластических, тонических и лирических, я выскажусь совершенно коротко и ясно. Я чувствую к ним глубочайшее равнодушие. Я решительно не верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества» (1864, 11, II, 34), – говорил он.

И далее: «Поэтом можно *сделаться* точно так же, как можно сделаться адвокатом, профессором, публицистом, сапожником или часовщиком. Стихотворец, или вообще беллетрист, или вообще художник – такой же точно ремесленник, как и все остальные ремесленники, удовлетворяющие своим трудом различным естественным или искусственным потребностям общества» (1865, 6, II, 11).

Эти писаревские высказывания еще не самые крайние для «Русского слова». Зайцев договаривался на страницах журнала и до утверждений вроде следующего: «Пора понять, что всякий ремеслеиник настолько же полезнее любого поэта, насколько положительное число, как бы ни было мало, больше нуля» (1864, 3, II, 64). (Правда, дальше Зайцев оговаривается: «Разумеется, речь идет о служителях чистой поэзии, гнушающейся служить какому-нибудь практическому делу».)

Задача современного исследования состоит в том, чтобы понять и объяснить истоки этих заблуждений, соотнести их с общей эстетической концепцией и литературно-критической деятельностью авторов «Русского слова», раскрыть основополагающие принципы, из которых исходили в своей литературно-критической деятельности Писарев, Зайцев и другие сотрудники журнала.

Бесспорны пристрастия Писарева и Зайцева к неожиданным парадоксам, полемическим преувеличе-

ниям. Они обосновывали это даже теоретически — тем, что их задача — расшевелить мысль читателя, во что бы то ни стало заставить его думать. И все-таки большинство их заблуждений и ошибок в сфере эстетики и литературной критики — не просто полемические преувеличения, но проявление ограниченности их философских, эстетических и литературно-критических взглядов.

Писарев категорически отрицал эстетику как науку, понимая под эстетикой не что иное, как науку о *прекрасном*.

Ошибка Писарева заключалась в том, что он отрицал объективность прекрасного. «Если... прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах» (1865, 5, II, 3),— утверждал он. И, главное, Писарев не понял того, что, разрушив эстетику как идеалистическую науку о прекрасном, Чернышевский заложил основы новой эстетики как науки о сущности, специфике и задачах литературы и искусства.

Яростный сокрушитель эстетики, Писарев разрабатывал свою цельную и последовательную — до прямолинейности — систему взглядов на литературу и искусство, свою систему эстетики. Эстетика Писарева была частью философского и общественного мировоззрения и несла на себе печать его общественно-политических, социальных и философских воззрений.

В своих воззрениях на литературу и искусство Писарев совершенно искренне (и здесь он не так уж далек от истины) считал себя продолжателем Чернышевского. Что безоговорочно принимал Писарев в эстетике Чернышевского? В чем он был его бесспорным и последовательным продолжателем? В главном: в его понимании сущности и общественного предназначения искусства. Писарев отстаивает материалистическое понимание искусства как воспроизведения действительности, объяснения действительности и приговора ей.

Весь смысл и вся тенденция «Эстетических отношений»,— утверждает он,— концентрируются в следующих превосходных словах автора: «Наука не думает быть выше действительности: это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действи-

тельности, это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью,— воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее. Пусть искусство довольствуется высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни» (1865, 5, II, 19).

Взяв за основу материалистический взгляд на искусство, разработанный Чернышевским, Писарев так определяет задачи критики:

«Эстетические отношения» говорят, что искусство ни в коем случае не может создавать свой собственный мир и что оно всегда принуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности. Это основное положение обязывает критика рассматривать каждое художественное произведение непременно в связи с той жизнью, среди которой и для которой оно возникло» (1864, 11, II, 19—20).

Это правило, характерное для литературно-критической деятельности Белинского, Чернышевского, Писарев поставил во главу угла своей практической работы.

Вопрос об общественной роли и предназначении искусства был центральным для Писарева, составлял душу его воззрений на литературу и искусство. Из него исходил он в решении любой литературно-эстетической проблемы, здесь — истоки всех его завоеваний и побед.

«Поэт — великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа»,— как говорит Генрих Гейне,— или же поэт ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт — титан, потрясающий горы векового зла, или поэт — козявка, копающаяся в цветочной пыли» (1865, 11, II, 11).

В этих словах — квинтэссенция писаревского взгляда на литературу. Вся его деятельность литературного критика проникнута такой необычайно высокой требо-

вательностью к писателю. Искусство имеет право на существование при одном обязательном условии: если оно служит жизни действительной, приносит пользу народу.

«Прежде всего скажу откровенно: я решительно не признаю так называемого бессознательного и бесцельного творчества», — утверждает в статье «Нерешенный вопрос» Писарев. В ряде выступлений журнал борется с «искусством для искусства».

В соответствии со своим мировоззрением Писарев обосновывает идею гражданского служения литературы утилитаристски. Последовательный реализм, говорит он, безусловно презирает все, что не приносит существенной пользы. Вот почему и поэт, не переставая быть поэтом, обязан приносить обществу действительную и несомненную пользу.

Какую?

Ответ на этот вопрос для Писарева вытекает из самих основ его мировоззрения. «Истинный, «полезный» поэт, — утверждает он, — должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа. Понимая вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, поэт, как человек страстный и впечатлительный, непременно должен всеми силами своего существа любить то, что кажется ему добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в плоть и в кровь и превратиться в живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная с такой ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священный смысл всего его существования и всей его деятельности. «Я пишу не чернилами, как другие, — говорит Берне, — я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов». Так и только так должен писать каждый писатель. Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки» (1864, 11, II, 9—10).

Настоятельно подчеркивает Писарев, что обязательное, неумолимое требование, предъявляемое жизнью каждому художнику, — наличие глубоких и прочных гражданских убеждений. А такие убеждения складываются лишь в том случае, если художник жи-

вет великими вопросами действительности, если он носит в себе главнейшие думы и печали современного мира, если он заботится о великих, истинных и серьезных сторонах общечеловеческого духа.

Художник в его представлении лишь тот, кто беспредельно и глубоко сознательно любит и ненавидит, кто живет и творит ради активного вмешательства в жизнь, ради борьбы за торжество идеалов.

Писарев не ограничивается абстрактными декларациями о том, что истинный художник должен «служить живому делу действительной, современной жизни», бороться за свои идеалы. Он раскрывает перед художниками свое, с его точки зрения – истинное, понимание того, какими должны быть эти идеалы.

В своих размышлениях о любви и ненависти художника, о его служении народу и обществу, о его гражданских идеалах Писарев исходит из того вопроса вопросов, который служил фундаментом его мировоззрения, из «той простейшей истины», что для публициста и художника, «имеющего в виду интересы большинства, возможен в настоящее время только один вопрос, поглощающий все остальные: *как* накормить голодных людей?..» (3, 490.)

Не отдавая отчета в том, насколько важен для Писарева этот исходный тезис его миросозерцания, невозможно понять сущность его эстетической и литературно-критической деятельности.

Задача Писарева в конечном счете – «превратить искусство в орудие реализма», добиться, чтобы оно сознательно ставило своей главной и исчерпывающей целью решение этого центрального вопроса дня – вопроса о голодных и раздетых людях.

«Мы, собственно, только затем и стараемся доконать эстетику, чтобы сосредоточить внимание и умственные силы общества на самом незначительном числе жгучих и неотразимых вопросов первостепенной важности» (1865, 9, II, 58), – раскрывал Писарев сущность своей позиции в статье «Посмотрим!».

Так понимал Писарев общественное назначение, общественную роль литературы и искусства. Он твердо убежден, что «настоящий поэт, родившийся в XIX веке и получивший здоровое человеческое образование, не может быть ни ретроградом, ни индифферентистом» (1864, 10, II, 53). Он не может не встать в ряды борцов за счастие народа. Ибо «каким обра-

зом он ухитрится во время своих поисков миновать тот громадный мир неподдельного человеческого страдания, который со всех сторон окружает нас сплошною, темною стеною? Разве есть возможность не заметить того, что на каждом шагу режет глаз самому невнимательному наблюдателю?.. Какой же истинный поэт может довести себя до чурбанного равнодушия?» (1864, 11, II, 26). А если художник, чья натура должна быть в высшей степени впечатлительной, отзывчивой, страстной, с самодовольным презрением отвернется от картин грязной нищеты, чтобы отозваться певучими нотами на благоухание расцветающей розы и на вздохи смазливой барышни,— в таком человеке нет ни ума, ни впечатлительности, ни страсти, ни отзывчивости, утверждает Писарев. Это и не художник вовсе, но простой мышиный жеребчик, одержимый тщеславием, копеечным желанием порисоваться перед копеечной публикой.

Не случайно самые горячие симпатии Писарева и Зайцева привлекает Генрих Гейне. «Представители немецкого свиста Гейне и Берне» — так называлась первоначально зайцевская статья о Гейне, не пропущенная в таком виде цензурой в «Русское слово». «Мне кажется, этого писателя каждый истинный сын XIX века должен любить совсем особенною, нежною, исключительною, почти болезненною любовью» (1864, 11, II, 16),— говорит Писарев. Гейне был близок критикам «Русского слова» своим духом беспощадного отрицания и необыкновенною чуткостью к человеческим страданиям. Но и его Писарев и Зайцев принимали далеко не полностью, их не устраивал «политический дилетантизм» Гейне.

Строгая система революционно-демократических воззрений, именуемых «реализмом»,— таков был тот знаменатель, к которому сурово и последовательно подводили всю литературу и искусство Писарев и Зайцев. То, что с точки зрения последовательного «реализма» помогает решению вопроса о голодных и раздетых людях,— годится. То, что не помогает и, уж тем более, что противоречит принципам реализма,— заслуживает ядовитого осмеяния и беспощадного уничтожения.

Вот тут-то мы и подходим к одной из ограниченностей литературно-эстетических позиций Писарева, которая приводила его к заблуждениям и ошибкам.

Он был глубоко прав, когда требовал от литературы и искусства активного служения жизни, действительности. Он был глубоко прав и тогда, когда, раскрывая это свое требование, в качестве главной, конечной задачи перед художником ставил решение вопроса о голодных и раздетых людях.

Последовательно выступая за тесную связь литературы и искусства с жизнью народа, Писарев продолжал дело Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Выдающиеся критики «Современника», классики революционно-демократической мысли, бескомпромиссно боролись за высокую гражданственность литературы и искусства, но делали это с глубоким пониманием специфики искусства, без упрощенчества и прямолинейности. В качестве первого требования к произведениям литературы и искусства они выдвигали правду жизни, справедливо утверждая, что последовательный реализм не может не быть отрицанием деспотизма и крепостничества. Классики революционно-демократической критики стремились глубоко раскрывать объективное содержание творчества и тех писателей-реалистов, чьи социальные и политические воззрения были далеки от революционной демократии. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Островский, Тургенев, Гончаров, Толстой – творчество лучших мастеров русской литературы получило в критике Белинского, Чернышевского, Добролюбова глубокое и верное истолкование.

Нет, критика Белинского, Чернышевского, Добролюбова, при всей ее объективности, не была равнодушным, объективистским разбором литературных достоинств произведений искусства. Она преследовала ясную и точную цель: поставить завоевания отечественной словесности на службу народа, борющегося за свое освобождение.

В своих лучших статьях Писарев продолжил эти великолепные традиции революционно-демократической критики. Его блистательные разборы «Отцов и детей» Тургенева, «Что делать?» Чернышевского, произведений Л. Толстого, Достоевского, Помяловского, Слепцова написаны в духе «реальной критики», им свойственна целеустремленная публицистичность и глубокое, тонкое понимание специфики литературы.

Однако в ряде статей Писарева его талант литературного критика приходил в противоречие с искусственными, рационалистическими, прямолинейно утилитаристскими построениями, которые он создавал в сфере теории искусства.

Не ограничиваясь требованием гражданского служения искусства запросам жизни, народу, Писарев стремился диктовать конкретные пути и способы этого, принимая лишь то, что отвечало созданной им социальной теории «реализма», и беспощадно отсекая все, что не соответствовало этой концепции.

Теория «реализма» Писарева была порождена той сложнейшей ситуацией, в которой оказалось русское освободительное движение в 1863—1866 годах, и явилась определенным этапом мучительных поисков передовой русской мыслью правильной революционной теории. Писареву уже иногда казалось, что его теория «реализма» содержит в себе объективную и абсолютную истину и является единственно правильной революционной теорией.

В соответствии со своими убеждениями Писарев проводил свою теорию «реализма» во все сферы жизни и, конечно,— в литературу и искусство. Он делал это с присущим ему темпераментом, страстностью и последовательностью, а порой — с откровенной, вызывающей прямолинейностью. А так как утилитаристская теория «реализма», наряду с верными, общими для всей революционной демократии принципами, содержала и ошибочные, односторонние положения — последовательное проведение ее в сферу эстетики, в литературно-критическую практику не могло не приводить к парадоксальным противоречиям. Одно из таких противоречий — отрицание Писаревым и Зайцевым живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, балета — всех искусств, кроме литературы. Зайцев заходил порой еще дальше: в полемическом задоре он иногда готов был перечеркнуть и литературу.

В своей рецензии на второе издание книги Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» («Русское слово», 1865, № 4) Зайцев стремился доказать, будто и Чернышевский написал свою работу с целью отрицания искусства. Искусство «не более как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме»,— утверждал Зайцев. Писарев никогда не замахивался на литературу,

поэзию, наоборот, как мы видели выше, видел в литературе могучее средство борьбы за счастье народа. Но он отрицал все остальные искусства и иронически ставил на одну доску «великого Бетховена, великого Рафаэля, великого Канова, великого шахматного игрока Морфи, великого повара Дюссо и великого маркера Тюря» («Реалисты»).

В своем отрицании искусств он исходил из самых благих намерений. Его система аргументации проста и определенна. Решению вопроса о голодных и раздетых людях должны быть посвящены все творческие силы человечества. По великому принципу экономии умственных сил — одному из краеугольных камней утилитаризма — к решению этой конечной цели надо идти самым кратчайшим путем. Теория реализма предложила такой единственно верный, кратчайший путь — будить мысль, распространять знания. Литература в лице лучших своих представителей помогает решению этого вопроса — она рисует «те стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и действовать» (1864, 10, II, 93). Литература учит людей мыслить. Она воспитывает «реалистов». Другие же искусства — музыка, живопись, скульптура, балет, в основе которых лежит чувство, а не мысль, не помогают распространению знания, не будят умы и служат лишь для удовлетворения эстетических потребностей господствующих классов.

Существование не приносящих пользы народу искусств в обществе, где царствуют голод и нищета, попросту безнравственно. «...Когда в обществе есть не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу рано, нелепо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться об удовлетворении других потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечного меньшинства сытых и разжиревших людей» (1865, 9, II, 19).

Таким образом, отрицание ряда искусств носило у Писарева не эстетический, но социальный, утилитаристский характер.

Эта крайняя и ошибочная точка зрения — ошибочная потому, что все лучшее в искусстве в конечном счете всегда было завоеванием народа и служило народу в борьбе за его освобождение, если только борьбу за освобождение народных масс не сводить к ути-

литаристской теории «реализма», — немедленно встретила отпор на страницах «Современника». К сожалению, Антонович, будучи правым в принципе, не сумел возразить «Русскому слову» по существу. В своей статье «Лжереалисты» («Современник», 1865, кн. 7) Антонович предъявил Писареву несправедливое обвинение, будто тот отрицает не только искусство, но и поэзию, литературу вообще и делает это из соображений «аскетизма». Защита Антоновичем музыки и изобразительных искусств содержала ряд расплывчатых положений, которые можно было истолковать как оправдание «искусства для искусства».

Такой спор не мог убедить публицистов «Русского слова». Писарев ответил, что он выступает против ряда искусств отнюдь не из соображений «аскетизма».

«Аскетом ни в коем случае нельзя назвать такого человека, который весь поглощен одною преобладающей страстью и который, нисколько не думая о борьбе с самим собой, посвящает удовлетворению этой своей страсти все силы и всю свою жизнь» (1865, 5, II, 23—24). Такой «преобладающей и безотвязной страстью», перед которой бледнеют и исчезают всякие посторонние соображения и всякие «побочные интересы», является для «некоторых» (то есть для публицистов «Русского слова») вопрос о голодных и раздетых людях. Предаваясь безраздельно «своей глупой страсти», эти «глупые некоторые» ищут и находят в ней одной главные источники своих страданий и своих наслаждений. Они чувствуют себя счастливыми, когда видят, что сколько-нибудь продвинулись вперед к своей цели; они злятся и волнуются, когда обстоятельства отбрасывают их назад или заставляют топтаться на одном месте. Они не принимают изящных искусств именно и только потому, что эти искусства не помогают им двигаться вперед.

Антонович, который игнорировал истинные причины отрицания Писаревым искусств, был немедленно зачислен по ведомству «искусства для искусства».

Так, даже в тех случаях, когда Писарев был кругом не прав, Антонович оказывался посрамленным. Писарев и ошибался талантливо, защищал свои ошибки с блеском, а Антонович, претендовавший на роль хранителя наследия Чернышевского, оказывался не в состоянии отстоять истину. Страдая столь же упро-

щенным взглядом на искусство, но не имея писаревского литературно-критического чутья, он не в силах был отстоять в полемике с Писаревым какие-то принципиально важные вещи. Он прошел и мимо другой слабости литературно-критических воззрений Писарева (потому, кстати, что сам в полной мере разделял ее): непонимания специфики художественного творчества, проявлявшейся во многих писаревских статьях.

Это заблуждение Писарева, противоречившее всей природе его литературно-критического дарования, также шло от крайностей утилитарного подхода к искусству, порождавшего порой чисто иллюстративное толкование литературы как формы выражения определенной системы идей. «...Все поэтические произведения создаются именно таким образом: тот человек, которого мы называем поэтом, придумывает какую-нибудь мысль и потом втискивает ее в придуманную форму» (1865, 6, II, 7),— с вызовом утверждает Писарев.

Искусство в трактовке Писарева сплошь и рядом оказывалось популярным способом дидактики. Оно теряло свою специфику, становилось в подчиненное положение по отношению к науке, превращалось, в соответствии с писаревской теорией реализма, в иллюстратора научных и политических идей.

2

Пренебрежение к художественной специфике литературы и искусства, не свойственное, к примеру, Добролюбову, но заметное у Писарева, а в особенности — у Зайцева и Благосветлова, было, думается, одной из причин и крайне низкого уровня художественной прозы и поэзии в журнале.

Сами сотрудники «Русского слова» выражали порой неудовольствие литературным отделом журнала. «Литературный отдел... весьма печален и грустен, плаксивый характер придает ему Витковский своими тоску наводящими повестями» [1],— писал Шелгунов летом 1863 года.

---

[1] Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого.— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 2, с. 128.

Действительно, бесталанные творения Витковского, Потанина, А. Кобяковой и других, в обилии публиковавшиеся в журнале, наводили тоску на читателя.

В массиве прозы «Русского слова» заслуживают внимания две струи, сообщающие определенный колорит журналу.

Одна струя, наиболее живая,— это очерки, рассказы и повести из народной жизни, входившие в общий поток демократической литературы 60-х годов, представленной такими именами, как Г. Успенский, Левитов, Решетников, Помяловский и другие.

Глеб Успенский, который фактически начинал в «Русском слове» свою литературную биографию, напечатал здесь рассказы «Ночью», «Эскизы чиновничьего быта», «В деревне», «Летние сцены», «Бесприютные», несколько фельетонов и зарисовок. Воронов до ссоры с Благосветловым, после которой ушел из журнала, успел напечатать ряд остро разоблачительных вещей: «Сквозь огонь, воду и медные трубы», «Московская литературня», «Тяжелые годы». В «Русском слове» опубликованы «Воспоминания детства» и «Между людьми» Ф. Решетникова. Уже посмертно здесь были опубликованы «Поречане» Н. Помяловского — последняя вещь этого талантливого прозаика 60-х годов, которую он так и не успел закончить.

Все это, как правило, бытописательские очерки, в традициях «Физиологии Петербурга», с талантом и наблюдательностью живописующие народную жизнь. Смысл публикации подобного рода произведений, в обилии появлявшихся на страницах «Русского слова»,— отнюдь не в дешевом обличительстве. Со страниц очерков и рассказов Воронова, Помяловского, Решетникова, Г. Успенского вставала во всей натуральности и неприкрашенности тяжелая, свинцовая российская жизнь.

Это отлично понимала цензура.

В своих замечаниях на январскую книжку «Русского слова» за 1864 год один из руководителей цензурного ведомства Пржецлавский писал:

«Январская книжка журнала «Русское слово» отличается необыкновенным изобилием материала из категории так называемого реалистического жанра. Целых три статьи взяты из жизни тюрем, кабаков, домов

разврата, нищенских и воровских притонов. Они переполнены отвратительными сценами этого подземного мира. Статьи эти: «Московские норы и трущобы» г. Воронова, «Ночью» Успенского и «Записки тюремной надзирательницы», перевод с английского...

Взятые отдельно статьи эти не заключают ничего прямо нарушающего правила цензуры, но соединение их в одной книжке журнала могло бы, кажется, обратить ее внимание. Букет подобных цветов слишком уже раздражает нервную систему читающего общества... В народном рассудке сложилась пословица: «Хорошего понемножку»; редакция «Русского слова» усердно придерживается этого правила, но желательно, чтобы она применяла его к дурному...» [1]

Еще большее распространение на страницах «Русского слова» получили так называемые «повести о новых людях». Они печатались из номера в номер. Их авторы – демократически настроенные, но, как правило, третьеразрядные беллетристы 60-х годов – стремились, исходя из статей Писарева и других критиков «Русского слова», воплотить в характеры идеи «реализма». В традициях «Что делать?» Чернышевского они рисовали «новых людей» того времени – «умственных пролетариев». Тот же Пржецлавский так характеризовал одну из подобных повестей («В гостях у бабушки»).

Повесть «живо представляет в действии состояние той части современного общества, которое так метко обрисовано в романе «Отцы и дети»... И здесь родители – существа, достойные презрения; дети несравненно выше их и в умственном и нравственном отношении; герой и героиня, оба пролетарии, так же выше всех, кто имеет какую-нибудь собственность; в герое сохранена даже грубость, соделывающая его точною копией Базарова. Но роман Тургенева написан с целью опошлить базаровщину, выказать всю несостоятельность этого направления – повесть же «В гостях у бабушки», напротив, имеет притязание доказать все его преимущество над общепринятыми понятиями о нравственности. Это приведение в действие и апология доктрины так называемого *нигилизма*... иначе доктрины «новых людей», подробно изложенной в романе «Что делать?», который по своей наивной без-

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 20.

нравственности не имеет ничего себе подобного ни в одной европейской литературе, а в нашей остался навсегда пятном, вместе и памятником оплошности цензуры» [1].

Попытка создать характер демократически настроенного разночинца-шестидесятника содержалась и в романе Н. Благовещенского «Перед рассветом», и в повести Н. Бажина «Степан Рулев», и в ряде других произведений. Произведения эти носили откровенно пропагандистский характер и преследовали сугубо утилитарную цель: способствовать воспитанию «мыслящих реалистов».

«Почти в каждом городе в настоящее время найдутся люди хорошие, представители высших интересов молодого поколения, которые своими беседами и влияниями забрасывают в окружающее общество те великие мысли, которые служат для него зачатками будущего возрождения. В них воплотились лучшие соки народа, они «семя свято» городов наших, они предвестники будущего рассвета. С каждым новым поколением их становится больше и больше, но в начале пятидесятых годов такие люди были еще редкостью, да и общество не понимало и чуждалось их...» (1864, 1, I, 59), — писал, например, Благовещенский в романе «Перед рассветом» и пытался показать этих «хороших людей».

Демократическая направленность подобного рода произведений не вызывает сомнения. Традиция эта получит дальнейшее развитие на страницах журнала «Дело» в творчестве Шеллера-Михайлова (он пришел в «Русское слово» в 1865 году), Бажина, Федорова-Омулевского и других. Пожалуй, наиболее значительные среди произведений «Русского слова» о «новых людях» были повести Н. Ф. Бажина (псевдоним Холодов): «Степан Рулев» (1864, № 11, 12); «Чужие меж своими» (1865, № 1, 2); «Житейская школа» (1865, № 6—7); «Три семьи» (1865, № 10—12). В них с особой очевидностью проявилось то двойное влияние романа «Что делать?» Чернышевского и статей Писарева, которое накладывало специфический отпечаток на произведения о «новых людях», печатавшиеся в «Русском слове». Об этом влиянии на героев писателей-демократов говорил еще Н. К. Ми-

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 20.

хайловский: «Герои эти сочинялись по писаревским указаниям и под влиянием романа «Что делать?» [1].

Повесть «Степан Рулев» Н. Бажина имела даже характерный подзаголовок: «Черты из жизни хороших людей», открыто перекликающийся с подзаголовком в романе Чернышевского «Из рассказов о новых людях».

Его Степан Рулев был двойником Рахметова, только исполненным с меньшим талантом и убедительностью.

Автор дает понять, что смысл жизни для Рулева – «его предприятие» (1864, 11, I, 332); что это за «предприятие», можно судить по реакции учительницы Тиховой, которой Рулев рассказывает о своем «задуманном деле»: «Тихова ни слова не могла произнести и молча опустилась на спинку стула» (1864, 12, I, 90). «Дело» жизни Степана Рулева – революционное дело. И готовился он к нему точно так же, как Рахметов: «В семнадцать лет у него набралось громадное количество знаний, вынесенных от чтения... Надо было найти ложь и правду. С этой поры началась серьезная умственная деятельность Рулева... Мускульная работа его тоже не прекращалась: он плавал, с любовью занимался гимнастикой, не бросил ни одной из игр, развивавших силу. В двадцать лет он уже совершенно сформировался физически и выработал самостоятельный, строго реальный взгляд на жизнь» (1864, 11, I, 305–306).

Таков «особенный» человек Степан Рулев – профессиональный революционер, разумный эгоист, отказывающийся от личного счастья во имя «дела». Его можно «растерзать, раздавить, убить, но запугать или заставить согнуться нельзя» (1864, 12, II, 102). О жизни «хороших людей» – разночинцев Братанова, Гребцова, Корчагина рассказывается в повестях «Чужие меж своими», «Житейская школа», «Три семьи». Герои этих произведений ближе по характеру и деятельности к Лопухову и Кирсанову: «Люди, подобные Братанову, знают свою силу, заискивать ни в чем не будут, честные и сознательные взгляды свои на жизнь не станут прикрывать красивыми фразами». Это «мыслящие пролетарии», «реалисты», «писаревцы».

---

[1] Русская мысль, 1892, № 5, с. 167.

Пропагандируя высокие нравственные и духовные качества людей «нового типа», делая это не только в критических статьях, но и в прозе, «Русское слово» боролось с реакционными публицистами и беллетристами, пытавшимися в «антинигилистических» статьях и романах опорочить демократов-шестидесятников.

Беда всех этих произведений, разрабатывавших на страницах «Русского слова» тему «нового человека», заключалась в крайнем схематизме, умозрительности, рационалистической построенности их. Авторы этих произведений шли не от жизни, а от абстрактных представлений, в писаревском духе рисующих идеал «мыслящего реалиста». Их романы и повести не были картинами жизни, но иллюстрациями пусть и прогрессивных идей.

Проблемы таланта, художественности, жизненной достоверности, по-видимому, не вставали всерьез перед редакцией «Русского слова», в обилии печатавшей эти исполненные добрых намерений малохудожественные произведения.

3

Узкоутилитарный подход к литературе, недооценка специфики художественного творчества, прямолинейное стремление распространить теорию «реализма» на литературу и искусство приводило «Русское слово» к грубейшим ошибкам и в оценках явлений современной им литературы, особенно — литературного наследства.

Салтыков-Щедрин, Островский, не говоря уже, к примеру, о Фете, были отлучены от литературы потому, что их воззрения не совпадали с воззрениями публицистов «Русского слова», художественные богатства, содержащиеся в их произведениях, не интересовали «Русское слово».

Особенно резко крайности утилитаристской эстетики «Русского слова» проявились в отношении к Пушкину.

Еще в 1863 году в статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» Писарев включил в круг необходимого для мыслящих реалистов чтения и стихотворения Пушкина. В статье «Базаров» (март

1862 года) Писарев анализировал характер Онегина в совершенно иной, отличной от статьи «Пушкин и Белинский», тональности, с тонким пониманием социальной сущности этого образа.

Новый, резко отрицательный взгляд на Пушкина выявился у Писарева в 1864—1865 годах — именно тогда, когда им была сформулирована теория «реализма».

Рассматривая отношение Писарева к Пушкину, следует иметь в виду следующие его слова: «Предупреждаю только заранее моих будущих оппонентов, что я совершенно устраняю в вопросе о Пушкине историческую точку зрения... — Я задал себе только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту, или же мы можем поставить его на полку, подобно тому как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским?» (1865, 3, II, 56).

Ради ответа на этот вопрос Писарев представил читателям развернутый разбор творчества Пушкина (статьи «Евгений Онегин» и «Лирика Пушкина» в апрельской и июньской книжках журнала за 1865 год) под строго определенным углом зрения: насколько соответствует творчество Пушкина теории «реализма» в писаревском понимании этого слова. Так как в основе этой теории лежал вопрос о голодных и раздетых людях, его-то Писарев и сделал главным критерием оценки творчества Пушкина.

Выводы Писарева были крайне резкими и самыми неутешительными. «Если бы он пел о правах и обязанностях человека, о стремлении к светлому будущему, о недостатках современной действительности, о борьбе человеческого разума с вековыми заблуждениями, о сознательной любви к отечеству и к человечеству, о значении того или другого исторического переворота, — то, разумеется, его пение волновало и мучило бы сердца» (1865, 6, II, 38), — говорит Писарев. Но, прямолинейно меряя творчество великого поэта своим, в силу объективных исторических причин, несравненно более передовым мировоззрением, намеренно отказавшись от исторической точки зрения, Писарев не находит в стихах Пушкина ни стремления к светлому будущему, ни обличения недостатков крепостнической действительности, ни сознательной любви к отечеству и человечеству.

Он пытается подтвердить эту мысль развернутой системой аргументации.

По темным преданиям, говорит он, известно, что во времена Пушкина существовало, к примеру, то явление общественной жизни, которое известно теперь под именем крепостного права. Как отразилось это явление русской жизни в творчестве Пушкина? Он приводит строки и строфы из «Евгения Онегина», имеющие отношение к этой трагедии народной, и делает вывод: «Надо сказать правду, на этих сведениях лежит самый светло-розовый колорит; помещик облегчает положение мужика; мужик благословляет судьбу... Мы имеем полное право умозаключить, что крепостное право доставляло весьма много пользы и удовольствия как помещикам, так и мужикам» (1865, 4, II, 60—61).

Этот светло-розовый колорит видится Писареву на всем творчестве Пушкина. «Весь «Евгений Онегин»,— утверждает он,— не что иное, как яркая и блестящая апофеоза самого безобразного и самого бессмысленного статус кво» (1865, 4, II, 58). Сам же Онегин не что иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде 20-х годов и выдаваемый автором за серьезное явление эпохи. Иными словами, критик не улавливает в творчестве Пушкина социального протеста против существующей действительности, созвучного настроениям революционной демократии 60-х годов. Он не видит в творчестве Пушкина стремления вглядеться в современную ему действительность под углом зрения человека, отрицающего существующий порядок вещей. Он не ощущает в творчестве Пушкина той определяющей революционной идеи, которая пронизывает творчество Некрасова или Чернышевского, которой посвятил свою жизнь Писарев, которую надо всеми средствами проводить в современное ему общество. Социальный смысл эпохи 20-х годов выразил, по мнению Писарева, Грибоедов. «Что же касается до Пушкина, то он даже не подошел близко к этой задаче, даже не составил себе о ней приблизительно верного понятия» (1865, 4, II, 62—63). А раз так, то творчество Пушкина не может действовать революционизирующе на современное ему общество. Наоборот, оно действует на молодежь усыпляюще, приучает ее «обходиться в жизни без всяких убеждений и относиться с воробьиным лег-

комыслием к самым серьезным вопросам, поглощающим все силы лучших деятелей нашей эпохи. Воспитывать молодых людей на Пушкине – значит готовить из них трутней или... сибаритов» (1865, 6, II, 19).

Отказавшись от принципа историзма в оценке Пушкина, прямолинейно меряя творчество великого поэта утилитаристскими принципами теории «реализма», Писарев совершенно не понял Пушкина. В равной степени он не понял и статей Белинского о Пушкине. «Превосходный критик, честный гражданин и замечательный мыслитель» Белинский, по мысли Писарева, отступал от принципов «реализма» и впадал в эстетику, когда оценивал творчество Пушкина. «Белинский преувеличил значение всех главных произведений Пушкина и каждому из этих произведений приписал такой серьезный и глубокий смысл, которого сам автор никак не мог и не хотел в них обнаружить» (1865, 4, II, 66).

В ряде статей Писарев критикует Белинского и даже Добролюбова за «отступления от «реализма», за уступки «эстетикам».

Во избежание односторонности, для правильного понимания литературных позиций Писарева и всего «Русского слова», необходимо точно уяснить отношение Писарева к Белинскому и Добролюбову. Известно категорическое высказывание Писарева в «Нерешенном вопросе»: «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз с полной откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте» (1865, 9, II, 36).

Контекст статьи показывает, что Писарев имел в виду здесь прежде всего систему воззрений о том, как решать вопрос о голодных и раздетых людях в современную Писареву эпоху. Проанализировав ниже различие в подходе двух демократических критиков к образу Катерины, мы попытаемся показать, в какой степени Писарев был прав в этом своем крайнем суждении. Во всяком случае, было бы неправильным абсолютизировать это утверждение Писарева. Напротив, Писарев и Зайцев всячески подчеркивали преемственность традиций революционно-демократической критики.

«...Критика Добролюбова и теперешняя критика «Русского слова» по своему основному принципу совершенно соответствуют стремлениям Белинского. Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом все более и более очищается от всяких посторонних примесей» (1865, 6, II, 2), – такова мысль Писарева.

Что это за идея? Она «выражается совершенно ясно и отчетливо в тех двух положениях, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства» (1865, 6, II, 3).

Не отрицание поэзии Пушкина, не принижение изящных искусств, но борьба за принципы демократического искусства, за высокое общественное предназначение его составляла силу литературно-критической деятельности Писарева. Эту борьбу «Русское слово» вело, как правило, в тесном союзе с «Современником».

Не имея возможности подробно проанализировать все выступления «Русского слова», в которых журнал боролся за гражданственность литературы и искусства, обозначим основные направления этой борьбы.

4

Трудно переоценить значение выступлений «Русского слова» против клеветнических, охранительных произведений той поры – так называемых «антинигилистических» романов и повестей. С легкой руки Каткова страницы «Русского вестника», «Отечественных записок» и других охранительных изданий заполнялись бездарными, антихудожественными романами и повестями, которые клеветали на «мальчишек», «свистунов», «нигилистов», «реалистов» – революционных демократов 60-х годов.

Четко отделив весь этот поток разнузданной, малохудожественной литературы от «Отцов и детей» Тургенева, критики «Русского слова» обрушились на эти произведения с гневным сарказмом, иронией. Отказываясь всерьез говорить о печатной продукции гг. Клюшниковых, Писарев зло высмеивает «поразительную бестолковщину» произведений, подобных антинигилистическому роману «Марево». «Все дей-

ствующие лица — какие-то куколки на пружинах; все говорят совсем не то, что они могут и должны говорить по своему положению и характеру; ответы не вяжутся с вопросами; каждый городит свою собственную чепуху, и вы никак не можете понять, какая побудительная причина выталкивает из него столь неожиданные и неправдоподобные звуки» (1865, 2, II, 14), — характеризует он клюшниковское «Марево» в статье с точным и выразительным названием «Сердитое бессилие».

В статьях «Сердитое бессилие», «Прогулки по садам российской словесности», «Наши усыпители» Писарев, равно как и Зайцев в «Перлах и адамантах русской журналистики», в статье «Взбаламученный романист», уничтожают во мнении читателей такие произведения, как «Марево» Клюшникова, «Взбаламученное море» Писемского, «Некуда» Лескова. Они показывают грубую тенденциозность этих произведений, отсутствие в них жизненной правды, охранительное стремление загасить всякую светлую мысль.

«На таких джентельменов, как гг. Писемский, Клюшников и Стебницкий (псевдоним Лескова. — *Ф. К.*), все здравомыслящие люди смотрят как на людей отпетых, — говорит Писарев. — С ними не рассуждают о направлениях; их обходят с тою осторожностью, с какою благоразумный путник обходит очень топкое болото» (1865, 3, II, 12).

В статье «Наши усыпители» — блестящем памфлете, впервые опубликованном в 1867 году, но, по справедливому предположению Ю. Сорокина, написанном в 1865—1866 годах, — Писарев раскрывает прямую и непосредственную связь антинигилистических романов 60-х годов с охранительной идеологией того времени. Антинигилистическая литература преследует цель «усыпления» народа и отвечает самым насущным интересам эксплуататорских классов общества: «...умственный сон низших классов охраняется во всех благоустроенных государствах многими сотнями аргусов».

Гасители и усыпители обращаются за нравственной поддержкой ко всему низменному в человеческой природе. «Раболепство, низкопоклонство, суеверие, тупоумие, самодурство, корыстолюбие, бесхарактерность, двоедушие — все, что в пробуждающемся обществе бывает принуждено прятаться и стушевываться,

снова реабилитируется и возводится на пьедестал неусыпными стараниями ловкого усыпителя» (4, 253–254).

Ради посрамления передовых идей мобилизуются чичиковщина и молчалинство – благо и того и другого в русском обществе не занимать стать. Чичиковщина и молчалинство – это те «ингредиенты, из которых романисты, вдохновленные «Московскими ведомостями», старались построить героя, долженствующего победить и уничтожить Базарова и Рахметова» (4, 260).

Последовательное разоблачение теории и практики «чистого искусства» – таково второе, очень важное направление в деятельности критики «Русского слова». Писарев, Зайцев и другие сотрудники журнала разоблачают мифы сторонников «чистого искусства», проявления этой реакционной теории в современной им литературной практике.

«Чтобы отвлекать людей от серьезных размышлений, чтобы отводить им глаза от крупных и мелких нелепостей жизни, чтобы скрывать от них насущные потребности века и народа,– писатель должен уводить своих читателей в крошечный мирок чисто личных радостей и чисто личных огорчений; ...и при этом – самое главное – он должен тщательно маскировать от читателя ту неразрывную связь, которая существует между участью отдельной личности и положением целого общества» (3, 271),– говорит в статье «Прогулка по садам российской словесности» Писарев. С присущим ему блеском он разбирает в этой статье бездарные сентиментальные писания подобного рода, в обилии печатающиеся на страницах «Русского вестника», вроде повести «Где же счастье?» г-на Н. О. или повести «Скромная доля» г-жи Л. Черкасовой.

Никчемные радости и страдания героев этих книг – не что иное, как естественный результат хронического тунеядства,– утверждает Писарев. Писарев стремился круто повернуть литературу к глубинам народной жизни, требовал, чтобы писатель навсегда забыл «коптителей неба» и занялся «изучением того настоящего горя, которое действительно требует себе облегчения, которое действительно может быть облегчено, когда оно обратит на себя внимание и сочувствие общественных деятелей» (1865, 3, II, 34–35).

Глубоко закономерен для «Русского слова» тот глубокий интерес, который проявляли критики этого

журнала к произведениям демократической литературы 60-х годов. «Что делать?» Чернышевского, проза Герцена, стихотворения Некрасова, произведения Слепцова, Помяловского и других демократов-шестидесятников находят в журнале самую щедрую поддержку.

Роману «Что делать?», как известно, в журнале было посвящено одно из выдающихся выступлений Писарева – статья «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»). «Что делать?» получило восторженную оценку Писарева потому, что автора романа «увлекает в неизвестную даль будущего очень определенное и земное стремление добавить всем людям вообще возможно большую долю простого житейского счастья». Никогда еще это направление идей, подчеркивает Писарев, не заявляло себя на русской почве так решительно и прямо, никогда еще не представлялось оно так рельефно, так наглядно и ясно. Главная заслуга Чернышевского, по мнению Писарева, в том, что он глубоко и сильно запечатлел в романе «новых людей» того времени.

Писарев подробно характеризует «новых людей» – революционеров-демократов, исповедующих идеалы социализма, и подчеркивает принципиально важную для него мысль: «...г. Чернышевский видел... много таких явлений, которые очень вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову...» (1865, 10, II, 54).

Лучшие статьи Писарева отмечены особенностью, свойственной всей революционно-демократической критике: разговор о литературе в них был всегда разговором о самых существенных и важных сторонах жизни народной. Так, его статья «Подрастающая гуманность» («Русское слово», 1865, № 12), посвященная анализу романа В. А. Слепцова «Трудное время», – блестящий памфлет, раскрывающий суть российского либерализма. Статья «Мыслящий пролетариат» (в собрании сочинений «Роман кисейной девушки»), где разбирается повесть «Мещанское счастье» Н. Помяловского, – страстное публицистическое раздумье о судьбах женщины, ее положении в условиях несправедливого общества. Статья «Погибшие и погибающие» (сборник «Луч», т. I) на материале «Очерков бурсы» Н. Помяловского и «Записок из Мертвого дома» Достоевского раскрывает безысходно трагическое положение русского народа, живущего хуже каторжных.

Тем же духом проникнута статья В. Зайцева о сборнике стихотворений Некрасова. «Народным поэтом я назвал бы г. Некрасова потому, — писал В. Зайцев, — что герой его песен один — русский крестьянин. Но он говорит о нем, конечно, как человек развитый, как говорил Добролюбов: он не «поет» его, а думает о нем, о его бедах и горе, не ограничивается объективным изображением страдания, но мыслит о нем...» (1864, 10, II, 80—81.)

Разговор о литературе для Писарева и Зайцева в их лучших статьях — всегда осмысление действительности, средство активного вмешательства в жизнь. Здесь критика «Русского слова» следовала лучшим традициям «реальной критики» Чернышевского и Добролюбова. Критик «вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное миросозерцание, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний» (1865, 5, II, 20), — утверждает Писарев.

Как полезно было бы нашей современной литературной критике почаще возвращаться к своим животворным истокам — творчеству Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева! Не утрачиваем ли мы порой в своей литературно-критической практике важнейший принцип материалистической критики: говорить о произведении «непременно в связи с той жизнью, среди которой и для которой оно возникло?» (П и с а р е в.) Не превращаем ли мы иногда нашу критику в холодного блюстителя неподвижного эстетического кодекса? Не лишаем ли часто критику трепета гражданственности, публицистичности, индивидуальности, чем завоевывала читательские сердца революционно-демократическая критика 60-х годов?

«Лет пять тому назад среди провинциальной спячки и пошлости встретился я впервые со статьей Писарева... Какая-то сила приковала меня к ней; кругом шум, карточная игра, споры — все для меня закрылось туманом, и я вдруг почувствовал свое родство с духом статьи... Вот почему я думаю, что попади кому книга Писарева — и конец: он направлен на новый, верный путь» [1], — писал в 1868 году издателю сочинений Писарева Ф. Ф. Павленкову прапорщик Н. Циркунов. Та-

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 342, л. 124 об. — 125.

ково одно из конкретных свидетельств рядового читателя «Русского слова» 60-х годов.

А вот другой аналогичный документ. Н. В. Шаганов, участник революционного подполья, показывал следственной комиссии в 1866 году: «Добролюбов, Чернышевский, Писарев — всякому известно, что говорили эти люди, как они разбивали все старое, как никуда не годное, и на какие средства и цели указывали. Ведь все общество волновалось и ждало чего-то... Журналы, как «Современник» и «Русское слово», стали какими-то евангельями у молодежи, а в этих журналах прямо говорилось, что без насильственного переворота нет спасения миру...» [1]

О гипнотическом влиянии передовых демократических журналов 60-х годов на умы молодежи свидетельствует и письмо профессора Харьковского университета Лавровского М. Погодину (январь 1866 года): «Из Москвы упрекают меня, что Харьковский университет выписал на 1866 год «Современник» и «Русское слово». Еще бы! Да это новый завет для большинства» [2].

«Евангелье молодежи», «новый завет для большинства» — эти характеристики не преувеличивают того влияния, которым пользовались «Современник» и «Русское слово» в 60-х годах. И влияние это было завоевано прежде всего литературно-критическими статьями журналов, творчеством Чернышевского, Добролюбова, Писарева и их сподвижников. Это признавала и царская цензура.

«Выдающуюся черту в «Русском слове» составляет критический отдел» [3], — свидетельствует Совет министра внутренних дел по делам книгопечатания в своем отчете «О направлении и содержании главных периодических изданий в 1863 году». А нервом критического отдела «Русского слова» были выступления Писарева.

Литературно-критические статьи Писарева никогда не укладывались в рамки узкоэстетического разговора о литературе. Тонкий и точный литературно-эстетический анализ сочетался в лучших из них с глу-

---

[1] Рукописный отдел Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, ф. Милютина. М. 10532, л. 4.

[2] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 1632, л. 2.

[3] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12, л. 252 об.

боким публицистическим раздумьем о жизни народа, о путях его освобождения. Свои социально-политические и философские воззрения, всю систему взглядов на общество Писарев проводил прежде всего и главным образом в литературно-критических статьях.

«Постановка и последовательное проведение того или иного миросозерцания в оценке всех текущих явлений жизни, науки и литературы называется в наше время критикою» (1865, 3, II, 35) – это писаревское определение критики как нельзя лучше раскрывает характер его собственной литературно-критической деятельности. И особенно ярко эта специфика литературно-критической деятельности Писарева проявилась в его оценке «Отцов и детей» Тургенева. Именно здесь, в этом главном вопросе расхождений с «Современником», Писарев выступил как достойный наследник «реальной критики» Добролюбова.

5

Базаров, Рахметов и Катерина из «Грозы» Островского – излюбленные герои критики Писарева. Он возвращается к ним снова и снова, касается их так или иначе почти во всех своих статьях 1863–1866 годов, посвящает им свои наиболее значительные, программные работы: «Нерешенный вопрос» («Реалисты»), «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), «Базаров», «Мотивы русской драмы», «Посмотрим!».

Невозможно понять литературно-критическую деятельность Писарева, если рассматривать его отношение к Базарову, героям романа Чернышевского и Катерине в узколитературном ряду. Главная ошибка Антоновича в том и состояла, что он упорно пытался вести спор с Писаревым в литературно-эстетических рамках, талмудистски отстаивая свою отрицательную точку зрения на литературный образ Базарова и положительную точку зрения Добролюбова на литературный образ Катерины, не понимая или не желая понять, что разговор, который вел Писарев, в меньшей степени касался литературы, но всем своим содержанием уходил в жизнь. Если выразить суть этой полемики коротко, то литературно-критические споры о характерах Базарова, Рахметова и Катерины были

для Писарева общественным диспутом о стратегии и тактике революционно-демократического движения, о методах освободительной борьбы в условиях пореформенной реакции и спада революционной волны. Не случайно писаревская теория «реализма» была сформулирована им в статье «Нерешенный вопрос» («Реалисты»), статье, посвященной разбору романа «Отцы и дети».

В своих принципах подхода к роману Тургенева «Отцы и дети» Писарев исходил из традиций Добролюбова. Вопреки утверждениям Антоновича, обвинявшего Писарева в апологетике романа «Отцы и дети», критик «Русского слова» отчетливо осознавал всю противоречивость замысла Тургенева. Уже в первой статье – «Базаров» – Писарев подчеркивал, что роман задуман Тургеневым «не без коварного умысла», что «Тургенев, очевидно, не благоволит к своему герою». Двумя годами позже, в «Нерешенном вопросе» («Реалистах») Писарев снова подчеркнул, что роман этот «составляет вопрос и вызов, обращенный к молодому поколению старшею частью общества», что он принадлежит перу «сильнейшего и умнейшего врага современного реализма», но такого врага, который все-таки «неспособен лгать». Наконец, в статье «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») Писарев еще раз повторил мысль о «фальшивых нотах» в «Отцах и детях», обусловленных тем, что «Тургенев – чужой в отношении к людям нового типа».

Итак, отдавая себе отчет в первоначальном замысле Тургенева, Писарев, в отличие от Антоновича, решительно поддержал роман.

Антонович же в своей отрицательной оценке романа исходил прежде всего из намерений писателя. Вместо того чтобы говорить о характере, типе Базарова, о том реальном жизненном явлении, которое стоит за ним, он повел речь о личности Тургенева, представил дело так, будто содержание романа исчерпывается авторским стремлением очернить молодое поколение.

«Надо было совершенно отодвинуть в сторону оценку романа и сосредоточиться на разборе базаровских идей даже в том случае, если бы сам Базаров был карикатурою. Но «Современник» поступил как раз наоборот. Совершенно изменяя добролюбовским преданиям, он дал своим читателям чисто эстетическую рецензию» (1864, 9, II, 10–11), – характеризовал критик

«Русского слова» статью Антоновича «Асмодей нашего времени».

Казалось бы, нападая на роман Тургенева, Антонович защищает молодое поколение, демократическое направление идей в русской общественной жизни. В действительности как раз наоборот: открещиваясь от романа «Отцы и дети», от образа Базарова, содержавшего в себе немалую правду жизни, Антонович лишал себя возможности взять под защиту и объяснить всерьез то явление русской общественной мысли, которое нашло отражение в герое романа Тургенева.

Выполнение этой задачи взял на себя Писарев. В статье «Базаров» и в статье «Реалисты» он подробнейшим образом анализирует противоречивый характер тургеневского героя, раскрывает и объясняет главенствующие черты его духовного и нравственного облика. Шаг за шагом показывает он отношение Базарова к друзьям, к любимой женщине, к родителям, к труду, к обществу, отделяя в характере Базарова истинное от фальшивого, привнесенного в роман субъективной авторской неприязнью. Даже если относиться к Тургеневу как к сильнейшему и умнейшему врагу современного «реализма» – из его произведения невозможно извлечь «ни одной черты, которая действительно превращала бы реалистов в людей глупых, бесчестных, безнравственных и вредных для общества и для благосостояния отдельных личностей» (1865, 10, II, 57), – утверждает Писарев.

Несколько позже, в статье «Прогулка по садам российской словесности» он именно так и объяснял замысел своих статей о романе Тургенева. Статьи эти, подчеркивал он, писались не ради прославления романа, а ради поражения «тупых филистеров», подобных г. Дудышкину, и «близоруких реалистов», подобных г. Антоновичу. Филистеры постарались выдать Базарова за чудовище. Они запугивали молодежь: ваши идеи приведут вас прямым путем к этому ужасному результату. Близорукие реалисты вроде Антоновича действительно приняли Базарова за чудовище и стали доказывать, что их идеи никогда не могут привести их к ужасному результату, изобретенному г. Тургеневым. «На этой позиции реалистам грозило неизбежное поражение, потому что филистеры могли доказать как дважды два – четыре, что Базаров – не клевета, не ка-

рикатура, а совершенно верный итог реалистических тенденций. Поэтому надо было повернуть вопрос иначе; надо было доказать, что Базаров – не чудовище, а мыслящий работник и превосходный человек. Эту задачу я постарался выполнить, и мне кажется, что я могу считать мою цель достигнутою, потому что до сих пор ни филистеры, ни «Современник» не представили ни одного возражения против моего взгляда на личность Базарова... Значит, ряд статей о Базарове был написан затем, чтобы защитить и разъяснить весь строй наших понятий, а не затем, чтобы выставить напоказ красоты тургеневского романа» (1865, 3, II, 54 – 55).

Это очень важное и точное признание критика. Его статьи об «Отцах и детях» преследовали цель защитить не только образ Базарова, но весь строй понятий демократии 60-х годов. И не просто защитить, но с позиций «реализма» всесторонне разъяснить его читателю. В статьях о Базарове явственно и отчетливо проявилось писаревское понимание критики, как последовательного проведения своего миросозерцания, как средства выявления всей совокупности человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний.

Писарев не только защищал и объяснял Базарова – он выявлял самые существенные стороны своего мировоззрения, комплекс своих общественных убеждений. Любопытнейший феномен, подтверждающий самостоятельность критики, как жанра литературы: мы имеем, по существу, двух Базаровых – Базарова Тургенева и Базарова Писарева. И еще вопрос, который из них оказывал большее воздействие на умы молодежи 60-х годов. Более того, поскольку в убеждениях своих Писарев проделал определенную эволюцию – менялся и Базаров, каким он предстает в статьях критика. Внимательно вчитываясь в них, нетрудно заметить, что Базаров первой писаревской статьи (март 1862 года) отличен от Базарова, каким он предстает в «Нерешенном вопросе», не тождествен Базарову, каким его толкует Писарев в статье «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»). И все-таки это один и тот же Базаров – демократически настроенный разночинец, типичный «реалист». Да, Тургенев наделил своего героя чертами, близкими во многом именно тому направлению в демократическом движении 60-х годов, которое связывалось с «Русским словом». Это и лю-

бовь к естественным наукам, и ненависть к авторитетам, и внимание к проблемам эмансипации личности, и даже внешнее поведение. В своей статье «Базаров» Писарев показывает, что́ стоит за внешними фактами поведения Базарова, раскрывает его убежденный демократизм и путем сопоставления этого характера с литературными типами предшествующих эпох — Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым — подводит читателя к выводу: Базаров — человек дела. «У Базаровых... и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое».

Но в 1862 году Писарев пока что не видит реального дела, реального, практического приложения сил Базаровых в современном русском обществе. Всем текстом подцензурной статьи он подводит читателя к выводу, что таким делом для Базарова была бы революция. А пока, «не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы, суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений» (1862, 3, II, 17).

Так объясняет Писарев здесь увлечение Базарова наукой, естествознанием, критическую работу его мысли. Но, утверждает Писарев в этой статье, Базаров никогда не сделается фанатиком, жрецом науки, никогда не возведет ее в кумир, не обречет свою жизнь на служение ей; он будет ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы вынести из нее непосредственную пользу для себя и для других. Такие люди, как Базаров, всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории, как только их позовет жизнь. «Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели... — подчеркивает Писарев. — Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, — он оставит медицину, точно так же, как Вениамин Франклин оставил типографский станок. Базаров — человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной отте-

пели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений» (1862, 23, II, 43–48).

В своей статье Писарев усиленно подчеркивает, что обстоятельства жизни 60-х годов не давали возможности Базарову проявить таящиеся в нем колоссальные силы. Действие романа, указывает он, происходит летом 1859 года; в течение 1860 и 1861 годов Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания к жизни, он по-прежнему резал бы лягушек и, «насмехаясь над различными проявлениями романтизма», ждал, когда на смену фальшивой, обманчивой оттепели (речь идет о реформах 60-х годов) придет настоящая весна. Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев, по словам Писарева, показал, «как он умирает». Смерть обнаружила силу Базарова, те силы, «которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбой, действиями и результатами».

Прозрачная аналогия с Франклином, оставившим мирное занятие ради революционной борьбы, то, какое значение придавал Писарев характеру смерти Базарова («весь интерес, весь смысл романа заключается в смерти Базарова»), показывает, что́ именно имел в виду Писарев, когда говорил об «обстоятельствах», «действиях и результатах», в которых мог бы проявиться Базаров.

Но революции нет – и, следовательно, для Базарова нет «ни деятельности, ни счастья». Он живет бобылем и умрет бобылем, и притом бесполезным бобылем, «умрет, как богатырь, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинские силы...».

Такова весьма любопытная трактовка Писаревым образа Базарова в 1862 году. За этой трактовкой легко угадываются гражданские идеалы Писарева этого периода – острая неудовлетворенность эпохой реформ, жажда революции, к которой он призывал в прокламации о Шедо-Ферроти, и мучительная рефлексия по поводу того безотрадного факта, что в ближайшее время революции не произойдет.

«А что же делать? Что делать в такой ситуации, когда под ногами – снеговые сугробы и холодные

тундры?» — спрашивает Писарев и не дает, по сути дела, ответа. Единственный ответ — ждать. И беречь в незапятнанности свои убеждения. В духе этой концепции, где налицо — и страстное желание революции, и глубина демократических убеждений, и тоска по революционности народа, — Писарев интерпретирует тургеневского Базарова.

В воспоминаниях Ф. Ф. Павленкова о Писареве, обнаруженных нами в ЦГАОР [1], содержится любопытное свидетельство, что свой роман «Что делать?» Чернышевский написал ради ответа на вопрос, поставленный Писаревым в заключении своей статьи «Базаров»: что делать? Что делать революционной демократии в условиях, когда массы спят? Трудно проверить всю фактическую подоплеку этого свидетельства, но бесспорно одно: роман «Что делать?», написанный Чернышевским в 1863 году, бесспорно, написан ради ответа на этот вопрос. Даже если Чернышевский и не отвечал здесь непосредственно Писареву, он отвечал на самый главный, центральный и самый сложный вопрос, который поставила перед русской революционной демократией жизнь.

Как мы указывали выше, поиски ответа на этот вопрос были главным для «Русского слова» 1863—1866 годов. Бесспорно влияние, которое оказал роман Чернышевского на Писарева и на его товарищей по журналу, искавших ответа на тот же вопрос. И идея ассоциаций, и естественнонаучное обоснование социализма, и теория «разумного эгоизма», и внимание к естественным наукам, и революция, как конечная цель, — все это находит отражение в романе «Что делать?», первом и наиболее глубоком отклике революционно-демократической мысли на предложенный Писаревым в статье «Базаров» столь мучительный не только для него вопрос.

1863—1864 годы были для Писарева временем напряженных теоретических исканий, вылившихся в теорию «реализма». И когда осенью 1864 года Писарев вновь возвращается к роману «Отцы и дети», перед нами возникает уже другой Базаров: мыслящий реалист, энергичный работник на ниве борьбы

---

[1] См.: Кузнецов Ф. Ф. Павленков и Д. Писарев. — Русская литература, 1959, № 2, с. 207. Сообщение публикуется в данной книге на с. 629—638.

за человеческое счастье, твердо знающий, как растопить снег, когда под ногами тундра, когда массы спят.

Растопить эту снеговую холодную тундру лучами человеческого знания, пробудить в людях сознание своей человеческой сущности, стремление к социалистическому идеалу, использовать естественные науки, силу антропологического материализма для перевоспитания эксплуататоров и одновременно для подготовки масс к возможной революции — такова его программа действий. Раскрывая облик Базарова, каким он ему видится теперь, разъясняя его программу действий, Писарев и формулирует свою идею «реализма», программу стратегии и тактики освободительного движения в условиях, когда массы спят.

Именно в это время в творчестве Писарева возникает противопоставление характера Базарова образу Катерины из «Грозы» Островского в добролюбовском осмыслении его.

И Базаров и Катерина для Писарева не просто литературные герои, но эквиваленты той или иной программы действий, той или иной линии поведения революционной демократии в 1863—1866 годах. Впрочем, тем же была Катерина и для Добролюбова — и это отлично понимал Писарев. В атмосфере предгрозовой революционной ситуации протест Катерины, пусть и узколичный, стихийный, явился для Добролюбова провозвестником грядущего взрыва, поводом для острой постановки вопроса о революционных возможностях крестьянских масс.

Писарев ясно понимал этот замысел Добролюбова. И глубоко симптоматично, что в 1864 году, несколько лет спустя после опубликования «Грозы», Писарев в специальной статье вновь возвращается к этой драме только затем, чтобы оспорить точку зрения Добролюбова на Катерину, а в действительности — взгляд Добролюбова на революционные возможности масс.

Выступая здесь против «коленопреклонений перед народной мудростью и перед народной правдою», Писарев заявляет, что необходимо защитить идею Добролюбова «против его собственных увлечений». Главной ошибкой Добролюбова было то, что он «увлечен симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление». При этом критик

подчеркивает, что речь идет вовсе не о Катерине как литературном персонаже драмы Островского – «дело идет об общих вопросах нашей жизни», таких вопросах, которые «всегда стоят на очереди и всегда решаются только на время».

Разногласия Писарева с Добролюбовым, по собственному свидетельству Писарева, касались вопроса: что считать светлыми явлениями в нашей народной жизни?

Добролюбов видит в Катерине «характер, которым совершится решительный разрыв со старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни». Писарев, анализируя характер Катерины, говорит о ее темноте, о стихийности, бессознательности ее протеста и потому – полной его ненадежности и восклицает: «И от такой-то безнадежно-зачумленной личности Добролюбов ждет *решительного разрыва!*»

Скептическое отношение Писарева к серьезности протеста Катерины питается опытом освободительного движения, который получила русская революционная демократия в 1862–1866 годах. Стихийному порыву такой, по мысли Писарева, «безнадежно-зачумленной личности», как Катерина, Писарев противопоставляет деятельность Базарова: именно он – «настоящий луч света».

«И сила глупа, и невинность глупа, и только оттого, что они обе глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается в тупое терпение...» (1864, 3, II, 23). Таким образом, знание, утверждает в 1864 году Писарев, достигает двоякой цели: будит массы от сонного «тупого терпения» и убеждает эксплуататоров не «угнетать». Вот почему критик «должен говорить обществу и сегодня, и завтра, и послезавтра, и десять лет подряд, и сколько хватит его сил и его жизни, говорить, не боясь повторений, говорить так, чтобы его понимали, говорить постоянно, что народ нуждается только в одной вещи, в которой заключаются уже все остальные блага человеческой жизни. Нуждается он в движении мысли, а это движение возбуждается и поддерживается приобретением знаний» (1864, 3, II, 31).

Вот почему «все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разделу карликов и вечных детей» (1864, 3, II, 36).

Это противопоставление Базарова Катерине, равно как и трактовка этих образов в статьях 1864 года, несут на себе резкую печать глубокого разочарования в революционных возможностях народа, убеждения, что в недрах русской жизни нет «никаких зачатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей».

Разочарование это было настолько сильным, что из человека колоссальной революционной энергии, который «не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью», Базаров в писаревских статьях этого времени грозил превратиться в чистого просветителя – пропагандиста социалистических и естественнонаучных идей.

Проходит время, Писарев начинает выходить из этого кризиса – и на глазах меняется писаревский Базаров, все более приближаясь по характеру к Рахметову. В статье «Посмотрим!» (сентябрь 1865 года) Писарев снова возвращается к сопоставлению Катерины и Базарова с тем, чтобы «...решить вопрос о том, кто из наших любимцев, добролюбовский или мой, Катерина или Базаров, заключают в себе элементы, необходимые для решения общественной задачи, поставленной русскому народу всем течением нашей исторической жизни» (1865, 9, II, 31).

Писарев и здесь оспаривает слова Добролюбова о том, что русскому обществу нужен сильный характер, но с других позиций. «Чего другого, а железной воли и ультраослиного терпения у нас во всякое время было довольно»,– подчеркивает он, намекая на то, что решению общественной задачи, которая стоит перед страной, мешало именно «ультраослиное терпение» русского народа. «Наша общественная или народная жизнь нуждается совсем не в сильных характерах, которых у нас за глаза довольно, а только и исключительно в одной *сознательности*. Как только наши неутомимые и неустрашимые труженики узнают и поймут совершенно ясно, что – ложь и что – правда, что – вред и что – польза, кто – враг и кто – друг, так они и пойдут твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не останавливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обещаний и спокойно устраняя все рогатки и шлагбаумы» (1865, 9, II, 32–33).

Так, по мере преодоления просветительских иллюзий, зрела общественно-политическая мысль Писарева, крепли его революционные убеждения, и задача распространения знаний конкретизировалась как воспитание в массах революционной *сознательности*. В свою очередь, и Базаров, в представлении Писарева, вырастал в революционера-демократа, воспитателя масс, в такого руководителя народного движения, который помогает массам воспользоваться плодами своей победы. «Итак, нам необходимы исключительно люди знания, т. е. знания должны быть усвоены теми железными характерами, которыми переполнена наша народная жизнь» (1865, 9, II, 33), — таков вывод Писарева.

Нельзя не увидеть здесь нечто новое в толковании Писаревым вопроса о положительном типе времени — чего не было ни в его выступлениях о Базарове 1862 года, ни в его статьях 1864 года. Целеустремленная и *сознательная* революционность — вот что подчеркивает Писарев теперь в характере, призванном преобразовать русскую действительность. И Катерину он сейчас сопоставляет не столько с Базаровым, сколько с Рахметовым, утверждая при этом, что оба эти характера принадлежат к одному типу. «Тип, решающий общественную задачу, воплощен самым блестящим и самым глубоким мыслителем «Современника» г. Чернышевским в личности Рахметова. Рахметов признан и всеми остальными сотрудниками «Современника», а на кого же Рахметов больше похож — на Базарова или на Катерину? Я полагаю, смешно даже и задавать читателю подобный вопрос. Характер Катерины промелькнул и теперь уже навсегда забыт, а базаровский тип растет постоянно, не по дням, а по часам, и в жизни и в литературе» (1865, 9, II, 34).

В статье «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), посвященной роману Чернышевского, Писарев еще более отчетливо проводит мысль о том, что Базаров по духу родствен героям Чернышевского и прежде всего — революционеру Рахметову, что это — один тип новых людей. Однако в этой статье у Писарева звучат критические ноты в отношении к своему герою. Он подчеркивает, что именно в романе Чернышевского с небывалой решительностью и прямотой, «рельефно, наглядно и ясно» выражено демократическое напра-

вление идей, тип нового человека. Новые люди в романе Чернышевского «обрисованы гораздо отчетливее и объяснены гораздо подробнее, чем обрисован и объяснен герой последнего тургеневского романа. Тургенев – чужой в отношении к людям нового типа; он мог наблюдать их только издали...» И главное – «Тургенев принужден был в своем Базарове остановиться на одной суровой стороне отрицания», потому что, в отличие от Чернышевского, не видел и не мог видеть и знать положительной программы практической деятельности людей нового типа. Чернышевский знает не только то, как думают и рассуждают новые люди, но и то, как они чувствуют, любят и уважают друг друга и «как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, при котором можно было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому». Вот почему «под рукою г. Чернышевского новый тип вырос и выяснился до той определенности и красоты, до которой он возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова» (1865, 10, II, 7).

Так в конечном счете решал Писарев центральный для него вопрос о положительном герое времени, о типическом характере, который аккумулирует в себе залоги нового в жизни, олицетворяет силы, способные изменить жизнь. Писаревский интерес к проблеме нового человека отнюдь не был узколитературным интересом. Наоборот, поиски нового человека, характера, который мог бы решительно воздействовать на жизнь, имели для Писарева жизненно важное значение потому, что приближали его к решению вопроса о голодных и раздетых людях.

Этого не понял Антонович, пытавшийся, о чем уже шла речь выше, свести полемику с Писаревым к чисто литературной стороне. На таких позициях он, естественно, не мог выиграть этот спор.

Конечно же, и позиции Писарева в полемике с Антоновичем были противоречивы и далеко не всегда правильны. Нельзя смазывать эти ошибки, снимать реальные противоречия развития мировоззрения Писарева. Но нельзя игнорировать и ведущую тенденцию в развитии Писарева. Нельзя недооценивать итогов, к которым пришел в результате своих напряженных и порой противоречивых исканий критик «Русского слова».

Глава VII

КОНЕЦ «РУССКОГО СЛОВА»

1

Дамоклов меч: «Приказано повременить», — распоряжение, отданное Валуевым, когда предполагалось закрыть «Русское слово» и привлечь Благосветлова к суду, — висел над журналом до 1866 года.

Журнал выходил в неимоверно трудных цензурных условиях. Цензурное ведомство в 1863 году было передано из министерства просвещения в министерство внутренних дел, в руки Валуева.

«Литературу нашу, кажется, ожидает лютая судьба. Валуев достиг своей цели. Он забрал ее в свои руки и сделался полным ее властелином. Худшего господина она не могла получить. Сколько я могу судить по некоторым убедительным данным, он, кажется, замыслил огромный план — уничтожить в ней всякие нехорошие поползновения и сделать ее вполне благонамеренною, то есть сделать то, чего не в состоянии был... сделать Николай Павлович» [1], — писал по этому поводу даже столь консервативный человек, как А. В. Никитенко.

В целях контроля за деятельностью цензоров периодических изданий был учрежден специальный совет министра внутренних дел по делам книгопечатания. 11 церберов — 5 членов совета по делам книгопечатания и 6 чиновников особых поручений — изучали каждое периодическое издание, проверяя, насколько добросовестно выполняют свои обязанности чиновники цензурных комитетов. Результатом этого было, как писал в ту пору И. С. Аксаков, настоящее «неистовство цензуры». «Никогда цензура не доходила до такого безумия, как теперь, при Валуеве. Она получила характер чисто инквизиционный...» [2] — жаловался он в письме от 27 февраля 1863 года гр. Блудову.

Это объективное свидетельство человека, очень далекого от революционной демократии, можно дополнить словами самого Валуева, который в декабре 1865

---

[1] Никитенко А. В. Дневник, т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 514.

[2] И. С. Аксаков в его письмах, ч. II, т. IV. М., 1896, с. 270.

года в докладе царю заявлял, что все эти годы он «сознательно был, так сказать, чиновником особых поручений князя Долгорукого» и что он «называет свой 4-летний труд «умственно-арестантским» [1].

К сожалению, не сохранились редакционные архивы «Современника» и «Русского слова». Мы не имеем в руках корректур запрещенных и «отредактированных» в цензуре статей, за исключением нескольких. Но и того, что сохранилось в архивах цензурных учреждений, в письмах и воспоминаниях сотрудников, достаточно, чтобы представить реальные трудности ведения журнала «Русское слово» в пореформенных условиях.

Первым и главным врагом издания был цензор, который непосредственно цензуровал журнал. За три последние года существования «Русского слова» сменилось пять цензоров — Капнист, Де-Роберти, Ленц, Скуратов и Еленев. Это уже само по себе составляло большое неудобство для редакции и сотрудников, так как, писал Шелгунов, «у каждого цензора свой царь в голове и каждый черкает по своему усмотрению... Один пропускает то, что другой зачеркивает. Вот тут и пиши как знаешь...» [2]. Особенно беспощаден был Еленев, «господин с очень мягкими, цивилизованными манерами, с дипломатической речью, — но вместе с тем с пером несокрушимой, римской твердости» [3], — характеризовал его Шелгунов. Впоследствии он с гордостью писал о себе: «У нас когда-то (во времена Чернышевских и Писаревых) было 8 цензоров, а всю ответственную работу несли только двое, Веселаго и я» [4].

О «качестве» его работы можно судить хотя бы по следующему факту. В течение 1864 года им было представлено на рассмотрение С.-Петербургского цензурного комитета семнадцать корректур журнала «Русское слово», из них тринадцать по его представлению запрещены полностью, четыре — запрещены час-

---

[1] Дневник П. А. Валуева, т. II, М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 83, 84.

[2] Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. — В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 2, с. 153.

[3] Там же, с. 159.

[4] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Архив Шаховского, картон 5, Ф. П. Еленев, письмо к кн. Н. В. Шаховскому от 24 января 1898 года.

тично [1]. В числе запрещенных материалов — три «Домашних летописи», ряд статей для «Библиографического листа», для отдела «Политики», первый вариант статьи Писарева «Реалисты» и т. д. Факты эти показывают, что в 1864 году не выходило ни одной книжки журнала, в которой бы не запрещалась цензурным комитетом хотя бы одна статья. И это лишь незначительная доля помех, которые причиняла журналу цензура, — те случаи, которые зарегистрированы в журнале заседаний комитета. На заседания же комитета цензоры выносили лишь те статьи, относительно которых были какие-то колебания. А сколько статей было изуродовано и запрещено цензорами без консультации с комитетом! Об этом можно судить хотя бы по переписке Шелгунова с женой, — письма Шелгунова полны жалобами на цензурные преследования. В одном из писем он сообщает, например, что в 1864 году им написано для «Русского слова» на 1850 рублей. «Но цензура, — пишет он, — вычеркнула по крайней мере на 400 рублей» [2].

Таким образом, из всего написанного Шелгуновым для журнала в 1864 году цензурой вычеркнута почти четвертая часть! А между тем в описи заседаний цензурного комитета за 1864 год мы не находим ни одного упоминания о том, что хотя бы одна статья Шелгунова была предметом обсуждения комитета. Они уродовались непосредственно цензором журнала. Отнюдь не случайностью объясняется тот факт, что в обширной ведомости «упущений по цензуре», совершенных цензорами за период с 1862 до июня 1865 года (ведомость была составлена для сборника распоряжений по цензуре чиновниками С.-Петербургского цензурного комитета), по «Русскому слову» не зарегистрировано ни одного «упущения» [3].

Наоборот, в цензурных документах этой поры систематически подчеркиваются огромные заслуги петербургской цензуры в борьбе с журналами неблагонадежного направления («Современником», «Русским словом» и «Искрой»).

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 7, ед. хр. 73.

[2] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. — Шелгунов Н. В. Письма к Л. П. Шелгуновой, 21203 CX VI, Б. 2, л. 95 об.

[3] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 51.

Для характеристики направления «Русского слова» и условий его существования большое значение имеют такие документы, как отчеты созданного в 1862 году специального совета министра внутренних дел по делам книгопечатания – «Общий характер периодической литературы в текущем году»; «Отличительные черты наиболее распространенных периодических изданий» (составлены Еленевым) и «О направлении и содержании главных периодических изданий в 1863 году» [1]. В этих основополагающих для царской цензуры документах журналы «Русское слово» и «Современник» (а они идут, как правило, вместе) получали вполне определенную характеристику: «Современник» и «Русское слово» принадлежат к одному литературному направлению, главные черты которого суть: оппозиция правительству, крайность политических и нравственных мнений, социально-демократические стремления, наконец религиозное отрицание и материализм...» [2].

В отчетах подчеркивается, каким тяжелым было цензурное положение демократических журналов: «...Цензура, в своих урезываниях и сокращениях, невольно наконец останавливалась пред невозможностью за что-нибудь уцепиться. Здесь читателю часто приходится ловить главную мысль не столько в том, о чем говорится, сколько в том, о чем умалчивается, так как молчать не может запретить никакая цензура в мире.

Петербургская цензура была в нынешнем году беспощадна к этому направлению, а все-таки оно не тем, так другим способом, не утверждением, так молчанием, не насчет Петербурга, так насчет Берлина или Парижа, успело тихонько прокатить себя по полю петербургской журналистики...» [3]

Это ли не свидетельство бессилия цензуры в борьбе с передовой журналистикой!

О том, с каким тщанием цензуровалось «Русское слово», можно судить хотя бы по описям журнала заседаний С.-Петербургского цензурного комитета за

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12.

[2] См.: Конкин С. С. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863–1866 годах. – Учен. зап. Стерлитамакского государственного педагогического института, вып. VIII, 1962, с. 233–234.

[3] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 12, л. 117–118, 123.

1863—1864 годы (сами журналы, к сожалению, обнаружить пока не удалось).

Вот опись журнала заседаний комитета за вторую половину 1863 года:

«13.7.63 г. *Слушали:* I ...Г М. Штюрмера о статье для журнала «Русское слово» под заглавием «Домашняя летопись», рассуждающей о тех военных средствах, которыми может располагать Россия для того, чтобы дать отпор европейским державам в случае вмешательства в дела польские.

Определено: не дозволять к печати этой статьи, как ослабляющей патриотическое настроение и несогласной с современными политическими обстоятельствами.

Слушали: ...О статье для журнала «Русское слово» под заглавием «Дневник темного человека», заключающей в себе разбор литературных и общественных явлений в сатирическом тоне.

Определено: дозволить с исключением мест, указанных цензором...

14 августа. *Слушали:* ...Повесть под заглавием «На подсеке», в которой изображены антагонизм между крестьянами и помещиками, в ущерб дворянскому сословию, спор о лугах, купленных крестьянами, восстание крестьян и их усмирение.

Определено: запретить.

23 ноября. *Слушали:* Статья Писарева под заглавием «Новые типы», заключающая в себе развитие основных идей романа Чернышевского «Что делать?».

Определено: ...запретить к напечатанию» [1].

Опись журнала заседаний цензурного комитета представляет интерес еще и потому, что бросает свет на судьбу затерянной статьи Писарева «Мысли о русских романах» [2].

Известно секретное письмо князя Суворова от 7 ноября 1863 года министру Валуеву:

«...В прошлом месяце препровождена была мною в Правительствующий совет статья Писарева «Мысли о русских романах». Возвращая эту статью, сенат дал мне знать, что в ней не находится обстоятельств, до

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 52, л. 114 об.; 117 об.; 122, 160, 281.

[2] См.: Кузнецов Ф. Судьба пропавшей статьи Д. И. Писарева. — «Новый мир», 1957, № 1. См. также наст. изд., с. 639—642.

дела Писарева относящихся; но сочинение это, содержащее в себе по преимуществу разбор романа литератора Чернышевского «Что делать?» и преисполненное похвал этому литературному произведению, с подробным развитием заключающихся в нем материалистических воззрений и социальных идей, по мнению сената, в случае напечатания оного может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями.

...Долгом считаю о вышеизложенном отзыве Правительствующего сената сообщить вашему превосходительству, для соображения при рассмотрении цензурою статьи поименованного подсудимого, под заглавием «Мысли о русских романах».

На письме кн. Суворова имеется виза Валуева от 8 ноября: «Теперь же предварить гг. цензоров конфиденциально», и запись от 30 ноября: «Статью запретить» [1].

Как показывает опись заседаний С.-Петербургского цензурного комитета, 23 ноября в цензуре действительно рассматривалась статья Писарева, но уже под новым названием *«Новые типы»*. Изменение названия не спасло статью: гг. цензоры, «предваренные конфиденциально», приняли решение статью запретить. Писаревская статья о романе Чернышевского «Что делать?» под заглавием *«Новый тип»* была опубликована сразу после отмены предварительной цензуры в октябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год, за что журнал и получил немедленно первое предостережение. По-видимому, «Новый тип» («Мыслящий пролетариат» в собрании сочинений) и «Мысли о русских романах» («Новые типы») — одна и та же статья. В крайнем случае — варианты одной и той же статьи.

Об особом пристрастии цензуры к Писареву свидетельствует история статьи «Реалисты», которая, по словам критика, претерпела в цензуре «нечто вроде геологического переворота» (III, 482). В описи же журнала заседаний цензурного комитета мы читаем: «14 октября: «Реалисты» — не дозволять».

Как же случилось, что статья все-таки попала в журнал? Ответ на этот вопрос содержится в письмах Писарева к С.-Петербургскому генерал-губернатору кн. Суворову и к некой мадам Эттингер, хранящихся

[1] ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, ед. хр. 289, л. 1—2.

в Пушкинском доме и посвященных цензурным мытарствам статьи «Реалисты» (письма эти написаны по-французски). Писарев решил обратиться к князю Суворову в поисках защиты.

«Цензура меня преследует с ожесточением, которое не имеет ни границ, ни примеров во всей истории нашей литературы... – пишет он Суворову. – Я написал статью, которую назвал «Реалисты». Я посвятил ее своей матери и подписал своим именем. Мне изменили заголовок моей рукописи, изъяли посвящение и вычеркнули мою подпись. Хотели даже запретить всю статью и, конечно, сделали бы это, если бы моя бедная мать трижды не отправлялась ходатайствовать через председателя цензурного комитета.

Этот господин (он зовется Турунов) сказал моей матери: «В сочинениях Вашего сына мы всегда читаем между строками». Когда я говорю – наука, цензор читает – атеизм; когда я нападаю на предрассудки, он уверен, что я восстаю против религии; когда я насмехаюсь над чувствительностью, говорят, что я отвергаю брак. Из меня хотят сделать воплощение дьявола только потому, что я не в состоянии защитить себя от их клеветы. Согласитесь, князь, что, читая «между строками», могут вычитать все, что захотят. Таким способом можно обнаружить идеи, достойные порицания, даже в «Верую» и «Отче наш».

Б. Козьмин, опубликовавший это письмо в журнале «Каторга и ссылка» [1], полагал, что оно было передано кн. Суворову. В действительности это не так. Писарев вручил его матери вместе с письмом к мадам Эттингер (по-видимому, жене придворного врача Ф. Эттингера, являвшегося, по всей вероятности, врачом и кн. Суворова). Так как письмо это неизвестно, привожу его полностью:

«Мадам! Я Вас никогда не видел, а между тем Вы мне сделали много добра. Письмо, которое я осмеливаюсь Вам адресовать, не сомневаюсь, послужит неопровержимым доказательством глубочайшего уважения и горячей благодарности, какие я Вам приношу. Во-первых, я пишу Вам это письмо тайно, на страничке, вырванной из книги, обманув моих начальников. Этим кусочком бумаги Вы можете меня погубить,

[1] Каторга и ссылка, 1930, № 2/63, с. 106–110. (Письмо Писарева дается нами в новом переводе.)

а между тем я Вам доверяюсь без малейшего сомнения. Во-вторых, я пишу Вам это письмо, чтобы просить у Вас совета, в котором Вы мне не откажете и которому я точнейшим образом последую.

Цензура меня душит. Моя мать расскажет Вам подробности. Мое положение невыносимо. Если бы я был свободен, я нашел бы способы поговорить с министром внутренних дел и сообщить ему обо всех тех беспорядках, какие позорят цензуру. Теперь у меня лишь одна опора: князь Суворов, который, как генерал-губернатор, является моим прямым начальством. Дайте мне добрый совет, мадам: как мне обратиться к князю. Должен ли я писать ему официально, при посредничестве коменданта, что мне совсем не нравится. Или, лучше, не сможете ли Вы передать князю письмо, которое моя мать Вам доставит? И наконец, если Вы думаете, что эта попытка с моей стороны будет бесплодной,— скажите мне это; я слепо доверюсь Вам, скрещу руки и перестрадаю все, как страдал до настоящего времени.

Но подумайте только, мадам, какой это позор; вся русская пресса, общественное мнение находится под сапогом такого низкого человека, как Катков. Он клевещет на честных людей, а никто не открывает и рта. О мадам, если Вы можете что-либо сделать, чтобы способствовать благоденствию нашей несчастной литературы, сделайте все, что в Ваших силах. Я Вас слишком уважаю, чтобы хоть на мгновение в этом усомниться.

Я ожидаю Ваших приказаний, мадам.

Имею честь оставаться Вашим очень скромным и очень покорным слугой.

Д. Писарев

8 ноября 1864 г.».

После письма к кн. Суворову, переписанного по-французски рукой матери, сделана ею приписка:

«Это письмо не было доставлено кн. Суворову, так как оно было писано секретно — на обертке с журнала французского: я боялась, чтобы не было дурных результатов для лиц, живущих в крепости, а главное для заключенных, чтобы не прибавили еще более строгости в присмотре за каждым движением, за каждым листком бумаги. Митя не требовал потом, чтобы не-

пременно доставить, — успокоился: статья была напечатана с огромными пропусками, но все-таки была напечатана, и была возможность писать, а то бы могли отнять и это — и потому письмо осталось у меня в руках. Письмо к мадам Эттингер тоже не было доставлено по той же причине»[1].

Таков один из эпизодов борьбы Писарева с цензурой. О том, насколько упорно редакция «Русского слова» проводила принципиально важные для нее статьи на страницы журнала, свидетельствует цензурная история второй статьи Шелгунова «Рабочие ассоциации». Статья эта была запрещена цензурой в марте 1865 года. 29 мая 1865 года официальный редактор журнала Благовещенский обращается в цензурный комитет с прошением вторично рассмотреть судьбу статьи. Редакция выправила статью, сообщает он, и просит разрешить ее к печати, так как «тон статьи самый спокойный и цель ее состоит в разъяснении экономического вопроса со стороны чисто научной»[2].

Цензор Еленев дает следующее заключение по этой статье: «В статье этой возвеличивается пролетариат и прославляются теории социалистов и коммунистов. Обо всех правительствах консервативных и противившихся революционным движениям пролетариата говорится в весьма резких выражениях, как об отсталых и угнетательных. Будущность Европы принадлежит пролетариату. Излагаются учения Бабефа, Овена, Фурье, Сен-Симона, но не в смысле здравой критики, а с чувством благоговейного поклонения. Статья написана тоном резким и наполнена неприличными выходками»[3].

Член совета по делам книгопечатания Никитенко присоединяется к мнению Еленева: «...Статья «Рабочие ассоциации» заключает в себе изложение социалистических и коммунистических учений, и если бы это изложение ограничивалось развитием их как философской теории или как факт в истории человеческих обществ и умозрений, тогда, конечно, не было бы со

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, разряд 1, оп. 22, ед. хр. 39, л. 35, 35 об., 36.

[2] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 40, л. 1.

[3] Конкин С. С. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годах. — Учен. зап. Стерлитамакского педагогического института, вып. VIII, 1962, с. 238.

стороны цензуры возражений дозволить статью к напечатанию... Но означенная статья есть не иное что, как род апофеозы коммунизма и социализма, стремления их она возводит в сан абсолютных истин человеческого рода и, представляя их в популярной форме, явно имеет в виду не простой анализ, а распространение их и пропаганду». Никитенко считает правильным запрещение статьи, «тем более, что ей назначено место в журнале, преимущественно распространенном между молодыми людьми и которого направление никак нельзя назвать безукоризненным в общественном и нравственном отношениях» [1].

Статья запрещена цензурой вторично. Это не останавливает редакцию: воспользовавшись отменой предварительной цензуры, журнал в ноябре 1865 года печатает эту статью и именно из-за нее, прежде всего, получает второе предостережение.

Значительный интерес для характеристики цензурных условий существования журнала и направления его имеют доклады цензоров С.-Петербургского цензурного комитета, а также доклады члена Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания Пржецлавского, контролировавшего вышедшие книжки «Русского слова».

Пржецлавский обратил внимание на ряд выступлений журнала [2], в частности на очерки «Московские норы и трущобы» Воронова, «Ночью» Г Успенского, на статью «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» Шелгунова, на некоторые повести и романы, являвшие, по его словам, апологию «так называемого *нигилизма*, ...иначе доктрины новых людей» [3].

О романе «Перед рассветом» Н. Благовещенского он писал, что само «заглавие это показывает, что время действия повести есть время состояния переходного, время глубокой ночи, ожидание прихода дня, то есть такого коренного изменения, какое приносит день

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 1, л. 135.

[2] Подробнее об этом см.: Конкин С. С. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годах.— Учен. зап. Стерлитамакского педагогического института, вып. VIII, 1962. Цензурной истории «Русского слова» касаются также работы В. Евгеньева-Максимова «И. А. Гончаров, как член Совета главного управления по делам печати».— Голос минувшего, 1916, № 11—12; «Д. И. Писарев и охранители».— Там же, 1919, № 1—4; Ковалева Н. Д. И. Писарев и царская цензура.— Красный архив, 1940, № 6.

[3] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 2, л. 78—81.

после ночи; затем оно показывает, что изменение это должно прийти так же *неминуемо*, как неминуемо эти явления следуют одно за другим в природе»[1].

Положение журнала стало особенно затруднительным после того, как с сентября 1865 года вступило в силу новое положение о цензуре. Новым в этом законе, который получил наименование «Закона 6 апреля», было то, что ответственность за нарушение цензурных ограничений, которую раньше делили редактор и цензор, возлагалась на редакторов и издателей. В «Конфиденциальной инструкции» цензорам столичных цензурных комитетов от 28 августа 1865 года министр внутренних дел Валуев так именно и раскрывал смысл нового закона. При предварительной цензуре, указывал он, «ответственными лицами считаются цензоры, в лице же их само правительство, а издатели, редакторы и сочинители, огражденные цензорским разрешением, остаются вне видного преследования. Это обстоятельство послужило исходною точкою для последовавшего ныне освобождения некоторых изданий от цензуры, с ответственностью за оные издателей, редакторов и авторов»[2].

По «Закону 6 апреля» министру внутренних дел предоставлялось право при нарушении изданием цензурных ограничений выносить журналу три предостережения, приостанавливая издание вместе с третьим предостережением на срок до шести месяцев.

При явном нарушении цензурных правил редактор и издатель журнала отдавались под суд. Закон этот предоставлял цензуре весьма широкие возможности для борьбы с демократической журналистикой. Острием своим он был направлен против журналов «Современник» и «Русское слово» – органов революционной демократии.

Сразу после введения «Закона 6 апреля» цензура начала буквально душить «Русское слово». За октябрьскую книжку 1865 года журнал получил первое предостережение, за ноябрьскую – второе, за декабрьскую – третье с одновременным приостановлением журнала на пять месяцев.

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, ед. хр. 11, л. 20.

[2] Материалы, собранные особою комиссиею 2 ноября 1869 года для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати, ч. II. СПб., 1870, с. 179.

Представляют интерес цензурные документы, на основании которых были вынесены предостережения журналу и приостановление его. Это – докладные записки председателя С.-Петербургского цензурного комитета Петрова в Главное управление по делам печати, в которых приводятся в полном объеме доклады цензора Скуратова об очередных книжках «Русского слова».

Доклады эти – блестящая характеристика революционно-демократических тенденций, которые с такой силой зазвучали в конце 1865 года на страницах «Русского слова».

В октябрьской книжке журнала внимание цензора привлекли статьи: «Новый тип» Д. Писарева, «О капитале» Н. Соколова и «Библиографический листок» П. Я. (П. Якоби) и В. Зайцева. «Они поражают крайними социалистическими или материалистическими идеями». «Первая из них: «Новый тип» заключает в себе длинный панегирик романа Чернышевского «Что делать?», произведения, не имеющего, как известно, никакого художественного достоинства, но проникнутого социалистическими стремлениями... Вторая из упомянутых статей «О капитале» содержит в себе... неистовые выходки против права собственности под названием тунеядства, лихоимства и капитала... В третьей статье «Библиографический листок» по поводу лекций Вундта «Душа человека и животных» критик насмехается над верованиями в существование души и иронически отзывается о людях, не сочувствующих материалистическому воззрению. Означенные статьи характеризуют главные черты направления журнала «Русское слово»[1].

Результатом этой акции С.-Петербургского цензурного комитета было *первое* предостережение журналу «Русское слово».

Прошло всего две недели – и в Главное управление по делам печати направляется новая докладная записка председателя С.-Петербургского цензурного комитета, посвященная ноябрьской книжке журнала «Русское слово»:

«Книга эта немногим отличается по духу и направлению от октябрьской, за которую редакция подверглась административному взысканию. Из числа поме-

[1] ЦГИАЛ, ф. 76, оп. 3, ед. хр. 161, л. 22–25.

щенных в оной статей две преимущественно заслуживают внимания, именно: *«Исторические идеи Огюста Конта»* — Писарева и «Рабочие ассоциации» — Шелгунова».

Чем же заслужили внимание цензуры названные статьи? В статье Писарева отрицается «божественное происхождение христианства», доказывается «бессилие христианского учения». Более того, по мнению Писарева, сообщает цензор, «сильных может удержать от посягательства на личность и собственность слабых единственно страх встретить опасный отпор; а для этого нужно, чтобы слабые умели защищать себя коллективною силою масс, в доказательство чего он описывает восстание крестьян в средних веках вследствие пропаганды плотника Дюрана»[1].

«В статье «Рабочие ассоциации» Шелгунова представляется очерк коммунистических и социалистических идей Фурье и Сен-Симона. В этом очерке всего более достойно замечания то, что автор опередил этих пресловутых утопистов в их намерениях и осуждает те начала действительной жизни и существующего общественного порядка, которых даже они не решались затронуть.

...Автор превзошел Фурье в коммунизме и фурьеристов в революционном направлении, *мирные демократы*, очевидно, не удовлетворяют требованиям и целям «Русского слова»[2].

Естественно, за ноябрьский номер журнал получил второе предостережение.

А через месяц, 10 февраля 1866 года, председатель С.-Петербургского цензурного комитета Петров направил в Главное управление по делам печати очередную докладную записку:

«Декабрьская книга «Русское слово» как по тону, так и по содержанию не представляет тех явных и резких нарушений постановлений о печати, вследствие которых этот журнал подвергся сделанным ему двум вполне заслуженным предостережениям. Едва ли можно подвергнуть его судебному преследованию или административному взысканию за статьи, написанные в декабрьской книге. Но, хотя его пропаганда сдела-

---

[1] См.: Конкин С. С. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годах, с. 245.

[2] Там же, с. 246.

лась скромнее и осмотрительнее, дух и направление ее мало изменилось к лучшему»[1].

И далее приводились цитаты из статей «Честные мошенники» Шелгунова, «Библиографический листок» Ткачева, в которых проявилось, на взгляд цензора, «прежнее отрицание нравственности, юридических и имущественных начал».

Полагая, что этих фактов недостаточно для третьего предостережения, Скуратов, не дожидаясь решения по декабрьской книжке, шлет через шесть дней, 16 февраля 1866 года, очередной донос: «Так как декабрьская книжка «Русского слова» выпущена лишь в конце января и теперь еще находится в рассмотрении Главного управления, а между тем вышел уже и № 1 этого журнала за текущий 1866 год, полученный мною вечером 12 числа, то дабы представить Главному управлению возможность совокупного суждения, честь имею представить вашему превосходительству о замеченном мною при поспешном прочтении означенного последнего номера...»[2]

В тот же день — 16 февраля 1866 года, когда цензор Скуратов направил свою очередную записку, Валуев издал очередное распоряжение. «Объявить *третье* предостережение журналу «Русского слова» в лице издателя кандидата прав Григория Благосветлова и редактора, окончившего курс в С.-Петербургской духовной семинарии, Николая Благовещенского, и приостановить продолжение означенного повременного издания на пять месяцев»[3].

Дамоклов меч опустился.

Журнал «Русское слово» фактически прекратил свое существование.

Единственной формой протеста против этого беззакония, доступной Благосветлову, было его многозначительное прошение в Главное управление по делам печати: «...Положение 6 апреля (30 ст., гл. II) ясно говорит, что издание, обеспеченное залогом, может быть прекращено только по распоряжению высшей судебной инстанции, а именно 1-го департамента правительствующего сената. «Русское слово» суду не под-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, л. 37.

[2] Там же, л. 40—41.

[3] Конкин С. С. Журнал «Русское слово» и цензура в 1863—1866 годах, с. 252—253.

вергалось и закрыто по особенному распоряжению, выходящему из границ «Законоположения 6-го апреля». На этом основании он просит вернуть залог не через год, а сразу после закрытия, — *«раз закон нарушен в основном, то он утратил силу и в частностях»* [1]. (Курсив мой. — *Ф. К.*)

В крайне трудных цензурных условиях, в которых оказался журнал, истоки того конфликта, который привел к расколу в редакции «Русского слова» в 1865 году.

В научной литературе распространено мнение, будто главной причиной разрыва Зайцева и Соколова с редакцией «Русского слова» были эксплуататорские тенденции Благосветлова. «Сущность... конфликта, — заявлял, например, А. Быховский, — заключалась прежде всего в том, что Благосветлов довольно бесцеремонно обращался со средствами журнала, обделяя сотрудников и забирая львиную долю доходов себе» [2].

Факты не подтверждают версию о том, будто причина раскола редакции «Русского слова» — в деньгах, которые якобы не могли поделить сотрудники.

Руководитель «Русского слова» и в самом деле получил предложение Зайцева и Соколова произвести финансовую реформу в журнале. Предложение это было принято Благосветловым. В сентябрьской книжке журнала за 1865 год появилось совместное заявление Благосветлова, Благовещенского, Зайцева и Соколова о том, что с 1866 года журнал будет вестись по-новому: свой журнал редактор рассматривает как собственность читателей, а себя — их «доверенным лицом», которое обязуется все деньги за подписку направлять на удешевление и улучшение журнала.

Конфликт в редакции вспыхнул в конце октября — ноябре 1865 года. И причиной этому были не экономические обстоятельства. Основная причина конфликта — в тех самых цензурных условиях, в которых оказалось «Русское слово» и вся демократическая журналистика в конце 1865 года.

«Новое постановление о печати произвело в редакции «Русского слова» революцию», — сообщал Шелгунов жене в октябре 1865 года. Дело в том, что это по-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, л. 55 об.

[2] Быховский А. Д. И. Писарев в Петропавловской крепости. — Литературное наследство, т. 25—26, 1936, с. 669.

становление заставило Благосветлова проявлять максимум осторожности. При том «единоличном принципе, царившем в журнале» (характеристика П. Ткачева), исходя из которого Благосветлов руководил «Русским словом», это проявлялось в форме редакционной цензуры и в правке статей Зайцева, Соколова и др. Подтверждением тому, что дело обстояло именно так, может служить ссылка Шелгунова на письмо Благосветлова от 7 сентября, в котором «заявлена боязнь сидеть в тюрьме по милости сотрудников, которые вместо дела вздумают разряжаться трескотней фраз», а также письмо Зайцева Шелгунову (октябрь 1865 года), в котором Зайцев раздраженно писал: «Я, Соколов и Писарев подали нынче в отставку от «Русского слова»... Но какая причина этого происшествия? Причина очень простая: дело в том, что Григорием Евлампиевичем овладел страх, и он сделался хуже всякого Веселаго (один из цензоров С.-Петербургского цензурного комитета.— *Ф. К.*)... он дошел до того, что предлагает в редакторы «Русского слова», по случаю отказа Благовещенского (спраздновавшего трусу), то Чужбинского, то Порецкого, то одного старого семидесятилетнего подьячего, то, наконец, своего рассыльного...»[1]

Таким образом, Зайцев прямо заявлял Шелгунову, что главной причиной ухода трех сотрудников из «Русского слова» была осторожность Благосветлова, опасавшегося за судьбу журнала.

Конкретным же поводом для ухода Зайцева и Соколова (Писарев в конце концов остался в журнале) было следующее. Чтобы избежать, как они выражались, «домашней цензуры», Зайцев и Соколов потребовали от Благосветлова учредить официального редактора на каждый из трех отделов журнала. Благосветлову предполагалось поручить редакцию «Внутреннего обозрения», Благовещенскому — беллетристику, Зайцеву — «Литературное обозрение». Зайцев даже редактировал в течение двух месяцев (сентябрь — октябрь) этот отдел «Русского слова»[2]. Однако официального утверждения на пост редактора Зайцев не получил.

---

[1] Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого.— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 2, с. 191—192.

[2] Русское слово, 1865, № 11 (От редакции «Русского слова» по поводу новых объявлений гг. Соколова и Зайцева).

В делах цензуры хранится следующее прошение официального редактора журнала «Русское слово» Благовещенского в Главное управление по делам печати от 20 октября 1865 года: «Сознавая трудность обязанностей и ответственности, возложенной на редактора журнала новым положением о печати 6 апреля 1865 года, я желаю разделить редакторскую ответственность по журналу «Русское слово» с гг. Григорием Благосветловым и Варфоломеем Зайцевым. Оставляя за собой ответственность по статьям беллетристического содержания, то есть романам, повестям, рассказам, очеркам, стихотворениям и сочинениям драматическим, я передаю редакторскую ответственность, согласно желанию помянутых лиц, по второму (критическому) отделу – г. Зайцеву, а по всем остальным статьям, помещенным в «Русском слове», – г. Благосветлову. Только такое разделение редакторского труда и обязанностей при настоящих обстоятельствах дает возможность хорошо выполнить те условия, в которые поставлена печать новым положением» [1].

На заявлении – виза: «Предварительно каких-либо распоряжений собрать все справки, какие имеются в делах Гл. упр. о Благосветлове и Зайцеве».

В том же деле хранится аналогичное прошение Благосветлова, который «изъявлял желание разделить труд и ответственность по редакции... в качестве соредактора «Русского слова» по ученым и политическим статьям I-го и III-го отделов», а также Зайцева, который «желал принять редакцию и ответственность за оную по II-му (критическому) отделу» [2].

Ответ Главного управления по делам печати от 5 ноября 1865 года гласил: «Удовлетворение означенной просьбы Гл. управление не признало возможным» [3].

Желание Благосветлова, который, как известно, не был утвержден редактором «Русского слова», взять на себя труд и «*ответственность* за редактирование всех ученых и политических статей» лучше всего показывает, что в своей осторожности в условиях карательной цензуры он боялся не за себя, как это пытается представить в письме Шелгунову Зайцев. Благосветлов

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 161, л. 11.
[2] Там же, л. 13, 14.
[3] Там же, л. 17.

боялся за журнал. И когда Зайцев предложил взамен себя на должность редактора критического отдела Н. Соколова, Благосветлов, зная неуемный характер последнего, не принял этого предложения. Это-то и явилось причиной разрыва Соколова и Зайцева с «Русским словом».

«Г. Зайцев, — доводили до сведения читателей Соколов и Зайцев, — не получивши разрешения быть редактором, пожелал с г. Писаревым, чтобы эта обязанность перешла на Н. Соколова. Но г. Благосветлов... отверг наше предложение и тем окончательно уже вынудил нас отказаться от участия в его журнале»[1].

Означал ли разрыв Зайцева и Соколова с Благосветловым, что последний изменил своим прежним идеалам?

По-видимому, в конце 60-х годов Благосветлов и в самом деле стал осторожнее, спокойнее. И тем не менее весь облик «Русского слова» конца 1865 года показывает, что осторожность Благосветлова как редактора и руководителя журнала не имела ничего общего с изменой демократическим убеждениям, которая приписывается ему.

Если бы это было так, то был бы непонятен факт упорной и принципиальной борьбы Благосветлова за опубликование в журнале таких статей, как «Новый тип» Писарева или «Рабочие ассоциации» Шелгунова (2-я часть), ранее запрещенных цензурой и напечатанных в октябре и ноябре 1865 года. Непонятно опубликование его собственной статьи об Оуэне («Библиографический листок», 1865, № 11). Непонятно, зачем ему надо было привлекать в журнал вместо Зайцева П. Ткачева — человека, настроенного отнюдь не менее революционно, чем Зайцев. Непонятно опубликование в последнем номере журнала статьи Писарева «Исторические идеи Огюста Конта» и романа Эркмана — Шатриана «Воспоминания пролетария» — произведений ярко революционных. Необъясним весь тон, все направление последних четырех номеров журнала (№ 10, 11, 12 за 1865 год и № 1 за 1866 год), — самых ярких, самых смелых за все время существования «Русского слова». По-видимому, прав Ткачев: хотя

[1] Русское слово, 1865, № 11 (Соколов Н., Зайцев В. Причина отказа сотрудников «Русского слова» от участия в этом журнале).

«после двух последовательно полученных предостережений дни «Русского слова» были сочтены, и тем не менее Благосветлов... с *прежнею* энергиею продолжал вести свой журнал по *прежнему* тернистому пути»[1].

2

Не менее важны для характеристики Благосветлова, а равно всего коллектива журнала «Русское слово» — энергия и изобретательность, с которыми редакция висевшего на волоске журнала боролась за печатную трибуну, за то, чтобы в иных формах продолжать начатое дело, не изменяя принципам и основаниям его.

Борьба Благосветлова за печатную трибуну в 1865—1866 годах, когда уже стало ясно, что дни «Русского слова» сочтены,— одна из интереснейших, хотя и совершенно неизученных страниц в истории русской демократической журналистики. Если систематизировать материалы архивов, можно проследить три этапа этой борьбы.

Первый из них — попытка организовать на базе типографии и редакции «Русского слова» издательство и книжную лавку для распространения литературы определенного направления.

Книжные лавки и издательства, а также читальни, создаваемые, как правило, демократически настроенными людьми, очень интересная форма проведения в общество передовых идей, широко применявшаяся в условиях 60-х годов. Революционеры, непосредственно связанные с «Землей и волей», шли в книжные лавки и читальни, чтобы распространять демократическую литературу. Известен, например, книжный магазин Серно-Соловьевича (потом — Черкесова), являвшийся чем-то вроде легального филиала «Земли и воли».

Недаром вскоре после каракозовского выстрела полиция особо отмечала тот факт, что ею были «обнаружены в столицах некоторые отдельные тайные деятели, которые под ширмою литературных занятий были руководителями разных социалистических изданий, переводов, учебников для народа и иных книг в видах распространения социалистического учения. Они также

[1] Шестидесятые годы, с. 231.

были участниками в составлении разных обществ, читален, артелей, бесплатных школ и иных учреждений, имевших целью, под видом благотворения, соединять и направлять в социалистическом и противоправительственном направлении мысли молодого поколения». «Из сил отдельных деятелей были замечены: артиллерии полковник *Лавров*, ныне преданный военному суду; отставной подполковник *Путята*, бывший преподаватель во 2 кадетском корпусе; бывший студент С.-Петербургского ун-та *Рождественский* — составитель вместе с полковником Лавровым и подполковником Путятой устава издательской артели, не разрешенной правительством, но приведенной в исполнение. *Константинов* — помощник инспектора императорского училища правоведения; соумышленник его, бывший студент *Линев*, недавно еще открывший книжный магазин на Васильевском острове. *Яковлев* — титулярный советник — теперешний мировой судья, у которого был... книжный магазин с читальнею при нем... Бывший редактор журнала «Русское слово» — кандидат университета *Благосветлов*. Кандидат Евгений *Печаткин*, давно известный своей политической неблагонадежностью, имевший большой книжный магазин и переплетную артель, о закрытии коих сообщено уже в Мин. в. дел»[1].

Редакция «Русского слова» решает открыть такую книжную лавку в конце 1865 года, когда стало очевидным, насколько опасен для передовой журналистики «Закон 6 апреля». Однако это намерение журнала немедленно встретило самое жестокое сопротивление со стороны III Отделения.

16 ноября 1865 года в газете «Голос» появляется объявление об открытии при главной конторе «Русского слова» книжного магазина. В объявлении говорилось, что редакция «решилась дать главной конторе «Русского слова» новое устройство, а именно поставить ее в совершенно независимое положение от других книгопродавцев и открыть при ней книжный магазин...». В объявлении отмечалось, что «выписка книг по естественным, медицинским, историческим и экономическим наукам преимущественно перед другими отраслями будет удовлетворяться нашим магазином...».

---

[1] Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, 10532, ед. хр. 3, л. 1—2.

Подчеркивалось: «Для всех учебных заведений, выписывающих книг не менее как на 25 рублей, делается уступка по пяти процентов с рубля. Кроме того, делается возможно большая уступка г. студентам и воспитанникам всех других учебных заведений...»

Объявление шло за подписью «управляющего книжным магазином и главною конторою «Русского слова» Юлия Луканина.

В тот же день, 16 ноября 1865 года, из Главного управления по делам печати старшему инспектору для надзора за типографиями в С.-Петербурге полетел запрос:

«1. На основании какого разрешения открыты вышеозначенные книжный магазин и главная контора?

2. Какого рода продажа книг и комиссионерская деятельность и кем разрешена этим заведениям?

3. В каком вообще положении находятся эти заведения и какие произведения печати находятся как в магазине, так и в состоящем при оном складе?» [1]

В результате следствия выяснилось, что магазина самого еще нет, а идет лишь подготовка к открытию его и что разрешение о том редакция будет испрашивать в скором будущем.

Благосветлов решил просить разрешения на открытие книжного магазина через подставное лицо.

3 декабря 1865 года некий «купец», а в действительности сотрудник журнала «Русское слово» Д. И. Стахеев направил в адрес С.-Петербургского генерал-губернатора кн. Суворова прошение «открыть книжный магазин под фирмою «Книжный магазин при главной конторе «Русского слова»... Ответственным лицом по магазину имею честь представить Управляющего Главной конторой «Русского слова» Ю. А. Луканина» [2].

Но так как министр внутренних дел, уведомленный об открытии магазина, в специальном отношении к кн. Суворову просил генерал-губернатора обратить «особое внимание в случае поступления ходатайства об открытии книжного магазина редактора журнала Благосветлова» [3], то Суворов, не решаясь самостоятельно дать ответ Стахееву, представил копию его за-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 162, л. 1 об.
[2] Там же, л. 15.
[3] Там же, л. 14 об.

проса министру внутренних дел. После двухмесячной волокиты Валуев дал следующий официальный ответ: «...Принимая во внимание, что объявление об открытии книжной торговли «Русского слова» было напечатано прежде подачи Стахеевым прошения о разрешении ему производить означенную торговлю и что он желает открыть книжный магазин при конторе журнала «Русское слово», неблагонамеренное направление которого вызвало уже в последнее время два предостережения, я не считаю в настоящее время удобным удовлетворить настоящее ходатайство купца Стахеева».

К ответу было приложено конфиденциальное письмо Валуева кн. А. А. Суворову, в котором он более подробно раскрывал причины отказа. Валуева насторожило прежде всего то, что «в магазине, который желает открыть купец Стахеев, предполагается продавать учебным заведениям, студентам и вообще учащимся молодым людям с возможною уступкою сочинения, приобретенные или изданные в разное время редакциею означенного журнала». Их характер никак «нельзя признать благонамеренным и притом, в случае продолжения этим журналом неодобрительного направления и закрытия его, было бы неудобно предоставлять распространение напечатанных в оном статей отдельными изданиями через книжный магазин, открываемый с этой целью» [1].

Письмо это примечательно не только тем страхом, который испытывал министр перед силой влияния идей «Русского слова» на молодежь, но и ничем не замаскированной уверенностью его, что дни «Русского слова» сочтены. Валуев – против книжного магазина, потому что, с его точки зрения, он и открывается-то только ради того, чтобы в такой форме продолжить существование «Русского слова». Естественно, что Стахееву в его ходатайстве было отказано.

Каково же было удивление Валуева, когда в № 61 «Московских ведомостей» в марте 1866 года было опубликовано объявление о том, что «на днях выйдет и поступит в продажу «Луч» и что подписка на него «принимается при книжном магазине главной конторы «Русского слова».

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 162, л. 32 об. – 33.

Старшему инспектору типографий и книжной торговли генерал-майору Чебыкину было поручено немедленно расследовать обстоятельства, при которых этот магазин все-таки начал функционировать.

В результате расследования обнаружилось, что, после того как в открытии магазина Стахееву было отказано, Благосветлов подобрал для этой цели другое лицо – некоего Зубовского, по ходатайству которого С.-Петербургский генерал-губернатор Суворов и разрешил открыть магазин, не поставив об этом в известность Валуева.

Узнав об этом, Валуев направляет Суворову 12 апреля 1866 года второе конфиденциальное письмо, в коем раздраженно замечает, что в результате разрешения Зубовскому открыть книжный магазин при конторе «Русского слова», несмотря на конфиденциальное письмо от 30 января, генерал-губернатором «были нарушены не только общие, преподанные для руководства в подобных случаях правила, но и особенные, к распространению вредных учений направленные условия, а такое неисполнение установленных правил не только парализует наблюдение Главного управления за книжною торговлею, но даже препятствует проведению в действие принимаемых им мер против распространения предосудительных и вредных, особенно для учащегося юношества, сочинений»[1].

Понимая, что закрыть только что открытый с разрешения С.-Петербургского генерал-губернатора магазин трудно, Валуев дает указание задушить книжный магазин «Русского слова» иным путем. Он приказывает старшему инспектору типографий и книжной торговли генерал-майору Чебыкину «принять книжный магазин при главной конторе «Русского слова» в число заведений, подлежащих его непосредственному наблюдению»[2].

Что означало это «наблюдение», видно из докладной записки управляющего магазином Ю. Луканина, адресованной им 27 августа 1866 года Валуеву:

«В ноябре прошлого 1865 года С.-Петербургский 2-й гильдии купец Стахеев подал г. бывшему С.-Петербургскому военному генерал-губернатору прошение о дозволении открыть ему книжный магазин при глав-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 162, л. 50 об.
[2] Там же, л. 51–51 об.

ной конторе «Русского слова». Ответственным лицом по магазину, как управляющего им, он представил меня. Дело это было передано г. С.-Петерб. воен. г.-губернатором в Главное управление по делам печати. Продержав у себя дело Стахеева около трех месяцев, Гл. упр. по делам печати наконец отказало Стахееву... Между тем Стахеевым была нанята квартира под магазин по контракту, поставлены шкапы, куплена часть книг и, таким образом, затрачено на магазин до 3 тыс. р. Отказ Гл. упр. по делам печати в дозволении открыть магазин, таким образом, разорял его, как человека и без того небогатого, вследствие чего Стахеев должен был приискать лицо, которому бы мог передать свой магазин. Такое лицо он нашел в коллежском секретаре Зубовском, который, купивши у Стахеева магазин, подал прошение г. бывшему С.-П. г.-губернатору о дозволении открыть ему вышеозначенный магазин на его имя, на что и получил разрешение. Вот с этого времени Гл. упр. по делам печати в особенности стало преследовать магазин Зубовского вообще и меня в особенности; предписавши ген.-м. Чебыкину самым строжайшим образом вообще следить за магазином, оно в то же время заставило его в продолжение всего двух месяцев сделать в магазине четыре осмотра, для которых магазин не подал ни малейшего повода... Затем, когда Гл. упр. по делам печати увидело, что магазин ведется на строго законных основаниях и что с этой стороны нельзя придраться к нему, стало действовать ко вреду Зубовского чрез его непосредственное начальство, перед которым Зубовский был намеренно выставлен человеком неблагонадежным. Вследствие всего этого Зубовский был вынужден не только закрыть магазин, но и выйти в отставку» [1].

Луканин просит министра разрешить вновь открыть этот магазин, на этот раз уже на его имя. «Считая, что главным препятствием к существованию магазина было то, что он был при главной конторе «Русского слова», я отказался от управления ею, прервал с нею всякие отношения и совершенно отделился от нее...» — пишет Луканин, но и этот маневр не помог. Магазин так и не был открыт.

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 162, л. 75—76.

Более подробно и отчетливо судьбу магазина «Русского слова» раскрывает докладная записка Валуеву Фукса, члена Главного управления по делам печати от 27.5.1866 года:

«Содержатель книжного магазина при конторе «Русского слова» Зубовский, убоявшись, вероятно, неприятных для себя последствий по собранным сведениям о неправильности его показаний насчет отлучек из СПб., равно о связи его заведения... с конторою редакции, а может быть, и по настоянию начальства (он оказался старшим делопроизводителем здешнего губернского правления) подал сегодня заявление старшему инспектору о прекращении открытой им торговли книгами...

Таким образом, этот магазин, согласно видам администрации, закрывается сам собою, без каких-либо экстралегальных мер... Затем, от личного благоусмотрения вашего превосходительства зависит обратить внимание надлежащего начальства на Зубовского, открывшего книжную торговлю без ведома и разрешения начальства».

Виза Валуева: «Г Зубовскому вице-губернатором приказано подать в отставку, что им исполнено. Прошу мне разъяснить... отчего так долго искали Зубовского?» [1]

Для того чтобы стал более понятен страх старшего делопроизводителя губернского правления Зубовского, который подал в мае 1866 года заявление о прекращении торговли книгами под вывеской «Русского слова» (это, как мы только что видели, не спасло его – ему пришлось уйти в отставку), напомним, что апрель – май 1866 года были месяцами террора, начавшегося после выстрела Каракозова. 14 апреля 1866 года был арестован Благосветлов, 28 апреля – Зайцев, 3 июня 1866 года были запрещены «Современник» и ранее приостановленное «Русское слово». Но тем не менее и в этих отчаянных для демократии условиях Благосветлов продолжает борьбу за печатную трибуну, добиваясь через Ю. Луканина возобновления книгоиздательства.

А параллельно редакция «Русского слова» ведет с царской цензурой и охранкой еще одну, более опасную игру. После приостановления журнала в январе

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 162, л. 69.

1866 года на пять месяцев она решает обойти постановление правительства и выдать подписчикам эти запрещенные четыре номера «Русского слова» иным, обходным путем.

Мало кому известно, что подготовленные к печати в первой половине 1866 года редакцией «Русского слова» два тома сборника «Луч» (издатель — П. Ткачев) не что иное, как сдвоенные номера «Русского слова», только под другим названием. А между тем редакция умудрилась даже сообщить об этом своим читателям.

В газете «Голос» (№ 55 за 1866 год) сразу после приостановления журнала было помещено специальное объявление от редакции «Русского слова», которая обещала читателям «по истечении запретного срока» употребить все зависящие от нее средства, чтобы, не изменяя прежней программе, обеспечить существование «Русского слова» на будущее время. «Сознавая всю невыгоду вынужденного молчания не только по отношению к самим себе, но по отношению к подписчикам, — говорилось в объявлении, — мы считаем долгом уверить их, что они будут удовлетворены вполне и не останутся без чтения. О подробностях удовлетворения будет объявлено на днях».

И действительно, 31 марта 1866 года в газете «С.-Петербургские ведомости» было напечатано объявление о том, что «при главной конторе «Русского слова» вышел и продается «Луч», учено-литературный сборник, том первый», сообщалось содержание сборника, который был составлен из произведений сотрудников «Русского слова», и подчеркивалось: «Для подписчиков «Русского слова» на 1866 год этот сборник выдается бесплатно, взамен приостановленных книжек журнала».

Тут же редакция «Русского слова» сообщала читателям: «Удовлетворение гг. подписчиков «Русского слова», после приостановления этого журнала на пять месяцев, было первою и главною необходимостью редакции. Лучшим способом для удовлетворения она признала выдать им вышеозначенный сборник взамен приостановленного журнала. Оба тома «Луча» составят более 100 печатных листов, что будет равняться четырем месячным книжкам «Русского слова». Таким образом, от карательной меры правительства, при-

остановившего журнал, серьезно не страдали ни сама редакция, ни подписчики.

Но, к сожалению, газету «С.-Петербургские ведомости» читали не только подписчики «Русского слова», но и цензоры.

Первый том сборника «Луч» был представлен в цензуру 22 марта 1866 года. В тот же день четырем (!) цензорам было поручено просмотреть эту книгу и на другой же день, 23 марта, на заседании Комитета доложить свое мнение. Каждый из цензоров, в результате анализа материалов, с сожалением констатировал, что «статьи не представляют прямого повода к судебному преследованию книги», что «они не могут дать суду достаточных поводов к обвинению», но все цензоры сходились в одном: «Луч» — это не что иное, как очередная книжка журнала «Русское слово». Цензор Еленев так прямо и писал: «...Во всех... статьях есть отдельные места и выражения, представляющие довольно крупные черты того направления, которым всегда отличался *журнал «Русское слово», временно преобразованный теперь в сборник «Луч»*[1]. (Курсив мой. — *Ф. К.*)

Председатель С.-Петербургского цензурного комитета А. Петров направил в Главное управление по делам печати подробную докладную записку, обобщавшую доклады всех четырех цензоров, в которой указывалось, что направление и характер сборника полностью тождественны приостановленному журналу «Русское слово». Усматривая таким образом, что «изданием сборника «Луч» редакция «Русского слова» желает продлить непрерывный выход приостановленного журнала и обойти таким образом распоряжение г. министра внутренних дел»[2], Комитет предлагал приостановить выпуск издания и привлечь издателей к суду.

Результатом этой записки было, ни больше ни меньше, как серьезное изменение существующего цензурного законодательства, которое, как оказалось, не давало оснований для судебного преследования «Луча», хотя всем было ясно, что это лишь приостановленное «Русское слово», только под другой обложкой. Вот почему министр внутренних дел был

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 53, л. 4 об.

[2] Там же, л. 6—6 об.

вынужден войти в правительство с предложением: «Редакциям и сотрудникам газет и журналов, троекратно предостереженных и затем подвергнутых временной приостановке, воспрещается издавать для подписчиков тех повременных изданий, а равно выдавать этим подписчикам бесплатно или по особой публикации во все время приостановления какие-либо отдельные сочинения, переводы или сборники»[1].

Предложение министра внутренних дел было принято Государственным советом. А тем временем подписчики «Русского слова» получили беспрепятственно первый том «Луча».

А в июне 1866 года, уже после окончательного закрытия «Русского слова», в типографии журнала было отпечатано 3500 экземпляров второго тома сборника «Луч». Редакция закрытого журнала по-прежнему стремилась доставить сборник «Луч» читателю, чтобы таким образом продолжить «Русское слово».

Результатом этого было судебное дело, возбужденное цензурой против издателя «Луча» (таковым был сотрудник запрещенного «Русского слова» П. Н. Ткачев). Обвинение было прежнее: «...Сборник «Луч», очевидно, имел назначение служить продолжением приостановленного по распоряжению правительства журнала... Между тем до отпечатания 2 т. сборника «Луч» последовало высочайшее повеление... о совершенном прекращении журнала «Русское слово» вследствие доказанного с давнего времени вредности направления его. В таком положении дела выпуск в свет 2 т. сборника «Луч», который хотя разнится от прекращенного журнала названием, объемом книжек и именами издателя, — но совершенно однороден с ним по составу сотрудников, по своему содержанию и назначается редакциею прекращенного журнала взамен оного для подписчиков, был бы равносилен дозволению продолжать прекращенный журнал, в действительности прямым уклонением от исполнения последовавшего высочайшего повеления...»[2]

Но органы юстиции не решались начинать преследование, не будучи уверенными в успехе дела. Трудность заключалась в том, что второй том «Луча» был отпечатан до того, как Государственный совет принял

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 338, л. 13.
[2] Там же, л. 31—32.

предложенную Валуевым поправку к «Закону 6 апреля».

Между учреждениями министерства внутренних дел и министерства юстиции завязалась по этому поводу деятельная бюрократическая переписка, которая продолжалась около шести лет.

С.-Петербургский цензурный комитет, Главное управление по делам печати и министерство внутренних дел настаивали на запрещении и уничтожении всей книги в силу «сходства и тождества направления сборника «Луч» с прекращенным по высочайшему повелению «Русским словом». Органы же юстиции, ссылаясь на невозможность подвести под статью закона этот противозаконный акт, отказывались возбуждать дело на таких основаниях и советовали прекратить его, договорившись с издателем об изъятии ряда мест из статьи «Психологические этюды». Но цензурные органы вновь и вновь бомбардировали органы юстиции отношениями и развернутыми докладными записками с требованием возбуждения дела о запрещении и уничтожении *всего* издания, а не отдельных его мест.

13 августа 1871 года заседание С.-Петербургской судебной палаты, заслушавшей дело издателя «Луча» Ткачева, к тому времени уже находившегося в эмиграции, постановило:

«Не подвергая подсудимого Ткачева никакому взысканию, исключить из помянутой статьи сборника «Луч»... 3 места...» («С.-Петербургские ведомости», 14 августа 1871 г., № 222).

Решение суда не удовлетворило министерство внутренних дел и было им опротестовано. Однако необходимость в повторном рассмотрении его к этому времени уже отпала. Чтобы не попадать в столь затруднительное положение с юстицией, когда надо что-то доказывать и аргументировать, правительство внесло в 1872 году еще одну «незначительную» поправку к «Закону 6 апреля»:

«Если распространение освобожденной от предварительной цензуры книги или номера повременного издания, выходящего без цензуры реже одного раза в неделю, министром вн. дел признано будет особенно вредным, то он может, сделав распоряжение о предварительном задержании такого произведения, представить вопрос о воспрещении выпуска оного в свет на окончательное разрешение комитета министров».

26 октября 1874 года, то есть почти восемь лет спустя после того как тираж «Луча» был отпечатан, на основании изменений в «Законе 6 апреля» комитет министров постановил: выпуск в свет данного издания «воспретить», само издание – уничтожить. Однако уничтожать практически было нечего. Арестованное издание уже в 1870 году пришло в совершенную негодность. По свидетельству старшего инспектора типографий, которому было поручено проверить, живо ли это издание, сборник «Луч» хранился в «наполовину развалившемся... чулане, задняя стена с большими просветами; крыша над чуланом, когда-то покрытая толем, образовала сквозной пролом, так что дождик и снег имели значительный доступ». Тюки с изданием были «наполовину развалившиеся вследствие гнилости» [1].

Так закончилась эта попытка редакции «Русского слова» спасти издание, продолжить журнал.

Итак, цензура оказалась победителем? Ей удалось лишить трибуны коллектив публицистов, сплотившийся вокруг «Русского слова»?..

Уже в середине июля 1866 года, полтора месяца спустя после закрытия «Русского слова», когда цензурные осложнения со вторым томом «Луча» только-только начинались, Г. Благосветлов и П. Ткачев поместили в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 195) следующее объявление:

«Подписчикам «Русского слова». На основании заявлений, сделанных через газету в начале и в конце прошлого марта, обещано было удовлетворить подписчиков «Русского слова» взамен приостановленных книжек *двумя* томами учено-литературного сборника *«Луч»*. Согласно этому обстоятельству, 1-й том «Луча» был выдан 25 марта. Теперь же, получая неоднократные жалобы на невыдачу второго тома «Луча» (который) согласно печатному заявлению должен был выйти в половине мая, мы, нижеподписавшиеся, считаем долгом объявить, что второй том «Луча», по непредвиденным обстоятельствам, не может быть выдан впредь до устранения этих непредвиденных обстоятельств...

Что же касается до удовлетворения подписчиков «Русского слова» за последние шесть книжек, то, по

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 338, л. 69.

соглашению с редакцией нового журнала «Дело», подписчики получат в этом году шесть книжек этого журнала.

Г Благосветлов,
П. Ткачев».

Таков один из удивительнейших эпизодов в истории русской журналистики: в условиях жесточайшей реакции и террора после каракозовского выстрела в 1866 году, потеряв «Русское слово», потерпев поражение с книжной лавкой и изданием сборника «Луч», Благосветлов находит возможность возродить «Русское слово» под новой обложкой, под новым названием, — правда, в условиях пристрастной предварительной цензуры, крайне неблагоприятных для него. И это — не счастливая случайность, но трезвый, строгий и последовательный план действий, изобретательная и упорная борьба.

Новый план сохранения печатной трибуны содержится в письме Благосветлова Шелгунову, которое он послал ему в Тотьму сразу после второго предостережения журналу: «Вот что надо делать: выбрать другое заглавие для такого же журнала, как и «Русское слово», и продолжать его издание при тех же сотрудниках и подписчиках»[1]. В этом письме, в этой идее — весь Благосветлов, с его мужеством, последовательностью, изобретательностью в борьбе.

16 февраля 1866 года журналу «Русское слово» было объявлено третье предостережение с приостановлением его на пять месяцев. А 17 февраля, буквально на следующий день, в Главное управление по делам печати направляется прошение штабс-капитана Шульгина об «издании нового учено-литературного журнала» под названием «Дело»[2]. В мае 1866 года, за десять дней до окончательного закрытия «Русского слова», издание «Дела» было разрешено. Вот чем объясняется тот непонятный на первый взгляд оптимизм, с которым Благосветлов 7 июня 1866 года, на следующий день после выхода из Петропавловской крепости, куда он вместе с Зайцевым был заточен после каракозов-

[1] Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. — В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 2, с. 197.

[2] Есин Б. И. Демократический журнал «Дело». Изд-во МГУ, 1959, с. 4.

ского выстрела, пишет Шелгунову: «Николай Васильевич, вчера меня выпустили из крепости на свободу... «Русское слово» запрещено безусловно: это Вы, конечно, уже знаете из газет... Через неделю извещу Вас подробно, как устроится наше общее положение. Работать надо, потому что жить надо, а жить и работать почти не дают возможности. Но человек изобретателен, когда его очень прижимают, а потому я и думаю, что «Русское слово» воскреснет в другой форме» [1].

И действительно, в первую же неделю после выхода Благосветлова из крепости состоялось официальное соглашение Благосветлова с Шульгиным об издании «Дела» как продолжения «Русского слова» «при тех же сотрудниках и подписчиках»,— план, изложенный Благосветловым в письме Шелгунову от 30 января 1866 года, был реализован.

Для современников не было секретом то, что штабс-капитан Шульгин является подставной фигурой Благосветлова, который таким путем (прошение об открытии нового издания до окончательного запрещения «Русского слова») решил сохранить журнал. В ЦГАОРе хранится конфиденциальное письмо руководителю III Отделения М. Попова, хорошо знавшего Благосветлова. Попов писал:

«Вы, конечно, помните, многоуважаемый Федор Федорович, что во время муравьевского погрома были запрещены журналы «Современник» и «Русское слово». Редактор последнего, Григорий Евлампьевич Благосветлов, через год после того, *чтобы обойти разные затруднения, начал издавать журнал под другим названием «Дело» и выставил редактором другого писателя Шульгина.* (Курсив мой.— Ф. К.)

Кроме того, «Дело» печатается с дозволения цензуры.

Эти два обстоятельства поставляют г. Благосветлова в новое затруднение, и он уже просил председателя Комитета по делам печати г. Похвистнева дозволить ему быть гласным издателем и печатать журнал без цензуры. Г-н Похвистнев соглашается на это, но сказал, что будет сделано сношение с III Отделением и что от Вашего ответа зависит жизнь или смерть «Дела».

---

[1] ЦГАОР, III отд., 17 эксп., ед. хр. 100, ч. 43, л. 18.

Г. Благосветлов, предполагая сам явиться к Вам, просит меня быть перед Вами ходатаем. Мне тем приятнее это сделать, что г. Благосветлов писатель высокоталантливый и не так страшен в политическом отношении, как изображают черта, он уже сед и осторожен...

Убедительно прошу Вас, не лишите г. Благосветлова своего ласкового приема, благосклонно выслушайте его просьбу и сделайте все, что будет от Вас зависеть, в его пользу...

5 января 1870 года»[1].

Чем вызвано это письмо, прямо свидетельствующее, что Шульгин подставное лицо Благосветлова? Тем, что, считая с самого начала «Дело» возобновленным «Русским словом», III Отделение решило задушить журнал цензурным путем. Оно оставило его под предварительной цензурой, которая буквально не давала ему жить.

Предприятие Благосветлова, который выпускал журнал, не имея на этот раз не только редакторских, но и издательских прав, было попросту опасным. Первое время ему пришлось усиленно скрывать, что он вообще имеет хоть какое-то отношение к журналу. Так, 14 ноября 1866 года, вскоре после выхода первой книжки «Дела», Благосветлов писал эмигранту-революционеру Якоби:

«По выходе 1 книжки «Дела» на журнал посыпались со всех сторон доносы, именные и безымянные. Министр народного просвещения гр. Толстой, такой идиот, каких даже у нас мало, донес по начальству, что «Дело» то же «Русское слово», только под другой оберткой, что Благосветлов участвует в нем. Это было достаточно, для того чтобы дать повод душить журнал безобразнейшим образом. Началось следствие, действительно ли я участвую, начали обыскивать типографии, перебирать рукописи, меня хотели выслать из города и дали цензуре особенное предписание давить журнал. Началась пытка: из 40 набранных листов пропускают какие-то обрывки на 6 листах, все прочее запрещают. Редактор Шульгин жалуется министру,— министр усиливает строгости. Шульгин просит выпустить его из-под цензуры,— не дозволяют. Шульгин хочет жаловаться царю,— к царю не допускают. А меж-

[1] ЦГАОР, III отд., 1 эксп., ед. хр. 97, ч. 2, л. 124—125.

ду тем «Дело» стоит, типография стоит, сотрудники стоят; каждый день несутся денежные убытки... В таком положении я находился до нынешнего дня. Только сегодня я получил некоторую уверенность, что журнал пойдет и что облегчат его ход. Поэтому и могу ответить вам на вопрос: что и как писать?

Пока давящая сила правительства не ослабнет, пишите серьезные статьи по естественным наукам. Но только не касайтесь религии. Пока это строго запретный плод... При первой возможности «Дело» выйдет из-под цензуры, но теперь не выпускают»[1].

Столь драматически начинал Благосветлов свое новое журнальное предприятие — и тем не менее власти предержащие ничего не могли поделать с ним. Он так искусно обходил все ловушки, так изворотливо пользовался всеми хитросплетениями законодательства, что не давал им законного повода закрыть журнал. А такие поползновения возникали постоянно. В записке III Отделения в январе 1867 года отмечалось, что сотрудники «Современника» и «Русского слова» после закрытия этих журналов «стали приискивать способы, не отступая от своих убеждений, продолжать литературное дело». В частности, указывалось на «Женский вестник» Мессарошей как журнал, давший приют Слепцову, Благовещенскому, Шеллеру и другим. Поскольку «средства к изданию этого журнала крайне ограничены и в настоящее время их у Мессарошей нет», поэтому журнал этот, по мнению III Отделения, вот-вот прекратится сам собой, и «нет никакой надобности... запрещать это издание».

«Совсем другое дело журнал, издаваемый Благосветловым под именем Шульгина, выдаваемый подписчикам взамен «Русского слова». Материальные средства у Благосветлова невелики, но кредит значителен, и он, имея типографию, может вести журнал долго, даже при неудовлетворительной подписке. Человек этот — сильной воли и твердого характера. Как ни жмет и ни теснит его Главное управление по делам печати, он все-таки держится твердо и не отступает от предвзятых им целей и стремлений.

Мне кажется, так как в близком будущем грозит «Делу» запрещение, что было бы гуманнее прекратить существование этого журнала ныне же и тем лишить

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2045, л. 1.

партию, вступившую в борьбу с правительственными воззрениями, возможности распространять свое учение, уже признанное вредным в особенности для быстро увлекающегося юношества»[1].

И тем не менее журнал продолжал выходить, пропагандируя, хотя и в очень стесненных цензурных рамках, те самые «предвзятые цели и стремления», которые в 60-е годы проводились «Русским словом».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С июня 1860 по январь 1866 года читатели успели получить шестьдесят книжек «Русского слова». Какой обжигающей силой мысли, какой бесстрашной гражданственностью, какой неподкупной идейной честностью веет с этих пожелтевших от времени страниц!

И невозможно отделаться от мысли: как несправедлива — до сих пор! — судьба к людям, выпускавшим этот революционный журнал!

Часто ли вы встретите в монографиях, статьях последних десятилетий имена Благосветлова, Шелгунова, Зайцева и даже — Писарева? Воздана ли советской наукой заслуженная честь этой блестящей плеяде наших революционных предшественников? Честь не в смысле почестей, но в смысле объективного, внимательного, беспристрастного исследования их творческого наследия?

Какое-то холодное предубеждение против Благосветлова и его журнала связывает по рукам некоторых исследователей, мешает им со всем вниманием вглядеться в факты, вчитаться в текст, поставить отдельные, кочующие из исследования в исследование цитатки в контекст статей, в контекст всего журнала в целом, в контекст сложного, противоречивого, драматического времени шестидесятых годов XIX столетия.

Мы рассмотрели отношение Писарева и журнала «Русское слово» к самодержавию и крепостничеству, к тем буржуазно-крепостническим реформам, которые предопределили превращение России в буржуазную монархию. Познакомились с отношением журнала к развивающемуся в стране капитализму, с его точкой

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 2044, л. 2.

зрения на социализм. Выявили противоречивость и вместе с тем общность взгляда сотрудников журнала на народную революцию. Узнали о реальных связях сотрудников «Русского слова» с революционным подпольем 60-х годов. Представили себе сложную, но вместе с тем масштабную, волевую, сильную личность Благосветлова, этого «политического бойца в якобинском духе», — таким, каким он был в действительности, а не каким его изображала недоброжелательная легенда. Воссоздали — очень неполно — картину героической борьбы редакции «Русского слова» за печатную трибуну, которую она вела с цензурой и III Отделением.

Да, позиции этого журнала были противоречивы и порой непоследовательны. Да, вокруг журнала группировались люди различной идейной зрелости, и нельзя ставить знак равенства между, к примеру, Писаревым и Соколовым. Да, позиции «Русского слова» во многом отличались от позиций «Современника» Чернышевского и Добролюбова (прежде всего потому, что «Русское слово» принадлежало иному времени — второй половине 60-х годов).

Но дает ли это основание утверждать, что сотрудники «Русского слова» не были крестьянскими демократами? Интересы русского крестьянства — голодного и раздетого люда — отстаивал журнал «Русское слово», несмотря на всю специфику его позиции, отличающую его от «Современника». И в этом смысле журнал «Русское слово» был типичным органом *крестьянской* демократии. В силу того что самой желанной, самой радикальной и даже — в какие-то годы — единственной формой защиты народных интересов публицисты «Русского слова» считали революцию, — это был орган крестьянской революционной демократии.

А так как, выступая непримиримыми противниками самодержавия и крепостничества, сторонниками европеизации России, публицисты «Русского слова» уже ставили вопрос о капитализме, осмысляя свою демократическую борьбу в форме иллюзий утопического социализма, который, несмотря на всю свою специфику, по классовым истокам своим был типично крестьянским социализмом, — журнал «Русское слово» входил в струю не только *русского просветительства, но и русского народничества.*

Этот журнал являлся тем реальным мостиком, который связывал революционную демократию 60-х годов с революционный демократией 70-х годов, старое русское народничество 60-х годов с революционным народничеством 70-х годов. Не случайно ряд его сотрудников – Ткачев, Зайцев, Соколов – непосредственно пополнили ряды народников в эпоху 70-х годов.

Эти выводы могут показаться парадоксальными: так прочно въелась в наше сознание мысль о том, что «Русское слово» противостоит революционному демократизму и уж тем более – народничеству. Упрочению этой мысли способствовал очень пестрый идеологический наряд «Русского слова» – с его пристрастием к воинствующему рационализму, утилитаризму, элементам позитивизма, механической философии. Публицисты «Русского слова» очень смело и порой бездумно, эклектически брали себе на вооружение все, что открывали для себя нового и, с их точки зрения, полезного на Западе. И бесспорно, «Русское слово» во многом отошло от классических форм революционного демократизма, представленных мировоззрением Чернышевского и Добролюбова. А если взять мировоззрение революционных демократов 70-х годов – прежде всего героических деятелей «Земли и воли» и «Народной воли», – то они отошли от классических форм революционного демократизма еще далее. Это понятно и объяснимо. Объяснение тому – в известном марксистском положении о том, что прогрессивность идей мелкобуржуазного и, в частности, крестьянского утопического социализма обратно пропорциональна историческому развитию.

Нельзя не видеть специфики, своеобразия идеологических воззрений публицистов «Русского слова», так же как и тех отличий от форм классического революционного демократизма и народничества, которые «Русскому слову» свойственны.

Но нельзя и затушевывать *сущность* воззрений «Русского слова» – того революционного демократизма и русского крестьянского социализма, которые составляли эту суть.

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ

СТАТЬИ
ПУБЛИКАЦИИ
СООБЩЕНИЯ

ВАРФОЛОМЕЙ ЗАЙЦЕВ

1

Кто такой Варфоломей Зайцев? Среди читателей на этот вопрос ответят, наверное, немногие.

Знатоки литературы и журналистики скажут примерно так: когда-то популярный, а ныне забытый публицист журнала «Русское слово». Этакий «enfant terrible» русской литературы, известный прежде всего своими ошибками — отрицанием искусства, гонениями на Щедрина, уничтожением Пушкина и Шекспира.

В политическом отношении в большинстве работ о Зайцеве он представлялся «социальным реформатором», умеренным «буржуазным радикалом»[1]. «В возможность победоносной социальной революции Зайцев, по-видимому, не верит и все надежды возлагает на то, что те, от кого это зависит,— по-видимому, представители привилегированных классов,— поймут, наконец, положение дела и перестанут противиться реформам»[2],— писал, в частности, о Зайцеве Г. Берлинер. Таким многие представляют его и сейчас. Неясно одно: за что так любила когда-то Варфоломея Зайцева революционная молодежь?

---

[1] Берлинер Г. Варфоломей Зайцев — публицист 60-х годов.— В кн.: Зайцев В. А. Избр. соч., т. I. М., 1934; Сувсун В. Г. В. Зайцев как литературный критик.— Литература и марксизм, 1928, № 1; см. также Кирпотин В. Я. В. А. Зайцев.— Очерки по истории русской критики, под ред. А. В. Луначарского и В. Полонского, т. II. М.— Л., 1931; Шишкина А. Благосветлов, Зайцев, Ткачев...— История русской критики, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1958.

[2] Берлинер Г. Варфоломей Зайцев — публицист 60-х годов.— В кн.: Зайцев В. А., Избр. соч., т. I, с. 19.

Александр Христофоров, член «Земли и воли» шестидесятых годов, а впоследствии — редактор эмигрантского журнала «Общее дело», писал о сотрудничестве Зайцева в «Русском слове»: «Зайцева перо было так сильно в то время, что многие его статьи расхватывались и читались молодежью как некогда статьи Белинского... Он... не только резко выдвинулся вперед среди массы литературных соперников, но скоро стал любимым писателем молодежи и одним из основателей той литературно-реалистической школы, из которой развился со временем так называемый «нигилизм».

Здесь нет преувеличения. «Цвет, ширь, полет и яркость журналу давали Писарев и Зайцев, этот второй замечательный сотрудник «Русского слова»[1]. В этих словах Н. В. Шелгунова достаточно ясно определены роль и значение этого ныне забытого критика в литературе шестидесятых годов.

С апрельской книжки «Русского слова» за 1863 год Зайцев вел сатирический обзор отечественной периодики «Перлы и адаманты русской журналистики», с майской книжки 1863 года чуть ли не в каждом номере — «Библиографический листок», часто выступал с литературно-критическими статьями. Вокруг имени Зайцева кипели непрекращающиеся споры, он находился в центре полемических боев. И не удивительно. «У Зайцева библиография была не сухим и скучным отзывом о книгах,— это была пропаганда и публицистика в форме библиографии, живая, горячая, боевая, писанная кровью сердца и соком нервов... Свежесть, молодость, последовательность, свободное и игривое изложение делали каждую библиографию и политическую статью Зайцева цельной, живой, блестящей вещью, читать которую было истинным наслаждением»[2],— характеризовал Зайцева Н. В. Шелгунов.

Споры вокруг статей Зайцева (а он вел полемику и с «Русским вестником», и с «Отечественными записками», и с «Эпохой» Достоевского, и с «Современником», и с «Искрой», и все это было дерзко, яростно, непримиримо) определялись своеобразием обще-

---

[1] Шестидесятые годы, с. 237.

[2] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 225.

ственных позиций критика, его политическим темпераментом — задорным, прямолинейным, неуступчивым. Что это были за позиции?

Ответ на этот вопрос затруднялся тем, что даже опубликованные работы критика в их полном объеме не были прочитаны до сих пор,— огромный массив публицистики В. Зайцева семидесятых годов в христофоровском «Общем деле» остался вне поля зрения исследователей. Фонды наших архивов, где хранятся не пропущенные цензурой статьи Зайцева, материалы допросов его следственной комиссией 1866 года также лежат втуне. Не существует хоть сколько-нибудь достоверной биографии Зайцева — путаница здесь настолько велика, что даже в учебнике «Истории русской журналистики» (М., 1964) говорится, будто Зайцев начал сотрудничество в «Русском слове» в 1862 году. Ошибка не формальная — год и даже месяц, когда Зайцев пришел в «Русское слово», имеют принципиальное значение.

Первая статья двадцатилетнего студента Московского университета Варфоломея Зайцева, которая была принята редакцией «Русского слова» и планировалась к печати в апрельский номер 1863 года, называлась «Представители немецкого свиста Гейне и Берне». В данном варианте статья так и не увидела света,— она была опубликована в половинном объеме под названием «Гейне и Берне» в сентябрьской книжке «Русского слова» за 1863 год. Верстка статьи хранится в цензурных фондах Центрального государственного исторического архива в Ленинграде с визой: «Запретить, 24 апреля 1863 года»[1].

Статья «Представители немецкого свиста Гейне и Берне», которой начиналась публицистическая деятельность молодого критика, вне всякого сомнения — программная для него статья. Она написана без оглядки на цензуру — смело, размашисто, талантливой, уверенной рукой. Уже название и выбор темы сами по себе выдают пристрастия критика и раскрывают его замысел: на материале творчества Гейне и Берне говорить о русских «свистунах» — революционных демократах.

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, ед. хр. 87, л. 6—10. Статья В. Зайцева опубликована мною в журнале «Филологические науки», 1964, № 2 и перепечатывается в данной книге (см. с. 611—628).

Бесспорен яркий революционный пафос первой зайцевской статьи. «Я порицаю его (Гейне.— *Ф. К.*) за то,— писал здесь В. Зайцев,— что он не хотел помнить, что не поэты и не ученые открывают человечеству новые пути, а *люди с грубыми руками, дымящие кнастером*[1]». Люди же типа Гейне, в представлении Зайцева, не способны к практической деятельности: «их *дело подготовлять переворот, содействовать развитию народа, но... черная работа не для них*».

Так писал этот «социальный реформист», не веривший якобы в народную революцию,— намереваясь по юношеской наивности опубликовать в подцензурном журнале этот откровенный гимн революционным эпохам, когда «в воздухе носятся не яблоки и картофель, а что-нибудь подействительнее».

Исключая время второй революционной ситуации (конкретнее — 1880—1881 годы), в творчестве В. Зайцева не было другой статьи, проникнутой таким же историческим оптимизмом, уверенностью в победе революции, как его «Представители немецкого свиста Гейне и Берне».

Его первая статья помогает до конца понять красноречивое признание публициста, сделанное им уже перед смертью, в статье «Русская революция». Восторженно приветствуя героев-народовольцев, Зайцев писал в этой статье о том, какой ожидали увидеть революцию шестидесятники, мечтавшие о ней «двадцать лет назад»: «В наших мечтах она являлась нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, жакерии, крестьянской войны, или с громом пушек и речей народных ораторов, как в девяносто втором»[2].

Вот какими были мечты этого «социального реформатора», не верившего якобы «в возможность победоносной социальной революции», когда он, двадцатилетним юношей, принес в журнал «Русское слово» свою статью «Представители немецкого свиста Гейне и Берне».

---

[1] Кнастер — дешевый сорт табака.

[2] Общее дело, 1882, № 46.

2

Что мы знаем о публицисте и литературном критике Варфоломее Зайцеве? Практически, кроме его работ, почти ничего. Шестидесятник А. Х. Христофоров, редактировавший в эмиграции журнал «Общее дело», в своей статье в траурном номере журнала, посвященной умершему критику, сообщает, что родился Варфоломей Александрович Зайцев в 1842 году в Костроме. Его отец, человек без всякого состояния, служил мелким чиновником. Отца вечно перемещали по службе — из Костромы в Варшаву, из Варшавы в Рязань, потом в Житомир, и будущий критик лишен был возможности учиться в гимназии. Он получил образование дома. «В нем рано проявились недюжинные способности, и уже в детстве он лучшим другом стал считать книгу, от которой не отрывался всю свою жизнь. Очень рано проснулось в нем пристрастие к истории, которую он полюбил всем пылом молодого ума, которой оставался верен до гробовой доски и знал необыкновенно основательно»[1].

О его способностях говорит хотя бы тот факт, что знал он шесть языков. На шестнадцатом году его познания были достаточны для поступления в университет. Однако в Московский университет принят он не был «за недостатком лет». Лишь благодаря протекции и хлопотам отца способному юноше удалось попасть на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Зайцев учился там с сентября 1858 по июль 1859 года, когда по семейным обстоятельствам переехал в Москву, где стал заниматься на медицинском факультете. Но после того как отец Варфоломея оставил семью, он вынужден был уйти с четвертого курса университета, чтобы в двадцать лет взять на себя заботу о материальном обеспечении близких. Переехав в декабре 1862 года снова в Петербург, он поначалу занимается корректурой и переводами, продолжая в то же время занятия в Медико-хирургической академии.

Таковы факты внешней биографии юноши, начавшего свое сотрудничество в «Русском слове» ярко революционной статьей «Представители немецкого свиста Гейне и Берне». Объяснить характер и дух этой талантливой статьи они не могут. Не объясняют они

[1] Общее дело, 1882, № 47.

и других загадочных деталей в биографии двадцатилетнего московского студента, приехавшего на поиски заработка в Петербург. Ну, например, в одном из своих показаний П. Баллод, владелец «карманной типографии», где должна была печататься писаревская прокламация о Шедо-Ферроти, утверждает, будто Писарев знал Зайцева еще в начале 1862 года. Но мог ли Писарев быть знаком с Зайцевым, если один жил в Петербурге, а другой — в Москве? По-видимому, мог, потому что имеется еще ряд свидетельств о том, что Зайцев и до переезда в Петербург в декабре 1862 года был связан с литературными кругами в столице и бывал в Петербурге. Известно, что между 27 февраля и 3 марта он вместе с В. А. Слепцовым и Лесковым был у Бенни на чтении только что вышедших первых четырех глав «Записок из Мертвого дома» Достоевского. Правда, впоследствии, на допросах в Муравьевской комиссии, Зайцев покажет, что познакомился со Слепцовым «по приезде в Петербург в декабре 1862 года у общей знакомой г-жи Маркеловой»[1]. Однако дату знакомства со Слепцовым Зайцев, по всей вероятности, намеренно или случайно спутал. Имя же Маркеловой, участницы слепцовской «коммуны», близкой к революционным кругам шестидесятых годов, названо им не случайно.

В архиве Пушкинского дома хранится совершенно неожиданное на первый взгляд письмо сестры критика Варвары Зайцевой поэту Я. П. Полонскому, датированное 10 октября 1862 года:

«Давно не получая от Вас писем, любезный Яков Петрович, я сама сажусь писать Вам. Сегодня я получила письмо от Маркеловой и узнала из него, что Шелгуновы спокойно добрались до места. Маша Михаэлис в Петербурге и, по всей вероятности, будет у Вас...

Не виделись ли Вы, Яков Петрович, с Достоевским и не слыхали ли чего о статье моего брата?.. Узнайте, пожалуйста, может ли быть помещена она в ноябре. Если увидите П., то не забудьте спросить о московском студенте, про которого я Вам говорила.

Еще прошу Вас, мой приятель, напомнить Елене Андреевне ее обещание прислать мне свою карточку, и если будете писать мне, то перешлите ее в письме.

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 225, л. 251 об.

Прощайте, жму Вашу руку. В. Зайцева»[1].

Много загадочного в этом письме. Откуда Варвара Зайцева, которой в августе 1862 года исполнилось семнадцать лет, знает Полонского, Маркелову, Машу Михаэлис, сестру жены Шелгунова, ту знаменитую девушку, которая во время гражданской казни Чернышевского бросила ему букет цветов? Почему она столь живо интересуется судьбой Шелгуновых, как раз в это время отправившихся в Сибирь, чтобы навестить, а если возможно, то и организовать побег с каторги их друга Михаила Ларионовича Михайлова? Кто такой П. и московский студент, о котором она говорила Полонскому? Кто такая Елена Андреевна? Какова судьба статьи Варфоломея Зайцева, которая должна была появиться в ноябрьской книжке «Времени» Достоевского и не появилась там?.. На некоторые из этих вопросов пока ответа нет. Кое-что объясняют показания Варвары Зайцевой на следствии по делу «Земли и воли»[2], которое было начато III Отделением в связи с арестом землемера Андрущенко. Зайцева, привлеченная по этому делу, показывала здесь, что приехала в Москву к брату с матерью весной 1862 года, из Москвы же выехала в июле 1863 года в деревню Подол Шлиссельбургского уезда, где гостила у своих знакомых Михаэлис, оттуда в сентябре переехала в Петербург.

Вне всякого сомнения, до весны 1862 года Варвара Зайцева с матерью какой-то срок жила в Петербурге, сдружилась с семьей Шелгуновых и, в частности, с Машей Михаэлис, с Маркеловой и другими представителями передовой петербургской молодежи шестидесятых годов. Отсюда понятны и ее короткие отношения с Полонским, который в это время был очень дружен с М. Л. Михайловым. Когда в 1864 году Я. Полонский давал показания о поведении Варвары Зайцевой в связи с привлечением ее по делу общества «Земля и воля», он сообщил: «Девицу Варвару Зайцеву я знаю года четыре времени. Поведения она хорошего и в предосудительных поступках мною не замечена». Владимир Ковалевский и Виссарион Висковатов

---

[1] Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Архив Я. Полонского, 12091, XIX, б. 9.

[2] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 73, 74. В последующем ссылки на данный источник в примечаниях не оговариваются.

показали в это же время и по тому же поводу, что они знают Варвару Зайцеву «два года времени». То есть Полонский знал Варвару Зайцеву с 1860 года – ей было в ту пору пятнадцать лет, В. Ковалевский и В. Висковатов знакомы с ней с 1862 года. Понятно и кто такая Елена Андреевна, чью карточку Варвара Зайцева просила Полонского переслать. Это Е. А. Штакеншнейдер, старшая дочь петербургского архитектора Штакеншнейдера, в чьем доме в пору шестидесятых годов был известный литературный салон. На вечерах у Штакеншнейдеров бывали многие литераторы столицы, и в частности Я. П. Полонский. Об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер и Л. Ф. Пантелеев. Кстати, он же сообщает, что у Я. П. Полонского бывал студент Петербургского университета М. Покровский, друг Андриана Штакеншнейдера, брата Елены Андреевны. Вместе с Евгением Михаэлисом, братом Маши Михаэлис и Людмилы Шелгуновой, Покровский был одним из руководителей студенческого движения в Петербурге и, как пишет Л. Пантелеев, «в студенческой истории 1861 г. играл чуть не самую выдающуюся роль». Вместе с тем он был очень дружен со Страховым, ближайшим сотрудником Ф. Достоевского по журналу «Время». Можно предположить, что некий П., у которого Полонский должен был спросить нечто интересующее Варвару Зайцеву «о московском студенте», – не кто иной, как вожак петербургского студенчества Михаил Покровский.

Дружба Варвары Зайцевой с семьей Шелгуновых, с Машей Михаэлис и ее братом, участником студенческих волнений шестидесятых годов, с Я. Полонским и другими петербуржцами бросает свет на близкое знакомство Варфоломея Зайцева с семьей Шелгуновых до его переезда в декабре 1862 года в Петербург. Из переписки Шелгунова с женой, опубликованной в книге «Из далекого прошлого», видно, что Шелгунов лично знал и любил «Бубку», как он называет Варфоломея Зайцева, хотя, казалось бы, их личное знакомство совершенно исключено. Варфоломей Зайцев, по его собственным показаниям, приехал из Москвы в Петербург в декабре 1862 года. Н. В. Шелгунов с женой оставили Петербург и уехали к осужденному Михайлову в Сибирь в мае 1862 года. Там Шелгунов был арестован и в апреле 1863 года под охраной привезен

в Петропавловскую крепость. В крепости до 22 июля 1863 года ему не разрешали свиданий даже с женой. Позже свидания были разрешены, но только с родными. 24 ноября 1863 года Шелгунов был выслан в город Тотьму Вологодской губернии. Встреча с Зайцевым в 1863 году была для него невозможна. Значит, он знал не только Варвару, но и Варфоломея Зайцева еще до своего отъезда в Сибирь. Жена его, Людмила Петровна, летом 1863 года возвращалась из Сибири одна, в сопровождении иркутского купца Пестерева. Будучи арестован за сношения с Герценом, Пестерев показал, что летом 1863 года, сразу после того, как он отправил Шелгунову из Москвы в Петербург, к нему приходили с поручениями «две барыни — это были Зайцевы, — дочь с матерью, и отрекомендовались как знакомые Шелгуновой, от которой я слышал про них. Они объяснили, что Шелгунова поручила им взять в моем чемодане чай и что Людмила Петровна теперь в С.-Петербурге, причем просила навестить их в Богородском, где они живут на даче» [1].

Приехав чуть позже в Петербург, Пестерев познакомился через Шелгунову со всей семьей Зайцевых и стал своим человеком в их доме. Для нас важны слова Пестерева о том, что он «слышал» о Зайцевых от Шелгуновой еще ранее, по дороге из Сибири в Москву, — лишнее подтверждение, что Шелгуновы хорошо знали Зайцевых до своей поездки в Сибирь. Это объясняет еще один неожиданный факт в биографии В. Зайцева. Как известно, Л. Шелгунова выпускала многотомное издание «Всемирной истории» Шлоссера, редактируемое Чернышевским. После ареста Чернышевского редактирование этого огромного и сложного труда было поручено никому, казалось бы, не известному студенту Московского университета Варфоломею Зайцеву. По-видимому, и до переезда в столицу в 1862 году Варфоломей Зайцев не был чужим человеком в демократических кругах Петербурга. Шелгуновы, Михайлов, Маша Михаэлис, Маркелова,

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 302, ч. 4. «Об иркутском купеческом сыне Николае Пестереве, слободцком купце Иване Ворожцове и курляндском уроженце Вильгельме Лапре». Частично материалы этого дела опубликованы в статье В. Н. Шульгина «Из истории поздних связей Герцена и Огарева с Россией» (Литературное наследство, т. 63, с. 311—338). В дальнейшем ссылки на этот источник в примечаниях не оговариваются.

В. Слепцов, Писарев, Бенни, В. Ковалевский – вот круг петербургских знакомых Варфоломея и Варвары Зайцевых, который прослеживается по тем немногочисленным данным, которые дошли до нас.

Примечателен и круг московских друзей Варфоломея Зайцева до начала его сотрудничества в «Русском слове». Его нам помогает установить все то же следственное дело о «Земле и воле»[1].

Летом 1863 года был арестован в Чернигове с чемоданом нелегальной литературы член «Земли и воли» шестидесятых годов, бывший студент Московского университета Иван Андрущенко. Оказавшись человеком слабым, он начал выдавать своих товарищей, и по его вине к ответственности было привлечено около двух десятков революционно настроенных молодых людей, в их числе и Варвара Зайцева. Она обвинялась в причастности к «Земле и воле» и в организации побега из тюрьмы брата эмигранта Василия Кельсиева, студента Московского университета. Побег Кельсиева был организован обществом «Земля и воля». Андрущенко показал, что именно Варвара Зайцева на своей квартире в Богородском дала приют бежавшему летом 1863 года из тюрьмы И. Кельсиеву, пока до отъезда за границу он находился в Москве. После побега Кельсиева из Пречистенской тюрьмы Андрущенко имел разговор со студентом Сулиным о том, как лучше скрывать Кельсиева до отъезда его из Москвы. Сулин сказал Андрущенко, что поедет в Сокольники к Зайцевой просить ее об этом и надеется, что она не откажет и Кельсиев будет там в совершенной безопасности. Действительно, после этого Сулин был в Сокольниках и договорился с Зайцевой.

На вопрос, кого из Зайцевых – мать или дочь – он имел в виду, Андрущенко отвечал вполне определенно: «Из слов Кельсиева мне известно, что он до побега был знаком только с девицей Варварой Зайцевой, а потому в своих показаниях и подразумевал ее, Варвару Зайцеву, которая жила у матери своей, коллежской советницы Марии Зайцевой».

Сулин, отвергая показания Андрущенко, будто по его просьбе Кельсиев укрывался у Зайцевой, объяснил сначала, что «он, Сулин, с Зайцевой был знаком и что,

[1] ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 9, л. 2–3.

сколько известно Сулину, Зайцева тоже была знакома с Кельсиевым и посещала его, когда он содержался под арестом», а потом — что «он не может положительно утверждать о том, будто Зайцева бывала у Кельсиева, а о том, что она была знакома с Кельсиевым, Сулин слышал от кого-то из своих знакомых, но от кого именно, он не помнит и, верно ли это, не знает».

Что же показала на следствии Варвара Зайцева? «У нас в Сокольниках Кельсиев не проживал, и Сулин не уговаривал меня принять к себе Кельсиева. Сулина я знаю давно, и отношения мои к нему как к хорошему знакомому нашего дома. Сулин никого в наш дом не водил, кроме Ященко и Гольц-Миллера. В свой же дом мы неизвестных личностей не принимали».

Мать ее, Мария Зайцева, подтвердила: «Кельсиев у нас не был на даче, мы ничего о его бегстве и укрывательстве не знали. Сулин же у нас бывал, сколько припомню, раза два или три. Бывал у нас и Гольц-Миллер и даже раз ночевал на даче».

Варвара Зайцева перечислила круг своих знакомых в Москве, указав, что «виделась с своей двоюродной сестрой Запольской, с Болховитиновыми, с Андреевой, с Сулиным, с Зыбиным, с Гусевым, с Васильевым, с Садовским, с Бессоновым, с Малаксиановым». Поскольку при обыске квартиры Зайцевых нашли письма Ященко из Бугульмы, где он отбывал ссылку, В. Зайцева особо пояснила обстоятельства своего знакомства с ним: «С Ященко я познакомилась через нашего знакомого Якова Андреевича Сулина». Не скрыла, что во время заключения их в Пречистенской части «бывала у Сулина, который вместе с Ященко был несколько раз у нас».

При обыске у Зайцевых полицией были обнаружены фотографии Герцена и Огарева, Обручева, Южакова и Корсини, гражданской жены Утина. Следователей, естественно, заинтересовали портреты Герцена и Огарева и особенно Обручева, из чего можно заключить, что это была фотография В. А. Обручева, осужденного на каторгу по делу «Великорусса». В ответ на прямой вопрос о происхождении фотографии Обручева В. Зайцева ответила: «Обручева я не знала, не знаю также, как его зовут. Карточку Герцена и Огарева я купила в какой-то московской фотографии вместе с карточками разных литераторов. Карточка

Обручева не принадлежит мне, я его вовсе не знаю. Карточку Южакова я получила от самого Южакова, он студент С.-Петербургского университета, окончивший курс юридического факультета. Карточку Герцена и Огарева я имела для того же, для чего и всех прочих литераторов».

Следствию не удалось установить, что Варвара Зайцева скрывала на своей даче после побега Ивана Кельсиева, как то показывал Андрущенко. Однако материалы допросов Варвары Зайцевой и ее матери Марии Зайцевой воссоздают картину взаимоотношений семьи Зайцевых с передовой студенческой молодежью Москвы. Вот он, круг близких знакомых семьи Зайцевых: Сулин, Гольц-Миллер, Ященко (его вместе с Сулиным Варвара Зайцева посещала в тюрьме, где они отбывали наказание по делу «Первой русской вольной типографии») и, наконец, И. Кельсиев, — здесь надо верить, конечно же, первоначальному показанию Сулина, утверждавшего, что «Зайцева была знакома с Кельсиевым и посещала его, когда он содержался под арестом». Это был круг близких друзей. Не случайно в бумагах Варвары Зайцевой, обнаруженных при обыске, были следующие адреса: «На Дон, в Каменную станицу, его в. п. Я. А. Сулину для передачи», «В Минск Литовский, И. И. Г. М.» (И. И. Гольц-Миллеру). В мае 1863 года Сулин и Гольц-Миллер были выпущены из тюрьмы, где они содержались по делу «Первой русской вольной типографии», и были отпущены на «каникулы» по домам — там-то их и арестовали вторично по делу Андрущенко. Их адреса и хранились в самодельной, на восьмушку листа, сшитой ниточкой записной книжке Варвары Зайцевой. И еще один адрес: «У Арбатских ворот, дом Волкова, номера Третьяковой».

Дом этот без конца фигурирует в деле: здесь проживали до отъезда в Чернигов Андрущенко, Сулин и ряд лиц, привлекавшихся по этому делу: Семен Тоон, Иван Полосатов, Александра Васильева. Но чьи же это друзья? Только ли Варвары Зайцевой? По-видимому, нет. По показаниям видно, что во время следствия по понятным причинам Варвара Зайцева избегает называть имя своего брата. И хотя совершенно очевидно, что фотография Обручева, обнаруженная во время обыска в квартире Зайцевых, принадлежит брату, Варвара Зайцева ограничивается заявлением, что

эта карточка «не принадлежит ей». Вместе с тем заслуживает самого пристального внимания тот факт, что в своих показаниях о Сулине, Гольц-Миллере, Ященко — все они студенты Московского университета — Варвара Зайцева нигде не называет их своими личными знакомыми, но «хорошими знакомыми нашего дома». Совершенно очевидно, что эти «хорошие знакомые дома» Зайцевых не могли не быть друзьями и однокашниками студента Московского университета Варфоломея Зайцева. Тем более что Варвара Зайцева и знала-то их несколько недель — она приехала с матерью к брату в Москву лишь весной 1862 года, а 13 июня 1862 года Сулин и Ященко были арестованы и до весны 1863 года находились в заключении.

Надо сказать, что отношения Варфоломея Зайцева со своей сестрой и матерью были исключительно близкие и доверительные. Их сближало еще и то обстоятельство, что отец был чужим и враждебным семье человеком. Когда Варвара стала совершеннолетней, «почтенный родитель,— по словам Пестерева,— вдруг не стал выдавать Варе паспорт и... как истый крепостник, обещал выдать билет, но только такого содержания, что дочь моя жить у матери не может, ибо она дурно следит за ее поведением и дает такое направление, что девочка даже замешана в политическое дело». Для того чтобы освободить Варвару от крепостника-родителя, Зайцевым пришлось оформить ее фиктивный брак с князем Голицыным.

Варфоломей Зайцев не только содержал семью, но сам и воспитывал свою сестру в духе собственных принципов и убеждений.

В бумагах В. Зайцева в ЦГАОРе хранится статья Варвары Зайцевой, написанная до отъезда за границу,— свидетельство того, насколько глубоко усвоила она передовые идеи времени. Статья называется: «Наши женщины на поприще деятельности». В ней, в частности, говорится: «Героиня прекрасного романа Чернышевского «Что делать?» показана нам во всех своих проявлениях и представлена хорошей, полезной, мыслящей женщиной; но нельзя сказать, чтобы она была написана достаточно рельефно, видно, что эта личность придуманная, но так как целью этого романа было указать между прочим и женщинам, что им делать, то поневоле пришлось придумывать подобный тип женщины; потому ли так бедна беллетристика хо-

рошими женскими типами, что нет их в обществе нашем? Не сами ли мы, женщины, виноваты в этой слабой стороне ее?.. На нас еще слишком много старой грязи, мы вырастаем на слишком нездоровой почве Глупова, и привычка слишком еще связывает нас с обычаями родного города. Но нельзя не радоваться тому, что мы почувствовали всю срамоту, всю безнравственность своего холопского положения, в наших головах проснулось какое-то смутное чувство недовольства им» [1].

Очевидно, и мать Зайцевых Мария Федоровна разделяла в какой-то мере взгляды своих детей. Не случайно не только за сестрой, но и за матерью Зайцева в 1861 году «по поводу заявления ею учения своего о нигилизме» был установлен негласный надзор полиции. Вот почему друзья Варфоломея, московские студенты Сулин, Гольц-Миллер, Ященко, И. Кельсиев стали близкими знакомыми семьи Зайцевых.

Настолько близкими, что семнадцатилетняя Варвара Зайцева считала своим долгом навещать арестованных друзей брата, хотя это было отнюдь не безопасно, а когда Сулину потребовалась верная явка для бежавшего из тюрьмы Ивана Кельсиева, он, не раздумывая, обратился к сестре и матери Зайцевым, пока еще проживавшим в Москве. Сама уверенность Сулина в том, что Зайцевы примут беглеца и что он там «будет в совершенной безопасности», говорит о многом. Не удивительно, что, отбыв наказание по «делу Андрущенко», Сулин, по свидетельству Пестерева, был завсегдатаем в семье Зайцевых.

Яков Сулин, Иван Гольц-Миллер, Леонид Ященко были активными участниками революционного движения московской молодежи шестидесятых годов. Яков Сулин был одним из организаторов первой русской вольной типографии, отпечатавшей книгу Н. П. Огарева с разбором клеветнической истории восстания декабристов барона Корфа, потом он принимал участие в неудачной попытке отпечатать прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам...». Иван Гольц-Миллер, живший с ним на одной квартире, и Леонид Ященко распространяли литографированные кружком Зайчневского – Аргиропуло и «Библиотекой казанских студентов» нелегальные издания. Среди литографиро-

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 147, л. 6–7.

ванных изданий было много переводов — «Сила и материя» Бюхнера, «О христианстве» Лорана, «Лекция о сущности религии» Фейербаха и другие. Не исключено, что связи Зайцева с друзьями Сулина и возникли на почве переводов для нелегальных изданий.

О настроениях Сулина и Гольц-Миллера можно судить по донесению смотрителя Московского смирительного дома, где они отбывали наказание: «По их словам, самый лучший в мире образ правления был бы народный, избирательный, в этом смысле им не нравятся в обществе сословия дворян и купцов,— первые как монополисты власти, вторые — как монополисты имущества...» [1].

По выходе из заключения Сулин и его друзья решили упрочить связи с революционным кружком «Библиотека казанских студентов». Яков Сулин пригласил членов этого кружка к себе домой и устроил им форменный экзамен. Руководитель кружка Юрий Мосолов прочитал на этом собрании программу московского отделения «Земли и воли» [2].

Вот что представлял собой близкий друг Зайцевых, студент Московского университета Яков Сулин.

Впоследствии, в 1867 году, когда Сулин был уже в ссылке, его гражданская жена М. Д. Сошальская, отправившаяся за ним в Сибирь, на допросах не скрывала принадлежности Сулина к «Земле и воле». Она показывала, что Сулин переписывается с Тооном и Новиковым. «Личность эта,— говорила она о Новикове,— прикосновенна была к делу общества «Земля и воля»... Отношения Тоона к Сулину основаны на том, что он также принадлежал к обществу «Земля и воля» [3]. Студент Ященко, с которым Варвара Зайцева познакомилась через Сулина и которого посещала в тюрьме, также был арестован за печатание и распространение нелегальных сочинений. При обыске у него было найдено много литографированных изданий и переписка, из которой видно, что Ященко распространял эти издания.

В ЦГАОРе хранится дневник студента Московско-

---

[1] Историко-революционный бюллетень, 1922, № 1.

[2] Материалы для истории революционного движения в России в 60-х годах. Второе приложение к сборникам «Государственные преступления в России», издающимся под редакцией Е. Базилевского (В. Богучарского). Париж, 1905, с. 141—142.

[3] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 204, ч. 5, л. 13.

го университета Торчилло, в котором 4 декабря 1862 года сделана такая запись: «Вчера вечером часу в седьмом приехала к нам Л. Ф. и убедительно просила меня передать завтра Аргиропулову записку от Ященко и Сулина. «Да, пожалуйста, пораньше и поосторожнее, не попадитесь только. Если эту записку у вас перехватят, вы погубите этим 8 человек», — говорила она в страшных попыхах... Вечером я составил план, как действовать. Во-первых, все антиправительственное и антирелигиозное я собрал, связал и положил отдать эту связку Н., чтобы она спрятала ее в дровяник. Это надо было сделать на случай обыска (так как Аргиропулов и Новиков приговорены к заключению в крепости и за ними следит полиция; они под арестом); во-вторых, я составил программу, что отвечать, если меня схватят... Записку случилось отдать благополучно» [1].

Можно предположить, что Сулин и Ященко были тесно связаны с кружком Зайчневского — Аргиропуло, из среды которого вышла знаменитая прокламация «Молодая Россия», смертельно напугавшая общество неистовостью революционного духа.

Имеются сведения, что Сулин принимал участие в составлении прокламации «Молодая Россия». На это указывала в своем доносе некая Александровская, которая вращалась в кругах революционной молодежи тех лет. Существует еще одно свидетельство, подтверждающее серьезную роль Сулина в кружке «Молодой России». В заметке «К материалам о Чернышевском» [2] Л. Пантелеев прямо указывал, что Якову Сулину было поручено кружком отвезти Чернышевскому «Молодую Россию». А в воспоминаниях о «Земле и воле» Пантелеев приводит свой разговор с Зайчневским об этой поездке. «Наш посланный... теперь уже в Петербурге, — говорил ему Зайчневский, — он должен прямо явиться к Чернышевскому; конечно, повидает кого-нибудь из ваших (речь идет о петербургском отделении общества «Земля и воля». — *Ф. К.*), имеет адрес Утина». Далее Пантелеев сообщает: «Вернулся С. ... посланный кружком Зайчневского... он, очевидно, был смущен приемом, который встретил в Петербурге», а в специальном примечании уточняет:

---

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 10.
[2] Речь, 1914, 1 февраля.

«Чернышевский отказался принять доставленные ему для распространения экземпляры и вообще сухо принял посланного С. ...». В воспоминаниях, в отличие от заметки «К материалам о Чернышевском», фамилия посланца зашифрована инициалом[1]. Комментатор и редактор текста воспоминаний С. А. Рейсер вслед за Б. П. Козьминым отказывается верить самому же Л. Пантелееву в том, что за инициалом С. скрывается Сулин, поскольку Сулин будто бы был арестован одновременно с Зайчневским в 1861 году, и выдвигает версию, подсказанную ему Б. П. Козьминым, будто «этим лицом был М. А. Саблин»[2]. Однако, как явствует из следственного дела Сулина, арестованный по делу «Первой русской вольной типографии», он на время следствия был освобожден из-под ареста и до середины июня 1862 года находился на свободе[3] и вполне мог поехать в Петербург к Чернышевскому в качестве делегата от «Молодой России».

Что касается Гольц-Миллера, то о его непосредственном участии в составлении прокламации «Молодая Россия» свидетельствовал сам Зайчневский. «Молодую Россию» писал я и мои товарищи по заключению», — вспоминал он впоследствии, конкретно назвав при этом одну фамилию — «поэт Гольц-Миллер». Лемке сообщал со слов С. Н. Южакова: «Покойный И. И. Гольц-Миллер, один из членов «Центрального революционного комитета» (так называл себя кружок Зайчневского. — *Ф. К.*), рассказывал своему приятелю С. Н. Южакову, что Чернышевский прислал к ним в Москву видного революционного деятеля той эпохи и одного из основателей общества «Земля и воля», ныне покойного А. А. Слепцова, уговорить Комитет сгладить как-нибудь крайне неблагоприятное впечатление, произведенное «Молодой Россией»[4].

Во всех этих свидетельствах для нас важно то, какую серьезную роль в подпольном революционном движении шестидесятых годов играли друзья семьи Зайцевых — студенты Московского университета Сулин и Гольц-Миллер.

---

[1] Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 300—301.
[2] Там же, с. 751.
[3] ЦГАОР, ф. 109, оп. 5, ед. хр. 230, ч. 4, л. 200.
[4] Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х гг. Изд. 2-е. М. — П., 1923, с. 527.

В нашем распоряжении пока нет документальных данных о практическом участии Варфоломея Зайцева в подпольном революционном движении. Но это не значит, что участие Зайцева в подпольных кружках шестидесятых годов исключено. Тщательная конспирация была условием жизни и работы революционеров. Она и для нас скрыла очень многое. Далеко не все ясно в обстоятельствах жизни Варфоломея Зайцева, в его отношениях с революционным подпольем шестидесятых годов. Однако можно считать установленным одно: гражданское формирование молодого критика в его студенческие годы проходило в среде революционной молодежи, под воздействием передовых демократических идей. И как знать, быть может, корни якобинства Зайцева, которое с такой резкостью выявится позже, именно в настроениях кружка «Молодой России», объединявшего Зайчневского, Аргиропуло, Сулина, Гольц-Миллера и других представителей революционного московского студенчества шестидесятых годов.

3

Дух статьи Зайцева «Представители немецкого свиста Гейне и Берне», которой он начал сотрудничать в «Русском слове», вполне выражал настроения той среды московского студенчества, к которой будущий критик принадлежал.

Но сохранил ли Варфоломей Зайцев эту яркую революционную настроенность в последующие годы? Ведь могло быть и так, что его сочувствие революции, свойственное многим в пору общественного подъема, испарилось в годы реакции и спада революционной волны. Реальные факты, иными словами — статьи и рецензии Зайцева в «Русском слове» 1863—1866 годов, убеждают, что этого не произошло. На всем протяжении сотрудничества в «Русском слове» Зайцев последовательно и целеустремленно отстаивает революционное направление идей.

Одной из первых акций молодого критика была рецензия на собрание сочинений Генриха Гейне в переводах Вс. Костомарова, являвшая собой образец блистательного политического памфлета. Памфлет этот был направлен против Всеволода Костомарова,

по чьей вине ушли на каторгу Михайлов и Чернышевский. Как писал А. Христофоров, критик искусно использовал здесь формы эзопова языка, «чтобы с настойчивостью и силой Белинского публично бичевать это предательство в виду озадаченной цензуры и торжествующего общества».

Прием этот не был новым: в 1862 году, в майской книжке «Русского слова», Писарев в рецензии на книгу Вс. Костомарова и Н. Берга «Поэты всех времен и народов» писал: «Г. Костомаров... не без соболезнования *доносит* читателю, что раб божий Гейне умер нераскаянным грешником» [1].

В ту пору было известно о предательском поведении Костомарова в деле «Первой русской вольной типографии» и в деле Михайлова. В начале 1863 года Костомаров помог III Отделению сфабриковать дело на Чернышевского. Вот почему редакция «Русского слова» решает вновь вернуться к личности Костомарова.

Варфоломей Зайцев имел к тому еще и личные основания: ведь Костомаров предал также Сулина и Гольц-Миллера – его друзей.

Любопытно, каким путем в демократических кругах стало известно о низкой роли Костомарова в деле Чернышевского. В апреле 1863 года Некрасов получил письмо от группы московских студентов, находившихся в заключении. Они писали, что находятся «арестованными в смирительном доме с конца февраля» и что недели две тому назад к ним в камеру был посажен якобы «за политическое преступление» мещанин Петр Яковлев, который «обратился к ним за советом». Совет этот, писали Некрасову студенты, заключался в следующем. Оказывается, Петр Яковлев направлялся по важному делу в Петербург, к начальнику III Отделения, но по дороге загулял и попал пьяным в тюрьму. А к начальнику III Отделения Яковлев направлялся по письму Всеволода Костомарова, который подговорил его дать показания в III Отделении о том, будто он слышал, «как Николай Гаврилович Чернышевский летом 61-го года в разговоре с Костомаровым сказал следующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон,– вы ждали воли – вот вам и воля, благодарите царя». «Я не знаю,– го-

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х томах, т. 1, с. 355.

ворил Яковлев,— что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтобы я дал такое показание, но скажите мне, господа: если я действительно дам такое показание, может ли сделать для меня что-нибудь Потапов, может ли он, например, велеть освободить из рабочего дома?»

Студенты ответили провокатору, что за ложное показание в III Отделении его скорей подвергнут наказанию, и посоветовали рассказать правду. А Некрасову написали с тревогой о том, что «Костомаров и его семейство хотят с помощью Яковлева подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда. Все это заставляет нас обратиться к Вам, милостивый государь, как к человеку, вероятно, близкому г. Чернышевскому (по редакции «Современника»), уполномочивая Вас, в случае действительности наших подозрений, представить это письмо куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда.

Все это мы готовы в случае надобности подтвердить перед судом присягою. Иван Гольц-Миллер, Петр Петровский-Ильенко, Александр Новиков, Яков Сулин, Леонид Ященко. Москва, 13 апреля 1863 года» [1].

Некрасов немедленно передал это письмо Потапову. Результаты были неожиданные: пьянчужка Яковлев был выслан в Архангельскую губернию, но... показания его оставлены в полной силе.

Обо всей этой истории, конечно, знал Зайцев, хотя бы потому, что его сестра Варвара навещала Сулина, Ященко и Гольц-Миллера во время заключения их в тюрьме.

Его статья, посвященная предательству Костомарова, наполнена гневом и презрением. Разоблачительный пафос ее почти не замаскирован. Нужны были немалая гражданская смелость и большое полемическое искусство, чтобы на глазах «озадаченной» цензуры с такой очевидностью и беспощадностью разоблачить секретного агента III Отделения. Как это удалось Зайцеву?

Формально критик высмеивает лишь качество переводов Костомарова. По утверждению Зайцева, уже тот факт, что стихи Гейне, который «беспощадно

[1] Процесс Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1939, с. 202—203.

осмеивал немецких филистеров и доносчиков» (см. статью «О доносчике»[1] в издании г. Берга), взялся переводить Костомаров, оскорбителен для памяти поэта. «Даже сам г. Костомаров мог бы избрать другое оружие если не против самого Гейне – он, к счастью, не жил в Петербурге, да и притом давно умер, – то против его почитателей... Менцель, Менцель, зачем ты жил в Германии!»[2]

Именно статью Гейне «О доносчике», то есть о Менцеле, критик и ставит далее в центр своего разбора. Он приводит следующие сроки статьи Гейне «О доносчике»: «Известно, как и каким образом это произошло, да и сам доносчик, этот литературный сыщик, уже давно подвергся презрению общества... Никогда еще немецкое юношество не наказывало такими острыми бичами и не клеймило такими раскаленными насмешками более жалкого грешника» (156).

«Презрением и негодованием должно встретить общество эту отвратительную книгу...» – завершает Зайцев свою статью. Проницательному читателю шестидесятых годов было ясно, что критик призывает обрушить презрение и негодование на гнусного провокатора. Чтобы в этом не было никаких сомнений, он кладет последний штрих: «Но я боюсь, что г. Вс. Костомаров вздумает остаться недовольным моим отзывом об издании г. Берга; я знаю, что если он вздумает опровергать меня, то мне не устоять, ибо его перо в этих случаях весьма красноречиво. В таком случае прошу г. Берга передать г. Вс. Костомарову, что мне даже очень и очень нравится его перевод, особенно вставленная им самим строфа: «О, tempora! О, mores!» (159).

Этот блестящий политический памфлет молодого критика выражал самую суть его гражданской позиции. Критик «Русского слова» защищал от произвола самодержавия дорогое ему имя Чернышевского, то направление идей, к которому он сам всем сердцем принадлежал. В ряде статей 1863–1866 годов – «Гейне и Берне», «Белинский и Добролюбов», «Стихотворения Н. Некрасова» – молодой критик открыто де-

---

[1] «О доносчике» – памфлет против Менцеля, которого Гейне разоблачал как доносчика.

[2] Зайцев В. А. Избр. соч. в 2-х томах, т. 1. М., 1934, с. 155. (Все последующие сноски на это издание даются в тексте.)

кларирует свою причастность к лагерю «свистунов» «нигилистов», «мальчишек», к лагерю революционных демократов шестидесятых годов. В статье «Белинский и Добролюбов» он говорит, как высоко «новое поколение» чтит Белинского – «основателя того направления, которого был представителем Добролюбов» (162).

Зайцев, как и Писарев, далеко не во всем согласен с Белинским и Добролюбовым. Но революционно-демократическая основа деятельности Добролюбова ему близка. Добролюбов в представлении Зайцева «был самым полным и чистым представителем любви к народу. Любовь к народу и сочувствие к нему были у него не пустым звуком, как у поклонников принципа, и не мистическим отвлечением, как у платонических любовников народа, а живым и деятельным чувством» (260).

Живое и деятельное чувство подлинной, а не мистической любви к народу одушевляло, в представлении В. Зайцева, и поэзию Некрасова. В основе ее, пишет критик, «лежит высокая гуманность и любовь к своей родине». Некрасов, по определению В. Зайцева, поэт народный. «Народным поэтом я назвал бы г. Некрасова потому, что герой его песней один – русский крестьянин. Но он говорит о нем, конечно, как человек развитой, как говорил Добролюбов; он не «поет» его, а думает о нем, о его бедах и горе...» (260).

Самое важное значение поэзии Некрасова, по мысли В. Зайцева, в том, что она выражает народный протест и «протест этот так же силен, как велико горе, представленное поэтом» (264).

Добролюбова и Некрасова, Чернышевского и Писарева считал Зайцев своими духовными учителями.

Защищал ли Зайцев имя Чернышевского, память Добролюбова, разоблачал ли «антинигилистический» роман или обрушивался на русских либералов, он делал это движимый одной страстью. Такой страстью была для Зайцева крестьянская революция.

Полемика, которую он вел на страницах «Русского слова» со всем «журнальным стадом», верно охранявшим общественный правопорядок, была чрезвычайно резкой. Особенно непримиримым был он в полемике с Катковым, редактором «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Катков возглавлял сплоченную, великолепно организованную и очень влия-

тельную группу самых реакционных литераторов. Борьба с ним затруднялась тем, что беззастенчивая демагогия и спекуляция на охранительных идеях, наконец, личные связи при дворе всегда обеспечивали ему поддержку верхов. «Московские ведомости» не могут иначе говорить: переменить тон — значит отказаться от своего завидного места, от возможности стоять на завидной для других газет высоте и поражать оттуда противника криком» (244).

Ради сохранения этого «завидного места» Катков и его журнал сделали поиски и обличение «крамолы» главным содержанием своей деятельности: ведь если не будет очагов пожара, то отпадает и надобность в «гасителях»! «Таким образом, — делает вывод Зайцев, — положение, ныне занимаемое г. Катковым, столь выгодно даже в чисто журнальном отношении, что стоит похлопотать о продолжении его» (245). Оно не просто выгодно — оно для него необходимо: «Для г. Каткова дело идет не только об удержании выгодной позиции, но вообще о том — «быть или не быть» — конечно, как публицисту» (245). Поэтому-то Катков и ведет непрекращающуюся войну с «крамолой», — войну с засадами, хитростями, бдительностью и чуткостью» (245). Он стремится постоянно держать литературу «на военном положении и неустанно пугать публику слухами о каких-то тайных интригах и происках» (257).

Катков для Зайцева политический враг, воплощение деспотизма и крепостничества. Какие же пути борьбы с самодержавием и крепостничеством выдвигает Варфоломей Зайцев в 1863—1865 годах?

Привычен взгляд на Зайцева как на мирного просветителя, считавшего единственным двигателем прогресса распространение естественных наук. Зайцев и в самом деле много писал о естествознании.

Но в его статьях, опубликованных в «Русском слове», только однажды встретится утверждение, допускающее возможность просветительского преобразования общества: «...счастье будет для нашей блистательной цивилизации, если зло разрешится путем науки, если те, которым выгоден этот порядок, сумеют добровольно и всецело отказаться от этих выгод... И недалеко, быть может, падение этой второй цивилизации, если она не будет вовремя спасена наукой» (1863, 5, II, 74).

В самой интонации этого утверждения слышится сомнение Зайцева в подобном исходе и уверенность в том, что если буржуа под воздействием науки не откажутся от своих выгод, то буржуазная цивилизация будет сметена революционным путем. Это не значит, что рационалист и просветитель Зайцев игнорирует роль науки, знания в освободительной борьбе. Например, как и Писарев, как Благосветлов, он готов молиться своему кумиру – науке, знаниям, разуму, который в представлении Зайцева всегда был двигателем истории. Однако роль, которую В. Зайцев отводит знанию, вполне определенна: «Излечить... общество может только оно само с помощью знания, потому что болезнь его проистекает от невежества. Если жестокий плантатор морит с голоду рабов, то единственный врач, который спасет их от голодной смерти, будет тот, который научит их снять свои оковы, дабы они могли разбить двери темницы и задушить жестокого господина» (1863, 11–12, II, 28).

Достаточно четко и красноречиво!

На всем протяжении сотрудничества в «Русском слове» Зайцев неустанно и последовательно проводит мысль о благодетельности народной революции. Вот почему он то и дело обращается к эпохам революционных переворотов: французской революции XVIII века, итальянским и нидерландским движениям, Реформации и Крестьянской войне в Германии.

Обращение к революционным эпохам для Зайцева не случайно. «Всякому должно быть понятно, как важен может быть разбор политических учреждений, переворотов и всех прочих явлений общественной жизни, если разбор этот сделан не с точки зрения той, быть может, давно прошедшей эпохи, а с современной» (327), – писал он в марте 1865 года в рецензии на «Историю нидерландской революции» Д.-П. Мотлея, изданную, кстати сказать, Сулиным и переведенную самим же Зайцевым. Смысл подобного разбора в том, чтобы «известным образом настраивать образ мыслей своих слушателей» (327) – «отрицать это – значит отрицать влияние на людей геройских примеров и вдохновляющих идеалов, значит отрицать в людях способность увлекаться высокими образцами и возвышенными идеями» (403). Можно ли яснее выразить мотивы, по которым В. Зайцев, Н. Шелгунов, Д. Писарев, Г. Благосветлов и другие публицисты «Русского сло-

ва» из номера в номер обращались к истории революционных переворотов минувшей эпохи?

И когда в статье об «Общей истории Италии» («Русское слово», 1863, № 7) В. Зайцев высмеивал «нелепые надежды» деятелей итальянского освободительного движения сороковых годов на добровольные уступки народу со стороны власти, внимательные читатели понимали, что речь идет здесь не только об Италии, но и о России шестидесятых годов. Зайцев предостерегает от «легкомысленной доверчивости» в отношении самодержавных правителей, которые лишь под угрозой обстоятельств «делали робкие движения, по-видимому, обещавшие реформы» (98). История показывает, говорит Зайцев, что, проводя под угрозой революции робкие реформы, правители «всегда держали камень за пазухой, чтобы поразить того, кто слишком увлечется розовыми надеждами», и «думали о том, как бы сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, как бы в одно время и народ успокоить и все по-старому оставить» (98).

Такова выраженная в эзоповой манере совершенно прозрачная оценка Зайцевым той «тактики запугивания и развращения» (Ленин), которую проводило правительство Александра II. Это над реформами шестидесятых годов, над русским либерализмом издевается Зайцев, когда говорит здесь о партии, «которая, по-видимому, только о том и помышляла, чтобы приобрести либерального короля, и заподозривала в либерализме каждого правителя, не имевшего привычки расстреливать десяток человек ежедневно».

К какой бы исторической эпохе ни обращался Зайцев, симпатии его неизменно на стороне тех, кто хотел «решительного и коренного преобразования общества, преобразования, которое разом доставило бы нации все необходимые условия благосостояния» (420—421). Он высмеивает «розовые иллюзии» отечественных и иностранных либералов и выше всех революционных движений ставит Великую французскую революцию, движение английских пуритан с Кромвелем во главе, а прежде всего Томаса Мюнцера и Крестьянскую войну 1525 года.

«Когда в XVI веке истина распространилась в больших массах и началось движение в пользу свободы, продолжающееся доселе, когда за истину, столько веков угнетенную и непризнанную, встали мо-

гучие материальные силы, тогда, в первый и до недавнего времени в последний раз, возникло истинное понятие свободы и выразилось в движении германского народа 1525 года, открывшем собою ряд реформаторских движений нового времени».

В полном соответствии с просветительной идеологией демократов-шестидесятников Зайцев видит главную движущую силу истории в истине, в науке, в гуманности, образованности и справедливости. Однако вековой опыт истории показывает, что без помощи материальной силы нравственные начала не могут восторжествовать. «Истине мало быть истиной, чтобы восторжествовать; ей еще, кроме того, нужно распространиться, то есть приобрести такое число адептов, которое превысило бы число противников, обеспечило бы ей перевес материальных сил и доставило бы ей победу путем физической борьбы, которой не может миновать ни одна истина, как бы нравственна она ни была» (414). Такова концепция истории просветителя и революционного демократа Варфоломея Зайцева. Так примиряли шестидесятники революционность и просветительский рационализм.

Вместе с тем Зайцев критически относится к буржуазным революциям прошлого: он понимает, что эти революции не принесли народам желанного освобождения и лишь одну форму эксплуатации заменили другой. Цели Великой французской революции он считает «непрочными», — эта революция, как, впрочем, и все другие, не привела к «коренной реформе общественного быта», не принесла экономической свободы народу.

Об ограниченности идеалов и целей буржуазных революций Зайцев подробно говорит в статье об «Истории Крестьянской войны в Германии» В. Циммермана. Здесь отчетливо проявилась особенность мировоззрения Зайцева, общая идеология шестидесятников: идея революции в творчестве Зайцева была неразрывно слита с идеями утопического социализма. Причину того, что все революции в истории человечества терпели поражение, социалист-утопист Зайцев видит в их узкополитическом характере. Первым условием личной свободы человека Зайцев считал экономическую свободу, «такое экономическое положение, где он не был бы рабом голода, нужды и труда... Без этой свободы нет никакой, потому что — что сделает с свобо-

дой совести голодный? На что политические права вечному труженику, не знающему отдыха? Какое дело рабу до независимости его отечества?» (416–417).

Ошибкой всех прежних революций, кроме движения Томаса Мюнцера, который боролся за свободу для трудового народа, свободу «истинную, полную и цельную», было то, что они не были направлены против экономического угнетения. «Все они имели целью достижение свободы для немногих, следовательно, цель ложную и химерическую. Цель эта нигде не была достигнута...» (424). Экономическое неравенство и рабство, осужденные в теории, в жизни продолжали торжествовать. Старый порядок, «мир домюнцеровский, дореформационный, отрекающийся от себя на бумаге, но удерживавшийся на деле», смеялся над бесплодными попытками уничтожить его господство и выходил с новыми силами из каждой битвы, более крепкий после всякого поражения, вечно живой, неуязвимый».

Значит, революционный путь не в силах изменить мир?

Ничуть не бывало!

«...Если стремление это терпело столько раз неудачи, то не потому, что было неосуществимо, а потому, что шло по ложному пути, начинало с конца, видело сущность в последствиях». Однако «последние явления истории... свидетельствуют, что наконец человечество вступило на истинный путь. Эти явления, указывающие, что вопрос об экономических условиях свободы уже поднят, что понято значение экономической свободы, а с ним и сущность свободы вообще», должны, по мнению Зайцева, «восстановить веру в будущее и поднять упавшие надежды» (427).

Вопросы умственного и нравственного развития личности для просветителя-рационалиста Зайцева, так же как и для Писарева или Благосветлова, неотрывны от проблемы революции. В уровне умственного и нравственного развития людей видит он залоги народной революции. «Порядок падает потому, что люди достаточно развились, чтобы сделать его невозможным», – писал он еще в своей статье «Представители немецкого свиста Гейне и Берне». Умственное развитие народных масс, достаточное, чтобы понять нелепость и обреченность устаревшего социального

и политического порядка вещей,— вот необходимое условие народной революции в представлении просветителя-шестидесятника Зайцева.

Вопрос о преодолении «невежества» народных масс, неразвитости их сознания приобретал для Зайцева, равно как и для всех других публицистов «Русского слова», особое значение. Вопрос этот не мог стоять столь остро перед Чернышевским и Добролюбовым по той простой причине, что они принадлежали другому времени. Их публицистика с большой экспрессией и точностью выразила эпоху революционного подъема, время революционной ситуации, когда руководители освободительного движения были уверены, что они «накануне», когда был намечен даже срок ожидавшегося крестьянского восстания,— весна 1863 года.

Но уже в апреле 1863 года стало очевидным, что надежды на взрыв народного недовольства, крестьянской революционности потерпели полный крах. Ситуация коренным образом изменилась. «Росса повели по пути мирных реформ, причем оказалось, что нет такого пути, по которому росс не умел бы ходить» (1863, 4, III, 3),— с горечью комментировал в апреле 1863 года этот факт Зайцев.

Фраза эта многозначительна. В ней объяснение многого, что отличало позиции Зайцева от позиций Чернышевского и Добролюбова. В ней нерв творчества Зайцева, которое все принадлежит этому новому, пореформенному времени, времени черной реакции правительства и глубокой пассивности крестьянских масс. Она выражает глубокую неудовлетворенность Зайцева тем очевидным фактом, что русское крестьянство так и не поднялось на революцию.

Именно этот факт — спад крестьянской революционности — и определил спор «Русского слова» с Добролюбовым, который вели Писарев и Зайцев. Считая Добролюбова по праву «самым полным и чистым представителем любви к народу», Зайцев критикует сподвижника Чернышевского за «идеализированное» отношение к крестьянству, за то, что «идеальные представления о народе вводили Добролюбова иногда в заблуждение и заставляли его слишком много ждать от народа» (201).

Та же мысль звучала и у Писарева, когда он оспаривал статью Добролюбова «Луч света в темном царстве», когда отказывался видеть в стихийном протесте

Катерины симптом пробуждения народного самосознания.

Не отказываясь от «живого и деятельного чувства» любви к народу, считая борьбу за освобождение его главным, о чем стоит «заботиться и хлопотать», тоскуя о революционном подъеме, публицисты «Русского слова» мучительно переживают «отсутствие революционности в массах великорусского населения». Они ищут объяснения этому и, не догадываясь об истинных причинах, почему крестьянство не поднялось, да и не могло подняться на революцию, в полном соответствии со своей концепцией истории дают чисто просветительское, идеалистическое объяснение пассивности народных масс. «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен. Это, конечно, не его вина, но это — так, и какой бы то ни было инициативы с его стороны странно ожидать» (96), — утверждает теперь Зайцев.

Это не значит, что Варфоломей Зайцев ревизует свой прежний взгляд на то, что «не поэты и не ученые открывают человечеству новые пути, а люди с грубыми руками, дымящие кнастером».

Считая себя защитником интересов народа, представляющего собой «идею демократизма», Зайцев, как и Писарев, спорит с идеализацией «народа исторического» — русского крестьянства шестидесятых годов. Его идеал — народ, подготовленный обстоятельствами к протесту, к борьбе.

И в эмиграции, в семидесятых годах, Зайцев снова и снова будет мучительно размышлять о миллионах народных масс, задавленных вековечным рабством: «Давно уже переполнилась всякая мера их страданий, но не переполнилась мера их терпения».

Факт этот настолько трагически воспринимался Зайцевым, что летом 1863 года, в минуту крайнего разочарования в революционных возможностях народа, он даже задавал такой вопрос: «...если сознана необходимость навязывать насильно народу образование, то я не могу понять, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями может... мешать признать необходимость насильственного дарования ему другого блага, столь же необходимого, как образование, и без которого последнее невозможно, — свободы» (96).

Однако это высказывание, в котором чувствуется влияние бланкистских, «заговорщицких» идей, столь

популярных в кругу «Молодой России», не характерно для взглядов Зайцева в целом.

Раз «народ... не может по неразвитию поступить сообразно со своими выгодами» — значит, дело в том, чтобы помочь народу получить это развитие, значит, главная задача времени — умственное и нравственное воспитание народа — вот основное направление его размышлений.

В этом суть теории «реализма», выдвинутого публицистами «Русского слова» в середине шестидесятых годов.

У нас долгое время противопоставлялись теория «реализма» и идея крестьянской революционности. В действительности для просветителей, видевших залоги революции в уровне умственного развития масс, теория «реализма», включавшая в себя распространение знаний, пропаганду материализма и утилитаризма, умственную и нравственную эмансипацию личности, не только не противостояла революции, но, напротив, готовила ее.

Изменение исторических условий неизбежно повлекло за собой перестановку акцентов: не подготовка немедленного революционного взрыва, но длительная, методическая, последовательная работа по пропаганде знаний, по выработке новой нравственности, революционного миросозерцания — вот та задача, которую приняли на себя публицисты «Русского слова» в 1863—1866 годах.

Что бы ни писал Зайцев в эти годы — рецензии на естественнонаучные книги, философские трактаты, статьи о произведениях литературы, исторические, этические и эстетические исследования, все было подчинено единой цели — умственной эмансипации читателей, революционному воспитанию их.

Развивал ли Зайцев в своих статьях излюбленную концепцию нравственности шестидесятников — теорию «разумного эгоизма», пропагандировал ли естественнонаучные познания и идеи материализма, он стремился к тому же: к выработке в людях «реального», отрицательного, революционного взгляда на существующий порядок вещей. Как и Писарев, он стремился будить мысль, учить людей думать. Каждой статьей он стремился помогать людям в выработке истинных убеждений.

Но какая связь между идеями революции и «эман-

сипацией личности»? Какая связь между Молешоттом, Дарвином и освобождением человечества от гнета деспотизма и эксплуататорства? И не странно ли, что одной из самых серьезных акций «Первой вольной русской типографии» было, к примеру, нелегальное издание сочинения Бюхнера «Сила и материя»? По свидетельству Степняка-Кравчинского в его «Подпольной России», издание это «имело огромный успех. Книга читалась тайком, несмотря на риск, с которым это было сопряжено, и разошлась в тысячах экземпляров». Подпольная революционная организация распространяла сочинения Бюхнера, о котором сегодня мы скажем (и справедливо скажем): вульгарный материалист. Какой в этом смысл?

А смысл был. И немалый. Пропаганда естественнонаучных, материалистических знаний подрывала религиозный фундамент официальной нравственности. Она вырабатывала в молодом поколении «реальный», «позитивный», материалистический взгляд на мир. Она учила молодежь мыслить, постигать истину взаимоотношений личности и общества или, как говорили в ту пору, человека и среды. Она должна была, по замыслу шестидесятников, помочь человеку в понимании того, что его природа противоречит тем бесчеловечным условиям существования, в которых он живет.

Если систематизировать книги, которые рецензировал, о которых писал Зайцев (а круг интересов его в «Библиографическом листке» почти полностью обнимал издания передовых, демократических издательств шестидесятых годов), то окажется, что в поле его зрения – несколько литературно-общественных пластов. Это, во-первых, книги материалистов и естествоиспытателей того времени. Это, во-вторых, работы современных ему историков и социологов. Это, в-третьих, исследования, посвященные непосредственно историям революций («История Крестьянской войны в Германии» В. Циммермана, «История Нидерландской революции» Д. Мотлея, «Общая история Италии» Д. Сориа). Это, наконец, художественная литература, осмысляемая критиком под строго определенным, революционно-демократическим углом зрения (статьи о Некрасове, Гейне и Берне, выступления по поводу «антинигилистического» романа и т. д.). В целом все эти достаточно отчетливые направления критической деятельности Зайцева воссоздают объем-

ную, целостную картину того, что он понимал под «новым», «передовым» направлением идей. Фундаментом этого направления идей в его представлении был материализм, «реальный» взгляд на мир; цель его — «отрицательное», критическое, революционное отношение к современному обществу. В этом-то и заключалась суть того интереснейшего явления в истории русского освободительного движения, которое именовалось «нигилизмом» шестидесятых годов.

4

Упреки в безнравственности, в отрицании морали, которые так часто и охотно бросали в лицо «нигилистам» казенные моралисты всех мастей, были либо клеветой, либо непониманием. Да, они отрицали казенную мораль, основанную на фальши, лжи, на презрении к человеческой личности, на жажде наживы и карьеры, на деспотизме отцов. Они объявили беспощадную войну тому миру привычек, обычаев, способов мышления и предрассудков, который вырос на почве домостроя и крепостничества. Они противопоставляли всему этому культ человеческой личности, уважения к ее самостоятельности и нравственной ценности,— вот почему для каждого из них так важно было в любых, самых трудных обстоятельствах сохранять верность себе, своей натуре, своим взглядам и убеждениям, оставаться «самими собой». Мелкой, низменной, корыстной жизни ради личного преуспеяния они противопоставили жизнь ради высокой человеческой идеи, ради служения народу, и это не было фразой, это было нормой повседневного поведения, психологической плотью характера. Они выходили в жизнь с предощущением подвига, с готовностью к борьбе и расплате, любой, самой страшной расплате за свои идеи и убеждения.

«Реалисты» и «нигилисты» с их резкостью суждений, подчеркнутой грубоватостью манер и вызывающим демократизмом в одежде любили эпатировать «высшее» общество, кисейных барышень и высокопоставленных мещан. Во всем их поведении, и, уж конечно, во внешних формах его, присутствовал вызов, полемика, спор. Они объявили войну условной лжи так называемой культурной жизни. Своим нравственным

правилом они ставили абсолютную искренность, естественность и правдивость. Человек шестидесятых годов вносил свою любовь к искренности даже в мелкие детали повседневной жизни. Он отказался от условных форм светской болтовни и выражал свое мнение резко и прямо, даже с некоторой подчеркнутой грубостью. Однако за этой подчеркнутой угловатостью, даже грубостью, прямолинейностью, резкостью скрывалась напряженная работа сердца и ума. Они были людьми чрезвычайно высокой, бескомпромиссной нравственной и духовной требовательности. Эта высокая духовность сообщала им глубокое презрение к низменной, узкоматериальной сфере жизни, была вызовом старозаветным правопорядкам того времени, отрицанием показной нравственности. Это ощущалось даже во внешности: стриженые волосы девиц, синие очки и пледы юношей, несколько вызывающая манера держаться и одеваться, так точно воспроизведенная Тургеневым в характере Базарова,— во всем этом проявлялся протест против иерархии отцов, против деспотизма, официальной нравственности. Это проявлялось в ниспровержении авторитетов, в ненависти к догмам в сфере мышления, в том культе знания, могущества человеческой мысли, которым столь явственно отмечено время Зайцева и Писарева.

Движение «нигилизма» являло собой духовный бунт передовой молодежи шестидесятых годов против идейного и нравственного деспотизма «ветхого» крепостнического общества. Бунт во имя новой, революционной нравственности.

Варфоломей Зайцев являл собой, быть может, наиболее законченный и последовательный тип «нигилиста» шестидесятых годов. А. Христофоров прав: он и в самом деле был «одним из основателей» этой «литературно-реалистической школы».

«Нигилист, и мало дает надежд к исправлению»,— так аттестовал Зайцева санкт-петербургский обер-полицмейстер.

Ни Чернышевского, ни Добролюбова, ни Герцена, ни Щедрина «нигилистами» в прямом смысле этого слова не назовешь, хотя кличка «нигилист», пущенная в обиход Тургеневым, должна была в толковании Каткова обозначать все революционно-демократические направления идей. Исторически сложилось так, что понятие «нигилизма» неразрывно срослось

именно с «Русским словом», хотя толковалось расширительно.

«Слово «нигилизм» получило право гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордо принятый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни...» — писал в книге «Подпольная Россия» С. Степняк-Кравчинский. Суть «нигилизма» Степняк-Кравчинский видел в борьбе «за освобождение мысли от уз всякого рода традиций, шедшей рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства... Это было отрицанием, во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией. Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в ее частной, интимной жизни» [1].

По словам Степняка-Кравчинского, борьба за умственное и нравственное раскрепощение велась прежде всего на почве религии. Целая фаланга молодых пропагандистов материализма, естественных наук и «положительной философии» двинулась на приступ полуразрушенного здания христианства. Они были вооружены новейшими достижениями естествознания и цельной нравственной теорией, получившей название «разумного эгоизма». Но сторонников этой нравственной теории меньше всего следует считать эгоистами в общепринятом значении слова.

«Однажды мне в руки попало письмо В. Зайцева, одного из сотрудников «Русского слова», бывшего главным органом старого нигилизма, — свидетельствует Степняк-Кравчинский. — В этом письме, предназначавшемся для подпольной печати, автор, говоря о своей эпохе и обвинениях, выставляемых нынешними нигилистами (речь идет о революционных народниках семидесятых годов. — *Ф. К.*) против нигилистов того времени, пишет: «Клянусь вам всем святым, что мы не были эгоистами, как вы нас называете. Это была ошибка — согласен, — но мы были глубоко убеждены в том, что боремся за счастье всего человече-

[1] Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия. — В кн.: Степняк-Кравчинский С. Соч., т. 1. М., 1958, с. 367—368.

ства, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина»[1].

Столь яростного воодушевления, с которым публицисты «Русского слова» вели пропаганду естествознания и «положительной», «реальной» философии, столь пристального внимания к проблемам духовного, нравственного раскрепощения личности вы не встретите на страницах «Современника» Чернышевского и Добролюбова. Другие вопросы жизни стояли там во главе угла. И вместе с тем в своих позициях эти два демократических журнала не только не противостояли, но дополняли и поддерживали друг друга. Н. Шелгунов был прав, когда писал в «Воспоминаниях»: «Русское слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник». Если «Современник» говорил преимущественно о новых мехах, то «Русское слово» говорило о новом вине, которое должно их наполнить. Но как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к «Современнику»[2].

Свою главную революционную задачу Зайцев и его товарищи по журналу видели в нравственном раскрепощении человека, в пробуждении мысли, в выработке «реального», то есть отрицательного, отношения к существующему порядку вещей. Существовала органическая связь между их мечтой о народной революции и той колоссальной работой по расшатыванию духовных, бытовых, нравственных устоев крепостнического общества, которую они вели. Это-то и делало их вождями молодого поколения второй половины шестидесятых годов.

О результатах подобной работы (ее вели, конечно, далеко не только Зайцев, но целая плеяда публицистов

[1] Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия. – В кн.: Степняк-Кравчинский. Соч., т. 1, с. 369.

[2] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 215.

и критиков того времени) можно судить хотя бы по дневникам студента Московского университета Сергея Торчилло (дневники эти хранятся в фондах ЦГАОР)[1].

Торчилло – рядовой студент Московского университета шестидесятых годов. Его участие в революционной борьбе ограничивалось тем, что, будучи дружен с Освальдом, революционно настроенным студентом Московского университета, он выполнял роль связного: по поручению некоей Л. Ф. передавал записки находящемуся в заключении Аргиропуло от Ященко и Сулина, вынес тайком из части, где сидел Освальд, прокламацию офицеров Варшавского комитета к товарищам по армии и т. д.

Однако дневник Торчилло интересен не только этими подробностями. Он интересен еще и тем, что дает нам представление о тех духовных процессах, которые под влиянием революционно-демократической пропаганды шли в умах молодежи шестидесятых годов.

Любопытно, что любимым журналом Торчилло было «Русское слово». В дневнике все время встречаются ссылки на те или иные статьи журнала или даже конспекты некоторых из них. Например: «Читал... «Библиографический листок» в «Русском слове». Рецензия на стихотворения Лермонтова очень хороша и дельна. Это уже не то, что говорилось в том же «Русском слове» о Минаеве».

Или: «Вечером читал я «Русское слово». Хороша статья о революции В. Попова. Личность Робеспьера очерчена особенно хорошо: Максимильян Робеспьер... отличался строгостью нравов и неподкупной честностью».

Далее следует подробнейшее переложение статьи с пространными выписками и как итог в мысленном споре с вполне почтенным и благонамеренным родственником: «Вот каковы были, почтеннейший Р. Н., Мара (Марат.– *Ф. К.*) и Робеспьер, а не такие, какими вы представляете их...»

Дневник Торчилло полон внутренней полемики со всем тем, что Писарев именует «ветхим миросозерцанием», с «ветхими» людьми, которые окружают юношу прежде всего в собственной семье.

«Долой пошлые уроки практической мудрости

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 273.

и требования жизни, если они идут в разлад с требованиями чувства!.. — записывает Торчилло. — Человек прежде всего должен быть человеком, а потом уже благоразумником, ученым, студентом, либералом, нигилистом — словом, чем хотите!» Он не хочет походить на современных ему «пигмеев нравственности... которые жужжат о долге, об обязанностях... о *карьере*. Подлейшее, глупейшее слово! *Карьера* предполагает всегда *спиногнутие*, подлость, взяточничество, отсутствие человеческого достоинства!!! И весь век подличать — когда нет ничего за гробом... Когда за это страшное мучение, за эти нравственные пытки — нет тебе никакой награды...»

Еще одна столь же красноречивая запись:

«Поспорил с Д. о молодом и старом поколении... Он сказал, что человек, которому стукнуло за 30 лет, уже отстал от современного движения по самой природе своей... А Бокль? А Дж. Ст. Милль? А Бюхнер? А Фейербах? А у нас в России: Черньшевский? Некрасов? Салтыков?.. Попробую самому себе задать вопрос, что такое старое и молодое поколение? В каждом веке в человечестве являются новые идеи, новый взгляд на известные предметы или отношения людей.

Всегда появление такой идеи или взгляда ставит черту между людьми, следующими новому, и людьми, отстаивающими старое... Между людьми движения, прогресса и людьми застоя, регресса. Итак, *всех людей, воспринимающих новое* (большинство которых молодые люди), я называю *молодым поколением*. Всех людей, отстаивающих старое (которых большинство старики и пожилые), я называю *старым поколением*. Катков, Леонтьев, Краевский и т. п. ... — все эти господа — люди *старого поколения*... Видно, за живое задела их современность!!! Ведь если нападение слабо, неопасно, нечувствительно — на него не обращают внимания!.. Степень ярости и раздражения защищающегося всегда определяется степенью силы нападения... Какая же громадная, дающая всюду себе известность сила заключается во всеобщем восстании современности на средневековые предрассудки и нелепые суеверия, если так велика раздражительность духовенства!!! В этой всеобъемлющей борьбе нового со старым, разума с рутиной, здравого смысла со схоластикой так много потрясающего драматизма, что по-

сторонним лицом, зрителем, хладнокровным судьей оставаться невозможно... Нет человека, который не нападал бы или не защищал бы современности... Все проснулось... все заговорило — и духовенство, и дворянство, и ученые, и литераторы, и Марьи Николаевны, и все, и вся...

Каков будет исход этой борьбы, нам не узнать. Останется ли победа на стороне света, попадет ли она в руки сил темных, неподобных — об этом будут знать лишь наши внуки».

Видите, и Бокль, и Дж. Ст. Милль, и Бюхнер, и Фейербах, а в России — Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин в равной степени воспринимаются юношей как представители «нового поколения». Идеи этих людей, новые идеи того времени, разбудили в душе юноши нравственный протест против средневековых предрассудков и нелепых суеверий, против рутины и схоластики, против «практической мудрости» официальной мещанской морали, стремление к умственной и нравственной независимости, к человеческому достоинству, благородству убеждений и поведения. Какой неожиданный нравственный итог дает его атеизм, его вывод о том, что бога нет: «И весь век подличать — когда нет ничего за гробом...» Нет, он не хочет «подличать», он стремится к жизни честной, высоконравственной, наполненной подлинным, настоящим смыслом. Такая душевная настроенность, то направление его размышлений и чувствований, которое сообщила ему демократическая литература, неминуемо подводят юношу к выводу, что только там, в рядах «нового поколения», среди бойцов за новую жизнь его место.

«Впечатление, вынесенное мною из чтения романа «Что делать?», — записывает он, — очень схоже с впечатлением, которое производили на меня разговоры с Освальдом... знакомство с Аргиропуловым... Иной раз Освальд невольно заставлял меня улыбнуться... то же с романом Чернышевского. Слишком уж сильная, горячая и, пожалуй, наивная вера в лучшее будущее... Но в то же время, знакомясь с Рахметовым, Лопуховым, Кирсановым, Аргиропуловым, Освальдом, — сознаешь ясно, что есть другая жизнь, другая среда, другие люди, чувствуешь, что хорошо жить этой жизнью, в этой среде, с этими людьми».

Через «эмансипацию личности», через борьбу с ду-

ховным и идейным крепостничеством, через преодоление религиозной и мещанской нравственности шел этот юноша шестидесятых годов, типичный «нигилист» и «мыслящий реалист», к осознанию высокого человеческого смысла революционной борьбы.

Но что означают его слова о вызывающей улыбку «слишком уж наивной» вере в лучшее будущее, свойственной роману Чернышевского, а также Аргиропуло, Освальду?.. Вполне сочувствуя их «отрицанию» существующего правопорядка, Торчилло сомневается в осуществимости их положительных, социалистических идеалов. Почему? Да потому, что «они хлопочут об уничтожении в человечестве эгоизма, что немыслимо. Человек как был эгоистом, так вечно им и останется. Эгоизм, несмотря на все хитросплетения... всегда был и будет могущественным рычагом всякой цивилизации». И вдобавок Торчилло не сочувствует социалистическим идеалам, потому что считает, будто при социализме «личность будет совершенно поглощена общиной. Она будет подчинена обществу. Все ее склонности и способности будут связаны. А что может быть выше для человека, как не его индивидуальная особенность, как не его право на самостоятельную, независимую ни от кого деятельность?»

В эпоху всеобъемлющей борьбы демократических сил и идей с рутиной крепостничества, долгие века принижавшего и убивавшего достоинство человека, как никогда остро встала проблема личности, проблема человеческой индивидуальности, ее свободы и независимости. Эта особенность, свойственная эпохам всех буржуазных революций, с кричащей резкостью выявлялась в творчестве Писарева и Зайцева. Впоследствии, в своей блистательной статье «Новая нравственность», последней его работе, напечатанной в «Общем деле», Зайцев так объяснит свою увлеченность борьбой за «эмансипацию личности»: «Мы прошли в школе старой нашей наставницы («старой», «изъеденной трихинами морали». — *Ф. К.*) такие тиски, что думали только, как бы вырваться на свободу. Свобода! Свобода! — думали мы, свобода от всего, на свободе все само собой хорошо устроится. Иные из нас, как Д. И. Писарев (речь здесь идет о раннем Писареве. — *Ф. К.*), доходили до отрицания всякой абсолютной нравственности, до проповедования полнейшего индивидуализма в понимании добра и зла. Мы

боялись слов «долг», «обязанность», «право», прибегали к перифразам, когда наталкивались на эти слова». По мнению Зайцева, это «увлечение» было «естественной и необходимой фазой развития», оно выражало время.

Мысли Торчилло об эгоизме как «могущественном рычаге всякой цивилизации», его забота «о «личности», и «индивидуальности», и праве ее «на самостоятельную, независимую ни от кого деятельность» были в духе времени, были близки многим положениям зайцевских и писаревских статей. Подобный строй мыслей таил в себе страстный протест против бесчеловечных тисков крепостнической морали.

Даже Герцен писал в 1846 году: «Что такое эгоизм? Сознание моей личности, ее замкнутости, ее прав? Или что-нибудь другое? Где оканчивается эгоизм и где начинается любовь? Да и действительно ли эгоизм и любовь противуположны; могут ли они быть друг без друга? Могу ли я любить кого-нибудь не для себя; могу ли я любить, если это не доставляет *мне*, именно *мне* удовольствия? Не есть ли эгоизм одно и то же с индивидуализацией, с этим сосредоточиванием и обособлением, к которому стремится все сущее, как к последней цели? Всего меньше эгоизма в камне, — у зверя эгоизм сверкает в глазах; он дик и исключителен у дикого человека; не сливается ли он с высшей гуманностью у образованного?» [1]

Но как согласовать этот культ эгоизма, понимаемого как проявление человеческого «я», человеческой индивидуальности, с высокими идеалами социализма, общества человеческой солидарности?

Ответом на этот вопрос — а он, пример тому дневник Торчилло, интересовал в ту пору многих — была теория «разумного эгоизма», выдвинутая революционными демократами как программа новой, положительной нравственности. Истоки этой теории мы находим у Герцена в его словах о том, что эгоизм сливается «с высшей гуманностью» у человека образованного, в его утверждении: «Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден, он-то и есть его любовь к науке, к искусству, к ближнему... и проч.». Теория «разумного эгоизма» легла в основу романа Чернышевского «Что делать?» Она получила законченную

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 2, с. 96.

разработку и была поставлена во главу угла «реалистического» миросозерцания в статьях Писарева и Зайцева.

Мораль «разумного эгоизма» Зайцев противопоставлял нравственности крепостников-эксплуататоров. «Единственная цель человека – счастье» (348), – утверждает Зайцев. Но беда человечества в том, что люди не понимают, в чем суть личного счастья. Большинство людей еще до того неразвито, что потребности его крайне ограниченны и способность наслаждаться необыкновенно узка. «Для большинства счастье состоит еще только в удовлетворении самым грубым животным желаниям; идея счастья сводится к тому, чтобы сладко есть и мягко спать» (349). Идеал счастья разумного, развитого человека, исповедующего не животный, не мещанский, но «разумный эгоизм», – качественно иной. «Разумный эгоизм понимает, что условием его личного счастья является счастье всех других членов общества». Вот почему необходимо развивать в людях «то чувство и то понимание, которое утилитаризм признает безусловно необходимым для счастья всех вообще и каждого в частности. Это есть чувство и понимание своей солидарности с обществом, гуманность, симпатия к людям; это чувство и понимание неразрывной связи между своим личным счастьем и счастьем других» (356).

В борьбе за счастье других – высшее счастье нравственно развитой личности. Для эпохи шестидесятых годов это была мораль революционная. Она заключала в себе нравственное обоснование идеи социализма, как единственного строя, где сливается воедино личный и общественный интерес.

Впоследствии Зайцев поймет, что нравственная теория «разумного эгоизма» была очень несовершенной, «мечтательной», что она несла на себе печать ограниченности эпохи. «Мораль есть выражение известного общественного строя. Новый строй, который должен заменить разрушаемый старый, существует пока только в теории; породить новую мораль он еще не может; логикой мы можем заранее угадать черты этой новой морали в том виде, как она должна вытекать из известных нам в теории новых социальных основ», – писал он в статье «Новая нравственность» в 1881 году.

Теория «разумного эгоизма», которую он со страстью пропагандировал в шестидесятые годы,

и являла собой попытку с помощью «логики» угадать черты новой морали, исходя из «теории новых социальных основ».

И тем не менее, несмотря на свою идеалистичность и ограниченность, мораль «разумного эгоизма» помогала демократам-шестидесятникам в достижении их цели: воспитания «мыслящих пролетариев», убежденных, бескорыстных, самоотверженных революционеров-борцов. Гуманистический смысл этой морали, в понимании Зайцева, заключался в том, что «человек, следующий учению утилитаризма, может совершать высочайшие подвиги самоотвержения и самопожертвования, являться в глазах всех благодетелем общества, добровольно идти за благо других на страдания и изумлять самых строгих стоиков величием приносимых им жертв» (358).

Жизнью своей, судьбой своей Варфоломей Зайцев и другие революционеры шестидесятых годов доказали справедливость этих слов.

5

И еще одна чрезвычайно характерная особенность мировоззрения Зайцева, накладывающая совершенно особую печать на все его творчество: он был «нигилистом» не только в общественных вопросах, он был неукротимым отрицателем и в вопросах искусства, что нередко составляло не силу, а слабость.

Пожалуй, никто в эпоху шестидесятых годов, да и в последующее время, не заходил в отрицании искусства так далеко, как Варфоломей Зайцев. Прямолинейность его суждений в отношении литературы и искусства приобрела печальную известность и была в свое время притчей во языцех. «Пора понять,— говорил он,— что всякий ремесленник настолько же полезнее любого поэта, насколько положительное число, как бы мало ни было, больше нуля».

Итак, перед нами уникальное, исключительное явление: литературный критик, отрицающий свой предмет — поэзию?

Не совсем так. «Разумеется, речь идет о служителях чистой поэзии, гнушающейся служить какому-нибудь практическому делу»,— оговаривался он. И тут же зачислял в число служителей «чистой поэзии» не

только, к примеру, Фета, но и Пушкина, Лермонтова, Шекспира.

Конечно же, литературная деятельность Зайцева не сводилась к уничтожению Шекспира и дискредитации Пушкина. Варфоломей Зайцев считал себя последователем Чернышевского и Добролюбова. И был им, когда воевал с «искусством для искусства», когда преследовал «катковствующую литературу», клеветавшую на революционно-демократическое движение в печально известных «антинигилистических» романах, когда защищал творчество таких писателей, как Генрих Гейне или Некрасов.

Вслед за Черньшевским и Писаревым он ратовал за гражданское служение литературы народу и обществу. «Покуда искусство рассматривают как средство, до тех пор занятие им разумно... Но в том-то и дело, что современные поклонники искусства превращают и его и самих себя в мумии, проповедуя искусство для искусства и делая его не средством, а целью» (172).

Когда критик отстаивает «честную, свежую мысль» в литературе, когда он бичует ложь, фальшь, неправду «искусства для искусства», ему сопутствует успех. Лучшие критические статьи Варфоломея Зайцева, сохранившие значение и в нашу пору,— «Стихотворения Н. Некрасова», «Гейне и Берне», «Взбаламученный романист» и другие — свидетельствуют о большом таланте литературного критика «Русского слова», о верности многих его исходных позиций. С блеском и безукоризненной точностью эстетического анализа обнажал он внутреннюю фальшь «Взбаламученного моря» Писемского. Раскрыв никчемную суть героев романа, которых автор выдает за представителей «молодого поколения», Зайцев делает уничтожающий вывод: «Вы на тень свою злитесь, принимая ее за нигилиста. Неужели вы думаете, что ваш Проскриптский, ваш Сабакеев, ваш Галкин — представители нашей молодежи? Жаль мне вас...Писемский; вас грубым и недостойным образом обманули. Вам показали жалких шутов вашего же... времени, а вы не узнали, что это ваше же отражение. Зеркало вы приняли за картину. Лакея, корчащего из себя господина в его отсутствие, вы приняли за барина и злитесь, горячитесь, выходите из себя» (150—151).

В. Зайцев был очень сильный и точный полемист, настоящий журнальный боец. Его «Перлы и адаманты

русской журналистики», сатирические обзоры отечественной периодики полны остроумия, яда, желчи в адрес «гасителей» и «усыпителей». Неотразимы по убедительности такие его работы, как «Славянофилы-победители», где он прокомментировал эволюцию русского славянофильства. «Подумайте-ка, во что вы превратились? Что вы сделали с той крупицей порядочности, которая была у вас некогда? Назовите хотя один из тех вопросов, который поднимали, решали и которым так кичились четыре года тому назад, от которого вы бы не отступились с ужасом и отвращением теперь» (256), — говорил Зайцев славянофилам. В литературных боях раскрылись со всей очевидностью незаурядный критический талант Зайцева, острота его сарказма. К сожалению, литературно-критическая деятельность Зайцева далеко не во всем была на уровне его таланта; она изобиловала парадоксальными ошибками и даже нелепостями, на ней лежали путы неверных эстетических воззрений, угнетавших живую критическую мысль.

Впрочем, сам Зайцев, как мог, открещивался от титула литературного критика. Более того, он даже Добролюбова (в противоположность Белинскому) называл не критиком, но «публицистом и сатириком», мотивируя это тем, что вождь «Современника» в своих статьях судил не столько о литературе, сколько «по литературе об обществе».

Зайцев был наиболее последовательным и неумолимым «разрушителем эстетики» в пору шестидесятых годов. В этой своей крайности он заходил куда дальше Писарева, а главное — опережал его. Хотя Зайцев и провозглашал себя последователем Чернышевского и Добролюбова, именно в вопросах эстетики он отошел от своих учителей особенно далеко.

Уже в июньской книжке «Русского слова» за 1863 год, задолго до Писарева, он «развенчал» поэзию Лермонтова и отчасти Пушкина за «непоследовательность идей и образов», за «мелочность содержания». Да и «как же предполагать, — спрашивал он, — что те условия, в которых находился Лермонтов со дня рождения до смерти, условия, исказившие целое поколение его современников, могли развить в нем понятия, диаметрально противоположные всему нашему обществу?» (54).

В январской книжке «Русского слова» за 1864 год, в статье «Белинский и Добролюбов», опередив Писа-

рева, он высказал упрек Белинскому за «эстетические принципы» его критики. Считая Белинского «основателем того направления, которого представителем был Добролюбов», он тем не менее не может принять у Белинского защиты «художественности», его утверждения, что «искусство прежде всего должно быть искусством», что «без искусства никакое направление гроша не стоит» (179).

Писареву, также грешившему порой прямолинейностью в подходе к явлениям искусства, то и дело приходилось спорить с Зайцевым — то по поводу оценки Печорина, то по поводу отношения к Гейне. В. Кирпотин утверждал, будто в своем походе на искусство Зайцев повторяет аргументацию Писарева. В действительности ситуация была скорее обратная: Зайцев нередко предвосхищал и опережал в этом Писарева. В статье «Реалисты» Писарев заявлял, что если бы он поговорил с Добролюбовым, то «доказал бы ему, что хоть он и реалист, но не новейший; если бы... со мною самим побеседовал бы таким образом г. Зайцев, пожалуй, оказалось бы, что и я не совсем еще совлек эстетические одежды «ветхого человека», так как, кроме «Отцов и детей», признаю еще и Шекспира».

И в самом деле, в рецензии на пьесы Эсхила Зайцев утверждал, что не только Эсхил, но и Мольер, Шекспир, Шиллер «не приносят никакой пользы». Он отрицал в принципе как бесполезные театр, живопись, музыку, балет — все роды искусства, кроме литературы, и даже считал их вредными. Почему? Да потому, говорил Зайцев, что содержат-то все эти бесполезные искусства трудящиеся классы. Он готов допустить существование искусства в обществе, где нет эксплуататоров и эксплуатируемых, где вопрос о хлебе насущном уже решен. В противном случае искусство всегда «привилегия одного сословия» — «кучки сытых людей, которым приятно возвысить свою душу художественными произведениями в то время, когда большинство народонаселения отдает все свое время и весь свой труд суровой и мозольной деятельности текущего дня» (313).

В этом ригоризме и антиэстетизме Зайцева много общего с английским революционным пуританизмом — не случайно он свидетельствует свое «величайшее уважение» к пуританам, запиравшим когда-то театры и бичевавшим актеров.

В чем истоки антиэстетизма Зайцева? В его утилитаризме, в том самом принципе общественной пользы, который он стремился проводить в своих воззрениях на литературу и искусство? Утвердительный ответ напрашивается сам собой. Критик прямо говорит, что принимает только «такие поэтические произведения, которые занимаются разными современными общественными вопросами действительности и научают людей правильно смотреть на них; эти произведения, без сомнения, приносят пользу, и это единственный случай, когда произведения искусства не только терпимы, но и заслуживают уважения» (337).

И все-таки стоит нам согласиться с таким предположением — и мы окажемся перед неразрешимым противоречием. Собственно, вся эстетика революционных демократов исходила из принципа общественной пользы. Но ведь ни Чернышевский, ни Добролюбов не пропагандировали небрежения к художественной форме, не разрушали искусство, не отрицали художественности.

Истоки антиэстетизма Зайцева не в принципе общественной пользы, но в догматическом, сектантском, вульгарно-материалистическом толковании его. Эта ультрареволюционная фраза Зайцева, его фанатическая прямолинейная узость и философская необразованность не позволяли ему видеть в поэзии Лермонтова ничего иного, кроме «гусарских» мотивов, а в «классическом хламе» древнего искусства ничего, кроме «ляжек Венер» и «профилей Аполлонов». Так презрение к диалектике, метафизичность миросозерцания Зайцева мстили ему за себя. В отличие от Чернышевского и Добролюбова Зайцев не поднялся до последовательного философского материализма и остался последователем философии Бюхнера и Молешотта. Грубый, вульгарный, механический материализм мог быть в той или иной степени оружием в борьбе с охранительным религиозным миросозерцанием. Вспомним ту роль, которую играли в революционизировании мысли молодежи шестидесятых годов труды Бюхнера и Молешотта. Однако их философия, не оплодотворенная диалектикой, не могла служить надежным фундаментом для осмысления законов жизни и литературы.

С позиции вульгарного, механического материализма Зайцев интерпретировал «Эстетические отношения искусства к действительности», показав удивительно

примитивное понимание эстетики Чернышевского. Он представил дело так, будто главной целью Чернышевского и в самом деле было «разрушение эстетики», доказательство бесполезности искусства. Обосновывал он этот взгляд своими собственными аргументами, взятыми из арсенала вульгарного материализма: «...искусство не имеет настоящих оснований в природе человека... оно не более как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме» (331). А раз «искусство», само «эстетическое наслаждение», по убеждению вульгарного материалиста Зайцева, не имеет оснований в «природе человека», то, естественно, «человек не должен предаваться эстетическим удовольствиям, которые только расслабляют и развращают его и заставляют даром тратить время вместо того, чтобы пользоваться им с пользой» (332).

Любопытно, как несколько позже В. Зайцев, от природы наделенный тонким эстетическим чутьем, собственным примером опровергал эти нелепые выводы. В семидесятые годы он совершил паломничество в Рим, чтобы приобщиться к тому самому «классическому хламу», который сохранялся будто бы лишь «для развлечения верхоглядов» (так писал он в 1863 году).

«Бессмертные боги! – пишет он из Рима своей жене. – Как это сотворилось такое чудо? Клянусь Кастором и Поллуксом... ничего подобного я и вообразить не мог».

«...Сгубили меня искусства! – жалуется он и в следующем письме. – З. С. расскажет... в каком состоянии были мои ноги от ходьбы и лазанья по лестницам... Тут что ни шаг, то можно целый день стоять на месте и смотреть».

«Умереть мало было после святого, великого, несравненного, божественного Кампидолио»[1], – пишет он после посещения Капитолия.

Но это в семидесятые годы. А пока что Зайцев отвергает объективную природу чувства прекрасного и сводит функции литературы лишь к пропаганде «полезных» мыслей и идей. А так как, считает он, ни Шекспир, ни Пушкин, ни Лермонтов «полезных» мыслей и идей, с точки зрения конкретных револю-

[1] Зайцева Мария. В. А. Зайцев за границей (По его письмам и воспоминаниям его жены). – Минувшие годы, 1908, № 11, с. 93, 94, 95. В дальнейшем ссылки на эту публикацию в примечаниях не оговариваются.

ционных задач времени, не проповедовали, они не существуют для Зайцева. Такие выводы были следствием убеждения критика, будто эстетической специфики искусства не существует, что «последнее в произведении — форма», что к творчеству поэта надо предъявлять те же требования, что и «к произведениям критика, историка, публициста, беллетриста».

Вульгарный материализм Зайцева, который он исповедовал с последовательностью, достойной лучшего применения, то и дело подводил критика, ставил его в совершенно ложные положения. В той полемике, которая развернулась в 1864—1865 годах между «Русским словом» и «Современником» и к которой мы еще вернемся, самая слабая позиция была у Зайцева.

Полемика эта отразила в какой-то степени растерянность сил демократии после того, как революционная ситуация потерпела крах. Она охватывала широкий круг вопросов и помогала выработке новой тактики освободительного движения в условиях отсутствия революционного подъема масс. Главным направлением спора был вопрос о том, кто является истинным выразителем времени — условно говоря, Базаров или Катерина из «Грозы», на что делать ставку — на умственное воспитание или стихийный революционный порыв. Писарев достаточно убедительно защищал героя «Отцов и детей» от разоблачений Антоновича. Зайцев выступил в этом споре как яростный сподвижник Писарева. Однако именно его выступления давали возможность «Современнику» упрекать «Русское слово» в вульгаризации и примитивизме — тех слабостях, за которые Писарев критиковал Антоновича.

Антонович беспощадно высмеял Зайцева за статью «Последний философ-идеалист», в которой тот поднял на щит философию Шопенгауэра.

Еще более досадный промах, истоки которого опять же в вульгарном материализме, Зайцев допустил в рецензии на книгу Катрфажа «Единство рода человеческого» («Русское слово», 1864, № 3). Исходя из фогтовской теории происхождения и развития человеческих рас и неравноценности их, выдвинутой им в «Лекциях о человеке», Зайцев высказал мысль, будто негры, как «низшая раса», не в силах пользоваться равными правами с белыми и, если они находятся с ними в системе одного государства, обречены на

подчиненное положение. Хотя Зайцев и отмежевывался от политических выводов из своей теории, объективно она подводила к тому, что освобождение негров бесперспективная, а потому и ненужная вещь. Антонович в статье «Предварительное объяснение» разоблачил объективную реакционность указанной идеи Зайцева. К «Современнику» присоединилась и «Искра», в восьмом номере которой за 1865 год появилась статья, резко критикующая эту абсурдную идею Зайцева.

Выступление «Искры» было особенно болезненным для критика, потому что статья эта принадлежала перу самого близкого друга Зайцева тех лет, чей авторитет в вопросах естествознания был для него непререкаем,— перу Ножина. Статья Ножина в «Искре» отнюдь не означала, что в полемике «Русского слова» и «Современника» он во всех вопросах был на стороне Антоновича. Напротив, как свидетельствует архив III Отделения, в бумагах Ножина после смерти было найдено черновое письмо Ножина Антоновичу, в котором Ножин говорит ему, что он напрасно нападает на Писарева, Зайцева и вообще на «Русское слово», что он «не понял молодого, вполне честного направления реализма». По мнению Ножина, в этих нападках «выражен или недостаток понимания, или поворот мыслей в сторону мерзавцев-инсинуаторов»[1].

Критика Ножиным статьи Зайцева была публичной критикой частной ошибки своего друга и единомышленника,— этот пример сам по себе показывает, насколько высок был уровень нравственной требовательности друг к другу в среде революционных демократов шестидесятых годов. Ошибки Зайцева — и в этом Ножин прав — не заслоняли для него того вполне честного направления идей, которое исповедовал Зайцев. Именно поэтому статья в 8-м номере «Искры» за 1865 год не бросила и тени на дружеские отношения Зайцева и Ножина.

6

Незадолго перед смертью, будучи в Женеве, Зайцев писал матери: «...Вообще у нас клуб и тут. Все, что приезжает, идет к нам, а здешние считают нашу ком-

[1] ЦГОАР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 265.

нату общей. Девочки царствуют в своих передних комнатах окнами на улицу, а мы в кухне и в нашей комнате составляем какое-то общественное достояние. Вроде как в Петербурге у нас было».

Иркутский купец Пестерев, о котором уже шла речь выше, в своих показаниях в III Отделении свидетельствовал, что Варфоломей Зайцев, его мать и сестра, когда они жили в Петербурге, и в самом деле были «общественным достоянием»: вокруг них всегда была молодежь. «Вообще кружок Зайцева состоит из 5—6 человек молодежи умной, доброй и энергичной», — уточнял он и называл, в частности, имена Сулина, Ковалевского, Залесского, Орлова и Ножина. «В наступившем 1864 году, в апреле, я выехал в Петербург... В это время я вошел в семейство Зайцевых, — свидетельствовал Пестерев. — В матери Зайцева я нашел весьма мягкую, добрую и симпатичную старушку, любящую своих детей до страсти, а в дочери ее — молодую, хорошенькую и очень развитую девицу, и сына же — труженика; он тогда работал для «Русского слова» и дирижировал издание перевода Шлоссера...»

Архивы III Отделения и, в частности, допросные листы самого Варфоломея Зайцева помогают нам с большей полнотой восстановить состав дружеского кружка, в котором вращался Зайцев в Петербурге во второй половине шестидесятых годов. Круг друзей Зайцева и особенно его дружба с Ножиным дают нам право поставить вопрос о возможных связях Зайцева с революционными кружками конца 60-х годов, во главе которых стояли Ишутин и Худяков. Кружки эти были уничтожены после выстрела Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 года. Тогда же был арестован и Зайцев. На допросах Зайцев называет в числе своих друзей Н. В. Соколова, с которым виделся «очень часто, будучи с ним сотрудником «Русского слова» и вообще в хороших отношениях», Николая Степановича Курочкина, с которым, кроме личного знакомства, сотрудничал в «Книжном вестнике», Василия Слепцова, с которым «познакомился тотчас по приезде в Петербург еще в декабре 1862 года у общей знакомой г-жи Маркеловой», наконец Ведерникова и Малаксианова, которых «знал еще в Московском университете». В круг знакомых Зайцева, часто у него бывавших, входили также Лебедев, Згоржельский, Михайловский.

Особо, как самого близкого друга, III Отделение и сам Зайцев выделяют Ножина, с которым Зайцев «был особенно близок, потому что жил с ним в одном доме и даже после его смерти взял книги и все, что у покойного было». Зайцев в допросном листе свидетельствует: «С Николаем Ножиным я познакомился в конце 1864 года на квартире у Владимира Онуфриевича Ковалевского... Я был с Ножиным очень дружен, виделся очень часто, особенно прошлое лето и последнюю зиму и весну, так как в это время мы жили с ним в одном доме. Отношения наши были, впрочем, основаны единственно на личной симпатии друг к другу, потому что ни общих дел, ни занятий у меня с ним не было». Это не совсем так. Зайцева связывало с Ножиным нечто большее, чем «личная симпатия».

В конце 1865 года Зайцев и Соколов ушли из «Русского слова», поссорившись с Благосветловым. Нужна была новая печатная трибуна, которую Зайцев искал мучительно. В своих показаниях Пестерев свидетельствует, что еще в 1865 году, будучи сотрудником «Русского слова», Зайцев начинает сотрудничество в газете «Народная летопись» (номинальным редактором газеты числился беллетрист Н. Д. Ашхарумов, фактическим редактором ее был публицист «Современника» Ю. Жуковский). Однако он вскоре рассорился с Жуковским, а газета была закрыта. В конце 1865 года один из братьев Курочкиных – Владимир – купил книжный магазин Сенковского и выходивший при нем журнал «Книжный вестник», который с 22-го номера 1865 года возглавила новая редакция. Руководил журналом фактически Николай Курочкин, в редакцию вошли В. Зайцев, Н. Ножин, Н. Михайловский. Но журнал «Книжный вестник», узкобиблиографический по характеру, так и не стал серьезной общественной трибуной для Зайцева. Он поместил в нем только несколько рецензий. Вот почему Зайцев ищет возможностей продолжить свою пропагандистскую и просветительскую деятельность путем издания книг.

В 1866 году он помогает своему ближайшему другу Н. Соколову писать знаменитых «Отщепенцев» – книга эта была арестована до выхода в свет. Соколов был предан суду и сослан на север. Уже начиная с 1865 года Зайцев, Ножин и Соколов через Сулина пытаются организовать издательство и печатать переводные произведения. Перевод и издание книг прогрессивных

европейских писателей были для Ножина, Соколова, Зайцева, Курочкина и других передовых людей шестидесятых годов акцией прежде всего идейного характера. Это было настоящее издательское дело, базой которого служила в первую очередь бывшая типография князя Голицына, перешедшая в 1865 году во владение Головачева. В него входили, помимо перечисленных лиц, Ковалевский, Михайловский, который после ареста Соколова завершил перевод книги Прудона «О французской демократии». Административно-хозяйственной стороной предприятия заведовал Яков Сулин.

В бумагах Ножина, взятых при обыске после его смерти, хранится письмо Сулина к некоему Алекс. Вик.: «Скажите Вар[фоломею] А[лександровичу], что первые листы Мотлея (он знает) от Зубарева получены мною, и когда кто-нибудь из вас будет в городе, то возьмите, пожалуйста. От Симоновича сегодня получено свиноводство... Что пойдет во второй выпуск Туамейстера и где же переводы? Скажите Ножину, что бумага, шрифт... для Гевена уже готовы — мы ждем его работы, чтобы приступить к печати, и работать будем очень быстро».

Из этого письма явствует, что Зайцев и Ножин имели прямое отношение к издательской деятельности Сулина. Дело в том, что, будучи первоклассными литераторами, и Ножин, и в особенности Зайцев были великолепными переводчиками. Его биограф А. Х. Христофоров сообщает, что Зайцев перевел «Историю Крестьянской войны» Циммермана, «Историю Нидерландской революции» Мотлея, «Полную Всемирную историю» Вебера, «Левиафан» Гоббса, редактировал перевод «Всемирной истории» Шлоссера, где он с X тома сменил Чернышевского.

Деятельность по переводу и изданию книг, пропагандирующих революционные и социалистические идеи, была, по существу, наряду с журнальной трибуной еще одной формой пропаганды и выработки революционно-демократического самосознания. Можно предположить, что издательское дело, затеянное в 1865 году Зайцевым, Ножиным, Соколовым и Сулиным, влилось в «издательскую артель», возникшую на базе книжного магазина князя Голицына и братьев Яковлевых. Если первая часть первого тома «Истории Нидерландской революции» Мотлея вышла как «изда-

ние Сулина», то весь первый том Мотлея полностью, куда вошел и первый выпуск его, был издан уже «книжным магазином Яковлева».

Дружба Сулина с Яковлевым и Голицыным привлекла самое пристальное внимание III Отделения. В деле «О ссыльнопоселенце Якове Сулине» (а Сулин в 1866 году был отправлен в ссылку в Нарым за старые грехи — за связь с обществом «Земля и воля») говорится: «Сулин имеет в СПБ вкладочный капитал в бывшей библиотеке Василия Яковлева, а ныне перешедшей во владение князя Голицына... С библиотеки высылаются Сулину в Нарым дивиденды по 600 руб. серебром в год, на которые он живет, проводя время с ссыльными поляками». Из показаний Яковлева в том же деле явствует, что Сулин со своей гражданской женой Сошальской и князь Голицын жили в помещении библиотеки, а «некоторое время... жил в одной из комнат Новиков, с которым я познакомился через Сулина».

По-видимому, через Сулина с князем Голицыным и Яковлевым близко сошлись Зайцев и Ножин — не случайно, когда потребовалось срочно оформить фиктивный брак Вареньке Зайцевой, свою помощь предложил именно князь Голицын. Ножин и Зайцев, а также их друзья Ведерников, Лебедев, Ф. Орлов и другие были постоянными посетителями библиотеки Яковлева.

Книжный магазин Яковлева и Голицына привлекал внимание III Отделения не случайно. Именно здесь в 1865—1866 годах группировалась радикально настроенная молодежь.

По свидетельству М. Сошальской, которая работала библиотекаршей у Яковлева, «в библиотеке каждодневно в 4 часа пополудни собирался весь цвет литераторской молодежи обоих полов, и здесь она познакомилась со всей передовой братией, но сама не участвовала ни в одном обществе, а, напротив, некоторых отговаривала от участия».

В деле III Отделения «О вредном направлении некоторых журналов и о лицах, в них участвующих», где исследовалась «та общественно-литературная среда, в которой способна получить развитие мысль о цареубийстве», говорится: «Место постоянных собраний сотрудников и сторонников «Русского слова» и других упомянутых изданий по преимуществу книжный мага-

зин бывший Яковлевых, ныне князя Голицына... Один из Яковлевых и князь Голицын – недавние лицеисты, примыкающие к оставшейся после Серно-Соловьевича компании».

В деле III Отделения «Об отставном титулярном советнике Яковлеве» хранится «справка», помогающая нам лучше представить лицо владельца этой библиотеки: «Яковлев не раз обращал на себя внимание как человек, в высшей степени зараженный духом нигилизма и противоправительственным направлением, но за неимением юридических доказательств не представлялось никакой возможности к изобличению его; открыв книжный магазин с особою читальнею, Яковлев сделал его местом сборища нигилистов, нигилисток, неслужащего и ничего не делающего народа, собирающегося туда под предлогом чтения книг и газет. В качестве приказчицы в магазине некоторое время находилась известная нигилистка Энгельгардт...»

Особую тревогу III Отделения вызвала как раз попытка Яковлева, Сулина, Голицына и Лаврова создать при книжном магазине на кооперативных началах «издательскую артель». Она должна была объединить около двух десятков революционно настроенных людей. «Библиотека для чтения Яковлева, – говорится в том же деле, – служила местом сходки для издательской артели, не разрешенной правительством; лица, составлявшие эту артель, входили в библиотеку поздно вечером, с черного хода; о заседаниях своих составляли протоколы и оставались там до 3 и 4 часов утра».

Состав участников этой артели и наиболее частых посетителей библиотеки, а также деятельность ее были таковы, что не могли не вызывать подозрений у III Отделения. Нельзя не присоединиться к выводу исследователя Э. С. Виленской, что, судя по имеющимся данным о деятельности артели, а также по ее связям с ишутинцами, а главное – по составу участников (абсолютное большинство которых известно своей причастностью либо к подполью предыдущих лет, либо к революционному движению конца 60 – 70-х годов), «издательская артель» вместе с книжным магазином служила внешним прикрытием для объединения революционных элементов Петербурга, а возможно, скрывала за собой петербургский революционный центр.

По данным III Отделения, в число актива библио-

теки Яковлева и Голицына входили лица, группировавшиеся вокруг Ножина и Зайцева, – прежде всего сам Ножин, Зайцев, его сестра, по фиктивному браку – княгиня Голицына, Я. Сулин, Ф. Орлов, Новиков, Лебедев, Ведерников. Несколько позже все они – Зайцев, Ведерников, Лебедев, Соколов, Филитер Орлов и другие – оказались в крепости по подозрению в принадлежности к революционной организации ишутинцев, из среды которой вышел Каракозов. Как известно, революционная «организация» ишутинцев возникла и работала в Москве во второй половине шестидесятых годов. В Петербурге 1865–1866 годов также существовало тайное общество, в той или иной степени организационно оформленное, примыкавшее к кружку ишутинцев в Москве. Главной фигурой этого общества был И. А. Худяков. По свидетельству Худякова, Ножин также был членом этого общества. К ближайшему окружению Худякова можно отнести почти весь кружок лиц, группировавшихся вокруг Ножина и Зайцева.

В своих показаниях 25 апреля 1866 года Худяков сообщил, что еще в декабре 1865 года Ишутин информировал его о тайном революционном обществе в Москве и поручил организовать такое же общество в Петербурге, указав на А. И. Никольского и Н. Д. Ножина как на его участников. Он говорил, что организация в Петербурге еще не составилась, что было «только начало общества, и далее оно не распространилось».

Помимо Ножина, Худяков назвал еще Андрея Фортакова, а также Ведерниковых (мужа и его гражданскую жену Е. В. Гололобову), Лебедевых, Комарову, Зайцева, Печаткина. Он заявил: «Лица эти, хотя и разделяют революционные убеждения (кроме А. Лебедева), но о существовании общества (за исключением Ножина) не знали».

О принадлежности Ножина к революционному обществу Худяков мог говорить смело, без опасения подвести его: он умер 3 апреля 1866 года, за день до покушения на царя. Если верить медицинскому заключению, которое делали его же товарищи, Ножин умер от тифа. В черновой рукописи «Опыт автобиографии» Худякова, где рассказывается об ожидании ареста после выстрела Каракозова, есть загадочная фраза: «Н. отравился. Склянка». В обстоятельствах внезапной

смерти Ножина до сих пор много загадочного. В обстоятельствах его жизни также далеко не все ясно. Бесспорно одно: революционность убеждений этого «известного нигилиста» той поры. «Ножин был фанатик, человек, порвавший ради своих убеждений с семьей, с блестящей карьерой, со своим кругом, — характеризует Ножина его современник. — Он был одним из тех людей, которые знают одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Этой страстью для Ножина была революция.

Ножин учился за границей, в Гейдельберге, где был дружен с известным гарибальдийцем Львом Мечниковым, с будущим мужем сестры Зайцева Якоби, который во время Польского восстания был командиром отряда повстанцев, с сыном Герцена, с Николаем Курочкиным, встречался с А. И. Герценом и Бакуниным. «Мы почти поголовно были социалистами и даже коммунистами, мечтали об обращении крестьянской общины в фаланстер, ненавидели всей душой русское правительство, зачитывались «Колоколом», «Полярной звездой», боготворили Герцена», — вспоминает один из друзей Ножина по Гейдельбергу. Таковы были убеждения Ножина, когда он в конце 1864 года вернулся из-за границы. Будучи человеком «брызжущего ума, сверкающей фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по биологии)», — так характеризовал его будущий публицист «Отечественных записок» Михайловский, сотрудничавший вместе с Ножиным в «Книжном вестнике», Ножин сразу же занял главенствующее положение в дружеском кружке.

В правительственном сообщении по делу Каракозова, написанном лично Муравьевым, Худякову вменялось в вину и то, что он «состоял в сношениях с социалистическим кружком крайнего нигилиста Ножина (умершего в апреле этого года), который находился в связи и переписке с заграничными агитаторами». III Отделение детальнейшим образом исследовало круг знакомых Ножина — в фондах его хранится объемистое дело «О кружке знакомых Ножина», в котором говорится: «Что касается лиц, из которых состоял круг друзей и знакомых Ножина, то по следствию оказалось, что в более близких с ним отношениях находились: бывший студент Варфоломей Зайцев, вольнопрактикующий врач Николай Курочкин, сотрудники

«Книжного вестника» Николай Михайловский, корректор Иосиф Згоржельский, дворянин Иван Ведерников, слушатель технологического института Александр Лебедев и бывший студент Филитер Орлов... С начала января месяца 1866 года Зайцев жил с Ножиным в одном доме по Итальянской улице и был с ним очень дружен, виделся очень часто, особенно последнее время».

Допросы Зайцева, когда он сидел в Петропавловской крепости (он был арестован 28 апреля 1866 года), были подчинены одной задаче: выяснению его взаимоотношений с Ножиным и через последнего — с революционным подпольем конца шестидесятых годов. Собственно говоря, и арестован-то он был, равно как и Н. Соколов, Н. Курочкин, Ф. Орлов, «по случаю знакомства и сношений его с коллежским советником Ножиным, который подозревался в преступных сношениях с бывшим домашним учителем Ив. Худяковым».

Особенно интересовал III Отделение такой факт: в январе 1866 года на квартире у Ножина был вечер, на котором присутствовало около тридцати гостей. В их числе Н. Курочкин, В. Зайцев, Ведерников, Михайлов, Згоржельский, Лебедев и двадцать с лишним кадетов Морского корпуса. Муравьев был уверен, что это сборище не было случайным и имело конспиративные цели. Однако показания Зайцева, Курочкина, Ведерникова и всех остальных арестованных были таковы, что комиссия Муравьева так и не получила никаких фактов, которые уличали бы Зайцева, Н. Курочкина и других в принадлежности к подпольной революционной организации. Вот почему комиссия кн. Муравьева была вынуждена 28 августа 1866 года освободить В. Зайцева и его товарищей из-под ареста, оставив их тем не менее «под бдительным негласным наблюдением полиции». В нашем распоряжении нет данных, которые позволяли бы документально утверждать, что Зайцев принадлежал к кружку ишутинцев в 1865—1866 годах. Но круг его друзей этой поры и, в частности, тесная дружба с Ножиным, который, бесспорно, был членом худяковского кружка, так же как дружба с Сулиным и Гольц-Миллером в студенческие годы, говорит о многом. Характер отношений Зайцева с Ножиным был таков, что невозможно предположить, будто Зайцев не знал о подпольной рево-

люционной деятельности своего самого близкого друга тех лет. Я уверен, что дальнейшее исследование деятельности ишутинцев даст в отношении Зайцева, Ножина и Сулина, равно как и в отношении библиотеки Яковлева и Голицына, много неожиданного.

Разгром революционных кружков в 1866 году, плотная завеса реакции, опустившаяся после каракозовского выстрела на страну, приводили Зайцева в отчаяние. Он выразит эту свою боль, свою ненависть к самодержавию в блистательной статье «Положение русской прессы», которую напишет сразу же после того, как ему удастся вырваться в эмиграцию в 1869 году.

Статья эта, написанная по свежим впечатлениям последних лет жизни на родине, беспощадно правдива. По словам критика, Россия шестидесятых годов представляет собой «невиданное нигде явление самой кровавой и дикой реакции, наступившей без предшествовавшей революции». Он рассказывает читателям об арестах, ссылках и преследованиях, которые безостановочно продолжаются все пореформенные годы в России, — и за все эти девять лет, за исключением каракозовского выстрела, «никому не случилось слышать ни о каком малейшем факте, который можно было бы считать побудительной причиной хотя бы к одному из тех бесчисленных гонений... последовательный ряд которых уже 9 лет составляет всю историю русского общества. По всем дорогам российского царства непрерывно скачут тройки с жандармами, уносящие нашу молодежь гибнуть в разных захолустьях. Все тюрьмы, казематы, кутузки, остроги постоянно переполнены несчастными, большею частью тщетно ломающими себе голову, чтобы догадаться о причине своего томления. Всякие полгода назначаются новые следственные чрезвычайные комиссии, и члены каждой расторопностью и проницательностью затмевают славу своих предшественников...»

За этими полными горечи словами стоит трудный личный опыт Зайцева.

Особенно тяжелыми были для критика последние годы пребывания в России, когда печататься стало практически невозможно, когда он лишился своих самых близких друзей — Ножин погиб, Соколов и Сулин были в ссылке, мать и сестра за границей. Из тюрьмы он вышел с тяжелым ревматизмом, отозвав-

шимся вскоре на сердце, и болезнью глаз. Больной и разбитый физически и нравственно, он по выходе из крепости был обречен на ужасную жизнь. Как свидетельствует жена, по освобождении из крепости полиция не желала оставлять его в покое и отравляла ему жизнь постоянными обысками и вызовами по малейшему поводу. Статьи его либо запрещались цензурой, либо просто не принимались в редакциях. Да и журналов, в которых Зайцев мог бы печататься, не существовало: «Современник» и «Русское слово» были закрыты – «с нарушением всех, собственного изделия, правил», как писал Зайцев в статье «Положение русской прессы»; «Книжный вестник» умер естественной смертью, в «Дело» после ссоры с Благосветловым дорога Зайцеву была закрыта. Лишенный возможности пропагандировать свои мысли в прессе, преследуемый полицейским надзором, разбитый физически и нравственно, он вынужден был эмигрировать. Еще накануне ареста Зайцев подал свое первое прошение о выезде за границу. Он был арестован 28 апреля 1866 года, а 29 апреля санкт-петербургский генерал-губернатор граф Суворов обратился в III Отделение с запросом «о выдаче заграничного вида Зайцеву». Естественно, в «заграничном виде» Зайцеву было отказано.

11 мая 1867 года он вновь ходатайствует о разрешении отправиться за границу. По свидетельству жены, управляющий III Отделением генерал Мезенцев прямо заявил явившемуся к нему для объяснений Зайцеву, что, «пока он жив, Зайцев не получит паспорта». За Зайцевым было установлено неусыпное наблюдение. Стоило ему выехать в деревню к своей будущей жене, как генералу Мезенцеву немедленно летит донос штабс-офицера корпуса жандармов Тверской губернии:

«На основании сообщения с.-петербургского обер-полицмейстера, тверской губернатор уведомил меня, что бывший студент с.-петербургской Медико-хирургической академии Варфоломей Зайцев, состоявший по высочайшему повелению под бдительным негласным наблюдением полиции за заявление учения о нигилизме, ...в конце апреля выбыл из С.-Петербурга в сельцо Лялино Вышневолоцкого уезда.

Вышневолоцкий уездный исправник на просьбу мою уведомить о последствиях его наблюдения за Зайцевым во время пребывания его в селе Лялино

27 мая за № 26-м сообщил, что Зайцев, пробыв некоторое время в том сельце у владелицы оного Анны Григорьевны Кутузовой и женясь на ее дочери, в последних числах того же апреля отправился обратно в С.-Петербург с целью каким-либо способом отправиться за границу...

В предположении, что поездка Зайцева за границу может быть воспрещена и что он для приведения в исполнение своего намерения может каким-либо способом обойти установленный для таких поездок порядок, я имею честь довести до сведения Вашего превосходительства вышеизложенные сведения...»

Таким образом, генерал Мезенцев был заблаговременно предупрежден о намерении Зайцева выехать за границу. Поняв, что Мезенцев и в самом деле не выпустит его, Зайцев пишет прошение самому шефу жандармов, графу Шувалову, и добивается в ноябре 1867 года личной встречи с ним, где, ссылаясь на «опасную болезнь матери», просит об «увольнении за границу». На его прошении – виза карандашом: «Узнать, где живет мать Зайцева, и потребовать у нашего консула справку о ее болезни». И чуть ниже – вторая виза: «Можно будет уволить за границу, но наблюдать за ним первое время после возвращения».

Наконец-то 26 декабря 1867 года разрешение Зайцеву на получение паспорта было дано. Но Зайцев не успел получить его. Ровно через два дня III Отделение направляет Шувалову «копию письма без подписи от 24 декабря 1867 года, к г-же Якоби, в Женеву» с припиской: «Судя по почерку, письмо это писано Зайцевым, уже известным III Отделению. Оно выражает отчаянное разочарование и возмутительную безнравственность чувства». Приписка перечеркнута визой: «Прошу приостановить разрешение выезда за границу». Письмо и в самом деле было написано Зайцевым своей сестре, которая вышла за границей замуж за доктора Якоби, и матери, которая в 1865 году уехала к дочери.

Злополучное письмо это полно выражает внутреннее состояние Зайцева: «Я долго не писал вам, друзья мои, в приятной надежде увидеть вас. Я сделал все, что можно было, но все оказалось напрасно. Куда тут ехать к вам, когда, как я недавно узнал, даже мое пребывание в Лялине считается опасным для государства, так что вся земская полиция была поднята на ноги ис-

кать в Вышневолоцком уезде якобы посеянных мною злых начал! Не знаю, много ли нашли плевел; полагаю, что жатва была нещедра и необильна, так что далеко не стоила потраченной бумаги. Но тем не менее вредоносность моя дознана, и признано, что дать мне повидаться с вами – значит подвергнуть опасности священные начала гражданственности, собственности, религии и т. д. Опять, и на сей раз уже в казусном месте, спрашивали адрес маменьки – не знаю зачем.

А между тем мне очень хотелось побывать у вас, чтобы поговорить с тобой, моя милая девочка, потому что я тебя все представляю себе прежней Варенькой, девочкой дорогой. Я хотел тебе сказать, что не ожидал от тебя такой слабости, какую ты теперь высказываешь. Вы оба пишете, что потеряли в жизни цель и что теперь ни о чем заботиться не хотите [1]. Друзья мои, если бы вам было по 45 лет, вы были бы правы, но в 20 лет так говорить – это верх малодушия... Мне кажется, я на вашем месте, как и на своем, потеряй я все добрые цели, мог бы просуществовать всю жизнь одними злыми. Я вообще не понимаю горя, это какая-то мертвечина; горе – чувство старости или тупоумия; но для свежего и умного человека, если бы даже вовсе не оставалось кого любить, есть отрада, цель и своего рода счастье в ненависти и злости. И притом для ребенка смерть есть самое лучшее, что с ним может случиться: ведь будь он жив, он был бы или подлец, или мученик. Ты желала бы для Оли своей судьбы? По крайней мере я не пожелал бы своей своему сыну, если таковой будет. Вот для кого-нибудь из нас умереть неприятно: остается неудовлетворенным какое-то смутное чувство справедливости: что же это такое, в самом деле, мучились, мучились и ни до чего не домучились – так и подохли...

Когда я сидел в крепости, на меня находили неприятные думы: мне иногда казалось, что, верно, все вы сгибли. Если бы это оказалось правда, я по выходе из крепости первым делом отправился бы в Неву; благо было еще тепло! У меня созрел на этот счет решительный план. Но, представьте себе, я теперь часто с сожалением думаю, отчего это так не случилось?»

Письмо это, столь красноречиво выявляющее всю меру отчаяния Зайцева в конце шестидесятых годов,

[1] У молодых супругов умер ребенок.

отодвинуло выезд его за границу на целых два года. Только благодаря профессору С. П. Боткину, от которого он получил свидетельство о болезни, ему удалось в 1869 году выхлопотать заграничный паспорт. Но и в самый последний момент, как вспоминает его жена, власти попытались помешать Зайцеву выехать за границу. На другой день после получения паспорта к Зайцеву явился пристав. Обманом, якобы ради проверки, он затребовал паспорт и унес его. Снова пришлось хлопотать две недели и опять добывать паспорт — уже из секретного стола петербургского градоначальника. Только 9 марта 1869 года Зайцев вновь получил паспорт и сразу же выехал в Париж.

Большую часть времени в течение этих двух трудных для него лет Зайцев вместе с женой Еленой Евграфовной провел в Лялине, в доме ее матери Анны Григорьевны Кутузовой, у которой были еще четыре дочери: Олимпиада, Александра, Надежда и Анна Кутузовы. В Калининском областном архиве до сих пор хранится дело «Об учреждении секретного надзора» вышневолоцкой полиции за Варфоломеем Зайцевым. Судя по донесениям полицейских чинов, Зайцев, не получив разрешения на выезд за границу, вновь вернулся в Лялино в начале июня 1867 года и жил там до февраля 1868 года, а в мае 1868 года вновь выехал из Петербурга в Вышневолоцкий уезд. Последнее донесение исправника о том, что Зайцев «из сельца Лялино выбыл в город Петербург, откуда весной настоящего года отправился во Францию», помечено 30 июля 1869 года — четыре месяца спустя после отъезда Зайцева за границу. Получив, видимо, за халатное отношение к своим обязанностям выговор, вышневолоцкий исправник призвал к ответственности пристава второго стана, в ведении которого было сельцо Лялино. В деле хранится примечательный документ — оправдательный рапорт пристава уездному исправнику, который дает возможность представить, как жил и чем занимался Варфоломей Зайцев в Лялине и каким образом осуществлялся за ним полицейский надзор.

«На предписание Вашего Высокоблагородия от 13 сего августа 1869 г. за № 91, — рапортовал пристав второго стана Вышневолоцкого уезда, — честь имею донести, что студент Зайцев в прошлом году раза два выбывал из сельца Лялина, но в оба раза весьма на

короткое время; потом в конце октября, по словам родственников, выбыл в Петербург также на короткое время, но не появляется по настоящее время. Осведомляясь о его прибытии, я всегда получал отзывы от родственников, что они его ждут и скоро будет, поэтому и не доносил о его выбытии, будучи со слов родственников в уверенности, что он скоро прибудет на постоянное жительство в с. Лялино, чему я давал веру собственно потому, что студент Зайцев действительно стал обзаводиться при сельце Лялино оседлостью, как-то: выстроил для своего жилища осенью же прошлого года вчерне дом и намерен был заняться и дальнейшею отделкою, что положительно меня убеждало в том, что он действительно осваивает для себя при сельце Лялино жилище. Еще, кроме постройки дома, он у шурина своего И. Кутузова скупил и все имение, которое потом передал жене и свояченицам, – одним словом, действовал как бы местный житель, всех же его истинных мыслей и предначертаний никак не возможно было знать, тем более что обо всем предписывалось иметь негласное наблюдение и все, что я мог узнать об нем, узнавал из посторонних разговоров с родственниками и другими людьми и как не давал знать, что все сведения мне нужны об нем для представления высшему начальству и этим путем я надеялся получить больше верных сведений, но оказалось иначе: в разговорах родственников Зайцева (по личным), при всем том, что я с ними знаком, не было искренности, чем я и вовлечен был в ошибку. Неискренность их была, я полагаю, потому, что уже им известно стало каким-либо образом об учреждении над Зайцевым надзора. Более правильного надзора я учредить не в состоянии, потому что Вашему Высокоблагородию известно, какие лица избираются обществами в полицейские служители. Объяснив все по справедливости, покорнейше прошу Вас снизойти к моей ошибке в отношении недоноса о выбытии Зайцева».

Надо сказать, что неприятности для пристава второго стана и вышневолоцкого уездного исправника, связанные с домом Кутузовых, только начинались. Со времени «недоноса о выбытии Зайцева» вполне добропорядочное имение это, принадлежащее старинному, из времен Александра Невского, роду Кутузовых (младшая ветвь этого рода – знаменитые Голени-

щевы-Кутузовы), долгие годы не выходило из-под неусыпного ока местной полиции. Дом Кутузовых на берегу Лялиного озера, точнее – два дома: один – большой, построенный еще в середине XVIII века; и второй, построенный Зайцевым, – стоят и поныне. Они хранят немало исторических тайн.

В 70–80-х годах XIX века внимание местной полиции к Лялину приковывала прежде всего Олимпиада Евграфовна Кутузова. Вслед за сестрой она уехала за границу к Зайцевым и там вышла замуж за итальянского революционера, сподвижника Бакунина графа Кафиеро. В 70-е годы Олимпиада Кафиеро, вначале вместе с мужем, а потом и одна, дважды приезжала в Лялино, с ноября 1877 года находилась под негласным надзором полиции «за прикосновенность к делу о преступной пропаганде», в 1879 году по этапу, как «иностранка», была выдворена из Лялина и отправлена в сибирскую ссылку, откуда бежала и в середине 80-х годов вновь оказалась в Лялине – уже под «гласным полицейским надзором».

В июньском номере журнала «Голос минувшего на чужой стороне» за 1928 год опубликованы «Исторические миниатюры» бывшей актрисы Александринского театра М. Карминой-Читау. В одной из миниатюр, озаглавленной «Жена пирата», рассказывается, как, приехав в 1906 году на Лялино озеро, М. Кармина-Читау услышала, что по соседству «живут стародавние помещицы, четыре сестры Кутузовых... такие... нехорошего поведения: в церкви не бывают. А одна из них – жена пирата!».

Мясник, развозивший мясо по окрестностям, подтвердил, что действительно в Лялине круглый год проживают четыре пожилых сестры, и с презрением прибавил: «Очень бедные, мяса не берут, и никто из настоящих господ у них не бывает». Он же рассказал, что одна из сестер долго проживала за границей и раз как-то, давно это было, приехала в Лялино с мужем, да таким чудным: по-русски ничего не знал, а звали его Глафирой. Потом Глафира с женой уехал, и она снова появилась через некоторое время в усадьбе, уже одна.

Позже М. Кармина-Читау попала в этот дом. «В их саду было царство сирени, она беспрепятственно разрослась так, что заглушила все вокруг, и так убог казался прятавшийся за ней разрушающий-

ся деревенский дом, растрепанный как старое воронье гнездо. И обитательницы усадьбы показались нам на первый взгляд под стать своему гнезду – все на одно лицо, все в черном и на ворон похожи... Впрочем, первое впечатление было верно только по отношению к одной из сестер – Александре Григорьевне [1], – длинношеей, похожей на птицу особе. Она же одна, пожалуй, и подходила к типу нигилистки. Другая сестра (Елена Евграфовна Зайцева. – *Ф. К.*) была меньше всех ростом, с лицом, сохранившим краски и миловидность молодости, с приветливыми голубыми глазами и изящными манерами. Третья из сестер Кутузовых, самая молодая, Олимпиада Григорьевна, и монашеским покроем своей черной одежды, и видом, и повадками более всего напоминала раскольничью начетчицу... Обстановка комнаты, где нас приняли, была донельзя убогой, никаких следов «прежнего величия» в ней и помину не было. Но книги виднелись повсюду, а на стенах висели большие портреты: Белинского, Герцена, Бакунина...».

Оказалось, что пиратом окрестили в Лялине не кого другого, как известного анархиста графа Кафиеро, на средства которого была устроена бакунинская коммуна в Локарно, где единственной русской женщиной и была Олимпиада Кутузова, выданная самим Бакуниным замуж за Кафиеро. «Кафиеро с женой действительно приезжали на лето в Лялино. Добродушный, услужливый и веселый, он сошелся со всеми, до крестьян включительно. Близость дошла до того, что анархист даже крестил детей у лялинских мужиков. Мудреная же фамилия Кафиеро была немедленно переделана ими в Глафиру».

М. Карминой-Читау показали достопримечательность этого дома – старый диван с вылинявшей красной обивкой.

«– Этот диван называется «диваном Софьи Перовской». Слыхали о ней? – добродушно «съязвила» Александра Григорьевна...

Александра Григорьевна рассказала, – пишет М. Кармина-Читау, – что Перовская приезжала раз летом в Лялино отдыхать. (Я забыла, в котором году) Она действительно отдыхала: ходила с увлече-

[1] Ошибка мемуариста: отчество Александры Кутузовой, как и остальных ее сестер, Евграфовна.

нием за грибами и часами лежала на диване, читая французские романы. Книги ее уцелели в Лялине».

Чуть ниже М. Кармина-Читау замечает: «Должно быть, деревня Лялино служила местом отдыха для иных из революционной молодежи. Там приходилось видеть, например, юного Синегуба, впоследствии казненного, и других».

Кармина-Читау не могла знать, что «подходившая к типу нигилистки» Александра Евграфовна, старшая из четырех сестер Кутузовых, рассказывавшая о приезде Софьи Перовской в этот дом, и принимала в качестве хозяйки дома известную революционерку. И не только ее. В этом доме в 1870—1871 годах жил находившийся под негласным надзором полиции известный писатель-демократ Василий Слепцов. В этом же доме в 1874 году скрывался от полиции «пропагандировавший народ» в соседнем Торжокском уезде Сергей Кравчинский. Александра Кутузова сама была участницей революционного движения и с июля 1870 года находилась под негласным полицейским надзором «за посещение студенческих сходок», а с 1874 года — еще и «за прикосновенность к делу о преступной пропаганде». В течение всех 70-х годов по преимуществу в летние месяцы дом на Лялином озере заполнялся ее друзьями-«нигилистами», о чем говорят многочисленные донесения полиции, крайне встревоженной этим обстоятельством.

«В сем Лялине Подольской волости близ Зареченской (Академической) станции Николаевской железной дороги в имении дочери штабс-капитана Александры Евграфовны Кутузовой с мая месяца начинают появляться лица мужского и женского пола, которые своим странным образом жизни и непонятным поведением обратили внимание полиции, — говорится в одном из донесений вышневолоцкого исправника тверскому губернатору. — День превращают в ночь, а ночь в день, иначе: день спят, а ночь проводят то на озере, то в лесу, ...в котором иногда бывают даже суток по двое... Женщины одеваются... в мужскую рубашку и шаровары. Своим вольным образом жизни они удивляют местных жителей и ночными пениями песен накануне праздников и воскресных дней поселили негодование. Жизнь ведут свободную, ...едят из одного котла, и вообще во всем замечается коммунизм. Все эти неизвестные лица приезжают и уезжают

по Николаевской ж. д., проживая в Лялине по 2 и 3 дня, так что нет возможности дознать о личности этих людей».

В 1877 году полиция произвела в Лялине обыск, обнаружив при этом много запрещенной политической литературы и оружие. Через три года, перед проездом Александра II по Тверской губернии, полиция учредила за усадьбой тщательное наблюдение и слежку... Власти считали имение Кутузовых не только пристанищем «нигилистов», но и центром антиправительственной деятельности.

По свидетельству последней из Кутузовых, Елены Федоровны Кутузовой, приходившейся племянницей четырем сестрам (она умерла в 1942 году в Доме ветеранов сцены в Ленинграде и много рассказывала об истории кутузовского дома местному учителю А. Н. Раменскому, купившему у нее после революции этот дом), в Лялине находили приют Желябов, Вера Засулич, Г. И. Успенский, а в 900-е годы – Комиссаржевская, Чехов, Горький...

Сам Аркадий Николаевич Раменский, который с начала 20-х годов жил в бывшем доме Кутузовых и умер весной 1968 года, принадлежал к старинному учительскому роду. В течение двухсот лет учителя Раменские подвижнически трудились на ниве русского народного просвещения. Один из Раменских – Алексей Пахомович, дядя Аркадия Николаевича, – долгое время учительствовал в Симбирске, был другом и помощником Ильи Николаевича Ульянова, отца В. И. Ленина. О дружбе Алексея Пахомовича Раменского с Ильей Николаевичем Ульяновым подробно рассказано в книге А. Никитина «Директор народных училищ А. П. Раменский» (Пермь, 1965).

Недавно были обнаружены и опубликованы в «Красной звезде» от 23 ноября 1968 года воспоминания учительницы А. Повецкой, которые содержат дополнительные сведения о дружбе А. П. Раменского с И. Н. Ульяновым.

А. Повецкая воспитывалась в семье своего дяди, инспектора симбирской гимназии И. Я. Христофорова, и с детства хорошо знала Алексея Пахомовича Раменского. В воспоминаниях, написанных ею в 1937–1940 годах, А. Повецкая характеризует А. П. Раменского как «выдающегося педагога дореволюционной России», «близкого друга чувашского просветите-

ля Яковлева», который и «познакомил Раменского с Ильей Николаевичем Ульяновым», и далее продолжает:

«Летом этого года была в Старице, Торжке, Волочке и навестила Аркадия Николаевича Раменского. Теперь он живет в Лялине... Нахлынули новые воспоминания. Живу в Саблине, у старушки, которая хорошо помнит семью Ульяновых, живших здесь в конце века. Помнит мать Ленина, его сестер, Елизарова[1].

Проезжая мимо станции Березки, мне вспомнился рассказ Алексея Пахомовича Раменского в Симбирске о его последней встрече с матерью Ленина. Он очень уважал Марию Александровну и говорил: «Вот настоящая мать своих детей, готовая на любые жертвы...»

В первые годы германской войны, во время кратковременной поездки в Петроград, он намеревался навестить племянника, Аркадия Николаевича, под Волочком. Алексей Пахомович узнал, что около Бологого отдыхает семья Ульяновых, и навестил их[2].

Мария Александровна была уже стара и очень скучала о сыне. С нею жила дочь Анна Ильинична (подруга жены Раменского), которая сказала, что мать волнуется о Владимире Ильиче, давно нет писем и что письма должны доставить из-за границы, но за ними надо ехать в имение Кутузовых под Волочок. Алексей Пахомович предложил свои услуги проводить ее к Кутузовым. Эту семью знал еще его предок, друг художника Венецианова, и сам он не раз бывал у Кутузовых

---

[1] П. П. Елизаров в своей книге «Марк Елизаров и семья Ульяновых» сообщает по этому поводу: «8-го июля 1904 года Анна Ильинична была освобождена (из тюрьмы. – *Ф. К.*), ей разрешили жить в Саблине под особым надзором полиции. Сюда же вскоре приехала Мария Ильинична вместе с Марией Александровной, и таким образом все семейство вновь собралось вместе... Владимир Ильич интересовался жизнью на даче, в одном из писем он спрашивал: «Хороша ли дача в Саблине? Отдыхаете ли там, как следует? Какие виды на дальнейшее? Здорова ли мама? Как чувствуют себя Анюта и Маняша после тюрьмы?.. Крепко обнимаю дорогую мамочку и шлю всем привет!»

[2] В 1914 году семья Ульяновых, кроме Владимира Ильича и Марии Ильиничны, отдыхала в деревне Лыкошино на речке Валдайке под Бологим. В книге П. П. Елизарова говорится об этом времени: «Большую радость для семьи доставляли письма Владимира Ильича, которые он присылал из-за границы. Они вызывали живейший интерес и читались всеми независимо от того, кому были адресованы...»

с изобретателем радио Поповым, Левитаном, Чеховым и своим сыном.

Дав телеграмму племяннику, Алексей Пахомович и Анна Ильинична приехали к нему в Березки, но ночевали только ночь, так как там был губернатор и много шпиков. Наутро А. Н. Раменский перевез их через озеро на лодке к Кутузовым.

Алексей Пахомович был удивлен, узнав, что Анна Ильинична и Кутузовы давно знакомы и что сюда приезжают Ульяновы. Пробыв несколько дней и встретив нужного человека, они уехали от Кутузовых, а в Бологом Алексей Пахомович простился с Анной Ильиничной и через Рыбинск по Волге и Каме уехал в Пермь.

И вот я теперь у Аркадия Николаевича в доме Кутузовых в Лялине. Он мне показал угловую комнату, где принимали именитых гостей и где на старинных зеленоватых стеклах были написаны автографы Кутузова, Багратиона, Ермолова, Раевского, Державина, Языкова, Лажечникова и многих других. А. Н. Раменский пояснил, что в доме Кутузовых была традиция оставлять такие автографы на память. Он показал мне старинную книгу дворян Кутузовых, где, кроме родословных, были сделаны краткие записи о посещении их дома передовыми людьми России. В записях XVIII века записаны Новиков, Болотов и др., о приезде Багратиона после Аустерлица. Здесь – о приезде Льва Толстого на охоту, имена Некрасова, Белинского, Бакунина, Унковского... Эти записи о некоторых посетителях Кутузовых хранились в глубокой тайне.

Наконец, Аркадий Николаевич показал мне охранное свидетельство Совнаркома за подписью Ленина, где указывалось, что семья Кутузовых берется под охрану Советской власти.

Оказалось, что А. Н. Раменский ездил в Москву, к Калинину, по поводу Кутузовых. За эту заботу последняя владелица дома, Елена Федоровна Кутузова, при отъезде из Лялина подарила ему эту историческую книгу – летопись своей семьи, а портреты Некрасова, Бакунина, Белинского, Герцена подарила школам.

И как приятно было узнать, что этот исторический дом... был связан с семьей Ульяновых».

Нет спора, мемуарные свидетельства М. Карминой-Читау, Повецкой и А. Н. Раменского требуют

тщательной проверки и документального уточнения. Ясно одно: история дома Кутузовых на берегу Лялиного озера заслуживает дальнейшего исследования и изучения.

Хорошо послужил этот старый помещичий дом, выкупленный в 1868 году Варфоломеем Зайцевым и переданный «свояченицам», русскому освободительному движению!

В воспоминаниях М. Карминой-Читау сообщалось также, что Олимпиада Кафиеро работала тогда над воспоминаниями о своей революционной деятельности, особенно о коммуне Бакунина, о ее «быте». Позже ее воспоминания появились в «Голосе минувшего» и в «Былом». «Зайцева,— замечает мемуаристка,— поручила нам передать в редакцию «Былого» воспоминания своего мужа, и с ее слов я записала ее биографию».

Какова судьба этих воспоминаний? В журнале «Былое» воспоминаний Зайцева мы не обнаружили. Память, видимо, подвела М. Кармину-Читау. Воспоминания были опубликованы, но не в журнале «Былое», а в журнале «Минувшие годы» (ноябрь 1908 г.), и не Зайцева, но его жены. Они были обработаны дочерью критика Марией Варфоломеевной Зайцевой, которая также жила и умерла в Лялине, и назывались: «В. А. Зайцев за границей (по его письмам и воспоминаниям его жены)».

Толчком к написанию этих воспоминаний, очень важного документа о жизни критика за границей, послужила, должно быть, просьба библиографа А. Г. Фомина предоставить ему материалы для составления биографии В. А. Зайцева. Просьба эта содержалась в его письме к вдове критика, адресованном в деревню Лялино. Е. Е. Зайцева ответила вначале согласием, сообщив, что у нее есть только первый номер «Общего дела» за 1882 год, где напечатана биография Зайцева. «Списка статей о Зайцеве в русской печати у меня нет,— сообщала она А. Г. Фомину в январе 1908 года,— о нем так мало писали, почти ничего. Воспоминаний его также нет (ни о Бакунине, ни о Писареве, ни о Благосветлове). Но у меня есть список его статей в «Русском слове», «Отечественных записках» и проч. Даже статьи эти хранятся за малым исключением. Писем к Зайцеву от Шелгунова, Писарева, Некрасова и др. ничего не сохранилось, все приходилось переез-

жать, и все терялось и уничтожалось... Письма сохранились только от Антоновича за последнее время по делу издания «Истории Востока». «Есть еще письмо к Н. В. Шелгунову по поводу издания сочинений В. А. Зайцева... Мои воспоминания я начала, но мне довольно трудно. С тех пор столько пережито, многого не вспомнить».

Однако месяц спустя, 27 февраля 1908 года, Е. Е. Зайцева пишет А. Г. Фомину, сотрудничавшему в суворовском «Историческом вестнике», резкое и вполне определенное письмо:

«Прошу принять мое искреннейшее извинение в том, что своей необдуманной поспешностью ввела Вас как бы в обман, согласившись способствовать помещению биографии Зайцева в «Историческом вестнике». Теперь, возобновляя в памяти, совместно с родными, воззрения моего мужа и его отношение к направлению в литературе, я решила, что не должна способствовать помещению его биографии и проч. на страницах журнала, издаваемого А. С. Сувориным. При жизни Зайцев всегда говорил, что ни за что не станет выступать в печати, не согласующейся с его взглядами».

13 марта 1908 года, получив, видимо, ответ Фомина с возражениями и уговорами, вдова критика поспешила полностью прекратить переписку:

«Подтверждаю смысл моего последнего письма: не желаю способствовать помещению биографии Зайцева в журнале издаваемом Суворины (не входя при этом в оценку «заслуг этого почтенного журнала»). На упреки: «Вы считаете Вашего мужа Вашей собственностью, а не общественным достоянием» и т. п., скажу только, что не признаю своим «священным долгом» предоставлять материалы для биографии Зайцева и личные воспоминания о нем во что бы то ни стало, но признаю за собою право поступать по своему собственному уразумению. Об одном лишь сожалею и казню себя, что своей опрометчивостью ввела Вас в заблуждение; еще раз искреннейше прошу Вас меня в этом извинить. Переписку по этому поводу со своей стороны считаю прекращенной.

Елена Зайцева».

Крепко жил дух Зайцева, дух «святых» 60-х годов, в сердце этой женщины и ее сестер.

Воспоминания жены Зайцева, появившиеся все-таки в конце 1908 года, но не в «Историческом вестнике», а в журнале «Минувшие годы», дают нам возможность представить, насколько трудной для критика была жизнь за границей. Это были трудности и моральные и материальные, и все они были связаны прежде всего с отсутствием журнальной трибуны, с невозможностью печататься. Он мог существовать только переводами — переводил Лассаля, Вольтера, Дидро, Гоббса, — все оригинальные статьи, какие он пробовал посылать в ежемесячные журналы, как правило, не пропускались цензурой и часто пропадали. По поводу статей, которые Зайцев предлагал «Отечественным запискам», Салтыков-Щедрин так сказал жене Зайцева (она какой-то срок оставалась в России):

«Передайте Зайцеву, чтобы он не забывал, что у нас есть у Чернышева моста одно учреждение» (то есть цензура). Стоило Ловцову, редактору третьестепенного журнальчика «Архив судебной медицины» напечатать в третьем выпуске журнала за 1870 год статью Зайцева и Якоби «О положении рабочих на Западе с общественно-гигиенической точки зрения», где приводились в переводе и частично в пересказе обширные выдержки из «Капитала» Маркса, как журнал был закрыт, а Ловцов отстранен от редакторства. После закрытия «Архива судебной медицины» Зайцев продолжал эту свою работу и, как явствует из его письма Н. А. Некрасову от 8 октября 1871 года, предполагал продолжить ее публикацию в «Отечественных записках». «В редакции Вашей, — писал он Некрасову, — находится также глава моей работы «О положении рабочих на Западе», которую я просил бы передать той же особе (госпоже Зейдер. — *Ф. К.*), если она (т. е. глава) не может быть немедленно напечатана, так как она нужна мне для продолжения этой работы». Судя по этой статье, Зайцев работал над переводом по крайней мере отдельных мест из «Капитала» К. Маркса.

Н. А. Некрасов, будучи в Париже, заказал Зайцеву статью о «Второй империи», где критик разоблачал французскую буржуазию, однако и эта статья из-за своей остроты не была напечатана. И все-таки Зайцев

смог опубликовать в «Отечественных записках» статьи «Современная мораль» (1874, № 2), «Франсуа Рабле и его поэма» (1874, № 5), «Воскресение мертвых, или Тэн о революции» (1879, № 7—8). Наконец, «Отечественные записки» опубликовали его перевод воспоминаний гарибальдийца «Красная рубашка» во Франции». Тема эта была близка Зайцеву: в 1871 году во время франко-прусской войны его сестра с мужем, доктором Якоби, примкнули к гарибальдийскому отряду и отправились защищать революционную Францию. О походе этого отряда и повествуется в «Красной рубашке» во Франции». Сам выбор темы показывает, что лишения и трудности жизни не поколебали революционных устремлений Зайцева.

Литературный заработок Зайцева не мог обеспечить жизнь. Деньги приходилось добывать самыми различными способами — прежде всего частными уроками. Однажды Зайцев по примеру местных жителей решил даже заняться разведением шелковичных червей. В саду росли тутовые деревья — и Зайцев принялся за дело. «Но скоро оказалось, что труд ему не по плечу. Близорукий, рассеянный, неловкий в физических работах, он был совершенно прав, когда говорил, что перо — его единственное орудие». Заработав на коконах гроши, он бросил это занятие.

Еще в 1869 году В. Зайцев вступил в Интернационал. В 1870—1871 годах он жил в Турине и организовал там первую итальянскую секцию Интернационала. В это время завязывается его дружба с известным русским революционером, основателем анархизма М. А. Бакуниным. 14 ноября 1871 года Бакунин пишет Огареву: «К вам приехал Зайцев. Он, кажется, очень хороший человек».

Осенью 1872 года Зайцев поселяется в Локарно, где жил М. А. Бакунин. Вскоре они сблизились. Зайцев жил в одном доме с Бакуниным, писал под диктовку его «Воспоминания», которые довел до 1848 года; судьба их, к сожалению, неизвестна. В той борьбе, которая шла внутри Интернационала, Зайцев поддерживал Бакунина. Биограф Бакунина М. Неттлау, отмечает, впрочем, что при всех дружеских отношениях Зайцева с патриархом русского анархизма, он «не был принят во внимание как пропагандист и революционер» в бакунинской среде. И это понятно: как показывает его публицистика периода семидесятых годов,

правоверным анархистом-бакунистом Зайцев так и не стал.

К Бакунину Зайцева привела тоска по практическому революционному делу. Само имя Бакунина, его биография были окружены для многих в ту пору романтическим ореолом. Его местопребывание в Локарно, на границе Швейцарии и Италии, было не случайным: Локарно играло роль революционного центра, куда съезжались итальянские заговорщики для тайных совещаний с Бакуниным. Но не европейские, а прежде всего русские дела влекли Зайцева. Уже в 1870 году, сразу по приезде в эмиграцию, он ведет переговоры с Элпидиным об издании бесцензурного печатного органа в России. В связи с этим М. Элпидин пишет 1 сентября 1870 года П. Лаврову: «...Мы толковали с Зайцевым (что писал в «Русском слове») о необходимости иметь за границей орган (или газету), который бы давал какую-нибудь удобоваримую пищу русской публике, газету, бьющую на чисто политические вопросы, не залезая слишком далеко в социализм абстрактный... Ваше сотрудничество или редакторство было бы большой гарантией успеха журнала, хотя бы и не выставлено было имен».

Лавров, по-видимому, тут же ответил Элпидину, выразив некоторые сомнения в осуществимости этой идеи, на что Элпидин 9 сентября 1870 года писал: «Для журнала нужны две вещи, как вы говорите,— деньги и литературные силы. Совершенно верно. Но из этого не следует, что для журнала, издающегося за границей, нужны были преимущественно силы эмигрантские. Я не говорил и никогда не скажу, чтобы журнал был эмигрантский... В прошлом письме я указывал Вам, что Зайцев (живущий теперь за границей) с большой охотой принял мысль о журнале и обещал помочь всем, чем может. Доктор Белоголовый ручается, повторяю, за Елисеева, Курочкина, за некоторых из «Недели»...»

В 1870 году эта идея не осуществилась. Подобный орган под названием «Общее дело» возник лишь в 1877 году, и Зайцев принял в нем самое активное участие. А пока он жил вестями с родины, мучился отсутствием революционного движения в народе, своей оторванностью от России и от настоящего революционного дела. Его прогнозы на возможность революю-

ции в России в течение всей первой половины семидесятых годов были самыми мрачными.

И с каким же ликованием встретил он известие о выстреле Веры Засулич, который принял за начало нового революционного подъема.

«Терпит народ, терпит интеллигенция, терпит печать, терпит юстиция и ее прокуроры... и вот является 23-летняя русская девушка и смелой рукой разом срывает маску с тирании и воздает должное извергу. О героиня! Зачем ты родилась среди нас! Мы не достойны тебя!.. Ты Жанна д'Арк человеческого достоинства, мстительница поруганного человечества!.. Но нет, ты все же дочь нашей несчастной, нашей робкой, погрязшей в варварстве земли. И если эта земля могла создать тебя, то не все еще потеряно. Если нет у нас мужей, то есть женщины, которые спасут нас. Будь же благословенна, пославшая луч надежды на наше темное царство!» [1]

С нетерпением мечтал он о знакомстве с Верой Засулич, которая после оправдания ее судом присяжных скрылась из Петербурга и приехала в Женеву. В ожидании ее прихода он сильно волновался и принимал всех вновь появляющихся женщин за нее, к общему удивлению присутствующих, не привыкших видеть его в роли любезного кавалера, становился с ними крайне любезен и всячески ухаживал за ними. Когда пришла жена Сергея Кравчинского, он рассыпался в любезностях, долго принимал ее за Веру Ивановну, рассказывает жена Зайцева, и порывался поклониться ей в ноги. Когда недоразумение рассеялось, все очень смеялись. Наконец он ее дождался и повторял при том окружающим: «Неужели это не во сне я ее видел, неужели это все наяву?!» Он писал потом своей матери, проживающей в Ницце: «...На днях у нас была с визитом Вера Ивановна. Как-то странно видеть у себя Жанну д'Арк в башлыке, ужасно гримасничающую (у нее такой тик – нос морщит) и пьющую чай».

В подвиге Веры Засулич Зайцев увидел принципиально новое явление в истории русского революционного движения. Выстрел Веры Засулич и революционная борьба народовольцев, развернувшаяся после него,

---

[1] Общее дело, 1878, № 8. Последующие ссылки на это издание даются в тексте (год, номер).

оказались созвучными каким-то очень глубинным струнам его души.

«Мы, люди 60-х годов,— писал он в статье «Новая нравственность», последней статье своей, которая появилась в «Общем деле» уже вместе с некрологом,— протестовали по мере сил наших, страдали, жертвовали, но все это делалось вразброд, пассивно; как агнцы шли мы за наши убеждения, но как ни многочисленны были закланываемые жертвы, все они были одиночны... Наконец, по сигналу героини, имя которой будет жить в памяти цивилизованных народов, как имена Гармодия и Телля, такое пассивное положение прекратилось. Против лагеря «обагряющих руки в крови» восстал строем «стан погибающих за великое дело любви», погибающих не пассивно, а с честью, в сильной, порой победоносной борьбе» (1882, № 47).

Зайцев счастлив, что «лагерь старого порядка» увидел наконец «против себя настоящее общество среди общества, увидел людей, тесно сплоченных общей целью, общим идеалом, общими чувствами и понятиями, одним словом, всеми связями, конституирующими общество».

С интересом и вниманием всматривается он в «молодую генерацию» русских революционеров, знакомится с различными течениями в русском народничестве, избегая узости и предубеждения против любого из них. По свидетельству жены критика, «из всех окружающих его там (в Женеве, куда Зайцев перебрался после смерти Бакунина.— *Ф. К.*) эмигрантов Зайцев больше всего сошелся с Г. В. Плехановым, которого он находил самым талантливым и образованным из них и наиболее обещающим в будущем». Но дружба с «чернопередельцем» Плехановым не мешала ему переписываться с самым ярым сторонником террора в Исполнительном комитете «Народной воли» Николаем Морозовым. Это шло не от беспринципности: истосковавшийся по революционному времени Зайцев принимал и приветствовал все оттенки новой революционной партии, находившейся в России. «А народ какой славный, особенно молодежь,— пишет он жене о своих встречах с эмигрантами-народниками в 1881 году.— Все враки, что про них говорят за глаза. Такие задушевные. Меня холили, всякий вечер угощали, по скудости средств, чаем и колбасой. Сегодня я, разжившись деньгами, купил хорошей колбасы $^1/_2$ фунта, ко-

робку конфет и персиков — их угостить. «Народная воля» вышла в России, но еще здесь не получена. Пока все хорошо, только уже высылками одолевают. Гартман на волоске от выдачи».

Как видите, Зайцев в курсе народовольческих новостей: он следит за каждым выпуском «Народной воли», он болеет душой за народовольца Гартмана. Он помогает бежать в Англию Сергею Кравчинскому и 9 сентября 1881 года пишет жене: «Хотел тебе послать сейчас же 100 франков и 265, которые получил, но пришлось отдать 150 Сергею (Кравчинскому.— *Примеч. жены*), которого ищет полиция, так что ему необходимо драть в Англию».

Более того, Зайцев пытается наладить свое сотрудничество в нелегальном журнале «Народная воля». В архивах III Отделения хранится его переписка с одним из редакторов «Народной воли» — Николаем Морозовым. «Варфоломей Александрович,— писал Зайцеву Н. Морозов.— Хотя я и не знаком с Вами лично, но тем не менее знаю Вас по рассказам общих знакомых и по Вашим статьям. Одна из этих статей была передана мне Сергеем (Кравчинским.— *Ф. К.*) для напечатания в «Н. в.». Но «Народная воля» в это время уже не выходила, так как была арестована ее типография, и потому я по Вашему желанию передал ее в «Общее дело». Ошибочно предполагая, что Вы находитесь в редакции «Общего дела», и заключив поэтому, что оно гарантировано от всяких неприличных выходок, я согласился по предложению Элп[идина] помещать в нем некоторые свои статьи, пока у меня не будет бол[ее] подходящего органа. Прочитав 5—6 №№ «Об[щего] дела» и не имея времени перечитывать его с начала издания, я увидел в пос[леднем] номере свою статью «Терр[ористическое] движ[ение] в Рос[сии]». К моему удивл[ению], оказ[алось], что в этом сам[ом] номере какой-то либерал поместил довольно безобр[азную] статью, котор[ая] оканчив[ается] словами: «разнузданн[ые] силы револ[юции]». Поэтому, получив номер, я сейчас же послал Элп[идину] след[ующее] письмо: «Зная, что Вы более других сотр[удничаете] в этом органе, заявляю Вам, что Ваш журнал не имеет ничего общего с подлинной революционностью...» Простите за непрошеный совет, но мне кажется, что и Вам, как революц[ионеру], невозм[ожно] больше марать свое имя, помещая в нем статьи...

В настоящее время я думаю издавать здесь орган в духе отрывка, помещенного в № 32—33 «Общ[его] дела», и желал бы пригласить и Вас к сотр[удничеству], т. к. Ваша статья «Рев[олюция] в Рос[сии]» вполне подх[одит] к его характеру [1]. Статьи к этому органу уже почти все готовы, затруднение только за 400—500 фр[анками], которые необходимы для выпуска пер[вых] номеров. Рас[пространение] в России обеспеч[ено]».

7 мая 1880 года В. Зайцев отвечает Морозову: «Многоуважаемый гражданин Морозов! Я был очень обрадован Вашим известием о журнале, имеющем выходить в откровенно революционном духе. Нечего и говорить, что я готов всегда к Вашим услугам и первую же статью, которая напишется, пошлю Вам для него. Относительно «Общего дела»: я до нынешнего года всячески старался удержать ⟨его⟩ в границах приличья, а когда он переступал их, по возможности поправлять дело. Но с нынешнего года издатель ведет его крайне небрежно, не только пропускает сроки, вследствие чего статьи выходят застарелыми, но и пропускает выходки, как та, на которую Вы справедливо вознегодовали.

Попрошу до следующего письма с приложением. Уважающий Вас — В. Зайцев».

И действительно, через месяц, 3 июня 1880 года, В. Зайцев направляет Морозову следующее письмо: «Посылаю Вам статью по поводу современного положения дел в любезном отечестве. Полагаю, что она как раз служит ответом на многое совершившееся в последнее время. Очень желал бы, чтобы уже существовал орган, где можно было бы поместить ее, если же, к несчастью, такого не имеется, то я покорнейше прошу отдать ее в какой-нибудь из имеющихся, хотя бы в «Общее дело». Потому что все же важнее всего подавать голос, а уже второй вопрос, где подавать; в крайнем случае я согласился бы даже на помещение в «Набате», хотя этот журнал мне крайне антипатичен, и я предпочитаю все-таки «Общее дело», которое «просто глупо, и слава богу».

Так как революционный печатный орган, замыш-

---

[1] Э[тот] орган бу[дет] изд[аваться] за гр[аницей] Чайк[овским] до основ[ания] в России ре[волюционной] типогр[афии], а затем перенесется туда. — *Примеч. Н. Морозова.*

лявшийся Н. Морозовым, так и не состоялся, а в «Набате» статьи Зайцева также нет, — по-видимому, к последнему письму Морозову Зайцевым была приложена статья «О пользе цареубийства». Эта единственная статья Зайцева, опубликованная в «Общем деле» с июня по август 1880 года. По содержанию она вполне отвечает той характеристике, которая содержится в письме, — в ней и в самом деле содержатся ответы «на многое, совершившееся в последнее время» (речь идет о покушениях на царя).

Переписка Зайцева с Морозовым показывает, что статья «Русская революция» — одна из лучших работ, написанных критиком в эмиграции, — так же предназначалась для «Народной воли» и была передана в редакцию подпольного издания через Кравчинского.

Что это за статья? И что представляет собой «Общее дело», издание, которое вызывало неудовольствие у Н. Морозова и которое столь своеобразно защищал Зайцев — «просто глупо, и слава богу»? Издателем газеты был эмигрант-шестидесятник М. К. Элпидин, в прошлом участник «Казанского заговора»; он находился в Бездне в 1861 году, в 1863 году был судим за распространение воззваний и приговорен к каторге, откуда бежал и с 1865 года жил в Женеве, занимаясь издательской деятельностью. Редактировал газету А. Х. Христофоров, член «Земли и воли» шестидесятых годов, который вел пропаганду в Саратове, был арестован в 1864 году и выслан в Пинегу, потом — в Шенкурск. За границу выехал в 1875 году. Фонд для журнала Элпидин и Христофоров составили личной складчиной. Третьим вкладчиком и основателем газеты был некий господин Н. Н., как позже выяснилось, Нил Александрович Юренев, либеральничавший адвокат, проживавший за границей, — человек, в революционном движении никакого участия не принимавший.

Чуть позже одним из редакторов (по-видимому, и вкладчиком) газеты стал Н. Белоголовый — человек, известный своими симпатиями к демократическому лагерю, близкий кругу «Отечественных записок».

Таким образом, само руководство газеты не было единым и представляло конгломерат людей различных политических оттенков. Зайцев печатался в газете регулярно — редкий номер газеты выходил без его одной, а то и нескольких статей.

«Общее дело», — писал впоследствии Христофоров, — как бы напоминало парламент, где Зайцев представлял левую сторону, Белоголовый — правую, а мое место приходилось в центре. Единоличного редактора у «Общего дела» не было — все четыре постоянных сотрудника вместе с издателем и были его редакторами, и так как они обыкновенно проживали в отдаленных друг от друга городах, то статьи отсылались к издателю М. К. Элпидину, который, имея постоянное пребывание в Женеве, и составлял из них номер газеты. При этом принято было за правило, что статьи каждого из четырех постоянных сотрудников должны быть помещены в том виде, в каком они доставлены издателю, если они не возбуждали возражений со стороны прочих сотоварищей, и — в виде письма, если такие возражения оказывались».

Что касается «основной цели издания», то она мыслилась как выражение мнений «всего русского общества, враждебного деспотизму», причем во главу ставилось обличение самодержавия, то есть то, «в чем согласны все партии».

Программа объединения всех «оппозиционных» самодержавию сил была успешно реализована, что и превратило издание в эклектический сборник, где, с одной стороны, печатались документы «Народной воли», а с другой — такие работы, как, например, «Характеристика 25-летия» Белоголового, заканчивавшаяся предостережением: «Еще несколько лет такого царствования, и Россия попадет в тот доисторический хаос, когда разнузданные стихии революции сметут все». Вот эти-то «разнузданные стихии революции» и вызвали возмущение Морозова, гнев Зайцева.

Надо отдать справедливость: статьи либерального толка были скорее исключением, чем правилом для газеты. В ней печаталось немало статей ярко выраженного демократического характера — антиправительственных, антикрепостнических, продолжавших во многом традиции шестидесятых годов. Знаменем газеты была прежде всего политическая борьба с самодержавием, восстановление единства «между социализмом и свободой» (А. Христофоров). Это-то и делало возможным сотрудничество в ней Варфоломея Зайцева. Тем болезненнее воспринимал он каждое отступление от курса газеты, которая и основана-то была, по его словам, «с целью дать исключительную

свободу выражения мнениям, враждебным существующему в России порядку монархического деспотизма».

«Справедливость заставляет сказать,— писал А. Х. Христофоров,— что в «Общем деле» В. А. не нашел органа, который бы вполне отвечал его требованиям, идеалам и тенденциям. Многое в нем иногда казалось ему слишком умеренным и недостаточно решительным, между тем как прочие сотрудники журнала порою находили его статьи через меру резкими и слишком всецело воспроизводящими то широкое отрицание нигилизма шестидесятых годов, которое уже не отвечало требованиям современности. В таком случае обе стороны или делали взаимные уступки, или заканчивали разногласия полемикой на страницах журнала».

Порой эта полемика принимала крайние формы. В 20-м номере «Общего дела» (февраль 1879 года) опубликовано «Первое предостережение журналу «Общее дело», в котором Зайцев, пародируя форму цензурных предостережений, резко критиковал статью Изгоева (псевдоним Н. Осипова) «Возможно ли возрождение России мирным путем?» за то, что об учении социализма говорилось в ней «в выражениях, приличествующих Чичерину и Безобразову». Статья Зайцева заканчивалась предупреждением: «От лица всех людей, заинтересованных в существовании свободного органа русской мысли, но дорожащих своей репутацией, объявляется первое предостережение редакции «Общего дела» с тем, что в случае повторения подобных промахов участие их будет немедленно прекращено».

С подобным «предостережением» нельзя было не считаться. Редакция не могла не дорожить таким первоклассным публицистом, как Зайцев, чьи статьи, памфлеты и политические фельетоны были украшением газеты. Как писал впоследствии Христофоров, «ряд статей его в «Общем деле» по своему едкому остроумию, всегда художественной форме и мастерскому, сжатому языку, которым В. А. владел превосходно, свидетельствует о существовании в нем публицистического таланта редкой силы, таланта, который заблистал бы на всю Россию, если бы русская почва была благоприятна для таких талантов».

А. Христофоров прав. Выступления В. Зайцева в «Общем деле» (их более восьмидесяти) свидетельствуют, что талант его со временем не только не угасал, но развивался и креп, что революционно-демократические убеждения его приобрели законченную стройность и последовательность. Только прочитав его работы в «Общем деле», начинаешь понимать, насколько справедливы были слова, сказанные о нем известным русским ученым Ильей Мечниковым: «Грустная судьба наших русских писателей. Будь произведения Зайцева писаны по-французски, вся Европа, наверное, восхищалась бы ими. Ведь многие из вещей его, писанных в последнее время, будь они писаны во Франции, цитировались бы, как образцовые памфлеты, вошли бы в хрестоматии; писанные по-русски, они прочтутся с наслаждением десятками, с равнодушием сотнями, со скрежетом душевным тысячами».

Судьба Зайцева вдвойне грустна потому, что его блестящая публицистика в «Общем деле» продолжала оставаться неизвестной читателю и после того, как рухнуло столь ненавистное ему самодержавие и воплотились в жизнь те светлые идеалы, за торжество которых он отдал жизнь.

Второй том собрания его сочинений, куда должны были войти статьи Зайцева, печатавшиеся за границей, так и не вышел.

Счастливая случайность дает возможность определить, что напечатал Зайцев в «Общем деле». В Институте марксизма-ленинизма хранится комплект этой газеты, подаренный в свое время А. Христофоровым П. Струве, где рукой Христофорова обозначены авторы почти всех статей. Благодаря этому, а также с помощью Б. П. Козьмина, составившего перечень статей В. Зайцева в 1934 году, мы имеем возможность познакомиться и со статьями «русского Рошфора» — так называли Зайцева за его ослепительное, едкое остроумие товарищи по эмиграции.

Уже в одной из первых статей в газете «Общее дело» — «Наш и их патриотизм», которую сам Зайцев, по свидетельству Христофорова, считал «за лучшее из всего написанного им», вчерашний критик «Русского слова» заявил о своей приверженности к идеям шестидесятых годов, о верности заветам Чернышевского и Добролюбова.

Развивая мысли статьи «Славянофилы победили», печатавшейся когда-то в «Русском слове», Зайцев пишет:

«Галилеянин в поддевке и мокроступах, человек Православия, Самодержавия и Народности, ты победил!» — с горькой сардонической иронией восклицает Зайцев. Статья «Наш и их патриотизм» является одним из лучших образцов демократической публицистики, посвященных тому, что есть истинная любовь к своей родине и к своему народу.

«Есть два манера любить свой народ и свое отечество, — утверждает Зайцев. — Первый манер любить его так, как каждый из нас любит только хорошее жаркое. На этот манер первый патриот и народолюбец в мире есть бесспорно царь Александр Николаевич, потому что никому от этого жаркого не достается таких сочных филеев, как ему...

Надо сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и наш патриотизм представляется вещью до того сложной, что непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающими обстоятельствами. В нашей «любви» действительно гораздо больше ненависти, чем любви. «Добрый русский мужичок» наших мокроступов, восхваляемый ими как вкусное кушание, не возбуждает в нас никакого аппетита и сопряженного с ним к нему сладострастия; мы его бесконечно жалеем, как объект вожделения мокроступов, и эта жалость возвышается до степени любви, но не мешает нам проклинать далеко не идеальный экземпляр человеческого рода».

Истинным патриотом Зайцев считает того, «кого мы, — пишет он, — люди шестидесятых годов, с гордостью называем нашим вождем», — Добролюбова. «Умирая после четырех лет геркулесовой борьбы от чахотки, спасавшей его от каторги, на которую пошел друг и сподвижник его Чернышевский, он выливал всю свою душу в чудно простых стихах:

Милый друг, я умираю,
Оттого, что жил я честен;
Но за то родному краю,
Верно, буду я известен!

Это ли не святая любовь? — спрашивает Зайцев. — Молодая жизнь погибнет, но боец со смертной раной в груди, до последней минуты не отдающий меча, сча-

стлив мыслью, что родина оценит его службу ей!» (1878, № 9).

Излюбленный жанр Зайцева – политический памфлет. Основной герой его памфлетов – самодержавие и слуги его.

В сатирах Зайцева воссоздается облик полицейски-шпионского государства, где задушена мысль, слово, чувство, где власть сосредоточена не в Государственном совете и не в Правительствующем сенате, а «просто в III Отделении», где все подчинено «государственной инквизиции». Зайцев посвящает целую серию статей деятельности III Отделения. Они идут с продолжением в шести номерах под общим названием «Нечто о шпионах». В этих статьях обнародован немалый фактический материал о тайных шпионах III Отделения, а главное – с блистательным искусством показана неразрывная связь между деспотизмом, отрицающим всякую законность, и «шпиономанией».

«Тирания и шпионство всегда были неразлучны, – утверждает Зайцев. – Где является тиран, там, как грибы, росли и шпионы. Древние греки, специально занимавшиеся изучением и описанием интересной породы тиранов, отметили, как существенный и характерный признак тирана, – подозрительность. Он похож на сумасшедшего, страдающего вечным страхом, преследуемого ужасным кошмаром. Сумасшедшие под влиянием этого тяжелого чувства часто вешаются и топятся; тиран же, имея власть и деньги, думает помочь себе свирепостью и наймом бесчисленных шпионов. Шпион – это единственная надежда, единственная опора и прибежище, друг и наперсник тирана. Поэтому там, где есть тиран, неизбежно будут шпионы. Когда тирания сменила гражданскую свободу в Риме, с первым же императором возникло и целое сословие доносчиков. Коринфский тиран Периандр считался изобретателем полной и усовершенствованной системы тирании; ему приписывалось изречение: «Казнить не только совершивших преступление (против тирании), но и желающих совершить его». И действительно, это правило легло навсегда в основание тиранической системы. Преследование мыслей, намерений, желаний, симпатий и чувств стало ее задачей» (1877, № 6).

Продолжая традиции революционно-демократической журналистики шестидесятых годов, Зайцев печа-

тает в «Общем деле» серию язвительных фельетонов, посвященных «журнальному стаду», — таких, как «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма», «Холопские речи», «Еще о холуях», «Образцы казенного красноречия», «Журналисимус граф Суворин-надпольный» и т. д.

«Я холуй, и ничто холуйское мне не чуждо» — таков эпиграф к фельетону «Неистовый холуй, или Манифест лакеизма» с характерным подзаголовком: «Попурри из российских публицистов». «Да, положа руку на сердце и взяв православного бога в свидетели, мы громко и торжественно объявляем: мы холуи и гордимся этим! — так начинает Зайцев свое сатирическое обозрение либеральной русской прессы. — Холуй — это тип православных и императорских добродетелей — смиренномудрия, терпения и любви. Эти три слова в нашем девизе заменяют свободу, равенство и братство».

Заслугой Зайцева было то, что он первым разоблачил провокационный характер журнала «Вольное слово», организованного за границей печально знаменитой «Священной дружиной» для подрыва изнутри освободительного движения. Вначале Зайцев задал «Вольному слову» вопрос, как оно относится к министру внутренних дел Игнатьеву (1881, № 44). А когда «Вольное слово» уклонилось от ответа, сославшись на то, что «деятельность министра внутренних дел настолько обширна, что не может быть охарактеризована в двух словах», Зайцев напечатал в следующем номере фельетон под выразительным названием «Хлоп!», где показал связь «Вольного слова» с правительственными кругами. А через несколько номеров раскрыл и организатора «Вольного слова» А. П. Мальшинского, агента III Отделения.

Варфоломей Зайцев первым в нелегальной прессе заговорил и о «Священной дружине», разоблачив в статье «Белый террор» (1881, № 44) террористический характер этой черносотенной тайной организации. Его политическая публицистика убеждает нас, что он остался типичным шестидесятником, всецело воспроизводящим то «широкое отрицание» социальных, политических и нравственных порядков самодержавно-крепостнической России, которое было свойственно «нигилизму 60-х годов».

С уничтожающим, презрительным сарказмом гово-

рит Зайцев о российском либеральном «обществе», о реформистских иллюзиях, об идее «либеральной конституции». Одна из его статей – «Ввиду валуевской конституции» (1877, № 6) – посвящена слухам о том, что якобы такая «конституция» уже сочинена действительным тайным советником Валуевым.

Зайцев говорит, что в принципе в этих слухах ничего не возможного нет: держимордство в мировой истории не раз доходило до такого банкротства, что ему «не оставалось ничего больше, как завопить, обращаясь к обществу: «Батюшки, посадите же меня, наконец, на цепуру!..» Но он предупреждает, чтобы общество не обольщалось этими слухами, потому что если самодержавие и скажет «пас», то это будет «пас коварный», это будет «увенчание здания» подделок и фальсификаций, которыми ознаменовало себя нынешнее царствование.

По убеждению Зайцева,– он может выражать теперь эту мысль открыто, а не с помощью недомолвок, как в подцензурном «Русском слове»,– самодержавно-крепостнический строй исключает путь реформ сверху. Да, царское самодержавие «есть корень и источник всего зла, но не реформ от него ждут, а требуют его немедленного удаления» (1878, № 18).

В одной из своих статей Зайцев специально обращается к вопросу: «Революция или реформа?» Он спорит с Лассалем, который «проводил... параллель между реформой и революцией не в пользу последней». По Лассалю, указывал Зайцев, реформа есть переворот мирный, а революция – движение насильственное, в этом вся их существенная разница, и если так, то понятно, что революция есть зло в сравнении с реформой. Однако разница между революцией и реформой не в средствах только, а в цели, чем обусловливается и различие средств. Революция есть совершившийся или совершающийся переворот общественных условий; так как она необходимо нарушает интересы предержащих властей и дирижирующих классов изменяемого порядка и так как самое убедительное красноречие еще никогда не вынудило ни одного вора возвратить похищенный новый платок, то понятно, что мирным способом революция не может совершиться» (1881, № 42).

Для реальных, конкретно-исторических условий жизни России той поры это положение было бес-

спорным. Зайцев выступает здесь как последовательный революционный демократ, но, убеждая, что Россию может спасти только революция, Зайцев не высказывает надежд на близкую возможность ее. Отсюда его пессимизм, который явственно звучит в статьях «Общего дела». Как справедливо свидетельствует Христофоров, Зайцев начинал сотрудничество в «Общем деле» не без грустного скептицизма: «Удрученный тяжелыми воспоминаниями, оскорбленный апатией и неподвижностью русского общества, он порой переставал верить в его современных представителей и с негодованием говорил: «Оставьте всякую надежду, рабство в крови их!»

С болью говорил он в статье «Наш и их патриотизм» о своей родине – «одной из самых обездоленных частей земного шара, населенной одним из самых забитых и отсталых человеческих племен». Этот мотив – мотив забитости, отсталости, терпения народных масс – и в «Общем деле», как когда-то в «Русском слове», на первых порах для Зайцева основной. В бесцензурном журнале Зайцев пишет об этой беде своей отчизны в полный голос, он не скрывает своего гнева, отчаяния, тоски. «Насчет терпения и говорить нечего. Это наша коренная добродетель, в которой мы за пояс заткнем всех ослов и дворняжек» (1877, № 4), – заявляет он. Именно этой «добродетелью» объясняет он столь продолжительное существование на Среднерусской возвышенности ископаемого чудовища – самодержавия: «...плоскость была населена лилипутами, очень богатыми пенькой и лыком, но еще более богатыми терпением и смирением» («Ихтиозавр и люди», 1878, № 10).

В статье «Наши шансы» (1878, № 11), где речь идет о «войне, войне беспощадной тирании, войне без перемирий и сделок», Зайцев устраивает как бы смотр силам, выступающим против самодержавия. Он говорит здесь о поднимающейся революционной молодежи («Вы же милые, чистые сердцем юноши... вас бесполезно увещевать. Вы рождены для святого мученичества, для жертвы идолу... и весело взовьется в печи пламя, политое вашей кровью!» – писал он еще раньше в «Навуходоносоре») и вновь предостерегает: «Наше горячее сочувствие к бедствиям народной массы не должно вводить нас в сентиментальное и мечтательное отношение к ней». Он пишет в этой статье, что

миллионы народных масс задавлены «вековечным рабством... Мы нисколько не поможем народу тем, что будем представлять себе его великим героем, исполненным ума, гражданских добродетелей и нравственности. Это было так же нелепо, как и осуждать или бранить его. Он таков, каким сделала его тысячелетняя история, а история эта была так некрасива, что от ее работы ничего хорошего выйти не могло. Тем больше причины стремиться к ее перемене».

Но каким путем?

Снова, как и пятнадцать лет назад, Зайцев возвращается к мысли о том, что только революционная молодежь, сплоченная воедино, может даровать – пусть и насильственно – свободу народу.

Зайцев не верит в революционность народа, не верит он и в революционные возможности русского «общества». Он видит единственную силу, способную противостоять самодержавию, – партию революционеров: «Мы и они – два борца на пустой арене, среди безмолвной, безучастной публики» (1878, № 11). Открытая политическая борьба организации революционеров с самодержавным правительством – это «единственный шанс на победу», и для победы нам нужно только «смелости, смелости, и еще смелости» – как говорил Дантон» (1878, № 11).

По-видимому, бланкистские, «заговорщицкие» идеи, которые столь реально воплотились в деятельности народовольцев и которые ранее не совсем чужды были Зайцеву, укрепились теперь в его мировоззрении. Вот почему он приветствовал деятельность «Народной воли». Пожалуй, никто из шестидесятников, если не считать Зайчневского и Соколова, не относился столь одобрительно к народовольцам, как Зайцев. С весны 1878 года меняется даже тональность его статей в «Общем деле»: в них появляется несвойственный ему ранее оптимизм. По свидетельству А. Христофорова, «выстрел Веры Засулич он принял с величайшим энтузиазмом, как сигнал пробуждения, свидетельство существования великих нравственных сил в России. С восторгом видел он, как возбужденные этим выстрелом революционные силы России выходили из замкнутых твердынь своей доктрины на поле политической борьбы, и с той поры уже не сомневался в счастливом исходе последней. Участь деспотизма была для него решена, и вопрос его оконча-

тельного падения был вопросом недалекого будущего» (1882, № 47).

Зайцев внимательно следит за всеми перипетиями революционной борьбы народовольцев с самодержавием, приветствуя каждую их победу. «Ах, какой пассаж!» — называет он статью, посвященную убийству начальника III Отделения Мезенцева: «Пассаж состоит в том, что убили начальника шпионов».

Зайцев рассказывает читателям о покушении на царя. Для подпольной газеты «Народная воля» он пишет статью «О пользе цареубийства», в которой солидаризуется с народовольцами. Однако он подчеркивает, что видит пользу в цареубийстве лишь в том случае, если это «не просто насильственное лишение живота предержавной власти, а цареубийство политическое, то есть имеющее целью перемену политической системы в обществе». При этом Зайцев оговаривается, что побуждает его к столь суровым выводам «рыцарское отношение» к «угнетенно-суровой истине», а никак «не политические взгляды. Если бы я имел личную симпатию к цареубийству, я совершил бы его...» (1880, № 37).

Эта оговорка важна. Она свидетельствует, что политические воззрения Зайцева семидесятых годов не были тождественны взглядам народовольцев. Террор не был для него спасительной панацеей от всех бед. По поводу убийства Мезенцева он писал, что приветствует убийство «шпиона», но что о политическом расчете «этой акции и речи быть не может: не оскудеет земля русская подлецами» (1878, № 14).

Под цареубийством он понимал не уничтожение личности данного императора, но уничтожение *принципа* самодержавия, — только в этом случае он стоял и за убийство царя. «Перемена личности» ничего не может дать народу, «если принцип остается тот же», — писал он в статье «60 лет» в связи с шестидесятилетием Александра II. «Дело не в его жизни, — говорит он об Александре II, — а в жизни самодержавия. Да живет Александр какой угодно и да умрет царь!» (1878, № 10).

Вот почему, когда царь Александр II пал от руки народовольцев и на престол взошел Александр III, Зайцев обошел молчанием это событие. Ни порицать героев «Народной воли», ни приветствовать эту акцию как победу революции он не мог. Однако Зайцев не-

медленно отозвался на варварскую казнь новым царем героев-народовольцев. «Повесил! – писал Зайцев в статье «Новый вешатель». – Еще бы не повесил он, внук Николая и сын Вешателя! Итак, война не на живот, а на смерть будет продолжаться. Придется еще, быть может, не раз пережить те чувства, которые мы испытали, когда читали известие о смерти наших героев... Но, несмотря на тяжелое ожидание новых жертв, нас ни на минуту не озабочивает сомнение в исходе этой борьбы» (1880, № 40).

Несмотря на то, что Зайцев далеко не во всем был согласен с тактикой народовольцев, он нигде не оскорбил дело героев словом упрека или сомнения. Он считал, что революционные народники 70-х годов продолжали те самые традиции, которые были близки Зайцеву. Более того, по убеждению Зайцева, именно они воплощали эти традиции в жизнь. Специально для газеты «Народная воля» Зайцев пишет статью «Русская революция» – поэтический апофеоз народническому движению. Он искренне верит, что Россия вступила на путь революции, и революции победоносной:

«Когда 20 лет тому назад мы мечтали о ней, мы не так представляли себе ее появление. В наших мечтах она являлась к нам с классическими атрибутами исторических революций, наших или европейских: или в виде стихийной бури пугачевщины, жакерии, крестьянской войны или с громом пушек и речей народных ораторов, как в 92. Но вот она пришла не как повторение и подражание, а новая и самобытная, совмещая странные контрасты и являясь настоящей дочерью своего века – таинственная в своих средствах и путях и открыто героическая в своих деятелях, мудрая, как змий, и чисто наивная, как голубица, с фанатизмом христианских мучеников в сердцах и со всеми средствами науки в руках, грозная решимостью губить и непобедимая решимостью гибнуть. Она не порыв, не буря. Она сознательное, цивилизующее, разумное дело, дело медленное, малозаметное...» (1880, № 33, 34).

Существование самодержавия – вопрос времени, утверждает Зайцев. Пройдет ли год, три ли, пять, но «подведенные под него галереи сойдутся, и работники подадут друг другу руки с возгласом: «Победа!»

С предчувствием победы подходил Варфоломей Зайцев к своему концу. Он умер 20 января 1882 года неожиданно и внезапно. Вернувшись в 12-м часу дня

с очередного урока, вошел в дом и, не успев вымолвить слова, рухнул на пол. Он успел умереть до того, как жизнь вновь вдребезги разнесла иллюзии русских революционеров: поражение «Народной воли» вновь отбросило их на исходные позиции.

Но Варфоломей Зайцев уже не узнал об этом. Жизнь не часто баловала его радостью, и последние годы его жизни по наполненности и вере могут быть сравнены лишь с годами ранней юности — временем, когда он принадлежал московскому революционному студенчеству и писал свою статью «Представители немецкого свиста Гейне и Берне».

1969

АПОСТОЛ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1

Одним из самых яростных апостолов социальной революции среди сотрудников журнала «Русское слово» был Николай Соколов. Эта фигура, пожалуй, в еще большей степени, чем Зайцев, выявляет переходный характер журнала «Русское слово» — от тех классических форм революционно-демократической мысли, которые формировались в годы революционной ситуации 1859—1861 годов и которые олицетворяются такими именами, как Чернышевский или Добролюбов, к народничеству 1870-х годов.

Это «снижение тона», если иметь в виду цельность и целостность теоретических основ революционно-демократической мысли, при всей искренности революционно-демократических устремлений, в тех исторических условиях спада революционной волны было, по-видимому, неизбежно и проявлялось по-разному. Реже, как, например, у Благосветлова,— в направлении буржуазно-просветительском, а с годами — и реформистском, чаще, как, например, у Зайцева, Ткачева или Соколова,— в направлении мелкобуржуазной ультрареволюционности, в движении, как у Зайцева и Ткачева, к бланкизму или же, как у Соколова, к анархизму.

Но и при этом «снижении тона» в теоретических поисках страстная и истовая революционность Соколова, его полное и принципиальное неприятие самодержавно-крепостнических и эксплуататорских порядков не подлежат сомнению. Он доказал это всей своей жизнью и публицистической деятельностью, и прежде всего — статьями в журнале «Русское слово» и знаме-

нитой книгой «Отщепенцы», которую он подготовил и издал в 1866 году вместе с Варфоломеем Зайцевым и которая была арестована еще до того, как попала к читателю. Сам же Соколов, принявший авторство этой книги целиком на себя, оказался в крепости.

...В четыре часа утра, когда белая петербургская ночь незаметно сменялась рассветом, его вывели из здания судебной палаты, что на Сергиевской улице, и под конвоем двух гвардейцев в последний раз пешком провели через весь Петербург. Путь был знаком. За время ареста, с ноября 1866 по июнь 1867 года, он проделал его уже восемь раз. По Летнему саду и Марсову полю, мимо Зимнего дворца, по всему Питеру до дальнего Литовского замка, не торопясь шли они — высокий арестант в потрепанном, коротком, не по росту, тюремном халате и два плечистых, статных гвардейца с примкнутыми к ружьям штыками. Точеное, бледное лицо, обращенный внутрь взгляд, русая борода — весь облик арестанта в неуклюжих и странных для города одеждах, исполненный одухотворенной силы, приковывал к себе внимание. Вот и на этот раз, когда Петербург был совершенно пустынен, они шли не одни. На расстоянии десяти шагов по тротуару за ними упорно следовала уже немолодая и одинокая в ту ночь петербургская «камелия». Солдаты усмехались несообразности такого почетного эскорта, но она шла и шла следом, вглядываясь в спину арестанта, чем-то поразившего ее воображение, потом ускорила шаг, почти побежала и, к удивлению солдат, вдруг протянула бережно и нерешительно ладонь, на которой лежал двугривенный.

Арестованный остановился, взял его.

— Это будет память о доброте вашей, — вот все, что сказал он. И улыбнулся.

— Идемте, господин подполковник, — помедлив, покачнул штыком гвардеец.

На повороте улицы Соколов обернулся: лицо женщины, внимательно-скорбное, он помнил всю жизнь. Хранил и двугривенный — в одиночке Трубецкого бастиона, и и в мезенской ссылке, и в долгих скитаниях на чужбине. И уже перед самой смертью, диктуя «Автобиографию», оставил память людям об этой «бедной ночной бабочке», которая «сжалилась над ним». Он диктовал «Автобиографию» спустя почти двадцать лет, но ничего не забылось, как будто только вчера со-

вершал он этот последний в его жизни пеший петербургский путь, как будто вчера – «с Евангелием в руках и в арестантской одежде, подпоясанный красным кушаком» – стоял он в полупустом зале перед многочисленными судьями и держал защитительную речь. Держал уголовный ответ не за деяние – за слово, за свою книгу «Отщепенцы», арестованную цензурой еще до того, как попала к читателю. Держал его перед прокурором Тизенгаузеном, требовавшим заключения в крепости, а потом поселения в отдаленных местах Сибири: красные, в синих прожилках, пухлые щеки, утиный, сизый нос, маленькие, оловянные, как пуговки, глаза. Он вел дело с такой удручающей тупостью, что, по словам Соколова, «о ней только в сказке сказать, а не пером описать». Держал ответ перед председателем суда Полнером – сановным и барственным аристократом с таким бархатным, звучным и лживым голосом; перед санкт-петербургским предводителем дворянства князем Трубецким, царскосельским уездным предводителем дворянства Платоновым и прочими присяжными заседателями. Держал ответ перед власть имущими, деспотической, крепостнической Россией, в лицо которой столь дерзко бросил свою правду, свою боль.

Он был один в этом казенном зале, где все до мелочей было продумано так, чтобы внушить арестанту: самодержавная власть все, а ты – ничто. Ты бессилен перед маховиком государственной машины, а она олицетворена во всем: и в этих тупых и сытых лицах, в непроницаемом выражении которых уже предначертан обвинительный приговор, и в этих веселых солнечных бликах, играющих на зеркально-холодных штыках, во всей неторопливой, с тщательным соблюдением формальностей судебной церемонии, в точности соответствующей новому, либеральному, судебному уставу. Ты отщепенец, нигилист, дерзнувший бросить вызов этой силе, по доброй воле отщепившийся от нее, а следовательно, и от покоя, благополучия, сытости, преуспеяния, сменившей золотые офицерские погоны на халат арестанта. Ведь ты ничтожество в наших глазах, почти что сумасшедший и юродивый. Да и как объяснить иначе этот факт: вчерашний подполковник Генерального штаба, блестящий офицер, удостоенный личного приема у военного министра за отличие, за храбрость в делах против Ша-

миля, а позже — высокий чин генерального штаба войск Восточной Сибири, объездивший полмира, представлявший русскую армию в Пекине, человек, перед которым была открыта блистательная карьера, предстал перед судом по обвинению в преступлениях, направленных против государства, власти и нравственности. Что заставило его пойти на это? — вот что мучительно хотелось и было не дано понять его судьям.

— Какую же цель имели вы, издавая подобную книгу? — спросил его на суде князь Трубецкой.

— Чтобы доказать вам, князьям, и всем судьям, цензорам и прокурорам, что вы — лишние люди и что я буду лишний, когда вас не будет. Поняли?

— Садитесь, господин Соколов, — сказал судья.

— Довольно посидел я, дайте постоять... за себя, — приводит автор «Отщепенцев» этот диалог в своей «Автобиографии» [1].

Так начал он свою защитительную речь — и произошло чудо: видимость всемогущества власти, при всей ее ощутимой, материальной реальности, как бы рассыпалась, ей противостояла иная, более высокая сила — сила нравственная, сила разума и человеческой совести, сила большого и честного убеждения. И хотя Соколов говорил тихо, сдержанно, капельку заикаясь, — в холодном, чопорном, враждебном зале суда стояла полная тишина: «Я принадлежу, гг. судьи, к числу тех людей, которые веруют в правду на земле и стараются осуществить ее непременно, невзирая на равнодушие, тупое ожесточение и гонение со стороны общества и представителей его... Судите меня, гг. судьи, за убеждения и принципы и за смелое их выражение. Много правды, сущей правды высказал я в своей книге и высказал не от себя, а от имени святых и честных людей, которые жили, трудились, страдали и умирали на благо народа и человечества. За какую же правду хотите осудить меня?» [2]

Каковы же были обвинения, возводимые на автора «Отщепенцев»?

---

[1] См.: Свобода, 1889, № 1.

[2] Материалы, собранные особой комиссиею, высочайше учрежденною 2 ноября 1869 года для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати, ч. III, отдел 1; Судебная практика по делам печати 1865—1870 гг.. СПб., 1870, с. 221—222.

«По общему своему характеру,— говорилось в обвинительном заключении по книге,— она едва ли имеет что-либо подобное себе в русской печатной литературе. Она представляет сборник самых неистовых памфлетов, имеющих целью подкопать все основы цивилизованного общества. Вера, политика, власть, гражданское и судебное устройство, правила нравственности подвергаются в ней самым необузданным нападениям».

Далее шел подробный пересказ «Отщепенцев» с обильным цитированием книги, завершавшийся выводами о том,

«1) что из цитат, приведенных выше, обнаруживается намерение издателя и составителя книги «Отщепенцы» Н. Соколова доказать, что христианская религия в настоящем виде не есть уже учение Иисуса Христа и давно уже сделалась орудием и пособницею всевозможных преступлений, чем явно нарушаются законы, ограждающие христианскую веру и православную церковь от порицаний...

2) что составитель и издатель книги старался возбудить презрение и ненависть ко всякой правительственной власти, чем также нарушается закон, ограждающий порядок управления...

3) что в книге заключаются самые неистовые нападки на право собственности...

4) обнаруживается стремление подкопать все нравственные понятия и даже вовсе отрицать существование нравственности, так как в ней утверждается, что мораль бедного не одинакова с моралью богатого и что человек, не находящий работы, имеет право брать все, что ни попадется ему под руку...

5) что приведенные цитаты, характеризующие направление книги, и многие другие приведенные в ней места и мысли делают книгу чрезвычайно опасною как по значительности вреда, который могла бы она причинить, если б была пропущена к обращению и попалась в руки читателей незрелых или легко увлекающихся всякою парадоксальною мыслью,— так и потому, что собранные в книге статьи направлены против самых существенных основ общественного порядка: религии, правительственной власти, права собственности и начал нравственности»[1].

---

[1] Материалы, собранные особою комиссиею..., с. 189, 196, 197.

Можно представить себе ужас, который обуял цензоров и судей, когда они читали страницы книги, обжигающие ненавистью к деспотам и угнетателям, открыто взывающие к революции. Можно представить себе их удивление, когда мятежный автор «Отщепенцев» предстал перед судом,— удивление перед его мужеством, внутренним достоинством, верностью убеждениям и уверенностью в своей правоте. Друзья умоляли его перед процессом взять адвоката, известные юристы того времени — Унковский, Ольхин, Танеев — предлагали Соколову его защищать, но он отказался от чьих бы то ни было услуг. Он защищал себя сам. Точнее, не столько защищался, сколько нападал, развивая публично идею своих «Отщепенцев». Процесс для него был гражданской, нравственной акцией, битвой за свои убеждения,— это был урок поведения революционера на суде, повторенный позже деятелями революционного народничества, превращавшими почти каждый процесс над ними в трибуну активной политической борьбы. Это был урок высокой гражданской нравственности, новой нравственности той эпохи.

В архивах III Отделения мы обнаружили письмо некой Екатерины Калиновской, которая была близка кружку Ножина, Зайцева, Соколова, дружна с автором «Отщепенцев» и посещала его во время заключения в Литовском замке. Вот что писала она 17 мая 1867 года Вере Писаревой, сестре Д. И. Писарева, которая любила Соколова:

«Соколов неоспоримо верит в справедливость своего учения и в законность своей книги. Правдивое и законное презирает всякого рода защиту, как унижение для себя,— таково убеждение Соколова; стало быть, с этой стороны защиты не существует; не пойдет же Соколов против себя. Теперь вопрос: нужно ли Соколову объяснять суду убеждения, написанные им? Нет: его не поймут, я разумею непонимание сердцем, а не умом... При таком условии убеждать — значит рассыпать бисер перед свиньями. А такие понятия против правил Соколова, как и каждого умного человека... Тут-то и начинается коллизия. Жить и умереть — вот между какими фатальными крайностями борьба в Соколове, и эта борьба усилится по мере приближения развязки. Что же, по понятиям Соколова, в отношении его самого, в настоящем положении, значит жить?

То, что по понятиям... прочих — погибель, смерть, а именно: остаться самим собою, без страха и трепета отдать себя на все во имя идей.

Разумеется, для того чтобы беззаветно задавить себя крестом, взятым на свои плечи, для этого необходимо, чтобы крест и жизнь были самыми близкими синонимами, чтобы и мысль о возможности жизни в истинном смысле этого слова, предав свои идеи за животное существование, была бы немыслима. Что все это не так в Соколове, мы не имеем права предполагать, мы слишком верим его словам, мы верим (о, как еще верим!), что он не резонер, бьющий на эффект, не шарлатан, проповедующий какое-то отщепенство, чтобы только иметь право ничего не делать и тунеядствовать, а герой, надевший на себя тяжкие вериги во имя правды, с тем чтобы распространить эту правду или же задохнуться в веригах своих... Несправедлив, кто думает, и клеветник, кто утверждает, что Соколову мучительно жаль отказаться от жизни, от жизни в полном смысле, чтобы не покидать знакомых, чтобы посреди них хорошо пить, есть и прочее. Соколову ли свойственно гоняться за наслаждениями, какие может дать ему удовлетворение потребностей его физического организма? Для такого ли смрада и мерзости отречется он от себя? Он ли примет за настоящую жизнь позор?.. Да, Соколов способен или жить, или умереть. И не из страстного ли желания истинной жизни сделался он проповедником отщепенства?..» [1]

Это письмо — любопытный документ эпохи, передающий нравственную атмосферу, которая царила в среде передовой русской молодежи шестидесятых — семидесятых годов.

2

Кто он был, автор этой легендарной книги «Отщепенцы»? Что привело его к столь дерзкому и беспощадному отрицанию самодержавия и крепостничества, казенной религии и буржуазного эксплуататорства?

Ответить на этот вопрос нам помогает его «Автобиография», которую он продиктовал весной 1885 го-

[1] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 426, вложение, л. 6 об. — 9 об.

да после настоятельных просьб друзей. «Автобиография» его была написана от третьего лица и представляла собой, по словам самого Соколова, только «основ» воспоминаний. Он предполагал впоследствии развернуть «Автобиографию» в широкую и цельную картину эпохи, насытив ее богатыми и интересными подробностями не только о своей жизни, но и о времени, о людях, с которыми ему пришлось сталкиваться. Смерть помешала осуществить это намерение. Сохранился лишь этот, в значительной степени конспективный «основ» воспоминаний, что дает тем не менее представление как о сложной и интересной жизни Соколова, так и о времени.

«Автобиография» в первой своей части (до ноября 1868 года) дошла до нас благодаря тому, что была опубликована в первом номере эмигрантского журнала «Свобода» за 1889 год (Париж). К сожалению, второй номер этого журнала, издававшегося эмигрантами-народниками С. Княжиным и К. Турским, не вышел. В первом номере «Свободы» анонсировалось не только продолжение «Автобиографии» в последующих номерах, но и выпуск ее отдельной книгой. Книга эта тоже не вышла. Какова же судьба «Автобиографии» Соколова? В монографии Ю. Стеклова о Бакунине приводятся цитаты из второй части «Автобиографии», относящиеся к эмигрантскому периоду, со ссылкой на труд М. Неттлау. Неттлау, последователь Бакунина, всю жизнь посвятил исследованию и сбору материалов о деятельности главы анархизма. Он выпустил несколько книг о Бакунине, но главная его работа, включающая огромный документальный материал, не издана. Размноженные им (в количестве 50 экземпляров) рукописные копии этой книги находятся в крупнейших библиотеках мира. У нас этот труд хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма[1]. Неттлау и в самом деле страницами цитирует здесь неизданную «Автобиографию» Соколова, разделы, относящиеся к эмиграции, и часто ссылается на нее. Откуда она ему известна? Неттлау

[1] Неттлау М. Литографированная рукопись биографии Бакунина (без заглавия). Отрывки из воспоминаний Н. В. Соколова, содержащиеся в этой рукописи, частично приведены в кн.: Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность, т. 4. М.— Л., 1927. В дальнейшем ссылки на этот источник в примечаниях не оговариваются.

сообщает, что с разделами «Автобиографии», относящимися к эмигрантскому периоду жизни Соколова, познакомили его в 1895 году в Париже Сидорихин и некий его армянский друг (? фамилия неразборчива). Они перевели Неттлау вторую часть «Автобиографии» с русского на французский, а он это записал в немецкой стенографии. «Поэтому,— подчеркивает Неттлау,— я не могу отвечать за дословный текст... Места, приведенные мною, даются в полном тексте, но я не сравнивал их с оригиналом, проверяя лишь их дословное звучание». Неттлау высказывает уверенность, что когда-нибудь «Автобиография» будет полностью издана на русском. Пока это невозможно — оригинал «Автобиографии» до сих пор не обнаружен,— его следует искать, по-видимому, в Париже.

Познакомим читателя хотя бы с тем, с чем возможно: со страницами «Автобиографии», приведенными в двойном переводе Неттлау, а также с разделами ее, опубликованными в «Свободе». Книжка этого журнала является такой библиографической редкостью, что она практически недоступна читателю. Вот почему я считаю необходимым привести этот интереснейший документ эпохи со всей возможной полнотой, прокомментировав его. Итак, «Автобиография» подполковника Н. В. Соколова, написанная им от третьего лица.

«Он родился в ночь с 15 на 16 ноября 1832 года. Отец его, Василий Гаврилович, старый гвардеец, был экономом школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров... У него были, конечно, братья и сестры. Старший, Евгений, в настоящее время командует 1-й бригадой 34-й пехотной дивизии в Екатеринославле. Другой брат, Александр,— моложе его — пропал без вести в 68-м году в Сибири, где был офицером амурского казачьего войска. Третий — самый младший,— Сергей, не доучился во II кадетском корпусе, был исключен и теперь, после смерти матери, служит на Варшавской железной дороге кондуктором. Сестры все моложе его: Анна кончила в Патриотическом институте с шифром и, занимая постоянно место гувернантки, теперь уже старой девой учительствует в Таганроге. Последняя сестра, любимица его, Александра, была замужем за донским офицером Зарубиным, умерла в 1882 году, в конце декабря, 38 лет. Матушка его, Анна Яковлевна, умерла 17 декабря 1883 года в глубокой старости, почти сле-

пая; последние годы была очень дружна с матерью Ткачева. Похоронила матушку жена старшего сына — Евгения, у которого было пять дочерей.

ДЕТСТВО

Детство он провел в семье и, как оба брата, по приказу царя Николая Павловича был записан кадетом Второго кадетского корпуса. Но в 1845 году матушка увезла его в Александровский брест-литовский кадетский корпус, где уже находились оба брата. С августа 1845 года до июля 1851 года он находился в этом корпусе — эпоха, которая на него до сих пор наводит ужас; солдатчина, жестокое обращение и розги без конца! Кончив шестилетнее обучение, он был отправлен вместе с выпускными товарищами в сборный так называемый Дворянский полк (Константиновское училище на Петербургской стороне), куда отправлялись кадеты всех губернских корпусов для окончательного двухлетнего специального образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Итак, проучившись восемь лет, отличаясь постоянными необыкновенными успехами, несмотря на заикание, был 13 августа 1853 года произведен в офицеры. За неимением вакансии в лейб-гвардии воинском полку, где служил уже два года брат его Евгений, он отправился в чине поручика в гренадерский Несвижский карабинерный Барклая-де-Толли полк, где пробыл только два месяца, и окончательно переведен в лейб-гвардии Волынский полк.

СЛУЖБА

В 1854 году, в начале февраля, во время Крымской войны отправился с полком пешком в город Ревель для защиты балтийского берега. В октябре того же года, все пешком, обошел Лифляндию и зазимовал там на квартирах в Венденском уезде, близ Западной Двины. 20 февраля 55-го года, отслужив панихиду по Николае Павловиче, вернулся с полком в Курляндию,

в местечко Фаль, на берегу моря, и затем в июне отправился в Петербург для поступления в Академию императорского штаба. В ней пробыл два года и в начале января 58-го года был назначен на службу на Кавказ, получив такую подорожную: подпоручик лейб-гвардии Волынского полка, причисленный к генеральному штабу состоять при главном штабе Кавказской армии по особым поручениям.

НА КАВКАЗЕ

На Кавказе с 16 января до 15 сентября – сначала в Тифлисе, а потом с мая месяца в экспедиции в Ахо, против Шамиля. За отличие в делах против горцев при штурме Мескендунских высот награжден чином и отправлен курьером с депешами к военному министру в Петербург, где и оставался при департаменте генерального штаба, где пробыл до 3 мая 1859 года. Этого числа назначен старшим адъютантом генерального штаба войск Восточной Сибири, куда, после разных приключений, чуть-чуть не оженившись, прибыл, наконец, в Иркутск 26 июня 1859 года. 2 сентября отправлен курьером в Пекин в распоряжение генерала Николая Павловича Игнатьева. В Пекине пробыл до 6 февраля 1860 года. В Иркутск вернулся 3 марта и взял там шестимесячный отпуск за границу. 27 июня вместе с капитаном генерального штаба Муравьевым выехал из Петербурга на пароходе в Лондон. Был у Герцена, который дал ему рекомендательное письмо к Прудону, жившему тогда в ссылке в Брюсселе. Из Лондона сперва отправился в Париж, а потом в Брюссель, где посещал каждодневно Прудона. В половине сентября вернулся в Питер с запасом запрещенных книг, которые удалось провезти благодаря кронштадтским морякам.

С половины сентября до 1861 года опять оставался при статистическом отделении департамента генерального штаба. 17 марта прибыл в город Каменец, куда назначен был дивизионным квартирмейстером генерального штаба Седьмой пехотной дивизии в чине капитана. Когда эту дивизию отправляли в Польшу, в город Радом, то он, предвидя Польское восстание, взял отпуск в Петербург, невзирая на военное положение. Начальник генерального штаба не хотел оста-

влять его в Петербурге под тем предлогом, что никто из офицеров генерального штаба не хочет ехать в Польшу. Он тогда подал в отставку. Ее не приняли и решились, наконец, оставить при департаменте генерального штаба в звании библиотекаря. В конце того же года он написал «О несостоятельности политической экономии» и большую свою рукопись отнес к Чернышевскому, который был в сношениях с будущими польскими революционерами (Сераковским) и офицерами генштаба: Обручев, Кармалин, Аничков, Бибиков, Добровольский. Из них только Бибиков оказался честным человеком. Чернышевский предложил писать в «Современнике», только не о политической экономии, и рекомендовал его Благосветлову, редактору «Русского слова». Там он и начал писать свои экономические статьи с начала 1862 года».

Прервем здесь пока текст «Автобиографии». Что обращает на себя внимание в этой начальной части лаконичного жизнеописания Соколова?

Прежде всего то, что Соколов с детства прошел трудную и демократическую школу жизни. Жалованье отца было не настолько велико, чтобы в достатке содержать семью, где шестеро детей. Его детство было детством разночинца. Свою служебную биографию, свою военную карьеру он сделал сам. Для того времени это была блестящая биография – и не только в силу «необыкновенных успехов» в учении (а Соколов, как мы видели, успешно закончил лучшие военно-учебные заведения тех лет – Константиновское училище и Академию генерального штаба). За его плечами к 27 годам – участие в войне с Шамилем, служба в генеральном штабе войск Восточной Сибири и, наконец, командировка в Пекин. Три крайне важных события в жизни любого офицера в те годы. И пожалуй, самое интересное среди них – не кавказская кампания, хотя в ходе ее Соколов совершил подвиг и был отмечен чином и вниманием военного министра, – особенно интересны были служба в Восточной Сибири и поездка в Пекин. Соколов служил в Восточной Сибири как раз в ту пору, когда генерал-губернатором этого края был граф Н. Н. Муравьев-Амурский, человек властный, умный и энергичный, к тому же не лишенный симпатий к просвещению и либерализму.

Влюбленный в него Бакунин писал из Сибири Гер-

цену, защищая Муравьева-Амурского от нападок в «Колоколе»: «Есть, в самом деле, один человек в России единственный во всем официальном русском мире, высоко себя поставивший и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был ей предан Петр Великий. Вместе с тем он не квасной патриот, не славянофил с бородою и с постным маслом. Это человек величия и славы России в свободе. Он решительный демократ, как мы сами, демократ с своей ранней молодости, по всем инстинктам, по ясному и твердому убеждению, по всему направлению головы, сердца и жизни; он благороден, как рыцарь, чист, как мало людей в России; при Николае он был генералом, генерал-губернатором, и никогда в жизни не сделал он ничего против своих убеждений. Вы догадываетесь, что я говорю про Муравьева-Амурского... Он истинно гениальный администратор, вносящий толк, разум, ясность и простоту во все части своего управления, а в минуты трудные находящий там средства, где их никто не видит. Когда дело идет о деле, он не жалеет ни себя, ни своих служащих; в продолжение 12-летнего управления он сделал верхом, в тарантасе, телеге, пешком, на лодке более 200 тысяч верст. Он первый в 1854 году поплыл на лодке вниз по Амуру; и если бы рассказать все его амурские подвиги неустрашимости, самопожертвования, сердца, ума, то, право, вышла бы геройская эпопея»[1].

В этой характеристике надо сделать скидку на характер Бакунина – страстно увлекающийся, эмоциональный, горячий. Но при всем том бесспорно, что граф Муравьев-Амурский был человеком масштабов редких в официальной крепостнической России. Своеобразие его личности – крутой, властной, деспотичной, но явно незаурядной – наложило отпечаток на всю жизнь далекого края и в особенности на трудный и героический ход обживания Восточной Сибири и Дальнего Востока.

По свидетельству П. А. Кропоткина, служившего в Восточной Сибири в 1862–1864 годах, высшая сибирская администрация в шестидесятые годы была го-

[1] Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906, с. 112, 113–117.

раздо более образованна, чем администрация любой губернии европейской России. Муравьеву удалось отделаться почти от всех старых чиновников, смотревших на Сибирь как на край, где можно грабить безнаказанно, он окружил себя большею частью молодыми честными офицерами. Начальником штаба войск Восточной Сибири, к кому в должности старшего адъютанта определили в 1859 году Соколова, был 35-летний генерал Кукель. Когда три года спустя на то же самое место адъютанта приехал из Петербурга Кропоткин, то Кукель повел его «в одну комнату в своем доме, где я, — пишет Кропоткин, — нашел лучшие русские журналы и полную коллекцию лондонских революционных изданий Герцена» [1].

Событием в жизни Соколова в Сибири была поездка в Пекин в качестве курьера к генералу Игнатьеву [2]. Факт, свидетельствующий о том, что по службе капитан Соколов был на высоком счету.

Экспедиция в Пекин, в которой принимал участие и Соколов, была исключительно трудной и важной с государственной точки зрения. Не удивительно, что по возвращении из Пекина ему предоставили шестимесячный отпуск для поездки за границу. Не удивительно и другое — то, что главным смыслом этой поездки для Соколова было посещение Герцена и Прудона. На этот счет, помимо его «Автобиографии», есть еще одно любопытное свидетельство — выписки из письма некоего Мехеды из Иркутска от 9 октября 1860 года к А. А. Карганову в Петербург, хранящиеся в архиве III Отделения: «Потешный Соколов, значит, он сделал визит Герцену и Прудону, тем и ограничил свое путешествие; но я рад, что он виделся с Герценом: многие стороны Сибири станут ясны для нашего свободного голоса. Кланяйся Соколову и всем помнящим меня» [3].

Что же значит эта фраза: «Многие стороны Сибири станут ясны для нашего свободного голоса»? Смысл ее проясняется благодаря тем отрывкам из «Автобиографии» Соколова, которые приводит Нетт-

---

[1] Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 174.

[2] См.: Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, с. 183.

[3] ЦГАОР, ф. 109. Секретный архив, оп. 1, ед. хр. 118, л. 1.

лау, и его комментария к ним. Рассказывая о сложности своих взаимоотношений с главой анархизма в эмиграции, Соколов пишет о Бакунине и себе так: «Он не любил Соколова и не мог его любить, потому что Соколов не поклонялся ему, смеялся над ним и подшучивал. А прежде всего, он знал его прошлую жизнь, которая уже была рассказана в письмах из Сибири в «Колокол» в 1860 году». Неттлау это утверждение Соколова комментирует так: «Подразумевается период жизни Бакунина у Муравьева-Амурского, — только Соколов мог доподлинно знать его. Этот период русскими радикалами воспринимался, разумеется, не в пользу Бакунина».

Письма из Сибири, опубликованные в 1860 году в «Колоколе», где резкой критике за деспотизм подвергался граф Муравьев-Амурский, и послужили поводом для цитировавшихся выше адресованных Герцену бакунинских панегириков в адрес генерал-губернатора Восточной Сибири. Однако в этих письмах, хотя на них и ссылается Соколов, о жизни и поведении самого Бакунина в пору его сибирской ссылки нет ни строчки. Откуда же это утверждение у Соколова? Может быть, критика в адрес Бакунина, в ту пору близкого друга Муравьева-Амурского, содержалась в оригинале этих писем, но не попала в печать? Это, конечно, предположение.

Однако вряд ли можно сомневаться, что радость Мехеды по поводу того, что благодаря Соколову «многие стороны Сибири станут ясны для нашего свободного голоса», так или иначе связана с теми резко критическими письмами о положении дел в Восточной Сибири, которые появились в «Колоколе» в 1860 году. Критическое отношение Соколова к деятельности даже столь блистательного царского сановника, как Муравьев-Амурский, равно как его ироническое по этому поводу отношение к Бакунину, не сумевшему разобраться в непростой фигуре восточносибирского губернатора и явно идеализировавшему его, бесспорно.

Соколов пробыл за границей с июня по сентябрь 1860 года — вначале у Герцена, а потом у Прудона, которого посещал «каждодневно».

Можно предположить, что беседы «лондонского патриарха с Соколовым нашли свое отражение в статье Герцена «Лишние люди и желчевики». Такое предположение, ссылаясь на комментарий М. К. Лем-

ке к статье «Лишние люди и желчевики» в Собрании сочинений Герцена, высказывал, в частности, Б. П. Козьмин. Как известно, под «желчевиками» — этими Даниилами, мрачно упрекающими людей, зачем они обедают без скрежета зубовного и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастиях мира сего», — Герцен разумел демократов-разночинцев шестидесятых годов. В статье «Лишние люди и желчевики», появившейся в октябре 1860 года, Герцен рассказывает об одном из таких «Даниилов», «недавно посетившем его и очень выдающемся в своей области». Герцен пишет, что этот посетитель резко нападал на людей сороковых годов — этих «дармоедов, трутней, белоручек, тунеядцев à la Онегин» с их любовью к фразе и отвращением к реальному делу.

Лемке справедливо указывает, что из видных радикалов Герцена посетили в 1860 году Н. В. Соколов и А. А. Слепцов. Он приводит воспоминания А. А. Слепцова, из которых видно, что он при посещении Герцена никаких споров не вел. И вообще то направление идей, которое вызвало столь резкое неприятие Герцена, было близким скорее Н. В. Соколову, чем А. А. Слепцову. Вот почему мне представляется убедительным предположение Б. П. Козьмина, что именно разговоры с Соколовым послужили одним из поводов, побудивших Герцена написать эту статью [1].

Все эти факты, равно как и то обстоятельство, что самое ценное богатство, вывезенное им из-за границы, составлял «запас запрещенных книг», который удалось провезти благодаря кронштадтским морякам, красноречиво свидетельствуют об умонастроениях офицера Соколова в 1860—1861 годах. Успехи военной карьеры не вскружили ему голову — в пору революционной ситуации 1859—1861 годов его позиции были вполне определенны. Они еще в большей степени определились, когда по возвращении из-за границы он был принят на службу в генеральный штаб и оказался в том кружке офицеров генерального штаба (Обручев, Бибиков, Аничков, Добровольский и другие), который был в сношениях и дружбе с Чернышевским. Фраза Соколова «Из них только Бибиков оказался честным

[1] Козьмин Б. П. Н. В. Соколов. Его жизнь и литературная деятельность. — В кн.: Козьмин Б. П. Литература и история. М., 1969, с. 380.

человеком» относится, конечно же, к последующей судьбе этих офицеров – все они, исключая Бибикова, в середине восьмидесятых годов, когда Соколов писал «Автобиографию», сделали удачную военную карьеру. Что же касается шестидесятых годов, то этот кружок передовых офицеров искреннее сочувствовал делу Чернышевского и находился под влиянием «Современника», а такие члены его, как Обручев, не говоря уже о Сераковском, принимали активное участие в революционном движении. О настроениях же Соколова можно судить хотя бы по воспоминаниям Л. Пантелеева, который встречался с молодым подполковником генерального штаба в 1861–1862 годах. «Он уже и тогда, – писал Л. Пантелеев, – обнаруживал наклонность не только к крайнему радикализму, но и к той откровенности в выражениях, дальше которой у нас в печати, кажется, никто не пошел»[1]. Вот почему совершенно естествен и органичен для Соколова его визит к Чернышевскому со статьей «О несостоятельности политической экономии». Естественным было, впрочем, и предложение Чернышевского писать в «Современнике» – «только не о политической экономии».

3

С начала 1862 года Соколов – постоянный автор «Русского слова». Его первая статья – рецензия на «Руководство к сравнительной статистике» Кольба – была, по существу, пробой пера, хотя уже и в ней вполне проявляется своеобразная позиция автора. Он приводит здесь основные статистические данные по финансам Англии, Франции, Австралии, Пруссии и России для того, чтобы сделать следующий вывод: «Таким образом несвободные и полусвободные сословья составляют более 87% всего мужского народонаселения России» (1862, 4, III, 60). Критический пафос, неудовлетворенность положением дел в стране проходят через все его статьи в «Русском слове» 1862–1863 годов.

В своих статьях Соколов последовательно проводит отрицательный взгляд на положение дел в пореформенной России. «Отрицание – это дух истории,

[1] Пантелеев Л. Ф. Воспоминания, с. 255.

это сама жизнь. Поэтому и самый прогресс есть не что иное, как прогресс отрицания, его развитие и непрекращаемое движение» (1862, 5, III, 11), – формулирует он свои исходные позиции, столь близкие «Русскому слову», в одной из первых же своих статей.

Правда, в своих статьях – он прежде всего выступал в «Русском слове» как экономист – Соколов замечает в жизни и некоторые перемены, связанные с тем, что крестьянская реформа, несмотря на всю ее ограниченность, дала большой простор буржуазному развитию страны. «...На развалинах крепостного права появился вольнонаемный труд и, затем, в промышленности и торговле провозглашено свободное соперничество» (1863, 1, I, 13). Более того, в статьях Соколова в 1863 году звучит забота о том, чтобы развитие промышленности, основанной на вольнонаемном труде, шло интенсивнее и быстрее. В статье «Чего не делать?», например, он яростно протестовал против вывоза хлеба и сельскохозяйственного сырья за границу, ратовал за собственные фабрики и заводы, за коренное улучшение земледелия, подчеркивая при этом, что «устройство фабрик и заводов всегда предшествует и способствует развитию рационального земледелия». «Вывозить хлеб и сырые продукты на дальние рынки и за границу – значит продавать, отчуждать самую землю, обращать ее в бесплодную пустыню. Поэтому каждый земледелец... должен желать, чтобы по соседству с ним заводились фабрики, заводы, куда бы он мог сбывать свой хлеб...» (1863, 3, I, 45), – писал он.

Соколов не может принять «теорию народного самозаклания», по которой русское государство «должно заниматься земледелием, а не фабричной промышленностью», – потому что теория эта на практике означает «навсегда отказаться от свободы народного труда и экономического развития». Он – за всемерное развитие национальной промышленности, ибо «чем страна более развита и чем более скопила капитала, тем она сравнительно богаче». Как и Благосветлов, из этого же стремления к быстрому промышленному прогрессу он исходил и в том случае, когда решительно протестовал против строительства в России железных дорог. Соколов отдает отчет в необходимости и пользе железных дорог в экономически высокоразвитых странах. Но, задает он вопрос, нужны ли же-

лезные дороги в России? «Развиты ли у нас производство, промышленность и торговля настолько, чтобы мы действительно в них нуждались?» (1863, 3, I, 15). По его мнению, строить железные дороги выгодно и необходимо лишь тогда, когда в стране будут развиты промышленность и сельское хозяйство. Сейчас, по мнению Соколова, усиленное строительство железных дорог тормозит развитие промышленности, потому что заберет все капиталы и будет способствовать вывозу русского хлеба за границу. Протест Соколова против строительства железных дорог был наивен, однако диктовался он стремлением максимально ускорить развитие промышленного производства в России. Но был ли Соколов апологетом буржуазного развития страны? Нет. В своем отношении к капитализму он занимал позицию, типичную для «Русского слова» и общую для всех шестидесятников. Понимая относительную прогрессивность буржуазно-промышленного развития в сравнении с рутиной и застоем крепостничества, Соколов отдает себе отчет в том, что «благосостояние народа измеряется не столько количеством накопленных богатств, сколько равномерностью и правильностью их распределения. В настоящее время даже передовые, цивилизованные народы, французы и англичане, жестоко страдают от нищеты. Вот почему экономисты пишут свои сочинения о богатстве этих народов, умирающих с голоду» (1863, 3, I, 6).

Главный пафос творчества Соколова – обличение капитализма и буржуазной политэкономии. Исходные позиции этой критики те же, что и у Чернышевского: переосмысленный закон трудовой стоимости, открытый классиком английской политэкономии Адамом Смитом, – то «экономическое учение, которое объявляет труд первым источником богатства народа» (1862, 5, III, 13). Если труд – источник богатства, то, следовательно, все плоды его должны принадлежать трудящимся. Таков «великий принцип экономической жизни общества». «Но если труд – только один труд – есть принцип богатства, то, с другой стороны, каков же принцип той ужасной нищеты, которая разъедает цивилизованный Запад?» (1862, 11, I, 13), – спрашивает Соколов. Он выступает как защитник интересов «самого бедного и многочисленного класса людей». Он отвергает учения современных ему буржуазных полит-

экономов именно потому, что видит классовый смысл этих учений: защиту интересов имущих классов общества. «Политическая экономия,— скажет он несколько позже,— теория лихоимства; другого определения нет и быть не может» (1865, 3, II, 3). Соколов обрушивает свой сарказм прежде всего на небезызвестного Мальтуса — автора теории перенаселения, утверждавшего естественную закономерность голода и нищеты, так как народонаселение будто бы растет в геометрической прогрессии, а продукты питания увеличиваются в арифметической. «Заслуга Мальтуса,— иронизирует Соколов,— состояла в том, что он, к неописуемому восторгу школы экономистов, первый провозгласил политическую экономию, как доктрину нищеты, рабства и смерти» (1862, 5, III, 18). Соколов видит в теории Мальтуса фундамент политической экономии, апологетизирующей буржуазный строй. С его точки зрения, и Рикардо, и Джон Стюарт Милль, да, собственно, все политэкономы после Адама Смита — «замечательные глашатаи этой теории».

Впрочем, уже в этом утверждении Соколова ощутима ограниченность его критики буржуазной политэкономии, выражавшаяся в огульности и антиисторизме многих оценок, что шло, в свою очередь, от дилетантизма и эклектичности, свойственных воззрениям Соколова. Вряд ли правильно сводить учение Рикардо или Дж.-Ст. Милля к теории мальтузианства; вряд ли справедливо одним взмахом пера перечеркивать всю буржуазную политэкономию после Адама Смита. По-видимому, эта-то дилетантская размашистость оценок, с такой явственностью проявившаяся впоследствии, скажем, в его статьях о Милле, и заставила Чернышевского сказать Соколову, что он — за сотрудничество его в «Современнике», но только не по вопросам политической экономии. Экономические статьи Соколова, с точки зрения Чернышевского, серьезного научного интереса, по-видимому, не представляли. Их значение в большой степени было публицистическим.

Пристальное внимание Соколова к проблемам политической экономии, его яростная критика буржуазного общества отнюдь не были оторваны от насущных и нерешенных вопросов российской действительности, прежде всего от центрального, главного вопроса: каким путем пойдет развитие России? Соколов здесь отвечал,

казалось бы, определенно: «Россия решительно не может идти тем избитым путем экономического развития, которым шли до сих пор западные государства» (1863, 2, I, 2).

Но каким образом Россия может избежать «избитого пути экономического развития», свойственного буржуазной Европе? На этот вопрос в статьях Соколова 1862—1863 годов ответа нет. Зато в них можно встретить наивные рецепты общественных преобразований, свидетельствующие, что Соколов не зря в 1859 году в течение ряда месяцев чуть не ежедневно посещал Прудона.

Знаменательно, что с французским мелкобуржуазным социалистом, отцом анархизма Прудоном Соколов познакомился через Герцена. Герцен был другом Прудона. Он называл его «неукротимым гладиатором» и высоко ценил его «смелую речь, едкий скептицизм, беспощадное отрицание, неумолимую иронию». Сила и значение Прудона, по словам Герцена, были в отрицании, в критике несправедливых общественных порядков. «Прудон не создавал,— писал Герцен,— он ломал, он воевал, а главное — он двигал, он все двигал, все покачивал, все затрагивал, отбрасывая условные уважения, освященные навыком понятия и принятый без критики церемониал... Это была своего рода ликвидация нравственно-недвижимых имуществ» [1].

Эта неустрашимость критики эксплуататорского строя и всех его атрибутов, эта «ликвидация нравственно-недвижимых имуществ» буржуазии страшно пугала реакционеров и покоряла сердца революционно настроенных людей. Не лишена была обаяния и личность Прудона. Выходец из трудовой крестьянской среды, он гордился своим происхождением и громогласно провозглашал себя защитником интересов народа. Отвечая как-то раз в Палате оратору-аристократу, хваставшемуся знатностью своего рода, Прудон воскликнул:

— У меня четырнадцать предков мужиков,— назовите мне хоть одно семейство, имеющее столько благородных предков!

Популярность этого неистового «безансонского мужика», самородка и самоучки, бесстрашно громивше-

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 18, с. 314.

го собственность, католическую церковь, буржуазную политэкономию, философию, казенную нравственность и мораль, была огромной. Первую книгу Прудона «Что такое собственность?» (1841), объявлявшую собственность «кражей», с восторгом приветствовал молодой Маркс. «Прудон, — отмечал он, — не только пишет в интересах пролетариев: он сам пролетарий, ouvrier ⟨рабочий⟩. Его произведение есть научный манифест французского пролетариата...» [1].

Однако уже последующая работа Прудона — «Система экономических противоречий или философия нищеты» — полностью представила как мелкобуржуазный характер его социалистической утопии, так и эклектизм и дилетантизм автора. Маркс ответил на «Философию нищеты» знаменитой работой «Нищета философии».

Но если Маркс критиковал Прудона с позиций научного социализма, то русским революционерам, подходившим к его учению с позиций утопического социализма, Прудон был часто созвучен. Им были близки демократизм, отрицание социальной несправедливости, народолюбие Прудона, его культ «народа» — в домарксовом, недифференцированном понимании этого слова, оборачивающийся в конечном счете культом крестьянства и мелкого ремесленничества. Им были понятны утверждения Прудона вроде нижеследующего: «Крестьянин ждет только наказ: он хочет земли, он пожирает ее взорами, и она не уйдет от его вожделения... Крестьянин прежде всего настроен революционно; это диктуется ему его мыслями и его интересами».

Но Герцен, Чернышевский, Бакунин, обладавшие несравненно более широким кругозором и философской образованностью, чем Соколов, каждый по-своему критиковали учение Прудона. Соколов же не видел отсутствия научного основания в идеях своего кумира. Из своей длительной поездки за границу он вернулся яростным поклонником Прудона. Правда, к чести Соколова, любимым его трудом была книга «Что такое собственность?». Из нее вынес он свою излюбленную идею: «Собственность — это кража», точнее «лихоимство», по терминологии Соколова. Аргументация Прудона слышна и в нападках на буржуазную политэко-

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 45.

номию, с которой начал Соколов свое сотрудничество в «Русском слове». Поначалу он со страстностью прозелита воспринял не только столь близкий ему по неистовству критический пафос Прудона, но и его наивную утопическую программу социальных реформ. Впоследствии его отношение к положительной программе Прудона изменилось, но на первых порах он поверил даже в результативность прудоновского обмена без денег, беспроцентного кредита, «народного банка» и прочих неприменимых не только для крепостнической России, но и для развитого буржуазного Запада наивных идей.

В статьях «Деньги и торговля» (1863, 1), «Торговля без денег» (1863, 2) он с энтузиазмом перелагал прудоновскую идею о ликвидации денег и системе прямого и бесплатного обмена как панацею от всех бед, не отдавая отчета, насколько далеки эти утопии от реальных проблем и вопросов российской действительности. Влияние Прудона в первых же статьях Соколова сказывается и в прокламируемом им индифферентизме к политике, что не было типичным для шестидесятых годов и стало столь распространенным в народничестве последующего десятилетия. В статье «Чего не делать?» он писал: «Историческая задача нашего века состоит в том, чтобы улучшить материальное состояние народа, который живет своим трудом... Политические вопросы о национальности, единстве, парламентаризме и др., которые занимают так называемых публицистов, не понимающих потребностей своего века, совершенно чужды народу; он их никогда не понимал и не поймет, потому что сохранил много здравого смысла и дорожит им. История не повторяется, и политические вопросы отжили свое время» (1863, 3, I, 3—4).

И у Благосветлова, и у Зайцева, и в статьях других публицистов шестидесятых годов можно встретить утверждения о том, что экономический, социальный вопрос — знамение XIX века. Но в таком крайнем выражении — «политические вопросы отжили свое время» — эта мысль встречается в шестидесятые годы только у Соколова. Источник ее — Прудон.

И все-таки главное, что привлекало Соколова в Прудоне, были не столько слабости его, сколько сила его разрушающей и беспощадной критики, его стихийный демократизм. Прудон «знал хорошо то обще-

ство, в котором жил и трудился неутомимо,— писал Соколов.— Он видел разложение этого общества, наблюдал, изучал, раскрывал все его язвы и указывал на них не со смехом, а с выражением глубокого, искреннего страдания... Прудона считают гениальным критиком, который только отрицал, но ничего не создавал. Действительно, вся сила Прудона в отрицательной критике и в неподражаемом анализе современных идей и явлений. Все, что попадалось под его крепкую крестьянскую руку, все трещало, ломалось и разбивалось вдребезги» (1865, 6, II, 61, 65).

Разрушительная критика Прудона в условиях самодержавно-крепостнической России звучала революционно. «Отрицание существующего порядка грабежа и насилия — вот значение и назначение отщепенства»,— утверждал в «Отщепенцах» Соколов. «Отрицать, беспрестанно отрицать!» — восклицал Прудон в порыве страстного увлечения правдой отщепенчества. Цель этого постоянного, неизменного отрицания состоит в том, чтобы «освобождать человека от рабства мысли, в котором держит его практическая жизнь с ее позором и преступлением». Это было революционное отрицание всего экономического, политического и нравственного уклада современной Соколову действительности.

Тот Прудон, с которым мы встречаемся у Соколова, далеко не похож на истинного. Крестьянский революционер и демократ Соколов переосмысливал наследие Прудона и по возможности приводил его в соответствие с нуждами русского освободительного движения.

Публицистика Соколова представляет для нас интерес в значительной степени потому, что он одним из первых слил идеи прудонизма с идеей крестьянской революционности. Увлечение теориями Прудона не перечеркивало революционно-демократической основы убеждений Соколова. Эти теоретические искания Соколова, пусть и не в самостоятельной, эклектической форме, выявляли демократическую сущность его убеждений. Социальным фундаментом их была крестьянская революция, а главным истоком, конечно же, идеология русской революционной демократии, качественно переработавшая в себе немало западноевропейских социалистических и философских учений. Пропагандируя Прудона, сердцем своим Соколов принад-

лежал русской революционной действительности бурных шестидесятых годов.

Эта органическая внутренняя причастность ко времени революционной ситуации выражена в его автобиографии с предельным лаконизмом, где за каждой фразой – огромное и важное для Соколова содержание: «Знакомство с Писаревым, майские пожары в Петербурге. «Отцы и дети» у Каткова (март, «Русский вестник»). Реакция. Запрещение «Русского слова» и «Современника» 25 мая. 4 июля арестован Писарев, 7 июля – Чернышевский, посаженный в Петропавловку. 20 декабря 1862 года он подает в отставку к общему изумлению. В феврале 1863 года появляется опять «Русское слово». Все это время он живет с Благосветловым на Колокольной улице, 3-й номер, дом Миллера. Затем в июне едет за границу и поселяется в Дрездене, чтобы забыть Россию. Разлитие желчи по поводу польских дел».

Здесь важно раскрыть причину его отставки, а также смысл фразы: «Разлитие желчи по поводу польских дел».

Отставка его целиком и полностью связана с «польскими делами». Как вы помните, это была уже вторая его просьба об отставке – на допросе в Муравьевской комиссии в 1866 году он объяснял ее «домашними обстоятельствами» (сообщая, кстати, в ответе на следующий вопрос, что он «холост»). В «Автобиографии» названа иная, более правдивая причина. Еще осенью 1861 года, когда его дивизия отправилась из Кременца в Польшу, Соколов подал в отставку. Осенью 1861 года отставка не была принята, и до декабря 1862 года он служил в генштабе в должности библиотекаря. 20 декабря 1862 года, в самый канун Польского восстания, когда представитель революционной Польши приезжает в Петербург для переговоров с «Землей и волей», он подает в отставку вторично и получает ее 3 января 1863 года. Случайно ли это? Естественно, нет. Вне всякого сомнения, уже в декабре 1862 года Соколов, живший вместе с членом ЦК «Земли и воли» Благосветловым (факт примечательный!), знал о надвигающемся сроке восстания в Польше и хотел встретить его за пределами русской армии. О его отношении к Польскому восстанию можно судить хотя бы по тому, как встретил Соколов в 1863 году брата, приехавшего в Петербург

из русских войск, усмирявших поляков. Когда тот «бросился, чтобы расцеловаться, Николай Васильевич остановил его словами: «Постой, скажи прежде: вешал?» (то есть поляков) — «Нет, не вешал», — ответил приезжий. «Ну, в таком случае здравствуй!» — сказал Ник. Васильевич и расцеловался. Об этом случае рассказано, со слов поляков, в статье «Смерть и похороны Н. В. Соколова» в том самом номере «Свободы», в котором напечатана «Автобиография». Статья редакционная, и принадлежала она, по-видимому, С. Княжнину — редактору журнала. Все сведения, сообщаемые в ней, вполне достоверны. Самое пристальное внимание заслуживает то место статьи, где говорится, что на похоронах Соколова «особенно много было поляков, которые с особенной благодарностью вспоминают участие Николая Васильевича в восстании 1863 года. Один старик поляк с заметной военной выправкой, стоявший у гроба... взволнованно проговорил: «Сослуживцами были, вместе служили». К сожалению, волнение не дало моему соседу кончить начатую фразу», — пишет автор статьи. Это свидетельство об участии Соколова в Польском восстании чрезвычайно важно. Оно объясняет фразу о разлитии у Соколова «желчи по поводу польских дел».

Участие русских офицеров в Польском восстании по вполне понятным причинам ими не афишировалось. Об участии тех или иных русских в восстании и по сегодня мы узнаем зачастую случайно. Так, из материалов «Пражской коллекции» архива Герцена и Огарева мы узнали, к примеру, об участии в Польском восстании В. О. Ковалевского, близкого друга Варфоломея Зайцева (впоследствии известнейшего ученого-палеонтолога). В письме Герцену из Кракова от 22 октября 1863 года он рассказывал о трудностях повстанцев — о недостатке «в людях, которые сумели бы хорошенько повести отряд, и если повстанцы часто бегают, так именно потому, что тупоумные или не имеющие понятия о военном деле начальники ведут их, как баранов, на бойню» [1].

Письмо Ковалевского, человека сугубо штатского, дышит недовольством организацией дела в армии вос-

---

[1] Штрайх С. Я. Из переписки В. О. Ковалевского с А. И. Герценом и М. А. Бакуниным. — Литературное наследство, т. 62. М., 1956, с. 261—262.

ставших: «совершенный департамент военного министерства, только участниками его не генеральство, а наша братия», — замечает он. Так что было отчего «разлиться желчи» у такого образованного и опытного военного, как Соколов.

И все-таки главная причина, думается, не в этом, а в тех противоречиях узконационального и социального начал, которые раздирали Польское восстание. Как известно, среди восставших сильна была чисто националистическая партия, озабоченная тем, чтобы восстановить Польшу в ее так называемых «исторических» границах (с включением Литвы, Белоруссии и Украины), и меньше всего помышлявшая об освобождении крестьян. Можно предположить, что именно здесь прежде всего и коренилась причина «разлития желчи по поводу польских дел» у подполковника Соколова.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах перебрался Соколов из восставшей Польши в Дрезден — популярное среди повстанцев место. «Там он, — говорится в «Автобиографии», — провел свое время до 28 декабря 1864 года вместе с Альбертиной Дюпон и с польскими повстанцами. Но, избив нещадно двух саксонских жандармов, отданный за это под суд, бежал». Не удалось пока выяснить и кто такая Альбертина Дюпон (о какой-то «истории с Альбертиной Дюпон» говорится в «Автобиографии» еще применительно к началу 1861 года). Зато его драка с саксонскими жандармами в деталях описана в деле III Отделения «О неблаговидном поступке проживавшего в Дрездене отставного подполковника генерального штаба Николая Соколова» [1].

Соколов в своих показаниях признает здесь, что действительно избил жандармов в результате ссоры с ними в Королевском саду: «Под влиянием чувства оскорбления и личной защиты я стал махать палкой направо и налево. Кого я ударил в ту минуту, я не видел, потому что моя шляпа была надвинута на глаза. Едва я успел выпрямиться и поднять голову, как меня схватили за руки два полицейских, и один из них сказал мне, что я дважды ударил его и сбил с него фуражку».

Дрезденские власти передали жалобу на отставного

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 150, ед. хр. 19.

подполковника Соколова русскому поверенному в делах в Дрездене. Королевский прокурор «нашелся вынужденным или арестовать его на все время производства следствия, или потребовать денежное обеспечение в 200 талеров – в явке его в суд по первому требованию».

Так как денег под залог у Соколова не было, он бежал из Дрездена. Его разыскивали по всей Германии, дав объявление в газету «о беглом преступнике Соколове», а Соколов в это время находился уже в Париже, у Герцена.

3 февраля 1865 года Герцен писал Огареву: «Был у меня Соколов. Он в Дрездене подрался с полицейским и убежал оттуда. Здесь, без средств, начал корреспонденцию для L'Europe, работать хочет и, полагаю, может. Самолюбие его знаем. Я дал ему из фонда 100 франков». Соколов рассказывает в «Автобиографии», что во время пребывания в Германии он «бегал за Лассалем, за Шульце-Деличем, слушал их внимательно, написал по-немецки целую брошюру под названием «Die Revolution», искал везде издателей и послал рукопись эту Герцену в Лондон, получил ответ, привет и приглашение явиться в Париж. 6 января 1865 года прибыл в Париж, был у умирающего Прудона и 20 января на похоронах его в Пассии, на кладбище сказал речь. Герцен прибыл только в начале февраля и сделал его своим секретарем на два месяца, поил, кормил и ублажал. Давал он в это время уроки, влюбился в Катерину Николаевну Марк, посещал семейство Реклю и 2 июля с отчаяния бросил любовь и появился в Петербурге. С любви попал снова на любовь. В этот раз не он влюбился, а в него влюбились. То была Вера Ивановна Писарева; но тем не менее он был занят в эту пору, он решился мстить, напал на Милля, захотел сделать стачку против редактора «Русского слова» (Благосветлова), и втроем (Зайцев, Писарев и он) объявили печатно в газетах, что «мы хотим произвести радикальную реформу», то есть журнал – собственность подписчиков. Вышли из «Русского слова».

О речи Соколова на могиле Прудона мы встречаем свидетельство в книге воспоминаний «В эмиграции» Н. Русанова:

«В 1865 году Прудона не стало, и Соколову удалось... произнести краткую речь на похоронах знаме-

нитого социалиста в Брюсселе, где он обратился к присутствующим с горячим увещеванием не забывать великих идей учителя: «Прудон умер – да здравствует Прудон!» Слух об этой речи дошел и до России, и власти не очень ласково встретили нашего анархиста по его возвращении на родину»[1].

А если бы Соколову удалось в ту пору опубликовать свою книгу «Социальная революция», о возвращении в Россию ему нечего было бы и думать.

4

«Социальная революция» была издана в Берне на немецком языке в 1868 году. Один экземпляр ее хранится в Отделе редких книг Библиотеки имени В. И. Ленина. На последней странице книги стоит дата 25 октября 1864 года.

Уже оглавление ее, написанное в тезисах, передает содержание и направленность книги:

«Глава I. Неизбежность революции: она будет социальной. Социальный вопрос есть рабочий вопрос. Положение рабочего класса в Германии. Суждения демократа, прогрессиста и князя церкви. Мнения буржуазии; ее алчность и безнравственность.

Глава II. Г-н Шульце-Делич как представитель немецкой буржуазии и вождь партии ростовщиков; его учение о капитале. Бесстыдство его помощников. Процент на капитал есть причина всех бедствий рабочего класса. Ростовщические предприятия по системе г-на Шульце-Делича. «Собственность есть кража». Учения буржуазных полит.-экономов. Г-н Шульце-Делич как представитель рабочего класса.

Глава III. Обожествление ростовщичества и отвращение к труду. Подкуп в биржевой лихорадке в Германии. Акционерные общества – эксплуатация акционеров. Общественное вырождение.

Глава IV. Лживость и продажность прессы. Государство – мертвая форма общества. Его экономический вред: он выражается непосредственно в эксплуатации рабочего класса...» и т. д.

В книге «Социальная революция», написанной без оглядки на цензуру, с предельной обнаженностью вы-

[1] Русанов Н. С. В эмиграции. М., 1929, с. 30.

явлены социальные и общественные позиции будущего автора «Отщепенцев». Это позиции революционера, социалиста, демократа. Пафос книги – в обличении пороков буржуазного, эксплуататорского строя с позиций утопического социализма, а точнее – все с тех же позиций, которые были выражены Прудоном в работе «Что такое собственность?». Соколов утверждает вслед за Прудоном, что современный ему общественный строй стоит на обмане и насилии, потому что капиталистическая прибыль – кража, воровство. «Быстро и без труда обогатиться – это цель нашей жизни», – говорят буржуа. Капитал стал религией современного общества. Смысл жизни буржуазии – «денежная прибыль без усилий, без настоящего труда». Современное государство стоит на страже интересов буржуазии. «На нее работает полиция. Из любви к ней учат профессора, болтают газетные писаки, молятся попы».

В критике капитализма Соколов, в традициях домарксовой социологии, исходит, как уже говорилось, из своеобразно переосмысленного закона трудовой стоимости – гениального открытия классиков английской политэкономии Смита и Рикардо. В этой работе он развивает мысль, которую уже неоднократно высказывал в своих статьях для «Русского слова»: «Единственный источник богатства – труд. Не существует дохода в обществе, который не основан на труде». Поэтому себестоимость всех производимых товаров должна быть равна «общей заработной плате всех рабочих». Сейчас же заработная плата рабочего ограничена самыми необходимыми жизненными потребностями. Доход же предпринимателей, называемый чистой прибылью, – кража из карманов рабочих. В этом Соколов видит причину всех несчастий современного ему общества, форму нового рабства. В уничтожении прибыли он видит «освобождение рабочего класса».

При всей наивности этой критики в работе «Социальная революция» звучит искренняя и глубокая ненависть к миру буржуазного предпринимательства, боль и сочувствие положению трудящихся.

Страницы, где речь идет о положении трудящихся классов, пожалуй, самые сильные в книге. Соколов привлекает здесь большой фактический материал, цитирует, в частности, работу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии и Франции», оговариваясь, что

причины, которые вызывают нищету рабочего класса в Англии, имеют место и в Германии и в других странах.

Соколов возлагает надежды на то, что рабочий класс начинает понимать всю несправедливость и нетерпимость такого положения вещей. «Современное рабочее движение должно нас предостеречь: мы скоро увидим кровавую войну в сердце общества, — пишет он. — Мы живем на почве, которая каждый день может взорваться; этот взрыв так же неизбежен, как механический закон. Глубокая ненависть и стремление к восстанию против имущих становится общим мнением всего рабочего класса и неизбежно приведет к революции. Берегитесь!»

Соколов обрушивается здесь на тех экономистов и политиков, которые обманывают народ, с тем чтобы предотвратить взрыв революции. «Планомерным одурачиванием народа с целью защиты интересов дельцов» называет он их деятельность. «Признанным вождем немецкой партии мошенников» Соколов называет Шульце-Делича, пытавшегося с помощью своих кредитных обществ насаждать псевдосоциализм в недрах буржуазного общества. Соколов недаром «бегал за ним», посещал его митинги и собрания во время своего пребывания в Дрездене. Он прекрасно разобрался в провокаторской сути идей Шульце-Делича. «Горе Германии, — пишет Соколов. — Она считает г-на Шульце-Делича большим человеком, другом народа. В действительности г-н Шульце-Делич — последний слуга буржуазии; он защищает ее всей хитростью своего софистического ума».

Столь же бескомпромиссна критика Соколовым «государственного коммунизма» Лассаля, который изображал государство как некую надклассовую организацию, призванную разрешить социальный вопрос. Средством осуществления своей программы Лассаль считал мирную печатную агитацию за введение всеобщего избирательного права, за устройство производственных ассоциаций с помощью юнкерско-буржуазного государства.

Пятая глава его книги прежде всего посвящена критике теории и практики лассальянства. «Всеобщее избирательное право не задевает права собственности», а потому не может служить панацеей от всех бед, отвечает он Лассалю. Лассаль, как и Шульце-Де-

лич, по определению Соколова, «политический обманщик народа».

Что же противопоставляет Соколов «мошеннической» деятельности Шульце-Делича и Лассаля? Идею социальной революции. Эта идея, начиная с заглавия и эпиграфа, проходит через всю его книгу. Книга «Социальная революция» красноречиво опровергает мысль, высказанную Соколовым на суде, будто он против «насильственной революции», так как она «не может быть благодетельной». На суде Соколов говорил: «Я проповедую революцию, да, революцию, но какую? Революцию идей, то есть умственный переворот, перемену образа мыслей, понятий и убеждений на основании науки и совести». Это заявление его было продиктовано скорее всего тактическими соображениями — ведь он произносил «защитительную речь». И даже в этой речи вслед за декларацией своего отрицательного отношения к насилию он провозглашал, что не может «слышать равнодушно и бесстрастно о восстании народа... решается жертвовать собою во имя спасения народа от грабежа и насилия. Мало того,— продолжал Соколов,— я сознаюсь, что сочувствую всегда людям, чье самоотвержение на благо народа увлекает их на борьбу с его врагами и палачами».

Его книга, написанная для бесцензурной печати, пронизана идеей революции, причем он предрекает качественно новый, социальный характер грядущего революционного переворота. «Мы стоим накануне всеобщей революции, по сравнению с которой французские революции XVIII века и 1848 года кажутся детской игрой... Время чисто политических движений позади. Если в конце прошлого столетия одно сословие народа поднялось против государства, то теперь есть класс, который думает о том, чтобы перевернуть общество. Вот почему грядущая революция может быть только социальной»,— провозглашает Соколов уже на первых страницах своей книги.

Как известно, идея социальной революции лежала в основе деятельности народников-семидесятников. Однако основы теории социальной революции были заложены демократами уже в пору шестидесятых годов. Это сделал прежде всего Чернышевский, который, по определению Ленина, слил воедино идеи народной революции и утопического социализма. Демо-

краты-шестидесятники осознавали, что все великие антифеодальные революции прошлого завершались торжеством буржуазных отношений. Не понимая исторической закономерности того, что эти революции по своей природе были буржуазными, они объясняли конечную «неудачу» их тем, что революции прошлого не были оплодотворены идеей социализма, были политическими, а не социальными революциями. XIX век принес с собой новое качество освободительного движения народов, являющегося гарантией истинного и полного освобождения народных масс, — идею социализма. Народную революцию демократы-народники шестидесятых — семидесятых годов иллюзорно мыслили социалистической. В этом суть теории социальной революции, как она развивалась уже на страницах «Современника» и «Русского слова».

Но естественно, что теорию «социальной революции» — демократической революции в России, осмысляемой ее идеологами в качестве социалистической, — невозможно было с достаточной откровенностью развернуть на страницах подцензурной печати. В книге же Соколова, написанной им во время пребывания за границей в 1864 году, идея русского народничества получила откровенное, открытое, прямое выражение. Соколов взывает к революции и предсказывает неизбежность ее с присущим его характеру неистовством. «Будьте готовы к тому, что революция придет в определенный час. Это неизбежно!»

«Горе вам, деспоты и угнетатели народов. Ваш час пробил. Народ думает о ваших грехах, поэтому скоро наступят ваши мучения, боль и смерть, вас сожгут огнем, ибо силен революционный народ, который хочет вас судить. Социальная революция приближается!» — снова и снова провозглашает он.

Особенность позиции Соколова, проявившаяся в этой работе, в том, что он не удовлетворяется провозглашением социальных задач грядущей революции.

Социальные задачи революции он противопоставляет политическим. Уже в этой работе звучат нотки анархического отрицания политической борьбы. «Что означает этот пустой призыв» «политическая свобода», «политическое равенство»?.. — спрашивает он. — При современных политических условиях каждая политическая конституция есть завуалированная форма рабства, социального убийства, против которого бедный рабо-

чий не может защищаться. Государственная конституция оставляет ему свободу выбора – постепенно умереть с голоду или быстро покончить с собой».

Анархизм, столь влиятельный в русском освободительном движении семидесятых годов, не был чем-то случайным для России. Он имел социальную – крестьянскую, мелкобуржуазную – почву и идейные истоки, коренившиеся в просветительской, идеалистической философии истории, свойственной эпохе демократической революции, всему разночинскому этапу русского освободительного движения.

В этом отношении чрезвычайно показательно движение шестидесятника Соколова к анархизму. Его книга «Социальная революция» – уникальный документ, раскрывающий диалектику смыкания идей крестьянской революционности с прудонистской идеей анархии.

«Политическое движение никогда не может иметь результатов», – вслед за Прудоном утверждает он. Как известно, Прудон доходил в своем мелкобуржуазном отрицании политической борьбы до абсурда – до утверждения того, будто «конституция – вещь совершенно ненужная», а «всеобщее избирательное право есть контрреволюция». Отрицание политической борьбы неумолимо приводило его к отрицанию государства в принципе, к отрицанию государства не только капиталистического, но и социалистического.

Весь этот комплекс идей анархизма, помноженный на призыв к революции против всех и всяких властей, звучит в книге Соколова. Филиппики в адрес буржуазного государства перерастают здесь в отрицание государства вообще. Спор с «правительственным» социализмом Лассаля перерастает в полемику с «государственным» социализмом и коммунизмом в принципе. «Принцип государственной власти, – пишет он, – может осуществляться в любой известной нам форме. Это может быть власть короля, власть дворянства, господство буржуазии или четвертого сословия. И все эти формы являются одинаково порочными, потому что в них господствует принцип насилия». Соколов подробно разбирает все пороки государственной власти – карьеризм, властолюбие, бюрократизм – и приходит к выводу, что всякая власть ведет к подавлению человеческой личности.

Правда, в одном месте Соколов оговаривается:

«Государство есть историческая категория, которая развивается до самоотрицания». Однако сама суть процесса самоотрицания государства по мере развития общества, закономерности этого развития оказались непостижимыми для Соколова. Его увлекала блистательная эскапада словоизвержений Прудона, требовавшего немедленного распятия государства во имя полного освобождения личности. Он не видел всей утопичности этой прекраснодушной мечты и не поднялся до осознания единственно реального пути, который ведет к уничтожению государства, того пути, который предложил марксизм. Ведь марксизм, считал В. И. Ленин, вовсе не расходился с анархизмом «по вопросу об отмене государства, как *цели*» [1].

Революционаризм Соколова — и опять-таки не без влияния Прудона — обернулся во второй половине шестидесятых годов еще одной неожиданностью: Соколов стал яростным проповедником «евангельского социализма». Это направление мысли Соколова — примечательное и не такое уж исключительное, как кажется на первый взгляд, явление в истории русского освободительного движения.

Конечно же, для демократов-шестидесятников в целом, для «Русского слова» в частности был характерен яростный, наступательный атеизм. Вообще в отличие, скажем, от Италии крестьянская революционность в России выступала, как правило, под атеистическими знаменами. И тем не менее и в более поздние, семидесятые годы, в пору, когда могучая проповедь шестидесятников дала такие обильные и прекрасные плоды, когда, по словам семидесятника О. В. Аптекмана, «чистое, как хрусталь, настроение, цельное, почти религиозное чувство охватило молодежь» и, выпрямившись во весь рост, она, «добрая, светлая, глубоко верующая» в идею социализма, пошла в народ,— мы встречаем отзвуки революционного «евангельского социализма». В своей книге воспоминаний «Общество «Земля и воля» 70-х годов», написанной в якутской ссылке 1882—1883 годов, Аптекман рассказывает о знаменитом кружке долгушинцев, организованном в 1872 году и положившем начало движению в народ, о его руководителе — «сосредоточенном, сдержанном, сильном и порывистом» Долгушине. Он рассказывает, что

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 60.

на даче Долгушина, где находилась подпольная типография, в углу на полке стоял крест, на котором вверху сделана надпись: «Во имя Христа», а на поперечной перекладине: «Свобода, равенство, братство».

«Что это – красивый жест? Фраза? – задает вопрос Аптекман. – И то и другое чуждо натуре Долгушина. Это – заповеди, дорогие сердцу Долгушина... Какие сложные движения души! Крест – символ искупления, и революция – выражение «святого гнева». «Во имя Христа» и «Свобода, равенство, братство». Революция жертв просит – иди на крест! Революция кровавой борьбы требует – рази мечом!

Это не было так просто, как другие себе представляют: проглотила-де молодежь одну-другую полудюжину тенденционных книжек, наслушалась призывов Бакунина и Лаврова и пошла в народ. Нет! То была подлинная драма растущей и выпрямляющейся души, то были муки рождения больших дум и тревожных запросов сердца. Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. Чего она искала в Евангелии? Какие струны ее души были так задеты «благой вестью»?

Крест и фригийская шапка [1]. Но это было, читатель!» [2] – убеждает нас современник той великой и прекрасной эпохи.

Да, все это было не просто: суровая трезвость «реализма» – и страстная проповедь евангелических заповедей; культ «разумного эгоизма» – и высочайший, белоснежный, граничащий с самопожертвованием альтруизм; отрицание политики, политической борьбы – и гибель сотен бойцов в политической схватке с самодержавием. Мы еще не осмыслили в полную меру всей напряженности, противоречивости и глубины нравственного поиска революционеров XIX века. В их теориях, выражавших трагическую непреодолимость своего времени, было много преходящего, ограниченного, не выдерживающего современной научной критики. Но в их жизни и борьбе, в их свершениях и нравственных устремлениях содержалось вечное, непреходящее: боль за народ, стремление отдать жизнь

[1] Фригийскую шапку носили якобинцы во время Великой французской революции.

[2] Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов по личным воспоминаниям. Изд. 2-е, испр. и знач. доп. Пг., 1924, с. 90–91.

за него, подвиг высокой революционной гражданственности.

И как это ни парадоксально на первый взгляд, не вера в загробное существование, не христианская религия, а нечто совершенно другое толкало их к евангелическому социализму. Об этом хорошо написал Берви-Флеровский, тот самый Берви-Флеровский, чья книга «Положение рабочего класса в России» вызвала столь восторженный отзыв Маркса, – несправедливо забытый революционный публицист шестидесятых – семидесятых годов: «У меня постоянно было в уме сравнение между готовившейся к действию молодежью и первыми христианами». Берви-Флеровский посвятил эти строки как раз долгушинцам, которые в 1872–1873 годах готовились идти в народ. «Непрерывно думая об этом (о решении молодежи идти в народ. – *Ф. К.*), я, – пишет далее Берви-Флеровский, – пришел к убеждению, что успех можно будет обеспечить только одним путем – созданием новой религии... Я стремился создать религию равенства!.. Если бы можно было эту самую молодежь превратить в апостолов такой религии! Если бы убывающие их ряды пополнялись все новыми верующими, которые, подобно первым христианам, горели бы возрастающим энтузиазмом, тогда успех дела был бы обеспечен» [1].

Берви-Флеровский не ограничился пожеланием: он написал книгу «Как надо жить по закону природы и правды», отпечатанную в 1873 году в подпольной долгушинской типографии, где он попытался изложить основы этой новой, без бога и святых, революционной религии. В таком же приподнятом нравственно-религиозном тоне была написана Долгушиным прокламация «К русскому народу».

«...Мы, ваши братья, обращаемся к вам, угнетенным людям, и взываем во имя вечной справедливости, восстаньте против этих несправедливых порядков, не подобающих человеку, высшему и лучшему созданию на земле... – говорилось в этой прокламации. – И вот, когда вы потребуете для себя лучшей участи, злые люди-лиходеи станут кричать против вас, что вы бунтовщики, что вы всех перерезать хотите... и все та-

[1] Берви-Флеровский В. Три политические системы. Лондон, 1897, с. 297–298.

кое... Это уж так бывает всегда, вспомните, что говорит Иисус Христос: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас. И повезут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками» [1].

Легче всего бросить упрек тем же долгушинцам, сказав что в своей революционной пропаганде они сделали «шаг назад» от Чернышевского, взяв на вооружение заповеди Христа. Нет необходимости подробно говорить о всей утопичности их революционного переосмысления Евангелия. Попытаемся понять конечные истоки этой потребности в «новой религии» у пропагандистов-народников начала семидесятых годов. Они не только в том, что их нравственное подвижничество во имя счастья людей было и в самом деле в чем-то созвучно движению раннего христианства. Причины более глубокие и в конечном счете социальные. Они в том решающем и трагедийном факте, что русское народничество с истоков своих возлагало свои революционные упования на очень далекий от их социалистического идеала крестьянский класс. Как разбудить, какой найти путь к разуму и сердцу его? Это коренное драматическое противоречие второго этапа русского освободительного движения не могло не вызвать к жизни разнородных теоретических поисков и идейных метаний. Революционное богостроительство и богоискательство — одно из проявлений той объективной трудности, которую переживали крестьянские революционеры в силу исторического трагизма своего положения. «На царя у нас смотрят, как на помазанника божья,— говорил, например, другой участник долгушинского кружка, Гамов,— а потому идти против царя в России невозможно; для этого нужно выдумать такую религию, которая была бы против царя и правительства... Надо составить катехизис и молитвы в этом духе» [2].

Не исключено, что на мировоззрение долгушинцев оказали влияние «Отщепенцы» Соколова, изданные как раз в это время чайковцами за границей и широко распространявшиеся в нелегальных кружках России.

---

[1] Цит. по кн.: Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов..., с. 96.

[2] Там же, с. 93.

Возможно и другое: столь специфические духовные искания Соколова и долгушинцев совпали потому, что отвечали какой-то объективной, хотя и искаженной потребности времени.

В «Социальной революции» есть строки, объясняющие обращение Соколова к «евангельскому социализму», перекликающиеся с мнением долгушинца Гамова. «Вспомните же, революционеры, что народ еще верит в Христа и что Евангелье есть единственная книга, которую он понимает», — писал здесь Соколов.

Обратив взор к раннему христианству и к Евангелию, которое он рассматривает не как культово-религиозный, а как социальный, исторический документ, Соколов с позиции революционера и утопического социалиста переосмысливает его. «Что такое учение Иисуса Христа, как не кодекс коммунизма? Иисус Христос и его апостолы проповедовали, чтобы мы владели всем сообща», — пишет Соколов.

Абстрагируясь от всех культовых моментов в жизнеописании Христа, Соколов акцентирует внимание прежде всего на «коммунистических» началах раннего христианства, трансформируя учение Христа в социализм. Книга «Социальная революция» полна угроз и упреков в адрес эксплуататоров, забывших и предавших «коммунистические» заветы Христа. «Коммунистическое отрицание собственности есть в действительности следствие учения Христа, — пишет он. — Богачи, ожидайте при нынешней тишине бурю... Царство бедных близко. Берегитесь!» «Евангельский социализм» Соколова напоен ненавистью к официальной религии и христианской церкви. «Евангелье уничтожает поповскую церковь, это отвратительное порождение подлости и низости, церковь, которая одурманивает и грабит народ... Но пробил ее час. Горе вам, лгуны, лицемеры и губители человеческих душ!»

Эти угрозы и прорицания в адрес эксплуататорских классов и церкви Соколов связывает с близящейся народной революцией. Перечеркнув христианскую заповедь о непротивлении злу насилием, Соколов представляет Христа первым революционером на земле. В его интерпретации Христос — это «мститель бедных и слабых против богатых и могущественных». Продолжателем его дела был «народный пророк» времен Реформации Томас Мюнцер. Истинные продолжатели дела Христа — современные революционеры, ибо «так

называемое царство божие есть не что иное, как господство бедных и нищих, то есть социальная революция».

Примечательно, что Соколов не был верующим человеком. Когда на допросе его спросили о вероисповедании, он с иронией ответил: «Считаюсь православным, при постоянных переездах не мог бывать ежегодно на исповеди». Из всей религиозной литературы он берет только «Евангелье» и «очищает его от всякого «потустороннего», рассматривая Христа как реально существовавшую историческую личность, как защитника и выразителя интересов народа, социалиста и революционера. Более того — в своем переосмыслении фигуры Христа он заходит так далеко, что его Христос оказывается не только первым социалистом и первым революционером, но и первым анархистом. Именно так он и пишет: «Иисус был не только коммунист, но также и анархист, потому что он не имел и понятия о гражданском управлении. Каждый магистрат казался ему естественным врагом человека».

Первые христиане, говорит Соколов, призывали к неподчинению законам, к ненависти и презрению к государству. «Учение Иисуса уничтожает государство со всеми учреждениями и законами» — таков конечный вывод Соколова о связи анархизма с учением Христа.

Как видите, обращение Соколова к евангелическому лику имело прежде всего пропагандистский характер и было подчинено задаче утверждения и обоснования авторитетом Евангелия революционных и социалистических идей. Конечно же, подобное обоснование идеи социальной революции было наивным и идеалистическим. Но, по мнению Соколова, оно было понятнее народным массам, ибо «разрушающие основы Евангелья еще не за семью печатями для народа: народ их не забыл». И наконец, обращение к «коммунистической» евангельской проповеди позволяло, на взгляд Соколова, наполнять революционную пропаганду содержанием большого эмоционального напряжения. В своей публицистике он определенно подражал ораторским приемам евангелических проповедников. Вслушайтесь. «Горе вам, деспоты и угнетатели народов. Ваш час пробил. Народ помнит о ваших грехах, и скоро наступят ваши мучения, ваша боль и ваша смерть: все сожгут в революционном огне, пото-

му – велика сила ненависти революционного народа, который будет вас судить. Социальная революция приближается... Вавилон падет. Близится час страшного суда, – завершает Соколов свою книгу. – О, беспощадная революция!»

5

Темы и идеи книги «Социальная революция» легли в основу статей, которые опубликовал Соколов в «Русском слове» по возвращении из-за границы. Его статья «Экономические иллюзии» (1865, 4, 5) была, по существу, переложением нескольких глав «Социальной революции» – в той мере, в какой возможна была критика эксплуататорского, «лихоимского» строя и проповедь социализма в подцензурном журнале. Соколов говорит о капиталистическом строе как источнике несправедливости и нищеты.

В «Экономических иллюзиях» звучит излюбленная тема Соколова – критика буржуазных политэкономов, оправдывающих этот несправедливый порядок вещей. Критике апологетической, буржуазной политэкономии посвящена в значительной степени статья о Милле, опубликованная в седьмой, восьмой и десятой книжках «Русского слова» за 1865 год. «Капитал – вера и надежда экономистов: они служат, поклоняются ему, как Маммоне, и вся их политическая экономия – славословие капиталу и гимн лихоимству» (1865, 8, I, 5).

Соколов доказывает эту мысль на примере английского экономиста Джона Стюарта Милля, чья работа «Основания политической экономии» в переводе и с примечаниями Чернышевского вышла в 1865 году в свет. Популярность Милля как экономиста и мыслителя в России шестидесятых годов была очень велика. Даже сотрудники возобновленного «Современника» – например, Ю. Жуковский, А. Пыпин, – воспринимали Милля некритически, не понимая истинных причин, которые заставили Чернышевского взяться за перевод сочинения Милля. Чернышевский обратился к Миллю не ради пропаганды его экономических взглядов, – перевод и комментарий «Оснований политической экономии» служили Чернышевскому для популяризации его собственной экономической теории. В своих при-

мечаниях к работе Милля Чернышевский дал глубокую критику буржуазной политэкономии.

В своей критике Милля Соколов идет во многом от Чернышевского, но отнюдь не на теоретическом уровне Чернышевского. Он расправляется с Миллем с той залихватской резкостью, которая вообще отличала статьи Соколова. По мнению Соколова, у Милля куда меньше логики, чем у какого-нибудь заштатного экономиста Горлова.

Соколов ставит Милля в ряд с вульгарными экономистами — апологетами буржуазного строя, что уже само по себе в высшей степени несправедливо. В крайностях оценки Милля Соколов разошелся с Чернышевским, который, не принимая буржуазной направленности «Оснований политической экономии», писал тем не менее, что «книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом».

Как видите, взгляд на Милля Чернышевского далеко не совпадал с той разносной и по-прудоновски вульгарной критикой, которую учинил Соколов. По воспоминаниям Н. Русанова, который хорошо знал Соколова в эмиграции, именно эту-то «ругательную критику Милля и приносил в 1861 году Соколов Чернышевскому под заглавием «О банкротстве политической экономии». Не удивительно, что Чернышевский возвратил статью автору, «посоветовав Соколову заниматься вообще публицистикой, а не политической экономией» [1].

Критика Милля была последней журнальной работой Соколова, появившейся в «Русском слове». В том расколе, который произошел осенью 1865 года в редакции «Русского слова» и завершился выходом из журнала Зайцева и Соколова, инициатива принадлежала именно Соколову, решившему «сделать стачку» против Благосветлова. В своих показаниях в комиссии Муравьева Соколов так рассказывает об этом эпизоде: «...по приезде в Петербург (из-за границы в 1865 году. — *Ф. К.*) занимался одно время делами редакции «Русского слова», имел случай часто видеться с гг. Благовещенским, Зайцевым, навещал Писаревых; все отношения мои к ним заключались в том, что я ста-

[1] Русанов Н. С. В эмиграции, с. 29—30.

рался убедить их разорвать связи и дружбу с г. Благосветловым, который лицемерил и вызвал, наконец, меня и г. Зайцева на открытый разрыв и печатную полемику... Что касается до выражения «я старался убедить их, то есть В. Зайцева, Благовещенского и Писарева, прервать отношения с Благосветловым», то разъясняется это выражение тем, что, печатно отказываясь от участия в «Русском слове», я выставил на вид торжественное обещание г. Благосветлова произвести журнальную реформу, обещание, которое он дал уже давно, а потом не исполнил...» [1] Суть «журнальной реформы», которой требовал Соколов, сводилась прежде всего к тому, чтобы Благосветлов отказался от прав издателя – собственника журнала и объявил его «собственностью подписчиков». Соколов решил на практике провести в жизнь обуревавшие его социалистические, а точнее – прудонистские идеи и реформировать журнал так, чтобы издание – избави боже! – не давало прибыли: издержки на издание журнала и общая сумма, получаемая от подписки, должны быть равны, в чем читатели могут удостовериться благодаря публикуемым на страницах журнала ежемесячным финансовым отчетам. Эта реформа была направлена не столько против личности Благосветлова и его какого-то «особого» эксплуататорства, как принято считать, сколько против самого принципа ведения журнального дела в условиях частнопредпринимательского общества. Поскольку все журналы – в том числе «Русское слово» и «Современник» – велись на общих для того времени принципах предпринимательства, Соколов не только Благосветлова, но и Некрасова объявил эксплуататорами и требовал от них «пустяка»: чтобы они вели свои журналы на принципиально новых, так сказать социалистических, основаниях. Он поставил Благосветлову ультиматум: реформа или разрыв. Ультиматум этот был опубликован в ноябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год. Поскольку Благосветлов ультиматум не принял, Соколов и Зайцев из журнала ушли. Писарев, вначале присоединившийся к ним, остался.

Раскол этот, вызванный формально требованием Соколова произвести экономическую реформу, имел под собой и более глубокие причины.

---

[1] ЦГАОР, ф. 272, оп. 1, ед. хр. 20, л. 2.

Вскоре после ухода из журнала Соколов был арестован. Причиной ареста послужило «знакомство и сношения его с коллежским секретарем Ножиным, уже умершим, который принадлежал к кружку лиц, известных под названием нигилистов, и подозревался в преступных сношениях с бывшим домашним учителем Худяковым, осужденным по приговору Верховного уголовного суда к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение»[1]. 11 июля 1866 года Соколов «по необнаружению... каких-либо данных, по коим бы можно было подвергнуть его судебному преследованию», был освобожден из-под ареста с учреждением за ним полицейского надзора.

В «Автобиографии» Соколов, говоря о своем первом аресте, делает пометку: «Тут надо рассказать, как Муравьев напечатал о Ножине: «Основатели ада и руководители Каракозова». К счастью, Ножин умер 3 апреля в Марьинской больнице от тифа. Тем не менее Зайцева, Курочкина, Орлова, Соколова, друзей Ножина, арестовали». Это «к счастью» в данном контексте весьма примечательно. В сноске Соколов особо подчеркивает: «Пусть он расскажет это время до 18 апреля» – речь идет о первых двух неделях после выстрела Каракозова. После примечания Соколова редакция «Свободы», где печаталась первая часть «Автобиографии», пишет: «В следующем номере будет напечатано подробнее об этом времени, равно как и подробности об идее «Отщепенцев». Однако следующий номер «Свободы» не вышел. Тайна взаимоотношений Ножина и его друзей с подпольной организацией ишутинцев, из которой вышел Каракозов, пока не раскрыта. В литературе о Соколове высказывалось предположение, что он (а следовательно, и Зайцев) знал о готовившемся покушении. В «Отщепенцах» на материале истории с большой страстностью приводятся аргументы «за» и «против» убийства царя – факт, свидетельствующий о спорах, которые, по-видимому, велись в революционной среде конца шестидесятых годов о возможности и допустимости цареубийства.

На допросах, естественно, Соколов отрицал какую бы то ни было нелегальную основу своих взаимоотношений с Ножиным и его кружком. «Что касается до

[1] ЦГАОР, ф. 109, 3 эксп., ед. хр. 166/1866 г., л. 7–8.

сношений моих с Ножиным, — показывал он, — то они ограничивались делами по переводу разных книг, из коих некоторые уже напечатаны».

Для издательского дела, затеянного Зайцевым, Ножиным, Сулиным и другими, Соколов переводил, в частности, произведения любимого им Прудона. «Отщепенцы», по первоначальному намерению, также были не чем иным, как переводом одноименного сочинения Жюля Валлеса — французского публициста-революционера, впоследствии участника Парижской коммуны, уехавшего после ее разгрома в эмиграцию. Его «Отщепенцы» изображали людей, живущих вне общества и враждебных ему, — непризнанных поэтов, ученых, неудачников-изобретателей. Но это не люди «богемы», а будущие «инсургенты», протестанты, готовые с оружием в руках бороться с несправедливостью общества. Не удивительно, что эта книга, вышедшая во Франции в 1865 году, привлекла внимание Соколова. «Случайно, сидя у Доминика, — рассказывает Соколов в «Автобиографии», — прочел он газету «La Presse» Эмиля де Жирардена о Жюле Валлесе и его книге «Les refractaires». Вышел из Cafe, купил эту книгу и помчался к Зайцеву. Тотчас же отправил Ножина в «Петербургские ведомости» для напечатания объявления: «Печатаются и выйдут на днях «Отщепенцы» — под редакцией Н. Соколова». Валлес оказался плох, из него годились только первые страницы, а остальные сам придумал. В пять недель книга была готова, писалась и печаталась одновременно. Типография Головина была в двух шагах. 4 апреля 1866 года он принес книгу в цензурный комитет в 9 часов утра, а в 11 Каракозов выстрелил. Общий перепуг. 5 апреля Трепов захватил все издание».

Имеются сведения, что Соколов писал «Отщепенцев» в соавторстве с Варфоломеем Зайцевым. Об этом пишет, в частности, друг Бакунина, Зайцева и Соколова анархист Гильом в 3-м томе своей книги «Интернационал». А. Ефимов, автор статьи о Николае Соколове, опубликованной в журнале «Каторга и ссылка», сообщает о своей беседе с бакунистом М. П. Сажиным (Арманом Россом), еще жившим в ту пору, который в эмиграции был дружен с Зайцевым и Соколовым. Сажин подтверждал свидетельство Гильома: «Соколов и Зайцев говорили ему о том, что «Отще-

пенцев» писали они двое, Зайцев первую часть, а Соколов – вторую» [1].

Б. П. Козьмин в своей статье «Н. В. Соколов. Его жизнь и литературная деятельность» сообщает, что он также обращался к М. П. Сажину с вопросом об авторстве «Отщепенцев», и приводит следующий его ответ: «Отвечаю на Ваш вопрос об авторстве книги «Отщепенцы».

1) В разное время (70-х годах) *лично* слышал от Н. В. Соколова и В. Ал. Зайцева, что *они оба писали* (курсив М. П. Сажина. – *Ф. К.*) книгу «Отщепенцы», причем первую половину (приблизительно) писал Зайцев, а вторую Соколов.

2) Инициатором написания книги был Соколов. Книга была отпечатана при новом законе о цензуре (уничтожена предварительная цензура). Оба автора допускали случай задержания книжки цензурой и даже ее судебное преследование при ее выходе, поэтому было условлено, что Соколов берет на себя всю ответственность, поэтому он, Соколов, заявил себя автором «Отщепенцев» официально перед цензурою.

Вот все, что сохранилось у меня в памяти до сих пор по этому делу» [2].

Б. П. Козьмин справедливо считает, что после такого авторитетного свидетельства М. П. Сажина вряд ли могут быть какие-либо сомнения относительно того, что Зайцев действительно был одним из авторов «Отщепенцев», причем очевидно, что ему принадлежит первая часть работы – «Историческое отщепенство». Это вполне объяснимо тем глубоким интересом к истории и отличным знанием ее, которые были характерны для Зайцева. Вторая же часть работы – «Современное отщепенство», где речь идет в основном о Фурье и Прудоне, написана Соколовым. Соколов, по-видимому, взял авторство целиком на себя потому, что был одиноким человеком, а на плечах Зайцева лежала забота о большой семье. В истории же русской публицистической мысли и русского освободительного движения утвердилось мнение, что Соколов был единственным автором «Отщепенцев», этой популярнейшей книги среди молодежи семидесятых годов. Книга его в конце концов дошла до читателя...

---

[1] Каторга и ссылка, 1931, № 11-12, с. 104.

[2] Козьмин Б. П. Литература и история, с. 393.

Правда, двухтысячный тираж ее был арестован петербургским градоначальником еще в типографии. Но, как сообщалось в одном из агентурных донесений III Отделения, «известная книга Н. Соколова «Отщепенцы» подвергнута аресту далеко не с тою тщательностью, какой требовало дело. Теперь получено сведение, что не опечатанные полициею листы попали в руки студентов университета и технологов; много их уже переписано и в таком виде ходит по рукам между юношами. Вскоре в судебной палате будет слушаться дело об этом сочинении и почти вся молодежь собирается туда» [1].

Молодежь на суд не попала: дело слушалось в закрытом порядке. Что же касается «Отщепенцев», то книга после суда приобрела небывалую популярность. В 1870—1872 годах «Отщепенцев», по воспоминаниям современников, литографировали в революционно настроенных студенческих кружках дважды. В 1872 году «Отщепенцы» были переизданы группой революционной молодежи (В. М. Александровым при содействии Веры Любатович и Жилко) в Женеве и почти весь тираж (1500 экземпляров) переправлен в Россию.

Это была одна из главных акций «Кружка чайковцев», сплотившего большое число студенческой молодежи Петербурга, Москвы, Одессы, Киева. Полагая главной своей задачей подготовку молодежи для предстоящей революционной деятельности, чайковцы в развитие традиций шестидесятников организовали целое «Книжное дело», которое распространилось по всей России: от Петербурга до Одессы, от Москвы до Вятки. Чайковцы предприняли собственное издание книг не только в России, но и за границей. Одной из первых книг, отпечатанных там, и были «Отщепенцы» Н. Соколова. В деле III Отделения «О шифрованной переписке лиц, проживающих за границей», мы читаем: «Эльсниц сознался... Сегодня он снова был спрошен и объяснил, что в феврале месяце приезжал в Москву Смирнов на одни сутки, где и условился с Эльсницем издавать «Отщепенцев», революционный журнал, сочинения Чернышевского» [2]. В том же деле приводится выдержка из шифрованного письма из-за

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, оп. 151, ед. хр. 166, л. 33—33 об.
[2] Там же, л. 43—43 об.

границы, перехваченного III Отделением: «Отщепенцы» готовы (1500)».

Книга, отпечатанная сначала в легальной типографии и представленная в цензуру, смогла проникнуть к читателям лишь путем нелегальным, «подземным», как говорили в ту пору. В течение ряда лет она выполняла свое предназначение: будоражила умы, воспитывала «отщепенцев» от самодержавно-крепостнического строя, социалистов и революционеров.

По свидетельству видного революционера семидесятых годов И. С. Джабадари, «Отщепенцы» Соколова «тогда гремели в Петербурге» – ими «зачитывалась молодежь». «Соколов обратил в социализм многих своими статьями в «Русском слове» и книгой «Отщепенцы», – писал в «Записках революционера» П. Кропоткин. Народоволец Н. А. Морозов вспоминал в «Повестях моей жизни»: «Отщепенцы» – книжка, полная поэзии и восторженного романтизма, особенно нравившегося мне в то время, возвеличивавшая самоотвержение и самопожертвование во имя идеала, унесла меня на небо».

С тех пор эта единственная в своем роде в русской публицистике книга ни разу не переиздавалась и давно стала недоступной читателю библиографической редкостью.

6

Книга Соколова и Зайцева и в самом деле имеет мало общего с «Отщепенцами» французского публициста Валлеса. Валлес писал о непризнанных поэтах, ученых, художниках, о людях, живущих «вне общества» и стихийно враждебных ему. «Отщепенцы» же Соколова и Зайцева – протестанты, отрицатели, революционеры, которые сознательно «расходились» с обществом и отрешались от него. Это люди, не принимавшие несправедливости эксплуататорского общества, дерзнувшие в тех или иных формах протестовать против него.

У всех у них есть общие черты, по которым их узнают и «во главе восставших против невыносимой тирании» и «в задних рядах умирающего с голоду пролетариата». Общество узнает их «по нежеланию идти с ним рука об руку, по тому отвращению их к рутине,

которое общество называет «непрактичностью», по тому шумному и грозному или молчаливому и подавленному протесту против него, который выражается во всей их жизни и даже в смерти, несмотря на их имена – прославленные или обесславленные, громкие или безвестные, памятные или забытые среди грохота революций и битв или среди холода и голода грязных улиц».

В книге идет речь о ненависти общества к революционным отщепенцам, вся вина которых в том, что «они видят беду раньше других...», смело говорят обществу «о гнилости и ветхости его основ». За это они подвергаются гонениям со стороны тех, кто убежден: «...надо спасать общество от их критики, спасать верования и убеждения от их отрицания... Вечное, постоянно повторяющееся заблуждение! Как будто здоровым, живым принципам, тем, у которых есть будущность и которым в настоящем принадлежит не один только материальный мир, не одни только фактические отношения, но и вера людей, и нравственный мир общества, как будто им страшна какая бы то ни было критика! То, что живо, то, чему верят искренно, не нуждается в защите силой, в ограждении от отрицания и в материальном покровительстве. Преследование отрицателей, критикующих общество,– свидетельство слабости его,– значит оно само в себя не верит, не верит в свою веру, в свою нравственность, в свое добро, в свое достоинство... И вот оно, неверующее, защищает верования, отрицающее само себя, преследует отрицания, между тем как отрицатели – единственные верующие в нем люди».

«Без отрицания нет веры, как без веры нет отрицания,– утверждают авторы книги.– Как для того, чтобы иметь право отрицать, нужно во что-нибудь верить, так и веру можно сохранить в падающем или развращенном обществе только отрицанием. В прогнившем обществе все идет навыворот: атеист делается инквизитором и ожесточенно преследует малейшее отступление от догмата; развратники отстаивают нравственность; юридические убийцы вопиют против отрицания права... Никто не видит ни малейшей нужды соглашать слово с делом, принцип с фактом, убеждения с жизнью. Чем высокопарнее рассуждают о святости принципов, тем позорнее контраст между речами и делами; чем выше превозносятся и чем жар-

че отстаиваются принципы, тем унизительнее и нелепее компромиссы, заключаемые на каждом шагу с обстоятельствами». Книга Соколова и Зайцева – вдохновенный гимн тем «совестливым, смелым и дальновидным людям», которые имеют мужество вступать в конфликт с разлагающимся обществом во имя идеалов правды, добра и справедливости. По сути дела, это публицистический очерк, в популярной, доходчивой форме раскрывающий историю социального протеста, историю революционных и социалистических движений, начиная с античности и кончая XIX веком.

В значительной своей части книга является компиляцией, включающей в себя переводы из сочинений западноевропейских мыслителей: глава «Развалины» заимствована из книги Вольнея «Руины, или Размышления о революциях империи»; главы о римском стоике Тите Лабиене – не что иное, как перевод памфлета французского публициста Рошара против Наполеона III, и т. д.

Книга, как я уже говорил, делится на две части: первая – «Историческое отщепенство», куда входят главы «Стоики», «Христиане», «Секты», перемежающиеся публицистическими эссе «Как пропадают верования» и «Развалины»; и вторая – «Современное отщепенство», включающая главу «Социалисты» и два особо выделенных подраздела – «Фурье», «Прудон».

«Историческое отщепенство» начинается красочным описанием трагических фигур протестантов древней Римской империи, стоиков, «быть может, не умевших жить, но зато умевших умирать». «Не имея... идеала впереди себя, не видя, откуда могло бы прийти спасение, отчаявшись в человечестве, они смело решались на удаление от жизни и часто доводили это решение до крайних его последствий – до самоубийства». С глубоким уважением говорится в книге об этих «железных, сильных людях». «твердых, непоколебимых гражданах», которых «не мог сломить деспотизм или коснуться растление общества». И все-таки, по мнению автора, эти «строгие, величественные, грустные фигуры» еще не были «истинными отщепенцами» в силу ограниченности и безысходности их гражданского протеста.

В следующей главе книги с революционных позиций переосмысляется движение раннего христианства как народного протеста против мира насилия и ли-

хоимства. Глава «Секты» рисует торжество христианства, явившееся вместе с тем полным отрицанием самого себя: «...крест победил, а все остается по-прежнему. Христианство не принесло рабам свободы, угнетенным спасения, ограбленным избавления, голодающим хлеба... Те, которые ждали себе спасения от новой религии, почувствовали это противоречие и разлад слов с делами».

В книге дается глубокая характеристика этого «разлада слов с делами», столь характерного для церкви, история преступлений церкви перед людьми и человечностью, история революционного протеста против церкви и общества, развивающегося поначалу на религиозной основе. «В церкви была в то время сосредоточена вся духовная жизнь общества... Вот почему протест против нового мира вышел из церкви и прежде всего обратился против нее», — утверждают авторы книги. Они понимают, что, несмотря на религиозные формы, этот протест был прежде всего социальным. Он начинался и выявлялся часто в форме чисто богословских споров, но эти споры нередко скрывали за собой разногласия куда более существенные. «Ведь... и нам самим, — говорится в книге, — приходится во многом поступать точно так же. Сектаторы обвиняли католицизм в искажении христианства, и спор, сущность которого состояла в социальных вопросах, нередко вращался около догматов и сводился к богословским тонкостям. Но разве не то же самое все новейшие ученые препирательства, происходящие в области философии, права, естествознания?»

Эта историческая аналогия использована в конце для того, чтобы объяснить читателям истинный смысл тех научных споров вокруг проблем естествознания и философии, которые велись на страницах «Русского слова» и других органов демократии шестидесятых годов: «Спорить о происхождении видов! Каково варварство, какая гнусность! — с деланным возмущением восклицает автор, в данном случае, по-видимому, Зайцев. — Разве деспот низвергнут, разве лихоимец наказан, разве голодный накормлен, разве уничтожена эксплуатация, обуздано насилие и грабеж, дарована свобода? Разве все эти кровавые, жгучие, смертельные вопросы, осаждающие всех и каждого от зари до зари, всякий день, всюду и во всем, разрешены и удовлетворены?..»

Конечно же, нет, отвечает он. Но часто эти вопросы, столь незначительные на первый взгляд среди общего плача и скрежета зубовного, только прикрывают собой вопросы более жизненные. Оттого-то споры о них ведутся с таким одушевлением, с таким жаром, с таким фанатизмом. Ведь и «в XVIII веке споры шли на всех бесчисленных пунктах знания и религии, и велись недаром: пришло, наконец, время, когда можно было начать делать дело, и тогда словесные препирательства стали неуместны», — раскрывает он подлинную подоплеку просветительной пропаганды шестидесятых годов. И книга, которую писали Соколов и Зайцев, отнюдь не была отвлеченным историческим трактатом, она вся подчинена конкретной революционной цели: подготовке того времени, когда и в России можно будет «начать делать дело».

Внимание авторов «Отщепенцев» привлекают в первую очередь те страницы истории, где вполне выявился социальный протест народных масс.

В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс писал, что в средние века, когда религия вбирала в себя формы идеологии, «всякое общественное и политическое движение вынуждено было принимать теологическую форму. Чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде. И подобно тому, как бюргерство с самого начала создало себе придаток в виде не принадлежавших ни к какому определенному сословию неимущих городских плебеев, поденщиков и всякого рода прислуги — предшественников позднейшего пролетариата, — так и религиозная ересь уже очень рано разделилась на два вида: бюргерско-умеренный и плебейски-революционный, ненавистный даже и бюргерским еретикам» [1].

В «Отщепенцах» подробно рассказывается именно о плебейски-революционном виде ереси, том самом, где «под видом богословного догматического разногласия идет борьба бедняка против богатого, честного против подлого, угнетенного против деспота». Центром «исторического отщепенства» в книге предста-

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 314.

влены гуситы и движение Томаса Мюнцера, «последнее великое проявление борьбы в религиозном духе». Особое внимание уделяется плебейски-революционному движению крестьян, руководимых Томасом Мюнцером. «Сектаторы погибали на кострах и виселицах не потому, что не соглашались с церковью в том или другом догмате, а потому что... были врагами старого общественного порядка, противниками не церкви, а государства и социальных условий».

В представлении авторов книги Мюнцер – «последний сектатор и первый социальный демократ новой истории», «предшественник революционеров XVIII и социалистов XIX века». В книге подробно описаны его судьбы, обстоятельства пленения и казни крестьянского вождя, приведена его предсмертная речь, особенно испугавшая цензуру. И хотя Мюнцер погиб и после его смерти «не было более религиозных революционеров, отщепенцев во имя Евангелья», он «подает свою доблестную руку, руку, ниспровергавшую алтарь и митру, ряду других отщепенцев, в которых живет вечная, бессмертная идея и которые продолжают протест во имя свободы, равенства и братства, против насилия и лихоимства. Сектаторский религиозный дух умер, конечно, но идея, жившая в нем, осталась живая и только переменила знамя. Философия заменила религию, наука – предание».

В «Отщепенцах» дана не только история борьбы «евангельских» революционеров-сектаторов, но и прослежен драматический процесс угасания христианской веры, самоотрицания ее. «Как пропадают верования» – так называется глава книги, посвященная судьбе христианской религии.

Вторая часть «Отщепенцев», принадлежащая уже перу непосредственно Соколова, посвящена истории революционного протеста не в религиозных, но в политических и экономических, чисто социальных его формах.

Прямыми наследниками Томаса Мюнцера – Фомы Мюнцера, как он именуется в «Отщепенцах», – Соколов считает великих утопистов прошлого, протестовавших против организованного грабежа не во имя религии, но «во имя философии». Именно в утопиях Томаса Мора, Кампанеллы, Морелли, Мабли, по мнению Соколова, взошло прежде всего «лучезарное светило новой веры».

Страницами цитирует Соколов, к вящему ужасу цензоров, «Утопию» Мора, сочинения других утопистов, демонстрирует всю беспощадность их критики эксплуататорского общества. «Обличая так верно, так метко общественные язвы, — пишет он, — утописты противополагали этому ужасному социальному состоянию свои идеалы». В этих идеалах, по мнению Соколова, не все безукоризненно верно, в них было много фантастического, мечтательного и даже ошибочного, и это не удивительно, потому что они писали только «приблизительный очерк» общества будущего. «Во многих частностях утопии их расходятся друг с другом. Но сущность их всегда одинакова и всегда выражает одно и то же желание учредить на развалинах старого порядка противоположный ему новый, где насилие и лихоимство были бы заменены свободой и взаимностью. Это — вечная мечта всех этих честных утопистов и мечтателей...»

Соколов защищает истинность и осуществимость этой мечты от нападок «практических мудрецов» всей силой убежденности социалиста и революционера. «Прошли века, и мечты утопистов не забыты, — пишет он, — напротив того, они постоянно все более и более выясняются и принимают философское основание и определенный, разумный характер».

Социалистической мечтой утопистов он поверяет результаты французской революции XVIII века — великого события в мировой истории, в результате которого «французский народ сбросил с себя ненавистное иго политического рабства и стал отщепенцем старого, феодального мира».

Наряду с движением Томаса Мюнцера и учениями утопистов Великая французская революция привлекает самое пристальное внимание Соколова. Он видел в этом гигантском по масштабам и последствиям историческом событии блистательное оправдание погибших героев, распятых, сожженных, обезглавленных за отрицание насилия и лихоимства, за веру в справедливость, в истину и в человечество.

В истории человечества, утверждает Соколов, не было минуты важнее этой. Тем трагичнее для народа, совершившего этот общественный переворот, его финал: «Старый мир эксплуатации и насилия остался по-прежнему, только переменив некоторые внешние

формы. На развалинах феодального общества утвердилась новая несправедливость — «плутократия», то есть владычество капитала».

Почему это произошло?

Соколов не в состоянии подняться до осознания того, что Великая французская революция по своим историческим задачам и движущим силам была буржуазной революцией и не могла быть иной. Разочаровывающие ее результаты он объясняет чисто просветительски и даже прудонистски. Трагедия французской революции в его представлении в том, что ее осуществляли «политические революционеры», попытавшиеся «даровать переворот экономический путем переворота политического».

Вот почему, хотя история воздает должное «личным достоинствам» вождей революции, «их мужеству, их гражданской доблести, их чести и бескорыстию», «отщепенство никогда не признает их своими героями». Соколов лишает их этой чести на том основании, что «они были политиками...» и потому «душой и телом принадлежат старому порядку». Вождям Великой французской революции он противопоставляет социалистов-утопистов XIX века, и прежде всего Фурье и Прудона. Заслуга социалистов в том, что они, утверждает Соколов, осмыслили и выразили главное противоречие общества — «вечную вражду угнетенных и угнетателей». «Весь смысл современной истории — в этой борьбе плутократии с пролетарием», — пишет Соколов. Он утверждает, что социалисты — самые последовательные защитники угнетенных; они вели и будут вести борьбу за освобождение самого многочисленного и бедного класса рабочих. «Эти бойцы — апостолы XIX века, — пишет Соколов, — несмотря на видимое разнообразие школ, на которые распадался социализм, тем не менее значение и направление их одно и то же. Все социалисты проповедуют свободу, равенство и братство, все восстают против плутократического порядка, все отрицают его единодушно и во имя народа, во имя его права и достоинства, все желают и требуют прекращения грабежа и насилия».

В ряду деятелей, наиболее полезных социальной науке, Соколов первым называет Фурье, который принадлежал, пишет он, «к числу самых замечательных и редких мыслителей нашего века».

«Фурье раньше всех провозгласил право на труд, без которого нельзя обеспечить участи самого многочисленного и бедного класса людей.

Фурье раньше всех заговорил об ассоциации, конечно, не подозревая, что практики исказят его здравую мысль.

Фурье громче и разумнее всех ратовал за свободу женщины и первый объявил, что без этой свободы нет прогресса.

За все это Фурье заслуживает бессмертную славу».

Отношение Соколова к Фурье, Оуэну и другим классикам утопического социализма лишний раз свидетельствует, что, несмотря на очевидное влияние Прудона, мировоззрение Соколова никак нельзя сводить к прудонизму. Он брал в учении Прудона прежде всего то, что было созвучно его убеждениям революционного демократа, пафос яростного отрицания несправедливых экономических порядков.

В конечном счете цель и смысл «Отщепенцев» Соколова — в открытой пропаганде революционных и социалистических, отрицающих эксплуататорское общество идей.

Велик был ужас цензоров и судей, читавших обжигающие страницы этой книги. Вот некоторые выдержки из обвинительного заключения, показывающие, что́ в особенности напугало в книге суд и цензуру:

«Представив христианство... как чисто коммунистическое учение, заслуживающее уважения лишь по отрицательному его характеру, автор сборника осыпает его неимоверными ругательствами, как скоро оно развило догматическую свою сторону и, приняв вид организованной церкви, сделалось твердою опорой христианских правительств».

«Автор называет святым мучеником, провозвестником всех будущих революций известного кровожадного анабаптиста XVI века Мюнцера, который не только проповедовал равенство и коммунизм, но и произвел страшное восстание крестьян против высших классов и государей»; в книге, наконец, «проповедуются идеи неограниченного равенства и коммунизма, и низшие классы возбуждаются в самых неистовых выражениях к восстанию против высших... Автор проводит мысль, что революционные идеи не есть нечто произвольное, новое, не имеющее связи с прошедшим, что они заро-

дились при самом начале общества и постепенно развивались, как вечный протест оскорбленного права против торжествующего насилия».

Как показывает этот красноречивый документ, цензура и суд хорошо поняли смысл книги «Отщепенцы». Прокурор Тизенгаузен требовал тяжкого наказания для ее автора: заключения в крепость и последующей ссылки. Однако, учитывая тот факт, что книга была представлена самим автором в цензуру, заблаговременно арестована и, следовательно, не попала к читателю, суд ограничился сравнительно мягким приговором: книгу уничтожить, а автора ее подвергнуть шестнадцати месяцам заключения в крепости.

Внутренний облик Н. Соколова и его публицистическая деятельность с особой резкостью показывают, сколь разные общественные индивидуальности объединялись под крышей журнала «Русское слово», насколько быстрым и интенсивным был отход от классических форм революционно-демократической идеологии, представленных прежде всего миросозерцанием Чернышевского и Добролюбова, начавшийся сразу после того, как пик крестьянской революционности остался позади. Н. Соколов во второй половине 1860-х годов явился в каких-то существенных чертах, наряду с Ткачевым, Лавровым, *отчасти* Зайцевым, предтечей идеологии революционных демократов-семидесятников, то есть — революционных народников семидесятых годов. И одновременно сутью своего мировоззрения принадлежал к революционной демократии второй половины шестидесятых годов, демонстрируя вместе с тем правоту ленинского наблюдения о том, что народничество «никогда не могло, как общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и анархизма слева» [1].

Срок пребывания в крепости, определенный судом, завершился для автора «Отщепенцев» в ноябре 1868 года. Соколов с нетерпением ждал освобождения, строил планы на будущее, готовился продолжить начатый перед арестом перевод сочинения Прудона «Что такое собственность?». Каково же было его возмущение, когда в день освобождения из крепости, вопреки приговору суда, чисто административным порядком он был увезен под охраной жандармов

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 94.

в Архангельскую губернию и определен на жительство в Мезень.

Как получилось, что автор «Отщепенцев», помимо приговора суда, оказался в такой суровой, дальней и вдобавок бессрочной ссылке? Истинной причины этого Соколов никогда не узнал.

В деле III Отделения «Об отставном подполковнике Н. Соколове» хранится любопытный документ:

«Его сиятельству, шефу жандармов, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Шувалову
Содержащегося в С.-Петербургском тюремном замке писаря Николая Родионова Молодожникова

Прошение

Имея крайнею надобность в личном передании секретных сведений, почему осмеливаюся утруждать особу Вашего сиятельства о вытребовании меня, чем скорее, тем более пользы.

Писарь Николай Молодожников
13 октября 1867 г. 2-го половина часа дня».

В отношении, которое 14 октября 1867 года легло на стол шефа жандармов вместе с «Прошением» Молодожникова, сообщалось: «Арестант Молодожников содержится за кражу со взломом. За день до подачи представляемого при сем прошения он сделал заявление о том, что содержавшийся временно в тюрьме известный автор сочинения «Отщепенцы» отставной подполковник Генерального штаба *Соколов* старался сблизиться с арестантами низших сословий и проводил перед ними вредные идеи. Соколов переведен теперь в крепость. Молодожников просит вызвать его как можно скорее, так как будто бы дело, о котором хочет заявить, очень важно и не терпит отлагательства».

В результате допроса Молодожникова выяснилось, что 11 октября он написал на Соколова донос, в котором говорилось, что «подполковник Соколов во время содержания в тюрьме никогда, при своих прогулках на общем дворе, не сближался с лицами благородного сословия, но постоянно разговаривал с арестантами из простолюдинов; в числе их и ему, Молодожникову, случалось слушать его суждения, на которые он в то время не обращал внимания, но, чувствуя тоску о том, что слышанное им может когда-либо осуществиться,

он заявляет, что Соколов самый ревностный нигилист; что он говорил о неминуемом в 1868, или не позже 1870 года, государственном перевороте», развивая также мысль о том, что императорская фамилия должна при этом перевороте или ранее исчезнуть, намекал «о средствах ее исчезновения» и указывал, как на финансовые средства, на богатства, хранящиеся в руках духовенства монастырского и городского». Далее Молодожников оговаривался, что «не может разъяснить все в подробностях, но что тайное общество должно быть», и предлагал свои услуги для разоблачения этого «тайного общества», оговорив это рядом условий. В частности, он просил поместить его в одном из секретных номеров тюрьмы с правом свободного выхода на общий двор в течение трех суток; дозволить ему свободный разговор с арестантом Алексеевым, известным, по его словам, мошенником и вором, наконец, «дать ему, Молодожникову, 10 рублей, которые ему при этом необходимы».

На этом красноречивом документе начертана очередная виза: «Предложить по поручению графа нарядить следствие по показаниям Молодожникова на подполковника Соколова». Следствие вел прокурор окружного суда Муравьев, который для объяснения с Молодожниковым неоднократно посещал тюремный замок. Ретивый писарь предложил следователю целую программу «дознания»:

«1 — свободный допуск знакомых лиц к Соколову; 2 — дознание об образе жизни и действиях лиц, посещающих Соколова; 3 — внезапный осмотр в их квартирах и то только тогда, когда будет нить сущности ясна».

Далее он конкретизировал свои показания, заявив, что «Соколов выражался оскорбительно об особе государя императора и членах царствующего дома, отзываясь, что они «сатанинского происхождения», а чиновники — «слуги сатаны»; относительно будущих переворотов и истреблении царствующего дома Соколов отзывался, что это должно произойти в 1868 году; говоря о монастырском имуществе как источнике средств для переворота, он указывал на драгоценности Кириллова монастыря, в котором будто бы находится митра, стоящая 3 миллиона. Все это, по объяснению Молодожникова, Соколов высказывал в июне и июле сего 1867 года, во время прогулок в тюрьме, арестан-

там из разночинцев, имен которых, кроме одного Алексеева, прозванного Актрисиным, не называл, говоря, что все это такие люди, которые не покажут правды...»

В качестве главного свидетеля Молодожников и выставил этого «известнейшего вора и мошенника» Актрисина, который, «имея много сведений относительно политических замыслов Соколова, изъявляет готовность высказать все и рассказывал ему, Молодожникову, о поездке Соколова в Сибирь для свидания с ссыльнопоселенцем Петрашевским».

Однако вор и мошенник Алексеев-Актрисин разочаровал и Молодожникова, и прокурора Муравьева. «При объяснении прокурора с Алексеевым оказалось, что Алексеев с 1860 года содержится почти беспрерывно то в тюрьме, то в арестантских ротах; ...Соколова он знал еще в 1860 году, находясь в литографии при книжном магазине Сенковского, куда Соколов часто хаживал; в тюремном замке он встретился с Соколовым уже как знакомый. Относительно оскорбительных отзывов Соколова об особе государя императора и особах царствующего дома Алексеев отозвался, что он этих пустяков не слышал, хотя Соколов «высказывался всегда твердо». Вообще в своих объяснениях Алексеев высказывался как человек, имеющий действительно какие-то важные сведения, но не желающий передать оные иначе, как под условием освобождения его из-под стражи. О своих отношениях к Соколову и замыслах последнего он не выражался иначе, как в виде вопросов: «Зачем Соколов приглашал меня, по освобождении из-под стражи, отыскать его и явиться к нему? Зачем он ездил в 1863 году в Сибирь?» (Сам Алексеев находился тогда в числе певцов в Казанской театральной труппе.) Ближайших сведений он не дал о Соколове и ограничился одним уверением, что существует политический заговор, который он желает открыть по выходе из тюрьмы».

По-видимому, ведущему следствие прокурору Муравьеву показалось слишком дорогой и рискованной платой освобождение этого «известнейшего вора и мошенника» ради голословного обещания разоблачений; вдобавок он узнал «от офицера полиции Орлова, что Алексеев еще несколько лет назад, содержась под стражею, выразил состоявшему при бывшем Санкт-Петербургском генерал-губернаторе чиновнику Мала-

шицкому желание раскрыть какое-то политическое преступление и подделку кредитных билетов, был для этой цели освобожден из-под стражи, успел выманить у Малашицкого значительное количество денег и, пробыв два месяца на свободе, взят был во время одной кражи на месте преступления».

Прокурор Муравьев узнал и другое — оказывается, и писарь Молодожников промышлял похожим образом, время от времени «предлагал свои услуги к открытию политических преступлений, изъявляя даже желание, чтобы его с этою целью заключили под стражу между политическими преступниками в Петропавловской крепости, и прося в то же время денежных пособий для его настоящих нужд».

Таким образом, чины прокуратуры и жандармерии оказались в анекдотической ситуации: их поймали на крючок два ловких мошенника-авантюриста, рассчитывавших выжать из подозрительности властей предержащих определенный капитал. Естественно, возбуждать судебное дело против Соколова на столь шатких основаниях было невозможно. Но и оставить его безнаказанным они не хотели, тем более что в их распоряжении имелось еще одно заявление: «Независимо от вышеизложенного, — читаем мы в документе, где излагаются доносы воров Молодожникова и Актрисина, — бывший прокурор С.-Петербургского окружного суда Шрейбер довел до сведения прокурора Судебной палаты, что в конце августа 1867 года, при посещения Петербургского судебного замка для принятия просьб от арестантов, он поражен был господствовавшим тогда между арестантами духом — они с невиданною прежде настойчивостью и без должной сдержанности начали предъявлять различные свои требования; почему он... обращался к обер-полицмейстеру, который заявил ему, что подполковник Соколов, распространяя различные идеи между арестантами, имел весьма дурное на них влияние».

Неисповедима логика властей! Коль скоро Соколов, говорится в документе, оказывал «вредное влияние на содержавшихся вместе с ним в тюрьме арестантов», он может «столь же вредно повлиять вообще на среду, которою он, Соколов, окружен будет в столице по освобождении его из крепости, то посему представлялось бы, по мнению его, прокурора, необходимым по истечении срока содержания его в крепости удалить

его из С.-Петербурга, для водворения на жительство в какой-либо малолюдной местности, под надзором полицейского начальства».

Судьба Соколова была решена. Сразу же по окончании определенного судом тюремного срока в сопровождении жандармов он был увезен в Архангельскую губернию.

В ответ на просьбу Соколова по причине плохого состояния здоровья отправить его в другое, лучшее по климатическим условиям, место ссылки граф Шувалов написал: «Оставить без последствий. Но необходимо сообщить в подробностях архангельскому губернатору, каков человек ныне к нему высылается. Желаю также знать, кто капитан Логинов и чем он высказался в смысле убеждений Соколова. 4 ноября».

Следом за Соколовым за подписью начальника III Отделения Мезенцева было направлено архангельскому генерал-губернатору «секретное» письмо: «Представляется необходимым подполковника Соколова подвергнуть самому бдительному наблюдению, как по его деятельности, так и по его сношениям... О деятельности Соколова вы имеете доносить мне периодически, а в случае надобности и чаще». В Архангельской губернии Соколова поселили вначале в Мезени, на берегу Белого моря, а потом, уступив его настойчивым просьбам, в более цивилизованном Шенкурске, как в одном «из малолюдных уездных городов, где всего менее сосланных поляков и где надзор за Соколовым по поводу нахождения там чинов корпуса жандармов будет еще бдительнее».

Поскольку Соколов не переставая «бомбардировал» начальство заявлениями с просьбой перевести его в среднюю полосу России или же в одну из южных губерний «во внимание к расстроенному здоровью», его перевели наконец в маленький сухой и знойный Красный Яр Астраханской губернии на берегу Каспийского моря. Это отнюдь не облегчило его положения. Беллетрист П. И. Якушкин, отбывавший ссылку одновременно с Соколовым в Красном Яру, вспоминал впоследствии: «Это не город, не посад, не деревня; это тот самый остров, где «ни воды, ни земли, одна твердь поднебесная да солдат с ружьем», то есть то самое место, куда, по словам П. М. Садовского, французского Бонапарта англичане сослали, а если и не то самое, то вроде его».

Вдобавок ко всему вскоре после приезда Соколова в Красный Яр там началась эпидемия холеры. «Народу страсть сколько повыкосило», — говорил Соколов. Сам он отсиживался все это время в бане, запасшись питанием и неимоверным количеством спиртного. Холера Соколова миновала, однако здоровье его было в ужасном состоянии. «Сперва исполненная всяких лишений жизнь на Крайнем Севере, а затем пребывание в Красном Яру, отличающемся сильными жарами в летние месяцы, в такой мере ослабили его здоровье, что в настоящее время в письмах своих он постоянно жалуется на грудные страдания и на полное расстройство всей нервной системы», — писала в декабре 1871 года в прошении на имя шефа жандармов сестра Соколова.

В полном отчаянии Соколов 21 ноября 1871 года просит разрешения уехать в эмиграцию в Соединенные Штаты Америки, однако, как сообщило в ответ III Отделение, «по доведении этого обстоятельства до высочайшего сведения государь император изволил отозваться, что подобного рода просьбы не должны быть удовлетворяемы».

Каково же было возмущение императора, когда 4 ноября 1872 года ему вынуждены были доложить, что политический преступник Соколов бежал из Красного Яра еще в ночь на 15 октября и что астраханские жандармы узнали о побеге Соколова, за которым были призваны установить «самое бдительное наблюдение», через 10 дней, а до Петербурга это известие дошло почти три недели спустя — 3 ноября.

По словам П. И. Якушкина, местные власти считали Соколова человеком «мирным и крайне спокойным, раскаявшимся в своих преступлениях и смиренно несущим законную кару», а потому почти не интересовались им. Однажды, «от нечего делать, г. исправник с прочими властями вздумали навестить кающегося грешника. Направились целой компанией к маленькому одинокому домику, где обитал скрытный отшельник, и, к ужасу своему, войдя в его келью, не нашли никого и ничего, кроме небольшого осколка зеркала, лежащей около него остриженной русой бороды, блюдечка с маслом, тупой бритвы и записки очень короткого содержания: «Прощайте, братцы, я уезжаю, спасибо вам за вашу любовь и ласку. Не поминайте лихом».

В донесении начальника Астраханского жандармского управления нерасторопность жандармов оправдывалась тем, что «в городе Красный Яр нет жандармского поста, и поэтому начальник Астраханского жандармского управления только спустя некоторое время после побега Соколова узнал об этом случайно и донес III Отделению». На полях доклада царю рукой начальника III Отделения написано: «Его величеству угодно было выразить удивление, что мы так несвоевременно узнали о побеге». Обстоятельства побега Соколова остались неизвестными III Отделению. Не сохранилось описаний этого смелого побега и в мемуарной литературе. Известно только, что побег этот организовали чайковцы и что непосредственным организатором его был Сидоренко. В одном из документов III Отделения высказано предположение, что Соколов из Красного Яра бежал в Соединенные Штаты Америки, — по-видимому, на том основании, что он просил царя отпустить его туда.

Участник революционного движения семидесятых годов Э. Шишко указывал, что чайковцам помогал в этом революционный кружок, существовавший в Ставрополе и возглавлявшийся Ф. В. Волковским. Один из чайковцев, Н. А. Чарушин, в конце своей жизни в ответ на запрос Б. П. Козьмина так объяснял побег Соколова: «Какую же цель преследовали чайковцы, вывозя из ссылки лиц, причастных к литературе? Главнейшей целью было создание за границей кадра литературных сил, не связанных цензурными условиями, из которого могли бы выделиться в ближайшем будущем и необходимые работники в руководящем революционном органе печати, о котором все время мечтали чайковцы. Этими же соображениями руководились и при вывозе Соколова, хотя в то же время, как и в других аналогичных случаях, были и иные мотивы: спасти незаурядного и опасного для правительства человека из тяжелого плена и тем самым причинить большую неприятность этому правительству».

Н. А. Чарушин сообщал, что Соколов бежал через Петербург и северную границу, где у чайковцев были связи с контрабандистами. Свидетельство Н. А. Чарушина подтверждается у Неттлау, который, со ссылкой на «Автобиографию», сообщает, что, бежав из Красного Яра, Соколов 20 октября уже был в Петер-

бурге, и называет Анатолия Ивановича Сердюкова, одного из чайковцев, как лицо, оказывавшее ему помощь. 12 ноября 1872 года, указывает Неттлау, Соколов прибывает в Женеву, с 22 декабря 1872 года по 15 января 1873 года живет в Цюрихе. Кружок чайковцев предполагал, что Соколов совместно с Лавровым будет сотрудничать в журнале «Вперед».

Но все сложилось иначе. При расколе русской революционной эмиграции в начале семидесятых годов, когда начались ожесточенные теоретические бои бакунинцев с лавристами, Соколов с его давними симпатиями к прудонизму сразу же стал на сторону Бакунина.

В письме к Н. П. Огареву от 2 января 1873 года Соколов писал: «Ты спрашиваешь меня, что делается в Цюрихе? На этот вопрос скажу тебе вот что: со дня моего приезда произошел у нас раскол русской молодежи. Вина, разумеется, не моя, а господина Лаврова, некоего философа, приехавшего в Цюрих из Парижа с намерением основать журнал. Написал этот Лавров программу журнала, и написал ее в таком отвратительном духе, что Бакунину, Зайцеву, мне и лучшей здешней молодежи стало тошно, и мы решили отделиться, отщепиться от Лаврова и его клики».

Зайцеву и Соколову, вчерашним сотрудникам «Русского слова», оказался гораздо ближе бунтарский революционаризм Бакунина. (Лишнее доказательство, что в их разногласиях с Благосветловым немалое значение имел и разный взгляд на методы революционной борьбы.) Общепринятым является взгляд на Соколова как правоверного бакуниста, тем более что, как известно, он защищал его идеи не только словом. В 1873 году он жестоко избил В. Смирнова, помощника Лаврова по редакции журнала.

Вообще Соколов нередко попадал, так сказать, на «идейной почве» в подобные истории. Н. Русанов в своих воспоминаниях «В эмиграции» рассказывает, как русские эмигранты «были однажды печально поражены видом нашего ветерана нигилизма, когда он, исчезнув куда-то с горизонта на несколько дней, вынес вдруг на улицу лицо, испещренное радугою синяков всевозможных оттенков, от свеже-багрового до бледно-палевого.

— Что это с вами, Николай Васильевич?! — участливо спрашивали мы у Соколова.

— Д-д-да вот эти м-м-мерзавцы швейцарские горе-граждане... У них были тут какие-то выборы. Я и стал их убеждать, что п-порядочным людям надо воздержаться от голосования, и доказал, что этого требует анархия по П-п-прудону и Б-б-бакунину, и п-п-отому, что всеобщая подача голосов есть всеобщая ложь... А они только х-хо-хочут. Тогда я пошел в залу, где они голосовали, стал усовещивать их и оп-прокидывать урны. А г-г-господа избиратели, сколько их там было, все на меня навалились. И давай Николушку тузить. Но и Ни-николушка сам малый не промах и хороших лещей надавал всем этим к-к-коровникам и с-с-сыроварам. И они меня били, и я их бил... К-конечно, как всегда до сих пор, с-с-сила победила п-право, и м-м-меня выбросили на улицу, но и с-с-силе влетело предостаточно... А м-м-молодцы все-таки драться г-г-господа мужики-демократы... Д-да, м-м-мастера дубасить — мы уж за аб-бсентом и помирились, — с явным умилением вспоминал о перипетиях борьбы анархии с буржуазной демократией Николай Васильевич».

Итак, преданность Соколова идеям и личности Бакунина, казалось бы, не вызывает сомнения. Тем более неожиданной является та неприязненная ирония, с которой Соколов относится к Бакунину, если судить по главам из «Автобиографии», приведенным Неттлау. Ироническое отношение Соколова к вождю русского анархизма явно задевает Неттлау, и он замечает по этому поводу: «Соколов сам по себе был очень странным человеком, поэтому вряд ли имел право говорить о странностях других, в том числе Бакунина. Впрочем, — объясняет Неттлау тон Соколова, — он был одним из немногих, кто познакомился с Бакуниным уже в зрелом возрасте; Соколов был сформировавшимся человеком, который более не менялся, остался самим собой (молодых Бакунин превосходил своим опытом)».

Соколов стал еще суше относиться к Бакунину после того, как провел у него в Локарно почти два месяца, с 17 января по 10 марта 1873 года. Вот как он рассказывает об этой поездке в «Автобиографии»: «14 января 1873 года Соколов был у Росса в Цюрихе, и тот предложил ему не откладывая поехать к Бакунину в Локарно. Росс передал Соколову письменное приглашение Бакунина приехать к нему. Там же, в Локарно, находился и Зайцев. Впрочем, Соколова в большей

степени привлекала возможность увидеть Бакунина, чем перспектива жить вместе с Зайцевым. Он решил уехать из Цюриха, где был совершенно не нужен.

Еще в начале января 1873 года Соколов посетил вместе с Эльсницем полицейского директора Пфеннингера, чтобы получить разрешение на временное пребывание в Цюрихе. Соколов хотел получить подтверждение, что он действительно политический эмигрант; ему вручили желтую карточку, на которой стояло, что он – «писатель, не имеющий печатных публикаций».

Через Люцерн и Горхард Соколов направился в Локарно, куда прибыл в дилижансе в 4 часа утра, прямо на виллу, где жил Бакунин. Несмотря на поздний час, Бакунин не спал. Он лежал на кровати, вытянувшись во весь рост, и курил. В комнате царил ужасный беспорядок, на полу валялись пепел и окурки. Камин едва дымился. На стульях, стоявших как попало, и на столе лежали книги и бумаги. Старый, позеленевший от времени самовар стоял посредине комнаты, чашки и стаканы – под кроватью. Прием, оказанный Бакуниным, был самый сердечный. Он тотчас же разжег камин и начал готовить чай.

– Извини, брат, я совершенно болен. Врач прописал мне принимать стрихнин против боли в спине. Здесь вот банка с этой гадостью. Как ты думаешь, помогут мне эти пилюли?

Соколов ответил:

– Дай мне их, я брошу в камин – и тебе будет лучше. Тебе не стыдно в твои годы верить в медицину?

– Ты прав, – сказал патриарх. – По моему мнению, каждая болезнь должна идти своим путем и проходить. Ну, расскажи, что у вас нового там в [Цюрихе]? И, кстати, ты привез деньги?

Соколов дал ему 100 франков.

– Они [1] там с ума сошли? Что мне толку от сотни франков? Завтра я должен отдать владельцу дома Джакомо 600 франков, он не оставляет меня в покое. Вот уже две недели живут у меня итальянцы, которых я, конечно, угощаю.

– Ты прав.

---

[1] Они – представители молодой эмиграции, друзья Бакунина в Цюрихе.

— Я завтра напишу туда бранное письмо. А сейчас иди спать, мой друг. Я позвоню, и Джакомо отведет тебя наверх. Завтра в полдень я жду тебя к обеду. И Зайцев тоже придет.

Соколов еще не отдохнул, когда около 9 утра услышал невероятный шум старика и стук его деревянных домашних туфель.

— Иди скорей сюда! Полиция пришла, чтобы тебя арестовать. Принеси твой документ, если какой-нибудь имеется.

Соколов спустился с желтой карточкой Пфеннингера и увидел Бакунина в халате, в ночном колпаке — около него стоял хозяин дома — и двух полицейских в штатском. Старик кричал им: «Mio amico sicuro, io conosco di lungo tempo colonello russo [1]. Где твой паспорт? Ты знаешь, в чем дело? Они пришли, чтобы арестовать тебя, потому что приняли за некоего Филлипини, который прибыл в тот же вечер в Локарно и о котором полиции было сообщено по телеграфу. Я уже пытался их убедить, что ты не Филлипини, что я тебя знаю, но эти мерзавцы не хотят верить мне».

Соколов дал полицейскому свою желтую карточку, полицейский подозрительно посмотрел на него, потом — на документ и ничего не понял. Тогда Соколов показал ему официальную печать, и он ушел с этой карточкой, пообещав ее вернуть. О сне уже нечего было и думать. Соколов хотел у Джакомо заказать завтрак. Когда это услышал Бакунин, он закричал:

— Ты зачем сюда прибыл? Чтобы командовать? Здесь я хозяин, а не он. Ты утешишь его этими словами: «Corragio, speranza, perseveranza» [2]. Иди вымойся, и через полчаса будь в столовой, мы начнем есть.

В 11 часов в маленькой столовой был готов завтрак. Завтрак был приготовлен по вкусу Бакунина. Стояли три прибора. Рядом с прибором Бакунина лежала гора писем. Бакунин тяжелыми шагами подошел и обнял Соколова:

— Теперь садись, брат, Зайцев придет через полчаса. И при нем ты расскажешь, что у вас нового. Скажи мне одно: договорился ли Росс с Лавровым или нет?

Соколов ответил:

---

[1] «Это мой верный друг, я давно знаю русского полковника» *(ит.)*.

[2] «Мужество, надежда, настойчивость» *(ит.)*.

— Нет.

— Я так и думал,— сказал Бакунин.— Хотя Росс по своему характеру мог бы пойти на это. Но об этом позже. А теперь ешь. А я тем временем буду читать письма.

Завтрак был приготовлен на итальянский манер, кроме бифштексов, от которых Бакунин не мог отказаться. Врачи прописали Бакунину диетическое питание, чтобы не полнеть, отчего Бакунин очень страдал (ему советовали избегать мучных и жирных блюд). Но Бакунин не придерживался этой системы. Он, например, делал так: если ел мясо без жира, то потреблял невероятное количество риса и макарон, все с маслом, и пил водку и различные ликеры.

— Ну, брат, письма я пробежал. Как тебе нравится эта кухня? Ты знаешь, я ее открыл. Тут всё и с севера и с юга... А фрукты, которые я не могу есть в сыром виде, я готовлю в жженке. Послезавтра ты попробуешь, когда придут ко мне оба Блерио. Я тебя с ними познакомлю, они приятные люди. Они здешние жители и живут со своим отцом, старым гарибальдийцем. Очень жаль, что ты не приехал двумя днями раньше. Здесь была целая банда испанцев, итальянцев — приятных людей. Я на них потратился и после завтрака сделаю то, что обещал: буду ругать цюрихцев и особенно Росса, которые мне прислали так мало денег. Что же, мне египетские магдалины дадут шестьсот франков? Но ты ешь. Что еще хочешь? Сыру? Вина?..

Бакунин начал готовить кофе своим способом, переливая из одной посуды в другую; по неизвестным законам физики его аппарат издавал шум, дышал, пыхтел. Это развлекало, видимо, изобретателя, хотя кофе был очень плохим. Но горе тому, кто попробовал бы сказать ему об этом или поморщиться при виде такого способа приготовления кофе,— Бакунин обрушился бы на него.

— Эта чашка для тебя, пей. Хочешь с ромом или без? Я пью чистый. Ну, как, вкусно? Пил ли ты где-нибудь когда-нибудь такой кофе?

— Нет, даже в самых лучших гостиницах и отелях Ниццы никто не готовит подобного.

— Это мой секрет, брат. Зайцев что-то не идет. Нужно за ним послать. Я расскажу тебе о своем распорядке дня и как ты должен вести себя. Знай раз

и навсегда, что в 11 часов утра, как и сегодня, я приглашаю тебя к завтраку. В половине первого мы идем с Зайцевым и другими в какое-нибудь кафе, где читаем газеты, пьем пунш, болтаем, а потом гуляем до 4 часов. Затем я до 8 часов сплю, потом пью чай или сельтерскую и иду к кому-нибудь до 10 вечера. Затем всю ночь до 5 утра я — как вчера — пишу. Так складывается мой день. Как видишь, упорядоченная жизнь. За мной наблюдают шпионы, но результатов у них нет, потому что у нас все скрыто. Джакомо — надежный человек. И ты, смотри, чтобы жить спокойно, не болтай без нужды в кафе. Я знаю, ты бродяга и болтун. Ну, Зайцев не идет. Пойдем к нему. Какого ты роста?

— Восемь с половиной вершков,— ответил Соколов.

— У меня 12 с половиной вершков, у Зайцева — шесть [1]. Ты сейчас услышишь, как дети, увидев меня, начнут кричать: Evviva Michaele!

В этот момент в столовой появился Джакомо. Бакунин и Соколов начали, как условились, кричать: «Corragio, speranza, perseveranza» [2]. Едва он ушел, как появился Зайцев. Увидев Соколова, он бросился к нему, заключил в объятия и расцеловал.

— Какими путями ты здесь? И почему ты заранее не написал, что приедешь? Впрочем, ты всегда был чудаком! [3]

---

[1] Вершок — 44—45 миллиметров; поэтому эти данные совершенно непонятны, и, возможно, здесь ошибка переводчика или моя; соотношение роста всех троих передано правильно, так как Зайцев был маленький.— *Примеч. Неттлау*. Между тем в старину на Руси была принята следующая мера роста: два аршина и столько-то вершков. Аршин, как правило, не назывался. Если учесть, что аршин равен 0,711 метра, то рост наших героев был следующий: Бакунина — 1,98 метра, Соколова — 1,80 метра, Зайцева — 1,69 метра.

[2] Смысл этой церемонии не совсем ясен. Это был скорее всего призыв к мужеству, надежде, терпению до тех пор, пока хозяин не получит свои деньги.

[3] З. Ралли рассказывал, что при этой встрече Зайцев сказал Бакунину, показав на Соколова:

— Это человек, который вытащил меня из литературной грязи, где я мог погибнуть.

Соколов отклонил комплимент:

— Я только пытался вытащить его, но это было невозможно.

Бакунин сказал:

— Это прекрасный комплимент.

Соколов принадлежал в России к кругу Писарева, Благосветлова, Зайцева. Благодаря ссылке в России, рассказывает Ралли, он

— Ну, пойдем, пойдем, — прервал их Бакунин и повел их в свое кафе.

По дороге малыши, которые их тут же окружили, и в самом деле сопровождали их криком:

— Evviva Michaele!

В кафе за стаканом пунша мы начали беседовать в основном о Цюрихе и о задуманной газете[1]. Соколов рассказывал, как Лавров принял Росса и как он ему прямо заявил, что он (Лавров) будет единственным редактором, а Смирнов — его секретарем.

— Это означает, что они разошлись, — сказал Бакунин.

— Вы правы, — заметил Зайцев. — Я уже давно знаю этого философа Лаврова. Мы с ним никогда не сможем договориться...

— Теперь, — продолжал Бакунин, — Росс на наши общие деньги организует типографию, а мы вместо газеты будем издавать книги. Ты — сторонник Прудона и должен написать в его защиту брошюру против «Нищеты философии» Маркса. Ты знаешь немецкий, я тебе дам материалы, напомни мне завтра об этом. Остальное ты должен собрать и, что отсутствует, достать.

Долго мы говорили, почти до 5 вечера. Затем пошли к Зайцеву на обед, по дороге купили различные продукты. Зайцев жил на берегу Lage Maggiore, в доме адвоката, с женой и дочерью. Соколов иногда приходил к нему четыре раза в день, несмотря на большие расстояния. Так он прожил больше шести недель, получил много ярких, прекрасных впечатлений, которые никогда не изгладятся из памяти. Соколов познакомился с итальянцами, испанцами и научился полностью понимать широкий, оригинальный, неукротимый характер Бакунина. Этот деспот, который называл себя анархистом, не переносил ни от кого и никогда возражений и сопротивления. Он не любил Соколова и не мог его любить, потому что Соколов не поклонялся ему, смеялся над ним и подшучивал.

был совершенно деморализован, увлекся водкой и, когда приехал за границу, уже был не тем, что раньше. Большой, сильный человек, он не принадлежал (в эмиграции. — *Ф. К.*) ни к какому ярко выраженному течению, но примыкал к бакунистам, которые его также поддерживали. — *Примеч. Неттлау.*

[1] По-видимому, речь идет о журнале «Вперед», редактировать который было поручено Лаврову.

А прежде всего он знал его прошлую жизнь, которая уже была рассказана в письмах из Сибири в «Колоколе» в 1860 году [1].

— Почему ты смеешься, животное? — говорил Бакунин, видя, что Соколов улыбается про себя. — Позволь мне узнать и сделай мне папиросу.

— А ты, Heroda, — говорил Соколов, продолжая смеяться до упаду. — Мастодонт, тюлень, как только носила тебя земля до сих пор.

— Черт вас побери, и особенно каждого в отдельности, всех вас русских, — отвечал Бакунин. — Я знаю только своих итальянских и испанских друзей. Вы все рабы и останетесь рабами с вашим царем. Недавно я выгнал Нечаева, который взял себе в голову называть себя революционером и хотел здесь натравить молодежь на буржуазию и устраивать убийства и грабежи на улице. Но я предостерег всех друзей и дал им совет порвать отношения с этим выскочкой... И они поступили соответственно.

Зайцев всегда присутствовал при этом. Тогда он писал под диктовку Бакунина его биографию. До него (Соколова) Зайцев записывал только два раза, и, как теперь известно, он довел эту биографию до 1848 года.

Примечательно, что Бакунин любил знать все о других, но сам избегал обычно рассказывать о себе. Эту черту многие отмечали в нем, но каждый объяснял ее по-своему. Только Герцен понимал его настоящим образом, когда называл всю деятельность Бакунина революционным опьянением, а его самого — «Большой Лизой» [2].

Так провел Соколов время со стариком, отвечая на его вопросы и рассказывая о разных разностях. Состояние здоровья Бакунина было тяжелое. По-видимому, он страдал физически и морально. Прежде всего он был раздражен злым преследованием Маркса, который не переставал ругать его всюду.

В последующие дни пребывания в Локарно Соколов обсуждал с Зайцевым вопрос, что написать и чем

---

[1] Подразумевается период жизни Бакунина у Муравьева-Амурского — только Соколов мог доподлинно знать его. Этот период русскими радикалами воспринимался, разумеется, не в пользу Бакунина. — *Примеч. Нетлау.*

[2] По-видимому, по аналогии со своей дочерью — намек на революционный романтизм Бакунина.

начать. Они порешили на том, что выпустят совместно серию брошюр об анархии. Но результатом был лишь выход книги «Государственность и анархия» (Бакунина.— *Ф. К.*), в которой Соколов участия не принимал.

10 марта 1873 года Соколов вернулся в Цюрих, его проводили самыми добрыми напутствиями Бакунин и Зайцев».

Вернувшись из Локарно, Соколов жил в Цюрихе, по свидетельству Неттлау, с 12 марта по 20 мая 1873 года. «В своих мемуарах,— пишет Неттлау,— он отразил прежде всего общее впечатление от визита к Бакунину. Он прибыл в мрачном настроении, неудовлетворенный поездкой». Его внутренняя оппозиция к Бакунину зашла так далеко, что он решает «отщепиться» от дела Бакунина. Имеются сведения, что он вместе с эмигрантом Озеровым, который до этого был ярым приверженцем Бакунина и в 1871 году, во время революционных событий в Лионе, где Бакунин играл заглавную роль, спас его от ареста, он решает издавать газету без Бакунина. Как сообщает Неттлау, мать Зайцева писала Бакунину из Женевы о предположительном создании русской газеты в Цюрихе, редакторами которой должны быть Соколов и Озеров. «Озеров сказал, что программа будет та, которая лежала в основе «Отщепенцев», а Соколов заместо Бакунина будет редактором, потому что Бакунин займется ненужной полемикой,— вроде той, которую он вел против Маркса». Слух этот до того встревожил Бакунина, что по его поручению Росс посетил Соколова с письмом от Зайцева и Бакунина, в котором они отговаривали автора «Отщепенцев» от этой затеи.

Нам неизвестно, насколько основательна версия о газете, где «Соколов заместо Бакунина будет редактором», но очевидно, что, заявив в письме Огареву 2 января 1873 года о безоговорочной поддержке Бакунина и бакунистов, после посещения патриарха анархизма Соколов изменил свое отношение к Бакунину. Вот почему, как бы оправдывая слова Росса, что «он не принадлежал ни к какому ярко выраженному течению» и лишь «примыкал к бакунистам», Соколов в «Автобиографии» настоятельно подчеркивает свою «нейтральность» в споре между бакунистами и лавристами. Он подробно объясняет историю своей драки с лавристом В. Смирновым для того, чтобы показать,

что в драке этой он защищал интересы не Бакунина и бакунистов, но только свои. Историю этой драки он начинает с рассказа о первых днях пребывания в Цюрихе (еще до поездки к Бакунину), куда он прибыл 22 декабря 1872 года, месяц спустя после бегства из России. «Соколов провел первую ночь у Росса. На следующий день он познакомился с А. Эльсницем, В. Гольштейном и с разными русскими женщинами... В 11 часов у Росса собралось много народу; пришел и Смирнов – не ради дружбы, а по делам. Смирнов рассказал Соколову о переиздании «Отщепенцев» – все издание находится у него и он предоставляет его в распоряжение автора, т. е. Соколова. Соколов, поблагодарив, ответил, что оно принадлежит тем, кто его печатал. Росс сказал, что оно печаталось на деньги Гольштейна на добровольных началах, а потому должно стать собственностью коллектива библиотеки (русская эмигрантская библиотека в Цюрихе. – *Ф. К.*). Смирнов и Соколов были согласны. Это происходило в присутствии многих свидетелей... Библиотекарем была Розалия Христофоровна Идельсон, секретарем – Смирнов. Управление библиотекой состояло из 18–20 членов, в большинстве своем бакунистов, в то время как большинство читателей были лавристы. Соколову становилось ясным, что существует скрытая ненависть обеих партий, которая привела к полному расколу».

Далее Соколов рассказывает о причинах этого раскола, называя главной из них спор о направлении и редактировании печатного органа, который предполагали издавать русские эмигранты в Цюрихе («Вперед»). Издание это должно было выходить на деньги кружка чайковцев, и между бакунистами и Лавровым, которого чайковцы пригласили редактором, шла борьба за преобладание. «Когда Росс пришел к Лаврову, – рассказывает Соколов, – он от него услышал категорическое заявление, что журнал будет выходить под его личной редакцией. Таким образом, все мечты Росса возглавить это дело рухнули благодаря ловкости его врагов. С этого времени началась взаимная вражда, которая прорывалась на периодических собраниях библиотеки. Соколов, как совершенно новый человек, не посвященный в интриги, оставался нейтральным и не пытался присутствовать на собраниях друзей Росса. Праздновали Новый год – 1 января

1873 года, и в этот день окончательно решилось образование каждой партии. Несомненно, сила была на стороне лавристов, которые располагали большими денежными средствами и имели постоянные связи с Россией».

После этой встречи Нового года Соколов и решает примкнуть к партии бакунистов, как более близкой ему своими революционаризмом и анархизмом, о чем он сообщил Огареву 2 января 1873 года. 17 января он уехал к Бакунину в Локарно, а когда вернулся, разочарованный в главе русского анархизма, раскол в молодой цюрихской эмиграции зашел еще дальше. «Произошел полный разрыв после своего рода государственного переворота в библиотеке, благодаря которому лавристы хотели завладеть ей,— рассказывает М. Неттлау.— Подробностей я не знаю. На их стороне оставались читатели, секретарь и библиотекарша, и они парализовали дела библиотеки настолько, что во владении бакунистов осталось одно помещение; пришлось закрыть и его».

Как раз в это время, в этой накаленной обстановке, продолжает рассказ Неттлау, Соколов «узнал об одном грузине, который возвращался на Кавказ с большим количеством литературы и для которого у Соколова просили 1 экземпляр «Отщепенцев» из числа тех, которые были у Смирнова. Смирнов не захотел дать ему ни одного экземпляра и написал ему отказ в обидной форме. Тогда Соколов вместе со студентом-медиком В. В. Святловским пошел к нему сам. По соседству со Смирновым жил Лавров, которого не было дома. В его комнате были Н. Утин и Ралли, который пришел к Смирнову по поводу других дел и был свидетелем сцены. Смирнов вел себя оскорбительно и был ужасно избит Соколовым».

Невозможно представить, что началось в русской колонии после этой истории, свидетельствует Неттлау. Было созвано общее собрание эмигрантов-лавристов. 18 человек пришли к Соколову, чтобы сообщить решение собрания: покинуть Цюрих. Соколов предложил им отправиться в полицию: только она может силой выгнать его из города. Депутаты в растерянности покинули его и, как пишет в «Автобиографии» Соколов, «действительно направились к полицейскому директору, который объяснил, что раз объяснение состоялось не в общественном месте, от них требуется жалоба.

Депутаты ушли смущенные. Даже друзья – Эльсниц, Ралли, Росс – попросили Соколова временно покинуть Цюрих. Ему дали денег, чтобы поехать в Люцерн. Соколов согласился, ему было сейчас безразлично, где быть, если он вообще где-нибудь был».

18 мая 1873 года он покинул Цюрих и перебрался в Париж, навсегда распрощавшись не только с цюрихским кругом друзей, но, по существу, и с активной политической деятельностью.

Уже первые полгода пребывания его в эмиграции, завершившиеся столь скандально, показали, что годы ссылки, как справедливо писал Ралли, деморализовали его. Именно в ссылке Соколов пристрастился к «зеленому змию». В эмиграции эта слабость развилась до трагических размеров и погубила его как публициста. Вот почему надежды, возлагавшиеся на Соколова как на писателя вначале чайковцами, а потом бакунистами, не оправдались. Несмотря на крайнюю нужду, он был не способен к систематической работе. Хотя его фамилия стоит под некоторыми коллективными документами бакунистов, сам он не писал почти ничего – за исключением случайных переводов и нескольких статей в «Общем деле» и других заграничных изданиях. Русанов рассказывает в своих воспоминаниях, как друзья, нашедшие ему работу по составлению небольшого франко-русского словаря в одном парижском издательстве, вынуждены были запирать его на ключ, отбирать у него сапоги и стоять, что называется, над душой, заставляя работать. Жил он в постоянной, изматывающей душу нужде. О крайности ее можно судить по письмам А. Х. Христофорову, которые Соколов писал в последние годы:

«Дорогой Александр Христофорович, припомни ты меня, голубчик; я все еще бедствую страшно без работы и уроков; все ученики разбежались. Остается с голоду поступить в госпиталь, но вряд ли примут. Беда!.. Здесь не у кого теперь занять и франка... Хоть бы заболеть, а еще лучше умереть. Некуда деваться; даже не в чем выйти... Помогай, выручай».

«Я буквально **пропадаю.** Все разбежались из Парижа, и нельзя нигде достать даже франка. Перестал питаться. Хоть бы скорее подохнуть» (письмо от 5 августа 1885 года).

«Дорогой Александр Христофорович, одно из двух: или адрес, данный тобою suivont Elpidine, ни

к черту не годится, или суровый Якоби не захотел мне ответить. Как видишь, все вы виноваты. Тебя, разумеется, я не осуждаю. Был ты со мною, стал с другими... О чем тут рассуждать. Ты прав... Такова, брат, жизнь, которая ломает... Поживем, однако, оттерпимся еще... Может быть, и станем людьми. Пока жму руку. Твой Н. Соколов».

«Нищета довела меня до ума с горем. Беден, бедствую. Николай — Никола Сок... гол, как сокол» (письмо от 19 сентября 1885 года).

Однако и в эти трагические для него годы жизни на чужбине Соколов ни на йоту не поступился своими убеждениями. «И в самом деле, когда вспомнишь его страшную, нищенскую жизнь последнего времени и подумаешь, что ему стоило только написать хотя бы своему брату, дивизионному генералу, чтобы материально улучшить свою жизнь, когда подумаешь, что он этого не сделал из принципа, что он ни разу не выразил жалобы на настоящее, ни сожаления о прошедшем,— то невольно проникаешься уважением и удивлением к этому — в полном смысле слова — мученику за идею!» — писал автор посмертной статьи о Соколове в журнале «Свобода».

Несмотря на пристрастие к «зеленому змию», авторитет Соколова в революционных кругах до последних лет жизни был очень высок. В 1878 году к нему приезжали из Испании революционные делегаты с предложением принять командование бригадой в инсургентских войсках, восставших против короля Альфонса. Именно Соколову, наряду с Германом Лопатиным, принадлежит честь основания и открытия в 1875 году знаменитой Русской библиотеки в Париже, явившейся центром русской революционной эмиграции семидесятых—восьмидесятых годов. Богатейшая библиотека эта под названием Тургеневской просуществовала до Великой Отечественной войны. В годы немецкой оккупации Тургеневскую русскую библиотеку, основанную Соколовым и Лопатиным, варварски уничтожили гитлеровцы.

По немногочисленным отрывочным данным о последних годах жизни Соколова можно судить, что он до конца дней своих убежденно хранил верность идеалам молодости.

Участник революционного движения семидесятых годов И. Джабадари рассказывает в своих воспомина-

ниях, как проходило в Париже обсуждение ученого реферата, написанного для Парижской академии наук их товарищем. На обсуждении, по его словам, присутствовал и «ветеран русской революции» Н. В. Соколов.

«Не успел Чуринов окончить свое изложение, – пишет И. Джабадари, – как Соколов встал и, ходя по комнате, обратился к нам: «Ну для кого и для чего писать эту ученую премудрость?.. Ну, что же, господа, продолжайте учиться и удивляйте мир своими трудами, которые будут оплачиваться потом и кровью голодного народа. Вместо того, чтобы отдать жизнь за завоевание политической и экономической свободы масс, вы хотите, напустив на себя вид ученого, копаться десятки лет в архивной пыли... Господа!.. Вы приехали из России, расскажите, о чем там думают; намереваются ли спасать овец, стригомых мошенниками, если да, то как?»

И пошла опять давно знакомая мне речь о знании и революции, о необходимости бросить науку и идти в народ».

По-видимому, Соколов вслед за Зайцевым к концу семидесятых годов изменил свое отношение к политической борьбе и осознал всю наивность анархического пренебрежения к завоеванию политической свободы, в особенности в применении к условиям самодержавно-крепостнической России. Две его статьи в «Общем деле» – «Генеральный грабеж» (1877, № 5) и «Придворный грабеж» (1877, № 6), – не что иное, как яркие политические памфлеты против самодержавия. Как и Зайцев, Соколов восторженно приветствовал схватку народовольцев с правительством. «Когда началось в России движение с политической окраской – народовольчество, – он один из стариков понял его истинное значение и радостно его приветствовал из далека своего полного лишениями и несчастиями изгнания. «Бей в голову», – говорил он на своем оригинальном, образном языке... «Бей в самодержавие, пока его не свалишь» – вот мысль Николая Васильевича. Вот последнее его завещание!» – вспоминал в своей речи на могиле Соколова редактор «Свободы» С. Княжнин.

Умер Соколов 5 марта 1889 года в Париже, простудившись на похоронах революционера-эмигранта Н. Преферанского. Как рассказывается в статье «Смерть и похороны Н. В. Соколова» в журнале «Сво-

бода», еще ни разу до того времени не было в Париже таких похорон русского эмигранта по многолюдству и торжественности. Несколько сот человек – почитателей, друзей, студентов, русских и польских эмигрантов – с венками, цветами, букетами собралось около бедной больницы, где умер Соколов. В толпе было много французов, в том числе Жакляр, Лефрансэ, выступивший на могиле с речью, и другие. Похороны Соколова, говорится в статье журнала «Свобода», явились данью благоговейного уважения революционных эмигрантов восьмидесятых годов шестидесятнику Соколову, «цельности и силе его убеждений». Они были достойны «товарища Чернышевских, Писаревых, Зайцевых, Ткачевых и других славных детей земли русской, немало потрудившихся на пользу родины и народа».

«ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕМЕЦКОГО СВИСТА ГЕЙНЕ И БЕРНЕ»

(Статья Варфоломея Зайцева)

В числе полузабытых публицистов и критиков прошлого один из интереснейших – Варфоломей Зайцев. Его статьи, наряду с творчеством Писарева, составляли душу «Русского слова».

«Русское слово» было так же невозможно без Зайцева, как оно невозможно без Писарева»[1], – вспоминает Н. В. Шелгунов.

Фигура В. А. Зайцева до середины 30-х годов привлекала интерес советских исследователей. Под редакцией Б. П. Козьмина было начато издание его статей – Избранные сочинения в двух томах. Первый том вышел в Москве в 1934 году. Второй том – публицистика Зайцева периода эмиграции, – к сожалению, не вышел. Объяснялось это, по-видимому, в первую очередь неправильным толкованием народничества, имевшим место в нашей исторической науке в период культа личности. В. Зайцев, как и Н. Соколов, в период эмиграции примкнул к народничеству 70-х годов. Поэтому тень легла и на него.

Добавим, что творчеством В. Зайцева занимались в основном в то время (конец 20-х – начало 30-х годов), когда еще далеко не была изжита ограниченность вульгарно-социологического подхода к литературе. В ту пору и сложилось мнение об этом ярком публицисте и критике 1860-х годов, которое живет в своей первозданности и до сих пор.

«Социальным реформатором»[2] назвал его во вступительной статье к Избранным сочинениям В. Зайцева Г. Берлинер.

[1] Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.–Пг., 1923, с. 170.

[2] Зайцев В. А. Избр. соч. в 2-х томах, т. 1. М., 1934, с. 18–19.

В настоящей статье нет смысла оспаривать такой взгляд в отношении В. Зайцева. Кстати сказать, подобная точка зрения далеко не самая крайняя. Нет возможности здесь и проанализировать все творчество В. Зайцева.

Задача настоящей публикации более скромная: продемонстрировать те страницы В. Зайцева, которые перечеркнула рука цензора, не пропустив в печать. Достаточно со вниманием вчитаться в эти неизвестные нам доселе страницы (они обнаружены в Центральном Государственном историческом архиве Ленинграда [1]), чтобы понять, как далеки истинные идейные позиции страстного, убежденного, революционного демократа Варфоломея Зайцева от того умеренного «реформизма», который ему приписывают.

Статья «Представители немецкого свиста Гейне и Берне» — первая статья, с которой В. Зайцев пришел в «Русское слово». Она была запрещена цензурой 24 апреля 1863 года. После коренной переработки, в результате которой из статьи ушла добрая ее половина, содержащая наиболее острые и опасные, по мнению цензуры, положения, второй вариант статьи под названием «Гейне и Берне» был разрешен к печати и опубликован в сентябрьской книге журнала за 1863 год [2].

Что же не устроило царскую цензуру в первой статье молодого публициста и критика?

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, 1863, д. 87, л. 6—10. Зайцев В. Представители немецкого свиста Гейне и Берне. (Все последующие цитаты В. Зайцева даются по этому тексту. Разделы статьи, не пропущенные цензурой в печать, набраны петитом.)

[2] Анализируя эту статью Зайцева, М. Л. Тронская положительно оценивает ее направление (хотя и отмечает свойственные ей противоречия), указывает на то, что «Гейне он изображает на фоне обрисованной с очевидным намеком на царскую Россию полуфеодальной Германии». По словам исследователя, «неправильно было бы винить Зайцева в том, что вне поля его зрения остается Гейне-художник», задача его статьи — «рассмотреть лишь политическое значение Гейне». Но, заостряя свою работу против половинчатости мировоззрения Гейне, он в основу анализа кладет чисто моралистический критерий, и потому весь его исторический очерк оказывается лишь привеском, а на первый план выдвигается сравнение благородной прямолинейности Берне с «художественной натурой Гейне». Справедливо при этом отмечается, что «в своей оценке Гейне-эгоиста Зайцев солидаризируется не только с Берне, но, обнаруживая шаткость своих позиций, даже с Прудоном» (Тронская М. Л. Гейне в оценке революционно-демократической критики. — Русские революционные демократы. Ученые зап. ЛГУ, № 158. Серия филол. наук, вып. 17. Л., 1952, с. 396).

Прежде всего — ее заглавие.

Как известно, «свист», «свистуны» (производное от издававшегося Добролюбовым сатирического приложения к «Современнику» «Свисток») — термин, широко применявшийся в эпоху 60-х годов для обозначения идеологии революционной демократии. Пущенное в ход Катковым и К⁰ как ругательная кличка, это словечко было немедленно подхвачено «Современником» и «Русским словом» для обозначения революционного направления идей.

«Свистуны» — это последователи Чернышевского и Добролюбова, это неуступчивые враги самодержавно-крепостнических порядков, беспощадно разоблачающие и высмеивающие их, стремящиеся к их уничтожению.

«Я не восстаю против полемики, не зажимаю ушей от свиста, не проклинаю свистунов,— говорил Писарев в статье «Схоластика XIX века»,— и Ульрих фон Гуттен был свистун, и Вольтер был свистун... А разве во многих статьях Белинского не прорываются резкие, свистящие звуки? Припомните, господа, ближайших литературных друзей Белинского, людей, которым он в дружеских письмах выражал самое теплое сочувствие и уважение: вы увидите, что многие из них свистали, да и до сих пор свищут (намек на Герцена.— *Ф. К.*) тем богатырским посвистом, от которого у многих звенит в ушах, и который без промаха бьет в цель, несмотря на расстояние» [1].

«Богатырский посвист» «Колокола», «Современника» и «Русского слова», от которого в пору 60-х годов у многих «звенело в ушах», действительно без промаха бил в цель. Этой целью было русское крепостничество, русский либерализм, церковно-готические системы идеализма.

Уже название статьи В. Зайцева «Представители немецкого свиста Гейне и Берне» объединяло деятельность выдающихся немецких демократов с той колоссальной работой по расчистке «готического собора» Российской крепостнической империи, которую вели революционные демократы — «свистуны» с Чернышевским, Добролюбовым, Герценом, Писаревым во главе. Самим названием («Представители немецкого сви-

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1955, с. 131—132.

ста...») написанная на материале немецкой действительности статья переводилась в чисто русский план.

Вся первая часть статьи, не пропущенная цензурой в печать, была посвящена раздумьям В. Зайцева об обстоятельствах возникновения «свиста» — «отрицающей», революционной идеологии, размышлениям об особенностях революционных, точнее — предреволюционных эпох. Статья проникнута верой в обреченность старого мира, в конечную победу революционных идей.

Вот начало статьи:

«Ни один общественный порядок не может продолжаться вечно. Рано или поздно он падает. Первым признаком гибели какого-нибудь порядка является осмеяние его, встречающее притом сочувствие в обществе. Пока существующий порядок крепок и прочен, пока существование его обеспечено на целые столетия, до тех пор он может, правда, подвергаться нападениям, но нападения эти не имеют характера насмешки, или даже если какой-нибудь гениальный человек решится на последнее, то не будет иметь никакого успеха. Причина этого весьма проста: доселе еще не существовало, говоря абсолютно, такого общественного порядка, который бы не был идеалом нелепости для будущих поколений. Но нелепость эта делается очевидной только тогда, когда этот порядок кончил свое существование. Для современников же он казался весьма логичным и необходимым. Ученый подданный фараона Рамзеса Великого так же убедительно доказывал в свое время необходимость кастового устройства общества, как современный нам либерал доказывает полезность и необходимость процветания просвещенной английской аристократии, открытой и доступной для каждого капиталиста. Приводя доказательства в защиту современного порядка, тот же либерал представил бы не менее красноречивые доводы в защиту современного порядка, чем какой-нибудь инквизитор XVI в., защищавший необходимость жечь еретиков. Но как скоро отжившие порядки казались своим современникам разумными и необходимыми, то уже нельзя их назвать нелепыми. Самое существование их доказывало, что они действительно необходимы и логичны, как необходимы и логичны произведения того общества, среди которого существовали.

Но как скоро люди увидят нелепость того порядка, который существует у них в данную минуту, то он становится окончательно нелепым; значит, общество достигло такой степени развития, при которой бывший доселе порядок немыслим. Он уже не вытекает из общества и, следовательно, держаться более не в состоянии. То, что могло существовать при той степени развития, на которой об-

щество находилось в XVIII в., уже невозможно и должно исчезнуть при той, на которой оно находится в XIX в. Поэтому весьма ложно мнение, проповедуемое разными глубокомысленными учеными, что тот или другой порядок пал от того или другого обстоятельства. Порядок падает от времени, а обстоятельства, по-видимому, содействующие его падению, больше ничего, как следствия его разрушения. Но понятно, что нелепость этого порядка даже тогда, когда он уже начинает приближаться к гибели, замечается не всеми современниками вдруг. Одни замечают это, когда порядок еще, по-видимому, крепок и свеж, другие только тогда, когда он падает, третьи вовсе не замечают и погибают вместе с ним. Люди, замечающие несостоятельность всего окружающего тогда, когда окружающее это еще, по-видимому, довольно крепко или когда оно действительно еще крепко и сильно, называются передовыми людьми.

Эти передовые люди избирают себе род деятельности, к которому чувствуют себя наиболее склонными. Так, одни опровергают своих противников, защитников старого порядка, рядом неопровержимых, сухих, строгих доводов; другие добывают разрушительные для старых теорий научные результаты; третьи стараются подействовать на воображение массы, пишут стихи, драмы и другие поэтические произведения, в которых в ярком свете изображаются недостатки современного общественного устройства; четвертые, наконец, стараются убить врага смехом, выставив напоказ все его безобразие. Много существует способов распространять новые идеи, но из всех их в настоящем случае я намерен заняться последним.

Само собой разумеется, что сюда не могут быть отнесены комические писатели, которые осмеивают общечеловеческие слабости и недостатки, существующие и при каком угодно устройстве общества, как то: леность, скупость, корыстолюбие, лицемерие, обжорство и т. п. Хотя вопрос о том, литература ли создает общество или общество литературу, до сих пор еще не решен окончательно, чему, конечно, препятствует мелочное самолюбие большинства писателей, пропитанных доктринерством и не желающих отказаться от принятой мысли считать себя руководителями общества, но даже эти господа должны согласиться, что комические писатели не производят на общество никакого влияния. Должны согласиться потому, что нельзя же утверждать, что, например, мольеровский «Скупой» излечил от скупости хотя одного человека или гоголевский «Ревизор» исправил нравы хотя одного уездного города в России. Наконец, если им нужно положительных фактов, то должны же они знать, что ханжество и лицемерие развилось в высшем французском обществе после «Тартюфа» и существовало целых тридцать лет. Точно так же и общество не оказывает ни малейшего

влияния на комических писателей, потому что ханжество, плутовство и обжорство существуют во все времена и, следовательно, могут всегда служить предметом комедии.

В этой статье я намерен поговорить о тех писателях, которые избрали себе смех оружием против современного им политического или социального устройства общества и которых я, следуя всей глубокомысленной литературе нашего любезного отечества, буду называть свистунами, а произведения их свистом. Как, по-видимому, ни презрительно подобное наименование, но я буду держаться его в полной уверенности, что со временем оно будет столь же почтенным прозвищем, как тори и виги, имена, взаимно данные Катковыми и Чичериными XVII в. в виде бранных кличек и произносимые с чувством глубокого уважения Катковыми и Чичериными XIX в.

Итак свист, как род противодействия устаревшим понятиям, есть не средство для освобождения общества от них, а только признак близкой их гибели, то есть он показывает, что нелепость существующего порядка уже понята, хотя еще покуда только небольшим числом передовых людей. Если старый порядок действительно отжил свой век, то число людей, замечающих нелепость его, возрастает, и это выражается тем, что свист встречает одобрение, имеет успех. Правда, он встречает также и сопротивление; против него восстают защитники старого, которые хотя и стараются показать вид, что презирают свист, но, в сущности, хорошо понимают угрожающую опасность. Но когда старый порядок осужден безвозвратно, то сопротивление это весьма слабо и неопасно. Свист победоносно и беспрепятственно раздается в обществе, которое ему аплодирует. Жалкие приверженцы старого порядка напрасно силятся остановить его; их возражения дают ему новые трофеи, и старый порядок, как неудавшаяся пьеса, падает среди оглушительного свиста, с той только разницей, что в воздухе носятся не яблоки и картофель, а что-нибудь подействительнее. Таков был свист Вольтера, таково было падение монархической Франции.

Но иногда бывает, что свист слишком опережает падение общественного порядка, что свистун слишком передовой человек, что он увидел нелепость окружающего тогда, когда современники его далеки от подобного взгляда. Тогда свист, раздавшись, не вызовет ничьего рукоплескания и грустно умолкнет. Рабле, например, был ничем не ниже Вольтера, но свист его не имел и сотой части того успеха, который имел его более счастливый, потому что позднейший, последователь.

Из этого очевидно, что свист сам по себе бессилен; что он вовсе не разрушителен; что он не средство, а признак разрушения. Порядок падает потому, что люди достаточно развились, чтобы сделать его невозможным, а не потому, что его убивает свист.

В настоящей статье я намерен рассмотреть судьбу свиста в Германии в его представителях Гейне и Берне, а в особенности деятельность последнего, как личности, совершенно неизвестной в нашей литературе, несмотря на то, что эта личность вполне заслуживает быть известной у нас более, чем где-либо».

Уже первая статья, которую двадцатилетний студент университета Варфоломей Зайцев предложил «Русскому слову», обнаруживает в нем человека, воспитавшегося на работах Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева.

В. Зайцев находился в первой шеренге передовых людей своего времени, осознавших нелепость существующего порядка вещей. Он уверен, что этот порядок изжил себя и должен пасть. Правда, его уверенность в обреченности отжившего правопорядка питается построениями рационалистического, идеалистического толка: «Порядок падает потому, что люди достаточно развились, чтобы сделать его невозможным...» В согласии со своими учителями, публицистами «Русского слова», с идеологией революционных демократов-шестидесятников вообще, условие революционных преобразований в обществе он видит в уровне сознания масс.

При этом «свист», то есть критика и осмеяние нелепостей общественного устройства, по убеждению Зайцева, сам по себе не в состоянии изменить его. Лишь уровень развития народного самосознания, который показывает, что общество созрело для революционных преобразований, дает результат. В этом случае «свист победоносно и беспрепятственно раздается в обществе, которое ему аплодирует... и старый порядок, как неудавшаяся пьеса, падает среди оглушительного свиста *с той только разницей, что в воздухе носятся не яблоки и картофель, а что-нибудь подействительнее*. Таков был свист Вольтера, таково было падение монархической Франции» (курсив мой. – *Ф. К.*).

Так представляет себе Зайцев общественный прогресс. Где же тут надежды на «представителей привилегированных классов», которые, по словам Г. Берлинера, «поймут наконец положение дела и перестанут противиться реформам»?

Весь дальнейший ход мыслей в статье В. Зайцева убедительно опровергает представление о нем как по-

следовательном реформисте и тем более противнике политической борьбы[1].

Несправедливость этих слов можно почувствовать, даже читая второй, пропущенный цензурой, вариант статьи «Гейне и Берне».

Вот что привлекло В. Зайцева в выдающихся революционных демократах Германии, если судить по первому варианту статьи, запрещенной цензурой:

«Оба они, как Гейне, так и Берне, *страстно любили свободу и умели в высшей степени сделаться свободными.* Поэтому чем хуже давила их тюремная обстановка, в которой они жили, тем сильнее чувствовали они на себе тяжелую руку старого порядка. *Поэтому восставать против него, стараться выбиться из этой тюрьмы, было для них такой же необходимостью, как звать на помощь, когда на человека напали грабители* (курсив мой.— *Ф. К.*).

Но им по крайней мере не суждено было видеть спасения. Правда, Гейне дожил калекой до 1848 года, правда, он мог на одну минуту подумать, что видел спасение мира, но тут же пришлось испытать жестокое разочарование, видеть разрушение своих надежд и падение лучших планов, задуманных людьми его закала. Каждая строчка, которую они писали, стоила им нескольких дней жизни, каждое сочинение — года; потому что каждая строчка их есть вопль страждущего, крик о помощи ограбленного.

Всякий, кто читал Гейне, знает это; всякий, кто читал его, видел слезы отчаяния сквозь этот веселый смех».

Творчество Гейне близко В. Зайцеву потому, что он видит в нем «высший протест против существующего порядка».

«Так же горячо, так же страстно любил свободу и Берне,— добавляет критик,— и так же среди всеобщего рабства сумел возвыситься до нее». В «свисте» Берне В. Зайцев видит «столько же негодования, сколько смеху, столько же ненависти, сколько негодования, и столько же беспощадности, сколько ненависти. Не понять его нельзя, и у читателя улыбка скоро переходит в злобную гримасу. Свист его не столько делает осмеиваемых смешными, сколько показывает их пошлость и ничтожность, но вместе с тем никогда не забывает напомнить, насколько вредна эта ничтожность».

---

[1] Так, В. Г. Совсун в статье «В. Зайцев как литературный критик» утверждал, будто «у Зайцева как бы возводится в теорию пренебрежение к политическим проблемам...» (Литература и марксизм, 1928, № 1, с. 100).

«Но что отравляло все существование как Гейне, так и Берне, что сократило их жизнь, что было их истинной мукой, их тяжким крестом, это то, что оба они равно сознавали, что, какое бы зло ни представлял старый порядок Германии, со своими дворцовыми расходами, министрами, придворными интригами, любовницами, гоф- и юстиц-ратами, учеными и писателями, но зло это было необходимостью. Французы счастливее в этом отношении: самый проницательный француз мог бы обмануться хотя на минуту, например 29 июля 1830 г. Самого дальновидного человека мог увлечь порыв народа, низвергавшего своих притеснителей, могло показаться невероятным, чтобы этот порыв прошел даром, чтобы из него мог выйти этот уродливый гермафродит, июльская монархия, со своим буржуазным королем, при миропомазании которого Ротшильд заменял высшее наитие, а нажившийся лавочник Перье архиепископа Реймского. Для немца такое самообольщение было невозможно. Событие 1813—1814 годов доказали, что немецкий народ — лев по храбрости и силе, но покорен, как овца».

В. Зайцев с глубоким пониманием говорит о том «негодовании», которым казнили Гейне и Берне немецкий народ за его покорность, он объясняет сочувствие Берне и Гейне Франции революционностью ее народа.

Критикуя покорность немецкого народа, Берне говорил, что «всякий имеет право быть глупым, но немцы злоупотребляют этим правом». При начале незначительного движения в Ганновере он писал, советуя тамошним жителям начать с того, чем кончат, то есть распрячь лошадей у кареты Эрнста-Августуса и прокатить его на себе.

«Этот свист, стоивший жизни Гейне и Берне, филистеры принимали за франзузоманию, упрекали их в недостатке патриотизма. Я уже старался объяснить причину бонапартизма Гейне, причину же сочувственных отзывов Берне о Франции не стоит даже объяснять, потому что они и без того всякому понятны. Я старался представить картину положения европейских государств во время реакции. Понятно, когда этот мрак внезапно осветился новыми событиями, доставившими Франции, хотя очень ненадолго, довольно свободные учреждения, при которых человек мог по крайней мере дышать, то все, кто только не был искалечен нравственно меттерниховскими фуктелями, смотрел на Францию, как на обетованную землю, в которой по крайней мере можно было свободно говорить, в которой жизнь не была стеснена вахмистрами, а литература — цензорами, живя в которой, наконец, можно было больше приносить пользы угнетенным народам, чем в Германии, где, как

в Вене, трудно было найти человека, неспособного быть доносчиком.

Поэтому или тупость, или не находящая других придирок злоба могла приписывать Берне французоманию. Что он уважал французов более, чем другие нации, это весьма естественно и прямо вытекает из его воззрения на немецкий народ и правительства. Французов он уважал за то, что они сумели приобрести себе то, о чем другие не смели думать.

Что касается до обвинения в недостатке патриотизма, то обвинение это было основательно. Ни Гейне, ни Берне никогда не выдавали себя за патриотов. Берне, правда, сказал, что более сочувствует немцам, чем французам, но тут же прибавил: потому что они несчастнее; что касается до Гейне, то из его сочинений лучше всего видно, что он постоянно смеялся над квасным патриотизмом филистеров. Мысль эта выражена у него в очень многих местах; здесь достаточно напомнить его знаменитое обращение к Арминию в «Германии», где он так колко издевается над теми глупцами, которые, защищая против него и Берне немецкий патриотизм, приводят в доказательство победу Арминия как благодетельное следствие этого патриотизма. Доказательство оказалось неудачным, потому что, с одной стороны, Берне исторически опроверг его, а с другой,— Гейне окончательно уронил его, воспев.

Немецкие патриоты приводили еще два доказательства в пользу благодетельных следствий немецкого патриотизма, а именно — освобождение от Наполеона и Реформация. Относительно первого Берне, нисколько не разделяя гейневского бонапартизма, за который он порицал поэта, был, однако, такого мнения, что патриотизм не принес Германии никакой пользы, потому что невелик, по его словам, был выигрыш для Германии — променять одного Наполеона на десяток властителей, как говорит Гейне. В этом после Венского конгресса должны были сознаться даже самые тупоумные квасные патриоты, как Геррео или Арндт. Что касается до Реформации, то в этом отношении Берне судил весьма оригинально и самостоятельно. Нужно было иметь много храбрости и решительности, чтобы сказать в глаза немецким протестантским патриотам и ученым, что их пресловутая Реформация, если даже и была следствием патриотизма, что весьма ложно, то составляла бы весьма плохой подарок, потому что ей-то по преимуществу и обязана Германия своею отсталостью, медленным развитием и своим филистерством и бюрократизмом. Нужно было много смелости, повторяю, чтобы сказать эту мысль. Протестанты-патриоты, боявшиеся в политике малейшей тени конституции, приходили в наивный ужас, когда свистун Берне, для которого не было ничего заветного, осмелился заподозрить благодетельность Реформации, этой конституции, данной церковью Северу. Как политические кон-

ституции отличаются тем, что, несмотря на явное противоречие в самой своей сущности, находят за себя всегда горячих приверженцев, удовлетворяя желаниям более значительного меньшинства, чем абсолютизм, и поэтому пускают глубокие корни в народе, в котором привились в довольно раннюю эпоху его жизни, так и эта церковная конституция, прийдя вовремя, успела не только пустить глубокие корни в народах Севера, но даже долговременным гнетом исказить их нравственно и породить все те явления, о которых я так часто упоминал, говоря про состояние немецкого общества. Реформация, будучи сама золотою серединою, приучила и приверженцев своих к филистерской умеренности. То, что в политическом отношении мы видим в Англии, где парламентаризм, попав еще на девственную почву, пустил в ней глубокие корни и уничтожил возможность всякого прогресса, вне своего ограниченного круга, обеспечил существование старого порядка, дав ему в своем лице еще свежего и бодрого защитника, то сделала в Германии Реформация в нравственном отношении. Этот ранний либерализм, прийдя вовремя на помощь умирающему католицизму, обеспечил его существование надолго, обеспечил бы и на более длинный срок, если бы нравственная и религиозная сторона жизни народа не была в зависимости от общественной и политической. В Англии либерализм церковный явился также вовремя, как и либерализм политический — и вдвоем они породили ее настоящее положение, устраняющее возможность прогресса. В Германии же политический либерализм запоздал, и вред, нанесенный церковной конституцией, вознаградится плодами, которые принесет застарелый абсолютизм ее политической жизни. В этом отношении Германия походит на Древний Рим. Рим в политическом отношении умирал от старости, но его религиозная жизнь была свежа и нетронута, и для христианства была возможность через эту сторону проникнуть внутрь его и спасти римскую цивилизацию и старый порядок вещей. В Германии то же самое, но наоборот. Недоступная прогрессу с нравственной стороны, она представляет нетронутую почву со стороны политической и общественной. Но идеи, проникающие через эту сторону, негодны для поддержки старого порядка. Это идеи разрушения, а не защиты. Из христианской церкви была дорога на престол, но только тогда, когда она из общины обратилась в церковь. Рассмотрев, каким образом относились германские свистуны к политической жизни своего отечества, я обращаюсь теперь к их деятельности в отношении самого общества. Я уже сказал, что все недостатки этого общества можно назвать общим именем филистерства, подобно тому как недостатки французского общества со времен Наполеона можно назвать буржуазностью. Против этого-то филистерства вообще с одинаковой силой восставали Берне и Гейне».

Понимая, что деятельность Гейне и Берне не дала непосредственных результатов, В. Зайцев не впадает от этого в отчаянье. Его статья дышит историческим оптимизмом, уверенностью в конечной победе революционных сил.

«В начале этой статьи,— пишет он,— я сказал, что свист бывает не орудием, а признаком падения старого порядка. 1848 год доказал, что в данном случае, по крайней мере, это справедливо. Правда, 1848 год скорее есть победа, чем гибель старого порядка, но такая победа, после которой он может сказать, подобно Пирру: «Еще такая победа, и я погиб». Дело вовсе притом не в победе, дело в возможности боя. Христианство четыре века поставляло жертвы для львов и тигров римского цирка, пока наконец не восторжествовало. При падении старого порядка интересно знать, кто выиграет какую-нибудь битву, только сражающимся,— для успеха дела это вопрос очень неважный, потому что, чем бы ни кончилась она — все-таки старый порядок наконец погибнет, и его не спасут ни такие гиганты, как Юлиан, ни такие пигмеи, как члены франкфуртского сейма 1848 года.

Что же касается до Виндишгрецов, то они никак не опасны. Без членов франкфуртского сейма, без демократов единой и нераздельной республики они даже проиграли бы и это сражение.

Чтобы старый порядок мог победить, нужно, чтоб он сумел слиться с новым, подчиниться ему, как то было при Константине Великом. Но это слитие возможно было только тогда, потому что тогда варвары, через которых совершилось это слитие, были вне общества. Теперь же эти варвары среди него, а старый порядок оказывается несостоятельным удовлетворить их крику, отличному от крика римских пролетариев,— хлеба и работы.

Итак, 1848 год есть первое сражение, данное, правда, безуспешно, новым порядком старому. Свист Берне и Гейне был сигналом этого сражения. Других результатов от него не могло быть, потому что я в самом начале сказал, что свист не дает результатов, а только предвещает те, которые выработались из политической и общественной жизни народа».

Статья «Представители немецкого свиста Гейне и Берне» писалась В. Зайцевым, естественно, не ради историко-литературных, филологических розысканий. Она имела совершенно конкретный политический адрес, преследовала ясную и определенную политическую цель.

Хотя тема и материал статьи, казалось, были далеки от российской действительности, на самом деле пафос ее заключался в осмыслении той борьбы революю-

ционных сил русского общества, «свистунов», которую вели они с политической, общественной реакцией и либерализмом.

Все, что писал Зайцев о Германии, ее «свистунах» и ее «филистерах», о вечной покорности ее народа и боли, которую испытывали немецкие «свистуны» вследствие этого,— мгновенно трансформировалось проницательным читателем 60-х годов на свою отечественную действительность.

Размышление В. Зайцева о том, что, чем бы ни закончилась та или иная битва, «все-таки старый порядок наконец погибнет», прямо адресовано русским революционным демократам 60-х годов.

Но чтобы не оставалось никаких сомнений в этом, В. Зайцев прямо соотносит события в Германии с тем, что происходило в России:

«В то время мы, русские, не изобрели еще слова «нигилизм» и поэтому не могли подарить его немецким филистерам для поражения свистунов. Наша беда в том, что цивилизация наша сильно отстала и великие наши открытия и изобретения, подобные этому слову, приходят слишком поздно, когда мы уже не можем подарить его нашим западным единомышленникам, потому что единомышленники эти уже давно погибли под тяжестью собственной глупости. Поэтому все плоды нашей цивилизации, подобные слову «нигилизм», не принесут никому пользы, даже самим нам, потому что даже в нашем любезном отечестве порядочные люди, взирая на нашу борьбу с нашими свистунами, из судьбы наших западных единомышленников угадают нашу собственную судьбу. Наши западные единомышленники тоже в свое время были могущественны и сильны; они тоже имели за себя авторитеты, и какие еще авторитеты! Имеем ли мы за себя такие авторитеты, как Гете, Гегель, Нибур, Либих? А наши немецкие единомышленники имели их. Можем ли мы похвалиться, что нашли какое-нибудь новое оружие для поражения наших врагов? Упреки в невежестве? Но филистеры предвосхитили это у нас и были поражены. Упреки в нигилизме? Но и это филистеры изобрели раньше нашего, кроме самого слова «нигилизм», и были поражены. Они боролись против материализма устами Либиха, величайшего авторитета в деле естественных наук, единственном поприще, на котором возможна эта борьба; они боролись и были поражены. Где же мы возьмем Либиха? У нас нет Либиха. Нам придется бежать под защиту полуразрушенных батарей прусской монархии. Но давно, уже очень давно были поражены наши немецкие единомышленники, несмотря на защиту этих батарей. Горе нам! Мы опоздали, и поражение наше неизбеж-

но. Наши немецкие единомышленники могли надеяться, если бы продержались подольше, на помощь от нас. Но мы опоздали к ним на помощь. Они разбиты; от кого же нам ждать помощи? А между тем враги наши будут постоянно усиливаться, благодаря поддержке своих единомышленников, восторжествовавших на Западе.

Не поможет ли нам известная изобретательность русского человека? Быть может, мы в состоянии изобрести новое, неслыханное оружие против наших врагов? Но немного нужно размышления, чтобы убедиться, что на этот раз изобретательность покинула нас. Представляли ли мы какие-нибудь доводы, которые бы уже не были опровергнуты в руках наших западных единомышленников? Что изобрели мы, кроме одного слова «нигилизм»? Да и то изобрели не мы, а все-таки те же немецкие наши единомышленники. Правда, они не употребляли его в том смысле, в каком употребляем мы для поражения наших врагов. Но если они не употребляли самого слова, то мысль, выраженную этим словом, они употребляли, и все-таки они были разбиты. Горе нам!»

Можно ли яснее было выразить свою уверенность в неминуемом падении самодержавия и крепостничества в России, веру в революционный прогресс?

«Поражение наше неизбежно», — говорит В. Зайцев, разоблачая затаенный страх тех, кто изобрел в России слово «нигилизм», то есть Каткова и катковствующих. Быть может, по мысли В. Зайцева, это поражение силам реакции, самодержавия и крепостничества нанесут сами же «представители привилегированных классов», как, например, утверждал Г. Берлинер?

О том, что такое «привилегированные классы», В. Зайцев очень хорошо знал. Недаром же он говорил в этой статье о том, что, «когда *угнетение меньшинством большинства* доходит до такой *наглости* и бесстыдства, как это было во времена Наполеона и последовавшей за его падением реакции, всякий раз... среди такого общества является протест против такого положения дел». Это революционный протест народных масс. Он-то и принесет в конечном счете народу освобождение от угнетения.

Служение революционным массам, трудящемуся народу — вот главное, что определяет, по мнению Зайцева, прогрессивность любого исторического деятеля. Последовательностью симпатий к революционным массам меряет В. Зайцев гражданскую личность Берне и Гейне. В различном отношении к народной революции видит он истоки вражды между ними.

«Если Берне не видел ничего, кроме политических вопросов, то у Гейне вопросы литературные, научные, художественные, религиозные стояли наряду с политическими. Подобная всесторонность весьма хороша; она расширяет область понятий человека, она ставит его вне более или менее узких рамок какого-нибудь исключительного интереса, она облагораживает его ум, но именно облагораживает. Она делает его неспособным для какой-нибудь практически полезной деятельности; она же ставит его до того выше человеческих интересов, что лишает его возможности приносить пользу массам, на которые он смотрит с высоты своего артистического и умственного аристократизма. Он впадает в дилетантизм, он делается бесполезным членом общества, паразитом, служащим для забавы и развлечения ему подобных аристократов, но не по уму, а по деньгам или рождению. Он производит одни предметы роскоши, недоступные да и ненужные для тех, на чей кровавый пот он приобрел свое высокое нравственное положение. И если даже, как Гейне, он останется довольно честен, чтоб не потерять, по крайней мере, сожаление к народу, чтоб сохранить ненависть и презрение к своим товарищам, капиталистам и другим аристократам, чтоб желать даже освобождения угнетенных и ниспровержения угнетателей, то его всесторонность лишит его возможности выполнить эти благородные порывы. Посмотрите, какой ярый демократ, какой враг всякого гнета, какой друг народа Гейне в его произведениях. Но в то же время всякий раз, когда в действительности ему приходилось становиться лицом к лицу с народом, он оказывался совершенно иным; тогда являлась совершенная несостоятельность его убеждений, и видно было, что не ему, с его всесторонним развитием, обжигать горшки.

Но Берне, знавший вблизи Гейне, видевший его отвращение от мужицких объятий, его гримасы от кнастера, его презрительную снисходительность, с которой он подавал свою аристократическую нежную руку грубой руке работника, как будто принося этим величайшую жертву в пользу своих демократических принципов, Берне, наблюдавший за ним и на митингах и сходках рабочих, приходивших бог знает откуда послушать его пламенные речи, и наедине, в бесконечных политических разговорах, Берне почувствовал непреодолимое отвращение к этому дилетанту революции, к этому салонному санкюлоту в белых перчатках. Зная всесторонность Гейне, казавшуюся Берне просто аристократизмом, он плохо верил революционной музе Гейне; читая его произведения, он не мог забыть, как этот беспощадный враг всякой аристократии морщился от кнастера рабочих. Его односторонность мешала ему извинить или, по крайней мере, закрыть глаза на это. Он не мог скрывать своих чувств и, ища всюду политических причин и не зная, что существуют другие, дошел однажды до того, что печатно обвинил Гей-

не в продажности. Если бы он мог судить беспристрастнее, он бы убедился, что такой человек, как Гейне, стоит выше всяких партий, что он не может не видеть правды в чем бы то ни было, что он не может, например, выбранить короля Людвига, если тому случится поступить хорошо, а между тем за это-то Берне, не задумавшись, обвинил его в подкупе. За такую узкость взгляда я не похвалю Берне. Но я нахожу, что есть много смягчающих обстоятельств, даже более чем смягчающих, на основании которых можно не только извинить, но даже одобрить его. Видя такие примеры всесторонности, как Гейне, Гегель или В. Гумбольдт, нельзя не согласиться, что Берне был прав, нападая на нее. Если же при этом вспомнить, какую неограниченную любовь к свободе, какую непримиримую ненависть ко всякому деспотизму, какое сочувствие к страданиям народа и какое нетерпение облегчить их чувствовал Берне, то все его крайности кажутся не только простительными, но даже и благородными.

Но если я защищаю, оправдываю и даже хвалю Берне за его крайние нападки на Гейне, то из этого нельзя еще выводить, что я обвиняю последнего. Подобно тому, как нападки Берне на Гейне происходили от узости его взгляда, не видевшего ничего вне политических вопросов, и подобно тому, как я старался оправдать его за эту узость, я постараюсь объяснить, что многостороннее развитие Гейне делало ему недоступным понимание таких исключительных личностей, как Берне. Но при этом я постараюсь оправдать его в этом непонимании. Действительно, для Гейне казался не только узким, скучным и ограниченным, но даже тупым человек, как Берне, для которого не существовало ничего, кроме политики, который на науки смотрел с презрением как на средства враждебного ему направления, в людях ценил только революционный образ мыслей, в искусстве видел один интерес, связанное с ними воспоминание или заключающийся намек на политические события. Гейне был неправ, толкуя с аристократическим отвращением о кнастере и грубых руках рабочих, но он был прав, находя запах кнастера противным, а Берне, наслаждающегося им, скучным и антипатичным. Он был неправ в своем дилетантизме, в своем поэтическом аристократизме, в своем поклонении Юпитеру Гете, в своем ослеплении Наполеоном, но он был прав, находя несносным и тупым со стороны Берне считать ретроградным консервативным поступком, если человек по приезде в Париж пройдет прежде в библиотеку, чем на площадь Людовика XVI. Понятно, что он мог разойтись с таким ограниченным человеком, общество которого было ему скучно и неприятно, подобно тому, как он имел полное право удалиться со сходки, находя дым кнастера противным и нездоровым, но я не могу оправдать его в том, что при его многосторонности он не понял, что, помимо его личных ощу-

щений и вкусов, Берне есть истинный демократ, что все его неприятные, на развитый вкус Гейне, слабости, односторонности, узкости, крайности суть свойства, необходимые для достижения той цели, которой он сам желал достигнуть, если только говорил искренно; я порицаю его за то, что он не хотел помнить, что не поэты и не ученые открывают человечеству новые пути, а люди с грубыми руками, дымящие кнастером, ограниченные и односторонние, что многосторонние люди, как он сам, напротив, не способны ни к какой практической деятельности, что их дело подготовлять переворот, содействовать развитию народа, но что черная работа не для них. Если бы он понял это, то не ссорился бы с Берне, не требовал бы от него художественного смысла и т. п. роскоши и не написал бы после смерти германского Мора той жалкой книги, которая достойна занять место наряду с полемикой против Берне разных филистеров. Я не стану входить в разбор этой книги. На все содержащиеся в ней обвинения Берне отвечал уже прежде, говоря с филистерами, про что я говорил уже. Единственное новое обвинение в патриотизме построено на таких неловких примерах, что говорить о нем не стоит.

Итак, Берне был человеком исключительно и односторонне преданным одному делу, для которого не щадил ни денег, ни здоровья. Его политическая деятельность вне литературы была обширна. Он был главою германских изгнанников в Париже. Он был душою всех предприятий, стремившихся возродить Германию в тридцатых годах. Имя его было необыкновенно популярно, и простые работники приходили с другого конца Германии послушать своего вождя. Эта деятельность его не увенчалась успехом или, по крайней мере, он не прожил довольно, чтобы видеть плоды ее. В литературе он видел только средство для своих политических целей, и поэтому значение его произведений чисто политическое. Но ум и юмор дают ему почетное место в литературе, хотя в этом отношении слава Гейне затмевает его.

Он умер пятидесяти лет в 1837 году. Его враг и товарищ по свисту пережил его двадцатью годами».

Можно спорить с В. Зайцевым в отношении некоторых конкретных оценок деятельности Гейне и Берне. Когда Зайцев пишет, что готов защищать, оправдывать и даже хвалить «Берне за его крайние нападки на Гейне» — это противоречит известной объективной оценке этих «нападок» Берне на Гейне у Маркса. Взгляд Зайцева на Гейне как «дилетанта революции, салонного санкюлота в белых перчатках» порожден народническим радикализмом критика, его неспособностью учитывать историческую обусловлен-

ность идейных противоречий Гейне. В действительности Гейне был несравненно ближе к революции, нежели буржуазный демократ Берне при всей субъективной честности последнего.

Несправедливо и обвинение Гейне в «бонапартизме», поскольку, как известно, Гейне воспевал Наполеона — «сына революции», но чрезвычайно резко осуждал Наполеона-императора.

Но при спорности тех или иных положений статьи В. Зайцева с точки зрения современного гейневедения бесспорны пламенность и последовательность революционно-демократических убеждений молодого критика, дерзнувшего в подцензурной статье столь открыто и дерзко выразить «революционный образ мыслей», «неограниченную любовь к свободе, непримиримость ко всякому деспотизму... сочувствие к страданиям народа и... нетерпение облегчить их».

1964

Ф. ПАВЛЕНКОВ И Д. ПИСАРЕВ

В фондах Центрального государственного исторического архива в Москве нам удалось обнаружить неизвестный некролог на смерть Д. И. Писарева, принадлежащий перу его близкого друга, родственника и издателя Ф. Ф. Павленкова[1]. Вот его текст.

Д. И. ПИСАРЕВ

(Некролог)

...его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения... (Сочинения Д. И. Писарева, ч. 1, с. 130.)

Печальная весть о смерти Д. И. Писарева известна уже всем. Он утонул 4 июля в Дуббельне, в Карлсбадском купальном месте (на берегу Рижского залива), но не от удара, как это было сообщено газетами, а от судорог в ногах[2]. Тело его было перевезено в Петербург и 29 июля похоронено на Волковом кладбище около его предшественников – Белинского и Добролюбова.

Смерть Д. И. Писарева болезненно отзовется в честно мыслящей части нашего общества: она его знала, любила, возлагала на него большие упования. Не имея еще и 28 лет, он, казалось, был слишком молод для смерти. Но давно уже замечено, что наши талантливые журналисты как будто находятся под тяготением какого-то неведомого рока: в самом деле, не прошло и семи лет, как мы лишились Добролюбова, Чернышевского и Писарева – трех незаменимых личностей, по крайней мере не заменимых на *долгое* время, потому что реакция едва ли способна производить что-либо светлое, искрометное, оригинальное.

---

[1] ЦГИАМ, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 344.

[2] Мнение доктора Капелляра, с которым мы лично виделись в Дуббельне. *(Примеч. Павленкова.)*

Д. И. Писарев родился в 40-м году в Елецком уезде Орловской губернии. Домашнее воспитание его отличалось от обыкновенного тем, что он рос без товарищей и постоянно находился исключительно в кругу взрослых. Покойный еще в детстве обращал на себя внимание окружающих своим крайне ранним развитием: так, он уже бойко читал, будучи четырехлетним ребенком. Потребность авторского творчества обнаружилась в нем еще с восьмилетнего возраста, когда он написал по-французски сказку, им самим иллюстрированную и до сих пор хранящуюся в бумагах его матери. Та оригинальность, которая сделалась впоследствии отличительной чертой всех его произведений, лежала в основе его характера и в складе всей его личности. Стремление идти без посторонней поддержки, стоять на собственных ногах в нем резко выразилось еще на школьной скамье: раз как-то мать, когда он был еще гимназистом, сказала ему шутя по-французски, что, когда он кончит университет, такие-то и такие-то лица позаботятся об устройстве его будущности и будут ему протежировать. «Je me protège moi-même!» [1] — вскричал сердито мальчик, откидывая назад голову и проводя рукой по волосам.

Литературная деятельность Д. И. Писарева началась с [18]59 года, когда он был студентом. В продолжение этого года он вел в журнале «Рассвет» библиографический отдел, давал ежемесячно редакции до 35 страниц большого формата. Здесь, таким образом, читатель может найти его первые опыты, из которых укажем на его рецензии «Обломова», «Дворянского гнезда», «Трех смертей» Л. Толстого и др. Как ни мало был распростр[анен]...[2] ...посажен в Петропавловскую цитадель как участник в деле Баллода, им была написана будто бы прокламация «Шедо-Ферроти и русское правительство», найденная в тайной типографии, где она предполагалась к печати. В крепости Писарев просидел до октября 1866 года. Здесь были написаны его лучшие статьи: «Наша университетская наука», «Реалисты (Нерешенный вопрос)», «Пушкин и Белинский», «Цветы невинного юмора», «Новый тип» [3], «Прогресс в мире животных и растений», «Исторические идеи Огюста Конта» и др.

Исходной точкою всех его воззрений на окружающие явления была неограниченная, фаталистическая вера в разум. Разум был его религией. Перед мыслью он благоговел, только за ней одной он и признавал силу, прочность и будущность. Этот святой язы-

---

[1] Я защищаюсь сам! *(фр.)*

[2] Пропуск. В рукописи потеряна страница.

[3] Статья эта помещена в четвертой части его «Сочинений» под заглавием «Мыслящий пролетариат». Перемена заглавия обусловливалась некоторыми обстоятельствами, объяснить которые мы пока считаем неудобным. *(Примеч. Павленкова.)*

ник с анатомическим хладнокровием срывал с рассматриваемых предметов самые красивые оболочки, и если при вскрытии внутри их не оказывалось пропорциональной частицы его божества, он безжалостно бросал рассеченный предмет в мусор. Только таким приемом и объясняются его статьи о некоторых неприкосновенных будто бы представителях нашей литературы. Если в них и есть преувеличения, то эти преувеличения чрезвычайно последовательно вытекали из высокого начала — из его требования, чтобы все, что рассчитывает на прочность и влияние, прежде всего было разумно, сознательно, продуманно, а *потом* уже справедливо, человечно и т. д.

Ум прежде всего! В этих трех словах, часто повторяемых покойным, — весь Писарев со всеми его достоинствами и недостатками.

Его нельзя было подкупить и обмануть никакой формой, как это иногда случалось с Белинским, он относился строже, выше и объективнее ко всякой социальной язве, ко всякому общественному страданию, нежели Добролюбов. Он не доходил до того, чтобы видеть прочный залог протеста в хронической боли, разрешающейся трагическими и, может быть, даже высокими, но бессознательными порывами. От типов, *приковывавших* к себе Добролюбова, до типов, перед которыми мог *останавливаться* Писарев, такое же расстояние, какое существует между Катериной Островского и Рахметовым Н. Г. Чернышевского. Светлыми явлениями нашего «темного царства» он считал только безустанных анализирующих борцов, идущих с определенной *полезной* целью и, пожалуй, в редких случаях поканчивающих с собой... но не для себя. Эта закваска была господствующим мотивом его литературной деятельности, которой он отдавал все свои силы. Покойный работал не только с увлечением, но даже со страстью. Журнальная арена была для него такой же потребностью, какова потребность воздуха, пищи, света, тепла, одним словом — предметом первой необходимости. В продолжение своей шестилетней литературной деятельности он написал и перевел более четырех тысяч страниц. Влияние и известность, какими он пользовался в 62—65-х годах, то есть во время относительно счастливых годов журналистики, было громадно. Только тот, кто жил в это время в провинции, может составить себе о ней хотя приблизительное понятие. Можно без преувеличения сказать, что еще никто из русских писателей не имел таких *горячих* повсеместных поклонников, какие выпали на долю Писарева. Это поклонение вызвало против него из смежного лагеря шумную реакцию, которая, как и всякая другая реакция, не отличалась особенной честностью. Как во времена оны были открыты на пространстве всей периодической печати крестовые походы против Н. Г. Чернышевского, так в 65-м году все ополчились на

Писарева. Самые честные из его бесчестных антагонистов употребляли, например, такие приемы: они намекали ему, что он сидел в 59-м году в лечебнице Штейна, они надувались подобно крыловским лягушкам, грозясь разгромить и «Базарова», и «Нерешенный вопрос», и в конце концов ограничились лишь указанием на противоречие в мнениях Писарева о том, как сам Тургенев относился к роману «Отцы и дети» (что, конечно, к делу нисколько не относилось), они — *числящиеся* по реальной критике! — называли мнение Писарева о *современном* реально-воспитательном значении Пушкина «комически нелепым», не приведя в оправдание этих поистине «полезных» мнений ни одного довода, они позволяли себе обозвать Писарева «крошечкой», «малюткой» и т. п. эпитетами, приближаясь такими приемами как бы к признанию авторитета возраста [1]. Конечно, все это делалось в чаду литературной схватки, но если такие шутки выделывались...[2]

В том же деле хранится еще один неизвестный документ, представляющий интерес для биографов и исследователей творчества великого русского критика: неопубликованное предисловие Павленкова к первому изданию сочинений Д. И. Писарева, которое издатель предпринял в 1866—1869 годах. Это предисловие написано Павленковым после выхода в свет первой части собрания сочинений, которая была недружелюбно встречена реакционной и либеральной критикой. Сообщив читателю, что «вместо семи обещанных частей издание «Сочинений Д. И. Писарева» займет восемь» (вышло оно в 10 частях), Павленков возражает здесь недоброжелательным критикам, которые выражали недоумение по поводу того, что еще при жизни Писарева предпринято издание его сочинений, да еще чуть ли не полное. «...Пусть беззубые порицатели скажут нам, почему, например, Слепцов может быть издан, а Писарев не может, почему Островский, Некрасов

---

[1] Не так относился к Писареву Н. Г. Чернышевский. Он понимал таившиеся в нем задатки и предугадывал его значение и влияние. Лучше всего это проявилось в том, что на вопрос Писарева «Что делать?», которым он закончил свою статью «Базаров», Чернышевский отвечал не полемическими красотами, а целым романом. Нужно питать к человеку слишком большое увлечение, чтобы облекать свои ответы в такую форму. На предложение Чернышевского сделаться сотрудником «Современника» Писарев отвечал, что он желает посвятить все свои силы «Русскому слову». *(Примеч. Павленкова.)*

[2] На этом рукопись обрывается.

и другие могут печататься до смерти, а Писарев в силу какой-то излишней скромности должен ждать своего Граната или по меньшей мере Солдатенкова и Щепкина?» — недоумевает Павленков и мотивирует необходимость издания сочинений Писарева так: «Только окинув одним взглядом *всю* его деятельность, можно с достаточным основанием определить то место, которое ему придется занимать в истории нашего общественного развития. Только разобравши всю его деятельность, можно определенно сказать, что такое Писарев: просто ли это талантливый и даровитый журналист или же учитель, которому суждено двинуть нас на несколько шагов вперед и служить ступенью к новой фазе нашего развития, просто ли он первый сотрудник «Русского слова» или могучий боец, идущий на смену Белинскому, Добролюбову и Чернышевскому?»

Отвечая на заметку «Книжного вестника», который высказал предположение, что «Сочинения Д. И. Писарева» могут не разойтись в пору глухой реакции, Павленков заканчивает предисловие так: «В заключение выше сказанному нами считаем нелишним прибавить, что гаданиям кликуш «Книжного вестника», «скушает или не скушает наша матушка-публика» издание сочинений Писарева, мы не придаем никакой цены, как вообще не придаем цены никаким гаданьям. Будем ли мы иметь материальную выгоду от издания «Сочинений Д. И. Писарева» или нет — во всяком случае оно будет доведено нами до конца. Мы полагаем, что оно не только *полезно* для публики, но даже *необходимо* для нее и в настоящие минуты приторного оптимизма более, чем когда-нибудь».

Ценность этих документов прежде всего в том, что они представляют собой живое свидетельство современника об огромном влиянии Писарева на общество того времени. Имя Писарева, этого пророка молодого поколения 60-х годов, ассоциируется с именами вождей революционной демократии Чернышевского и Добролюбова. Писарев в восприятии Павленкова — это учитель, которому суждено двинуть общество на несколько шагов вперед, это «могучий боец, идущий на смену Белинскому, Добролюбову и Чернышевскому».

В некрологе, так же как и в предисловии к собранию сочинений, слышны отзвуки той полемики, кото-

рую вел Писарев с публицистом журнала «Современник» Антоновичем в 1864—1865 годах. Именно Антоновича имеет в виду Павленков, когда говорит о «самых честных из его бесчестных антагонистов», грозившихся разгромить «Базарова» и «Нерешенный вопрос» (обе эти статьи Писарев посвятил в значительной степени разбору романа Тургенева «Отцы и дети»). Отзвуки этой полемики слышны и в той части некролога, где Павленков говорит о соотношении общественных позиций Писарева, Белинского и Добролюбова. Писарев критиковал Белинского и Добролюбова за то, что они, с его точки зрения, не были достаточно последовательными «реалистами»: Белинский, по мнению Писарева, слишком высоко ценил Пушкина, Добролюбов же неверно понял образ Катерины из драмы Островского «Гроза», расценив самоубийство Катерины как знак близящегося пробуждения масс.

Убежденный «писаревец» Павленков не только воспринял эту ошибочную точку зрения на Белинского и Добролюбова, но и провел ее в некрологе. Идеалом Писарева была не Катерина Островского с ее бессознательным, стихийным протестом, утверждает Павленков, но Рахметов Н. Г Чернышевского, убежденный, сознательный революционер. «Светлыми явлениями нашего «темного царства» он считал только безустанных анализирующих борцов, идущих с определенной *полезной* целью и, пожалуй, в редких случаях поканчивающих с собой... но не для себя»,— говорит Павленков, подразумевая под подобным «редким случаем» революцию, и добавляет: «Эта закваска была господствующим мотивом его литературной деятельности, которой он отдавал все свои силы». Здесь уместно напомнить, что Добролюбов написал статью о драме Островского «Гроза» в предгрозовую эпоху, в момент, когда обстановка в стране была накалена до предела и вожди революционной демократии уже намечали примерные сроки близящейся крестьянской революции; что касается точки зрения Писарева на Катерину, то она сформировалась у него в пору резкого спада крестьянской революционности во второй половине 60-х годов. В этот момент на первый план выходила задача именно революционного воспитания масс. Здесь истоки спора Писарева и Добролюбова. Важно, что, как показывает павлен-

ковский некролог, современники именно так и воспринимали этот спор.

Вместе с тем нельзя не отметить, что, полностью восприняв точку зрения Писарева на Катерину, Павленков искаженно трактует позицию Добролюбова в этом вопросе. Добролюбов ни в коей мере не противопоставлял бессознательный революционный порыв масс сознательной революционной деятельности Рахметовых, и, конечно, образ Рахметова был бы Добролюбову близок ничуть не менее, чем Чернышевскому и тем более Писареву.

Немаловажное значение для исследователей имеют сведения биографического характера, сообщаемые Павленковым — близким другом Писарева в последние годы его жизни, например, сообщение о причине гибели Писарева (Писарев умер «не от удара... а от судорог в ногах» — «мнение доктора Капелляра, с которым мы лично виделись в Дуббельне»). Дело в том, что окончательная причина смерти Писарева до последнего времени не была выяснена. Современники высказывали мнение о самоубийстве Писарева (например, письмо Благосветлова Шелгунову от 10 июля 1868 года: «Печальная новость! Писарев утонул, т. е. утопился, в душевно-расстроенном состоянии»[1]. Шелгунов пишет в «Воспоминаниях» по этому поводу: «Действительно ли Писарев «утопился в душевно-расстроенном состоянии» или это была только догадка Благосветлова — я не знаю»).

Представляют интерес биографические подробности о детских годах Писарева, сообщаемые Павленковым, по-видимому, со слов родных покойного.

Принципиально важно приведенное в сноске свидетельство Павленкова об отношении к Писареву Чернышевского. Мысль о том, что роман «Что делать?» написан Чернышевским как ответ Писареву, Павленков высказал также и в предисловии — очевидно, она была для Павленкова очень дорога.

Новые документы выясняют еще один момент в биографии Д. И. Писарева: его взаимоотношения с Павленковым. Известно, что крупнейший русский книгоиздатель второй половины XIX века Ф. Ф. Павленков восемь раз переиздавал собрание сочинений Писарева — так часто до революции в России не изда-

[1] Шелгунов Н. В. Воспоминания. Пг., 1923, с. 177.

вался ни один из русских писателей. Собственно, издательская деятельность Павленкова и началась с «Собрания сочинений Д. И. Писарева». Как это видно из цитировавшегося выше «Предисловия», издание это было предпринято Павленковым отнюдь не из коммерческих, но из *идейных* соображений, ради пропаганды воззрений Писарева в русском обществе.

Д. И. Писарев вообще сыграл особую роль в судьбе гвардии поручика и будущего книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова.

Страстная проповедь Писарева на страницах журнала «Русское слово» завоевала немало юношеских сердец, немало судеб повернула на стезю служения идеалам добра и справедливости в писаревском понимании этих слов.

«Лет пять тому назад, среди провинциальной спячки и пошлости, встретился я впервые со статьею Писарева... — писал Павленкову некий прапорщик Циркунов, — какая-то сила приковала меня к ней; кругом шум, карточная игра, споры, все для меня закрылось туманом, и вдруг я почувствовал свое родство с духом статьи... Вот почему я думаю, что попадись кому книга Писарева — и конец: он направлен на новый, верный путь» [1].

Это лишь один из многочисленных конкретных примеров того могучего воздействия, которое оказывала пламенная публицистика Писарева на молодежь. О силе писаревского слова можно судить хотя бы по тому, что даже один из его тюремщиков — молодой офицер Борисов, читавший статьи заключенного в Петропавловскую крепость критика перед тем, как отправить их по начальству, под воздействием идей Писарева изменил свои взгляды и ушел со службы.

Как показывают «Предисловие» и «Некролог», мировоззрение Павленкова также сформировалось при прямом и непосредственном влиянии на него идей Писарева. Это подтверждает в своих воспоминаниях о Павленкове его близкий друг В. Д. Черкасов. Еще в ту пору, сообщает он, когда гвардии поручик Павленков служил в Киеве, он «с увлечением перечитывал статьи Д. И. Писарева в «Русском слове» и глубоко сожалел, что не имеет возможности собрать

[1] ЦГИАМ, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 342, л. 124, об. 125.

и выпустить отдельным изданием все эти статьи»[1]. В 1865 году Павленков вышел в отставку и «решил попытаться осуществить свои давнишние мечтания»[2].

В процессе совместной работы над изданием сочинений своего духовного учителя Павленков не только сблизился с Писаревым, но и стал личным другом как Дмитрия Ивановича, так и его семьи. Он полюбил сестру Писарева Веру Ивановну и впоследствии женился на ней.

Павленков тяжело переживал трагическую гибель Писарева. «На долю Павленкова,— свидетельствует Черкасов,— выпала печальная необходимость озаботиться перевозкою усопшего в Петербург и похоронить его (29 июля) на Волковом кладбище в присутствии многотысячной публики, почитателей Писарева, без всяких приглашений или объявлений собравшейся проводить в места успокоения любимого писателя».

Имя Писарева было настолько популярным среди молодежи 60-х годов, что охранка всерьез боялась, как бы день похорон Писарева не вылился в демонстрацию против самодержавия. Как установили агенты охранки, уже «дня за два до прибытия тела на пароходную пристань начали являться разные лица за справками о времени прибытия парохода с телом». «Здешние литераторы и во главе их — бывшая редакция «Русского слова», как слышно, готовят телу торжественную встречу: причем, как полагают, не обойдется без какой-либо демонстрации, так как Писарев считался сподвижником Чернышевского, Добролюбова и других. Не лучше ли было бы,— выражало свое мнение III Отделение,— предать тело его земле на Рижском кладбище».

Однако тело Писарева было перевезено в Петербург.

«29 числа, в понедельник, после литургии и панихиды,— доносили агенты охранки,— последовал вынос тела на кладбище... Из литераторов были Некрасов, Благосветлов, Елисеев, Глеб Успенский, Минаев, Афанасьев-Чужбинский, Суворин, Буренин, Шишкин, Соколовский, Шульгин, доктор Конради, жена его Е. Конради, Кроль, Гирс, Гайдебуров, Стопановский».

---

[1] Черкасов В. Д. Ф. Ф. Павленков. Отрывки из воспоминаний. СПб., 1907, с. 11.

[2] Там же.

«За гробом его,— докладывал другой агент,— шествовал весь нигилистический синклит,— можно сказать, что гроб изменил даже свою форму и походил скорей на пирамиду, усеянную цветами».

Хотя, как свидетельствует Черкасов, «администрацией были приняты меры к недопущению каких-либо речей или иных проявлений сочувствия на могиле», бывший редактор «Русского слова» Благосветлов, литераторы Гайдебуров и Гирс выступили с речами (Гирс за выступление на могиле Писарева поплатился ссылкой в Вологду). Тут же, во время похорон, начался сбор денег на памятник Писареву и на учреждение стипендии его имени. Организацию того и другого Павленков взял на себя. Он отпечатал на литографе текст письма, где рассказывалось о значении деятельности Писарева для русского общества и предлагалось высылать деньги на памятник Писареву, и начал рассылать это письмо по стране.

Эта деятельность Павленкова послужила причиной его ареста и ссылки в Тверскую губернию, где он провел много лет. При аресте в бумагах Павленкова и был обнаружен написанный им и не опубликованный по цензурным обстоятельствам некролог, который вместе с неопубликованным предисловием к «Сочинениям Д. И. Писарева» хранится теперь в ЦГИАМ.

1959

СУДЬБА ПРОПАВШЕЙ СТАТЬИ Д. И. ПИСАРЕВА

В литературе, посвященной Д. И. Писареву, существует мнение о том, что в период 1863—1864 годов Писарев отошел от традиций русской революционной демократии и лишь во второй половине 1865 года в статье «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») и других вернулся к идее революции.

При этом считается само собой разумеющимся, что статья Писарева «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), посвященная роману Чернышевского «Что делать?» и опубликованная в октябрьской книжке «Русского слова» за 1865 год, написана *осенью* 1865 года.

Утверждают, что была у Писарева и *другая* статья, посвященная роману «Что делать?», написанная в 1863 году. Называлась она «Мысли о русских романах».

О ней нам известно из секретного письма петербургского генерал-губернатора князя Суворова министру внутренних дел Валуеву от 7 ноября 1863 года, где Суворов сообщал: «...В прошлом месяце препровождена была мною в Правительствующий Сенат статья Писарева «Мысли о русских романах». Возвращая эту статью, Сенат дал мне знать, что в ней не находится обстоятельств, до дела Писарева относящихся; но сочинение это, содержащее в себе по преимуществу разбор романа литератора Чернышевского «Что делать?» и преисполненное похвал этому литературному произведению, с подробным развитием заключающихся в нем материалистических воззрений и социальных идей, по мнению Сената, в случае напечатания оного, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями.

...Долгом считаю о вышеизложенном отзыве Правительствующего Сената сообщить Вашему Превосходительству для соображения при рассмотрении цензурою статьи поименованного подсудимого под заглавием «Мысли о русских романах».

На письме многозначительная виза Валуева: «Теперь же предварить г. г. цензоров конфиденциально. 8 ноября».

Письмо это было опубликовано князем Н. Шаховским в «Русском архиве» (1897, № 2) и с тех пор прочно вошло в научный оборот. На этом следы о статье «Мысли о русских романах» в литературе, посвященной Д. И. Писареву, теряются. Л. А. Плоткин в своей монографии о Д. И. Писареве, процитировав письмо Суворова, пишет: «Статья эта до нас не дошла», но, судя по письму Суворова, «можно думать, что статья Писарева развертывалась в том же плане, что и напечатанная в 1865 году статья «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»).

Таким образом, Л. Плоткин, как и другие историки литературы, полагают, что Писарев посвятил роману «Что делать?» две различные, но развивавшиеся в одном и том же плане статьи, первая из которых («Мысли о русских романах») утрачена.

Параллельно этому высказывалась и догадка о том, что «Мысли о русских романах» и «Новый тип» («Мыслящий пролетариат»), возможно, одна и та же статья. Однако эта весьма заманчивая гипотеза не выходила за сферу предположения в силу того, что в подтверждение ее нельзя было привести ни одного факта: следы статьи «Мысли о русских романах» теряются в письме Суворова, опубликованном Шаховским.

Между тем в фондах Центрального исторического архива в Ленинграде имеются интересные данные о судьбе статьи «Мысли о русских романах» уже после того, как Суворов направил в адрес Валуева вышеприведенное письмо, а Валуев дал 8 ноября указание: «предварить г. г. цензоров конфиденциально». Судя по этим данным, редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов получил статью «Мысли о русских романах» в комендатуре Петропавловской крепости 11 ноября 1863 года, а 23 ноября 1863 года в журнале заседаний Санкт-Петербургского Цензурного Комитета появляется следующая запись:

«*Слушали:* ...Статья г. Писарева под заглавием *«Новые типы»*, заключающая в себе развитие основных идей романа Чернышевского «Что делать?».

Определено: ...Запретить к печатанию».

Не представляет сомнения, что статья Писарева «Мысли о русских романах», посвященная роману «Что делать?», уже в 1863 году во избежание цензурных рогаток была переименована редакцией и представлена в цензуру под заглавием *«Новые типы»*. Но перемена названия не спасла статью. Мнение Правительствующего Сената, конфиденциально доведенное до сведения цензоров Валуевым, сделало свое дело: статья была запрещена.

Однако редакция не теряла надежды каким-либо образом обойти цензуру и в будущем напечатать эту очень важную для журнала статью.

В объявлении «Об издании журнала «Русское слово» на 1864 год редакция обещала читателям:

«В следующих книжках из заготовленных материалов будут, между прочим, помещены: критический разбор романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» – Д. И. Писарева» и др. Таким образом, критический разбор Писаревым романа «Что делать?» под новым названием *«Новый тип»* после запрещения его цензурой хранился в портфеле редакции и был одним из тех уже «заготовленных» материалов, которые редакция собиралась напечатать в 1864 году. Однако в силу крайне тяжелых цензурных условий редакция не смогла этого сделать ни в 1864, ни в первой половине 1865 года. Лишь в сентябре 1865 года, в результате отмены предварительной цензуры и замены ее карательной, редакция получила возможность нарушить заговор молчания вокруг романа Чернышевского и опубликовать еще в 1865 году «заготовленную» статью Писарева о романе «Что делать?». В «Библиографическом листке» сентябрьской книжки журнала за 1865 год В. Зайцев, отметив, что после идиотских выходок реакционной журналистики по поводу «Что делать?» в 1863 году в печати наступило полное молчание, пишет: «Теперь, быть может, наступило время, более благоприятное для разумной и серьезной критики этого произведения, и если так, то наша литература должна поспешить выполнить, хотя поздно, этот долг в отношении его». И действительно, в следующем, 10-м номере журнала, втором номере, вышедшем без

предварительной цензуры, журнал «Русское слово» печатает наконец критический разбор романа Чернышевского, написанный Д. И. Писаревым, под заглавием *«Новый тип»,* за что и получает первое предостережение. Тождество заглавий, темы, а также то обстоятельство, что статья Писарева «Новый тип», как мы убедились, почти два года хранилась в портфеле редакции и ждала своей очереди, исключает предположение, что Д. И. Писарев писал в 1865 году о романе Чернышевского вторую, совершенно самостоятельную статью. Определенные изменения, очевидно, внесены были. В частности, в статье получила отражение полемика между «Русским словом» и «Современником» 1864 – начала 1865 года. Но очевидно также и то, что статья Д. И. Писарева «Мысли о русских романах» и статья того же автора «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») не две совершенно разные работы, но одна и та же статья, в крайнем случае – два варианта одной и той же статьи, которая в силу цензурных условий не смогла появиться сразу по ее написании и была опубликована редакцией тогда, когда к этому появилась возможность.

Установление истинного срока написания критиком статьи «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») дает материал для более правильного понимания эволюции Писарева в 1863–1866 годах. Зная время написания статьи Писарева о романе Чернышевского, принадлежащей перу убежденного социалиста и революционного демократа, нельзя не поставить под сомнение версию о том, что в 1863–1864 годах Писарев отказался от идей социализма и революции и лишь во второй половине 1865 года в статье «Новый тип» и других вернулся к ним.

1957

ДВЕ СТАТЬИ Д. И. ПИСАРЕВА

В 1893 году в журнале «Русское обозрение» в отделе «Материалы для характеристики русских писателей, художников и общественных деятелей» печаталась публикация В. Г. Штарка «Письма Д. И. Писарева, писанные им к разным лицам из-под ареста»[1]. Письма эти В. Г Штарк обнаружил случайно в бумагах своего учителя А. Д. Данилова, дяди Д. И. Писарева, умершего в семье Штарков. В числе их было одно письмо к Р. А. Корнеевой-Гарднер, два письма к незнакомой ему девушке по имени Лидия Осиповна и шесть писем редактору «Русского слова» Григорию Евлампиевичу Благосветлову. Письма эти, как указывается в предисловии к публикации, написаны «микроскопическими буквами на маленьких клочках, оторванных от полей печатных страниц», и передавались на волю секретно: «мать... постоянно навещала невольного отшельника и, дрожа от страха, уносила в башмаке листок, который переписывала для доставления по адресу, а подлинник хранила на память»[2].

При внимательном изучении этой малоизвестной публикации обнаружилось, что два из шести писем Писарева, адресованных Г. Е. Благосветлову, являются вовсе не письмами, а статьями Писарева, предназначенными для опубликования в «Русском слове».

Первая из этих статей называется «Объяснение».

История написания ее такова. В девятом номере «Русского слова» за 1864 год была напечатана первая часть статьи Писарева «Реалисты», которая шла без подписи под заглавием «Нерешенный вопрос». В ответ на нее в десятом номере «Современника» появилась

[1] Русское обозрение, 1893, № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12.

[2] Там же, № 1, с. 223.

статья «Постороннего сатирика» (Антоновича) — «Вопрос, обращенный к «Русскому слову». В ней Антонович писал, что статья «Нерешенный вопрос» удивила его, ибо «она с необыкновенным жаром выхваляет г. Тургенева и в особенности его пресловутый роман «Отцы и дети». Далее он замечает, что «эта статья с честью и прилично для себя могла бы занимать место в «Эпохе», в «Отечественных записках», даже, если хотите, в самом «Русском вестнике»...»[1].

«Посторонний сатирик» обращается с вопросом к редакции «Русского слова», согласна ли она со статьей «Нерешенный вопрос», разделяет ли она суждения автора статьи.

Считается, что ответом на этот вопрос «Постороннего сатирика» была редакционная статья «Ответ «Современнику», напечатанная в десятом номере «Русского слова» за 1864 год. В статье говорилось: «Мы вовсе не думаем и не желаем полемизировать с «Современником»... потому что сознаем всю бесполезность полемики, особенно в такое время, когда она, кроме удовольствия нашему журнальному стаду, не может оказать существенных услуг литературе»[2].

Статья «Объяснение» и являлась первоначальным ответом «Современнику», который, по мнению Писарева, должен был появиться в октябрьской книжке «Русского слова» как редакционная статья.

Эта небольшая по объему «заметка», как ее именует Писарев, дает очень важный и интересный материал для понимания сложных взаимоотношений между «Русским словом» и «Современником» в 1864—1865 годах. Статья показывает, что идейный руководитель журнала «Русское слово» Д. И. Писарев с глубоким уважением относился «к добросовестным и умным деятелям «Современника», проводил резкую грань между органами революционной демократии и «журнальным стадом» и подчеркивал, что «Современник» и «Русское слово» стоят на общих идейных позициях. Писарев не отказывается от полемики, если она имеет «одну... цель — выяснение тех идей, которые одинаково дороги «Современнику» и «Русскому слову». Заметка дает материал для более глубокого понимания статьи «Реалисты» и соотношения ее со статьей

---

[1] Современник, 1864, № 10.

[2] Русское слово, 1864, № 10, отд. II, с. 103—104.

«Базаров», написанной в 1862 году. «Объяснение» помогает также выяснить, кто был автором анонимного «Ответа «Современнику» в десятом номере «Русского слова» за 1864 год[1].

Вторая статья (без названия) представляет собой острый полемический фельетон, направленный в адрес Каткова и его газеты «Московские ведомости». Темой и сюжетом для этого фельетона, написанного осенью 1865 года, послужила полемика «Московских ведомостей» с газетой Краевского «Голос», субсидируемой министерством народного просвещения. Катков в ряде номеров своей газеты намекнул на рептильность «Голоса». В № 233 (от 24 августа 1865 года) Краевский разразился громким опровержением. Ответом на него и явилась статья Каткова, на материале которой Писарев построил свой блестящий фельетон.

Характер и той и другой статьи объясняет нам, почему Писарев отказался от попытки переслать их обычным путем и прибегнул к помощи матери, которая тайно вынесла рукописи из крепости.

И «Объяснение», и фельетон по адресу Каткова

---

[1] В статье «Ответ «Современнику» обращает на себя внимание то обстоятельство, что здесь имеются выражения, тождественные или очень близкие некоторым формулировкам заметки «Объяснение». Приведем несколько примеров.

Объяснение	Ответ «Современнику»
«Статья «Нерешенный вопрос» развивает подробно те мысли, которые были набросаны два года тому назад в статье г. Писарева «Базаров»...»	«...статью «Нерешенный вопрос» мы считаем только дальнейшим и логическим развитием своего прежнего мнения о Базарове».
«Редакция «Русского слова» никогда не отказывалась от солидарности с мыслями статьи «Базаров».	«...зачем нашему журналу отказываться от солидарности с этой статьей?.. (статьей «Базаров». — *Ф. К.*)».
«Пусть страдают иногда личные самолюбия, но пусть выясняются наши идеи».	«Русское слово»... не решится пожертвовать... идеей в пользу какого бы то ни было личного самолюбия».

«Объяснение» именует всю реакционную и либеральную журналистику «журнальным стадом», «Ответ «Современнику» — также.

Очевидно, что «Ответ «Современнику» написан человеком, который хорошо знал статью «Объяснение» и даже заимствовал оттуда некоторые мысли и обороты речи.

Если учесть, что заметка «Объяснение» была адресована не кому иному, как лично Г. Е. Благосветлову, то можно думать, что автором «Ответа «Современнику» был, по-видимому, сам редактор «Русского слова» Г. Е. Благосветлов.

являются полемическими статьями, представляющими собой оперативный отклик Писарева на факты журнальной борьбы эпохи.

Для того чтобы статьи Писарева могли попасть в журнал «законным» порядком, требовалось обычно месяца полтора. Статьи поступали к коменданту крепости, он препровождал их петербургскому генерал-губернатору, оттуда они направлялись для просмотра в Сенат, а затем проделывали обратный путь в крепость, откуда пересылались в редакцию «Русского слова».

Вполне понятно, что во избежание этой длинной процедуры, дорожа быстротой отклика в полемической борьбе, Писарев и передал эти статьи в редакцию в форме писем к Благосветлову через навещавшую его мать.

Хотя ни та, ни другая статьи Писарева по неизвестным пока причинам не были напечатаны в журнале «Русское слово», они заслуживают включения в научный оборот, и публикация их представляется вполне оправданной.

ОБЪЯСНЕНИЕ

I

Статья «Нерешенный вопрос», несмотря на свое скромное заглавие, ставит и решает три вопроса:

1) Существуют ли люди, подобные Базарову?

2) Полезны ли они для общества?

3) В чем заключается приносимая ими польза?

На первые два вопроса статья отвечает *да*. Третий вопрос она разбирает подробно.

Журналы «Русский вестник», «Отечественные записки», «Время» и «Библиотека для чтения» на первый вопрос отвечали *да*, на второй – *нет*. Вследствие этого третий вопрос не мог даже быть поставлен. «Современник» на первый вопрос отвечал *нет*.

Вследствие этого второй и третий вопросы не могли быть поставлены.

Каждый мыслящий читатель понимает, что весь интерес дела сосредоточивается именно в третьем вопросе. «Современник» и журнальное стадо различными путями пришли к одному результату. А «Русское слово» проложило себе совершенно самостоятельную дорогу, то есть поставило и решило тот третий вопрос, который игнорируется до сих пор, с одной стороны, журнальным стадом, а с другой стороны – «Современником».

Статья «Нерешенный вопрос» развивает подробно те мысли, которые были набросаны два года тому назад в статье г. Писарева «Базаров», помещенной в мартовской книжке нашего журнала за 1862 год. Редакция «Русского слова» никогда не отказывалась от солидарности с мыслями статьи «Базаров». На этом основании она не находит ни надобности, ни возможности порицать печатно статью того же автора «Нерешенный вопрос».

Примет ли «Современник» эту заметку за объявление войны — этого мы не знаем. Мы вовсе не желаем и не боимся полемики в том смысле, какой обыкновенно придается этому слову в нашей теперешней журналистике. Но если бы «Современник» счел удобным вступить с нами в спокойное и дельное рассуждение о затронутых нами вопросах, то мы бы с удовольствием поддержали с ним разговор, имея в виду одну общую цель — выяснение тех идей, которые одинаково дороги «Современнику» и «Русскому слову». Такой разговор был бы очень интересен для мыслящих читателей обоих журналов и очень поучителен для нашей журналистики, привыкшей смотреть на всякую литературную полемику как на обильный источник грубой брани и бесплодных скандалов.

Мы никогда не скрывали нашего уважения к добросовестным и умным деятелям «Современника», но когда «Современник», по нашему мнению, ошибался, мы тотчас указывали ему и публике его ошибки. Мы очень будем благодарны «Современнику», если он будет поступать с нами точно таким же образом. Пусть страдают иногда личные самолюбия, но пусть выясняются наши идеи a bon entender, salut![1]

Евлампиев![2] Эту заметку, по моему мнению, следует отпечатать в октябрьской книжке. Но это только мое *мнение*, а ничуть не *требование*. Я вовсе *не хочу* насиловать твое решение и разгонять сотрудников «Русского слова»[3]. Поэтому объявляю тебе заранее,

[1] Хорошему слушателю — привет! *(фр.)* (Здесь и далее в публикации примечания мои. — *Ф. К.*)

[2] Григорий Евлампиевич Благосветлов.

[3] Намек на Д. Д. Минаева, сотрудника редакции журнала «Русское слово», где он с 1861 до августа 1864 года включительно вел отдел «Дневник Темного человека» и выступал с критическими статьями и рецензиями. В статье «Постороннего сатирика» «Вопрос, обращенный к «Русскому слову» Антонович предлагал Минаеву, как составителю одного из отделов «Русского слова», ответить, как он относится к статье «Нерешенный вопрос».

В письме к Н. А. Некрасову от 25 августа 1864 года сотрудник «Современника» А. Головачев сообщал, что посылает находившемуся в отлучке Некрасову стихотворения Минаева, и спрашивал Некрасова: «Можно ли их печатать и сколько за них платить?.. Он (Минаев. — *Ф. К.*) разошелся с «Русским словом» и теперь бедствует». (Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Н. А. Некрасову. М., 1916, с. 96.) И действительно, начиная с № 9 «Русского слова» (того самого номера, где появилось начало

что, как бы ты не поступил, я ни в коем случае не выражу и даже не почувствую ни малейшего неудовольствия[1]. Обнимаю тебя.

статьи Писарева «Нерешенный вопрос»), произведения Д. Минаева перестают появляться в «Русском слове».

Причиной разрыва послужила проводившаяся в «Дневнике Темного человека» на протяжении всего 1863 года мысль о том, что роман «Отцы и дети» Тургенева и образ Базарова — клевета на молодое поколение. Этим и объясняется, что «Посторонний сатирик» особо спрашивает Минаева о его отношении к статье «Нерешенный вопрос».

Свой ответ Антоновичу Минаев дал уже после ухода из «Русского слова» на страницах «Современника» (1865, № 1).

«В продолжение четырех лет я был постоянным сотрудником журнала «Русское слово», приняв на себя редакцию отдела под рубрикой «Дневник Темного человека». В этом отделе я был поставлен в совершенно независимое положение, хотя между ним и прочими отделами журнала не происходило до последнего времени слишком резкой дисгармонии. Только после появления «Нерешенного вопроса» г. Посторонний сатирик заметил, что я в своем «дневнике» относился к роману «Отцы и дети», хотя и мимоходом, но совершенно иначе, нежели автор «Нерешенного вопроса». Действительно, я никогда не доходил до обожания базаровского типа в том виде, как он представляется в романе г. Тургенева, — да и в самом романе «Отцы и дети» я видел только пролог, прелюдию к эпическим творениям г. г. Писемского, Клюшникова и Стебницкого. Этим мнением о романе г. Тургенева и сочиненном им базаровском типе характеризуется мой взгляд на статью «Нерешенный вопрос» и то полнейшее несочувствие, с которым я отношусь к ней.

Развивать здесь более подробно мой взгляд на эту статью я считаю лишним уже потому, что мнение мое как постоянного сотрудника «Русского слова» уже не имеет теперь никакого значения, так как благодаря случайному совпадению фактов именно с этой самой книжки (сентябрь, № 9), где появился «Нерешенный вопрос», *я отказался от всякого участия в составлении юмористического листка в «Русском слове»*...

Дмитрий Минаев».

Приписка Писарева к статье «Объяснение» («Эту заметку, по моему мнению, следует отпечатать в октябрьской книжке» и т. д. ...) показывает, что отказ Минаева от сотрудничества в «Русском слове» в сентябре 1864 года был вовсе не «случайным совпадением фактов», но протестом Минаева против помещения в журнале статьи Писарева «Нерешенный вопрос». Официальное заявление редакции «Русского слова» о том, что она полностью согласна со статьей «Нерешенный вопрос», делало, очевидно, невозможным продолжение сотрудничества Минаева в «Русском слове».

В свете вышесказанного следует признать ошибочной версию о том, что Минаев разошелся с «Русским словом» из-за статьи Писарева «Пушкин и Белинский» (см.: Буренин В. Критические очерки. — Новое время, 1889, № 4803; Державин Н. А. Король рифмы (Д. Д. Минаев и его литературная деятельность). — Исторический вестник, 1914, № 7 и др.).

[1] Как мы уже говорили, Г. Е. Благосветлов не напечатал «Объяснения», присланного Писаревым, и предпочел поместить составленный, очевидно, им самим «Ответ «Современнику», где

Прошу передать мое почтение Лизавете Александровне[1] и В. А. Зайцеву.

Д. И. Писарев[2].

II

Беседуя с «Голосом» о том, что «Голос» получает субсидию, «Московские ведомости» (№ 187, 26 августа) отдают должную дань уважения своему непоколебимому мужеству и своему многострадальному подвижничеству. «Решившись на публичную деятельность,— говорят они,— мы не отступаем ни перед какою враждой; наши мнения могут быть оспариваемы, наше направление может быть порицаемо; нас не пугает никакая клевета и злословие. Едва ли чье-либо имя подвергалось где-нибудь такому злословию, какому подвергалось наше; мы настолько имеем чувства собственного достоинства, что не можем смущаться этим, но, признаемся, мы не желали бы, чтобы направления, противные и враждебные нашему, получали ход через правительственную поддержку и чтобы мы подвергались поруганию за счет русского государственного казначейства». Этот величественный стон «Московских ведомостей», это краткое повествование о выдержанных страданиях, эта мужественная готовность выносить удары судьбы и людей, но только не русского государственного казначейства — поражают меня так глубоко, что я считаю своей священной обязанностью обратиться немедленно ко всем поэтам русской земли, известным и неизвестным, с убедительной просьбой превратить вышеописанные слова «Московских ведомостей» в героическую поэму, заключающую в себе значительное количество песен или рапсодий. Будущая поэма под заглавием «Катковиада» должна быть написана по следующему плану, который дали сами же «Московские ведомости».

Рапсодия 1-я. «Московские ведомости» решаются на публичную деятельность.

Рапсодия 2-я. «Московские ведомости» не отступают ни перед какою враждой.

Рапсодия 3-я. Мнения «Московских ведомостей» оспариваются.

Рапсодия 4-я. «Московские ведомости» страдают.

вопрос о полемике с «Современником» решается в несколько ином плане. Все остальные вопросы (о единстве направления «Русского слова» и «Современника», о солидарности редакции с идеями статьи «Нерешенный вопрос» и др.) в «Ответе «Современнику» решаются так же, как и в «Объяснении» Д. И. Писарева.

[1] Елизавета Александровна Благосветлова — жена Г. Е. Благосветлова.

[2] См.: Русское обозрение, 1893, № 10, с. 863—865.

Рапсодия 5-я. Направление «Московских ведомостей» порицается.

Рапсодия 6-я. «Московские ведомости» страдают.

Рапсодия 8-я. «Московские ведомости» не пугаются ни клеветы, ни злословия.

Рапсодия 9-я. «Московские ведомости» ни на кого не клевещут и никогда не злословят.

Рапсодия 10-я. Имя «Московских ведомостей» подвергается такому злословию, какому едва-едва ли где-нибудь подвергалось чьелибо имя.

Рапсодия 11-я. «Московские ведомости» ничьего имени не подвергают никакому злословию.

Рапсодия 12-я. «Московские ведомости» имеют чувство собственного достоинства *настолько,* то есть не очень много.

Рапсодия 13-я. «Московские ведомости» не могут смущаться *этим,* то есть злословием.

Рапсодия 14-я. «Московские ведомости» не смущаются.

Рапсодия 15-я. Направления, противные и враждебные «Московским ведомостям», получают ход через правительственную поддержку.

Рапсодия 16-я. «Московские ведомости» страдают.

Рапсодия 17-я. «Московские ведомости» не желают этого.

Рапсодия 18-я. «Московские ведомости» признаются, что они этого не желали бы.

Рапсодия 19-я. «Московских ведомостей» никто не слушает.

Рапсодия 20-я. «Московские ведомости» страдают.

Рапсодия 21-я. «Московские ведомости» подвергаются поруганию насчет русского государственного казначейства.

Рапсодия 22-я. «Московские ведомости» никого не подвергают поруганию.

Рапсодия 23-я. «Московские ведомости» страдают.

Рапсодия 24-я. «Московские ведомости» не желают этого, то есть подвергаться поруганию насчет русского государственного казначейства.

Рапсодия 25-я. «Московские ведомости» признаются, что они этого не желали бы.

Рапсодия 26-я. Русское государственное казначейство на признание «Московских ведомостей» не обращает никакого внимания.

Рапсодия 27-я. «Московские ведомости» оплакивают заблуждения русского государственного казначейства.

Рапсодия 28-я. Неблагодарные соотечественники смеются над «Московскими ведомостями».

Рапсодия 29-я. «Московские ведомости» страдают.

Рапсодия 30-я. Неблагодарные соотечественники продолжают смеяться.

Рапсодия 31-я. «Московские ведомости» решают покинуть публичную деятельность[1].

Рапсодия 32-я. Неблагодарные соотечественники их не удерживают.

Рапсодия 33-я. «Московские ведомости» удаляются с чувством собственного достоинства, которого они имеют настолько, то есть не очень много.

Рапсодия 34-я. Неблагодарные соотечественники не замечают их удаления.

Рапсодия 35-я. «Московские ведомости» страдают за сценою.

Рапсодия 36-я. Русское государственное казначейство коснеет в своих заблуждениях.

Рапсодия 37-я. «Московские ведомости» предаются забвению.

Спрашиваю я вас, милостивые государыни и господа, разве мы не заткнули бы за пояс старика Гомера, и тем более Виргилия и Хераскова, если бы у нас нашелся поэт, способный привести в исполнение предлагаемый мною план? Но кто же, кто возьмется за это великое предприятие,— и кто достоин сделаться его бессмертным исполнителем? Есть у нас, конечно, певец «Коляски» — г. Майков;[2] есть у нас автор «Заметки» — князь Вяземский;[3] есть у нас сочинитель некоторого четверостишия — г. Тютчев;[4] есть

---

[1] Намек на демонстративное намерение Каткова прекратить издание «Московских ведомостей» в начале 1865 года в связи с распоряжением министра внутренних дел усилить цензурный надзор над «Московскими ведомостями». В результате этой демонстрации Катков получил такие цензурные облегчения, каких не имело ни одно частное периодическое издание того времени.

[2] Намек на стихотворение Аполлона Майкова «Коляска», где он угодническ и прославляет Николая I.

Это и другие верноподданнические стихотворения Майкова 50-х годов вызвали широкое возмущение. Майков был прозван Аполлоном Коляскиным и высмеян в ряде эпиграмм.

[3] Князь П. А. Вяземский, в молодости — друг Пушкина и многих декабристов, соратник Н. А. Полевого; в 60-е годы — консервативный публицист и поэт. «Заметки» П. Вяземского — стихотворения, направленные против демократии 60-х годов.

[4] Речь идет, по-видимому, о четверостишии Тютчева «Москвичам»:

Куда себя морочите вы грубо!
Какой у вас с Россиею разлад!
Куда вам в члены английских палат?
Вы просто члены английского клуба.

Эти строки были написаны Тютчевым по поводу адреса царю, преподнесенного ему московским дворянством 11 января 1865 года. В нем выражалась просьба даровать России представительное правление.

у нас автор «Разлада» — г. Полонский;[1] есть у нас даже г. Алмазов, создатель той идеи, что нигилист уважает корову как дальнюю родственницу;[2] но каждому из них в отдельности «Катковиада» все-таки приходится не по силам.

Плану моему, по всей вероятности, суждено остаться невыполненным, но даже и голый остов предполагаемой героической поэмы достаточно свидетельствует о том, как велик и кроток г. Катков, как мелки и злобны враги его, как продолжительны и тягостны его прометеевские страдания и как сильно *заблуждается русское государственное казначейство,* подвергая *на свой счет* жестокому поруганию то, что так покорно и настоятельно выпрашивает себе поощрения и прославления.

При сем удобном случае я напомню читателю, что Чичиков, в разговоре с генералом Бетрищевым, уже давно описал самыми яркими красками, каким образом «дальние родственники нигилистов» просят себе поощрения. «Высунет,— говорил Чичиков,— морду и мычит: на, мол, погладь, погладь!»[3] Надо иметь в груди каменное сердце, чтобы устоять против столь убедительного и трогательного приглашения. Отчего же в самом деле и не погладить? Нам от этого потери никакой не будет, а «дальняя родственница» долго будет чувствовать себя гордою, веселою и счастливою, ибо корове свойственно наслаждаться коровьим благополучием и испытывать столь же коровьи страдания и волнения.

Нигилист же, имея в виду свое «дальнее родство», должен относиться к коровьему миросозерцанию с невозмутимой кроткостью и с благодушной родственной терпимостью[4].

1959

---

[1] Полонский Я. Разлад. Сцены из последнего польского восстания (Эпоха, 1864, № 4) — реакционное произведение в духе Каткова, направленное против польского восстания 1863 года.

[2] Речь идет об антинигилистическом стихотворении Б. Алмазова «Бескорыстный реформатор» (Русский вестник, 1863, № 6; псевдоним Адамантов). В нем говорится о нигилисте, который просвещает девушку в том направлении, что

...люди в старинные дни
Сперва обезьянами были
И ели легюмы одни...
Что, следственно, стыдно гордиться
И нос подымать пред зверьми,
А надо открыть им объятья:
Все птицы, все даже скоты
По крови нам меньшие братья...

[3] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 42.

[4] Русское обозрение, 1893, № 12, с. 932—935.

ОТСТАИВАЯ ИСТОРИЗМ

ВЕЧНО ЖИВЫЕ ЗАВЕТЫ

Наследие революционных демократов и проблемы методологии современной критики

1

В чем заключена тайна того феноменального в истории мировой культуры явления, которое именуется русской революционно-демократической критикой? Что делает ее явлением не только глубоко самобытным, но и непреходящим, вечно живым?

Очевидная и яркая талантливость ее творцов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева?.. Вне всякого сомнения. Но мало ли в истории литературы талантливых критиков?!

Оригинальный литературный слог?.. Конечно же. Манеру Белинского не спутаешь с манерой Чернышевского, а Добролюбова по нескольким строкам отличишь от Писарева. Но мало ли умелых и тонких стилистов подвизалось (и подвизается) на ниве отечественной словесности?

Отменный литературный вкус?.. И это самоочевидно. Однако и помимо них немало найдется людей, наделенных острым и точным эстетическим слухом, высокой литературной требовательностью.

Так что же тогда?

В поисках ответа на этот вопрос вслушаемся, еще раз вдумаемся в то несколько необычное, даже парадоксальное определение литературной критики, которое давал Писарев. «Постоянное и последовательное проведение того или другого миросозерцания в оценке всех текущих явлений жизни, науки и литературы называются в наше время критикою» [1], — утверждал он,

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. 3, с. 278—279.

вновь и вновь подчеркивая ту мысль, что критик «вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное миросозерцание, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний» [1].

Такое понимание целей и задач литературной критики росло из той традиции, основоположником которой был Белинский. В своей «Речи о критике» он писал, что искусство и критика вышли «из одного общего духа времени. То и другое — равно сознание эпохи; но критика есть сознание философское, а искусство — сознание непосредственное» [2]. Всей своей литературной деятельностью Белинский, так же как Чернышевский или Добролюбов, подтверждал тот факт, что критика есть прежде всего последовательное проведение в жизнь определенного гражданского миросозерцания в оценке всех текущих явлений жизни и литературы.

Иногда суть их наследия сводят к так называемой «публицистичности» критики, представляя дело так, будто традицию русских революционных демократов продолжает в современности некая «публицистическая» критика, противопоставляемая критике «эстетической». При этом «эстетическая» и «публицистическая» критика соотносятся как некая «белая» и «черная» кость, с подчеркнутым пиететом по отношению к одной и плохо скрываемым пренебрежением к другой [3].

Взгляд этот в свое время высказал, в частности, И. Золотусский в статье «Уважение к преданию» («Комсомольская правда», 1974, 18 января), которая позже была опубликована им «вместо предисловия» в сборнике статей «Час выбора». Он писал: «Есть критика публицистическая, или, говоря современным языком, социологическая. Ее объект — общественная сто-

---

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. 3, с. 433.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VI. М., 1956, с. 271.

[3] Вспомним между тем, как характеризовал «эстетическую критику» Белинский: «...теперь исключительно эстетическая критика, которая хочет иметь дело только с поэтом и его произведением, не обращая внимания на место и время, где и когда писал поэт, на обстоятельства, подготовившие его к поэтическому поприщу и имевшие влияние на его поэтическую деятельность, потеряла теперь всякий кредит, сделалась невозможною» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 305—306).

рона литературы. Критик-публицист работает, прежде всего, на смысле, на содержании. Он извлекает их, часто минуя форму. Другой пишет критику эстетическую, для него все заключено в тексте» [1].

Они разнятся, говорит И. Золотусский, уже в выборе предмета исследования. «Как критик эстетический безошибочно чувствует полноценность текста, так социолог точно знает, о чем в данную минуту нужно писать. Он безошибочен в определении нужд момента» [2]. Из этого логически следует тот вывод, что если для эстетического критика «бедный текст, неполноценный текст не может дать ему достойной пищи», то для критика-публициста качество текста вроде бы и не имеет значения. Между тем только «полноценный текст может выдержать нагрузку теории».

«Сейчас много говорится о тексте. Это знамение,— продолжает мысль критик.— Текст не только первоматерия литературы, он судья дара критика. Представить себе искусство анализа без искусства чтения текста я не могу.

Вульгарная критика игнорирует работу с текстом, она слепа и глуха к нему» [3].

При внимательном чтении текста И. Золотусского нетрудно обнаружить логический срыв, подмену понятий, которые допустил здесь критик. С одной стороны, ему кажется, что он ведет речь о критике публицистической, социологической, а в действительности (к этому выводу он пришел и сам в конце своего рассуждения) имеет в виду критику вульгарную, вульгарно-социологическую. С другой стороны, он говорит о критике эстетической, а на самом деле ведет речь о критике эстетской. Ни та, ни другая «дурная крайность» к традициям русской революционно-демократической критики отношения не имеет.

Как соглашается и сам же И. Золотусский, для русской демократической критики был характерен универсализм, то есть единство «во многих лицах», одинаково мощные как общественное, так и эстетическое начала.

Разве русская классическая критика не была одновременно яркой и сильной социологией, настолько

---

[1] Золотусский И. Час выбора. М., 1976, с. 5.
[2] Там же, с. 6.
[3] Там же, с. 7.

глубокой и целостной, что теперь для ее постижения требуется разделение труда: наследие русской классической критики постигают сегодня и история литературы, и история журналистики, и история философии, и история политических и экономических наук?..

И вместе с тем русская классическая критика была высочайшей как теоретической, так и практической эстетикой, «движущей эстетикой» (Белинский), обладавшей непревзойденным искусством анализа литературного текста, абсолютным литературно-эстетическим слухом, умением бережно и точно утверждать специфику литературы как искусства, поверять алгеброй гармонию...

С одной стороны, «философское сознание эпохи», а с другой — «движущая эстетика» — эти два наиважнейших качества критики, по определению Белинского, как два могучих крыла, высоко подняли русскую революционно-демократическую критику.

Однако «тип критика-универсала», по заключению И. Золотусского, умер. Отсюда специализация критики, ее рассредоточение. Рассредоточение по двум указанным И. Золотусским направлениям: социология без эстетики и эстетика без социологии. Причем если первое, что само собой разумеется, плохо, то второрое, оказывается, даже и хорошо.

Настолько хорошо, что критика, именующая себя, ощущающая себя «эстетической», сегодня как бы в походе, как бы в наступлении, и именно в ней сегодня (здесь И. Золотусский также прав) как никогда много «говорится о тексте». «Текст» — это и в самом деле «знамение» для этой критики, ее молитва, начало и конец всего, исчерпывающая забота и обязанность. Разговоры о «тексте» стали модой ничуть не в меньшей степени, чем ссылки на М. Бахтина.

Но заметим: в той русской критике, которую И. Золотусский называет «классической», мы не встретим и намека на некую особую увлеченность проблемой «текста» — Белинского или Добролюбова волновали другие заботы. Это не значит, что они «игнорировали» работу с текстом, были «слепы» и «глухи» к нему, — просто искусный анализ литературного текста был для них тем необходимым условием, без которого нет и не может быть литературной критики,

и был подчинен иным, более высоким, в конечном итоге общественным задачам. Точно так же, как они не обусловливали специально «достойность» «литературной пищи», эстетическую доброкачественность материала, отбираемого ими для литературно-эстетического анализа.

Ведь самая суть критики в том и заключается, чтобы определять это качество, активно утверждать его в слове, противостоять дурной литературе и уж конечно же не пытаться строить на шаткой ее основе какие-то там «теории». Зачем же эстетическую щепетильность оставлять только за так называемой «эстетической» критикой?

Всякий хороший критик одновременно и социолог и эстетик, а следовательно, он никогда не возьмется строить на плохой книге какую бы то ни было социальную или жизненную концепцию. Его задача в данном случае состоит в другом — объяснить как читателю, так по возможности и писателю, чем и почему данная книга плоха.

Одной из изначальных, обязательных для каждого критика, если он хочет оставаться критиком, заповедей, сформулированных еще Белинским, является следующая: «...чтобы быть выражением жизни, поэзия прежде всего должна быть поэзиею» [1], «искусство прежде всего должно быть искусством» [2].

Поэтому естественно и для критики начинать прежде всего с текста, причем доброкачественного в эстетическом отношении текста, равно как естественно и даже обязательно другое: «преследование пустых произведений и, сколько возможно, обличение внутренней ничтожности и разладицы произведений с ложным содержанием» [3].

К сожалению, современная критика наша, скажем прямо, крайне дурно выполняет эту свою обязанность — «преследование пустых произведений», в том числе и та критика, которая именует себя «эстетической», крайне редко опускаясь до занятий, которые И. Золотусский называет «чисткой авгиевых конюшен вкуса». Но это — особый разговор.

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 319.
[2] Там же, т. X, с. 304.
[3] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. II, с. 262.

А пока с полной и безоговорочной отчетливостью сформулируем то, в чем мы безусловно согласны с И. Золотусским, — однако применительно не к некой «эстетической», но к любой подлинной, настоящей литературной критике: нет и не может быть критики без внимания к литературному тексту, без внимания к качеству этого текста, без искусства анализировать этот текст.

2

Тогда в чем же наши расхождения? Думается, в том, что для одних, а именно для сторонников «эстетической» критики, по крайней мере в их теоретических утверждениях, текст — это начало и итог, исчерпывающее содержание критики.

Для других текст — начало, лишь один, пусть и из наиважнейших, компонент литературно-критического анализа. Для литературной критики ничуть не меньшее значение имеет не только текст, но и контекст, именуемый процессом жизни и литературы, ибо критика не ограничивается анализом лишь литературного произведения как застывшей данности, но исследует его в живом контексте литературного развития, «непременно в связи с тою жизнью, среди которой и для которой оно возникло» [1], исследует, осмысляет, а в чем-то и направляет этот живой, полнокровный, пульсирующий литературный процесс.

Столь явственно наметившаяся в последнее время тенденция к абсолютизации текста, самоценность закрытого, чисто литературного его анализа, вызывает сомнение вовсе не из-за нашего стремления «игнорировать» работу с текстом, — мы целиком и полностью за такую работу, но только с учетом реального места этой работы в целостной структуре критики. Иначе критика на этом новомодном пути просто-напросто перестанет быть критикой, по крайней мере, в том ее понимании, которое сформировано нашей отечественной историко-культурной традицией.

В абсолютизации текста как исчерпывающего предмета литературной критики слышны отзвуки зарубежной «моды» — так называемой «новой критики», дру-

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. 3, с. 433.

гих литературоведческих «новаций», включая увлечение структурализмом, смысл которых — в деидеологизации критики, превращении ее из орудия общественной борьбы, чем всегда была критика, в особенности для нашей литературы, в прислужницу некоего новоявленного «чистого искусства». Это — мода, тщетно пытающаяся утвердить себя на не подходящей для нее почве нашей отечественной, всегда социально активной, высокогражданственной культуры.

То, что мода эта не приживется у нас, подтверждает сборник «Час выбора» того же И. Золотусского. Статьи, собранные в этом сборнике, посвященные современности («Час выбора» и «Мозаика») или XIX веку («Перечитывая «Метель», «Игра в реальность» и др.), наглядно демонстрируют, сколь сложна и неоднозначна структура нашей критики, до какой степени невозможно свести ее только к одному компоненту: анализу текста.

Да и анализ текста, по справедливой мысли И. Золотусского, невозможно вести в узком и плоском, чисто литературном ряду. «...Сколько нужно знать, чтобы прочесть его! — восклицает критик. — Надо знать и письма, и высказывания, и воспоминания современников, и эпоху, и историю, и теорию литературы. Сколько надо вобрать в себя, чтоб без страха подойти к малому клочку стихов или прозы!» [1]

А знать эпоху и историю — это и означает быть социологом, политиком, философом, историком, и даже политэкономом, кем и был, к примеру, Чернышевский, причем быть на передовых рубежах развития этих наук, а знать историю литературы — значит быть погруженным в стихию и закономерности литературного процесса, прошлого или настоящего, уметь подойти к самому «малому клочку стихов или прозы» с учетом всей сложности этих закономерностей общего литературного развития.

Не камерность, не закрытость, не замкнутость на строго ограниченной плоскости литературного текста, но соотношение этого текста с окружающей жизнью — жизнью литературы и общества — сообщают критике широту и полет на пути к истине, помогают приходить к тем выводам, к которым, например, пришел И. Золотусский в статье «Игра в реальность», где он

[1] Золотусский И. Час выбора, с. 8.

вступил в спор о Гоголе с некоторыми зарубежными толкователями его творчества.

«Западные же авторы, к сожалению, часто смотрят на Гоголя «со стороны»,— пишет он здесь.— Относясь при этом с уважением к творчеству великого русского писателя, делая свою работу добросовестно... они все же склонны рассматривать Гоголя в плане общехудожественном, надисторическом, вневременном, забывая, что его великие образы, его, выражаясь языком Достоевского, «фантастический реализм» есть порождение великой и конкретной русской действительности, лишь преобразившейся в них, лишь воплотившейся в них велико» [1].

Нетрудно заметить, что методология авторской мысли в данной статье, ведущая нас к этому, в общем-то, со времен Белинского и Чернышевского очевидному выводу, есть методология классическая, методология «реальной критики», каковая и пронизывает, в сущности говоря, принципы анализа литературного процесса в лучших работах большинства наших критиков. Это та самая методология, которая во главу угла литературно-критического анализа ставит правду жизни в литературе, как основу художественности, которая проверяет литературу реальной действительностью, которая служит этой действительности, родной литературе и своему народу и которая никак не удовлетворяется холодными формалистическими штудиями вырванного из живого тела литературы и жизни, а потому мертвого литературного текста.

Однозначности определения критики как анализа литературного текста (и не более того) эта методология, в традициях русской классической критики, противопоставляет соотношение: литературный текст — литературный и общественный контекст — личность критика. Такое соотношение, где искусство и глубина анализа литературного текста неотрывны от искусства и глубины анализа литературного и общественного контекста, то есть текущего, современного, живого, противоречивого литературного процесса жизни действительной, такая органическая связь есть производное личности критика, последовательное и полное выражение его миросозерцания, его индивидуальности,

[1] Золотусский И. Час выбора, с. 244.

его образа мыслей, всей совокупности его человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний.

Только при этом условии критика будет не только наукой, но и литературой, а именно в этом соединении, казалось бы, несоединяемого, того, что можно определить как лед и пламень, и коренится тайна критики, по крайней мере русской классической критики, владычицы умов XIX века, дело которой мы сегодня, в силу наших возможностей и умения, продолжаем и наследуем.

Доказательству этой мысли посвящена, в частности, глубокая и страстная книга старейшего нашего литературоведа и критика Б. Бурсова «Критика как литература». Осмысляя здесь природу нашего ремесла, то есть литературной критики, он исходит, как из обязательного постулата, из принципа научности критики, подчеркнув, что еще «по определению Пушкина, критика — это наука...» [1].

Однако этого очень важного, необходимого качества для критики еще недостаточно, ибо «только той критике, — утверждает исследователь, — которая одновременно является и литературой, по силам постигнуть литературный процесс, при этом постигая сущность личности каждого писателя в отдельности» [2].

Для меня нет сомнения в том, что литературная критика принадлежит к общей науке о литературе, являясь частью триады: теория литературы, история литературы, литературная критика. Основательность, научность методологии обязательны для критики ничуть не меньше, чем для любого другого вида литературоведения.

Однако нет сомнения и в другом: литературная критика одновременно является видом литературы, художественной литературы, при всей своей специфике равнозначным любому другому виду или жанру художественной словесности. А потому обладающим тайной эмоционального, чувственного воздействия на публику. Точнее, критика не может не быть художественной публицистикой, пропущенной через «душу живу» (Белинский) автора, включающей в себя реалии не только «чистой» литературы, но и жизни действитель-

---

[1] Бурсов Б. И. Критика как литература. Л., 1976, с. 10.
[2] Там же, с. 7.

ной, несущей на себе яркую, художническую печать личности творца.

Во всяком случае, такова наша, отечественная, национальная традиция, быть может вовсе не обязательная для иных литератур мира, где литературная критика нередко живет лишь как жанр «чистой» науки, литературоведения и даже лингвистики. Именно поэтому нашу критику, если это подлинная критика, невозможно разорвать на «публицистическую» и «эстетическую». Разве критика того же И. Золотусского, будучи, как он считает, «эстетической», не является в лучших своих образцах и художественной публицистикой? И разве критика, скажем, Александра Макарова, наполненная публицистическим пафосом, делающим ее важной и интересной не только для узкого круга специалистов, но и для самых широких кругов, не отмечена высоким вкусом, высокой эстетической мерой и тонким искусством анализа литературного текста?!

Нет спору, и здесь я соглашусь с Ю. Суровцевым [1], в свое время уже возражавшим против прямолинейного деления критики на «эстетическую» и «публицистическую»: дело не в противопоставлениях, но в различных индивидуальностях в критике, различных склонностях и преимуществе интереса к социологическим или эстетическим наблюдениям в литературе.

И не надо утверждать один тип критики за счет другого, заранее как бы программируя профессиональную инвалидность в виде эстетической глухоты у критика-социолога, социальной безграмотности — у критика-эстета.

При разнице творческих интересов, акцентов и индивидуальностей существует и некое единство: современная аналитическая критика, которая должна быть добротно вооружена как социально, так и эстетически.

Если же этого нет, если критик хромает на одну или сразу на обе ноги, правильнее, видимо, говорить просто-напросто о профессиональной незрелости или бесталанности критика. Тогда-то критик, отбирая текст для анализа, и руководствуется лишь «нуждами момента», игнорируя качество этого текста, не умея

---

[1] См.: Суровцев Ю. О социологическом изучении художественной формы. — В сб.: Методологические проблемы современной литературной критики. М., 1976, с. 133.

его анализировать. Или же – другое проявление незрелости – замыкается лишь на анализе текста, вырванного из контекста жизни и литературы, анализирует его в узколитературном ряду. Примеров того и другого – как эстетической, так и социальной, общественной глухоты и незрелости – в критике сегодня хоть отбавляй.

Однако если глухота эстетическая периодически подвергается у нас общественному суду, то глухота социальная, невоспитанность мысли общественной подвергается сегодня такому суду куда реже.

Некоторое время тому назад эстетическая глухота, в силу рецидивов вульгарной социологии в критике, представляла, пожалуй, главную опасность, сегодня же, на мое личное ощущение, такой опасностью стала слабость, а то и полная атрофия социологической мускулатуры определенной части нашей критики, ослабление внимания к социальным началам в литературе, что является затянувшейся, долгой реакцией на засилье в свое время вульгарного социологизма в литературоведении и критике.

Проявление этой болезни я вижу и в том, что если искусству анализа текста, его литературоведческим приемам, включая структурный подход, уделяется немалое, подчас преобладающее внимание, то искусство анализа литературного процесса, искусство анализа литературного произведения в контексте реального движения литературы в жизни весьма редко подвергается сегодня теоретическому исследованию.

Эти болезни нашей критики развиваются на фоне крайне бурного, правда, уже затихающего взрыва так называемой «новой критики» на Западе, повторяющей во многом зады русского формализма начала века. Асоциальное манипулирование с всепоглощающей идеей «текста» есть не что иное, как эпигонство по отношению к тому, что для нас давно является вчерашним днем.

Литературовед Г Дьяконов дал точную характеристику асоциальной «новой критики»: «Новая критика» заслужила признание у многих буржуазных литературоведов потому, что она подорвала традиционное понимание литературы с точки зрения общественного предназначения, воспитательной (нравственной, политической, религиозной или психологической) функции

и тем самым переориентировала направление критической мысли на сам текст, на литературу «в себе». По признанию профессора Нью-Йоркского университета Уильяма Спаноса, это привело к полному отмежеванию литературы от жизни и закрепило критическую систему намека, которая сводит подлинную встречу с литературным произведением к своего рода интеллектуальному упражнению. В итоге — парадокс: «новая критика» в стремлении сохранить чистоту и неприкосновенность литературы от так называемых «внеэстетических факторов — исторических, идеологических, социальных, моральных — зашла так далеко, что низвела ее до уровня алгебры, выхолостила все человеческое и в конце концов отняла у литературы ее главный предмет изображения — человека»[1].

Г. Дьяконов справедливо пишет, что логическое продолжение концепций «новой критики» состоит уже в полном отказе от содержания, что и происходит в опусах современных «неоформалистических» критиков. Он подчеркивает, что эту опасность осознают сегодня многие литературоведы и критики на Западе, и приводит в подтверждение этому следующие слова того же У. Спаноса: «Мы начинаем понимать в эти дни, что принцип автономий крайне сужает границы и в результате дегуманизирует дело критики»[2]. Можно сказать, что на этих путях критика вообще перестает быть критикой, перестает быть нужной как писателю, так и читателю.

Своеобразный итог развития такого рода критики подвел на страницах журнала «Лондон мэгэзин» (март 1979 г.) английский романист и критик М. Брэдбери. Его статья называется «Писатель и критик». «Прежде критики нуждались в писателях, так как те давали им работу; сегодня в этом уже нет необходимости,— иронически замечает М. Брэдбери.— Прежде писателям были нужны критики, так как они толковали, объясняли то, что создавали писатели, определяли их значение и место в литературе. Сейчас подобные требования по отношению к критике были бы просто чрезмерными... По тем же самым причинам критики лучше всего находят общий язык с другими критиками. Они прекрас-

---

[1] Методологические проблемы современной литературной критики, с. 331—332.

[2] Там же, с. 332.

но понимают друг друга, когда речь заходит о значении их деятельности, важность которой они не подвергают сомнению. Критики могут обсуждать между собой, но не с писателями 31 функцию Проппа, соотношения языка и речи, вопрос о том, можно ли свести все знаковые системы к единой грамматике и что первично – устное выражение (Лакан) или письменное (Деррида), а также множество прочих, столь же важных вещей... Писатели нередко приходят в растерянность, не в силах понять то, что пишут о них критики».

Чтобы наглядно показать этот процесс превращения западной критикой писателя «в нечто неодушевленное, в вещь», это нескончаемое самоутверждение критики за счет литературы и элементарного здравого смысла, М. Брэдбери красочно рисует своеобразное раздвоение его собственной личности, поскольку он сам, с одной стороны, романист, с другой – критик. Этот критик, зараженный сверхмодной «новой критикой», буквально преследует в нем писателя, убивая его. «Критик появлялся у меня, удобно располагался с бокалом в руках и заявлял, что я, кажется, не понимаю, что мир – это вымысел. Реальность – всего лишь коллективное повествование, которое мы, как говорящие животные, создатели кодов, придумали и оформили в структуру. Писатели, делающие вид, что существование реально, наводят на него скуку... Литература исчерпалась, детка, говорил он мне, так что просто пиши. Что же мне писать, – спрашивал я. Интертекст, – звучало в ответ. О чем? О лексических полях, – восклицал он... Литература – это знание, иногда я говорю ему испытывающе; роман умер, кричит он из ванной. Что же тогда нового, кричу я в ответ. Очень много. Он уже поглощен чем-то, именуемым пост-пост-модернизмом, и если я еще раз услышу «Деррида», я заору не своим голосом. Он уверяет меня, что сюжет подчиняется неотвратимой диалектике, обусловленной его лингвистическим характером, который в свою очередь определяет его структурные варианты. Теперь, я полагаю, вам вполне ясно, что такое сюжет. Мы пытались спасти наш брак, но из этого ничего хорошего не получилось. Когда он входит в дом, я ухожу».

Эта сардоническая картина предметно воссоздает ту, по словам М. Брэдбери, «своего рода шизофре-

нию», к которой приводит его внутреннее совмещение двух существ: романиста и «нового» критика, которой страдают ныне взаимоотношения между литературой и критикой на Западе в принципе. Нет нужды говорить, что это — картина декаданса в его чистом виде, затронувшего значительную часть не только западноевропейской литературы, но и западноевропейской критики.

Совершенно очевидно: такие взаимоотношения между критикой и литературой, между критикой и обществом — не наш идеал. Мода, подражание, эпигонство по отношению к такого рода критике, все в большей степени теряющей сегодня престиж и на Западе, не принесет нам ничего, кроме разочарований и поражений.

Принцип «автономии» критики от литературы, а литературы — от жизни общества коренным образом противоречит традициям русской классической и марксистской критической мысли. Мы не можем слепо заимствовать методологию анализа текста из модернистских, структуралистских, «неоформалистических» источников, но должны, постигая и развивая опыт наших великих предшественников, исходя из отечественных историко-культурных традиций, из марксистско-ленинской теории, разрабатывать подлинно научную методологию анализа литературного текста и литературного процесса. Такую методологию, которая исходила бы не из принципов «автономии» и «закрытости» литературного текста, мнимой независимости литературы от жизни, ее свободы от общественного предназначения, воспитательной функции, но из прямо противоположных принципов, сформулированных еще Белинским и Чернышевским.

Собственно, современные разношерстные концепции «автономии» художественного творчества от жизни, политики, социологии и прочего есть не что иное, как утонченные модификации старой как мир теории «чистого искусства», «искусства для искусства», которой еще Белинский и Чернышевский давали бескомпромиссный, принципиальный бой.

«Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел,— указывал Н. Г. Чернышевский,— обманываются или притворяются: слова «искусство дол-

жно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницею другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу» [1]. Сторонники такого рода «автономии», независимости литературы от жизни на самом деле также служат определенной идеологии, определенной системе политических идей. Они выражают интересы тех, для кого общественные интересы «не существуют», которым «известы только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом» [2].

В принципе «литература не может быть служительницей того или другого направления идей,— говорит Чернышевский,— это назначение... от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться», однако «только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи» [3].

Из этого убеждения революционных демократов растет живительный принцип гражданственности литературы и литературной критики, их открытая социальность.

И если под этим углом зрения говорить о методологии анализа литературного текста, то станет очевидным, что его никак не сведешь к чисто эстетическому, узколитературному анализу. Если высшим критерием художественности является правда жизни действительной, то исходным принципом анализа художественного текста как раз и является соотнесение литературного текста с той реальной действительностью, которая постигается в произведении,— таков, во всяком случае, закон анализа литературных текстов в «реальной критике».

Иными словами, искусство анализа литературного текста есть искусство комплексное, для него обязателен системноцелостный подход, органически объединяющий в себе конкретность как литературно-эстетического, так и социального анализа, взгляд «изнутри»

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 301.
[2] Там же, с. 300.
[3] Там же, с. 301—302.

и взгляд «со стороны», в контексте социального, исторического времени, в реальном богатстве тех социальных, общественных связей с миром, с людьми, которые всегда отличают подлинную литературу и подлинного художника.

3

Как уже подчеркивалось выше, вопросам анализа художественного текста наша литературная наука уделяет немалое внимание.

К сожалению, среди многочисленных публикаций на эту тему мы редко встречаем такие, которые отстаивали бы принцип комплексного единства эстетического и социального подходов к исследованию поэтики, к анализу художественного текста. Большинство публикаций строятся по единому признаку: обязательная ссылка (или ссылки) на М. Бахтина, на Ю. Лотмана, а затем — кропотливый анализ текста, как правило, в одном только закрытом, герметическом соотношении: автор и его поэтика, автор и его стиль,— в традициях той «исключительно эстетической критики», о которой с такой иронией говорил еще Белинский. Соотношение «авторская поэтика и действительность», «авторский стиль и окружающая данного автора жизнь», которую он постигает в своем творчестве, как бы не существует для большинства авторов таких разборов. Содержание и идейно-эстетический пафос произведений, анализируемых в основном с помощью формализованной технологии, чаще всего остаются за пределами интересов исследователя.

Нередко это примеры того самого «щелочного анализа частностей», над которым едко иронизировал И. Золотусский в цитировавшейся выше книге «Час выбора»: «Есть критика, изощренная в щелочном анализе частностей. У нее безупречный вкус к детали, она безошибочно чувствует слово. Она пристальна к любому изменению интонации, семантики слова и фразы, их соседству с другими словами, их перекличке со словом и фразой, стоящими на расстоянии в том же тексте. Но она решительно неспособна ощущать текст как духовное целое, как некую духовную единственность, которая присуща лишь данному гению или данному таланту. Ее анализ именно щелочной, разъедаю-

щий, способный разъять талантливо на части, но не способный собрать»[1].

Впрочем, и талантливость такого «разъятия» художественного произведения на части также бывает преувеличена. Для примера приведем образец такого рода «конкретного анализа» из статьи М. Виролайнен «Мир и стиль» («Старосветские помещики» Гоголя), опубликованной под рубрикой «Над строками одного произведения» в апрельской книжке журнала «Вопросы литературы»[2] за 1979 год: «Кошечка Пульхерии Ивановны ушла через подземный ход, через дыру под амбаром,— именно под землей пробита брешь и нарушена замкнутость.

Итак, замкнутость в «Старосветских помещиках» нарушена двояко: взглядом из-за плетня и зовом из глубины. Нарушение замкнутости приводит к гибели. Со смертью Пульхерии Ивановны в комическом сюжете возникает трагическая тема, смерть проявляет в героях истинно человеческое. Через гибель обнаружена высота. В привычной повторяемости старосветской жизни обнаруживается такая сила привычки, которая способна тягаться со страстью. В сопоставлении привычки и страсти — сопоставление замкнутого мира с миром внешним в пользу замкнутого. (На фоне «Вечеров» и «Тараса Бульбы», где воспевается страсть, это особо значительно.) Но сопоставление возможно, когда замкнутость нарушена. Высота достигается через смерть и после смерти,— и это часто у Гоголя... Гоголевский стиль направлен на то, чтобы наполнить неподвижный мир живым движением. Но когда глубинное движение осуществляется, оно оказывается катастрофичным. Отсюда драматизм воплощения предмета повествования в стиле Гоголя: помочь миру одновременно возможно и невозможно; и вопреки невозможности — необходимо».

Что дают эти выспренние абстракции, нанизываемые автором одна на другую, для понимания Гоголя в дополнение к тому, что о нем уже сказано, что нам известно?

Но даже и в том случае, когда такого рода «кон-

---

[1] Золотусский И. Час выбора, с. 8.

[2] Поскольку журнал «Вопросы литературы» —.ведущий теоретический орган, в размышлениях о методологии критики нам, собственно, чаще, чем к другим, придется обращаться к его публикациям.

кретныи анализ» осуществляется талантливо, как это делает, к примеру, М. Чудакова в статье «Поэтика Михаила Зощенко. (Проблема авторского слова)» («Вопросы литературы», 1978, № 2), остро ощущаешь недостаточность подобного подхода к тексту. Недостаточность эту, неполноту такого подхода, казалось бы, трудно не заметить и самому критику.

Анализируя структуру взаимоотношений между автором и авторским словом, опираясь на прозу М. Зощенко 20-х годов, М. Чудакова приводит в качестве свидетельства объяснение автором своеобразия своего стиля: «И вот мы теперь видим то, что видим. И это было удивительное предсказание, которое на наших глазах постепенно выполняется. Но, конечно, не следует забывать,— борьба далеко не закончена и продолжается революция. И идет столкновение двух миров и все, что с этим». Какой же вывод делает критик из этого признания автора? «Новый тип словесно-художественного мышления, созданный в результате, был,— утверждает М. Чудакова,— действительно целиком его изобретением».

Этим весьма спорным утверждением М. Чудакова и исчерпывает проблему влияния революции, противоречий действительности первых послереволюционных лет на поэтику Зощенко, на тот тип словесно-художественного мышления, который возник на переломе революционных 20-х годов и который, по его собственному свидетельству, был неразрывно связан с этой борьбой двух миров. Но разве возможно поэтику любого художника, вызванного к жизни той бурной эпохой, а уж тем более Зощенко, понять и осмыслить всерьез, вне социального, исторического контекста своего времени?

На всем пространстве статьи, где исследуется поэтика М. Зощенко, его взаимоотношения со словом, автор ни разу, если не считать приведенной выше цитаты, не вспомнил о таких немаловажных факторах формирования поэтики любого писателя той эпохи, как революционный катаклизм, столкновение двух миров. Критик ведет исследование только на одном узколитературном, эстетическом уровне.

И это не каприз, но установка, внутренняя установка данного типа анализа текста, не имеющего подчас даже инструментария для исследования того соотношения, в котором поэтика произведения находится

с социумом. Тот инструментарий, который используется для чисто литературоведческого анализа текста, никак не годится для постижения и исследования общественных связей и взаимозависимостей литературы и жизни.

Во избежание упреков в упрощении проблемы оговорюсь: было бы неверным истолковать эту мою тревогу как сомнения в том, что несомненно, — в огромной важности для науки о литературе и литературной критики поэтики, то есть той части литературоведения, которая постигает совокупность художественно-эстетических и стилистических качеств, определяющих своеобразие того или иного явления литературы.

Для понимания сути и своеобразия литературы как искусства слова много дает не только, так сказать, «макропоэтика», исследующая литературу как родовое явление, но и «микропоэтика», исследующая эстетические и стилистические компоненты конкретного произведения. За последние годы «микропоэтика» обогатилась новым, дополнительным инструментарием анализа, включая исследование таких проблем, как соотношение в повествовании авторской точки зрения и отдельных персонажей образа повествования, анализ художественного времени и пространства и так далее, применительно в первую очередь к текстам классическим, устоявшимся.

Поддерживая эти направления в развитии современной литературной науки в ряду других, нельзя не видеть и возникающих на этом пути издержек. Подчас разбор конкретного произведения оборачивается «закрытым», я бы сказал, «камерным» анализом текста, чаще всего — поэтического, и это становится поветрием, модой, захлестывающей различного рода научные филологические издания. Наряду с точным, адекватным и доказательным анализом текста появляется немало и абстрактного логизирования, убивающего живую ткань искусства, а подчас и самой настоящей псевдонаучной абракадабры.

С особой остротой в данном случае стоит вопрос о социологическом изучении художественной формы, о социальной наполненности современной «микропоэтики». Нет спору, соотношение между литературой и действительностью здесь иное, чем, допустим, в литературной критике, анализирующей литературный процесс, но тем не менее оно есть, должно быть — как

своего рода постоянно действующая константа, как невидимая часть айсберга. Во многих публикациях это соотношение тем не менее отсутствует, чем создается иллюзия мнимой автономности, независимости литературы от жизни.

Может возникнуть вопрос: коль скоро тема нашей статьи – методология литературной критики, правомочен ли в данном случае выход к проблемам критики, так сказать, академической, являющейся частью литературоведения?

Не только правомочен, но и необходим, потому что литературная критика не отгорожена от опыта литературоведения стеной, напротив, она является, как уже подчеркивалось выше, пусть и своеобразной, но частью литературоведения.

Вот почему, с одной стороны, для нее чрезвычайно важно осваивать и усваивать все новые уроки, новые возможности, которые дает современная литературная наука, в том числе овладевать в совершенстве наукой поэтики, всем богатством, всей аранжировкой современного инструментария литературного анализа.

Но, с другой стороны, для нее особенно опасны те искусы и болезни, которым подвержена современная поэтика, в особенности «микропоэтика», по природе своей склонная к некоторой герметичности, замкнутости, камерности подхода к явлениям литературы.

И эта опасность – не теоретическая. Ибо указанное выше поветрие, мода захватила в полную меру и современную литературную критику, проявляя себя здесь как в формах непосредственных (когда появляются, допустим, статьи на тему: «карнавал» у Трифонова), так и в формах опосредованных. Какая-то часть критики стала писать заведомо «темно и вяло», с жеманством и претензиями, за которыми на поверку не оказывается ничего, кроме эпигонства, жалкого подражания Бахтину, Выготскому и т. д.

Такого рода мода сопряжена, как правило, с утратой социальной определенности, с игнорированием реалий действительности, с таким «прочтением» текста, когда главным становится не постижение истины, но самоутверждение пишущего.

Кстати, и эти бесконечные разговоры про «текст», которые ведет сегодня так называемая «эстетическая критика», во многом порождение той же моды, того же поветрия.

Эта новомодная, предельно асоциальная методология, на мой взгляд, особенно противопоказана как раз критике, той критике, которая исторически возникла и привилась в нашей литературе, соединив в себе эстетическое и социальное, и задача которой в социально-нравственном анализе текущего, современного литературного процесса и его живых, еще не устоявшихся явлений, в проверке литературы, ее ценностей и завоеваний правдой жизни народной.

Овладение критикой современным инструментарием литературоведческого анализа, ее обогащение техникой исследования поэтики не должно идти за счет социальности в критике, ее внимания к литературному процессу и процессам жизни действительной. Научность методологии в критике проявляется не только в литературоведческом инструментарии, анализе поэтики произведения, но ничуть не в меньшей степени и в конкретно-историческом, социально-классовом подходе к явлениям культуры и жизни, в овладении богатствами обществоведческих наук.

Хотелось бы, чтобы теория литературы больше внимания уделяла осмыслению практики системно-целостного анализа как литературного произведения, так и литературного процесса в целом, такого анализа, который объединял бы социальный и эстетический аспекты постижения современной литературы, ее наиболее значительных и интересных явлений. Такое единство как раз и формирует аналитическую критику как синтез «эстетической» и «публицистической» критики, который в последние годы и дал наибольшее количество завоеваний и успехов нашей литературно-критической мысли.

Серьезные методологические изъяны в анализе литературного процесса, свойственные некоторой части нашей критики, определили в последние годы многие ее беды — скажем, ту внесоциальную эклектику и путаницу, которая имела место в трактовке проблем наследия, понимания народности, в упрощенном, асоциальном осмыслении проблемы духовных и нравственных ценностей и т. д.

Изъяны и ошибки явились результатом недооценки тех первоочередных, исходных принципов анализа литературного процесса, которые определяются как традицией классической, революционно-демократической критики, так и марксистско-ленинской методологией

в литературоведении, теорией социалистического реализма и в первую очередь основополагающего принципа конкретно-исторического подхода критики к литературе.

Принцип конкретно-исторического подхода к явлениям литературы и литературному процессу в том случае, когда мы обращаемся к современности, не может не быть принципом социально-классовым, хотя применительно к прошлому и применительно к настоящему этот принцип проявляет себя, естественно, в разных формах с учетом исторической конкретности и реальных изменений в социальной действительности. В современной нашей жизни, как известно, достигнуто единство советского народа. Но это не означает нашего отказа от классового и уж тем более социального, конкретно-исторического подхода к явлениям и процессам литературы как прошлого, так и настоящего. Подлинно научный анализ литературного процесса совершенно невозможен в узколитературном ряду, здесь особенно остро необходим не только эстетический, но и социальный, системно-комплексный подход, объединяющий, синтезирующий в одно единое знание целый комплекс общественных наук, включая сюда как науку о литературе, так и глубокое социально-философское познание современной действительности.

Иными словами, для марксистской критики огромное значение имеет научная, конкретно-историческая методология исследования, познания, постижения литературного процесса во всех реальных его противоречиях, связях с жизнью, во всем богатстве и многообразии его реальных проявлений.

4

Однако требование научности порой наталкивается на мнение, имеющее достаточно широкое хождение, будто литературная критика к науке никакого отношения не имеет. Последняя попытка обоснования этого тезиса принадлежит старейшему и авторитетнейшему историку литературы Г Поспелову, посвятившему этой задаче статью «Литературоведение и литературная критика» в журнале «Вопросы литературы» (1979, № 7). Поскольку статья эта напечатана в дискуссион-

ном порядке, попробуем оспорить мнение маститого автора.

Г Поспелов считает недоказанной ту мысль, будто литературная критика, наряду с историей и теорией литературы, представляет собой часть литературоведения, и пытается обосновать мнение противоположное: «...критика не является частью литературоведения, у нее есть свои особые задачи по сравнению с ним».

Какие же это задачи?

Во-первых, служить «выразителем общественного мнения», «судить... произведения и выносить им свой приговор в свете тех или иных общественных идеалов. Поэтому литературная критика всегда бывает очень современной и злободневной».

И вторая ее «общественно-злободневная задача» – «идеологическая борьба на специфическом фронте художественного творчества».

Как видите, не только активно действующий критик, что было показано выше, но и мастистый литературовед пытаются разорвать, расчленить два крыла, на которых держится наша литературная критика. Разница в том, что один, ратуя за «эстетическую» критику, пренебрегает правом критики заниматься социологией, другой же, отрывая критику от литературной науки, не признает за критикой права быть «движущейся эстетикой».

Заявив, будто критика за столетие своего существования никогда «не претендовала на научность», сведя ее лишь к «общественно-злободневным задачам» оценки литературных произведений в «свете идеалов и интересов своего общественного движения», Г Поспелов лишил критику объективных основ ее деятельности, обрек ее на искус субъективизма и эстетического релятивизма. Такого рода постановка вопроса снимает самое проблему методологии применительно к деятельности литературной критики.

Разве это соответствует истине?..

Нет спору, критика по сути своей занимается, обязана заниматься злободневной задачей оценки новых литературных произведений или переосмысления старых, равно как и идеологической борьбой. Она обязана быть (вспомним Писарева) «проведением того или другого миросозерцания» в оценке текущих явлений жизни и литературы. Но это не значит, что в своей деятельности она лишена объективной основы,

иначе она была бы не в силах выполнять те задачи, которые стоят перед ней. Во всяком случае, ее оценки литературных произведений были бы насквозь случайны и гроша ломаного не стоили.

Такой научной основой литературной критики являются прежде всего объективные законы литературного искусства, которые постигаются литературной наукой и которые критика не может, не имеет права безнаказанно нарушать. В противном случае откуда бы у нас возникло сознание прегрешений против истины у Писарева или Салтыкова-Щедрина? Откуда возник бы тезис в статье самого Д. И. Писарева о том, что «идейная направленность злободневных критических статей, как и идейно-художественная направленность самих литературных произведений, может быть исторически истинной и исторически ложной»?

Мы оцениваем профессионализм критиков современности, величие критиков прошлого по точности их идейно-эстетических оценок,— тот не критик, кто путает Кукольника с Гоголем, а Пушкина с Загоскиным. Иерархия литературно-критических, идейно-эстетических оценок критика в устремлениях, в тенденции своей должна по возможности максимально совпадать или хотя бы приближаться к проверяемой временем объективной шкале духовных, эстетических ценностей. И это — высший критерий научной основательности критики! Именно потому, что такая шкала, такая иерархия ценностей, выражающая объективные законы художественного творчества, существует, критика не может не быть наукой, строящей свою деятельность на постижении, изучении и воплощении в своей практической деятельности этих законов.

Г. Поспелов не прав в главном, в утверждении, будто на всем протяжении существования критики она никогда не стремилась быть и не была наукой. В действительности критика революционных демократов была в десятки раз больше наукой, чем деятельность иных ученых гелертеров их времени.

Г. Поспелов, правда, вносит коррективы в свои утверждения. Он пишет, в частности, что в свое время «критике приходилось брать на себя» и «разрешение собственно литературоведческих проблем, которые литературоведение как таковое еще не могло тогда даже поставить»,— например, открытие Белинским «сущно-

сти реализма как принципа художественного отражения жизни», в лучшие периоды своего развития критика занималась «таким решением проблем теории и истории литературы, которое представляло собой большую ценность для литературоведения».

«Русская советская критика в своих лучших образцах, — продолжает Г Поспелов, — в еще большей мере стремится опираться на теоретический и исследовательский аппарат, создаваемый литературоведением. Такую критику обычно и называют «научной». Но все-таки и такая критика, — заключает он, — по существу не является частью литературоведения». Почему? Да потому, что и она «выполняет свою основную задачу» — всего лишь «разбирает и оценивает перед современным общественным мнением литературно-художественные произведения...».

А что делает литературоведение — такого, чего не делает критика? Вчитаемся в четкое, как всегда у Г. Поспелова, определение этих занятий и забот, которое он дает как раз в соотнесении литературоведения и критики. «Критика... не обязана ставить перед собой задачи собственно научного исследования. Она не занимается нахождением, проверкой, датировкой, авторизацией, сопоставлением текстов, изучением творческого пути и биографии писателей, исторически-конкретной и типологической классификацией произведений, созданием соответствующих теоретических понятий, выяснением общественной обстановки и идейной атмосферы в различные исторические эпохи, разрешением на основе всего этого социально-генетических задач, установлением закономерностей национально-исторического развития художественной литературы».

В представлении ученого, именно литературоведение, но никак не критика, постигает смысл литературных произведений, «соотнося их со сложной и изменчивой идейно-художественной атмосферой, существовавшей в национальном обществе этой эпохи, и далее — с теми отношениями, обстоятельствами и антагонизмами общественной жизни, которые порождали такую атмосферу. Все это требует от литературоведов, — подчеркивает Г. Поспелов, — не только больших знаний и кропотливых изысканий, но и способности к проникновенному осмыслению и оценке художественных явлений и глубины обобщающей мыс-

ли, и сознательного историзма в понимании своеобразия определенной эпохи национальной жизни и ее литературы. В результате литературоведы могут прийти к осуществлению основной задачи своей науки — к созданию широкой и обоснованной картины закономерного развития художественной литературы какого-то народа в какую-то эпоху его жизни».

Литературоведы — применительно к прошлому — могут, а критики — применительно к настоящему — не могут... И даже вроде бы не должны... Так ли это?..

На мой взгляд, размышления Г Поспелова о методологических задачах литературоведения почти целиком могут быть отнесены и к критике. Различия очень велики. Они проистекают из того, что для Г Поспелова, как историка литературы, само понятие литературоведения практически тождественно истории литературы. Он так и квалифицирует это понятие: «Литературоведение в основном — это история художественных литератур разных народов и разных эпох их общественной жизни».

Но ведь литература существует не только как историческая данность, как история литературы, не только как свод обобщений, как теория литературы, — она еще существует и как зеленое древо современной жизни, как вечно живой, нарождающийся и развивающийся литературный процесс. И в этом виде также подлежит осмыслению, освоению литературной наукой! Ну в самом деле, почему же человеческое познание, устремленное к постижению закономерностей жизни действительной в их полном объеме, должно обходить, игнорировать современный литературный процесс?

В приведенных выше высказываниях Г Поспелов достаточно полно и темпераментно сформулировал методологические задачи науки о литературе применительно к ее истории, ее прошлому. Но так ли уж эти задачи видоизменяются, если адресовать их дню сегодняшнему, настоящему?

Конечно же кое-что специфически историко-литературное уйдет — скажем, острая необходимость заниматься нахождением, проверкой, датировкой, авторизацией, сопоставлением текстов. Но в большинстве своем все или почти все перечисленное Г. Поспеловым и есть то, чем литературная критика применительно к современности занимается, обязана заниматься каждый день. Может быть, не всегда добротно, не

всегда успешно занимается, но ведь и литературоведы не всегда работают с абсолютным знаком качества.

В самом деле, вдумаемся: и изучение творческого пути и биографий современных, ныне живущих писателей; и исторически-конкретная и типологическая классификация произведений, принадлежащих к разным сторонам и направлениям современного литературного процесса; и создание, осмысление новых теоретических понятий, которые с необходимостью возникают по мере того, как развитие словесности взрывает привычные литературные каноны; и выяснение, а в значительной части — формирование общественной обстановки и идейной атмосферы, в которой развивается современная литература; и, наконец, установление закономерностей национально-исторического развития художественной литературы, с тем чтобы наиболее результативно влиять на литературный процесс, — разве все это не есть трудные, повседневные заботы нашей литературной критики?

Заботы, конечная цель которых состоит как раз в том, чтобы создавать широкую и обоснованную картину закономерного развития художественной литературы нашего народа в современную эпоху его жизни, эпоху зрелого, развитого социализма, — с тем чтобы с наибольшей научной точностью оценивать в контексте этого литературного и общественного развития те или иные литературные явления, прогнозировать завтрашний день развития литературы, наиболее результативно, с партийных позиций влиять на литературный процесс.

Для достижения этих целей — и в этом Г. Поспелов опять-таки прав! — литературному критику, как и любому образованному литературоведу, необходимы не только большие знания, кропотливые изыскания, но и способность к проникновенному осмыслению и оценке художественных явлений, глубина обобщающей мысли, сознательного историзма, понимания своеобразия нашей общественной жизни и ее культуры.

Кстати, эти заботы и эти качества для нашей отечественной критики в лучших ее проявлениях были характерны всегда.

Утверждая авторитет своей любимой науки, Г. Н. Поспелов пишет, в частности, что именно русское литературоведение XIX века, опирающееся на культур-

но-историческую методологию, «сделало очень много для понимания различных течений национальной общественной мысли... выявило величайшее национальное значение творчества Пушкина и всей его литературной эпохи, а затем Гоголя и возникшего на основе его творчества идейно-литературного движения».

Надо ли говорить столь глубокому знатоку истории литературы XIX века, что этот подвиг — выявление национального значения творчества Пушкина и его эпохи, а потом и Гоголя, основоположников русского реализма, — совершило как раз не литературоведение, но критика XIX века. Научный и общественный подвиг этот совершен Белинским и продолжившим его дело Чернышевским, великими русскими критиками, которые одновременно были и великими учеными. Учеными, оставившими, как известно, глубочайший след не только в науке о литературе, но и в эстетике, и в философии, и в социологии, и в политике своего времени, и даже в политэкономии.

Наследие великих русских критиков-демократов питало, да и до сих пор питает, литературоведческую мысль как в веке XIX, так и в веке XX, его отзвуки слышны и в наставлениях Г Поспелова современному литературоведению, которые я полностью распространяю опять-таки и на современную критику: «...культивировать в своих исследованиях и обобщениях историзм своего методологического мышления, историческую конкретность понимания смысла произведений каждой (в данном случае нашей. — *Ф. К.*) эпохи национального развития, их связи с характерными особенностями общественной жизни, их значение для ее последующих изменений, для осуществления ее перехода на новую ступень».

Эти качества, кстати сказать, особенно важны именно для критики, как наиболее активной части литературоведения. Ибо, как уже подчеркивалось выше, литературная критика является литературоведением и одновременно литературой, публицистикой, она не только исследует литературу и через нее — жизнь, но и стремится активно воздействовать как на литературу, так и на жизнь. Именно это качество — социальной, общественной, гражданской активности, поименованное Г. Поспеловым «современностью» и «злободневностью», — и есть то дополнительное, что привно-

сится специфичностью ее задач в литературоведческую природу критики. Это-то качество и делает ее не только наукой, но и литературой, художественной публицистикой. Эта повернутость критики к социальным, общественным проблемам времени, ее постоянная устремленность (если это подлинная критика) к постижению и осмыслению не только литературы, но через нее – жизни требуют методологической научной оснащенности не только в плане эстетическом, но и социологическом, философском, политическом, требует от критики выверенного историзма, глубины и строгой научности как литературной, так и общественной, философской, идеологической мысли. Отступления от научного подхода губительны для критики.

Именно поэтому (и здесь я также самым решительным образом могу не согласиться с Г. Поспеловым) литературная критика, как и литературная наука в целом, не терпит того, что Г Поспелов называет «неисторическим миропониманием», принципы которого отличаются крайней степенью абстрактности, субъективно противодействующей социально-историческому пониманию действительности, отвлекающей от национально-исторических интересов и по самим особенностям своего основного предмета лишенной историзма. Такие тенденции проникают и в литературоведение, замечает ученый, порождая его структуралистское направление. К тому же все это выдается за последнее слово науки, за новый, высший этап ее развития.

5

Не углубляясь подробно и предметно в этот процесс проникновения в литературоведение структуралистского направления, заметим тем не менее, что, на наш взгляд, структурализм является сегодня наиболее законченным проявлением асоциальности в литературной науке, полярным традициям демократической критики.

Когда перечитываешь публикации на эту тему подряд, трудно избавиться от ощущения, что структуралистское направление и самом деле упорно предлагает себя нашему литературоведению как последнее слово в научной методологии, самую высшую ее ступень.

Когда мы говорим о научности в критике, мы имеем в виду принципиально иной подход: органический синтез науки о литературе с обществоведческим знанием как основу научной методологии литературной критики.

Г. Поспелов справедливо связывает возникновение «неисторического миропонимания» и структурализма как его разновидности с опасностью некритического распространения в условиях НТР абстрактного «математическо-технического мышления», принципы которого становятся для некоторых современников, подчеркивает ученый, «основой их миросозерцания».

В ходе дискуссии «Взаимодействие науки и искусства в условиях НТР» («Вопросы литературы», 1976, № 11) некоторыми ее участниками прямо был провозглашен взгляд на структурализм как на «вторжение научных методов в исследование художественного творчества», а структуралисты были определены как «ученые, вторгающиеся в область литературы», как будто до структурализма и вне его «ученых» и «научных методов» в литературе не существовало. В ответ на возражения Н. Гея, который выступил против «расчленения художественного целого» вследствие такого «вторжения», М. Волькенштейн объяснил ему: «Я утверждаю, что внимательный, тонкий научный анализ художественного произведения не только не убивает его живую ткань, но, наоборот, может усилить воздействие этого произведения на читателя, зрителя, слушателя, потому что позволяет выявить те особенности произведения, которые иначе остались бы незамеченными. Научный анализ в искусстве, и в том числе исследования структуралистов, отвечает генетически (вот даже как! — *Ф. К.*) запрограммированной потребности человека в познании».

Структуралистская методология именуется ее сторонниками только как «научный анализ», «научные способы анализа литературы», и никак иначе. Как будто все остальные способы анализа художественной литературы априори являются ненаучными.

Если вспомнить к тому же одну из самых первых статей на эту тему в журнале «Вопросы литературы» (1967, № 1), принадлежащую перу нашего самого видного адепта структурализма Ю. Лотмана, которая так и называлась: «Литературоведение должно быть наукой», то претензию структурализма взять монопо-

лию на научность в системе литературоведения, претензию, которая неоднократно оспаривалась, можно считать очевидной.

Не слишком ли широк замах? Не чересчур ли велика претензия?

В принципе, если взглянуть на дело спокойно, без ажиотажа и аффектации, если рассматривать структуралистские методы исследования как частные и прикладные, если мыслить их в общей целостной системе марксистско-ленинской методологии нашего литературоведения и рассматривать их как один из возможных инструментариев литературоведческого анализа, применяемых в тех условиях места и времени, когда эти методы могут быть безусловно полезными и необходимыми, то такого рода обогащение исследовательской палитры нашей методологии может принести только пользу.

Вред начинается с того момента, когда эти, в общем-то, очень скромные возможности структурализма абсолютизируются и гипертрофируются, когда он представляется чуть ли не исчерпывающей научной методологией литературоведения.

Такая абсолютизация особенно губительна как раз для критики, цель и задачи которой, как уже подчеркивалось выше, состоят прежде всего и главным образом в анализе живого, текущего литературного процесса с позиций реальной действительности. Между тем мода на структурализм проникает и в критику.

Так, Г. Асатиани в статье «Исследуя неповторимое...» («Вопросы литературы», 1976, № 11), рассматривая, как сказано в редакционном предисловии, «вопрос об использовании критикой исследовательского инструментария «смежных» наук, о проверке действительных возможностей этих новых способов анализа», подчеркивал, что структурализм имеет в грузинской, в частности, критике «немало верных последователей, особенно среди молодежи», коих «в опыте структурализма привлекает в первую очередь стремление к точности анализа, то, что этот метод, по их мнению, не оставляет лазейки для безапелляционных и бездоказательных суждений». Отстаивая «идею правомерности научных способов (опять та же претензия! – *Ф. К.*) анализа литературы», Г. Асатиани справедливо ставил вопрос одновременно о локальности и недостаточности этих методов.

Г. Асатиани писал: «Структуральный метод изучения текста, в большинстве случаев практического применения, дает слишком большой простор педантичному уму, не удовлетворяя всех потребностей творческого, живого восприятия текста, наглухо закрывая двери в область сокровенного, исключительного, в область «чудотворчества».

Столь же наглухо, добавим мы от себя, этот метод закрывает дверь и в социальную сферу искусства, в область конкретно-исторического, жизненного, сущностного.

С. Ломинадзе в статье «Смысл и целостность. (Об анализе поэтического произведения)» («Вопросы литературы», 1979, № 8) приводит пример, как асоциальный по своей природе инструментарий используется для объяснения живых реалий жизни и что из этого получается.

Он цитирует стихотворение «Прощание» Н. А. Некрасова и, познакомив читателя с образцами конкретного анализа этого текста Б. Егоровым («почти при всех повторах происходит не редукция, усечение, а, наоборот, наращивание, увеличение, синтезирование»), приводит следующий вывод исследователя: в стихотворении «Прощание» «наличие всех трех глагольных времен, да еще и императива, в миниатюре моделирует характерные особенности некрасовского метода как реалистического (вписывание художественного времени в историю, связь прогнозирования будущего с памятью прошлого и т. п.) и как революционно-демократического (обращенность к будущему; четкий императив вместо зыбкого сослагательного наклонения)» [1].

Вывод конечно же анекдотический. Что «революционно-демократического» нашел Б. Егоров в «глаголах мелодраматического некрасовского «Прощания», — замечает Л. Ломинадзе, — приходится только гадать».

С. Ломинадзе не без оснований иронизирует над «революционно-демократическими» глаголами у Б. Егорова: подобного рода «рационализирование» лингвистических компонентов поэзии Некрасова и в самом деле комично. Но остается без ответа вопрос: как же все-таки быть с действительным, реальным, причем

---

[1] Лирическое стихотворение. Анализы и разборы. Сборник. Л., 1974, с. 69.

наисущественнейшим для поэзии Некрасова, революционно-демократическим ее содержанием? Как быть с тем, что революционно-демократическое содержание поэзии Некрасова в процессе структурального анализа поэтического произведения заведомо останется за скобками? Практически асоциальность в данном случае есть условие игры, той игры в литературоведческий анализ, которая всерьез предлагается нам в качестве чуть ли не единственной истины литературоведческой науки.

Это отнюдь не значит, повторяем, что структуралистский инструментарий в литературоведении и критике отвергается нами в принципе. Он может принести определенную пользу, если будет занимать то место в литературоведении и выполнять ту специфическую роль, которая уготована его природой и возможностями в познании истины искусства.

Роль эта все-таки прикладная. С помощью формализованных, математизированных методов возможно, по-видимому, достижение определенных, строго локальных целей при анализе конкретного, устоявшегося, в первую очередь поэтического, текста. Но попробуйте с помощью этих методов объяснить, к примеру, истоки, развитие, современное состояние и завтрашний день нашей так называемой «деревенской» прозы?! Попробуйте истолковать такое сложное литературное явление, как, к примеру, В. Распутин!

Соотношение этих методов с подлинной методологией литературной науки напоминает нам то соотношение, в котором находятся человеческий взор и микроскоп.

Микроскоп, как и любой другой прибор, чрезвычайно полезный для обострения человеческого зрения, никогда не заменит человеку самого зрения, хотя и безусловно необходим в строго специальных, локальных, вполне определенных обстоятельствах. Точно так же и структуральные методы исследования, эта новейшая исследовательская технология, в каких-то локальных ситуациях могут подчас значительно обострять наше литературоведческое и литературно-критическое зрение. Но полный абсурд и нелепость выдавать этот лингвистический инструментарий за исчерпывающее научное литературоведческое зрение, пытаться подменить, заменить этим инструментарием литературную науку!

С такими попытками в нашем литературоведении и критике давно идет упорный спор.

Сошлемся хотя бы на работы М. Храпченко «Семиотика и художественное творчество» («Вопросы литературы», 1971, № 9, 10) и «Размышления о системном анализе литературы», (там же, 1975, № 3), статью А. Бегиашвили «Пределы «структурного» литературоведения» (там же, 1970, № 6).

«В отождествлении свойств языка и литературы,— по мнению М. Храпченко,— как раз и заключена одна из основных ошибок сторонников формально-структурного метода».

Отстаивая принципы системного подхода, системного анализа литературы, видя на этом пути движение нашей литературоведческой мысли вперед, М. Храпченко вместе с тем с полной определенностью подчеркивал: «Нет никаких оснований... рассматривать системный подход в качестве завоевания современного структурализма, его достояния. Совершенно очевидны принципиальные различия между системным анализом, который проводится на основе марксистско-ленинской методологии, и анализом, осуществляемым в духе «ортодоксальных» структуралистских концепций. То, что может быть названо марксистским системным подходом, представляет собой не новый метод, а конкретизацию и дальшейшее развитие принципов, разработанных основоположниками марксизма-ленинизма, конкретизацию и развитие, которые учитывают новые процессы и проблемы современной социальной действительности».

Неоднократно подчеркивая локальную полезность семиотики, М. Храпченко резко возражал здесь против отождествления «системного анализа литературы со структуралистским подходом к ней», против упорных попыток «лингвистического структурализма... распространить свое доминирующее влияние на исследования литературных явлений».

Столь же определенной и ясной была позиция А. Бегиашвили в статье «Пределы «структурного» литературоведения», где в убедительном споре со сторонниками структурализма он показал несостоятельность претензий этой формально-лингвистической школы на то, чтобы казаться подлинной «наукой», держать монополию на «научные методы» в литературоведении, продемонстрировал, сколь ограниченны возможности

применения формальных методов в литературоведении. Они «могут оказаться очень полезными при изучении стихосложения, техники построения сюжета и т. д. Все это ни у кого не вызывает сомнения. Не вызывает сомнения и то, что эти методы неприменимы при анализе характеров, а также при анализе значения поэтического образа».

Эта точка зрения получила обоснование в конце 60-х – начале 70-х годов в работах наших литературоведов – Ю. Барабаша, П. Палиевского, П. Николаева и других. И тем не менее претензии структурализма на исключительное право именоваться литературной наукой продолжают жить.

Еще в начале 60-х годов Б. Сучков на страницах журнала «Вопросы литературы» сформулировал мысль о внутренней взаимосвязи модернизма, разрушающего, расщепляющего, дегуманизирующего человека, и семиотики, структурализма, склонных «рассматривать искусство как совокупность элементов, знаков, символов, как своего рода шифр». Поль Валери и Аполлинер, представители так называемого «авангарда» литературы начала века, быть может, с наибольшей очевидностью воплотили эту взаимозависимость модернизма и структурализма, что с очевидностью показано в статьях «Поэзия зрительных образов» (о поэзии Аполлинера) В. Божовича («Вопросы литературы», 1978, № 5) и «Интеллектуальный «демонизм» и поэтическая «гимнастика». (Эстетические воззрения Поля Валери)» Б. Тарасова («Вопросы литературы», 1978, № 6). Как подчеркивает исследователь, Валери был «оригинальным мыслителем», стоявшим у «истоков того движения, которое через западный и русский формализм начала века, через творчество Малларме приходит к структурализму, новой критике и новому роману».

Проблема модернизма, отношения к нему была чуть ли не центральной в дискуссии на страницах «Вопросов литературы», которая называлась «Стилевые поиски в литературах современного Запада». В ходе этой дискуссии, в частности в статье Д. Урнова «Демаркационные линии в «почерках эпохи», была предпринята серьезная попытка раскрыть ущербность и бездуховность модернизма, равно как и его взаимосвязь со структурализмом. В некоторых статьях (например, В. Днепрова) была представлена и иная точка

зрения, объективная суть которой состоит в попытках найти пути для защиты модернизма, защиты, правда, не идеологической, но стилевой (как будто кто-нибудь оспаривает ставшие достоянием мировой литературы завоевания модернизма). Полемический пафос, направленный на защиту, пусть и стилевую, модернизма, иногда заслоняет глубокую идеологическую и социальную ущербность модернизма. Социальная определенность иных оценок этого явления притупляется.

Вчитаемся, к примеру, в характеристику модернизма в статье «На пути к герою» критика Н. Анастасьева («Вопросы литературы», 1976, № 5):

«Своеобразным откликом на новую реальность, на увеличение суммы знаний, на бесспорное повышение интеллектуального потенциала времени видится и повышенный рационализм того круга художественных явлений, о котором идет сейчас речь. И поскольку литературная конструктивность, критическое мышление не возносятся в высший и единственный акт творческого сознания, поскольку идеи (и их художественное воплощение) Пруста и Элиота вносят в искусство нечто новое и отзываются в работе даже тех писателей, что принципиально и открыто чужды модернизму, например, в философском романе Томаса Манна». Думается, что осмыслять это сложное, противоречивое явление культуры, именуемое модернизмом, лишь в пределах «новой реальности», разумея под этим «увеличение суммы знаний» и «повышение интеллектуального потенциала времени», то есть вне социальных констант эпохи,— очевидная наивность.

Недостаток социальной определенности в оценке сложных и противоречивых явлений культуры имеет место в тех случаях, когда литературная наука и критика осваивают новые историко-культурные пласты, новые литературные явления и имена. Наша критика сегодня — это понятно — часто устремлена как бы к «периферии» общественно-литературных процессов минувших эпох, расширяя охват исследования, уделяя внимание все новым и новым фигурам как в нашей, так и в зарубежной литературе, которые по тем или иным причинам ранее не замечались или мало замечались советским литературоведением. Если иметь в виду Запад, это часто писатели и мыслители модернистского, идеалистического направления; если иметь в виду Россию — фигуры, представляющие, помимо

демократической, консервативную или либеральную линию в истории русской общественной мысли.

Так, за последнее десятилетие появились очерки исследовательского характера, посвященные таким фигурам, как Н. Страхов, М. Катков, К. Леонтьев, Вяч. Иванов, В. Розанов, А. Суворин, Л. Шестов, К. Кавелин.

Если иметь в виду зарубежную культуру, то это — К.-Г. Юнг, Г Маркузе, Э. Паунд, К. Леви-Стросс, К. Ясперс, маркиз де Сад, Ж.-П. Сартр, Ч. Пирс, Р. Деснос, Гийом Аполлинер, Поль Валери и другие.

В итоге наш читатель получил огромный информативный материал о взглядах и позициях фигур, зачастую нам идеологически чуждых, вызывающих вместе с тем интерес у литературной молодежи. Тем более важна в данном случае объективная, ясная и точная оценка этих фигур и явлений, анализ их в контексте литературно-общественной борьбы своего времени с четких позиций марксистско-ленинской идеологии. К сожалению, практика показывает, что эти цели достигаются в нашей критике далеко не всегда.

Анализируя массив литературно-критических публикаций, посвященных сложным фигурам общественно-литературной мысли Запада, замечаешь также, что нашей критике явно не хватает внимания к видным представителям демократической, марксистской традиции в истории зарубежной литературы, философии, эстетики, хотя это наследие огромно и значительно.

Русская демократическая традиция в современной критике представлена несколько шире — благодаря в основном тому, что журнал «Вопросы литературы» провел в свое время дискуссию «Наследие революционных демократов и современность», которая удалась.

И тем не менее не секрет, что теоретический интерес к наследию русских революционных демократов в нашей критике меньший, чем оно того заслуживает. А. Лебедев в статье «Судьба великого наследия» («Новый мир», 1967, № 12) объяснял это элементами упрощенного, прямолинейного, догматического подхода к этому наследию со стороны части нашей критики.

Но с тех пор прошло более десятилетия, и, казалось бы, могло появиться «второе дыхание», на новом уровне, далеком от догматизма и упрощенности, мог возникнуть качественно новый интерес критики к наследию русских революционных демократов. К сожа-

лению, интерес такого рода пробивается пока что крайне робко и медленно. Он не поспевает за ростом интереса к противникам и оппонентам революционных демократов – к консервативным, реакционным и либеральным мыслителям. При этом выступления, посвященные идейным противникам революционных демократов, порой строятся так, что фигуры эти бывают выключены из конкретно-исторической обстановки идейной борьбы своего времени и не получают достаточно точной классовой, партийной, политической оценки.

Сошлемся в качестве примера на статьи Вик. Ерофеева «Остается одно: произвол. (Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова)» («Вопросы литературы», 1975, № 10), о которой в свое время с достаточной точностью сказал в статье «Вехи реакционной идеологии» М. Гус («Вопросы литературы», 1977, № 1), и В. Кантора «Русское искусство и «профессорская культура» («Вопросы литературы», 1978, № 3).

Статья молодого критика Вик. Ерофеева посвящена Льву Шестову, философу-декаденту начала века, уехавшему после революции в эмиграцию и занимавшему там активные антисоветские позиции. Наследие этого философа-идеалиста и богоискателя, входившего в «веховское» направление русской философии, одного из основоположников экзистенциализма, анализируется в статье Вик. Ерофеева не просто с подчеркнуто объективистских позиций, но и в полном отрыве от конкретной исторической обстановки и социальных корней, с позиций внеклассовых, аполитичных, абстрактно-гуманистических. Мы встречаем здесь сочувственные или нейтральные ссылки на В. Зеньковского, С. Франка, Н. Бердяева, С. Булгакова и других реакционных философов – при отсутствии историко-материалистических опор.

Политическая оценка фигуры Л. Шестова сведена здесь лишь к следующей, двусмысленной по тональности, информации: «Неустроенность быта и неуверенность в возможности найти контакт с новой властью, чьи планы по коренному преобразованию страны он был едва ли в состоянии принять, понуждают Шестова возвратиться в свое швейцарское уединение, откуда он довольно скоро переезжает во Францию». Характеристика его философско-политических позиций такова:

«В отличие... от своих друзей по Киеву Бердяева и С. Булгакова, Шестов никогда не был близок к марксизму... но вместе с тем никогда не вел с марксизмом напряженной, бесплодной полемики».

Откуда же выросла философия Л. Шестова, характеризовать сегодня которую мы, казалось бы, не имеем права вне обстоятельств идеологической борьбы? Критик отвечает на этот вопрос так: «Вглядываясь в лицо Шестова, проступающее из его книг, видишь, что оно искажено страшной судорогой, рожденной от ощущения трагизма индивидуального человеческого существования, отданного на произвол случая и смерти». Объяснение предельно абстрактное, базирующееся не на социальном подходе к явлениям общественной мысли, а на абстрактно-философском антропологизме. Критик судит Шестова, по сути дела находясь в плену его идей.

Неприемлема с точки зрения методологической и статья В. Кантора «Русское искусство и «профессорская культура». (Литературно-эстетические взгляды К. Д. Кавелина)». Опубликованная, как и статья Вик. Ерофеева, под рубрикой «Страницы истории литературно-эстетической борьбы», она не содержит реальной картины бескомпромиссной борьбы русской революционной демократии с беспринципностью либерализма.

В начале статьи приводится ленинская оценка Кавелина, позиции которого Ленин называл «образчиком профессорски-лакейского глубокомыслия»[1]. Однако весь последующий текст статьи не раскрывает этих ленинских слов, рисуя Кавелина умным, тонким, благородным ценителем просвещения, чьи воззрения при подобной интерпретации не могут вызвать в душе современного читателя ничего, кроме симпатии к либерализму и недоумения: зачем, ради чего с ними надо вести борьбу?

6

В лучших своих образцах современная критика ведет глубокое, остропроблемное исследование современного литературного процесса, наиболее приметных, принципиальных его явлений.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 33.

Однако очевидны и некоторые методологические слабости в нашей критике, прежде всего определенная социальная аморфность, социологическая недостаточность части нашей критики, приглушение мировоззренческих ее основ.

Будучи порождением определенных, конкретно-исторических условий места и времени, конечно же и традиция реальной критики несла на себе печать своей исторической ограниченности. Мы испытываем, в частности, недостаточность концепций русской революционно-демократической критики в отношении коренных проблем духа и нравственности, внимание к которым всегда отличало русскую литературу прошлого. Конечно же этих проблем с позиции «разумного эгоизма» Чернышевского и Писарева не решить!

Однако даже в обращении критики к сложнейшим вопросам духовно-нравственного развития человека и общества, столь волнующим современную литературу, мы не можем абстрагироваться от великого наследия русской революционной демократии, завещавшей нам строгий социальный подход к самым сложным проблемам человеческого духа.

Именно масштабность, сложность и, я бы сказал, тонкость духовно-нравственных, гуманистических задач, которые решает сегодня литература, требуют особого внимания и особого чувства ответственности в отношении методологии познания – как художественного, так и научного, литературно-критического.

Кардинальное направление поиска и утверждение гуманистических ценностей в нашей литературе имеет свою – и немалую – историческую традицию, связанную с историей русского освободительного движения, с трудом и борьбой народных масс за свое освобождение, с процессом становления и утверждения русского реализма.

Эта традиция, при всей естественной принадлежности к этому историческому времени, имеет огромное значение для выработки методологии художественного и научного, литературно-критического познания, для современной литературы.

Как известно, та или иная методология научного, литературоведческого, литературно-критического познания отнюдь не пассивна в отношении методологии познания художественного – наоборот, мысль науч-

ная, общественно-политическая и мысль художественная всегда питают друг друга, находятся в сложнейшем взаимодействии и взаимозависимости.

Глубокая закономерность существует в том, что именно русский критический реализм вызвал к жизни «реальную критику», равно как и то, что эта критика не просто утвердила в нашей литературе направление критического реализма, но, как справедливо писал Г. Поспелов, открыла сущность реализма как принципа художественного отражения жизни, определила на много десятилетий вперед развитие всей русской литературы XIX века.

Точно так же очевидна уже выявленная выше взаимосвязь между модернизмом и структурализмом, формально-структурным методом литературного анализа, причем взаимозависимость здесь опять-таки не только прямая, но и обратная.

Как тонко подметил в статье «Парадоксы пристального чтения» («Вопросы литературы», 1978, № 3) Д. Урнов, для литературной массовой продукции современного Запада характерна целая прослойка модернистской литературы, инспирированная к жизни новомодной критикой,— известный английский критик и литературовед Ф.-Р. Ливис называет это «организованной культурой». «Сделанная в расчете на анализ, такая литература и подвергается соответствующему анализу... Структуры эти построены в точности по тем же рецептам, по каким их и анализируют... Сплоченные единством своей культурно-психической организации, которая определяется однотипностью воспитания, образования, литературной среды, словом, из поколения в поколение прививаемыми нормами и стандартами мышления, сплоченные через все то же однородное представление о литературе,— эти сферы оказываются в настоящее время (с точки зрения Ливиса) всепоглощающими»[1].

Таким образом, проблемы методологии литературной критики с неизбежностью становятся и проблемами методологии художественного постижения действительности, так или иначе влияют на этот сложный и противоречивый процесс — в этом их дополнительный и очень серьезный смысл.

---

[1] Урнов Д. Парадоксы пристального чтения.— Вопросы литературы, 1978, № 3, с. 113—114.

Нетрудно заметить, что методологические беды, сложности и трудности, о которых шла речь выше, находятся за пределами чисто технического инструментария критики, это не просто «умение» или «неумение» критика анализировать текст или социально-исторический контекст. Рассматриваемые проблемы лежат в сфере философско-мировоззренческой, что сообщает им и крайнюю важность, и остроту, и трудность их разрешения, потому что разрешение этих проблем определяется не просто ростом «профессионализма» в критике, но дальнейшим углублением философских, социальных, мировоззренческих ее основ.

1979

«НИГИЛИЗМ» И НИГИЛИЗМ

О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева

1

Любое обращение к прошлому, как известно, всегда служит современности, решению тех или иных задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Те споры, которые завязываются ныне вокруг наследия русской революционно-демократической критики, также имеют сугубо современное, остроактуальное не только отечественное, но подчас – глобальное, мировое значение.

Именно такой характер носит спор о Писареве, а если говорить точнее и шире – о русском «нигилизме», начавшийся еще в XIX веке и продолжающийся со все возрастающей не только эстетической, но и политической остротой в наши дни.

Сразу скажем: Д. И. Писареву и его товарищам по журналу «Русское слово», органически входившим в революционно-демократическую традицию 60-х годов XIX века, хотя и занимавшим свое, особое, самостоятельное место в ней, не повезло в большей степени, чем всем остальным нашим революционным демократам: отношение к ним, даже в современной советской науке, до сих пор не установилось, не отстоялось. Может быть, поэтому к ним с такой подчас безответственной легкостью применяются те или иные приемы остракизма, сочетаемые с полнейшей безапелляционностью уничижительных, а порой и уничтожающих высказываний. Как в XIX веке, так и сейчас – в силу противоречивости и уязвимости некоторых их эстетических и философских позиций – имен-

но через Писарева и его коллег по «Русскому слову» в работах некоторых литературоведов с полнейшей безнаказанностью «сводятся счеты» с русской революционной демократией вообще.

Писарева и журнал «Русское слово» еще и сегодня не перестают отлучать от революционно-демократической мысли, представляя их то некими «реформистами», что не имеют никакого отношения к действительности, то «буржуазными радикалами», то злокозненными «нигилистами» – ярлык, прилепленный им идейными противниками еще в XIX веке и вновь, совершенно неожиданно, получивший самое широкое хождение, как это будет показано ниже, сейчас.

Но ведь сегодня мы с предельной бережностью относимся даже к наследию тех критиков и публицистов, которые были идейными противниками русской революционной демократии! Зачем же нам обкрадывать себя, не замечая всего реального богатства и многообразия творческого наследия русской революционной демократии? Пристальное и бережное наше внимание должно распространяться на все реальные гуманистические ценности отечественной истории – при последовательном конкретно-историческом, социально-классовом к ним подходе. А это значит: чем глубже и шире мы исследуем сложнейший общественно-литературный процесс XIX века, тем с большей пристальностью мы обязаны всматриваться в опорные вехи этого процесса, поставленные великой русской революционно-демократической критикой. Иначе мы рискуем не только обеднить самих себя, обеднить идейный, литературно-общественный процесс прошлого века, но и внести антинаучные, антиисторические аберрации и искажения в реалии этого процесса. Наша обязанность – с особым вниманием вглядываться в творческое наследие критиков и публицистов XIX века, кто так или иначе помог выстрадать ту революционную идею, которая в итоге и привела Россию к Великой Октябрьской социалистической революции. На одном из первых мест в этом славном ряду, вслед за Белинским и Герценом, Чернышевским и Добролюбовым, стоит конечно же Писарев, понять и оценить которого вне идейно-творческой атмосферы журнала «Русское слово» 1860-х годов, где он сформировался как литературный критик, практически невозможно.

Встречающееся еще предвзятое отношение к деятельности Писарева и других сотрудников журнала «Русское слово» определяется или недостатком осведомленности об истинных позициях этого журнала, или же влиянием стереотипов, еще в XIX веке утвердившихся в отношении его. Один из самых давних и наиболее привычных стереотипов в отношении журнала «Русское слово» связан с обвинениями Писарева и других его сотрудников в «нигилизме», то есть огульном отрицании всех и всяческих ценностей и норм, в провозглашении «разрушительных» теорий и доктрин. Обвинения эти, выдвигавшиеся в свое время идейными противниками журнала, равно как и русской революционной демократии в целом, на всем протяжении XIX и начала XX веков в разных вариациях звучали в консервативной, официозной науке и реакционной публицистике. Лишь марксистская научная мысль дала этим бездоказательным обвинениям справедливую и точную оценку, выработала научную концепцию в истолковании наследия русских революционных демократов вообще, наследия Писарева и его товарищей по журналу «Русское слово» в частности.

Тем неожиданнее встретить в книгах современных литературоведов, историков и философов этот, казалось бы, давно отвергнутый в науке взгляд на «Русское слово» как орган русского нигилизма, причем нигилизма, так сказать, без кавычек, в доподлинном значении этого слова. Именно так трактует, к примеру, Писарева и его товарищей по журналу «Русское слово» Юрий Лощиц в книге «Гончаров».

В рассказе о цензорской деятельности писателя, ведущемся по законам косвенно-прямой речи, как бы сплавлены воедино точка зрения Гончарова и точка зрения автора. Сплавлены своеобразно: точка зрения Гончарова на нигилизм звучит в полный голос, точка же зрения автора почти неуловима, предельно расплывчата, а она для точности оценок явления, именуемого «нигилизмом», в книге, предназначенной для массового читателя, крайне важна.

Правда, постепенно точка зрения автора проясняется: под флером объективизма («пусть рассудит

его, то есть Гончарова, с Писаревым сама история») — явственно ощущается мысль об исторической правоте Гончарова, выступившего инициатором закрытия журнала «Русское слово»...

Журнал, проповедующий нигилизм как «силу абсолютного разрушения, силу слепую, самонадеянную, циничную и завистливую», «вредный и безнравственный с самого начала его издания» (все эти определения «Русского слова», приводимые в книге о Гончарове, не опровергаются ее автором), орган «нигилизма», подвергавшегося беспощадному нравственному суду не только Писемским или Лесковым, А. К. Толстым или Тургеневым, но даже и таким «независимым от официальных мнений писателем», как М. Е. Салтыков-Щедрин, журнал, главным и, судя по Ю. Лощицу, исчерпывающим итогом деятельности которого было перечеркивание Пушкина, «вообще русской литературы недавних десятилетий», поношение «святая святых родной культуры»,— конечно же, такой журнал, каким он встает со страниц книги Ю. Лощица, вполне заслуживал гнева И. А. Гончарова и властей предержащих, своей печальной судьбы. Конечно, это точка зрения прежде всего Гончарова, но воспроизведена она Ю. Лощицем таким образом, что не возникает и тени сомнения в близости ее автору. Более того, по объективному смыслу приведенных выше слов в книге Ю. Лощица, этот журнал заслуживает и нашего гнева, нашей самой резкой оценки, за которой должна последовать полная переориентация в толковании наследия Писарева и его товарищей по журналу.

Этот парадоксальный, вопиюще неправильный вывод может быть результатом либо осведомленности в отношении того, что же представляло собой на самом деле писаревское «Русское слово», либо — методологических просчетов, когда принцип конкретного историзма, включающий в себя социально-классовый подход к исследуемому предмету, подменяется субъективизмом. Думается, что в данном случае скорей всего первое, а может быть, в какой-то степени и первое и второе, то есть и неосведомленность в предмете, и методологический субъективизм.

В увлечении своим героем, и в самом деле — огромным русским писателем И. А. Гончаровым, о котором Ю. Лощиц написал в целом талант-

ливо и интересно, критик не смог отделить зерно от плевел, с достаточной зоркостью и глубиной увидеть ограниченность политических позиций Гончарова. Более того, он некритически воспринял иные политические воззрения писателя, и в частности – его не только писательский, но цензорский взгляд на журнал «Русское слово», являвшийся его идейным и политическим противником.

Мы отнюдь не собираемся перечеркивать то огромное гуманистическое содержание творчества Гончарова, которое мы наследуем, равно как не собираемся обелять Писарева, а тем более – Зайцева, закрывая глаза на те упрощения и ошибки прямолинейно-утилитарного свойства, которые появились в их эстетике и литературной критике.

Однако хотелось бы предостеречь и от ошибок противоположного свойства – когда игнорируется огромное гуманистическое содержание творчества Писарева и журнала «Русское слово» в целом, представляемых и сегодня, как мы только что видели, нигилистами без кавычек, «разрушителями» всего и вся, включая отечественную культуру.

3

Вопрос о термине «нигилизм», «нигилисты» применительно к Писареву и «Русскому слову» заслуживает специального рассмотрения, хотя мы и касались этой темы по ходу изложения в книге. Вопрос этот имеет свою и немалую историю. Имеется целая литература, посвященная самому слову «нигилизм», тому реальному, конкретно-историческому смыслу, который в него вкладывался на разных этапах идейной борьбы.

Исследователями (М. П. Алексеевым, Б. П. Козьминым) установлено, что слово это, получившее во второй половине прошлого века особую, по сути дела международную известность, первоначально было лишено той специфической смысловой окраски, которую оно обрело в пору шестидесятых годов. Слово это, указывал в статье «К истории слова «нигилизм» М. П. Алексеев, «употреблялось и в критических и полемических статьях, но его настоящая история начинается только с того момента, когда Тургенев при-

менил его к типической психологии шестидесятника: внезапно, с чудодейственной быстротой оно приобрело новый смысл и силу влияния»[1].

Согласившись с этим суждением в принципе, Б. П. Козьмин в своей статье «Два слова о слове «нигилизм» сделал некоторые уточнения.

Одно касалось термина «шестидесятник», как термина в данном случае неточного, поскольку «шестидесятники», справедливо замечает Б. П. Козьмин, «бывали разные». «В Базарове, — уточнял Б. П. Козьмин, — Тургенев подчеркивал прежде всего и больше всего его отрицательное отношение к окружающему обществу, к принятым в нем взглядам и обычаям, к традиционной идеологии господствующего класса — словом, ко всему феодально-крепостническому укладу жизни. «Нигилисты» — это представители новой интеллигенции, народившейся в то время в России, начинавшей чувствовать себя все более крепко и уверенно и оттеснившей на задний план старую, дворянскую интеллигенцию. Этих-то людей, составлявших лагерь революционной демократии того времени, Тургенев и намеревался изобразить в своем романе»[2].

Итак, по свидетельству такого авторитетного знатока истории русского освободительного движения, как Б. П. Козьмин, слово «нигилизм», введенное в широкий общественный обиход автором романа «Отцы и дети» И. С. Тургеневым, обозначало прежде всего революционных демократов шестидесятых годов и в первую очередь — деятелей журналов «Современник» и «Русское слово».

Критик «Современника» М. А. Антонович, говоря об «освободительном движении» шестидесятых годов, писал: «Уже Тургенев окрестил это движение презрительной кличкой «нигилизм»[3].

«Слово «нигилизм» пущено в ход И. С. Тургеневым», — писал в 1863 году М. Е. Салтыков-Щедрин, говоря о радости по этому поводу «благонамеренных». «Слово «нигилист», — продолжал он, — вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, бы-

---

[1] Алексеев М. П. К истории слова «нигилизм». — Сборник отделения русского языка и словесности АН СССР, т. 101. Л., 1928, № 3, с. 413.

[2] Козьмин Б. Литература и история. М., Художественная литература, 1969, с. 226.

[3] Шестидесятые годы, с. 111.

ли явления, которые они до тех пор затруднялись, как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты»[1].

В официальных правительственных документах того времени слово «нигилизм» используется опять-таки для обозначения демократического движения шестидесятых годов в целом. «Находясь во главе современных русских талантов и пользуясь симпатиею образованного общества, Тургенев этим сочинением (романом «Отцы и дети».— *Ф. К.*), неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших недорослей-революционеров едким именем «нигилистов» и поколебал учение материализма и его представителей»[2],— читаем мы в цензурных документах того времени.

Таким образом, уже в шестидесятых годах прошлого века для современников как революционного, так и реакционного направления было очевидно, что слово «нигилизм» было презрительной кличкой, оружием в той идейной борьбе, которую вели против революционной демократии силы либерализма и реакции. Не ожидавший столь широкого успеха этого «едкого слова» среди самой черносотенной публики, ухватившейся за него как за чрезвычайно удачный «ярлык», припечатывающий революционное движение, явно оправдываясь от упреков со стороны демократических кругов русского общества, И. С. Тургенев писал по этому поводу: «Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения,— почти в клеймо позора»[3].

Впрочем, таковым оно было изначально, если иметь в виду тот факт, что, как убедительно доказал Б. П. Козьмин, подлинным изобретателем слова «нигилизм» применительно к русской революционной де-

---

[1] Щедрин Н. (Салтыков М. Е.). Поли. собр. соч., т. VI, с. 46—47.

[2] И. С. Тургенев. Сборник Центроархива. М.—Пг., 1923, с. 165.

[3] Тургенев И. С. Собр. соч., т. 10, с. 353.

мократии был даже не Тургенев, а самый ярый ненавистник революционной демократии, редактор-издатель журнала «Русский вестник», в котором печатались «Отцы и дети», М. Н. Катков.

Еще в сороковые годы, в пору своего умеренного либерализма, Катков пользовался словом «нигилизм» в значении понятия «материализм». В шестидесятых годах, по мере того как он совершал поворот от консервативного либерализма к обскурантизму и реакции, Катков избрал в качестве главных своих врагов «Современник» и «Русское слово», клеветнически обвиняя органы революционной демократии в голом отрицании, в разрушении ради разрушения, в отсутствии положительной программы действий, то есть в «нигилизме».

«Наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов, — писал Катков, — не представляют никаких задатков будущего; все это — одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой», а пока что «в действительности... ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития не более, как мыльные пузыри»[1]. Словом, идеи русской революционной демократии — это «теории, создаваемые из ничего». Так писал Катков в статье «Элегическая заметка» в августовской книжке «Русского вестника» за 1861 год, отвечая на «Полемические красоты» Н. Г. Чернышевского.

Два месяца спустя — и за четыре месяца до появления «Отцов и детей» — Катков продолжил ту же тему, обрушившись на людей, которые «гордятся и любуются своим нигилизмом и в то же время выдают себя и хотят, чтобы все признавали их за людей прогресса»[2].

На этот первоисточник в употреблении понятия «нигилизм» для обозначения революционной демократии указывал А. И. Герцен: «Московским доктринерам надоело называть своих противников *материалистами*, и они изобрели термин *нигилист*, как бы желая подчеркнуть появление отягчающих вину обстоятельств, высшую степень материализма. Этот термин, — продолжал далее Герцен, — в применении к мо-

---

[1] Русский вестник, 1861, № 8, с. 162—166.
[2] Там же, № 10, с. 107—108.

лодым людям, страстно преданным своему делу, то есть науке, был лишен всякого смысла. Мы допускаем еще, что можно говорить в известных пределах о трагическом нигилизме Шопенгауэра, этого философа смерти, или об эпикурейском нигилизме бессердечных созерцателей людских страданий, этих праздных свидетелей кровавой борьбы, державшихся в стороне и не принимающих никакого участия в горестях и страстях своих современников. Но говорить о *нигилизме* молодых людей, пламенных и преданных, лишь прикидывающихся отчаявшимися скептиками, — это грубая ошибка» [1].

И далее он убедительно показывает, что «нигилизм» в том смысле, какой вкладывался в этот термин реакцией 1860-х годов, есть не что иное, как отрицание крепостничества, борьба за освобождение народа от его экономических, социально-политических и духовно-нравственных пут. «Нигилизм, как понимает его реакция, — пишет Герцен, — появился не со вчерашнего дня: Белинский был *нигилистом* в 1838 году, — он имел на это все права... «Для этого человека нет ничего святого, ничего достойного уважения!» — кричали литературные авторитеты. Это *нигилист,* сказали бы на реакционном жаргоне нашего времени» [2].

Сам Тургенев, говоря в письме к Случевскому о трагическом лице Базарова, о его честности, правдивости, демократизме до конца ногтей, утверждал: «...И если он и называется нигилистом, то надо читать — революционером» [3].

Герцен знал, что истинным «изобретателем» термина «нигилизм» как «клейма позора» для революционных демократов был Катков. Нельзя не отдать должное этому «изобретению»: для поверхностного восприятия оно било в точку, ибо русские революционные демократы и в самом деле выступали как *отрицатели*, но отрицатели *отжившего* и прежде всего — крепостничества и всех его порождений. Их отрицание никогда не было отрицанием ради отрицания, но всегда — отрицанием ради утверждения. Как известно, в условиях шестидесятых годов прошлого века именно они были партией будущего, обладавшей широкой

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 18, с. 216.
[2] Там же, с. 216—218.
[3] Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, с. 339.

и цельной системой гражданских убеждений и общественных идеалов, обширной и перспективной программой положительных преобразований русского общества своего времени, улучшения жизни родной страны. Эти великие сыны России, бесстрашно выступавшие против проклятия крепостничества, оскорблявшего, гнувшего, угнетавшего русский народ, были убежденными и страстными патриотами, желавшими блага и добра родной стране и ее народу.

Коварство же катковского «изобретения» – понятия «нигилист», широко внедрявшегося в общественное самосознание консервативными и реакционными силами, особенно после выхода романа Тургенева «Отцы и дети», – заключалось в подмене понятий, в стремлении представить дело так, будто русские революционные демократы отрицали не отжившие или отживающие формы общественной жизни своего времени – ради утверждения иных, более высоких форм общественной жизнедеятельности, но – все человеческие ценности, занимались отрицанием ради отрицания, будто за душой у них не было ничего.

Этим термином Катков и катковствующие пытались перечеркнуть все великое положительное содержание идеологии русской революционной демократии шестидесятых годов, а их будущие последователи с помощью того же термина «нигилизм» перечеркивали положительное содержание революции и социализма в принципе.

Как же реагировали на этот термин, придуманный и широко используемый их идейными противниками как «клеймо позора», сами революционные демократы? Наивно было бы думать, будто они не понимали всей необъективности этого термина.

Разумеется, они не могли принять всерьез этот термин, навязываемый им в качестве «клейма» реакционной партией, и если сами и употребляли его, то крайне редко и чаще всего – с ироническим вызовом.

Уже в ноябрьской книжке «Современника» за 1861 год, посвященной похоронам Добролюбова, содержался ответ Каткову, ответ глубоко саркастический.

«...Мы, – писал здесь Панаев, как бы надевая на себя личину противников «Современника», – или, что все равно, некоторые из нас, – решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение сухое, холодное,

черствое, бессердечное, все отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину — в *нигилизм*! Нигилисты! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем все новое поколение, то, по крайней мере, уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов» [1].

Ирония эта понятна. Вспомните свидетельство Степняка-Кравчинского: «Слово нигилизм получило право гражданства как бранная кличка», а уже потом, в порядке вызова, как «гордо принятый ярлык» революционной демократии.

Писарев, принимая в принципе Базарова и роман «Отцы и дети», тем не менее полагал, что термин «нигилизм» ни в малой степени не выявляет действительного содержания взглядов того же Базарова, не говоря уже о действительных, реальных деятелях освободительного движения шестидесятых годов. Писарев упорно, из статьи в статью внедрял в сознание читателей для обозначения освободительного движения шестидесятых годов термин «реализм», «реалисты», неоднократно возвращаясь к его разъяснению. Этот термин полемичен по отношению к понятию «нигилизм», ибо акцент здесь делается как раз на положительном содержании деятельности демократов.

Вот почему вызывают удивление и самое решительное возражение попытки и сегодня представлять демократов-шестидесятников вообще, Писарева и деятелей журнала «Русское слово» в частности как нигилистов. Если нигилистами революционных демократов представляли их противники, это еще не означает, будто они и на самом деле были нигилистами. Доподлинным нигилистом своего времени был Катков, отрицавший будущее, а не русские революционные демократы, отрицавшие феодально-крепостнический строй в его социальных и духовных проявлениях.

Впрочем, применительно к Чернышевскому, Добролюбову, Герцену эта истина сегодня уже очевидна для всех. Иная традиция сложилась в отношении Писарева и других публицистов «Русского слова». Как мы убедились на примере молодого критика и литературоведа Ю. Лощица, и сегодня можно еще встретить толкование творчества Писарева, содержания журнала

[1] Современник, 1861, № 11, с. 76.

«Русское слово», не выводящее их за пределы пресловутого нигилизма.

Это связано, по всей вероятности, прежде всего с тем, что, хотя термин «нигилизм» был «изобретен» Катковым как ругательная кличка революционной демократии шестидесятых годов вообще, он вошел в общественное сознание вместе с образом Базарова, которого Писарев перетолковал на свой лад и, в отличие от критики «Современника», дав ему свою интерпретацию, тем не менее принял как характер, в каких-то основных чертах верно воплощающий передовые тенденции общественного движения шестидесятых годов. И характер самого Базарова, и понятие «нигилизм» уже в ту пору больше соотносились с «Русским словом», чем с «Современником». Об этом писал, в частности, Шелгунов. «Употребляя для характеристики его (то есть «Русского слова».— *Ф. К.*) не совсем точное... выражение,— указывал Шелгунов,— пришлось бы назвать его органом нигилистическим. Цвет ему давало крайнее отрицательное направление, во главе которого выступили Писарев и Зайцев» [1]. Шелгунов имел в данном случае в виду яростность отрицания Писаревым и другими сотрудниками «Русского слова» социальных и духовных основ крепостнического общества, то настроение, которое с особой явственностью прозвучало, к примеру, в следующих писаревских словах: «Да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности».

Как известно, с этим яростным настроением, выражаемым подчас с юношеской размашистостью, Писарев входил в литературную критику. Вспомним его «Схоластику XIX века»: «...вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам».

Эта яростность отрицания, но отрицания отнюдь не нигилистического, отрицания всего отжившего во имя высоких гуманистических идеалов, равно как и ошибки, допускаемые журналом в увлечении этой борьбы, проистекающие от просветительской ограниченности его позитивных, положительных позиций,

---

[1] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов Л. П. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, с. 201.

скажем, отрицание Писаревым Пушкина, многие крайности Варфоломея Зайцева, привели к тому, что придуманный Катковым и пущенный в обиход Тургеневым термин «нигилисты» особенно плотно и в какой-то степени привычно «пристал» к Писареву и журналу «Русское слово». И еще один немаловажный момент, объясняющий, почему под «нигилистами» в первую очередь и до сих пор разумеют сотрудников журнала «Русское слово»: проявления «детской болезни левизны» свойственны этому журналу в куда большей степени, чем «Современнику». Выше мы уже подчеркивали, что в силу того, что расцвет деятельности этого журнала пал на годы, когда пик крестьянской революционности уже миновал и настала пора реакции второй половины 1860-х годов, журнал «Русское слово» дает нам первый, наиболее очевидный пример постепенного отхода от классических образцов русской революционно-демократической мысли в направлении либерализма (эволюция Благосветлова) или же, напротив, анархизма (эволюция Соколова) и «бланкизма» (эволюция Зайцева и Ткачева). Ультра-р-р-революционность, особенно если она проявляет себя в форме анархизма, как показывает опыт истории, и в самом деле может обернуться путем в нигилизм.

В какой-то степени с этим размашистым, анархическим и в этом смысле — нигилистическим отрицанием мы встречаемся позже и на страницах журнала «Русское слово» в иных высказываниях того же Н. Соколова или В. Зайцева. Но эти ошибки ни в коей мере не исчерпывают программы журнала, его положительного содержания.

Деятели «Русского слова», как и деятели «Современника», в своих основополагающих позициях никогда не были нигилистами.

Раскрыв недоброжелательный умысел «московских мыслителей», придумавших термин «нигилизм» как своего рода полемический, уничижительный эвфемизм, выражающий неприемлемые для них понятия материализма и революции, Герцен чуть позже писал: «Идет это название к делу или нет — это все равно. К нему привыкли, оно принято друзьями и врагами» [1].

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 20, кн. 1, с. 349.

Тем самым он подчеркивал *условность*, крайнюю *относительность* и даже *ложность* этого «названия» для русской революционной демократии, навязанного общественному мнению лагерем обскурантизма и реакции. И хотя к этому термину «привыкли» как «друзья», так и «враги», Герцен не уставал вносить ясность в этот вопрос, снова и снова доказывая, что если понимать нигилизм как «превращение фактов и мыслей в *ничего*, в бесплодный скептицизм... в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие *нигилисты* (то есть те, кого обозначал Катков этим названием. — *Ф. К.*) всего меньше подойдут под это определение и один из величайших нигилистов будет И. Тургенев, бросивший в них первый камень, и пожалуй, его любимый философ Шопенгауэр» [1].

4

Итак, несмотря на то что слово «нигилизм» было в ходу во второй половине XIX века как применительно к революционной демократии вообще, так и применительно к кругу «Русского слова» в особенности, вряд ли правильно, с точки зрения научной методологии, считать его типологическим термином, хоть сколько-нибудь точно обозначающим и выражающим суть мировоззрения и социально-философских, общественно-политических и эстетических позиций Д. И. Писарева и его сподвижников, не говоря уже о русской революционной демократии в целом.

Между тем такая попытка сегодня предпринимается. Некоторыми исследователями выдвигается концепция, утверждающая существование некой единой типологической категории «нигилизма», объединяющей самые различные, часто несоединимые явления человеческой мысли, возросшие в разное время, на совершенно различной социальной почве, выражающие полярные классовые, социальные интересы.

Концепция эта как бы по новой моде перелицовывает старые, катковской поры, интерпретации журнала «Русское слово», как главного оракула нигилизма на Руси. Если Ю. Лощиц повторяет эту идею в ее ветхо-

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 20, кн. 1, с. 349.

заветных формах, то некоторые новейшие исследователи пытаются облечь эту старую и ложную идею в ультрасовременные философские одеяния.

Эта концепция, которая нашла свое выражение не только в исследованиях (скажем, в книге А. И. Новикова «Нигилизм и нигилисты». Лениздат, 1972), но и в энциклопедиях (скажем, в статье «Нигилизм» в томе 9 Краткой литературной энциклопедии), соединяет несоединимое, к примеру Писарева и Шопенгауэра, в некий единый мировой феномен «нигилизма». Величайший парадокс и нелепость: русская революционная демократия под именем «нигилизма» отождествляется с теми тенденциями развития жизни, с которыми боролась не на жизнь, а на смерть.

Как не подивиться в этой связи прозорливости Герцена, в противовес так называемому «нигилизму» русских шестидесятников объявившего во второй половине шестидесятых годов прошлого века *настоящим* нигилистом «философа смерти» Шопенгауэра! Ибо именно из Шопенгауэра в значительной степени и вырос тот, говоря словами Герцена, «*настоящий* нигилизм», который бурно развился и дал могучую поросль в конце XIX и особенно в XX веке и к которому по недоразумению или по злому умыслу пытаются пристегнуть сегодня так называемый «нигилизм» русских шестидесятых годов... У истоков этого «настоящего нигилизма», вслед за Шопенгауэром, стоит, в качестве его основателя и идейного столпа, такая фундаментальная фигура в истории буржуазной философии и идеологии, как Ницше, а следом — такие реакционные мыслители так называемого «западного» мира, как Шпенглер, Хайдеггер, Л. Шестов...

Игнорируя эту иронию Герцена в сопоставлении двух «нигилизмов» — подлинного, шопенгауэровского, и, так сказать, условного, писаревского («нигилизма» в кавычках), смазывая столь принципиальное различие между двумя полярными по своим идейно-философским принципам направлениями развития мысли, сторонники этой концепции упорно пытаются рассматривать абстрактный феномен «нигилизма» в некоем чисто внешнем, фиктивном его единстве.

«...Нигилизм,— читаем мы, к примеру, в сборнике «Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий»,— является насущной жизненно-философской проблемой, вот уже более столетия не сходящей

со сцены европейской культурной истории и поочередно сосредоточивающей на себе умственные взоры мыслителей и художников как на Западе, так и в России, а иногда даже берущей их в плен. Начиная с середины XIX века нигилизм – эта мировоззренческая установка на отрицание духовных основ бытия или, в более факультативном смысле, на отказ признавать реальность и ценность за теми или иными сторонами космического, социального и духовного мира – захватывает значительные пласты умственной и культурно-общественной жизни. Причем он развивается в двух главных вариантах: в России оформляется радикальная, общественно окрашенная разновидность нигилизма, получившая здесь и своих выразителей и своих критиков; в западноевропейской мысли утверждается и концептуализируется разновидность «метафизического» нигилизма (А. Шопенгауэр, Э. Гартман, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, О. Шпенглер, К. Ясперс и, наконец, М. Хайдеггер)»[1].

Исходя из этой концептуальной установки, «Краткая литературная энциклопедия» в статье Р. Гольцевой и И. Роднянской так определяет суть «нигилизма»: «Нигилизм (от латинского ничто) – умонастроение, связанное с установкой на отрицание духовных основ бытия (личности, общества, культуры) и сопровождающееся пафосом негативизма... Начиная со второй половины 19 века нигилизм формируется в двух его разнородных версиях: радикальный, социально окрашенный нигилизм в России и «метафизический» нигилизм, идущий от Шопенгауэра и Ницше, в Европе, – и захватывает значительные пласты умственной, культурно-общественной и литературно-эстетической жизни».

И далее обширная статья «Нигилизм» нацелена не столько на то, чтобы проакцентировать принципиальное различие этих двух «версий» нигилизма, из которых одна, если брать точное значение этого слова, вовсе не являлась нигилизмом, сколько на прямо противоположное: установление их единства и родства, часто за счет исторических фактов и принципов конкретного историзма.

---

[1] Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий. М., Изд-во АН СССР, Институт научной информации по общественным наукам, 1981, с. 6–7.

По утверждению авторов статьи, нигилизм «на европейской почве шел под знаком отталкивания от лицемерной и прозаичной буржуазно-мещанской цивилизации, в то время как в России он оказался формой общественно-идеологического протеста и атакой на патриархально-религиозные основы общежития». Как видите, и там протест, и тут протест, в одном случае — антибуржуазный, в другом — антикрепостнический, а суть вроде бы все равно одна: отрицание духовных основ бытия!

Тенденция именно такова: чуть «улучшить» «западный» нигилизм, чуть «ухудшить» «русский» — дабы в итоге вывести на некую среднеарифметическую равнодействующую в оценке этого усредненного, но в целом — малоприятного явления, характерного для Европы и России XIX—XX веков, именуемого нигилизмом.

Но характеристика «западного» нигилизма, данная в статье Р. Гольцевой и И. Роднянской, не раскрывает главное: его человеконенавистническую суть. Нет здесь и хотя бы краткого упоминания того неопровержимого исторического факта, что идеология так называемого «западного» нигилизма впрямую выводила мир к фашизму, к негативизму фашистского толка,— не случаен культ Ницше в фашистской Германии, симпатии к фашизму со стороны таких идеологов западного нигилизма, как Хайдеггер или Шпенглер.

Что же касается характеристики «русского нигилизма», то мы не найдем здесь другого, опять-таки — основополагающе важного, хоть сколько-нибудь глубокой социальной характеристики революционно-демократической сути позиций Писарева и его товарищей по журналу «Русское слово». Вместо этого — предельно расплывчатые рассуждения о том, что слово «нигилизм» служило «обозначением материалистически-атеистического «отрицательного направления» разночинцев-шестидесятников, звучало как «дерзкое самонаименование молодых радикалов, рассчитанное на открытый разрыв с обществом «отцов», и было превращено ими ради этого из «оскорбительного имени в наступательный девиз».

Протест революционных демократов-шестидесятников сведен здесь лишь к сфере, так сказать, «надстройки», к сфере религии и морали, при полном замалчивании позиций демократов-шестидесятников,

группировавшихся вокруг «Русского слова», в таких кардинальнейших социальных вопросах своего времени, как вопрос о крепостном праве, реформах 1860-х годов, крестьянской революции и утопическом социализме. Этот – наиважнейший для так называемого «русского «нигилизма» – комплекс вопросов полностью проигнорирован в статье, зато непропорционально большое – практически почти все внимание уделено действительным и придуманным ошибкам шестидесятников. Для доказательства этой своей мысли сошлюсь на характеристику журнала «Русское слово», выявляющую крайнюю ограниченность и приблизительность представлений авторов статьи «Нигилизм» об этом журнале.

Представления эти приблизительны настолько, что авторы в своем негативизме по отношению к «нигилистам» 1860-х годов рискнули поставить фактически на одну доску два таких принципиально различных документа, как прокламацию «Молодая Россия», которую они почему-то называют «прокламацией П. Г. Зайчневского», хотя общеизвестно, что этот труд коллективный, и листовку Нечаева «Начала революции». Далее они возвращаются к Нечаеву в статье еще раз – уже в связи и в сопоставлении с Ницше: «Ницше породил упаднический нигилизм: вместо намеренного разрушения как социальной сверхзадачи (нечаевский тип) здесь под предлогом дионисийского экстатизма происходит крушение культурно и нравственно оформленной человечности. В ситуации утраты жизненного смыслового центра (обозначенной Ницше как «смерть Бога») усталый европейский нигилизм «конца века» и идущий ему вслед русский декаданс начала 20 века оборачиваются культом наслаждения (Санин у М. Арцыбашева), циничным эстетизмом (отдельные мотивы О. Уайльда), загипнотизированностью судьбой (Л. Андреев), призывами в духе Гартмана к освободительному самоубийству (роман Арцыбашева «У последней черты»), знаменуя устремление к бездне и духовное пораженчество».

И далее – в статье разбирается литература модернизма как следствие «апофеоза беспочвенности» (Л. Шестов), свойственной нигилизму (имморализм Л. Селина и А. Жида, «метафизический роман» экзистенциалистов, параболы Кафки, комедия абсурда Э. Ионеску и Э. Олби, стиль «черного юмора» С. Беккe-

та), нигилистический анархизм «новых левых», инспирированный «маркузианским «Великим отрицанием».

Объективно, по ходу мысли авторов статьи «Нигилизм» получается, будто весь нигилизм – от Шопенгауэра и Ницше до Ионеску и Маркузе, включая «беспочвенность» Л. Шестова и «арцыбашевщину», вытекает из русского «нигилизма», идейно связан с наследием Писарева и Зайцева! И – более того: оказывается, именно Писарев, Зайцев, Зайчневский несут генетическую ответственность за «разрушительный порыв» современных «гошистов», за этот «новый прилив агрессивной мобильности, направленной на ломку дисциплинирующих нравственно-культурных и эстетических скреп человеческого существования»! Правда, авторы статьи пытаются толковать и о различии между русским «нигилизмом» XIX века и сегодняшними западными «леваками», чей «разрушительный порыв», как известно, далеко не ограничивается разрушением «нравственно-культурных и эстетических скреп во имя нестесненного будто бы творческого акта и раскованности жизненных сил», но выливается и в открыто политическую, причем – провокационную террористическую деятельность. В чем же, по мнению авторов статьи «Нигилизм», это различие? «Анархический нигилизм леворадикального авангарда... – утверждают они, – вдохновлен, по сравнению с русским молодежным нигилизмом 19 века, не культом научного разума (!), а жаждой раскрепощения инстинктов; не коллективным пафосом «общего дела», но индивидуальной задачей самораскрепощения. Однако, – подводят итог авторы статьи, – при всем различии идейного арсенала оба направления сходятся в пренебрежении к накопленному человечеством гуманистическому капиталу, в обеднении и вульгаризации человеческого мира». Как видите, различие весьма относительно, зато антигуманистическое сходство, так сказать, абсолютно!

И ход мыслей, и конечный вывод авторов статьи «Нигилизм» в «Краткой литературной энциклопедии» исполнены антиисторизма.

Отход от принципа историзма проявляется здесь не только в сравнительно мелких неточностях, когда Л. Андреев оказывается поставленным в один ряд с Арцыбашевым в качестве представителей «усталого европейского нигилизма «конца века» и идущего ему

вослед русского декаданса 20 века». Антиисторизм – в принципиальной установке статьи, которая, насилуя, по сути дела – перечеркивая истину истории, пытается объединить лед и пламень, точнее – пламень и лед, представить тенденции глубоко враждебные друг другу, полярные, взаимоисключающие – глубочайший исторический оптимизм революционных демократов и черный, как ночь, исторический пессимизм и в самом деле – усталого европейского нигилизма «конца века» и идущего ему вослед декаданса века XX – тенденциями внутренне чуть ли не родственными, органически взаимосвязанными, растущими друг из друга и переходящими друг в друга. Этот научный, а одновременно, с точки зрения этики исследования, и нравственный релятивизм достигается, как уже подчеркивалось выше, путем перетолкования самого понятия «нигилизм» в применении к традиции русской революционной демократии, игнорированием того исторического факта, что на самом деле Писарев и его товарищи по журналу «Русское слово», не говоря уже о Чернышевском и Добролюбове, Белинском и Герцене, «нигилистами» в точном, истинном значении этого слова никогда не были.

Зашифровка этого основополагающего факта достигается различными путями – и, в частности, попыткой ввести в историю русской общественной мысли и освободительного движения фигуру Нечаева, как якобы вполне органическую, выражающую нравственную суть этого движения, часть. Мне уже приходилось, в связи с этим, вести в свое время спор с Л. Аннинским[1], который вот так же походя, небрежно попытался представить Нечаева закономерным порождением и проявлением «интеллигентской» морали XIX века. Слово «интеллигентская» мораль в контексте высказываний Л. Аннинского, в известной традиции русской философской мысли начала века, означала «демократическая мораль», мораль, вызванная к жизни русским освободительным движением, деятельностью русской революционной демократии. Концепции этой морали, утверждает Л. Аннинский, вырабатывались «в эпоху Нечаева и Клеточникова, когда,

[1] См.: Кузнецов Феликс. За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики. М., 1978, с. 309–312.

с одной стороны, копилось презрение и гнев непризнанных героев, а с другой — тупая и черная ненависть «непросвещенной массы»... Нынешний интеллигент, представший нашей литературе сегодня, век спустя после того, как Нечаев убил презренного Иванова, а Прыжов пошел отбывать каторгу, а Клеточников — служить в III Отделение, — нынешний интеллигент, во всяком случае, достоин принципиально нового подхода, и мораль какая угодно, только не «интеллигентская».

Оставляя в данном случае в стороне вопрос, какой «морали» достоин «нынешний интеллигент», скажу одно: обязательным качеством этой морали в любом случае должно быть стремление к истине фактов и выводов, в особенности когда обращаешься к столь животрепещущим фактам отечественной истории. В наш век разгула провокационного терроризма и человеконенавистничества на Западе слишком часто мы сталкиваемся с попытками наших идеологических противников представить дело так, будто весь современный западноевропейский нигилизм и терроризм растут чуть ли не из русской демократической традиции, — и именно зловещая и страшная фигура Нечаева, принципиальный аморализм и действительный нигилизм которого были полярно противоположны традициям и принципам революционной демократии, русского освободительного движения, особенно широко и часто используются в борьбе с нами для доказательства этой абсурдной и противоестественной мысли.

Вот почему я и оспорил данное, крайне неточное по фактам, выводам, самой логике мысли размышление Л. Аннинского, объединившего «героического нечаевца» Прыжова, а также «террориста» Клеточникова с Нечаевым. Прыжова и Клеточникова, их историю, их судьбу мало кто знает, а вот что такое «нечаевщина», да еще в сочетании с «терроризмом», знают все. И стоит только сказать, как это делает Л. Аннинский, что концепции «интеллигентской» морали выработаны в «эпоху Нечаева и Клеточникова», когда, с одной стороны, «копились презрение и гнев непризнанных героев», а с другой — тупая и черная ненависть «непросвещенной массы», чтобы для широкого читателя стал очевиден ее полный аморализм...

Нельзя связывать с «нечаевщиной» ту концепцию русской демократической интеллигенции и морали, ко-

торая к Нечаеву как раз никакого отношения не имела, которая формировалась под воздействием проповеди «Колокола» и «Современника», «Русского слова» и «Отечественных записок». И не Нечаев, даже не Клеточников, но освободительное движение демократов и разночинцев сформировало «концепцию интеллигенции» того времени, равно как и так называемую «интеллигентскую» мораль, на самом деле мораль революционно-демократическую. И формировалась эта мораль как раз в непримиримом отталкивании от Нечаева и «нечаевщины», — аморализм и нравственно-этический нигилизм Нечаева сослужил, как известно, даже полезную службу, заставив народников с особой щепетильностью и тщательностью относиться к этике революции.

И вот теперь уже на страницах «Краткой литературной энциклопедии» мы вновь встречаем попытку с помощью ссылки на Нечаева бросить тень на традиции русской революционной демократии. И методология та же самая: объединение деятельности Нечаева на этот раз с деятельностью известного революционера-шестидесятника П. Г. Зайчневского, когда поставлен знак равенства между действительно нигилистически-разрушительной прокламацией Нечаева «Начала революции» и известной революционной прокламацией 1860-х годов «Молодая Россия», принадлежащей кружку Зайчневского, к которому, как показано выше, по всей вероятности, примыкал и В. Зайцев. Обе эти прокламации будто бы в равной степени содержали «апологию «чистого разрушения».

Однако П. Г. Зайчневский и прокламация «Молодая Россия» при всей незрелости революционно-демократических позиций, выраженных в этой прокламации и деятельности кружка П. Г. Зайчневского, и в частности, при очевидном влиянии бланкистских идей, явной чрезмерности «ультрареволюционной» фразеологии, как известно, никакого отношения к аморализму Нечаева и «нечаевщине» не имели. В их умонастроениях, типичных, кстати сказать, для революционной молодежи шестидесятых годов, «апологии «чистого разрушения», призывов к разрушению ради разрушения, в отличие от Нечаева, не было.

Еще большей, я бы сказал — вопиющей натяжкой является здесь уравнивание современного «гошизма»

с его агрессивным разрушительным порывом с неким «русским молодежным нигилизмом XIX века», уравнивание, которое приводит авторов статьи «Нигилизм» к абсурдному выводу, будто «оба направления сходятся в пренебрежении к накопленному человечеством гуманистическому капиталу, в обеднении и вульгаризации человеческого мира».

В том-то и заключена принципиальная противоположность между нигилизмом подлинным и мнимым, то есть условным «нигилизмом» наших шестидесятников, что нигилизм, выросший из Шопенгауэра и утвердившийся в трудах Ницше и его последователей, и в самом деле перечеркивал все высшие, гуманистические ценности, накопленные человечеством в ту пору, тогда как русский «нигилизм» шестидесятых годов был подчинен высочайшей гуманистической задаче «решения вопроса о голодных и раздетых людях», борьбе с проклятием крепостничества и эксплуатации человека человеком ради счастья трудящихся людей и являл собой активный гуманизм.

5

Само слово «нигилизм» в нефилософском его значении употреблялось в Европе применительно к еретикам, неверующим и людям, безразличным к вере, давно – уже начиная с Августина [1]. Особенно часто оно употреблялось в годы, предшествовавшие Великой французской революции, и в пору самой революции. Точно так же, как и в России XIX века, слово это употреблялось тогда прежде всего противниками революционных материалистических идей, а иногда – и самими революционерами для условного обозначения тех же самых идей [2].

Однако во второй половине XIX века, начиная главным образом с Ницше, развивавшего определенные стороны учения Шопенгауэра, нигилизм в Европе утвердился как определенная философская система, как принцип отношения к жизни. При этом

---

[1] См.: Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий, с. 14.

[2] Там же.

ни Шопенгауэр, ни Ницше ни в коей мере не исходили в своих принципиальных философских установках из традиции революционной мысли — в Европе ли, в России, напротив — они утверждали свои концепции нигилизма, яростно отталкиваясь от тех концепций и идей, которые несли в себе заряд исторического оптимизма. Предшественниками Шопенгауэра и Ницше в их концепциях нигилизма явились отнюдь не французские просветители и не русские демократы, но такие реакционнейшие, доходившие до полного солипсизма фигуры, как, к примеру, Макс Штирнер, опубликовавший в 1845 году труд «Единственный и его собственность», в котором анархически перечеркивалось все, кроме воинствующего, полностью исчерпывающего мир эгоизма и индивидуализма личности, утверждался агрессивный анархический принцип «вседозволенности». «Мне, эгоисту, благо этого «человеческого сообщества» от души безразлично,— утверждал он.— Я лишь использую его» [1]. Философия прямо противоположная «разумному эгоизму» Писарева с его болезненно острым чувством ответственности за общее благо, за благо народа.

Выражая социальный и духовный кризис буржуазного общества, осознавая его как кризис всех человеческих идеалов и гуманистических ценностей, Ницше вопрошал: «Что обозначает нигилизм?» И давал следующий ответ: «*То, что высшие ценности теряют свою ценность*. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?» [2].

«Бог умер!» — заявлял он в своей книге «Так говорил Заратустра» (СПб., 1913, с. 329), имея при этом в виду не только смерть бога на небесах, но и отсутствие «бога», то есть — морали в душе как норму человеческого существования. А раз так, то «христианство, революция, отмена рабства, равенство прав, филантропия, миролюбие, справедливость, истина,— все эти великие слова имеют цену лишь в борьбе, как знамена, не как реальности, а как пышные наименования для чего-то совсем иного (даже противоположного!)» [3].

---

[1] Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий, с. 15—16.

[2] Ницше Ф. Полн. собр. соч., т. 9. М., 1910, с. 9.

[3] Там же, с. 53.

Приняв шопенгауэровскую позицию «обессмысленности» мира, Ницше утверждает философский и этический нигилизм как средство «переоценки всех ценностей», а в действительности — отрицания всех гуманистических, общечеловеческих ценностей, средство отмены принципиальной границы между добром и злом. На этой нигилистической основе и вырастает культ «сверхчеловека» в философии Ницше, равно как и культ войны.

Европейский нигилизм второй половины XIX века формируется как «мировоззренческая установка на отрицание духовных основ бытия» [1].

Небезынтересна оценка нигилизма Ницше одним из столпов экзистенциализма Хайдеггером, которому реакция Ницше на «обезбоженность» мира оказалась крайне близка. Ницше «понимал и переживал нигилизм», по мнению Хайдеггера, «как обесценение мира вообще, считая самой исчерпывающей характеристикой всеевропейского нигилизма «смерть Бога». Согласно его убеждению, бог европейской истории, а именно христианский, утратил свою значимость для человеческой воли, и вместе с ним пали его исторические «производные» — идеалы, нормы, принципы, цели и ценности» [2]. В итоге, «весь смысл сущего в целом теперь принципиально отсутствует» [3]; для классического нигилизма важно «вытравить», ради безграничной свободы человека, память о прежних лжеценностях и отменить предыдущую историю путем обличения обмана и самообмана, таящихся в полагании «вечных ценностей» [4].

На нигилизме, то есть на идее бессмысленности мира, и взрастает, по Ницше, сверхчеловек. «Новый порядок, — пишет в связи с этим Хайдеггер, — должен заключаться соответственно в безусловном господстве чистой силы над всей землей, и это господство должен осуществить человек, — не всякий человек и уж, разумеется, не прежний, живущий среди прежних ценностей, человек. Тогда какой же человек?» [5] А такой, отвечает Ницше, к которому присоединяется и Хайдег-

---

[1] Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий, с. 6.

[2] Там же, с. 17—18.

[3] Там же, с. 19—20.

[4] См.: там же, с. 23.

[5] Там же.

гер, сущность которого составляет «воля к власти», который взял на себя дело переоценки всех ценностей и прежде всего отмены добра и зла, с единственной перспективой возрастания своей власти и настроившийся на абсолютное владение землей [1].

Как видите, нигилизм в истинном смысле слова ведет к обесценению всех верховных ценностей. Он отказывает во всяком смысле человеческой жизни, в чем бы поиски этого смысла ни заключались: «усматривается ли этот смысл в торжестве нравственных законов, в приращении любви и гармонии, в движении к общему счастью или вообще в движении к чему бы то ни было, пускай даже к последнему концу, к ничто, — потому что этого смысла не существует» [2].

Что общего у этой философии жизни с позицией Писарева, деятельностью журнала «Русское слово», с подвижничеством русских революционных демократов в принципе? Более того — подобного рода философия чужда нашей отечественной мысли в принципе. Одной из немногих фигур, всерьез воспринявшей и далее развивавшей философию нигилизма в истории русской философии, был белоэмигрант, человеконенавистник Лев Шестов, который в своем труде «Апофеоз беспочвенности», написанном в начале века, справедливо связав нигилизм с беспочвенностью, объявил, вслед за своим вдохновителем Ницше, об алогизме и бессмысленности самой почвы человеческого существования.

Черные, человеконенавистнические, глубоко пессимистические идеи эти возникали на совершенно определенной классово-социальной почве, принципиально отличной от почвы, взрастившей идеи русской революционной демократии. Не случайно идеи эти вошли в историю европейской философии под названием «нигилизм предзакатной эпохи» (формулу эту дала печально знаменитая книга еще одного европейского нигилиста — Шпенглера, «Закат Европы»). Объединять, а тем более отождествлять русских революционных демократов и Шопенгауэра, Ницше, Шпенглера в одном, едином будто бы явлении, именуемом ниги-

---

[1] См.: Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий, с. 17—18.

[2] Там же, с. 42.

лизмом, — вопиющий антиисторизм, исторический нонсенс. Если русская революционная демократия в своем возникновении несла глубинные заряды исторического оптимизма и выявляла немалые потенции близившейся антифеодальной, крестьянской, демократической революции, то идеи Ницше, Шпенглера, Шестова возникали на волне страха перед близящейся революцией, в условиях глубочайшего духовного, идейного кризиса капитализма. Антинаучно говорить, как это сделано в статье «Нигилизм» в «Краткой литературной энциклопедии», о неких «общих, родовых чертах нигилизма как мирового феномена». Антинаучно связывать декаданс с Писаревым, не принимавшим даже намека на декаданс, в ту пору как действительные гносеологические корни декаданса общеизвестны: они — в том самом нигилизме «предзакатной эпохи», который был предчувствием, реакционным чувствованием близящейся революции.

О принципиальной разнице этих двух «нигилизмов», нигилизма подлинного и мнимого, не являющегося на самом деле нигилизмом, об органической связи нигилизма «предзакатной эпохи» с декадансом, с «арцыбашевщиной» с полной определенностью сказал в начале века в статье «Базаров и Санин. Два «нигилизма» марксистский критик В. Воровский.

Если же прослеживать родословную европейского нигилизма дальше, то никуда не уйдешь от того факта, что философия нигилизма, в лице таких ее представителей, как Ницше, Шпенглер, Хайдеггер и другие, оказалась соотнесенной с фашизмом — высшей фазой в развитии нигилистических идей.

Общеизвестны симпатии Хайдеггера или Шпенглера в конце его жизни к фашизму. И хотя тот же Шпенглер, как известно, отклонил прямое предложение национал-социалистов о сотрудничестве, вся его консервативно-националистическая деятельность в период Веймарской республики была близка фашизму. Хайдеггер в 1933 году в своей речи прямо приветствовал фашизм, хотя после 1936 года и отошел от прямого сотрудничества с национал-социализмом.

В свою очередь, теоретики национал-социализма старательно использовали те или иные положения Ницше, Шпенглера, Хайдеггера в своих целях, пытались положить их философию в основание своей человеконенавистнической идеологии, искажая, впрочем,

учения и этих реакционных философов[1]. Как указывают современные исследователи, именно Ницше, Шопенгауэр и Шпенглер «во всех монографиях о фашизме именуются предтечами гитлеровской «философии», именно на них «беспрестанно ссылались все нацисты»[2]. Процесс эксплуатации идей этих теоретиков нигилизма немецким фашизмом Д. Мельников и Л. Черная рисуют так: «К тому времени, когда Гитлер появился на политической арене, реакционных теоретиков, так сказать, растаскали на клочки. Каждый обыватель уже слышал что-то о «расе господ», о «белокурой бестии»,— сверхчеловеке Ницше, о том, что сильному все дозволено, о войне как о движущей силе общества. Эти обрывки мыслей, почерпнутых из различных политических, социальных и философских реакционных систем, стали мелкой разменной монетой западного мещанина. И этими-то разменными монетами воспользовался Гитлер, собрав их в одной «мошне» и дополнив собственными рассуждениями на тему дня... Больше всего отдельных положений заимствовали гитлеровцы у Ницше, Шпенглера и Шопенгауэра. Гитлер возвел Ницше в ранг величайшего ученого, предтечи национал-социалистического мировоззрения»[3].

Наконец, философия нигилизма, полного нравственного релятивизма и духовного отчаяния явилась своего рода теоретическим обоснованием того тотального аморализма, который охватил сегодня капиталистическое общество и который проявляет себя в эпидемии насилия и преступности, наркомании и порнографии, пароксизмах бездуховной «массовой культуры», давно перешагнувшей все рубежи дозволенного литературой и искусством так называемого декаданса. Логическим завершением развития нигилистической идеи в современном мире явилась угроза уничтожения человечества в термоядерной войне, исходящая от наиболее реакционных, человеконенавистнических кругов современного империализма, питающая в свою очередь самые разрушительные, античеловеческие, анти-

---

[1] См.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М., Изд-во АПН СССР, 1981, с. 75.

[2] Там же, с. 75.

[3] Там же, с. 75—76.

гуманистические химеры и фантазии современного буржуазного мира.

К числу таких самых зловещих химер относится волна терроризма, как «левого», так и «правого», который захлестнул современный Запад. Иные нечистоплотные идеологи очень хотели бы связать этот терроризм с русской революционной традицией, пытаясь уравнять эту традицию с «нечаевщиной», с «бесами» Достоевского, выразившими, как известно, самую суть «нечаевщины»; и на этом, явно фальшивом основании представить русскую революционную демократию, или, как они говорят, русский «нигилизм», чуть ли не идейной предтечей современного западного «гошизма» и мелкобуржуазного терроризма. Однако подмена эта очевидна, поскольку социальные, классовые и логические истоки этих антисоциальных явлений качественно иные. Истоки эти и в самом деле нигилистические, только это нигилизм доподлинный, антигуманистический, нигилизм, порожденный обреченным на смерть буржуазным, капиталистическим миром.

Как же не учитывать эти различия не только в генезисе, но и в последующей политической судьбе двух «нигилизмов» — мнимого, русского «нигилизма» шестидесятых годов XIX века и подлинного, классического европейского нигилизма в лице таких его представителей, как Ницше, Шпенглер, Шопенгауэр, Хайдеггер, — в особенности когда мы рассуждаем о некоем «мировом» нигилистическом «феномене»? Сводить воедино в этом едином «феномене» Базарова с Саниным, русских революционных демократов с Ницше и Шопенгауэром и более того — с современными «красными бригадами» — очевидная ошибка.

Ошибка эта, суть которой — в определении позиций Писарева и его товарищей, как позиций якобы подлинно нигилистических, не сегодняшняя. Однако она уже давно была преодолена нашей наукой. Преодоление этой ошибки было зафиксировано и в энциклопедиях. Так, в томе 4 «Философской энциклопедии», вышедшем в 1967 году, в статье «Писарев», написанной А. Володиным, великий русский критик, в полном соответствии с исторической истиной, предстает не неким нигилистом, но убежденным революционным демократом и утопическим социалистом, непримиримым борцом с самодержавием и крепостниче-

ством. Вместе с тем несомненная «парадоксальность» идей и творчества Писарева, «своеобразие его позиции внутри демократического лагеря», пишет А. Володин, «обусловили судьбу его идейного наследия в последующей идеологической борьбе». Характерная черта этой судьбы состояла в том, что Писарев был зачислен в родоначальники так называемого русского нигилизма, под которым понималось бездумное отрицание каких бы то ни было общественных ценностей (семьи, нравственности, красоты, искусства, философии, идеалов и т. п.). Этому в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что некоторые последователи Чернышевского, руководившие «Современником» после его ареста (Антонович и другие), не смогли понять позиции Писарева, смысл и содержание его добавлений к прежней политической программе, его настаивание на необходимости уточнения и конкретизации революционно-демократических идей в новых условиях. Оценка Писарева как отца русского нигилизма стала почти господствующей в русском литературоведении и историографии вплоть до конца XIX века. Первый серьезный отпор этого рода взглядам с марксистских позиций был дан В. И. Засулич («Писарев и Добролюбов»), которая, с одной стороны, показала необходимость определенных различий внутри демократической идеологии шестидесятых годов, а с другой,— охарактеризовав взгляды Писарева как дальнейшее развитие идей Добролюбова, подчеркнула те идейные нити, которые связывали творчество Писарева с русской социал-демократией. В. И. Ленин назвал статью Засулич о Писареве превосходной[1].

Так зачем же возвращаться вспять, к давно наукой отвергнутому, да еще печатать эти до очевидного неверные вариации на старые темы в «Литературной энциклопедии»?

Впрочем, не только в «Литературной энциклопедии». Попытка вновь представить Писарева в качестве «отца русского нигилизма», понимаемого как «бездумное отрицание» каких бы то ни было общественных ценностей, была подготовлена, как уже говорилось, в иных монографиях и исследованиях, в частности в книге А. И. Новикова «Нигилизм и нигилисты» (Л., 1972).

---

[1] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 183.

В книге А. Новикова в соответствии с методологией, принятой и в статье «Нигилизм» в «Краткой литературной энциклопедии», в общем «нигилистическом» ряду рассматриваются Писарев и Ницше, В. Зайцев и Л. Шестов, Шпенглер, Мережковский, В. В. Розанов, К. Леонтьев...

Продолжая этот ряд в современность, А. И. Новиков ведет речь о нигилизме «новых левых» и Маркузе, хиппи и «гошистов», о маоистском нигилизме в вопросах культуры и т. д. При этом объективно получается, что чуть ли не основоположником всех этих разнообразнейших проявлений нигилизма опять-таки был Д. И. Писарев.

Игнорируя принцип конкретно-исторического подхода, А. И. Новиков пытается уложить все эти разнообразнейшие социально-философские и историко-культурные явления в прокрустово ложе все той же единой абстрактной дефиниции — «нигилизм», не считаясь с тем, что в истории идей существует нигилизм реальный, действительный, подлинный и «нигилизм» как полемический ярлык, как условное уничижительное клеймо, которое преднамеренно было поставлено на революционно-демократических идеях их противниками в ходе идейной борьбы, ради их компрометации и морального уничтожения.

А. И. Новикову это различие будто бы неизвестно. Он утверждает: «При всех, подчас весьма существенных различиях между конкретными разновидностями нигилизма, например, между нигилизмом Ницше и Шестова, с одной стороны, и нигилизмом Писарева — с другой (о них пойдет речь дальше), должно же быть нечто общее, что дает право объединять их, обозначать одним и тем же словом»[1].

А. И. Новиков ищет общее, объективное, что объединяет столь поразительно различных людей, как Прудон, Ницше и Писарев, в единую систему «нигилизма», исходя из очевидно ложной посылки. Ложность этой посылки — в том изначальном чрезвычайно зыбком определении понятия «нигилизм», которое он дает в своей книге. «Слово «нигилизм»,— пишет Новиков,— образовано из латинского nihil (ничто). В об-

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 16.

щем и довольно абстрактном смысле нигилизм — это отрицание, негативное отношение к *определенным*, а то и ко всем сторонам общественной жизни» [1].

Если исходить из такого понимания нигилизма — «негативное отношение к определенным... сторонам общественной жизни», то в этом случае не только Писарева или русских революционных демократов в целом, но практически любое течение общественной мысли можно записать в «нигилизм», ибо негативное отношение к *определенным* сторонам общественной жизни свойственно практически любому как революционному, так и реакционному взгляду на жизнь. Разница будет лишь в том, к каким именно сторонам общественной жизни проявляется это негативное отношение.

В своей конкретизации понятия «нигилизм» автор выделяет четыре «черты» нигилистического сознания, объективно присущих, на взгляд А. И. Новикова, и Ницше, и Льву Шестову, и современному маоизму, и Прудону, и Писареву.

Что это за черты?

Во-первых, «гипертрофированное сомнение и отрицание различных духовных и социальных феноменов» [2], утверждает А. И. Новиков, акцентируя в данном случае количественную сторону, «степень отрицания». При этом игнорируется самое главное: что же отрицается и подвергается сомнению? То, что отрицается и подвергается сомнению развитием самой жизни, движением человеческой истории, как это имело место у Писарева и публицистов «Русского слова» и что к доподлинному нигилизму никакого отношения не имеет, или же «гипертрофированно отрицаются» позитивные, исторически здоровые, утверждающие себя в объективном развитии начала действительности? А между тем второе и есть нигилизм в истинном смысле этого слова.

Далее, «абсолютизация субъективного, точнее индивидуального, начала, оценка действительности с позиций атомизированного индивида, отвергающего объективные закономерности, логику истории, коллективные интересы социальных общностей людей» [3]. Но

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 10. Курсив мой.— *Ф. К.*

[2] Там же, с. 16.

[3] Там же.

в таком случае эта черта опять-таки присуща в первую очередь тем «отрицателям», которые находятся в противоречии с объективным ходом и развитием человеческой истории, отвечают на вызов истории негативизмом своеволия и индивидуализма. Как мы убедились, внимательное прочтение текстов журнала «Русское слово» не дает оснований утверждать, будто в основе их деятельности лежала абсолютизация субъективного начала, игнорировавшего логику истории и коллективные интересы социальных общностей людей. Наоборот: их деятельность соответствовала, отвечала логике истории, способствовала преодолению феодализма и крепостничества в России, отвечала коллективным интересам самой главной социальной общности людей той эпохи – русскому крестьянству.

Третья черта: «нигилисты используют в борьбе против тех или иных действительно устаревших (?) социальных и культурных форм наихудшие способы действия, порождаемые отрицаемым им обществом (аморализм, граничащий с преступностью, разрушение подлинных культурных ценностей, отрицание общечеловеческих норм общежития)»[1]. Это утверждение, при некоторых неточностях, тем не менее ближе всего подходит к выявлению истинной сущности нигилизма. Суть нигилизма, как уже подчеркивалось, отнюдь не в сомнении и отрицании; суть нигилизма в духовном и нравственном, социально-философском релятивизме, внутреннем аморализме, в принципиальном отрицании ценностей общечеловеческой культуры и нравственности, в сознательном стирании границ между добром и злом. Нигилизм борется не против «устаревших социальных и культурных форм» (против них ведет борьбу история, революционное общественное самосознание, которое лишь его враги, защитники этих устаревших форм жизни выдают за «нигилизм»), он отвергает человека и его ценности в принципе. Но разве такого рода позиция свойственна Писареву и журналу «Русское слово» с их обостренным этическим пафосом, полной поглощенностью заботой о голодных и раздетых людях?

В-четвертых, пишет А. И. Новиков, «существенной особенностью различных форм нигилизма является крайняя слабость и аморфность позитивной про-

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 17.

граммы, занимающей в структуре форм нигилистического сознания совершенно ничтожное место»[1]. Но это опять-таки к Писареву и журналу «Русское слово» отношения не имеет; как было показано выше, именно позитивная программа, поиски путей преобразования российской действительности составляли важнейшее, главное направление деятельности Писарева и публицистов «Русского слова».

Таким образом, ни общее, исходное определение «нигилизма», ни выделенные Новиковым характерные черты его не дают основания объявлять Писарева и его товарищей по журналу нигилистами. Этот термин в применении к ним может употребляться лишь в той условной привычно-полемической форме, в какой он употреблялся современниками, прекрасно понимавшими особую «модальность» этого термина. Когда, к примеру, Б. П. Козьмин писал свою известную работу «Раскол в «нигилистах», он не случайно ставил это слово в кавычки, подчеркивая тем самым назывную условность этого термина. Научная же терминология, которая употребляется в советской науке для обозначения мировоззренческих позиций Писарева, лежит совсем в другом ряду: просветитель, революционный демократ, на худой конец – радикал...

Вот почему столь странна теоретическая «новация» в книге А. И. Новикова, которая заключается в том, чтобы наряду с категориями «просветительства», «народничества», «революционной демократии», подробно обоснованными в трудах В. И. Ленина и нашей историографии, ввести в научный оборот новую дефиницию: «революционный нигилизм», представить Писарева, в отличие от революционных демократов Чернышевского, Добролюбова, Герцена, неким «революционным нигилистом».

Понимая, что у него не сходятся концы с концами в некой единой теории «нигилизма», объединяющей, скажем, Писарева и Ницше, А. И. Новиков, наметив «четыре черты» некоего единого «нигилизма», далее подразделил его на «революционный» и, так сказать, «реакционный» нигилизм, опираясь на вырванное из контекста, всего лишь один раз встречающееся у Ленина выражение: «революционный нигилизм».

---

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 17.

В работе «Попятное направление в русской социал-демократии», характеризуя современный ему оппортунизм, занимающийся и проповедью попятного движения и пропагандой разрушения социализма, Ленин писал: «Вот это именно нигилизм, но только не революционный, а оппортунистический нигилизм, который проявляют либо анархисты, либо буржуазные либералы» [1].

Из данного контекста следует, что если анархисты и буржуазные либералы проявляют «оппортунистический нигилизм», то возможен и другой – «революционный нигилизм», который бывает свойствен иным социальным силам, скажем – революционным демократам или народникам. Под «оппортунистическим нигилизмом» Ленин понимает здесь «разрушение социализма» – в противовес «разрушению» основ старого общества, что есть, по его мнению, «нигилизм революционный».

А. И. Новиков на основании этого высказывания В. И. Ленина пытается сконструировать целую теорию о некоем социальном явлении, именуемом «революционным нигилизмом», ставя его в ряд с анархизмом, революционной демократией и т. д. Он утверждает, к примеру, что в работах Ленина «Гонители земства и Аннибалы либерализма», «Из прошлого рабочей печати в России», «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция», «Роль сословий и классов в освободительном движении» «подробно охарактеризован главный носитель идеологии и психологии нигилизма – разночинец. Принципиально важные оценки рассматриваемого явления (то есть нигилизма. – *Ф. К.*) мы находим в ленинском конспекте-плане лекций по аграрному вопросу. Характеризуя целую полосу общественной мысли, «целое миросозерцание, начиная от Герцена и кончая Н-оном», Ленин отмечает, что ее историческое значение – в идеализации борьбы с крепостничеством. Эта характеристика в полной мере относится и к нигилизму» [2].

Но это умозаключение основано в лучшем случае на недоразумении. Достаточно открыть перечисленные автором работы Ленина – «Гонители земства и Аннибалы либерализма», «Из прошлого рабочей печати

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 262.
[2] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 37–38.

в России», «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция», «Роль сословий и классов в освободительном движении», — чтобы убедиться: ни в одной из них нет и намека на «нигилизм», даже слово, понятие это здесь отсутствует. В них и в самом деле подробнейшим образом охарактеризован разночинец, но как ведущая фигура народнического движения, главный носитель революционно-демократической идеологии. Что же касается ленинского конспекта-плана лекций по аграрному вопросу, равно как и приведенной выше ленинской цитаты, где характеризуется «целая полоса общественной мысли», «целое миросозерцание», то у Ленина прямо говорится, что речь в данном случае идет о *народничестве*. Как же можно эти важнейшие ленинские положения, характеризующие суть народничества, механически и произвольно перебрасывать на *нигилизм*, пытаясь столь странным, явно антинаучным способом убедить читателя, будто Лениным разработана якобы широкая и всесторонняя теория «революционного нигилизма»!

В действительности такой теории не существует, а есть одно-единственное высказывание, из которого следует, что, по общепринятой традиции прошлого — начала нынешнего века, Ленин условно употребил слово «нигилизм» в применении к революционной традиции, понимая под «революционным нигилизмом» ниспровержение, разрушение основ существовавшего в ту пору эксплуататорского общества. В таком значении это слово применимо и к Чернышевскому, и к Писареву, и к революционерам вообще. Однако вряд ли случайно, что, возвращаясь постоянно в этой и других своих статьях к опыту русской революционной демократии, он нигде и никогда «нигилистами» никого из них не называет.

Из этого высказывания В. И. Ленина, имеющего свою конкретную привязанность к месту и времени, А. И. Новиков делает чрезвычайно далеко идущие выводы. «Русский «революционный нигилизм» получил всестороннюю характеристику в работах Герцена, Писарева, в статьях «Русского слова»[1], — утверждает А. И. Новиков, заявляя, будто имя «нигилистов» «с гордостью носили авторы демократического журнала «Русское слово» и группировавшаяся вокруг него мо-

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 32.

лодежь»[1]. Когда и где публицисты «Русского слова» с гордостью называли себя «нигилистами»? Откуда все это взято? Где, в каких статьях Герцена, Писарева, «Русского слова» вообще давалась «всесторонняя характеристика» «революционного нигилизма»? Где, в каких работах Писарев выступал «историком и теоретиком нигилизма, считая себя «его талантливейшим представителем»?[2] На каком основании исследователь считает, будто то «широкое общественное движение», к которому принадлежал Писарев, *«по праву* именовалось нигилистическим»?[3] Как уже подчеркивалось, в противовес понятию «нигилизм» Писарев ввел в русскую общественную мысль понятие «реализм», считая себя историком, теоретиком, представителем именно «реализма», но уже никак не *нигилизма*, а если и использовал этот термин, то именно так, как писал о том Герцен, то есть условно, фигурально, часто иронически.

Наконец, почему, к примеру, М. А. Антоновича А. И. Новиков считает «выдающимся деятелем революционно-демократического лагеря»[4], а Д. И. Писарева — пусть и талантливым, но всего лишь «нигилистом»? Где грань между «революционной демократией», куда А. И. Новиков относит целый ряд деятелей шестидесятых годов, включая, как вы видите, Антоновича, и «революционным нигилизмом», куда он помещает Писарева и других публицистов и критиков «Русского слова?»

Грань, по мнению А. И. Новикова, заключается в следующем: «Если революционная демократия выступала как определенное общественное движение со своей философской и социально-политической программой, то этого никак нельзя сказать о нигилизме... Революционный нигилизм выступал не как цельное мировоззрение, а как аморфное, с расплывчатыми границами умонастроение и мироощущение, объединенное неприятием существующей действительности, ее радикальным отрицанием»[5].

Но разве применимо к программе «Русского слова», к позициям Писарева, Благосветлова, Зайцева,

---

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 9.
[2] Там же, с. 39.
[3] Там же, с. 49. Курсив мой. — *Ф. К.*
[4] Там же, с. 65.
[5] Там же, с. 68.

Шелгунова, Соколова такого рода определение? Разве можно сказать, что их идейные, политические позиции, с достаточной отчетливостью, как мы убедились, выраженные на страницах «Русского слова», не есть «цельное мировоззрение», но всего лишь «аморфное, с расплывчатыми границами умонастроение и мироощущение»? При всей спорности, подчас – просветительской ограниченности позиций Писарева и его сподвижников по журналу или же проявлениях «детской болезни «левизны», вне всякого сомнения, мы имеем дело с революционно-демократическим мировоззрением, но на новом в сравнении с Чернышевским и Добролюбовым этапе, утверждавшимся и по-своему проявлявшим себя прежде всего и главным образом в сложных условиях пореформенной реакции и спада революционной волны второй половины шестидесятых годов.

Видимо, осознавая всю неточность сведе́ния творческого наследия и общественной деятельности Писарева к нигилизму, А. И. Новиков, в противоречие своим же собственным утверждениям, вынужден признать, что «концепция нигилизма» Писарева «впоследствии(?) стала элементом более общей теории реализма как особого типа мировоззрения, как одной из форм революционно-демократической идеологии»[1], подчеркнув, что под «концепцией нигилизма» Писарева он понимает «черты резко критического взгляда на мир, решительного и бескомпромиссного отрицания устаревших форм жизни»[2]. Но зачем же нам-то, как бы продолжая традицию Каткова и других противников революционной и социалистической идеологии, именовать «резко критический» взгляд на самодержавно-крепостническую действительность, «решительное и бескомпромиссное отрицание устаревших форм жизни» «нигилизмом»? Ведь это отрицание велось Писаревым и его сподвижниками ради утверждения высочайших демократических и гуманистических идеалов, выраженных в пусть и ограниченных, но для своего времени глубоко прогрессивных формах утопического социализма!

Можно ли соотносить его, к примеру, с нигилизмом Ницше, для которого, как справедливо подчерки-

---

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 74.
[2] Там же.

вает Новиков, характерно как раз «отрицание всех сложившихся ценностей, к которым Ницше относит прежде всего ненавистные ему традиционные ценности: христианство, революцию, отмену рабства, равенство прав, филантропию, миролюбие, справедливость и истину» [1].

Наиболее последовательный представитель русского «ницшеанства», философ и литературный критик Лев Шестов, примыкавший к группе «Вех», ненавидевшей русскую революционную демократию, писал в своей работе «Достоевский и Ницше»: «Сократ, Платон, добро, гуманизм, идеи — весь сонм прежних ангелов и святых, оберегавших невинную человеческую душу от... скептицизма и пессимизма, бесследно исчез в пространстве, и человек испытывает страх одиночества» [2]. Пытаясь представить Достоевского единомышленником Ницше, а самого Достоевского уравнять с «подпольным человеком», Л. Шестов подводит следующий итог духовных исканий Достоевского, а в конечном счете и всего человечества. «Что имел он взамен прежних убеждений?» — задает вопрос Шестов. И отвечает: «Ничего» [3].

Нигилист Шестов, нигилист без кавычек, отвергает практически все духовные и нравственные ценности, выработанные человечеством: гражданские убеждения, веру в разум, разграничение добра и зла, науку и просвещение. «Неужели и теперь, когда все так ясно осознали бессилие разума, имеет смысл считаться с его потребностями?» [4] — вопрошает он. Философский, гносеологический нигилизм сочетается у Л. Шестова с нигилизмом этическим. Он утверждает нравственный релятивизм как норму. «С наукой невозможно бороться, — утверждает он, — пока не будет свалена ее вечная союзница — мораль» [5].

Отрицание моральных ценностей, ценностей науки, мировоззрения, человеческих идеалов приводит Л. Шестова к своеобразному интеллектуальному «демонизму», когда, перефразируя известные строки

---

[1] Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты, с. 118.

[2] Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии). Берлин, 1922, с. 14.

[3] Там же, с. 18—19.

[4] Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления). СПб., 1905, с. 4.

[5] Там же, с. 10.

Пушкина, он патетически восклицает: «Да скроется солнце, да здравствует тьма!»[1] Это и есть подлинное кредо нигилизма в работе «Апофеоз беспочвенности», развернутое Л. Шестовым в целую теоретическую программу. «Пусть с ужасом отвернутся от нас будущие поколения, – глаголет здесь Л. Шестов, – пусть история заклеймит наши имена, как изменников общечеловеческому делу, – все-таки мы будем слагать гимны уродству, разрушению, безобразию, хаосу, тьме. А там хоть трава не расти»[2].

Вот он, нигилизм в доподлинном, сатанинском своем обличье, выявивший до конца истинную свою суть, заключающуюся как раз в циническом, извращенном отрицании «общечеловеческого дела», общечеловеческих ценностей. Духовный нигилизм и сегодня составляет теоретическую основу процессов дегуманизации жизни и искусства, которые столь бурно утверждают сегодня себя на Западе – в форме ли культа насилия, в аморализме, порнографии, различного рода человеконенавистничестве.

Никак нельзя – не получается! – выстраивать некую абстрактную схему единого «нигилизма» с какими-то общими объективными типологическими его «чертами», искусственно подгоняя сюда то явление, которое А. И. Новиков называет «революционным нигилизмом», имея в виду при этом Писарева и его сподвижников, и который на самом деле к подлинному нигилизму отношения не имеет, выстраивая в один ряд, к примеру, Писарева и Л. Шестова, являющихся антиподами, непримиримыми идейными врагами.

Объявлять русских демократов, решительно и бесповоротно отрицавших устаревшие, феодально-крепостнические формы жизни, «нигилистами» – это катковская традиция, и она умело используется нашими идеологическими противниками в сегодняшней борьбе. Вот как, к примеру, характеризует русский «нигилизм» известный американский «советолог», яростный враг нашей страны Ричард Пайпс: «Нигилист – это человек новой породы, это западный позитивист, преувеличенный до гротеска. Нигилист ставит под сомнение существующие институты – семейные, государственные, церковные, этические нормы, нравы и готов

[1] Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления). СПб., 1905, с. 119–121.

[2] Там же, с. 158.

отбросить или разрушить их, если они не совпадают с его утилитарными и материалистическими критериями. Поскольку нигилист не ограничивается словами и готов перейти к делу, он становится навязчивой идеей консерваторов. Для русских консерваторов 1860–1870 годов нигилист не был фигурой преходящей, – он олицетворял все зло западной культуры вообще и русского западничества в особенности. Нигилист становится предзнаменованием ужасных событий. В самом общем смысле русский консерватизм после 1860 годов представляет собой теорию антинигилизма, попытку создать альтернативу страшному призраку «нового человека» Чернышевского, представшему перед русским обществом» [1].

Здесь сплошные неточности, сплошные искажения и аберрации. И прежде всего – попытка представить Чернышевского и его единомышленников явлением, чуждым России, искусственно перенесенным с почвы «западной культуры», явлением утилитаризма и «западного позитивизма», «преувеличенным до гротеска». Выше мы подробно рассматривали эту проблему и показали, сколь сложен был взгляд русских революционных демократов на современный им западный позитивизм, насколько выше были их общественные позиции воззрений Бокля, Конта и других позитивистских столпов, сколь несправедливо сводить всю сложность их общественных воззрений к утилитаризму.

Однако даже и столь необъективный и недоброжелательный к нашей стране историк, как Пайпс, не в силах исказить главное: так называемый «нигилизм», возникший в России на переломе шестидесятых годов, на самом деле есть не что иное, как революционный противник государства и церкви, феодально-крепостнических нравов и норм.

7

Не будем забывать, что обвинения и упреки в адрес русских революционных демократов в их «прозападной» ориентации, в чрезмерно критическом отношении

---

[1] Пайпс Ричард. Русский консерватизм во второй половине XIX века. – Материалы XIII Международного конгресса исторических наук. Москва. 16–23 августа 1970 г. М., Наука, 1970.

к миру, к окружавшей их самодержавно-крепостнической действительности, в чрезмерном рационализме и утилитаризме, в «нигилизме» и прочих смертных грехах высказывали прежде всего и главным образом консерваторы, «охранители» самодержавно-крепостнических устоев, то есть их идейные противники. Борьба с русской революционной демократией на протяжении всей второй половины XIX века велась не на жизнь, а на смерть, и здесь Пайпс прав: весь русский консерватизм XIX столетия так или иначе являет собой «теорию антинигилизма», ответ правящих классов царской России на вызов, брошенный революционными демократами. Это наложило своеобразную печать на все теоретические искания русского консерватизма второй половины XIX века, на творчество ведущих представителей русской консервативной мысли – Ивана Аксакова, Аполлона Григорьева, Страхова, Самарина, Каткова, а позже – Данилевского, К. Леонтьева, Победоносцева и других.

Обратимся еще раз к свидетельству нашего сегодняшнего идейного противника. Пайпс в своем докладе «Русский консерватизм во второй половине XIX века» так характеризует «антинигилистические» искания консерваторов: «Причины нигилизма консерваторы обычно видят в расхождении теории и практики. Они питают отвращение к «абстракциям». Они согласились бы с Гете, что жизнь соответствует теории так же, как человеческое тело соответствует распятию. Консерваторы встают на позиции номинализма, они превозносят жизнь. Консерваторы пытаются создать терминологию, используя язык биологии, точно так же радикалы используют для этой цели язык механики. В философии консерваторы тяготеют скорее к Шеллингу, а не к Гегелю и отдают предпочтение «Вернунфт» или тому, что Катков называет «живым знанием», перед «Фершанд» – аналитическими выводами. В отвращении к абстракциям дальше всего заходят два ведущих эстета консервативного движения – А. Григорьев и К. Леонтьев. Григорьев почти безоговорочно отрицает рациональность любого абстрактного мышления. Он верит только в реальную жизнь во всех ее проявлениях. Герой одного из его романов знаменательно назван «Виталием» – живым, живущим. Леонтьев не расположен формулировать абстрактные теории; во всех его произведениях подчеркивается гла-

венство произвольного, характерного, яркого. Этика для него только ветвь эстетики. Осуждение «абстракции» можно найти в произведениях Самарина, Аксакова и большинства других консервативных писателей» [1].

Отношение Пайпса к русскому консерватизму двойственно. С одной стороны, ему явно по душе его «отвращение к «абстракциям», под каковыми и русские консерваторы, и «советолог» Пайпс разумеют революционные и социалистические «теории». «Для консерваторов, — пишет он, — борьба людей за преобразование общества по отвлеченным схемам не только самонадеянность или наглая гордыня, как таковая всегда обреченная на поражение, — для них это разрыв всех связей с источником созидания. Это хуже, чем безумие, это духовная смерть» [2].

В своем неприятии революции и социализма Пайпс готов вместе с консерваторами на крайнее; он готов даже ругать Запад, коль скоро, на взгляд консерваторов, революционные и социалистические идеи — «западного» происхождения, он готов принять атаки консерваторов «на абстракцию и индивидуализм», хотя они и носят, оговаривается Р. Пайпс, «чисто русский характер».

Но до конца даже русский консерватизм Пайпс, в силу своей очевидной русофобии, особенно ярко выраженной в его книге «Россия при старом режиме» (Нью-Йорк, 1980), принять, естественно, не может. Его ограничивает здесь прежде всего то, что даже этот «новый консерватизм», как он пишет, в лице ряда его представителей был опять-таки демократическим, ориентировался на «народ»! На «почву»!

«Абстракции» потому и завладели умами молодежи, что «западничество» с легкой руки Петра разделило «образованные классы» и «народ». «Вне народной почвы нет основы, вне народного нет ничего реального, жизненного, и всякая мысль благая, всякое учреждение, не связанное корнями с исторической почвой народной или не выросшее из нее органически, не дает плода и обращается в ветошь» [3], — утверждал, к при-

[1] Пайпс Ричард. Русский консерватизм во второй половине девятнадцатого века. — Материалы XIII Международного конгресса исторических наук.

[2] Там же.

[3] Аксаков И. Соч., т. II. М., 1886, с. 3—4.

меру, И. Аксаков, для которого качество «народности» было ключевым в не меньшей, если не в большей степени, как ему казалось, чем для революционных демократов.

Русская консервативная мысль обращалась к «народу» не столько в силу социального сочувствия к нему (хотя у «ранних» славянофилов присутствовали и эти моменты), сколько потому, что в «простом», не «испорченном» западной цивилизацией и образованием «народе» они видели нетронутый резервуар, незамутненный источник национального духа. Их концепция «народа» и «народности» коренным образом отличалась от понимания народа русскими революционными демократами.

К сожалению, это коренное различие в понимании народа, в толковании качества «народности», свойственное двум линиям русской общественной мысли прошлого века, не всегда осознается в нашей критике даже сегодня.

Культ «народа» в концепциях «ранних» славянофилов, в идеологии русского консерватизма вообще, при недостатке конкретно-исторического подхода к самому понятию «народ», при отсутствии системного анализа данной категории и сравнительного ее места, роли и значения в мировоззрении, скажем, революционных демократов и славянофилов, может приводить современного исследователя к неожиданным историческим аберрациям. И, в частности, к эклектической ориентации как на тех, так и на других, коль скоро и те и другие выступали за «народ», утверждали в жизни и литературе «народность». И более того — эта историческая аберрация может приводить некоторых, методологически незрелых исследователей даже к переориентации в отношении к традиции, когда в качестве желанных предшественников, по целому ряду признаков, начинают выступать не русские революционные демократы, но ранние славянофилы, а то и русская консервативная мысль второй половины XIX века в лице К. Леонтьева, Вл. Соловьева или даже В. В. Розанова. Тогда и возникают парадоксы, вроде рассматриваемого в данной статье, когда исследователи, направляющие свои стопы, казалось бы, в разные, противоположные стороны, сходятся в одной точке — в необъективной оценке наследия русских революционных демократов.

Нет спора, и у «ранних» славянофилов, и у «поздних» консерваторов, людей, как правило, ярких, талантливых, убежденных, можно найти немало интересного и даже небесполезного для понимания всех сложностей историко-литературного и общественного движения XIX века. Но в увлечении полемикой с современным «рационализмом», в некритическом восприятии «органической» методологии и терминологии того же Аполлона Григорьева нельзя забывать, думается, об идейных и политических позициях консерваторов, убежденных борцов с идеями революции и социализма, борцов с нашими предтечами, нельзя забывать о нашем идейном первородстве, которое заключается в традициях русской революции, русского освободительного движения, в традициях крестьянской, а потом – пролетарской демократии. Нельзя забывать, что в истории русской общественной мысли именно революционные демократы были крестьянскими демократами, убежденными и страстными представителями интересов и чаяний народных, народными заступниками от гнета самодержавия и крепостничества, помещиков и капиталистов. Именно они, демократы-разночинцы, а не московские «баре» – славянофилы, игравшие, по сути дела, в «народ» и «народность», были доподлинными выразителями души и надежд русского крестьянства, и составлявшего в XIX веке в основном и главным образом русский народ. Именно они в первую очередь с риском для жизни и судьбы взяли на свои плечи великую и трудную историческую долю борьбы с самым главным и ненавистным врагом русского народа – крепостничеством. Вот почему особенно странно, что симптом некоторого «отделения» от революционно-демократической традиции, внутренней, далеко не всегда обоснованной полемики с ней в пользу и защиту традиции иной, противоположной, представленной такими именами, как тот же Аполлон Григорьев или Страхов, мы наблюдаем у некоторых наших критиков и литературоведов, исповедующих верность принципу народности.

Прямая обязанность советского литературоведения – утверждать и развивать наше великое духовное наследие – традиции русской революционно-демократической критики. Историческая реальность такова, что практически все успехи великой русской литературы XIX века так или иначе, прямо или опосредован-

но связаны с русским освободительным движением — вначале с декабризмом, потом — с революционной демократией. Вспомним в этой связи ленинскую оценку колоссального по своим масштабам творчества Л. Н. Толстого: «зеркало русской революции».

За последние годы, а тем более десятилетия, выявляя растущий гуманистический потенциал социализма, в отношении к наследству мы проявляем мудрость и широту, стремясь включать в культурный оборот все гуманистически ценное в духовной жизни минувших эпох. Советской наукой осмыслены и освоены как принадлежащая социализму ценность наследие Достоевского — при всей глубине и разительности его противоречий, наследие Тютчева и Фета, многих других. Стал более широким взгляд на ранних славянофилов, на того же Аполлона Григорьева, более глубоко и диалектично наша наука рассматривает творчество даже таких критиков, как почвенник Страхов или либерал Дружинин.

Все эти перемены благотворны. Но они не должны идти за счет уступок нашей марксистско-ленинской научной методологии, за счет уступок в вопросе принципов, и прежде всего — принципа историзма, за счет исторической истины, за счет утраты наших социально-классовых позиций. С точки зрения исторической истины неправильно пытаться утверждать, к примеру, Аполлона Григорьева за счет Добролюбова или Писарева, ибо историческая роль и значение для отечественной литературы, для русской общественной мысли, скажем, Аполлона Григорьева, Дружинина или Страхова — одни, а Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева другие, несоизмеримые с первой.

И мы отказались бы как от исторической правды, так и от своего революционного, социалистического первородства, если бы забыли об этом.

Слово Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Щедрина и Писарева, их сподвижников, оказало решающее воздействие не только на судьбы литературы, но и на формирование общественного самосознания, того самого самосознания, которое явилось предтечей ленинизма и в конечном счете привело Россию к Великой Октябрьской социалистической революции.

Будучи, помимо всего прочего, и глубоко патриотическим, гражданственным самосознанием, самосо-

знанием угнетенного русского крестьянства, глубоко *народной* идеологией, наследие русских революционных демократов являет собой наше уникальное достояние, нашу национальную гордость и одновременно — вечно живое наследие, наше сегодняшнее боевое оружие.

Ибо в своих исходных, принципиальных позициях, в конечном взгляде революционных демократов на непростые литературные явления прошлого века и сегодня куда больше не опровергнутой временем исторической истины, конкретного историзма, доказательности, аргументированности, чем в некоторых коррективах наших новейших критиков.

Как тут не вспомнишь вещие слова Чернышевского:

«Надобно еще спросить себя: точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?.. Источник не иссякает оттого, что, лишившись людей, хранивших его в чистоте, мы по небрежности, по легкомыслию допустили завалить его хламом пустословия. Отбросим этот хлам,— и мы увидим, что в источнике еще живым ключом бьет струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду...»

Эти слова великого критика в полной мере относятся и к наследию Д. И. Писарева, к его боевым соратникам по журналу «Русское слово».

1981

ОБ УВАЖЕНИИ К ИСТОРИИ[1]

Углубление чувства историзма, неподдельный и серьезный интерес к прошлому — свидетельство развивающегося гражданского самосознания, принадлежность духовно зрелого общества.

Отечественная история, как и родная природа, таит в себе неисчерпаемые возможности нравственного воздействия на души людей. Они — действенное средство воспитания человека, патриота и гражданина.

Возросший интерес к лучшим страницам отечественной истории — характерная черта современного культурного быта, явление общественной психологии. Чувство здоровое и светлое в корневых своих истоках и нравственных устремлениях, ибо за ним — искренняя любовь к отчизне, законная гордость культурой, ее великими свершениями, осмысленное, гражданское отношение к исторической и современной нам действительности. И если иметь в виду эти стороны нашего обострившегося интереса к минувшему, то мы вправе повторить сегодня тургеневские слова:

«Да, русская старина нам дорога, дороже, чем думают иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы ее любим не фантастически вычурной, старческою любовью; мы изучаем ее в живой связи с действительностью, с нашим настоящим и нашим будущим, которое совсем не так оторвано от нашего прошедшего, как опять-таки думают иные».

В этом высказывании слышна и полемическая нота,— она объяснима. Именно потому, что прошедшее

[1] Эта статья написана в 1970 году, два десятилетия назад. Отшумел литературный спор, многие из критиков, принимавшие в нем участие, тот же В. Чалмаев и другие, уточнили свои позиции. И все-таки публикация статьи в данной книге, на мой взгляд, оправданна и полезна, поскольку задачи борьбы за принципы конкретного историзма актуальны и ныне.— *Ф. К.*

всегда находится в живой связи с настоящим и будущим, отношение к истории всегда было спором, битвой идей, поиском истины не только минувшего, но и настоящего, и будущего. Вот и в этом случае Тургенев ведет свой спор. Спор с «иными» из современников, кто свою фантастически вычурную, «старческую» любовь к отечеству пытается выдать за истину, кто держал «монополь» на любовь к отчизне и, «втягивая» национальное прошлое в эту «полемику», обвинял в недостатке патриотизма каждого, кто не придерживался их «системы». Тургенев отвечал им, что спор — не о патриотизме, но о недопонимании его. Он восставал против «злоупотребления патриотическими фразами», которые ни в малой степени не заменяют, с точки зрения писателя, «истинного патриотизма, родного смысла, понимания народного быта, сочувствия к жизни предков... пожалуй, хоть и к народной гордыне». Последняя оговорка весьма примечательна: Тургеневу важно, что́ понимать под «народной гордыней» — патриотическую гордость или национальное чванство. «Настоящий патриотизм,— уточнил он,— не имеет ничего общего с заносчивой чванливой гордыней, которая ведет только к самообольщению, к невежеству, к ошибкам неисправимым».

Собственно, спор о прошлом, который шел на всем протяжении XIX века (его вели славянофилы с западниками, потом — революционные демократы и с теми и с другими, наконец, марксисты с народниками и веховцами), всегда имел сугубо современное звучание. Спорили о путях развития родной страны, об истинном понимании патриотизма, о сути национального самосознания.

Нынешнее наше обращение к минувшему, по крайней мере в современной критике, также не обходится без споров — и разноречия опять-таки далеки от академизма.

Сошлюсь на авторитетное мнение историка А. Н. Сахарова, который в статье «История подлинная и мнимая» («Молодая гвардия», 1970, № 3) писал, что «история как таковая, исторические сюжеты, оценки, концепции... возникают едва ли не во всякой из претендующих на внимание литературно-критических статей. Историю «пытают», в ней «сомнятся», то берут в союзники и свидетели, то с проклятиями отвергают. Истории поклоняются, историей грозят. Одни

и те же исторические оценки одновременно являются и дружественным паролем, по которому узнают соратников, и своеобразным para bellum, заставляющим хвататься «за оружие». С фанатической страстностью к истории обращаются сегодня действительно «вси», кто появляется на ниве отечественной литературы и публицистики». «Литературная критика, — подчеркивает А. Н. Сахаров, — все чаще и чаще затрагивает святая святых исторической науки — ее концепционные основы, касается принципиальных истин отечественной истории».

При некоторой аффектированности мнения А. Н. Сахарова трудно не согласиться с ним. Трудно и не разделить его отношения к данному феномену, отношения достаточно сложного. А. Н. Сахаров не усматривает в самом факте проникновения критики в историю ничего предосудительного: как говорится, дай бог счастья. Главное, чтобы успешно развивались и совершенствовались и сама историческая наука, и проникающие в нее литературоведы. «Однако вот здесь-то нет-нет да и закрадывается глубокое сомнение: а проникают ли, а совершенствуются ли?» — завершает он свою мысль.

А. Н. Сахаров приводит в статье слова Гоголя: «Бей в прошедшем настоящее, и тройной силой облечется твое слово. Прошедшее выступит живее, настоящее объяснится яснее». Приводит их, естественно, не для того, чтобы обвинить в антиисторизме писателя, который, говоря его же, Гоголя, словами, был «историком в полном смысле сего слова», и, требуя связи прошедшего с настоящим, ни в коей мере не мыслил о насилии над истиной. А. Н. Сахарова тревожит возможность неверного толкования и дурного применения этих слов, возможность, нередко оборачивающаяся действительностью, когда из соображений «полемики» или ложно понятого интереса современности история истинная подменяется историей ложной.

С ним соглашаешься — в анализе вульгарно-социологических воззрений на прошлое нашей страны, как они проявлялись когда-то в нашей литературной и исторической науке в теориях Пролеткульта и РАПП, в выступлениях журнала «На посту». Трудно не согласиться с этими утверждениями А. Н. Сахарова. Трудно не разделить и его отношения к нигилизму при анализе национального прошлого. Но вот в чем во-

прос: что считать лучшим, высоким и истинным в национальных традициях?

И самое главное: в отношении к отечественному прошлому мы должны исходить из понимания того, что движущей силой истории всегда был народ. Наша отечественная история – история многовекового труда и борьбы народа, а следовательно, и история русского освободительного движения, революции и демократии, определявших и судьбы русской культуры. Всегда ли в критических статьях последних лет мы помним об этом?..

в истории «сомнятся»...

Отошлю читателя хотя бы к памятной статье В. Чалмаева «Неизбежность», вызвавшей широкие возражения в нашей периодике.

Даже немногие защитники этой статьи вынуждены были признать «издержки метода» ее автора и «фактические неточности», в обилии встречавшиеся в статье.

Заметим, кстати, что «фактические неточности» в статье, защищающей уважение к духовным ценностям отечественной истории, тоже не пустяк. Если отстаивать ценности отечественной истории, так прошлое надо знать и не монтировать мифического Нила Саровского из Серафима Саровского и Нила Сорского, не приписывать строки Блока Бунину, не объявлять Фауста Гёте юношей и прочая, прочая, несть им числа.

И все-таки недостаточность знаний В. Чалмаева в области отечественной истории проявилась не столько в этих многочисленных «неточностях», сколько в другом: в запоздалости некоторых открытий, которые сделал для себя критик, в той первозданной свежести реакции на вновь открытое, с какой, не дав себе труда вникнуть в суть дела, он поспешил поделиться вновь приобретенным и пока еще зыбким знанием с читателями своей статьи.

Скажем, он открыл вдруг для себя Константина Леонтьева, показавшегося ему при первом и, видимо, поверхностном чтении «другом Л. Н. Толстого», «Чаадаевым 60–80-х годов», «мыслителем», который, как пишет В. Чалмаев, «с каким-то вольтеровским сарказмом возмущался «торжеством толпы над наро-

дом», выступал против «понижения идеальных верований человека».

Что же, критик мог вот таким неожиданным образом прочитать и таким вообразить себе Константина Леонтьева, увидеть в нем соратника и единомышленника по борьбе за «идеальные верования человека», не очень вдумываясь в то реальное, что он под этими «идеальными верованиями» понимал. Но как он мог назвать К. Леонтьева «Чаадаевым 60—80-х годов», объединив в одном лице двух реальных публицистов,— П. М. Леонтьева, соредактора Каткова в пору 60-х годов, и К. Н. Леонтьева, одного из лидеров реакции 80-х годов?

Чтобы убедиться в том, что доподлинный Константин Леонтьев сравнения с Чаадаевым, мягко говоря, не выдерживает, достаточно прочитать его книгу «Восток, Россия и славянство», составленную из статей, печатавшихся в «Русском вестнике», «Гражданине», «Руси», в которых он заявлял: «Надо подморозить Россию, чтоб она не гнила»; «пора научиться делать реакцию»; «пора перестать придавать слову «донос» унизительное значение». Полезно было бы также привести отзыв А. П. Чехова об этом «друге Л. Н. Толстого», написавшем в 1882 году нашумевшую книжку «Наши новые христиане», в которой он называл Толстого и Достоевского «розовыми христианами», наивными проповедниками любви. «Что-то животное сквозит между строк в этой несчастной брошюрке...» — писал Чехов. «В этом глубокомысленном трактате он силился «задать» Л. Толстому и Достоевскому и, отвергая любовь, взывает к страху и палке как к истинно русским и христианским идеалам».

В той же статье В. Чалмаев открыл для себя еще одного мыслителя, безыменно процитировав его пророчество: «...существование без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство, как некогда христианство победило классицизм».

Читателям было бы не бесполезно знать, что имя этого современника Бунина — В. Розанов и что его «несколько нарочитый пессимизм» и протест против угрозы бездуховности буржуазного мира, по-видимому, лишь внешне созвучен В. Чалмаеву, потому что, как и в случае с К. Леонтьевым, проистекал, несомненно, из другого, чем у Чалмаева, источника.

«...Если прогресс жесток — я не хочу прогресса, если прогресс жесток — мы, русские, будем сидеть в старой избенке и жевать черствый хлеб»,— писал В. Розанов, имея в виду прежде всего «жестокость» революционного прогресса. В то же время он прямо призывал правительство к жестокости по отношению к русскому освободительному движению, тосковал по «железным Цезарям», которые давили бы революцию, обвинял Писарева и Чернышевского в том, что они «работали на Азефа», «целовали пальчики у Азефа», называл «Вехи» «самой грустной и самой благородной книгой, какая появлялась за последние годы». Его борьба с «понижением идеальных верований человека», как и «вольтеровские сарказмы» К. Леонтьева, питалась убеждением: «...лучше суеверия, лучше глупые, самые черные, но с молитвой. Религия — или ничего. Это борьба и крест, посох и палица, пика и могила».

Нет спору: мы обязаны изучать и воззрения консервативных идеологов. Но при этом помнить, что ни К. Леонтьев, ни В. Розанов никогда не сидели на двух стульях,— они были людьми определенных, последовательных убеждений при кажущейся «артистической» (если иметь в виду в особенности В. Розанова) непоследовательности. И когда К. Леонтьев нападал на демократические традиции в отечественной критике, он отчетливо понимал, что речь идет о судьбах России, о принципиально разных путях ее исторического развития, и, будучи сторонником самодержавия — не задумывался в определении собственной позиции в этой борьбе.

Борьба этих социальных тенденций в русской истории и определяла ее развитие, однако автор «Неизбежности» как бы не замечает этих более чем реальных социально-классовых противоречий. Для автора «Неизбежности» эпоха Николая I, которую некоторые ученые, неодобрительно замечает критик, механически окрестили «эрой Николая Палкина», вольно или невольно оказывается объективно куда ближе, чем беспокойное время 60-х годов: «...это наша «духовная эллада»,— утверждает он,— культурные ценности которой начисто лишены измельчающего их публицистического налета, проявившегося в 50—60-е годы в дискуссиях «Современника» и «Русского вестника»...» Вот даже как: что революционно-демократиче-

ский «Современник», что реакционный, охранительный «Русский вестник» – одинаково раздражающий нашего критика «измельчающий их публицистический налет»!..

Такой взгляд на «Современник» и 60-е годы XIX века для В. Чалмаева – не оговорка. Вот и в другой своей статье, сопоставляя 60-е годы на сей раз с концом XIX – началом XX века, критик заключает: «Исчерпали себя мелочный рационализм, рецепты общественного блага, годные для аккуратной Дании, померк ореол «алюминиевых дворцов» из снов героини Чернышевского, как и писаревского идеала «реалиста» Базарова...» Такими видятся критику идеалы «общественного блага» демократов-шестидесятников – «годные для аккуратной Дании»! – так он осмысляет историческую судьбу общественных идеалов, утверждавшихся в русском обществе Чернышевским и Писаревым.

Но давайте вспомним, в чьих же глазах померк на этом историческом переломе от крестьянской к пролетарской революционности ореол идей Чернышевского и Писарева, русского освободительного движения? Кто отказался от этого великого наследия русского просветительства и революционной демократии? Кто его третировал как «мелочный рационализм»?.. Только то течение русской философской и общественной мысли, которое завершилось после поражения первой русской революции печально известным сборником «Вехи».

Как же забывать об этом сегодня, таким вот образом иронизируя над идеалами Чернышевского и Писарева?

«ОДНА ЛЮБОВЬ, НО НЕ ОДИНАКАЯ»

Итак, критики без особой робости, говоря словами А. Н. Сахарова, переосмысливают «принципиальные истины отечественной истории», далеко не всегда считаясь с самой истиной. Еще один пример тому – статья М. Лобанова «Вера в Россию спасла меня...», посвященная столетию со дня смерти А. И. Герцена.

Редакция журнала предварила статью маленьким предисловием, где характеризовала Герцена как «великого русского революционного демократа, философа-

материалиста», который «оставил глубокий след в русском революционном движении, по словам В. И. Ленина, сыграл великую роль в подготовке русской революции».

Такое предисловие было более чем необходимым, потому что роль Герцена в русском освободительном движении исчерпана в статье следующим тезисом: «...Герцен заявлял в своем обращении к друзьям на Руси («С того берега»), что он «принес все в жертву: Человеческому достоинству, Свободной речи». Ход был дан свободной речи. В России своим чередом рождались и зрели народные проблемы, созидалась великая культура, в полную силу начинали творить Достоевский, Л. Толстой, Герцен в своем «Колоколе» пропагандировал прогресс...».

Свою статью М. Лобанов в значительной своей части посвящает духовному кризису Герцена и путям выхода из него.

Как известно, Ленин, советская историография объясняют духовную драму Герцена после поражения революции 1848 года причинами социальными. По Ленину, «духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме... формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата»[1].

М. Лобанов суть духовной драмы Герцена видит в крахе «западничества» при столкновении с Европой, в «похмелье на западническом пиру». Главным итогом «трагической истории идейного и политического скитальчества» Герцена, объединяющим, по мнению М. Лобанова, его судьбу с судьбой «другого русского», Ф. И. Тютчева, является, по мысли критика, именно то, что и Герцен и Тютчев, оба блестящие «европейцы», прожившие в Европе не один десяток лет, кончили «духовным возвращением в Россию, непримиримостью к европейско-буржуазной цивилизации».

Вывод неточный — и в отношении Тютчева, и в еще большей степени в отношении Герцена, и уж вовсе неверный в смысле некоего единого итога духовного развития того и другого.

Прежде всего, о «европеизме» Тютчева и Герцена.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256–257.

Надо ли говорить, что это – явления неодинакового порядка. Тютчев более двадцати лет (с 1822-го по 1844 год) провел за границей, на дипломатическом поприще, защищая интересы Русского государства. Но это обстоятельство еще не дает права говорить о духовной эмиграции Тютчева в ту пору, о некоем последующем «духовном возвращении» Тютчева в Россию.

Герцен с 1847 года и до конца дней своих провел вне родины, являясь убежденным и последовательным противником самодержавно-крепостнического режима. Однако политическая эмиграция Герцена также не была и не могла быть духовной эмиграцией, а следовательно, вывод М. Лобанова о «духовном возвращении» Герцена в Россию как итоге его «идейного и политического скитальчества» ложен по своему изначальному посылу.

М. Лобанов приравнивает к духовной эмиграции «западничество» Герцена, определившее, по мнению критика, и последовавшую во второй половине 40-х годов эмиграцию его. Но и в пору 40-годов Герцен любил Россию той же всепоглощающей любовью, что и в последующие годы. Со славянофилами «у нас была одна любовь, но не одинакая», – объяснял он.

Всю свою сознательную жизнь Герцен был великим патриотом, страдающим за лучшее будущее родной земли. Эволюция герценовского мировоззрения не касалась его отношения к России, – любовь к родной стране была для него величиной постоянной. Ему не надо было «духовно возвращаться» в Россию – он всегда внутренне принадлежал ей, был с нею.

Менялись воззрения Герцена на будущее России, на те пути, которые положат конец «русским страданиям», приведут к «светлым» дням родной земли.

Но не от «безнационального» к «национальному» развивался Герцен. Он всегда был национален. Разочарованность в традиционных формах буржуазного и мелкобуржуазного социализма привела к тому, что, уточняя свои социальные идеалы, он пришел к «общинному», «народническому», «крестьянскому» социализму, в котором и видел залог самобытного, отличного от европейского, и притом – революционного, развития России.

Именно общину имел он в виду, когда писал, что «по странной иронии» ему пришлось впоследствии

проповедовать «часть того, что в сороковых годах проповедовали в Москве Хомяков, Киреевские» (то есть русские славянофилы. – *Ф. К.*).

На этом признании и основывается М. Лобанов, уравнивая итоги духовного развития Герцена и Тютчева, который, вернувшись в Россию, в каких-то аспектах своего миросозерцания и в самом деле сблизился со славянофилами, по крайней мере – в осмыслении проблемы Европы и России, Запада и Востока.

Тютчев – огромное явление нашей духовной культуры, и, думается, мы не умалим его значения, если, сообразуясь с принципом историзма, будем брать в расчет всю реальную сложность и противоречивость его творческого пути.

Вопрос о славянофильстве Тютчева, так же как, скажем, почвенничестве Островского или Достоевского, а с другой стороны – либерализме Тургенева, отнюдь не прост. Консервативные политические взгляды Тютчева, во-первых, не исчерпывали всей сложности его миросозерцания, а во-вторых, как справедливо замечает современный исследователь Тютчева К. В. Пигарев, находились в явном противоречии со всем духовным обликом поэта. Было бы догматическим доктринерством мерить духовные и эстетические ценности творчества великого русского поэта, которые еще Некрасов ставил «рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения», его политическими высказываниями на тему «Россия и Европа». Но коль скоро М. Лобанов, сопоставляя итог развития Герцена и Тютчева, имеет в виду мировоззрение поэта, мы будем говорить о том же. И в этом случае за соотношением «Герцен – Тютчев» просматривается еще одно немаловажное соотношение: «Герцен и русское славянофильство». А если ставить вопрос шире – «революционные демократы и русское славянофильство».

Общеизвестно, что Герцен и Чернышевский, «основоположники русского народничества» (Ленин), смыкались со славянофилами в признании исторической роли общины, в идее самобытного пути развития России. Но столько же общеизвестно и другое: их понимание роли общины и самобытного пути развития России, не говоря уже об общей социально-политической концепции, было качественно различно, а во многом и противоположно славянофильству.

Отношение демократов к славянофильству четко и недвусмысленно выражено еще Белинским в его статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», где он, в частности, писал:

«Так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается и как оно к ним относится – это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения, даже и в таком случае, если вы с ним вовсе не согласны. Славянофилов у нас много, и число их все увеличивается: факт, который тоже говорит в пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а с нею и часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороны – славянофилов и неславянофилов. Много можно сказать в пользу славянофильства, говоря о причинах, вызвавших его явление; но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной категории чисто отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на борьбу с которой обрекла себя»[1].

В славянофильстве Белинский видел «диаметральную противоположность нашему убеждению»; «отрицательную» же пользу его видел не в том, что славянофилы были «против гниющего будто бы Запада», но в том, что они поставили на обсуждение общественности вопросы народности и национальности. Ответить на этот вопрос, по мнению Белинского, славянофилы не смогли, «зато они заставили если не сделать, то делать это своих противников»[2].

Белинского, как и Герцена, вопрос о национальной самобытности, о народных основах русской культуры тревожил ничуть не меньше, чем славянофилов, однако они предлагали другое решение его. «...Пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, – писал Белинский, – но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что

---

[1] Белинский В. Г Собр. соч. в 3-х т., т. III, М., 1948, с. 651.

[2] Там же.

оно *человеческое,* и, на этом основании, все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергией, как и все азиатское, в чем нет человеческого» [1].

Нам важно помнить, что Белинский, Герцен, все крестьянские демократы вели спор в двух направлениях: как против славянофилов, так и против либералов-западников, «друзей-врагов», как их назвал Белинский.

М. Лобанов в своей статье о Герцене представляет дело так, будто противостояние славянофилов и западников исчерпывало всю сложность борьбы 40-х годов. Но ведь «западничество» тех времен не было чем-то единым. С момента своего возникновения оно было чревато той внутренней противоречивостью, которая и развела Белинского и Герцена с их либеральными «друзьями-врагами», привела к размежеванию либеральной и демократической тенденции в русском освободительном движении, определила последующую эволюцию Герцена.

Русские революционеры-демократы занимали свою, самостоятельную, резко отличную и от славянофилов, и от либералов-западников позицию в отношении народа и «тяготеющих над ним обстоятельств», — об этом мы еще скажем подробнее. Столь же самостоятельны они были и в отношении Европы, не соглашаясь с либералами, видевшими в буржуазной Европе венец общественного развития, но не принимая и славянофильства, «альфа и омега которого суть славяне, враждебно и торжественно противополагаемые гниющему Западу» (Белинский).

И демократы, и славянофилы говорят о народе как первооснове всего сущего; и те и другие обличают Европу, утверждают самобытность путей национального развития России. Но какое разное содержание вкладывают они в эти понятия и само толкование народного национального начала!

Герцен в письмах «С того берега», в «Концах и началах», других своих статьях клянет торжествующее европейское мещанство, то есть европейскую буржуазию, «либералов всех стран», но он видит в Европе и иное: «пролетария, работника с топором и черными руками», иными словами — все тот же трудящийся на-

[1] Белинский В. Г. Собр. соч. в 3-х т., т. III, с. 653.

род, он глубоко сочувствует «горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей». «...Я ничего не люблю в этом мире, – пишет он о Западе, – кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит...»

Тютчев после революции 1848 года также пришел к неприятию Европы и выразил свое отношение к ней в незаконченном философско-публицистическом трактате «Россия и Запад», две главы из которого были напечатаны в Париже в виде самостоятельных статей «Россия и Революция» (1848) и «Папство и Римский вопрос» (1850). Он не приемлет в Европе не столько ее буржуазность, сколько именно то, что так дорого Герцену: идею революции. Революционный 1848 год он воспринял как «землетрясение, которое, конечно, не все поколебленные им здания превратило в развалины, но зато те, которые устояли, дали такие трещины, что ежеминутно грозят падением». Великая же французская революция для Тютчева – кризис «небывалый, беспримерный в истории общества».

Герцен осмысляет самобытность русского национального развития как счастливую – и иллюзорную, добавим от себя, – возможность миновать капитализм, полагая при этом, что «без содействия западных социалистических идей славянские народы не перейдут от патриархального коммунизма к сознательному социализму». Для Тютчева же – национальное предназначение России в том, чтобы «раз навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным движением». В современном ему мире он видит «только две действительные силы» – Россию и «революцию, воплотившуюся в Западе, в коем нет теперь ни одного элемента, не пропитанного революциею». Борьба между Востоком и Западом, как он его понимает, и составляет, с точки зрения Тютчева, существо всемирно-исторического процесса, чего не понимают те «умы в России», которые роковым образом мысль свою «привязали, так сказать, к хвосту Запада», в течение десятилетий двигаясь «в направлении, совершенно обратном тому направлению, куда увлекали Россию ее судьбы».

Вот сколь неодинаково понимали Герцен и Тютчев настоящее и будущее России, убежденными патриотами которой они являлись.

«Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели...» — приводит М. Лобанов строки Герцена, даже выносит их в заголовок своей статьи. Но вчитаемся в продолжение мысли, раскрывающей герценовское понимание России и характер его веры в нее: «Я верил в самый темный час холодной и неприветливой ночи, стоя середь падшего и разваливающегося мира и всматриваясь в ужасы, которые делались у нас. За эту веру в нее, за это исцеление ею благодарю я мою родину... Увидимся ли, нет ли, но чувство любви к ней проводит меня до могилы».

Такова герценовская любовь к России — она все та же: «Люблю Отчизну я, но странною любовью...» Говоря словами Добролюбова о лермонтовском стихотворении «Родина», откуда и приведены эти строки, Герцен «понимает любовь к отечеству истинно, свято, разумно». И далее: «Он потому любил родину, что видел в ней много великого или, по крайней мере, способности к великому и прекрасному, а вовсе не находил прекрасным и великим все русское — только потому, что оно народное, русское». В этих добролюбовских словах — суть понимания чувства патриотизма революционными демократами.

Любовь Герцена к России и ее народу — социально-активное, далекое от пошлого умиления и всепрощения, революционное, действенное чувство. Его вера в Россию была верой в русский народ и одновременно — ненавистью к его угнетателям, страстной жаждой революционного преобразования родной страны. Он верил в залоги народной жизни как основу и почву этих преобразований. Он говорил: «Будущее России — мужик!..»

Величайшим завоеванием Герцена, точнее — Белинского и Герцена, было именно то, что, продолжая радищевскую традицию, они первыми поднялись до социального осмысления народности, разграничили национальное и социальное значение самого понятия «народ».

ЧАД «ВОЛЮНТАРИСТИЧЕСКИХ ХИМЕР»

В дополнение к приведенным выше «поправкам» в отношении Чернышевского или Герцена вспомним столь же неудачные, на наш взгляд, попытки переосмыслить

творческое наследие Л. Н. Толстого в дискуссии «Уроки Льва Толстого», посвященной столетию «Войны и мира».

В ряду литературно-критических выступлений, затрагивающих «святая святых исторической науки — ее концепционные основы», основополагающее, центральное значение имела эта дискуссия, опубликованная в декабрьской книжке «Молодой гвардии» за 1969 год. В ней приняли участие критики и литературоведы: В. Петелин, О. Михайлов, В. Кожинов, А. Ланщиков, М. Лобанов, Ю. Иванов и другие. В их выступлениях немало интересных наблюдений, за которыми — искреннее чувство любви к Л. Н. Толстому, влюбленность в Россию и внимание к отечественной истории. Я не беру на себя труд всесторонне анализировать эту дискуссию,— нас интересует, прежде всего, строго определенный аспект: «концепционные основы» отечественной истории, точнее — русского освободительного движения, вырисовывающиеся в ней.

Впрочем, определять «Уроки Льва Толстого» как дискуссию вряд ли и правильно. Все ее участники были вполне единодушны и если вели спор, то не между собой.

В выступлении В. Петелина, который начал разговор, приводится известное положение В. И. Ленина из статьи «Л. Н. Толстой»:

«Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции.

Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, еще при крепостном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятельности, он рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря ге-

ниальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества»[1].

Однако в последующем анализе творчества Л. Н. Толстого ленинская методология в подходе к наследию великого писателя учитывалась далеко не всегда.

В «Уроках Льва Толстого» подчеркивалось: «Как только мы начнем рассматривать «Войну и мир» вне понятия национального, то утратим один из главных критериев». И упускалось из виду, что, как только мы начнем рассматривать творчество Толстого вне понятия социального, мы опять-таки утратим не менее главный критерий. Истина – не в отказе от одного из этих критериев за счет другого, не в противоположении одного другому, но в постижении диалектического соотношения национального и социального, в отчетливом понимании того, что в национальном всегда проявлялось конкретно-историческое и социальное.

«...Все большие русские писатели, от Ломоносова до Льва Толстого, проникнуты верою в Россию... Эта вера была существенным, главным условием их деятельности. Скептицизм есть чувство непроизводительное...» – приводит литератор В. Дробышев слова критика Н. Страхова, автора многотомного труда «Борьба с Западом в нашей литературе», не вдумываясь в их суть. Под «скептицизмом» – «чувством непроизводительным» Н. Страхов, как и остальные почвенники, в традициях консервативной идеологии того времени, мыслили в первую очередь материалистическое, революционное, социалистическое направление идей, чуждое, с их точки зрения, национальным истокам, народной почве России. Толкуя в «исконно национальном духе» Л. Н. Толстого, игнорируя социальное содержание его творчества, делавшее великого писателя зеркалом русской революции, почвенники и поздние славянофилы пытались противопоставить Толстого русскому освободительному движению.

А как толкуют великого писателя авторы «Уроков Льва Толстого»? С их точки зрения, величие Толстого состоит прежде всего в том, что он выразил единую «национальную идею», утвердил «целостность русской жизни», что высшей «мерой народности» его героев является способность в решающую минуту истории

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.

преодолевать в себе сословные и индивидуалистические интересы[1]. Все эти рассуждения органически включены в контекст спора, который критики ведут с «философией волюнтаризма», «веяниями «просветительства», «вольтерьянства и прочими тлетворными влияниями Запада», уничтожавшими духовные основы и истоки национальных традиций Руси.

Итак, нам вновь напомнили о вреде «веяний «просветительства», «вольтерьянства» предыдущего века», о всех этих «умствующих» теориях, заносимых из растленного революцией Запада и искажавших якобы нашу национальную природу...

«...Русскому влиянию на Пушкина почти на всем протяжении его жизненного пути сопутствовало влияние западное, воздействие западных идей он начал испытывать еще в лицее и первое, что увидел — их полное несоответствие характеру русской жизни. Однако за это он осуждал прежде всего жизнь, а не идеи.

И Пушкин становится совсем не тем, кем был вначале:

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,—

он заражается скептицизмом и безверием, чему способствовал и «циник поседелый» Вольтер, и «скептический причет» энциклопедистов. В поэта вселяется, выражаясь его словами, «дух отрицания, дух сомнения», и если первое его выступление на публичном лицейском экзамене дышало верой в великое предназначение России, то стихи, написанные незадолго до окончания лицея под символичным названием «Безверие», отличались подавленностью духа и тоской по идеалу. «Лишенный всех опор отпадший веры сын», поэт се-

---

[1] По поводу «целостности русской жизни» и «способности преодолевать сословные интересы» не Толстой ли проводил резкую границу между теми, кто «производил» и которые «разоряли», между «народом» и людьми разоряющими, грабящими, роскошествующими и «куражащимися»? Что же касается попыток толковать его творчество в славянофильском духе, то сам Толстой писал: «Народность славянофилов и народность настоящая — две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный. Я ненавижу все эти хоровые начала и строй жизни и общин и братьев славян, каких-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни...»

тует на то, что ум его «ищет божества, а сердце не находит». То есть западная духовная стихия, порожденная союзом «ума и фурий», стала гасить в его душе те творческие огни, что были возжены еще в детстве. Так, «в просвещении став с веком наравне», Пушкин временно становится носителем не только достижений века, но и его болезней».

Это – из статьи Ю. Иванова «Эхо русского народа (К 170-летию со дня рождения Пушкина)».

С исчерпывающей и недвусмысленной ясностью обнаруживается здесь, что мыслится под «западными влияниями», столь роковым образом воздействовавшими на нашего национального поэта: влияние идей французской революции, великих французских просветителей, той самой «западной духовной стихии «ума и фурий», которая, с точки зрения Ю. Иванова, вызвала и такую «болезнь века», болезнь отечественной истории, как декабризм. Движение декабристов, без околичностей заявляет критик, явилось «результатом непонимания условий русской жизни и было порождено пагубным влиянием «чужеземного идеологизма». Оно-то уж, по мнению критика, и вовсе было оторвало Пушкина от национальной почвы, едва не погубив в нем поэта.

«После окончания лицея «демон мрачный и мятежный» приводит Пушкина к декабристам, людям, которые, посвятив себя борьбе за народное благо, в то же время, как сказал потом Ленин, были «страшно далеки от народа». («Сто прапорщиков хотят изменить государственный быт России»,– приводит Ю. Иванов в доказательство «волюнтаризма» декабристов «ироническую», по его словам, фразу Грибоедова в другой своей статье.) Они стремились не идею подчинить жизни, а жизнь – идее. Поэт на первых порах разделял это заблуждение...» Но поэта, видите ли, спас декабрь 1825 года. «С 1825 года начинается взлет Пушкина и как мыслителя и как поэта... Пушкин начинает понимать, что ответ на проклятый вопрос времени: «Куда ж нам плыть?» – надо искать не во французских книжках, а в реальной российской действительности, и он обращается к ее широкому исследованию. В результате поэт уясняет, что народная жизнь с ее вековыми устоями находится в такой стадии развития, которая делает невозможным ее изменение революционным путем, по западному образцу».

Теперь понятно, какой «идее» хотели подчинить народную жизнь России лишенные национальных корней декабристы? Идее антифеодального революционного преобразования России, преобразования в духе «ума и фурий», в духе французской революции, противоречащей, по убеждению критика, «вековым устоям» страны.

И хотя Пушкин после разгрома декабристов «высоко ценит их «дум высокое стремленье», только освободившись от «чужеземного идеологизма», когда его позиции «становятся отличными от позиций декабристов», поэт достигает наконец, по теории Ю. Иванова, «полной духовной зрелости».

Вот как много значило для Пушкина высвобождение из-под «западного влияния», то бишь – декабристских идей!..

Все эти рассуждения критика идут по такой отлично накатанной за время споров и разногласий минувшего века дороге, что даже лексика и речевые обороты, не говоря уже о системе аргументации, кажутся вполне знакомыми. Непонятно только, почему Ю. Иванов не ссылается на источники.

Скажем, он пишет: «...Пушкин никогда не впадал в крайности и особенно не любил черных красок. Он смотрел на мир светлыми очами и видел, что он не пристанище зла, а арена вечной борьбы добра со злом... Пушкина больше интересовали светлые, нежели темные, стороны жизни. Поэтому его поэзия есть поэзия утверждения, а не отрицания». И почему-то не ссылается на первоисточник: известную статью западника А. Дружинина «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений», где он противопоставляет Пушкина Гоголю, а некое «пушкинское» направление – «сатирическому», «гоголевскому» направлению именно потому, что Пушкин, по мнению Дружинина, имел «незлобивый взгляд на мир», смотрел на жизнь «светлыми очами», в его поэзии «все глядит тихо, спокойно и радостно». Прочитав статью, даже друг и единомышленник Дружинина В. Боткин писал: «Нам милы ясные и тихие картины нашего быта, но... в сущности, мы окружены не ясными и не тихими картинами».

Что же касается декабризма, то полагать, будто бы он вырос не из глубинных, внутренних, классовых, социальных противоречий развития России, но явился

следствием чтения «французских книжек», результатом пагубного влияния «чужеземной идеологии», — элементарная историческая неграмотность. Причем автор умудрился подкрепить столь очевидный домысел ссылкой... на Ленина: «Страшно далеки они от народа». Как будто у Ленина нет продолжения этой мысли, известной каждому школьнику и рушащей под корень домыслы критика. Приведем ее полностью.

«Чествуя Герцена, — писал Ленин, — мы ясно видим три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян» [1].

Я напомнил это высказывание Ленина о трех этапах русской революции потому, что Ю. Иванов не ограничился трактовкой только первого декабрьского периода русского освободительного движения. В следующем выступлении, в «Уроках Льва Толстого», мысль критика смело следует дальше, уже в 60—70-е годы, с тем чтобы завершить цельное здание столь самобытной исторической концепции, основы которой были заложены им в статье о Пушкине.

Он всматривался в эту эпоху, тревожась по-прежнему об одном — о «пагубных влияниях» чужеземного идеологизма».

«Мысль о решающей роли народа в истории труднее всего входила в сознание русского образованного общества, страшно далекого от народа, — как бы подхватывает Ю. Иванов мысль своей прежней статьи. — Воспитанное на волюнтаристических идеях Запада, оно постигало ее порою только ценой виселиц и крови».

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

Прежде это уже было сказано о декабристах. А теперь-то о ком? Что это за таинственное «образованное общество», получающее исторические уроки «ценой виселиц и крови»? И что означает сие новомодное словечко «волюнтаристические» применительно все к тем же злокозненным «идеям Запада»?

Вчитаемся в последующие рассуждения критика.

«Толстой начал писать свой роман «Война и мир» в ту пору,— продолжает Ю. Иванов,— когда волюнтаристические иллюзии (Ленин называл их «вредными иллюзиями») владели еще многими умами российской интеллигенции (стало быть, речь идет не обо всем, но лишь о части «русского образованного общества». Дело начинает проясняться.— *Ф. К.*). Несмотря на то, что Крылов в своих баснях открыл мудрость народа, Пушкин выразил его могучий дух, Лермонтов воспел его героический подвиг на поле Бородина, Тургенев в «Записках охотника» показал его одаренность, а Гоголь, обозрев его духовные силы, пророчествовал ему великое будущее, часть русской интеллигенции упорно продолжала видеть в нем «глуповца», темного и забитого раба, которого надо спасать, а на его жизнь смотрела, как на запущенную ниву, нуждающуюся в срочной перепашке». (Вот и обозначилось, какая именно часть «русского образованного общества», какая «часть русской интеллигенции» в пору, когда Толстой начинал писать «Войну и мир», то есть в 60-е годы, была «воспитана на волюнтаристических идеях Запада».)

«При таком взгляде на народ и народную жизнь,— продолжает Ю. Иванов,— она, т. е. революционная интеллигенция, неизбежно должна была прийти к идее разделения людей на активных героев и пассивную толпу и объявить героев свободными творцами истории. Для русской революционной молодежи (народнической молодежи.— *Ф. К.*) этот предрассудок имел трагические последствия. Надеясь, что ее героические усилия изменят ход истории, она во имя этой цели сгорала в чахотке, томилась в крепостях, страдала на сибирской каторге, кончала жизнь на эшафоте, а между тем жертвы, ею (то есть народниками и народовольцами.— *Ф. К.*) принесенные, не окупились. Ее деятельность, по мысли Ленина, не имела каких-либо «положительных приобретений», она лишь доказала, что историю надо делать «другим путем».

Совершенно очевидно, что под «частью русской интеллигенции» 60-х годов, видевшей в русском народе «глуповца», «темного и забитого раба», которого надо спасать, и смотревшей на жизнь России как «на запущенную ниву, нуждающуюся в срочной перепашке», критик имеет в виду Чернышевского, Щедрина и других русских революционных демократов. А под «русской революционной молодежью», трагически, ценой виселиц и крови, постигавшей всю меру волюнтаризма «западных идей» и духовных отцов – шестидесятников, напрасно надеявшихся, что их героические усилия изменят ход истории, между тем как их жертвы «не окупились», Ю. Иванов имел в виду народников и народовольцев.

Разберемся поглубже в реальной сути хотя бы некоторых «волюнтаристических химер», приписанных Ю. Ивановым русской революционной демократии, хотя во власти их находится он сам. И в первую очередь в отношении демократов к народу.

Нет спору, Чернышевскому принадлежат эти исполненные боли и горечи слова, обусловленные историческим моментом краха революционной ситуации 1860-х: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы».

В статье «О национальной гордости великороссов» В. И. Ленин, процитировав Чернышевского, писал: «...откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения»[1].

Горестные слова Чернышевского, вырвавшиеся у него в 1863 году в совершенно конкретной, причем тягостной, исторической ситуации вследствие того, что русское крестьянство, вопреки страстным ожиданиям шестидесятников, так и не поднялось на народную революцию, не есть свидетельство неуважения демократов к народу, непонимания ими той истины, что именно народ – движущая сила истории.

Напротив: за этими словами – тоска по большей социальной активности народных, крестьянских масс.

Слова эти ни в коем случае нельзя распространять

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 107.

на всю нашу отечественную историю, как это пытается кое-кто делать за рубежом, игнорируя даже факт Великой Октябрьской социалистической революции. Они имеют конкретно-исторический смысл и выражают тревогу революционных демократов в отношении судеб крестьянской революции в России.

Чтобы правильно понять отношение Чернышевского к народу, надо вспомнить хотя бы его статью «Не начало ли перемены?», пронизанную чувством беспредельной любви к русскому крестьянству и горечи, проистекавшей оттого, что в массах великорусского населения не хватает революционной активности, осознания своего бедственного положения; а разве не то же самое утверждал Добролюбов, когда писал, что «обстоятельства разного рода», иными словами – крепостничество и самодержавие, тяготевшие над народом в течение столетий, «не проходят даром, не остаются без всякого следа»?

Тот же смысл вкладывал Салтыков-Щедрин в образ «глуповца», за который предъявляет ему счет Ю. Иванов. Великий русский сатирик, при жизни своей слышавший немало упреков от либерально настроенных «народолюбцев» в неуважении к народу за то, что видел в нем «глуповца», отвечал своим критикам: «...в слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием».

Чернышевский и Салтыков-Щедрин, революционные демократы, народники и народовольцы и в самом деле смотрели на жизнь народную в условиях самодержавно-крепостнической России как на «запущенную ниву, нуждающуюся в срочной перепашке».

Демократы ждали, верили, надеялись, что эту перепашку совершит народ, и тосковали из-за недостатка революционности в русском крестьянстве. Чтобы поднять народ на революцию, героическая русская молодежь в последующие, 70-е годы шла на подвиг самопожертвования, томилась в крепостях, страдала на сибирской каторге, кончала жизнь на эшафоте. Исторической трагедией второго этапа русского освободительного движения было то, что русское крестьянство

не поднялось, оказалось не в силах подняться на революцию. Эта трагедия и определяла попятное движение в сфере теоретической, которое наблюдалось в народничестве 70-х годов и которое привело народников к субъективной социологии, к идее «героев и толпы».

Не нужно закрывать глаза на историческую ограниченность шестидесятников и семидесятников, на их исторические иллюзии и предрассудки, на то, что революционная молодежь 70-х годов шла в народ под знаменем теории, которая, по словам Ленина, в сущности, не была революционной. Но представлять дело так, будто великие идеи освобождения народа, воодушевлявшие революционную молодежь на борьбу, были в принципе «волюнтаристическими химерами», «предрассудком», имевшим «трагические последствия», что такой ценой — «ценой виселиц и крови» — «русское образованное общество» освобождалось от идей революции и социализма, поименованных Ю. Ивановым «волюнтаристическими идеями Запада», заявлять, будто жертвы героической русской молодежи «не окупились», и при этом ссылаться на авторитет Ленина — это значит искажать Ленина.

Ю. Иванов, упирая на то, будто Ленин называл идеи русской демократии «вредными иллюзиями», будто, с точки зрения Ленина, деятельность русской революционной молодежи не имела каких-либо «положительных приобретений», имеет в виду следующее ленинское высказывание из статьи «Гонители земства и Аннибалы либерализма»: «...мы никогда и ни в каком случае не откажемся от решительной борьбы с теми иллюзиями, которых так много в неразвитом политически русском обществе вообще и русском либеральном обществе в частности. В сущности мы можем, видоизменяя известное изречение Маркса о революции 1848 года, и о русском революционном движении сказать, что его прогресс состоит не в завоевании каких-либо положительных приобретений, а в освобождении от вредных иллюзий. Мы освободились от иллюзий анархизма и народнического социализма, от пренебрежения к политике, от веры в самобытное развитие России, от убеждения, что народ готов для революции, от теории захвата власти и единоборства с самодержавием геройской интеллигенции» [1].

[1] Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 71—72.

Достаточно вникнуть со вниманием в эту ленинскую мысль, чтобы понять: Ленин говорит здесь о теоретических «иллюзиях» русского революционного движения, об ограниченности теоретического самосознания, которое с точки зрения борьбы пролетариата и в самом деле не имело «каких-либо положительных приобретений», потому что прогрессивность идей и теорий предпролетарской, крестьянской революционности была, как известно, обратно пропорциональна ходу исторического развития. Ленин конкретно перечисляет эти «вредные» с точки зрения борьбы пролетариата «иллюзии» демократического, разночинного этапа русского освободительного движения: анархические иллюзии, утопический народнический социализм, вера в самобытное развитие России и прочее, с которыми партии пролетариата пришлось вести на рубеже века бескомпромиссную борьбу.

Но Ленин никогда не сводил русское освободительное движение только к «иллюзиям» — свидетельство тому в первую очередь именно статья «Гонители земства и Аннибалы либерализма», проникнутая глубочайшим уважением к русской революционной демократии, к «революционной «партии» и ее натиску в начале 60-х годов», к Чернышевскому, «умевшему и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров», статья, в которой Ленин дал свое знаменитое определение революционной ситуации 1859—1861 годов, когда «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».

Ленин учил и в иллюзиях демократии, скажем, в той самой иллюзии народнического социализма, в иллюзорной вере в самобытное развитие России, которая в пору пролетарской революционности стала «вредной иллюзией», видеть реальное историческое содержание. Напомнив в статье «Две утопии» слова Энгельса о том, что «ложное в формально-историческом смысле» может быть истиной в смысле философско-историческом, Ленин писал: «Ложный в формально-экономическом смысле, народнический *демократизм* есть истина в *историческом* смысле; ложный в качестве социалистической утопии *этот* демократизм есть *истина* той своеобразной исторически-обусловленной демократической борьбы крестьянских

масс, которая составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и условие его полной победы»[1].

Вот пример подлинного историзма и марксистской диалектики в подходе к сложным явлениям прошлого!

И если уж вспоминать об «иллюзиях» русского освободительного движения, ссылаясь при этом на Ленина, то не влияние «волюнтаристических идей Запада» ставить русским революционерам в вину. «Иллюзии» росли из другого источника и выявляли историческую ограниченность и противоречивость внутреннего развития России. Сам же факт, что Россия обладала таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теории революционного движения, как ни одна страна в мире, Ленин считал не слабостью, но силой нашего освободительного движения.

Передовая мысль России, писал Ленин, раскрывая процитированное выше положение из статьи «Гонители земства и Аннибалы либерализма», на которое ссылается Ю. Иванов, «под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»[2].

Вот что реально обозначало «освобождение от вредных иллюзий», что стояло за ленинскими словами, произнесенными после гибели старшего брата, народовольца Александра Ульянова: «Мы пойдем другим путем». Как же можно утверждать, будто Ленин считал, что деятельность наших великих революционных предшественников — Герцена, Чернышевского и блестящей плеяды революционеров 70-х годов — не имела каких-либо «положительных приобретений», будто жертвы революционеров не окупились?

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 120.

[2] Там же, т. 41, с. 7—8.

...Спор этот начался не сегодня. Он шел на протяжении всего XIX века. Отечественная война 1812 года послужила могучим толчком к развитию русского национального самосознания и как следствие этого – декабризма.

Русское национальное самосознание в наиболее чистых и истовых истоках своих зарождалось и крепло в органическом сплаве с гражданским стремлением к преобразованию страны. Не случайно в основании русской освободительной традиции лежит «Беседа о том, что есть сын отечества», принадлежащая перу Радищева и написанная им за год до опубликования «Путешествия из Петербурга в Москву».

Весь декабризм возрос на этой идее – гражданской осмысленной идее русского национального самосознания, на чувстве патриотизма, понимаемом революционно. «Мы были дети 1812 года...» – сказал М. И. Муравьев-Апостол. «Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, впервые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, – говорили они, – а нас заставляют потеть на барщине; мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа», – объяснял в письме царю из крепости в 1826 году А. Бестужев возникновение декабризма.

«12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил... – писал Белинский, – возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности как начала общественного мнения».

Эти последствия Отечественной войны глубоко понимал и чувствовал Л. Н. Толстой – не случайно «Война и мир» замышлялась первоначально как роман о декабристах.

Что касается революционных демократов, то они вошли в русскую историю и навеки остались «заступниками народными»; в служении народу, в защите его интересов видели они исчерпывающий смысл своей жизнедеятельности. Пафос уже самой первой статьи Белинского – «Литературные мечтания» – и заключается в утверждении принципа народности русской литературы, в доказательстве той мысли, что литература «непременно должна быть выражением – символом внутренней жизни народа».

Приходится напоминать элементарное: это убежденные идейные противники Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Михайловского стремились доказать недоказуемое – будто идеи демократии чужды народу и традициям России. В действительности спор шел между двумя пониманиями судеб России, между двумя концепциями народности, между двумя видами патриотизма. Начиная с эпохи Белинского и Герцена идея русского национального самосознания развивается в двух разных руслах.

Как бы ни разнились между собой деятели «официальной народности» или славянофилы, «почвенники», – все-таки это один, пусть противоречивый, поток русской общественной мысли, претендовавший на монополию русского национального духа.

Общим для этой линии русской общественной мысли при всех разноречиях, спорах и колебаниях было внесоциальное понимание русских национальных основ, укладывающееся в известную триаду: православие, самодержавие, народность. Та народность, которая вырабатывалась патриархально-общинным русским землевладением и которую К. Аксаков называл «высшим нравственным образом человечества». Ключевая для данного направления идей мысль о мессианском предназначении России опиралась на исторический опыт добуржуазного развития страны, на убежденность в особой природе православия, качественно отличного, с точки зрения идеологов, от католичества, на патриархальную «исключительность» русской нации, на единство самодержавной власти, взятой в идеале, и богобоязненного, кроткого народа. При всей ложности русского национального мессианства оно было, хотя бы по видимости, аргументированно.

Но что остается от этой мессианской идеи в наш век, когда канули в Лету православие, самодержавие и патриархальная народность? Мистические заклинания о некоем абстрактном «национальном духе», о «могучей нравственной силе, непонятной для привычного европейского представления» (цитирую все те же «Уроки Льва Толстого»)? Да еще неприятие иного понимания национальных идеалов, иного патриотизма, иной народности, составивших славу России минувшего века, подготовивших Россию века нынешнего и тем не менее третируемых как «чужебесие»

и чуждый русским традициям вредоносный «волюнтаризм».

«Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники! – писал когда-то по схожему поводу Добролюбов. – Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва – настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа».

...Наша историческая и литературная наука, да и наша общественность многое сделали, чтобы изжить вульгарный социологизм в отношении к прошлому, сделать достоянием народа каждую толику подлинных богатств прошлого.

Сегодня нас уже трудно упрекать в бестактности, в неумном расточительстве по отношению к духовным ценностям минувшего, в примитивизме суждений о сложных явлениях отечественной культуры. В повседневный культурный обиход входят все новые и новые пласты осваиваемых народом сокровищ национального гения. Приращение духовных богатств идет непрерывно, и благодетельный этот процесс далеко не закончен.

Советская литературная наука успешно преодолевает догматический, метафизический подход к противоречиям мировоззрения и творческого метода Гоголя и Достоевского, Тургенева и Гончарова, Тютчева и Лескова.

С предельной бережностью мы осваиваем все ценное не только в художественном, но и в литературно-критическом, публицистическом, философском наследии прошлого. Именно так сегодня исследуется и переиздается творческое наследие П. Чаадаева и Аполлона Григорьева, Валерьяна Майкова и Грановского, и это во благо. Придет срок, я уверен, появятся серьезные, объективные, подлинно научные работы и о Константине Аксакове, и о Николае Страхове, и о других деятелях славянофильства и почвенничества, где не будет апологетики, но будет исследование.

Будет продолжено исследование творчества публицистов и критиков демократического и народнического лагеря. Дань уважения здесь должна сочетаться также с трезвым и отнюдь не апологетическим анализом, с осознанием той исторической ограниченности,

которая не могла не накладывать печать на все миросозерцание наших предшественников.

Водораздел двух культур в национальной нашей культуре минувшего века — противоречивый и тонкий социально-психологический процесс, затрагивающий душу живую не только художников, но и мыслителей. Еще предстоит продолжение трудной работы анализа всего духовно ценного в русской общественной и нравственно-философской мысли прошлых веков.

Важно только, чтобы мы при этом не изменяли нашей научной методологии, принципам историзма в оценках прошлого в диалектическом, ленинском их понимании.

1970

НАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1

Вспомним Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отделяющая образованность от дикости...»

Отечественная история таит в себе неисчерпаемые возможности нравственного воздействия на души людей, она — действенное средство воспитания патриота и гражданина. Отличительной чертой нашего времени как раз и стало «укоренение» интереса к истории в массовом народном сознании, в умах и сердцах молодых и не только молодых людей. Не будет преувеличением сказать, что увлеченность изучением отечественной истории — характерная черта современного культурного быта, явление общественной психологии.

Наша печать не раз подчеркивала всю важность и значение ясных и точных методологических принципов критики в разработке ею проблем истории и народности, и в первую очередь — ее верности ленинскому принципу историзма.

Спор об истории и народности продолжил на страницах журнала «Москва» А. Сахаров (1971, № 10). В статье «История и проблемы народности» историк А. Сахаров справедливо и убедительно говорит о важности принципов историзма и классовости в подходе к национальному прошлому и проблеме народности.

Поддерживая стремление А. Сахарова к социально-классовому, научному анализу проблем истории и народности, позволю себе внести некоторые уточнения в тех случаях, когда, отстаивая важность ленинских принципов историзма, автор, как нам представляется, не до конца последователен.

Нельзя не согласиться с А. Сахаровым в том, что решение проблем народного и национального в современном мире «стало сферой острой идеологической борьбы», что сегодня сами понятия «народ», «нация», «народное», «национальное» «расставлены в буржуазных и социалистических боевых идеологических порядках на важнейших участках».

Тем более важно, продолжив начатый А. Сахаровым разговор, вглядеться, насколько точно «расставлены» эти понятия — «народ», «нация», «народное», «национальное» — в «боевых порядках» нашей критики, равно как и в его статье.

Проблема народности или, как пишет А. Сахаров, «подлинной народности», — центральная для автора. Она вынесена не только в заглавие, но и в начало статьи.

«В последние годы, — пишет А. Сахаров, — советская литературная критика все чаще и чаще обращается к проблемам народности литературы и искусства. И это не случайно. Такой возрастающий интерес является отражением глубоких прогрессивных процессов в развитии наций и национальных отношений, происходящих в современном мире».

И далее: «Камнем преткновения для некоторой части литературных критиков является, в частности, проблема складывания и развития русской нации, русского национального характера и в этой связи — исторического прошлого русского народа. Одни не прочь подойти к пониманию народа, нации как понятию внеклассовому, чисто этническому. Другие, напротив, совершенно категорически утверждают, что народность — понятие только классовое и ничего общего с этническим началом не имеет».

А. Сахаров указывает здесь на две крайние точки зрения, обе неверные, проявившиеся в нашей критике. Но он проходит мимо очевидной терминологической путаницы в утверждениях критиков.

Продолжим начатый им спор и, согласившись с его критикой «национального нигилизма» и «понимания народа, нации как понятия внеклассового», подчеркнем вместе с тем, что само понимание народа и нации как единого, идентичного целого неотрыв-

но от метафизического подхода к истории. Это не просто неточность формулировки, но ошибка принципиальная.

Отождествление понятий «нация» и «народ», «народное» и «национальное» возникло не сегодня. Оно имеет свою историю и свою судьбу.

Еще в 40-х годах прошлого столетия в спорах Белинского и Герцена с уваровской формулой «православия, самодержавия и народности», со славянофильскими и либерально-западническими взглядами на народ выкристаллизовывалось демократическое понимание народности, разграничивавшее понятия «народ» и «нация».

Имея в виду различного рода опошление понятия «народ», Герцен в статье «Русское крепостничество» писал:

«Мне всякий раз становится не по себе, когда я говорю о *народе*. В наш демократический век нет ни одного слова, смысл которого был бы так извращен и так мало понятен. Идеи, которые связываются с этим словом, по большей части неопределенны, исполнены риторики, поверхностны. То народ поднимают до небес, то топчут его в грязь. К счастью, ни благородное негодование, ни восторженная декламация не в состоянии выразить верно и точно понятие, обозначаемое словом «народ»; народ – это мощная гранитная основа, скрепленная цементом вековых традиций, это обширный первый этаж, над которым надстроен шаткий балаган современного политического устройства».

Итак, народ, по мысли Герцена, – это «гранитная основа» общества, его «обширный первый этаж». Но кто именно живет на этом «первом этаже»?

В статье «Крещеная собственность», отвечая на этот вопрос, Герцен выдвинул идею «двух России», стоящих «враждебно друг против друга»: сверху – «Россия правительственная, императорская, дворянская... вооруженная штыками», а снизу – «Русь черного народа, бедная, хлебопашенная, общинная, демократическая, безоружная...». Отношения между этими «двумя Россиями», на взгляд Герцена, более чем определенны: правительство не имеет ничего общего с народом, оно враждебно народу; «его народ – дворянство, но это лишь постольку, поскольку дворянство – враг народа».

Тот же самый водораздел превратил в фикцию иа-

циональное единство и в странах Европы. «Ибо есть две Европы, – утверждает Герцен, – которые относятся друг к другу с отвращением, с ненавистью, гораздо более сильной, нежели взаимная ненависть турок и русских, и этот общественный манихеизм (в смысле – дуализм. – *Ф. К.*) существует во всяком государстве, во всяком городе, во всякой деревне».

Начиная выпуск «Колокола», Герцен писал: «Мы крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиком...» На протяжении всей своей жизни он последовательно отстаивал и проводил в жизнь именно это понимание народа, считая себя выразителем его боли, страдания, надежд и чаяний.

Герцен, как и другие демократы, отстаивал свое, революционно-демократическое, понимание народа в полемике прежде всего с русским славянофильством и «официальной народностью». Славянофилы, писал он, «попросту не знали *настоящего* народа; они *сконструировали* (термин немецкой философии) некий русский народ по данным, почерпнутым из летописи Нестора о традициях других славянских племен, не давая себе труда узнать тот народ, который жил у их ног». Ссылка на «немецкую философию» здесь не случайна: за ней – намек на немецкие теоретические источники славянофильского учения.

В своем понимании народа и народности демократы решительно отмежевывались и от либерального «западничества». Как это ни парадоксально на первый взгляд, славянофилы и западники, при всей остроте их противостояния, куда ближе друг к другу, чем к революционным демократам. Последние не принимали ни тех, ни других. Славянофилов – за их устремленность в прошлое, за такое понимание народа, которое объединяло в некую национальную цельность «секущих» и «секомых», за идеализацию «смиреномудрия» и прочих «рабьих» начал в народной душе, порождаемых крепостничеством и деспотизмом. За то, что, говоря словами Ленина, их ретроспективная проповедь усыпляла и притупляла «социальные чувства», за социальный оппортунизм, который был заложен в славянофильстве изначально, но с особой резкостью проявился в пору реакции второй половины 1860-х годов, когда славянофилы пошли на открытый союз с реакцией и сотрудничество с самодержавным правительством.

Либералов-западников демократы не принимали за их высокомерное равнодушие к народу, за их буржуазный «европеизм». Либералы, по характеристике Добролюбова, «полагают, что русский человек ни на что сам по себе не годится и представляет не более, как нуль: если подставить к нему какие-нибудь (иностранные) цифры, то выйдет что-нибудь, а если нет, так он и останется в полнейшем ничтожестве». В споре с либерализмом демократы утверждали достоинство и силу русского народа, его способность самому решать свою судьбу.

Коль скоро «некоторая часть литературных критиков», как пишет А. Сахаров, отдает сегодня «монополию» на народолюбие славянофилам, напомним, что и как писали о народе наши великие предшественники — русские революционные демократы.

«Мне кажется,— говорил Герцен,— что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унизительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели?.. Это-то нам и покажет время».

Воистину пророческие слова!..

Такое понимание народности неминуемо подводило демократов к идее революции, движущей силой которой они считали народ.

Именно это, социальное, демократическое, понимание народа определило и ту эстетическую концепцию народности, которая легла в основу величайших завоеваний русской литературы XIX века. Оно не сводилось лишь к национальному своеобразию литературы. Русская литература становилась народной в той степени,

в какой она преодолевала сословную ограниченность и вставала на народную точку зрения.

Начиная с 40-х годов XIX века и кончая временем идейного кризиса «Вех», русское общественное самосознание так или иначе, в большей или меньшей степени, непосредственно или опосредствованно было связано с русским освободительным движением, более того – определялось им. Вот почему демократическое понимание народности доминировало в обществе. В споре с консервативным, охранительным и либеральным пониманием народности Добролюбов имел полное право с гордостью заявить: «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва – настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа».

Недаром именно в эту болевую точку – в революционно-демократическое понимание народности – били «Вехи», явившиеся духовной, идейной и политической реакцией на поражение революции 1905 года, на тот кризис общедемократической революционной идеологии, который выявился в России к началу века. Мы порой недооцениваем опасность этого, вызвавшего столь пристальное внимание Ленина, явления в истории русского самосознания – идеологии «Вех»; недооцениваем как противника, и до сих пор так или иначе активно участвующего в современной идейной борьбе.

«Вехи», острием своим направленные против идейных основ «всего миросозерцания русской (и международной) демократии»[1], явились миру как «энциклопедия либерального ренегатства», как видимое торжество русского консерватизма, превратившегося к этой поре уже в чисто охранительную идеологию. Торжество отступничества, предательства и идейной деградации тех либеральных слоев русского общества, которые восприняли поражение революции 1905 года как поражение и компрометацию освободительного движения и его идей. Торжество мнимое, потому что последующее развитие истории уже в ближайшем десятилетии до основания обнажило весь реакционный утопизм и антинародность «веховской» платформы.

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 168.

«Вехи» попытались утвердить как истину все основные краеугольные идеи терпевшего поражение за поражением в XIX веке охранительно-консервативного миросозерцания. Они вновь подняли на щит проблему России и Европы, Востока и Запада, оборачивающуюся в условиях России XIX века спором и борьбой с русским освободительным движением. Они отреклись от освободительного движения недавних лет и открыто провозгласили свои «ливрейные» чувства» «по отношению к старой власти, по отношению ко всей старой России вообще» [1].

«Вехи» имели знаменательный подзаголовок: «Сборник статей о русской интеллигенции». Главное направление удара состояло в том, чтобы оторвать русское освободительное движение от народа, противопоставить одно другому как чуждые и разнородные, более того — взаимоисключающие явления, объявить демократическую интеллигенцию порождением и следствием гнилых западных идей, после чего представить демократическое миросозерцание чисто «интеллигентским», чужеродным русскому национальному духу, враждебным русскому народу, поскольку, иронически замечает Ленин, «по натуре своей, как давно уже открыли Катков и Победоносцев, народ питает «ненависть к интеллигенции» (...читай: к демократии)» [2].

Миросозерцание русской демократии и было названо в «Вехах» чисто «интеллигентским» ради того, чтобы скомпрометировать его с позиций мнимо патриотических, как бы антинародное и антирусское, отчужденное от национальной почвы. «Белинский, Добролюбов, Чернышевский — вожди «интеллигентов»... — раскрывает «веховскую» концепцию Ленин. — Чаадаев, Владимир Соловьев, Достоевский — «вовсе не интеллигенты». Первые — вожди направления, с которым «Вехи» воюют не на живот, а на смерть. Вторые — «неустанно твердили» то именно, что твердят и «Вехи», но «их не слушали, интеллигенция шла мимо них...» [3].

Не будем здесь вдаваться в спор с «веховской» попыткой присвоить себе Чаадаева и Достоевского, скажем только, что ни тот, ни другой (да даже и Влади-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 168.
[2] Там же, с. 175.
[3] Там же, с. 169.

мир Соловьев) никак не укладываются в прокрустово ложе «веховских» концепций.

Не славянофилы и почвенники, не предшественники и союзники «Вех», но русские крестьянские демократы разбудили в обществе интерес к народу, внедрили в общественное сознание высокую идею долга перед народом, выработали качественно новую нравственность как подвижничество во имя народа. Именно они были носителями подлинного национального самосознания.

Их традиции продолжили и развили в России марксисты-ленинцы, разработав научную концепцию народности, научную теорию нации и межнациональных отношений.

Как справедливо пишет А. Сахаров, «уже на заре XIX века на идеологическом вооружении большевиков имелась партийная научная теория нации и национальных отношений: для марксистов-ленинцев нация, народ являлись прежде всего продуктом общественного развития. Социальные, классовые критерии в подходе к проблеме нации, народа, которые так старательно затушевывала дворянско-буржуазная философская и историческая мысль, были выдвинуты марксистско-ленинской наукой на первый план».

В своей статье А. Сахаров так формулирует марксистско-ленинское понимание нации и народа:

«Четкое определение нации как исторически сложившейся устойчивой общиости языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры, диалектически отражало как основные социальные характеристики в понятии нации, так и входящие в них составной частью этнические элементы. Существовало и понимание народа не как общественного целого, а разделенного различными и антагонистическими классовыми интересами, — продолжает он. — «Употребляя слово: «народ», — писал В. И. Ленин, — Маркс не затушевывал этим словом различия классов, а объединял определенные элементы, способные довести до конца революцию». Этнические элементы также входили составной частью в понимание народа, народного».

Формулировка верна в основе, но нуждается в дополнениях и уточнениях.

А. Сахаров справедливо подчеркивает, что как народ, так и нация с марксистской точки зрения являют-

ся продуктом общественного развития; что в условиях классового общества и народ и нация не являются общественным целым, но разделены различными, в том числе и антагонистическими, интересами; что там и тут «составной частью» входят «этнические элементы».

Но как понимать это видимое противоречие: по А. Сахарову, народ разделен «различными и антагонистическими классовыми интересами»; а по словам Ленина, Маркс под «народом» понимал «определенные элементы, способные довести до конца революцию»? Что это за «определенные элементы»? На эти вопросы ответа в статье А. Сахарова нет. Как же без этого толковать проблему народности? Ведь, как говорилось, слово «народ» в прошлом, да и в настоящем, наполнялось различным, отнюдь не одинаковым содержанием. Сам же А. Сахаров ведет спор с теми критиками, которые понятие «народ отождествляют с понятием «нация» и под «народным» понимают «национальное».

В понимании народа Маркс и Ленин исходили из демократической традиции и неоднократно подчеркивали это. Демократы же, как указывалось выше, понимали под «народом» лишь трудящиеся классы общества.

В статье «Экономическое содержание народничества» Ленин приводит, как он пишет, «гениальную характеристику демократизма», данную Марксом по поводу событий французской истории. В ней Маркс, в частности, пишет: «Демократы допускают, что против них стоит привилегированный класс, но вместе со всем остальным населением нации они составляют *народ*. Они стоят за *народное право;* они представляют *народные интересы*. Поэтому им нет надобности исследовать интересы и положение различных классов». «Точь-в-точь российские народники» [1], — делает примечание В. И. Ленин. В той же работе, следуя за демократами, Ленин уравнивает эти два понятия — «народ», «трудящиеся» [2].

Вот почему мы бы, в отличие от А. Сахарова, делали акцент на «антагонистических классовых интересах» применительно к нации, а не к народу, как делает он. Но при этом помнили бы ленинское требование,

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 469.
[2] Там же, с. 367.

чтобы словом «народ» не прикрывалось непонимание классовых антагонизмов внутри народа.

Марксистско-ленинское понимание народа, в продолжение и развитие демократической традиции, утверждало народ, народные массы как главную движущую силу истории, как носителей идеи патриотизма, как олицетворение прогрессивных, революционных начал в каждой нации. Вне этого понимания невозможно правильно осмыслить качество народности нашей культуры. Оно отнюдь не тождественно национальному своеобразию ее, как пытаются нас уверить сегодня некоторые критики. Суть народности — в самобытности, в национальном своеобразии, что необходимо, но еще недостаточно, чтобы литературе быть народной. Народность литературы и искусства — в выражении духа и чаяний народных, в служении своему народу, в выражении его общественных социальных интересов, его точки зрения на воспроизводимую действительность. Так понимали народность литературы наши великие предшественники — демократы, такой была великая русская литература.

Как уже говорилось, демократическое понимание народа и народности отнюдь не снимает вопроса о национальном своеобразии культуры. Таким мостом, связывающим, соединяющим в диалектическом единстве национальное и народное начала в наследии, является ленинское учение о двух культурах в каждой национальной культуре. Именно демократическая, народная, но отнюдь не реакционная, охранительная культура является одновременно и подлинно национальной культурой, прорастающей в будущее. Но эта диалектика реальна лишь при строгой дифференциации понятий «народ» и «нация», при конкретно-историческом, социально-классовом их истолковании.

3

ПАТРИОТИЗМ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ» И ПАТРИОТИЗМ БОРЦОВ ЗА СВОБОДУ

Ленинское понимание соотношения нации и народа, национального и народного предопределяет и наше понимание патриотизма.

Советский патриотизм возрастает на революционных, демократических, подлинно народных тради-

циях отечественной истории, на чувстве национальной гордости народа, совершившего величайшую в мире социалистическую революцию, построившего новое общество, победившего фашизм, поднявшего свою родину до вершин социального и национального могущества.

Еще до революции В. И. Ленин писал в статье «О национальной гордости великороссов»:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т. е. 9/10 *ее* населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика»[1].

В толковании понятия советского патриотизма, его социальных и национальных корней мы также не обойдемся без ленинского учения о двух нациях в каждой нации, о двух национальных культурах в каждой национальной культуре. Забвение этого учения, метафизический внесоциальный подход к прошлому формирует не патриотическое, но националистическое самосознание.

Вот почему так важно, что А. Сахаров в своей статье отстаивает неразрывность понятий советского патриотизма и интернационализма как взаимодополняющих и взаимодействующих сторон, подчеркивает объективный характер этих понятий.

Но вот А. Сахаров переходит к полемике.

«В последние годы в некоторых литературно-критических статьях,— пишет он,— наблюдалось стремление пересмотреть сложившееся в нашей науке понятие патриотизма в приложении к дореволюционному про-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 107.

шлому народа». Как следует из всей его статьи, такое «стремление» и в самом деле «наблюдалось», и проявлялось оно прежде всего в попытках нигилистического подхода к национальному прошлому.

Однако А. Сахаров спорит в данном случае с другим. «Появилось,— утверждает он,— некое деление патриотизма (в приложении к национальному прошлому.— *Ф. К.*) на «официальный» и «патриотизм борцов за свободу». Скажем, в применении к эпохе декабристов говорят «о патриотизме «государственном, официальном» и патриотизме «тогдашней дворянской интеллигенции».

По мнению А. Сахарова, при таком понимании любви к родине «полностью утрачивается характеристика патриотизма народного».

Но почему?.. И как совместить это утверждение А. Сахарова с тем, что буквально на следующей странице своей статьи он пишет о «прогрессивно мыслящих дворянах начала XIX века» примерно то же самое: «Они стали идейными выразителями народного патриотизма в годы Отечественной войны 1812 года. Это был народный патриотизм в отличие от патриотизма «официального».

Получается, что деление патриотизма на «официальный» и «народный» по отношению к прогрессивно мыслящим дворянам эпохи 1812 года — возможно и правильно, а вот деление патриотизма на «официальный» и «патриотизм борцов за свободу» эпохи декабризма почему-то неправильно и даже «пересматривает сложившееся в нашей науке понятие патриотизма в приложении к национальному прошлому».

Где же логика?

А. Сахаров ведет справедливый спор с критиками, которые в увлечении такого рода делением отвергают применительно к прошлому национальный патриотизм, выражающий «национальные интересы» России. «Создается впечатление,— пишет он,— что для некоторых наших критиков, кажется, нигде и никогда в истории России не существовало народных и национальных интересов, никогда не поднимался высоко дух народа перед лицом величайших национальных испытаний. Национальный патриотизм, национальные интересы, как прогрессивные, демократические стимулы,— да нет, такого никогда не было, нет и не будет, а если и есть, так это «квасное», «казенное», «офи-

циальное» — вот смысл этой критики... С этих позиций, — продолжает А. Сахаров, — никак не понять патриотического подвига Кутузова, который, по мысли некоторых критиков, должен был бы отражать лишь официальный, казенный патриотизм».

Жаль, что А. Сахаров говорит о «некоторых критиках» безымянно.

Обратимся к оценке русскими демократами такого выдающегося периода в русской истории, как Отечественная война 1812 года, о чем пишет и А. Сахаров.

«До 1812 года, — свидетельствует Герцен, — сомневались в силе народа и питали несокрушимую веру во всемогущество правительства... В 1812 году неприятель вошел в Мемель и, пройдя через всю Литву, очутился под Смоленском, этим «ключом» России. Объятый ужасом Александр примчался в Москву молить о помощи дворянство и купечество... А народ, забытый даже в это время всеобщего несчастья или слишком презираемый, чтобы просить его крови, которую считали вправе проливать и без его согласия, — народ этот, не дожидаясь призыва, поднимался всей массой за свое собственное дело».

Так мыслил Герцен патриотический подвиг народа в 1812 году, подвиг, после которого, писал он, «ничто для него не изменилось, ему не пожаловали никаких льгот в благодарность за победу, купленную кровью». Разве нельзя говорить о «национальном патриотизме, национальных интересах как прогрессивных, демократических стимулах» применительно к эпохе «величайших народных испытаний» 1812 года?..

Таким образом, деление патриотизма на «официальный» и «патриотизм борцов за свободу» появилось еще в догерценовскую пору. Именно патриотизм борцов за свободу — Радищева, декабристов, а потом — Герцена и Чернышевского, революционеров-разночинцев 70-х годов был подлинно народным патриотизмом, выражал, в противовес патриотизму «официальному», «казенному», «квасному», действительные интересы народа, готовность на борьбу за их осуществление.

Герцен так говорил об этом великом своем чувстве:

«Да, я люблю Россию... Но моя любовь — не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотиз-

ма; я люблю Россию потому, что я ее знаю, сознательно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей силой первой ненависти. Я не скрываю ни того, ни другого».

В борьбе за освобождение народа от ига самодержавия и крепостничества видели демократы подлинный патриотизм. «Например, в недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что есть в отечестве, — писал Добролюбов, — ныне этого уже недостаточно для того, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что еще есть у нас. И нельзя не сознаться, что последнее направление патриотизма гораздо практичнее, потому что вытекает прямо из жизни и ведет прямо к делу, возбуждая энергию воли и внимание к настоящему течению дел».

4

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭТНИЧЕСКОЕ

Национальное и этническое. Такова еще одна проблема, выдвинутая А. Сахаровым в его статье.

«И социальное, и этническое» — так называется, в частности, одна из глав статьи «История и проблемы народности». Проблема эта вышла в его статье чуть ли не на первый план. А. Сахаров подчеркивает, как мы уже видели, тот факт, что понятие «нация» отражает «как основные социальные характеристики в понятии нации, так и входящие в них составной частью этнические элементы», что «этнические элементы также входили составной частью в понимание народа, народного».

Заставляет задуматься прежде всего то значение, которое А. Сахаров отводит в своей статье «Истории и проблемы народности» этническому началу. Он особо оговаривает как характерную черту нашего времени «возросший интерес к этническим проблемам». По его представлению, именно различное отношение к этническому вызвало столь острые споры и разногласия вокруг проблемы народности в нашей литературно-критической среде. Началось все с «национального нигилизма», который своим отрицанием этнического вызвал, по словам А. Сахарова, встречную реакцию:

«...так появились статьи с безоглядной защитой этнического «тысячелетнего» начала в русской истории, так появились резкие отповеди в адрес этих увлечений, по существу отрицающие любой разговор об этнических элементах в понятии народности». В итоге в понимании национального в нашей критике обозначились две крайности: одни критики, считает А. Сахаров, в национальном видели только социальное, другие — только этническое. Так сказать, или — или...

А. Сахаров предложил, на первый взгляд, вполне диалектический подход: «и социальное, и этническое»!

Но тут-то и возникает вопрос: диалектика ли это — чисто механическое соединение социального и этнического, даже если они будут соотноситься не с помощью противительного «или», а соединительного «и»?.. Как вы помните, А. Сахаров ведет спор с теми, кто противопоставляет этническое и социальное; этническое для них не есть социальное. Но и в предложенном им решении: «и этническое, и социальное», механически соединяющем одно с другим, этническое опять-таки не есть социальное. Так ли это на самом деле?.. Обратимся к самому А. Сахарову.

«Медленно, но неуклонно, по крупицам,— пишет он,— собирались и сохранялись этнические черты, которые появились как результат становления человеческих коллективов в трудных условиях освоения природы. Сами эти этнические черты, таким образом, складывались в процессе поступательного прогрессивного развития человеческого общества и являлись одним из видов социальной общности людей».

Но если этнические черты — один из видов «социальной общности людей», значит, сама постановка проблемы — и социальное, и этническое — не точна в основе. Этническое не может не быть социальным — соотношение двух данных качеств не механическое (как у А. Сахарова), но — диалектическое. Эта сложнейшая диалектика этнического в социальном и социального в этническом реально проявляет себя в историческом развитии, в новых и новых, изменяющихся, отмирающих и вновь нарождающихся качествах.

Подмена же диалектического единства единством механистическим дает совершенно неожиданный результат.

«И какую же нужно было иметь силу,— пишет А. Сахаров,— какую изумительную историческую

перспективу, если по прошествии столетий эти характерные признаки этнических коллективов не рассыпались прахом на долгих и трудных дорогах истории, а, напротив, пережив первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический способы производства, вошли в социализм, определив собой этнические черты социалистических наций. Этническое, «тысячелетнее», зародившись где-то в глубине веков, дошло до наших дней не стертым отмирающим явлением, а полнокровным и полноправным историческим феноменом».

Вдумаемся в эти строки и проверим их общеизвестными фактами. Этнические коллективы, складывающиеся на русской равнине в эпоху первобытнообщинного строя, это в первую очередь скифы. Уж не их ли «этнические черты» входят в нашу жизнь «полнокровным и полноправным историческим феноменом»? А может, «характерные признаки» этнических коллективов вятичей и кривичей или Киевской Руси вошли в социализм, определив собой этнические черты социалистических наций? Но как же быть в таком случае с «общностью языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности культуры», как быть с последующим возникновением наций русских, украинцев, белорусов, болгар, поляков, вообще – славян?

Мы задаем эти вопросы вовсе не ради того, чтобы подвергнуть сомнению существование и значение «этнического начала» в истории, но ради серьезного, а не мечтательного к нему отношения. Отношения, рассматривающего этническое начало не как некий неизменный «тысячелетний» феномен, определивший еще на заре человеческой истории «характерные признаки этнических коллективов» да в таком виде и переживший «первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический способы производства» и, наконец, вошедший в социализм, «определив собой этнические черты социалистических наций», но как явление конкретно-историческое, социальное и диалектическое, видоизменяющееся качественно в ходе человеческой истории.

Трудность не в том, чтобы удостоверить сам факт присутствия «этнического» как «полнокровного и полноправного исторического феномена». Эта истина ясна и не требует особых доказательств. Задача (и нелег-

кая) в другом: в каких реальных формах конкретно-исторического бытия проявляет себя в истории или в современности национальное начало? Какие мы сегодня? Какими были вчера? Какими будем, хотим быть завтра?..

Ленинский принцип двух культур в каждой национальной культуре применительно к прошлому — в центре спора с критиками, которые «не прочь подойти к пониманию народа, нации как понятию внеклассовому».

Чтобы уяснить себе, до какой степени это важно, обратимся к работе В. И. Ленина «Критические заметки по национальному вопросу», одной из первых статей, где Ленин сформулировал свой взгляд на национальный вопрос. Ленинская формула о двух культурах в каждой национальной культуре рождалась в споре с бундовцем Либманом и его единомышленниками, в споре с национализмом, маскировавшимся под марксизм.

«Всякий, кто хоть немного знаком с национальным вопросом, — писал Либман, — знает, что интернациональная культура не есть иннациональная культура (культура без национальной формы); иннациональная культура, которая не должна быть ни русской, ни еврейской, ни польской, а только чистой культурой, есть бессмыслица; интернациональные идеи именно могут стать близкими рабочему классу только тогда, когда приноровлены к языку, на котором рабочий говорит, и к конкретным национальным условиям, в которых он живет; рабочий не должен быть равнодушен к положению и развитию своей национальной культуры, потому что через нее и только через нее получает он возможность принять участие в «интернациональной культуре демократизма и всемирного рабочего движения». Это давно известно, но обо всем этом В. И. и знать не хочет...»[1]

Что же Либману ответил В. И. Ленин?

Что ни один демократ, а тем более марксист не отрицает значения родного языка, национальных (то есть этнических) особенностей, условий и прочего, что «интернациональная культура не безнациональна», — «об этом нечего говорить, этими бесспорными истинами бундист загораживает спорное, то есть то,

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 120.

в чем действительно заключается вопрос». А вопрос – в следующем.

«В *каждой* национальной культуре есть, хотя бы не развитые, *элементы* демократической и социалистической культуры, ибо в *каждой* нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в *каждой* нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная)...», и бундист, не понимающий этого, выступает, по мнению Ленина, «как буржуа, весь интерес которого требует распространения веры в внеклассовую национальную культуру»[1].

Всякое противопоставление «одной национальной культуры в целом другой якобы целой национальной культуре» и есть, с точки зрения Ленина, «*буржуазный* национализм, с которым обязательна беспощадная борьба»[2].

В этом – существо всех наших разногласий последних лет в отношении проблем истории и народности. Об этом, а не об «этнических», специфически национальных чертах культуры идет в критике спор. Национальные начала нашей культуры – как, кстати, и любой другой культуры мира – бесспорны. Попробуйте отменить их!

5

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ» И «ИСТОКИ»

«Интеллектуализм» и «истоки» – так называется еще одна глава статьи А. Сахарова. Та самая глава, уточняет автор, где рассматриваются литературно-критические «оценки современного соотношения городской и деревенской культуры, «интеллектуализма» и «истоков».

Итак, проблема «интеллектуализма» и «истоков» для А. Сахарова и критиков, с которыми он ведет спор, – это проблема «современного соотношения городской и деревенской культуры», где «истоки» уравниваются с культурой «деревенской», а «интеллектуализм» – с «городской» культурой.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 120–121.
[2] Там же, с. 130.

Определив таким образом проблему, А. Сахаров высказывает и свое отношение к ней.

«Становится понятной в этой связи и та озабоченность, которую высказывают А. Метченко, М. Лобанов, А. Ланщиков и другие критики относительно наступления бездуховного «интеллектуализма» на «истоки»,— пишет он.— Действительно, в недавнем прошлом невесть с чьей руки пошли гулять по страницам литературных журналов модные термины «интеллектуализм», «интеллектуальная проза», «интеллектуальная поэзия», которые при ближайшем рассмотрении оказываются не чем иным, как одним из очередных вариантов отрицания национальной основы литературы и искусства.

О бездуховной, обывательской сущности «интеллектуализма» как литературного течения, противостоящего народности, справедливо говорили критики,— продолжает А. Сахаров.— В статье «От литературных фикций к литературной действительности» А. Ланщиков, например, пишет: «В основе так называемого «интеллектуализма» лежит разнообразие информации, сознание собственной исключительности, обывательская падкость на новизну, и только. Не случайно «интеллектуальная литература», не способная подняться до высоких обобщений, прислушаться к колоколам гражданского и народного звучания, погрязла в обывательской серости «исповедальной» прозы и, не отразив духовных потребностей времени, бесславно заканчивает своей век». М. Лобанов в своей статье «Интеллектуализм» и «надобность в понятиях» («Литературная газета», 1968, 27 ноября) также обратил внимание на настойчивую борьбу апологетов «интеллектуальной» литературы против «истоков» в их социально-этническом понимании: «Не надо быть особенно проницательным, чтобы увидеть и в нашем «гордом интеллектуализме» преобладание этого «усвоенного» жаргона с его неприятием всякой народно-исторической проблематики, дешевыми «еретическими» парадоксами, «новациями» и так далее».

Мы намеренно привели столь пространную выдержку из статьи «История и проблемы народности», чтобы достичь полной ясности в том, что понимают под «интеллектуализмом» и «истоками» А. Сахаров и критики, которых в данном случае он поддерживает.

Концепция «истоков» связана с деревней, «интел-

лектуализм» же в сфере науки, культуры, образования, управления сегодня связан прежде всего с научно-техническим прогрессом, с научно-технической революцией, которая, как справедливо заметил Ф. Бурлацкий в статье «Интеллектуализм, интеллигентность и «массовая культура» («Иностранная литература», 1972, № 10), «сама по себе тяготеет в своих последствиях исключительно к интеллектуализации общественного труда».

Он же справедливо обратил внимание на то, что «интеллектуализм» (равно как, к примеру, и экономическая интеграция) требует конкретно-исторического, социально-классового подхода к себе, ибо данное понятие лишено нравственной позиции, морально-этической и социальной специфики. Ф. Бурлацкий глубоко прав, когда пишет, что «в сопоставлении этих двух понятий – «интеллектуализм» и «интеллигентность» – одна из коренных нравственных проблем нашего века», что «интеллектуализм» всегда необходимо спрягать с тем, кому и чему он, равно как и технический прогресс, в принципе служит.

Не учитывая этой диалектики, наши ревнители «истоков» отвергают «интеллектуализм» в принципе, как и «всеобщую индустриальную пляску».

Об истоках этих заблуждений с достаточной точностью писал в статье «Вечный зов и позывные века» на страницах журнала «Москва» (1972, № 4) А. Метченко, так что на него в данном случае А. Сахаров ссылается зря. В позиции критиков, «напуганных бурным ростом науки и техники и готовых противопоставить происходящим в стране изменениям патриархальное прошлое», А. Метченко справедливо увидел непонимание гуманистического характера научно-технической революции в условиях социализма. «Противопоставляя полевую Русь металлическому веку», иные литераторы, подчеркнул А. Метченко, «как бы забывают, что коммунизм строится в условиях великой тяжбы двух миров и может доказать свое превосходство, только опираясь на научно-технический прогресс, используя его в интересах человечества».

Вглядимся под этим углом зрения в концепцию «истоков».

Прежде всего, «истоки» – чего?.. По-видимому, социалистической культуры, советской литературы, наших духовных и нравственных ценностей.

В главе «Интеллектуализм» и «истоки» автор статьи «История и проблемы народности» подчеркивает, что «само обращение литераторов и литературных критиков к этим вопросам отражает все тот же обострившийся интерес к национальному прошлому советского народа, к историческим корням народной культуры, их современным проявлениям на почве советской социалистической действительности. Такой интерес помогает сохранению и развитию народной культуры, способствует обогащению социалистического и национального самосознания... Всяческая поддержка литературной критикой именно этого аспекта обращения к «истокам» – дело полезное и благородное».

Позволю себе заметить, что «социалистическое национальное самосознание» формируется у нас не просто «национальным прошлым» тех или иных республик, не национальными «истоками» вообще, но передовыми, демократическими, подлинно народными традициями в национальном прошлом, великим гуманистическим наследием национальной культуры прошлого.

Не случайно и советская критика в большинстве своем опирается в размышлениях о развитии социалистической культуры на категории народности, партийности и культурного наследия в ленинском их понимании, а не на концепцию национальных «истоков».

Вернее, мы также за истоки, но не в узком, абстрактно-этническом, а в ленинском их значении. Ленин, как никто другой, стремился – и завещал нам – быть достойными наследия всего лучшего в мировой и отечественной культуре. Он писал, что марксизм завоевал свое всемирно-историческое значение именно потому, что «усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры». Это ли не уважение к истокам?.. Но при таком подходе к сокровищнице человеческих знаний и культуры Ленин настоятельно требовал сохранять принцип конкретно-исторический, социально-классовый, ибо далеко не всякое наследие национального прошлого может служить истоком социалистической культуры.

Так обстоит дело с пониманием некоторыми критиками так называемых «истоков» как национальной, этнической основы социалистической культуры. Однако в современном употреблении понятия «истоки» на-

ряду с этническим есть и, так сказать, социальный аспект – не случайно А. Сахаров пишет о «социально-этническом понимании «истоков». Этот социальный аспект выявлен А. Сахаровым уже в том его размышлении, где он пишет о «современном соотношении городской и деревенской культуры», «интеллектуализма» и «истоков». И действительно, иные современные критики, говоря об «истоках», разумеют «почву», считая «почвой» нашей культуры только деревню, только крестьянство, тождественное для них понятию «народ». Эти два аспекта в понимании «истоков» – «этнический» и «почвенный» – тесно связаны между собой. Эта связь опять-таки проявилась со всей очевидностью уже в прошлом. И славянофилы, и почвенники в своем понимании «истоков» объединяли оба эти аспекта, ибо деревня, крестьянство всегда и везде были наиболее устойчивы в сохранении и консервации этнических начал, являлись резервуаром и истоком национального своеобразия жизни. Это было особенно характерно для послепетровской России, когда возникла пропасть между «офранцуженным» и «онемеченным» правящим классом и народом.

В свою очередь, город, промышленность, новые средства передвижения и уж тем более средства массовой информации, естественно, резко усилили духовное «кровообращение», разомкнули этот резко очерченный круг, включили современную деревню в естественный процесс национального взаимообогащения и сближения. Город, промышленное производство с неизбежностью способствуют межнациональному сближению, – не случайно именно пролетариат выдвинул принцип интернационализма.

Так что в концепции «истоков», объединяющей в себе оба аспекта – и этнический, утверждающий национальные основы культуры, взятые в целом, и социальный, противополагающий деревню как естественную «почву» национальной культуры городу, – есть известная цельность и законченность. Пока сторонники этой концепции ставят во главу угла внеклассово понимаемые национальные устои в прошлом и органическую «почву» национального чувства – патриархальную деревню – в настоящем, в их рассуждениях есть пусть и формальная, но – логика.

Еще Белинский, протестуя против псевдорусских бытописателей, говорил, что «кто умеет схватывать

резкие оттенки только грубой простонародной жизни... тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титло национального поэта». «А ведь нередко, — пишет далее А. Сахаров, — любители «истоков» так уж грубо «схватывают резкие оттенки», так громко причмокивают, припадая к «истокам», так щеголяют своей откуда-то взявшейся «сочной» и «ядреной» русской речью, что «истоки» вдруг начинают противопоставляться городской культуре, городу, крестьянин — интеллигенту. И не тому информированному «интеллектуалу», о котором шла речь выше, а действительному интеллигенту, плоть от плоти и кровь от крови народа. В стремлении увидеть «истоки» обособленными, отгороженными от современных достижений народа во всех областях жизни, наконец, в однобоком наблюдении жизни народа лишь сквозь старокрестьянскую призму есть что-то национально ограниченное».

Согласимся с А. Сахаровым и в этом. И пусть любителям русской старины грустно это видеть, но что поделаешь, если не укладывается «русский мужик» в рамки розовых патриархальных мечтаний некоторых наших литературных критиков.

1973

ИСТИНА ИСТОРИИ

Статья первая

1

Взгляд на историю в наше время, как и всегда, выявляет истину не только вчерашнего, но и сегодняшнего дня, отражает борение, дискуссии, столкновение сегодняшних, современных литературных воззрений, общественных страстей.

Мы ощущаем это в отношении к истории русской общественной мысли и к истории литературы в применении, скажем, к театру, кино, где интерпретация классики подчас служит утверждению не столько самой классики, сколько – интерпретатора с его нередко узким, ограниченным взглядом на мир, с его субъективизмом и любовью к различного рода аллюзиям, смысл которых не в постижении исторической истины, но в стремлении к «многозначительному» намеку. Такой интерпретатор, будучи не в силах подняться до постижения всей глубины гуманистических идей, всей мощи духовно-нравственной проблематики интерпретируемого произведения, использует классику как повод для самовыражения, для проведения в публику своих, подчас крайне мелких, поверхностных, но зато, как говорили в старину, «абличительных» идей.

И вот уже падкая на сенсации публика с замиранием сердца следит за действием по произведению или, как любят ныне означать, «по мотивам произведения» того или другого классика, выискивая в нем не высокую гуманистическую суть, ради которой оно и создавалось, но – те дешевые приметы столь же дешевого «абличительства», о котором с иронией говорили наши предшественники еще в прошлом веке.

Порой в такой вот интерпретации классики, когда проникновение в глубинный смысл произведения подменяется аллюзивным, а потому и крайне поверхностным его прочтением, видят современный подход к классическому наследию. В свое время «Литературная газета» провела даже обширную дискуссию о праве современного художника, в первую очередь режиссера, на сегодняшнее прочтение классики.

Право это было доказано и утверждено. Одна беда: в ходе дискуссии не оказалась всерьез обсужденной проблема, что же понимать под современным взглядом на классику. Не была выявлена опасность псевдосовременного прочтения классики, когда нам предлагают не Тургенева, но – Кончаловского в фильме «Дворянское гнездо», не Чехова, но – Эфроса в спектакле «Вишневый сад» в Театре на Таганке; их взгляды, их отношение к миру с помощью, естественно, Тургенева, Чехова предлагаются публике.

Современное прочтение классики, на наш взгляд, не только отвергает, но как раз предполагает возрастающую глубину постижения идей и чувствований, которые несет классика современному читателю и зрителю, все более полное и точное раскрытие под углом зрения общественных интересов современности именно того круга, комплекса идей, который объективно заключен в произведении, без навязывания нам своей воли, своих, зачастую сторонних и чуждых автору, идей, без волюнтаризма и субъективизма в отношении к классике, которая, увы, беззащитна от такого рода посягательств.

И, пожалуй, небезосновательны сегодня требования охранять классику от браконьерства – точно так же, как мы стали охранять природу и памятники старины. Это было бы прекрасно, если бы не одна особенность, в принципе отличающая ее от памятников, как природных, так и созданных руками человека.

Ведь классика – это та вечная духовная ценность, которая не может и не должна пребывать в застывшем состоянии, быть музейным памятником; она живет жизнью современности и, более того, открывая нам все новые и новые грани, все новые и новые глубины своих духовно-эстетических богатств. Такова тайна всякой подлинной, большой, высокой литературы, сильной и великой как раз неисчерпаемостью

своего общечеловеческого, всечеловеческого содержания.

Известно, что любой из нас, обращаясь к Пушкину, Толстому, Достоевскому в различную пору собственной жизни – юные, зрелые или более поздние, умудренные опытом годы, – читает их разными глазами, каждый раз по-новому, со всевозрастающей глубиной.

Общество в целом, всматриваясь, вглядываясь в великое духовное наследие прошлого, постигает его на разных уровнях и в чем-то по-новому – в зависимости от собственной зрелости, нового социального опыта и конкретных исторических задач. Процесс этот не есть прямая, кратчайшая между двумя точками, но – путь сложный, противоречивый, отмеченный подчас мучительными отступлениями и ошибочными мнениями, борьбой идей. Но поиск этот идет постоянно, он неукротим и необратим.

Если мы взглянем, к примеру, на судьбу наследия Достоевского в период последних десятилетий – от 20-х до 70-х, мы воочию увидим, насколько объемнее и диалектичнее стал наш взгляд, наше отношение к гуманистическим ценностям прошлого.

Палитра нашей отечественной культуры как XIX, так и XX века сегодня светится самыми разнообразными красками. Мы далеки от ригоризма в подходе к таким достаточно противоречивым фигурам прошлого, как Тютчев или Фет, как деятели раннего славянофильства или «почвенничества» – Аксаковы, Киреевские, Самарин, Аполлон Григорьев; наша литературная мысль стремится разобраться в воззрениях таких идейных оппонентов революционного освободительного движения, споривших с самой идеей социализма, как Василий Розанов, Константин Леонтьев, Николай Бердяев и другие.

За последнее десятилетие советскому читателю вернулись писатели, которые в революционные и послереволюционные годы не сразу определили свой выбор, оказались в эмиграции, – скажем, Бунин и Цветаева, Ремизов и Куприн. Надежное, прочное место заняли в нашем сознании писатели сложного творческого пути, а некоторые – и трудной судьбы, как Б. Пастернак, А. Ахматова, М. Булгаков, А. Платонов, И. Катаев и другие.

Этот ширящийся процесс обогащения нашего

творческого наследия за счет заинтересованного подхода к ценностям прошлого благотворен лишь при одном условии: если при этом мы не забываем, не будем забывать о своем революционном социалистическом первородстве, если мы не утрачиваем принципов конкретно-исторического подхода к литературному и общественному процессу минувших лет, если каждого художника сложной творческой судьбы мы изучаем, постигаем и утверждаем в общественном сознании во всей реальной сложности его мировоззрения, во всем противоречии его развития, во всем богатстве и напряжении литературной и идейной борьбы того времени, к которому он принадлежал.

В нашей подзатянувшейся борьбе с крайностями социологического подхода к литературе, с болезнью вульгарной социологии, когда-то, много десятилетий назад, причинившей и в самом деле немалый вред советской критике и литературоведению, не впадаем ли мы подчас в крайность противоположную, в болезнь социальной, социологической малограмотности, индифферентности к общественно-социальным аксиомам развития литературы минувших (и современной) эпох? Часть нашей критики пытается подменить сущностный, смысловой, идейно-эстетический анализ литературного процесса формализованным, по сути дела, эстетским анализом вырванного из контекста современной жизни, литературной и общественной борьбы «текста». Схожие болезни переживает в чем-то и наша история литературы, в которой все приглушеннее порой звучит обществоведческий, социологический подход к постижению тенденций и процессов развития литературы прошлого, все ощутимее стремление анализировать, исследовать те или иные явления литературы прошлого вне богатейшего, сложнейшего контекста социальной, общественной, идейной, в конечном счете — классовой борьбы минувших веков. И это тогда, когда вновь во всем мире взрывом вспыхнул интерес к политике, к социологии литературы, к социологическому подходу в исследовании литературы!

Иногда встает такой вопрос.

Русские революционные демократы принадлежали своему времени и решали соответственные этому времени задачи. Их главной исторической задачей была борьба с самодержавием и крепостничеством, критика современного им русского общества ради

подготовки революции. Под углом зрения этих задач они оценивали и современную им литературу, утверждая в ней по отношению к русской жизни той поры в первую очередь критические начала.

С тех пор прошло сто с лишним лет, революция свершилась, и сегодня перед нашим обществом и страной, а следовательно, перед нашей литературой и критикой стоят новые задачи. В этих условиях и русская классика XIX века поворачивается, должна поворачиваться к нам новыми гранями и сторонами, выявляя в первую очередь свое положительное содержание и в первую очередь свои бесценные открытия духовных и душевных богатств русского народа, его нравственного величия и красоты.

Так, ради выявления этих положительных начал в русской классике, может быть, говорят некоторые критики, стоит поступиться некоторыми оценками революционных демократов, кое в чем пересмотреть их позиции, опираясь в данном случае на более лояльные по отношению к действительности той поры оценки консервативных русских критиков? А может быть, отказаться даже от термина «критический реализм» применительно к русской литературе XIX века в принципе? Возникают даже и такие предложения! Так же как имеют место, к примеру, попытки вернуть жизнь аксаковскому толкованию гоголевских «Мертвых душ» как «Илиады» того времени и тем самым поставить под сомнение сатирическое начало в «Мертвых душах» за счет гиперболизации начала поэтического, представить Гоголя в первую очередь не сатириком, но поэтом Руси.

Вопрос этот и само стремление «притушить» критическое начало в русском критическом реализме ради более полного и четкого, как кажется, выявления положительного начала в русской литературе XIX века — наивны.

В том, что для нашего сегодняшнего дня все большее значение приобретает положительное содержание русской литературы XIX века, постановка и решение ею «вечных», общечеловеческих духовно-нравственных вопросов и проблем, спору нет. Но ведь общечеловеческие вопросы и проблемы, самые сложные вопросы и проблемы человеческого духа, решались русской классикой на материале остросовременном, в реальных социальных конфликтах и коллизиях, в боре-

нии социальных страстей, в обстоятельствах суровой, беспощадной правды того времени, что и составляло главный исток духовного могущества и художественной силы великой русской литературы. Попробуйте хоть на минуту представить себе Толстого без его беспощадного реализма, Гоголя без его «смеха сквозь слезы», Достоевского без его боли по поводу бесчеловечности окружающего его мира, попробуйте «притушить», «притупить», «смягчить» пафос социальной критики в творчестве этих писателей – и не будет ни Гоголя, ни Толстого, ни Достоевского. Следовательно, выявление положительных духовно-нравственных начал в русской классике должно идти не за счет начал критических, но как следствие все более глубокого постижения всей совокупности духовно-нравственных богатств, которые заключает в себе классика и которые как воздух необходимы нашему времени.

В этом и состоит подлинно современный взгляд на классику. Он утверждает себя в преодолении обеих крайностей: как стремления к пошлым аллюзиям, когда резкая бескомпромиссная критика литературой XIX века самодержавно-крепостнических порядков путем намеков, подчеркнутых ассоциаций переносится на нашу социалистическую действительность, так и попыток притушить ее критический пафос – ради ложно понимаемой «позитивной» роли классики в решении наших современных общественных задач.

Обращаясь к творчеству тех писателей XIX века, которых утвердили в русском общественном самосознании революционные демократы, мы смотрим на них из нашего сегодня в чем-то под новым углом зрения. И это естественно. Писатели, их творчество поворачиваются к нам новыми своими гранями, актуальными для нашего времени, видятся нам в дополнительных красках и объемах.

Такова судьба всякой классики, то есть вечно живой, подлинной литературы. Каждая новая эпоха осмысляет ее в чем-то по-своему, исходя из собственных социальных и нравственных задач.

Важно только, чтобы эта вечная диалектика познания не только не разрушала объективную сущность, реальный, действительный смысл произведения, но, напротив, наиболее полно и всесторонне, полнее и глубже, чем раньше, выявляла его. Чтобы новейшая интерпретация не навязывалась внешне, искусственно,

ради сомнительных мнимо современных аллюзий, как это случилось, к примеру, с «Вишневым садом» Чехова в постановке Эфроса. Там студент Петя Трофимов свой знаменитый монолог о будущем, весь вырастающий из русской демократической традиции, из жажды предстоящих перемен, произносит, уткнувшись носом в могильный холм, в основание кладбищенского постамента. Крайне неточно, тенденциозно прочитан Гоголь в пьесе «Колесо» (по поэме «Мертвые души»), поставленной в Московском драматическом театре. Ушла гоголевская поэзия, одухотворенность, та конечная вера в будущее родной страны, которая сконцентрирована, сфокусирована в знаменитых словах о птице-тройке, — и осталось приземленное обличительство, к которому, как известно, «Мертвые души» никак не сводятся.

Современный взгляд на классику — в театре ли, в кино, в литературоведении, в критике — подразумевает прежде всего стремление к исторической правде, истине в ее полном объеме, конкретный историзм, обязывающий исследователя, интерпретатора рассматривать любое явление литературы прошлого в широком и полном общественном, социальном, историко-культурном и литературном контексте, контексте идейной, социальной, общественной борьбы своего времени.

2

В последнее время ряд книг о русском классическом наследии привлек к себе внимание, породил споры, подчас — полемику. В этом ряду особо острое читательское и литературно-критическое внимание и споры вызвала книга Ю. Лощица о Гончарове. Появились рецензии на эту книгу, продолжаются дискуссии, выявляющие отзывы крайне полярные — от уничтожающих до апологетических. Но любая оценочная крайность — не тот путь, который предполагает заинтересованное разрешение творческих проблем.

Мы уже привыкли к тому, что в литературную критику идут люди из литературоведения. Но наметилось и обратное: критика стала брать на себя задачи литературоведения, направлять свои усилия в область истории русской литературы отчасти с тем, чтобы не-

сколько расшевелить, видимо, и в самом деле чуть застоявшиеся воды литературоведения, и, надо полагать, с тем, чтобы повернуть классику лицом к нашему историческому сегодня, помочь истинно современному ее прочтению.

В какой-то степени этот идущий во многом от нынешних споров взгляд на классику отвечает истине истории и даже проще – реальным фактам литературного, общественного процесса исследуемой эпохи? Вопрос не праздный, поскольку история литературы, как и критика, – особая сфера, где с налету, парашютной высадкой, десантированием в отдаленную эпоху многого не достигнешь. Не случайно серьезные литературоведы, историки литературы посвящают какому-то одному периоду в истории литературы, а подчас и одному писателю всю жизнь. И это объяснимо. Критик, занимающийся современным литературным процессом, поневоле, биографией своей, повседневным личным участием в литературной борьбе эпохи знает все детали и тонкости, всю сложность переплетений литературной и общественной борьбы своего времени. Историк же литературы, изучающий литературный процесс минувших времен, обязан с помощью документальных источников – архивов, мемуаров и воспоминаний, газетной и журнальной прессы того времени, всей доступной эпистолярной литературы и конечно же посредством скрупулезного изучения всего литературного наследия писателя – как бы заново погрузиться в тот мир и в совершенстве познать его, как и весь реальный контекст политической, духовной, нравственной, литературной жизни того времени. Творчество художника – лишь верхушка айсберга, а невидимую его часть составляет эпоха, ее общественные, политические, идейные страсти, тенденции, противостояния, борения – океан жизни, напряженной, наполненной, кипучей жизни той поры, поставленной к тому же в общий контекст истории, а потому незримо связанной с прошлым и будущим, а следовательно, и с нашими днями, с современностью.

Критик, обратившийся к историческому сюжету в литературоведении, обязан превратиться в историка литературы, не утрачивая качеств литературного критика и прежде всего не теряя пера, умения и желания разговаривать с самым широким кругом читателей,

обязан ощущать живой нерв современности. Он обязан совмещать все эти качества с высоким профессионализмом историка литературы: исчерпывающим знанием предмета, таким же доскональным знанием научной литературы о нем, истории изучения вопроса, диалектики научных дискуссий, щепетильнейшей честностью в отношении исторических фактов, с тем чтобы выводы делать из реальной, фактической, тщательно изученной и осмысленной основы, а не подгонять под готовые выводы факты и материал действительности; наконец, научной концептуальностью своего мышления, такой концептуальностью, которая базируется на фундаменте цельной научной методологии, целостных философских и общественных убеждений, отвечающих как истине того времени, так и истине нашей эпохи.

Эти принципиальные требования к историку литературы, то есть человеку, профессионально занимающемуся святая святых – нашим духовным, культурным, литературным наследием, вдвойне обязательны по отношению к книгам, рассчитанным на массового читателя, ибо они дают ему изначальную информацию о писателе и его эпохе, как говорится, из первых рук.

Тот факт, что вышеназванные книги критиков о русских писателях XIX века талантливы, ярко написаны, с интересом читаются, вызывают активную читательскую реакцию, неоспорим. Даже самые ярые их противники не подвергают сомнению литературную талантливость и творческую состоятельность их авторов. Вопрос в другом, как в данном случае обстоит дело с научностью? Ибо, повторюсь, массовый тираж этих книг не только не отменяет требования научности, но удесятеряет его. Ни критические окрики, ни критические панегирики, ни даже «круглые столы» и коллективные дискуссии полного ответа на этот вопрос дать не могут. Самый результативный путь здесь – объективный разбор, цель которого – выявление сильных и слабых сторон данных работ, поддержка всего ценного в них, всех позитивных результатов поиска, сочетающихся с аргументированным научным спором, доказательной литературной дискуссией там, где это необходимо. Причем научная литературная дискуссия никогда не должна быть тормозом развития литературной мысли даже там, где эта мысль не до-

стигла еще своей окончательной завершенности и научной выверенности.

Чтобы такой разговор вести всерьез, необходимо в достаточной степени знать материал, эпоху, о которой ведется речь. Вот почему я ограничусь размышлениями в отношении сюжетов из той эпохи, которой и мне доводилось заниматься, — эпохи 40—60-х годов XIX века.

Остановлюсь подробнее на книге Юрия Лощица «Гончаров» (М., 1977). Достоинства этой книги немалые. Написанная пером сильным, убежденным и, как говорили в старину, молодым, молодым не только в смысле возраста автора, но и в смысле свежести, точной и яркой образности, в смысле трудного и редкого сочетания изобразительной силы с четкостью исследовательской мысли, книга эта в лучших своих страницах — интересна, я бы сказал, дерзка и достаточно доказательна. При необходимой методологической основательности и научности она могла бы стать образцовой из серии «ЖЗЛ».

В основе авторского художнического приема лежит способность автора к перевоплощению, умение войти в образ, вести повествование изнутри, как бы со слов своего героя, точнее, своих героев, но в первую очередь конечно же Ивана Александровича Гончарова, в которого исследователь влюблен, которого он боготворит. И здесь книга интонационно на редкость достоверна, поскольку Ю. Лощиц отменно знает биографию и творчество своего героя, настолько вжился в его образ, что стал как бы alter ego, вторым «я» Гончарова.

На этом пути — на пути вживания в образ мыслей и чувствований своего героя, в его духовный и идейный мир, в его миросозерцание — автор бесспорно достиг немалых успехов. Но этот путь таит в себе и свои — при этом немалые — опасности.

Ю. Лощиц идет к творчеству Гончарова, к пониманию и истолкованию его книг через субъективную сферу миросозерцания художника, через его замыслы. Добролюбов шел к истолкованию прозы Гончарова, как и других русских художников, через объективный итог, подчеркивая, что для реальной критики не так важен замысел, то есть не столько то, что задумывалось художником, сколько то, что получилось, что сказалось художником в его произведении. Два взаи-

модополняющих начала, но — не равные. За Добролюбовым стояло глубокое понимание революционными демократами специфики литературы, развивающейся по своим внутренним законам, роли художественной правды как объективного фактора, заставляющего подчас художников приходить к результатам, в чем-то уточнявшим, а иногда даже и опровергавшим первоначальный их замысел.

Главная же задача, которую ставит перед собой Ю. Лощиц, — раскрыть, исходя из биографии и творчества Гончарова, субъективный пафос творчества художника, его взгляд на мир, на окружающую его действительность середины XIX века, идейные и художнические представления писателя об этой действительности, воплощенные в его романах.

Начальные главы книги, и прежде всего глава «Люди «Летописца», раскрывают нам корни, среду, в которой рос и воспитывался будущий автор «Обломова», помогают понять истоки миросозерцания Гончарова, равно как и многие мотивы его творчества. Повествователь здесь опирается на домашний «Летописец» — своего рода домашний дневник, который долгие годы вели в семье симбирского купца Гончарова, где в 1812 году и родился будущий писатель.

Этот домашний «Летописец» и другие материалы, тщательно изученные Ю. Лощицем, позволили ему с достаточной проникновенностью восстановить и даже художнически реконструировать дух среды и семьи, в которой рос Иван Александрович Гончаров. Этот дух, по мысли Ю. Лощица, наложил печать на все его миросозерцание.

«Эти, назовем их условно люди «Летописца», — повествует Ю. Лощиц, — не представляли собою какую-то замкнутую секту, их пребывание не ограничивалось какой-то определенной территорией. Они простирались так широко, что, куда ни ткни, все попадешь в них. Скажешь ругательное «патриархальщина» — и это будет про них. Скажешь более сдержанное слово «консервативность» — и снова это про них. Уклад, свычай и обычай этих людей действительно были патриархально-консервативно-традиционны. Эти семьраз-отмериватели никогда не спешили расстаться со старыми привычками и обрядами, побаиваясь брать на себя ответственность в выдумывании новых. Ведь

старые-то создавались бессчетными поколениями, и хватит ли у них силенок и прыти все вдруг переиначить на своем лишь веку? А если даже и хватит, то долго ли продержатся эти нововведения?»

Автор почти полностью скрыт за этим ликом «людей «Летописца». И вместе с ним в подтверждение верности традициям этих «семь-раз-отмеривателей» согласно киваешь: «Вон,— рассуждали они с ухмылкой,— был ведь уже пример, и совсем недавно, когда в одном из соседних государств кучка умников разожгла толпу на всяческие перемены и до того распыхались, что только и думали с утра до ночи, как бы еще что-нибудь старое поменять на новое. И уже преуспели в деле своем, так что даже и названия месяцев поменяли на дикие какие-то словеса. Но до того увлеклись своими переменами, что тут как раз и их всех одного за другим поменяли, а потом и все их выдумки отменили».

Постойте, постойте! Да ведь это — про Великую французскую революцию!.. Можно ли так?! Но с другой стороны, что тут сделаешь: это ведь «люди «Летописца», патриархальная симбирская среда, из которой вышел Гончаров, она-то именно так и смотрела на французскую революцию, так и думала. Ну, а автор?.. Его позиция?..

Впрочем, оставим пока в стороне эти вопросы в надежде, что последующее развитие повествования поможет на них ответить. И отнесемся с доверием к тем умозаключениям автора — а не поверить ему в данном случае трудно,— что изначальная социально-психологическая установка среды, в которой автор «Обломова» провел свое детство и отрочество, дала отсвет на всю его последующую жизнь. Пройдя гимназию, университет, достаточно серьезную школу жизни бурных 50—60-х годов прошлого века, Гончаров, по Ю. Лощицу, так и остался в основе своей верным традициям «Летописца». Далеко не все было худо в этих традициях, доказывает Ю. Лощиц, и трудно с ним не согласиться, по крайней мере там, где он рисует Гончарова человеком твердых жизненных, нравственных основ, получившим изначальное свое образование от няни Аннушки, пересказавшей ему в детстве такое множество историй и сказок, что их никакая книга не могла вместить, и прочно связавшей его сознание с глубинными основами русской на-

родной жизни. «Она с простодушностью и добродушием Гомера, с тою же животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни...» – скажет Гончаров позже о своей няне в «Обломове».

Однако, говорит Ю. Лощиц, Гончаров при всем этом рос человеком глубоко консервативных воззрений, настороженно встречающим все новое, неизведанное, чужое, чужеземное.

Исследователь Гончарова подчас с симпатией живописует нам внутреннюю крепость, проявляемую его героем по отношению к опасности влияния «чужеземной» культуры. Еще в пансионе, сообщает он, юный Гончаров начал изучать два иностранных языка – французский и немецкий. «Первому, как тогда и полагалось, уделяли особое внимание, и вскоре мальчик стал почитывать и французов, все подряд, без разбору, – разрозненные тома Расина, Вольтера, Руссо. За внеклассным чтением своих подчиненных наставники совсем не следили, – огорченно замечает он, – и Ваня не знал удержу. То вытащит из груды книг Ратклиф, то Торквато Тассо, то Стерна, а то вдруг и немецкого мистика Эккартсгаузена. Для более слабой натуры подобная пища оказалась бы, пожалуй, губительной, но этот как-то все умудрялся переваривать и при том оставаться все таким же розовощеким, бойким, подвижным мальчишкой, каким и прибыл в пансион». Конечно, сразу же возникает вопрос, почему вдруг чтение Расина, Вольтера, Руссо или даже Торквато Тассо и Стерна могло оказаться для будущего писателя «губительным»?.. Но потом вспоминаешь, что повествование в книге идет «изнутри», через восприятие жизни «людьми «Летописца», и опять-таки оставляешь вопрос «на потом». И все-таки... неожиданные здесь авторские опасения за духовное здоровье юного Гончарова, без присмотра просветителей-французов, вызывают первую тревогу, несогласие с автором. Да так ли уж узки идейные, духовные корни творчества Гончарова?

В книге Ю. Лощица показано, что молодой двадцатипятилетний писатель, опубликовавший в «Современнике» в 1847 году роман «Обыкновенная история», вошел в русскую литературу триумфально. А ведь этот первый роман Гончарова сутью своей, содержанием,

уровнем мысли, принадлежностью к «натуральной школе», то есть к направлению критического реализма, «гоголевскому» направлению, как говорили в ту пору, уже противится намерению Ю. Лощица свести мировоззрение Гончарова лишь к традиции «Летописца».

Как известно, Иван Александрович Гончаров был человеком европейски образованным, овладевшим богатейшим наследием отечественной культуры и европейского просвещения. При всем том, что в политике Гончаров был действительно человеком либерально-консервативных позиций, типичным «либеральным консерватором», он был еще и великим русским гуманистом. Его миросозерцание в зрелых своих формах неизмеримо далеко ушло от глухой провинциальной среды «людей «Летописца», взяв и из нее все живое и лучшее. Однако этот процесс духовного взросления, развития гуманистического самосознания выдающегося русского писателя, каким зарекомендовал себя Гончаров с начала своего творческого пути, к сожалению, не исследован и не осмыслен. В итоге блистательный роман «Обыкновенная история» возникает в книге Ю. Лощица как некий «бог из машины» — внезапно, необъяснимо, непонятно.

Так задача Ю. Лощица — раскрыть субъективный пафос творчества Гончарова — в сути своей оказывается односторонней и предопределяет методологическую ограниченность и соответственно совсем не обязательные для исследования отклонения от истины.

Ну в самом деле, как можно столь небрежно относиться, скажем, к французскому Просвещению и Великой французской революции, с чем мы сталкиваемся в книге Ю. Лощица, видя, каким было их влияние на последующее развитие мировой истории и культуры? Манера авторского повествования, идущая как бы вначале от «людей «Летописца», а потом — от самого Гончарова, и в самом деле не принимавшего французской революции, как не принимавшего никакой революции в принципе, тут мало что меняет. Ю. Лощиц слишком даровитый повествователь, чтоб не суметь выявить своего отношения к событиям, явлениям и проблемам, о которых он толкует. И вряд ли сегодня можно поддержать его решение вышеназванные явления и даже наш отечественный декабризм преподнести в одном лишь освещении — под патриархально-

охранительным углом зрения на эти события «людей «Летописца».

Крайне наивно бытовавшее в патриархально-консервативных кругах представление, будто декабризм и русское просветительство, революционная, крестьянская демократия XIX века были некими наносными, чужеродными русской национальной почве явлениями, навеянными злокозненными ветрами с Запада, ветрами, поднятыми французской революцией. В действительности русское освободительное движение было глубоко самобытным явлением, отвечавшим исторически назревшим потребностям развития России, явлением корневым и глубоко национальным, патриотическим.

Революционные силы, выражавшие объективную потребность русского общества в его преобразовании, в преодолении феодально-крепостнической ограниченности, настоятельно искали идеологической опоры своим общественным устремлениям и тенденциям. В этих обстоятельствах естественным было их обращение к наследию философской мысли минувших эпох, и прежде всего — тех исторических эпох, которые решали аналогичные с Россией середины XIX века задачи. Это была задача ликвидации феодально-крепостнических порядков и одновременно уже намечавшаяся проблема отношения к наступавшим на пятки крепостничеству нарождавшимся буржуазным, капиталистическим отношениям. Отсюда — обращение русских революционных демократов и к опыту французского просветительства, и Великой французской революции, и к европейскому утопическому социализму.

На Западе искали поддержку своим идеологическим обоснованиям и силы консервативные, и силы либеральные, широко обращавшиеся к опыту идеалистической мысли Западной Европы, прежде всего — к немецкой философии, и в частности к Шеллингу, а если иметь в виду русский либерализм типа Каткова, — к политической и экономической мысли, скажем, «свободной» Англии. И даже наиболее, казалось бы, замкнутое славянофильство 40—60-х годов росло из Шеллинга и других немецких мыслителей, например Гастгаузена.

Что же касается 30-х годов, то для русской общественной мысли они были воистину временем фило-

софского ученичества, в полном смысле – школой любомудрия и одновременно, как это ни парадоксально на первый взгляд, самобытнейшей школой патриотизма, формировали основы национального самосознания. Но в этом мы не усматриваем противоречия. Только духовно слабые, обветшавшие народы боятся взаимного ученичества. Для России же, начиная со времени Киевской Руси, всегда была характерна открытость миру, а не герметизм. Но, с жадностью обращаясь к достижениям общечеловеческой мысли, ко всему богатейшему наследию человеческого духа, она умела трансформировать приобретенное знание в самобытнейшее миросозерцание, органически сплавлять его с чисто русскими системами идей, ассимилируя их в соответствии с историческими задачами. Так, именно в России XIX века на волне исторической общественной потребности освобождения от ига самодержавия и крепостничества возникли и утвердились такие самобытнейшие явления общественной жизни и человеческого духа, как славянофильство, народничество, так называемый русский социализм, русская революционная демократия, возникло и утвердилось само понятие интеллигенции, родились такие глубоко национальные и вместе с тем общечеловеческие явления духа, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, а если брать еще шире – Гончаров, Тургенев, Некрасов, Островский, Салтыков-Щедрин, состоялась воистину великая литература, оказавшая и оказывающая в свою очередь огромное воздействие на мировую художественную мысль.

Так зачем же нам прибедняться и объявлять такие самобытные общественные явления, как, например, декабризм, русская революционная демократия или же русское народничество, «русский социализм», лишь неким «следствием» злокозненных, чужеродных влияний? Зачем истончать, упрощать, к примеру, духовную традицию, на которой вырос Гончаров?

Сразу после университета Гончаров оказывается в теснейшем дружеском кругу художественно-артистической, либеральной семьи Майковых – отца, Николая Аполлоновича, и сыновей, прежде всего Валериана и Аполлона, критика и поэта. Почему бы исследователю не всмотреться повнимательней в общественное миросозерцание, господствовавшее тогда в этой семье?

Майковы были типичными «людьми сороковых годов», золотой поры русского либерализма, выдвинувшего такие личности, как Грановский, Валериан Майков, надежда русской критики 40-х годов, который умер совсем молодым, был, как известно, еще одной исключительно светлой фигурой, новой звездой, загоравшейся на небосклоне русского либерализма 40-х годов. Все окружение Гончарова 40-х годов, которое одновременно было и майковским окружением, принадлежало к либерально-демократическому кругу, Ю. Лощиц сам же сообщает об этом. Это – Некрасов и Достоевский, Тургенев и Полонский, Панаев и Григорович... И вряд ли случайно, что с первым своим романом «Обыкновенная история» молодой писатель пришел к Белинскому и опубликовал его в «Современнике»...

Вряд ли можно оспаривать тот факт, что молодой Гончаров входил в литературу, принадлежа русскому просветительству 40-х годов, правда, либеральной, а не демократической его ветви. И хотя с возрастом и с течением времени, разделяя в данном случае судьбу отечественного либерализма, мировоззрение Гончарова развивалось в направлении все возрастающего консерватизма, на всем творчестве Гончарова лежит тем не менее печать просветительства. В ленинском толковании данного понятия это означало прежде всего вражду к крепостничеству.

Но именно антикрепостнический пафос творчества Гончарова остался в значительной степени за пределами внимания Ю. Лощица, даже вопрос об отношении Гончарова к вопросу вопросов 40–60-х годов – крепостному праву – оказался не затронут в книге!.. Создается впечатление, что герои ее, жившие и творившие в эту переломную для истории России эпоху, когда все общественные страсти кипели вокруг вопроса об освобождении крестьян, умудрились счастливо этот главный вопрос эпохи не заметить.

Впрочем, своего рода косвенный ответ на этот вопрос в книге вроде бы есть. Я имею в виду истолкование Ю. Лощицем романа «Обломов», являющееся своего рода идейным контрапунктом всей работы.

Надо сказать, что глава об «Обломове», так же как и предваряющие ее разборы «Обыкновенной истории» и «Фрегата «Паллада», пожалуй, самые сильные в книге. И вместе с тем истолкование Ю. Лощицем гончаровского «Обломова» вызывает наибольшее несогласие. Некоторые видят в книге чуть ли не апофеоз Обломова, попытку представить его своего рода положительным героем времени. В действительности ход мысли Ю. Лощица несколько иной. Во всяком случае, более сложный.

Ключом к истолкованию этого, пожалуй, самого важного романа Гончарова Ю. Лощицу служит тезис о сказочно-мифологической подоплеке романного действия в «Обломове». Ю. Лощиц ссылается в данном случае на Н. Михайловского, оценивающего в одной из первых своих статей, с которой он входил в критику, романы Гончарова как своего рода «миф», порожденное русской фантазией «сонное царство». «Долго спали Обломов и Софья Николаевна спокойно; наконец, их сон был не нарушен, но несколько обеспокоен — явились гусли-самогуды, это Ольга и Штольц для Обломова и Райский для Веловодовой». К сожалению, Н. Михайловский, по мысли Ю. Лощица, лишь ограничился этой метафорой, не возведя ее в концепцию: «Так не состоялось открытие, которое могло бы очень многое прояснить современникам в особенностях творческого метода писателя».

Ю. Лощиц в этой интересной концепции об элементах мифологического реализма в творчестве Гончарова убедительно раскрывает то, как создается в романе это «волшебное царство сна», в котором пребывает герой романа. Причем в полном соответствии с литературно-критической и литературоведческой традицией «ядром» этой «большой сказки» о сонном царстве, именуемом Обломовка, он считает «Сон Обломова» — «образный и смысловой ключ к пониманию всего произведения, идейно-художественное средоточие романа. Действительность, изображенная Гончаровым, — подчеркивает автор, — простирается далеко за пределы Обломовки, но подлинная столица «сонного царства», безусловно, фамильная вотчина Ильи Ильича».

«Сон» Обломова и Обломовки, сам характер Ильи Ильича, принципы и ценности его жизни, имеющие, казалось бы, чисто негативное значение, поверяются в романе, подчеркивает автор, тем видом деятельности, движения, действования, делания, которое воплощено в Штольце.

Но что такое – «Обломовка»? И что такое – Штольц?

На взгляд автора, в фамилии Ильи Ильича явственно проступает значение обломка. «В самом деле, что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и всеохватывающей жизни? И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший «блаженный уголок» – обломок Эдема? Здешним обитателям *обломилось* доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога». В представлении автора, а точнее – в представлении Гончарова, по мысли Ю. Лощица, громадный пирог этот – патриархально-усадебный быт русской деревни, отошедший в невозвратное прошлое. Ю. Лощицем он рисуется в виде символического огромного «пирога», который всегда был в «народном мировоззрении» «одним из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог – это «пир горой», рог изобилия, вершина всеобщего веселья и довольства, магическое солнце материального бытия. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ».

Гончаров показывает своим романом, что в таком сентиментально-романтическом взгляде на патриархально-усадебный мир прошлого русской крепостнической деревни и в самом деле есть своя, субъективная правда, но только в том случае, если смотреть на этот мир глазами помещика Обломова.

Ю. Лощиц же видит Обломова лишь в сказочно-мифологической ипостаси. «В интенсивном сказочном подсвете перед нами не просто лентяй и дурак. Это мудрый лентяй и дурак». Парадоксальный вывод?.. Да, но он справедлив, если опять-таки брать Обломова в той ограниченной и условной плоскости, в какой он рассматривается в книге Ю. Лощица, если абстрагироваться от той реальной сути гончаровского романа, что Обломов – прежде всего помещик, порождение многовекового помещичьего уклада.

Обратимся к роману.

С первых его страниц Гончаров не устает напоминать своему читателю, что перед ним – русский помещик, барин, владелец трехсот душ крепостных. Одна из первых и главных конфликтных ситуаций, встревоживших душу и нарушивших покой Обломова, – письмо старосты о недоимках, уменьшении дохода, которые он предполагал получить от своих крепостных крестьян: «Легко ли? предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер».

Собственно, и Захар, нелепый слуга Обломова, есть прямое порождение крепостных отношений и выражение их. Именно так, в строго социальной обусловленности, и рисуется Гончаровым этот образ. Даже сама нелепая «полуформенная одежда его», сообщает нам автор, была дорога Захару потому, что он видел в ней «слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда», а «ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых»; в этой лакейской одежде, «да еще в коекаких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие».

Я допускаю, что могу смутить сердца иных критиков и литературоведов, когда столь прямо, резко и определенно ставлю вопрос о социальной детерминированности характеров бессмертного романа Гончарова. В последние годы, увлекшись борьбой с вульгарным социологизмом, который уже давным-давно почил в бозе, мы стали до такой степени стесняться социальных характеристик, что позволяем себе не считаться даже с реальным литературным текстом.

Между тем Гончаров прямым, открытым текстом не просто говорил, но в своей особой, предельно объективированной, сдержанной манере открыто *подчеркивал,* что́ его волнует в характере Обломова, ради чего он пишет свой роман.

Все без исключения сходятся в том мнении, что знаменитый «сон Обломова» – ключевое место, своего рода контрапункт в романе. Тот факт, что сон Обломова в романе и в самом деле символичен, оспорить невозможно. Но – какого характера этот символ? Реальный, социальный – или же сказочно-мифологический? Мне представляется – и то, и другое.

Ю. Лощиц же видит здесь прежде всего миф, сказку, условность, фантазию.

В подтверждение того, что сон Обломова имел для Гончарова и его читателя сугубо реальный, социальный смысл и являл собой символ совершенно определенных – крепостнических – отношений, отошлю читателя романа к той главе, которая предваряет сон Обломова, где содержатся прямые авторские мотивировки, объясняющие необходимость включить в текст подчеркнуто реалистического повествования этот сон.

К восьмой главе первой части романа натура Обломова уже вполне прояснилась, и по законам прозы перед читателем не мог не встать естественный и законный вопрос: почему он такой? Какие силы и обстоятельства сделали Обломова Обломовым? Вопрос этот мучил не только читателя – он не мог не мучить и автора, и самого Обломова.

После истерического, истинно барского объяснения с Захаром, который попрекнул своего барина тем, что *другой бы* на новую квартиру переехал, после припадка вначале безудержного гнева, а потом столь же безудержного самоунижения Обломов, как вы помните, «углубился в сравнение себя с «другим»... Настала одна из ясных, сознательных минут в жизни Обломова, когда ему стало «страшно», когда возникла мысль о человеческом предназначении и собственной его жизни. «Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему», «он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой.

Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища... Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения...». Вот с какими мыслями живет Обломов в восьмой главе книги, предваряющей «Сон Обломова».

«– Однако... любопытно бы знать... отчего я... такой? – сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. – Да, отчего?.. Должно быть... это...

оттого... — силился выговорить он и не выговорил...»

«Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе».

Вот как включен в повествование Гончаровым знаменитый хрестоматийный «Сон Обломова», чего Ю. Лощиц почему-то не заметил. Подробнейше, доскональнейше проанализировав этот сон, подчеркнув сказочно-мифологическую его природу, сказочно-мифологическую природу реализма Гончарова, исследователь прошел мимо итогового в этом «сне», того, что впрямую отвечало на вопрос, с которым и заснул Илья Ильич:

«Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч.

Захар, как бывало нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос...

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уже трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание...»

И так далее...

С чрезвычайной реалистической правдой изображен в этом, как видите, не таком уж «сказочном» и «мифологическом» сне Обломова социальный быт русских помещиков начала XIX века, дана ясная, даже в чем-то, мы бы сказали, «лобовая» характеристика социальных корней обломовщины, истоки которой конечно же в крепостничестве. Отними у Обломова и его предков эти сотни, тысячи душ крепостных, то есть средства существования, что останется от его «обломовского» образа жизни? Именно оно, крепостничество, по мысли Гончарова, исказило душу и Обломова, и слуги его Захара, оно и было тем «тайным врагом», который мешал людям отвечать их «человеческому назначению».

Антикрепостнический пафос романа «Обломов» очевиден и неоспорим. Именно антикрепостнической направленности романа и была прежде всего посвящена статья Добролюбова «Что такое обломовщина?»,

которая писалась как раз в то время, когда борьба с крепостничеством была самым главным, самым важным и самым трудным вопросом дня.

Видимо, руководствуясь тем, что крепостничество в России давным-давно ликвидировано, а решение этой проблемы исчерпано и нашей классической критикой и нашей литературной классикой, в том числе и Гончаровым, Ю. Лощиц счел возможным не касаться этой проблематики, акцентируя свое внимание на другой, менее исследованной ее стороне, на другом круге проблем, поставленных на общественное обсуждение Гончаровым, – на антибуржуазном пафосе романа «Обломов» и всего творчества Гончарова в целом. Но подобное исследовательское решение не является правомерным, поскольку характер Обломова выверяется под двойным углом зрения – антикрепостническим и антибуржуазным. Ю. Лощиц же, упрощая ситуацию в романе, выверяет принципы жизненного поведения Ильи Ильича по преимуществу характером и жизненными принципами Штольца. Именно Штольц – напрямую или же через Ольгу Ильинскую – пытается «разбудить» Илью Ильича Обломова, вызвать его к жизни активной и деятельной. И, как оказывается, все напрасно. Активность «мертводеятельных», по выражению М. Пришвина, людей типа Штольца не устраивает Обломова.

«...Мы больше привыкли к тому, что в тексте романа Илья Ильич сторона критикуемая, – замечает Ю. Лощиц. – Но нельзя не видеть, что есть тут и иной Обломов – словом и делом обороняющий принципы своего существования. А иногда и в наступление переходящий, критикующий». Обломов критикует, подчеркивает Ю. Лощиц, неполное, узконацеленное, функциональное существование, глубоко эгоистическую, индивидуалистическую деятельность Штольца.

Ю. Лощиц справедливо утверждает: «С помощью «нового» в романе обнажается беспомощность «старого». Но одновременно с этим «старое» ставит под сомнение нравственную состоятельность «нового». Критика патриархальной отсталости синхронна на протяжении всего романа критике самоцельного и самоупоенного практицизма, той вездесущей деловитости, которую несет с собой «новый» человек – «чистый» негоциант и международный турист Андрей Штольц». Вывод, не только выявляющий антибуржуазную направ-

ленность романа, но и составляющий, по мысли Ю. Лощица, ключ ко всему творчеству Гончарова. Вывод, подчеркнем мы, как раз и придающий остросовременное звучание книге Ю. Лощица, на примере Гончарова показавшего, как великая русская литература XIX века в лучших своих творениях раскрывала бездуховность буржуазного мира.

Центральная мысль книги Ю. Лощица, проведенная через все повествование и доказанная анализом основных произведений писателя,— мысль об антибуржуазной направленности творчества Гончарова как ведущем пафосе его творчества. Причем антибуржуазность Гончарова, по мысли Ю. Лощица, не является критикой капитализма с позиций утопического социализма, что было характерно, к примеру, для русских революционных демократов. Гончаров не приемлет капитализм, по мысли Ю. Лощица, исходя из качественно иной, патриархально-консервативной утопии. И тем не менее по объективным своим результатам Гончаров ведет последовательную, из книги в книгу, достаточно серьезную этическую критику тех новых, буржуазных начал, которые заполонили Европу и угрожают русскому национальному существованию.

Надо сказать, что к этому выводу Ю. Лощиц шел на протяжении ряда глав, рассматривая, в частности, предшествовавшие «Обломову» «Обыкновенную историю» и книгу «Фрегат «Паллада».

В главе «Два возраста («Обыкновенная история»)», нравственно соотнося дядю и племянника Адуевых и будучи внимателен к развенчанию Гончаровым как провинциально-патриархального романтизма Адуева-младшего, так и прагматичной, как мы бы сказали сегодня, трезвой, бездушной деловитости Адуева-старшего, Ю. Лощиц приходит к справедливому выводу: роман «Обыкновенная история» был, как писал Белинский, «страшным ударом романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму», но одновременно «роман есть еще удар — причем не менее страшный — и по рационализму, по практичности буржуазного пошиба. Можно утверждать,— замечает и критик,— что в русской литературе XIX столетия «Обыкновенная история» — одна из первых художественных реакций на явление нового социального феномена — буржуазного сознания. Романист уловил

тенденцию общественного сдвига куда точней и своевременней, чем многие его современники, которые еще питали иллюзию насчет «деловых» качеств нарождающегося в России сословия».

Ю. Лощиц справедливо спорит здесь с Аполлоном Григорьевым, попытавшимся в свое время взять под защиту Александра Адуева, Адуева-младшего, романтизм которого был по душе этому «верному рыцарю романтизма», как характеризует А. Григорьева Ю. Лощиц. «И любовь, и мечтательность,— писал А. Григорьев в журнале «Москвитянин»,— и вообще все, что мешает нашей жизни сделаться сухою и пошлою и не допускает человека сделаться машиной, осмеяно очень искусно. Поставив знак равенства между Гончаровым и Петром Адуевым, А. Григорьев обвинял писателя в «бюрократической практичности» и «резонерском реализме».

Убедителен в книге Ю. Лощица, в главе об «Обыкновенной истории», и спор с Белинским, который не принял, как известно, финал «Обыкновенной истории», полностью и окончательно развенчивающий как Александра, так и Петра Адуевых. Для Белинского в романе Гончарова самым важным был удар по романтизму и мечтательности, свойственным патриархальному сознанию, что же касается Петра Адуева, то он увидел в нем прежде всего и главным образом «дельного» человека, который хотя и «эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям», но тем не менее во многом выигрывает перед своим племянником: «Он не только не зол, но положительно добр: он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что обещает, то непременно сделает».

Ю. Лощиц не приемлет этой попытки защиты и апологетики характера Адуева-старшего, воплощающего в себе нарождающийся на Руси социальный феномен буржуазного сознания. Обратившись к очеркам книги «Фрегат «Паллада», Ю. Лощиц с достаточной убедительностью показывает, что и здесь, в этой книге, казалось бы, чисто путевых очерков, Гончарова мучит и занимает тот же вопрос о соотношении патриархального и буржуазного сознания. Более того, он считает это соотношение «основной смысловой антиномией всей книги», «ибо за частным противостоя-

нием паруса и пара,— уточняет он,— откроется более общее противостояние — двух грандиозных мироукладов, двух возрастов человеческой истории».

Небезынтересно, как, в каких словах Ю. Лощиц передает восприятие Гончаровым этих мироукладов: «Один из них — возраст наивного детства человечества, восторженно-беспомощной молодости человечества, возраст поэзии, веры в чудеса, надежд и грез. Сейчас, в середине XIX века, все сроки этого возраста явно истекают.

На первый план истории все увереннее выступает «зрелость» человечества. Она заявляет о себе деловитостью, умным практицизмом, хозяйственным отношением ко всему подручному веществу земли, воды и воздуха. Любая материальная данность существует для того, чтобы извлечь из нее максимальную пользу». Но вместе с этим в жизнь людей, что Гончаров с особой резкостью увидел в Англии, входит бездуховный принцип «наибольшей пользы, выгоды и экономии» буквально во всем — в отношении человека к человеку и в отношении человека к природе. «Здесь торговля есть жизнь»,— приходит к выводу Гончаров. «Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин».

Внимательно исследуя очерки, собранные в книге «Фрегат «Паллада», Ю. Лощиц приходит к справедливому выводу о том, что Гончаров был одним из первых русских писателей XIX века, которые «трезво и нераболепно посмотрели на «зрелую» действительность европейской буржуазной цивилизации». Критик показывает, что на всем протяжении своего кругосветного путешествия Гончаров внимательно вглядывался, как «волны» этой «цивилизации» накатывают на патриархальную Азию, как «европеец все агрессивнее навязывает аборигену свою «просветительскую программу», как «рыжие варвары» — этими словами Гончаров называет вездесущих агентов английской цивилизации — будят вечный и глубокий сон Азии, дабы бесстыдно грабить и развращать Восток.

Азия в восприятии Гончарова представляется Ю. Лощицу «некой на тысячи миль распростертой Обломовкой. Но если присмотреться,— уточняет критик,— это у него вовсе не сатирический образ. «Сонное царство» Востока постепенно проявляется в книге как

своеобразная форма самосохранения, пассивного противостояния иногороднему напору».

По справедливому убеждению критика, и «Обыкновенная история», и «Фрегат «Паллада», и «Обломов» в творчестве Гончарова туго завязаны в один идейно-проблемный узел. К характеру Штольца Гончаров, утверждает Ю. Лощиц, шел через образ Петра Адуева, через критику буржуазной цивилизации в книге «Фрегат «Паллада», через длительное наблюдение и осмысление этих «новых» ростков русской жизни, которые нес с собой в Россию надвигающийся капитализм.

Ю. Лощиц не приемлет точку зрения Аполлона Григорьева, который критиковал Гончарова за то, что писатель выставил своего «немца» едва ли не идеалом современного человека, тогда как «идеал этот, если приглядеться, выглядит пошловато, ходульно». И далее в скобках Ю. Лощиц замечает: «(Штольц далеко не устраивал и Добролюбова, хотя знаменитое свое определение «обломовщина» критик позаимствовал именно у персонажа)». Жаль, что за этими скобками остался нераскрытым примечательный и важный факт: именно Добролюбов был первым, кто убедительно показал всю буржуазно-деляческую ограниченность Штольца. Во всяком случае, во взгляде на Штольца, в неприятии его и Гончаров, и Добролюбов, и А. Григорьев, и Ю. Лощиц сошлись. По мнению Ю. Лощица, Гончаров намеренно представляет Штольца внешне выигрышной, привлекательной фигурой. В действительности, справедливо замечает автор, «Гончаров ни в коей мере не идеализирует «дельного человека», он сознательно показывает всю его пошлую суть».

По воле Штольца, пишет Ю. Лощиц, «сонное царство» Обломовки вот-вот превратится в... станцию железной дороги, а обломовские мужики пойдут «работать на насыпь», а это значит, что «обрядовой действительности Обломовки приходит конец». Однако Илья Ильич как будто не обращает внимания на эти предупреждения, он не хочет ни участвовать в этих преобразованиях, очевидно, буржуазного характера, ни противостоять им. Он занимает позицию своего рода пассивного непротивления, что есть не что иное, по мысли Ю. Лощица, как пассивное сопротивление наступающей на него буржуазной действительности.

Его позиция, по мысли Ю. Лощица, выражается в словах: «Я не хочу делать. Я не желаю в этом мире действовать. Отказываюсь участвовать в его движении от чего-то сомнительного к чему-то не менее сомнительному. Я выхожу из истории – из этой вашей грандиозной игры в благородную деятельность...»

Ю. Лощиц находит выразительные краски и, я бы сказал, поэтичные, пусть не лишенные иронии, слова, чтобы описать этот вечный, принципиальный – идейный «сон» Обломова. «...Вот он, знойно-распаренный, влажно угревшийся, со слипшимися локонами, сладким сгустком слюнки за щекой, – сможем ли мы что-нибудь предложить ему взамен этого счастливого всхлипа сквозь дрему, этого причмокивания».

Ю. Лощицу представляется: что тогда, видимо, жизнь не могла еще предложить Обломову какой-то действительно серьезной, не эгоистической, но – гуманистической, подлинно человеческой деятельности, хотя, отметим про себя, это было время, когда на Руси уже вызревали идеалы демократии и утопического социализма, в основе которых как раз и лежало слияние «личного» с «делом для других». Обломов (да и сам Гончаров), естественно, далек от этих идеалов. Он не приемлет и нарождающейся буржуазности. Отсюда – его «неучастие» в истории, в гражданской жизнедеятельности общества.

Такова, собственно, принципиальная концепция «лишних людей» в русской литературе XIX века, апофеозом которых, как известно, и явился Обломов: они «сиднем сидят», отказываются принимать участие в истории потому именно, что история пока не приготовила им сколько-нибудь достойной их «высоких помыслов» деятельности. В развитие этой традиции М. Пришвин и писал в своем дневнике в 1921 году, имея в виду время Обломова (слова эти приведены Ю. Лощицем в книге о Гончарове): «Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя... Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою».

Слова, которые легли в основу концепции Ю. Лощица, не проверившего, к сожалению, тщательно, насколько серьезен этот «запрос на высшую деятельность» у Обломова, — не «обломовский» ли это запрос? Не очередная ли отговорка для маскировки и оправдания своей лени и бездеятельности? Ибо — каковы же духовные залоги, каково идейное, мировоззренческое обоснование у лентяя и барина Обломова этих «высших запросов», направленных не на себя, а на дело «для других»?

Исследователь дает сну Обломова широкое философское обоснование, которое опять-таки небезынтересно в своей основе. Подчеркнув вслед за М. М. Бахтиным «исключительную человечность идиллического человека Обломова и его «голубиную чистоту», Ю. Лощиц характеризует Обломова с его идиллическими мечтаниями как «наиболее застенчивого и непритязательного из всех известных человечеству утопистов». В его идиллической утопии, идущей от неприятия буржуазного настоящего, «счастливое будущее мыслится как возвращение к счастливому прошлому легендарно-мифологических эпох. А для этого не нужно никаких грандиозных мероприятий: ни строительства гигантского града, в котором уместилось бы все человечество, ни летательных аппаратов, ни других хитроумных механизмов, ни хрустально-алмазных дворцов, ни железной дороги, связывающей Землю с Луной, о чем мечтал Фурье... Словом, по Обломову, нужно не строить, а потихонечку размонтировать уже понастроенное, притормаживать механический разгон, осаживать железного зверя...».

Ю. Лощиц совершенно справедливо замечает, что «мечтания такого рода носят вполне, так сказать, реакционно-утопический характер. Будущее время в обломовском «плане» — восстановленное, очищенное от коросты цивилизации прошлое». В этом смысле можно говорить, что его утопия вообще лишена будущего. Перед нами типичная антиутопия, в которой и намека нет на футурологической порыв. Будущее ей и не снится. «Прикованный к подушке золотыми цепями своей мечты об утраченном рае, Илья Ильич в таком сне творит одну из самых беззащитных, хотя по-своему и обаятельных идиллий, которые когда-либо грезились человеку...» В этой небезынтересной гипотезе Ю. Лощица, в этом взгляде на сон, на пассивность

Обломова как на своего рода пассивное сопротивление наступающей буржуазной действительности с позиций добуржуазных, патриархальных, феодально-крепостнических не хватает одного очень важного акцента. Да, капитализм, буржуазность далеки от подлинно человеческого идеала. Но кто сказал и доказал, что крепостничество – ближе?

Что тут обаятельного – в этой обломовской идиллии, в этой вере, будто «золотой век» человечества – позади?.. И чья это позиция – автора, Гончарова или же самого Ильи Ильича Обломова – представление о добуржуазном прошлом как чуть ли не о рае на Земле? По Ю. Лощицу получается, что позиция – не только Обломова, но и Гончарова.

Через всю книгу, как мы уже показывали, проходит мотив ностальгии по добуржуазному, патриархальному прошлому, в одном случае – крепостнической России, в другом – патриархального, феодального Востока.

Но ведь образ «дремлющего Востока», нарисованный Гончаровым, скорее напоминает позу глубокой, ветхой старости, чем «восторженно-беспомощной юности», и не эта ли «дрема», не эта ли «сонность» в самом обширном, прямом и фигуральном выражении причина того, что именно в это время страны Азии одна за другой утрачивали свою национальную независимость, обрекая свои народы на десятилетия и века голодного, нищего, страшного по своей беспощадности колониального существования?

Что же касается феодального прошлого России, то жизнь того времени, когда Обломовка была не «обломком», но царила на всей огромной территории страны, красноречиво, впечатляюще изображена в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. Или, может быть, такой книги в истории русской литературы, в истории русского феодально-крепостнического общества не было? Или изображенное в ней – все неправда, а правда – «ностальгические» сны Ильи Ильича Обломова? Или не поднимались на борьбу против помещиков тысячи русских крестьян под водительством Разина и Пугачева?

Конечно же автору прекрасно известны все эти азбучные истины отечественной истории; и хотелось, чтобы он учитывал их в разработке своей концепции.

Автор, занимающийся построением пока что чисто литературной концепции романа – «мифа», не акцентирует свое и читательское внимание на том, что одновременно это проза остросоциального критического реализма, что Гончаров в своем творчестве занимал не апологетические по отношению к феодальному прошлому, но антикрепостнические позиции.

Другое дело, что, критически относясь к Обломову и обломовщине, он одновременно не принимал и «штольцовщину». Для него Штольц и тот буржуазный мир, который он с собой несет, с точки зрения нравственной ничем не лучше Обломова и того патриархально-крепостнического мира, который уходит с ним в небытие. Гуманистическая прозорливость великой русской литературы в том и состоит, что она сказала в полный голос о жестокости, бездуховности, безнравственности и бесчеловечности буржуазного мира одновременно с его самым изначальным утверждением в России – в книгах ли Гоголя с его Чичиковым, Пушкина с его «Маленькими трагедиями», Гончарова и Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Толстого. Но глубокая мудрость и человечность русской литературы, ее историческая прозорливость заключаются равно, а может быть, и с большей силой еще и в том, что она никогда и нигде, если иметь в виду подлинно высокую литературу, не идеализировала мир уходящий, страшный мир крепостничества, феодально-самодержавной действительности. Напротив, она всегда была сильна своим глубоким и всепоглощающим антикрепостническим пафосом, могучим и сильным гуманистическим зарядом, направленным на освобождение людей от любого гнета – крепостнического либо буржуазного.

Вот почему трудно поддержать попытку Н. Михалкова в его талантливо сделанном фильме «Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова» представить Илью Ильича человеком и в самом деле «голубиной чистоты», чуть ли не эталоном человечности. Здесь мы получили концепцию Ю. Лощица в «снятом» виде, без философского обоснования, без теоретических объявлений о «реакционной утопичности» обломовской «идиллии» при всей ее «беззащитности» и «обаятельности».

И ушла, исчезла, канула основная, главная мысль Гончарова, применительно к обломовскому характеру,

мысль вечная и общечеловеческая, которая будет жить как укор и предостережение человечеству всегда,— мысль о глубоком, исчерпывающем равнодушии Обломова, его глубочайшем равнодушии ко всему на свете, кроме себя, при всей его доброте и «золотом сердце». Равнодушии, достигшем пределов гротесковых, фантасмагорических, воистину сказочных, что и сделало характер Обломова характером нарицательным.

Обломов в романе при всей своей голубиной кротости как был, так и остается фигурой глубоко реакционной, как реакционен всякий застой, всякая устремленность вспять. Это и есть авторский суд над той социальной, крепостнической средой, которая породила Обломова и «обломовщину».

Наивно полагать, учитывая глубинный и очень определенный заряд авторского неприятия Обломова в романе, будто Гончаров безразличен к своему герою, будто роман «Обломов» создавался ради утверждения или оправдания Обломова и «обломовщины», этой идиллии сонно-эгоистического, равнодушно-растительного существования. Позиция Гончарова, его авторское отношение к Обломову и как к типическому характеру уходящей в прошлое эпохи, и как к социальному явлению, простирающемуся далеко за пределы того времени, вполне определенны.

Думается, что характеру Обломова с еще большим основанием, чем характеру Штольца, можно адресовать слова Ю. Лощица: «Этот персонаж так и задуман автором, чтобы на поверхности действия все время оставаться ему выигрышной фигурой», этаким «идиллическим человеком», наделенным «голубиной чистотой». Тем беспощаднее и художественно достовернее уничтожающая авторская критика Обломова и «обломовщины», которую столь явственно уловил в романе и истолковал Добролюбов в своей знаменитой статье «Что такое «обломовщина»?» И хотя Ю. Лощиц замечает, что само знаменитое определение «обломовщина» Добролюбов «заимствовал у Штольца», как бы снимая тем самым в какой-то мере нравственную правомочность этого термина для обозначения того явления, которое типизировано в характере Обломова, определение это, снайперски точное понятие «обломовщины», закономерно и последовательно и отнюдь не против воли Гончарова вытекает из всего

содержания романа. За ним – социально-гуманистический взгляд не только Добролюбова, но и Гончарова на уходящую в небытие патриархально-крепостническую эпоху, взгляд, утверждавшийся в романе средствами объективизированного художественного воспроизведения российской жизни середины XIX века и получивший глубокое и точное понятийное истолкование в определенных социально-политических и социально-философских категориях в статье Добролюбова.

Что касается гипотезы Ю. Лощица, истолковавшего характер Обломова как своего рода реакционную утопию, выражающую ностальгию по патриархальным временам, предшествовавшим буржуазной цивилизации, точнее – антиутопию, выражающую философию абсолютного покоя, абсолютного бесстрастия, принципиального неучастия в окружающей Обломова действительности, то она, на мой взгляд, имеет основания. Однако, читая блистательно написанные Ю. Лощицем страницы об этой напряженной сентиментально-романтической внутренней жизни Обломова, все время ловишь себя на мысли, что сам по себе текст романа, страницы, посвященные Обломову, реального словесного иль событийного материала для столь любопытных выводов о «философе» Обломове все же не дают. Вот почему приходится говорить о гипотезе Ю. Лощица в отношении Обломова.

Критик в данном случае смело домыслил за героя романа, да и за его автора, правда, домыслил, думается, в верном направлении, однако в этом авторском домысле явственно ощутимо влияние не только романа Гончарова, но и современных общественно-литературных споров. Здесь сливаются одновременно две «ностальгии» – прошлого и настоящего. Правда, между «ностальгией» прошлого и нынешнего веков по существу своему очень мало общего, там это была сентиментально-романтическая реакция на капитализм, здесь – на мощные процессы, связанные с НТР, которые сегодня у многих вызывают подчас справедливую тревогу.

И если внимательно всмотреться в истолкование характера Обломова Ю. Лощицем, нетрудно заметить, что его Обломов есть рефлексия не только и не столько на капитализм, как это было у Гончарова,

сколько на научно-технический прогресс в принципе. Эту негативистскую реакцию на научно-технический прогресс (помните – «не нужно... ни летательных аппаратов, ни других хитроумных механизмов, ни хрустально-алмазных дворцов, ни железной дороги, связывающей Землю с Луной, о чем мечтал Фурье») Ю. Лощиц в известном смысле распространяет и на мировоззрение самого Гончарова, якобы чуть ли не отрицавшего «зрелость» человечества за то, что она «стремится смело вторгаться во все несообразности имеющегося в наличии природного материала, – изменять, подправлять, корректировать, усовершенствовать, ломать и перестраивать, разбирать на составные части и преобразовывать... Прокладывать дороги и мосты в неприступных горах. Разбивать сады в пустынях. Одевать обнаженных дикарей в европейские одежды. Увеличивать скорость сообщения между отдаленными материками. Налаживать постоянный обмен товарами в масштабах всего мира. Строить мануфактуры и заводы. Производить все больше и больше железа, механизмов, тканей, украшений, газет. Подтачивать веру во все чудесно-таинственное и взамен ее повсеместно вводить прочное и нерушимое знание о полезном, приятном и необходимом».

Но почему все это само по себе – плохо? Правильно ли рисовать Гончарова, человека в общем-то очень трезвого и реального, этаким руссоистом, отвергающим все и всякие позитивные последствия развития цивилизации, промышленности, техники, науки и культуры и ностальгически вздыхающим о первобытно-патриархальных временах дикого человека на первозданно «дикой» земле?

Думается, это опять-таки гипотеза Ю. Лощица – и в ней не столько Гончаров, сколько сам Ю. Лощиц, домысливающий таким образом Гончарова.

Кстати, такого рода домысливание как раз прочно увязывается со стремлением автора ограничить уровень и источники духовного становления писателя «людьми «Летописца»; такого рода сверхностальгический взгляд на мир как раз на уровне их представлений о действительности. Ибо Гончаров, повторяю, был слишком трезвым и реальным человеком, достаточно умным и образованным для того, чтобы понимать: отказ от науки и культуры, от технического и промышленного прогресса есть не только обскуран-

тизм чистейшей марки, но и антигуманизм, бесчеловечная реакционная утопия, потому что при постоянном и неуклонном демографическом росте народонаселения на Земле отказ от достижений человеческого разума, от интенсификации труда, от развития науки и культуры означает нищету, прозябание и в конечном счете голодную смерть человечества.

Другой вопрос, каково качество этого хозяйствования человека на Земле, каков нравственный уровень и уровень компетентности его взаимодействия с природой, каковы социальные условия развития техники, науки, цивилизации.

Итак, размышления Ю. Лощица о книгах и личности Гончарова составляют, как видите, глубоко противоречивый характер. С одной стороны, здесь много интересного, хотя и вызывающего часто на спор, много прозорливых и точных наблюдений, верных догадок, интересных гипотез. Но немало и непродуманного и субъективного.

Трудно не согласиться с конечным выводом Ю. Лощица, посвященным «Фрегату «Паллада» и «Обломову»: «И в той и в другой книгах с громадной силой художественного обобщения, доступной мифологическому реализму Гончарова, описаны последние ночные часы феодального мира и идущее им на смену, еще способное обольстить утро капиталистической действительности. И в той и в другой книгах конфликтно сведены, включены в острый диалог «старая» и «новая» правды. И там и здесь выявлены ограниченность, неполнота, субъективность обеих «правд». Но вопрос о моральном превосходстве какой-либо из них остается открытым. По крайней мере сам автор — писатель Гончаров — не берется произнести окончательное слово в пользу той или другой «правды».

Однако в практике разбора произведений Гончарова у Ю. Лощица ощутимо изменение этих акцентов, вполне правильно расставленных в только что процитированном конечном выводе. Справедливо делая резкий акцент на выявление Гончаровым духовной и нравственной ограниченности буржуазного мира, Ю. Лощиц вместе с тем притупляет, подчас снимает у Гончарова критику тех самых «последних ночных часов феодального мира», отношение к которым у Гончарова было куда более определенно, чем это раскрыто Ю. Лощицем.

Эта переакцентировка, видимо, и лишила автора в своем анализе возможности опереться на Добролюбова: ведь Добролюбов, не принимая «штольцовщины», главный удар наносил по «обломовщине», подчеркивал в «Обломове» прежде всего и главным образом его антикрепостнический пафос; из «разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе», – говорил В. И. Ленин.

Ю. Лощиц же главный акцент в разборе «Обломова» делает на обличении «штольцовщины», подчеркивая в первую очередь антибуржуазный пафос романа.

Так, может быть, такая переакцентировка оправдана, если учесть разницу социальных эпох, различие социальных задач, которые решало русское общество сто с лишним лет тому назад и сейчас? Может быть, и в самом деле «штольцовщина» сегодня опаснее «обломовщины», поскольку крепостное право – в прошлом, а буржуазность – главный исток бездуховности в современном мире?

Мысль, думается мне, не выверенная как с точки зрения исторической, так и с точки зрения современных наших общественных задач и потребностей. Подчеркнутое внимание к антибуржуазному пафосу романа Гончарова, акцент на проблеме Штольца и «штольцовщины» сегодня необходимы, причем – и это естественно – в неизмеримо большей степени, чем сто лет назад. В том, что Ю. Лощиц это почувствовал и осуществил, немалое достоинство его книги. Но – не за счет проблемы «обломовщины»! Не за счет того критического пафоса в отношении Обломова, которым пронизан роман. Не за счет антикрепостнического пафоса романа.

Требования и законы конкретного историзма обязывают нас к комплексному, многостороннему рассмотрению классики и к исторической точности в подходе к явлениям литературы прошлого.

Истина истории в данном случае такова, что антикрепостнический пафос творчества Гончарова – реальный и очевидный исторический факт, возведенный в ранг общественного события, общественного деяния, общественного поступка Добролюбовым и другими современниками писателя, на что Гончаров шел сознательно, чем он гордился. В тексте романа само слово, понятие «обломовщина» возникает по меньшей мере шестнадцать раз! «Взгляните, пожалуй-

ста, статью Добролюбова об «Обломове», — писал он П. В. Анненкову, — мне кажется, об обломовщине, то есть о том, что она такое, уже сказать после этого ничего нельзя...»

Утверждая, пусть и в несколько академической, эпической форме, то, что в «Обломове» и «Фрегате «Паллада» «описаны последние ночные часы феодального мира и идущее им на смену... утро капиталистической действительности», что и в той и в другой книгах «конфликтно сведены, включены в острый диалог «старая» и «новая» правды», что и здесь и там «выявлены ограниченность, неполнота, субъективность обеих «правд», Ю. Лощиц, как мне представляется, в наибольшей степени приблизился к истине истории.

И, может быть, самый важный вывод, который объективно следует из книги Ю. Лощица, состоит как раз в мысли об огромной внутренней сложности и противоречивости гончаровского отношения к этим двум столкнувшимся на арене российской истории прошлого века несовершенным мирам. Вот почему правильнее в данном случае говорить о неприятии Гончаровым как крепостничества, так и нарождавшегося капитализма, об отнюдь не однолинейном, упрощенном, но достаточно сложном и вместе с тем вполне определенном отношении Гончарова как к Обломову, так и к Штольцу.

Более последовательного проведения такой вот диалектической позиции, когда торжествует не принцип «или — или», но принцип «и — и», когда одна сторона в творчестве писателя не утверждается за счет другой и, в частности, пафос обличения «штольцовщины» не утверждается за счет обличения «обломовщины», и хотелось бы пожелать автору книги о Гончарове, если иметь в виду конкретно-исторический подход к явлениям литературы.

Что же касается современного звучания творчества Гончарова, то здесь нет спора: критика Гончаровым активности и житейской суетности их «мертводеятельных» накопителей, которые являются порождением буржуазного потребительского сознания, и в самом деле придает «проблеме Обломова», как справедливо пишет Ю. Лощиц, «вечную остроту».

Но такую же «вечную остроту» этой проблеме придает и критика Гончаровым самого Обломова, а в еще большей степени — «обломовщины», если понимать

под этим равнодушие и социальный эгоизм, общественную неразвитость и гражданскую пассивность, обывательский принцип неучастия в общем деле и общей жизни людей, наконец, обыкновенную бездеятельность и человеческую лень. Сколько вреда сегодня наносят эти воистину обломовские качества людям, жизни, обществу, стране!

Бездействие, бездеятельность, социальная пассивность в условиях, когда реальность далека от идеала, по существу своему аморальны и реакционны. Трудно назвать сегодня более актуальную и важную для развития нашего общества, для решения многих и многих еще не решенных проблем экономического, хозяйственного и социального порядка нравственную задачу, чем задача воспитания активной жизненной позиции каждого труженика, гражданина общества.

Между тем в книге Ю. Лощица из употребления изъято даже само понятие «обломовщина» как тот нравственный урок, который, по мысли Добролюбова, роман Гончарова дает всему русскому обществу XIX века, да и всем последующим поколениям.

Это, может быть, одна из главных потерь в книге Ю. Лощица. А исходная причина таких вот противоречий талантливой книги, причина трудностей, которые встали на пути исследователя, мне видится в снижении конкретно-исторического, социально-классового пафоса в подходе к предмету исследования.

Если Добролюбов обращается к творчеству Гончарова в атмосфере ожесточеннейшей идейной литературной и общественной борьбы 1860-х годов, обращается как к факту этой борьбы, прямо вламывающемуся в яростные споры той поры о коренных вопросах русской жизни, самим анализом «Обломова» непосредственно вмешиваясь в эту борьбу ради формирования в читателях революционно-демократического самосознания, то в книге Ю. Лощица как раз недостает хоть сколько-нибудь полной картины идейной борьбы того времени. Словно не было яростных схваток революционных демократов с либералами, со славянофилами, идейных столкновений либерализма и консерватизма, славянофильства и «официальной народности».

Но ведь «Обломов» писался не ради абстрактно «мифологического» соотнесения двух глобальных, мировых исторических эпох «ночных часов» феодализма

и «утра» капитализма, но ради резкого и определенного вмешательства в совершенно конкретный, остроконфликтный процесс освобождения России от ига крепостничества и всех его последствий, ради обсуждения реальных путей, по которым войдет Отчизна в завтрашний день. Обломов и Штольц выступили здесь не только как глубоко типические, но — нарицательные, символические характеры, за каждым из которых социальные пласты движущейся истории того времени.

Обсуждение этих насущнейших для России проблем на всем протяжении 40—60-х годов велось по всему фронту литературы и журналистики того времени, разбивая общественную мысль страны на целый ряд непримиримых лагерей и направлений; оно велось на страницах журналов «Современник» и «Отечественные записки», «Русский вестник» и «Русское слово», «Библиотека для чтения» и «Время», а потом «Эпоха», велось в обычных квартирах и в литературных салонах, на тайных собраниях революционеров и в кабинетах высоких государственных сановников. Этими вопросами жила Россия, и этими вопросами, естественно, не мог не жить один из крупнейших ее писателей, а следовательно, и мыслителей, исполнявший к тому же все эти годы сложнейшие, специфические обязанности цензора всей, и в первую очередь передовой, русской мысли, И. А. Гончаров.

Вся эта напряженнейшая идейная жизнь 60-х годов и для биографии, и для творчества Гончарова имеет не меньшее значение, чем его неудавшиеся личные романы, поездки на заграничные воды или история личных, семейных отношений писателя. Да и для восприятия Гончарова современным, в особенности молодым, читателем, да и самим автором книги о Гончарове глубокое знакомство со всеми перипетиями идейной, общественной жизни и борьбы 40—60-х годов, четкое и точное определение основных идейных групп и лагерей того времени крайне полезно, более того — необходимо, если всерьез воспроизводить реальную биографию писателя.

Ведь либерализм, консерватизм, славянофильство, «официальная народность», революционная демократия, утопический социализм — не просто условные категории, но реальная плоть и содержание идейной жизни той эпохи, борение страстей, столкновение

идей, борьба направлений, по которым было возможно развитие России...

Добросовестное прочтение Гончарова и мемуарной литературы о нем без серьезного, всестороннего и тщательного изучения и осмысления эпохи, которая его породила, недостаточно, чтобы понять и истолковать его творчество. В результате Ю. Лощиц был лишен возможности в полном объеме всмотреться в духовный, идейный мир сложнейшего и в самом деле загадочного русского писателя, понять его до конца. А ведь это был писатель, причудливо представлявший в одном лице цензора, причем одного из ведущих работников царской цензуры 60-х годов, и одного из самых трезвых реалистов земли русской. Как было бы интересно вглядеться в подвиг писателя, должностного охранителя основ, одновременно творчеством своим подписавшего нравственный приговор тем самым феодально-крепостническим и буржуазным устоям, которые он обязан был, да субъективно и стремился истово охранять!

Как было бы интересно исследовать и понять специфику, особенность воззрений этого выдающегося русского писателя, развитие которого шло в глубинном русле русского просветительства, поставив вопрос об утверждении гуманистических ценностей в жизни и литературе даже этой, либерально-консервативной ветвью русской общественной мысли XIX века! Видимо, высок был внутренний гуманистический идеал русского писателя И. А. Гончарова, если, не будучи революционером, он поднялся в своем взгляде на мир до понимания глубочайшей ограниченности, несоответствия достоинству и счастию человека как феодально-крепостнического, так и буржуазного миропорядка! Что же это был за идеал? Какова его суть? Вот вопросы, на которые автору книги о Гончарове стоило дать более четкий ответ.

1981

ИСТИНА ИСТОРИИ

Статья вторая

I

На моем столе — книга критика М. Лобанова «Размышления о литературе и жизни» с надписью: «Ф. Ф. Кузнецову — с глубоким уважением, в том числе — оппонентским». За этой важной для меня симпатичной и симптоматичной надписью — история давних, достаточно сложных, но всегда уважительных взаимоотношений, включающих в себя спор, дискуссию, полемику, стремление убедить друг друга.

Помимо уже названных «Размышлений о литературе и жизни» (М., «Советская Россия», 1982) у М. Лобанова в последние годы вышли книги «Надежда исканий» (М., «Современник», 1978) и «Островский» (М., «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ», 1979). Книги эти не оставляют читателя равнодушным и всем своим духом вызывают на разговор, чтобы в чем-то поспорить, а в чем-то согласиться с их автором, попытаться разобраться в сильных и слабых сторонах его литературно-критической позиции.

Здесь опасна любая необъективность, любая односторонность. Без спора, без полемики тут не обойдешься, однако любой спор, если он идет в пределах нашего мировоззрения, следует вести, думается, по принципу: спорить против тех или иных неверных, как представляется, идей, но всегда за людей, считая главным взаимное убеждение и аргументацию.

Впрочем, принимая «оппонентский» вызов коллеги, я меньше всего хотел бы вести спор ради спора и начинаю свои размышления с вопросов бесспорных,

с того, что в работах М. Лобанова мне хотелось бы поддержать.

Из книг М. Лобанова явствует, что он недолюбливает Писарева. Это его личное дело. Никто не может обязать М. Лобанова Писарева любить – тем более что в творческом наследии последнего в свою очередь было немало спорного и исторически ограниченного. Но любопытно, что, быть может, не признаваясь в том даже самому себе, М. Лобанов исповедует на практике писаревское понимание того, что есть литературная критика. «Постоянное и последовательное проведение того или иного миросозерцания в оценке всех текущих явлений жизни, науки и литературы называется в наше время критикою»[1] – так понимал литературную критику властитель дум демократической молодежи 1860-х годов.

Вне всякого сомнения, литературно-критические статьи и книги М. Лобанова являют собой не что иное, как последовательное проведение его собственного миросозерцания в оценке жизни и литературы, что составляет, впрочем, на мой взгляд, существенное и обязательное свойство любого подлинного критика. А следовательно, касаясь тех или иных существенных достоинств и недостатков, ограниченностей и противоречий в позиции любого критика, если это критик, а не безликий рецензент, мы всегда ведем речь в конечном счете о его миросозерцании, системе его убеждений, общем взгляде на литературу и жизнь.

Таковы аксиомы, азы литературно-критической мысли, о которых не бесполезно порой вспоминать ради точности идейно-эстетических критериев как в самой критике, так и в критике критики.

С учетом вышесказанного скажу прежде всего о том, что меня привлекает в рассматриваемых книгах М. Лобанова.

Продолжая великие традиции отечественной словесности, М. Лобанов отстаивает в литературе демократизм и народность, внимание к народной жизни в самых глубинных ее проявлениях, патриотическое чувство любви к малой и большой Родине.

М. Лобанов не скрывает истоков этого своего чувства, истоков подчеркнутой, подчас – полемической, целенаправленной ориентации на народность как

[1] Писарев Д. И. Собр. соч. в 4-х т., т. 3, с. 279.

самый высший, с его точки зрения, ценностный ориентир творчества. Истоки этой позиции — не только в традициях отечественной культуры, но и в личной биографии критика.

Его «Размышления о литературе и жизни» — и в самом деле не просто сборник литературно-критических статей, но книга, органически объединяющая критику и публицистику и даже своеобразную лирическую прозу, посвященную прежде всего истоку истоков, началу всех начал — отчему дому, отцу и матери, родной деревне на Рязанщине. Этому посвящен прежде всего очерк, который так и называется — «В родительском доме».

«Деревенский дом. Если даже ты и прожил всю жизнь в городе, но только родился в деревенском доме и провел в нем детство — тебе не надо объяснять, что говорит твоей душе этот дом, эти ворота, двор, крыльцо, сени, пол и потолок избы с сохранившимся кольцом для зыбки. Ведь здесь жили твои прадед, дед, отец, ходили по этому полу, смотрели в эти же окна, и эти же стены слышали их голоса, помнят все, что было здесь еще в прошлом веке.

Когда я недавно узнал от матери, что дому в деревне Иншаково (под Спас-Клепиками Рязанской области), в котором я родился, сейчас уже более ста пятидесяти лет, я почувствовал в себе какую-то новую, неведомую ранее, опору». Так начинается этот очерк.

Тема дома, Отчизны — сквозная в работах М. Лобанова. По сути дела, это тема нравственной опоры, на которой стоит, должен стоять современный человек. Тема родного дома и населяющих его людей, его истории, то есть истории Отечества, его благоустройства, улучшения и совершенствования, не может быть посторонней ни одному нравственно развитому человеку, патриоту и интернационалисту, которому дорога родная страна. Не случайно с такой мощью и силой прозвучала она недавно в романе Федора Абрамова «Дом». Духовный фундамент, укоренявшийся веками человеческого труда и борьбы на земле, нравственная опора на народную, трудовую жизнь, ее традиции, ее завоевания, ее человеческое, гуманистическое качества — условие и гарантия нашего движения в будущее, нашей борьбы за коммунизм.

Опора эта вдвойне обязательна в то суровое

и грозное время, которое мы переживаем сейчас, время, требующее от нашего народа небывалой крепости духа, самоотверженности в отстаивании мира, в укреплении обороноспособности нашей страны, в защите социализма и всего человечества от уничтожения в огне термоядерной войны.

Вот почему забота о нравственной прочности человека, о глубинном нравственном фундаменте его личности, характерная для книг М. Лобанова, не может не вызывать самого глубокого сочувствия. Именно такие прочные народные жизненные характеры рисует он в своих лирических очерках, посвященных «малой родине», — «В родительском доме», «Отоснившееся», в заметках «Из памятного». Это характеры скромных, незаметных русских людей, которые тем не менее достойно и честно прошли героический путь вместе со своей страной.

«Из окна дома вижу, как идет с бидончиком за молоком мать, бежит, как всегда глядя в землю, скрывается за углом школы. Сколько лет вот так перебегала за свою жизнь, с опущенными в землю глазами, вся в заботах и в заботах. В войну — старший сын и братья на фронте, куча голодных маленьких детей на руках, после войны, в 1946—1947-м — еще страшнее голод, особенно весной, все летние месяцы держались на крапиве (а сама она пережила голодные годы и в гражданскую войну, и в начале тридцатых)... И опять заботы — проводы, эта напуганность дорогами еще первых послевоенных годов — сядут ли, как доедут, как приехали, здоровы ли. Будет ли конец этому? Да никогда. И у кого бы ни была из шестерых сыновей — рада, что своими глазами увидела, как и что, и тут же задумчивость набегает: у этих хорошо, а как у других ребят?..»

Так, с неизбежностью, неотвратимо возникает в книге «Размышления о жизни и литературе» тема Великой Отечественной войны, на которую ушел старший сын в многодетной семье Лобановых — Михаил. Биография, особенно столь серьезная, ратная и трудовая, многое определяет или, во всяком случае, должна определять в творческом пути писателя, равно как и критика.

Видимо, не случайно в круг литературно-критических интересов М. Лобанова попадают, в первую очередь, фигуры и явления русской классической и совре-

менной литературы, раскрывающие глубинное течение народной жизни.

Это – Н. Гоголь (статья «Вечно живые типы»), А. Островский (книга об Островском в серии «ЖЗЛ» в «Молодой гвардии»), Л. Н. Толстой (статья «Образ и схема»), Ф. Достоевский (статья «Правда жизни и ее «превращения»), М. Шолохов (статья «Тихий Дон» и русская классика»), В. Астафьев, В. Шукшин и В. Распутин (статья «Знания и мудрость»). В размышлениях критика по поводу столь могучих фигур и явлений литературы далеко не все бесспорно, и это естественно; но привлекает целостность взгляда критика на столь сложные явления классики и современности, тонкость и точность многих его литературных наблюдений, нелицеприятность его оценок. Последнее хотелось бы подчеркнуть и отметить особо.

За последние годы мы привыкли к критике, весьма осторожной в оценках, когда выверенность (вещь необходимая) то и дело оборачивается обтекаемостью суждений, когда критик избегает, а подчас – по тем или иным причинам – и не решается говорить писателю правду, думая одно, а утверждая нечто другое. Так проявляется разрыв между словом и делом в литературе, что ведет к уклончивости оценок, заниженности критериев. Болезнь, которой ни в малой степени не страдает М. Лобанов.

И хотя я не согласен, допустим, с некоторыми его конкретными оценками в анализируемых книгах – скажем, с излишне суровой, на мой взгляд, оценкой «Пастуха и пастушки» В. Астафьева или чрезмерно резкой оценкой повести «Живи и помни» В. Распутина, – он имеет, естественно, полное право как критик на собственный взгляд на эти, как и многие другие, произведения; в том, однако, случае, если аргументированно доказывает свое мнение, а не «уничтожает» то или иное произведение или явление в литературе бездоказательно и безосновательно.

Мне приходилось спорить с некоторыми оценками М. Лобанова в его сравнительно давней книге «Мужество человечности» – скажем, с оценкой творческого наследия В. Овечкина. М. Лобанов писал тогда: «Одно время наша литература о деревне была активна, так сказать, организационно-хозяйственными предложениями, рекомендациями, что ли. В какой мере такие рекомендации мало подходят для целей литера-

туры, показал опыт работы В. Овечкина, в свое время писавшего страстные, убежденные очерки, которые, однако, вскоре угасли в своей практической актуальности именно из-за узкопрактической своей проблематики». Инерцию очерково-хозяйственной характеристики колхозной жизни увидел критик и в «Липягах» С. Крутилина, и в ряде других произведений нашей прозы, посвященной деревне. Почему же М. Лобанов не принимал подобных явлений в нашей прозе? «Современную литературу наши потомки,— писал он,— будут судить по глубине отношения к судьбе русской деревни... Истинные ценности, прежде всего нравственные, всегда дождутся своего времени. И хорошо, что наша деревенская литература все более насыщается этими ценностями, которые излучаются из недр крестьянской жизни».

В книге «Самая кровная связь. Судьбы деревни в современной прозе» (М., 1977) я не согласился с М. Лобановым, как и с его оценкой творческого наследия В. Овечкина, «Липягов» С. Крутилина, других прозаиков, пишущих о деревне. На материале творчества Ф. Абрамова и В. Белова, В. Астафьева и С. Залыгина, В. Шукшина и Е. Носова, В. Распутина и В. Солоухина, А. Яшина и Б. Можаева я стремился показать, сколь глубоко современная проза исследует судьбы русской деревни, отстаивая те ценности трудовой, народной нравственности, которые формировались трудом человека на земле и которые являются важным залогом и сегодняшнего движения нашей жизни вперед. Однако, доказывал я, споря с М. Лобановым, для большинства прозаиков, посвятивших свое творчество деревне, нравственные ценности народной жизни есть реальная, конкретно-историческая, социальная данность, социально детерминированная и обусловленная, вечно живая и изменяющаяся с течением времени, неотрывная от практики социального преобразования действительности.

Суть этого спора заключалась не в отвержении общечеловеческих ценностей трудовой народной нравственности, накопленных народом за века труда и борьбы на земле, но в неприятии внеисторического и абстрактного толкования этих ценностей. Подобное внеисторическое, лишенное социальной конкретности толкование этих ценностей и вело к неприятию М. Лобановым тех явлений в нашей прозе о деревне, ко-

торые заключали в себе социально-практический и конкретно-исторический взгляд на народную жизнь, исключающий ее толкование как некоей вневременной, «вечной этики и эстетики» (М. Лобанов), отделенной, отчужденной от созидательного труда народа, исторических конкретных форм и задач его общественного бытия. Как показали иные последующие выступления критика, неприятие им «практической актуальности» литературы, ориентация на некую абстрактную «вечную этику и эстетику» привели М. Лобанова к еще большей зауженности его воззрений, когда за чертой его литературных симпатий оказались не только, к примеру, В. Овечкин или С. Крутилин, но и некоторые произведения С. Залыгина, Ф. Абрамова, В. Солоухина, других наших прекрасных писателей.

А чертой этой, камнем преткновения для критика оказались *социальность, социальный, конкретно-исторический* взгляд на жизнь, на историю и литературу.

Такому несколько абстрактному взгляду на литературу, во имя «вечных ценностей» отлучающему ее от повседневных «узкопрактических», социальных задач действительности, я противопоставил бы взгляд писателя, уважаемого и М. Лобановым,— М. Е. Салтыкова-Щедрина.

«Олимпическое равнодушие к текущим (или, как обыкновенно говорится, временным) интересам действительности понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами собой, идут своим чередом, по раз заведенному порядку... Но когда действительность втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает, да и само оно ни под каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя гражданином, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется настолько настоятельной, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее. И чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он интерес человеческий».

Эти вещие слова М. Е. Салтыкова-Щедрина привел в предисловии к своей книге «Лесная дорога» Б. Можаев[1], обороняясь от предрассудков того самого рода, которые прозвучали в книге «Мужество человечности» М. Лобанова, отстаивая свое право и обязанность – обязанность всякого подлинного писателя – сознавать себя гражданином и принимать участие в общем течении жизни, служить интересам действительности, помогать ее совершенствованию. Только на этом пути литература сможет приблизиться к постановке и тех вопросов, которые называются вечными.

Собственно, спор, который более 100 лет тому назад вел великий русский сатирик-демократ с «олимпическим равнодушием» к текущим интересам действительности, был спором не столько о литературе, сколько о жизни, об отношении к ней, о гражданской позиции человека — и писателя — применительно к жизни действительной. В конечном счете это спор о гражданственности и патриотизме, о характере любви человека к своему Отечеству. Спор этот не потерял своего злободневного, животрепещущего значения по сию пору.

Ведя этот спор сегодня с М. Лобановым, я хотел бы подчеркнуть следующий принципиальный, исходный момент.

Высоко оценивая глубокий и истовый патриотический пафос, свойственный лучшим работам М. Лобанова, соглашаясь с ним в его последовательном отстаивании и утверждении в жизни и литературе чувства Родины, уважения к истории своего Отечества, нельзя тем не менее не брать в расчет предыстории вопроса, той традиции, в которой утверждало и проявляло себя столь важное и дорогое сердцу каждого нравственно развитого человека чувство любви к своей Родине. А традиция эта заключалась в том, что патриотическое, гражданское чувство в литературе и общественной жизни на Руси формировалось и утверждало себя через борьбу противоречий, через яростный спор двух типов патриотизма, двух различных подходов к судьбам Отечества, двух видов любви к своей Родине и ее народу.

Говоря обобщенно, был патриотизм покоя и па-

[1] См.: Можаев Б. Лесная дорога. М., 1973, с. 7.

триотизм движения, патриотизм, повернутый вспять, и патриотизм, обращенный вперед, патриотизм удовлетворенный и сонный и патриотизм беспокойный, желающий своему народу лучшего, — иными словами, патриотизм охранительный, стремившийся к сохранению и упрочению существующего и даже к повороту исторического движения страны вспять, и патриотизм революционный, устремленный к движению вперед, к переменам, к улучшению жизни народа, к совершенствованию своего Отечества. Не всегда это различие формулировалось столь отчетливо, иногда оно было затенено, зашифровано, замаскировано, но оно существовало всегда, и в конечном счете за этой разницей подходов к судьбам Отечества всегда стояли различия социальные и классовые. Ибо можно любить Отечество — и испытывать полнейшее равнодушие к жизни и судьбе народа, населяющего это Отечество, быть патриотом, государственным человеком и при этом восхвалять крепостное право и молиться на царское самодержавие. Но можно и должно любить свое Отечество иной любовью — гуманной и самоотверженной любовью к своему народу, из которого ты вышел и которому принадлежишь, которому всем сердцем желаешь добра и счастья.

Непримиримый спор между этими двумя типами патриотизма шел на протяжении всего XIX века. Спор этот, как известно, разрешила Великая Октябрьская социалистическая революция, явившаяся апофеозом патриотизма революционного.

В XIX веке в России борьба двух типов патриотизма, двух полярно противоположных взглядов на судьбы Отечества — устремленных в прошлое (скажем, славянофилы) и будущее (революционные демократы) — приобретала подчас формы драматичнейшие и вела в жизни к коллизиям подчас трагическим. Сошлюсь хотя бы на драматическую судьбу Гоголя, на трагедию его творческого и жизненного финала.

Как известно, патриотическая традиция активной, деятельной любви к Отечеству питала подвиг Радищева и декабристов, творчество Пушкина и Лермонтова, Белинского и Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Некрасова, Тургенева и Гончарова, Толстого и Достоевского, Чехова и Островского — всей великой русской литературы. Ибо патриотизм охранительный, патриотизм «официальной народности», стремившийся со-

хранить существующии порядок или же повернуть историю вспять, такого рода охранительный, консервативный патриотизм был не по душе представителям русской прогрессивной литературы XIX века. И хотя боренье этих противоречий оставило в душах и творчестве некоторых крупнейших наших художников свои следы, ни Л. Н. Толстого, ни Ф. М. Достоевского не сведешь к «охранительству». Напротив: Л. Н. Толстой, к примеру, велик как «зеркало русской революции», как художник, принадлежащий будущему человечества, а не его прошлому, да и Гоголь навечно остался в истории прежде всего «Ревизором», «Мертвыми душами».

Патриотическое чувство великой русской литературы XIX века, как и многое другое в ней, сформировала во многом русская революционно-демократическая критика, определявшая, как известно, общий нравственный пафос того драматического времени. И даже писатели, субъективно отталкивавшиеся от революционно-демократической традиции, объективно усваивали многие ее нравственные уроки и прежде всего урок взыскательной и требовательной любви к своей Отчизне, всепоглощающей заботы о счастье народном. Великое качество *народности* русской литературы было производным от чувства любви к народу, от чувства долга и ответственности перед народом, производным от тех живительных гражданских критериев патриотизма, которые внедряли ее в русское общественное самосознание революционные демократы. Эти критерии активной, деятельной, гражданственной любви к народу противостояли тенденциям застоя, «китаизма», «обломовщины», губительным для любой нации, для любого народа, который стремится сохранить и утвердить себя на поприще всемирной истории. Критерии именно такого — активного, действенного, революционного — патриотизма живительны и необходимы и для нашего времени, если мы стремимся, чтобы наше чувство любви к Отечеству было реальным и результативным, если мы хотим действительного, реального, а не мечтательного и абстрактного добра и процветания Отечества, если мы хотим, чтобы всенародная задача всестороннего обновления социализма последовательно и до конца претворялась в жизнь.

Революционно-демократическое понимание па-

триотизма впервые с наибольшей полнотой и точностью было сформулировано Белинским в статье «Стихотворения М. Лермонтова», опубликованной в февральской книге «Отечественных записок» за 1841 год. Можно предположить, что к этому времени Белинский уже знал в списках знаменитое стихотворение Лермонтова «Родина», опубликованное в тех же «Отечественных записках» через номер – в апрельской книжке за 1841 год. 13 марта 1841 года Белинский писал В. П. Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина» – то, аллах керим, что за вещь – пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских»[1]. Но если даже Белинский писал свою статью «Стихотворения М. Лермонтова» и не зная лермонтовской «Родины», не может не поразить совпадение мотивов, единство взгляда поэта и критика на высокое и святое чувство любви к Отчизне.

Афористически выраженное чувство в стихотворении «Родина» – «Люблю отчизну я, но странною любовью!», его страстное признание в любви к родному народу вызвали в свое время слова Н. А. Добролюбова о том, что Лермонтов, «умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе». «Доказательством, – писал критик, – служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно»[2].

И столь же глубокие и проникновенные строки о любви к Отечеству высекла поэзия Лермонтова из сердца Белинского.

Как бы полемизируя не только с современными ему, но и нынешними жрецами внесоциальной духовной жизни, Белинский пишет здесь:

«Как бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била она вовне и какими бы волнами ни лилась через край, – она неполна, если не усвоит в свое содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества. В полной и здоровой натуре тяжело лежат на

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII, с. 35.

[2] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 1. М., 1950, с. 317–318.

сердце судьбы родины: всякая благородная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством. Общество, как всякая индивидуальность, есть нечто живое и органическое, которое имеет свои эпохи возрастания, свои эпохи здоровья и болезней, свои эпохи страдания и радости, свои роковые кризисы и переломы к выздоровлению и смерти. *Живой* человек носит в своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь общества: он болеет его недугами, мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует его счастьем, вне своих собственных, своих личных обстоятельств... Любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. *Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил споспешествовать этому.* В противном случае патриотизм будет китаизмом, который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразиям и уродствам»[1] (курсив наш.— *Ф. К.*).

Как видите, такое, говоря словами Добролюбова, истинное, святое и разумное понимание чувства любви к родине естественно и органично ведет, как сказали бы мы сегодня, к интернационализму. «...Надобно только,— подчеркивал Белинский,— чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но и живым желанием усовершенствования; словом — любовь к отечеству должна быть вместе и любовью к человечеству»[2].

Такое святое и истинное понимание патриотизма и лежало в основе всей деятельности русской революционной демократии. Оно было заложено Белинским и Герценом, развито Добролюбовым, а потом Чернышевским. «Высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине...» — так понимал он это «священное слово». Такое понимание патриотизма пронизывало всю великую русскую литературу и через Блока (вспомним его «Россию») и Горького было завещано советской литературе.

«...Откройте сейчас любую страницу истории нашей литературы XIX столетия, будь то страница из

---

[1] Белинский В. Г Собр. соч. в 3-х т., т. I, с. 639—640.
[2] Там же, с. 640.

Гоголя, Лермонтова, Толстого, Тургенева, страница Чернышевского или Добролюбова... — писал Блок, — потому что нет сейчас, положительно нет ни одного вопроса среди вопросов, поднятых великой русской литературой прошлого века, которым не горели бы мы... Если над любой страницей Гоголя ваша душа вспыхнет полымем вдохновения, то на любой странице Добролюбова она захлебнется от нахлынувшей волны дум»[1].

Этой страсти, этому горенью, которым горели Герцен и Белинский, Чернышевский и Добролюбов, Блок противопоставляет в предреволюционную пору «новый господствующий класс, который... как бы его назвать? Назовем, пожалуй, класс фармацевтов... Да, все заполонили фармацевты, это для них мы пишем книги, это они запоем ругаются и запоем читают «Санина» Арцыбашева, это они роковым образом не слышат ничего, что им кричишь в уши, кричи им раз, три раза или пятнадцать раз об одном и том же...»[2].

Антибуржуазность неистовая и неприкрытая — такова еще одна коренная особенность великой русской литературы XIX века, начиная от Гоголя и Герцена, кончая Блоком и Горьким.

Лучшие страницы в работе М. Лобанова посвящены именно этому качеству русской литературы, которое рассматривается критиком в неразрывной связи с идеологическими задачами, стоящими сегодня перед советской литературой.

«Постоянной задачей нашей критики, — пишет он в книге «Размышления о литературе и жизни», — стала борьба с буржуазной идеологией, с западной «массовой культурой». Большую помощь в той борьбе может оказать классическая литература, русские мыслители. Известно, какие муки разочарования в буржуазном Западе испытал Герцен, воочию увидевший духовное убожество буржуа... Сатирическое слово о западном буржуа оставил Щедрин в своих очерках «За рубежом»...». В статьях М. Лобанова «Вечно живые типы», «Образ и схема», «Правда жизни и ее «превращения» анализируется антибуржуазный пафос «Мертвых душ» Гоголя, «Преступления и наказания»,

---

[1] Блок А. Об искусстве. М., 1980, с. 100.
[2] Там же, с. 103.

«Братьев Карамазовых» и других романов Достоевского, толстовский взгляд на Наполеона как воплощение буржуазности.

«Великая русская литература, – справедливо пишет М. Лобанов, – с обостренной чуткостью встретила появление нового в русской жизни – буржуа, вопрошая: что он несет миру? Гоголь с гениальной прозорливостью схватил то потаенное сущностное в буржуа, что связано с его расчетами на умерщвление духовной жизни народа. Социально-духовная природа буржуа вызвала к себе напряженнейшее внимание и со стороны другого русского гения – Достоевского».

Опираясь на оценку психологии буржуа, данную в «Манифесте Коммунистической партии» К. Марксом и Ф. Энгельсом, показавшими, что буржуазия «превратила личное достоинство человека в меновую стоимость»[1], М. Лобанов раскрывает, насколько глубоко русская литература постигла «безыдейную сытость» (Салтыков-Щедрин) мещанина, то духовно-эстетическое понижение личности, распад человеческого духа, которое несет с собой буржуазность.

«Высотой идеалов в лучших своих образцах, глубиною интересов и запросов, богатством внутреннего мира русская литература противостоит буржуазной бездуховности и прагматичности, и в этом ее животрепещущее современное значение» – таков справедливый и точный вывод критика, занимающего последовательно антибуржуазную позицию не только применительно к прошлому, но и настоящему культуры. Разоблачению буржуазной «массовой культуры», этого антидуховного эквивалента буржуазного «общества потребления», анализу современного модернизма, вплоть до «искусства абсурда», критике современного буржуазного художественного сознания посвящена его работа «Правда жизни и ее «превращения». Вызвавшая в свое время споры, она тем не менее на примере прежде всего «феномена» Кафки во многом справедливо характеризует тупиковую безысходность европейского модернизма XX века, отмеченного «релятивизмом добра и зла». Трудно не согласиться с критиком в том его утверждении, что «модернистские направления не оставляли какого-либо заметного следа в искусстве тех стран, где они появлялись. Не

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 426.

связанные с национальными традициями культуры, они оставались в ней чужеродным элементом».

С психологией «духовного буржуа» М. Лобанов связывает готовность продавать за чечевичную похлебку такие человеческие ценности, как любовь к Родине, историческую, народную основу культуры. Буржуазный прагматизм и моральный релятивизм ведут, по мысли критика, к устранению социально здоровой основы культуры путем внесения в нее прагматичности, духовного упрощения, обезличивающего, уравнивающего все и вся в культурном ширпотребе.

Антибуржуазная направленность, равно как и ставка на демократизм, народность, патриотические начала в культуре составляют бесспорно сильную сторону книг М. Лобанова. Будучи последовательно развитыми, они, казалось бы, должны вести к углублению социальных начал, к классовой позиции в его литературно-критическом творчестве, к гражданской устремленности критика на борьбу за социалистическое преобразование действительности, к ориентации на те явления и тенденции в истории отечественной культуры и общественного самосознания, которые такого рода преобразования готовили.

К сожалению, литературно-критическая практика М. Лобанова, о чем неоднократно писала критика, не всегда оправдывает эти надежды. Народная, антибуржуазная направленность лучших его работ вступает в противоречие с некоторыми сторонами его литературно-критической деятельности.

При очевидном пафосе антибуржуазности и патриотизма его работам тем не менее подчас недостает последовательности классового, социального, конкретно-исторического подхода к явлениям истории, литературы и действительности. При наполненности патриотического чувства его работам не хватает порой социальной активности в борьбе за социальную динамику, социальное развитие, социальное совершенствование действительности.

В чем же причина столь очевидного противоречия?

Думается, в недооценке М. Лобановым принципа социальной детерминированности морального сознания, в известной отъединенности в его работах духовной, морально-этической сферы жизни, ценностей духа, культуры и литературы, за которые он столь

справедливо ратует, от социальной практики преобразования действительности.

Недооценка социальных реалий жизни проявляет себя и в его обращении к прошлому отечественной культуры.

Думается, в конечном итоге своего внутреннего развития и под воздействием неумолимых реалий действительности критик задумается над этим очевидным противоречием в собственной позиции. Он не может не задуматься над тем очевидным фактом, что капитализм, буржуазность, а уж тем более современный агрессивный, человеконенавистнический империализм, посягающий на самое существование нашего Отечества и всего человечества, не преодолеваются моральной критикой. Классовая борьба между буржуазными и антибуржуазными началами жизни, между империализмом и социализмом достигла сегодня глобального характера; в ходе этой борьбы, исходя из классового эгоизма — по принципу «лучше мертвый, чем красный», империализм грозит уничтожить само человечество. Возможна ли, оправданна ли в столь суровых условиях позиция недооценки социальных, классовых факторов жизни? Единственный путь преодоления язвы буржуазности и морального выздоровления человечества — это социальное преобразование действительности в духе последовательного социалистического идеала — того самого «идеала человечества», о котором писал Белинский.

Но стоит встать на такую позицию, и во взгляде не только на будущее, но и на прошлое пробуждается социальный интерес, интерес и сочувствие к тем явлениям и тенденциям отечественной и мировой истории, которые созвучны именно этой исторической задаче, вся отечественная и мировая история наполняется огромным социальным смыслом.

К сожалению, именно *социальной* заинтересованности, глубины *социального* проникновения в историю, обстоятельства и факты общественной борьбы предшествующих эпох пока, как мне представляется, и не хватает М. Лобанову.

Он прав, когда пишет: «Истинные ценности, прежде всего нравственные, всегда дождутся своего времени». Но он не прав, когда эти «истинные» нравственные ценности в литературе подчас отрывает от тех социальных условий конкретно-исторического

времени, которые их породили, когда пытается идти к достижению нравственных ценностей в литературе прошлого и настоящего, как бы перешагивая через сферу общественных, конкретных исторических, социально-классовых отношений. Впечатление такое, будто конкретно-исторические, социальные, общественные реалии и обстоятельства жизни и борьбы эпохи ему, как исследователю и историку литературы, вроде бы просто малоинтересны и как бы неважны для постижения сути литературных явлений минувших эпох. Эти реалии и обстоятельства остаются в значительной степени за пределами исследовательского внимания критика, увлеченного постижением – через голову временного, «бренного» – сразу конечных, вечных, истинных ценностей.

Справедливости ради заметим, что в таком подходе к литературе М. Лобанов сегодня – увы! – не одинок. Однако в его книге об А. Н. Островском такой подход проявился особенно резко и, как мне представляется, заметно ограничил возможности критика.

2

Как известно, история литературы, равно как и литературная критика, развивающаяся в традициях «реальной критики», марксистско-ленинской научной методологии, не могут быть только культурологией или же только текстологией, не могут ограничивать себя исследованием литературы в узких пределах самой литературы, литературы как таковой. Они одновременно являются и научной социологией, взглядом не только на литературу, но и на жизнь, ее породившую, на жизнь в ее прошлом и настоящем, в реальной динамике социальных противоречий ее общественного развития.

Взгляд на писателя – это обязательно и внимательный, пристальный взгляд на его эпоху, на общественную, идейную, литературную борьбу эпохи, которой он принадлежал, изучение всех перипетий этой борьбы и места писателя в ней.

Будучи искусственно выключенными из реальных страстей своего времени, художник и его творчество останутся для исследователя во многом «вещью в себе». Вот почему так важны для историка литературы,

равно как и для критика, социальныи подход к литературе и конкретный историзм.

Автора книги об А. Н. Островском ждет успех там, где он верен принципу историзма, где он глубоко и всесторонне знает материал. Следует сказать, что фигура, творчество Островского очень близки М. Лобанову. Он потратил немало труда на пристальное, детальное исследование биографии великого драматурга и его многообразного творчества. Как свидетельствует книга «Размышления о литературе и жизни», М. Лобанов предпринял специально путешествие по Волге, по местам, связанным с жизнью и творчеством Островского, чтобы увидеть ту часть Волги, о которой русский драматург писал в своих дневниках «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода». Впечатления от этого путешествия легли в основу очерка М. Лобанова «По великой реке».

«Волга и Москва — две могучие силы, на чем созрела русская история, те силы, которые вскормили русскую государственность, русскую литературу, — в творчестве Островского с большой поэтичностью это выявлено», — пишет здесь критик.

М. Лобанов осмысляет Островского прежде всего как великого национального русского драматурга, глубоко и полно раскрывшего в своем творчестве бесконечные духовные и нравственные силы русского народа, подарившего ему праздничное искусство русского театра. В книге М. Лобанова любовно воссоздана не только жизненная, но и творческая биография великого русского драматурга, в ней содержится глубокий и точный анализ ряда его пьес — к примеру, его исторических хроник, «Снегурочки» и др.

Мой спор, мои несогласия с критиком касаются не столько исследования конкретных обстоятельств биографии Островского, сколько глубины постижения и истолкования той идейной, общественной атмосферы, в которой формировался и выявлял себя Островский как драматург, того исторического «фона», социального контекста времени, тех общественно-литературных обстоятельств, которые во многом определяли идейно-творческие позиции драматурга. Вопросы эти — отнюдь не праздные для понимания и истолкования сути творчества Островского, поскольку вся его творческая биография, как, впрочем, биография любого крупного художника, глубинными уза-

ми была связана с общественно-литературной борьбой того времени и составляла часть этой борьбы.

Как известно, творческая биография Островского неотрывна прежде всего от противостояния славянофильских и революционно-демократических идей, от той борьбы за Островского, которую вели между собой «почвенники» и крестьянские демократы. Островский входил в литературу в магнитном поле идейного влияния «Москвитянина», издаваемого М. П. Погодиным и С. П. Шевыревым и являвшего собой журнальную площадку, где скрестились три направления исканий русского консерватизма середины XIX века – славянофильство, «официальная народность» и нарождающееся «почвенничество», сосредоточенное в так называемой «молодой редакции» «Москвитянина», к которой и принадлежал Островский.

Насколько глубоко и точно характеризуются эти консервативные течения в книге об Островском? Надо ли говорить, как это важно для понимания его творческой судьбы! Точные социальные характеристики этих течений русской общественной мысли середины минувшего века крайне важны и для современного, в особенности – молодого читателя, которому в первую очередь и предназначается серия «ЖЗЛ».

Из книги М. Лобанова читатель узнаёт, что редактором-издателем «Москвитянина» был М. П. Погодин, который характеризуется как ученый-«отшельник», знаток российских древностей; что другом и сподвижником Погодина по «Москвитянину» был приглашен С. П. Шевырев; что в 1845 году редактором журнала был приглашен И. В. Киреевский, «известный славянофил и ветеран журнального дела», а после его ухода Погодин пригласил в журнал группу близкой ему по духу молодежи, куда помимо Островского входили Аполлон Григорьев, Терций Филиппов, Борис Алмазов и некоторые другие участники «молодой редакции» «Москвитянина».

Об общественно-литературных позициях Погодина сказано следующее: «Погодин называл себя «консерватором с прогрессом». Как консерватор, он держался официальной народности. Отстаивая предания древней русской истории, Погодин вместе с тем с благоговением относился к Петру I. В своих объявлениях об издании «Москвитянина» он в программу журнала включил «осуждение безусловного поклонения Западу,

при должном уважении к его историческому значению». Погодин считал долгом своим ратовать за науку, в Ломоносове видел характерное проявление научного гения России. Он подчеркивал «великое предназначение русского народа», взывал к «сознанию национального достоинства».

И все это – справедливо, но совершенно недостаточно и потому чрезвычайно уклончиво. Из этой, в общем-то вполне симпатичной, характеристики совершенно неясна сущность программы так называемой «официальной народности», включавшей в себя в качестве основы триединство «самодержавие, православие, народность», «народность» – в патриархально-православном духе. Триада эта была провозглашена в качестве ответа декабризму печально знаменитым николаевским министром народного просвещения, графом С. С. Уваровым. Из книги М. Лобанова неясны читателю причины негативного отношения к «официальной народности» почти всей серьезной литературы того времени, как и истоки тех ожесточеннейших идейных битв, которые вел с «Москвитянином» Белинский (вспомним хотя бы его статью «Ответ «Москвитянину»), с полным основанием видевший в идеологах «официальной народности» Погодине и Шевыреве своих первоочередных идейных противников. Эти идейные битвы 1840-х, предшествовавшие приходу Островского в «Москвитянин», полностью выпали из книги М. Лобанова.

Такая уклончивая, лишенная хоть сколько-нибудь определенных социальных характеристик оценка Погодина и Шевырева лишает М. Лобанова возможности вразумительно объяснить читателю и причину разрыва с «Москвитянином», как органом «официальной народности», славянофильства 40-х годов, равно как и последующие противоречия, в которые вступила с руководством журнала «молодая редакция» «Москвитянина», пришедшая в журнал на смену старшего поколения славянофилов. М. Лобанов так объясняет причину этих перемен в редакции «Москвитянина» в конце 1840-х годов: «Погодин далеко не все принимал у славянофилов, расходясь со многими из них даже в вопросах религии, и поэтому неизбежны были разногласия».

Но в чем же конкретно заключались эти расхождения «официальной народности» и русского славяно-

фильства 40-х годов? И что из себя представляло это направление идей – раннее русское славянофильство, каковы его общественно-философские концепции, их классовая природа, взаимоотношения с «западничеством», с нарождающейся революционной демократией? Где вся эта реальная плоть напряженнейшей идейной, литературной, журнальной – словом, общественной борьбы 40-х, а потом и 50–60-х годов?

Все это – вопросы не формальные для книги об Островском, хотя бы потому, что без осознания того, что такое славянофильство 40-х годов, вне конкретной и ясной теоретической, социально-политической его характеристики очень трудно понять и такое его ответвление, как «молодая редакция» «Москвитянина», трудно понять и самого Островского, хотя бы потому, что все его творчество было предметом битвы славянофильства и демократических идей и сам он был объектом споров и борьбы за него между русской революционной демократией и русским консерватизмом того времени.

Сам же М. Лобанов пишет в своей книге: «Общение с Погодиным и его друзьями-славянофилами, беседы с ними на самые разнообразные темы не прошли бесследно для Островского и других молодых сотрудников «Москвитянина», оказывали воздействие на их исторические, нравственные воззрения, на само творчество (пьесы Островского «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется»).

Утверждение это читателю приходится принимать на веру – поскольку, повторяю, хоть сколько-нибудь определенной характеристики славянофильства 40-х годов, равно как и «официальной народности», в книге нет. Как нет и сколько-нибудь определенной характеристики общественно-политических, социальных, философских, да и литературных позиций «молодой редакции» «Москвитянина», так называемых «почвенников», в кругу которых Островский входил в литературу.

А что же есть? Глубокая душевная симпатия автора к этим и в самом деле «талантливым, самобытным людям», описание того, как они навещали Погодина и он показывал им свои сокровища – коллекцию российских древностей; как пустовавшие ранее комнаты «Москвитянина» «огласились молодыми голосами, шутками, смехом и даже песнями»; как самозабвенно

изучал быт родной Москвы малозаметный сотрудник журнала Иван Тимофеевич Кокорев; как встречал гостей – сотоварищей по редакции «Москвитянина» на своей квартире в старом непритязательном доме на Яузе Александр Николаевич Островский; как пел под гитару сочиняемую им цыганщину Аполлон Григорьев. И все это – прекрасно. Надо сказать, что быт старой Москвы, образ жизни круга Островского воспроизводится в книге с отменным знанием дела, выразительно и любовно.

Но, погрузившись в стихию этого столь колоритно написанного старомосковского быта, читая все эти сочные страницы художественно-документальной прозы, с большим основанием, желанием ждешь ответа на главный для биографической книги вопрос: а что же думали о жизни, о коренных, «проклятых» ее вопросах эти «талантливые и самобытные» литераторы, составлявшие «молодую редакцию» «Москвитянина»? В чем состоял их «символ веры»? Как относились к их общественно-литературным позициям современники? И как, на взгляд автора книги, следует относиться к ним нам, современным читателям?

К сожалению, ответов на эти вопросы в книге практически нет. А если и есть, то предельно общие и во многом неточные. Этот вывод справедлив даже по отношению к фигуре, являющейся, бесспорно, вторым, наряду с Островским, героем книги М. Лобанова. Я имею в виду Аполлона Григорьева, который был центральным лицом в кружке «молодой редакции» «Москвитянина» и сыграл особую роль в судьбе Островского.

Я бы сказал об особой роли этого яркого, талантливого критика и для книги М. Лобанова: многие ее страницы, многие оценки несут на себе печать воззрений А. Григорьева.

В своей книге М. Лобанов многократно возвращается к Аполлону Григорьеву. Он пишет о нем влюбленно. И это понятно: будучи человеком, очень близким Островскому, Аполлон Григорьев являл вместе с тем интереснейшую, противоречивую, я бы сказал – драматичнейшую фигуру литературы и общественной мысли 50–60-х годов. Разобраться в этой фигуре, понять всю глубину противоречий, раздиравших этого человека, и прежде всего – противоречивость его мировоззрения, где стихийные демократические начала

вступали в непримиримый конфликт с традициями дворянского славянофильства, – задача немалой трудности, но и немалого интереса. Тем более что внимание современного читателя к Аполлону Григорьеву, в особенности после издания томика его стихов в Малой серии «Библиотеки поэта» и сборника его критических статей в издательстве «Художественная литература», растет, да и современная критика не без интереса присматривается к методологии «органической» критики Ап. Григорьева.

В книге М. Лобанова мы находим увлеченно написанный, яркий, впечатляющий портрет этого незаурядного критика и поэта. Здесь создан пластический образ мятущейся личности критика, погруженного в кипение страстей, без конца увлекающегося «роковыми», как сказал бы Достоевский – «инфернальными», женщинами, человека бескорыстного, неприспособленного к жизни и закончившего жизнь чуть ли не в долговой яме.

В этом эссе, написанном плотно и выразительно, прослежена вся путаная канва жизни Аполлона Григорьева, его страстные и несчастные увлечения, много верного сказано о его «падкой до жизни» (слова Григорьева) натуре, о неудержимости и вместе с тем – разбросанности его мысли, о «донкихотстве» Аполлона Григорьева, о его внутренней трагедии, которая была, пишет М. Лобанов, «общей трагедией – и для чувства и для духа» и которая состояла «в переходности пореформенной эпохи, когда традиционные идеалы, казалось, начали изживать себя, а будущие идеалы еще неясны».

Что же конкретно стоит за этими верными, но очень общими словами?

Обращаемся к тексту книги и узнаем, что после «бегства» Григорьева из-за границы в Россию у него «зреют мысли об искусстве, о «проклятых вопросах». Что литературные скитальчества привели его в 1863 году, за год с небольшим до смерти, к Ф. М. Достоевскому, в журнал «Время», поскольку и Достоевский, и Ап. Григорьев «натуры глубоко дисгармоничные, страдающие от этого, оба одинаково жаждали цельности, положительного бытия, оба сходились на признании Островского как положительной жизненной силы. Яростные убеждения Аполлона Григорьева, которые он сам называл культом Островского, оказали влия-

ние на Достоевского так же, как и другие его верования: в народность, в «почву», его разделение людей в жизни и в литературе на два типа – хищный и смирный».

Далее из соображений принципиального, мировоззренческого порядка мы узнаем, что «Аполлон Григорьев считал себя «последним романтиком», Дон Кихотом, он подписывался под своими статьями: «Один из ненужных людей», что он «знал ужас бесцельности переходных эпох, изживших себя идеалов...». Но «современная Григорьеву эпоха, – поясняет как бы в споре с ним М. Лобанов, – имела за собой тысячелетнюю историю идеала русского народа, вовсе не изжившего себя, а вступившего в новые исторические условия, еще невиданные, но вовсе не бесперспективные. Народ – это история, а не отдельные эпохи, и в русле истории шло творение Островским своего мира, связанного с капитальными ценностями народной жизни». Вот почему «в Островском, в его пьесах Аполлон Григорьев и видел, чувствовал как бы потенциал русского человека, русского народа – силу положительную, глубоко «почвенную».

Положительное значение книги М. Лобанова как раз и состоит в его стремлении исследовать всю реальную связь пьес Островского с «капитальными ценностями народной жизни», с выявлением в них огромного положительного потенциала русского человека, русского народа. Такова задача, которую ставит перед собой критик применительно к творчеству Островского вообще, применительно к творчеству одного из главных критиков Островского – Аполлона Григорьева в частности.

Но для успешной реализации этой огромной важности задачи необходимо, по-видимому, в качестве одного из условий разобраться, установить, что понимать под «капитальными ценностями народной жизни». Что понимал под ними Островский? Что понимал под ними Аполлон Григорьев? Что понимал под ними Добролюбов, другой критик пьес Островского, оставивший, скажем мягко, ничуть не меньший, неизгладимый след в сознании Островского, как и в сознании русского общества XIX, да и XX веков?

Таким образом, необходим конкретно-исторический подход к пониманию, истолкованию тех социальных, духовных, нравственных, идеологических

богатств, выработанных русским народом на протяжении своей тысячелетней истории, которые критик обобщенно называет «капитальными ценностями народной жизни» или несколько неуклюже и романтически — «тысячелетней историей идеала русского народа».

Я думаю, М. Лобанов согласится с тем, что идеал этот был одним в эпоху Алексея Тишайшего, другим — в эпоху Петра Великого, третьим — в пору 60-х годов XIX века и что идеал этот никак не мог быть одинаковым для Екатерины II и для Пугачева, для Николая I и для декабристов, для Белинского и князя Уварова, для Чернышевского и Каткова, для Ленина и Керенского...

Чрезвычайно важно поставить перед собой — и читателями — нравственную задачу утверждения — на материале ли пьес Островского, других явлений русской ли классической иль современной советской литературы — «капитальных ценностей народной жизни». Но это еще только начало, за которым неминуемо встает вопрос: а что понимать под «капитальными ценностями народной жизни»? Ведь народная жизнь не стоит на месте, пребывает в состоянии постоянного, неостановимого изменения и развития — в противном случае вряд ли бы — скажем, применительно к тому же Ап. Григорьеву — встал вопрос о «переходности» переживаемой им эпохи, о начинающихся «новых исторических условиях, еще невиданных, но вовсе не бесперспективных», об «изживающих себя» и «нарождающихся», еще неясных пока, «будущих» идеалах. А коль скоро есть развитие, движение, изменение самой природы народной жизни — значит, существуют и противоречия этого развития, борьба старого и нового, противостояние различных социальных, классовых и как следствие этого — идеологических, духовных, нравственных начал.

Подлинно патриотическое чувство всегда стремится видеть свое Отечество динамичным, свободно и вольно развивающимся, обогащающим себя все новыми и новыми силами, всеми завоеваниями человеческого духа, знания, ума, двигающимся по пути духовного и нравственного здоровья, процветания, благосостояния и могущества.

Так каковы же были не в общих абстрактных словах, а в социально-исторической конкретике своего времени представления об «идеале русского народа»

у Аполлона Григорьева? Каким был его взгляд на такие основополагающие реалии той жизни, как крепостное право, русское самодержавие, нищета, угнетенность и бедность народа, развивающийся капитализм? Или все это не входило в те «проклятые вопросы», которые, по свидетельству М. Лобанова, его волновали? Тогда что это были за «проклятые вопросы»?

М. Лобанов приводит слова Ап. Григорьева о времени сотрудничества в «Москвитянине» как поре «восстановления в душе новой, или, лучше сказать, обновленной, веры в грунт, почву, народ...». Он приводит его слова об Островском: «У Островского, одного в настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вместе идеальное миросозерцание с особенным оттенком... Этот оттенок мы назовем, нисколько не колеблясь, коренным русским миросозерцанием, здоровым и спокойным...»

Но в чем и как конкретно раскрывалась сущность «коренного русского миросозерцания», в представлении Ап. Григорьева? Что именно он и его товарищи по «молодой редакции» «Москвитянина» понимали под словами «грунт», «почва», «народ»? Мысль критика чурается социальной конкретизации этих формул.

Но это-то и приводит его к серьезным неточностям.

Нет спору, Аполлон Григорьев был человеком честным и талантливым, убежденным патриотом своей Родины. Он искренне отстаивал народность литературы и не принимал буржуазности.

Антибуржуазность и патриотизм Аполлона Григорьева справедливо представляются критику качествами чрезвычайно близкими и воодушевляющими.

«Девизом Григорьева всегда была жизнь, а не теория, живой человек, а не тот гомункулус — искусственный человек, которого изобретает в своей лаборатории ученый филистер Вагнер в «Фаусте» Гёте. Все далекое от жизни, движение теоретическое, рационалистическое и было для Григорьева гомункулусом. Он видел, что дух филистерский, буржуазно-позитивистский проникает в жизнь, в действительность, заявляя о себе как о знамении эпохи. Филистерски-позитивистские лаборатории, подминая, обходя все живое, жизненное, конструируют свои искусственные теории, создают как последнее слово науки и прогресса гомункулуса, того самого гомункулуса, для которого невоз-

можны не только никакие искания идеала, но и сама мысль о нем».

И – на первый, поверхностный взгляд – тут все верно. И даже симпатично и вполне приемлемо для нас – в особенности обличение буржуазности и филистерства, противных и нашему духу. Но это только на первый взгляд.

Да, в статьях Аполлона Григорьева мы находим немало грозных филиппик против буржуазно-позитивистского отношения к жизни и страстных слов в защиту принципа «народности». Но только что Ап. Григорьев понимал под «народностью»? В своем письме к «старшим» славянофилам от имени «молодой редакции» «Москвитянина» Ап. Григорьев писал: «Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, в классах, не тронутых фальшью современной цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство; в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь».

Такова исходная, можно сказать – основополагающая позиция Ап. Григорьева; отстаивая народность, понимаемую как национальную самобытность Руси (а это его конечная идея), он делал ставку на «средний, промышленный, купеческий класс», условно говоря – на Замоскворечье, то есть на зарождавшуюся русскую буржуазию, если только она не затрагивается фальшью современной, то есть буржуазной, цивилизации и сохраняет в своем нравственном быту «веру, нравы, язык отцов».

Мало того, что это совершенно иллюзорная надежда: развитие капитализма в России, как и во всем мире, с неизбежностью паровым катком сминало всякое национальное своеобразие и самобытность, чего никак не хотел понять, во что, применительно к русскому «купечеству», не хотел поверить Ап. Григорьев. Такого рода позиция с неизбежностью приводила его к апологетическому приукрашиванию отечественного «среднего класса», русского «замоскворецкого» купечества. В итоге антибуржуазность Григорьева, направленная против фальши современного ему Запада, вдруг оборачивалась противоположностью, полным приятием и даже любованием буржуазностью замоскворецкой, отечественной.

И — еще одна неточность в истолковании действительной позиции Ап. Григорьева.

По М. Лобанову, получается, что, выступая против «филистерски-позитивистских теорий», против «раздвоения жизни и мышления», Аполлон Григорьев вел борьбу опять-таки против буржуазности. Но ведь в действительности-то под «искусственными теориями» и оторванным от жизни «рационалистическим мышлением» славянофилы и «почвенники» — и в том числе Аполлон Григорьев — имели в виду нечто совершенно иное — не буржуазность, а идеи революционной демократии. Вот против кого реально были направлены инвективы Ап. Григорьева по поводу вреда «искусственных теорий», «рационализма» и «позитивизма». Ап. Григорьев «постоянно спорил с «теориями», причем в споре с «беснованиями теоретиков»... терпел и поражения»,— пишет М. Лобанов, не раскрывая этот условный код, не сообщая читателям, кого же Ап. Григорьев разумел под «теоретиками». Но код этот прозрачен и в науке общеизвестен: это в споре с «теориями» революционной деятельности и утопического социализма «терпел поражение» Аполлон Григорьев.

Выступая против «теорий» и «теоретиков», сам-то Аполлон Григорьев тем не менее разработал и предложил свою собственную «теорию» — так называемой «органической критики». В статье «Парадоксы органической критики» он попытался дать не только теоретическое обоснование такого рода критики, но и указать теоретические ее источники, достаточно эклектичные: это прежде всего философия Шеллинга «во всех фазисах ее развития», Карлейль, Эмерсон, Ренан, Хомяков, чьи книги в той или иной степени принадлежат «органической критике».

Одним из коренных принципов «органической критики» и в самом деле был принцип «народности», из которого он исходил и в толковании творчества Островского. В своей статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», опубликованной в третьем номере «Москвитянина» за 1853 год, он писал: «Новое слово Островского есть самое старое слово — народность». Утверждение, чрезвычайно близкое М. Лобанову, явившееся, по сути дела, лейтмотивом его книги об Островском. И в самом деле, глубоко народные и национальные истоки творчества великого русского драматурга не подлежат сомнению.

Однако в своем истолковании творческого наследия Островского, глубинной народности его творчества М. Лобанов, опиравшийся на приведенную выше оценку Ап. Григорьева, не берет в расчет того, что́ понимал под «народностью» Аполлон Григорьев. Не берет в расчет и того, что народность в литературе, так же как антибуржуазность или патриотизм, толковались в ту пору различными направлениями русской общественной мысли по-разному.

Славянофилы и «почвенники» отстаивали чисто национальное толкование понятия народности, уравнивая понятия «народ» и «нация», «народное» и «национальное», снимая социальный аспект данной проблемы, обязательный и даже первоочередный для революционных демократов. Демократы же понимали под «народом» прежде всего трудящиеся и эксплуатируемые классы общества, а под «народностью» мыслили прежде всего служение литературы интересам и чаяниям народным, последовательное проведение в литературе народной точки зрения на жизнь.

Вопрос этот — о толковании понятия народности в русской литературе настолько важен, что есть смысл остановиться на нем подробнее — именно потому, что народностью клялись в XIX веке чуть ли не все. И сегодня народность — основополагающий, фундаментальный для советской литературы принцип; вот почему здесь важна полная ясность.

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы», на которую мы уже ссылались и которая принципиально важна для данного вопроса, формулируя революционно-демократическое понимание народности, Добролюбов прямо требовал от литературы «служить выражением народной жизни, народных стремлений»[1]. С его точки зрения, ближе всего в русской литературе «подошел к народной точке зрения Гоголь», но «подошел бессознательно, просто художнической ощупью»[2].

В целом же в мире, по мнению Добролюбова, «если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять же не с общесправедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 1, с. 324.
[2] Там же.

той или другой партии, того или другого класса... Но дурно [вот что: между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе]. Так, например, множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной,— всех не перечтешь. Но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.? Политическая экономия, гордо провозглашающая себя наукою о *народном* богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращая внимание на массу людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда»[1].

Отметим, что добролюбовские слова, взятые в квадратные скобки, о том, что «между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе», так и не были пропущены в журнале «Современник» царской цензурой. И это не случайно: цензоры понимали, что «Современник», русская революционная демократия как раз и представляли в России 1860-х годов «партию народа в литературе», партию, занимавшую классовые позиции, понимавшую под «народом» трудящиеся классы общества, то есть «людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда». Именно в них, в этих общественных классах, в людях труда, революционные демократы видели главную, решающую общественную силу, гарантию счастливого будущего Отчизны, и с гордостью заявляли — устами того же Добролюбова: «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа»[2]. Как видите, социальное понимание народности в рево-

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 1, с. 284—285.
[2] Там же, с. 311.

люционно-демократической критике органически спаяно с их пониманием патриотизма, и эта традиция была воспринята социализмом, о чем с полной определенностью писал в своей знаменитой статье «О национальной гордости великороссов» В. И. Ленин.

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? — спрашивал он. И отвечал: — Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т. е. $^{9}/_{10}$ *ее* населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика»[1].

Во взгляде на прошлое нашей культуры и литературы следует всегда учитывать эти две тенденции, два различных толкования и в чем-то противоположных подхода к понятиям патриотизма и народности. Учитывать, в частности, что и Добролюбов, и Аполлон Григорьев, ратуя за «народность», понимали под «народностью» далеко не одно и то же — хотя бы потому, что Добролюбов опирался в своей концепции народности на трудящиеся классы общества, а Григорьев в куда большей степени — на «класс средний, промышленный, купеческий по преимуществу», в котором, с его точки зрения, воплощалась «старая извечная Русь».

Как уже подчеркивалось выше, М. Лобанову близок у Ап. Григорьева пафос неприятия фальши буржуазной цивилизации. Однако и антибуржуазность в XIX веке опять-таки была разная.

Славянофилы и «почвенники», как известно, не принимали буржуазный Запад и были яростными критиками европейского мещанства, буржуазной цивилизации. В их обличениях буржуазности, по преимуще-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 107.

ству морального характера, и до сих пор немало живого и актуального. Но их критика капитализма велась с позиций прошлого, а не будущего и исходила из иллюзорной надежды остановить время, а то и повернуть его вспять. Это была сентиментально-романтическая, реакционно-романтическая позиция, и в этом отношении самооценка Ап. Григорьевым себя как «последнего романтика» точна. Автохарактеристика эта приводится в книге М. Лобанова.

Однако М. Лобанов обходит социальную суть этой автохарактеристики, общественной характеристики позиций Ап. Григорьева, тех и в самом деле острейших внутренних противоречий, которые были свойственны для его мировоззрения, и апеллирует главным образом к личным качествам его натуры: «Он с такой беззаветностью отдавался своим любимым мыслям, всем сердцем, всем существом своим, что писание превращалось для него в самоотдачу всех его душевных сил, и это была уже не статья, а живая часть его самого, со всей глубиной его дум и чувствований... Поэтому Аполлон Григорьев – уникальное явление в нашей критике, статьи его – это большее, чем высказанные в них мысли, в статьях его запечатлелся психологический портрет самого автора в его углубленных духовно-нравственных состояниях, чувствуемых постоянно читателем. Григорьев всегда оставался самим собою, тяжеловесным, «растительным», «запутанным» в стиле, самоуглубленным, не навязываясь читателю, не заискивая перед ним, не опускаясь до площадных приемов ради популярности». Что же касается противоречивости его «духовно-нравственных состояний», то истоки этих противоречий, по мысли критика, за пределами реально-земного, не говоря уж о конкретно-историческом: «Противоречивость натуры Аполлона Григорьева уходит в онтологические глубины: человек «неистового темперамента», оплакивающий свои «беспутства» «кровавыми словами» (из «Моей исповеди»), Аполлон Григорьев вдруг открывается в своей новой, неожиданной, казалось бы, бездне: «Во мне есть неумолимые заложения аскетизма и пиетизма, ничем земным не удовлетворяющиеся. Если бы я был богат, я бы, вероятно, вечно странствовал...»

При таком подходе за скобками остается реальная политическая и социальная борьба эпохи, самобытная суть позиций критика.

Конечно, интересна история, как Аполлон Григорьев потерпел поражение в личной жизни, когда любимая им женщина Антонина Корш предпочла ему, «последнему романтику», трезвого, разумного «теоретика» К. Д. Кавелина, известного профессора, юриста буржуазно-либерального толка. Но куда интереснее был бы анализ причин того идейного поражения, которое, при всей своей талантливости и самобытности, Аполлон Григорьев потерпел в борьбе с теми, кого он с оттенком недоброжелательства и высокомерия называл «теоретиками». В таком случае автору пришлось бы, однозначно ответив на вопрос, к каким, «отживающим» или «будущим», тенденциям развития жизни России принадлежал Ап. Григорьев, задуматься вместе с читателем всерьез и над тем, почему же «веяния времени» дули в паруса (выражение М. Лобанова) не ему, а его идейным противникам, равно как объяснить и столь печальный финал его и в самом деле незаурядной жизни и деятельности. Цитирую книгу М. Лобанова: «...25 сентября 1864 года Аполлон Григорьев умер от удара... Немного народу собралось проводить Григорьева в последний путь: редакция журнала «Эпоха», несколько человек из литераторов и актеров и какие-то личности в потрепанных одеждах».

Грустный финал этот перекликается со смертью несколькими годами раньше любимого детища Ап. Григорьева, журнала «Москвитянин». Журнал русского консерватизма 40—50-х годов умирал медленно, но неуклонно. «...Несмотря на присутствие в журнале незаурядных имен, подписка на него была невысокой. Если в 1850 году за первый год сотрудничества «молодой редакции» тираж возрос более чем вдвое, то уже в начале 1851 года он опять падает до прежней цифры — нет и шестисот подписчиков, — рассказывает М. Лобанов. — Погодин недоумевал: почему так? Некоторые из читателей называли одну из причин неудачи — небрежность издания... Один из приятелей дружески советовал Погодину: «У вас всегда много опечаток. Даже и другие журналы стали вам подражать в этом. Наружность «Москвитянина» не изящна, шрифты избитые и безобразные; вообще не худо бы вам подражать в этом случае «Современнику», самому щегольскому русскому журналу... Последние нумера были помечены 1856 годом, и на этом «Москвитянин» закончил свое существование».

Неужели и в самом деле причина столь полного неуспеха «Москвитянина», при всех стараниях Погодина и его помощников, «самобытных и талантливых людей», в «опечатках», «избитых шрифтах» и «небрежности издания», а причина необыкновенного успеха некрасовского «Современника» — в том, что он был «самым щегольским русским журналом» того времени?

Конечно же главная причина неудачи «Москвитянина» заключалась в том, что круг идей, разрабатываемых в нем, был далек от насущных общественных потребностей времени, которое переживала Россия. Есть глубокая закономерность, не уловленная автором книги, в том, что погодинский «Москвитянин» тихо почил именно в 1856 году, в том самом году, когда начинались новые, революционные, переломные 60-е годы России.

Эти годы, в силу объективной общественной потребности, вывели на первый план русских революционных демократов. Именно они — не только из-за личного литературного таланта, хотя он и неоспорим, но в силу своей исторической зоркости и социальной прозорливости — стали властителями дум своего времени, сформировали нравственно целые поколения русских людей второй половины XIX века.

Не случайно большинство выдающихся писателей того времени, включая Гончарова и Островского, группировалось вокруг «Современника». Не случайно именно Чернышевский, Добролюбов, Писарев, так же как ранее Белинский, дали наиболее глубокое истолкование практически всех наиболее заметных явлений литературы 60-х годов. Даже писатели, идейно далекие от русской революционной демократии, тот же Гончаров или Островский, Тургенев или Л. Толстой, испытали на себе могучее воздействие их социальных, эстетических и литературно-критических идей — хотя бы потому, что именно критика революционной демократии давала наиболее глубокое, объемное, жизненно верное истолкование их творчества.

Революционные демократы оказывали могучее, благотворное воздействие и на литературный процесс своего времени, активно формируя и отстаивая принципы «гоголевского направления» в русской литературе XIX века.

ИСТИНА ИСТОРИИ

Статья третья

1

Итогом предшествующей статьи была мысль о том, что нельзя верно и полно воссоздать творческий путь любого из русских писателей XIX века без учета и исследования реальной диалектики их взаимоотношений с революционно-демократической критикой. Подобные попытки ведут к односторонности, ограничивают возможность постижения исторической истины.

Взаимоотношения эти (вспомним драму отношений Тургенева и Добролюбова, Чернышевского и Льва Толстого!) были подчас крайне сложными, они оборачивались нередко даже личной неприязнью и неприятием. Но при всем том сам климат идей русской революционной демократии, весь комплекс их воззрений на литературу, искусство, их гражданская ответственность перед обществом, их общественная нравственность, которая росла из чувства долга перед народом, служения народу, — все это оказывало могучее, как непосредственное, так и опосредованное, влияние на творчество великих русских писателей.

Вопрос этот — о взаимоотношении, взаимосвязях, взаимовлиянии революционно-демократической критики и великой русской литературы XIX века, литературы критического реализма, объединявшей целую плеяду могучих талантов, чье мировоззрение и особенно политические позиции были далеко не всегда близкими революционным демократам, — вопрос интереснейший и пока что явно недостаточно разработанный в истории русской литературы и критики.

Великая русская литература XIX века вызвала

к жизни и великую критику. Но это был процесс обоюдный. Появление Пушкина, Лермонтова, Гоголя, а потом – Тургенева, Гончарова, Достоевского, Островского, Толстого вызвало к жизни русскую революционно-демократическую критику, но, с другой стороны, именно революционно-демократическая мысль, в лице Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, дала теоретическое обоснование направлению критического реализма в России, разработала эстетику русского реализма XIX века, определила коренные пути его развития.

Мы можем гордиться тем, что не русский, в общем-то крайне маломощный, либерализм и не русский консерватизм, при всем том, что немало талантливых людей России исповедовало в ту пору консервативные взгляды, но наши идейные предшественники, русские революционные демократы и социалисты-утописты, определяли духовное, эстетическое и во мном идейное развитие великой русской литературы XIX века, быть может, самой могущественной из всех европейских литератур. Значит, был порох в пороховницах! Значит, была какая-то тайна их влияния и силы?! И тайна эта заключалась в том, что их идеалы, идеалы русского народа в их представлении, несли в себе неизмеримо больший гуманистический заряд и большую историческую прозорливость, чем идеи русского либерализма и русского консерватизма. Последующее развитие истории неопровержимо доказало их конечную историческую, социальную и нравственную правоту перед консерваторами и либералами того времени.

Незаурядная этическая сила идей революционной демократии прямо входит в запас «национальной гордости великороссов» и по сей день формирует в людях высокие патриотические и социальные чувства, принимает непосредственное участие в духовном воспитании нашего народа, в духовном формировании советской литературы. Ибо содержание идейной жизни минувших времен не проходит мимо сознания как современного писателя, так и современного читателя. Думать иначе – глубокое заблуждение. История содержит в себе вечно живые идейные, духовные, нравственные уроки, которые воздействуют сегодня на души людей подчас не меньше, чем в минувшие времена. В предыдущей статье, где шла речь о книгах М. Лобанова, мы коснулись, в частности, его книги об

Островском, страниц ее, посвященных консервативной традиции в русской общественной мысли прошлого века — традиции «почвеннической» и славянофильской.

А как же представлен в книге об Островском другой, противоположный консервативному, лагерь литературной и общественной жизни 1860-х годов — лагерь русской революционной демократии? Ведь журнал «Современник» с самого начала 1860-х годов стал во многом родным журналом для А. Н. Островского, куда он пришел после закрытия «Москвитянина». В «Современнике» с 1857 по 1866 год он публиковал почти все свои пьесы, каждый год по пьесе, а то и две. Почему-то он выбрал в качестве трибуны именно этот журнал!

Как известно, руководители «Современника» Чернышевский и Добролюбов были внимательными, заинтересованными критиками Островского, оказывавшими самое глубокое влияние на его творчество. Наконец, сама идейная атмосфера, которая существовала в «Современнике» и которая усилиями публицистов и критиков революционно-демократического лагеря утверждалась в русском обществе 1860-х годов, не могла не сказываться на творчестве, на общественных настроениях, на мировоззрении Островского.

И когда М. Лобанов констатирует, что во время петербургских встреч Островского и Григорьева «Аполлон видел, что в чем-то изменился Островский, в нем не было уже того молодого «москвитянинского пыла», наверное, эти изменения были связаны прежде всего с изменениями в самом времени, и в том числе — с влиянием на Островского атмосферы «Современника».

Как же представлен, как осмыслен «Современник» и его критика, этот второй после «Москвитянина» родной журнал Островского, в книге М. Лобанова? Попытаемся познакомить читателя со всем, что сказано на этот счет в книге «Островский», — тем более что сказано на удивление мало.

Если «Москвитянину», с которым были связаны молодые годы Островского, в книге посвящена целая глава, то «Современнику», с которым неразрывно были связаны годы зрелые, уделено всего несколько беллетристических страниц.

Автор не дает в книге ни положительной, ни отрицательной, вообще никакой характеристики журналу

«Современник». Все, что он считает возможным довести на этот счет до сведения читателя в связи с «Современником», — это беллетризованное описание «генеральского обеда», данного в честь нового сотрудника «Современника» — А. Н. Островского Н. А. Некрасовым, редактором этого журнала. На обеде, рассказывает М. Лобанов, пили за здоровье Островского, а потом обсуждали условие об «исключительном сотрудничестве» в «Современнике» четырех писателей: Толстого, Тургенева, Островского и Григоровича.

Из описания этого обеда мы узнаем о «роскошной квартире Некрасова», поразившей Островского в сравнении с его «маленькими комнатами с их убогой обстановкой», о «больной, хилой наружности» Некрасова, об удивлении «некоторых», как могут соединяться в одном лице «истинная поэзия и рассеянный образ жизни», об удивлении самого Островского тем, что перед ним «не только поэт, а предприимчивый редактор, человек современной практической складки среди бравирующих своей непрактичностью словесников».

Портрет круга «Современника», как видите, чисто бытовой, по-человечески малоприятный, лишенный какой бы то ни было социальной, идеологической определенности и, кстати говоря, далекий от истины, упрощающий и принижающий реальный облик Некрасова.

Далее идет беллетризованное, портретное описание — по абзацу на каждого — Тургенева, Толстого, Григоровича, сообщение о решении «завтра утром у фотографа Левицкого сфотографироваться», затем — информация о том, что соглашение об «исключительном сотрудничестве» было вскоре ликвидировано, поскольку «подписавшие соглашение писатели не так обильно снабжали своими новыми вещами журнал, как рассчитывал Некрасов»... И, наконец, развернутое, на четырех страницах, описание еще одного обеда, на сей раз на петергофской даче, где за обеденным столом, рассказывает М. Лобанов, вновь собрались сотрудники журнала, в том числе и новые — Чернышевский и Добролюбов.

Вот, собственно, и все, что сможет узнать о журнале «Современник» читатель книги об Островском, если не считать в главе о «Грозе» спора с точкой зрения Добролюбова.

Не мало ли, если учитывать значение этого журнала в духовной, идейной и политической жизни 60-х годов, его особую роль в творческой судьбе самого Островского?

Еще раз подчеркну: в книге об Островском, как это ни парадоксально, полностью отсутствует какая бы то ни было мировоззренческая характеристика журнала «Современник», его общественных и литературных позиций, той идейной борьбы, в которой он принимал, как известно, самое деятельное, определяющее для эпохи 60-х годов участие и которая на творчество Островского оказывала самое непосредственное, живое и глубокое влияние.

Более того, на всем протяжении повествования мы ни разу не встретили даже самих понятий «революционная демократия», «просветительство», «утопический социализм», в противовес «славянофильству», «официальной народности», «почвенничеству», «консерватизму», о которых, пусть и без анализа их реального мировоззренческого содержания, все-таки идет речь в книге.

«Утилитаризм» да еще «прогрессизм», а подчас и «западничество» — таковы предельно неточные эвфемизмы, которые заменяют в книге понятие революционной демократии.

Приведем характеристику, которая дана в книге «Островский» Герцену — в связи с поездкой в Лондон Островского: «Да, многие и в Лондон ехали лишь затем, чтобы явиться к Герцену, засвидетельствовать свое уважение и преданность в его лице прогрессистской русской мысли, ибо ничего не было страшнее для них, как быть заподозренными в консерватизме, прослыть ретроградами в глазах потомства (а Герцен уже прижизненно олицетворялся с этим потомством, с «молодой Россией»)».

Далее автор описывает, как встретил Островского Герцен, незадолго перед этим по-начальственному «расчихвостивший» навестившего его Писемского за фельетоны под псевдонимом Никиты Безрылова (М. Лобанов почему-то переиначил его в Никиту Рылова) против эмансипации женщин и пр. «Кто знает, может быть, и Александра Николаевича смущал самим им не осознаваемый литературный грех (кто без грехов?), за который ему придется держать ответ (если и не так, как Писемскому, то все же неприятный ответ)?» —

описывает автор возможную рефлексию Островского перед встречей с Герценом.

Однако, по характеристике М. Лобанова, Герцен встретил гостей из России радушно. В книге воспроизводятся светский разговор Герцена с гостями (Островский был у Герцена вместе с актером Александринского театра И. Ф. Горбуновым), высказывания Герцена о Париже, об Италии, о Гарибальди, о «Грозе» Островского и женской эмансипации и — как итог: «Хозяин Орест-Гоуза поразил гостей артистическим блеском слова, неиссякаемым фейерверком остроумия. Было что-то в нем и от застольной возбужденности студента, и от легкой барственной избалованности, которая чувствует за собою артистическую власть сверкающего слова и с упоением отдается ей».

В общем, главное, «что осталось у него (Островского. — *Ф. К.*) от встречи с Герценом, — это «дьявольское остроумие хозяина», подводит итог М. Лобанов.

Но ведь помимо «дьявольского остроумия», «артистического блеска слова» и «барственной избалованности» было у Герцена, надо полагать, и еще что-то? То, что делало его одним из крупнейших русских писателей и публицистов, могущественнейшим властителем дум своей эпохи? Допустим, что Островский увидел в Герцене только это (чему мало верится!). Но автор-то повествования, рассчитанного на самого широкого, массового, в первую очередь молодого читателя, коль скоро он включает в свое повествование фигуру Герцена, обязан дать объективную характеристику этого выдающегося человека!

Приписывать же Герцена без каких-либо оговорок и комментариев к лону «прогрессистской русской мысли» — верх несправедливости. Сам термин «прогрессизм», «прогрессисты» употреблялся в 60-е годы применительно к русскому либерализму, полагавшему, что буржуазный, капиталистический прогресс и есть благо для России. Герцен, Добролюбов, Салтыков-Щедрин яростно спорили, не переставали язвить и издеваться над либеральными «прогрессистами» и буржуазным пониманием «прогресса». И принадлежали они, как известно, не к «прогрессистскому», но — к революционно-демократическому направлению идей 1860-х годов, наиболее последовательно критиковавшему буржуазность и капитализм.

Впрочем, этого не может не понимать и сам

М. Лобанов. Характеризуя отношение к надвигавшемуся на Россию капитализму русских писателей, он пишет, в частности: «Расхваливаемый либеральными оптимистами буржуазный прогресс вызывает отвращение у Толстого, он считает себя человеком занятым и потому не прогрессистом, так же как не прогрессисты мужики, земледельцы, занятые чиновники... Европой «тычут в глаза» русские прогрессисты, выдавая ее за образец цивилизации и социального порядка, женской эмансипации и недомостроевского воспитания, но все дело в том, что Европа давно уже не может морально взять на себя такое учительство».

Для доказательства этих мыслей М. Лобанов обращается не только к Толстому или Достоевскому, но и к Герцену. «Рвавшийся на Запад Герцен, поживя там и усвоив тамошний образ жизни,— пишет М. Лобанов,— оказался критическим оппонентом не только царского самодержавия, которое люто ненавидел, но и самого Запада, в котором увидел торжество духовного мещанства».

Вот только почему — «рвавшийся на Запад Герцен»? Подобное утверждение столь же близко к истине, как и приписанный Герцену «прогрессизм». Герцен никогда не «рвался на Запад», он говорил совершенно о другом — что он «вырвался из николаевской России, после двух ссылок и одного полицейского надзора»[1]. Главой «Прощайте!» начинал он в 1849 году «Письма с того берега». Он в них писал: «Я ни во что не верю здесь (то есть на Западе.— *Ф. К.*), кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,— и остаюсь... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь в рядах энергичного меньшинства, «гонимых», но не низлагаемых».

За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзвуков на светлые и темные

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 5, с. 9.

стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мне стоило решиться... вы знаете меня... и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет...»[1]

Так Герцен «рвался» на Запад, таким он был «прогрессистом». Так обстоит в данном случае дело с правдой, истиной истории.

В книге заметен холодок в отношении к Герцену, особенно явственный на фоне задушевных, теплых ее страниц, посвященных, к примеру, Аполлону Григорьеву. И другие представители революционно-демократического лагеря, представленные в книге, как правило, в таком же беллетристическом освещении, оставляют у читателя чаще всего двойственное эмоциональное впечатление.

«Войдя как-то в подъезд дома, Александр Николаевич увидел Салтыкова, сходившего по лестнице бодро, с высоко закинутой головой с туго набитым портфелем под мышкой, за ним почтительно следовали два члена редколлегии и швейцар. Ну положительно его превосходительство спешит по делам службы! Островский знал, что Салтыков был вице-губернатором в Рязани и Пензе, дослужился до действительного статского советника, что означало по чину гражданского генерала, его превосходительство, и осанка выдавала в нем недавнего губернского начальника, несмотря на его неудовольствие слышать о своем чиновничестве. И в редакции в разговоре с посетителями, с молодыми сотрудниками раздавался, возвышаясь, его бас, как некое начальническое распекание: «зелено, братец, зелено», но таков уж голос Михаила Евграфовича, когда он вовсе и не хотел никого распекать. Его никто, пожалуй, и никогда не видел спокойным, постоянно что-то или кто-то раздражали его...

Один из молодых сотрудников журнала вспомнил «святые слова» революционера-эмигранта Серно-Соловьевича о «проклятой, мало изливаемой ненависти — нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее,

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 6, с. 12—13.

довести до последних пределов, пусть будет она не вспышками, медленно уничтожающими, а нормальным состоянием». Обводя присутствующих возбужденным взглядом, оратор повторил с леденящей нежностью: «Лелеять ядовитую злобу... довести до последних пределов... пусть она станет нормальным состоянием». Михаил Евграфович, подергиваясь и ворочая шеей, как будто его теснил тугой воротничок сорочки, смотрел на говорившего холодным и суровым взглядом своих больших выпуклых глаз».

Таким видится М. Лобанову Салтыков-Щедрин. Правда, далее следует «смягчающий» авторский комментарий: «За всем раздражением Салтыкова, его «лающим» голосом, мрачностью он (Островский. — *Ф. К.*) увидел не отравленную злобой душу, а, в сущности, несчастную, страдающую собственным свойством мучительной восприимчивости к современности, к злобе дня. Было в Михаиле Евграфовиче, что заставляло себя невольно уважать». Однако и этот комментарий не снимает впечатления некоторой односторонности в такой вот характеристике Салтыкова-Щедрина.

Казалось бы, тут все правда, подтверждаемая источниками: и тяжелый характер, и «лающий» голос, и раздражительность, и «генеральская» осанка, и даже приведенная цитата из Александра Серно-Соловьевича... Но, во-первых, не вся, далеко не вся правда, потому что из многочисленных воспоминаний и творчества Салтыкова-Щедрина перед нами встает другой, высоко человечный и безукоризненно благородный облик человека, действительно страдавшего внутренне, но — не «собственным свойством мучительной восприимчивости к современности», а прежде всего и главным образом несовершенством мира, страданиями и болями самой этой современности. Здесь же налицо — явное снижение облика великого сатирика земли русской, поскольку на первом месте выделены, подчеркнуты, гиперболизированы чисто внешние его человеческие черты, а внутренняя жизнь болеющей, страстной, безукоризненно честной, рыцарственной души Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина осталась втуне, тайной для читателя данной книги.

Что же касается очевидно болезненного высказывания Александра Серно-Соловьевича, где-то отысканного автором и приведенного в книге, то вряд ли пра-

вильно было в данном случае утаить от читателя, что Александр Серно-Соловьевич – тяжелобольной человек, не выходивший почти из психиатрических больниц, там и кончивший свою несчастную жизнь. Вот почему крайность его столь «крутых», на грани безумия, выражений еще не характеризует, не может характеризовать ни Салтыкова-Щедрина, ни «Отечественные записки», ни революционную демократию в целом.

М. Лобанов не скрывает подчас и открытого пренебрежения к иным, по тем или иным причинам неприемлемым для него представителям демократического лагеря. Вот как представлен, к примеру, в книге об Островском Писарев: «Настоящий «луч света в темном царстве» – это люди типа тургеневского Базарова, с его утилитарными, положительными знаниями, которые только могут, утверждает критик, разогнать тьму, «темное царство». Писарев иронизирует над «народной мудростью», которой и порождена, по его словам, «дикость нашего семейного быта». С вызывающей парадоксальностью он заявляет: «Тут-то, в самой лягушке-то и заключается спасение и обновление русского народа» (то есть в естественнонаучных знаниях). Знаменем для критика является Бокль, современный ему английский социолог-позитивист...»

Здесь все неправда, точнее – полуправда, которая хуже любой неправды. Приводятся вырванные из контекста вроде бы и подлинные слова и мысли критика, однако перетолковываются они настолько искаженно, с таким небрежением к сути миросозерцания Писарева, пафосу его литературно-критической и общественной деятельности, что в восприятии читателя возникает пародийный образ этакого примитивного утилитариста-позитивиста, эпигона Бокля, с помощью «лягушки» мечтающего разогнать дикость и тьму. Полуправда потому хуже неправды, что для ее опровержения требуется куда больше времени и сил.

Если уж Писарев представлен в книге позитивистом, последователем Бокля, а его миросозерцание сведено к «лягушке», отрицанию Пушкина и утилитаризму, то с Варфоломеем Зайцевым М. Лобанов и вовсе не церемонится. «При Аполлоне Григорьеве, – пишет он, – утилитарный взгляд на искусство имел немало сторонников и дошел до нелепостей впослед-

ствии в статьях Варфоломея Зайцева, для которого сапоги в самом деле были полезнее, а значит, и дороже Пушкина».

Не имея в данном случае возможности спорить со столь размашисто-карикатурным отношением к наследию отечественной культуры (а работы критиков-демократов, даже и такие спорные, неистовые в своих полемических выпадах, как работы В. Зайцева, входят в это наследие, полагаю, не в меньшей степени, чем произведения Аполлона Григорьева, К. Аксакова или М. Погодина и С. Шевырева), отсылаю читателя к своей книге «Нигилисты?..» Д. И. Писарев и журнал «Русское слово» (см. наст. изд., с. 13—438), где предпринята попытка детально разобраться в том, что же в действительности являли собой не только Писарев, но и такие его сподвижники по журналу «Русское слово», как Варфоломей Зайцев. Не занимая апологетической позиции в отношении к ним, отчетливо понимая всю меру исторической ограниченности Писарева, не говоря уже о В. Зайцеве или Н. Соколове, А. Щапове или М. Антоновиче, рискну все-таки высказать свое недоумение в связи с приведенными выше пренебрежительными оценками М. Лобанова. Недоумение это состоит в следующем: воюя за бережное отношение к историческому наследию — за уважительное, в частности, отношение к тем его и в самом деле значительным страницам, которые составляло русское славянофильство и «почвенничество», справедливо ли добиваться этих целей за счет принижения их оппонентов и идейных противников? Правильно ли, утверждая правоту одних за счет других, вновь обеднять, обкрадывать русскую культуру, только на сей раз — с другого конца? Отвечает ли такой подход принципам патриотического, хозяйского, заботливого отношения к русской культуре, к отечественной литературе, неоднократно заявлявшимся М. Лобановым?

Обеднение нашей историко-культурной традиции в книге М. Лобанова проявляется не только в небрежении к тем или иным представителям революционно-демократического лагеря; оно проскальзывает в отношении к революционно-демократическому наследию в целом. И дело отнюдь не в том, что критик спорит здесь, скажем, с теми оценками, которые Добролюбов давал тем или другим пьесам Островского: револю-

ционные демократы никогда не претендовали на бесспорность своих мнений. Доказательством тому является хотя бы эволюция оценок революционными демократами творчества того же Островского. Заняв поначалу крайне несправедливую позицию в отношении Островского, Добролюбов опубликовал в 1856 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» «Литературную заметку», в которой молодой критик выступал явным и открытым недругом Островского; он же три года спустя в нескольких номерах «Современника» публикует свою работу «Темное царство», а следом — «Луч света в темном царстве», которые явились, по общему мнению, самым серьезным литературно-критическим разбором пьес великого русского драматурга. При этом статья «Темное царство» давала, к примеру, во многом новую трактовку пьесы Островского «Бедность не порок», уточнявшую тот взгляд, который содержался в статье Н. Г Чернышевского «Бедность не порок» А. Островского», опубликованной в «Современнике» в 1854 году.

Писарев же следом камня на камне не оставил от взгляда Добролюбова на «Грозу» Островского, заявив, что «если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз с полной откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте»[1].

Правда, в том же 1865 году Писарев заявлял и нечто другое: «...критика Добролюбова и теперешняя критика «Русского слова» по своему основному принципу совершенно соответствуют стремлениям Белинского. Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом все более очищается от всяких посторонних примесей».

Это показывает, как опасно строить те или иные концепции в отношении революционных демократов (как и любых представителей культуры) на основе вырванных из контекста цитат и обрывков мыслей, как важно проникать в суть мировоззрения, миросозерцания критика. Последнее утверждение Писарева мне представляется ближе к истине, поскольку в дей-

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. 3, с. 35.

ствительности революционно-демократическая критика, при всем своеобразии талантов и индивидуальностей, при всем ожесточении их споров и полемики не только с представителями иных идейных течений, но и между собой, являла тем не менее вполне целостную идейно-эстетическую концепцию, целостный и в исходных посылках — единый взгляд на литературу, обладавший могучей силой воздействия на текущий литературный процесс.

Сегодня нет нужды догматически следовать букве революционно-демократической критики. Нельзя не учитывать дух ее. В книге М. Лобанова не взята в расчет и даже сколько-нибудь полно не представлена сама точка зрения революционных демократов, Добролюбова в первую очередь, на творчество Островского — при том, что точка зрения славянофилов и в первую очередь А. Григорьева не просто представлена, но взята за исходный, отправной пункт анализа творческого наследия Островского.

Нет в книге объективной характеристики реального влияния добролюбовской критики на творчество Островского, нет отношения самого Островского к критике Добролюбова.

«Справедливо было замечено, что Островского создал Добролюбов, — свидетельствует, к примеру, Н. В. Шелгунов, — но не Островского он создал, он создал нечто более важное, чем Островский... «Темное царство» Добролюбова было не критикой, но протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие, это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий»[1]. Так смотрели на взаимоотношения драматурга и критика современники, о чем не сказано ни слова в книге М. Лобанова «Островский».

Ну а как относился к критике Добролюбова сам драматург?

Как известно, статья «Темное царство» была посвящена первому двухтомному собранию сочинений Островского, вышедшему в 1859 году, куда вошло одиннадцать оригинальных пьес драматурга, — можно представить себе, с каким чувством ждал драматург отзывов на это издание, учитывая тот факт, что многие пьесы встречали немалые трудности в цензуре

[1] Шелгунов Н. В. Соч., т. II. СПб., 1895, с. 683.

и нерасположение к себе преобладающей части критики.

«Да это будто я написал!»[1] — такова была первая, непосредственная реакция Островского на статью Добролюбова. Островский тут же сел за благодарственное письмо критику «за дельную статью о моих комедиях»[2].

Впоследствии драматург свидетельствовал: «Меня возмущает несправедливость. Если собрать все, что обо мне писали до появления статей Добролюбова, то хоть бросай перо. И кто только не ругал меня»[3].

Как известно, Добролюбов и Островский были знакомы лично и встречались не только на обедах у Некрасова. Молодой офицер Н. Д. Новицкий находился у Добролюбова как раз в тот момент, когда в гости к критику в ноябре 1859 года приехал знаменитый русский драматург. Разговор, по свидетельству современника, продолжался более часу, и Островский называл Добролюбова своим «первым и единственным критиком», не только верно оценивающим его «писательство», но и «проливающим свет» на его творчество[4].

Ничего об этом, о характере взаимоотношений Добролюбова и Островского, об отношении великого драматурга к статьям великого критика мы не узнаем из книги М. Лобанова. Создается впечатление, будто единственным критиком, оказавшим определяющее, я бы сказал — исчерпывающее, воздействие на Островского, на все его творчество от начала и до конца жизни был Аполлон Григорьев, будто творческое развитие Островского, его путь к вершинам русской драматургии осуществлялся исключительно благодаря влиянию идей Аполлона Григорьева — и чуть ли не вопреки статьям Добролюбова.

Чтобы быть точным, приведем сравнительную оценку М. Лобановым точки зрения двух критиков на Островского, представленную в книге: «...наибольшую известность о «Грозе», как, впрочем, и о творчестве Островского, получили статьи Ап. Григорьева и Н. Добролюбова. У каждого была своя точка зрения на

---

[1] См.: Русская литература, 1960, № 1, с. 155.

[2] См.: Лакшин В. Об отношении Островского к Добролюбову.— Вопросы литературы, 1959, № 2, с. 192—195.

[3] А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 264.

[4] Там же.

сущность творчества Островского. Ап. Григорьев полагал, что содержание пьес драматурга не сводится исключительно к обличению самодурства. Он признал, что одна сторона жизни, отражаемой произведениями Островского, верно подмечена «замечательно даровитым публицистом «Современника» в статьях о «Темном царстве».

Сделав краткий разбор пьес Островского, Ап. Григорьев приходит к заключению: «Для выражения смысла всех этих, изображаемых художником с глубиною и сочувствием, странных, затерявшихся где-то и когда-то жизненных отношений слово *самодурство* слишком узко, и имя сатирика, обличителя, писателя отрицательного, весьма мало идет к поэту, который играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни... Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки писателя — не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений». По мнению Ап. Григорьева,— продолжает М. Лобанов,— появление «Грозы» в особенности обличало всю несостоятельность теории. Одними сторонами своими эта драма как будто и подтверждает остроумные идеи автора «Темного царства», но зато с другими сторонами ее теория решительно не знает, что делать: они выбиваются из ее узкой рамки, они говорят совершенно не то, что говорит теория».

Приведенный комментарий к словам Ап. Григорьева, так же как и весь последующий анализ оценки Добролюбовым пьес Островского и в особенности «Грозы», не оставляют сомнений, чью сторону держит М. Лобанов в споре двух «наиболее известных», как он пишет, критиков Островского. Осторожно, но последовательно критик внушает читателю мысль о неполноценности, ограниченности подхода Добролюбова к пьесам Островского. Ограниченность эту он, вслед за Ап. Григорьевым и другими критиками консервативного лагеря, видит в мнимом «рационализме» Добролюбова, «кабинетности» и оторванности от реальной жизни его «теории».

«Для него (Добролюбова.— *Ф. К.*) все вопросы и проблемы человеческой личности разрешались приведением в должное состояние общественных отношений,— утверждает, в частности, М. Лобанов.— Ранее

философия доискивалась до причин загадочности человеческой психологии, а вся разгадка, по Добролюбову, в том, что достаточно изменить общественные отношения, и исчезнут все противоречия в духовном мире человека. Сознание раз навсегда усвоенной истины придавало Добролюбову необычайную уверенность как публицисту. Полемика его язвительна, исполнена наставительного тона, когда он имеет дело с чуждыми ему консервативными убеждениями».

Но почему же так? Зачем приписывать Добролюбову столь вульгарные и догматические представления о жизни и литературе? Разве только для того, чтобы было легче следом, тут же опровергать?

Нигде, никогда Добролюбов не утверждал, что *достаточно* изменить общественные отношения — и исчезнут все противоречия в духовном мире человека. Он утверждал нечто принципиально иное: *необходимо* изменить общественные отношения, чтобы изменился к лучшему и человек, но при условии неотступной внутренней работы над собой, постоянной и обязательной работы по формированию в себе «внутреннего человека», которую необходимо вести загодя, чтобы подготовить людей к изменению неудовлетворительных общественных отношений. Добролюбов язвительно (в этом М. Лобанов прав) издевался над предположением, будто «университетский курс сам по себе уже способен сделать человека гуманным и благородным, придать его мысли ясность, освободить его от нелепых заблуждений»[1]. Для того чтобы человек стал человеком, необходимы «любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра»[2] — это-то чувства и принципы и стремился воспитывать в людях своей критикой Добролюбов.

Однако М. Лобанов не замечает этой напряженной полноты жизни сердца Добролюбова, сердца гражданственно страстного, человеколюбивого и подлинно гуманного. Он рисует нам портрет этого головного рационалиста — «теоретика», далекого от реальных потребностей действительности своего времени. Приведя из статьи «Темное царство» характеристику «самодурства», написанную с подлинным чувством гнева и боли за человечество, М. Лобанов язвительно замечает:

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 538.
[2] Там же, т. 3, с. 68.

«Любопытно, что сторонник «реальной критики» обращается в данном случае к образам типа Марлинского», снижая добролюбовский пафос обличения самодурства, вызывая недоверие к подлинности публицистического чувства критика.

«Добролюбов особенно подчеркивает как отрицательную черту самодуров – их неспособность рационально мыслить, – продолжает далее М. Лобанов. – ...Те, кто знал Добролюбова, в своих воспоминаниях отмечают раннюю, не по возрасту, серьезность юноши, его умственную, логическую развитость, здравомыслие. Сам он в своем дневнике пишет, что он беден чувством...»

Снова и снова подчеркивает критик, что Добролюбов был излишне привязан к «рационализму», что после смерти родителей пережил духовный переворот, приведший его к атеизму, а это имело «большие последствия для формирования его мировоззрения, самой природы его мышления, опирающейся на очевидные доводы логики».

«Рациональность характера для Добролюбова – типичные для просветительства культ рацио, разума, убежденность в том, что причина «домостроевщины» – в невежестве людей, в отсутствии у них «здравых понятий», «здравого смысла», «рациональных соображений», «света образования», который, «без всякого сомнения», может и должен «разогнать мрак», – не вполне грамотно, но вполне определенно пишет М. Лобанов.

Именно такой, рационалистический взгляд на мир и определяет, на взгляд М. Лобанова, тот факт, что «в пьесах Островского Добролюбов видит «целую иерархию самодурства», «всеобщий обман и мошенничество и в семейных, и в общественных делах», «глухую, затаенную, само собой образовавшуюся оппозицию» против главы дома со стороны прочих домочадцев, «*отменение* человеческой личности» в «безвинных безответных жертвах самодурства» и т. д.

Добролюбов задается вопросом: «Почему покорны жертвы самодурства?» И отвечает: «Первая из причин, удерживающая людей от противодействия самодурства, есть – странно сказать – *чувство законности*, вторая – *необходимость в материальном обеспечении*». Особенно подробно критик останавливается на «чувстве законности», истолковывает его как просве-

щенный человек своего времени, то есть рационалистически. Критика возмущает такое, например, усвоенное героями Островского «чувство законности», как уважение к старшим.

Всем ходом своих рассуждений М. Лобанов подводит читателя к согласию с оценкой Достоевского, приведенной им в книге: идеи Добролюбова «часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком — кабинетностью, поскольку с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтобы она доказывала его идею». Хотя, добавлял Достоевский, «уже одно то, что он заставил читать себя... уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте Д-бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения». Жаль только, что, приведя эту оценку, М. Лобанов забыл подчеркнуть немаловажный факт: оценка эта исходила из уст прямого оппонента и идейного противника Добролюбова, что точнее объяснило бы современному читателю ее негативную часть и помогло бы лучше оценить все значение похвалы Достоевского, его признания силы, убежденности и влиятельности таланта Добролюбова на современных ему читателей.

Что же касается обвинений в рационализме, «кабинетности» «теорий» Добролюбова, то это были расхожие обвинения того времени в адрес крестьянских революционеров и социалистов-утопистов. Эти расхожие обвинения в адрес Добролюбова некритически повторяет и М. Лобанов, не скрывая и собственной неприязни к «рационализму», с удовлетворением констатируя, что сам-то Островский *«не был склонен к теоретизированию»* и *«воплощал* свои взгляды, убеждения в художественные образы, исключавшие односторонность и рационалистичность оценок».

Односторонняя «рационалистичность» оценок Добролюбова, по Ап. Григорьеву и следующему этой традиции М. Лобанову, и проявилась как раз в том, что Добролюбов на первый план в своем анализе пьес Островского поставил проблему «самодурства» и «темного царства» применительно к современной ему России.

Впрочем, справедливости ради следует в одном моменте отделить взгляд на Островского М. Лобанова от точки зрения Ап. Григорьева. Как подчеркивалось

выше, Аполлон Григорьев не отрицал, что «темное царство» было реальностью жизни России того времени и верно подмечено «замечательно даровитым публицистом «Современника», он считал только, что обличением самодурства не исчерпывается содержание пьес великого русского драматурга, что «слово «самодурство» слишком узко» для постижения театра Островского, поскольку в его драматургии, наряду с отрицанием, живет и могучее, сильное положительное начало, а потому – «слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность».

Аполлон Григорьев, обладавший редким художественным чутьем и стихийным демократизмом своей внутренней позиции, не мог не видеть и не приветствовать критической направленности творчества Островского, обличения «самодурства» прежде всего, но он открывал в своих статьях об Островском и такие стороны дарования Островского, мимо которых, как ему казалось, проходил Добролюбов, решавший в своих статьях об Островском свои литературные и общественно-политические задачи.

Что ж, ни одно по-настоящему крупное явление человеческого духа не может быть исчерпано точкой зрения одного, пусть сверхталантливого, гениального критика. Да и время в своем поступательном движении поворачивает перед читателем и критикой явления культуры прошлого все новыми и новыми гранями, заставляет брать в расчет весь спектр воззрений предшественников, весь, пускай и противоречивый, духовный гуманистический опыт минувших времен.

И, думается, сегодня необходимо не просто механическое повторение взглядов Добролюбова или Аполлона Григорьева на Островского, но – современный взгляд на непреходящее значение наследия великого русского драматурга. Этот сегодняшний взгляд должен включать в себя как дальнейшее развитие добролюбовских идей, так и синтез опыта предыдущей литературно-критической мысли, учитывающий все живое и верное в критических воззрениях минувших времен, берущий в расчет как строго реальный, социальный добролюбовский взгляд на Островского, так и романтический взгляд на Островского и изображаемую им действительность Аполлона Григорьева, его акцент на положительных началах творчества великого русского драматурга, на постижении им рус-

ского национального характера во всей его привольной широте и нелегких подчас противоречиях. Найди в себе современный критик возможность и силу выйти на такой вот, новый круг познания драматургии Островского, на этот синтез исторического опыта, на этот глубокий и целостный анализ народной жизни со всем высоким и низким, отживающим и нарождающимся в ней, а равно и в творчестве великого русского драматурга – и ему обеспечена победа. Но при этом критик обязан был бы реально взглянуть как на Ап. Григорьева, отнюдь не отвергавшего с прямолинейной категоричностью добролюбовскую оценку «самодурства» и «темного царства», но стремившегося дополнить ее положительными началами народной жизни, как он их понимал, так и на Добролюбова, который также отнюдь не сводил художественный мир Островского к беспросветности «темного царства» и первым сказал в полный голос о «светлом луче» в этом царстве, о положительных характерах драматургии Островского, за которыми с его, добролюбовской, точки зрения – нравственная истина и свет. Он обязан был бы выяснить принципиальное различие в понимании тех и других положительных начал в русской жизни и объяснить читателю причину этого различия.

К сожалению, М. Лобанов пошел другим путем. Завороженный точкой зрения на Островского, столь ярко и убежденно выраженной в статьях Ап. Григорьева, а главное, поверивший в тот, как ему показалось, неопровержимый факт, что идейная, внутренняя, биографическая близость Островского к Ап. Григорьеву и определила все и навсегда в творчестве Островского, М. Лобанов в своем взгляде на творчество Островского оказался не в силах преодолеть магнитные токи влияния Ап. Григорьева и на себя самого.

Более того, Ап. Григорьев, как подчеркивалось выше, признавал хотя бы правомочность и справедливость постановки Добролюбовым вопроса о «самодурстве», «темном царстве» применительно к драматургии Островского, не считая возможным, однако, сводить Островского к отрицанию, обличению этого «темного царства». М. Лобанов в анализе конкретных пьес Островского практически полностью снял проблему «самодурства» и «темного царства», как будто она вовсе не присутствует в творчестве Островского. Но это же полное насилие над истиной!

Читаем разбор М. Лобановым таких опорных для Островского 50–60-х годов пьес, как «Свои люди – сочтемся», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «Воспитанница», «Гроза», – и перед нами встает художественный мир, не имеющий даже точек пересечения с тем «темным царством», которое было открыто русскому читателю на материале драматургии Островского незабываемыми статьями Добролюбова. Если верить М. Лобанову, это мир, где царит, напротив, совет да любовь, и единственное, что нарушает его гармонию и красоту, это стремление к европейской «образованности», отказ от заветов старины, от традиций отцов, фальшь современной цивилизации. В этом выводе нет преувеличения.

Вот М. Лобанов знакомит нас с пьесой «Банкрот» («Свои люди – сочтемся»). Пьеса начинается, сообщает он читателю, с длинного монолога купеческой дочки Липочки. «Из первых же слов Липочки видно, что она презирает «суеверие», «необразованность». Слова «образованность», «необразованность» не выходят у нее из употребления, особенно когда она разговаривает с родителями, которые только «тиранничают» над ней, по ее словам. Мать она не ставит ни во что («не вы учили – посторонние»), и та сама уже честит себя как «бабу неученую», чтобы угодить «единственному дитяти».

Под Липочкино «образованное» влияние попадает и ее жених Подхалюзин. В итоге, когда отец Липочки, купец Большов, попадает в яму, как несостоятельный должник, и просит дочь и зятя заплатить кредиторам, «образованная» дочь отказывает ему в деньгах. «Движущей драматической пружиной, – подводит итог М. Лобанов, – становится конфликт между родителями и дочерью, конфликт отцов и детей на почве «просвещения», «образованности».

Человеком степенным, прямодушным, честным в отношениях с людьми видит критик Максима Федотыча Русакова, главного героя пьесы «Не в свои сани не садись», написанной ради утверждения «основательности характера», «нравственной цельности, духовного здоровья», являющихся коренными свойствами русского человека.

И уж, конечно, с особым восторгом пишет критик

о пьесе «Бедность не порок», где, по мысли Чернышевского, Островский впал как раз в «ложную идеализацию устарелых форм», в «апотеозу старинного быта», «в притворное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо»[1].

Мы не найдем в книге М. Лобанова даже упоминания о статье Н. Г. Чернышевского, посвященной пьесе «Бедность не порок», как не встретим здесь и ссылок на последующую оценку этой пьесы в статье «Темное царство» Добролюбовым, в чем-то достаточно серьезно скорректировавшим своего учителя.

Главный акцент М. Лобанов и здесь делает на полемике Островского с «образованием», подробно рассказывая читателю, как Гордей Карпыч Торцов, по словам его жены, «в прошлом году в отъезд ездил, да перенял у кого-то... все эти штуки-то перенял». Гордей Карпыч, вкусив моды, разносит ближних, особенно молодого приказчика Митю, как «необразованных» дикарей, дурачков «непросвещенных», понимая под образованностью «шик» в одежде, презрение к «мужицкому» пению, умение показать гостю «ефект» с «новой мебелью», «фицыянта в нитяных перчатках» и т. д.

В том же ключе М. Лобанов анализирует и пьесу Островского «Не так живи, как хочется», которую он осмысляет как своего рода притчу о молодом купце Петре, «впавшем в гульбу да распутство», «ставшем по своеволью своему «головой отпетой», отпавшем от родительского благословения и чуть не погибшем в слепоте страстей».

Исходная точка М. Лобанова в его взгляде на ранние пьесы Островского – влияние на творчество драматурга идей русского консерватизма. «Общение с Погодиным и его друзьями-славянофилами, беседы с ними на самые разнообразные темы не прошли бесследно для Островского и для других молодых сотрудников «Москвитянина», оказывали влияние на их исторические, нравственные воззрения, на само творчество (пьесы Островского «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется»)», – пишет М. Лобанов. Под этим углом зрения – как отразилась и воплотилась в творчестве драматурга славянофиль-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. II, с. 239–240.

ская и «почвенническая» идеология — он и анализирует пьесы Островского. Естественно, что такой подход органически выводит его на прямой спор с трактовкой творчества Островского Добролюбовым, на прямую полемику с добролюбовской концепцией «темного царства» и «самодурства».

«Разве, к примеру, пьесу «В чужом пиру похмелье» он (Островский. — *Ф. К.*) написал только для того, чтобы заставить героиню произнести тираду о том, что такое самодур?» — риторически спрашивает М. Лобанов, касаясь той самой пьесы, где Островский ввел в обиход это понятие — «самодур». По мнению М. Лобанова, Островский написал эту пьесу (как и другие свои пьесы) вовсе не ради обличения самодурства. «Задушевная его мысль в этой пьесе — показать труженика, отставного учителя Ивана Ксенофонтовича Иванова, для которого его собственная честь и честь его дочери дороже любых денег».

Да, но ведь развращающая, унижающая, убивающая человеческое достоинство тема денег как раз сквозной нитью и проходит в этой, как и большинстве других пьес Островского! Почему же эта сторона творчества великого драматурга остается в тени для современного критика?

Нет спору, в книге об Островском, предназначенной для сегодняшнего читателя, крайне важно высветить патриотический пафос его творчества, глубочайшее уважение и любовь к родному народу, к своей «малой» и большой Родине, к Волге, Москве, людям, населяющим родной край. Вряд ли правильно, впрочем, связывать эти чувства, и в самом деле воодушевлявшие художника, одухотворявшие его творчество, с влиянием Погодина и славянофилов, оно — глубже, естественнее, органичнее. И хотя на ранних стадиях творческого пути Островский испытал влияние славянофильства и «почвенничества», настроения эти были преходящи да и в ту пору отнюдь не исчерпывали его миросозерцания.

Убеждение Островского глубоко почувствовал и выразил Достоевский, который собирался даже писать статью о нем и в этой связи набросал в своей записной книжке: «Не в свои сани не садись», Бородкин, Русаков — да ведь это анализ русского человека, главное — *прямота* описаний. Он полюбит прямо, закорючек нет, прямо выскажет, сохраняя все высокое цело-

мудрие сердца! Он угадает, кого любить и не любить, сердцем и *сейчас*, без всяких натянутостей и проволочек, а кого разлюбит, в ком не признает правды, от того отшатнется разом всей массой, и уж не разуверить его потом никакими хитростями: не примет и к вам не пойдет, не надуешь ничем, разве с чистым сердцем назад воротитесь: ну тогда примет, даже не попрекнет?»

Этот «анализ» русского человека», эта любовь к нему, которая проходит через все творчество Островского, не есть чувство головное, навязанное драматургу Погодиным, славянофилами и «почвенниками», – думается, что и без их теорий патриотическая основа творчества Островского была бы ничуть не менее глубокой и сильной. И не надо преувеличивать эти сторонние влияния; в гораздо большей степени сами славянофилы и «почвенники» лепились к творчеству Островского, к его незаурядной, очень народной, глубоко патриотической личности, чем он к ним. В противном случае был бы необъясним приход Островского в «Современник» после закрытия «Москвитянина», его отношение к критике Добролюбова, дух, пафос многих его пьес. Островский любил Аполлона Григорьева, да и трудно было по-человечески его не любить, во многом с ним соглашался, но, как всякий крупный и истинный художественный талант, был шире, глубже, органичнее тех догм и головных теорий, которые подчас исповедовал Ап. Григорьев, упрекая в этом своем грехе оппонентов из демократического лагеря.

Недаром сам же М. Лобанов свидетельствует, что во время петербургских встреч, когда Островский стал постоянным сотрудником «Современника», «Аполлон видел, что в чем-то изменился Островский, в нем не было уже того молодого «москвитянинского» пыла, когда в подпитии он мог разгуляться-развернуться во всю ширь души, пламенно изрекать мысли, поражавшие Аполлона новизной и художнической значительностью». Думается, что изменения эти касались не только поведения в «подпитии», они были куда более глубокими, хотя в главном – в этом М. Лобанов прав – Островский оставался прежним. Он оставался верным России, ее народу, любви к своему Отечеству.

Но здесь мы возвращаемся к важной проблеме предыдущей нашей статьи – о том, как проявляется

любовь человека, а уж тем более – художника к своему Отечеству. Если верить М. Лобанову, это чувство у Островского проявляло себя в исключительно благодушных, прямо-таки розовых, успокоительных тонах. В действительности, как и у каждого подлинного патриота, это чувство у Островского – продолжение гоголевской традиции – было болевым, исполненным горькой правды и гнева, глубинного, искреннего стремления к добру и счастью своего Отечества. Нет, Островский не был певцом застоя, рутины, косности, апологетом существовавшего в ту пору социального порядка, являвшего собой пеструю смесь духовного, идейного крепостничества и нарождавшихся буржуазных нравов и отношений. Сердцем, душой, талантом он принадлежал гоголевскому направлению. Неверно было бы сводить его творчество (как, впрочем, и творчество Гоголя) к голому, нигилистическому отрицанию, но еще нелепее представлять его благодушным певцом старины, существующего образа жизни.

Если творчество Островского и в самом деле настолько благостно, как это получается по М. Лобанову, то в таком случае необъяснима и непонятна столь трудная судьба его пьес, постоянно отвергаемых как цензурой, так и охранительной критикой за их принадлежность к «сатирическому направлению».

Вспомним судьбу его первой значительной пьесы – «Банкрот», которую из-за цензурных сложностей автору пришлось переименовать в «Свои люди – сочтемся», долгую и трудную борьбу автора за публикацию и постановку этой своей пьесы.

Первоначальный отзыв московского цензора на пьесу был такой: «Все действующие лица: купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха, отъявленные мерзавцы, – писал цензор Гедеонов. – Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества»[1].

Столь же суров и опеределен был и отзыв петербургской цензуры, представленный «на высочайшее Государя Императора благоусмотрение»: «Ни одного характера, призывающего на себя уважение, ни одной черты или порыва, на которых можно было бы остановиться посреди картины этой моральной низости.

[1] Дризен Н. В. Драматичсская цензура двух эпох. Пб., 1917, с. 94.

Изображая нам среднее купечество и клеймя заслуженным образом его странности и пороки, неужели автор не мог найти в среде его и вставить в свою раму, для противоположности, одного из тех почтенных наших купцов, в которых богобоязненность, прямодушие и прямота ума составляют типическую и неотъемлемую принадлежность?» [1]

Николай I «соизволил» положить на оном собственноручную высочайшую резолюцию: «Совершенно справедливо, напрасно напечатано, играть же запретить, во всяком случае уведомя об этом Князя Волконого» [2].

Такова вкратце цензурная история той пьесы Островского, с которой он вошел в историю русского театра и отечественной культуры. И начинал он свой творческий путь отнюдь не с теми благостными настроениями, которые приписывает ему М. Лобанов. В письме, адресованном «верхам», в ответ на монаршье запрещение пьесы, письме, кстати сказать, одобренном Гоголем, Островский защищал свое право на критику: «Согласно понятиям моим об изящном, считая комедию лучшею формою к достижению нравственных целей, я должен был написать комедию или ничего не написать» [3], — с достоинством заявлял он.

И в «Москвитянин» он пришел человеком, как мы сказали бы сегодня, активной нравственной позиции в литературе. Уже в первой своей рецензии в «Москвитянине» на повесть Е. Тур «Ошибка» Островский высказывается за обличительный характер русской литературы, поскольку «чем произведение изящнее, тем оно народнее, тем больше в нем этого обличительного элемента». Островский выступает здесь за «нравственно-общественное направление» в литературе.

Идейное влияние на Островского со стороны руководителя «Москвитянина» Погодина и того молодого кружка, который составлял так называемую «молодую редакцию» «Москвитянина» и художественным центром которого был Островский, а идейным —

---

[1] См.: Островский А. Н. Полн. собр. соч., т. 10. СПб., с. XXVII.

[2] Лакшин В. А. Н. Островский. М., 1982, с. 124.

[3] Островский А. Н. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. II. М., 1979, с. 17.

Аполлон Григорьев, думается, заметно преувеличено М. Лобановым. И хотя именно в этом кружке Островский проходил первую школу народности и демократизма в «почвенническом» их понимании и эти искания юности, бесспорно, наложили на его миросозерцание свою печать, сам кружок по внутренним своим установкам был в общем-то стихиен и эклектичен. Что же касается Островского, то он был неизмеримо крупнее, самобытнее, самостоятельнее любого из юных членов этого кружка, исключая Ап. Григорьева, так и не сложившихся в крупных литераторов. Вот почему, при всей своей дружбе с Аполлоном Григорьевым, Островский так и не стал в итоге ни славянофилом, ни «почвенником», как раньше не стал «западником», инстинктивно чурался всякой кружковой узости и шел в искусстве своим путем, доверяя прежде всего своему незаурядному таланту.

Лучше всего и глубже всего это понимал Добролюбов. Именно в применении к творчеству Островского Добролюбов наиболее полно и глубоко сформулировал свои принципы «реальной критики».

В основе ее, как известно, лежит правило — судить о литературном произведении не по замыслу художника, а по его результатам. «Реальная критика относится к произведению художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные черты...» [1] — характеризует данный принцип Добролюбов, особо подчеркивая важность правильного понимания критикой диалектики между художественным талантом и «отвлеченными идеями писателя» [2].

В основе творчества, на взгляд Добролюбова, лежат талант и *миросозерцание* художника. «Но напрасно стали бы мы хлопотать о том, чтобы привести это миросозерцание в определенные логические построения, выразить его в отвлеченных формулах. Отвлеченностей этих обыкновенно не бывает в самом сознании художника: нередко даже в отвлеченных рассуждениях он высказывает понятия, разительно противоположные тому, что выражается в его художественной деятельности, — понятия, принятые им на веру или до-

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 168.
[2] Там же, с. 169.

бытые им посредством ложных, наскоро, чисто внешним образом составленных силлогизмов. Собственный же его взгляд на мир, служащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в живых образах, создаваемых им. Здесь-то и находится существенная разница между талантом художника и мыслителя»[1].

В этих словах заложено глубочайшее понимание Добролюбовым специфики художественного творчества, его объективных законов, природы художественного таланта, который в своей устремленности к правде, как главному критерию художественности, может не только преодолевать ограниченность своего понятийного мышления, но и приходить к художественным результатам, подчас вступающим в прямое противоречие с его собственными логическими умозаключениями. Хрестоматийный пример тому — творчество Бальзака или же, в определенной степени, творчество Гоголя, а если брать конкретные произведения — «Отцы и дети» Тургенева, где правда жизни привела художника к итоговым результатам, в чем-то опровергавшим первоначальный замысел художника.

Только такой подход, такая позиция, отвергающая искушение судить о творчестве столь крупного художника-драматурга, каким был Островский, по «отвлеченным рассуждениям» литературного кружка, которому он в молодости принадлежал, дает возможность в полной мере понять и оценить великие завоевания театра Островского.

К сожалению, М. Лобанов в своей книге не смог преодолеть подобного искушения и попытался взглянуть на драматургию Островского в основном и главным образом с точки зрения тех отвлеченных идей и рассуждений — о «почве», традиции, преданиях отцов, которые составляли главный предмет литературных забот «молодой редакции» «Москвитянина», то есть узкого младославянофильского кружка. Отсюда — известная однолинейность в толковании пьес Островского, та тенденциозная, искусственная их благостность, которая на самом деле крайне далека от действительного, реального содержания драматургии Островского, драматургии, исполненной не только любви к родному народу, но и глубокой внутренней тревоги за его судьбу.

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 169—170.

Как бы предчувствуя такого рода подход к пьесам Островского, а точнее — уже соприкасаясь с ним, в частности, в статьях Аполлона Григорьева, Добролюбов предостерегал современную ему критику от искушения считать Островского «представителем известного рода убеждений» и судить его по степени верности или неверности этим убеждениям. «Все признавали в Островском замечательный талант, и вследствие того всем критикам хотелось видеть в нем поборника и проводника тех убеждений, которыми сами они были проникнуты, — писал Добролюбов. — Людям со славянофильским оттенком очень нравилось, что он хорошо изображает русский быт, и они без церемонии провозгласили Островского поклонником «благодушной русской старины» в пику тлетворному Западу. Как человек, действительно знающий и любящий русскую народность, Островский действительно подал славянофилам много поводов считать его «своим», а они воспользовались этим так неумеренно, что дали противной партии весьма основательный повод считать его врагом европейского образования и писателем ретроградного направления. Но, в сущности, Островский никогда не был ни тем, ни другим, по крайней мере в своих произведениях. Может быть, влияние кружка и действовало на него, в смысле признания известных отвлеченных идей, но оно не могло уничтожить в нем верного чутья действительной жизни, не могло совершенно закрыть перед ним дороги, указанной ему талантом. Вот почему произведения Островского постоянно ускользали из-под обеих, совершенно различных мерок, прикидываемых к нему с двух противоположных концов»[1].

Две различные мерки, два противоположных конца — это, с одной стороны, критика либеральная, «западническая», перечеркивавшая глубоко национальное, патриотическое, народное содержание творчества Островского, с другой — критика славянофильская, сводившая значение драматургии Островского к прославлению «благодушной русской старины» в пику «тлетворному Западу».

Добролюбов предложил качественно иной, более высокий и точный, преодолевающий крайности обоих суждений взгляд на Островского. Взгляд, опирающий-

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 164—165.

ся на талант творца, на верное чутье им действительной жизни — а таковым, как мало кто, был наделен Островский, — взгляд *реальной* критики, которая исходит в своей оценке пьес Островского не из отвлеченных идей узкого литературного кружка, но из реального содержания самих его произведений. Взгляд, добавим мы от себя, наиболее результативный для критики и, на наш взгляд, единственно возможный, единственно верный с точки зрения методологии, если мы хотим проникнуть в суть художественных завоеваний великого драматурга. При этом Добролюбов заявлял, что он отнюдь не собирается в анализе пьес Островского уходить от «разногласия внутреннего художественного чувства с отвлеченными, извне усвоенными понятиями» [1], которые критик ощущал, скажем, в таких пьесах Островского, как «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», что проявлялось в идеализации некоторых «дурных сторон нашего старинного быта». И тем не менее сила непосредственного художнического чувства и тут не оставляла автора, «редко-редко увлечение идеей доводило Островского до натяжки в представлении характеров или отдельных драматических положений», «чувство художественной правды постоянно спасало его. Гораздо чаще он как будто отступал от своей идеи, именно по желанию остаться верным действительности» [2].

А правда жизни, верность действительности в творчестве, по коренному, исходному принципу эстетики революционных демократов, с точки зрения «реальной критики», составляли главный критерий художественности. «Признавая главным достоинством художественного произведения жизненную правду его, — подчеркивал Добролюбов, — мы тем самым указываем и мерку, которою определяется для нас *степень достоинства* и значения каждого литературного явления. Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, — можно решить и то, как велик его талант» [3].

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 172.
[2] Там же, с. 172—173.
[3] Там же, с. 175—176.

Таковы исходные принципы, с которыми Добролюбов приступал к разбору пьес Островского, – надо ли говорить, насколько они точнее, объемнее, глубже того подхода к творчеству великого русского драматурга, когда во главу анализа ставится заветная идея славянофильства и «почвенничества» о необходимости отстаивания «старины», об опасности европейской «образованности». Идея эта предельно абстрактна и потому ложна. Исторические истоки ее лежат в отрицании реформаторской деятельности Петра Великого и в стремлении в очевидно идеализированном виде представлять допетровскую Русь, утверждать ее как «золотой век» отечественной государственности и культуры, а в реальной действительности середины XIX века искать, сохранять, консервировать и пропагандировать остатки этой сохранившейся в быту и морали домостроевской, допетровской Руси.

Уже в ту пору эта романтическая идея, при всем том, что в ней было заложено немало субъективно чистого, светлого и даже либерально-протестантского, носила глубоко консервативный и ложный характер. Она опровергалась внутренней позицией таких колоссальных фигур на ниве отечественной культуры, как Пушкин и Ломоносов. Она была опровергнута всей последующей социальной историей нашей страны, историей ее культуры, литературы, развитием науки и техники в нашей стране.

Необъяснимой странностью было бы применять исходные идеи консерватизма прошлого века к анализу литературного процесса минувших времен *сегодня*, когда реальное содержание этих идей – в славянофильском ли, «почвенническом» ли обличье или же в одеждах «официальной народности» – давно и полностью мертво. Нелепо звучала бы сегодня ностальгия по допетровским временам, по Домострою и кокошникам. Нелепо сегодня звучала бы сама идея «Третьего Рима», преемника Византии, столпа православия, лежавшая в основе идеологии славянофильства, нелеп сам спор о преобладании православия над католицизмом, также лежавший в основании славянофильской доктрины. Нелепо утверждение некоего нравственного превосходства над окружающим миром патриархального замоскворецкого купечества, верного заветам Домостроя и допетровской старины, поскольку-

ку и купечество давно уже кануло в Лету. И если бы содержание творчества Островского исчерпывалось доказательством этой идеи, оно бы кануло в Лету вместе с замоскворецким купечеством.

Что же касается патриотизма, то на каком же основании отдавать монополию на это чувство русскому консерватизму? Тем более что, повернись развитие России по тем путям и дорогам, о которых толковали русские славянофилы, то есть откажись наша страна от петровских реформ, от интенсивного культурного и научно-технического развития в XVIII, XIX и XX веках, большой вопрос, сохранила ли в таком случае она не только национальную самобытность – национальное существование свое? Впрочем, и вопроса тут нет: национальная отсталость еще ни один народ, ни одно государство не доводила до добра.

Да и сегодня, размышляя о консерватизме как типологии не только исторического, но и современного социального, общественного мышления и поведения, куда уйдешь от конкретно-исторических реальностей времени?! Куда уйдешь от неотступного вопроса: в чем состоит сегодня истинный патриотизм? В отстаивании максимально интенсивного и динамичного развития нашей страны? Или же – в проповеди отсталости и застоя, отказа от достижений мировой и в том числе европейской науки и техники, поворота вспять в нашем социальном, культурном и научно-техническом развитии? Сто́ит так, прямо и резко, поставить вопрос, чтобы стало ясно: второй путь исключен, потому что с неуклонностью ведет к поражению, к утрате всех наших социальных завоеваний, к утрате самого национального существования.

Если же понимать под «консерватизмом» отстаивание заве́тов народной культуры и традиций наших дедов и отцов, то лично я – за такие традиции и заветы, поскольку наши деды и отцы – те, кто совершил величайшую в мире революцию в 1917 году и отстоял ее в борьбе с самым страшным и могущественным врагом в истории нашего Отечества – с гитлеровским фашизмом. Но ведь это никакого отношения к консерватизму XIX века, то есть к наследию Шевырева и Погодина, Аксакова и Григорьева, не имеет: мы наследуем иную патриотическую традицию, представленную Ломоносовым и Радищевым, Пушкиным и Гоголем, Белинским и Герценом, Чернышевским

и Добролюбовым, Гончаровым и Тургеневым, Салтыковым-Щедриным и Некрасовым, Достоевским и Толстым, Чеховым и Горьким...

Значение статей Добролюбова об Островском — в том именно, что они с неопровержимостью доказали органическую, глубинную принадлежность незаурядного таланта Островского тому коренному направлению в русской литературе, которое именовалось «гоголевским направлением» и которое являлось не чем иным, как направлением критического реализма, составившим цвет и славу русской литературы XIX века.

Добролюбов оговаривается, что деятельность общественная мало затронута в комедиях Островского, «потому что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякого рода, почти не представляет примерно настоящей деятельности, в которой свободно и широко мог бы выразиться *человек*». В пьесах Островского, подчеркивает он, чрезвычайно полно и рельефно выставлены «два рода отношений, к которым человек еще может у нас приложить душу свою,— отношения *семейные* и отношения *по имуществу*». Изображенные в них повседневные отношения людей, тот человеческий мир, который с таким знанием дела, талантом и непосредственностью воспроизведен драматургом, вызывают у Добролюбова глубочайшую боль.

«Перед нами грустно покорные лица наших младших братий, обреченных судьбою на зависимое, страдательное существование. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусков, бедная невеста Марья Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастные Даша и Надя — стоят перед нами безмолвно-покорные судьбе, безропотно-унылые... Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее» [1].

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 177.

Я намеренно привел эту характеристику «темного царства», где над безгласными, безмолвными, как правило, жертвами царствуют самодуры, поскольку по поводу именно этой характеристики М. Лобанов высказал удивление: «Любопытно, что сторонник «реальной критики» обращается в данном случае к образам типа Марлинского, но искренность «общего впечатления» не подлежит сомнению».

Еще бы — поставить под сомнение искренность столь пронзительных слов критика, в которых с такой болью за человека говорится об испытаниях, каким подвергаются самодурством в «темном царстве» основополагающие принципы гуманности и человечности, о чем буквально вопиют пьесы Островского!

Что же касается упрека в «образности типа Марлинского», то этот упрек абсолютно несостоятелен. Эта своеобразная, вынужденно описательная образность, апеллирующая прежде всего к чувству читателя, необходимость прибегать именно к такому типу характеристики явлений самодержавно-крепостнической действительности четко объяснены в статье Добролюбова. «Многое мы не досказали, об ином, напротив, говорили очень длинно... Виною того и другого был более всего способ выражения — отчасти метафорический, — которого мы должны были держаться» [1], — писал Добролюбов в завершении статьи, прямо намекая на цензурные причины, побуждавшие его передавать мысли в «метафорической», «фигуральной форме» [2].

Однако и выраженная в «метафорической», «фигуральной форме» мысль критика достаточно ясна.

Трудно согласиться с М. Лобановым, будто Добролюбов ведет обличение «темного царства» и «самодурства» с позиций рационалистических. В действительности Добролюбов ведет разговор о «темном царстве» и «самодурстве» с позиций подчеркнуто социальных — в той мере, в какой это допустимо в подцензурной статье.

Характеризуя то «нравственное растление, те бессовестно неестественные людские отношения, которые мы находим в комедиях Островского, как прямое

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 277.
[2] Там же, с. 278.

следствие тяготеющего над всеми самодурства»[1], «религию лицемерия и мошенничества... бессмыслие и самодурство одних и... обманчивую покорность, рабскую хитрость других»[2], показывая на материале все новых и новых пьес Островского, привлекаемых для анализа, «неестественность общественных отношений, происходящих вследствие самодурства одних и бесправности других»[3], Добролюбов находит возможность в подцензурной форме объяснить читателям самое главное: социальные истоки этих «неестественных общественных отношений». Они – в «материальном характере», в «материальной зависимости одних от других», в «праве на тунеядство»[4], то есть эксплуатации одних другими, в *социальной несправедливости* существующих общественных отношений.

В статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов находит возможность поставить точку над «i».

Здесь яснее ясного сформулирована разница подходов к жизни и литературе, к драматургии Островского у славянофилов и революционных демократов. «...Чего же яснее, разве не говорили славянофилы: следует изображать русского человека добродетельным и доказывать, что корень всякого добра – жизнь по старине»[5], – иронически замечает здесь Добролюбов, показывая тем самым, что корень всякого зла, с точки зрения славянофилов, в отступлении от старины. Живите по старине – и будет мир на Земле и в человецех благоволение!.. Добролюбова не может устроить подобная наивность. Его взгляд на природу и корни зла в жизни, с такой глубокой правдой и достоверностью показываемого Островским, качественно иной. По мнению Добролюбова, русская действительность и беды ее представляются в его пьесах «не с поверхности, а с самого корня... У него вы ясно видите, как самодурство опирается на толстой мошне, которую называют «божьим благословением», и как безответственность людей перед ним определяется материальной от него зависимостью. Мало того, вы видите, как эта материальная сторона во всех житейских отноше-

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 2, с. 181.
[2] Там же, с. 186.
[3] Там же, с. 215.
[4] Там же, с. 464.
[5] Там же, т. 3, с. 153.

ниях господствует над отвлеченною и как люди, лишенные материального обеспечения, мало ценят отвлеченные права и даже теряют ясное сознание о них... Это явление, повторяющееся во всех сферах общественной жизни, хорошо замечено и понято Островским, и его пьесы яснее всяких рассуждений показывают внимательному читателю, как система бесправия и грубого, мелочного эгоизма, водворенная самодурством, прививается и к тем самым, которые от него страдают...»[1]

Да простят меня за чрезмерную социологическую конкретность, но никуда не уйдешь от того конкретно-исторического факта, что в основе самодурства в таком вот понимании, утвержденном в литературе Островским и осмысленном Добролюбовым, лежат жизнь, быт, нравы русского купечества эпохи, как это принято называть в политэкономии, первичного накопления капитала. Именно в этом Добролюбов и Островский видят корень той нравственной дикости и бесчеловечья, через напластования которых с таким трудом пробивались высокие, гуманные и светлые черты русского национального характера, глубоко народные в своей основе. На эти светлые начала народного характера, на веру в них и опирался Островский в своем обличении «темного царства»; они лежали в основе его собственной глубоко нравственной и высокогуманной личности, что особо подчеркивал Добролюбов, когда писал, что Островскому свойственно «чрезвычайно гуманное воззрение на самые, по-видимому, мрачные явления жизни и глубокое чувство уважения к нравственному достоинству человеческой натуры»[2], черты, роднившие Островского с Гоголем.

Вот откуда шла глубокая и последовательная антибуржуазность Островского — при всем том, что биографически он принадлежал купеческому Замоскворечью и понятие «народности» постигал через кружок «молодой редакции» «Москвитянина» и через воззрения Аполлона Григорьева, опиравшегося в своем понимании народности как раз на русское купечество. При этом, как уже подчеркивалось выше, Аполлон Григорьев каким-то образом умудрялся примирять свою яростную антибуржуазность применительно

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, с. 181.
[2] Там же, т. 2, с. 201.

к Западу с апофеозом купечества, то есть ярко выраженной молодой, нахрапистой буржуазии, применительно к родной стране.

Схожее противоречие намечается и в книге М. Лобанова. Беспощадно и доказательно обрушиваясь на «буржуазный прогресс» в современной Островскому Европе, где «падение народной морали привело к падению культуры и искусства», показывая опасения Островского во время его поездки на Запад по поводу того, что «буржуа неминуемо нагрянет в Россию, наложит свое клеймо на все живое в народной жизни», М. Лобанов как бы не видит, что, как свидетельствует Островский, да и вся великая русская литература, этот буржуа в Россию уже пришел и наложил на народную жизнь свое бездуховное, бесчеловечное клеймо. Этот факт и был исследован и доказан, с опорой на творчество Островского, Добролюбовым – в его концепции «самодурства» как основы «темного царства» в пьесах Островского.

Как объяснить столь своеобразное противоречие в позиции М. Лобанова, яростная антибуржуазность которого как бы останавливается у родных ворот? Обличая буржуазию на Западе, он отвергает самую проблему «самодурства» применительно к русскому купечеству, к отечественной крайне уродливой по своим формам буржуазности, попиравшей не только социальную справедливость, но и всякое человеческое достоинство.

В этом плане наиболее спорной и парадоксальной мне представляется трактовка М. Лобановым «Грозы» Островского.

Как известно, в статье «Луч света в темном царстве», посвященной этой великой пьесе Островского, Добролюбов продолжил тот спор, который еще в статье «Темное царство» вел с Аполлоном Григорьевым. Спор этот касался понимания «народности» и светлых сторон народной жизни в представлении Добролюбова и Григорьева.

«Нужно заметить, что г. А. Григорьев один из восторженных почитателей таланта Островского,– продолжил этот спор Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве»,– но,– должно быть от избытка восторга,– ему никогда не удается высказать с некоторой ясностью, за что же именно он ценит Островского. Мы читали его статьи и никак не могли

добиться толку. Между тем, разбирая «Грозу», г. А. Григорьев посвящает нам несколько страниц и обвиняет нас в том, что мы прицепили ярлычки к лицам комедий Островского, разделили все их на два разряда: *самодуров* и *забитых личностей*, и в развитии отношений между ними, обычных в купеческом быту, заключили все дело нашего комика. Высказав это обвинение, г. Григорьев восклицает, что нет, не в этом состоит особенность и заслуга Островского, а в *народности*. Но в чем же состоит народность, г. Григорьев не объясняет, и потому его реплика показалась нам очень забавною. Как будто мы не признавали народности у Островского! Да мы именно с нее и начали, ею продолжили и кончили. Мы искали, как и насколько произведения Островского служат выражением народной жизни, народных стремлений: что это, как не народность»[1].

Мы привели здесь ответ Добролюбова на те обвинения в адрес критика-демократа, которые высказывались когда-то Ап. Григорьевым и которые вновь были приведены, текстуально процитированы в книге М. Лобанова. Привели с той целью, чтобы показать, что уже и в ту пору главный спор, который шел между Добролюбовым и Ап. Григорьевым, касался проблемы народности, ее понимания и истолкования. Надо ли говорить и напоминать хрестоматийные, общеизвестные истины, что характером подлинно народным, воплотившим коренные стремления народной жизни, был для Добролюбова характер Катерины, явившийся, с точки зрения критика, лучом света в «темном царстве». В представлении Добролюбова «Гроза» явилась «апофеозой этого характера, столь простого, глубокого и так близкого к положению и сердцу каждого порядочного человека в нашем обществе»[2].

Принято думать, что смысл статьи «Луч света в темном царстве» в первую очередь — общественно-политический, что в подобной, эзоповой форме через характер Катерины Добролюбов стремился выразить свою надежду на скорое пробуждение крестьянства, на близящиеся перемены в русском обществе. И такое предположение — правильно.

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, с. 177.
[2] Там же, с. 215.

Но наряду с этим статья «Луч света в темном царстве» являла собой еще глубокий идейно-эстетический анализ самой пьесы, содержащий предельно точные характеристики Дикого, Кабанихи, Тихона. «Гроза» есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского, — писал Добролюбов, — взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского... В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нам и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новой жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели» [1].

Так оценивал «Грозу» Добролюбов.

А как оценивает «Грозу» М. Лобанов?

«Старинное, то, что освящено веками в «здешних нравах», встречается с вызовом теми, кто представляет собою новое веяние. После услышанных от собеседника слов: «Никак, народ от вечерни тронулся?» — Кудряш говорит: «Пойдем, Шапкин, в разгул. Что тут стоять-то?» Два мира, с противоположными идеалами, принципами быта и бытия. Вслед за Кулигиным, обличающим с просветительской, рационалистической точки зрения местные «жесткие нравы» и темноту, произносит похвалу здешнему благочестию странница Феклуша: «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да уж что говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими!»

В сфере столкновения этих двух сил и находится Катерина».

Как видите, расстановка сил и их оценка, по мнению М. Лобанова, предельно ясные.

На одной стороне — «старинное», «освященное веками», религией, традицией, «бла-алепием» старины.

Центральными здесь, бесспорно, являются образ Кабанихи и образ Дикого, которым критик дает сле-

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, с. 198.

дующую трактовку: «Пьеса, как известно, начинается с разговора о Диком, который «как с цепи сорвался», не может жить без ругани. Но тут же из слов Кудряша становится ясно, что не так уж страшен Дикой... не такая уж грозная сила Дикой. Более властный характер у Кабановой (которую некоторые из местных обывателей зовут Кабанихой)...». Однако тут же выясняется, что и она вовсе не страшна: «власть ее даже над домашними мнима. Кабанова ратует за благочестие и строгую нравственность, а родная дочь ее Варвара по ночам гуляет в овраге с Кудряшом... У Кабановой твердая убежденность в том, что она обязана, в этом ее долг — наставлять молодых для их же блага. Это по-домостроевски, так веками было, так жили отцы и деды...»

Критик видит в Кабановой «и снисходительность к молодым, не знающим, как, по ее мнению, надо жить; сожаление, что уходит старина; сознание своей ненужности в наступающих переменах жизни. Нельзя упрощать этот характер,— предостерегает он,— это значило бы, что перед нами не образ, созданный гениальным художником, а нечто вроде плоской карикатуры». Для подпорки своей точки зрения на Кабаниху автор обращается за помощью к авторитету Лескова, у которого «есть тонкое и глубокое замечание о психологии древнерусской женщины, имеющее непосредственное отношение к образу, созданному Островским: «Ирина *ни в коем случае* не могла на людях стоять в той позе, в какой она поставлена около мужа». Как ни исключителен момент, но женщина русского воспитания того века не могла себе позволить «на людях мужа лапити», а она его удерживает «облапя». Читайте Забелина, вспомните типический взгляд Кабанихи (Островского), схваченный гениально, наконец, проникнитесь всем духом той эпохи, и вы почувствуете, что это «лапание» есть ложь и непонимание». Вот эта сцена в «Грозе»,— продолжает М. Лобанов,— которую имел в виду Лесков:

«К а б а н о в. Прощай, Катя!

Катерина кидается ему на шею.

К а б а н о в а. Что на шею-то виснешь, бесстыдница!

Не с любовником прощаешься! Он тебе муж,— глава! Али порядку не знаешь? В ноги ему кланяйся!

Катерина кланяется ему в ноги».

Кабанова далеко не бесчувственна как мать».

Для еще более авторитетного подтверждения своего взгляда на Кабаниху М. Лобанов обращается к свидетельству современника о том, как играла Кабаниху одна из известных актрис: «В первом акте она выходила на сцену сильная, властная, «кремень-баба», грозно произносила свои наставления сыну и невестке, потом, оставшись на сцене одна, вдруг вся менялась и становилась добродушной. Было ясно, что грозный вид — только маска, которую она носит для того, чтобы «поддержать порядок в доме».

И хотя автор оговаривается, что «будущее не за нею» и что он не может поставить Кабаниху «в один ряд с такими просветленными носителями народной нравственности, как Русаков» (герой пьесы «Не в свои сани не садись»), из всего контекста и прямого приведенного выше текста, где характеризуется Кабаниха, явствует, что она для М. Лобанова — в общем-то положительный герой. Пусть, к великому его сожалению, и уходящий, но — нравственно положительный, представляющий в пьесе все то «старинное», что освящено веками в «здешних нравах» и что встретилось с «вызовом тех, кто представляет собою новое веяние».

Ну, а что же из себя представляет это «новое веяние»? Позиция автора и здесь ясна и определенна. Это, в частности, Кудряш, предлагающий в тот самый час, когда благочестивое и благонравное купечество «от вечерни тронулось», идти «в разгул». Это — Кулигин, «обличающий с *просветительской, рационалистической* точки зрения местные «жесткие нравы» и «темноту». Надо ли говорить, что такая вот — «просветительская» и «рационалистическая» позиция в жизни, как мы это давно и прочно уяснили, для М. Лобанова грех хуже всякого «разгула»!

Итак, «новые веяния» — это «разгульный» Кудряш, «рационалист» Кулигин, распутная Варвара («Кстати, Варвара,— подчеркивает М. Лобанов,— не боится грозы... И Кулигин... так же говорит о грозе: «Я вот не боюсь»...»). И — стоящая между «старыми»

и «новыми» веяниями Катерина, которая «многим... психологически связана со «стариной», прежде всего своей верой, религиозностью», а теперь вот искушаема «новыми веяниями».

Под таким углом зрения М. Лобанов анализирует «Грозу» и характер Катерины. «Катерина,— с его точки зрения,— постоянно в поле психологического влияния новых веяний (тот же соблазн Варвары, жаждущей женской вольности: «А что за охота сохнуть-то!»)...»

Чтобы у читателя не осталось сомнений в отношении этих злокозненных «новых веяний», М. Лобанов в главе о «Грозе» предпринимает целый исторический экскурс в историю личных взаимоотношений людей 60-х годов в неразрывной связи с судьбой Катерины. Судьба ее излагается М. Лобановым следующим образом:

«Катерина преступила черту, отделявшую прежнюю жизнь ее от новой. Но какой идеал могла предложить ей Варвара?» «Делай, что хочешь, только бы шито да крыто было?» Или Кудряш, который «больно лих» на девок. Или Кулигин с его перпетуум-мобиле. Или Борис — слабовольный, нравственно ничтожный. Овраг с вороватыми ночными встречами — идеал? В эпоху, когда была создана «Гроза», в русской печати много писалось о «женском вопросе», «женской эмансипации», «новом оформлении семейного быта», «свободе любви» и т. д. И не только писалось. Эмансипация женщины под влиянием этих обсуждавшихся в печати идей осуществлялась и практически, со своеобразным «оформлением семейного быта». В шестидесятых годах и позднее с некоей закономерностью проявляется такое явление эмансипированности, как полнейшая свобода женщины от супружеского и даже материнского долга.

М. Лобанов вспоминает в связи с этим судьбу Екатерины Павловны Майковой, которая покинула семью, увлекшись, как сообщает М. Лобанов, «участником тогдашнего общественного движения Ф. Любимовым»; историю взаимоотношений между Н. В. Шелгуновым и его женой Л. П. Шелгуновой, конечно же Жорж Санд с ее Лукрецией Флориани и, в заключение, Веру из «Обрыва» Гончарова. «В «Грозе» Катерина встречается с Борисом тайком в овраге, на берегу Волги,— проводит параллель М. Лобанов.— Вера в «Обрыве» тоже «украдкой», как говорит она сама,

встречается с Марком Волоховым на «дне обрыва», также на берегу Волги. Новые веяния, захватившие и сферу чувств, находят убежище в «овраге», на дне обрыва...» А навязаны эти «новые веяния» Волоховыми, то есть «нигилистами», «рационалистами», несправедливо представляющими «старую жизнь» неким «темным царством», а его обитателей вроде Кабанихи или Дикого, охраняющих Россию от тлетворности «новых веяний», — «самодурами». Таков объективный вывод, который с неумолимостью следует из анализа М. Лобановым «Грозы» Островского.

Если верить этому анализу, «Гроза» и написана как своего рода театрализованный протест против эмансипации, явившись своеобразным вкладом в ту газетную полемику о «женском вопросе» и «свободе любви», которая и в самом деле шла в ту пору в русской печати. В качестве главного аргумента в этих спорах М. Лобанов выставляет финал пьесы: грозу и самоубийство героини как расплату за грехи.

«Невыносим для Катерины собственный ее суд над собою. Потрясены ее внутренние, нравственные устои. Тут не просто «семейный обман», произошла нравственная катастрофа, нарушены извечные в глазах Катерины моральные установления, и от этого, как от первородного греха, может вздрогнуть вселенная и все исказится и извратится в ней. Именно в таком, вселенском масштабе воспринимает Катерина грозу...

Трагедия Катерины не столько в «разбитой любви», в «опостылевшей» жизни с нелюбимым мужем, с властной свекровью, сколько в той внутренней бесперспективности, когда обнаруживается невозможность найти себя в «новой морали» и будущее оказывается закрытым».

Таков итог анализа критиком пьесы «Гроза».

Катерину М. Лобанов судит куда более суровым судом, чем Кабаниху, — привычные хрестоматийные знаки в отношении к этим двум героиням оказываются перевернутыми — для Кабанихи с минуса на плюс, для Катерины — с плюса на минус.

Не Кабаниха, не «темное царство» убили Катерину, доказывает нам критик, — в смерти ее, оказывается, повинны прежде всего «новые веяния», «новая мораль», которые привели ее к «внутренней бесперспективности» и заставили броситься в реку.

Но обратимся к реальной, а не мифологической пьесе, к ее финалу, структуре и характеристике ее образов. Здесь все протестует против подобного, предельно субъективистского ее истолкования.

«Явление шестое

Кабанов. Батюшки, она ведь это! *(Хочет бежать.)*

Кабанова удерживает его за руку.

Маменька, пустите, смерть моя! я ее вытащу, а то так и сам... Что мне без нее!

Кабанова. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить, стоит ли она того? Мало она нам страму-то наделала, еще что затеяла?

Кабанов. Пустите!

Кабанова. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь.

Кабанов *(падая на колени)*. Хоть взглянуть-то мне на нее!

Кабанова. Вытащут: взглянешь...

Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.

Явление седьмое

Те же и Кулигин.

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите. Тело ее здесь, возьмите его; душа теперь не ваша; она теперь перед судией, который милосерднее вас! *(Кладет на землю и убегает.)*

Кабанов *(бросается к Катерине)*. Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!

Кабанов. Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь? Забыл с кем говоришь!

Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!

Кабанова *(сыну)*. Ну, я с тобой дома поговорю. *(Низко кланяется народу.)* Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!

Все кланяются.

Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться? *(Падает на труп жены.)*»

И еще одно свидетельство — мысли, с которыми Катерина искала покой на дне Волги:

«Явление четвертое

Катерина *(одна)*. Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше... Под деревцем могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие.... всякие (*задумывается*), всякие... Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А о жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда. Нет, нет, не пойду! Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест складывают... в гробу! Да так... я вспомнила... А поймают меня, да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! *(Подходит к берегу. Громко.)* Друг мой! Радость моя! Прощай!»

Есть ли необходимость в комментариях к этим в высшей степени очевидным и ясным сценам, надо ли доказывать — кто действительные виновники и каковы истинные причины смерти Катерины?

М. Лобанов не с Добролюбовым здесь спорит. Он с Островским спорит. Он с нашим читательским, зрительским восприятием спорит, пытаясь навязать нам какое-то ирреальное и вместе с тем — головное, чрезвычайно субъективное и искаженное, с ног на голову перевернутое толкование пьесы. Из всего только что приведенного монолога Катерины, ключевого для понимания пьесы, он приводит только слова: «Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех!» — и полностью игнорирует два приведенных выше, заключительных, опять же ключевых для осо-

знания пьесы явления — явление шестое и явление седьмое, где и состоялся окончательный нравственный приговор — не Катерине, естественно, нет, но Кабанихе и той жизни, нравственным нормам ее, погубившим Катерину. Для критика важно только одно слово: «Грех!» — он пытается переиначить, превратить пьесу в некое морализаторское действо, написанное Островским якобы ради обличения «новых веяний», «новой морали», ведущих к «греху», к «оврагу», а смерть Катерины представить «наказанием божьим», самонаказанием Катерины за содеянный «грех» прелюбодеяния.

На всем протяжении книги М. Лобанов вслед за Аполлоном Григорьевым обличает «рационализм», «теории», головной подход к явлениям литературы и жизни. И не замечает, не осознает, что точно так же, как когда-то Аполлон Григорьев, сам в своих собственных суждениях попадает в плен головному рационализму, жестко укладывая живой, неподдающийся, протестующий литературный материал в прокрустово ложе этой априорной, нежизненной, кабинетной «теории». М. Лобанов и Островскому навязывает такой же «головной» подход к действительности, представляя дело таким образом, будто трагедия Катерины — в увлечении ее некими «новыми веяниями», «новыми теориями», «новой моралью». Но каждый внимательный, чуткий и объективный читатель и зритель «Грозы» скажет, что подобные предположения никакого отношения к реальной, действительной Катерине не имеют.

Катерина никогда в своей жизни не «теоретизировала», ни «Современника», ни «Русского слова» в своей затерянной глуши не читала и о новомодных «теориях» 60-х годов не слышала. Она просто любила. Непосредственность и сила этого столь естественного и высокого человеческого чувства, незаурядное богатство и мощь ее человеческой натуры столкнулись в неразрешимом противоречии с моралью «темного царства», с ее собственными представлениями о жизни и с мыслью о греховности своего поведения, — вот что привело Катерину к смерти.

Вот эта напряженнейшая трагедия женской, человеческой души, трагедия *человеческих начал,* выраженная с редкой силой, почему-то полностью осталась за скобками для М. Лобанова.

Нет, не во имя обличения «веяний» и «теорий» писал Островский свою «Грозу» — он писал ее ради за-

щиты человека и человеческих начал, ради утверждения права человека на счастье, понимание, любовь, сострадание и милосердие. И не ради защиты «освященного веками» мира Кабанихи и Дикого писалась Островским эта пьеса, но – с прямо противоположной задачей: сказать людям в полный голос о жестокости Кабанихи и Дикого, о бесчеловечности этого мира, о леденящем эгоизме его, убивающем все живое, естественное и доброе. Как же не слышать этого истинного содержания, этого глубоко гуманного тона пьесы – в том числе и в той сцене прощания Катерины с Тихоном, которая приведена в книге М. Лобанова как пример чуть ли не защиты Островским домостроя?

М. Лобанов, ссылаясь на эту сцену, приводит слова Лескова о психологии древнерусской женщины и о «типическом взгляде Кабанихи (Островского), схваченном гениально». Но ведь Лесков-то здесь ведет речь о типическом характере, о художественной правде, и в самом деле гениально схваченной Островским в этой сцене, а не об отношении Островского к Кабанихе, не о нравственном одобрении Островским ее поведения. В словах Лескова нет и намека на оправдание или тем более восхищение Кабанихой. Тем более что принадлежит она не древней Руси, но – XIX веку, где представления о гуманности и психологии уже были иными. Кабаниха в пьесе и не претендует на эту художественную задачу – служить воплощением добродетелей и достоинств древней Руси, она представляет купеческие нравы середины прошлого века, нравы того самого «темного царства», о котором писал Добролюбов, которые, как мы только что убедились, беспощадно судит Островский. По пьесе она и в самом деле «существо бездушное, кулак-баба, заключающая в китайских церемониях – и любовь, и религию, и нравственность» [1].

Нет, не Кабаниха, а Катерина явилась в пьесе выражением подлинной народности, воплощением действительных и животворных начал народной жизни. Характер Катерины – «вот высота, до которой доходит наша народная жизнь в своем развитии, но до которой в литературе нашей умели подниматься весьма немногие, и никто не умел на ней так хорошо держаться, как Островский. Он почувствовал, что не от-

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, с. 206.

влеченные верования, а жизненные факты управляют человеком...» [1].

Все поступки Катерины, по мысли критика, находятся в гармонии с ее натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от них отказаться, даже если это имеет самые гибельные последствия. Катерина «может быть уподоблена большой многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно, хорошее — она течет спокойно, камни большие встретились — она через них перескакивает, обрыв — льется каскадом, запруживают ее — она бушует и прорывается в другом месте» [2].

Катерина, с точки зрения Добролюбова, — характер глубоко естественный и глубоко народный. Не случайно он и у Островского, и у Добролюбова ассоциируется с многоводной рекой, Волгой; этот характер заключает в себе идею неостановимого движения народной жизни, в ту пору как характер Кабанихи — это символ застоя. К чему же должен стремиться человек, любящий свою родину и желающий добра своему народу — к движению или застою? Для Добролюбова это вопрос риторический.

Так глубоко патриотически и вместе с тем с глубоким и естественным чувством гуманности смотрел Добролюбов на пьесу «Гроза» и на характер Катерины. Этот взгляд, вся его литературно-критическая и общественная деятельность, так же как подвижническая деятельность Белинского, Герцена, Чернышевского, Писарева, всех демократов-шестидесятников, их борьба с самодержавием и крепостничеством, включая сюда и «идейное крепостничество» (В. И. Ленин), и составляли в XIX веке те «новые веяния», «новые теории», «новую мораль», с которыми пытались спорить — не Островский, нет, но, к примеру, Ап. Григорьев в своих статьях.

М. Лобанов стремится опереться в своей книге на И. Гончарова, а вернее — на ту сторону его души и миросозерцания, которая выразилась в «антинигилистических» тенденциях его романа «Обрыв» и прежде всего — в характере «нигилиста» Марка Волохова, соблазняющего «в овраге» молодую Веру.

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, с. 210.
[2] Там же.

М. Лобанов, разделив в какой-то мере эти заблуждения Гончарова, оказался, видимо, под властью той весьма уязвимой «антинигилистической» методологии, которая была широко распространена в середине прошлого века и которая нашла свое отражение не только в «Обрыве» или, скажем, «Бесах» Достоевского, но даже и в «Отцах и детях» Тургенева. Сущность этой методологии с предельной точностью раскрыл Писарев в своем письме И. С. Тургеневу в связи с его романом «Дым»: «Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: дураков и в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я со своей стороны ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще, и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками»[1].

В статье «Базаров» Писарев беспощадно высмеял такого рода «дураков», прикидывающихся в высшей степени «прогрессивными» личностями в романе «Отцы и дети»: «Эти личности, — юноша Ситников и молодая дама Кукшина — представляют великолепно исполненную карикатуру безмозглого прогрессиста и по-русски эмансипированной женщины. Ситниковых и Кукшиных у нас развелось в последнее время бесчисленное множество... Многие идеи сделались ходячею монетою и, путешествуя из рук в руки, потемнели и потерлись, как старый полтинник; на идею валят то, что принадлежит исключительно ее уродливому проявлению, то, что пристало к ней случайно от прикосновения грязных рук; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявление во всей его уродливости и, таким образом, строго отделить основную сущность от произвольных примесей. Между Кукшиной и эмансипацией женщины нет ничего общего, между Ситниковым и гуманными идеями XIX века нет ни малейшего сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порождением времени было бы в высокой степени неверно. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку...»[2].

По ситниковым и кукшиным, по различного вида «карикатурам» на передовых людей XIX века, натя-

---

[1] Писарев Д. И. Соч. в 4-х т., т. 4, с. 424.

[2] Там же, т. 2, с. 125.

нувшим на себя только «верхнюю драпировку» эпохи, авторы так называемых «антинигилистических» романов и пытались судить о сути революционно-демократических идей – естественно, искаженно и ложно. Порой авторы романов, создававшихся в «антинигилистических» целях, как говорится, шли в одну комнату, а попадали в другую. Сила их таланта и приверженность к правде жизни приводили порой к преодолению замысла – и тогда они приходили либо к постижению подлинной глубины и масштаба тех характеров, ради обличения и разоблачения которых создавался роман («Отцы и дети»), либо к постижению той действительной нравственной и общественной опасности, которая таилась не в идеях революционной демократии, но в искажающих эту идею левацком революционаризме и казарменном социализме («Бесы»).

Бездуховных, пошлых, а подчас и зловещих карикатур на идеи и деятельность русского освободительного движения было немало в XIX веке – вспомним хотя бы печально знаменитую фигуру Нечаева с его морализмом и макиавеллизмом, исповедовавшего и применявшего в своих провокациях правило «цель оправдывает средства» и прикрывавшего этот распад личности ультрареволюционной фразой. Вспомним в обилии произраставшие на «модных», поверхностно воспринимаемых теориях цветы бытового аморализма, довольно широко распространенного среди некоторой части молодежи типа Ситникова и Кукшиной в пору 60–70-х годов прошлого века. Этот внешний, поверхностный «нигилизм» и чисто буржуазный на поверку «прогрессизм», «зеркально отражая так называемый «антинигилистический» роман, безуспешно пытался путем обличения карикатур на революционное движение той эпохи опровергнуть самую суть идей революции и социализма, не понимавший, не осознававший, а чаще всего и не желавший осознавать их истинной сути.

Как известно, из «нечаевской» истории выросли «Бесы» Достоевского, которые под пером гениального художника и проницательнейшего мыслителя в итоге далеко переросли свой «антинигилистический» замысел и превратились в роман-предостережение, чрезвычайно актуальное и поныне в отношении опасности антигуманистических «левацких», а на самом деле –

антисоциалистических искажений и извращений нашей великой идеи, которые в XX веке – вспомним Кампучию – дали столь страшные плоды.

Авторы книг о Гончарове и Островском – Ю. Лощиц и М. Лобанов – чувствуют вслед за художником, но не всегда точно осмысляют ту нравственную неправду, тот этический релятивизм, которые и в самом деле имели место среди определенной части молодежи тех лет, пошло заимствовавшей у современной им эпохи лишь ее «верхнюю драпировку». В своем поверхностном бунте против ветхозаветной, крепостнической морали отцов и дедов ситниковы и кукшины 1860-х годов вместе с водой выплескивали и ребенка; в стремлении к дурно понимаемой, но крайне модной в ту пору «эмансипации» они освобождались не только, а подчас не столько от внешних пут, унижающих, уничтожающих человеческую личность, сколько от человеческого достоинства, от своих обязательств перед другими людьми, от обязательных для любого человека норм общечеловеческой нравственности.

В книге Ю. Лощица «Гончаров», скажем, подробно исследована и воспроизведена известная в 60-е годы история Екатерины Павловны Майковой, жены одного из братьев Майковых, Владимира Николаевича, с которыми был дружен Гончаров,– на эту историю ссылается и М. Лобанов. Влюбившись в домашнего учителя своих детей студента Любимова, она навсегда ушла из дома, оставив на попечение мужа троих детей, родила четвертого ребенка, отдала его на воспитание посторонней женщине и попыталась вместе с Любимовым создать себе счастье в коммуне фурьеристского типа. В итоге семья распалась, Владимир Николаевич Майков стал заливать душевные раны вином, Любимов также спился, дети росли брошенные, а сама Екатерина Павловна, не без иронии замечает Ю. Лощиц, «до конца дней своих... пребудет в глубокой уверенности, что лишь 60-е годы возродили ее к истинному существованию».

Из личной драмы Майковых, из переживаний Гончарова за судьбу близких ему людей вырос, как известно, в значительной степени и роман «Обрыв»; эта история наложила свою печать на образ Марка Волохова – «нигилиста» и похитителя яблок из чужих садов, как справедливо характеризует его Ю. Лощиц,

апологета «свободной любви» и мастера брать в долг без возврата».

В книге Ю. Лощица приведен отрывок из письма Гончарова Екатерине Павловне, в коем содержится деликатно выраженная, но вполне твердая и неоспоримая нравственная оценка ее поведения: «...какие бы противные и неприятные ни были стороны в Вашем прежнем быту, но все же... у Вас с Вашим прошедшим столь четкая живая связь (трое детей) — что мне казалось — и натура, и ум... все должно было бы влечь обе стороны одна к другой — и если этого нет, то остается предположить некоторую заглушенность, то ли неразвитость той стороны, которую относят к понятию о сердце». И далее писатель объяснял своей корреспондентке те «неизбежные долги и обязанности», которые она должна нести перед своими детьми в особенности как женщина. Любопытная деталь, сообщенная Ю. Лощицем: всю эту фразу гончаровского письма Екатерина Павловна мучительно долго, «кружевными линиями слабого перышка, зачеркивала, зачеркивала, затемняла, пока не стало видно, как ей казалось, ни слова из обвинения, против которого не было у ней, *у матери*, оправданий».

О такого рода нравственных издержках, и в самом деле характерных для эпохи 1860-х годов, издержках того порядка, о которых шла речь и в приведенных выше словах Писарева, и пишут в своих книгах М. Лобанов и Ю. Лощиц — только при чем здесь Катерина?

Зачем же предлагать читателю в качестве носителей «новых», то есть революционно-демократических, веяний 60-х годов не людей типа Чернышевского, Добролюбова, Писарева, как известно, рыцарственно относившихся к женщине, но карикатуры типа Кукшиной и Ситникова? Ведь и на образ Марка Волохова в «Обрыве», помимо печального личного опыта Гончарова в связи с описанной выше карикатурной жизненной ситуацией, оказали несомненное влияние и стереотипы антинигилистического романа. «Настойчивое подчеркивание автором эгоизма, бытового цинизма и хищнической безнравственности героя, — пишет современный исследователь, — не столько плод личных наблюдений, сколько выражение предубежденности» [1].

---

[1] История русской литературы в 4-х т., т. 3. Расцвет реализма. Л., 1982, с. 202.

Эта предубежденность, растущая еще из XIX века, ощущается и в книге М. Лобанова – в самой неправомерности сопоставления трагедии Катерины с той ситуацией, в которой оказалась соблазненная «нигилистом» Марком Волоховым Вера в «Обрыве» Гончарова. Не ясно ли, что эта принципиально разные ситуации? Та же предубежденность проявилась и в наивной попытке представить в качестве носителей «новых веяний», «новых теорий» в пьесе не только Катерину или Кулигина, но, что уж совсем странно, Варвару и Кудряша – с той целью, по-видимому, чтобы бытовой цинизм и безнравственность, и в самом деле коснувшиеся этой пары, распространить на носителей «новых веяний» в принципе.

Между тем ни Катерина, ни Варвара, ни Кудряш, люди с точки зрения нравственной абсолютно разные, ни сном ни духом не повинны в причастности ни к каким «теориям» и «веяниям», – каждый по-своему, в соответствии со своей натурой, они живут совершенно естественной жизнью. Если и говорить о «веяниях» в незамутненной и тихой калиновской глуши, то это в известной, очень отдаленной степени может быть отнесено разве что к Кулигину. Но было бы полной несправедливостью утверждать, что своеобразный и многозначительный характер этот в структуре пьесы есть воплощение некоего зла. Напротив, именно в его уста в финале пьесы автор вкладывает призыв к милосердию, которого так не хватает, по мнению Островского, жизненной среде, изображенной в пьесе.

То же предубеждение звучит, кстати сказать, и в книге Ю. Лощица о Гончарове в серии «ЖЗЛ», о которой мы уже писали выше. «Мысль семейная» (известные слова Л. Толстого о романе «Анна Каренина») серьезнейшим образом испытывается в любви-вражде Волохова и Веры – через столкновение двух воль и двух мировоззрений. Испытывается сразу в двух временных измерениях: как проблема исторического «сегодня» с его новыми концепциями и теориями любви и как «вечная» история соблазна и следующего за ним «падения», – пишет там Ю. Лощиц, всерьез воспринимая «нигилиста» Волохова представителем демократического мировоззрения 60-х годов, претендующим на «мировоззренческую новизну». И ни словом не оговаривается, что в действительности-то Марк Волохов выражал не столько подлинное

мировоззрение «новых людей» 1860-х годов, как это представлено в книге о Гончарове, сколько противоречия в мировоззрении самого Гончарова, являвшиеся следствием идейной борьбы 1860-х годов.

Действительное мировоззрение шестидесятников, выходцев из демократической среды того времени, было лишено и намека на эгоизм, бытовой цинизм и хищническую безнравственность, свойства, как известно, чисто буржуазные. Оно было скорей ригоричным, чем эпикурейским, в своей основе. Меньше всего демократов занимали гедонические и приапические «концепции и теории любви». Основу демократического мировоззрения составляли боль за народ, изнывавший под игом крепостничества и эксплуатации, устремленность к крестьянской революции, чувство вины и долга перед народом, стремление помочь и послужить ему. Они доказали эту свою любовь к Родине и ее народу годами каторги, ссылки, заключением в Петропавловской крепости — в 60-е годы, подвигом народничества и народовольчества — в годы 70-е. Без раздумья и рефлексии они клали жизни и судьбы на алтарь Отечества, шли на любое самопожертвование ради счастья народного.

Непонятно и необъяснимо, почему не резонируют на этот чистый, щемящий звук исторической памяти именно те, кто, казалось бы, должен быть особенно близок им? Кто стремится утвердить в своем творчестве тему отчего дома, деревни, народных корней? Почему не завязывается в единый мировоззренческий узел их верность народным основам, о которой они не устают говорить, и уважительное, внимательное, сочувственное отношение к исторической традиции крестьянского, революционного демократизма? Почему, отстаивая интересы трудового народа в литературе сегодня, эти авторы пытаются опираться, если иметь в виду предшественников, на традиции дворянского консерватизма, отдавать свои симпатии патриархально-дворянской утопии, предпочитая ее подлинно народному и глубоко демократическому, реальному миросозерцанию тех времен?

И это в ту пору, как все последующее развитие жизни показало, что истина истории была конечно же не за романтической утопией той либеральной и просвещенной части русского дворянства, которое видело «золотой век» России глубоко позади, но — за русски-

ми демократами, революционерами и социалистами-утопистами, верившими в будущее родного народа и родной страны.

От них шел прямой путь к Ленину, к Октябрю. Примечательно свидетельство В. И. Ленина о его круге чтения, о влиянии на него демократической общественной мысли в юности: «Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строчки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли... От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве и литературе и выяснилась революционная фигура Белинского... Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное... каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления»[1].

Очень высоко ценил Ленин Добролюбова: «Две его статьи — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне» — ударили как молния»[2]; столь же высоко ценил Писарева, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, всю русскую революционную демократию. Для него это была прежде всего крестьянская демократия, а их социализм — «крестьянским», «русским» социализмом[3], сущность которого заключалась «в протесте против крепостничества... и буржуазности... в России *с точки зрения крестьянина, мелкого производителя*»[4].

Великое наследие крестьянских, революционных демократов принадлежит сегодня нам, и наша обязанность — распоряжаться им рачительно, вдумчиво и по-хозяйски.

1984

---

[1] В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1969, с. 654—655.
[2] Там же, с. 655.
[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257.
[4] Там же, т. 1, с. 355.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

I. НИГИЛИСТЫ?.. Д. И. ПИСАРЕВ И ЖУРНАЛ «РУССКОЕ СЛОВО»

ЧАСТЬ I. Журнал «Русское слово» в 1859—1862 годах

Глава I. «Прихоть златого барчонка»?.. 15
Глава II. Журнальный эксплуататор или революционный демократ? 22
Глава III. Журнальный эксплуататор или революционный демократ? (Продолжение) 64
Глава IV. Под знамя революционной демократии 91
Глава V. Пророк молодого поколения 144

ЧАСТЬ II. Журнал «Русское слово» в 1863—1866 годах

Глава I. «Приказано повременить» 193
Глава II. «Мирные» реформы? 207
Глава III. Мечта об общечеловеческой солидарности 238
Глава IV. Два пути 272
Глава V. Еще раз о «расколе в нигилистах» 319
Глава VI. Разрушение эстетики?.. 364
Глава VII. Конец «Русского слова» 402
Заключение 436

II. ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ. СТАТЬИ, ПУБЛИКАЦИИ, СООБЩЕНИЯ

Варфоломей Зайцев 441
Апостол социальной революции 532

«Представители немецкого свиста Гейне и Берне». *(Статья Варфоломея Зайцева)* 611
Ф. Павленков и Д. Писарев . . 629
Судьба пропавшей статьи Д. И. Писарева 639
Две статьи Д. И. Писарева . 643

III. ОТСТАИВАЯ ИСТОРИЗМ

Вечно живые заветы. *Наследие революционных демократов и проблемы методологии современной критики* 655
«Нигилизм» и нигилизм. *О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева* 697
Об уважении к истории . 744
Народное и национальное. Полемические заметки 774
Истина истории. *Статья первая* 797
Истина истории. *Статья вторая* 837
Истина истории. *Статья третья* 871

Кузнецов Ф.
К 89 Круг Д. И. Писарева. — М.: Худож. лит., 1990. — 927 с.
ISBN 5-280-00734-X

В центре книги известного советского критика и литературоведа Ф. Кузнецова — фигура властителя дум молодежи 60-х годов прошлого века Д. И. Писарева, 150-летний юбилей которого отмечается в 1990 году.

Книга Ф. Кузнецова — не только о Д. И. Писареве, но и о его идейном окружении, в котором он сформировался, о внутренней связи критика с освободительным движением, о круге демократического журнала «Русское слово» и журнальных битвах той поры.

К $\frac{4603020101\text{-}416}{028(01)\text{-}90}$ 189-89 ББК 83.3РІ

Феликс Феодосьевич Кузнецов

КРУГ Д. И. ПИСАРЕВА

Редактор *И. Масуренкова*

Художественный редактор *С. Биричев*

Технические редакторы *Г. Такташова, Л. Синицына*

Корректоры *М. Чупрова, О. Коваль*

ИБ № 5558

Сдано в набор 16.03.89. Подписано к печати 13.03.90. Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Печать высокая. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 48,72. Уел. кр.-отт. 48,72. Уч.-изд. л. 49,73. Тираж 10 000 экз. Изд. № IX-3114. Заказ № 58. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.